

РОБЕРТ Е. НОРТОН

ТАЙНАЯ ГЕРМАНИЯ



СТЕФАН ГЕОРГЕ
И ЕГО КРУГ



ROBERT E. NORTON

SECRET
GERMANY

STEFAN GEORGE
AND HIS CIRCLE

Cornell University Press
Ithaca & London

РОБЕРТ Е. НОРТОН

ТАЙНАЯ ГЕРМАНИЯ

СТЕФАН ГЕОРГЕ
И ЕГО КРУГ

*Перевод с английского
В. Ю. Быстрова*



Санкт-Петербург
«Наука»
2016

УДК 82-94
ББК 83.3 (2Рос=Нем)
Н82

Нортон Р. Тайная Германия: Стефан Георге и его круг / Пер. с англ. В. Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2016. — 781 с.

ISBN 978-5-02-038429-3

Публикуемая книга посвящена одной из самых неординарных и загадочных фигур Германии первой половины XX века — Стефану Георге, поэту, духовному лидеру, создателю и вдохновителю влиятельного общества «Тайная Германия», члены которого считали своего вождя воплощением божественного Платона.

Для широкого круга читателей, интересующихся поэзией и историей XX века.

© Cornell University Press, 2002
© Издание на русском языке, распространение на территории Российской Федерации. Издательство «Наука», 2016
© Быстров В. Ю., перевод с английского, 2016
© Палей П., оформление, 2016

ISBN 978-5-02-038429-3 (рус.)
ISBN 0-8014-3354-1 (англ.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Однажды его назвали «самым влиятельным человеком в мире». В 1929 году одна газета опубликовала его фотографию рядом с портретами Вудро Вильсона, Жоржа Клемансо, Гинденбурга, Ганди и Ленина. Все они, как возвещал заголовок, были «современниками, ставшими легендой». В то же время немногим пришлось бы в голову отметить, что он был единственным в группе, кто не являлся профессиональным политиком. На самом деле, именно в явном влиянии на политические судьбы своей страны многие и видели самое важное его достижение. При жизни его часто сравнивали с такими легендарными деятелями, как Александр, Цезарь и Наполеон, и всегда с теми, кто изменил ход истории Запада. Он сам смотрел на себя сходным образом. В 1916 году, во время Первой мировой войны, он сказал, что если все пойдет еще хуже и если не найдется никого достойного на должность имперского канцлера, то будет готов сам принять этот пост. И незадолго до того, как он умер в 1933, когда власть в Германии захватило новое правительство — режим, который, как многие думали, он предвидел и приход которого, возможно непреднамеренно, помог подготовить, — многие из самоуверенных прихвостней этого режима унижались перед ним в попытках завоевать благосклонность и сотрудничество.

Сегодня вокруг Стефана Георге воцарилась тишина. Не осталось почти ничего, что вообще напоминало бы о существовании этого одного из самых известных людей, которых Германия производила на свет. Количество фанатично преданных поклонников, которых он когда-то к себе при-

тягивал, истощилось до горстки слегка вспыхливых приверженцев, скудного остатка того, что было подлинной династией. Ни одной статуи, ни одного бюста не стоит ни на одной городской площади в Германии; его имя редко можно услышать где-то за рамками малочисленных семинаров по современной поэзии; и на его опубликованные произведения в виде причудливого томика можно разве что случайно натолкнуться в каком-нибудь книжном магазине на антикварной распродаже. Даже его тело покоится не на родине, а в южной Швейцарии. Там, на кладбище в италиязычной деревне Минусио, расположенной высоко над берегом озера Маггиоре, за его могилой следят хранители. Семь лавровых деревьев в горшках, за которыми они ухаживают, окружают кольцом массивную гранитную плиту с его именем. Почти средиземноморское солнце сообщает этому тихому, безлюдному месту пустынное величие.

Группа людей, которую Стефан Георге собрал вокруг себя и которая формально стала известной как «круг Стефана Георге», представляет собой, возможно, самое важное культурное явление в Германии в течение первых трех десятилетий XX века. Такое явление, конечно же, похоже на преувеличение, если учесть огромную энергию, изобретательность и исключительное творческое изобилие Германии как раз перед Первой мировой войной и во время короткого, бурного промежутка Веймарской республики. Но нельзя не учесть и тот поразительный факт, что в то время никто из сведущих в немецкой культуре не мог не знать о Георге, имя которого теперь вызывает лишь далекие отголоски. Другими словами, невозможно постичь полностью то, что происходило в Германии и остальной Европе до и после 1933 года, не принимая во внимание Стефана Георге и его круг. То, что Георге оказался фактически забытым, говорит как о природе его наследия, так и о более широких судьбах его родной Германии. Моя окончательная цель в этой книге — показать, что политическое воздействие жизни и творчества Георге — без сомнений признаваемое его современниками и отрицаемое или преуменьшаемое его последующими защитниками — было всеобъемлющим, глубоким и чрезвычайно значительным.

Георге начал свою карьеру в начале 1890-х как лирический поэт образца французских символистов, и вскоре его стали считать одним из лучших поэтов своего времени. Почти сразу же он начал мечтать о возможностях, которые выходили далеко за пределы чисто литературной сферы. В следующие четыре десятилетия Георге привлекал последователей — вначале из числа своих соратников, а затем из все более и более широких слоев населения, — которые стремились воплотить его идеи на практике. Георге создал не только особый способ писать стихи, но также, с течением време-

ни, и особый образ жизни. Собранных вокруг себя друзей, которые обычно обращались к нему как к «Учителю», он рассматривал как воплощение и защиту «истинной», но «тайной» Германии, в противоположность «ложной» и гипертрофированно буржуазной современной Германии. Будучи первоначально неформальным кружком сходным образом мыслящих поэтов, которые собирались, чтобы обсудить и прочесть свои произведения, Георге и его круг постепенно заняли чрезвычайно влиятельное положение в культуре в целом. В течение последних пятнадцати лет своей жизни Георге был близок к тому, чтобы стать для Германии пророком: поэтическим визионером, который благодаря самой своей труднодоступности, казалось, олицетворял собой смутную тоску соотечественников о какой-то форме искупления. К концу своей жизни Георге был известен всем, бесчисленные читатели носили его произведения как конспекты в нагрудных карманах, и хотя многие отчаянно желали быть включенными в круг избранных, немногих туда когда-либо допускали.

Стефан Георге — бесспорно, один из самых прекрасных поэтов, писавших на немецком языке, и занимает заметное место в пантеоне европейской литературы. И все же совершенно отдельно от влияния Георге как поэта — его политическое влияние, которое составляет самый важный и самый спорный аспект его жизни. Принадлежащий к элите, настроенный в пользу иерархии, антидемократический, и весьма подозрительный ко всем формам рационализма, Георге придерживался убеждений и ценностей, которые разделялись антимодернистскими интеллектуалами Германии начала XX века. Для Георге и его последователей, которые, как правило, выражали презрение к демократическому эксперименту Веймарских лет, их собственная «тайная Германия» предоставляла суррогатную идеологию, обращавшуюся назад к героическому европейскому прошлому в поисках культурных и политических моделей, которые можно было бы передать будущему немецкому государству. Стефан Георге и его круг предложили своего рода миниатюрную модель того, как могло бы выглядеть государство: восторженные последователи, безоговорочно подчинявшиеся воле харизматического вождя, который, как они верили, обладал таинственной, почти божественной силой.

Но даже провозглашенный пророком и духовным спасителем страны, Стефан Георге оставался незнакомцем для любого за пределами его круга. Немного было известно о его жизни, и немного сведений было доступно. В типичном случае, в феврале 1914 года, какой-то поклонник написал Георге, спрашивая о подробностях его жизни. Один из друзей, Фридрих Гундольф, который знал Георге лучше других, ответил на письмо от его имени, что «имеется немного биографических фактов о Георге». И самыми

важными из них, давал совет Гундольф, были его стихи: «Чем более велик поэт, тем более полно он может быть найден в своем творчестве». Хотя такое заявление и содержит зерно правды — биография частично основывается на утверждении, что поэт не может быть отделен от поэзии, — оно также намеренно вводит и в заблуждение. Как мы увидим, за желанием Георге отказывать себе во внимании публики скрывалось много причин. Но его успех в этом поразителен, особенно если смотреть с точки зрения более позднего времени, когда, кажется, остается немногое, чего мы не знаем или не можем узнать о его публичной фигуре. Во многих газетных и журнальных статьях, опубликованных в 1933 году в честь шестьдесят пятого дня рождения Георге, немногие рассказы рисковали выйти за пределы горстки главных фактов его жизни — когда и где родился, где жил, и так далее, — а многие даже эти факты исказили. Хотя и признанный бесчисленными жителями Германии выдающимся духовным вождем своих дней, для большинства тех, кто почитал его, Георге оставался скрытым за непроницаемой завесой тайны.

Аура Стефана Георге, культивируемая всю его жизнь, аура его личности и его произведений была также перенесена и во многие из рассказов, написанных о нем его учениками. Задуманные ради поклонения, а не из строго биографических нужд, эти рассказы вполне откровенно стремились вознести Георге в безвременное, даже мифическое царство. Эдгар Салин, один из его последователей и преданный летописец жизни, однажды прямолинейно и весьма симптоматично настаивал, что наиболее подходящей формой описания Георге будет «попытка изобразить его как совершенного мудреца», потому что он «прошел все стадии познания и объединил их в себе». Образ Георге, который передают его ученики, часто создает видимость, что особые обстоятельства его рождения и жизни имели весьма незначительное влияние на ту личность, которой он был. Освобожденная от всех отвлекающих подробностей фигура Георге легче принимала те обобщенные качества, которые его последователи и читатели желали в нем видеть. Поэты, пророки и провидцы интересуют нас в первую очередь не индивидуальным опытом, а, скорее, стремлением к вселенской значимости. В случае Георге, которому приходилось исполнять все эти роли, чем больше было расстояние от бремени его исторической личности, тем шире был масштаб притягательности.

Такая неосведомленность о его личности была не только результатом преднамеренной попытки контролировать его публичный образ, но также и симптоматикой более глубоких тенденций в самой личности Георге. До чрезвычайной и, возможно, даже совершенно уникальной степени Георге стремился подчинить воле каждый аспект своей жизни: начиная, конечно,

с поэзии, но включая также и жизнь своих друзей, поклонников и все в большей мере судьбу Германии в целом. Биографические подробности собственной жизни Георге не были исключением, и они точно так же должны были соответствовать его замыслу, распределяемые в маленьких и тщательно взвешенных дозах для любознательной аудитории — которой он не доверял и которую вообще ненавидел — и, самое главное, всегда включаемые в особый идеологический контекст. На самом деле, его желание контролировать восприятие других было лишь еще одной формой склонности к радикальному изобретению самого себя, которая знаменовала всю его жизнь.

Казалось, Георге вообще хотел отрицать, что родился от человеческих родителей, словно верил, что так или иначе произвел себя на свет сам, что, подобно божеству — которым он, как многие полагали, был, — «появился» чудесным, необъяснимым образом. Несомненно, позже Георге видел свою собственную роль в отношениях с учениками как в некотором смысле животворящую. В том частном, закрытом мире, который он в конце концов создал, в «тайной Германии», где царствовал как единственный Господин, он явно узурпировал место родителей своих последователей, не вынося никакой власти в своем царстве рядом с собой. Как он писал в стихотворении из «Звезды союза», изданной как раз перед Первой мировой войной:

Это — царство Духа: отражение
моего царства мызы и роши.
Каждый здесь формируется вновь
И рождается заново — в колыбели и дома,
Как в сказке.
В миссии и в благословении
Ты меняешь клан, имя и состояние.
Нет больше ни отцов, ни матерей.

В конечном счете Георге хотел быть и отцом и матерью, и учителем и творцом не только своих приверженцев, но и самого себя.

Побуждения, лежащие в основе преднамеренной обработки образа Стефана Георге, сложны и относятся ко всему феномену, рожденному вокруг него. Но это не удивительно, особенно для тех из нас, кто привык видеть нечто значимое именно там, где оно отрицается, и чтобы понять Георге и его влияние на людей, крайне важно рассматривать его находящимся в динамической взаимосвязи с изменчивыми социальными, интеллектуальными и политическими факторами, воздействовавшими на его творчество

на протяжении всей его жизни. Поскольку Георге оказывал глубокое воздействие на культурную жизнь Германии начала XX века, то, очевидно, и сам в значительной степени был продуктом своего времени. Отсюда следует история, которую он с большой неохотой признал бы как свою собственную, если бы вообще признал.

Во многих отношениях Георге не облегчал задачу для своих биографов. Он часто вслух высказывался с презрением о самой практике биографий. Так, в 1903 году он говорил другу, что «у него никогда не было особой симпатии к биографиям. Он всегда чувствовал, что они демонстрируют какую-то поспешность, бестактность, когда человек сообщает о том, что произошло между двумя другими людьми и было предназначено только для них одних, и таким образом выставляет все это на суд широкой публики». В беседе с еще одним другом он сходным образом осудил публикацию личных писем как признак «предосудительного любопытства и бестактности». Возможно, именно желая избежать стать жертвой таких случаев «бестактности», Георге написал сравнительно немного писем, и те, которые написал, были обычно краткими и ограничивались сообщением очевидных фактов. Если письмо, которое казалось ему слишком откровенным, было неизбежным, он инструктировал получателя, чтобы тот его уничтожил или вернул. Такое требование часто ставило его друзей, многие из которых расценивали все связанное с ним как святыню, перед ужасной дилеммой. Эдгар Салин описал один такой случай. Получив письмо от Георге и прочитав его, он обнаружил на оборотной стороне одно-единственное слово, написанное на латыни: *delendum*. Салин рассказывал, что пребывал в мучительной тревоге двадцать четыре часа, но затем, неохотно, повиновался приказу и отправил драгоценный артефакт в огонь. Георге знал, что такие действия расстроят более поздних литературных детективов и ученых, и, казалось, получал от этого удовольствие. Один из его соратников признавался, что «всегда наслаждался представлением о том, как филологи, которые позже будут заниматься Георге, будут введены в заблуждение».

Как это ни странно, почти о каждой стадии жизни Георге существует чрезвычайно избыточная информация. Более чем две трети из его шестидесяти пяти лет можно реконструировать почти день за днем и узнать, где он был, с кем, что делал и говорил. В 1972 году была опубликована подробно составленная, переполненная фактами хронология жизни Георге, насчитывающая свыше четырехсот страниц. Главными источниками информации в этой хронологии (она имела, конечно же, неопределимое значение для меня при написании этой книги) были многочисленные мемуары,

дневники, описания встреч, расшифровки бесед и — *при всем уважении* к Георге — частная корреспонденция, сохраненная теми, кто его знал. Для тех, кто обладал привилегией встречаться с Георге, это был опыт, в буквальном смысле меняющий их жизнь, и часто это было единственное самое важное событие в их жизни. В результате многие склонялись к тому, чтобы сделать запись слов и поступков Учителя, сохранив что-то от него для себя и для потомства. Естественно, нужно подходить к этим свидетельствам с большой осторожностью, благоразумием и, часто, скептицизмом — тем не менее они являют собой, иногда помимо воли их авторов, богатый и обязательный источник сведений.

Зная о позиции Георге по отношению к таким вещам, те из его друзей, которые записывали то, что видели и слышали, делали это на свой страх и риск, без его согласия и без его ведома. От Георге не ускользало, что некоторые из его соратников увлечены незаконной деятельностью. «Надеюсь, вы все это не записываете», — сказал он одному такому секретному переписчику, который, конечно же, именно это и делал. «Это послужило бы почвой для милых историй. Этот Валентин (другой друг Георге, который делал то же самое), подозреваю, что у него есть такая небольшая книжечка; он все в нее записывает». Слушавшая эти наставления Эдит Ландман думала, что он имел в виду следующее: «Вы тоже должны завести такую книжечку!» Возможно, она была права, и это было просто своекорыстное самооправдание. Но она последовала совету — продолжила все записывать и дала один из самых полных и откровенных автопортретов Георге, которые мы имеем.

Меры предосторожности относительно частной жизни Георге имели последствия, которые дали о себе знать и после его смерти. Законный наследник Георге, Роберт Берингер, собрал о поэте все, что мог найти после его смерти, и, объединив с состоянием Георге, которое он унаследовал, накопил самую всестороннюю коллекцию материалов о существовании Георге. Но он держал ее под внимательной охраной. Один ученый, который в 1969 году обратился к Берингеру с просьбой об изучении некоторых материалов из коллекции, получил краткий ответ, что его «частный архив не доступен для такого рода исследований». Сегодня частный архив Берингера образует ядро Архива Стефана Георге, размещенного в *Wurttembergische Landesbibliothek* в Штутгарте, в центральной библиотеке земли Баден-Вюртемберг. Он без ограничений доступен для публики, открыт для любого, кто с серьезными целями желает им воспользоваться. Но политика Берингера породила длительные последствия. В 1995 и 1996 годах я провел летние месяцы в Штутгарте, исследуя обширную коллекцию писем и других документов, связанных с Георге, многие из

которых изданы здесь впервые. Находясь это первое лето в архиве, я узнал, что, кроме директора архива, услужливого и щедрого Юта Ольмана, я был единственным, кто когда-либо систематически работал в его владениях.

Вследствие таких обстоятельств эта книга является первой полной биографией Георге, вышедшей на иностранном языке и написанной тем, кто не знал его лично. Или, если поставить вопрос иначе, как мне остроумно напомнили в письме от директора Каструм Пелегрини в Амстердаме, последнем оплоте культуры и ценностей Георге, это — первая биография, которая будет написана человеком, который «экстрациркулярен» — *ausserkreislich*, — то есть кем-то за пределами круга Георге.

Быть первым биографом кого-либо — это обоюдоострый меч. В рецензии на биографию Эдмунда Уилсона, написанную Джеффри Мейерсом, в 1995 году Джеймс Атлас утверждал, что «один из самых верных способов оценить репутацию автора состоит в том, чтобы подсчитать его биографии». Есть, разумеется, нечто верное в этом общем практическом правиле. Но репутация не тождественна значению, и в случае Георге они находятся в обратной пропорции друг к другу.

В силу множества причин Георге и его круг были забыты — или намеренно вычеркнуты из памяти — и поэтому не получили того внимания и того признания, которого полностью заслуживают. В 1999 году ученый Рассел Берман заметил, насколько полно когда-то один из самых известных живых немцев, Георге, исчез из сознания и широкой публики и литературного и академического мира. «Исчезнувший для Германии Георге, — писал Берман, — конечно же, исчез и из американского канона германистики: он стал, возможно, объектом литературного и исторического любопытства, артефактом культуры времен Вильгельма, не более». И все же частично такое неведение было не случайным, но активно насаждаемым. Однажды, во время поездки в Германию с целью исследований для этой книги, я сказал какому-то немцу, что пишу биографию Стефана Георге. Реакция была наполовину непонимающей, наполовину подозрительной: «Зачем?»

Является ли это попыткой реабилитации? Не в явном значении этого термина. Хотя я и пытался быть объективным, насколько можно быть объективным в таком субъективном деле, как написание биографии, мои собственные ценности и предрассудки, несомненно, будут более чем очевидными на страницах, которые идут следом. Личные склонности всегда неизбежны, конечно, и было бы обманом или простой глупостью притворяться, будто их не существует. Но в этом случае ситуация, которая обычно противостоит биографу, является особенно острой. Едва ли есть такой аспект

жизни Георге — относящийся к его политическим ценностям, к его социальному сознанию, к его литературным вкусам, к его религиозным убеждениям и даже к его сексуальной ориентации, — который не был далек от моего собственного опыта или даже не находился бы к нему в прямой оппозиции, основанной на принципах, на исторической случайности, на личных предпочтениях или на простой биологии. Этот факт естественно ставит меня, как интерпретатора жизни Георге, в потенциально коварное положение.

Читать работу биографа, который в ходе написания книги наполняется ненавистью или, еще хуже, презрением к своему предмету, настолько же непоучительно, как и замкнуться в мечтательной сентиментальности тех, кто неспособен вынести и одного критического слова о своем герое. Поэтому я пытался пробраться средним курсом, наделяя Георге презумпцией невиновности там, где существовало сомнение, но не оставаясь молчаливым там, где никаких сомнений не оставалось. Однако эта срединная земля, хотя и обширная, все еще весьма скользкая. И поскольку я осознанно стремился избегать ловушек, таящихся с обеих сторон, то попытался также сопротивляться и более тонкому искушению уклониться от высказывания своей точки зрения. Моей главной заботой было понять Георге и то, что он собой представлял, но я руководствовался также и общей оценкой его наследия. Природа этого наследия, и те последствия, которые оно за собой повлекло, будут раскрыты в этой книге. Здесь достаточно сказать: я убежден, что Георге и его круг в значительной степени способствовали созданию психологического, культурного и даже политического климата, который сделал события в Германии, приведшие к 1933 году и последовавшие за ним, не только доступными воображению, но также и исполнимыми.

Я неоднократно даю понять, что с самого начала не Георге как поэт интересовал меня, когда я приступал к написанию этой биографии. Теперь, когда мы вошли в новое и, следует надеяться, лучшее тысячелетие, кажется уместным еще раз оглянуться назад на столетие, которое только что завершилось, и попытаться дать оценку его бурной истории. С точки зрения этики для меня, и в личном и в профессиональном плане, центральным событием XX столетия является ужасающее падение всей культуры в адский кошмар мировой войны и поддерживаемый государством геноцид. Возвышение Гитлера и национал-социализма все еще остается и, вероятно, всегда будет оставаться фундаментально необъяснимым, но мы не можем отказаться от попыток постичь его значение. Было бы абсурдно и в конечном счете тривиально утверждать, что Георге и идеи, которых он

придерживался, были в главных чертах и даже прямо ответственны за мучения, страдания и организованные убийства миллионов невинных людей, совершенные нацистским режимом. И все же было бы не менее нечестным или наивным не признать ту подготовительную роль, которую он играл, помогая сделать эти чудовищные преступления допустимыми в мыслях и гораздо менее невозможными. Его «тайная Германия» не была нацистской Германией — это следует подчеркнуть — но эти две Германии не могут быть тем не менее разделены. Если эта книга имеет более широкую цель, то тогда она будет заключаться в том, чтобы сделать понятным, почему чувствительные, умные и глубоко развитые люди, почему гуманные любители поэзии и красоты, а не только жестокие, кровожадные головорезы, могли избрать идеологию, которая несла в своем сердце смерть.



ЧАСТЬ I

ПОЭТ

1868 ~ 1899



Глава первая

ИСТОКИ

Стефан Антон Георге родился 12 июля 1868 года в деревне Бюдесхайм, что находится на берегу Рейна на юго-западе Германии, в семье со скромным, но постоянным достатком. Его отец Стефан Георге II, веселый и общительный человек, сначала держал таверну, а позже разбогател и стал удачливым виноторговцем с хорошей репутацией. На одной из ранних фотографий мы видим гладко выбритого и опрятно одетого молодого человека среднего телосложения, на левое ухо которого по-щегоольски зачесан кудрявый чубчик. Кажется, он одарен способностью находить удовольствие в простых радостях жизни и напоминает — вовсе не случайно, если учитывать род его занятий, — жизнелюбивого древнеримского Бахуса. Довольствуясь тем, что может следовать своим склонностям, куда бы они его ни привели, в юности Георге старший увлекался музыкой и несерьезной поэзией, но потом оставил эти юношеские легкомысленные занятия в угоду более зрелым развлечениям. Уверенный в своем материальном достатке и совершенно лишенный амбиций, благодарный за тот небольшой капитал, который унаследовал от матери, но не имеющий желаний или способности увеличить его, отец Георге вовсе не спешил обременять себя большим числом обязанностей, а свою семью — и того меньше. Разумный гедонист, обладающий вполне обыкновенными для среднего класса вкусами, он, казалось, был в большей степени сосредоточен на том, чтобы получить как можно больше удовольствия при наименьшем ущербе для своей респектабельности.

Его старший сын Стефан, с детства был отчаянно независимый, довольно рано научился ценить преимущества позиции невмешательства, которую занял его отец по отношению к исполнению своих родительских обязанностей. Предпочитая считать безразличие отца неким проявлением великодушия, он любил рассказывать своим друзьям о том, что его никогда не заставляли продолжать семейное дело и зарабатывать себе на жизнь таким буржуазным способом. «Я считаю, что это изумительно!» — восклицал он. Однако потворство совершенно необязательно означает одобрение. Позже, беседуя однажды с другим поэтом, Рихардом Демелем, случайно остановившимся в их городке на один день, Георге старший поинтересовался у него, хороши ли стихи его сына. К своему явному удивлению, он не услышал ничего, кроме неумеренной похвалы. Он изобразил на своем лице нечто вроде сомнения, которое испытывал относительно действительной значимости сыновней «писанины». Демель с еще большим воодушевлением заявил, что стихи Георге написаны для вечности, отец же холодно заметил, что сам он обычно собирает урожай винограда, из которого потом делает вино, регулярно раз в год. «Я был бы более счастлив, если бы он пожелал торговать вином для меня», — ворчал он, но все же позволил сыну пойти своим путем.

Пока отец предавался своим мирским занятиям, мать Георге, урожденная Ева Шмитт, уделяла особое внимание своему духовному долгу. Она была яркой католичкой, глубоко религиозной женщиной, строго соблюдавшей все предписания церкви и, по общим отзывам, подлинно благочестивой. Но, несмотря на всю свою пылкую страсть к святыням, ей, казалось, недоставало обыкновенной человеческой теплоты. Как сообщает одна из подруг Георге, она не только пресекала любые выражения нежности со стороны детей, но также прямо запрещала им целовать себя. Суровая и замкнутая женщина, она была единственным ребенком в состоятельной, но скромной семье и имела крайне узкий круг знакомых. Она всегда проявляла себя щедрой и рачительной хозяйкой по отношению к тем многочисленным друзьям, которых ее сын приводил в родительский дом, но редко принимала у себя собственных знакомых. Ее часто можно было найти сидящей в одиночестве в каком-нибудь укромном местечке сада, в тени выращенных ею олеандров, когда она шила или просто сидела, положив руки на колени и безмятежно предаваясь глубоким раздумьям. Георге вспоминал, что она никогда не читала книг, по большей части просматривая лишь местные газеты, но любила смотреть альбомы репродукций, бывшие тогда популярными. «Если я, бывало, приходил к ней, — однажды сказал Георге, — она не произносила ни слова, только смотрела за столом и следила, чтобы обо мне заботились». Она казалась незнакомкой даже собственному мужу, заметившему однажды: «Я был женат на этой женщине много лет, но до сих пор не понимаю, что у нее на сердце». Учитывая

такое несоответствие их характеров, легко предположить, что отношения между ними были весьма натянутые. Сам Георге весьма прозрачно намекал на это, поведая, что у его матери «не было друзей, которым она поверяла бы свои мысли, и она никогда ни с кем не откровенничала — для нее это было очень не просто, из-за разности темпераментов».

Упоминания о матери или отце, красноречивые в силу своей скупости, примечательно редки в поэзии Георге — они встречаются только в первых стихотворениях, а позже почти совсем исчезают. Однако если образы родителей все-таки появляются в его произведениях, то в основном в негативном свете. В одном из ранних произведений, написанном когда Георге было восемнадцать или девятнадцать лет, подробно описывается характерная сцена, изображающая «мать с заплаканными глазами», стоящую на коленях перед могилой сына. Она оплакивает горькую утрату, свое дитя, полное надежд и обещаний и отнятое у нее в нежном возрасте. Любопытно, что она корит себя за его смерть и спрашивает у самой себя, не наказывает ли ее тем самым Бог за собственные тайные прегрешения. «Что за грех я совершила, — причитает она, — за который он не позволил тебе остаться со мной?» Разумеется, сам Георге вовсе не умер молодым, но действительно ощущал глубокое отчуждение от мира, которое переживал как своего рода социальную смерть, — это чувство преследовало его на протяжении всей жизни. Именно в католических мотивах греха, раскаяния и искупления Георге рисует портрет матери. Стихотворение не открыло, какой именно «грех» лежит камнем на душе у женщины, но, по мнению Георге, сама неспособность матери проявлять любовь и нежность по отношению к сыну является грехом, который заслуживает наказания вечной мукой.

По крайней мере Стефану, поскольку он был вторым из трех детей, не приходилось сносить недостаток материнской любви в одиночестве. Таким образом, взросление в условиях постоянной потребности в любви — что, вообще говоря, не было чем-то таким уж необычным для Германии XIX века или какой-либо иной европейской страны — могло быть вполне сносным для любого из детей Георге. Сестра поэта Анна Мария Оттилия, старшая из детей, избрала путь наименьшего сопротивления, наиболее соответствующий складу ее характера. Когда голландский поэт-символист Альберт Вервей познакомился с сестрой Георге, то заметил, что «в ней больше от суровости ее матери, чем от веселости отца». Других поражал ее аскетический, почти монашеский образ жизни. Как и все трое отпрысков Георге, Анна никогда не вступала в брак и всю жизнь провела в одиночестве. Она испытывала глубокое почтение к своему выдающемуся брату, он отвечал ей нежной привязанностью. В 1898 году Георге посвятил свой первый крупный поэтический сборник «Год души» («Das Jahr der Seele») сестре, назвав ее «отрадным прибежищем на путях моих». Получив книгу, она написала: «Какой сюрприз для меня! В самых своих дерзких

мечтах я не смела помыслить, что ты так высоко ценишь и считаешь свою сестру. Теперь я точно знаю, что принадлежу к тем немногим людям, что близки тебе, и это делает меня очень, очень счастливой, а память об этом сгладит множество разочарований, что с особой частотой выпадают на долю таких натур, как я».

Хотя нет оснований сомневаться в искренности его чувств к Анне, которую он продолжал регулярно навещать всю свою жизнь, возможно, Георге подразумевал нечто иное, подчеркивая важность того, что она дала ему «отрадное прибежище». Быть может, в этом посвящении содержится грубая честность или ироническое поддразнивание, как и в том случае, когда он бесцеремонно заявил ей: «Возможно, однажды ты опять будешь играть важную роль в моей жизни, просто потому что вкусно готовишь».

Так уж случилось, что сестра всегда занимала значительное место в его жизни, впрочем, так же как, несомненно, и он — в ее. В начале 1930-х годов, когда им обоим шел седьмой десяток, а Георге был одним из самых знаменитых людей в Германии, Анна открыла для себя следующее: «Я всего лишь одинокая старая женщина, но благодаря Стефану в тайне наслаждаюсь величайшим триумфом». Иными словами, хотя она и находилась на втором плане, иногда сопровождая своего желанного брата в его бесконечных поездках, иногда привечая его в доме, который она занимала в Кёнигштайне, недалеко от Франкфурта, но всегда оставалась верной и преданной ему. Об их младшем брате Фридрихе Иоганне Баптисте, или просто Фрице, известно еще меньше, чем об Анне. Один из близких описал его как «безобидного, дружелюбного и милого человека, хорошего танцора». После отца он возглавил в конце концов его фирму, хотя также никогда не проявлял особой деловой хватки. Он умер в 1925 году в возрасте пятидесяти четырех лет, не оставив после себя ни жены, ни детей. Георге время от времени оставался с Фрицем, когда жил в Мюнхене или Брюсселе, и поспешно отправлялся к нему, когда тот болел. Но у них, очевидно, было мало общего. Забавный случай, о котором рассказал Георге годы спустя, свидетельствует о том, как он в действительности ценил своего брата. Когда они были детьми, вспоминал Георге, он подписал первую страницу семейного экземпляра «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма так: «Евангелие от Фрица». Таким способом взрослый Георге, чьими кумирами были Платон, Данте, Гёте и Ницше, указывал, что его брат отдавал предпочтение популярным романам, в основном романтическим и не требовавшим глубоких раздумий.

При постоянно отсутствующем отце, предпочитавшем находить альтернативные удовольствия вне дома, и отстраненной и унылой матери, которую собственное духовное спокойствие интересовало больше, чем благополучие детей, можно легко предположить, каким образом на младших членов семьи влияла эта атмосфера в доме, где не были приняты открытые

проявления нежности или непринужденный смех. Определенно, черты, которые в зрелости стали проявляться у Георге, — отчужденность, непреодолимая недостижимость и всепоглощающая потребность влиять на людей и внушать им к себе обожание и повиновение, — очевидным образом связаны с теми отношениями в семье, в которых он находился с самого рождения. И все-таки оказалось, что дела для семьи Георге складывались вполне благополучно. В 1873 году, спустя пять лет после рождения Стефана, из непритязательной трехэтажной таверны в Бюдесхайме они переехали в милый и просторный каменный дом, окруженный большим садом, в портовом городке Бинген на Рейне.

Впоследствии защитники Георге предпочитали акцентировать внимание на его немецком культурном наследии, исключая при этом любое влияние, исходившее из иной культуры, между тем культурная принадлежность Георге не была однозначной. Его двоюродный дядя Иоганн Баптист Георге родился в 1772 году в Рупельдингене — в деревушке, где говорили на немецком языке, находившейся близ Больхена (Булэ), неподалеку от города-крепости Мец, в герцогстве Лотарингия. Однако Иоганн Баптист вошел в этот мир как французский подданный, так как в 1766 году, за шесть лет до этого, Франция аннексировала Лотарингию, получив контроль над Эльзасом еще в конце XVII века. Но Иоганн Баптист был французом не только в формальном смысле. Он воспитывался в той культуре, где было принято считать, что французские образцы чего бы то ни было — философии, истории, искусства, литературы и особенно языка — относятся к цивилизации как таковой. Когда Иоганну Баптисту было двадцать лет, переживавшая революцию Франция, наслаждавшаяся триумфом внутри страны, стала обращать пристальные взоры на близлежащие Рейнские земли. По известным смешанным мотивам, проистекающим из философского альтруизма, непомерной национальной гордости и экономики оппортунизма, Национальная ассамблея 1792 года постановила начать распространение идеалов «Свободы, Равенства, Братства», «Liberté, Egalité, Fraternité», среди своих невежественных немецких собратьев, которые, как они считали, не только чересчур пекутся о своих частных национальных интересах, но и продолжают влачить тяжелую жизнь под гнетом устаревшего политического режима. Начиная с 1794 года на протяжении двух последующих десятилетий вплоть до окончательного поражения Наполеона в 1814 году весь левый берег Рейна, от Шпайера до Клеве, оставался под управлением Франции.

Оказалось, далеко не всех тревожило, что движимые благородными устремлениями французы вынуждены были достигать своих целей куда менее возвышенными средствами — путем вооруженного вторжения и продолжительной военной оккупации. Напротив, на правом берегу Рейна симпатии к Франции только усиливались. Лишь за небольшим исключе-

нием, жители Рейнланда надеялись и верили, что Наполеон наконец освободит их от системы старых феодальных отношений, веками сдерживающей развитие немецких государств. Один школьный учитель из небольшого городка близ Бингена выразил общее мнение того времени, признав в своем дневнике Наполеона «той железной метлой, которая должна вычистить Рейнланд». В любом случае, продолжал он, Наполеон является наименьшим из двух зол, поскольку, как считалось, по своей природе жители Рейнланда гораздо ближе к западным соседям, исповедующим католичество, нежели к холодным, северным протестантам с «прусским характером».

В 1804 году, когда Иоганну Баптисту Георге исполнилось двадцать два года, он оставил родительский дом и отправился вслед за армией Наполеона, добравшись вместе с ней до Бюдесхайма; должно быть, таким образом он надеялся использовать те новые возможности, что открывались на только что завоеванных территориях для тех, кто одновременно бегло говорил на немецком и на французском языках. Очевидно, французские управляющие, отправленные в Рейнланд, не могли лишь своими силами справиться со сложным делом оккупации. Они были вынуждены нанимать на службу местных чиновников, которые помогали бы им накапливать и распределять необходимые блага, надзирать за уплатой новых пошлин и сборов, введенных в Рейнской области, а также, что неизбежно, — за сбором налогов. Налоги стали самым тяжелым и самым ненавистным бременем, взваленным на плечи жителей Рейнланда, освобожденных французами. Один из граждан Буртшайда с горечью жаловался на это: «Как же велика разница между новыми налогами и теми, что мы платили прежде! Тогда как ранее самые крупные фирмы платили не более 60 крон за все сразу, теперь мы платим по 600 и более крон, и это только основных налогов, не считая каких-либо дополнительных». Поэтому совершенно не случайно, Иоганн Баптист, молодой фермер из Рупельдингена, который прежде возделывал землю, отправился на восток, чтобы начать там новую жизнь, став сборщиком налогов и податей.

Очевидно, он преуспел на этой должности, служа цепкой рукой целого войска фискалов, назначенных французским правительством на оккупированных землях, поскольку вскоре купил землю в Бюдесхайме, построил на ней дом, где, с полным основанием можно утверждать, вел вполне благополучное существование. У него был брат Якоб, также фермер и портной, который решил остаться в Рупельдингене. Но два сына Якоба, Этьен и Антон, последовали за своим дядей на восток в Бюдесхайм, чтобы подобно ему попытать счастья, привлеченные теми перспективами, которые сулил от природы богатый и плодородный Рейнланд, и новыми экономическими возможностями, предоставленными французской оккупацией, а также, возможно, рассчитывая на покровительство богатого и неженатого дяди. Этьен, старший из двух братьев, записанный в семейной хронике как Сте-

фан Георге I, воспользовался юридическими правами первенца. Он стал законным наследником Иоганна Баптиста, увеличив полученную в качестве наследства собственность тем, что выгодно приобрел огромный виноградник. Довольный приобретенным состоянием, Этьен ступил на политическую стезю — он стал мэром Бюдесхайма и даже избирался в члены регионального законодательного собрания. Его брат Антон, не имевший подобных политических амбиций, вел торговлю бочками, что позволило ему легко заняться виноторговлей. Со временем он приобрел в Бюдесхайме небольшое питейное заведение, где отпускали вино, и дал ему соответствующее, хотя и банальное, название «Винный погребок» («Wirtschaft zur Traube»), которым и управлял. Именно здесь он со своей женой Марией Анной, с которой обвенчался в 1828 году, зарабатывал на жизнь, здесь же тремя годами позднее родился их единственный сын, Стефан Георге II, в будущем отец поэта.

Французское присутствие в Эльзасе-Лотарингии, а в действительности на территории всего Рейнланда, навсегда наложило отпечаток на культуру людей, которые здесь жили и работали. Изначально предоставив множеству людей возможность для социального и профессионального продвижения, французская культура продолжала оставаться жизнеспособной и пользоваться авторитетом, что могло иметь место только при общей поддержке и симпатии народа. В одном из своих юношеских писем школьному другу Георге открыто признавал и даже отстаивал ту позицию, что Рейнланд находится в глубоком долгу перед Францией. «Несмотря на все вторжения, — объяснял он скептически настроенному школьному товарищу прусского происхождения, — проживающие в Рейнланде гессенцы не только не страдали от них, но также извлекали для себя величайшую выгоду, и я в мельчайших подробностях докажу тебе, что французское правление (каким бы коротким оно ни было) является немаловажным моментом в формировании духа нашего народа». И действительно, даже само хозяйство семьи Георге было типично французским. Французский язык в частных разговорах свободно смешивался с немецким (позже Георге говорил своему другу: «Французский — мой второй родной язык»). Один из его дядей старательно переводил написанную в стихах драму автора XVII века Фенелона «Приключения Телемака», а каминную полку в доме его бабки и деда в Бюдесхайме украшала статуэтка Наполеона. Самого же Георге вплоть до его двадцатилетия в кругу семьи и друзей звали не «Стефан», а, как и его великого дядю, «Этьен»; причем он произносил свое имя на французский манер, смягчая твердые немецкие «g» шипящими звуками, свойственными французскому языку. Даже позже, когда он стал знаменит далеко за пределами Бингена, местные жители, озадаченные шумихой вокруг его имени, но тем не менее гордые славой сына их города, продолжали фамильярно обращаться к нему «герр Шорш».

Сам Бинген удобно расположился сразу напротив холмов северного берега Рейна и напротив покрытых виноградниками крутых склонов восточного берега реки Наэ, которая впадает здесь в Рейн. Расположенный почти ровно посередине между озером Констанц и Роттердамом, Бинген таким образом находится на древнем пути, который соединяет — или разделяет — главные географические регионы Европы, прямо на перекрестке романской и германской культур. Но, хотя в Бингене жили от начала его истории, он не может похвастаться выдающимся историческим прошлым. В начале новой эры Друсус, самый надежный генерал Августа и второй сын Нерона, построил над рекой Наэ мост, чтобы проложить через Бинген (тогда Бингиум) путь к двум главным римским дорогам. Одна дорога вела на запад через хребты Хунсрюка к городу Аугуста Треверорум (сейчас Трир), а вторая — на север по нижнему левому берегу Рейна в Колонию Агриппиненсис (сейчас Кёльн). Для защиты Бингиума римляне возвели на холме крепость, из которой можно было наблюдать за рекой, и в свое время Георге любил водить друзей по уступам холма к средневековому замку Клоппу, стоящему на более древнем фундаменте, чтобы насладиться открывающимся оттуда видом на речную долину.

На протяжении последующих веков Бинген множество раз сжигали и вновь отстраивали, время от времени его занимали германские племена, нападавшие на римских захватчиков, каролингские принцы, стремившиеся сохранить или расширить сферу своего влияния, шведы в ходе Тридцатилетней войны, а также по любому поводу французы, одними из последних были войска Людовика XIV. Спустя четыре года после смерти в 1250 году последнего короля из династии Гогенштауфенов Фридриха Второго Бинген получил статус Вольного имперского города и вступил в средневековый торговый Ганзейский союз. К тому времени как здесь в 1873 году обосновалась семья Георге, в Бингене установились ценности происходящих из среднего класса бюргеров, занимавшихся в основном виноделием, перевозкой грузов и торговлей.

Никогда не выражая ни малейшей привязанности ни к самому городу, ни к его жителям, которых он однажды пренебрежительно назвал «совершенно необразованными», Стефан Георге тем не менее регулярно возвращался в Бинген, в родительский дом, где для него всегда была готова комната. Но город не притяжал на духовную культуру: единственным исключением была плодовитая Святая Хильдегарда (1098—1179), аббатиса и мистик, которой являлись видения. Спустя шестьсот пятьдесят лет после этого Гёте заинтересовался праздником Святого Роха, избавившего в XIV веке Бинген от чумы, в честь чего была возведена часовня, и включил подробное описание этого ежегодного праздника в собрание своих произведений. Так или иначе, вряд ли в городе было нечто еще, способное вдохновить не по годам развитого и одинокого мальчика. Большинство граж-

дан — вялых, расчетливых и сосредоточенных на бытовых проблемах — взирали на искусство, в особенности — на поэзию, с тревогой и подозрением или предпочитали вовсе не обращать на него внимание. Чтобы передать мнение Георге о провинциальной «ослиной» глупости проживающих на берегу реки граждан Бингена, приведем однажды рассказанную им историю. Некто ехал на велосипеде и, поскользнувшись на брусчатке, упал прямо в грязь. Наблюдавший за этим человек, почтительно согнувшийся в дверях, даже не шелохнулся, чтобы протянуть тому руку. Вместо этого он сделал ценное замечание: «Лучше бы вам не падать!»

И тем не менее Георге всегда вспоминал о годах, проведенных в Бингене, как о «времени, когда он сосредоточивался на своих произведениях и завершал их». Возможно, предчувствуя более конфликтную ситуацию, чем мог бы принять, Георге даже называл Бинген и его окрестности «самым прекрасным местом Германии». Помимо всего прочего, это было место его самых ранних воспоминаний и переживаний, даже несмотря на то, что далеко не все из них были радостными и счастливыми. Георге вспоминал, как однажды, еще в детстве, упал в Наэ и чуть не утонул, когда льдина, которую он использовал в качестве плота, перевернулась. Чтобы никто не узнал об этом унижительном и опасном происшествии, он тайком пробрался в сад, где и высушил на солнце свою мокрую одежду. Возможно, помня об этом чудесном спасении, Георге часто использовал в своей поэзии образы воды и странных существ, населявших ее глубины, когда хотел передать представление об опасности, гибели и насильственной смерти. Даже в старости он говорил, что испытывает отвращение ко «всему рыбьему и водному». Другой травмирующий эпизод, также связанный с рекой, произошел с ним в зрелом возрасте, но поразил его не меньше. Когда летом 1916 года сорокавосемилетний Георге прибыл на швейцарский курорт Клостерс, то отказался останавливаться на Вилле Флиана, которую его спутник выбрал для их пребывания. Позже Георге признался, что этот дом, стоящий вблизи бурного горного ручья, напомнил ему еще один жуткий случай из детства, и рассказал историю ужасного наводнения, которое однажды постигло Бинген. Страшные воспоминания встревожили его так сильно, что путешественникам пришлось искать другое жилье, и они провели эту ночь в школе-пансионе для мальчиков.

Тем не менее не все юные воспоминания Георге были такими тревожными. Так, в одном из автобиографических фрагментов, которые он решил сделать достоянием публики, Георге рисует ностальгический, почти сказочный образ Бюдесхайма, где оставались жить его бабушка и дедушка.

Обветшавшая деревня, где жили наши предки и где потом, один за другим, они были похоронены вдоль увитой плющом кладбищенской ограды. И люди, которых я никогда прежде не видел, приветствуют меня, столкнув-

шись со мной на дорожке, выложенной камнем; а по пути к церкви я встречаю старушку — она узнала меня, обрадовалась и остановилась поболтать со мной. Вдруг, будто в тумане, они вновь предстают передо мной: деревянный вход с аркой, резные головы у подножия лестницы и старомодная мебель, которая заставляет чувствовать себя как дома, как и старое доброе гостеприимство его обитателей.

Здесь, в саду за домом своего деда, Этьен ребенком часто проводил время в играх. Но это были игры в одиночестве. Ему нравилось прятаться в густой листве у садовой изгороди, особенно когда его укромное место оставалось не найденным теми, кто его искал. Однажды, когда его родители уехали и он понял, что находится дома один, то запер все двери в доме, а ключи закопал в саду, став, таким образом, его единственным владельцем.

Возможно, под влиянием строгости матери и растущего безразличия отца мальчик вскоре привык быть самостоятельным, причем эта независимость граничила с непочтительностью. Поскольку никто не спешил удовлетворять его нужды, он научился заботиться о себе сам. Например, Георге как-то рассказал, что, когда в восемь лет он проявил вызывающую эгоистичность, некто предсказал ему ужасное будущее. Однажды на Рождество детям, как водится, раздавали сладости и каждый ребенок получил по три конфеты. Детей спросили, как распорядились бы они конфетами, если бы им давали не по три, а по десять конфет сразу. Первый ребенок ответил, что «четыре конфеты отдаст родителям, а остальные съест». Второй ребенок, повинувшись чувству долга, ответил, что «всё отдаст на сохранение родителям». Третий холодно произнес, что «всё съест сам». Этим третьим ребенком и был сам Георге.

В другой раз, так же в восемь лет, будучи учеником школы для мальчиков и девочек в Бингене, утром по дороге в школу он напраказничал на торговой площади и был вынужден скрыться бегством с места преступления. Хотя дело было зимой, стояла оттепель — Этьен поскользнулся, упал и вымазался в грязи. Когда он добрался до школы, девочка, с которой он дружил, подошла к нему и спросила: «Что ты натворил? В чем дело? Можешь рассказать мне все без утайки, я никому не передам, ни детям, ни учителю». Георге продолжил: «Я все ей выложил — она и я достали свои носовые платки, и она попыталась очистить меня от грязи, так что к приходу учителя я выглядел вполне прилично. Но по истечении часа она не придумала ничего лучше, как пойти и рассказать учителю все до последней подробности. Тогда я понял многое». Зная Георге, можно было предположить его вероятную реакцию на подобное предательство, и человек, который слушал эту историю, высказал свою догадку: «И она, без сомнения, была наказана презрением». «Ни в коем случае, — ответил Георге, — я не доставил ей такого удовольствия. Я вел себя как прежде, но теперь я

знал!» Трудно сказать, что именно узнал Георге, но память об этом детском предательстве жила в его душе до конца жизни.

Последнее воспоминание, еще сильнее повлиявшее на характер Георге и его склонности, связано с мальчиком по имени Юлиус Симон. Когда им обоим было по девять лет, они открыли свое сказочное королевство, которому дали экзотическое название «Амхара» и для которого Этьен придумал почтовую марку. Каждый день после школы Юлиус спешил к Этьену, в дом его деда, где они использовали для своих игр просторный мезонин, или ходили к реке и играли в густом тростнике. По взаимной договоренности, они менялись ролями короля и премьер-министра; не имея вассалов, они и не собирались искать их. Прошло четыре недели, и настал черед Юлиуса принять королевский титул, а Этьена — занять пост премьер-министра, но Этьен отказался: он не желал уступать престол Амхары. Поскольку у них не было подданных и невозможно было провести исследование общественного мнения, то не было представлено никаких альтернативных решений. Маленький Юлиус избавился от самодержавной власти и, предвидя закономерные последствия, отправился в добровольное изгнание. «Я уже некоторое время хотел вернуться к играм со своими прежними товарищами, — вспоминал повзрослевший Юлиус, — и с радостью уступил нашу империю в обмен на более интересные игры с другими своими приятелями. Стефан никогда не присоединялся к нам в наших играх во время школьных перемен, они были не для него! Уже тогда он был третьим лишним». Примечательно, что именно в этот период Этьен впервые стал пробовать свои силы в поэзии.

В дальнейшем в своих произведениях Георге с очевидной частотой обращается к образу этой отроческой игры в короля, наиболее полно выраженной им в стихотворении «Детское царство», написанном в начале 1890-х годов, когда ему было немного за двадцать лет. Это поразительное произведение, но не из-за серьезного недостатка иронии, с которым он описывает — и выдумывает — свое собственное недавнее прошлое, — а из-за того, что в точности предсказывает, каким человеком он еще только станет.

Ты избран уже, если ищешь
Среди гравия драгоценные камни
В саду у отца для венца и для трона,
В чьем сиянии — милость судьбы.

Здесь на отмели в таинственных зарослях
Ты воздвиг для себя свое царство,
В тени ветвей услышал песнь ты
О чудесном богатстве и давних деяньях.

Друзей, чей взор горит как и твой,
Наградил ты землю и златом.

Твоим замыслам верят они и в отраде
Головы сложат за твой высокий престол.

То будут ночи твоей великой славы
И весь народ твой — пред тобою на коленях.
В зале, свитом из веток, солнце сияет,
Внимая преданьям, лишь тебе открытым.*

Но в детстве жизнь Георге, за исключением занятий в школе и мальчишеских игр, вполне соответствовала ритму, исстари установленному церковью и церковным календарем. «Истинное католичество, — сказал он как-то однажды после Первой мировой войны, когда потрясенную и поверженную Германию всколыхнула новая волна религиозности, — это нечто священное, чистое и правильное. Я и сам пребывал в нем до своего восемнадцатилетия». Даже когда он утратил веру, иерархичная структура католической церкви, ее ритуалы и установления, ее лексика, светское богатство и присущие ей черты древнеримской культуры — все это продолжало оказывать глубокое влияние на воображение и творчество Георге. Естественный ход природы и смена времен года, главные события года и, конечно, взаимодействие людей приобретали смысл и значение внутри церкви. В те недели, что следовали за Рождеством Христовым, приближалось Сретение, и люди начинали ждать увеличения светового дня и надеяться на скорый конец зимы. Масленица приносила с собой яркие и затейливые костюмы, которые люди надевали на Карнавал, когда мужчины наряжались женщинами или в костюмы человеческих существ, превращающихся загадочным образом в причудливых животных. В середине Великого поста, в его Четвертое воскресенье, когда виноделы вновь проверяли свои вина, а сок начинал подниматься вверх по стволам деревьев, дети сидели среди ивовых деревьев и ножичком выстругивали свистки и дудочки, снимая кору со срезанных веток. На Страстную пятницу правоверные прихожане выстраивались перед алтарем и целовали святое распятие, которое держали перед ними. На Фомино воскресенье, ближе к концу апреля, возобновлялись прогулки по лугам и горам. В праздник Тела Господня, эту святая святых католичества, устраивались многолюдные процессии по украшенным улицам, на которых курились благовония, а тонкие высокие детские голоса сплетались с низкими голосами певцов постарше, выведивших «Тебя, Бога, хвалим», «Те Deum». В начале лета праздновали Троицу

* Георге экспериментировал в поэзии с метрикой, пунктуацией, формой. Наряду с многоточием использовал двоеточие («...»), ставил точку не только внизу, но и посредине строки как соединительный знак, существительные писал со строчной буквы, к прописным — обращался по усмотрению.

В погоне за сохранением ускользающего при переводе смысла, здесь и далее мы прибегли к традиционной пунктуации. — *Прим. пер.*

и Духов день, тогда совершали дальние прогулки в лес, устраивали долгие ужины под соснами и пили вино из тяжелых глиняных кувшинов, которые остужали в холодной воде тенистых ручьев. В середине августа все жители города собирались вокруг скульптуры покровителя Бингена — святого Роха, они выносили его фигуру из церкви и шли с ней в часовню, что стоит на холме высоко над рекой. Так своим естественным порядком шли недели, пока, к радости детей, наконец вновь не начинался Рождественский пост.

Детство Георге целиком подчинялось этим ритуалам, протекая в установленных традициями рамках и сакральных церемониях. И все же его способности или, скорее, необычность, которую осознавали или, скорее, смутно ощущали его товарищи, также не укрылась и от внимания его родителей. Еще в отрочестве он заявил, что не намерен становиться Стефаном Георге III, виноторговцем из Бингена. К счастью для мальчика, в конце XIX века немецкие семьи, в особенности амбициозные, относились к академическим или интеллектуальным достижениям с некоторой долей уважения, что вполне могло сравниться с почтением перед деловой хваткой, а зачастую и превосходило его. Образованная буржуазия, или *Bildungsbürgertum*, не жалея денег, приобретала вещи, внешне ассоциирующиеся с высокой культурой тех, кто ими обладает, считая фортепиано и обширную библиотеку, состоящую из книг в кожаных переплетах, всего лишь необходимыми признаками респектабельности и принадлежности к более высокому социальному уровню. И хотя семья Георге по большому счету не принадлежала к этой городской элите, родители Этьена вполне одобряли его увлечения, видя в них возможность для своего одаренного, усердного и своевольного сына сделать университетскую карьеру. В 1882 году Этьена, хорошо проявившего себя в приходской школе Бингена, в возрасте четырнадцати лет отправили в престижную Людвиг-Георгиевскую гимназию в Дармштадте, столицу герцогства Гессен-Дармштадт.





Глава вторая

ШКОЛА

Когда Этьен прибыл в город, где находилась официальная резиденция Великого герцога Людвига IV, прекрасный и величественный город источал степенность и спокойствие, окутывавшие, словно мягкий и теплый туман, многочисленные провинциальные столицы, рассыпанные на карте доимперской Германии. На протяжении долгих лет, последовавших за Венским конгрессом 1815 года, под руководством градостроителя Георга Моллера планировался и отстраивался новый район города. Проект создавался в строгом соответствии с древнеримскими образцами, основываясь на математически точной разметке карты города прямыми перпендикулярными линиями. Аккуратные милые домики и торжественные величественные дворцы, отделенные друг от друга ухоженными садами и парками, придавали сорокатысячному Дармштадту очаровательный, но слегка сонный вид. Всякий, кто здесь вырос, мог сказать, что «в любое время дня и ночи без малейшего риска получить телесные повреждения можно было вздремнуть прямо на проезжей части дороги, например на улице Рейнштрассе».

В ходе своего продолжительного европейского путешествия в сентябре 1873 года в городе ненадолго останавливался сердитый и красноречивый путешественник Генри Джеймс. Более ценивший эталонную красоту Франции и Италии, он был чутким, но не слишком снисходительным гостем Дармштадта. Он описал свои впечатления так: «Вы идете по городу, по его огромной темной и тихой улице, что ведет от вокзала» к герцогско-

му замку, который возвышается в центре города над черепичными крышами лежащих внизу и окружающих его зданий. «Примечательно, что дворец, как и положено всем дворцам, очень большой, с весьма скудным убранством, уродливый, но с большими чистыми дворами, где круглые, как бочонки, обьеженные лошади мекленбургской породы, должно быть, часто стояли в ожидании, когда их царь и господин встанет из-за стола. Ворота украшены отвратительного вида скульптурами, относящимися приблизительно к 1650 году и изображающими стоящих на толстых спиралевидных пилястрах воинов в париках, а также орнаментом в виде завитков, подобных тем „завитушкам“, что выводит сельский учитель чистописания, и сплошь покрытых лаковой краской с бриллиантовым и красным оттенком». Обратив свое внимание на служебные постройки, протянувшиеся перед замком, Джеймс также не находит для них добрых слов. «Повсюду вокруг огромного красного пьедестала герцога Людвига рядом расположены дворцы для внутренних нужд этой маленькой империи. Перед каждым из них находится караульная будка с красно-белыми полосами, у которой несет службу солдат-стражник в шлеме с пикой. Все эти государственные учреждения имеют вполне respectable вид, но в них стоит прямо-таки могильная тишина».

Однако для этого общественного затишья существовали политические причины. Находящийся у власти отец великого герцога Людвиг III (1806—1877) принял опрометчивое решение вступить в 1866 году в войну с Пруссией на стороне Австрии, к чему его подталкивал главным образом барон Рейнхард фон Дальвиг цу Лихтенфельс. Тогда это казалось верным ходом в политической игре. Немногие могли предположить, что прусская армия, не испытывавшая себя в реальных боевых действиях со времени наполеоновских войн, разобьет многочисленные австрийские войска, которых тогда боялись как сильнейших в Центральной Европе. Но унижительный разгром австрийской армии под Кёниггрецем позволил Пруссии получить исключительное влияние на немецкую политику и привел к тому, что пять лет спустя прусское государство стало диктовать условия объединения Германии. Надеясь на то, что усиливающийся европейский конфликт поспособствует скорейшей перегруппировке политических сил, и даже желая заручиться поддержкой Франции в своей борьбе со все более агрессивными пангерманскими замыслами Бисмарка, Гессен-Дармштадт обнаружил, что после этого семинедельного разрушительного конфликта он находится в полной изоляции.

Политическое значение этой войны и в особенности военного поражения Австрии — а значит, и Гессена — было очевидно. Историк Иоганн Дройзен дал пояснение к этим событиям, затронувшим и Пруссию: «Война 1866 года наконец сделала возможным начало подлинно национальной политики в Германии. Немецкая нация, которая была в политическом

смысле мертва с того времени, как угасла династия Гогенштауфенов, теперь получила возможность вернуть былое национальное величие». 18 января 1871 года, через два с половиной года после рождения Георге, эти замыслы начали приносить свои плоды. Вскоре после внезапной и ошеломляющей победы Пруссии над Францией во дворце Версаля начал свое существование второй немецкий Рейх, когда король Пруссии Вильгельм I был объявлен императором объединенной Германии. Впервые с середины XIII века Германия наконец перестала быть неким абстрактным именем, неким неофициальным союзом, состоящим из независимых герцогств, княжеств и протекторатов, но представляла собой политическую действительность объединенной нации. На протяжении шестисот лет будучи лишь, как саркастически заметил австрийский князь Меттерних, не более чем географическим обозначением, новая немецкая империя под прусским правлением не теряла времени даром и старалась завязать отношения с другими европейскими нациями.

На протяжении 1870-х и 1880-х годов граф Отто фон Бисмарк, настоящий архитектор империи, направлял все свои мысли и действия на то, чтобы объединить все преимущества, которые можно было извлечь из Франко-Прусской войны, и повести новорожденную империю тем курсом, что вскоре привел к небывалому приросту и в экономической, и в политической сфере. За сорок лет, к началу Первой мировой войны, поразительным образом на пятьдесят процентов увеличилось население Германской империи, тогда как, для сравнения, Франция прибавила только десять процентов от количества своих граждан. Возможности роста производства вследствие настолько увеличившегося населения также не были упущены: в этот период создавались или объединялись передовые фирмы-производители, особенно те, что занимались производством стали и машинных деталей, разработкой и созданием электрического оборудования и химикатов. Чуть более чем за одно поколение Германии удалось превратиться из раздробленной конфедерации независимых и по преимуществу аграрных государств в ведущую промышленную и военную державу Европы.

Не все были в восторге от происходящего. Другие главные политические силы Европы, особенно ослабленные Австро-Венгрия и Франция, взирали на появление Германской империи на политической арене с осторожностью и понятным недоверием. Но даже внутри самой Германии были те, кто имел все основания волноваться по этому поводу. Первым из официальных актов, вынесенных после основания Рейха, стало возвращение Эльзаса-Лотарингии, находившегося в руках Франции в течение почти двух столетий. Хотя большинство проживающего на этих территориях граждан и говорило по-немецки, но тем не менее ощущало себя французами во всех иных отношениях. Вполне понятно, что после почти двухвековой аккультурации политические, религиозные и культурные симпа-

тии жителей Рейнланда были на стороне Французской республики, а не на стороне новой Германской империи, которая, по их глубокому убеждению, являлась лишь прикрытием для стремлений Пруссии к политическому и культурному господству. Как и следовало ожидать, возникали конфликты, многие «новые» граждане на вновь присоединенных землях восставали против того, что считали оккупацией иностранного государства. Бисмарк был непоколебим. Полагая, что природа жителей Эльзаса-Лотарингии является «по своей сущности немецкой», он уверенно заявил следующее: «Как велит нам немецкое терпение и немецкая доброжелательность, мы вернем наших соотечественников, и, возможно, в более короткое время, чем теперь ожидаем». Угроза, завуалированная под этими благородными призывами к национальному чувству, весьма очевидна. Сотрудничество было предпочтительно, так или иначе железный канцлер преуспел в том, чтобы сделать все немецкое государство — немцам.

Семье Георге, связи которой с Лотарингией были старинными и все еще крепкими, как и многим другим семьям, проживавшим на западном берегу Рейна, намерения Бисмарка сплотить Германию путем подавления всех иностранных, включая французское, влияний казались недопустимым вторжением в их жизнь. Одно совершенно ясно: Стефан Георге питал сильную и неизменную ненависть к Бисмарку и его Рейху. «С пятнадцати лет я считаю себя личным врагом Бисмарка», — сказал Георге однажды, и он никогда не изменил своего мнения. В разговоре, состоявшемся в 1916 году, он с презрением заявил, что отсутствие какого-либо упоминания или об этом государственном деятеле, или о государстве, созданном им, в его поэзии лишний раз доказывает, что ни в том, ни в другом не было равным счетом «ничего хорошего». Однако такое мнение разделяли очень многие на юге, где вплоть до Первой мировой войны, сплотившей всех без исключения в Германии, люди считали себя в первую очередь гессенцами, эльзасцами или баварцами и лишь во вторую — «немцами». Георге любил рассказывать историю о дармштадтском школьном инспекторе, который с ликованием спрашивал у учеников: «Кто наш внешний враг?» И будучи единственным, кто с радостью сообщал ответ, сам выкрикивал: «Французы! — А внутренний? — Пруссаки!»

Но стремление Бисмарка добиться интеграции в империю и лояльности «офранцузившихся» граждан меркло в сравнении с теми почти животными страхом и недоверием, которые он испытывал к католицизму. В 1870-х годах он направил все свои усилия, чтобы пресечь политическое и культурное влияние католической церкви в Германии. Бисмарк всеми силами старался изобразить, что его собственные стремления к национальному объединению отражают всеобщие интересы Германии, в действительности же его представления противоречили прусским интересам, а если подходить к ним с точки зрения религии — протестантским ценностям. Со

своей стороны преобладающее на юге и юго-западе Германии католическое население питало глубокое и обоснованное недоверие к тем мотивам, которыми руководствовались пользующиеся политическим господством пруссаки. В сущности, консервативные и в социальном, и в политическом смысле католики пытались защитить свои интересы, объединяясь в оппозицию к правительству и позиционируя себя в качестве жизнеспособной альтернативы либеральному, материалистичному и диктаторскому северу. Каждая из сторон выставляла другую агрессором, считая собственные действия законным средством самозащиты. Этот конфликт назревал долгие годы. И он разразился, как только была учреждена Германская империя.

Изначальные причины для дурных предчувствий католиков были очевидны. Они опасались, что сильное централизованное протестантское государство представляет собой потенциальную опасность для них, находящихся в численном меньшинстве. Жребий, который бросил Гессен-Дармштадт, в 1866 году вступив в союз с Австрией, проистекал отчасти из желания оградить католиков от предсказуемого и нежелательного влияния Пруссии. Считая католическую оппозицию потенциальным препятствием собственным целям и обладая неумолимой политической злопамятностью, Бисмарк решительно ответил на этот вызов. В начале 1868 года он написал графу Гарри фон Арниму, посланнику Пруссии в Риме следующее: «С учетом того, что происходит в южной Германии, нельзя отрицать правоту тех, кто считает католическую церковь — в том виде, как она существует там на данный момент — угрозой Пруссии и северной Германии и настойчиво предостерегает нас от каких бы то ни было действий, могущих усилить влияние этой церкви или способствовать ему». Это был лишь маленький шаг, который тем не менее обозначил начало активной политики вмешательства в дела католической церкви, направленной на то, чтобы уменьшить ее действительное и все-таки заметное влияние.

Началом осложнения отношения между католиками и Пруссией послужил Первый Ватиканский собор 1870 года. Опасаясь медленного опустошения веры в религиозной доктрине, Папа Пий IX созвал епископов в тот год раньше положенного срока, чтобы утвердить догмат о папской непогрешимости. Многие протестанты и даже некоторые католики-либералы в Европе сочли, что церковь пытается вернуться в Средневековье, а также что она стремится укрепить свою верховную власть не только в религиозной, но и политической сфере. Если — как подразумевалось догматом — Папа был непогрешим и налагал запреты, противоречащие национальному долгу, то лояльность католиков как граждан своему светскому государству неизбежно вызывала сомнения. Создание в дальнейшем так называемой Партии Центра, представляющей главным образом интересы католиков, сделало очевидным, что церковь начинает активно и настойчиво вмешиваться в политику государства. Сразу после учреждения империи Бисмарк

и его представители пытались изобразить положение дел в самом негативном свете. Они утверждали, что борьба с католиками не только ослабит империю, но также, возможно, приведет ее к распаду. В апреле 1871 года Франц Шнек фон Штауффенберг заявил перед Рейхстагом: «Противостояние между церковью и государством теперь перешло из возможного состояния в действительное». Высказавшись с большей резкостью, Роберт Ремер утверждал, что этот вопрос коренным образом затрагивает проблему лояльности: «Сейчас дело обстоит так: или Рим, или Германия».

Культурная борьба, *Kulturkampf*, известная как конфликт между Бисмарком и католиками, продолжавшийся в 1870—80-х годах, представляла собой нечто большее, чем просто столкновение взглядов. Она проникала в глубь обыденного существования, влияя на повседневную жизнь каждого гражданина, проживающего в католическом государстве на юге Европы. Все распоряжения церкви, которые можно было отнести к «ультрамонталистским» манипуляциям, оказывались под строгим контролем светского правления. Прежде управление средними школами находилось по большей части в ведомстве церкви. Бисмарк издал ряд законов, в соответствии с которыми надзор за школьным образованием изымался из компетенции церкви и передавался в руки государственных органов. Подобным же образом светская власть получила контроль над другими аспектами повседневной жизни граждан — так, наряду с церковной брачной церемонией обязательной стала гражданская процедура заключения брака. Также закон запрещал священнослужителям публично высказываться по вопросам общественной и политической жизни. Однако в 1873 году этот антагонизм с принятием так называемых Майских законов лишь усилился. Законы в уничижительной форме требовали, чтобы все священники были «немцами», то есть проходили обучение в немецких гимназиях, затем по крайней мере в течение трех лет обучались в немецких университетах, изучив немецкую историю, немецкую философию и литературу. Конечно, при этом подразумевалось, что католики были вовсе не немцами, а, скорее, тайными агентами Папы.

И хотя эффективность — и, разумеется, необходимость — кампании Бисмарка весьма сомнительна, его карательные меры отпугнули даже многих протестантов, начавших осознавать, что их собственная религиозная свобода теперь зависит исключительно от непостоянных настроений единого и сильного государства. Тем не менее действия Бисмарка усилили и без того глубокую трещину, образовавшуюся в немецком обществе, которая ощущалась еще на протяжении нескольких десятилетий. И хотя к концу 1880-х годов большинство этих законов было отменено, в обществе продолжало существовать подозрительное отношение к католикам, как будто они были чужаками или по крайней мере не вполне немцами. Культурная борьба, *Kulturkampf*, сильно повлияла на жизнь Стефана Георге, чье

отношение к искусству, культуре и самой немецкой нации впервые начало оформляться в такой желчной атмосфере глубокого религиозного противостояния и ненависти.

Несомненно, вполне оправданно обеспокоенные благополучием сына, пребывающего в школе в Дармштадте, родители Георге отдали своего мальчика в католическую начальную школу, где учительствовал Филип Рааб. Он и его жена держали пансион на Ридезельштрассе, широком бульваре, с одной стороны которого тянулся большой общественный парк, а в конце возвышался главный в городе католический Собор Святого Людвига. Но заведение Раабов обеспечивало главным образом размещение и необходимое попечение. Здесь также находились три других мальчика: еще один католик, один протестант и один иудей. Учитель, преподававший катехизис Георге в гимназии, взял на себя полуофициальную ответственность следить за тем, как часто мальчик посещает церковь, будучи вовсе не уверен в том, что тот выполнит иные свои религиозные обязанности.

В зрелом возрасте Георге вспоминал Рааба с теплотой, рассказывая, что тот оградил его от каких-то посягательств, исходящих из школы или из дома, о которых, однако, умолчал. Также Рааб хорошо понимал, что мальчик из Бингена выделяется из общего ряда своих сверстников. «Однажды, — предсказал Рааб, — он станет или кем-то великим, или полным ничтожеством!» В гимназии однокашники Георге замечали в нем более осязаемые черты характера. Один из его школьных приятелей вспоминал: «Худой долговязый парень, с бросающимися в глаза густыми темно-русыми волосами над высоким лбом, с необыкновенно развитой выдающейся нижней челюстью, он выделялся из всех лукавым взглядом своих голубых ярких и блестящих глаз. Он был диковатым и драчливым и часто вступал в потасовку на школьном дворе, чаще всего — один против целой ватаги». Его воинственность, что бы ее ни вызывало непосредственно, вскоре нашла совершенно иной выход, далекий от выяснения отношений в драке. И все же он наслаждался и иными, более приятными, плодами юношеской свободы. Освободившись от надзора родителей, подросток Георге, как общаются, демонстрировал бурный темперамент, принимая участие в долгих сеансах популярной карточной игры под названием «Скат», сопровождавшихся распитием пива и всем прочим, что обычно свойственно ночному времяпрепровождению молодых и энергичных людей.

Впрочем, он не пренебрегал и школьными занятиями. Гимназия Людвига-Георга, как и большинство подобных учреждений, строго соблюдала учебный план. В отличие от двух других видов учебных заведений среднего уровня образования — реальной гимназии и высшего реального училища, гимназии готовили своих учеников исключительно к поступлению в университет. Не утруждавшие себя практическими занятиями и даже вра-

ждебно настроенные по отношению к ним, учителя видели свою задачу главным образом в том, чтобы вложить в умы своих учеников произведения древнегреческих и древнеримских авторов. В 1879 году в реальном училище в Бингене Георге уже начал изучать латынь, и спустя два года он, кажется, взялся также за изучение древнегреческого языка. Благодаря отчасти своей прежней подготовке он выделялся на фоне других учеников. На всем протяжении обучения в гимназии Георге продолжал оставаться образцовым учеником, постоянно получая «хорошо» и «отлично» по языкам, истории, за сочинения по немецкому языку и даже по математике. Табель, который он сохранил с лета 1883 года, свидетельствует о «блестящей успеваемости». В итоге, по возвращении с летних каникул ему позволили учиться классом старше.

В первый день нового школьного семестра в 1884 году «новички» подверглись критическому осмотру других учеников. «Один из них стоит в стороне, — вспоминал тот день один старшекласник, используя настоящее время, чтобы создать живой образ, — должно быть иностранец, так как он внешне отличается от остальных. Его резкие черты, скуластое узкое лицо землистого цвета, напоминавшее портрет Данте, растрепанная грива темных волос — все это производило какое-то отталкивающее впечатление. Он стоял, сцепив длинные сухие пальцы худых рук, и, не устаивая никого из нас взглядом своих серых неуловимых глаз, смотрел в окно — он просто нас отвергал». Это описание достигает литературного эффекта и окрашивается, возможно, осознанием того величия, которого Георге добьется позже, но оно вряд ли руководствуется здоровой оценкой того, чем был мальчик в те годы. Однако многое звучит весьма искренне. Кроме того, его чуждость и сохраняемая дистанция, представлявшие собой, по-видимому, необходимые защитные механизмы провинциального католика в то беспокойное время, поражают сильнее всего.

Со временем в качестве реакции на насмешки и издевки, всегда особенно отличавшие детей, Этьен долгими тренировками приобрел защитную маску превосходства. (Как известно, даже в зрелом возрасте Георге не любил, когда на него пристально смотрели дети, поскольку считал их «бесчувственными» — он подчеркивал, что уже Платон отмечал присущую им «природную жестокость».) Выделяясь своим ненемецким именем, религиозными взглядами и замечательными достижениями в учебе, Георге все в большей степени казался чужаком своим одноклассникам. Его учителя французского языка в Бингене доктора Густава Ленца, веселого джентльмена, любившего хорошие шутки, также в тот год перевели в дармштадтскую гимназию. В свой первый день в новой школе Ленц повернулся к Георге и перед всем классом добродушно сказал: «Вперед! Знаю, здесь вы также будете мои лучшим учеником по французскому языку». Это было сказано в качестве исполненного лучшими намерениями комплимента, но

можно представить, как его восприняли другие — уже немного привыкшие ко всем разделявшим их различиям — мальчики.

Привыкнув к французскому языку, постоянно звучащему в их доме, Георге, разумеется, легко справлялся с ним на занятиях. Впрочем, вскоре он владел иностранными языками на таком уровне, который превосходит непринужденную беглость привычных выражений. Еще в Бингене, будучи тринадцати лет от роду, он начал самостоятельно изучать итальянский язык, старательно переписывая и переводя сонеты Петрарки, а в Дармштадте он продолжил его изучение, читая среди прочих поэта эпохи Возрождения Торквато Тассо. Также он изучал английский язык, освоив в оригинале «Робинзона Крузо» Даниэля Дэфо, как и произведения Вальтера Скотта. «Повсюду стояли книги, — заметил он однажды по случаю, — так что можно было сесть и почитать». В то же самое время он, разумеется, продолжал знакомиться и с немецкими авторами. Георге поразили возвышенные страдания, которые он нашел в пьесах Шиллера, и тонкие и мелодичные рифмы поэзии Гейне. Проницательный и, скорее, тонкий ум романиста Жана Поля, позже извлеченного им из безвестности мировой литературы, тогда все же еще не задел чувствительных струн души мальчика. «Тогда я не понимал юмора, — говорил он о том, каким был в то время. — Чувство юмора появилось у меня только когда мне исполнилось тридцать лет». Вскоре в список прочитанных книг он добавил мастеров современной русской прозы Гоголя и Тургенева.

Однако самым удивительным является то, что Этьен принялся создавать свой собственный язык. Еще маленьким мальчиком он начал экспериментировать с языком, даже придумал нечто вроде официального языка его детской империи Амхары. Он, конечно, не слишком преуспел в своих первых опытах, но эти попытки обозначили его рано сформировавшееся увлечение, которое продолжало занимать его несколько последующих лет. Уже в Дармштадте Георге разработал основы языка, созданного в Бингене, и дополнил их более сложной грамматикой и лексиконом. Намного позже, в цикле стихотворений, собранных в «Годе Души», он также вспоминал об этих экспериментах со словами, прибегая к явной стилизации собственного образа:

Доступна лишь немногим речь пророка:
Когда явились дерзкие желанья
В избранническом мире одиноко,
Придумал он вещам свои названья.

Подобные языковые эксперименты, хотя и свидетельствуют красноречиво о более глубоких потребностях Этьена, не были, однако, сами по себе взяты, чем-то необычным в то время. Его новое творение, которое он на-

звал «Имри», хотя и было основано преимущественно на древнегреческом языке, в действительности во многих отношениях представляло собой продукт своего времени. В конце XIX века целый ряд мечтателей-идеалистов, убежденных интернационалистов и безбидных оригиналов, вдохновленных успехом, имевшим место фактически в любой области науки и техники, создал множество искусственных языков, которые, как они надеялись, будут способствовать более активным коммуникациям человечества. Самый известный из этих лингвистических кентавров с красноречивым названием Эсперанто («надеющийся») был создан в 1887 году усилиями ума врача-офтальмолога из Польши по имени Людвик Лазарь Заменгоф. Несколькоими годами ранее, в 1880 году, немецкий священник Иоганн Мартин Шлейер подарил миру свое детище Волапюк, который, как и его более известный собрат, был основан главным образом на механизмах словообразования и тезаурусе романских языков. И в этой сфере также наблюдался определенный прогресс. В 1907 году на Делегации, посвященной международным искусственным языкам, французский логик Луи де Бофрон предложил улучшенную версию Эсперанто, которую назвал Идо (что происходит от соответствующего суффикса в Эсперанто в значении «происходящий от» или «потомок»). Однако, мотивы, движущие Этьеном при разработке Имри, были связаны не с целями наилучшего понимания между людьми, а совершенно наоборот. Им двигало сильное желание создать язык, который, находясь в ограниченном владении людьми, был бы полностью подчинен его воле. Не удовлетворяясь грубым инструментарием, который невежественная толпа может выучить, а значит, может и нарушить, мальчик разработал секретное средство общения, которое открывал лишь тем, кого избирал сам.

Окутав себя вуалью созданной им самим исключительности и пытаясь построить в своем воображении имеющее собственный язык государство, которое он смог бы считать лишь своим, в отрочестве Георге все более избегал общества других мальчиков. Большинство отвечало — впрочем, весьма благоразумно — тем, что в свою очередь также стало сторониться его. Ученик, бывший в то время одним из немногих его приятелей, вспоминает, что часто на переменах между уроками Георге стоял на школьном дворе, прислонившись к стене и скрестив руки, «всегда с легкой и высокомерной улыбкой на тонких и твердых губах». Позже, вспоминая это время, Георге и сам признавал, что частенько презрительно посмеивался над своими однокашниками, за что его не раз дразнили «самодовольным болваном». Даже тех, кто был хорошо к нему расположен, поражали его рано проявившиеся претензии на исключительность. После смерти Георге Венделин Зеебахер, один из мальчиков, проживавших тогда в пансионе Рааба, вспоминает, что будущий поэт как-то сказал ему: «Однажды благополучие миллионов людей будет зависеть от меня». Также Зеебахер добавил, что

они с Этьеном «обычно выполняли домашнее задание по латыни вместе», и рассказал следующее: «Когда мы учили стихотворение Горация „Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...“ («Ehægi monumentum æere perennius»), он пророчески произнес: „Я тоже так сделаю“».

Опять-таки, остается неясным, простекало такое отношение Этьена из самодовольства и надменности, или из страха быть отвергнутым, или из желания немного отомстить за те издевательства, которым он подвергался в школе, а также до какой степени можно отделять друг от друга эти чувства, мотивировавшие его поведение. Примечательно, что те несколько мальчиков, с которыми он сошелся в Дармштадте, как и он, по тем или иным причинам были своего рода школьными изгоями. По большей части они являлись католиками, которые, без сомнения, также чувствовали себя уязвимыми и отчужденными в силу продолжающейся *Kulturkampf* Бисмарка. Так, среди других католиков, пребывающих у Рааба, он подружился с Йоганнесом Гертнером, ставшим впоследствии священником, и с двумя мальчиками из гессенского города Фридберг — Артуром Шталем и Германом Вайгелем. Характерно, что те жившие в Дармштадте мальчики Филипп Валь, Георг Фукс и Карл Руж, с которыми он близко общался, были не из его класса. Если они когда-либо встречались вне школьных занятий, то только в комнате Этьена — сам он никогда не навещался к ним в комнаты. И он строжайше настаивал на том, чтобы они всегда приходили вовремя. (До конца жизни Георге питал особое пристрастие к выражению, которое часто повторял: «Точность — вежливость королей».)

Но лишь те немногие, кого он допустил в свои частные владения, могли быть свидетелями подлинной глубины и силы его природы, скрытой за надменной наружностью. Георг Фукс, который несколько раз встречал Георге позже в Мюнхене и Берлине, сохранил живые воспоминания о тех временах, когда получил доступ в этот узкий кружок. Фукс вспоминал, как однажды занятия закончились раньше из-за болезни учителя. Он и Этьен, которому тогда было шестнадцать лет, растянули удовольствие от прогулки, решив пройтись до окраин города и, в оживленной беседе о религии, там заблудились. Вдруг они подошли ко входу на площадку для игры в кегли, что находилась поблизости от открытого пивного ресторана, Этьен тут же остановился и произнес: «Давай предположим, что это и есть то убежище, о котором мы только что говорили. И если ты действительно можешь поверить в это, если Бог одарил тебя верой великой силы, то это место подлинно священо. Обладаешь ли ты достаточной смелостью, чтобы войти туда со мной и сопротивляться тем силам, что я призыву?» Сначала Фукс рассмеялся, считая, что его друг всего лишь морочит ему голову. Но когда он взглянул в серьезное лицо Этьена, то сразу же стих. Не желая упускать возможность доказать свою смелость, Фукс с мальчишеской бравадой заявил, что на все готов. Войдя в тесный темный коридор, Георге

начал неразборчиво бормотать слова своего тайного языка, пока они медленно продвигались по узкой песчаной дорожке, огражденной деревянным забором, на всем пути отбивая поклоны и вставая время от времени на колени. Достигнув середины своего пути, Фукс надел на голову капюшон своего плаща и далее следовал за Георге вслепую, пока тот не велел ему остановиться. Соорудив в начале комнаты импровизированный алтарь из учебников, он стал ходить вокруг стоящего на коленях Фукса и продолжал свою гнусавую монотонную литургию. Наконец, когда Георге трижды повторил определенную церемониальную фразу, Фукс почувствовал, как на него сверху сыплется песок. После того как он снял свой колпак, после замешательства ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что площадка для игры в кегли, на которой они находятся, вовсе не превращалась в священный замок.

То скучая на школьных занятиях, то все более отдаляясь от своих одноклассников, подвергавших его гонениям, подросток Этьен обнаруживал, что в нем просыпаются новые потребности. Многие годы спустя, говоря о времени, проведенном в Дармштадте, он вспоминал «только одного мальчика, привлекавшего его более всех остальных, — симпатичного и безвременно ушедшего сына сенешаля». Но были и другие. Фукс сообщал, что питавший отвращение к той страсти, которую его достигшие половой зрелости одноклассники испытывали к своим пассиям из танцевальной школы, Георге посвящал себя только страстной дружбе с сыном одного богатого купца. Этого общения, казалось, Фукс не понимал, «поскольку оно не было предметом общего любопытства, так как личность, о которой идет речь, не имела отношения к тому, что нас тогда интересовало». Тем не менее «из всех людей только с ним одним Георге разговаривал и переписывался на том тайном языке, который сам и создал, и только ему он посвящал свои стихи, написанные на этом языке». Однако вскоре этого мальчика «начало утомлять взыскательное, фанатичное и совершенно непостижимое стремление к абсолютной исключительности, и он, не представляя, насколько это будет трагично, перед другими учениками назвал его „чокнутым“ и поднял на смех его „фантазии“». Это был мучительно горький и унижительный опыт. Но он не был первым, как не суждено ему было стать и последним отказом, который Георге получил в ответ на свои ухаживания и запретные чувства.

Так же, как обычно поэт поступал в зрелом возрасте, Этьен стал тогда искать убежище от неподвластных сил, принадлежавших реальности, в каком-то им самим созданном царстве, в большей степени соответствующем его желаниям. Самое первое из сохранившихся стихотворений Георге, написанное в 1882 году сразу после приезда в гимназию, с обезоруживающей честностью сообщает о той тяжелейшей и ожесточенной борьбе, которую

он, четырнадцатилетний мальчик, вел с собственными чувствами и надеждами. Как и можно ожидать, по большому счету это — незрелое и подражательное сочинение, сильно напоминающее баллады Гейне, не дающие ни малейшего представления о том мастерстве, которого Георге достигнет позже. Но тематически оно вполне соответствует его написанным в дальнейшем произведениям. В стихотворении «Принц Индра», повествующем о сказочном и далеком восточном царстве, которому Георге дал имя Гольконда, рассказывается, как юный и прекрасный шахзада, обученный мудрости и царским добродетелям праведным отшельником, живущим «в святом искупительном лесу», до срока возвращается во дворец своего отца. Несчастный из-за того, что оставил любимого учителя и их «милые прогулки» по лесу, принц Индра тем не менее стремится вести жизнь, полную благородных деяний, и таит надежду на славу, ожидающую его в будущем. Принц, которого радостными криками приветствует толпа людей, собравшихся на празднике в честь его возвращения домой, присоединяется к праздничной процессии по улицам города в сопровождении звуков трубы, барабанов и флейт. Тем не менее в самый разгар бурного празднества в честь его прибытия принц печально и одиноко бредет по вечернему саду, рассуждая, как исполнить самое горячее наставление своего учителя — «что Бог может тебе даровать / Обрести в верный час преданного друга» среди огромного числа веселых людей, окружающих его. Тут он слышит нежную песню и, пойдя на звук чарующего и манящего голоса, в лунном свете видит купающуюся в фонтане «водную нимфу, чьи чары / сильны и прекрасны». Оказалось, это была Аспара, считавшаяся самой прекрасной девушкой во дворце, которая «часто пыталась привлечь его / взглядами пылкой любви». Тщетно сопротивляясь «неминуемому греху», в миг страстного исступления принц Индра все-таки поддался ее чарам.

За первой частью стихотворения со зловещим названием «Грехопадение» следует раздел с не менее пугающим заголовком «Расплата», в котором принц казнится раскаяниями и чувством вины. Считая, что предал учение своего учителя, полный самоуничтожения, принц уныло бредет по коридорам дворца в поисках избавления от угрызений совести. Он даже подумывает навсегда оставить царский дворец и вернуться для искупления греха в лес к своему учителю. Его отец, Раджа, заметив, как сильно переменялся сын, призывает его к себе. Не добившись ответа, что печалит принца, Раджа пришел к суровому выводу, что тот жаждет завладеть тронном и считает собственного отца препятствием к этой цели. Принц Индра, поняв, что потерял доверие отца, приходит в отчаяние.

Однако в следующей части стихотворения под названием «Спаситель» говорится о неожиданном спасении. Ускользнув из дворца, переодетый в обычную одежду, принц случайно встречает еще одного певца, на этот раз

юношу «прекрасного, хотя и в бедном платье», сидящего у лачуги посреди пальмовой рощи и играющего на лире.

Казалось, что прекрасней образ никогда
Пред принцем не являлся, —
И сильная, пылкая страсть
Влекла его к этому мальчику,
Что был мил и так прелестен.

Переодетый принц неуверенно подошел к мальчику, который пригласил его присесть и послушать свою песню. Доверившись прекрасному мальчику, принц признается ему во всем, его доверие вознаграждается нежными объятиями, что дарит ему его новый друг, говорящий ему, что он «должен найти настоящее дело, — / Ты должен примирить свою душу и тело». Воодушевленный этим советом найти достойное дело и тем самым побороть демонов, овладевших им, принц Индра возвращается во дворец, пообещав мальчику, что через десять месяцев они вновь встретятся. Тогда он, приложив немало усилий, с успехом противостоит «отвратительным чарам» девы Аспары и вскоре достигает внутреннего спокойствия. В назначенный день принц Индра спешит в пальмовую рощу. Воссоединившись со своим другом, он не хочет с ним больше расставаться, говоря:

Пойдем со мной, спаситель мой, советчик,
К моему отцу с тобой мы поспешим!

Тебя он с радостью обнимет —
Ему теперь ты дорог словно сын,
Что даровал его наследнику заблудшему
Перерождение и новую жизнь.

Пойдем! И оцени мои труды,
Узри меня в моем полнейшем счастье!
Останься же со мною навсегда
Моим стань ты предвечным другом!

Мотивы и образы, отраженные в этом относительно коротком стихотворении, станут основными для поэзии Георге, он будет использовать их бесконечное число раз в своих стихотворениях. И хотя благородный образ непонятого и одинокого человека в чужой стране является общим местом в юношеских поэтических излияниях, Георге никогда от него не отказывался. Завуалированный, почти неразличимый намек на конфликт с отцом — заслуги матери не упоминаются, — а также на мучительный поиск подростком своего места в мире. Также требование сублимировать неподвластные страсти в продуктивном созидании — еще один фрейдистский

мотив, который, впрочем, Георге никогда не интерпретировал в таком ключе, — неоднократно появляется в стихотворениях, написанных в дальнейшем. Самыми важными здесь, однако, являются образы сексуального обольщения женщиной и гетеросексуальных любовных отношений в более широком смысле — они представляются чем-то отвратительным и низким, тем, чему следует противостоять, и что требуется подавлять, чего бы это ни стоило. В стихотворениях, написанных Георге в следующие десять лет, эта тема возникает постоянно, он почти навязывает свое мнение на этот счет. Потом она совершенно исчезает, будто проблема решила сама собой. Подобным же образом поиск друга, в особенности друга и товарища мужского пола, желание обрести спутника и наперсника, прекрасного, преданного и верного, вновь и вновь появляется в его поэзии до тех пор, пока Георге не понял, что равноправному «со мной» он в действительности предпочитает того, кто ему подчиняется.

Несмотря на некоторую вялость, Дармштадт не был полностью лишен развлечений. Большое наслаждение Этьен находил в посещении старого придворного театра. В своем неприкрыто пренебрежительном описании города Генри Джеймс не обошел вниманием и «театр, который стоит рядом с Замком, главным фасадом к парку, а задней стороной — к лугам и коттеджам». Нет ничего необычного в том, что театр, сцена которого известна всему Гессену, как пояснял Джеймс, «имеет государственное значение, его директор по своей политической значимости уступает лишь премьер-министру или главнокомандующему. И вернее будет сказать, что директором является сам великий герцог, а главной актрисой — его августейшая супруга. Теперешний великий герцог Гессен-Дармштадта — я полагаю, ревностный покровитель драмы и содержит комедийную труппу, которая, вне всяких сомнений, упорно трудится, чтобы развеять тоску этой столицы». Придворный театр, хотя и относился к ведомству герцогского двора, приветливо распахивал двери перед всеми, и поскольку цены на билеты были вполне разумными (сорок пфеннигов — по будням и пятьдесят — в воскресный день), даже школьники могли позволить себе посещать его так часто, как только пожелают.

И они действительно ходили в театр. Этьен крайне редко пропускал представления в «Олимпе» — под этим величественным, но и нежным именем герцогский театр и был известен. Добротные постановки по произведениям классических немецких авторов, главным образом Лессинга, Гёте и Шиллера, чередовались с постановками по драмам Шекспира, а также иногда с операми Вагнера. Но когда в величественном придворном театре вышли за рамки безопасного консервативного репертуара и представили постановку по «Столпам общества» Генрика Ибсена, это не произвело сенсации. В 1870-х годах этот норвежский драматург вызывал по-

вышенный интерес на континенте благодаря своему обезоруживающе честному исследованию скрытых под покровом обходительности — или, как считал сам Ибсен, лицемерия — личных тайн и разорванных семейных отношений. Противоречия, вызванные в 1879 году его «Кукольным домом», который внес свой вклад в современное феминистическое движение, два года спустя сменились скандалом и возмутительными отзывами в связи с «Привидениями», где Ибсен осмелился исследовать губительное воздействие сифилиса на жизнь молодого человека. Один анонимный критик из лондонского «Дэйли телеграф» счел это произведение «жалкой, печальной и отвратительной историей», другой назвал его «отвратительно непристойным и нечестивым». Более остроумные замечали, что волна «ибсенизма» захлестнула Европу.

Этьен был совершенно покорен этой постановкой. В 1880-х годах для большинства молодых людей Ибсен олицетворял собой освежающее дуновение ветра, своей откровенностью бросающее вызов лицемерию буржуазии и самодовольству и напыщенности среднего класса. Имя Ницше начало получать известность лишь в модных светских салонах столичных городов Европы, провинция пока еще довольствовалась Ибсеном. Вскоре после того как Этьен посмотрел постановку «Столпов общества», он уже вполне уверенно владел норвежским языком и, опираясь на уже существующие переводы, переводил на немецкий избранные места из ранних произведений Ибсена, таких как «Катилина» (1850) и «Воители в Хельгеланде» (1858). Примечательно, что он предпочитал эти древние трагедии, повествующие о героической смелости, — «Катилина», например, основана на жизни древнеримского аристократа, ставшего демагогом, попытавшимся насильственным путем свергнуть сенат, — и воздерживался от современной социальной драмы. В своем усердии Этьен пытался убедить своих друзей из узкого круга также изучать норвежский язык и побуждал их читать именно те пьесы, которые не пользовались успехом у публики. Вскоре — если не в оригинале, то по крайней мере в переводах, существовавших в то время в Германии, — они жадно прочли их все: «Фру Ингер из Эстрота», «Комедию любви», «Притворщиков», «Бранда», «Пер Гюнта», «Кесаря и Галилеянина».

В то же самое время Георге продолжал пробы пера и поэтические опыты. Собранные позже в опубликованный на рубеже веков «Букварь» («Die Fibel»), его короткие стихи были написаны в период между 1886 и 1887 годами и также не дают нам представления о той уникальности и оригинальности, что отличает поэзию Георге на пике творческих сил. В действительности, по большей части они так или иначе возвращаются к мотивам и образам «Принца Индры» — повествуют о юношеском стремлении к смелым и великим свершениям и одновременно о страхе лишиться творческих способностей, напоминают об одиноких детских мечтах в деревне, а также на-

водят на меланхолические размышления о ранней смерти и бессмертии и, что более важно, рассказывают о страстном желании любви к другу, также жаждущему устоять перед женскими чарами, которые в его стихах представлены таинственными и пугающими образами прелестных и манящих наяд, сирен и нимф. Имеют ли эти страхи под собой биографическую основу, неизвестно. Если в эти годы Георге и состоял в каких-либо отношениях с девушкой, какие бы то ни было сведения об этом, кроме его собственных стихотворений, полностью отсутствуют. Так что нашему исследованию остаются лишь его фантазии — благо, смысл сюжетов его поэзии лежит на поверхности.

Во время регулярных встреч с школьными приятелями, которые собирались в его комнате, Этьен часто декламировал свои первые нетвердые стихи, пока те пили горячий шоколад, заботливо приготовленный хозяином. Многие из этих мальчиков также пытались сочинять стихи, но далеко не у всех это получалось. Карл Руж упоминал о том, что некоторым их общим приятелям явно недоставало поэтического дара и что они так и не смогли написать ни единой строки; у них было желание, но не было способностей. «Должно быть, Георге считал, — предполагал Руж, — что они должны быть не только поэтами, но также чтецами и слушателями». Но важно не преувеличивать значение этих ранних экспериментов. Юный Георге все еще находился в поиске, стараясь найти подходящий род занятий и выразить свои силы. «В то время он ни в коей мере не считал, что призван быть поэтом, — сообщает Георг Фукс. — Скорее, он чувствовал, что ему предназначено принять сан и стать священником». Временами роль поэта и роль священника сливались в его воображении в единое целое, и он тем или иным образом искал возможность объединить священную миссию одного с творческой силой другого.

И все-таки именно поэзия, а также личность Этьена, служила той силой, что объединяла мальчиков вместе. В Дармштадте были и другие «литературные» сообщества, как например то, что сложилось вокруг ныне забытого писателя Вильгельма Валлота (1854—1932). В 1885 году Валлот опубликовал «Октавию. Исторический роман о времени императора Нерона» — труд, вскоре печально прославившийся своим вдохновенным описанием любви двух мальчиков друг к другу. В 1889 году Высший суд империи в Лейпциге постановил изъять труды Валлота, а на следующий год Валлот вместе с еще одним автором и издателем были обвинены так называемым Судом реалистов в распространении непристойной литературы. Возможно, Валлот является тем безымянным «взрослым мужчиной», о котором Георге позже вспоминает, что в 1887 году тот обращался к нему через посредника. «Он попросил кое-кого, — описывал этот эпизод Георге — узнать у меня, не дам ли я ему свои стихи для публикации». Возможно, инстинктивно повинувшись своему внутреннему голосу, призывавшему

его быть благоразумным, Этьен отверг это предложение, равно как предпочитал держаться в стороне от других литературных клубов, что не были созданы им самим. 20 июня в том же году он и четверо или пятеро его друзей собрали свои лучшие произведения и опубликовали их в виде литературного сборника, который они собственноручно отпечатали на гектографе и которому дали название, соответствующее их юношеским занятиям, — «Розы и чертополохи. Иллюстрированный журнал».

Все авторы этого издания использовали вымышленные имена: Этьен Георге подписался именем Эдмунда Делорме, впоследствии не раз использованным им в других своих публикациях; Георге Бетхер писал свои стихи на французском языке под именем Г. Тоннелье; Артур Шталь в память об известном как «Румыния» любимом месте для прогулок в родном городе Фридберге взял себе псевдоним Румынофил, в то время как Руж дебютировал под именем Криспа, которое он взял из-за своих кудрявых волос. Герман Вайгель, чье прозвище было Фипс, по неизвестным причинам опубликовался под псевдонимом Мо. И хотя эти псевдонимы говорили о легкомыслии авторов, данный проект имел под собой весьма серьезные основания, о чем возвещали в аннотации сборника редакторы.

Нашим читателям:

Сборник, который сегодня выходит в свет, весьма красноречиво говорит о своих целях собственным названием. Исключив статьи о религии и политике, он стремится развлечь читателей повестями, рассказами и очерками различного содержания и эпической, лирической и драматической поэзией. Также, дабы угодить вкусу наших читателей к остроумным шуткам, в особом разделе мы публикуем анекдоты и карикатуры.

Поскольку данное издание обязано своим появлением нашему желанию поощрить и подкрепить творческие увлечения в противовес часто утомительным и изматывающим школьным занятиям, здесь также присутствуют произведения, выражающие подобные настроения. И раз местный колорит иногда весьма прозрачен в этих произведениях, мы просим принимать во внимание то, где проживают и обучаются авторы, особенно потому, что мы всегда предлагаем лучшее нашим читателям.

Редакторы.

Благодаря своему увлечению Ибсеном большинство соавторов считали драму самым привлекательным для себя жанром и трудились над пьесами, в том числе и для этого сборника. Руж — возможно, самый талантливый и амбициозный из всей группы авторов — написал трагедию о Древнем Риме «Сарториус», а также у него были далеко идущие планы относительно произведения «Евдокия», для написания которого он подготовил планы и наброски. Этьен также пробовал свои силы в этом жанре, сохранились фрагменты его пьесы под названием «Мануэль» и двух других

его драматических произведений — «Фраорт» и «Ботвелл». Находясь некоторое время в нерешительности относительно того, ведет ли его путь в театр, Этьен продолжал работать над набросками этих произведений в течение еще нескольких лет, пока наконец окончательно не отказался от драмы как жанра. Хотя на титульном листе значилось, что «новый выпуск будет выходить каждый понедельник», новый номер так никогда и не увидел свет. То ли по финансовым причинам, то ли из-за расхождения во мнениях, то ли просто из-за лени, однако, век «Роз и Чертополохов» оказался недолог. Но, несмотря на то что журнал существовал так мало, он содержал семена будущих всходов.

Постепенно приближалось время, когда Этьен должен был сдавать выпускные экзамены в гимназии Людвига-Георга и возвращаться домой, но будущее его было неопределенным. К счастью, тема сочинения для зачисления в университет была связана с его любимым предметом — драмой, однако она была так расплывчато сформулирована, что он написал сочинение, не прибегая к собственным творческим способностям. Требовалось проследить «Развитие драматического действия в „Мессинской невесте“ Шиллера», и в своем сочинении он то и дело вводил пустые фразы, которые так любят многие поколения студентов. Должным образом изложив весь сюжет пьесы, Этьен в конце сочинения подвел следующий итог: «прекрасный поэтический язык, гениальный сюжет и связь между отдельными сценами делают „Мессинскую невесту“ одним из величайших произведений искусства». Этьену было хорошо известно, с каким педантизмом учителя относятся к проверке сочинений, и он решил уточнить достоинства этого произведения, указав, что «введение в драму хора представляет собой устаревшее художественное средство, этот античный принцип трагического в наше время совершенно неоправдан». За свой усердный, но далеко не выдающийся труд Этьен был вознагражден такой же средней, но приемлемой оценкой — «довольно хорошо», и точно так же по истории и географии. По другим дисциплинам он получил только «удовлетворительно». В общем, неблестящее, но весьма сносное положение. Главное теперь заключалось в том, что он был свободен.

Прежде чем навсегда покинуть Дармштадт Георге собрал в своей комнате друзей на прощальную церемонию. Комната, занимаемая им в пансионате Раабов на протяжении последних шести лет, после его отъезда должна была быть полностью отремонтирована. И поскольку старые обои отслужили свой срок, мальчики решили устроить им достойные проводы. Они дружно собрались у Раабов, каждый принес с собой кисть и банку краски, и вскоре вся комната была украшена рисунками. Посередине стены был изображен огромный, причудливый щит, на котором располагались Солнце, Луна и всяческие непонятные символы. Этот центральный образ окружали различные повторяющиеся девизы на древних и современ-

ных языках, включая обязательную цитату из Ибсена, из его норвежского текста «Бранд», гласящую примерно следующее: «Я исполняю свой долг по глубокому убеждению, но только в пределах собственных сил и возможностей». Еще одна максима их собственного сочинения гласила: «Здесь мы „аль фреско“ рисуем, и хотя это не внушает доверия: это и есть метод нашего искусства и нашего экстаза — наша мазня». И когда они в последний раз коснулись кистью этого шедевра, в комнату вошла фрау Рааб и добродушно покачала головой, глядя на «разукрашенную» комнату «ее» Этьена, который вскоре уезжал.





Глава третья

ПЕРВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

В 1888 году, вернувшись в Бинген прямо перед Пасхой, Георге был спокоен, но нерешителен. Он знал, чего не хочет, — он вспоминал об этом всякий раз, когда видел, как его отец улыбается покупателям и расшаркивается перед ними. И все же важный вопрос оставался нерешенным. На выпускных экзаменах в гимназии он высказал намерение поступать в университет и изучать юриспруденцию. Но друзья, зная его выдающиеся способности к языкам, полагали, что он посвятит себя изучению современной филологии. Хотя нерешительность Этьена не являлась чем-то необычным для юноши девятнадцати лет, у него она была обратной стороной все усиливающегося упрямства. В состоявшейся несколькими десятилетиями позже беседе с Эрнстом Робертом Куртиусом Георге рассматривал свои юношеские метания в более широком контексте. «В Германии тогда было нестерпимо, — утверждал он. — Вспомни Ницше! Если бы они принудили меня остаться в стране, я начал бы метать бомбы или погиб, как Ницше. Мой отец был рад избавиться от меня, поскольку предполагал, что может случиться нечто дурное».

В действительности метание бомб представлялось вполне действенной мерой некоторому числу недовольных и даже злых молодых людей по всей Европе в 1880-х и 1890-х годах. На рубеже веков в главных европейских столицах анархизм, известный своими экстремистскими политическими настроениями и действиями, представлял реальную угрозу стабильности общества. К 1890 году анархисты, действующие в одиночку или в

сообществе со своими единомышленниками и соратниками, успели совершить покушения на убийство короля Италии, императора Германии, короля Испании и русского царя. И в последующие годы не удалось миновать опасности: 10 сентября 1898 года в Женеве итальянским анархистом Луиджи Лукени была убита австрийская императрица Елизавета, и менее чем через два десятка лет в Сараево убийца другого монарха, принадлежащего к династии Габсбургов, помог поджечь запал мировой войны. Однако, бунт анархистов был направлен не на «верхи» государства — их безжалостные атаки предназначались главным образом широкой и пассивной сердцевине общества, известной как буржуазия. И анархисты вовсе не стремились к изменению или реформированию чванливого общества, зараженного моральным разложением, бездуховным материализмом и злоупотреблениями класса-эксплуататора, а хотели просто уничтожить его.

Надежную опору для своей деятельности движение нашло во Франции, в частности в Париже, бурная политическая и общественная жизнь которого позволяла анархистам достигнуть беспрецедентного объединения организационных усилий и действий. С 1890 по 1894 год только в Париже произошло одиннадцать взрывов. Самым отъявленным и самым опасным из анархистов был Эмиль Анри, ответственный за две смертоносные атаки. В первом случае он бросил бомбу в переполненное посетителями кафе «Терминюс», убив при этом одного человека и еще двадцать ранив; во втором — заложил бомбу на вокзале на Рю дэ бонз-анфэн, унесшую жизни пяти полицейских. Эмиль Анри не выказал раскаяния в своих деяниях и гибели невинных людей, напротив, в речи на суде вызывающе заявил: «Мы не намеревались ни жалеть кого-либо, ни отступать, мы всегда будем двигаться вперед к революции, которая является целью наших усилий и в конце концов увенчает наши труды — мы освободим мир!» Чтобы устранить малейшее сомнение относительно цели своих «усилий» и продемонстрировать решимость умереть за свои убеждения, он добавил: «В этой безжалостной войне, объявленной нами буржуазии, мы не просим о сострадании». В другом поразительном случае Огюст Вальян в Национальной Ассамблее привел в действие мощную бомбу, начиненную гвоздями. В качестве устрашающего примера он был публично гильотинирован. Вальян до конца так и не раскаялся в содеянном и, когда его вели на казнь, кричал: «Смерть буржуазному обществу! Да здравствует анархия!»

Вероятно, юный Этьенн Георге еще не перевел отвращение к занятиям своего отца в плоскость идеологических обвинений, адресованных всему социальному классу, который тот представлял. Но со временем он начал испытывать глубокую ненависть к буржуазии и выражал ее в тех же понятиях, что в точности соответствовали политической обстановке его юности. В сентябре 1910 года, незадолго до начала Первой мировой войны, когда к подобным разговорам перестали относиться как к всего лишь без-

обидным интеллектуальным упражнениям, одному из своих знакомых Георге описывал свое отношение к культурной жизни в Германии в радикальных и крайне провокационных выражениях. «Он утверждал, что считает, как считал и прежде, обстановку и людей в Германии просто безмерно дурными: „Если захотите дать мне характеристику — это может быть только отъявленный анархист“». Пораженный подразумеваемым этими словами насилием, его собеседник отпрянул: «Но вы же не можете требовать динамит!» Георге холодно ответил: «Разумеется, не могу. Я просто не знаю, как его получить. Эти люди находятся в подполье». Позже, в 1922 году, он продолжал превозносить «первых русских анархистов Бакунина, Александра Герцена», говоря, что «написанное этими людьми безусловно актуально и верно и по сей день».

А до тех пор, в начале весны 1888 года, противостояния, в которые был вовлечен Этьен, являлись куда как менее радикальными. Но поскольку буря могла разразиться в любой момент, он скрывал свое неприятие под манерой холодно держаться с людьми. Внезапно, фрау Рааб отправила своего невозмутимого постояльца домой с письмом к отцу, где заверяла, что сожалеет о том, что «ей пришлось расстаться с такой честной душой». Возможно, это замечание было намеренно неоднозначным, но можно уверенно утверждать, что она написала письмо с благими намерениями. Однако если бы эта добрая женщина знала, что на душе у Этьена, то, возможно, подумала бы, прежде чем писать это письмо. Растущая неуверенность в самом себе вкупе с сильными амбициями, которые Георге начал демонстрировать во время учебы в гимназии, теперь, когда исчезли школьные развлечения, стали еще более сильными и твердыми. Но его не отпускала еще одна тревога, касающаяся все более ясного и тем более мучительного осознания природы и особенности собственных физических влечений, а также того, как они, если о них станет известно, будут восприняты окружающими. Постепенно это смутное чувство превращалось в непоколебимую уверенность, и именно это внушало ему большое опасение. Он выразил эти тревоги в стихотворении под названием «Ученик», написанном сразу после отъезда из Дармштадта. Рассказывая в нем о прежних днях, протекающих «в темных залах, в праведных трудах», поэт вспоминает: надежно укрытый в школе, «вдали от человеческих грешных и тщетных стремлений, я получил, как в награду, Сокровенную благодать». Но, как обычно бывает, эта внутренняя тишина оказалась иллюзорным спокойствием. Неожиданно, все изменилось.

Что породило это измененье? Не только лишь, конечно,
Мои блужданья по пустующим альковам,
Где среди иных диковинных вещей
Я обнаружил зеркало блестящего металла,
Перед которым я впервые изучил

Все тайны собственного тела и тел других.
И верить дольше было б чистым святотатством,
Что самый младший ученик здесь — белокурое дитя,
Следившее за мной огромными глазами, —
Мог так глубоко мою душу потрясти.

За описанное в стихотворении новое осознание собственной телесной жизни, вошедшее в него, словно через ворота, через отражение в зеркале, Этьен заплатил безмятежностью своей юности и невинностью. Однако пробуждение в нем сексуальности далось ему тяжелее, чем это обыкновенно бывает. Не будучи способным или не желая верить в то, что белокурый мальчик все еще мог пробуждать в нем такие бурные эмоции, и налагая нечто вроде внутренней моральной цензуры на такого рода привязанности, он пытался отрицать то, что чувствует. Половое созревание принесло с собой кризис, могущий стать разрушительным, поскольку усложнялся тем чувством, что его наклонности могут счесть злом или пороком. Терзаясь сомнениями относительно своей сексуальной ориентации и, несомненно, зная, какой позор и унижение — или того хуже — его чувства могут навлечь на него, если он будет выражать их открыто, а также совершенно не определившись с тем, какое направление примет в дальнейшем его жизнь, Этьен чувствовал себя в западне, он был смущен и напуган. Бегство казалось ему тогда единственным подходящим решением.

С благодарностью приняв освобождение от необходимости остаться в Бингене и помогать отцу — который смирился с этим и решил передать роль своего преемника младшему сыну Фрицу, — Этьен быстро завершил свои приготовления к путешествию. Возможно, он был не вполне анархистом, тем не менее чувствовал, что своим отъездом отвергает буржуазное существование. И все-таки для его путешествия были прагматические предпосылки. Если он действительно собирался в конце концов посвятить себя изучению современной филологии, то вполне имело смысл усовершенствовать свое владение языком, практикуя его в разговорной речи. Французский язык не вызывал особых трудностей, а значит, мог подождать. Чувствуя, что не владеет английским языком свободно, Этьен решил сначала отправиться в Лондон. В середине марта он написал своему школьному товарищу Карлу Ружу в Дармштадт и попросил раздобыть для него учебник по английскому языку под названием «Вы говорите по-английски?» Через две недели Руж сообщил, что искал по всему городу, в том числе в книжном магазине Шлаппа и еще двух лавках, но так и не нашел ни одного экземпляра этого учебника. Но это не имело значения — уязвимый, но несломленный, в конце апреля 1888 года Этьен покинул свою семью и отправился на речном корабле вниз по Рейну, минуя Голландию, а потом через Ла-Манш — в Англию.

С населением почти четыре миллиона жителей Лондон в то время был самым крупным городом на планете, центром огромной и при этом продолжающей расти империи и сердцем революционных изменений, затронувших практически все сферы человеческого существования. Широко раскинувшаяся, энергичная, сильная и трудолюбивая столица Англии воплощала мировую мощь на пике своего подъема. И более всего влекло немецкого путешественника то, что Лондон был динамично развивающейся культурной Меккой. Самым ярким ее представителем был обладавший бесспорной важностью и необузданный Оскар Уайльд, пользовавшийся тогда невероятной популярностью у лондонской публики. Знакомый с основами, заложенными в 1850-х годах школой прерафаэлитов, главным образом представленной Данте Габриэлем Россетти, Эдвардом Бёрн-Джонсом и Алджерноном Чарльзом Суинберном, и следуя примеру Уолтера Патера, чью книгу «Ренессанс» он просто обожал, Уайльд развивал такие взгляды на искусство, где ему подчеркнуто отказывалось в какой бы то ни было значимости, если она не была связана с эстетическими ценностями и только с ними. Порвав с традицией, глубоко уходящей корнями в классическую античную культуру, это эстетическое движение явно обходилось без строгой морали, политической пропаганды и каких-либо иных идеологических максим. Искусство, как гласит известная фраза, должно существовать только ради искусства. Поэзия, живопись и музыка вовсе не должны делать какие-то особенные заявления, они должны всего лишь создавать прекрасные произведения искусства. «Эта преданность красоте и созданию прекрасного, — открыто заявил однажды Уайльд — и есть испытание для великих цивилизаций». Конечно, это была бесстыдная самореклама, но самореклама высокого уровня. Со временем, хотя и с некоторыми изменениями, данное положение станет также частью и творческого кредо Георга.

И тем не менее в Лондоне не все без исключения было восхитительно. Английская столица не уберегла себя от политических волнений, ударивших по континенту. За шесть месяцев до прибытия туда Этьена, десять тысяч потерявших работу рабочих, анархистов, радикалов и социалистов собрались на Трафальгарской площади, протестуя против растущей безработицы и жесткой политики правительства по отношению к национальному движению в Ирландии. Озабоченное тем, что положение может ухудшиться, правительство послало против бунтующих полицейский отряд, а также кавалерию и пехоту ему в подкрепление; вместе они жестоко разогнали демонстрацию, в результате чего в больницах оказались несколько сотен граждан, многие из них — с тяжелыми травмами. 13 ноября 1887 года, известное также как Кровавое воскресенье, надолго осталось в памяти жителей Лондона; должно быть, и следующей весной эти события продолжали оставаться актуальной темой разговоров. Друзья Этьена в Дармштадте опре-

деленно знали об этом инциденте и его последствиях, а в своем первом письме в Лондон, датированном 23 апреля, Карл Руж настойчиво спрашивал: «Возникли ли уже у тебя разногласия с соседями по поводу ирландского вопроса?»

Неизвестно, с какой серьезностью Этьен принимал участие в подобных дискуссиях и уделял ли он им вообще какое-либо внимание. Годы спустя он вспоминал, что, находясь в Лондоне, не читал газет и однажды вечером только из разговора за ужином узнал, что император Вильгельм I умер. «Когда ты молод, — пояснял он, — то занимаешься только и только самим собой». Очевидно, в сравнении с Дармштадтом, не говоря уже о Бингене, Лондон предоставлял более широкий и более разнообразный спектр событий и развлечений, которые раньше он мог только рисовать себе в своем воображении. Но тем не менее, даже если город величайших сокровищ, несмотря на все политические беспорядки, и произвел сильное впечатление, то Этьен держал это при себе. Находясь в Лондоне, он, кроме Ружа, состоял в постоянной переписке с Артуром Шталем, который был одним из редакторов неудавшегося журнала «Розы и чертополохи». К середине мая Этьен уже мог с восторгом сообщить Шталю о том, что «видел и обожает все главные достопримечательности: Вестминстерское аббатство, Собор святого Павла, Национальную галерею». Однако он отказался подробно описать их своим друзьям — «эти названия вам ничего не скажут», — заметив лишь, что эти достопримечательности «волшебны, превосходны, великолепны». Подобным же образом, хотя Этьен и упомянул о том, что «побывал на большом „собрании“ протестующих против налога на колеса», но ограничил свою реакцию на это упражнение демократических мускулов следующим надменным наблюдением: «Такие собрания — сильная штука».

Он остановился в пансионе, который содержала семья из Стоук-Ньюингтона, одного из новых промышленных районов на северной окраине города, начавшего развиваться в первой половине XIX века. Этьен попал в то окружение, где на английском языке «говорили разве что в виде исключения». Несмотря на то что его знали все постояльцы, для большинства из них он вовсе не был родным языком. Его друзья, оставшиеся в Германии, особенно хотели узнать о женщинах, с которыми ему удалось познакомиться, и это любопытство он должным образом удовлетворял, как например тогда, когда написал Шталю: «Недавно я побывал также в Гайдпарке. Бог мой, какие там женщины — прогуливаются пешком, ездят в колясках и верхом на лошадях. С этого момента я не желаю слышать ничего дурного об английских дамах. Кстати, семья, у которой я живу, представила меня дюжине дам». «Дюжину» знакомств с дамами он, возможно, и завел, но по большей части эти дамы являлись постоялицами того же самого пансиона и иногда весьма экзотическими особами. Немного позже в письме Шталю он опять сообщил:

В нашем доме представлены, должно быть, все национальности. Недавно нас посетила голландская дама, очень крепкая персона, и угадай, кому я имел честь быть представленным недавно — принцессе, индийской принцессе. Это небезынтересное знакомство. Она, кстати, черна, как смоль, но вовсе не безобразна (ее мать — англичанка) и говорит на чистейшем английском языке. Сейчас здесь гостит дама из Ирландии (ее отец, между прочим, — итальянец), и тут у меня есть великолепная возможность познакомиться не только с англичанками, но и с *женщинами* вообще.

Подобными же впечатлениями Этьен делился с Ружем, который взволнованно требовал: «Привези фотографии *всех* женщин, которых ты знаешь», — и шаловливо добавлял на английском: «Мне это будет приятно!» Однако, в противоположность страстно увлеченному Ружу, Этьен описывал женщин, с которыми познакомился, в беспристрастных, спокойных и даже несколько пренебрежительных выражениях.

По большей части из-за того, что английский Этьена был все еще далек от совершенства, он не смог оценить и открыть для себя современную поэзию. Это произошло лишь в Париже. Этьен читал романы, особенно выделял и хвалил «Риенци» Бульвера-Литтона и Теккерея, и, казалось, его интересовало настоящее английской литературы. И все-таки в отличие от Парижа Лондон вовсе не являлся гостеприимным городом, способным вдохновлять на великие свершения социально неудовлетворенных авторов. Джордж Мур, опубликовавший свою многословную автобиографическую «Исповедь молодого человека» в тот же самый год, когда Этьен прибыл в английскую столицу, заметил: «Верно говорят, что гениальные молодые люди приезжают в Лондон с великими стихотворениями и пьесами в своих карманах, но обнаруживают, что все двери перед ними закрыты». Однако как путешественник, прибывший из Германии, Георге мог чувствовать себя непрощенным гостем еще по нескольким особым причинам. Позже в беседе с другом он упомянул, что во время своего пребывания в Лондоне постоянно чувствовал, что «англичане не слишком расположены к немцам и завидуют их промышленному, экономическому и торговому успеху». Быть немцем — довольно плохо, но быть католиком — в некотором смысле еще хуже. Сам Мур демонстрирует непримиримую религиозную фанатичность вроде той, с проявлениями которой мог столкнуться и Этьен. «Англия — это протестантство, а протестантство — это Англия», — уверенно заявил Мур. «Протестантство есть сильное, чистое и западное явление, а католичество — бессильное, грязное и восточное». Очевидно, далеко не каждый мог бы подписаться под этим высказыванием. На протяжении всей своей жизни сам Оскар Уайльд постоянно обдумывал идею перейти в католичество. Но Мур и те, кто думал, как он, возможно, сказали бы, что в этом-то все и дело.

На протяжении всего периода пребывания в Лондоне Этьен был погружен в основном в те же проблемы, что начали проявляться еще в Дармштадте. Когда он только приехал в английскую столицу, Шталь выразил надежду, сказав: «Поскольку ты счастлив и доволен, то твой свободный от предрассудков, упрямый и своенравный дух немного смягчится в чужом климате». И Этьен это подтверждал, говоря: «Я становлюсь все большим космополитом в Англии». Но, очевидно, именно то, что он в действительности имел в виду под этим своим высказыванием, внушало ему наибольшую тревогу. «Я прошу тебя спрятать мои письма с какими-либо оскорбительными замечаниями, чтобы прусские любопытные варвары ничего не обнаружили ни в твоём шкафу, ни в комодe», — писал Георге. Неудивительно также, что главной его заботой оставалось неопределенное будущее, выбор рода занятий, не столько в смысле профессии, сколько относительно жанра, в котором он хочет писать. Он поделился своей мукой со Шталем: «Следует ли мне заняться драмой? И если нет, то я больше ни разу в жизни не стану сочинять стихи. Мой „Мануэль“, теперь уже законченный, пока я еще не завершил его, так вдохновлял меня, а теперь совершенно не воодушевляет». «Уверен, — продолжал он, — невозможно отрицать, что сейчас я написал драму, которая полностью соответствует моему вкусу и стилю (в точности то же самое я написал К. Ружу), драму, задуманную мной еще год назад, а теперь, в Лондоне, воплотил в жизнь этот замысел. Я больше никому ничего не скажу, возможно, ее постигнет печальная судьба — я уничтожу ее в огне, и ни одно человеческое существо больше о ней не услышит. „Таков мой великий замысел“». Желая уберечь свою внутреннюю жизнь от посторонних взглядов, а кроме того, избежать конфликтов с пруссаками, к которым он относился с недоверием, Этьен еще раз попросил Шталя хранить его письма в надежном месте. «Вообрази, что за позор будет для меня, если когда-нибудь позже кто-то, кроме тебя, будет вспоминать это письмо!!! Тот, кто прочтет эти мои строки и когда-нибудь в будущем вспомнит об этом несчастном, кто писал о поэзии и драме, кто был одержим этими поэтическими бредовыми идеями и кому подрезали крылья, будто — тьфу, я не хочу заканчивать это предложение...»

Однако в целом Этьен продолжал хранить молчание, когда речь шла о нерешительности его попыток писать серьезные произведения, но требовал, чтобы друзья сообщали ему об их собственных замыслах. Характерно, что даже когда он писал им, то умалчивал о подробностях, касающихся его лично. «Не могу вдаваться в подробности, — заявил он Шталю. — Это такая скука, и к тому же эти замыслы никогда не воплотятся в реальность». Но Этьен властно настаивал на том, чтобы Шталь и Руж присылали ему переписанные копии своих последних произведений. Даже когда он пытался быть милым, его голос звучал снисходительно, как будто при-

надлежал старому ментору, подбадривающему своих небезнадежных, но и неусидчивых подопечных. «К. Руж, — сообщал он официальным тоном Шталю, — многообещающий молодой человек, и все люди в мире удивятся, когда узнают его биографию: уже в возрасте шестнадцати лет он завершил свою трагедию под названием „Сарториус“. Я вовсе не иронизирую». Совершенно понятно, что обычная скрытность Этьена так же, как и его покровительственный и назойливый тон, вызывали немало упреков со стороны тех, с кем он состоял в переписке. «Не понимаю, почему или зачем ты до такой степени скрываешь то, что сочинил, — слегка раздраженно ответил Шталь в своем июльском письме. — От своих друзей ты требуешь откровенности, но сам поступаешь иначе. И в таком случае если ты пишешь: „Разумеется, после того как все тебе рассказал, я надеюсь также услышать обо всех твоих стихотворениях, которые ты уже написал или над которыми еще работаешь“, — то это звучит иронично, или у нас попросту совершенно расходятся представления об откровенности».

В это же самое время Этьен, казалось, наконец приблизился к тому, что было главной целью его поездки в Лондон. 4 июня он, как обычно, послал отцу письмо, где благодарил его за регулярные денежные переводы и благоразумно поспешил сообщить о стремительном прогрессе, которого он добился в изучении английского языка. Отец ответил ему письмом, написанным неловким и нескладным слогом, свидетельствующим о том, что оно принадлежит человеку, не привыкшему излагать свои мысли на бумаге и бывшему не в силах воздержаться от экономических метафор, заставлявших сына содрогаться: «Я доволен тем, что ты продвинулся в изучении языков, — такую кучу денег можно было бы выгодно вложить и получить в результате солидный профит». Если бы Этьену требовался дополнительный стимул, для того чтобы никогда не становиться за кассовый аппарат в магазине отца, то именно подобная родительская забота укрепляла его в этом решении. В «письме в стихах», написанном Шталю через несколько месяцев после этого, в сентябре, он признался, что над ним нависает необходимость в скором времени возвращаться домой, где его «космополитизм, почти граничащий с анархизмом, подвергнется тяжелому давлению».

Когда наступил октябрь, Этьен приготовился покинуть Лондон. Он намеревался ненадолго заехать в Бинген, а затем без отлагательств возобновить свои путешествия, на этот раз — в Монтрё. Вернувшись домой, он продолжал общение с некоторыми из своих лондонских знакомых. В середине октября некто по имени Том Уэллстед прислал ему забавную записку, где говорилось: «Полагаю, вы подкрепляете свои слабеющие силы большими глотками „знатного рейнского вина“, хотел бы я составить вам компанию». А Каролина Месс, его квартирная хозяйка из Лондона, в своем письме — свидетельствующем об умении Георге хорошо скрывать от не-

желательных взглядов свои мысли и чувства — сообщала: «Нам вас очень не хватает; никогда у нас не было более тихого жилища, отличающегося при этом манерами джентльмена в такой же степени». Очевидно, осведомленная о его дальнейшем маршруте, Месс добавила: «Когда в следующий раз вы вернетесь домой, у вас будет французский акцент, над которым станут смеяться. Но это должно быть вполне естественно, принимая во внимания ваше происхождение».

Но перед отъездом в Швейцарию Георге пригласил своих друзей в Бинген на встречу, или, как он это называл, на «съезд», где, кроме удовольствия видеть друг друга, они также получают возможность лично обсудить различные трудноразрешимые проблемы, почитать вслух друг другу отрывки из своих произведений, написанных пока его не было в стране, и наконец составят конкретный план, как вернуть к жизни их литературный журнал. После того как Этьен вновь уехал, в письмах друг к другу они постоянно упоминали «план-портфолио», как они его называли, но совершенно ясно, что движущей силой всех планов и замыслов был именно Этьен.

Однажды Этьен спросил Шталя, что тот думает об этом «плане-портфолио» и действительно ли считает, что его можно осуществить именно так, как он предложил это Ружу. Надеясь обрести в Швейцарии родственную душу, в декабре Этьен написал следующее: «Вероятно, смогу привлечь к нашему делу также нескольких французских поэтов, по крайней мере приложу к этому все свои усилия». Это свидетельствует о «космополитизме» Этьена, а также о том, что его по-прежнему настолько увлекала идея сформировать из своих знакомых узкий круг талантливых людей, что он даже решил пригласить совершенно нетворческого человека, Тома Уэллстеда. «Я попросил своего английского друга сотрудничать с нами, — признался он Шталю, — таким образом, наш план-портфолио станет, так сказать, первым „интернациональным“ изданием такого рода». Однако из этого «плана-портфолио» ничего не вышло, и только несколько лет спустя, в 1892 году, в свет вышел первый номер «Листка за искусство», где в качестве автора принял участие только один друг Георге из Дармштадта — Карл Руж. Но именно здесь и именно тогда, в разговорах, что происходили в Бингене осенью 1888 года, возникла и стала развиваться идея подобного журнала.

Разрешиив свои дела и собрав книги и бумаги, в конце октября Этьен наконец покинул Вернье-Монтрё. По-видимому, кроме желания заложить серьезный фундамент в овладение разговорной формой современных языков, его переезды с места на место проистекали из целого комплекса более сложных мотивов. «Я должен удовлетворить свою жажду странствий», — еще в августе поведал Этьен Шталю. Однажды в Монтрё он обдумывал причины, по которым путешествует, более обстоятельно. Браня Шталя за

то, что тот решил стать солдатом, в начале января 1889 года он пытался растолковать ему: «Не следует вступать в армию, чтобы постичь все на практике и проявить свою смекалку и способность справляться со всем на свете. Я всего лишь хочу сказать тебе: отправляйся путешествовать, как это сделал я, поехав в Англию, Францию и Швейцарию и так далее, и я уверяю тебя, что так ты сможешь получить исчерпывающий жизненный опыт». Этот совет немного излишне практичный, немного излишне банальный и даже немного излишне буржуазный. Путешествие, по мнению Этьена, должно было служить благим целям и иметь конкретную задачу. Он даже рассказал Шталю о том, как считает теперь возможным *заработать на жизнь*: «Для меня повсюду найдется место, если только я сам захочу там остаться».

За довольно короткое время ему удалось приобрести уверенность, гибкость и твердую почву под ногами, которые могли, по его мнению, дать более широкий взгляд на мир и, возможно, освободить его от зависимости от родителей. «Если я захочу учиться в Германии, то вполне смогу это сделать, — сказал Георге Шталю. — Если я захочу остаться за границей, то смогу найти возможность жить за собственный счет. Это приятное чувство, разве нет?» Гораздо позже, в зрелости, когда Георге пытался мифологизировать собственный образ, он утверждал, что эти юношеские путешествия представляли собой часть определенного плана. «Следует познать мир, — сказал он в 1916 году, — если хочешь овладеть им».

Найдя на зиму пристанище в частной гостинице, которой управляла мадам де Лесполь, Этьен чувствовал себя намного комфортнее в этой лингвистической и культурной атмосфере, близкой к той, что была у него дома. В письме к Шталю, написанном по-французски, он сообщал: «Невозможно представить, как велика разница между обстановкой в Англии и обстановкой здесь, в Швейцарии. С одной стороны, достоинство и самое величавое спокойствие, с другой стороны, — живость и резвость, что ни на мгновенье не утихают». Георге вошел в активный театральный кружок и описывал постановку «Мизантропа» Мольера, где вполне сносно исполнял главную роль Альцеста. «Хотел бы, чтобы ты послушал, как я, в костюме времен Людовика XIV, окруженный актерами из нашего кружка, толкую по-французски, — рассказывал он Шталю. — Можешь ли ты представить более разительную нелепость, чем я, барон из Германии, социалист, коммунист и атеист, играющий комедию в доме профессора теологии в окружении целой вереницы великосветских дам?» Это описание вызывает в воображении забавный образ, наполненный невероятной иронией. И хотя Георге весьма смело использует слова «социалист, коммунист и атеист», они тем не менее вполне точно передают чувство разобщенности, испытываемое по отношению к людям, которых ему доводилось встречать.

Несмотря на постоянные и снисходительные насмешки Этьена над военной жизнью, верный солдат Шталь продолжал отправлять длинные, радостные послания своему другу. Но в письмах Шталя начали появляться предостережения, которые могли относиться к событиям, связанным с состоявшимся прошлой осенью «съездом», где отсутствовал только сам Шталь. В одном длинном письме в начале января Шталь пытался передать разговор, состоявшийся у него недавно с Ружем («о том деле, что мы обсуждали прежде в Дармштадте») или даже один из доводов, который упоминался в этом разговоре. «Дело» и то, как Шталь передал данную беседу, свидетельствуют о привязанности, которую молодые люди испытывали друг к другу, а также о тревожащих их недомолвках, которые они пытались разрешить. В своем письме Шталь разборчиво излагал «дело», относительно которого возник спор, пытаясь представить свои рассуждения в форме псевдосиллогизма, как будто пытался придать в высшей степени субъективному вопросу более объективный, следовательно, более понятный вид.

1. Любовь (нежная привязанность *двух людей*) *необязательно* подразумевает *страсть*.

2. Любовь *двух людей разного пола* также *необязательно* должна быть связана со *страстью*.

2а. Положение 1 доказывается тем фактом, что существует любовь отца к сыну, матери к дочери и в обоих случаях *наоборот*, а также любовь между друзьями или любовь к родине.

2б. Положение 2 подтверждается любовью между братом и сестрой, между двоюродными братьями и сестрами, дядей и племянником, племянником и тетей.

Согласно, доказательствам, полученным из посылок 1 и 2, любовь есть не страсть, но преданность, и поэтому не следует осуждать с точки зрения морали тот факт, что мужчина любит (а не вожделеет) жену ближнего своего. Если мы заменим «любовь» словом «дружба», что в данном случае значит в точности то же самое, то никто не будет возражать.

Неясно, кто изначально «выражает» любовь и к кому, или даже то, каким образом эта дискуссия назрела, но очевидно, что вопрос существовал и вызывал бурные споры между юношами. Шталь, возможно, согласный с Ружем, решил, что «любовь» между двумя людьми одного или разного пола не влечет за собой физические, или половые, отношения, но сама возможность того, что она могла бы быть достаточной причиной для этих отношений, подтолкнула его к необходимости определить данное понятие более точным образом. И тем не менее, вполне ли сознавал он, что, подменив в конце концов «любовь» «дружбой», которые, несмотря на всего заверения, конечно, не тождественны, он повторил старый, как мир, отказ —

отказ, предназначенный тем поклонникам, чьи чувства не хотят ранить. Так, намеками, тактично, но тем не менее твердо, Шталь давал понять Этьену, что хочет быть ему только другом.

Все еще не находя себе покоя, в поисках того, что он сам, возможно, не мог понять и определить, в конце февраля Этьен покинул Монтрё. Строго следуя примеру, который бесчисленное количество раз подтверждали до него немецкие писатели, он отправился на юг, в Италию. В открытке отцу, которую он послал в середине марта, сообщалось: «Сегодня я покинул Понте-Треза и прибыл в Милан. Я нашел хорошую католическую семью, где говорят на превосходном итальянском языке, очень почтенную». Далее он переходит к истинной причине своего послания: «Поскольку мой запас наличных почти равен нулю (я на удивление скромно жил в Понте-Треза), прошу тебя немедленно выслать мне деньги. Подробнее в письме. Э. Г.». Этьен оставался в Милане еще две недели, но также чувствовал себя здесь не в своей тарелке. В стихотворении о путешествии он описывает «темное, беззвездное небо» над «шпилями собора» и внезапно замечает: «Я вздыхаю, а почему не знаю — печально здесь мне оставаться». В начале апреля Этьен вернулся в Монтрё и часто совершал долгие прогулки в одиночестве вдоль альпийских лугов и озер. Но уже к концу месяца он впервые оказался в Париже.





Глава четвертая

ПАРИЖ

Когда в апреле 1889 года Георге, в преддверии своего двадцать первого дня рождения, въезжал во французскую столицу, то не встречал еще настоящего поэта или замечательного писателя. Его познания в области современной литературы были необыкновенно широкими, но фрагментарными и относились главным образом к драме или прозе. Более того, он совершенно еще не определился с собственным мнением относительно того, есть ли у него способности и даже желание писать. Правда, к тому времени Георге сочинил некоторое число стихотворений, свидетельствовавших об определенном даре выражения внутреннего опыта в литературной форме. Но тогда ни в его опыте, ни в его произведениях не было ни малейшего намека на то, что однажды он станет самым значительным и самым влиятельным немецким поэтом своего времени и даже, как считают некоторые, всех времен. Парадоксально, но именно в Париже Георге ощутил в себе пробуждающееся призвание к поэзии и, наконец, осознал те свои возможности, о существовании которых и не предполагал.

В конечном счете это не было так уж парадоксально. Веками юноши — а в последнее время и девушки — приезжают в Париж и возвращаются полностью изменившимися, привозя с собой некое новое евангелие, благую весть, которую они впервые услышали на берегах Сены. словно следуя этому известному примеру, через какие-то несколько месяцев, впервые проведенных в Париже, жизнь Георге также совершенно изменилась. Отчасти, такую реакцию вполне можно было бы предсказать. В Па-

риже была самая благоприятная обстановка для некоторых из его склонностей и пристрастий, нежели в каком-либо из других городов, посещаемых им прежде. Говорить по-французски ему было почти так же легко, как на родном языке, кроме того, во Франции не было религиозных конфликтов и нападков на католичество. Здесь вопрос был иным: ты или религиозен — что по умолчанию означало католик, — или нет; никакой третьей позиции по этому вопросу никогда не существовало. В Париже молодой Этьен изучил также в исключительной полноте и беспощадно по отношению к самому себе неотступно преследовавшие его вопросы сексуальных влечений. Однако самым значительным для этого периода стало то, что за двадцать дней до прибытия в Париж у Георге начало формироваться новое понимание поэзии, в соответствии с которым он предъявлял исключительные требования к поэту. Тут, в Париже, он постиг, что поэзия не является тем, что пишут случайно и вдруг и не заключается в том, чтобы приносить удовольствие или развлекать. С тех самых пор Георге понимал поэзию как высшее служение, как совершенное выражение творческой энергии, как высшую форму искусства и вершину человеческой культуры. А поэт, выразитель абсолюта, в его восприятии стоял на вершине человечества.

Несмотря на столь значительные перемены в жизни Георге, его путешествие в Париж началось с весьма прозаических событий. Вернувшись из Милана, он планировал встретиться со своим учителем французского языка в Дармштадте, доктором Ленцем, хорошо знавшим Париж еще со студенческих времен и, казалось, желавшим поделиться этим знанием со своим юным протеже. Однако, как и многих других, Ленца захватило главное событие того года — Всемирная выставка, совпавшая по времени проведения с празднованием столетнего юбилея Великой французской революции и привлекавшая в город десятки тысяч любопытных гостей. Торжественно празднуя столетие под знаменами свободы — или, по иному мнению, откровенно выставляя напоказ напыщенное самолюбование мирового империализма, — Франция стремилась продемонстрировать очевидные доказательства силы человеческого, по крайней мере французского, духа и всему миру показать, каких высот этот дух достиг. Огромные дворцы, павильоны, статуи, арки, колоннады и киоски с флажками, имеющие причудливые и необычные конструкции, представили публике все изобилие изобретений, которые предлагала наука и свобода. От некоторых посетителей, настроенных наиболее скептически, не укрылся тот факт, что большинство из этих временных сооружений было построено из гипса и папье-маше. Одна из лондонских знакомых Георге, мисс Хелен Кейн, спросила в письме, что он думает о причудливом центральном экспонате Выставки — стальной башне в 984 фута высотой, спроектированной всемирно известным инженером. «Я видела несколько фотографий этой башни, — нерешительно заметила мисс Кейн, — и полагаю, она не кажется до-

статочно прочной, для того чтобы ее действительно можно было использовать».

Но Ленц вовсе не собирался пренебрегать своим профессиональным долгом по отношению к Этьену и прокладывал маршрут их прогулок по главным историческим местам Парижа. Вооружившись путеводителем Бедекера, незаменимым справочником всех путешественников XIX века, и преисполненный немалым энтузиазмом, Ленц сопровождал Этьена в его продолжительных прогулках по улочкам и бульварам города, с глубоким знанием дела сообщая ему даты, имена и подробные сведения о тех исторических событиях, что были связаны с местами, встречающимися им по пути. Ленц добросовестно исполнял свои обязанности и отметил точкой место, где стояла Бастилия, взятая штурмом ликующей толпой как раз сто лет назад, а также выстраивал амбициозный маршрут, включавший в себя посещение Лувра, других главных музеев и достопримечательностей города.

Преуспей Ленц в своих намерениях, Георге покинул бы Париж с несколькими безвкусными сувенирами в чемодане и мертвыми и бесполезными фактами в голове. Однако, скорее волею случая, чем по заранее намеченному плану, события стали развиваться так, что вышли из-под ревностного контроля этого компаньона-наставника. Они сняли комнаты в небольшом отеле, который назывался Американский пансион на рю де Л'Аббэ де Л'Эпе, удобно расположенной в центре Латинского квартала между рю Сен-Жак и бульваром Сен-Мишель. Так уж вышло, что это небольшое семейное заведение служило местом неформальных встреч некоторым из самых блестящих представителей парижского авангарда; этот отель стал излюбленным местом для многих талантливых поэтов, критиков, драматургов и журналистов, от недостатка которых в тех областях, что они представляли, город и так не страдал. Среди гостей этого пансиона в то время, когда там останавливались Ленц и его протеже, был энергичный, но теперь забытый поэт Альбер Сен-Поль, «темный, красивый южанин» из Тулузы, который был на семь лет старше Георге и, несомненно, обладал одним из самых прекрасных для декламации поэзии голосов в Париже в то время. Кроме постоянного сотрудничества в журналах символистов «Записки об искусстве» («Ecrits pour l'art») и «Эрмитаж» («L'Ermitage»), а позже и в «Меркурии» («Mercure»), Сен-Поль имел также крепкие связи с журналом «Валлония» («La Wallonie»), редакторами которого были бельгийцы Анри де Ренье и Альберт Мокель, гордо объявившие себя «убежденными символистами». Действительно, сразу же после своего основания в 1886 году «Валлония» стала самым влиятельным печатным органом символистов, издававшимся на французском языке, пока в 1892 году этот проект не свернулся. Сен-Поль и Мокель в свою очередь были тесно связаны с Жаном Моресасом, в 1886 году изложившим свое зна-

менитое определение символизма на страницах «Фигаро» («Le Figaro»). Они были знакомы также с Гюставом Каном, говорящими по-французски американскими поэтами Стюартом Меррилем и Франсисом Вьеле-Гриффеном, как и с Вилье де Лиль-Аданом, Эдуардом Дюжарденом и, что более важно, с Полем Верленом и Стефаном Малларме.

Сен-Поль встречался с «герром доктором Ленцем» во время своих первых поездок в Париж и открыто радовался обществу этого дружелюбного ученого, описывая его как человека, который «всегда был кровь с молоком, улыбчив и любезен, любил веселые разговоры». Обыгрывая буквальное значение его фамилии в немецком языке — «весна», Сен-Поль шутил, говоря, это «его имя подходит ему как нельзя лучше». Однако Сен-Поля поразило резкое различие между доктором Ленцем и его мрачным компаньоном, «несмотря на свой юный возраст, постоянно хмурившимся брови под пышными золотисто-русыми волосами». «Георге был совершенно неразговорчив, возможно, застенчив, — отметил Сен-Поль, — но рядом с весельчаком господином Ленцем он понемногу оттаивал».

Во-первых, этот француз знал лишь, что тихий, серьезный юноша хочет изучать филологию и собирается поступать в Страсбургский университет. Он не имел ни малейшего представления о том, что Этьен интересуется поэзией. Но, казалось, они симпатизировали друг другу и вскоре разработали один план. Этьен признался, что ему не по вкусу перспектива посещения музеев вместе с его говорливым и явно исполнительным гидом, и обратился к Сен-Полю с просьбой быть посредником и помочь ему избавиться от внимания Ленца, который действовал из лучших побуждений, но тем не менее был ему в тягость. К их взаимному удивлению, Сен-Полю легко удалось получить разрешение доброго доктора на то, чтобы сопровождать Георге в прогулках по глухим местам города. Довольно скоро, хотя молодой немец определенно воздерживался от того, чтобы задавать любопытные вопросы, Сен-Поль рассказал ему, что пишет для передовых литературных журналов, и обнаружил, что его замечания о новых поэтах и их произведениях вызывают искренний интерес Георге. Видя в своем новом друге возможного соратника, Сен-Поль решил ввести его во «Французское поэтическое движение».

Париж был не имевшим себе равных культурным центром Франции. Сердце нового «поэтического движения» находилось в легендарном районе города — Латинском квартале. Вокруг расположенной в центре города Сорбонны было множество домов со сдававшимися дешевыми комнатами. Латинский квартал щедро и великодушно давал пристанище студентам, доведенным до бедности и бунтующим художникам, чудакам, проституткам и политическим прожектерам. Но он привлекал к себе также людей, ищущих отдушину именно от тех торжествующих в культуре материалистических ценностей, что во весь голос превозносила Всемирная выставка.

Так, в частности, Эйфелева башня напоминала представителям этого нового «поэтического движения» решетку железной клетки, из которой, как им все более казалось, было никакой надежды сбежать.

Латинский квартал, с его преимущественно богемным населением, возможно, не предлагал выхода из сложившейся ситуации, но предоставлял своего рода прибежище. А тогда, поздней весной 1889 года, казалось, что уже забрезжила заря нового золотого века. В мае подавленный Поль Верлен, любивший бывать в кафе «Франциск I» неподалеку от отеля Георге на рю де Л'Аббэ де Л'Эпе, выпустил второе издание своего исповедального поэтического сборника «Мудрость», которую Сен-Поль рекомендовал Георге прочитать. Известное кафе «Коровка» было излюбленным местом Жана Мореаса, куда он часто захаживал. Малларме обычно навещался в кафе «Вольтер», также располагавшееся неподалеку. А в подвале кафе «Золотое солнце» («Soleil d'Or»), что рядом с дворцом на площади Сен-Мишель, Леон Дешан, основатель и редактор журнала «Перо» («La Plume»), занявший эту должность лишь месяц назад, в апреле, до самой своей смерти в 1899 году устраивал бурные «суаре» каждую вторую субботу. Во время своего пребывания в Париже Георге, как и еще около двух сотен людей, одетых в модные тогда длинные плащи и широкополые фетровые шляпы, несколько раз посещал эти мероприятия в «Золотом солнце», где в битком набитом и наполненном сигаретным дымом подвале посетителям предлагались песенные импровизации и чтение стихов на крошечной самодельной сцене.

Вполне предсказуемо поэтому, что страстное стремление к интеллектуальной и личной свободе и избавлению от гнета современного буржуазного мира, поиск которых соответствовал духу Латинского квартала, было связано также с твердыми политическими убеждениями. Большинство поэтов и писателей, относящих себя к символизму, также сочувствовали анархизму, а многие из них внесли свои имена в подписной лист самого влиятельного и самого читаемого анархистского журнала «Бунт» («La Revolte»), редактором которого был Жан Грав, кожевник-самоучка, ставший революционером. Другое периодическое издание под названием «Снаружи» («L'En Dehors»), возглавляемое человеком, взявшим себе экзотический псевдоним Зо д'Акса, часто предоставляло свои печатные полосы для публикации трактатов и манифестов анархистов. Среди постоянных соавторов «Снаружи» числились некоторые из самых прогрессивных поэтов того времени, включая Рене Гиля, Эмиля Верхарна, Анри де Ренье и американца Вьеле-Гриффена. Соотечественник последнего Стюарт Мерриль оказывал финансовую поддержку «Бунту» Грава. Даже «Перо» Дешана, где обычно печатались исключительно литературные произведения, посвятило специальный выпуск анархистским идеям. Критики сразу же ухватились за такую возможность внедриться в возникшие между по-

литическими революционерами и литературными новаторами отношения. Ипполит Фиренс-Геварт, консервативный историк, осудил эту ситуацию как симптом более глубокого социального кризиса. «Сегодня каждый философ, писатель, поэт, драматург или художник является скрытым анархистом, — заявлял он. — И очень часто они бравируют этим. Мода на анархизм существует даже в тех салонах, где его следовало бы бояться более всего. Авангардные авторы разделяют теории Кропоткина и Жана Грера».

Это сращение протестных средств дало в результате внушительный и мощный арсенал, и все его воздействие испытал на себе юный Георг. Тем не менее больше всего его интересовала поэзия, а не политика. Направив внимание Этьена на поэтические произведения символистов, Сен-Поль не терял времени даром и представил нового друга Альберту Мокелю, своему коллеге и соредактору «Валлонии». Позже Мокель вспоминал об этом «серьезном, но без педантизма» юном немце: «...его голубые глаза, светившиеся теплым огнем, выражали скорее печаль, в его манере держаться все еще присутствовала некая неуверенность, превратившаяся позже в элегантную сдержанность. Тогда внутри него шла борьба с его склонностями, которые к тому моменту уже вполне сформировались». Мокель и Сен-Поль сочли, что Этьен вполне удовлетворяет требованиям — а именно отличается непредубежденностью, чистым рвением и преклонением перед культом красоты, — чтобы быть представленным Стефану Малларме, самому почитаемому поэту Парижа и «Мэтру», считавшемуся «жрецом Слова», перед которым любой другой поэт смиренно благоговел.

Мокель сообщал, что когда он и Сен-Поль попросили у Малларме разрешения представить ему немецкого гостя на одном из знаменитых еженедельных собраний, происходивших в квартире Малларме на рю де Ром, пожилой поэт сначала пожелал узнать о нем подробнее. Упомянув о том, что Этьен подумывает взяться за перевод «Цветов зла» Бодлера на немецкий язык, они уверяли Малларме в том, что «он напоминает молодого Гёте, Гёте до „Вертера“». «Ну что ж, хорошо, — сказал Малларме, улыбаясь, — вечером во вторник я приму его, этого вашего молодого Гёте. Но предупредите его, что глупо стреляться из-за Шарлотты». Затем их мастер принялся рассуждать на одну из своих любимых тем — ту, что имела не только эстетическое, но и политическое значение. «Идеал заключается не в том, чтобы умереть из-за страсти или за какую-либо идею, — сказал Малларме по другому поводу, — но, напротив, в том, чтобы возвысить их красотой».

«Мардисты», под именем которых были известны постоянные участники литературных вторников Малларме, в то или иное время приняли в свои ряды почти всех главных представителей литературы и культуры того периода. «Мардисты» представляли собой разнообразную и космополитическую группу, состав ее членов отражал интернациональный харак-

тер движения символистов как такового. Художники Джеймс Уистлер, Поль Гоген, Одилон Редон, Эдуард Мане, Берта Моризо и Огюст Ренуар, так же как английские писатели Оскар Уайльд, Артур Саймонс, лорд Альфред Дуглас и бельгийские поэты Морис Метерлинк и Эмиль Верхарн, американцы Мерриль и Вьеле-Гриффен и по большей части представители французского символизма всегда были желанными гостями в доме на рю де Ром. Все они приходили в крохотную четырехкомнатную квартиру Малларме, будто пилигримы, отправившиеся в странствие по святым местам. «Никто из когда-либо поднимавшихся по этим четырем лестничным пролетам, — писал Саймонс, — не мог забыть домашнюю — изысканную, хотя это служило слабым утешением, — обстановку этих маленьких уютных комнат, где стояла тяжелая резная мебель и высокие часы, а на стенах висели портреты кисти Мане и Уистлера». Сложив обеденный стол и прислонив его к стене, чтобы освободить место, Малларме приносил в комнату двенадцать стульев — комнаты были настолько узки, что больше в них просто не вмещалось, — и китайскую вазу, наполненную ароматным табачным листом, а рядом ставил сигаретную бумагу, накрывая газовую лампу японской крепированной бумагой, чтобы придать комнате таинственную и сакральную атмосферу. В девять вечера начинали приходиться первые «мардисты».

Описания отдельных деталей того вечера хотя и различаются, но в общих чертах практически полностью совпадают. Саймонс называл Малларме «одним из лучших рассказчиков нашего времени», и Мокель также восторгался его «хрипловатым и захватывающим голосом, то радостным, то мрачным». И все отмечали обходительность Малларме, его великодушное внимание к молодым художникам и поэтам, не говоря уже об абсолютной, бескомпромиссной преданности в служении поэзии. Совершенно искренно, что произвело сильное впечатление на Георге, Малларме запретил беседовать на темы, не связанные с важнейшими и существенными вопросами искусства. Этот запрет имел не только и не столько эстетические основания — для Малларме искусство играло ту же роль и имело то же предназначение, что и религия. «Это был дом, — прославлял его Саймонс, — духом, религиозным духом которого были искусство, литература; а хозяин этого дома, со свойственной ему величественной простотой, являлся их жрецом». В храме, воздвигнутом в своем скромном жилище, Малларме совершал ритуалы и сакральные церемонии перед преданными посвященными в этот культ. Саймонс пишет:

Отношение этих молодых людей — некоторые из них уже не вполне были молоды, — часто посещавших вторники, определенно было отношением преданных последователей. Малларме на этом никогда не настаивал и, казалось, этого даже не замечал, тем не менее это отношение значило для него

очень много, в высшем смысле, так же как и для них самих. Он любил искусство высшей бескорыстной любовью и, действительно, только ради самого искусства желал быть мастером. Поскольку Малларме знал, что обладает знанием, каковое можно передать ученикам, тайным знанием, к которому единственно стоит стремиться, то полагал, что может до некоторой степени продолжить существовать в молодых людях, слушавших его.

На вторичных литературных вечерах Малларме обычно царила веселая и спокойная атмосфера. Те, кто осмеливались перечить «Учителю», вскоре обнаруживали, что правила литературных вечеров ужесточались, если не самим Малларме, то самыми бдительными его сторонниками. Например, Камиль Моклер сохранил подробные и неприятные воспоминания о первом вечере, проведенном с поэтом. Позволив себе, при всем уважении к хозяину, не согласиться с одним незначительным положением в его рассуждениях, Моклер почувствовал не возмущение самого Учителя, а злобные взгляды других присутствующих, направленные на «нахального гостя». Когда вечер закончился, прежде чем разойтись, все собрались в парадной дома, чтобы открыто осудить поведение Моклера, холодно отчитав его и выразив суровое несогласие с его эгоистичным поступком, профанирующим действо. Спустившись на второй этаж, Пьер Лиус, плотно придвинувшись к нему, старался сразу и отругать и утешить его. Он объяснил неопытному новичку, что здесь лучше молчать, чем говорить, внимательно слушать, а не рассуждать; что гости не принимают участие в действе, не должны этого делать, поскольку именно непрерывный монолог учителя обещает великолепный и приятный вечер. Со своей стороны Моклер, спустя некоторое время после того выговора грязно высмеявший это событие, попытался взять реванш и возразил: «Мне всегда представлялось слегка нелепым то, что выставляют его таким Буддой, пророком, окутанным сигаретным дымом [...] Они хотели превратить его в мумию, когда он был еще жив». Неслучайно поэтом, некоторое время спустя и другие обрушили ту же критику на Георге и его собственных последователей.

Возможно, по причине более тщательных приготовлений или просто в силу врожденной сдержанности Георге, ему удалось избежать той же ошибки, что совершил Моклер. Мокель вспоминал, что Этьен был, напротив, «очень тихим». «Но, — признавал Мокель, — все мы более или менее кротки в храме, освященном медитацией. Но эта бурная радость, происходящая от возможности выразить себя, которую так сильно ощущают в себе молодые люди, исчезает, когда они слышат волшебное Слово».

И то, что Георге довелось услышать там, действительно кажется волшебным. Должно быть, Малларме излучал благодущие и покровительственную доброжелательность, даря их своим преданным почитателям, но также он проявлял беспощадную враждебность, даже презрение, ко всему,

что могло осквернить его священных идолов. Искусство, как часто повторял Малларме, не должно быть тем внутренним опытом, который способны переживать массы, и в действительности его следует тщательно скрывать от любопытных глаз назойливой толпы. В своем раннем очерке с говорящим названием «Поэтические ереси. Искусство для всех» («Hérésies artistique: L'art pour tous»), написанном еще в 1862 году, но также отражающем его более зрелые взгляды, Малларме заявлял: «Всему тому, что является священным и желает оставаться таковым, следует окутать себя тайной. Религии, пребывая в чертоге тайны, приоткрывают ее только избранному. И точно так же должно быть в искусстве». Он неистово отвергал выдвинутое писателями, представляющими натуралистическую школу, — главным образом романистом и врачом Эмилем Золя, — требование о том, чтобы искусство не только отражало повседневную жизнь и заботы обычного рабочего человека, но и было доступным его пониманию. Малларме, напротив, хотел оградить искусство от того, что он называл «лицемерным любопытством», и защитить его от самодовольных «насмешек и ухмылок невежественных людей и врагов искусства».

«Врагом» Малларме, так же как Бодлер, конечно, считал буржуазию. Впрочем, излагая свою позицию, он далеко не всегда прибегал к таким зажигательным выражениям. Например, в письме к Вилье де Лиль-Адану 1867 года он позволил себе некое неловкое и легкомысленное высказывание, заметив, что работает над книгой о «Красоте». «На самом деле — писал он, — она называется „Эстетика буржуазии, или Общая теория безобразного“». Эстетические вкусы буржуазии, как полагал Малларме, являлись прямым и неизбежным следствием отношения этого класса к миру в целом. Буржуазные обыватели, считавшие материальное благополучие доказательством своего социального превосходства, хотели подкрепить это благополучие внешними признаками престижности. Но они полагали, что культуру можно приобрести так же, как железо или зерно, и потреблять так же, как любой другой товар. По мысли же Малларме, искусство является не приобретением, но обязанностью. И он не мог выносить спокойно, когда поэзию или любую другую форму искусства считают предметом, который можно купить или продать. И опять-таки политический смысл его позиции вовсе не подразумевался — он был очевидным и лежал на поверхности. Как и многие другие представители символизма, Малларме был подписан на журнал Жана Грва «Бунт» и также сочувствовал анархистам в их борьбе с буржуазными ценностями. От очернителей Малларме также не укрылась глубинная связь между символизмом и идеями анархистов, они критиковали их позицию, отрицающую доступность искусства массам. «Искусство сегодня переживает свое наивысшее, по крайней мере самое незаурядное, развитие, — досадовал Фиренс-Геварт, — и оно является, по своей сущности, анархическим. Оно более не обращается ко всей

публике». Малларме не только отказался обращаться к публике, но также намеревался активно препятствовать тому, чтобы массы каким-либо образом соприкасались с искусством.

Но Малларме был главным образом поэт и только поэт, а не сочинитель политических памфлетов. Он выражал свое презрение к буржуазии не метанием бомб, а тем, что не допускал ее представителей в сферу, которую считал лишь своей. Сравнивая поэзию с музыкой, мелодии которой можно записать нотными знаками, чье значение остается непонятым и бессмысленным для не обученных музыке людей, Малларме сожалел, что первая не располагает подобными средствами, способными защитить ее от неподготовленного читателя. Малларме считал поэзию высшей формой искусства, не только превосходящей все остальные, но также единственной, действительно обладающей смыслом и значением. В другом своем письме от 1867 года, на этот раз другу Анри Казалису, он настаивал на том, что «Поэзия — это не что иное, как Красота, и лишь одна Красота находит в ней свое совершенное выражение. Все остальное — ложь».

Как искусству, которое Малларме постоянно называл «тайной, доступной лишь немногим», следует удалиться в тайные владения, чтобы его не отравила или осквернила чернь, так художнику следует сохранять абсолютную чистоту. Это не означает, однако, что художник должен жить в полной изоляции от общества, прекратив все контакты с внешним миром. Сам Малларме был школьным учителем, работавшим слишком много, а получавшим за свой труд слишком скромное жалование. Но он настаивал на том, что художники, в широком смысле этого слова, должны абстрагироваться от всего человеческого в себе и ни в коем случае не идти на уступки, если это касается возвышенного служения своему призванию. «Человек, конечно, может быть демократом, — признавал он, — но художник раскалывается надвое и должен оставаться аристократом». Назвав новый тип автора, в его определении — «рабочего-поэта», интересующегося насущными делами и принимающего в них участие, «нелепым» и «печальным» зрелищем в глазах подлинных поэтов, Малларме заклинал своих последователей, чтобы те отвергли тщетное и унижительное стремление участвовать в решении мировых проблем. «Оставьте массам читать труды по этике, но, умоляю вас, не позволяйте им уничтожить нашу поэзию». «О, поэты, — восклицал он, — вы всегда только гордились, но сделайте больше — станьте презрительными!»

С удивительной твердостью Малларме следовал своим негибким принципам, отказавшись даже от обычных и общепринятых путей распространения собственных произведений. Так, в письме к своему другу Анри Казалису он утверждал: «Я хотел бы двадцать лет прожить уединенно, отвергнув любое общество, кроме общества друзей, которым читал бы свои стихи». Опубликовать же поэтический сборник означало, почти с неизбеж-

ностью, позволить несведущим массам проникнуть в святая святых и осквернить ее. Как следствие Малларме никак не мог закончить то, что называл «Книгой», так и оставшейся великим проектом, окончательным итогом всего того, что он знал и представлял как поэт. Георге нашел для себя выход из этой сложнейшей ситуации. Годы спустя он весьма невеликодушно отозвался о неспособности Малларме завершить свою книгу, сказав: «Он стал знаменит лишь благодаря тому, что ничего не делал». Однако утверждать, будто Малларме прославился только тем, что ничего не делал, было несправедливо, и Георге это хорошо знал. Разумеется, Малларме не был плодовитым автором, но все же совершил гораздо больше, чем просто ничего. И уж конечно, невозможно отрицать, что он передал Георге, как и другим своим последователям, образец жизни поэта, — Георге это вполне признавал, когда пребывал в более благодушном настроении. Если его спрашивали, повлияла ли на него французская поэзия, то он отвечал: «Да, Малларме и Верлен безусловно повлияли». Если его просили уточнить, то он, хотя и не вполне искренне, сообщал, что они «не определили его язык, но внушили в высшем смысле глубокое понимание того, как следует вести жизнь». И это последнее, в конечном счете, было правдой. Малларме не в меньшей степени научил Георге, какую жизнь следует вести поэту.

Хотя на литературных вторниках самому Георге едва ли позволялось говорить, он, очевидно, впитывал без остатка все, что видел и слышал там. Сидя в тесной темной комнате, попивая чай и сворачивая сигареты, в подчеркнутой тишине он слушал речь Учителя о поэзии как святое таинство причастия Поэта, помазанного служителя, совершающего ритуал перед своими преданными адептами. Разумеется, в юном католике из Бингена, который сам изображал квазирелигиозные церемонии перед своими одноклассниками и демонстрировал откровенную склонность к лидерству в обществе друзей, пример Малларме еще более укрепил вынашиваемые помыслы. Однако эти собрания оказывали на Георге, как и на многих из тех, кого Малларме называл своими друзьями, отравляющее и одурманивающее действие. Сен-Поль вспоминал, как в конце весны они допозна гуляли по ярко освещенным бульварам. Георге

был совершенно очарован. Ближе к полуночи мы возвращались из дома на рю де Ром к Люксембургскому саду. Обычно мы прогуливались по Парижу в компании Фердинанда Эрольда, Андре Фонтенá, Ашиля Делароша и иногда Вьеле-Гриффена и Мокеля. Мы болтали о поэзии, о технике сложения стиха. Георге слушал нас с заметным интересом. Вокзал Сен-Лазар, Опера, Сена, Сорбонна были для него величественными станциями на этой сказочной дороге, только усиливавшими волшебное действие ночного неба. А иногда на Бульваре Сен-Мишель мы встречали Мореаса или Ретте, оба были закоренелыми любителями блуждать по ночам.

Вернувшись в Латинский квартал, на другой берег Сены, мы неизменно видели признанного короля завсегдатаев кафе, одновременно величественного и жалкого Верлена. Пристрастившегося к абсенту и бренди и страдающего от множества болезней, вызванных алкоголизмом, — как, впрочем, и тяжелой, хотя не подтвержденной официальным диагнозом, формы гонореи, проявляющейся в сильных, названных «ревматоидными», болях, — и без какого бы то ни было постоянного источника средств к существованию, Верлена можно было легко узнать по изношенной и обветшалой одежде, по рыжей непослушной бороде, неуклюже замотанной толстым шерстяным шарфом, и по грязному желтому галстуку, выглядывавшему из-под пальто и напоминавшему о лучших днях его жизни. Но при этом Верлен по-прежнему писал стихи, совершенные по своей красоте и волнующие своей откровенностью, а также полные эмоциональной непосредственности и даже чувственности, подразумевающих подлинно глубокие чувства. Приехавший из Америки в Париж Вэнс Томпсон отмечал резкий контраст между грубым, постоянно пьяным и вечно без гроша человеком и чистым сиянием, излучаемым его поэзией: «Мы все были поклонниками Верлена. Мы зачитывались „Мудростью“. Постоянно одалживали поэту по пятифранковой монете, угощали его абсентом, помогали ему дойти до лазарета, когда он уже не мог справиться с болезнью. Старик, он сидел там среди нас, с повязанным на шее грязным платком, и вел непристойные разговоры. Разве именно таким я помню Верлена? Нет. Я помню его в лучшую пору, когда его полузакрытые глаза сияли, он декламировал новые — блестящие, будто только отлитые золотые монеты — сонеты или стихи, которые не собирался изначально читать. Его поэзия была одновременно нежной, изяшной, тяжелой и неизменно юной. Верлена отличала какая-то средневековая изысканная простота».

Верлен был пылким, если не наивным, католиком. Кто-то однажды сказал о нем: «Верлен отдается церкви, как ребенок — сказкам». Это было действительно так, он окунулся в религию, когда отбывал тюремное наказание, ставшее результатом его бурных отношений с Артюром Рембо. Однако из каких бы событий ни проистекали религиозные мотивы в поэзии Верлена, они, а в особенности католические образы греха, сожаления, раскаяния и наконец прощения, притягивали Георге. Злосчастные отношения, возродившие интерес Верлена к церкви, могли также стать поучительными для Георге относительно перспектив — и опасностей — подобных связей. В действительности, Георге встречался с Верленом на одном из вторников Малларме, а также иногда видел, как старик брел по улице, качаясь из стороны в сторону, или заходил в кафе, чтобы опрокинуть стаканчик. Но, вероятно, молчаливый немец не произвел впечатления на этого человека, смущенного вниманием все возрастающего числа почитателей и искателей

чужестранных диковин, разум которого все более затуманивал алкогольный угар.

Так Георге прожил два первых летних месяца в Париже с Сен-Полем, по утрам читая ему отрывки из произведений тех поэтов, которых встретил прошлой ночью, проводя дни в посещениях музеев и прогулках по Люксембургскому саду и Тюильри, а вечера — в бурных пиришествах в кафе. Он также взял себе за правило посещать выступления прославленной Сары Бернар, где она декламировала стихи, — Георге заметил: «Читает стихи весьма хорошо». Но он увлекся и другим занятием. Никто в Париже не мог сопротивляться этому увлечению — не мог отказаться попробовать свои силы в новой поэтической форме, и Георге, прибывший сюда с сильным, хотя и неопределенным, желанием писать, не был исключением в этом смысле. Правда, стихотворения, написанные им в это время, выдаются не столько его увлечение поэзией самой по себе, сколько другое, также свойственное прибывающим в Париж гостям, переживание — буйство чувств и необоримые плотские желания. В серии стихотворений, позже объединенных под общим названием «Рисунки в серых тонах» («Zeichnungen in Grau»), Георге изображает молодого человека, раздираемого противоречивыми чувствами. В одном из этих стихотворений под названием «Яд ночи» поэт описывает самого себя лежащим одиноко в кровати, не в состоянии погрузиться в безмятежный сон из-за звона полуночного колокола. В этих ночных мечтаньях он вспоминает себя маленьким мальчиком, «еще не ведающим наказания за свои безудержные страсти». И теперь, когда детство давно прошло, он остается невинным мальчиком, которого от порока ограждает воспитание католической школы, встающего в его воображении «чадом от свечей и дымкою от благовоний». Он осознает, что именно из-за промедления с вхождением во взрослую жизнь он отчаянно ищет теперь того, кто мог бы передать ему светское знание:

И тогда я хотел найти
Искушенного нечестивца,
Ведающего науку уничтоженья:
Кто желает слиться с моими руинами
В своих распростертых объятьях,
Любить как безумец,
Себя погубить совершенно
И быстрой смертью отойти в иной мир.

Образы секса, болезни и смерти еще до Бодлера были известным сюжетом французской поэзии — Георге идет в этом смысле проторенной дорогой, когда пишет эти явно подражательные строки. Тем не менее в Германии в это время не было написано ничего хотя бы отдаленно напоминающего стихи Георге, а формальное нарушение размера обозначило

драматическое отступление от жесткой размерности его ранних стихотворений. Несмотря на несамостоятельный выбор тем, эти стихи демонстрируют своеобразие и выразительную силу, передавая почти притягательное сладострастие и чувственность вкупе с самоуничижением и осуждением сексуальных желаний как низкого, отвратительного смертного греха. В другом стихотворении из этой же серии, с вызывающим названием «Жрецы», Георге также изображает двух любовников, спешащих сквозь рассеявшийся утренний туман, — «оба несут несомненные знаки удовольствий, испытанных сверх меры». Они, пишет Георге, как

Жрецы, отдающиеся на закланье,
Бросаясь свободно и без рассуждений
В оргии, что разрушают и губят!
Их лбы горят пылкой страстью!
И тем несомненным уродством,
В котором порок торжествует.

Возможно, из-за того, что тогда Георге не мог не отождествлять секс с гетеросексуальными отношениями, он продолжал с сомнением относиться к проявлению физической страсти. Даже в своих поздних стихотворениях, приводя поэтические образы, связанные с сексуальностью, он не мог избавиться от робости и часто описывал эти сцены с открытым отвращением. Язык, каким написаны эти стихотворения, лишь подчеркивает растущее отчуждение Георге — от среды, в которой он воспитывался, от родины и даже от собственного тела. Опубликованные немецкоязычные версии этих стихотворений в действительности представляют собой своеобразный перевод стихотворений, написанных им самим на самостоятельно созданном искусственном языке, которому в то время он присвоил более научно звучащее название «*lingua romana*», что, как он считал, «напоминает испанский язык». Однако отдельно Георге отмечал — и притом с гордостью, — что «никак не связан с теми языками, которые пытался создавать в детстве». Тем не менее этот лингвистический эксперимент, который, разумеется, был далеко не последним, являлся попыткой очертить сферу частного существования, а также найти средство языкового выражения, что принадлежали бы лишь ему и служили бы чем-то вроде барьера между ним и реальными или предполагаемыми опасностями, исходящими от внешнего мира.

К концу лета, в августе, Георге опять начал думать о том, что пора отправляться в путешествие. Его иберийская «*lingua romana*», казалось, являлась не просто более зрелой формой частного языка, которую он стремился создать, но также своеобразным отражением его личных увлечений. В Париже он познакомился с тремя мексиканцами — Антонио Пеньяфилем и двумя его сыновьями Порфирио и Хулио, с которыми говорил почти

всегда на испанском языке. Пеньяфиели, вероятно, и вдохновили его не только на создание нового языка, но и на путешествие в Испанию. В своих мемуарах Сен-Поль рассказывал о том, как сопровождал своего немецкого друга в его поездках в Бургос, Мадрид и Толедо, но Георге всегда настаивал на том, что ездил туда один. Испания в некотором смысле была странным выбором для путешествия. Со времен столь же внезапной поездки Гёте в Италию в конце XVIII столетия «Юг» ассоциировался с Италией, отъезд куда для образованных немцев означал побег, бегство и, кроме всего прочего, был связан с идеализированным представлением о буйстве чувств и простой сельской жизни, протекающей среди живописной и печальной природы, напоминающей о былом и теперь утраченном имперском величии. Но здесь все-таки Георге не имел предшественников. Позже, забыв или заставив себя это сделать, Георге говорил о своем путешествии в Милан годом ранее, что его «даймонион направлял его не в Италию, но в Испанию».

Во время своего путешествия в Испанию Георге останавливался в нескольких городах, очевидно, посетив Аранхуэс, Эльче, Мурсию, Картахену и Сан-Себастьян; неизгладимое впечатление произвели на него задумчивые дворцы с узорчатыми фасадами, возвышающиеся над сухой и пустынной местностью. «Толедо — самое необычное место из тех, что я знаю», — сказал Георге одному из своих друзей спустя много лет. «Он лежит в горах, поезд добирается только до их подножия, а затем, чтобы попасть в город, нужно взбираться вверх по извилистым тропинкам. Все здесь чудно и необыкновенно. А юг Испании уже почти совершенно напоминает Африку, с огромными пустынями, где лишь изредка встречаются пальмовые деревья и время от времени оазисы». Сравнивая Испанию с Италией, Георге утверждал, что итальянцы постоянно живут в древних памятниках и среди памятников, являющихся свидетелями их собственного великого прошлого и дарящих им чувство непрерывающейся истории и живой связи с ней. В плане собственной истории и географии Испания была глухой и бесплодной страной. Отчасти и по этой причине Георге полагал, что «мы более тесно связаны с Италией и чувствуем себя здесь как дома. Не так обстоят дела в Испании, где все для нас чужое». Позже свой внезапный порыв отправиться в ходе путешествия на юго-восток Пиренейского полуострова в древнее мавританское поселение в Мурсии он описывал как внезапно исчезнувшую опасность. «Меня сразу привлекла сирийская и арабская культура, — признавался Георге, — но я сопротивлялся этому. Дионисийское начало совершенно отсутствует в них». Более прозаичным, но и более точным является сделанное им впоследствии замечание о том, что он действительно хотел отправиться из Картахены по Средиземному морю в Тунис, но опоздал на корабль.

Куда бы ни гнал его собственный «даймонион» летом 1889 года, в действительности Георге повсюду чувствовал себя чужаком. И хотя даже в старости он продолжал утверждать, что собирается отправиться на Ибицу, но больше не вернулся в Испанию, а из этого путешествия привез сувенир, который хранил до конца своих дней. Следующие четыре года, куда бы он ни направлялся, Георге всегда надевал щегольски сдвинутый на левое ухо баскский темно-синий шерстяной берет, приобретенный в Испании, как символ или напоминание о тех чудных, волшебных летних месяцах, когда он наконец понял, каким поэтом станет.





Глава пятая

БЕРЛИН

В сентябре, на пути из Испании остановившись ненадолго в Париже, чтобы проститься со своими новыми друзьями, девятнадцатилетний Этьен по-прежнему пребывал в нерешительности относительно своего будущего. Отказавшись от идеи обучаться в Страсбургском университете, он собирался теперь поступать в университет Фридриха Вильгельма в Берлине — самое престижное учреждение высшего образования в Германии того времени, чтобы изучать современную филологию на более строгом, академическом, уровне. Расположенный в центре столицы университет занимает великолепное здание с колоннадой, своим фронтоном выходя на широкий, с обеих сторон засаженный деревьями бульвар Унтер-ден-Линден, являющийся скромным ответом немцев парижским Елисейским полям, и находится неподалеку от набережной реки Шпрее. Но рассчитывая найти здесь ледяной северный аванпост, занятый суровыми прусскими протестантами, Георге колебался. Сен-Поль сообщал: «Он признался, что тревожится, думая о предстоящей поездке в Берлин. Он еще не знал этот город. Ему не хватало духу наконец поехать туда, и он почти решил остаться в Париже и писать по-французски».

В 1889 году в Берлине разворачивалось грандиозное действо, отпугнувшее даже самых убежденных его защитников, не говоря уже о человеке такого склада, как Георге. Как и сама Германия, Берлин был новым членом мирового политического сообщества и проявлял все черты, обычно свойственные парвеню. Дерзкий, энергичный, беспокойный и агрессивный

город выглядел попросту вульгарным — ему крайне недоставало того самоуверенного достоинства, что отличает древние европейские столицы. Георге прибыл в Берлин в самый разгар горячки грюндерства (*Gründjahre*), подстегнутого по большей части военной победой над Францией двадцать лет назад. С середины 1870-х годов Берлин — как город-резиденция правящей династии Гогенцоллернов и как официальная столица новорожденного Рейха — продолжал вести небывалую и бурную экспансию. Получив неожиданную выгоду из Франко-Прусской войны — контрибуция, предъявленная пораженной Франции, составила почти пять миллиардов франков, — Берлин наконец был извлечен из дремотного провинциального существования и вступил в серьезную конкуренцию с другими странами Европы как один из ее главных промышленных центров. Привлеченные блестящими обещаниями быстро и легко преуспеть — или попросту большим числом рабочих мест в различных сферах труда — из всех уголков северной империи в ее столицу стали стекаться люди. В 1865 году Берлин насчитывал 657 690 жителей, а через десять лет — 964 240. К 1910 году город преодолел отметку в 2 миллиона жителей.

Хотя в 1890-х годах Георге проводил в Берлине больше времени, чем в любом другом городе Германии, за исключением разве что Мюнхена, и до конца жизни возвращался в столицу, где останавливался то ненадолго, то в течение весьма продолжительного времени, все-таки его отношения к городу основывались скорее на комфорте, чем на любви. При своем стремительном экономическом росте и общих экспансистских настроениях Берлин, очевидно, предоставлял возможности, отсутствовавшие в каком-либо ином месте Германии. Но они обошлись весьма дорого. В письме Сен-Полу в 1895 году Георге сетовал на то, что опять находится в «этом ужасном городе», и никогда не переставал жаловаться на грязь, шум Берлина и банальную рутинность его жизни, несмотря на то что стал приезжать сюда еще в юном возрасте. В 1927 году он по-прежнему негодовал по поводу «отвратительной жизни в Берлине» в разговорах со своими друзьями, один из которых сообщал, что «теперь, проведя здесь две недели, он чувствует себя по-настоящему несчастным». Время от времени случалось, что Георге находил нечто вроде утешения в том, что ядовито высмеивал собственные страдания. В одной беседе с друзьями за несколько лет до начала войны он лукаво заявил: «Подлинно великая и истинно прекрасная черта этого города заключается в его безыскусности». Когда ему мягко возражали, указав на некоторые здания в стиле рококо или готическом стиле в старом центральном районе на берегу Шпрее, он утверждал: «А это как раз плохо. Их вовсе не должно быть. Берлин хорош только тем, что совершенно плох и повсюду лишен искусства». Именно отсутствие красоты и искусства в Берлине, а также отсутствие людей, способных заметить данный недостаток, вызывало его самое суровое неприятие. Сабина Лепсиус, увлеченная,

если не щедро одаренная, художница, работавшая в технике импрессионизма, жила в Берлине и в дальнейшем стала одной из самых преданных почитательниц Георге и одной из немногих женщин в его окружении, с которой его связывала многолетняя дружба. Она, так же как Георге, считала, что «тем, кто стремится к прекрасному, просто невозможно хорошо себя чувствовать в Берлине, пока они не найдут в себе силы предаться сосредоточенному труду в уединении на каком-нибудь острове на реке Шпрее и забыть там об окружающем их безвкусию».

Эти слова звучат словно отголоски тех взглядов и мнений, которые Георге впитал в себя в Париже, где он пережил самые замечательные недели и месяцы своей жизни, в сравнении с которыми первое время в Берлине казалось более тяжелым. В начале ноября 1889 года, когда Георге только вселился в новое жилье в Берлине, Сен-Поль послал ему восточку: «М[алларме] спрашивал, есть ли от вас известия», — которая наполнила Этьена пронзительной ностальгией. «Ох уж этот Берлин и ах уж этот Париж!» — вздыхал он, настаивая на том, чтобы Сен-Поль передал от него привет «господину Малларме на одном из его вторников». Совершенно один, в незнакомой обстановке, вдали от жгучего великолепия тех летних дней и вечеров в Париже, когда они вместе читали и обсуждали поэзию, Георге чувствовал себя отрезанным от милого ему мира, потерянном изгоем в холодном и враждебном краю. И едва ли он мог ожидать, что в Берлине найдет множество людей, разделяющих его увлечение французской культурой и поэзией. В те дни само слово «француз», *Franzos*, неизбежно влекло за собой насмешки, издевательства и притом немалое подозрение. Но, что еще хуже, Георге был католиком и южанином, кого в нем мгновенно узнавали по его рейнландскому акценту. Так, внезапно он обнаружил, что находится в цитадели воинственного прусского национализма, который еще более десяти лет назад начал раздувать Бисмарк. Хотя еще в 1880-х годах «Культурная борьба» (*Kulturkampf*) как политическая программа утратила собственную силу и поддержку населения, лежащее в ее основе недоверие к католицизму продолжало определять культурные отношения в Северной Германии еще длительное время. И этот коренной антагонизм обрел свой публичный голос, весьма красноречивый и убедительный, в тех стенах, которые прусское государство построило для распространения собственных культурных традиций, — в стенах университета.

В конце октября Георге поступил в университет Фридриха Вильгельма и начал посещать лекции по французской лингвистике, философии и курсы по творчеству Шекспира и современной немецкой драме. Последний курс читал Эрих Шмидт, непосредственный ученик и последователь Вильгельма Шерера, прибывшего в 1877 году в Берлин, чтобы возглавить первую кафедру, учрежденную для истории немецкой литературы. Изначально изучавший филологию Шерер посвятил свою первую книгу граммати-

сту Якобу Гримму, за которой вскоре, в 1868 году, последовала его вторая и внушительная книга «История немецкого языка». Таким образом, Шерер задавал тон в филологии и истории литературы в Германии, его влияние в этой области сохранялось вплоть до его преждевременной смерти в 1886 году. Отказавшись от идеалистических размышлений, преобладавших в немецких гуманитарных науках в первой половине XIX века под тяжелой десницей Гегеля, Шерер пытался привнести в изучение истории объективный дух английского эмпиризма и научного позитивизма. Иными словами, он полагал, «что цели и задачи исторической науки, в сущности, совпадают с целями и задачами естественных наук».

Недавно вернувшись оттуда, где поэзию считали святым призванием, а поэта — священнослужителем, Георге питал отвращение к этому стремлению воспринимать литературу как объект, который можно рассекать и бесстрастно изучать в поисках механически понимаемых причин и следствий, словно полипы или камни. Это было совсем не то, что он ожидал здесь найти, когда в прошлом году решил посвятить себя филологии. Но в университете существовали и другие, более глубокие, конфликты, лишь усиливающие чувство отчуждения Георге от академической среды. Хотя по своему происхождению Шерер был австрийцем, он рано присоединился к националистической культурной программе, сначала в Пруссии, затем — в новой объединенной Германии. И, поскольку это дело затрагивало политические интересы, духовные и культурные ценности нации отождествлялись с протестантскими ценностями. Не видя никаких противоречий в том, что решает политические задачи академическими средствами и одновременно с этим отстаивает научный метод в исторической науке, Шерер осознанно поставил свою научную карьеру на службу политическим и общественным целям возрожденной Германии. В своей «Истории интеллектуальной жизни в Германии и Австрии», вышедшей в свет в 1874 году, Шерер прямо заявлял следующее: «Библия Лютера является ключевым событием на пути к основанию объединенной Германии, ее культуры и языка. По сути, это было сотворение того, что мы называем теперь своей нацией. Наше национальное единство мы соотносим с Лютером, как Италия соотносит свое единство с Данте. Библия Лютера — это наша „Божественная комедия“. Это — краеугольный камень храма, что окружает нас сегодня». Иначе говоря, Реформация явилась началом процесса, получившего свое логическое завершение в Рейхе Бисмарка. Что касается Георге, ненавидевшего Шерера лишь чуточку меньше, чем самого Лютера (кого любил называть «пропащим монахом»), то эти утверждения Шерера, равно как и духовная культура, которую тот представлял, ставили под вопрос само положение Георге как немца.

Поэтому совершенно неудивительно, что Этьен Георге пытался противостоять этой ситуации тем, что стремился, как прежде в Дармштадте,

найти компанию среди тех, кто, подобно ему самому, был чужаком в прусской столице. Волею судьбы мексиканская семья, с которой он познакомился в Париже, сеньор Антонио Пеньяфиель и два его сына Порфирио и Хулио, посетила Берлин, а Георге сопровождал их в многочисленных экскурсиях по городу и в поездке в окрестности Потсдама, где вместе они посетили регулярные парки и сады и дворец Сан-Суси, построенный в XVIII веке королем-франкофилом Фридрихом Великим. В действительности, близость Георге с этими друзьями была настолько глубокой, а отчуждение от своих соотечественников — настолько сильным, что в течение первых месяцев в Берлине он говорил только на испанском языке.

Он познакомился также с говорящим по-французски студентом Морисом Мюре из швейцарского Моржа — города, что стоит на Женевском озере. Георге, с ног до головы разодетый в черное, что так любили поэты-символисты, подойдя к Мюре однажды после лекций в университете, которые они вместе посещали, представился ему, заявив о собственной растерянности и таинственно произнеся по-французски: «Я происхожу из того же народа, что и вы». Затем он рассказал Мюре, что его семья имеет французские корни, что сохранил в душе любовь к своей «родине» и что недавно провел несколько месяцев в Париже. С гордостью он сообщил Мюре, что там, на набережной Сены он познакомился с «выдающимся пожилым поэтом по имени Стефан Малларме». Страстно желая возродить такую же братскую общность, что была у него в Париже с «мардистами», которой ему так недоставало, теперь Георге играл ту же роль, что Сен-Поль по отношению к нему самому прежде. Он отвел Мюре в свою комнату и читал ему стихотворения не только Малларме, но и Верлена, Меррилла и Вьеле-Гриффена. Позже он открыл Мюре свой «тайный язык» и переписал для него свои стихи, созданные на его «lingua romana». Также они часто вместе посещали театр, а Георге уверял, что они были на немецкой премьере постановки по раннему произведению Ибсена «Дочь моря». Когда Мюре, явно разочарованный спектаклем, спросил мнение Георге о постановке, тот ответил, как показалось Мюре, очень «по-немецки». «Я сообщу тебе свое мнение через несколько дней, — медлил Георге. — Дай мне время поразмыслить над этим».

Мюре, хотя и был иностранцем, казался Георге более близким человеком и менее чужим, чем прусские студенты. И все-таки Георге постарался приобрести знакомство и среди своих соотечественников; так, он сошелся с взволнованной и тревожащей особой по имени Карл Август Кляйн, непостоянным и непредсказуемым молодым человеком, склонным к чудаковатым противоречиям как в своих высказываниях, так и в поведении. Официальный биограф Георге, выражаясь в свойственной ему неясной манере, сообщил, что Кляйн «обладал сильным мужским характером и нежной, даже слишком тонкой душой». Но, казалось, сам Кляйн никогда не пони-

мал причины своего постоянного внутреннего беспокойства и не говорил об этом. Сохранились забавные истории о том, как он, любивший вызывать своим поведением возмущение выдержанных берлинских бургеров, надевал щегольской костюм и прохаживался по бульварам в таком виде и гриме, или о том, как однажды ночью он в запале сорвал с себя одежду и в обнаженном виде при свете луны проскакал на лошади по сельской местности. Также существует фотография, на которой Кляйн и Георге изображены в форменной одежде, в темных тяжелых сюртуках: они стоят лицом друг к другу, белые воротнички туго сжимают их шеи, а на головах у них — высокие цилиндры. Эти чудаковатые костюмы на их мальчишеских телах вызывали необыкновенную реакцию. Одна рыночная торговка, когда мимо нее фланировали эти два молодых щеголя, сказала: «Метровый человек и двухметровая печная труба». Оказалось, что Кляйн, уроженец Дармштадта, посещал Людвиг-Георгиевскую гимназию в то же время, что и Георге, но тогда их пути не пересекались. Запоздалое же их знакомство в Берлине явилось значительным и судьбоносным, по крайней мере для Кляйна — он стал одним из первых сторонников и союзников Георге, тем первым человеком, кто отдаст всю свою энергию и даже все свое существо ради «миссии» Георге. Кляйн считал их дружбу проявлением непостижимой воли судьбы, поскольку он и Георге не встретились в школе, где вместе учились, а заметили друг друга на том самом курсе лекций, где Георге нашел Мюре.

Вспоминая, как в спартанской аудитории, где в зимнем семестре они слушали лекции по истории синтаксиса французского языка, «наши глаза встретились», Кляйн рассказывал, что однажды Георге подошел к нему после лекции и предложил руку для рукопожатия. Кляйн расплывчато сообщает о подробностях их знакомства, но не о том впечатлении, что оно произвело. «Некое странное чувство, которое тогда я был не способен выразить, медленно крепло во мне и таинственным образом росло, затем внезапно взмыло и обратилось в безмолвное блаженство». Даже по прошествии сорока лет после этого малосодержательного описания их первой встречи Кляйн продолжал настаивать на том, что бурные и необыкновенные чувства, что он пережил, познакомившись с Георге, проистекали из его собственного отчаянного желания обрести духовное братство. Но его слова говорят, скорее, о плотском влечении. Ночь после их знакомства, как писал Кляйн, была «ужасной». «Вихрь самых противоречивых чувств закрутил меня. Меня выбрасывало из темных глубин пропасти и поднимало на головокружительные высоты. С этих небес я камнем падал вниз, на самое дно отчаяния. Меня обуревали сомнения, они терзали меня. Я ликующе кричал, когда они отступали, и стонал в безумной агонии, терзался муками сомнения». «И все же, — уверяет Кляйн, — это была ночь пронзительного счастья, счастья после бури, полностью потрясших и перевернув-

ших все мое существо, я трепетал от одной мысли, что такое благословение, которое считал для себя незаслуженным и которое получил словно священный сосуд, могут снова отнять у меня». Когда следующим утром Кляйн пришел к Георге, то поведал ему о внутренней борьбе, пережитой им прошлой ночью. Георге, писал Кляйн, «нежно провел своей мягкой рукой по ранам, что причиняли мне такую пронзительную боль. Он сказал просто, но значительно, что знает, через какую муку мне пришлось пройти. Он утверждал, что всегда знал, что именно он делает, и что люди, которых он выбирает, никогда не разочаровывают его».

Даже если сделать некие допущения к этим риторически перегруженным заявлениям, нельзя поверить в возможность Кляйна уже тогда предвидеть, что после встречи с Георге его жизнь настолько изменится, а еще более сомнительным является то, что после такой неистовой ночи он действительно решил самозабвенно служить делу поэта верным глашатаем и защитником. Скорее, Кляйн чувствовал настолько же сильное ответное желание самого Георге обрести братство — хотя и на его собственных условиях — и смутно ощущал, что эта дружба вызвана неявным, но и неизменным стремлением Георге доминировать в отношениях. Ясно также, что Кляйн был смущен, хотя и не осознавал этого, той непреодолимой силой эротического притяжения, о чем они никогда не говорили. И все же в конце концов, после борьбы с силами и чувствами, с которыми он был не в состоянии совладать, Кляйн решил свободно подчиниться воле Георге и стал его первым верным последователем.

Если Георге и замечал, какая буря происходит в душе Кляйна, то не подавал виду, а также совершенно не проявлял никаких признаков того, что сам охвачен тем же волнением. «Он никогда не открывал мне, — признавался Кляйн, — что я значу для него. Мы об этом не упоминали и до самого последнего дня благоразумно не обсуждали». Как и бесчисленное количество раз в дальнейшем, Георге всего лишь принимал преданность Кляйна, будто это было его естественное право, неизбежное и само собой разумеющееся признание его превосходства. В любом случае, у него имелись собственные, требующие не меньшего внимания заботы. Даже в узком кругу друзей, приобретенных в Берлине, Этьен по-прежнему чувствовал себя отвергнутым, изолированным и оторванным от того, что сейчас считал собственным призванием. В удушливой атмосфере столицы собраться с силами или призвать всю волю писать вообще, не говоря уже о сочинении стихов, казалось все более сложным, если не совсем невозможным делом. Проведя рождественские праздники дома в Бингене, куда он приехал в сопровождении своего швейцарского друга Мюре, в начале 1890 года Георге вернулся в Берлин. После празднования Нового года он написал Артуру Шталю длинное бессвязное письмо, начинавшееся несколькими типичными строками на его тайной «*lingua romana*». Он обра-

щался к Шталю, нежно называя его «другом своего сердца», и упомянул (хотя и не просил прощения): «...наша переписка на долгое время прерывалась». Но вскоре Георге сбросил маску, созданную этим искусственным языком. Он открывает Шталю свои мысли, на этот раз по-немецки:

Теперь мне следует признаться в том, о чем я нахожу для себя тяжелым даже писать: идея, какой я был заражен и какую преследовал с детства, значение которой для меня в некоторые периоды моей жизни еще и еще усиливалось, вновь завладела мной. Я имею в виду идею создания, по сути, романского литературного языка для моих личных целей, легко воспринимавшегося на слух и понятного. В нескольких словах я не могу объяснить тебе те причины, по которым мне не нравится писать на родном немецком языке. (В начале этого письма в качестве образца я привел несколько строк на этом языке.) Вероятно, в этом также заключается причина, почему на протяжении столь долго времени я ничего не писал: просто не знаю, на каком языке мне следует писать. Чувствую, что эта идея или покинет меня, или совершенно измучает.

Осторожный, сдержанный и отстраненный даже в тот момент, когда, по собственному мнению, он делает некое «признание», Этьен все-таки не говорит Шталю всего. Он переживал нечто вроде кризиса, значительно более тяжелого, чем охватывавшие его прежде приступы чувства неопределенности будущего. Эти попытки решить, на каком языке ему следует писать, а на самом деле еще и говорить, хотя и были серьезными сами по себе, являлись лишь симптомами его душевного состояния вообще. Его отвращала официальная культура протестантского прусского государства, теперь агрессивно отождествляющего себя с немецкой нацией в целом. Георге ощущал, что только тем, что пишет или говорит по-немецки, позволит себе слиться с тем режимом или присоединиться к той культуре, которую он отказывался признавать. Более того, он понимал, что другие немцы относятся к его позиции с подозрением и даже открытой враждебностью. Его первоначальные попытки создать собственный язык были связаны со стремлением, хотя и не таким отчаянным, взять под абсолютный контроль все аспекты своей жизни. Казалось, однако, вовсе не внешний мир, освещенный безудержным берлинским Молохом, представлял главную и непосредственную угрозу всему тому, что Георге любил. Даже относительно спокойное занятие филологией в руках Шерера превратилось в средство пропаганды политической и культурной идеологии, прямо противоречащей убеждениям и настроениям Георге. Ко всему прочему, несмотря на то что он нашел нескольких друзей, разделявших его интересы, в своем письме к Шталю он говорит, что, хотя вел «скорее, уединенную» жизнь, все-таки ему удалось обзавестись «кругом друзей» в Берлине, «среди них французы, итальянцы, мексиканцы и т. д.». Воспоминания о полном жизни и

впечатлений лете в Париже причиняли ему все более сильные страдания, по мере того как в Берлине устанавливались холодные и серые недели и месяцы. Верно, что Кляйн, должно быть, удовлетворял некоторые запросы Георге. Но он, в сущности, обладал впечатлительной душой и был неспособен дать Георге то, что тому было нужно. Также единственный выход он видел не в иллюзорном духовном уединении, но в реальном бегстве от реальности.

Этьен испытал временное облегчение в марте, в конце первого университетского семестра, когда приехал домой в Бинген, на этот раз в компании Порфирио и Хулио Пеньяфиелей. Но у Георге были далеко идущие планы. Перед отъездом из Берлина двое братьев вместе с Кляйном и Георге отправились на вокзал пожелать счастливого пути Морису Мюре, уезжавшему на время весенних каникул Швейцарию. На самом деле Мюре чувствовал себя в Берлине не более счастливым, чем его немецкий друг. Месяцем раньше, в феврале, Мюре и Этьен начали серьезно обсуждать возможность эмиграции в Мексику вместе с Пеньяфиелями. Разумеется, это был радикальный, отчаянный шаг, и к нему следовало должным образом подготовиться. Поскольку Этьен по-прежнему зависел от отца и нуждался в его финансовой поддержке, ему надлежало обсудить с ним этот вопрос в высшей степени дипломатично. Гостившие на протяжении двух недель в семье Георге Порфирио и Хулио должны были служить живым убедительным доводом в пользу этих его намерений. И все-таки ему предстоял нелегкий разговор. На второй неделе марта Кляйн, осведомленный об этом плане, попытался осторожно навести справки о том, в какой стадии находятся переговоры по данному вопросу. «Итак, насколько высоко атмосферное давление, которому ты подвергаешь своих родителей? — Аккуратно интересовался он. — Надеюсь, что нет никакой необходимости давить на них слишком сильно и что они легко согласятся на эмиграцию сына».

Несмотря на то что в конце концов Георге так и не сделал последний шаг к тому, чтобы навеки покинуть Германию, тем не менее эта затея свидетельствует о том, насколько несчастен он был на родине, если, конечно, он считал ее своей родиной. В действительности еще какое-то время он продолжал обдумывать свой отъезд из Германии или нечто вроде эмиграции, как будто эта перспектива была реальной. Позже в том же году, в другом своем письме к Шталю, задуманном в некотором смысле как прощание, Георге писал: «Возможно, это последний год моего пребывания в Германии». Даже еще в январе 1892 года он продолжал обдумывать возможность навсегда уехать «за границу». Опять-таки этим планам не суждено было осуществиться, по крайней мере в таком виде. Однако до конца своей жизни он никогда не оставался в каком-либо месте Германии дольше, чем на несколько месяцев, сначала регулярно отправляясь во Фран-

цию, Голландию, Бельгию, Австрию и Данию, а затем постепенно ограничивая свои странствия знакомыми местами в Германии, Швейцарии и время от времени Италии, где для него, переезжающего с места на место и нигде надолго не останавливающегося, всегда была готова комната в доме друзей или в скромном отеле. Даже намного позже, когда Георге стал признанным представителем новой немецкой культуры и собственно ее воплощением, то никогда не соглашался с утверждениями, будто он принадлежит Германии или ее культуре. Будто бы он, отказавшись привязать себя к какому-либо определенному географическому месту, не только мог сохранить предельную независимость, которой так жаждал, но и — в то же время и тем самым, что физически отрицал существование Германии, — пытался создать собственную Германию.

С наступлением апреля Этьен смирился с тем, что близится новый семестр учебы в университете, и приготовился к возвращению в Берлин. В письме к Мюре, решившему в конце концов, что этот город невыносим, и предпочтшему продолжить обучение в Мюнхене, Георге сообщал, что так же, как стремиться избежать всех зол и пороков столицы, он желает получить большой простор для собственных занятий и увлечений. «В большом городе извиваемся и корчимся подобно угрям, но и провинциальный пруд с золотыми рыбками слишком мелок и мал для нас. Уверяю тебя, мне вполне комфортно здесь, в Бингене, но я совершенно не способен выносить его на протяжении длительного времени. И поэтому послезавтра я возвращаюсь в свой дорогой — ой, Боже, — в свой дорогой Берлин». Этьен корил Мюре также за то, что тому не удалось строго придерживаться плана. Он писал: «Как я сожалею о том, что этими замечательными и прекрасными деньками в начале весны ты не был со мной и нашими друзьями Пеньяфиелями здесь, на берегах Рейна! Это было бы восхитительно, во время наших прогулок мы так часто вспоминаем тебя, неблагодарный, а ты даже в мыслях ни разу не снизошел до нас». Это был легкий упрек, но при этом совершенно прозрачный — если Мюре хотел быть его другом, то должен был соблюдать основные правила.

Единственным человеком, на которого Георге мог положиться в любое время, оставался Кляйн. В действительности, возможно, именно этот хрупкий, непостоянный и тем не менее фанатично преданный юноша твердо настаивал на том, чтобы Георге не только остался в Германии, но и продолжил свои поэтические занятия. Очевидно, Георге рассказывал ему о том, что пишет, но, проявляя типичную осторожность, никогда не давал читать свои произведения. Кляйн писал из своего дома в Дармштадте, все более настойчиво умоляя Этьена показать стихи. В начале апреля, говоря о стихотворении, написанном Георге на его «*lingua romana*», Кляйн заклинал своего друга: «Я с нетерпением жду твоё „Познание“ («*Cognicion*)»).

Чувствуя, что может довериться ему, Георге наконец сдался и послал ему это от руки переписанное стихотворение.

Немецкую версию «Познания», одного из трех стихотворений под названием «Легенды» («Legenden»), Георге закончил еще годом ранее в Париже, по-немецки оно называется «Erkenntnis» и отражает его глубоко противоречивые чувства по отношению к женским чарам и тому опыту, что стоит за общением с женщинами. В стихотворении присутствуют некоторые мотивы и образы, свойственные его ранним произведениям, связанные с чувственной страстью, в особенности между мужчиной и женщиной, со страстью, имеющей гибельные последствия. Но также самым очевидным образом в своих стихах он с настойчивостью безумца изображает доходящую до крайности любовь к самому себе. Стихотворение, описывающее произрастающие на безмятежных, вероятно греческих, просторах, у чистых ручьев «девственные цветы» и тенистые рощи, изображает человека, напоминающего Нарцисса, застывшего над ручьем, который томно глядит на свое отражение в его глади. Голос автора повествует о том, что этот прекрасный эфеб, уставший одиноко мечтать, отчаянно ищет друга и наконец находит «деву, о которой грезил, — божественную». Вместе они удаляются в его уединенное жилище, где он наслаждается по большей части ощущением, что полностью владеет этой женщиной, и говорит сам себе: «Она вся — для тебя, для твоего лишь взора. И только для тебя она цветет и пахнет». Но как только они прибывают в его дом, его тут же начинают обуревать сомнения, действительно ли она подарила свои добродетели лишь ему и на самом ли деле «она явилась чиста, словно жрица»? Когда он сидит, полностью отдавшись мыслям о своей «горькой боли», она подходит к нему и, ничего не зная о необоснованных подозрениях, нежно целует его голову. На это он яростно кричит: «Иль звал я, женщина, тебя? Ко мне ты подходи, когда лишь прикажу!» Она отходит, не проронив ни слова, поэтому он еще сильнее уверяется в том, что ее мольбы лживы, а показная скромность — лишь обман и лицемерие.

Пока узлом сворачиваюсь я от боли,
Она легко меня желает покорить...
Лукавит лишь она, что гнева моего боится,
И потому ее обманчивые чары
Не действуют легко так на меня, как на других.
А эти нежные, но льстивые слова,
В которых она просьбы выражает,
Вмиг выдают ее лукавый ум.
Они глазам и слуху моему избличают:
Ее наивность детская — лишь лживая личина.

В качестве психологического портрета эти бредовые домыслы, однако, вполне убедительны и пугающи. Но есть еще кое-что. С робкой надеждой

на то, что его страхи окажутся бесосновательными, мужчина прежде чем прийти к окончательному решению, ждет, желая узнать, чем увенчается их союз. И в соответствии с названием стихотворения, после этой ночи он «постигает»:

О глупец несчастный, теперь ты убедился!
Тяжелое познание! Подлая проверка!
Быть мне преступником с того мгновенья,
Когда дерзнул познать ее я узы, —
Ведь низостью добыл я свой ответ.

Униженный и оскорбленный знанием, которое ему открылось в ее омерзительных «животных судорогах», он кинулся обратно к ручью, теперь бурлящему и мутному из-за штормового ливня, и, увидев, как в нем «отражается его безобразный лик», бросился в бушующую пучину.

Вместо того чтобы внять этой печальной истории о беспощадном нарциссизме и безумной жажде к обладанию и извлечь из нее уроки, Кляйн полностью отдался восторгу. Он послал это стихотворение от лица своего друга в небольшой журнал, надеясь его опубликовать. В середине июля Кляйн получил не слишком радостный ответ от редактора этого журнала М. Г. Конрада — тот отказал в публикации, но объяснил причину своего отказа следующим образом: «Это стихотворение — верное испытание для таланта, но, ввиду того, каков был исход Лейпцигского суда, пожалуй, будет лучше, воздержаться от его публикации». В данном случае Конрад ссылается на суд реалистов в Лейпциге, которым романист Вильгельм Валлот, как и многие другие, был обвинен в распространении «непристойной литературы» — тот самый Валлот, кто искал встречи с Георге, когда тот еще подростком посещал гимназию в Дармштадте. Этот суд достиг желаемого эффекта — боясь подобных обвинений, Конрад пошел на попятный. Правда, он дал юному поэту ободряющие, хотя и не однозначные наставления. «Почему бы вам не прислать нечто менее ханжеское и более сильное, — предложил он, а затем добавил: — но совершенно не эротическое!»

Но Георге уже решил двигаться в ином направлении. Стихотворение, изначально написанное на его искусственном языке, отчасти отражало то противостояние Георге и немецкой культуры, которое повлекло за собой решение эмигрировать в марте. Теперь ему требовалось найти какие-либо новые средства, для того чтобы сопротивляться кризису и преодолеть его. И этим средством оказался его первый поэтический сборник.





Глава шестая

«ГИМНЫ»

В середине июля 1890 года, когда закончился летний семестр, Георге покинул Берлин и отправился в Бинген. Но прежде чем вернуться домой, он ненадолго заехал в Копенгаген. Георге познакомился с датчанином польского происхождения Станислаусом Рожниецки, впоследствии профессором славянской филологии в университете, с которым позже обменялся парой писем о поэзии символистов. Познакомился с ним Георге в Берлине или только по приезде в Копенгаген, не ясно, но нет более очевидной причины для его поездки в Данию, кроме желания повидаться с тем, с кем был знаком еще на момент своего пребывания в Берлине. Георге весьма продуктивно провел те несколько дней, на которые там остановился — в результате этой поездки были написаны самые чувственные и самые светлые на тот момент его стихотворения. Но, как оказалось, ему не суждено было вернуться в Копенгаген. Рожниецки вскоре совершил, видимо, какую-то ошибку, что Георге не мог простить тому, кого считал своим другом.

К другим в его окружении он был столь же требователен по части безупречности. Собрав кое-что из вещей в Бингене, Георге вновь готовился отправиться в Париж. Он чувствовал, будто спустя годы его вновь посетило поэтическое вдохновение. Теперь ему казалось, что он снова хочет вернуться туда, где в нем пробудилось подлинное литературное призвание, чтобы с полной силой выразить мысли и чувства, дремавшие всю эту долгую, безмолвную и тяжелую зиму. В апреле, еще находясь в Берлине,

Георге начал делать наброски к стихотворениям, которые в дальнейшем разместил в начале своего первого поэтического сборника. Но идея книги возникла у него лишь во время краткого, но плодотворного пребывания в Дании — стихи лились словно рекой до августа, когда он находился уже в Париже и когда вдруг этот поток вдохновения прервался. За короткое время Георге написал восемнадцать стихотворений, которые, придав им надлежащий вид, позже включил в свою первую книгу под названием «Гимны».

После всей той внутренней борьбы, что происходила в 1889 году, и после неразрешимых сомнений в своих чувствах, амбициях, своей стране, даже в собственном языке и стихах Георге наконец смог красноречиво выразить себя в поэзии. Самим своим существованием стихи подтверждали значимость той борьбы, что он вел внутри себя с самим собой. Однако перемена, которую он внутренне переживал, касалась далеко не только принятия собственного литературного призвания. Эти стихи убеждали его в том, что теперь он принадлежит к обществу людей, могущих с полным правом называть себя истинными поэтами.

Каждый настоящий поэт испытывает нечто вроде благоговейного трепета перед собственным даром, почтение к собственному творчеству, странным образом оказывающимся в мире объектов. Однажды облаченная в слово и приобретающая неизменную форму, истинная поэзия, кажется, становится неизбежной, будто она лишь терпеливо ожидала своего выражения. Часто стихи внушают нам такое чувство, что выражают истину, уже существовавшую до их написания, по крайней мере будто их не столько сочиняют, сколько попросту находят. Поэзия такого рода проникает в самую живую суть языка, становится неотъемлемой частью бытия нашего языка и тем самым способствует культурному диалогу, который ни в коей мере уже не является субъективным. Этому феномену невозможно найти какое бы то ни было объяснение, невозможно предсказать, когда явится поэзия и к кому. Но когда это происходит, то поэт, ощущающий, будто становится выразителем превосходящей его силы, зачастую не может не поверить, что оставил тесные границы индивидуальных устремлений и ступил в великое, огромное и надличностное царство бесконечной мудрости.

Конечно, в личности Этьена было многое, что предопределяло подобные взгляды. Подчеркнуто отстраненный, отмеченный печальной и даже мрачной замкнутостью и, очевидно, обладающий незаурядной чувственностью, он, казалось, был уже совершенно безразличен к мирским увлечениям, занимавшим его сверстников. Более того, из-за отчужденности, вызванной внутренней борьбой, знакомой ему с подросткового возраста, Георге уверился в том, что его место находится где-то вне сферы повседневных забот обычных людей. Но до лета 1889 года, когда он познакомился с Малларме, он не знал того верного средства, того окружения, даю-

шего точку опоры, того внешнего, что можно принять в себя, не поплатившись самодостаточностью, независимостью и своим важным делом. С тех самых пор Этьен стал считать поэзию истинным царством духа, а дело поэта, как отрыл ему мастер из Парижа, — своим единственным и надлежащим служением.

Это преобразование его личности примечательно тем, что произошло почти мгновенно, еще до того как он успел опубликовать хотя бы строчку собственного сочинения и даже до того, как его стихи получили первые одобрительные отзывы. Само то, что он начал писать, казалось, в достаточной мере подтверждало и доказывало самому Георге — подкрепляя все остальные свидетельства, в которых он нуждался для основательной поддержки своих убеждений, — что отныне он находится среди избранных. Неудивительно поэтому, что эта вновь обретенная самоуверенность, если не сказать самомнение, вызывала самую неоднозначную реакцию его друзей.

В августе, перед отъездом в Париж, Этьен встретился с Карлом Ружем и декламировал ему одно из тех своих стихов, что завершил в Дании, вместе с другими, написанными им прежде, в Берлине. Из длинного августовского письма Карла Ружа мы получаем полное представление об изменениях, начавших происходить в восприятии Георге самого себя и своей поэзии. Руж написал Этьену, что находит странным тот факт, что Этьен не желает показывать свои последние сочинения Шталю, который в конце концов являлся также одним из основателей и редакторов их школьного журнала и одним из самых близких их общих друзей. Как оказалось, Этьен отказывает Шталю в способности понимать новую поэзию, поскольку Шталь не принадлежит к некоему «кругу». «Поскольку, — говорил Руж в своем августовском письме к Георге, повторяя его доводы, — ты, очевидно, считаешь, что принадлежащие к этому „кругу“ люди *рождаются* такими (ты, кажется, полагаешь, что *научить* их этому невозможно), то тогда нельзя исключать и того, что Шталь также относится к этим „прирожденным“ поэтам. Так зачем же его исключать? Напротив, от его имени я требую, чтобы ты переписал для него свои *опусы*, поскольку литературные произведения принадлежат всем». Очевидно, Шталь не поведал Ружу всего об их с Этьеном переписке, как, вероятно, не сообщил ему ни о постоянных насмешках, которым он подвергался со стороны Георге в связи с тем, что решил делать военную карьеру, ни о своем скромном отказе иметь с Этьеном более тесные отношения, нежели только дружественные. Не знаящий этих частных причин охлаждения отношений между Шталем и Георге и движимый демократическими стремлениями защитить общедоступность литературы, Руж взял на себя смелость описать эту встречу с Этьеном в письме к Шталю, а копию этого письма послать самому Георге. Итак, он сообщал:

У него (то есть у Этьена) появилась *идея фикс* — или, возможно, нечто более серьезное, чем *идея фикс*, — будто каждое произведение искусства создается лишь для особой сферы избранных ценителей и, соответственно, может оцениваться только этим кругом. Несомненно, что, с одной стороны, это верно, но, с другой стороны, вероятно, данное утверждение является нелепым преувеличением, иначе где же тогда найдется место *критике*? Возможно, было бы лучше, если бы Георге дал мне самому *прочитать* его стихи, не делая прежде никаких замечаний, а не декламировал бы их с какими-то прелюдиями. Этому способу общения слишком многое приносится в жертву. Теперь, когда я вижу эти переписанные стихи Этьена перед собой, они совершенно не кажутся мне такими уж «новыми», как он возвещал, или сильно отличающимися от стихов, написанных им в прежней манере. «Посвящение», «В парке», «Приглашение», я полагаю, также понятны и доступны тебе, как и этому особому «кругу» Этьена.

Зная личность Этьена достаточно хорошо, чтобы предугадать, как он воспримет такую явно критическую, хотя и беспристрастную, оценку, и теперь опять обращаясь прямо к Георге, Руж добавил к этому описанию несколько хвалебных слов. Поразительно, но уже тогда, по немногим первым произведениям, Руж безошибочно определил черты, которые позже станут известными и выдающимися отличиями зрелой поэзии Георге. «Сразу скажу, — писал Руж, — что в твоих стихах действительно появилось нечто *новое*, и это — совершенство формы! Кое-где инверсия или странные слова производят не вполне приятное впечатление, но что касается формы, то она оригинальна и принадлежит лишь тебе. Это легко доказать, например, тем, что твои стихотворения можно запомнить, прочитав их все сразу (как «Посвящение», «В парке», «Праздник любви в новых землях»), и все это благодаря их великолепной, уникальной форме». Но, несмотря на очевидные технические достоинства и «оригинальную» форму, эти стихотворения в общем и целом, кажется, не слишком впечатлили Ружа, и он не умолчал об этом. Но Руж определенно не мог ни принять мрачное заявление Этьена о существовании отдельного круга, куда вхожи лишь немногие избранные, ни заставить себя допустить, что поэзию Этьена нужно воспринимать только с чувством безусловного благоговения. «Итак, ты пишешь, что я не могу сочувствовать или сопереживать этому кругу, поскольку не знаю его, — писал Руж, — но, должен сказать, что в твоих стихах я не нашел никакого неизведанного круга! Далее, я не мог согласиться с тобой, когда ты пишешь о нем — „часто недосыгаемый для наших классических авторов с точки зрения чистоты“. Что за чистоту такую ты имеешь здесь в виду? [...] Короче, должен сказать: я сужу твои сочинения исключительно по их собственным достоинствам, не принимая во внимание все то, что говоришь о них ты». Задав затем несколько вопросов относительно отдельных стихотворений, Руж заключил: «Кроме этих во-

просов и тех, что я задал ранее, твои стихи вполне понятны мне, и они были бы еще более понятны, если бы ты использовал знаки препинания. Ты можешь доказать мне свою дружбу, если ответишь на эти вопросы, но не пускайся при этом в рассуждения об особом „круге“! Даже если так тебе было бы сделать проще!»

Если бы это мнение было высказано при других обстоятельствах или, возможно, кем-нибудь другим, то Этьен счел бы послание безобидным, искренним и благожелательным, отправленным одним талантливым автором другому, то есть письмом друга, которого адресат считает равным себе. И еще бы год назад Георге воспринял бы это письмо именно таким образом. Но мэтр Малларме учил, что критику сносить нельзя. На следующий день Этьен принялся набрасывать черновик ответного письма. О том, что это было письмо Георге, свидетельствовало лишь стилистическое своеобразие его слога. Георге начал использовать рубленные, намеренно краткие выражения, формальные, почти натянутые фразы, а также сознательно пренебрегал пунктуацией — все это явилось своего рода предвестником глубокой трансформации в его убеждениях и в его отношении к самому себе и предопределило характеристики его письма в зрелости. Так, он писал Ружу:

Благодарен за твою уверенную и подчеркнутую критику.

Но задача такова: так или иначе, мастер должен найти, у кого поучиться.

И теперь — прошу — забудь все, что я недавно написал тебе, как последнее неблагоприятное и сбивчивое замечание, так мы сразу пойдем друг друга. Впредь это не повторится.

Не удивляйся тому, что листая страницы с моими стихотворениями, ты не нашел ничего нового или выдающегося. Если ты в действительности являешься таким же мастером слова, как я, то, когда пройдет твое изумление, ты постигнешь их смысл и поймешь вот что: разве не несет на себе пятно позора старого порядка каждая революция и разве много воды утекло с тех пор, как мы вместе пели страстные песни и часто в тон друг другу?

Поэтому поиск определенного смысла в намерении поэта вовсе не является нелепым, даже если человек к ней глух.

Итак, все, что ты нашел в моих стихах, старо.

Поэтому я предпочту именно то, что ты считаешь плохим, раз и навсегда отбросив то, что представляется тебе хорошим, как некие детские взгляды. Тогда в своем совершенстве человек искусства дойдет до того, что вся его работа будет казаться тебе фальшивой с первого и до последнего звука.

Как же напрасны теперь все твои советы, подсказки и, больше того, все твои усилия.

Разумеется, это письмо было подчеркнуто бестактным и заносчивым, своего рода пощечиной, высокомерной отставкой. Руж просто не мог не чувствовать себя оскорбленным и униженным, но более всего его, должно

быть, привела в замешательство внезапная перемена в поведении Этьена. Еще по дороге в Париж ненадолго остановившись в Бингене, Георге дал Ружу понять, что считает себя принадлежащим к той сфере, тому «кругу», куда закрыт вход для не принадлежащих к нему по праву своего рождения. А теперь по неясным причинам он говорил Ружу, что дверь в этот круг была закрыта для него.

Это также станет отличительной чертой зрелого Георге: на протяжении всей своей жизни он легко избавлялся от друзей, даже от тех, с кем его связывали продолжительные отношения, причем делал это грубо и резко. Он отделялся от них из-за какого-либо явного нарушения негласных правил или неуважения, из-за употребления неверного слова, сказанного поэту или о нем, а иногда и совершенно без всяких видимых причин. И если уж он отворачивался от кого-нибудь, то почти никогда его расположение невозможно было вернуть.

Стало очевидно, что разрыв со школьными друзьями невозможно преодолеть, если уж Георге настаивал на том, что между ними пролегла целая пропасть. Следующей весной, в 1891 году, он отправил Шталю открытку с многозначительным содержанием (и это был один из последних случаев, когда они общались хотя бы в письмах), по краю этой открытки нарисовал жирную черную линию, мрачно имитируя официальные некрологи и сообщения о смерти. «К чему здесь черная рамка? — задавал Георге риторический вопрос. — По случаю литературной смерти поэта и друга К[арла] Р[ужа]». Вскоре после этого всякие контакты между ними прекратились. Спустя почти сорок лет, в ноябре 1929 года, вдова Штalia написала Георге записку, где сообщала о том, что в прошлом месяце скончался ее супруг, добавив при этом, что Шталь никогда не забывал их юношеской дружбы и часто с теплотой говорил о человеке, ставшем теперь знаменитым поэтом. Но для Георге Шталь перестал существовать намного раньше.

Однако, несмотря на то что Георге безусловно настаивал на оригинальности своих произведений, даже когда его поэтический голос зазвучал впервые, само это требование и форма его выражения были тесно связаны с теми, кому он был обязан более всего. Со своей стороны его французские наставники не только признали близость его сочинений своему духу, но и радостно приветствовали их. «Гимны» вышли в свет в декабре, и тогда же Георге в первую очередь отправил три экземпляра сборника в Париж. Один из них предназначался Сен-Полю вместе с письмом, содержащим инструкции относительно того, как следует распорядиться двумя другими. «Мой дорогой поверенный, — писал Георге, — второй экземпляр передайте Деларошу, а третий, согласно тому совету, что вы дали мне однажды, прошу, уповая на вашу доброту, вместе с запечатанным письмом отдать прямо в руки месье Стефану Малларме». Сен-Поль пришел в неопишуемый восторг:

Мой дорогой, мой дорогой, мой дражайший Георге, какое же удовольствие вы мне доставили! Как ошастливила меня ваша посылка! С какой радостью я спешу вас поздравить! Ваш сборник превосходен и производит впечатление стихов, написанных именно вами. Должно быть, вы к этому и стремились. Он великолепен! Но, ради всего святого! пошлите мне перевод стихотворений, иначе это будет очень жестоко с вашей стороны. Вчера я отнес книгу Деларошу, в кафе «Вольтер», где мы встречаемся каждый понедельник. Она переходила из рук в руки, и некоторые пытались перевести стихи, а я помогал им своими описаниями личности поэта, итак, мы вас короновали. Отныне вы — признанный поэт-символист Германии.

Но самое важное для Георге письмо, которого он, несомненно, ждал с величайшим нетерпением, пришло лишь в начале марта следующего года. Вежливо извиняясь за то, что так долго не отвечал, Малларме начал свое послание с приветствия, должно быть, заставившего Георге трепетать от радости:

Париж рю де Ром 89
28 февраля 1891

Мой дорогой поэт!

Сначала у меня не было вашего адреса, поэтому я молчал. Как только получил вашу книгу, тут же ее прочел, приблизительно переведа. Я в восторге от чистого и гордого звучания, от великолепия и образности ваших «Гимнов» (невозможно было бы придумать более прекрасное название для этой книги). Но также, мой дорогой изгнанник (да, мне почти нравится так вас называть), меня радует, что ваши сочинения, такие прекрасные и такие необычные, делают вас одним из нас и одним из наших выдающихся современников.

С сердечным приветом, Стефан Малларме.

Георге ликовал. «Вообразите, — возбужденно писал он Сен-Полю, — я получил письмо от самого М». В одно мгновение позабыв свою обычную сдержанность, он даже признал, что испытал «восторг». И все же душевная щедрость, проявленная Малларме, ободрительно и, возможно, искренне похвалившего стихи новичка, и, более того, его твердая решимость принять Георге в свой круг — все это резко контрастировало с его собственным неприятием и отказом от людей, связанных с ним многолетней дружбой, которых он считал неподходящими и недостойными и заведомо грубо исключил из того самого «круга», куда теперь официально и одновременно тепло приглашал *его* Малларме. Кроме всего прочего, различие между отношением Малларме к новым поэтам и отношением к ним Георге поразительно. Немецкий поэт, вероятно, воспринимал влияния извне, но те знания и образцы, что он мог усваивать, проходя сквозь

его личность, становились более жесткими, формальными и, кроме того, приводились в соответствие с его собственной — и только ею одной — волей.

Когда Малларме назвал Георге «одним из нас», то, разумеется, имел в виду прежде всего неофициальное, но определенное сообщество поэтов, известных как символисты. Возможно, в отличие от менее осмотрительного Сен-Поля он избегал использовать само это слово, поскольку тогда, как и сейчас, оно, кажется, вносит скорее путаницу, чем ясность. В действительности, как почти любое другое литературное или художественное движение, символизм трудно определить — в подобных попытках извели уже целое море чернил. Но для многих символистов, как и для самого Георге, эта неопределенность являлась как раз одной из привлекательных черт. В сущности, символизм представлял собой четкую и безжалостную критику, направленную на стремление к логической ясности и объективной однозначности. Накал этой критики, учитывая сочувствие символистов анархистам, мог сравниться разве что с поверхностностью суждений и жадной наживы буржуазного общества, которое они, как трубили на всех углах, ненавидели. Символисты были убеждены в том, что новый научный век не улучшает мир, а истощает его, сводя все его многообразие лишь к поддающемуся посчету или определяемому количественно, и в том, что прогресс лишает мир какого бы то ни было метафизического значения. Главной проблемой для символистов являлась не материальная «вещь», а метафизическая «идея», не конкретная чувственная определенность этих вещей, а постоянное развитие духа. В 1886 году в газете «Фигаро» появилась статья Жана Мореаса, решительно защищающего символизм. Мореас назидательно заявил: «Поэзия символистов стремится облечь Идею в чувственную форму, что тем не менее все же не является целью этой поэзии, но остается ее объектом, поскольку служит выражением этой идеи. В свою очередь Идея ни в коем случае не должна появляться без роскошных покровов внешних аналогий и символов. Поскольку сущность символистского искусства состоит в том, чтобы никогда не приближаться к смыслу самой Идеи. Поскольку неизвестно, каким образом все отдельные явления проявляются в искусстве, в природе и человеческих поступках: они — лишь отраженные в чувствах образы, которым предназначено выразить их тайную связь с изначальными Идеями».

Это — очень смелое заявление, и может возникнуть вопрос, многие ли стихотворения, написанные согласно этим принципам, соответствуют подобным возвышенным устремлениям. Тем не менее это неосуществленное и в действительности вообще неосуществимое притязание является совершенно искренним и к тому же древним. Мысль о том, что некто может проникнуть за покровы видимости и войти в сокрытый от глаз человека, обладающий истиной и подлинным бытием мир, недоступный и непонят-

ный большинству людей, никогда не переставала владеть европейским воображением. От идей Платона до христианских таинств и до кантовской «вещи в себе» считалось, что Истина находится где-то за пределами разума, недоступна обычным чувствам и превосходит ограниченное понимание человека. Больше, на что мы можем рассчитывать, — это лишь некое приближение к Истине, которая никогда недостижима в своем подлинном бытии, но, как известно, скрыта за своими бледными отражениями и неточными копиями. Парадоксально, но символисты смогли извлечь преимущества из этой явно ограничивающей способность человека к познанию трактовки. Если все мы являемся лишь несовершенными производными этой Реальности, если объекты, язык и материя не что иное, как неадекватные проявления Истины, то подчеркивать этот факт неизбежно означало бы отвлекать внимание от рассуждений о преходящем и изменчивом мире и обращаться к созерцанию, если уж не к действительному постижению, скрытого вечного мира.

Это, несомненно, мистический замысел, но символисты следовали ему с превосходной рассудительностью. По сути, главный парадокс символизма, состоящий в выражении невыразимого и передаче непередаваемого, не поддается описанию. Сам Малларме наилучшим образом выразил кажущиеся противоречивыми цели символизма, сравнивая их с целями предыдущего поколения поэтов — парнасцев и противопоставляя им. В 1891 году, всего через несколько месяцев после выхода «Гимнов» Георге, Малларме давал интервью Жюлю Юрэ, журналисту из издания «Эхо Парижа», работавшему над серией заметок о современной литературной жизни Франции. Когда Юрэ попросил Малларме определить суть новой поэзии, тот ответил следующее:

Созерцание объектов, образа, ускользающего от мысли, пробужденной им, — вот что создает поэзию. Парнасцы, однако, берут вещь в ее полноте и показывают всю целиком, поэтому в их поэзии нет тайны, нет загадки. Они лишают наши души той величайшей радости верить, что они творят. Назвать объект означает на три четверти уничтожить удовольствие от стихотворения, состоящее в том, что мы получаем радость мало-помалу догадываться, о чем оно, а угадывать — и есть мечта. Это совершенное проявление тайны, что продолжает существовать в символе: вызывать, один за другим, объекты, чтобы выразить настроение, или, наоборот, выбрать объект и посредством серии истолкований вывести из него настроение.

Опять-таки полезно вспомнить, что все базовые понятия, составляющие кредо символистов, относятся к почтенной, по крайней мере с трудом постижимой, старине. Многие идеи, выраженные здесь, можно обнаружить в том или ином виде у немецких романтиков, произведения и взгляды которых символисты знали превосходно, и у христианских мистиков,

например Сведенборга, в учении Шопенгауэра и его страстного последователя Вагнера, а также в различных оккультных доктринах, моду на которые в 1860—1870-х годах ввели такие фигуры, как плодовитый, но чудаковатый Альфонс-Луи Констан, более известный под псевдонимом Элифас Леви, и невероятно популярный Жозефен Пеладан, взявший напыщенное имя Сар Меродак. Из этих и многих других источников черпали свое вдохновение и идеи символистские литераторы и художники, неизбежно глубоко повлиявшие также и на Георге.

Над всеми остальными возвышалась мрачная фигура Бодлера — этого «редкого и чистого гения», как однажды эксцентрично назвал его Малларме, — он и в своих стихотворениях, и в критических очерках выражал те идеи, что общепризнанно являются основными принципами доктрины символистов. Его теория «соответствий» получила свое отчетливое выражение в одноименном стихотворении, содержащемся в начале сборника «Цветов зла», за перевод которого Георге взялся чуть позже той же весной.

Обычно говорили — а символисты, включая самого Георге, это лишь с удовольствием подтверждали, — что натурализм является их самым главным врагом и противником, которого они стремятся уничтожить в своих произведениях. Как и любое полемическое средство, это утверждение обязано своей эффектностью лишь собственной неясности; дальнейшее уточнение и прояснение этого утверждения хотя и придает ему большую точность, но снижает его выразительную силу. Символисты, разумеется, высмеивали убеждение натуралистов от литературы, будто следует — или хотя бы является осуществимым делом — стремиться и достичь описания изменчивого мира со всеми его очевидными и неразрешимыми сложностями посредством несовершенных средств языка. Они отвергали также политическую заинтересованность многих натуралистических писателей, настроенных либерально и поэтому стремившихся изобразить в своих произведениях обычную жизнь рабочих доступным для них способом. Точным описанием всех обстоятельств тяжелой жизни натуралисты надеялись вмешаться от лица менее счастливых людей в жестокую реальность и изменить их участь к лучшему. В противоположность этому, символисты были твердо убеждены, что литература, а в особенности поэзия, не должна иметь дело с такими обыкновенными и повседневными нуждами людей. Подходящим делом для поэта они считали — выразить всеобщее, не вдаваясь в частности. На философском уровне, они считали наивным убеждение, что литература может иметь непосредственное отношение к реальности, как будто сущность литературы и реальности ясна или очевидна любому. В этом вопросе Малларме также был красноречив и решителен. Когда журналист «Эха Парижа» спросил у него о «натурализме», тот ответил, обратившись к довольно иллюстративному примеру:

До сих пор инфантилизация литературы выражалась в убеждении, что, например, выбрать некоторое количество драгоценных камешков и описать их на бумаге, пускай даже прилично, и означает *сотворить* драгоценные камни. Так вот, нет! Поэзия заключается в *созидании*; конечно, нужно извлекать настроения из человеческой души, эти слабые отсветы чистого абсолюта, и если они поданы и освещены поэтом верно, то действительно дарят человеку радость: это и есть символ, это и есть созидание, и здесь слово «поэзия» обретает свой подлинный смысл; это, в конце концов, единственно возможное для человека созидание. А если эти драгоценные камни, которыми некто украшает себя, на самом деле не выражают настроения, то тогда он украсил себя ими неправомерно.

И все-таки настоящим противником символистов, если, конечно, нужно использовать такую риторику, был не столько натурализм, сколько в некотором смысле вся изобразительная традиция западного искусства в целом. Еще с античности считалось, что искусство является отражением внешнего мира. Подражание природе, хотя и подразумевало целый спектр смыслов и было сопряжено с множеством задач, тем не менее всегда по своему происхождению и назначению относилось к искусству. Считалось, что достоверному воспроизведению природы — по крайней мере, твердому убеждению, что некто делает именно это, — надлежало превозносить величие божьего творения, показывать превосходство человека над природой, служить средством получения полезного знания о мире, спасать прошлое от полного забвения или попросту усиливать удовольствие, возникающее в нашей чувственности, когда мы, изображая нечто, наслаждаемся не чем иным, как только самим этим действием. Но на протяжении двух с половиной тысячелетий никогда не возникало сколько-нибудь серьезных вопросов о том, что ремесло искусства должно схватывать окружающие нас формы, цвета, звуки и даже движения и затем выражать их в понятной для нас форме.

Однако символисты полагали, что искусство имеет более важную и более сложную задачу. Поскольку большинство символистов считало внешний мир — Природу — лишь бледной иллюзией или тонким покрывалом, скрывающим невидимый внутренний мир, то описание природных объектов получило определенно незначительную, второстепенную роль в их поэзии. Объекты становились «символами» иной, скрытой, реальности, видимыми образами того, что нельзя выразить напрямую. Даже говоря о природном мире, символист на самом деле ведет речь о чем-то ином. Фраза Малларме, которой он описывал производимый символом эффект, подразумевает, что «настроение», передаваемое символом, буквально означает «состояние души» (*état d'âme*). Но говоря, что символ выражает «состояние души», Малларме вовсе не имел в виду, будто эффект стихотворения заключается в том, чтобы вызвать в душе читателя определенные

психологические переживания и эмоции, или исчерпывается этим. Скорее, участвующие в поэтическом действе слова вовсе не являются неким каналом, помогающим оценить описываемые ими вещи и вызванные ими особенные чувства, но стихотворение через совершенно невыразимую связь дает возможность слиться с духовным состоянием поэта и в конце концов встретиться с тем, что известно под различными именами — «Идеи», «Бесконечного» или «Абсолюта». И именно поэт и только поэт может слушать посредником в таинственном деле проникновения в высшую реальность.

Близость понимания искусства и художника к назначению религии очевидна и совершенно не случайна. Малларме явно считал себя кем-то вроде жреца или священника в миру, и, разумеется, от внимания завсегдаев его литературных вторников не ускользнуло, что он воспринимал их совместные сеансы как некое священнодействие. И эти взгляды разделяло также большинство символистов. Они полагали, что художник, и преимущественно поэт, занимает особое место по отношению к остальному человечеству, что он посвящен в тайное знание, участвует в ритуалах, совершающихся на языке, который могут — и должны — понимать только посвященные, и служит посредником между невидимой и тайной силой, пугающей обычных смертных, и людьми. Символисты сознательно и искусно использовали эти убеждения, близкие католическому вероучению, которое признавали и исповедовали многие из символистов.

Разумеется, это была отравляющая смесь — иллюзия, как казалось, безграничной власти над миром (и не имело значения, что это лишь откровенно вымышленная власть) вкупе с возвеличением собственной личности, граничащим с самообожествлением. Для Георге, видящего в этом не только некий способ разрешить собственные не простые отношения с миром, но и, что более важно, способ окончательно и полностью подчинить мир своей воле, этот догмат доказал всю свою нерушимость. Стремясь всеми возможными средствами усилить собственную власть в физической и интеллектуальной сфере, Георге именно в символизме открыл систему взглядов, позволяющую ему установить неограниченное превосходство над всеми и даже в большей степени, чем он считал возможным. Важно подчеркнуть, что власть над миром, а значит, над жизнью, вовсе не являлась для Георге некоей метафорой или фигурой речи — это было глубокое убеждение, в буквальном смысле наложившее отпечаток на его последующую жизнь. До нас дошел один забавный каламбур Георге, вполне правдоподобный, чтобы в нем можно было сомневаться. Как-то раз, двадцать лет спустя, Георге, услышав о реплике Наполеона: «Я люблю власть, как художник!» — немедленно ответил: «Я люблю искусство как власть».

В этом и все дело: в конце концов, за всеми эстетическими размышлениями, хотя они, несомненно, важны, Георге любил искусство за ту власть, которой, как он считал, оно его наделяло и благодаря которой он мог создавать мир и сообщать ему собственный порядок. Правда, однажды в разговоре, состоявшемся в 1919 году, он признал, что «поэт не создает мир, а только выражает его». Но на самом деле эта фраза содержит уступку в меньшей степени, чем может показаться изначально. Ведь Георге был также убежден в том, что несколькими годами ранее кратко выразил следующим образом: «Слагать поэзию — значит в некотором смысле править». По-немецки данное выражение звучит еще более кратко и еще более впечатляюще: «Dichten ist ein Herrschen».

Естественно, когда Георге создавал свой первый поэтический сборник, эти идеи по большому счету еще не сформировались, оставаясь скорее скрытыми, нежели сознательными. Но они читаются в его стихах между строк и выражаются в переживаниях, испытываемых к предметам, к которым он обращается в своих стихах. Уже само название книги «Гимны» отсылает к некоему квазирелигиозному опыту, который и описывается в первом стихотворении сборника — «Посвящение» («Weihe»), содержащем множество ассоциаций с ритуалом посвящения, освящением и формальным рукоположением в сан. Все же, несмотря на то что здесь используются понятия, связанные с официальной процедурой инициации, или посвящения в духовный сан католической церкви, речь идет не об этом, а о принятии поэтом своего призвания.

Обращаясь к самому себе во втором лице, поэт описывает, как ночью блуждает по речным склонам, в теплом воздухе, а потом ложится на траву у края воды, «не ведая тревожных мыслей». Пока он созерцает мерцание звезд в отражении вод речного потока, в нем начинается некое преобразование: «Свое былое имя течение времени теряет / И символом становится все сущее с пространством». Это поразительный момент: здесь, в начале книги, а на самом деле еще в начале своего творчества, Георге заявляет, что вся реальность — пространство, время и все «сущее» — претерпевает глубинную трансформацию. Всему вокруг, что прежде имело иное предназначение, следует дать новые имена, и поэт выступает как своего рода новый Адам, а все сущее, уже кажущееся иллюзорным, продолжит существовать только в его словах и благодаря им, в тех «символах», что он использует. Именно в этом таинственном состоянии, в котором поэт переживает превращение Вселенной в некий брезжащий мираж, происходит его «посвящение»:

Теперь ты готов — богиня уже снизошла
В туманном облачении лунного света.
В крепком сне глаза ее полуоткрыты,
Склонилась над тобой, чтоб дать благословенье:

Пока на твоём лице её уста трепещут,
Тебя узрит она во святости и чистоте.
Она не станет отворачиваться от поцелуя —
Её приблизь к своим губам решительной рукой.

Хотя образ «богини» должен стать предметом серьезного анализа, в действительности не так уж важно установить, что или кого она символизирует. Это может быть образ, связанный с вдохновением: муза поэта, аллегорическая персонификация самой поэзии или даже образ будущей славы. Однако стихотворение сообщает, что этот взаимный «поцелуй» обозначает дарование и принятие некоей выдающейся судьбы, знак, которым богиня благословляет поэта и предназначает к поэтическому призванию. Даже в тот волшебный момент, когда поэт принимает святой дар поэтического служения, мы замечаем момент принуждения, как будто он ощущает, что должен силой овладеть тем, что ему предлагают даром.

«Посвящение» является, возможно, самым сильным и самым удачным стихотворением «Гимнов» — оно задает тон всего сборника и умело создает настроение, что отметил бы и чем наслаждался бы с особым вкусом любой внимательный символист. Природа лишена своих естественных свойств, а обыкновенные предметы будто скрыты от взгляда странным и нездешним покровом, сотканным из аллегорий и образов таинственного и бесплотного мира — все выражено необыкновенным, искусно стилизованным языком, но эти черты представляют собой узнаваемые признаки символизма, к которым поэты этого направления прибегают, чтобы продемонстрировать свое превосходство над материальным миром, намекая на свою принадлежность к высшей, трансцендентной сфере бытия. Это впечатление усиливалось основным риторическим приемом, состоявшим уже не столько в описании, сколько в произнесении торжественной речи. Когда в следующих стихотворениях поэт обращается к самому себе, то часто использует слова и выражения, относящиеся к регалиям августейших особ. В одном из стихотворений он вспоминает (хотя к тому не было ни малейшего биографического основания) «как будто в волшебном колодце / прежние времена, когда еще был королем я». В другом стихотворении вновь появляется Муза, которая, как в «Посвящении», радуется тому, что поэт «по-царски сберег свое тело / от низких дев, что дерзновенно желали его». Очевидно, что главный интерес Георге связан тут с делом поэта, его положением и миссией, что еще раз доказывает, что он относится не к внешнему миру, а именно и главнейшим образом к самому поэту.

Не все стихотворения, однако, напрямую связаны с этими вопросами, но им однозначно присуще некое тематическое единство, что наглядно видно по второму стихотворению — «В парке». Здесь Георге, в противоположность живописному пейзажу, вынесенному в заголовок, использует

образы, отсылающие к неорганической материи или изделиям, полученным человеком в результате промышленного производства, и это опять же с целью подчеркнуть превосходство разума поэта над бытием и природой вещей. Например, в первых двух четверостишиях он приводит названия самоцветов и драгоценных камней, чтобы ярко и выразительно передать игру света в брызгах воды, вырывающейся из фонтана; траву в вазах он сравнивает с шелковой зеленой накидкой, а рядом растущие деревья превращаются в колонны «затененного зала». В другом стихотворении также чьи-то голубые глаза он уподобляет «бирюзе», а залитые солнцем склоны гор — «гладкой поверхности небесно-зеленого стекла». И опять-таки мотив превосходства, описанного в «Посвящении», звучит в стихотворениях постоянно, поэт раз за разом вновь получает благословение, а стихотворение «В парке» оканчивается скорбным плачем по поводу того, что в наши дни поэту «приходится водить пером, которое сопротивляется его руке». Подобным же образом в последнем стихотворении цикла — «Сады закрыты» — он поднимает вопрос: «Овладел ли ты своей мечтой?» Это произведение наполнено смыслами: поэт спрашивает самого себя, выполнил ли он свое обещание, которое выразил в начале данной книги, и действительно ли сбылась его мечта стать поэтом. Но эти мечты, разумеется, диктовались его страстным стремлением покорить мир и владеть им, будто он принадлежит лишь ему. В сущности, стать поэтом для Георге означало возглавить триумф искусства — и творца — над самой жизнью.

Тема торжества искусства над природой пронизывает всю эту книгу. Обратимся к стихотворению «Анджелико», посвященному картине художника итальянского Возрождения Фра Беато Анжелико, изображающей венчание на царство Девы Марии, — шедевру, который Георге видел в Лувре во время первой поездки в Париж. Но главной задачей этого стихотворения является привлечение внимания к творчеству самого художника. Назвав картину «величайшим прославленным деянием», поэт воспевает то, каким образом художнику удалось найти необходимые материалы в окружающем его мире, и то, как он извлек из знакомых ему предметов цвета, смешал их и использовал, как ему требовалось:

Цвет золота он взял у чаши у священной,
Для светлых волос — цвет спелой пшеницы,
А розовый — у детей, рисующих куском кирпичика,
Индиго — у женщин, что стирают белье у ручья.

Здесь поэт вовсе не восторгается искусством, состоящим на службе у природы, но, напротив, природу ставит в услужение искусству, что читатель может воспринять как богохульство. Изображая Марию в момент коронации, поэт умалчивает, кто совершает эту коронацию — Бог или художник.

Невеста с вечно детскою душой
Смиренно, но радостно, как награду,
Из рук его получает первый венец.

Это представление не ново, его разделяют и романтики, и символисты: художник, наделенный творческой силой, предстает как «второй создатель», имеется в виду — второй после Бога, и действительно творец почти приравнен божеству. Но сама собой напрашивается мысль о том, что священнодействием руководит художник, — это его руки надевают на голову Девы золотую корону, которую мы видим на картине. И при этом Георге еще недоволен тем, что художник равен по своему положению Богу — он хочет занять Его место.

Даже в тех стихотворениях «Гимнов», которые не отмечены столь явно подобными размышлениями о сущности искусства, затрагивающими и поэта, и Творца, присутствует одно важнейшее представление, которое никогда автор не выпускает из внимания и в связи с которым мы понимаем, что существование всего на свете сохраняется и длится только благодаря его переживаниям. В «Побережье», одном из нескольких любовных стихотворений этого сборника, написанных Георге во время визита в Копенгаген, где он навещал Станислауса Рожниецки, голос поэта убеждает своего возлюбленного в необходимости покинуть берег бурного моря, «неистового в своих порывах и биении темных волн», способного мириться лишь с «пугливыми чайками» и «строгим чистым небом». Он считает, что им, напротив, следует отправиться в глубь страны и остановиться на берегу тихого озера, где густые зеленые заросли создают нечто вроде покрыва вечной ночи, — там они найдут уединенный природный «алтарь», на котором смогут, не боясь, что их потревожат, совершать свои сокровенные ритуалы. Поэт воображает, что туда их доставят белые лебеди, «полные необъяснимой тайны». Затем со всем вокруг происходит удивительнейшая перемена: охваченный заманчивой грезой, поэт рисует в своем воображении, как они действительно переносятся в другое место, улетают в дальнюю страну с теплым южным климатом, что символизируют названия экзотических растений:

От бледного севера прочь уносит нас страсть —
Туда, где твои губы жжет чудной незнакомый цветок,
А тело твое, как цветочное ложе, распростерось.
Тогда кусты зашелестят друг другу в такт
И превратятся в деревья — алоэ и лавры.

Это стихотворение следует откровенно трактовать как любовное: в его строках заключается подлинная сила и эротическая пылкость, ставшие чуть ли не авторским клеймом поэзии Георге. Но не только в этом смысле

его стихам недостает невинности. Если еще раз взглянуть на стихотворение, то можно заметить, что в нем присутствует некий сквозной образ, свойственный и другим стихотворениям Георге. Чтобы избавиться от натуралистичной реальности образов, взятых из царства природы, Георге увлекает из своего воображения образы, резко отличающиеся от нее. И все-таки природные образы используются здесь, но не для того, чтобы размыть облик самой природы и вытравить его, — сравнивая тело своего возлюбленного с ложем из цветов (как же узнаваем этот поэтический образ), поэту удается стереть границы, отделяющие человеческую плоть от творений природы.

В стихотворении «О встрече» мы находим еще один пример того, что поэт стремится вызвать образ возлюбленного и одновременно как бы размыть его черты, оставив нашему вниманию лишь поэта, созерцающего опустевшее место. В действительности название этого стихотворения является своего рода ошибкой, поскольку в нем рассказывается не о встрече, а об упущенной возможности встречи. Итак, поэт повествует, как он, сидя в одиночестве между колонн, внезапно видит незнакомца, как и в предыдущем стихотворении, некоего безымянного «ты» — невозможно даже установить его пол. Бросая украдкой взгляды на «бархатно-белую щеку, белый висок», поэт жаждет встретиться глазами с этим человеком. Но так и не осмелившись пристально посмотреть на «милую фигуру», он отводит взгляд, поэтому не встречаются ни их глаза, ни они сами. Проходят дни, поэт мечтает о том, что судьба подарит ему еще одну «встречу», поскольку чувствует, что время изглаживает в памяти образ возлюбленного существа, воображаемые долгими ночами штрихи «твоего портрета» — поэт не может вспомнить даже, «какие у тебя волосы и какие глаза?» В конце стихотворения поэт остается наедине с самим собой, и только в своих стихотворениях — или ни в чем кроме них — он может найти утешение.

Вся книга «Гимнов», все стихи этого сборника наполнены типичной тональностью — «настроением», или «состоянием души», которое они живописуют, — и имеют весьма узкий эмоциональный диапазон. Каждое усилие, совершаемое здесь поэтом, направлено на то, чтобы вывести на передний план достоинства самого поэта, стремящегося или подавить все, что находится вне его, или растворить в себе самом. Этим трансформациям подвергаются не только неодушевленные предметы и вещи, но также и другие люди, которые появляются в стихотворениях Георге в виде нечетких абрисов, описываются в слишком расплывчатых выражениях и тут же полностью исчезают, так и не получив определенной индивидуальности или реального существования. Как мы увидим в дальнейшем, принимая во внимание предмет сердечной привязанности поэта, были некоторые вполне прагматические причины, по которым он избегал детального описания и обращался к нему, используя лишь местоимение второго лица, — и это

явно было частью его стратегии. Но за этим скрывается нечто большее, чем только робость или осторожность. Вся книга проникнута твердой волей поэта, готового отвергнуть любое природное явление, растворить мир и превратить его лишь в полезный для себя и своего поэтического воображения материал, в результате чего с каждым упоминанием о, казалось бы, известных вещах все более подтверждается своего рода личная победа художника, творца. Ничто не существует или не имеет смысла, если не объяснено самим своим бытием поэту и его словам.

Эту крайнюю позицию нелегко принять, и угроза солипсистской замкнутости в самом себе, которую она за собой влечет, возможно, является лишь самым незначительным из ее последствий. Действительно, позже сам Георге ясно понял и открыто выразил более глубокие и серьезные последствия этой позиции. «Если бы только, когда мне было двадцать лет, я располагал двадцатью тысячами солдат, — поведал он однажды, — я избавил бы Европу от всех правителей». Но для юноши, видевшего в поэзии некий — нет, вполне конкретный — путь преодолеть собственные чувства отчуждения и одиночества и при этом удовлетворить жажду власти и господства, любая потенциальная опасность, вызванная этой жаждой, неизбежно меркла в сравнении с ее немедленными завоеваниями. Несомненно, следует благодарить судьбу, что двадцатилетний Георге в действительности не располагал армией, но поэзия для него была не менее серьезным оружием, с помощью которого он мог достичь вождяленного господства.

И опять же ошибочно было бы считать, будто подобные задачи возникали в его сознании ясно и отчетливо, — они выражались в его стихотворениях прежде, чем достигали этой ясности. Не должно также складываться впечатления, будто эти стихотворения являются законченными и зрелыми произведениями: некоторые из них, следует признать, весьма слабы, часть — избиты и чрезмерно сентиментальны, и нередко торжественный, сакраментальный тон этих стихотворений поражает своей неуместной напыщенностью и нелепостью. Как бы то ни было, «Гимны» принадлежат неофиту. Но равным образом было бы ошибкой полагать, что еще в молодости Георге не вложил все свое существо в поэтический замысел, притязания которого почти не имели конца. Безусловно, искусство в целом и поэзия в частности стали отныне для Георге единственным несомненным средством, с помощью которого он мог бы овладеть самим собой и миром.

Тем не менее не следует забывать, что лишь от французских символистов и прежде всего Стефана Малларме Георге впервые узнал о необычайных возможностях поэзии и поверил в них, видя в последнем подтверждение этой веры. Только воспринятые взгляды на поэзию в руках Георге превратились в явно немецкую доктрину и получили исключитель-

но немецкую судьбу. В знак признания, уважения и искренней благодарности, а также заявляя о собственном новом начинании, Георге не поставил на титульной странице «Гимнов» свое имя Этьен, но использовал иную форму этого же имени, близкую и в то же время отличную от имени французского Мэтра. И с тех самых пор публично и в дружеских компаниях его называли «Стефан».





Глава седьмая

«ПАЛОМНИЧЕСТВА»

Возможно, Георге и отыскал способ покорить мир, но, как показало время, мир ничего не знал об этой победе. Впрочем, Георге не сделал ничего, для того чтобы ее можно было легко заметить. В этот раз Георге, так же как поступал в дальнейшем на протяжении десятилетий вплоть до конца своей жизни, издал «Гимны» частным образом и ограниченным тиражом — первое издание насчитывало сто экземпляров — и раздал книги избранному кругу друзей и литераторов. В декабре 1890 года, непосредственно перед публикацией книги, в письме к Шталю он изложил мотивы, по которым решил это предпринять:

...хотел рассказать тебе о своей книге: я намеренно избегал всей этой шумихи вокруг ее публикации и продвижения. Она предназначена главным образом моим друзьям. Если я решу распространить ее в Берлине, Мюнхене, Дармштадте, то смогу завязать новые знакомства в этих городах и с теми людьми, кто захочет приобрести эту книгу. Если ты потрудишься посетить моего брата на Марфельдштрассе, 13, то сможешь получить у него свой экземпляр и еще пять; если тебя не затруднит, отнеси их в твою книжную лавку на Амалиенштрассе — я полностью доверяю тебе договориться с книготорговцем по поводу цены, скажу только, что не хотел бы, чтобы книга продавалась менее чем за пять марок. Возможно, не продадут ни одного экземпляра, но так ли уж это важно, гораздо важнее, что она будет в магазине и что ты сможешь забрать экземпляры, в том случае если их не купят. Извини, я сейчас уезжаю с одной семьей, которую сопровождаю в поездке в Бремен.

«Семьей», которую Георге не назвал (прежде Георге разделял привычку, какой строго были верны его друзья, называть кого-то или вообще заявлять о своем знакомстве с кем-либо только в том случае, когда и если ему это было удобно), были Пеньяфиели, наконец возвращающиеся из долгого путешествия домой в Мексику. В начале января Порфирио послал Георге из Нью-Йорка открытку, где сообщал, что «вернет любезность», оказанную им в Берлине, и станет Этьену «чичероне», проводником, когда тот придет в культурную столицу Америки. Но все Пеньяфиели выразили «великое удивление», когда, встретив их в Бремене, он презентовал им экземпляр «Гимнов»: очевидно, Георге никогда даже не упоминал о том, что пишет стихи. Когда дело касалось поэзии, его замкнутость происходила от других причин, нежели его обычная сдержанность. Скорее всего, и здесь наблюдается влияние его прославленного кумира Малларме, с явным презрением относившегося к самой организации издательского дела. Малларме постоянно делал замечания, подобные тем, что в письмах к своему наперснику Анри Казалису: «Ты знаешь, я не жажду общественного признания, могу допустить возможность публикации только тех произведений, в совершенстве которых уверен». Но в случае Малларме эта крайняя шепетильность смешивалась с изрядной долей презрения к читающей публике, платившей ему за это молчанием. Сначала казалось, что Георге также считает публикацию своих произведений необходимым злом, ненавистным, но неизбежным моментом существования поэта; но он предпочитал не распространяться о том, что публиковал свои книги самостоятельно.

В действительности, что вполне понятно, невероятно эмоционально вложившись в свою поэзию, Георге даже больше чем хотел, чтобы его стихи читались и распространялись, но только среди подходящих людей, то есть в правильном «кругу». Таким образом, ему удалось достичь блестящего компромисса. Публикуя свои книги за собственный счет ограниченным тиражом, он наслаждался тем, что мог таким образом одним выстрелом убить двух зайцев. Он был доволен тем, что не запачкал руки, общаясь с рыночными дельцами, — кроме всего прочего, сохранял абсолютный контроль над всем процессом публикации, — и тем не менее распространял свои поэтические сборники, причем так, как считал возможным, и среди тех людей, кого выбирал по собственному усмотрению. Георге вовсе не избегал обнародования своих произведений, совершенно напротив, желал признания и даже славы с той страстью, что свойственна даже менее амбициозным авторам. Но это должно было произойти только на его собственных условиях.

По этим же мотивам Георге удостоверился, что получил именно тот отзыв, который хотел, и по сей день единственный, который мог принять. Его английский друг Том Уэллстед воспринял книгу с живой радостью, но вряд ли это принесло какую-то осязаемую пользу: он благодарил Георге за

«прекрасный поэтический сборник», который ему «весьма понравился», и сообщил, что показал его своему другу-литератору, который нашел, что «по стилю стихи напоминают поэзию Уолта Уитмена». Друг Георге из Швейцарии Морис Мюре, получив свой экземпляр книги, написал Георге более обстоятельное письмо, высоко оценив эту книгу, что Георге, должно быть, воспринял одобрительно. «Если не ошибаюсь, — пронизательно предположил Мюре, — кажется, в твоих стихах я угадываю нашу общую любовь к поэзии символистов Малларме и Верлена, обсуждению которой часто были посвящены наши беседы в прошлом году. Что мгновенно поразило меня в твоих стихах сильнее всего прочего, так это язык, он настолько оригинален и выразителен, твой лексикон, он так ярок и богат, а его слова так убедительны, что говорят больше по отдельности, чем в составе целой фразы». Этот отзыв — замечателен, возможно, не совсем ясен, слегка умозрителен, но вполне приемлем. Совершенно недопустимой оказалась реакция, последовавшая от датского друга Георге Станислауса Рожниецки. Изначально его письмо написано в преимущественно сдержанном тоне, но затем оно становится все более неприятным, что не вполне справедливо, а заканчивается, нужно сказать, на совершенно негативной ноте. Рожниецки признал, что книга Георге в целом «доставила большое удовольствие, некоторые стихи привели в восторг, и ни одно стихотворение не оставило равнодушным»; он отметил также, что поэзия Георге «тесно связана с поэзией школы французских символистов». Подобным же образом, от него не укрылось, что стихотворения Георге «написаны для узкого круга друзей и, пожалуй, не вызовут одобрения у публики, этого многоголового и переменчивого зверя. И все же должен признаться, — писал также Рожниецкий, — часто мне было трудно понять их верный смысл, а в некоторых случаях — и вовсе невозможно. И хотя я сожалею об этом и твердо убежден, что вина за это лежит не на мне, тем не менее не смог удержаться и не высказать свое мнение». Это были лишь мелкие упреки, но, чтобы разобидеться в пух и прах, Георге и не требовались громкие слова. Еще несколько раз обменявшись письмами, друзья становились все более вспыльчивыми и обидчивыми, и в конце концов переписка между ними прекратилась.

Гораздо более важными для Георге были отзывы, доходившие из Парижа. Но и здесь далеко не все проходило гладко. Вполне понятно, он желал, чтобы его книга распространялась среди людей, влиявших на мнение публики, и его друг Сен-Поль, казалось, более чем стремился помочь ему в этом. Проблема заключалась в том, что лишь немногие знали язык Георге столь хорошо, чтобы понять и оценить тонкости его поэзии, большинство же вообще не владело немецким языком. Стремясь опубликовать французскую версию «Гимнов» в «Валлонии», Сен-Поль уже побуждал Георге заполнить и послать ему перевод, но, что очень странно, тот не спешил с пе-

реводом. Наконец в январе он исполнил просьбу Сен-Поля, но прислал всего лишь пару пробных образцов по-французски. Прибегнув к телеграфному стилю, чтобы подчеркнуть важность ситуации, Сен-Поль становился все более настойчивым — он писал: «Переводы получил. Премного благодарен. Как раз это нам и нужно. Только мне нужно все, все-все! Вы — ревнивый отец, берегущий своих детей лишь для себя! Послали ли копии Мокелю? Сделайте это. Полезно (Льеж, рю Мандевиль, 102). И я жду весь перевод полностью. Не лишайте меня радости посетить сей великолепной дворец, коли уж я увидел его шпили».

Георге не нравилось, когда его подгоняли. «Моему дорогому другу Сен-Полю, — начал он ответное письмо, однако эта фраза звучала скорее как язвительное замечание, чем как приветствие, — ваши открытки и беспрестанные просьбы сильно тревожат меня, я сделал для вас все, что мог; пожалуйста, поверьте, что, упомянув о трудностях перевода, я нисколько не преувеличивал». Георге представил дело так, будто только технические трудности перевода сдерживали и замедляли его работу. «Возьмем, для примера, слово *Esprit*, „дух, разум“: оно многозначно, и если вы откроете французско-немецкий словарь, то найдете там, наверное, лишь половину значений, но какое бы французское слово вы ни выбрали, оно все равно не будет полностью соответствовать немецкому. Предположим, мы возьмем немецкое слово *Gemüt*, „душа, ум“, — чтобы объяснить французу, что оно означает, понадобится, наверное, целая страница в толковом словаре. Если переведете с английскую фразу *how do you do?*, „как поживаете?“, то по-французски выйдет *comment faites-vous faire*, что представляет собой полную бессмыслицу; если вы попытаетесь перевести *comment vous portez-vous* на немецкий, то получится нечто вроде „как ты передвигаешься под собственным весом?“ и так далее [...] и как же вы надеетесь отметить мои поэтические и в то же время новаторские идеи в подобных переводах? Совсем немногие из них можно выразить по-французски».

В общем, смысл письма вполне прозрачен, но все-таки кажется весьма странным, что эти слова принадлежат тому, кто лишь два месяца назад, вновь обратившись за советом к Сен-Полю, спрашивал: «Что вы скажете о моих намерениях дать возможность немцам почувствовать вкус поэзии Бодлера в отдельных переводах? Я уже перевел несколько его стихотворений. Их нужно переводить точно, со всеми присущими им ритмичностью и мелодичностью (это самое важное), и отточить слог так, будто это оригинальные стихи». Со свойственной ему добротой Сен-Поль ответил: «Вы совершенно правы в своем намерении перевести Бодлера, это, несомненно, будет очень хорошо». Зная — или предчувствуя, — на что может пасть выбор Георге, Сен-Поль также услужливо послал ему собственноручно переписанное пользующееся дурной славой стихотворение Бодлера «Лесбос», запрещенное французскими цензорами и изъятое из «Цветов зла». Но если

Сен-Поль и заметил, или если его это даже хоть сколько-нибудь заботило, то был слишком тактичен, чтобы указывать Георге на противоречия в его поведении. Возможно, немецкий поэт чувствовал, что в сравнении с произведениями почитаемых им французских мастеров его собственные переводческие опыты покажутся слабыми, и открыто намекал на то, что дело именно в этом. Несомненно, от того, чтобы выполнить просьбу Сен-Поля, Георге сдерживал комплекс гораздо более сложных причин. Но страх того, что он может обнаружить свои несовершенные способности перед искушенной и влиятельной публикой, был вполне естественным. Однако этот страх для Георге, с его необычайным стремлением получить безусловное признание вкупе со столь же сильным желанием держать под контролем то, где и как издаются его книги, оказался непреодолимым препятствием.

Как бы то ни было, он, вероятно, знал, что вполне может причислить парижских друзей к тем своим сторонникам, которые могли прочесть и оценить его книгу и без переводов. Летом в своем журнале «Валлония» Мокель опубликовал положительную, но весьма типичную рецензию на его книгу, а в октябре 1891 года в очередном выпуске «Эрмитажа» появились «Два стихотворения Стефана Георге» вместе со своими весьма близкими к немецким оригиналам французскими переводами и доброжелательным, хотя и нерешительным по своему тону введением Сен-Поля. Эта статья также не отличалась аналитическим разбором стихотворений, но Сен-Поль не хотел упускать возможность и, воспользовавшись удобным случаем, не преминул объявить немецкого поэта своим союзником в борьбе с общим врагом. «Увидите, — с надеждой писал он, — повлияли ли на Гера Стефана Георге французские поэты хоть в какой-нибудь степени. Кажется, будто он стоит под звездами Бодлера, стихи которого планирует переводить, а также Малларме и Верлена. Мощь символизма влечет его. Итак, он, как и французские символисты, пробуждает в Германии движение против господствующего в литературе и искусстве натурализма».

Хотя Георге, обладая выдающимся талантом к языкам, в конце концов перевел на свой родной язык величайшие произведения европейской литературы — включая все сонеты Шекспира и значительную часть «Божественной комедии» Данте, равно как и огромное число стихотворений современных поэтов из Италии, Польши, Англии, Дании, Голландии и Бельгии, — изначально именно французским поэтам, а среди них главным образом Бодлеру, он уделял все свои силы и внимание и весь свой переводческий талант. На протяжении последующих десяти лет Георге продолжал работать над переводом «Цветов зла» Бодлера, совершенствуя и оттачивая его. В ходе этого он придавал своим немецким переводам большую текучесть и изящность, постепенно лишая их связи с оригинальными стихотворениями. Сначала эти переводы были выполнены точно, скрупулез-

но, даже с некоторым педантизмом и в буквальном соответствии с теми словами, что использовал Бодлер. Со временем, однако, они все меньше напоминали строгие переводы, превращаясь в некие вариации на заданную тему, и, продолжая оставаться данью уважения к Бодлеру, тем не менее намеренно служили утверждению собственной поэтической оригинальности Георге. В этом смысле в «переводах» Георге присутствуют признаки грубого вмешательства. Содержащий лишь 118 из 151 стихотворения, включенного Бодлером в свои «Цветы зла», немецкий перевод Георге «Цветов зла» в действительности представляет собой некий сборник, антологию или, если выражаться менее снисходительно, захват и насильственное присоединение в литературной сфере. Накануне публикации первого издания этих переводов в 1901 году Георге открыто признавал это. Тогда он в некоторой степени грубо заявил, что целенаправленно создавал «не точную копию, а, скорее, немецкий монумент» этому поэтическому творению. Георге объяснил также — точнее, властно сообщил, — какие стихотворения не включил в этот сборник и почему. Так, он заявил: «Вряд ли сегодня хоть сколь-нибудь необходимо упоминать о том, что вовсе не отвратительные и отталкивающие образы принесли Мастеру в свое время почитание всего молодого поколения, а скорее пыл, с которым он стремился завоевать для поэзии новые земли, и его страстная душа, что проникала в самые косные материи». Это намеренно и откровенно неверное утверждение относительно произведений Бодлера и их исторического значения. Но для зрелого Георге это уже не представляло никакого интереса. В конце концов, переводы на немецкий язык Бодлера и других поэтов являлись лишь еще одним средством, вооружившись которым он стремился покорить мир и сделать его своим, подчинив собственному представлению о самом себе.

В тот же момент, однако, все еще трепетно благоговей перед своими французскими мастерами и желая получить и сохранить их одобрение, Георге стремился подтвердить свои личные или национальные привилегии. Как бы то ни было, у него были и другие заботы. Пристально следя за теми отзывами, что получили «Гимны» в декабрьской прессе, и завершив зимний семестр в Берлинском университете, он опять отправился в путешествие, на этот раз — на юг. Сначала, в конце февраля, он поехал в Мюнхен, где остановился, чтобы навестить своего брата Фрица, а затем направился в Италию, в Венецию через Верону. В начале апреля на обратном пути Георге заехал в Вену. Он решил, что ему вполне достаточно трех семестров в Берлине, предпочитая этот город более гостеприимной и респектабельной австрийской столице, где также надеялся продолжить образование. Но, казалось, в Вене он не слишком часто посещал лекции в университете, вместо этого проводя свое время в богатой и обширной Придворной библиотеке, где, читая немецких романтиков, сделал для себя некоторые по-

лезные открытия относительно самих символистов, или посещая многочисленные театры и новые музеи, в общем, наслаждаясь атмосферой Вены, более подходящей его складу души, нежели злобный, прусский и протестантский Берлин. Вена, где целую вечность правил император Франц Иосиф, весной 1891 года, казалось, представляла собой все то, чем не являлся Берлин, — великодушную, элегантную и сдержанную, но уверенную приверженицу традиций. Династия Габсбургов, находящаяся у власти почти семь веков, служила живой скрепой, связующей современную Австрию с присущей ей средневековой формой правления. Это, наряду с постоянным влиянием католической церкви на австрийскую монархию, придавало городу дух, казалось бы, нерушимого спокойствия и стабильности.

Но ничто не могло успокоить самого Георге — даже мир и покой Вены были неспособны вернуть ему внутреннее равновесие. С начала года он непрерывно писал стихи, но поскольку торжественная победа «Гимнов», на которую он рассчитывал, проскользнула мимо, надежда, питавшая его все это время, уступила место новому приступу сомнений, тревоги и даже отчаяния Георге в поэтическом призвании. Наполнявший его самоуверенный оптимизм, представления о себе как о всемогущем демиурге, обладающем силой создать мир или хотя бы изменить его порядок, растаяли подобно прекрасной грезе, и казалось, их вновь заменит утрата веры в себя и свои способности. Возможно, это больше напоминало утреннее похмелье после бурного кутежа, когда опьяняющие ночные грезы сменялись тупой болью и трезвостью днем. Примечательно, что сам Георге использует схожий образ в одном из стихотворений того года, что повествует о неутихающем внутреннем разладе. Это стихотворение, как и большинство написанных в этот период, копирует манеру Малларме: отрывистый, сжатый и иносказательный слог, с совершенно отсутствующей связью между отдельными синтаксическими конструкциями. Тем не менее его сюжет вполне ясен. Неудовлетворенность, почти разочарование тем, что принята созданные поэтическим воображением туманные образы за реальный мир, уступает место надежде на то, что существует или появится нечто более «реальное» и более «осязаемое», что сам он может достичь «родных лугов», которые противопоставляются в стихотворении недостижимым пределам, прежде околдовывавшим поэта:

Метаний узы
Предпочел всем родственным своим я узам.
Так долго упивался я мечтами,
Что потерял с реальностью я связь.

Мерцающих в ночи павлинов-соблазнительей,
Посланников страстно желаемого ужаса,
Утром легко побьют жаворонки.

Но при достоинстве чистого дня
Может ли быть в удовольствии тех звуков,
Что месяцами с губ моих срывались,
Зерно для новых откровений?

Вернусь ли я домой к своим родным лугам?

В этом стихотворении содержится, по сути, главный вопрос, который Георге поднимает в своей второй книге «Паломничества», изданной в конце 1891 года. Опубликованная, как и «Гимны», за счет Георге она вышла маленьким тиражом и, как гласит ее название, живописует уже известные образы, определенно имеющие религиозную окраску, хотя и не связанные с конкретной религией. Тональность этого стихотворения, расположенного почти строго посередине книги, главным образом мажорная, приглушенно-позитивная, в целом же в «Паломничествах» представлен огромный разброс эмоциональных состояний, меняющихся от стихотворения к стихотворению.

Главный вопрос книги заключается в том, что же действительно было достигнуто в результате поэтической борьбы 1890 года. Возможно, Георге считал, что решил эту проблему, но она продолжала терзать его, потому что ставки Георге были слишком высоки. Стихотворения, включенные в «Паломничества», взятые все вместе, представляют нечто вроде летописи той возобновленной борьбы, которую Георге вел с самим собой и своими собственными творениями. Так, в одном из стихотворений поэт упрекает себя за то, что предавался великим иллюзиям, которые теперь считает тщетными стремлениями и достижениями. «И что же это за земля, что ты в борьбе стремился приобрести?» — спрашивает он, имея в виду, что не стоило и стараться. В то же самое время он предостерегает самого себя от соблазна вновь поддаться чувствам и слабостям, как будто намекая, что, хотя обещания, представленные в «Гимнах», оказались обещаниями, не следует думать, будто он сдался: «Не говори, что боль тобою движет, / И мантии своей священной не снимай». Другое стихотворение отмечено столь же сильной страстью завоевать посредством поэзии если не мир, то по крайней мере самого себя, это стремление соединяется с гнетущим сомнением в том, действительно ли он достоин своего призвания.

Утихни скорбь!
И зависть заодно —
Равна твоим дарам.
Ищи, борись —
И над страданьем
Песня победит!
.....
У подножья дуба

Могилу вырыл он
Для посоха и своего плаща,
Что станут его телом, —
Теперь готовлюсь я
К отрадным странствиям.

Но вот прорвалась дамба,
Что сдерживала воды, —
Его глаза влажны,
Он стонет... Я мнил,
Что о древесный ствол
Разбить я лиру должен.

За этой печальной сценой следует предостережение — «оставить облаченье скорбное и скорбные слова», даже если пока он не предается печали, поэтической или какой-то иной. Обращаясь к прежним образам надежды в ожидании этих странствий, поэт заявляет:

Былые образы твои почил с мертвецами,
Бессилен я, чтоб пробудить тебя.
И на луга родные уже мне не вернуться —
Теперь я тешусь своим дурным величием.

Не все стихотворения в «Паломничествах» сосредоточены исключительно на переосмыслении роли поэта, на понимании Георге своей собственной поэтической миссии. Точно так же общая тональность этой книги не слишком отличается от настроения «Гимнов», как могли бы заставить думать эти строки. Мир природы также служит здесь чем-то вроде заднего фона или источника образов и описывается неясно, расплывчато и весьма абстрактно. Главный герой стихотворения, как становится известно дальше, также ужасно одинок, также презирает людей, но жаждет найти друга и обрести в нем утешение и приют (кроме, конечно, тех случаев, когда утешение и приют предлагает женщина), поэт ругает себя, говоря: «Прибереги свои слезы / Для женщин / Пускай мечты твои — ложь / Будь спокоен и тверд!» Столь же искусный и в совершенстве отточенный пассаж мы найдем в «Гимнах», где также весьма часто упоминаются изысканные вещи или редкости, включая «турмалин», «коралл, жемчуг, бриллиант и изумруд», «тяжелый бархат», «сафьян» и «огненно-красное золото». Однако исчезло — или было жестоко подавлено автором — убеждение, будто мир можно покорить, лишь размыв его границы и черты в своих стихотворениях. Нельзя утверждать, будто Георге утратил желание овладеть реальностью или будто больше не верил в то, что слово обладает достаточной для этого силой и властью. Возможно, он всего лишь осознал, что использовал не вполне подходящие средства или что его способности все-таки слишком скромны для этого.

«Паломничества» — весьма неоднозначная книга, это произведение некоего переходного периода, когда двадцатитрехлетний Георге, еще не вполне избавился от своего прошлого, но уже собирается предпринять нечто новое; следы и того, и другого несет на себе эта книга. За таинственной фразой «тешусь своим дурным величием» скрывается еще одна подсказка относительно направления, в каком Георге намерен двигаться. Еще одна подсказка содержится в предпоследнем стихотворении этой книги, у которого, как и у многих других стихотворений Георге, нет названия, но оно отделено от предыдущего стихотворения пустой страницей, как будто автор пытался таким образом подчеркнуть его важность, или, возможно, обозначить, что эти два стихотворения разделены большим промежутком времени. В данном стихотворении описывается осенний пейзаж, когда листья становятся «красно-желтыми» и «покрываются бурыми пятнами», смешиваясь с «алыми и удивительно зелеными» листьями. И вот в этой печальной сцене, напоминающей об угасании и близком конце жизни, появляется некая молодая особа, чей пол опять же не определен, но эта встреча говорит не о надежде вернуть былые силы, а, скорее, о последней несмелой попытке возродить иссякающие жизненные силы, прежде чем на героя опустится непроглядный мрак.

Кто приближается к тому неизвестному,
Скорбящему в стороне от толпы?
Дитя в лазурных одеждах...
Как тревожно шелестит ветер,
Как сладко пахнут увядающие розы,
Согретые лучом уходящего солнца.

«Безымянный» страждущий — это, так сказать, паломник, сам поэт; когда происходит его встреча с юной особой, стихотворение заканчивается следующими словами: «Пойдем мы рука об руку / Как дети из волшебной сказки / Радостно и нетвердо шагая».

Неизвестно, когда Георге написал это стихотворение, равно как имел ли он при этом в виду какого-то конкретного человека или это «дитя» было лишь плодом его воображения. Это мрачное настроение на закате дня — образ, к которому часто прибегали художники конца XIX столетия, — также укоренено в личных переживаниях Георге. На протяжении нескольких месяцев он казался более беспокойным, чем обычно, как будто внутренняя тревога не позволяла ему долго оставаться на одном месте (отсюда, возможно, и возникло связанное со странствиями название книги, написанной в тот год). В июле он опять покинул Вену, проезжал через Мюнхен, ненадолго заехал в Бинген, а затем в сентябре отправился в эту злосчастную поездку в Лондон, длившуюся всего шесть дней и завершившуюся внезапно поспешным и шумным отъездом. В следующем месяце,

после непродолжительного визита в Берлин, он вновь вернулся в Вену. Опять-таки, совершенно неясно, явилось ли это «дитя» из стихотворения неким отголоском реальной встречи. Известно лишь то, что на протяжении всей своей жизни он страстно желал обрести друга, товарища, спутника жизни, и именно это почти маниакальное стремление, возможно, вызвало в Георге нечто вроде растущего и тревожного отчаяния. Еще в стихотворении «Принц Индра» он выразил желание обрести близкого друга, и с тех самых пор оно в различных формах и сюжетах воспроизводилось в его поэзии. Конечно, тот факт, что Георге требовал от своих друзей слепого повиновения или, по крайней мере, некритического одобрения, значительно осложнял ему задачу найти родственную душу.

В любом случае, у него уже был преданный почитатель, но эти отношения, казалось, не могли принести удовлетворения, о котором он мечтал. В начале года, по случаю выхода «Гимнов», Карл Август Кляйн взял себе привычку называть Георге в письмах «великим героем» и «Ваше Величество», а подписывал письма «Ваш Князь». Хотя отчасти это были лишь игривые приветствия, Кляйн слишком хорошо понимал, каких действий Георге ждет от него как от читателя и «друга». В марте он с почтением поздравил Георге с тем, что его поэтическая «плодовитость» не иссякает, но когда Кляйн осмелился выразить некое робкое замечание по поводу одного из его новых стихотворений, Георге послал ему короткую холодную записку, вынудив Кляйна лепетать в ответ: «Мои намерения как никогда далеки от критики в строгом смысле. Я никогда бы не осмелился на нее пред Вашей царственной поэтической особой. Дорогой Учитель!» Но по крайней мере для самого Кляйна привязанность к Георге была намного глубже всего лишь взаимного интереса к литературе. В другом письме, опять приветствуя Георге как «моего господина и учителя», Кляйн в свойственных ему бурных, сексуально нагруженных выражениях оплакивал свою неспособность творить. Он писал: «Я требую, чтобы Вы отреклись от своего бессильного последователя, когда и где только захотите. Этим утром я мечтал о Вас. Мы были вместе — Вы так велики и царственны, а я так ничтожен и рыдаю на Вашей могучей груди». Со своей стороны Георге также время от времени посылал Кляйну ободряющие знаки, например открытку из Венеции, в сообщении на которой он процитировал несколько строк из стихотворения поэта Августа фон Платена (незначительного автора в немецкой литературе, кто более или менее открыто выражал свою любовь к мужчинам), это сообщение содержит довольно необычные для Георге выражения: «О, если бы ты только мог совершить вместе со мной прогулку по Большому каналу!» Георге зашел даже так далеко, что посвятил Кляйну свои «Гимны», вспоминая его, что слегка вводит в заблуждение, как «верного и преданного человека, с которым был знаком с юности».

Однако это были далеко не те отношения, о каких мечтал Георге. В этом смысле он по-прежнему продолжал искать того, кого считал бы равным себе по умственным способностям, того, кто разделял бы его интересы и притязания, и, кроме всего прочего, того, кто, как и сам Георге, воспринимал бы поэзию и как высшее выражение человеческого духа, и как особый инструмент в деле покорения реальности и господства над ней. Зимой того года, в Вене, он думал, что наконец встретил его.





Глава восьмая

«ДИТЯ В ЛАЗУРНЫХ ОДЕЖДАХ»

Кофейни, казалось, были лишь одним из многочисленных даров, щедро и обильно расточаемых Веной, которая сама по себе являлась великим даром. Кафе, как замечательно описал их Стефан Цвейг, представляли собой некие особые культурные заведения, «действительно нечто вроде демократического клуба, чьи двери открыты для любого и всего лишь по невысокой цене чашечки кофе, заказав которую любой посетитель мог сидеть часами, беседовать, писать, играть в карты — сюда он получал почту и, кроме всего прочего, мог купить газеты и журналы, выбор которых был здесь весьма широк». В лучших кофейнях, сообщил Цвейг, можно было найти «все венские газеты и не только венские, но также газеты из Германской империи, французские, английские, итальянские и даже американские, и это вдобавок к значительным литературным и художественным журналам всего мира — „Французский Меркурий“ («*Mercur de France*»), „Новое Обозрение“ («*Neue Raundschau*»), „Студия“ («*Studio*») и „Бёрлингтон Мэгэзин“ («*Burlington Magazine*»)). Здесь были рады всем: пожилым и юным, мужчинам и женщинам, аристократам, буржуа и революционерам. Здесь, благодаря богатому и разнообразному ассортименту прессы, представленному в кафе каждый день, любой интересующийся — или имеющий свободное время — мог найти сведения почти о любом событии, в какой бы точке мира оно ни произошло. В действительности Цвейг приписал жизни в Вене изрядную долю космополитических воззрений. «Возможно, ничто так не способствовало живости ума и интернациональной открыто-

сти австрийцев, — предполагал он, — как предоставляемая кофейнями возможность в любое время получить сведения обо всех мировых событиях и тут же обсудить их в дружественном и близком кругу».

Одним из самых известных заведений являлось кафе «Гринштайдль» («Griensteidl»), занимавшее цокольный этаж во Дворце Герберштейн на Михаэлерплац напротив Хофбурга, бывшее излюбленным местом актеров, писателей, редакторов и журналистов, особенно в начале 1890-х годов. Озорники и бедокуры влиятельных венских литературных кругов встречались здесь, под тускло освещенным сводчатым потолком, сидели и оживленно беседовали за большими круглыми столами, заваленными целыми кипами газет, журналов, академических и иллюстрированных, и прочей периодики и заставленными чашками с кофе — главным поводом для посещения кафе. Поскольку же эти круги олицетворяли самоуверенные и красноречивые спорщики, завсегдагаи «Гринштайдля», то кафе прозвали «Мегаломания» («Größenwahn»).

Герман Бар, влиятельный критик и эссеист, а также постоянный посетитель «Гринштайдля», часто проводил здесь вторую половину дня, узнавая последние новости. В апреле 1891 году, только что вернувшись из своей шестинедельной поездки в Санкт-Петербург, Бар поспешил в это кафе, чтобы узнать обо всем, что произошло в его отсутствие. Он стал внимательно изучать прессу, но сначала не заметил ничего особенного — лишь обычные занудные и многословные рассуждения, полемика, скандалы и сенсационные сплетни. Наконец в одном из журналов Бар нашел рецензию на собственное произведение, которую тут же стал читать, готовясь немного пощекотать себе нервы, а то и просто поскучать. Имя автора — рецензия была подписана «Лорис» — не вселяло особой надежды. «Что это за имя? — подумал Бар, немного смущенный. — Таким именем называют пуделей, восхитительных кокеток, но уж точно элегантных и хорошо причесанных пуделей». Усмехнувшись, он принялся читать статью.

«Со мной стало происходить нечто странное — и это после того как я прочел всего два предложения. Внезапно я ощутил какой-то резкий вкус — не могу выразить это чувство иначе. Моя душа словно моргала от неожиданного яркого света. Полагаю, что это была та самая *coup de foudre*, внезапная страсть, о которой повествуют все романы. Охваченный неожиданным испугом, я отшвырнул ложку и уже не мог прикоснуться к своему кофе». По мере прочтения рецензии Бар все более укреплялся в том мнении, что автор, ощипавший и разделавший его с таким искусным изяществом и благоразумным тактом, может быть только французом, высококультурным и опытным литератором, прежде ускользавшим от его внимания. Желая узнать имя автора, Бар помчался к редактору журнала, в котором была опубликована рецензия, и стал его допрашивать, но тот не смог сказать ничего, кроме того что автор — житель Вены, местный, скорее

всего, известный Бару. Перечитав статью, Бар попытался сформировать мысленный образ ее автора: несомненно, это человек зрелых лет, где-то сорок-пятьдесят лет, совершенно ясно, и старых добрых благородных убеждений, обладающий глубоким и острым умом, много путешествующий, эрудированный, но не педантичный; нет, наоборот, это человек, которому довелось многое повидать в жизни и который возвращается к более размеренному существованию, став мудрее, рассудительнее; покорный и, возможно, даже немного печальный человек. На следующий день, как обычно сидя в кафе, он был напуган тем, что какой-то человек бросился через весь зал прямо к его столику. Молодой человек, почти мальчик, подошел и протянул Бару свою руку, «мягкую, ласкающую, невольно поглаживающую руку невероятной нежности, будто мягкое прикосновение гладкого шелка, и спокойно произнес: „Видите ли, я — Лорис“». В ответ на такое заявление, признавался Бар, «я, должно быть, сделал самое глупое лицо, какое только могло быть у меня за всю мою жизнь».

«Очень молодой, чуть больше двадцати лет от роду, и совершенный венец», — продолжал Бар, описывая свои эмоции после того как прошло первоначальное потрясение. Он нашел, что у этого молодого человека —

профиль, как у Данте, только чуть смягченный или будто сглаженный, с более нежными и мягкими чертами лица, словно с картин Ватто или Фрагонара, за исключением, пожалуй, носа с сильными, твердыми и неподвижными ноздрями. Брови его, под разделенной надвое мягкой челкой, короткие и узкие, будто высеченные в мраморе, выражали твердость и решительность. Карие, веселые и доверчивые, будто у девушки, глаза, в которых отражалась то ли надежда, то ли насмешка вкупе с наивным кокетством, нечто вроде влюбленных потупленных взглядов. Небольшой толстый рот с бесформенными губами, как будто злой и ужасный, казалось, был вывернут наизнанку, так что можно было видеть его десны. Тонкое стройное, словно у пажа, тело выглядело тренированными и грациозным, подвижным, как ивовый пруттик, — он обычно немного наклонялся вперед, а плечи, эти аристократические плечи, слегка опускал.

В один миг Гуго фон Гофмансталь стал знаменитым, поскольку именно он скрывался за дорогим Бару псевдонимом Лорис. В действительности Гофмансталь был еще моложе, чем предполагал Бар, — тогда ему исполнилось всего семнадцать лет, и он еще посещал школу. Правила старинной и знаменитой Академической гимназии запрещали, чтобы работы ее учеников появлялись в печати, поэтому те, кто, несмотря на этот запрет, решали печататься, были вынуждены придумывать себе псевдоним. Сказать лишь, что Гофмансталь стал знаменит, означает совершенно не понимать сущности данного явления: старые враги, обычно ни в чем друг с другом не согласные, все на свете повидавшие циничные критики и юные талан-

ты, боявшиеся соперничества с ним, которых душили зависть и злоба, — все сходились во мнениях на данный счет. Однако все они, так же как и Бар, испытали чувство тревоги, поскольку им трудно было совместить ошеломляюще зрелое мастерство стиля Гофмансталия с его подростковой наружностью. Примерно в то же самое время писатель Артур Шницлер случайно познакомился с Гофмансталем. Услышав, что юноша написал небольшую пьесу в стихах, Шницлер пригласил его к себе в дом, где, как он надеялся, тот прочтет ее перед ним и несколькими его друзьями. В назначенный день «Лорис» явился в бриджах по колено — он был явно смущен и нервничал, но начал декламировать стихи. «Спустя несколько минут, — вспоминал Шницлер, — все мы уже сидели вытянувшись и бросая друг другу удивленные и даже слегка испуганные взгляды. Никогда прежде нам не доводилось слышать вживую такие совершенные, такие безупречные и мелодичные, с такой выраженной музыкальностью стихи — на самом деле мы считали, что после Гёте такая поэзия уже невозможна. Но еще удивительнее было сознавать, что это редкое совершенство формы (которого в немецкой литературе никому не удалось достичь впоследствии) и знание мира, доступное лишь в мистической интуиции, принадлежит какому-то мальчишке, кто днем сидит на школьной скамье».

Однажды декабрьским вечером 1891 года, когда Гофмансталь сидел в «Гринштайдле» и просматривал «Английское литературное обозрение», к его столику подошел «некий человек странной наружности», как вспоминал он потом, «с надменным и возбужденным лицом (кто-то казавшийся тогда намного старше меня самого, будто ему было уже ближе к тридцати годам), и спросил, я ли тот самый человек; он сказал, что читал мой очерк и что слышал обо мне от других, он заметил, что таких людей, как я, во всей Европе несколько человек (а в Австрии только один-единственный), с которыми он ищет контакта, — он имел в виду сообщество тех, кто имеет некоторое представление о том, что такое Поэзия». Прежде Гофмансталь слышал от посетителей кафе, что в городе появился новый поэт «из круга Малларме», и теперь понял, что тот, о ком они говорили, был Стефан Георге.

На Георге эта встреча произвела неизгладимое впечатление. Впечатление, которое он получил о Гофманстале прежде, читая его произведения, лишь подтвердилось и даже усилилось после личной встречи с их автором. Гуго Гофмансталь вживую превосходил самые смелые надежды Георге. Когда они беседовали, Георге заметил, что Гофмансталь говорит легко и со знанием дела о тех поэтах и художниках, перед которыми он сам преклонялся: Гофмансталь непринужденно упомянул в разговоре имена Верлена, Бодлера, Суинберна, Россетти, Шелли, как и д'Аннунцио и, конечно, Малларме. Георге ощутил родство души Гофмансталия со своей собственной, счел его поэтом, в точности понимающим, что им самим движет, чув-

ствующим то же, что чувствует он сам, и мыслящим так же, как Георге. Но Георге, как и все остальные, был поражен невероятной юностью Гофманстала, его стройной атлетической фигурой, его добродушными глазами, его мягким, но ужасно невозмутимым поведением. Слова нашего языка бессильны выразить опыт и переживания, особенно те, что имеют для нас особое значение, те, что кажутся нам самыми уникальными и неповторимыми. В такие моменты мы всегда упрямо возвращаемся и прибегаем к старым известным фразам, избитым клише, пошлым и банальным выражениям, которые бесчисленное множество раз произносят люди по самым различным поводам, при этом в каждом отдельном случае полагая, что изрекают нечто совершенно необыкновенное и своеобразное. Однако этого нельзя сказать о данном случае, хотя и существует лишь одно слово, которым можно было описать чувство, возникшее у Георге, когда он впервые встретил юного Гуго фон Гофманстала, что он совершенно не пытался скрывать. Впервые в своей взрослой жизни Стефан Георге беспомощно, без остатка и бесповоротно полюбил.

Со своей стороны, Гофмансталь изначально делал вид, будто полагает, что Георге интересуется только или главным образом поэзией. Но вскоре он был вынужден признать, что на уме у этого немца было нечто более серьезное. Гофмансталь никоим образом не давал Георге понять, что отвечает взаимностью, но также не показывал обратного, поскольку был слишком вежлив и тактичен. Тот факт, что его почитатель являлся мужчиной, не отталкивал Гофманстала. Подобные чувства он сам испытывал к одному мальчику, с которым был знаком прежде, но всегда подавлял в себе эти темные влечения или не распространялся об этом. Желая как-то сгладить этот тревожный момент в отношениях со своим новым знакомым, Гофмансталь написал короткое, всего из трех четверостиший, письмо и послал его Георге. Оно начинается так: «Мне о том напоминаешь, / Что скрываю ото всех. / Ночью струнами души / Словно ветер ты играешь». Эти строки неоднозначны, но, скорее всего, связаны с отстраненностью Гофманстала от поэтических стремлений его современников. Немногие в Вене в то время знали, а еще реже понимали, к чему стремятся французские символисты, — и в этом более зрелом поэте Гофмансталь видел некую надежду на то, что больше не будет работать в полной изоляции. Любопытно, однако, что это короткое стихотворение называется «Тому, кто проходит мимо», будто его ожидания не были такими скрытыми.

В ответном письме от 22 декабря Георге благодарил Гофманстала за его стихотворение, но не преминул сделать замечание по поводу немного отталкивающего названия. «Ваше прекрасное признание доставило мне огромное удовольствие. Только тот, кто восхищается сам, способен создавать восхитительные вещи. Но разве я действительно являюсь для вас лишь „тем, кто проходит мимо“? Если вдруг я не смогу встретиться с вами

сегодня вечером, не могли бы вы выбрать другое время и место?» В течение нескольких следующих дней между ними происходил бурный обмен короткими записками, что говорит о сильном возбуждении обоих; они постоянно назначали встречи и потом внезапно их отменяли, пока в связи с Рождественскими праздниками не наступила временная передышка. 26 декабря Георге, изначально не планировавший оставаться в Вене надолго, теперь писал Гофмансталу почти угрожающим тоном: «Пока не может быть и речи о моем отъезде, ну когда уже вы придете?» Чтобы совладать с захлестнувшей его волной эмоций, Георге переводил их в поэтическую форму, и теперь, становясь все более настойчивым, послал Гофмансталу несколько стихотворных строк, полных мольбы: «Подумай и скажи слова утешения / Страннику, которого встретил на своем пути». Но слов уже было недостаточно. Вскоре Георге стал появляться у Академической гимназии и провожать Гофмансталя домой после занятий, высокопарно называя их совместные прогулки «наши академические беседы». Однажды днем, забыв о всякой осторожности, Георге послал в Гимназию, с курьером в красной фуражке, большой букет роз ученику двенадцатого класса Гофмансталу, когда тот находился еще на уроке.

Становилось ясно, что дело принимает неожиданный и тревожный оборот. Гофмансталь был не только смущен, но и напуган. В своем дневнике он записал, что чувствует, как в нем растет страх («нужно отрубить его за рассеянность»). Опять пытаюсь разобраться в собственных чувствах при помощи поэзии, Гофмансталь написал еще одно стихотворение, вдохновленное встречей с Георге, под названием «Пророк». Примечательно, что оно не обращается к тому, о ком говорит, а, скорее, описывает его, используя — более сдержанное и сдерживающее — местоимение третьего лица.

Он принял меня в длинном высоком зале,
Что таинственно и сильно меня пугает.
Приятный аромат жутко обвивает
Чудных птиц, что парят здесь, ярких змей.

Врата захлопываются с шумом, жизни звук стихает,
Темный страх сковал моей души дыханье,
Волшебное зелье мои стеснило чувства,
И все вокруг бессильно без остатка исчезает.

Но он сейчас не тот, кем был всегда.
Он закатил глаза. Как странны его волосы и брови,
Слова его, что так тихи и мягки.

Мне волю властелина возвещают и сулят соблазны.
Он заставляет воздух колебаться и застывать,
И может он, рукою не коснувшись, погубить.

Поразительно, что Гофмансталь всего за несколько непродолжительных встреч смог интуитивно уловить главные черты Стефана Георге: сладкий и одновременно тошнотворный запах насилия и агрессии, эротического влечения, гипнотический эффект, оказываемый на окружающих, сильная воля, удушающая и подавляющая людей. Хотя Гофмансталь так и не послал это стихотворение Георге, тот почувствовал, что между ними далеко не все в порядке. В понедельник, 4 января, он начал беспокоиться и недоумевать, почему Гофмансталь отказывается отвечать на его письмо. Георге писал: «Я не понимаю вашего затянувшегося молчания (или вы уже забыли?) или вы не получили мое письмо?» Уже в субботу, как ни в чем ни бывало, Георге послал свои «Гимны» и недавно опубликованные «Паломничества» вместе со стихотворением Малларме, старательно переписанным темно-синими чернилами на плотной желтой бумаге, перевязав эту посылку тесьмой с кисточкой на конце. Он требовал еще одной встречи на следующий день.

Гофмансталь согласился встретиться в воскресенье в пять часов пополудни в «Гринштайдле», но не сообщил о том, что попросил другого своего друга, Феликса Салтена, сопровождать его. Он не хотел больше оставаться наедине с Георге и стремился освободиться от его назойливого и все более усиливающегося внимания. В то воскресенье, несомненно удивившись, что Гофмансталь явился в сопровождении Салтена, Георге тем не менее вручил ему запечатанный конверт и попросил вернуть письмо после прочтения. Письмо было длинным, бессвязным и представляло собой что-то вроде душевного стриптиза. Георге и сам сознавал, что излил на бумаге все то, в чем не признавался никому и никогда. Это была не столько исповедь или мольба, сколько предложение увидеть его таким, каким он был в действительности. Он писал Гофмансталу:

Не дайте этой показной таинственности испугать вас! Вы поймете, что даже если бы мы вели наши академические беседы еще дюжину раз, ниже следующее никогда не было бы сказано.

Возможно, лучше было бы промолчать, но ниже вы найдете объяснение тому, почему я решил нарушить молчание.

К счастью, вы не способны понять этого, поскольку еще не извели великой печали. Но вы, несомненно, постигнете и эту науку, поскольку вы — настоящий художник, я лишь от всего сердца желаю, чтобы это произошло как можно позже.

Как долго я жаждал встречи с существом, обладающим критическим мощным и пронизательным умом, прощающим, понимающим, ценящим все, способным воспарить вместе со мной над вещами и явлениями. Удивительно, однако, что это существо имеет неясные черты и находится в тисках романтических представлений о благородстве и чести, от которых не в силах освободиться, как Йуханнес из «Росмерсхольма».

Это существо даровало бы мне новые надежды и желания (потому я должен позже написать, почему Альгабал мне непонятен) и уберегло бы меня от того пути, что ведет прямо к небытию. Ох, мысль, что я высказал во вчерашнем письме, — не стану повторять ее, поскольку для других это всего лишь слова, написанные на бумаге, а для меня — излияние кипучей метафизической боли...

Я искал беспрестанно и никогда не мог найти это высшее существо, как и Другую непостижимую вещь во вселенной.

Но обо всем этом вы могли бы догадаться из моих книг.

Моей душе угрожало великое потрясение.

И наконец! что? да? надежда — проблеск — сомнение — о, моя родственная душа, мой брат...

Но давайте будем благоразумны, как было в прошлом. Теперь я вижу все яснее и знаю: в нашем возрасте такой великий духовный союз уже невозможен. Каждый из нас занял свое место в жизни, прикипел к нему и уже никогда не сможет от него освободиться. Допустимы лишь незначительные изменения и уступки. А великим и важным делом уже занимаются, и если кто-то захочет придать ему иную форму (непривычную этому кругу), его тут же объявят назойливым чужаком, вмешивающимся в чужие дела...

Я пытаюсь сдерживаться и ругаю себя за то, что разоткровенничался... зачем? возможно, обычное спокойствие рухнуло, со звоном разбившись, словно стеклянная ваза на окне, и я хочу, чтобы вы вернули мне этот листок или, прочитав, сразу же уничтожили (вместе с этими стихами). Молчите. Вы — единственный, кто когда-либо слышал от меня подобные исповеди. Посему я слепо доверяю вам. Тот, кто проходит мимо.

Как признание этот сбивчивый, полуоткровенный и полутаинственный, внутренний монолог оставляет желать лучшего, но он вполне сносно послужил своим целям.

В тот же самый день Гофмансталь ответил на мучительное признание Георге в не менее туманной манере:

Что я должен сказать? Как бы я мог вам ответить? Я, кто выслушал вашу полуоткровенную исповедь — исповедь, адресованную самому себе и произнесенную для самого себя, — лишь случайно услышал нечто чуть большее, чем подразумевал ваш презент, или дар.

А я? Я могу отдать лишь самого себя... И не могу иначе, мое существо сочтется вином моей юной жизни... тот, кто может взять, — берет.

Я уверен, один человек действительно может значить для другого очень много: может быть светом, ключом к загадке, семенем, ядом... Но в том деле, где таинственно действует богиня Тихе, я не вижу никакой возможности или воли противостоять судьбе. Даже великий кризис однажды заканчивается, поскольку такова ее воля.

Вам, кому уже известно, куда ведет эта тропа, угодно выбрать меня спасителем — кому позволено, тот должен и может. Хотел бы я оказаться спо-

собным поддержать вас, поблагодарить за то, что открыли мне глубины, но вам нравится головокружение от близости к краю бездны, в которую готовы заглядывать лишь немногие, и гордая любовь к ней.

Я тоже способен любить то, что меня пугает.

Тем же вечером, после того как Гофмансталь отправил письмо Георге, но до того как тот его получил, они опять нечаянно столкнулись в кафе. Оба находились в состоянии крайнего эмоционального волнения. Гофмансталь пытался найти какой-нибудь извиняющий его повод, но заметил, что Георге, за которым увязался бездомный пес, с силой пнул его и по-французски прикрикнул: «Грязный негодник!» Пес взвизгнул и убежал прочь. Для Гофмансталя, обладающего тонкой и нежной душой и в детстве частенько воображавшего, будто чувствует душу животного, это событие стало еще одним знаком, подтверждающим, что ему следует держаться подалеже от этого человека.

В следующий вторник, уже два дня не получая известий от Гофмансталя, Георге вновь написал ему. Теперь его уязвленная гордость и задеваемые чувства заговорили с сарказмом и едкой иронией:

Сколько еще будет продолжаться эта игра в прятки? Если хотите говорить свободно (что также соответствует моим намерениям), я предлагаю вам вновь встретиться на нейтральной территории. Ваше письмо написано с такой искусной дипломатичностью, но разве моя вина в том, что из всех возможных мест вы посещаете лишь то ненавистное кафе по воскресеньям? Пожалуйста, будьте так великодушны и любезны, я совершенно не желаю досаждать вам своими неприятностями или тратить ваше время попусту, скажите (вам известен мой распорядок дня), когда бы я мог ожидать вас в Кернтнерринге (район города), — тогда мы сможем пойти в любое кафе поблизости, на ваш выбор.

И я объясню свои нетактичные и назойливые просьбы.

Гофмансталь и не подумал встречаться с Георге в назначенном месте, а на следующий день, даже не сопроводив посылку объяснениями, отослал обратно обе книги — «Гимны» и «Паломничества» — их автору с надеждой на то, что этим молчаливым жестом вполне красноречиво и прозрачно даст понять о своих намерениях. Получив книги, Георге без доклада появился в доме Гофманстальей. Точно неизвестно, что произошло тогда между двумя молодыми людьми, но очевидно, что для обоих эта встреча не была приятной.

Их последний бурный разговор послужил поводом к тому, чтобы тем же самым вечером Гофмансталь послал с курьером еще одно письмо Георге в отель, где тот остановился. Это письмо не сохранилось, но, кажется, было написано с несвойственной Гофмансталю прямоотой — почти с ос-

корбительным, отчаянным безрассудством он требовал этого чужака перестать мучить его. Прочитав его послание, Георге, очевидно пребывая в не менее расстроенных чувствах, сразу же уселся писать ответ, прозвучавший как некий ультиматум; к письму прилагалась записка со смутным предостережением: «Пожалуйста, прочитайте это письмо, чтобы избежать самых неприятных последствий, и, как я уже говорил, жду немедленного ответа в гостиницу». Георге тем вечером также нанял курьера, чтобы доставить это послание Гофмансталью. Должно быть, Гофмансталь побледнел как полотно, когда прочитал содержимое второго пакета:

Вчера книги — теперь эти ваши слова...

Будьте уверены, если бы я представлял, что получу от вас такое письмо, то ни в коем случае не пришел бы к вам сегодня вечером. Пожалуй, это последнее, что я мог от вас ожидать.

Итак, в ответ — «бог весть, что вы там себе поняли» — вы бросаете чудовищные обвинения тому джентльмену, кто был готов стать вашим другом. Как могли вы быть столь безрассудны и небрежны, даже преступников обычно судят, ссылаясь на очевидные факты. Как видите, я рассуждаю вполне здраво, и, когда, через несколько дней или лет, вы спокойно обдумаете все происшедшее, то вместе с вашими драгоценными родителями (у которых вы — единственное дитя!) будете благодарны мне за то, что в те минуты я владел собой и не совершил опрометчиво то, что могло бы оборвать вашу или мою жизнь.

Разумеется, я должен отказаться давать дальнейшие разъяснения, до тех пор пока вы не откажетесь от тех слов, что написали в своем последнем письме.

Я должен немедленно поговорить с вами — не играйте вашей жизнью.

Георге также заметил, что его курьер будет ждать ответа Гофмансталью. Под давлением времени и обстоятельств восприняв угрозу своей жизни вполне серьезно, Гофмансталь спешно набросал короткий ответ: «Прошу простить меня за раздражение и волнение — это они послужили причиной того, что я мог обидеть вас. Надеюсь, это объяснение удовлетворит вас». Должно быть, он вполне осознавал, что это объяснение не удовлетворит, просто не может удовлетворить Георге. На следующий день Георге снова попытался завязать разговор, написав: «Вчерашних ваших строк достаточно лишь в смысле принятых в обществе приличий. Но не более того... Не выношу вести подобные переговоры и выдвигать условия, я и теперь не оттолкнул бы вашу руку, хотя от вашей пощечины у меня до сих пор горит лицо». Несмотря на то, что Георге заявил, что не любит вести переговоры, его записка заканчивалась весьма странной фразой: «Поэтому я говорю следующее: или вы попытаетесь вернуть себе мое уважение и расположение (которые вы так низко истолковали), или между нами возникнет ужас-

ная ситуация. Один из нас в таком случае должен покинуть город — поскольку вы не можете уехать, это буду я. Поэтому я должен безотлагательно переговорить с вами. Я приду туда, куда вы укажете, в назначенное вами время».

Гофмансталь не ответил ни на это письмо, ни на очередные требования встречи. Тем временем он сообщил своим родителям о том, как развивалась ситуация, и они по вполне понятным причинам, так же как и сам Гофмансталь, были «очень напуганы». Спустя два дня, 16 января, в это дело вмешался отец Гофмансталя и, взяв «эту неприятную историю» в свои руки, написал письмо неистовому юноше, угрожавшему жизни его сына. Отец семейства Гофмансталь попросил Георге не настаивать на общении с его сыном и воздержаться от любых контактов с ним. Он заявил также о том, что готов изложить причины, по которым выдвигает такие требования, устно при личной встрече. Очевидно, Георге принял это предложение. В тот же самый день, почувствовав необходимость объясниться более обстоятельно, он написал отцу Гофмансталя письмо. Значительно более спокойным тоном, без агрессии и угроз, Георге выражал лишь сожаление и некоторое замешательство по поводу сложившейся ситуации:

Поскольку теперь я собираюсь уехать из Вены — возможно, навсегда — то вновь, вопреки велению своей гордости, вынужден обратиться к вам. Я желал бы примириться с вами, но лицом к лицу, а не с расстояния в двадцать шагов, однако сейчас я осознаю, что не вправе требовать. На будущее — следующее: если ваш сын и я не пожелаем знать друг друга до конца наших жизней, если он отворачивается от меня, я сделаю то же самое. Он навсегда останется для меня тем первым человеком на немецкой земле, кто, не будучи изначально близок мне, понимал и ценил мои произведения — и это в то время, когда я уже начинал трепетать на своем одиноком утесе. Трудно объяснить тому, кто не является поэтом, сколь важно это было для меня. Вряд ли удивительно поэтому, что я весь устремился к этому человеку (Карлос? Маркиз Поза?), и я не нахожу в этом абсолютно ничего непристойного.

Произошедшее давным-давно забыто и прощено. Теперь я стал гораздо осторожнее и для меня предпочтительно благополучное разрешение этих событий.

Далее, вашему сыну я излил свою душу целиком и полностью (в целом мире я доверился лишь двум людям), и вполне понятно, что необычайно переживаю из-за того, что теперь Он должен стать для меня совершенным незнакомцем.

В конце концов, мы с ним люди одного мировосприятия (мой Альгабал и его Андреа, несмотря на все различия, порождены одним духом), нас связывает и будет связывать то, что каждый из нас выделяется из художественного сообщества в наших родных странах, даже если он останется в Европе, а я покину ее пределы.

Таким образом, я убежден, что просьба моя не будет неуместной, если я попрошу вас (особенного пока я здесь) черкнуть мне хотя пару строк, в том числе о произведениях вашего сына, если он не пожелает сделать этого сам.

Отправив это письмо, Георге вскоре покинул Вену — разумеется, не навсегда, но впредь он никогда не останавливался здесь надолго и предпочитал в своих поездках избегать этот город. Он отправился в Мюнхен, возможно, зализывать свои раны. В целом же, с момента первой встречи с Гофмансталем до бурной развязки их отношений прошел всего один месяц.

Несмотря на то что Георге обещал оставить мальчика в покое, уже в начале февраля он опять написал и отправил письмо отцу Гофманстала, настаивая на общении с его сыном: «Я ценю его мнение — оно важно для меня, — можем ли мы увидеться с ним где-нибудь хотя бы по этой причине. Если я вновь соберусь посетить Вену, то обязательно сообщу вам об этом до своего приезда». Георге также настаивал на том, чтобы Гофмансталь вернул «письмо (о чем я вас просил)». Гофмансталь старший, ошибочно думая, что Георге обращается с просьбой к нему, ответил, что ни он сам, ни его сын не имеют ни малейшего понятия, о каком письме идет речь, но если Георге сообщит, по какой причине просит вернуть письмо, и опишет его, то они попробуют его отыскать. Застигнутый врасплох, Георге в уклончивых фразах говорил об этом письме, избегая прямо касаться его содержания. «Я хотел бы объяснить, почему прошу вернуть его, хотя это будет трудно теперь, когда прошло так много времени». С того момента как Георге написал свою «исповедь», прошло лишь несколько недель, но это время показалось ему целой вечностью — он описывал это ожидание так, будто у него вновь открылись незатянувшиеся раны. Казалось, будто юный Гофмансталь — кого Георге в своих письмах называл исключительно «Он» — намеренно мучает его, притворяясь, будто забыл просьбу Георге. «Итак, если Он не помнит, — писал Георге его отцу, — то как же я могу объяснить вам, о каком письме идет речь? Поскольку я не помню даты письма (а возможно, на нем и не было даты) или иных отличительных черт... конца... начала». Для Георге это был болезненный и унижительный опыт. «Я никогда не сомневался в том, что наш разговор „ждет хорошая судьба“, — писал он, — но разве вы не чувствуете всю неловкость обращения к человеку, которого знаешь весьма неблизко, по поводу более чем деликатного дела?»

Очевидно, уже сам факт, что Георге обращался к Гофмансталу с просьбой убедить сына ответить ему, вновь расстроил юношу. В конце концов это привело к тому, что Гофмансталь-отец вынужден был повторить те договоренности, которых достиг с Георге в Вене. Георге вновь был вынужден изложить мотивы, которые им движут:

Я не просил бы вашего сына написать мне несколько строк, если бы считал, что вызову этим его волнение и тревоги, — но я нахожусь сейчас за сотни километров от вас. Кроме того, я действительно все полностью понял из нашего разговора. Я полагал, что встретиться на улице или еще где-нибудь в городе было бы намного неудобнее (хотя в таком городе, как Вена, вероятность подобной встречи вряд ли так уж велика). Следует ли нам взглянуть друг на друга? избегать друг друга? поздороваться друг с другом, если выражаться в весьма буржуазном духе...

Эти последние строки звучали, должно быть, так, будто Георге планировал возвращаться в Вену или даже рассчитывал на «возможную» встречу с юным Гофмансталем. В очередной раз отец молодого человека счел необходимым напомнить Георге, что не приветствует подобную встречу. Георге ответил на это последним, исполненным горечи письмом, адресованным Гофмансталу старшему, где даже не пытался скрыть, сколь уязвлена его гордость. Должно быть, все это дело кажется зрелому человеку, писал Георге, всего лишь досадным беспокойством его сыну, но «для меня оно имеет огромное значение. Вы нисколько не должны опасаться, что когда-либо впредь я совершу первые шаги к сближению с ним, поскольку, несмотря на все ваши попытки примирения, я глубоко оскорблен». Георге уверил Гера Гофмансталя: «Не стоит ожидать, что впредь я потревожу вас лично или письмом».

Позже в том же году Георге и Гофмансталь все же восстановили переписку и продолжали таким образом общаться в дальнейшем довольно часто. Но еще на протяжении семи лет они не встречались, пока в 1899 году случайно не столкнулись друг с другом в одном из берлинских кафе. Эта встреча прошла не слишком хорошо. В 1902 году Гофмансталь напомнил Георге об этом случае, написав следующее: «Тогда вы отстранились от меня совершенно непостижимым образом, даже сегодня мне это по-прежнему трудно понять». Через четыре года, в 1906 году, после нескольких безуспешных попыток восстановить дружеские взаимоотношения, связь между ними в конце концов совершенно прервалась.

До последнего, сам Георге и его последователи утверждали, что высоко ценят Гофмансталя как поэта, но постоянно высмеивали все произведения, которые он как либреттист создавал в плодотворном сотрудничестве с Рихардом Штраусом. Незадолго до Первой мировой войны, когда один из юных новичков в круге Георге, наивно восторгаясь оперой «Кавалер розы», премьера которой состоялась тогда в Мюнхене, произнес пару восхищенных слов об авторе либретто, один из старых друзей Георге заметил: «О, вы говорите о поэте Гофманстале! Он был чрезвычайно талантлив, но умер в 1906 году. Либретто написано его кузеном, у него такое же имя». Смущенный и разочарованный, этот молодой человек решил, что над ним просто шутят. Но даже Карл Вольфскель, ставший одним из самых предан-

ных друзей Георге, признавал выдающийся талант Гофмансталя и однажды зашел столь далеко, что сказал следующее: «Природный дар Гофмансталя, особенно юного Гофмансталя, превосходил талант самого Георге. Его поэзии свойственна такая сладкозвучность, которой не достигал ни один немецкий поэт, особенно в начале своего творчества (даже лейпцигскому песеннику Гёте недостает ее). Эту медоточивость невозможно забыть. Естественно, в его поэзии выразилась цивилизация Вены. Старая культура и также, конечно, ее истощение».

Сам Георге отмечал противоречие между ранними совершенными произведениями Гофмансталя и его поздними работами, считал, что тот разменял свой талант в угоду пошлому популярному искусству, и трактовал эти перемены с открытой суровостью и с точки зрения личных отношений. Когда однажды его спросили, как вышло, что такой многообещающий поэт полностью погубил свой талант, Георге связал биографию Гофмансталя с историей, рассказанной Тацитом о Нероне. С точки зрения Георге, римский историк утверждал, что Нерон благополучно правил до тех пор, пока рядом с ним находился его учитель. Но когда учитель перестал наблюдать за Нероном, в том возобладал порок, а весь его чудовищный характер проявился наконец после смерти его наставника.

Сравнение утонченного, сдержанного, гуманного Гофмансталя, обладающего тонкой и чувствительной душой, с душевнобольным императором, прославившимся своими кровожадностью и безумными деяниями, являлось таким гротескным и столь неуместным, что выставляло в неприглядном свете скорее самого Георге, чем Гофмансталя. Этот случай наглядно показывает, какого размаха могла достигать жажда Георге покарать человека, отказавшего ему в том, что он так страстно желал обрести.





Глава девятая

ДЕКАДЕНТСКИЙ «АЛЬГАБАЛ»

Когда Георге обратился к отвратительным ассоциациям с моральным вырождением и жестокими сумасбродствами Нерона, описывая измену Гофманстала своему таланту, то в действительности находился под властью воспоминаний об их первой встрече; он лишь приписал все эти дикие свойства не тому человеку. Как еще зимой 1891—1892 годов Георге открыл Гофмансталу, он уже тогда работал над своей третьей поэтической книгой, и уже тогда им владела тревога, потому что он не знал, что будет писать «после „Альгабала“». «Альгабал», как Георге в конце концов озаглавил эту книгу, и действительно производил впечатление завершающей книги, абсолютного конца или — если это не вполне верно — достижения некоего крайнего предела. В общем, эта поразительная книга занимает особое место в творчестве Георге, поскольку именно она явилась той первой книгой, где его поэтическое мастерство достигло такого уровня, какой можно соотнести с его лучшими стихотворениями. И все-таки главным образом эта книга примечательна вовсе не тем, что говорит прямо, но тем, что ею подразумевается. Значительно позже, когда Георге уже не нуждался в своих прежних французских друзьях и союзниках и, таким образом, мог себе позволить покинуть их, то вспоминал об этом времени так: «Во Франции я встретил людей, с которыми мог бы ужиться и которых мог бы полюбить. Разумеется, они не понимали моей подлинной природы. Многие из них видели в моей книге нечто художественное, и только — ни о какой воле, направленной на создание нового человечества, они не

имели представления. Совершенно неверно! „Альгабал“ — революционная книга».

Остается догадываться, что имел в виду Георге, когда называл «Альгабал» революционной книгой, — но она, действительно, всегда заставляла людей чувствовать себя немного не в своей тарелке. Особенно верно было это в отношении тех последователей Георге, которые присоединились к нему позже, членов его «круга», более чем озабоченных тем, что она может внушить своим читателям вредные идеи. Фридрих Гундольф, один из самых талантливых и самых преданных последователей поэта, потратил много сил на то, чтобы растолковать публике, чего Георге *не* имел в виду этой книгой. «Его не привлекали, — уверял Гундольф читателей Георге в 1920 году, рассуждая о мотивах, движущих поэтом при написании книги, — ни экзотика или ненормальность, ни порок или тайны, ни психология или история». Спустя десять лет подобным же образом официальный биограф Георге Фридрих Вольтерс категорически утверждал следующее: «У „Альгабала“ нет совершенно ничего общего с безошибочно улавливаемым парижским ароматом стихотворений Бодлера, в частности с затхлым запахом разложения, пропитавшим французскую литературу». Вольтерс недвусмысленно заявил, что «совершенно не важно, в большей или меньшей степени соответствует исторический образ императора Элагабала эпохи позднего Рима символу, созданному поэтическим воображением, или даже пускай вовсе не соответствует». Однако, разъяснить то, что действительно Георге имел в виду этой своей книгой, оказалось значительно более сложным делом. Гундольф и Вольтерс, подобно многим другим, толкуя эту книгу, вдавались в абстрактные и потому безопасные общие рассуждения о ее целях и в лучшем случае снабжали односторонними комментариями отдельные стихотворения в ней. Но перед лицом тех присутствующих в книге угрожающих заявлений, которые должны были оглушить и заставить замолчать всех дерзавших возражать, «официальная» и подвергнутая обработке и деисторизации трактовка этой книги преобладала на протяжении долгого времени. В итоге, «Альгабала» довольно часто лишали подлинного смысла, того значения, какое книга имела не только с точки зрения истории или литературы, но также с точки зрения ее немалого значения в жизни самого Георге.

Если взглянуть на эти опасения последователей Георге с определенной точки зрения, то окажется, что они являлись вполне оправданными. Разумеется, тема данной книги вызывала вопросы и немалое удивление. На ее написание Георге вдохновила жизнь древнеримского императора Элагабала, который пришел к власти в 218 году н. э. в нежном возрасте — мальчику в то время исполнилось лишь четырнадцать лет, — а через четыре года был свернут и убит. Имя Элагабала, или Гелиогабала, как он также известен, часто упоминают в одном ряду с другими, более известными,

правителями Древнего Рима, как например Тиберий, Калигула и Нерон, кто проводил годы своего правления в бурных оргиях и изощренных жестокостях. Но Элагабал, казалось, превзошел даже этих печально известных распутников и в размахе, и в изощренности злодеяний. В действительности уже современники считали Элагабала настолько отвратительным человеком, что после того как он был убит, его тело растерзали и в знак презрения сбросили в Тибр, все записи о его правлении были удалены из сенатских документов, а носящие его имя общественные памятники — повреждены или полностью разрушены. Три главных источника сведений о жизни императора — Дион Кассий, Геродиан и Лампридий — чернят его, пытаясь превзойти друг друга в изображении беспрестанной череды низостей и зверств. Правда, у всех этих историков имелись или некие частные интересы, которые они стремились защитить, или желание выслужаться перед пришедшим к власти императором, представив одного из его предшественников в неприглядном свете. Однако каким бы ни было мнение Георге насчет надежности этих источников, он неутомимо изучал работы данных историков — именно вопреки их зловещему и непристойному изображению этого императора он написал собственного «Альгабала».

Не описанные в этой книге подробности жизни Элагабала довольно просто пересказать. Рожденный в сирийском городе Эмеса в 204 году и возведенный на престол своими матерью и бабушкой, он был назван в честь бога солнца, которого почитал с детства. Так, в Риме его восточное имя превратилось в прозвище «Непобедимое (что обозначало Бога) Солнце» Элагабал. Объявленный императором еще в Сирии, он отправился в трудное и далекое путешествие в столицу империи, взяв с собой статую этого божества, культ которого планировал установить в Риме. Эта статуя была не обычным реалистичным изображением человека, но, скорее, неким абстрактным символом, представлявшим собой огромный черный камень, или сакральный бетилос, выполненный в форме конуса и сужающийся к своей верхушке. Разумеется, фаллическое значение этой скульптуры не укрылось ни от кого и очевиднее всего было для самого отрока-императора.

Сразу же по прибытии в Рим в 219 году он взял себе в жены представительницу одного из аристократических родов, но вскоре она ему надоела — тогда он поспешил от нее избавиться, вынудив с позором вернуться к обычной жизни. Говорили также, что он выкрал весталку из храма и принудил ее нарушить священный обет целомудрия, а когда и она ему наскучила, бросил ее на произвол судьбы. За ней последовал выбор другой жены, а затем еще одной, но всех их постигала одна и та же участь. Затем Элагабал стал проявлять более широкий интерес в этих вопросах. Известно, что он всегда демонстрировал изощренный вкус к изысканным украшениям и роскошным одеяниям. «Он носил самое богатое платье, — сообщал

Геродиан, — отделанное пурпуром и золотом, украшал себя ожерельями и браслетами. На голове он носил венец в виде тиары, сияющей золотом и драгоценными камнями». Избегая одежаний из шерсти и хлопка, которые носили обычные римляне и греки в античности, император из Сирии позволял касаться своего тела только самым дорогим украшениям. «Лишь натуральный шелк был достаточно хорош для него», — сообщал историк. Его обувь, также выполненную из самых отборных материалов, покрывали драгоценные самоцветы, жемчуг, а также золото и серебро. Однако римляне считали, что «подобное пышное убранство надлежит носить скорее женщине, нежели мужчине». Впечатление о том, что Элагабал был женоподобным юношей, по крайней мере не обладал выраженной мужественностью, подкреплялось тем, что он обычно «подводил краской глаза и румянил щеки». Другой историк упоминал, что «общественные бани он посещал вместе с женщинами и даже натирался мазью для удаления волос, которую использовал также для удаления бороды».

Все это выглядело скверно. Но самым отвратительным хроникерам более позднего времени казалось то, что он избрал для себя роль женщины и в сексуальных отношениях, или, как язвительно выразился Эдвард Гиббон: «Скипетру он предпочел прялку». Было известно и осуждалось, что уже во время своего длительного путешествия в Рим он «сожительствовал в извращенном и противоестественном пороке с мужчинами». Лампридий, предложивший самую непристойную версию биографии императора, к которой Георге обращался с крайней осторожностью, зашел так далеко, что утверждал, будто Элагабал завел публичную баню во дворце императора, «поэтому всегда мог располагать мужчинами с необычно огромными половыми органами». Намеренно описывая жизнь императора в уклончивых выражениях, Лампридий заявлял, что император был склонен к сексуально недозволенному поведению на публике: «Его страсть к Гиероклу — бывшему рабу, а теперь фавориту — была столь велика, что он целовал его в таких местах города, где об этом не подобает даже говорить, заявляя, что совершает празднество Флоры». Вскоре Гиерокла сменил другой выдающийся атлет, на этот раз грек по имени Зотик, «с этим мужчиной Элагабал совершил свадебную церемонию и заключил брак, причем во время этой церемонии даже присутствовала женщина, исполняющая роль фрейлины или подружки невесты». Дион сообщает, что желая во всех смыслах упрочить узы с Зотиком, он попросил своего лекаря сделать ему, прибегнув к хирургической операции, вагину. После обмена торжественными клятвами Элагабал поцеловал своего «мужа» и объявил самого себя «императрицей».

Таковы, по мнению более поздних историков и комментаторов, самые порочные и одновременно наиболее типичные моменты жизни и правления Элагабала. Иначе говоря, его биография мало чем отличается от жизни

любого другого императора эпохи позднего Рима: в разное время его обвиняли в человеческих жертвоприношениях, расчленении детских тел в поисках предзнаменований по их внутренностям, как и в том, что он впрягал обнаженных женщин в колесницу и погонял их, словно лошадей, чтобы те возили его по дворцу, то есть в том, что он, в общем, вел жизнь то в буйном распутстве, то в диких зверствах. Сообщают, что Элагабал любил, чтобы дорогу перед ним, по мере того как он ступал, посыпали золотой пылью, а кроме того, ему нравилось окружать себя изысканными благоуханиями и цветами, включая розы, лилии, фиалки, гиацинты и нарциссы. Он приказывал, чтобы его собак кормили отборной гусиной печенью, а себе и своим гостям велел готовить и подавать редкие и экзотические кушанья, например, блюда из верблюжьих горбов, из павлиньих и соловьиных язычков, мозгов фламинго и яиц куропатки. Предполагают также, что император устраивал безумные пиры, где, чтобы развлечь самого себя, отпускал легкомысленные шутки, приглашая по двенадцать или лысых, или тучных, или слепых людей и так далее. Иногда он угощал своих гостей не яствами, а искусными имитациями блюд, изготовленными из дерева, мрамора, керамики или стекла. Император самодовольно наслаждался настоящими блюдами, поставленными перед ним, и с притворной заботой осведомлялся о том, как гости находят блюда, а те из страха или от смущения принимались расхваливать великолепие яств. Затем в освещенной факелами арене раздавался рев тигров и львов — начиналось кровавое и жестокое сражение гладиаторов с дикими животными, за которым праздно наблюдал обвешанный драгоценностями и раскрашенный юный император в окружении своих излюбленных евнухов, рабов, хорошо сложенных атлетов и одногоглазых проституток, подобранных на задворках Рима.

Долгое время имя Элагабала оставалось малоизвестным, однако никогда не ускользало полностью от внимания художников. Так, в современной Франции память о его злодеяниях живет благодаря темному обаянию его личности. Неудивительно, что еще в XVIII веке в романе «Жюстина и Жюльетта» («*Justine et Juliette*») имя Гелиогабала упоминал Маркиз де Сад, ставя его в один ряд с Нероном и Тиберием, о которых отзывался весьма одобрительно. В XIX веке Гелиогабал превратился даже в нечто вроде культовой фигуры. Решающая роль в этом принадлежит Теофилю Готье, чей роман «Мадмуазель де Мопен» («*Mademoiselle de Maupen*»), написанный в 1834 году, воодушевил целое поколение писателей, не говоря уже о символистах. Готье был поглощен идеей, что современная ему культура, как и культура Древнего Рима, погрязла в пороке и саморазрушении, слабела и истощалась, неумолимо клонясь к своему закату. Подстегнутые пронзительным чувством сходства натур, стремясь избежать отупляющей скуки в мире, каковой уже не предлагает ничего удивительного или прелестного, персонажи Готье пускаются во все тяжкие в поисках более изо-

щренных развлечений. Главный герой «Мадмуазель де Мопен» шевалье д'Альбер, томящийся от скуки и жаждущий все новых впечатлений и переживаний, частенько грезит о том, что называет «невозможным». «Меня терзает, — стонет он, — та болезнь, что поражает сильных людей и мужчин, когда они стареют». Вскоре он объясняет более конкретно, что имел в виду, говоря следующее: «Я мечтал увидеть, как города пылают в огне, разведенном для моего торжества, хотел бы я также стать женщиной, чтобы узнать вкус новых чувственных удовольствий... Нероном... Гелиогабалом». Это утверждение содержит, по замечанию одного студента того времени, скрытое, но однозначное указание на гомосексуальные, или «извращенные», влечения и страсти. И действительно, гомосексуальность является сквозной и центральной темой всех произведений Готье, наряду с близкими к ней явлениями андрогинности и гермафродитизма.

Для многочисленный страстных почитателей Готье — среди самых известных из них Бодлер, к «Цветам зла» которого Готье написал хвалебное введение, и давний друг Готье Жорис-Карл Гюисманс, чей роман «Наоборот» («Rebours»), написанный в 1884 году, провозглашен «молитвословом декаданса», — имя Элагабала, таким образом, стало твердо и неизменно ассоциироваться не только с разгулом или пороком, но также с сексуальной извращенностью, к разряду каковой тогда относили и гомосексуальность. Разумеется, всеми авторами, изучавшими злодеяния, приписываемые Элагабалу или подобным ему представителям «декаданса» в империи позднеримского периода, двигали отнюдь не мотивы сладострастия или собственное желание признаться в тайных влечениях. В склонности к таким проблемам и явлениям, считавшимся «нестественными», или «несвойственным» природе человека как таковой, связанными с представлениями о том, что шокирует и является извращением, болезнью или злом, выразилось, как и во многих других действиях символистов, их стремление эпатировать публику. Этот путь заключался в последовательном отрицании ценностей буржуазного общества, к которым все символисты относились с неприятием; он стал общим орудием бунта и в то же самое время подходящим средством утверждения собственной воли над тем миром, какому символисты противостояли и с каким не хотели мириться. Как известно, этот протест против природы был не единственным и даже не самым первым художественным жестом, а скрытые политические тенденции отчетливо понимали обе стороны этого идеологического противостояния. Таким образом совершенно не случайно — а скорее, даже в знак очередного подтверждения огромного потенциала этого сложного сочетания идей и мотивов, — что спустя сорок лет, после того как Георге написал свой «Альгабал», Антонен Арто, написавший книгу под названием «Гелиогабал, или Коронованный анархист» (1934), все еще мог рассчитывать на продолжительное внимание к ней.

В 1892 году фигура отрока-императора обладала неотразимым обаянием для Георге, в силу того что Элагабал представлял собой нечто вроде сплава символистских, анархистских и психосексуальных мотивов, в которых в свою очередь выразились эстетические, политические и социальные противоречия. Следует подчеркнуть, что, несмотря на то что изучающие это историческое лицо в дальнейшем отчаянно настаивают на обратном, каждый из этих элементов существен для понимания его личности, и Георге, со своей стороны, совершенно сознательно и целенаправленно придерживался этого подхода и рассматривал каждое проявление его личности как часть целого. Интерес к Элагабалу вовсе не являлся лишь неким абстрактным сиюминутным увлечением — его фигура занимала Георге на протяжении всей жизни до написания этой книги и в будущем. Еще в 1888 году, когда Георге впервые отправился в Лондон, его друг Карл Руж, возвращаясь к разговору, который состоялся между ними в Дармштадте, напомнил ему следующее: «Однажды ты, сославшись на Юлиана, толковал мне о красоте греха в Античности (однако так и не привел ни одного примера этой красоты)». Несогласный с этим утверждением Руж неуверенно продолжал: «Вынужден признать, что не нашел во всей Античности подобной красоты». Остается неясным, что имел в виду под «красотой греха» юный Георге, но факт остается фактом, он начал размышлять в этом направлении задолго до того, как впервые ступил на парижскую землю, что свидетельствует о том, что его внимание к Элагабалу не является всего лишь праздным интересом.

Но вопрос, касающийся сексуальной ориентации Элагабала, и то вероятное значение, что он имел для Георге, долгое время оставались под густым покровом тайны и замалчивались. Совершенно очевидно, не является случайным совпадением то, что Карл Генрих Ульрихс (1825—1895), один из начинателей «научного» подхода к исследованию гомосексуальности в XIX веке, впервые открыто признавший собственную гомосексуальность, также включил Элагабала в свое исследование. Ульрихс настаивал на том, что в отношении его самого и подобных ему, как он выразился еще в 1862 году, справедливо следующее: «Духовно мы являемся женщинами, в основе этого лежит наша сексуальность, то есть устремление нашей половой любви». Ульрихс был твердо убежден, что у «уранийцев» лишь тело мужчины, но душа и сексуальность женщины, и что они представляют собой и на физическом, и на духовном уровне некий «средний», или «третий», пол, который следует признать отдельным явлением. (Слово «гомосексуальный» появилось лишь в 1869 году, и Ульрихс всегда предпочитал использовать собственный термин «уранийцы» — от имени божества древнегреческой мифологии Урана, оскопленного Кроном.) «Уракийцы представляют собой вид мужеженщины, — заявлял Ульрихс. — Уракийзм — это аномалия природы, ее игра, какую можно наблюдать в тысячах

других примеров в Мироздании». Он даже полагал, что «уранизм является разновидностью гермафродитизма или, возможно, некое связанное с ним явление». На протяжении всей своей карьеры Ульрихс неутомимо пытался собрать данные о «наличии у уранийцев женской природы», не пренебрегая свидетельствами в подтверждение своей теории ни наукой, ни литературой, ни историей. Таким образом, вполне имеют смысл его заявления о древнеримском императоре Гелиогабале, избранном им для подтверждения собственных взглядов. «Гелиогабал является неопровержимым доказательством моей теории, а также того, что состояние уранийцев — вполне естественно. Ведь именно этот император, — напоминает Ульрихс своим читателям, прибегая к цветистым выражениям, — приказал однажды своему возлюбленному: „Зови меня не господином, а госпожой“».

Неизвестно, читал ли Георге Ульрихса, но ему, весьма вероятно, было известно о его произведении, поскольку он интересовался этой темой. Через несколько лет после издания «Альгабала» Рихард М. Мейер, профессор литературы в Берлинском университете и автор первого в Германии положительного отзыва на поэзию Георге, сообщил Георге результаты исследования, какое он провел от имени поэта. «Мой источник, — рассказывал Мейер, — пишет следующее: „Мне самому ничего неизвестно об издательстве «Вращающиеся круги» («Kreisende Ringe»), но от хорошо осведомленного человека я слышал следующее: фирмой владеет Макс Шпор — необыкновенно богатый человек, — получающий огромную выручку от издания книг по различным половым вопросам под *собственным* именем; кроме того, он издает оккультные труды, а также романы, рассказы и прочее“». Мейер добавил, что его «источник» сообщил также, что «данная фирма пользуется уважением, но, кажется, по большей части в связи с вышеупомянутым главным направлением деятельности, далеким от первоклассного». Затем Мейер сделал следующее заключение: «Оценивать данное мнение я предоставляю вам. Касательно „вышеупомянутого главного направления деятельности“ замечу лишь одно: у автора нет пола!» Последняя фраза, написанная автором по-английски, является, весьма странной, иносказательной отсылкой к «главному направлению», в котором преуспел сам издатель.

Макс Шпор, основавший свою фирму в Лейпциге, специализировался не только на книгах по половым вопросам в целом, но главным образом на трудах, имеющих отношение к расширяющейся сфере исследований гомосексуальности. Также Шпор являлся активистом зародившегося недавно движения за права гомосексуалистов, а 15 мая 1897 года он вместе с Магнусом Хиршфельдом и чиновником из министерства по имени Эрих Оберг основал так называемый Научно-гуманитарный комитет (Wissenschaftlich-Humaniteras Komitee). Целью данного Комитета являлась отмена параграфа 175 уголовного кодекса Германии и просвещение общества на

предмет природы гомосексуальности. В 1896 году, всего за год до этого письма Мейера к Георге, Шпор издал книгу под названием «Сапфо и Сократ: Как объяснить любовь мужчин и женщин к людям своего пола?», написанную его другом и соратником Магнусом Хиршфельдом, который вскоре стал общепризнанным — и отлично полемизирующим — исследователем и защитником лишь становящейся еще науки сексологии. Макс Шпор издавал также влиятельный журнал «Ежегодное обозрение для людей с иной сексуальностью» («Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen»), подзаголовок которого подчеркивал «особое внимание к гомосексуальности». Редактором журнала со дня основания в 1899 году являлся Хиршфельд. Он возглавлял журнал до 1933 года, когда пришедшие к власти нацисты принудительно закрыли его. Именно издательство Шпора в 1898 году выпустило в свет избранные произведения Карла Генриха Ульрихса, умершего тремя годами ранее. Примечательно, что в 1899 году имя Шпора также фигурирует — в связи с именем дармштадтского писателя Вильгельма Валлота — в другом письме, адресованном Георге Альфредом Шулером. Наконец Георге получил научную статью о Гейне и Платене (в своих «Луккских водах» Гейне жестоко нападает на Платена в связи с его гомосексуальностью), где часто цитируются и подробно анализируются работы Ульрихса. И если вдруг Георге ничего не было известно о последних исследованиях проблемы гомосексуальности, то вовсе не из-за недостатка информации или отсутствия возможности ее получить.

Однако, по большому счету, знал Георге труды Ульрихса или нет, не имело решающего значения для понимания им глубинной связи между фигурой Элагабала и современными воззрениями на природу гомосексуальности. Ее открыто признавали многие французские авторы, которых он боготворил, и этой темой насквозь пронизаны их произведения, так что вряд ли ему удалось не заметить этого. Один из самых впечатляющих и известных пересказов истории Элагабала приводится в популярном историческом романе «Агония» («L'Agoni»), опубликованном Жаном Ломбаром в 1888 году, за год до того, как Георге впервые приехал в Париж. Повествующий о правлении Элагабала и избилующий подробностями, полученными в результате глубокого исследования (в основном Ломбар почерпнул нужные ему сведения о личности и жизни императора из хроник Диона Кассия и Лампридия), роман не слишком старательно маскирует древнеримскими одеяниями портрет Европы конца XIX столетия. Программой, если можно так выразиться, произведения Ломбара является «сексуальная революция», произошедшая в культуре периода позднего Рима и провозгласившая «повсеместное распространение андрогинной любви». Последствия этой «революции» описываются через одного из главных персонажей романа. Новый культ, появившийся в Риме вместе с Элагабалом, как полагает Ломбар, основан на «неослабном стремлении мужского пола

к мужскому полу, что отменяло необходимость в женском поле или, скорее, в бисексуальных людях и способствовало созданию АНДРОГИНА, существа, являющегося самодостаточным, обладающим обоими полами». Так же как некоторые другие выдающиеся представители парижского авангарда, Ломбар являлся самоучкой с весьма скромным прошлым (путь от простого рабочего до успешного *литератора* он проложил себе тяжелым трудом, упорством и хитростью), сочувствующим анархистам. Его выделяла твердая и открытая вера в то, что путь к спасению лежит через уничтожение половых различий, — по крайней мере с его точки зрения, анархизм служил синонимом всеобщей андрогинности.

И хотя данные заявления звучат, скорее, как своекорыстное требование признать гомосексуальность, андрогинность являлась в то время излюбленной и частой темой бесчисленных и не связанных между собой произведений. Возможно, никто не способствовал популяризации андрогинности с большим успехом, чем харизматический, но чудаковатый Жозефен Пеладан, который принял царственный ассирийский титул «Сар», происходивший от имени древнеавилонского царя Меродака Баладана, наряжался в необычные костюмы, состоящие из длинных темных балахонов и причудливых шляп, а также выдавал за свою тайную доктрину путанную комбинацию понятий и представлений, заимствованных из оккультных учений Зороастра, Пифагора, Орфея, тамплиеров и розенкрейцеров. Пеладан распространял свои странные взгляды посредством серии невероятно успешных романов, известных под общим названием «Упадок латинского мира» («*La Décadence latine*») и выходивших с 1884 года, тогда же, когда был издан роман Гюисманса «Наоборот». Все отдельные произведения серии «Упадок латинского мира» — каждое из них имело скользкое название «Курьез», «Андрогин» и так далее — содержат бесчисленные сцены, где описываются различные сексуальные отклонения, при этом внимание Пеладана было направлено главным образом на андрогинность. Он делал вид, будто осуждает все те отдельные проявления современного морального разложения, которые описывал (неслучайно Макс Нордау, этот безжалостный критик упадка культуры и верный защитник ценностей среднего класса, вполне одобрял Пеладана), — автор «Упадка латинского мира» наставил на том, что задумал эту серию в целях и назидания, и предотвращения вредных последствий декадентской культуры. Какими бы не были его намерения в действительности, число сцен, а также живость и подробности описания самых различных экспериментов в области секса определенно не повредили спросу на книги. Всегда находчивый и предприимчивый Пеладан возглавлял также художественные выставки, проводившиеся в 1890-х годах и представленные грандиозными Розенкрейцерскими салонами, привлекавшими толпы людей: первый Салон, открывшийся 10 марта 1892 года, посетило более двенадцати тысяч любо-

пытствующих или, возможно, попросту смущенных визитеров. Некоторое время Георге также был поражен этим странным феноменальным человеком, который являлся одновременно и волшебником, и импресарио, и проповедником, и мошенником. В конце следующего года он взял себе за правило ездить в Брюссель на лекции Пеладана, где — так уж случилось — он столкнулся с Верленом.

Следовательно, когда Георге назвал «Альгабал» «революционной» книгой, то имел в виду, что она, с одной стороны, включает в себя, но с другой стороны, превосходит квазианархистские призывы Ломбара к «сексуальной революции», которую он считал мерой, способной приблизить всеобщую андрогинность, не говоря уже о лицемерных заявлениях Пеладана о том, будто он проповедует нечто совершенно обратное. И все-таки они сами и их рассказы об увеселениях отрока-императора находились в центре внимания Георге, когда тот принялся создавать собственный, хотя и более глубокий и темный, образ Альгабала. По всей видимости, Георге связал воедино фигуру Элагабала и всяческие разновидности «неестественной» сексуальности, о чем знал лишь понаслышке, понимая, что это послужит надежным и выразительным иносказанием для всего его замысла. И все же, когда его официальный биограф замечает, что «поэт в „Альгабале“ выступает в сверхличностной форме, лишь в виде символа», то следует прислушаться к его словам, уделив вниманием не только духу, но и букве этой формы. Очевидно, Альгабал — это не Георге, он имеет с ним так же мало общего, как и с самим Элагабалом. Тем не менее верно и то, что если речь идет о Георге, выразившем в собственной поэзии само свое существо, то утверждать, что он стремился отнюдь не к полнейшему растворению себя в своем творчестве, было бы банальностью или ложью.

Своей выразительностью и мощью, разительно отличающих «Альгабал» от двух предшествующих книг Георге, эта книга значительно раздвинула границы — и оттеснила скрытые опасности — ставшего более твердым и уверенным отношения к самому себе и собственному творчеству. В действительности почти сверхъестественным образом «символическая фигура», с помощью которой Георге выразил и свои притязания, и свои страхи, содержит широчайший спектр не только стимулов его поэтического вдохновения, но также его личных переживаний. В отличие от «Гимнов» или от «Паломничеств», «Альгабал» представляет собой скорее последовательное и выдержанное исследование одного и того же образа, или символа, нежели серию тематически связанных, но все-таки разобщенных и не имеющих самостоятельного значения портретов. Многие из прежних мотивов и образов также прослеживаются здесь, но удерживаются вместе более прочной и более крепкой связью и, кроме того, центральным образом главного персонажа.

Книга разделена на три крупные части, которые называются «В нижнем царстве», «Дни» и «Воспоминания». Уже в первом разделе книги мы встречаем великолепное смешение элементов, выражающих видение Георге собственной поэтической миссии. Образ некоего подземного «царства» или «империи» (немецкое слово «рейх», имеющее широкий спектр значений и смыслов, постоянно появляется в различных контекстах на протяжении всего творческого пути Георге) символизирует владение, которое не только целиком и полностью создается властителем, но также постоянно изобретается и восполняется его ярким и живым воображением. Георге вводит фигуру властителя, используя в своих стихах местоимение третьего лица «он», и мы читаем, что «прибрежный пейзаж не ласкает взор мастера», кто предпочитает ему собственный план, согласно которому возводит для себя город «с домами и внутренними двориками, как он и задумал». Скрытые под землей гроты, озера и холмы, какими он наполняет собственный мир, созданы не из типичных для них природных материалов, а из отборного камня, драгоценных камней, самоцветов и лучших пород дерева, как то: рубины, бриллианты, хрусталь, жемчуг, алебастр, опалы, топазы, кость, кипарис и чеканное золото — вот какие материалы использует Альгабал для создания собственного мира, причем все это великолепие играет всеми цветами при свете свечей. Здесь, в его собственном мире, «где не правит воля иная, а только воля его» и где он даже «властвует над светом и ветром», Альгабал создает без посторонней помощи некое царство, полностью соответствующее каждому из его желаний, отражающихся в этом царстве, словно в зеркале.

В литературе известны некоторые художественные модели, воспроизводящие образ этого тайного скрытого под землей царства, причем создание альтернативной реальности подразумевает противостояние или замещение той далекой от совершенства действительности, с которой мы сталкиваемся и знаем по личному опыту. В стихотворении Бодлера «Парижский сон» («Le rêve Parisien») из книги «Цветы зла» также создается похожий образ мира, наполненного твердыми и блестящими предметами и пустынными и неестественными видами, а также солипсистским молчанием. В рассказе Вилье де Лиль-Адана «Герцог Портландский», включенном им в сборник «Жестокие рассказы» («Contes cruels»), изданный в 1883 году, также описывается некая сокрытая темница, своды которой покрыты венецианским стеклом, а полы выложены мрамором и фантастическими мозаиками, где в величественном уединении живет главный герой рассказа лорд Ричард. Следующий год подарил жизнь самому знаменитому мастеру по созданию этих отшельнических пределов, с кем мы встречаемся в романе Гюисманса «Наоборот». Центральным персонажем романа является герцог Жан дез Эссент, в высшей степени утонченный потомок древнего и аристократического рода, воспитанный иезуитами ценитель культуры пе-

риода «упадка латинского мира». Неудивительно, что он также является благоговейным и хорошо осведомленным почитателем Элагабала. Дез Эссент обладает сложной и тонкой чувствительностью. Он сознательно запирает себя в доме, просыпается лишь на закате и, проводя одинокие ночи в мечтаниях, отдается «затейливым прихотям» в комнатах, перестроенных им по образцу кабин корабля, монастырских келий или пыточных камер. Дез Эссент никогда не путешествует и никуда не выезжает. В действительности он почти не выходит из своего убежища, «поскольку убежден, что воображение вполне может заменить грубую реальность и настоящие переживания». «Природа, — любит повторять он, — свое отслужила».

Эти и другие литературные параллели с «Альгабалом» Георге очевидны и не требуют глубокой интерпретации. Изображаемые здесь миры, как и подземное царство Альгабала, представляют собой определенные образы, символизирующие восстание, протест против существующей реальности. И все же это бунт не столько против конкретных времени и места, сколько против самой Природы. Этим рукотворным мирам, созданным символистами, суждено воплотить, в ясной и осязаемой форме, попытку подчинить и упразднить реальный мир, который они считали неисправимо испорченным, мишурным и зловредным — слишком буржуазным, если говорить коротко. А на его месте они воздвигли бы собственный мир. По большому счету, они намерены примерить на себя роль Бога. Например, в одном из своих монологов дез Эссент решительно заявляет: «Человек содеет то же, что и Бог, в которого он верит». Как нам известно, это утверждение соответствует центральному кредо символистов, и Георге мог бы под ним смело подписаться. Следовательно, император Альгабал представляет собой не только своего рода альтер эго Георге — в нем воплотилась его давняя мечта о всемогущем правителе, властвующем безраздельно над миром, признательном ему и только ему одному, поскольку он является лишь его творением. Альгабал и мир, которым он правит, являются, скорее, весьма прозрачными аллюзиями на то, как Георге представляет себе личность поэта и его задачи.

Однако здесь есть одна проблема. В возвышенном, но тусклом и зловещем блеске подземного царства Альгабала, с его каменным убранством и влажным, холодным светом, проступает главная особенность: это — мертвое царство. Кроме самого императора, в этих частных владениях нет ничего живого. Сначала кажется, будто именно этим он и гордится — получается, что он возобладал над самой жизнью. Но вскоре он понимает, что эта безжизненность угрожает его статусу суверена. В последнем стихотворении первого раздела книги, являющемся, возможно, самым внушительным и самым совершенным стихотворением в этой книге, и притом первым, где мы слышим собственный голос Алагабала, эту дилемму начинает осознавать и сам властитель:

Не требуют мои сады ни воду, ни тепло —
Сады, которые разбил я только для себя.
И вовек безжизненные стаи птиц
Не возвестят о приближении весны.

Из угля стволы деревьев, из угля их ветви,
И мрачны поля у темнеющих склонов холмов.
Ничто не изменит веса этих вечных плодов,
Как лава, мерцающих в сосновом бору.

...

Но в моем заповедном саду как увидеть тебя —
Так спрошу я себя, углубясь в свои мысли.
И забуду заботы свои, обдумывая дерзновенное дело, —
Великолепный цветок, что ночи чернее?

Не встречающийся в природе черный цветок, который хочет вырасти Альгабал, кажется, и предстает в качестве совершенного, хотя и интуитивно отталкивающего образа, символизирующего противоречивые цели Георге. Но если обратиться к обычной поэтической символике, то цветок сам по себе олицетворяет главным образом нечто естественное — щедрость природы, ее плодородие, — не имея никаких других внешних целей, как только быть прекрасным. Но основным цветом подземного царства Альгабала с его пейзажами из каменного угля и обсидиана — что совершенно не случайно соответствует также цвету чернил — является черный цвет как тень смерти. Значит, его «цветок, что ночи чернее» является не просто еще одним образом, еще одним творением из этого темного подземного царства Альгабала. Он стал бы его главнейшим достижением, самым важным его созданием — порожденным человеком, но в то же время природным и неживым, явно неорганическим, и тем не менее странным образом настоящим. Этот цветок является своего рода растительной разновидностью того же явления, что предстает в образах вампира или, что возможно более точно, чудовища Франкенштейна. Он стал бы неким последним — и высшим — созданием мастера, которое не столько возникло и получило жизнь из косной материи, сколько представляло бы смешение жизни и смерти.

Даже самые осторожные в своих оценках последователи Георге признавали то, что этот черный цветок представлял собой, по необычно откровенному выражению Гундольфа, «смутно угадываемый образ тайны создания новой жизни». Эрнст Морвиц — близкий друг Георге на протяжении более тридцати лет — несколько точнее понял этот образ, поместив его в контекст своеобразно понятой сексуальности. «В стихотворении „В нижнем царстве“ присутствует лишь легкий намек на желание увековечить самого себя в своих потомках, — предположил Морвиц. — Император не

желает быть отцом, но хочет дать жизнь кому-нибудь или чему-нибудь. В физическом смысле это невозможно. Иное существование может породить лишь разум. Таким образом император пытается стать женщиной, как и сообщает история о Элагабале». Но можно добиться еще более ясного понимания. В одном из стихотворений второго раздела этой книги Альгабал вспоминает, как укрылся от толпы и разглядывал себя в зеркале: «И лишь зеркало повернулось, / Увидал я лицо в нем — как почти у сестры». В другом стихотворении описывается празднество Альгабала в храме, построенном им для высоко вздымающейся черной каменной глыбы, олицетворяющей его Бога. В отличие от всего того, что мы знаем об историческом прототипе Альгабала, этот массивный идол у Георге вовсе не является фаллическим символом, но имеет «двойственный вид», то есть, как оказалось, символизирует андрогинность или гермафродитизм. Император, главный жрец этого культа, стремится воссоздать самого себя по образу и подобию своего двойственного Бога, перенять его многообразные свойства и даже занять его место. Нарцисс желает стать Салмакидой, двойственным отпрыском Гермеса и Афродиты, новое имя которого образовано от имени ее родителей и символизирует двойственность этого существа. А черный цветок, этот величайший гибрид, преодолевающий внутри себя даже большее число противоречий, чем его собственный создатель, стал бы выдающимся творением Альгабала.

При первом приближении, Альгабал и его подземное царство кажутся образами, символически исполняющими давнее и заветное желание Георге абсолютного господства над миром, созданным своими силами. Данной книгой Георге не только дает представление об этой альтернативной реальности, созданной Альгабалом в соответствии с любым его желанием, но также, объединив оба пола в главном персонаже и его главном творении, кажется, сулит императору божественную способность воссоздавать, порождать новую жизнь, а также возможность преодолеть смертельную угрозу удушающего солипсизма. Следует только учитывать, что это проклятие бесплодия снимается неокончательно, не устраняется раз и навсегда. Гермафродиты могут решать какие-то проблемы, а какие-то — избегать. Подобно цветам, которые имеют мужские и женские репродуктивные органы — тычинки и пестик, — но не способны опылять себя сами, гермафродиты наслаждаются богатством и изобилием, но не способны порождать жизнь лишь из самих себя. И те, и другие без посторонней помощи бессильны и бесплодны.

Примечательно, однако, что следующие стихотворения книги наполнены вовсе не радостным настроением, или хотя бы удовлетворением, а сильным ужасом. Их пронизывает дух насилия, а сам Альгабал кажется безразличным, совершенно бесчувственным и равнодушным перед лицом смерти. Раб, случайно напугавший императора, когда тот проходил мимо,

заявляет, что желает покончить с собой, поскольку нечаянно внушил своему господину страх. Альгабал принимает это добровольное жертвоприношение как вполне подходящее ему подношение: «Кинжал огромный уже засел в его груди, / По зеленой плитке расползается кроваво-красное пятно. / С презреньем император отшатнулся». Данная сцена напоминает исторический эпизод из жизни Элагабала, когда его брат попытался захватить власть, Элагабал приказал убить его. Когда император спускается по мраморной лестнице, то видит внизу, в центре зала обезглавленное тело («Там струится кровь моего дорогого, любимого брата, / Но я всего лишь аккуратно подхватываю свой шлейф пурпурный»). В другой сцене, также зафиксированной в хрониках, описывается случай, когда пришедшие на пир гости задохнулись под огромной грудой роз, сброшенных на них с потолка. Зверства и жестокости Альгабала не ограничивались лишь его ближним кругом, но распространялись на всех подданных империи. Альгабал признается, что в самые тяжелые свои дни часто отдавал безжалостные приказы («Я хочу, чтобы люди умирали и стонали, / И нужно распять на кресте всех тех, кто смеется»). В конце концов он начинает получать угрозы о собственной смерти, но заявляет, что принял решение убить себя сам, чтобы не доставить удовольствия кому-либо отнять у него жизнь. Книга заканчивается, однако, без особых происшествий, без вооруженного и гневного восстания или ужасающей сцены самоубийства — император спокойно отдается воспоминаниям о своем детстве или былой славе, и этот финал представляет собой в некотором роде еще один способ бросить вызов будущему.

Осознавал это Георге или нет, но он опять попал в безвыходное положение. На практике оказалось, что данные символистами обещания все более становятся односторонними, пустыми или еще того хуже. Попытка подчинить, а на самом деле заменить реальный мир миром, созданным поэтом, неумолимо вела к тому, чего сами символисты стремились избежать, — к некоей смерти от удушья, к вынужденному молчанию, вызванному осознанием тщетности, неосуществимости этого дела. Парадоксально, но совершенно неважно, что и как символисты пытались отрицать, в конце концов они угодили в ту же самую ловушку, куда, как им казалось, по слепоте своей попали натуралисты. Попытка уничтожить реальность при помощи языка в действительности наделяет язык силой не больше, чем это делает наивная вера в способность слов воссоздать новую реальность. Поэтическая доктрина символистов, подобно черному цветку или самому Альгабалу, самодовольно желающих быть чем угодно и кем угодно — мужчиной и женщиной, началом и концом, всем и ничем, жизнью и смертью, — в конце концов погибла от своего собственного яда.

В сентябре 1892 года в Париже появились первые десять предварительно напечатанных экземпляров «Альгабала», они выполнены в той же

строгой и аскетичной манере, что и две предшествующие книги Георге. В итоге тираж этой книги также насчитывал сто экземпляров и появился полностью в ноябре. Однако в это время Георге поразила болезнь — она вынудила его вернуться в Бинген и протекала настолько тяжело, что окончательно отступила лишь следующей весной. Разумеется, болезнь имела естественные физиологические причины, как и все заболевания этого рода. Тем не менее это совпадение невольно подталкивает к мысли, что опасное расстройство, от которого страдал Альгабал, передалось также автору и чуть не погубило его.





Глава десятая

«ЛИСТОК ЗА ИСКУССТВО»

Даже если бы Георге не довел себя до болезни в конце 1892 года, совершенно очевидно, что «Альгабал» значил для него больше, чем просто литературные опыты. Но почти также неуклюже и неловко, как протекал его разрыв с Гофмансталем чуть ранее в том же году, «Альгабал» выставлял на всеобщее обозрение самые интимные влечения и устремления Георге. То, что эти два откровения появились примерно в одно и то же время, и то, что они, хотя и различным образом, были омрачены унижительными неудачей и поражением, а также то, что оба они, что еще более печально, могли закончиться смертью Георге, представляло их в еще более мрачном свете. Правда, ни в одном из этих случаев Георге не заявил ясно и однозначно о своих истинных сексуальных наклонностях. В действительности он никогда этого не сделал и вряд ли пошел бы на это, поскольку был слишком гордым, слишком скрытным и слишком осторожным. В отличие от несколько более либеральной и терпимой Франции, в Германии гомосексуальные отношения не только неизбежно презирались, но также жестоко карались законом, и, следовательно, могли разрушить жизнь любого человека. В 1871 году под бдительным руководством и при негласном потворстве Бисмарка, существовавший в Пруссии указ, запрещающий гомосексуальные отношения, был включен в уголовный кодекс Германии в качестве параграфа 175, гласящего следующее: «Противоестественные действия сексуального характера, совершаемые лицами одного пола или человеком с животными, наказываются тюремным заключением. По реше-

нию суда может быть также назначено лишение гражданских прав». Если то, что прусские власти приравнивали сексуальные отношения между мужчинами к зоофилии, в недостаточной степени проливает свет, каким образом они трактовали данные вопросы, то с этой задачей вполне справляются следующие за приговором тюремное заключение или лишение гражданских прав.

Несомненно, вдобавок ко всему остальному, это послужило еще одной причиной для более чем прохладного отношения Георге к Пруссии. Он был и всегда оставался осторожным в своих заявлениях относительно собственного сексуального опыта, и при таких строгих мерах это совершенно не удивительно. Однако в своей поэзии Георге был гораздо менее осторожен, будто чувствовал, что слишком многое поставлено на карту, для того чтобы быть откровенным и чистосердечным. В одном из своих ранних очерков, посвященном Георге, Гофмансталь, возможно говоря именно о его литературной искренности, сделал следующее таинственное замечание: «Тот, кто лжет, приводит дурные метафоры». Очевидно, что поэтическое разоблачение Георге было опасным, а с выходом книги «Альгabal» его положение становилось еще более рискованным.

В 1878 году Фридрих Бертольд Лёффлер, написавший для изучающих медицину студентов пособие по подготовке к государственным экзаменам в Пруссии, при обсуждении связанных с параграфом 175 медицинских подробностей, не преминул сделать некое оскорбительное замечание. В качестве предмета анализа он выбрал работу не кого иного, как Карла Генриха Ульрихса, в то время самого яркого и плодовитого автора, защищающего в Германской империи то, что впоследствии будет названо правами гомосексуалов. «С незапамятных времен педерастия считалась самым постыдным и противоестественным пороком, — изрек Лёффлер, — даже во времена величайшего морального разложения древнеримских императоров». Между тем, заметил он подчеркнуто скептически, и в современности встречаются извращенные люди, пытающиеся доказывать, что «педерастия» является вполне естественным явлением. Лёффлер полагал, что есть лишь одно объяснение, почему «сегодня человек отваживается, в противоположность всему цивилизованному миру, оправдывать любовь мужчин друг к другу», — всего-навсего «то, что этот человек находится не совсем в своем уме». «Этот человек — бывший чиновник ганноверского суда Ульрихс, он, — зловеще предупреждал Лёффлер, — берет на себя смелость защищать мужскую любовь и возвращает нас обратно во времена Нерона и Калигулы, этих памятников человеческого позора и безнравственности».

Подобные заявления, сделанные должностным лицом, заставили бы задуматься кого угодно. Сам Ульрихс благоразумно взял это на заметку и спустя два года, в 1880 году, эмигрировал в Италию. Что касается Георге,

то он, только что издавший книгу, прославлявшую именно то, что осудил Лёффлер, становился потенциально уязвимым для подобных нападок. Разумеется, шанс того, что Георге признают человеком, содействующим моральному упадку цивилизации, был невысоким для все еще малоизвестного автора. Кроме того, Георге принял меры предосторожности — он издал свою книгу в Париже мельчайшим тиражом и слегка изменил имя исторического прототипа, давшее название книге, чтобы сбить со следа даже самых неотступных следопытов. Но для любого, обладающего воображением, терпением и обличительным пылом, рассказанная «Альгабалом» история вполне очевидна. А как со всей грубой эффективностью показал скандальный суд над Оскаром Уайльдом, состоявшийся менее чем три года спустя, невозможно быть слишком осторожным.

Пока в феврале 1892 года Георге находился в Мюнхене, возможно обдумывая эти и связанные с ними вопросы, а также залечивая уязвленную гордость и измятую душу после неудачи с Гофмансталем, его брат Фриц весьма неловко пытался сделать предложение одной юной девушке из их родного горда Бингена. Однажды вечером того же самого месяца, когда Фриц после танцев провожал домой свою спутницу, он осторожно осведомился у нее по поводу одного деликатного вопроса. «Фрейлейн Ида, — начал он робко, — я хотел бы кое в чем признаться. Мой брат Стефан (очевидно, Фрицу разъяснили, что брата уже не следует называть «Этьеном», но ему нелегко было привыкнуть к его новому имени), ну так наш Стефан сочиняет стихи! И только представьте себе, его стихи уже изданы, а мы не можем ничего в них понять, никто из нас, абсолютно. Но вы, я убежден, их поймете». Фрейлейн Ида Кобленц, девушка, которой предназначалось это лестное признание, игриво заявила, что желает служить интерпретатором в данном деле, и на следующий день, как полагается, получила экземпляр «Гимнов».

«Это просто чудо какое-то, что я, двадцатидвухлетняя и ничего не знающая об этом мире, прочитав первые стихотворения, поняла, а не только почувствовала, что попало мне в руки. Я полностью и без остатка отдалась этим звукам, подобных которым никогда прежде не слышала; я стала георгеанцем, первым из тех, что появились потом». Ида Кобленц заявляет, что стала первым георгеанцем, и с точки зрения языка это почти верно, за исключением оригинального немецкого того слова, что она употребила при этом. К слову, означающему по-немецки последователя и сторонника Георге — «Georgianer», «георгеанец» или «георгеанский», — она добавила суффикс, служащий для обозначения слова женского рода, как того требует немецкий язык. Значит, Фрейлейн Кобленц стала первой «Georgianerin», «георгеанкой», и именно в этом соль данной истории.

Когда Ида, или «Изи», как ее звали друзья и домашние, в следующий раз встретила Фрица, то разразилась хвалебной речью о стихотворениях

его брата. Через неделю она получила от Фрица старательно выверенное письмо, написанное, дабы подчеркнуть его значение, на почтовой бумаге его отца, — Фриц сообщал, что рассказал своему брату в Мюнхене о ней самой и том, как она восхищена его стихами. Но он не смог повторить для своего брата то, что она говорила о стихах, и поэтому просил, если она будет так любезна, написать все, что сказала Фрицу, в письме, которое Фриц в свою очередь передаст Стефану. Очевидно, она спокойно отнеслась к столь чудному способу общения и выполнила эту просьбу. По истечении следующей недели Ида получила еще одно письмо от Фрица, где, начав с тысячи извинений, он писал, что его брат настоятельно просит, чтобы теперь она более подробно и обстоятельно описала свои впечатления по поводу стихотворения из «Гимнов» под названием «Беседа» («Gespräch»). Будучи добродушной, Фрейлейн Изи исполнила также и эту просьбу.

Данный случай описывает способ поведения Георге, вошедший в дальнейшем у него в привычку — ему нравилось испытывать своих потенциальных последователей, прося их продекламировать стихи прямо сразу, без подготовки, причем обычно это было стихотворение его собственного сочинения, но могло оказаться и стихотворением Гёте или Гёльдерлина; на основе этой декламации Георге решал, следует рассматривать эту кандидатуру или без промедления отклонить. Истолкованию Изи, хотя оно и не отличалось глубоким пониманием, вполне можно было доверять. По крайней мере, она избежала ужасной ошибки и смогла отличить Музу от реальной, из плоти и крови, женщины, образы которой встречаются в стихотворении, а для Георге это было важно. Довольная, в «испытательном письме» к нему, она с надеждой предположила следующее: «Я убеждена, однако, что однажды поэт найдет ту, что воплощает его Музу». Но следует взглянуть на это как на романтические причуды молодой незамужней женщины. Как бы там ни было, она прошла испытание.

В качестве награды ей предназначался визит самого автора. «Вскоре после этого, — вспоминала Изи впоследствии, — сидя в саду, еще издали я увидела, как к нашему дому подошел молодой человек в светлом костюме, с огромной копной волос, так высоко поднимавшейся на затылке, что маленькая соломенная шляпа почти сползала с них ему на глаза, — это был Стефан Георге. Первый его визит ко мне длился два часа, примерно столько же всегда длились наши встречи в будущем — и всякий раз как-то слишком долго. Поскольку он говорил быстро, ровным, весьма тонким голосом, мне было тяжело слушать его на протяжении долгого времени».

Они беседовали — точнее, он говорил, — конечно, о поэзии, и Георге рассказал, что «провел некоторое время в Берлине, Мюнхене и Париже; среди французов встретил художников, с которыми ощутил свое родство: Верлена, Бодлера, Малларме». Из современных немецких творцов он признавал лишь Макса Клингера и Арнольда Бёклина — примечательно, что

оба были живописцами, а не поэтами. «Ненавидел берлинских писателей, — Изи вспоминала, как он произнес это. — Меня пугало и даже страшило, что его реакция была инстинктивной: когда он говорил об этих „натуралистах“, уголки его губ сгибались, а рот складывался в неопишимо презрительный полукруг». На протяжении нескольких следующих весенних и летних месяцев Георге, будто находясь под влиянием какой-то мании, ездил по европейским столицам, туда и сюда, в поисках... чего? дружбы, спутников, друзей-поэтов, спокойствия духа и тела, передышки от безымянных пыток? Но он принялся регулярно возвращаться в Бинген, чтобы повидать свою соседку и новую подругу. Они, бывало, вели долгие прогулки по берегам Рейна и Наэ, часами бродили по широким и аккуратно выложенным камнем дорожкам, проводя время в разговорах или приятном молчании, иногда не встретив на пути ни единой души.

Но куда могли привести эти отношения? На фотографиях, снятых вероятно в тот период, возможно даже сделанных в саду дома Кобленцев, Георге улыбается, что совершенно не было ему свойственно. Некто, встречавшийся с Георге в Мюнхене лишь чуть позже описываемых событий, вспоминал: «Я убежден, что в те годы его душу наполняла безнадежная страсть к женщине». В 1898 году в Берлине другая подруга Георге Сабина Лепсиус сообщала, что как-то вечером Георге вспомнил свои юные годы, когда едва ли знал кого-нибудь в городе. «„Кроме Одной! — воскликнул он, — и она была моим миром!“ Когда мы шли, вдруг замолчав, он продолжал: „Мило, разве нет, что все еще можно сказать такое о человеке“». «Значительно позднее, — продолжала Лепсиус, — я узнала, не совершая к тому никаких отдельных попыток, кто была эта замечательная женщина — „Изи“». Еще один человек, встречавший Георге через много лет, настаивал на том, что «великой любовью поэта была Ида Кобленц». Даже через несколько десятилетий после смерти Георге, Роберт Берингер, ставший его законным наследником и верным, хотя и здравомыслящим, биографом, выразился значительно проще: «Фрау Изи, я полагаю, была единственной женщиной в его жизни, имевшей для него такое огромное значение».

Если все это является правдой, Георге удавалось хорошо скрывать свои чувства от предполагаемого объекта страсти. Ида Кобленц, к тому моменту фрау Демель, была еще жива, когда в 1935 году были изданы мемуары Сабины Лепсиус. Прочитав затрагивающий ее отрывок из этой книги, фрау Изи сказала: «Здесь есть одно слово Георге обо мне, в которое невозможно поверить, поэтому я была глубоко потрясена». Тронуло ее, вероятно, слово «мир», каковым, по заявлению Георге, она для него являлась. И все же, Изи подтвердила, рассказывая об их общении: «...он открыл мне себя полностью, мы стали друзьями. Я колебалась, когда писала слово „друзья“, поскольку самое личное, самое интимное невозможно рассказать никому. Мы много значили друг для друга, каждый — по-своему, но, несо-

мненно, значили друг для друга совершенно не одно и то же. В Георге, с его, словно пергамент, кожей и вечно холодными руками, которых я немного боялась, было нечто безжизненное. Так же, как я наслаждалась каждым моментом рядом с ним, меня глубоко впечатлял его почти монашеский образ жизни». В другом месте она признавала также, что испытывала к Георге нечто вроде физического отвращения, некую инстинктивную неприязнь к тому, кто, как она ощущала, проявлял «некую неуловимую безжизненную холодность, которую радостная молодая женщина находила почти отталкивающей». Со свойственным ей благодушием она объясняла его сдержанность в отношении к ней тактом и обходительностью: «Возможно, он чувствовал себя так, будто малейшее предположение о каком бы то ни было влечении разрушит наш союз». Со своей стороны Георге написал несколько стихотворений о ней и для нее — изначально он собирался даже посвятить ей книгу «Год души», хотя в последний момент изменил формулировку посвящения. Но никогда он не открыл самой Изи — ни словом, ни взглядом, — что их связывает нечто большее, чем искренняя дружба. Теплая, чуткая и даже нежная, но только дружба и не что иное.

И все же возможно также иное, в равной степени правдоподобное, объяснение, какое следует из встречи, которая произошла спустя два года после того, как Ида Кобленц впервые прочитала «Гимны». В феврале 1894 года, когда Георге опять приехал в Мюнхен, он познакомился с Леопольдом фон Андрианом, другом Гуго фон Гофмансталя и поэтом большого дарования, с которым в дальнейшем некоторое время сотрудничал. После того вечера, когда они впервые встретились и разговорились в кафе, Андриан пришел домой и записал в своем дневнике, что встретил «Стефана Георге», заметив, что эта встреча была «жуткой и пугающей». Андриан описал Георге так: у него была «внешность гермафродита, такая тошнотворно слащавая, беглый взгляд и сильный дармштадтский акцент». Это поразило Андриана, он считал особенно странным, что «он, двадцатисемилетний молодой мужчина (в действительности Георге не исполнилось еще и двадцати шести, но он всегда выглядел старше своих лет), говорит совсем как человек, находящийся на склоне лет. Говорит о поэтическом потенциале, который является самым огромным в ту пору, когда поэту двадцать-двадцать пять лет, а затем приходится подстегивать себя со все большим усилием. Он говорит, что уже не может выносить все эти постоянные переезды, говорит, что нуждается в мире и покое, но все в его жизни зависит от каких-то случайностей. И что было бы хорошо обзавестись женщиной или женой, которая позаботилась бы о нем и о его обеде». Через несколько дней Андриан написал письмо своему другу Гофмансталю и описал эту встречу почти теми же самыми словами, также сказав, что Георге напоминает ему «старейшего гермафродита».

Даже принимая во внимание тот факт, что это описание Андриана может быть продиктовано скорее твердой преданностью своему старому школьному приятелю, нежели фактической точностью, автор «Альгабала» предстает в более правдоподобном свете здесь, а не в банальных рассказах о безответной, или даже не могущей быть взаимной, любви, которые приводят верные и заботливые последователи Георге. Конечно, нарисованная Андрианом картина не особенно прелестна, зато, вероятно, наиболее точна: Георге, который, казалось, слишком быстро старел, был истощен, одинок, выглядел немного побитым и, что вполне понятно, нуждался в домашнем уюте, если не в чем-то еще, и, как он сказал Андриану, «обеде». Но эта картина явно содержит все безошибочно узнаваемые признаки буржуазного быта, к которому Георге как сочувствующий анархистам символист не мог испытывать ничего, кроме презрения, что является еще одной причиной, почему в результате он совершенно отверг такой образ жизни. Но, возможно, весной 1892 года, обхватывая нежные и теплые руки Изи Кобленц своими холодными и костлявыми пальцами, он искал вовсе не любви, а заботы и «обеда».

Тем временем у Георге зрели другие, более серьезные, замыслы. Еще со своей первой поездки в Париж у него возникло сильное желание основать свой собственный литературный журнал — именно в Париже он понял, какое огромное значение могут иметь подобные издания.

После юношеских экспериментов в Дармштадте, когда он, Карл Руж, Артур Шталь и другие вместе выпустили первый — и единственный — номер «Роз и чертополохов», Георге часто возвращался к идее издания, представляющего собой собрание «поэтических и критических» произведений, как он сказал Шталю в начале января 1890 года. И что-то подобное он говорил Карлу Августу Кляйну. В апреле того года, когда, казалось, Георге все еще может эмигрировать в Мексику, Кляйн с тревогой спрашивал: «Что же теперь будет с нашим журналом?» Позже в том же году Кляйн не в шутку интересовался: «А это не слишком рискованно — начинать издавать газету, когда нас только двое?» Но Георге, казалось, изменил свое решение, по крайней мере у него возникли новые идеи относительно того, что это должно быть за издание. «Ты неверно понял мои слова „Я хочу руководить изданием“, — поправлял он Кляйна. — Под „руководством изданием“ я имел в виду утверждение книги для публикации. Как видишь, у меня нет ни малейшего интереса к этой журнальной чепухе. Пусть этим занимаются другие!» Кляйн, слишком чувствительный к малейшему упреку, не поднимал этот вопрос почти два года.

Но то, что Георге утверждал, будто не собирается заниматься подобной «чепухой», вовсе не означало, что он был против участия в деятельности журнала или безразличен к ней. Он имел в виду лишь то, что не желает

обременять себя слишком будничными занятиями, какие влекло за собой издание журнала. Вероятно, он знал, что есть человек, на которого вполне можно рассчитывать, более чем жаждущий взвалить на себя тягостное бремя по исполнению необходимых финансовых дел, ведению переговоров с издателями, сбору рукописей, правке корректур, организации распространения журнала, а также консультированию и ведению отбирающей кучу времени переписки с авторами, публикующимися в журнале. Георге был поэтом, а не предпринимателем. Но для этого, к счастью, у него был Кляйн.

Коль скоро Георге уже трижды «руководил изданием» собственных книг, казалось, пришло время обратиться к своему проекту издания журнала. По всей видимости, еще до ссоры с Гофмансталем Георге рассказал ему о своей надежде однажды взяться за дело, желая, очевидно, заручиться поддержкой этого необычайно одаренного венского поэта. Несмотря на отчуждение, возникшее между ними, Георге был убежден, что Гофмансталь — единственный человек, пишущий по-немецки, который и понимал, и разделял его взгляды на литературу, а также единственный, с кем Георге согласился бы выдерживать сравнение. Однако теперь, как он расплывчато заявил Кляйну, некие «определенные договоренности препятствуют» тому, чтобы самостоятельно и напрямую обратиться к Гофмансталю. В этом смысле переписка с отцом Гофмансталя закончилась лишь пять месяцев назад, а Георге дал ему нечто вроде обещания держаться подальше от его сына. Таким образом, требовались некие замысловатые маневры, чтобы добиться расположения ветреного Гофмансталя и заполучить его в свои союзники, избежав при этом очередного вмешательства его отца. Кляйн усердно принялся исполнять роль посредника в этом деле, и в июне 1892 года попытался возобновить общение с Гофмансталем, сухо уведомив его: «В настоящее время я занимаюсь деловыми вопросами журнала, о чем вам сообщал Гер С. Георге». Осведомившись, заинтересован ли он еще в таком деле, Кляйн подчеркнул, что журнал носит «совершенно исключительный характер». «Основываясь на том, что мне известно о вас из ваших произведений, — писал он, — полагаю, что в вас еще живет желание обессмертить свое имя и свои труды, раз вы публикуетесь в этих безвкусных (так называемых современных) журналах, которые лишь позорят вас». Затем Георге подчеркнул: «Вряд ли необходимо говорить, что при журнале не существует никакой жесткой программы или школы — любой, кто вправе называть себя творцом, получит здесь возможность заявить о себе».

Почти на протяжении трех последующих десятилетий, вплоть до 1919 года, «Листок за искусство» («Blätter für die Kunst») являлся ядром, вокруг которого Георге организовывал собственную жизнь и, конечно, в некотором смысле его главным достижением. Годами те стихотворения,

которые впоследствии он выпускал в виде независимых изданий, сначала публиковались именно в «Листке», а те силы, что он затрачивал на поиск новых талантов, чьи произведения размещались на страницах этого журнала, лишний раз свидетельствуют о том огромном значении, которое тот имел для него. Однако, как и все остальное, связанное с творчеством Георге, «Листок за искусство» значил для него нечто большее, чем всего лишь литературное издание. Ему суждено было стать самым явным и самым успешным орудием неумолимой воли Георге к власти над людьми и вещами, в том числе позволившим ему оставить глубокий след в этом мире. Изначально задуманный как орган пропаганды версии «нового искусства», воспринятого Георге в Париже, журнал постепенно принимал на себя роль официального издания, где прорабатывались различные основы этой доктрины, уточняющиеся с течением времени. Постепенно публиковаться в этом журнале стало важнее, нежели участвовать в его работе, — это означало, что публикующийся автор разделяет целую систему убеждений и ценностей, а главное, признает Георге не только наставником в деле поэзии, но и духовным лидером. Когда Георге впервые встречался с каким-либо молодым автором, то, по обыкновению, спрашивал: «Как вышло, что вы оказались связаны с журналом?» Этот вопрос не был праздным — для самого Георге слово «Листок» становилось синонимом того, что вскоре будет называться «кругом». В действительности, журнал стал напрямую ассоциироваться с самой личностью Георге и тем движением, которое он сформировал, — в названии канонической биографии, написанной Фридрихом Вольтерсом, они практически объединены в нечто единое. Данная книга называется «Стефан Георге и „Листок за искусство“» и имеет также подзаголовок «История немецкого духа с 1890 года» («Deutsche Geistesgeschichte seit 1890»), подчеркивающий, что в книге описывается одно и то же явление.

Разумеется, летом 1892 года ничто из этого невозможно было предвидеть, особенно потому что Георге, не желающий пачкать руки типографской краской, был весьма доволен тем, что Кляйн подписывался как «редактор» «Листка». Не может быть никаких сомнений, что даже в самом начале Кляйн являлся по большей части номинальным главой журнала, притом с удовольствием усердно трудившимся, покладистым и скромным. Таким образом, все ниточки находились лишь в руках Георге. Первой задачей журнала было собрать жизнеспособный кадровый состав сотрудников. Даже самым талантливым генералам нужны надежные лейтенанты. Если Гофмансталь и догадывался о чем-либо, то, проявляя обычное благоразумие, и виду не показывал, что это так. Однако он и сам мог поддаться на такую же хитрость, весьма одобрительно ответив на первое письмо Кляйна: «Я приветствую все, что вы говорите по поводу отсутствия определенной программы у журнала и его исключительности». Должно быть,

Кляйн знал — Георге мог рассказать ему об этом, — что Гофмансталь был почти так же разборчив, как сам Георге относительно компании, в которой вращается. Друг Гофмансталя Леопольд фон Андриан однажды заметил: «Кроме Георге, Гофмансталь считал равными себе очень немногих современных, а в особенности немецких, авторов». «Я помню, — добавил Андриан, чтобы подкрепить это заявление примером, — как он негодовал, когда в каком-то очерке обнаружил имя одного знаменитого тогда новеллиста рядом со своим именем, как будто они были на одном уровне». Несмотря на то что Георге не привык прибегать к лести для достижения собственных целей, когда стал вопрос о привлечении к участию в журнале Гофмансталя, ему уже не казалось, что заигрывания с тщеславием этого молодого человека будут такой уж высокой ценой.

Прежде чем связывать себя с журналом каким-либо обязательством, Гофмансталь хотел узнать о нем немного больше. Насколько объемным будет журнал? Много ли будет в нем сотрудников? Планируется ли включать в журнал только поэзию или также критические и теоретические очерки? Но, сам того не желая, он уже переступил черту. Для такого человека, как Георге, подобные вопросы могли звучать лишь как скрытые обвинения. Ему нужны были услуги и имя Гофмансталя, но не его советы и еще меньше критика. Взяв снисходительный тон, Кляйн холодно ответил: «Объем журнала зависит только от того, сколько авторов мы в него включим — четыре, шесть, восемь, двенадцать. А о популярных критических очерках не может быть и речи». Очевидно, захваченный врасплох таким неожиданным афронтом, Гофмансталь, попытавшись выразить свое удивление весьма дипломатично, поспешил уверить его в следующем: «Совершенно согласен с тем, о чем вы говорите, мне тоже нет дела ни до „газеты“, ни до известности, я, скорее, стремлюсь завязать отношения с по необходимости узким кругом людей ищущих, как я сам, и узнать те произведения искусства, которые только от этих людей и можно узнать». Отвечая на резкий отказ Кляйна невинным вопросом, Гофмансталь попытался разъяснить, что «под очерками и прозой подразумевал совсем не популярные критические очерки, а, скорее, размышления о специальных вопросах творчества, достижениях в области цветовой теории слова и подобных побочных проблемах, связанных с процессом создания художественных произведений, обозрение которых совершенно точно позволит одному человеку помочь другому». Если это «цветочки», то можно лишь содрогнуться от того, какими будут «ягодки».

Следующая ошеломляющая бомба разорвалась всего через несколько дней. В июне 1892 года в берлинском журнале «Нация» появилась статья Германа Бара, посвященная «новому» литературному движению под названием символизм. Вместо того чтобы заняться глубоким изучением того, что подразумевалось этим понятием, Бар разобрал два прежде нигде не

публиковавшихся стихотворения, каковые, как он писал, могут служить «подходящим азбучным примером» того, о чем идет речь в статье. В особенности второе стихотворение, предполагал Бар, «воплощает во всей полноте и ясности то, что есть символизм, и не содержит ничего того, что символизмом не является». Оба стихотворения принадлежали, он чуть не забыл упомянуть, «Лорис».

10 июля Кляйн сделал «Лорис» строгий выговор: «Гер Г. дал мне понять, что это последнее событие пошатнуло его доверие к вам. Он имеет в виду людей — их имена стали, к сожалению, связывать с вашим именем, — которых мы, скорее всего, не можем включить в наше издание». Затем Кляйн сообщил, что обращался к Геру Г. с просьбой самостоятельно решить этот вопрос с Гофмансталем, но тот ответил, что этому препятствуют «определенные договоренности». В очередной раз вынужденный объясняться, Гофмансталь во взвешенных выражениях «надеялся и ждал», что они поймут это как недоразумение. Он писал: «...кроме всего прочего, представление о том, будто существуют какие-либо обстоятельства, препятствующие тому, чтобы Гер Георге писал мне или обращался ко мне с какими угодно вопросами и так далее, является заблуждением, поскольку наше последнее общение закончилось тем, что мы обменялись почтовыми адресами». Сделав вид, будто и ведать не ведает, о каком именно литературном преступлении говорил Кляйн, Гофмансталь стал изображать невинность и настаивал на том, что не знает таких «авторов, с кем мог бы находиться в более чем личных отношениях, о которых можно было выразиться так, что „наши имена стали связывать“».

Следует помнить, что Гофмансталь по-прежнему был очень юн — ему исполнилось лишь восемнадцать лет — и что он ничто так сильно не ненавидел, как открытые конфликты, и поэтому старался всеми возможными способами их избегать, пытаясь защитить свою хрупкую душу правилами вежливости. Но Георге, казалось, считал подобные выражения приличия невыносимым лицемерием. Освободив своего заместителя от роли посредника в их общении, Георге с готовностью принял предложение Гофмансталь: «Я прочитал ваше письмо к Геру Кляйну. Нам обоим не стоит морочить друг друга. Наша последняя встреча в Вене была лишь соблюдением формальностей · ничего не ладилось · ничего нового не произошло · вы сочли что так будет лучше и вели себя соответственно · или вы хотя раз мне написали? · Я сделал все, чтобы объяснить свои чувства и почему я тогда так поступил · и если мы пронесем через всю жизнь взаимные недоверие и обиду, то лишь потому, что так было угодно вам». Изложив дело таким образом, по крайней мере признав существование более серьезного препятствия, Георге перешел к обсуждению конкретного вопроса: «Одна мелочь (о чем вы и не догадывались) произвела на меня недавно крайне неприятное впечатление: когда я просил у вас стихотворения, у вас для меня не на-

шлось ни одного, но потом оказалось, что были — их только что опубликовали в какой-то случайной газетенке, эти ваши „азбучные примеры“. Это, конечно, не серьезное дело. Но подумайте о том, что было между нами в прошлом — разве не стоит этого сделать, — прежде чем вновь начать общаться со мной (хотя и на этом, ах-ох, профессиональном уровне)».

Впервые после их разрыва Георге напрямую обращался к Гофмансталю — и хотя его страсть уже остыла, душевные раны еще не затянулись и причиняли ему жгучую боль. Узвленная гордость требовала отмщения, Георге намеревался ранить Гофмансталь своим более искренним письмом. И ему это удалось. «Мы договорились ясно и спокойно, — объяснял спокойно и ясно Гофмансталь (казалось, что он занимался только тем, что объяснялся да оправдывался), — писать друг другу, если произойдет нечто важное, о чем нам следовало бы знать». Что касается этих «азбучных примеров, — отрезал он, — то они вполне дают представление о том, каковы были мои намерения, когда я давал Геру Бару два этих не слишком важных стихотворения». Затем Гофмансталь попытался защитить свою позицию тем, что перешел в ответное нападение: «Разве не лучше будет, даже в самых обычных литературных кружках, распространять пускай неглубокие, но, в сущности, верные мнения о наших взглядах на искусство, чем не распространять никаких или распространять ошибочные? Конечно, можно сохранить в тайне личные мнения, но отнюдь не теории искусства».

Возможно, он поверил — или только хотел поверить — в версию развития событий Гофмансталя, потому что испытывал радость от успешного восстановления отношений, какими бы они ни были, или потому что, возможно, злорадствовал, видя, что его слова наконец возымели свой эффект. Какими бы ни были причины, теперь Георге ответил Гофмансталю в бурном и примирительном духе, зайдя так далеко, что назвал его «дорогим другом»: «Мы оба правы. В паре моментов наши чувства совершенно иные. Но я решительно не согласен с вами в том, что эти два ваших стихотворения (особенно «Мой сад») являются „не слишком важными“. Я и те люди, кому я их показывал, определенно хвалим их. И где это видано, чтобы такой творец, как вы, позволял себе выпустить из рук то, что он считал „не слишком важным“?» Это и в самом деле было прекрасно. Георге вполне удался этот приятнейший и, возможно, искренний комплимент, каким он замаскировал свое порицание. С еще большей теплотой, хотя все же смешанной с едва уловимым упреком, Георге продолжал: «Ну не можете же вы в самом деле серьезно думать, будто я сомневался в достоинстве ваших произведений, я искренне отдаю должное всему тому, что вы пишете. Я осмелился писать, что это дело мне неприятно, лишь в связи с тем, как оно было сделано и с кем связано. Вы ошибаетесь также, намекая на мое желание сохранить в тайне взгляды на искусство, — обратное доказывает-

ся самым замыслом нашего журнала. Но для меня имеет значение и то, „каким образом“ это будет происходить. Вы полагаете иначе. А я считаю, лучше совсем никак, чем лишь наполовину или на четверть».

Теперь наступила очередь Георге кривить душой. В действительности он предпочел бы вовсе не делать чего-то, чем сделать не в полном соответствии со своими желаниями. И больше всего для журнала он хотел, чтобы тот продвигался. Чувствуя, что всему его проекту угрожают эти утомительные взаимные обвинения, голословные заявления и опровержения, Георге решил протянуть Гофмансталю оливковую ветвь: «Простите меня — я был немного недружелюбен. Теперь перейдем к журналу». То, что Георге предложил Гофмансталю пойти на мировую — само по себе это было редким явлением и к тому же явно означало, что он искренне преклоняется перед гением Гофмансталия и, возможно, все еще испытывает к нему чувства, в которых не может открыто признаться, — наконец сработало. В течение следующих двух месяцев Гофмансталь, Кляйн и Георге активно обменивались письмами, вполне сердечными, а не полными капризов и ненависти, как в начале их переписки. Однако нельзя сказать, что самой основе этих отношений ничего не угрожало. Как оказалось, она содержала непоправимый изъян. Сами личности этих двух поэтов были слишком различны, слишком несовместимы, чтобы это перемирие могло длиться долго. Вскоре Гофмансталь начал высказывать новые возражения, поднимать новые вопросы, вновь попытавшись отстраниться от Георге. Они будут исполнять этот сложный, долгий танец на протяжении более чем десяти лет, прерывая переписку, давая пройти месяцам, а иногда и годам, прежде чем один или другой сделает неуверенное движение в сторону примирения, язвительно принимаемое вторым партнером, таким образом вновь начиная новый тур этого танца. Но при этом до конца XIX столетия они ни разу не встретились лично.

На этот раз компромисс поддерживался весьма долгое время, и Георге смог достичь своей главной цели. В октябре, когда Георге выздоравливал от болезни, поразившей его после выхода «Альгабала», появился первый номер «Листка за искусство», содержащий отрывки из трех его книг и искусный, легко запоминающийся фрагмент его драмы «Смерть Тициана». Наконец воля Георге вновь возобладала.





Глава одиннадцатая

СОЗДАНИЕ СОЮЗОВ

Первый выпуск «Листка» совершенно не годился в краеугольные камни в деле создания империи. Кроме произведений Георге и Гофманстала, он содержал лишь два стихотворения школьного друга Георге Карла Ружа — это был первый и последний раз, когда его имя появлялось здесь, — и три коротких стихотворения фламандского поэта Поля Жерарди, который одинаково владел немецким и французским языком, а также стихотворение «Познание», подписанное таинственным именем Эдмунда Лорма. Это имя, если вспомнить, представляет собой слегка измененный псевдоним Георге, которым он воспользовался в дармштадтском журнале «Розы и чертополохи». В этот раз Георге обратился к нему, чтобы создать впечатление более крупной группы соавторов, чем это было в действительности. Спустя много лет он вышутил эту необходимую меру, сказав следующее: «Тогда у нас было недостаточно поэтов. Кому-то нужно было раздвоиться, подобно какому-нибудь из низших организмов, чтобы нас стало больше». Итак, пять человек, выдающие себя за шестерых, и лишь двое из них могли бы с полным правом называть себя поэтами — не лучшее начало для нового литературного движения, но тем не менее это — начало.

Более того, одной из самых интересных публикаций в этом выпуске было вовсе не стихотворение, а лаконичное введение, представлявшее собой нечто вроде эстетического манифеста и подписанное единственным словом «Редактор». По всей вероятности, оно было на скорую руку составлено из основных программных положений трех главных участников. Но

этот манифест вполне отражает взгляды, которых придерживался Георге, да и написан текст этого введения в стиле Георге. Самим названием журнал, как торжественно гласил манифест, заявляет о своих намерениях: «Служить искусству, в частности поэзии и литературе, исключая при этом освещение каких-либо политических или социальных вопросов». Чтобы прояснить, что это значит, и подчеркнуть важность этого пункта, «редактор» написал большими буквами, что главным стремлением журнала является продвижение «ДУХОВНОГО ИСКУССТВА», «geistige Kunst», «на основе нового типа восприятия и нового метода — искусства для искусства». Эта последняя фраза, представляющая собой буквальный перевод французского «l'art pour l'art», являлась открытым указанием на идейные истоки журнала. Самым точным было утверждение о том, что «Листок за искусство» находится «в оппозиции к исчерпавшей себя и заурядной школе, основывающейся на ложном понимании реальности». Очевидно, презрение к этой неназванной в статье «школе» было так велико, что она не заслуживала даже упоминания, будто это неисправимым образом запятнано бы позором безупречно чистые страницы, посвященные Искусству.

В неофициальном общении Георге отбрасывал эту чересчур щепетильную манеру выражаться. В августе 1892 года он уже предупредил Малларме о том, что готовит в скором будущем выход журнала, который будет «совершенно свободен от каких бы то ни было связей с натурализмом». Георге знал, что Малларме поймет это замечание как заявление, означающее в той или иной степени «мы — одни из вас». Подобным же образом вводная статья в журнале давала знать каждому, пускай лишь случайно узнавшему о том, что происходит в современной литературе, какую позицию его авторы поддерживают, а какую — нет. И все же те, кто впоследствии вовсе не беспристрастно оценивал достижения Георге и то место, которое занял «Листок» в истории немецкой культуры, подчеркивали, что основание журнала связано именно с его решением бороться против разрушительного влияния этого ложного, нездорового и совершенно нелитературного движения под названием «натурализм». По мотивам, которые были далеко не его собственные, Кляйн с особым удовольствием обращал внимание на несопоставимость чистоты формы поэзии Георге и того, что он высмеял как «псевдопоэзию», какой и является вульгарная и упадочная литература «натуралистов». В их пошлой писанине, заявлял Кляйн, можно прочесть о корове, «которая грезит о прекрасных днях, роясь в навозе», или о том, что «солнце извергает в ночь свои звездные потроха», или о том, что опять-таки солнце, похожее на «гнилой апельсин, шлепнувшись, трескается и источает зловоние», а небо напоминает «волосатого мужлана». Все это весьма интересно. Но этими и подобными им рассуждениями об отвратительных мерзостях «натуралистов» Георге и «Листок за ис-

искусство» не самым возвышенным образом объявили о рождении нового искусства, достойного этого имени. Или, как говорилось во введении к первому выпуску, «мы верим в блестящее возрождение искусства».

Однако часто обходят вниманием тот факт, что ко времени выхода первого выпуска «Листка» натурализм уже проявлял явные признаки неминуемого распада. Еще в 1890 году неутомимый Герман Бар в своем очерке «Кризис натурализма» заявил: «...уже долгое время наблюдаются признаки, предвестники и предостережения того, что литература переживает изменения, в ней наметились новые движения, которые отходят от устаревшего натурализма». В очерке о символизме, написанном спустя два года и включавшем в себя два стихотворения Гофмансталь — это вызвало тогда бурное негодование Кляйна, — Бар еще более решительно утверждал, что «искусство стремится отказаться от натурализма и находится в поиске чего-то нового». Никто не мог тогда сказать, чем может быть это «новое», сам Бар прозорливо предположил, что оно может возникнуть из того движения, какое называют «декадентством», или «символизмом», но в любом случае прогноз для натурализма был отнюдь не обнадеживающим. Однако было бы не справедливо утверждать, что «Листок» участвовал в порке дохлой лошади (этот образ уж точно не оценил бы Кляйн), — журнал определенно резво подхлестывал еле ковылявшую кобылу.

Возможно, по той причине, что новый журнал проповедовал некую отрицательную доктрину, с которой многие уже согласились, но еще не сформулировали внятно позицию журнала, несколько первых выпусков «Листка» или отвергались, или вовсе не замечались. В декабре 1892 года Гофмансталь уныло сообщал Кляйну: «В Вене ничего, кроме неприятностей, у меня не было с тем, как приняли „Листок за искусство“; на самом деле, мы гораздо более одиноки, чем я когда-либо мог предположить». Спустя почти две недели новости по-прежнему были не слишком хорошие, а в некотором смысле — совсем плохие. «Должен сообщить, что успех „Листка за искусство“, в общем скорее, удручает, а меня, в частности, даже ошеломляет. Я едва раздал около пятидесяти экземпляров, — жаловался Гофмансталь, — и от этих пятидесяти людей я слышал лишь обычную формально вежливую похвалу моих собственных произведений, опубликованных в этом выпуске, и недоумение или бестактные насмешки относительно других сочинений (то же Гер Макс Нордау пишет в своей книге «Вырождение»). Таким образом, я могу рассчитывать здесь лишь на четыре или пять всецело сочувствующих читателя».

Разумеется, можно было бы возразить на это — ведь подобная реакция на журнал являлась лишь закономерным результатом, вытекавшим из двойственного, если не сказать шизофренического, отношения «Листка» к своим собственным публикациям. На титульном листе присутствовала

странная фраза о том, что журнал доступен «узкому кругу читателей, приглашенных его членами». И одновременно с этим тут же, под этой странной надписью, значились названия трех книжных лавок в Берлине, Вене и Париже вместе с их адресами, где можно приобрести «отдельные номера» этого издания. Любой мог легко *купить* экземпляр «Листка», но фраза на титульном листе, казалось, подразумевала, что *читать* журнал могут только те, кого пригласили его авторы, что производило впечатление какой-то неблагоприятной бестактности, которую можно сравнить лишь с тем, что некто вскрыл чужую почту. Это неприятное чувство лишь усиливалось резким и заносчивым введением, отставившим право журнала на существование в таких выражениях, что журнал представлялся необходимым чисто прагматически и совершенно непубличным: «Если мы и распространяем этот журнал, то лишь с той целью, чтобы открыть и найти пока не известных нам единомышленников». Следовательно, уже чтение «Листка» являлось весьма тонким делом. Читать этот журнал — значило негласным образом присягать в верности или даже нечто более интимное; не соблюсти хотя бы одно из данных условий означало бесповоротно стать незванным гостем, самозванцем или нарушителем, самовольно вмешивающимся в чужие дела. Неудивительно поэтому, что в Вене Гофмансталю удалось найти менее полдюжины человек, расположенных к «Листку», остальные же со свойственными им закоренелыми буржуазными манерами и чувством собственного достоинства оказывались слишком благовоспитанны, чтобы читать этот журнал.

Тот факт, что такая реакция — а скорее, отсутствие реакции — на «Листок» проистекала из этих причин, по крайней мере отчасти подтверждается сообщениями, которые получил в ноябре 1892 года Георге. Изи Кобленц вспоминала, что в одной из их бесед, имевших место той зимой, поэт говорил: «Сегодня я получил весьма странное письмо от молодого человека из Дармштадта по имени Карл Вольфскель». От своего сокурсника этот молодой человек — ему было двадцать три года в отличие от Георге, которому исполнилось двадцать четыре, — узнал о «Листке» и одолжил почитать. «Я должен просить у вас прощения, — признался новый почитатель поэта, — за то, что заглянул на эти страницы, предназначенные для дружеских глаз и родственных душ, и за то, что был одурманен цветами и великолепными сокровищами, которые вовсе не мне были уготованы. В свою защиту могу сказать только то, что я с уважением и пониманием, а также с самым искренним пылом приветствую этот скачок в истории искусства и что поэзия, каковую он в частности затрагивает, воспламеняет мою страсть». Он также смиренно просил позволения сохранить экземпляр «Листка» у себя. Георге, на что несомненно и рассчитывал Вольфскель, был совершенно очарован и вряд ли мог отказать в такой скромной просьбе. «Вы не должны просить прощения за свое искреннее письмо, — вели-

кодушно ответил Георге, — и еще меньше вы должны чувствовать себя виноватым в том, что некто дал вам мои работы и они доставили вам удовольствие. Я счастлив встретить каждого читателя. Не могу возражать, если вы сделаете копии, отчасти потому, что мои книги доступны теперь в „Прессе для искусства“».

Несмотря на то что они встретились лично только через год, эта короткая, скорее, натянутая переписка послужила основой долголетней дружбы, самой продолжительной в жизни Георге, закончившейся лишь с его смертью в 1933 году. Насчитывавшие сорок лет отношения Георге и Вольфскеля были совершенно нерушимы, если за все это время им что-нибудь и угрожало, — и по длительности, и по прочности эта дружба не имела себе равных среди иных отношений Георге. Их необыкновенно крепкая дружба была немало обязана преданности Вольфскеля Георге, той верности, которую можно назвать фанатичной, — она была не только безусловной, но также иррациональной, неистовой и непоколебимой. Друг Вольфскеля еще с университетских времен по имени Георг Эдуард, в начале 1890-х годов эмигрировавший в Чикаго, в 1911 году ненадолго вернулся в Германию и, встретившись с Вольфскелем, нашел, что тот почти не изменился. «Лишь одно показалось мне странным в нем, — вспоминал Эдуард, — а именно его реакция на мои слова, что значительное число его стихотворений нравится мне гораздо больше, чем стихотворения Стефана Георге. Он тут же вскочил со стула, стал огромными шагами ходить из одного угла комнаты в другой и заявил, что мое „суждение равноценно осквернению храма“, что его собственные произведения не достойны того, чтобы их сравнивали со стихами Учителя, что в целом мире нет ни одного человека, ни одного поэта, ни одного творца, кто мог хотя бы приблизиться к нему, к нему, кто как „символ величия человеческого духа не принадлежит ни определенному времени, ни отдельной стране или культуре и появляется лишь раз за несколько веков“». В то время, незадолго до начала Первой мировой войны, такое отношение к Георге ни в коей мере не являлось уникальным, оно было вполне распространено и внутри «круга», и за его пределами. Но ни Вольфскель никогда не менял свое мнение, ни Георге никогда не видел причин для того, чтобы отстраниться от своего «надежного лейтенанта».

Почти шесть футов ростом, носивший жесткую темно-рыжую бороду и настолько безнадежно близорукий, что почти слепой на один глаз, Вольфскель производил внушительное, почти неестественное впечатление. Учитывая тот взрыв эмоций, о котором сообщает Георг Эдуард, он был страстным библиофилом с живым умом, захваченным разнообразными тайными знаниями, и едким острословом; его проза отличалась таким образным и напыщенным, извивистым и иносказательным слогом, что иногда ее невозможно было понять, при этом она основывалась на его

твердых мистических воззрениях. Вольфскель родился в 1869 году в Дармштадте, то есть был всего на год моложе Георге, но их, казалось, разделял целый мир. Вольфскели были одной из старинных еврейских семей Германии, историю которой можно проследить до 870 года, когда их предок Мозес бен Калонимус Старый, живший в тосканском город Лукка, ввез в Европу Каббалу. Фамилия Вольфскель впервые упоминается в начале XVII века, но богатой и влиятельной семья стала лишь в первой половине XIX века, когда был основан банк «Хейюм Вольфскель и сыновья».

К тому времени, когда в семье появился Карл, имя Вольфскелей было одним из самых авторитетных и уважаемых не только в Дармштадте, но также по всему Гессену и даже за его пределами. Его отец Отто возглавлял банк, учрежденный дедом, пока в 1881 году тот не слился с более крупной фирмой; но тогда имя Отто Вольфскеля получило наибольшую известность благодаря политической деятельности — с 1875 года до своей смерти в 1907 году он занимал должность члена городского совета от Национально-либеральной партии, где являлся также главой финансового комитета. До своей смерти он успел основать еще один банк — Гессенский Ипотечный, — оснащенный современными и инновационными практиками бухгалтерской отчетности.

Благодаря преимуществам, проистекавшим из членства отца в партии, и собственному колоссальному интеллекту Карл Вольфскель стал не только искренним другом и надежным союзником, как, собственно, и не забывающим обид недругом для своих врагов, но также желанным и необходимым источником материальных средств. Издание «Листка» обходилось не в слишком большие деньги, тем не менее эта сумма была ощутимой для Георге, особенно потому, что из-за холодного приема журнала, было неизвестно, сможет ли он продержаться на плаву. Даже Гофмансталь выражал недоумение по поводу этих неопровержимых фактов. «Финансовая сторона нашего предприятия совершенно непостижима для меня, — писал он в октябре 1892 года Кляйну, — что мог бы я сделать для того, чтобы поддержать журнал?» Гофмансталь с присущей ему тактичностью — а возможно, кто-то упрекнет его в пассивности — воздерживался от того, чтобы выйти за рамки приличий и напрямую предлагать деньги. Если его иносказательные предложения пропускались мимо ушей, он в качестве альтернативы начинал интересоваться, не следует ли ему подыскать новых подписчиков — при том условии, конечно, что эти подписчики будут «сведущими», — или привлечь покупателей отдельных номеров журнала. Но ему требовалось больше информации: «Пожалуйста, сориентируйте меня». Кляйн, как водится, послал Гофманстально натянутый ответ: «Я уже уведомил вас о том, что стоимость полугодовой подписки с этих пор и в дальнейшем — три марки». Вольфскель придерживался более прямого подхода в этих вопросах. Так, в ноябре 1895 года он послал Георге письмо, где

спрашивал: «Могу ли я предложить вам вклад в размере пятидесяти марок ежемесячно в течение этого и двух последующих месяцев с учетом будущих издержек на „Листок“?» Это была внушительная денежная сумма, в пятьдесят раз превосходившая стоимость полугодовой подписки, установленную Кляйном изначально. Вольфскель знал, что Георге никогда бы ее не принял.





Глава двенадцатая

СТАНОВЯСЬ НЕМЦЕМ

Среди всех этих неприятностей, кризисов и утомительных недоразумений Георге никогда не упускал из виду свою главную цель. Он постоянно искал новых авторов для журнала — возможно, он предчувствовал потерю Гофманстала еще до того, как произошел их открытый разрыв, который сделал пополнение авторских рядов безотлагательным, — искал, непрерывно путешествуя между Берлином, Парижем, Мюнхеном, Дармштадтом и Бингеном, и предусмотрительно отправляя экземпляры «Листка» известным и влиятельным писателям во всей остальной Европе. Великий бельгийский символист, Морис Метерлинк, например, был весьма благодарен за то, что Георге послал ему томик с переводами, заявив: «Никогда не думал, что такие переводы возможны». Аналогичным образом, скандальный итальянский поэт Габриэль д'Аннунцио, три стихотворения которого Георге перевел для третьего выпуска «Листка» в марте, отправил свои «Римские Элегии» в знак признательности, надписав на них посвящение, где сентиментально назвал Георге «самым избирательным творцом, дорогим братом». Но это были отдельные голоса, а вовсе не то шумное признание, которого, как неоднократно повторял Георге, он не хотел, хотя без устали стремился добиться. Его целеустремленное упорство, неослабевающая решительность перед лицом невзгод — иное проявление неспясаемой воли, — было качеством, которое весьма пригодится ему в грядущие годы, когда гораздо большие трудности будут угрожать разрушением всего, чего он с трудом достиг. С такого рода опасностями он еще не стал-

квивался весной и летом 1893 года, но, казалось, были все основания чувствовать себя обескураженным.

Возможно, какое-то родственное чувство — если не чувство поражения, то по крайней мере чувство постоянной неудовлетворенности — начало влиять на изменение представления двадцатичетырехлетнего Георге о себе как поэте. До этого момента немного отличало его, на первый взгляд, от прогрессивного парижского символиста — за исключением того, что он писал на немецком. Поэтические цели, политические убеждения — или то, что за них принималось, — социальные претензии, культурные наклонности, манера одеваться, даже сексуальные склонности — весь этот ансамбль, возможно, был импортирован им с левого берега Рейна. Конечно, учитывая его семейные традиции и религиозное воспитание, это несдержанное увлечение французами казалось вполне естественным, даже инстинктивным. Кроме того, и по тем же самым причинам, в родной стране на него фактически смотрели как на чужестранца, тогда как французские друзья реагировали на его полную адаптацию к ним дружелюбно, считая его одним из них самих.

Поэтому Георге полагал, что мог рассчитывать на сочувствие и, возможно, даже на небольшое утешение, когда в январе 1893 года, в разгар зимы, он написал Сен-Полю из Бингена, жалуясь, что чувствует себя словно «изгнанник в этой тоскливой стране». Как часто случалось во время холодного темного сезона, гнетущий мрак опустился на Георге. Увеличенное вялотекущей болезнью после публикации «Альгабала» и явной неудачей «Листка», его отчаяние выросло до такой степени, что он снова вернулся к идее уехать из Германии навсегда. Но теперь, когда Георге вступил на путь поэта и жил в мире, полностью состоявшем из слов, покинуть страну означало бы также утратить то, что ему удалось поставить под свой контроль: язык и особенно немецкий язык. Во весь рост вставал вопрос о том, мог ли он сделать то же самое с французским языком. В то же самое письмо Сен-Полю, хотя и не раскрывая в полной мере свои замыслы, Георге вложил стихотворение, которое составил на французском, и спросил: «Что вы на самом деле, честно, думаете об этих стихах? Германия начинает внушать мне отвращение».

Сен-Поль отважно поймал Георге на слове и откровенно, хотя все же мягко, высказал свое честное мнение. Стихотворение было не плохим, но требовало еще немало потрудиться. «Все можно привести в порядок, — заверил он Георге, — не хочу обескураживать вас — напротив, попытайтесь еще раз, и тогда мы посмотрим при встрече». Сен-Поль не намеревался быть покровителем и, вероятно, не подозревал, сколь многое основывалось на его оценке. Но для Георге такой диагноз представлял собой полное осуждение, заявление о полнейшем провале. Его французский был весьма хорош, фактически как родной язык, но написание стихов требовало бессо-

знательного владения языком, глубокого, почти пред-лингвистического его ощущения, чем он просто не располагал. Чтобы не рисковать дальнейшими унижениями и, возможно, полным крахом, Георге реалистично вывел неизбежные последствия и развернулся в обратном направлении. По крайней мере, теперь ему было ясно, какой путь избрать, даже если он будет ненадежным и тяжелым. «Дух зимы, который всегда вдохновляет на что-то дикое и грандиозное, привел меня к французской поэзии, — признавался он почти откровенно Гофмансталу в апреле 1893 года, умалчивая о роли Сен-Поля. — Теперь этот план отложен, и я желаю отправиться домой на золотой ладье».

Тяжелое решение связать себя полностью с Германией, по крайней мере с немецким языком, на самом деле принималось гораздо дольше, чем убийственный обмен мнениями с Сен-Подем мог предполагать. Во втором выпуске «Листка» за декабрь 1892 года Клейн опубликовал очерк, названный «О Стефане Георге, Новое Искусство». Это была не столько попытка объяснить это «новое искусство», сколько намерение отразить любое подозрение в возможности его быть таким «новым» или таким оригинальным, каким Клейн отчаянно хотел, чтобы оно было. Выражая благодарность за самоотверженные усилия Сен-Поля пропагандировать поэзию Георге посредством ее переводов и благосклонных заметок о ней в ежемесячном литературном обозрении «L'Ermitage», Клейн на самом деле рассматривал проблему в общем русле оценок француза. «Он связывает все явления с подобными феноменами в своей собственной стране, — злился Клейн, — и называет Стефана Георге потомком Бодлера, Верлена и Малларме». Это было невыносимое представление для Клейна — невозможно, чтобы его «великий герой» мог каким-то образом быть производным, зависимым или слабым. Поэтому Клейн предложил альтернативное объяснение, намного более благоприятное для его собственных взглядов и более приемлемое для него в эмоциональном плане. «Какой-то краткий период юношеское увлечение было эффективным, — сделал он предположение, — но следует вести речь скорее о встрече умов на одном и том же пути, чем о следовании одного за другим».

Это была, конечно же, явная бессмыслица: Георге на самом деле был обязан всем трем из упомянутых Сен-Подем по именам поэтам и знал это, даже если Клейн считал эту идею невыносимой. Сам Клейн, возможно, чувствовал себя немного неловко, выдвинув такое смелое и откровенно неточное утверждение, и стремился предоставить своему заявлению некую ретроспективную легитимность, написав, как будто случайно, что, «оригинальные источники „Новой Поэзии“ — поскольку почти все ее представители совершают отчетливое смещение в сторону территории Германии — лежат в Германии, в немецком романтизме». Логика не работает, даже если мотив очевиден: Клейн хотел, чтобы Георге оставался свободным от

любого влияния французских авторов; но если с целью аргументации и требовалось принять гипотезу, что он был под их влиянием, то его родословная все равно была немецкой, а не французской. Клейн также оставлял открытым вопрос, означало ли это, что Георге следовало рассматривать как немецкого поэта-романтика. В любом случае очерк заканчивается выводом: «Мы также имеем представителей нового искусства и не должны полагаться на другие страны». Устранив всех иностранных соперников, Клейн должен был соответствующим образом идентифицировать прославленную плеяду родных талантов, рядом с которыми — но не позади — можно поместить своего «Учителя»: «Композитор Рихард Вагнер, оратор Фридрих Ницше, живописец Арнольд Бёклин и график Макс Клингер. И присоединившийся к ним поэт». Это была действительно хорошая компания, и хотя не каждый выбор имел прямой смысл, более всего поражало то, что список нарочно исключал других поэтов — и ограничивался только немцами.

Краткий очерк Клейна давал, таким образом, начало решительным усилиям превратить дело Георге в однозначно немецкое предприятие. Это было начинание, осуществляемое многими последователями и учениками Георге, большинство из которых будет гораздо более утонченными, гораздо более находчивыми — а некоторые гораздо менее мягкими в своих намерениях, — чем когда-либо был Клейн. Мотивации для этой все более и более шовинистической кампании были сложными и разнообразными, и с течением времени внелитературные предпосылки исповедуемой Георге немецкости станут более очевидными и явными, но также и более тревожными. Однако здесь, при своем первом проявлении, она в большей мере была связана с сильным желанием Георге обособиться, поставить себя выше любого, кого он рассматривал в качестве конкурента. Только позже — крикливо подстрекаемый своими последователями — он перенес эту частную психологическую потребность в более широкие идеологические рамки.

Однако то, что он разделял представления, выраженные в очерке Клейна, и, возможно, был их реальным источником, становится ясным из его обмена мнениями со Стюартом Меррилем. Американец, то есть иностранец, писавший на французском, он в отличие от Георге действительно сумел научиться писать весьма приличные стихи на неродном для него наречии. В феврале 1893 года Мерриль писал из Парижа: «Люди здесь слишком часто говорят, что вы черпаете вдохновение у Бодлера или Верлена. И все же, в „Паломничествах“, я отметил частицы чисто германского символизма». Совершенно независимо от обоснованности его анализа — едва ли можно было найти доказательства специфически «германского символизма» в «Паломничествах» — письмо Мерриля явно пришло в подходящий момент. Более того, Мерриль также великодушно предложил пись-

менно зафиксировать свою признательность Георге, более подробно раскрыв эти и родственные вопросы. Ответ Георге необычен своей неискренностью и многословием, особенно в письме незнакомцу, из чего можно сделать вывод, что Георге был заинтересован этой темой:

Я был бы рад, если бы вы посвятили мне несколько строк в рецензии и устранили некоторые ошибки относительно меня. Ошибки, которые легко понять. Французы, рассуждающие обо мне, имеют неточное представление о нашей литературе, а немцы знают совсем немного о новой литературе во Франции. Ранее каждый называл все, что не понимал, «декадентским», теперь говорят о «символизме», а завтра будет что-то еще... Сходным образом, они называли меня обычно учеником Бодлера, сегодня я — ученик Верлена, а завтра буду учеником Малларме! Мелкое невежество, которое меня развлекает. Но если серьезно, то чем я заслужил титул «не немца», так это редко используемой орфографией (которая является, однако, орфографией братьев Гримм, самых больших немцев и самых великих ученых). Если бы я признал влияние французов на мою деятельность, это было бы влияние самого неопределенного и самого широкого рода: общее правило — в поэзии нужно достигать самой большой красоты, чистоты, величественности. Так или иначе, в «Гимнах», в простых «уличных» сценах, я не вижу ничего иностранного, напротив, там царствует сентиментализм, который возможен только в Германии. В «Паломничествах» вы нашли саму душу Германии. Совершенно верно, так как вся книга задумана как готическая структура. И наконец «Альгabal», я очень старался найти в нем след Бодлера. Нет, если требуется во что бы то ни стало вернуться к влияниям, то следовало бы вспомнить о роковой роскоши Королевских Дворцов, о самом декадентском короле, замаскированном под римского императора, каким его изображают Геродиан, Зонара. Бодлер: но где?

Трудно понять, что именно следует из этого самоописания. Нелегко обвинить Георге в откровенной лжи. Но альтернатива, не менее непривлекательная, заключалась в обвинении его, в сущности, в ошибочном понимании собственной поэзии. Более снисходительная оценка, хотя все еще без сомнительных аспектов, могла быть основана на предположении, что Георге, чувствуя, что французские коллеги его недооценивают и относятся с пренебрежением, а дома его полностью обходят вниманием, видел в вопросах Мерриля возможность попасть в две цели сразу. Аннулируя любое открытое или специфически французское влияние в своих произведениях, и таким образом дистанцируясь от своих учителей и друзей, Георге мог вообразить, что наказывал их за отказ предоставить ему то, что, как он считал, следовало предоставить. Кроме того, в связи с этим актом возмездия за блага, которые, как он считал, ему обязаны предоставить, но в которых ему было отказано, он мог бы так или иначе оказаться в состоянии занять достойное место в своей родной культуре, что было, возможно,

единственным путем, ему доступным. То, что Георге был южанином и католиком, служило главными поводами для нападков на него; восприятие же его как француза или как «не немца» могло вообще навсегда вывести его из игры. Республика Ученых была экуменическим государством, но в ней еще оставались национальные регионы. Если Георге был намерен утвердиться в качестве поэта, то должен был сделать выбор. Фактически, выбор был уже сделан: он знал — возможно, даже раньше, чем Сен-Поль сказал ему об этом, — что никогда не сможет утвердиться как писатель во Франции. Теперь была либо Германия, либо ничего.





Глава тринадцатая

ГРУППА СФОРМИРОВАНА

Решение Георге связать свою судьбу с Германией, отбросить донкихотское представление о поиске счастья, поэтического или какого-то иного, на чужеземных берегах, оказалось чревато противоречиями и даже пропитано иронией. Всю сознательную жизнь он пытался избежать объятий родины — либо посредством действительного физического бегства, планов постоянной эмиграции, либо, в более позднее время, посредством непрерывных странствий. Желание сбежать наиболее красноречиво проявлялось в его концепции поэзии как реализации суррогатной и высшей реальности, как создания особого царства, в котором поэт пользуется бесспорным превосходством. Даже юношеские попытки соорудить личный язык были в немалой степени выражением его всепоглощающего желания удалиться из сферы досягаемости враждебных внешних сил, которые в своем коллективном облике почти всегда принимали имя Пруссии, а позже самой Германии. Проведя большую часть юности и всей своей взрослой жизни в попытках безмолвно и высокомерно повернуться спиной к собственной стране — стране, которая, кроме того, до сих пор казалась возвращающей свою счастливую судьбу, — он оказывался теперь готовым принять роль блудного сына.

Различие было в том, что здесь, как и во всем остальном, Георге совершал возвращение на свой собственный путь и на своих собственных условиях. То, что он не мог быть французским поэтом во Франции, не отвергало возможности проповедовать то же самое евангелие невежественным

братьям у себя дома. Кажется, Георге отрицал своих французских учителей лишь по имени, но в том, что касается духа, — все еще был частью паствы. Поэтому он говорил теперь на родном наречии, но слова были переводом, интерпретацией оригинального французского текста, для тех кто неспособен был иным образом постичь его послание. Его новообретенная приверженность Германии была похожа не столько на сердечные объятия, сколько на осторожную попытку удерживать и ее и своих соотечественников на расстоянии вытянутой руки. Георге посвятил бы себя Германии, но, самое большое, тем способом, каким учитель посвящает себя ученикам или священник своей конгрегации: он не просил, чтобы его приняли, но просил, чтобы его внимательно слушали. «Сколько времени это занимает, — все еще стонал он несколько лет спустя, в 1896 году, — и насколько трудно научить немцев хотя бы небольшому вкусу». Все, в чем Георге нуждался, — это кафедра проповедника и то место, где ее установить.

Но не было никакого Парижа в Германии, никакого единственного центра интеллектуального и культурного брожения, никакого города, где собирались бы все умные и честлюбивые молодые авторы и художники, не было ничего, чтобы можно было сформировать критическую массу. Берлин он терпеть не мог и часто посещал в чисто утилитарных целях; Вена была не на пути и запятнана слишком многими болезненными ассоциациями. Лучший и возможно единственный жизнеспособный вариант состоял в том, чтобы выбрать какое-то другое место, которое соответствовало бы как можно большему числу его потребностей — и было бы как можно дальше от Пруссии, — и создать там то, чего еще не существовало. Уже в феврале 1893 года Гофмансталь ответил на письмо Клейна из Берлина, явно намекавшего на такой план. «Сокровенное намерение перебраться в южный немецкий артистический центр кажется мне прекрасным», — писал Гофмансталь, чье благосклонное одобрение идеи несомненно значительно увеличилось от того, что предполагаемое передвижение планировалось в направлении к Германии, а не к Австрии. В октябре того же 1893 года, в начале зимнего семестра, Георге начал свой последний семестр как студент университета — он так и не получит степень — и свой первый более долгий период проживания в Мюнхене, баварской столице.

«Здесь жизнь совершенно приемлема», — писал Георге позже из Мюнхена одному из своих соратников, — ибо здесь еще есть дух, то, что совершенно изгнано с небес Берлина». Он часто противопоставлял два этих города, но всегда в ущерб имперской столице. Не все были убеждены, что Мюнхен действительно предпочтительнее, и некоторые давали ему прозвище «Город Пива», имея в виду его ощущаемый провинциализм и сонный темп жизни, а также известную склонность его жителей к этому напитку. «Почему Вы начинаете [свое письмо] критикой пивного горо-

да? — выговаривал он тому же самому корреспонденту четыре года спустя. — Я не вижу ничего подобного. Мюнхен — единственный город на земле без буржуа, и здесь есть только *Volk* и молодежь. Никто не говорит, что они всегда приятны, но они в тысячу раз лучше, чем эта берлинская мешанина мелочных евреев, бюрократов и шлюх!» Это последнее осуждение раскрывает по крайней мере одно качество, которое Мюнхен разделял с Берлином, — заразную и ядовитую атмосферу антисемитизма, распространяемую не только невежественными пьющими пиво мужланами, но также и утонченными, весьма эксцентричными визионерами, такими как Альфред Швилер и Людвиг Клагес, с обоими из которых Георге встретился в Мюнхене в последние месяцы 1893 года и которые оставались близки к нему в течение следующих десяти лет.

Клагес, родившийся в 1872 году в северном немецком городе Ганновере, учился в Мюнхене и жил в том же самом пансионе на Гессштрассе, в котором Георге снимал комнату. Высокий, худощавый, светловолосый молодой человек, он, должно быть, вскоре попался на глаза Георге, который представился ему — все еще произнося свою фамилию на французский манер — однажды вечером за обедом. Со своей стороны, Клагес описал Георге: «Костистое лицо с сильной нижней челюстью, выступающий подбородок, грубые скулы, несколько выступающий нос, широкий, плоский, убегающий лоб с глубокими бороздами „тревожных морщин“ — эту последнюю черту Георге описывал Клагесу как „наше семейное наследие“, — сильно развитые надбровные дуги, вялые щеки, бледный цвет лица, потухший взор и огромная копна волос». К вопросу Клагеса о том, чем он зарабатывает на жизнь, Георге по-королевски ответил, что был «un poete maudit». Даже при том, что с самого начала Клагес был ошеломлен этим претенциозным появлением, Георге настойчиво навещал его в комнате и снабдил экземплярами трех своих стихотворных сборников, каждый с соответствующим торжественным посвящением. «Прочитав их в первый раз, я не понял и пятой части», — признавался он другу в январе 1894 года. Но убедив Клагеса самого прочесть вслух свои стихи, Георге с бурным энтузиазмом принудил его согласиться издать эти стихи в «Листке».

Примерно в то же самое время друг Клагеса Альфред Шулер, который уже где-то слышал о Георге, попросил на время книги поэта у Клагеса. К удивлению последнего, Шулер думал, что открыл в Георге не поэта, но провозглашение родственных намерений, особенно в «Альгабале». Будучи на три года старше Георге, сам Шулер имел физическую внешность, которая была диаметрально противоположной, но не менее впечатляющей, чем внешность Георге. Короткого роста, пухлый, с бросающимся в глаза выступающим животом, он имел круглое безбородое лицо, большие, выпуклые, немного водянистые голубые глаза, коротко остриженные волосы и даже зачатки двойного подбородка. Его вихляющая

походка и изысканный стиль в одежде напоминали одним французского аббата XVIII столетия, другим — буддиста в миру, а третьим — католического монаха. Его всегда можно было видеть носившим черную или темно-синюю одежду, застегнутую на целый ряд пуговиц до самого горла и дополняемую в дождливые дни похожим на робу одеянием, венчаемым острым капюшоном.

Не только внешность Шулера была своеобразной, причудливыми были и его идеи. Вечный студент, изучавший право, историю и древнюю археологию, он обладал огромными, хотя и путанными познаниями о позднем периоде истории Рима и об эллинистической и византийской палеографии; он был также знатоком орнаментальной символики, ритуалов и форм литургии. Но он не был ученым. На самом деле он был вызывающе антиинтеллектуален, отказывался принимать участие в любых научных мероприятиях, таких как раскопки, музеологические и другие серьезные исследования. Шулер считал, что воспринимает мир с точки зрения римлянина времен Нерона, ибо в предшествующем существовании жил во времена правления Цезарей. Все принимало для него видимость живой римской действительности. Обветшалые каменные цистерны, старые ворота и выброшенная медная посуда — все вызывало у Шулера пылкий восторг, воспламенявшийся вызывающим воспоминания жаром. Кто-то, хорошо его знавший, сказал, что «он был неспособен даже питаться пищей явно современного происхождения, такой как баварские клецки или колбаса из телятины, не рассматривая сразу же эту пищу в ее пресуществленной форме, как если бы она ему была подана на римском пире».

Великими современными героями для Шулера были Ницше и швейцарский историк Иоганн Якоб Бахофен, «Матриархат» («Mittlerecht», 1861) которого представлял собой главный источник его вдохновения. Шулер мог отрицать, что у него была теория, или метод, но если можно было сформулировать технику, с помощью которой вызывались в воображении времена Нерона, то следующим образом: огонь жизни горел наиболее ярко у древних языческих народов (в значительной степени он подавлен христианством и затем полностью погашен более поздней Реформацией), в его же собственные дни только те люди способны воспламениться огнем жизни, у которых от древних язычников еще теплилось то, что Шулер называл «светом крови» (*Blutleuchte*). Презирая точные, методические исследования профессиональных историков и археологов, отвергаемых им как слепых и утомительных педантов, Шулер считал себя неким оракулом или медиумом, который мог предоставить прямой доступ к далеким временам и странам посредством своего собственного опыта. Он рассматривал древние культовые объекты, статуи, фибулы, лампы и инструменты как ключи к миру, из которого они пришли, настаивая, что его архаичные откровения являются неискаженной истиной — более достовер-

ной, более ярко переживаемой, нежели скудное книжное знание профессоров университета. На самом деле Шулер ездил в Рим только однажды, и всего на несколько дней. Но он вернулся к утверждению, что на основании наследственной памяти крови мысленно реконструировал с уверенностью ясновидца все строения и храмы самых старых частей Рима — в одном таком воссозданном храме, по его замечанию, получил даже наставления от Пана.

Откровенно мистические, антирациональные, даже психотические склонности ума Шулера были весьма тревожными. Но его ненависть к разуму, современности, и особенно к христианству, питалась другими отравленными мотивами, которые делали эти заблуждения относительно безвредными. Шулер был тем, кого можно назвать стихийным антисемитом. Любой, кого он считал ответственным за историческое затемнение «языческих огней», зарабатывал у него эпитет «еврей». Лютер, считал Шулер, явно состоял в союзе с врагами жизни, так как яростно запрещал все, что выжило внутри христианской церкви с языческих времен, например культ Девы Марии. Вообще говоря, монах-августинец нес вину за то, что с самого начала вызвал пагубное отчуждение в немецком народе, когда расколол христианскую церковь и таким образом всю нацию на две части. Из-за этих воображаемых нападков на «жизненную субстанцию» Шулер всегда упорно упоминал Лютера как «еврея». Другие, навлекавшие его ярость по родственным причинам, личности, такие как Карл Великий и даже Бисмарк, также соответствовали этому отличительному признаку. Это был всеобъемлющий ругательный термин, применимый также и к тем, кто находился в непосредственной близости. «Клагес приехал из Ганновера, — сказал он однажды, — а финикийцы добирались до Ганновера, поэтому Клагес — также еврей». Но очевидная нелепость, даже невменяемость, таких неразборчивых разоблачений не должна вводить в заблуждение относительно их вреда, не должна затенять тот факт, что их серьезно воспринимали его многочисленные поклонники. Это не единственное, что связывало его с более поздними событиями; но, разумеется, не был лишен значения тот факт, что именно Шулер заслуживал доверия — или порицания — и что именно он раскопал древний символ, который долгое время дремал в пыльных томах, символ, который он помог популяризировать. Именно Шулер в 1890-х годах возродил декоративный мотив, который часто можно встретить на греческих вазах и в римских мозаиках и которым однажды он хотел даже заменить свое собственное имя, — свастику, или «крючковатый крест», как его называют по-немецки.

Учитывая, что Шулер питал страсть к Нерону, не стоит удивляться, что его заинтересовал «Альгabal». Но здесь также было подводное течение, хотя и не менее грязное. Один из его знакомых характеризовал Шу-

лера как «самый ясный тип гермафродита, обладающего двойственной природой», которого он когда-либо знал. В этом случае, как и в других, мы видим, что слово «гермафродит» было просто общепринятым эвфемизмом для того, что иными словами называли «сексуальным извращением», или «уранизмом». Презрение Шулера к условностям морали было объяснимо, продолжал тот же самый человек, «его гомозротизмом, который был женским и примитивным, находившим восхищение только в мужской силе, в молодых солдатах и моряках, боксерах и борцах, рабочих с развитыми мускулами в комбинезонах и в мальчиках с фермы в кожаных штанах». Кто-то еще упомянул о Шулере, не только в шутку, как о «наполовину Нероне, а наполовину женщине». И все же, хотя его личные наклонности тяготели только к одному направлению, на интеллектуальном уровне он был загипнотизирован всеми формами человеческой сексуальности. Если для Шулера все сияло символической значимостью, то специфическим содержанием символа чаще всего была именно сексуальность. Он мог читать лекции о значении девственной плевы, которую рассматривал как воплощение воли к страданию и смерти, связанное со всем чувственным удовольствием; или он мог растекаться лирикой о символической ценности матки. Фактически, он был убежден, что большая часть древней культуры отражала формы фаллоса и вагины, приводя в свидетельство Цирк Максимус в Риме, эллиптическая форма которого, полагал он, повторяла контуры женских гениталий, тогда как два вертикальных, перпендикулярных метиза на обоих концах, вокруг которых проезжали колесницы, представляли мужские гениталии. Другие бесчисленные примеры доказывали Шулеру, что древний мир был переполнен эротической энергией, воплощенной в мифах, религиях, и экспонатах, однако впоследствии она была подавлена и уничтожена «еврейским христианством». Опять же Шулер относился к этим предметам с предельной серьезностью — сообщается, что лишь с большим трудом он смог сдержать свою разъяренную агрессию, когда один гость позволил себе едкую остроту о фаллическом символе в его обширной частной коллекции.

Многие люди в Мюнхене, которые знали об этом странном создании и внимательно выслушивали его излияния, смотрели на него как на увлекательную, но в основном безвредную «натуру», воплощавшую смесь шарлатана и гения, шута и мечтателя, в то время как другие не без оснований думали, что он был просто безумен. Несколько лет спустя, сам Георг утверждал, что встретил Шулера благодаря психиатру, который изучал его как «лунатика». Нет никаких подтверждений, удостоверяющих, что Шулер когда-либо искал или получал такого рода лечение, хотя это кажется вполне вероятным. Верно это или нет, однако сообщение Георга на самом деле показывает последовательное желание отделиться от того, кто играл существенную роль в его жизни в течение более десятилетия и вместе

с Клагесом формировал его самые тесные связи с баварской столицей. Как это ни парадоксально, но формирование ядра мюнхенского круга было завершено не кем иным, как Карлом Вольфскелем, и частично именно из-за присутствия этого непримиримого — и подлинного — еврея в их среде и произошел окончательный разрыв Георге с Клагесом и Шулером десятилетие спустя в 1904 году.

Вредные теории о евреях были, конечно, не оригинальными у Клагеса или Шулера, но отражали более широкие движения, формирующие остальную часть немецкого и европейского общества. С тех пор как случился ужасный коллапс франкфуртского фондового рынка в 1873 году, многие немцы, которые потеряли свои состояния или рабочие места или которые просто видели в этом новую причину для большего количества давнишних бедствий, искали ответ, чтобы объяснить, что же произошло, и находили вместо него «козла отпущения». Естественно, неприязнь к евреям, родившаяся безобразной смесью подозрительности, невежества, зависти и злости, не была чем-то новым и в XIX столетии, и при этом она является чем-то характерным для одной только Германии. Но слово «антисемитизм» не существовало до 1879 года, оно было изобретено — возможно, не вполне случайно — немцами. В последующие годы в Германии и Австрии выросло несколько политических партий, поддерживающих антисемитские платформы, и появились сотни книг и статей с такими неаппетитными заглавиями, как «Победа иудаизма над германской культурой» Вильгельма Марра, или «„Еврейский вопрос“ как расовый, моральный и культурный вопрос», изданный в 1881 году печально известным Евгением Дюрингом.

Профессор Берлинского университета Дюринг стал известным благодаря дискуссии, разразившейся после публикации его книги и серии полемических выпадов, которыми он обменялся с Фридрихом Энгельсом, возражавшим против его изображения «еврейских особенностей» как укорененных в биологии, то есть как расово и генетически установленных и поэтому неизменных. Именно вследствие неизменной природы евреев, предполагал Дюринг, единственный способ решения «еврейского вопроса» состоял в том, чтобы евреев изгнать. Другие светила в университете также высказывали подобные мнения, тем самым предоставляя им блеск интеллектуальной респектабельности. Самым известным среди них был, возможно, националистически настроенный историк Генрих фон Трейчке, который в 1890-х изобрел незабвенную фразу, повторяемую миллионы раз до 1945 года, что «евреи — это наше несчастье».

С некоторыми тонкими различиями, происходящими от их личной одержимости, заявления Шулера и Клагеса о евреях в основном соответствовали этому удручающе знакомому образцу. Вероятно, чтобы не быть вынужденным произносить отвратительные звуки слишком часто, Шулер

даже разработал альтернативу слову «еврей», предпочитая говорить вместо него «молохит», образуя это слово по имени ветхозаветного бога аммонитов и финикийцев, которому, как известно, приносили в жертву детей. Клагес, который из этих двоих обладал более аналитическим и рассудительным характером, нашел время разъяснить свои воззрения, что «критический и интеллектуальный принцип, который скрывает растущее бесплодие души и обнищание инстинктов и который на самом деле является паразитом и злокачественной опухолью на древе жизни, — это и есть принцип, который точнее всего обозначается такими словами, как иудаизм, семитизм, иеговизм, и чьим историческим носителем является „еврейский народ“». Далее в том же духе. Достаточно сказать, что здесь, в словах ненависти Клагеса, облаченных в наряды разумной аргументации, мы имеем все важнейшие элементы доктрины, которая лишь несколько десятилетий спустя обретет ужасную действительность.

Собственная позиция Георге по отношению к евреям была неоднозначной и расплывчатой, гораздо менее враждебной и однообразной, чем позиция Клагеса или Шулера, но также не свободной от неприязни. Верно — хотя это классическая и не очень убедительная форма оправдания всех видов предубеждения и фанатизма, — что многие из самых близких друзей Георге и партнеров были евреями. Также верно, что нет никаких свидетельств того, чтобы он поддерживал омерзительные убеждения Клагеса или Шулера. Но что-то, должно быть, заставило друга Гофманстала Леопольда фон Андриана, встретившего Георге в Мюнхене в феврале 1894 года — во время первого благоприятного этапа отношений Георге с Клагесом и Шулером, — отметить в своем дневнике: Георге был «полным доктринером в искусстве, что я ненавидел, антиреалистом, антисемитом». Позднее Георге заботился о том, чтобы смягчить свой язык, создавая впечатление более толерантной позиции. Когда один из его менее либеральных сторонников пожаловался на многочисленность еврейского окружения, он ответил: «Возле меня мог бы быть еще десяток евреев, и это не причинило бы мне ни малейшей боли». Это было, по общему признанию, весьма сомнительное возражение, многослойное, двусмысленное, но не традиционно антисемитское. И все же Георге также был способен время от времени к высказываниям, что «у нас» — имея в виду круг своих друзей — «слишком много евреев» или что «один еврей полезен, но как только их больше двух, тональность становится иной, и они склоняются к своим собственным занятиям». Сходным образом, в 1911 году он сказал: «Евреи самые лучшие проводники. Они способны распространять и осуществлять ценности. Безусловно, они не переживают жизнь так глубоко, как мы. Они — это вообще иной народ. Я никогда не позволю им быть в большинстве в моем сообществе или в „Ежегоднике“». Несколько лет спустя, однако, Георге говорил, что не имеет значения, является человек католиком,

протестантом или евреем; имеет значение то, принадлежит ли он ему и его друзьям. Это, в конечном итоге, было самым важным для Георге: внешний мир — только фон, помутневший, но неизбежный фон, собственное же его царство будет сиять и далее ярким, спокойным светом, который он один, как его творец и владелец, предоставляет. Единственной мерой, которая учитывалась, единственной ценностью, которая им признавалась, была та, которую он сам и представлял.

Но этому еще предстояло быть. И, в любом случае, что более всего заболело его в эти неустойчивые первые годы, так это не «еврейский вопрос», а немецкий. «Что касается немцев, — слышал кто-то его рассуждения в 1916 году, — то было время, когда каждый из них чувствовал себя таким же чужаком, как, например, евреи чувствуют себя чужаками для нас». Были, конечно же, определенные причины, почему евреи чувствовали себя чужаками, и не все они имели отношение к их собственному чувству особой идентичности. И все же сравнение говорит само за себя. Мы знаем, каким «чужаком» чувствовал себя Георге — был вынужден чувствовать — всю свою жизнь. И, как и любой другой член меньшинства, поставленный перед острым выбором между ассимиляцией или остракизмом, Георге, очевидно, испытывал соответствующее давление. Он нашел выход из дилеммы не в том, что вступил на одну из двух обычных дорог, но в том, что отправился в гораздо более трудный путь. Вместо того чтобы интегрировать себя в Германию, он решил заставить саму Германию уступить тому образу, какой, по его мнению, она должна быть.

Образ Германии, который Георге имел в виду в этот момент, был, судя по всему, исключительно эстетическим. Его цели все еще, казалось, были ограничены только сферой искусства и особенно поэзии — настолько, что это пробуждало первые аккорды инакомыслия среди его новых друзей в Мюнхене. «Другие требовали каких-то анархических действий, — говорил он об этом времени, — я же всего лишь продолжал сочинять стихотворения». Шулер обвинял Георге в утрате естественных, точнее сверхъестественных, ресурсов: «Георге имеет в своем распоряжении все демонические силы, но для чего их использует? Для искусства». Клагес заявил сопоставимый протест: «Все, что он, Георге, и его люди делали, было всего лишь искусством; мы желаем найти религию». Можно было ответить, что для Георге искусство и *было* религией, что он желал быть его главным жрецом.

Каждая религия нуждается в катехизисе, и «Листок за искусство» казался самым подходящим местом, чтобы его сформулировать. В выпуске за март 1894 года журнал содержал, наряду с обычными стихами и фрагментами драм и прозы, вводный раздел, состоявший из коротких, афористичных, похожих на декреты заявлений, обращенных к более общим художественным и культурным вопросам. Эти гномические заявления поз-

же станут постоянной принадлежностью «Листка», и на многие годы сформулируют единственное публичное и непозитическое выражение того, за что выступали Георге и его соратники. Поскольку они никогда не были подписаны, то невозможно узнать с уверенностью, кто их написал. Но что является бесспорным, так это то, что Георге никогда не позволил бы ничего опубликовать в «Листке», что не получило бы его явного одобрения. По этой причине вводные максимы «Листка», если и не всегда выходили из-под пера Георге, то были бесспорным — и официальным — выражением его взглядов.

В соответствии с его желанием принести «новое искусство» — слово «французское» теперь усердно избегали — немецким читателям, безнадежно погрязшим в искусстве «старом», максимы размечают территорию, которая к настоящему времени является совершенно знакомой, но с добавлением нового акцента. Каждый короткий параграф рассматривает отдельные слова или понятия, которые использовались для обозначения нового поэтического движения, и каждая максима стремится приложить эти лозунги к частной, то есть местной, цели. Самое поразительное — это заявленное намерение заменить «все иностранные слова, даже те, которые пустили корни» словами немецкого происхождения. Выдвинутое объяснение заключается в том, что если сделать это, то «много пустой болтовни останется невысказанной, и если предложение, которое не может обойтись без такого слова, будет пропущено, то ни язык, ни общество не будут страдать от потери».

В отличие от английского немецкий язык сохранил близость к своим лингвистическим корням, а влияние латыни пришло гораздо позже и с намного менее широким воздействием. Уже в XVII столетии, когда распространились многочисленные «общества языка», пытавшиеся преобразовать и упорядочить немецкую грамматику, здесь предпринимались серьезные усилия, чтобы «перевести» латинские слова на их германские эквиваленты. Многие из этих изобретений прижились — глагол *abhängen*, буквально «свисать», является прямым переводом *dependere* и теперь представляет собой нормальное немецкое слово, имеющее значение «зависеть», — тогда как более причудливые конструкции ожидал быстрый и милосердный конец. Предложение заменить латинское *Nase*, или «нос», в большей мере по-немецки звучащим *Gesichtserker*, означающим «фронтон лица», было не в состоянии убедить даже самых пылких приверженцев стандартизации. Но идея «очистить» немецкий язык от его «чуждых» или негерманских элементов продолжала время от времени вновь появляться. Учитывая богатые флективные возможности, свойственные языку, и его утонченную предложную систему, это было не таким неправдоподобным, как может показаться, даже если цели, которыми руководствовались эти попытки, были обычно более чем сомнительными.

Объяснение побуждений не соответствовало стилю «Листка». Они не говорили, почему избрали то или иное положение, а просто принимали его, оставляя все «почему» для других. Действительно, самый первый афоризм — опять-таки высказанный тем своеобразным аподиктическим способом, который станет торговой маркой журнала, — сообщает, что «не только в переходные времена» — немецкое слово *Ubergang*, буквально «переправа» — «широкие, пронзительные, наводящие на размышления предложения предпочтительнее педантично установленных: они — пророческие знаки, от которых молодежь получает свой самый глубокий стимул». Мимолетная ссылка на «молодежь» — первое специфическое упоминание о том разряде читателей «Листка», который предполагался как его собственная аудитория. Но она также деликатно предрекает один из ключевых парадоксов всего начинания: «переход» от «старого» к «новому искусству» — это смена поколений, передача факела эстафеты от старой гвардии к более юным знаменосцам. И все же эта передача власти направлена как к прошлому, так и к будущему: желание устранить иностранные слова из поэтического и критического словаря выступает тогда даже под реакционным нимбом, указывая на консервативное желание вернуться в предшествующее состояние лингвистической невинности и чистоты, которого в действительности никогда не существовало. Самый первый выпуск «Листка» дерзко заявлял, что «в искусстве мы верим в блестящее возрождение». Это, очевидно, судьба всех возрождений, которые в попытках возобновить культуру хватаются за ветхое и умирающее — уходить назад к более раннему времени воображаемой юности, чтобы породить грядущее омоложение.

Следующие максимы соответственно поднимали лозунги, связанные с «новым искусством», и переводили их на немецкие термины и в немецкий контекст. Играя на общем корне, характерном для *Ubergang* и *Untergang*, где последнее слово имело значение «упадок», следующая максима гласила: «Упадок (декаданс) — это во многих отношениях феномен, который люди неблагоразумно желали превратить в единственный продукт нашего времени, [феномен], который когда-нибудь может, конечно, получить справедливую художественную трактовку, но который так или иначе принадлежит к царству медицины». Опять-таки, английская версия не передает должным образом особенность оригинала: хотя пришедшее из латыни слово *Medizin* было и является совершенно нормальным и приемлемым, вместо него здесь используется немецкое слово *Heilkunde*, более архаичное, в меньшей степени научнообразно звучащее и в первую очередь родное. Более широко, тем не менее, очевидный пункт передачи трактовки декаданса медицине должен был отстранить «Листок» от любого подозрения, что был занят таким болезненным, вредным занятием, осуществляется оно родными писателями-натуралистами или фривольными француза-

ми. Только чтобы застраховать все ставки, другая апофтегма объявляла, что «каждое проявление упадка также является свидетельством высшей жизни». Мы отвергаем всякий упадок, казалось бы, говорили издатели, но если какой-то декаданс будет найден на этих страницах, то это просто симптом его преодоления. В сходной манере другой афоризм обращается к другому главному ключевому слову, связанному с новой поэзией, и объявляет, что, несмотря на его модный статус, «образ (символ) столь же стар, сколь язык и сама поэзия». Опять же каждый вынужден признать истинность заявления, но не без ноющего чувства, что это скорее уступка, чем нечто самоочевидное. Словно издатели «Листка» говорили, что ошибочно думать, будто «Листок» — «символистский» орган, но если он и демонстрирует признаки, которые могут рассматриваться как «символические», то в силу той простой причины, что весь язык состоит из «символов» или лингвистических «образов». В любом случае, как гласит следующая максима, «мыслить символически — это естественный результат интеллектуальной зрелости и глубины». С этим трудно спорить. Но остается впечатление, что «Листок» — точнее, Георге — всегда хотел иметь в своем распоряжении оба этих пути.

В то время как большинство вводных максим к «Листку», чтобы передать свое послание, основывается во многом, если не во всем, скорее на косвенных намеках, чем на явных амплификациях, есть и моменты относительной ясности. «Между более старым искусством и искусством наших дней, — читаем мы, например, — есть множество различий: мы желаем не выдуманных историй, но воспроизведения настроений, не изучения, а изображения, не развлечения, но впечатления». С тех пор как вышел в свет первый выпуск «Листка», все непозитические — особенно политические — проблемы были явным образом исключены из проекта. Введение в первый выпуск утверждало, что «духовное искусство», каким это введение его представляло, не предполагало «попыток усовершенствовать мир и мечтаний о всеобщем счастье»; все это было прекрасно, допускало оно, «но принадлежало к совершенно иному царству, нежели поэзия». Преобладающий акцент на эмоциональном, нерациональном воздействии, к которому это новое искусство стремилось, и прежде всего его освобождение от внелитературных целей — то есть его статус «искусства для искусства», — проявляются еще более ясно в определении поэзии как «наивысшего духовного наслаждения». «В поэзии так же мало пользы, как мало ее в живописи или в музыке. Поэзия воспроизводит не мысль, но настроение». Пункт ориентации на сей раз находился генетически не в латыни, но во французском языке: *Stimmung*, или «настроение», о котором говорилось как о бесполезном деле поэзии, было, конечно же, немецкой версией *etat d'ame*, состоянии души, на пробуждение которого Малларме указывал как на единственную задачу поэзии. Но признавать свои долги не соответствовало текущим

планам Георге; на самом деле, как мы видели, он активно эти долги отрицал. Он теперь хотел, чтобы его считали немецким поэтом, пишущим для немецких читателей, и непредвиденные подробности, предполагающие литературное влияние — из Франции или откуда-либо еще, — могли бы просто помешать этой большей, более важной миссии.

В самом конце вводного раздела журнал дает намек, какой являлась эта более важная миссия. «Мы в течение многих лет замечали, — напыщенно заявляет он, — ни в каком другом соседнем государстве — даже в родственных голландских или северных странах — такому же уровню читателей не могут быть предложены такие же поэтические произведения, как здесь в Германии. Из этого факта возникает отличие наших художественных задач на следующие несколько лет от задач наших соседей». Хотя у каждого первоначально складывалось впечатление, что существенное различие, описываемое здесь, проходило между курсом, на который вступил «Листок», и курсом его неназванных «соседей», на самом деле то, что их разделяло, имело отношение больше к форме, чем к содержанию. «Листок» по своей природе мог быть более педагогичным, более склонным к образовательным сентенциям, чем его коллеги за границей, потому что ему приходилось быть таким. Немецкие стандарты были так плачевно низки, настаивали авторы «Листка», что должно быть предпринято огромное количество лечебных, исправительных мероприятий, чтобы только поднять эти стандарты до уровня, сопоставимого с уровнем других стран. Что оставалось невысказанным, так это, конечно же, тот факт, что эталон, против которого предостерегались немцы, был именно тем эталоном — иностранным, — который авторы Листка и главным образом сам Георге отказывались принять за ориентир.

Такая странная демагогия появляется и в других местах. Поскольку «Листок» открыто отвергал для себя и для своего содержания любую внелитературную «пользу», то очевидно, что с самого начала журнал следовал такой повестке дня, которая скрыто подразумевала политическую, по крайней мере культурно-политическую, программу. Никогда, даже в своем младенчестве, «Листок за искусство» не придерживался той чисто эстетической, строго аполитичной платформы, которая им выдвигалась. Даже если мы не знаем, как отнестись к личной биографии Георге, не требуется много воображения, чтобы увидеть, что интенсивность, с какой «Листок» осуждал внешний мир, особенно современную немецкую действительность, уже сама по себе была политическим действием. Не следует предполагать, что стратегия была лишена несостоятельности. Напротив, она изобилует ими. Современное движение, которое обращается к прошлому за вдохновением; немецкий журнал, поддерживающий французское литературное кредо, которое вслух отвергает; частное предприятие с выраженным намерением улучшить вкусы родной читательской публики, которую

открыто презирает и от которой пытается держаться настолько далеко, насколько это возможно, одновременно добиваясь ее благосклонности, — нельзя было думать, что все это будет рецептом успеха.

В 1894 году, однако, Георге измерял успех все еще иными критериями. Медленно, но неуклонно журнал привлекал все больше и больше хороших авторов на свои страницы. Но и здесь не все знаки были благоприятны. С конца 1893 года Клейн общался с Леопольдом фон Андрианом, что закончилось для последнего не только встречами с Георге в феврале, но и, более решительным образом, публикацией одного из стихотворений в январском номере «Листка». Восхищение Георге лирическим талантом этого отпрыска аристократической австрийской семьи было беспредельным; действительно, много лет спустя он говорил что «стихотворения Андриана были после Гофманстала лучшим из того, чтобы было в то время». Сравнение с Гофмансталем было удачным не только в отношении качества его поэзии.

Родившийся в 1875 году, спустя лишь несколько месяцев после рождения своего друга, Андриан был таким образом на семь лет моложе Георге, и, так же как Гофмансталь, опасался стать жертвой пристрастия старшего поэта к талантливым и податливым «аксессуарам». Дело не в том, что он был предупрежден. В январе 1894 года, нарушив шестимесячную тишину, Клейн отправил Гофмансталу оскорбительное письмо, надменно сообщив, что тот отлучен от журнала. Как бывший сотрудник «Листка» Гофмансталь имел право знать, писал Клейн: в следующем номере в разделе «новостей» будет помещено нейтральное уведомление, что журналу придется обходиться без его участия, так как он обратился к другой литературной деятельности, и что журнал весьма сожалеет об этом. Гофмансталь отправил Клейну достойный ответ: «Уведомление о моем выходе будет прочитано. Выйдя из-под вашей руки, оно будет соответствовать всем требованиям такта, а я беру на себя смелость заранее его одобрить». Клейн не просил его одобрения, которое делало благородный акт согласия еще более великодушным. Но своему другу Андриану Гофмансталь с горечью пожаловался: «Для развлечения я даю вам это дерзкое письмо от нашего общего друга. Эти люди абсолютно невыносимы».

В своих собственных отношениях с этими «людьми» Андриан также быстро столкнулся с трудностями. После того как «Листок», содержащий его стихотворение, вышел в свет, Клейн отправил экземпляр журнала самому Андриану, бесцеремонно упомянув, что «в нем ничего не пришлось менять относительно выразительности, и только некоторые ритмические нарушения были исправлены». Принося извинения за это грубое и заранее необъявленное вмешательство, Клейн стремился переложить, по крайней мере, часть вины на Андриана: «В ближайшее время мы свяжемся с вами заранее, что из-за короткого промежутка времени, который вы нам остави-

ли, было невозможно на сей раз». Несомненно, потрясенный тем своевольным способом, каким Клейн не постеснялся сделать несанкционированные «исправления» в его работе, неопытный в таких вещах Андриан любезно поблагодарил Клейна за посылку и кротко добавил: «В том, что касается публикации моего стихотворения, я предпочел бы увидеть оригинальную версию». Все же Андриан отправил еще несколько стихотворений, намереваясь опубликовать их в следующем номере «Листка», хотя на сей раз позаботился попросить Клейна, если у него будут «какие-либо пожелания относительно изменений», обсудить их до поступления в печать.

Когда наконец Андриан получил свой экземпляр августовского выпуска, то разразился гневом. 3 сентября он написал Гофмансталу: «Полностью рассорился с „Листком за искусство“ — я написал им очень грубое письмо. Они сделали *невероятную* мешанину из одного из моих стихотворений в последнем номере. Я разъярен». Письмо, которое он написал Клейну, было вовсе не таким грубым, как он хвастался, но достаточно прямым, чтобы передать состояние его чувств. Указывая на соглашение, которого, как он думал, они достигли в январе относительно уведомления о любых изменениях, которые будут сделаны перед публикацией, Андриан напомнил Клейну, что согласился на одно-единственное изменение, и даже это сделал неохотно. «Хотя я и считал его грубым ухудшением с точки зрения смысла и ритма», — сказал Андриан, но согласился и допустил это изменение, чтобы не вызвать любых ненужных трений, полагая, что по крайней мере таким образом защитил себя от дальнейшего нежелательного обращения с его словами. «Теперь я нашел к своему удивлению вторую строфу полностью переделанной; выражение: „представлять Эроса для самого себя“ кажется пресным, неуклюжим и воспроизводит манеру письма Стефана Георге, а не моего». Это было просто недопустимо: «Вы поймете, что я расстроился, когда увидел свое имя под словами другого художника; поэтому в будущем я обязан отказаться от удовольствия обнаруживать свои стихи на ваших страницах, которые я так люблю». Допуская — или делая вид, будто допустил, — что Клейн действительно был тем, кто совершил хирургическую операцию над его произведением, Андриан сообщил Георге несколько дней спустя о своем намерении больше не публиковать стихи в «Листке за искусство» в будущем: «Я не должен оправдываться за это решение перед вами, художником». Однако Андриан выражал нерушимое восхищение самим Георге: «Я только хотел бы сказать вам, что этот неизбежный шаг имеет небольшое влияние как на мою симпатию к „Листку“, так и на мою привязанность к вам».

Чего, возможно, не знал Андриан, так это того, что причина изменений в его стихотворении в манере Стефана Георге состояла в том, что именно сам Георге, только он один и сделал их. Клейн никогда не отважился бы проникнуть на территорию, которая, как он знал, расценивалась

«Учителем» как его собственная. Кроме того Клейн был «редактором», но не поэтом. Весьма редко, за три десятилетия существования «Листка», стихи Клейна появлялись на его страницах, и никто не спутал бы их со стихами Георге. Или же, вероятно, Андриан действительно подозревал, что выдумка о собственноручной манипуляции Клейна с его словами была лишь удобной отговоркой, которая позволяла Георге не только действовать свободно на заднем плане и говорить или оставаться молчаливым, когда он этого желал, но и воспользоваться маской, которая, странным образом, допускала большую искренность среди соратников, чем в любом другом случае это было возможно. Как бы то ни было, трудно сказать, что болезненнее для Георге: резкая характеристика Андрианом тех исправлений, которые Георге предпринял в одностороннем порядке, или его сердитое и очевидно безвозвратное отступничество от журнала.

Это был удар, но такой, какой Георге мог проглотить — если не простить. Он теперь имел большое и постоянно растущее число авторов «Листка», включая Людвига Клагеса, Карла Вольфскеля, которого он встретил и с которым к тому времени подружился, Вацлава Лидера, польского поэта, которым он очень восхищался, и Поля Жерарди, надежную бельгийскую рабочую лошадку. В сентябре того же года, после споров с Андрианом, Георге заявил Сен-Полю, с очевидной гордостью: «Наша небольшая группа сформирована». Но утрата, и еще при таких позорных обстоятельствах, второго по одаренности поэта, которого ему удалось привлечь к сотрудничеству, не могла пройти бесследно для Георге. Несмотря на свое неизменное отношение к стихам Андриана, Георге позже подчеркнул: «Тем не менее лично он разочаровал меня так, что я не мог сохранить это в тайне. Он попытался это компенсировать, будучи очаровательным, но я был уже наглухо замкнут и не мог больше этого выносить». Это не совсем точное изображение последовательности событий, сопровождавших их разрыв, но не важно. Суть оставалась верной: Георге мог терпеть — хотя и не всегда — склонность к скандалам, личные отклонения, даже сомнительный поэтический талант среди своих друзей, но одного никогда не в состоянии вынести — прямого или подразумеваемого принижения самого себя или своей поэзии. Наказание за совершение такого преступления было разным, но всегда было немедленным и обычно бесповоротным. Если бы Андриан когда-либо на самом деле попытался повторно снискать расположение самого Георге после их разрыва, то по всей вероятности нашел бы запертую и молчаливую дверь.





Глава четырнадцатая

ШВАБИНГ

Помимо нескольких кратких перерывов, Георге жил в Мюнхене более половины года, с октября 1894 и до апреля 1895 года, располагаясь в северном районе Швабинга. После честолюбивых городских кампаний реконструкции, предпринятых королями Виттельсбаха Людвигом I и Максимилианом II в первую половину XIX столетия, Мюнхен стал многим известен как *Kunststadt*, «город искусства» — или чаще со словом «Art», написанным с большой буквы. Ибо то, что олицетворял собой Мюнхен, было своего рода официальное, узаконенное и весьма строгое Искусство, осуществленное в огромных масштабах. Большое количество недавно сооруженных неоклассических памятников, храмов, украшенных скульптурой и живописью, таких как Глиптотека и Пинатотека, новый оперный театр и частные виллы, построенные в строгом соответствии с эллинистическими проектами, — все это служило тому, чтобы предоставить Мюнхену несколько зловещую видимость огромного открытого музея, но с решительно греческим акцентом. «Афины на реке Изар» — таково было другое, возможно неизбежное название, применяемое к баварской столице. Можно вспомнить, что жителям Берлина также нравилось называть свой город «Афинами на Шпрее». Но такая самооценка предполагала, скорее, что желаемое выдается за действительное, а также, что это была здоровая доза прусской саморекламы, в отличие от претензий баварцев, южная наследственность и жадная до удовольствий натура которых делала более вероятным, что именно они были подлинными потомками древних греческих

культурных и гражданских добродетелей. Жители Мюнхена гордились своим городом и намеренно противопоставляли свои культурные достижения политическому доминированию новых северных правителей, которых они часто воспринимали как тупых и претенциозных *карьеристов*. В путеводителе, изданном в 1905 году, посетителю Мюнхена давали практический совет, что, находясь в городе, он «должен полностью воздержаться от ношения драгоценностей, сделанных из золота и драгоценных камней, — репутация от этого не увеличивается; это дамам свойственно украшать себя, но только в салоне». В дополнение, туристам с севера, также язвительно, сообщалось, что в Мюнхене, «при обмене рукопожатиями избегают прусского судорожного движения локтем».

Швабинг, однако, представлялся более значительным. Здесь происходило нечто важное. Хотя он достиг апогея своей славы лишь в конце десятилетия, но уже привлекал тревожное число нонконформистов — изгоев, мятежников и нарушителей спокойствия, иначе говоря, художников, но не обязательно из той их разновидности, что была одобрена королевским домом. Примыкавший к университету, Швабинг имел огромное количество доступных для аренды квартир. На рубеже XIX—XX веков весь город Мюнхен, с общей численностью населения приблизительно в полмиллиона, все еще имел десять тысяч пустых квартир, доступных для аренды, и многие были расположены в Швабинге. Поэтому он выполнял приблизительно ту же самую роль, что и Латинский квартал в Париже, предлагая прибежище для неимущих и неприкаянных, предоставляя великодушную и недорогую среду для радикальных экспериментов в искусстве, политике и сексуальных соглашениях.

Швабинг легко ассимилировал таких как Шулер и Клагес и оставался привлекательным для таких несоизмеримых фигур, как Томас Манн, Франк Ведекинд, Райнер Мария Рильке или анархист Эрих Мюзам, а также Пауль Клее, Василий Кандинский, Альфред Кубин и Владимир Ильич Ленин. Живописцы, поэты, скульпторы, композиторы со всей Германии и остальной Европы — все они были охвачены *Schlawiner* (выражение, остроумно произведено от слова, обозначающего словаков или словенцев). «*Schlawiner* был любой, кто занимался живописью в тысячах ателье в Швабинге, кто месил глину, писал стихи в каморках, исполнял или сочинял музыку, накапливал долги в небольших гостиницах и провозглашал нигилизм или эстетизм в кафе. Единственным условием было то, что художник должен был иметь небуржуазный вид в одежде и поведении. Если он соответствовал этому, то, даже родившись в Мекленбурге, во Франции, на Рейне, в Норвегии или Тюрингии, все равно был *Schlawiner* в Швабинге».

В дополнение к общей атмосфере необузданной свободы, если не сказать либертинажа, Париж вызывал и другие параллели. Самым важным ра-

ботодателем в Швабинге было издательство Альберта Лангена и сатирический журнал «Симплиссимус», который фирма начала выпускать в свет в 1893 году, открыто подражая популярному французскому журналу «Gil blas illustre». Но особенно кафе, особые разновидности культуры кафе более всего напоминали французскую столицу. Самым знаменитым было Кафе Луитпольд, которое открылось с огромной торжественностью и волнением в конце 1880-х годов и уже стало достопримечательностью Швабинга к тому времени, когда туда прибыл Георг. В любой вечер здесь можно было найти французов, фламандцев, голландцев, поляков и даже некоторых немецких постоянных посетителей, «всегда безупречно одетых в длинные, темные сюртуки, „скроенные“ первоклассными портными Лондона или Парижа; мерцающие цилиндры и вечерние жакеты, сшитые из шелка по последней моде, висящие на золотом бронзовом стенде пальто, элегантно сшитые манишки с глубоко символическими булавками: нефритовыми скарабегями, головами Медузы и Абраксасами — все свидетельствовало о том, что *dernier cri* „парижских парнасцев“ задает здесь тон». То, что здесь господствовали другие правила, нежели в центре Мюнхена, было также очевидно и в том, как официантки, отобранные больше по внешности, чем по их ожидаемым навыкам, скользили среди красных шикарных диванов, проявляя внимание к различным нуждам клиентов. Многие из молодых женщин имели «украшенные бриллиантами браслеты, брошки, сережки, часы и кольца: все это были подарки от богатых поклонников» среди клиентуры. Хотя Георг мог бы обратить внимание и на другие достопримечательности, но также стал постоянным клиентом в Луитпольде, где можно было часто заметить, «его юную дерзкую голову, отброшенную назад, плывущую, нет, шествующую через кафе подобно епископу в середине Святого Петра».

В первой половине 1895 года друг Клагеса по имени Теодор Лессинг, который недавно издал небольшую книгу поэзии, приехал в Мюнхен и, как бесчисленные другие честолюбивые авторы, нашел скромную, но подходящую квартиру в Швабинге. Клагес, всегда в поисках новичков для «Листка», взял и Лессинга и его книгу к Георгу для одобрения. «Георг пролистал ее с улыбкой, — вспоминал Лессинг, — и пожаловался на низкое качество бумаги». В свою очередь, Лессинг получил экземпляры изящных, даже строгих книг Георге, как будто для того чтобы показать, как это должно быть сделано. Даже при том, что Лессинг был явно отвергнут этой подразумевавшейся критикой его собственной попытки, а также был смущен нехваткой обычной пунктуации и заглавных букв, которые он обнаружил в этих новых приобретениях, Георг все еще хотел знать, был ли Лессинг готов написать несколько строк для его «музея», как он называл теперь иногда «Листок». Лессинг заметил, что «Георге придает большое значение формальностям и одежде. Он тщательно расправлял свой ворот-

ник перед зеркалом — к чему у нас, сердцеедов, не было никакой склонности, — он просматривал журналы мод, изучал новые ювелирные образцы, рекомендуемые ткани и шелка, внимательно изучал в зеркале, как сидит на нем галстук». Не принявший приглашение объединить силы с Георге, и, возможно, встревоженный тем, что такое объединение могло бы подразумевать («Георге и, вероятно, большинство в его круге были увлечены любовью к мужчинам», — объяснял он), Лессинг проболтался, что тот был живым человеком, а не ученическим манекеном для буржуазного мира роскоши. Само собой разумеется, имя Лессинга не появлялось в «Листке».

Лессинг дает почти фотографический снимок Георге середины 1890-х годов: двадцатипятилетний «печальный принц в изгнании», излучающий ауру, которая была «и властной и страдающей». Хотя Георге расценивал себя и свою работу со смертельной серьезностью, не было, конечно, никакой гарантии, что ему удастся убедить — или заставить — других смотреть на него с почтением, которого он явно ожидал. Если бы он потерпел неудачу, то его жизнь оказалась бы не чем иным, как угрюмым фарсом. Но он уравнивал победу с абсолютным завоеванием, с полным доминированием. Это была азартная игра с высокими ставками, бескомпромиссное пари.

«Одновременно странный и внушительный, — так Лессинг описывал эффект этого зрелища, — одновременно глупый и внушающий уважение. Ибо, когда успех обходил его стороной, тогда он был только одним из многих непризнанных гениев, узнаваемых по их длинным гривам и прекрасным галстукам, когда они толпами пили чай в Швабинге в то время». Внешне действительно было немного, что отделяло Георге от сотен других рифмующих эстетов, безобидных стихоплетов, которые одевались согласно последней парижской моде, проводили долгие часы, бездельничая в кафе, и которые видели свои главные триумфы в успешном уходе за молодыми женщинами или — если их вкусы были направлены в другую сторону — в обольщении красивых мальчиков. Но Георге, хотя и не безразличный в то время к таким развлечениям, был охвачен более сильным побуждением, тягой к совершенному мастерству, которая в конечном счете и отделяла его от всех остальных.

Его желание управлять все еще было сконцентрировано прежде всего на поэзии, и здесь он не признавал никаких соперников, самое большее — называл их равными. После попытки сближения он и Лессинг часто встречались, и тема их бесед почти всегда касалась одного предмета, действительно интересовавшего Георге, но только в определенных рамках. «Никчемное имя», — мог Георге прервать Лессинга, когда тот приходил в восторг от того или иного автора, не встречавшего одобрения у Георге, или заставлял Лессинга замолчать, говоря: «Я глух к литературе». В слова-

ре Георге «литература» охватывала все, что не было поэзией, и была поэтому тривиальной, ничего не значащей и ничего не стоящей. Точно так же слово «писатель» влекло за собой негативную дефиницию, то есть это был тот, кого Георге не считал поэтом, тот, кто писал простую «литературу». «Это — писатель», — было поэтому одним из самых осуждающих слов, которое Георге мог произнести в адрес другого труженика в данной области. Когда редактор антологии современной немецкой поэзии написал, чтобы спросить, не примет ли Георге участие, предоставив некоторые из своих стихотворений, то получил ответ от одного из его друзей: «Господин Георге сожалеет, но его совершенно не интересует немецкая литература». Это было не совсем правдой, поскольку он страстно интересовался немецкой поэзией, и даже немецкой «литературой». Но именно этому человеку следовало решать, что принадлежало этим категориям, а что нет, — и больше никому.

Все же, с течением времени, притязания Георге начали расширяться за пределы «простой» литературы или даже поэзии. Лессинг вспоминал об экскурсии, которую они предприняли, чтобы посетить одного друга в сельской местности возле Мюнхена. По пути домой разразилась гроза. Другие более плотно застегнули свои накидки, натянули шляпы на уши, но Георге, казалось, смотрел на разбушевавшуюся погоду как на личное оскорбление, отпуская горькие комментарии о ненужных неудобствах, которые она вызывала, и все время проклиная таких великих поклонников природы, как Толстой и Руссо. Лессинг, считавший себя и любителем природы и энергичным авантюристом, нашел проклятия Георге против стихий весьма забавными, не понимая, возможно, что исповедуемая Георге ненависть к природе питалась из более глубоких ключей. Однажды, когда они вместе прогуливались по деревне, Георге остановился перед кучей экскрементов и сделал язвительное замечание: «Смотрите сюда, груда удобрений! Это должно быть воззванием к господину Лессингу!» Защищая себя, Лессинг утверждал, что было бы нелепо предполагать, что поэт будет воспевать львиную охоту, песчаные бури, путешествия викингов, горящие города, убийство и триумф, развалившись в садовом кресле, сжимая перо в бледной руке. «Поэт, — был прохладный ответ, — может также отправиться на львиную охоту и в Луитпольде». В любом случае, добавил Георге презрительно, «кресло более удобно, чем ствол дерева». Принимая во внимание, что бесчисленные поэты смотрели на природу как на источник вдохновения, утешения и удивления, Георге, казалось, расценивал ее, главным образом, как соперника.

Другие также неизбежно замечали в Георге эту враждебность к природе, а некоторые были даже ею напуганы. Берлинская подруга Сабина Лепсиус, которую Георге встретил на следующий год, вспоминала о прогулке, которую они однажды предприняли в лесах около Дармштадта. «Я пол-

ностью забыла, о чем мы говорили, — сообщила она, — потому что другое, более сильное, нежели слова, впечатление охватило меня и осталось незабываемым — я никогда не видела, как ведет себя Стефан Георге в окружении живой природы, где я теперь прогуливалась с ним наедине. Неожиданная, странная, я сказала бы даже, злая сила исходила от него, сила, которая заставила меня ощутить его бесчеловечность. Притворившись, что устала, я убедила его вернуться домой, потому что меня обуял страх, который гнал меня от него прочь». Не замечая, что все вокруг заполнено прекрасными желтыми цветами утесника, она внезапно увидела в Георге «опасного демона», от которого и хотела убежать. Но что бы ни напугало ее так сильно в Георге, этот источник страха, как оказалось, сохранился и после того, как они вернулись под крышу, и был замечен другими. После того как они вернулись домой, к ним принесли сына Сабины Лепсиус. Георге повернулся к мальчику — «и ребенком овладел такой смертельный ужас, что мы как можно быстрее постарались унести его, пронзительно кричавшего, прочь». За этой тревожной сценой последовала еще одна. В семье Лепсиусов было принято просить всех гостей, чтобы ознаменовать свое пребывание, посадить молодое дерево, вместо того чтобы сделать запись в гостевой книге. Георге, прежде чем он уехал, попросили исполнить установленный ритуал. «В третий раз я был охвачена тайным ужасом, когда этот бледный человек орудовал лопатой явно непривычными к этому руками. Опят я подумала, что его отношению к природе недоставало невинности. Он копал не как садовник, он копал как человек, который ищет спрятанное сокровище». В первом наброске этого отрывка, возможно, более точно отражавшем ее реальные впечатления, Сабина Лепсиус написала, что ей показалось, будто он обращается с лопатой как «могильщик».

Здесь есть что-то большее, чем простое притворство того, кто перенял презрение французских символистов к природе, или декадентское презрение ко всему остальному. Антагонистическое отношение Георге к царству природы — это не поверхностное притворство, но, по крайней мере частично, другое выражение его неспособности следовать идее, что была какая-то внешняя власть, над которой он не мог полностью доминировать, что что-то могло сопротивляться его усилиям управлять этим «что-то». Все, что он не мог подчинить своей воле, все, что уходило из-под его власти, встречалось с упорным антагонизмом — пока он или не выигрывал соревнование, или не устранял источник раздражения. Уже существовало значительное число раздражителей в списке Георге — от отдельных людей, художественных вкусов, общественных нравов и политических убеждений до целых стран, включая его собственную. Добавление необъятности природы к этому списку сделано, скорее, для укрощения этого противника. Но спокойная непроницаемость природы к его враждебности только

приводила его в бешенство и все сильнее провоцировала желание завоевать ее.

Конечно, хотя, возможно, речь не шла о самой природе, но было еще одно благое дело, в котором он мог доминировать. Оказалось, что с каждым месяцем «Листок» находил более широкую и более отзывчивую читательскую публику, таким образом создавая все более расширяющийся круг потенциальных соратников в сфере компетенции Георге. Даже сигналы из Франции становились лучше. После двухлетнего затишья, во время которого он повторно превратился в немецкого поэта, Георге возобновил общение с Малларме в апреле 1895 года, отправив ему обязательный экземпляр выпусков второго года журнала, вместе со своей собственной фотографией. Характерно, что Малларме ответил с теплотой: «Спасибо, мой дорогой Поэт, за отправку всех этих прекрасных новых вещей, близких нам и весьма свободных, которые содержит второй том „Листка за искусство“, стихов, прозы, также вызывающих дружеские воспоминания о ваших чертах. Вы ведете деликатную борьбу, которая необходима и является полностью авангардистской». Публично, Малларме был еще более благожелательным. В том же самом месяце он принял участие в обзоре, который был совместно выполнен «*Mercure de France*» и «*Neue Deutsche Rundschau*». Выдающихся личностей и в Германии и во Франции опрашивали с целью выразить их представления о желательности более близких связей между двумя странами после смягчения отношений, вызванного смертью агрессивного французского военного министра, генерала Буланже. Как один из приглашенных Малларме писал: «Что касается интеллектуального обмена, то для меня, в моей области, он оказался более теплым в последние несколько лет — когда Париж восхвалял Вагнера и Берлин, а „Листок за искусство“ недавно перевел Бодлера. Я аплодирую». Впервые Георге и его группа была размещена в такой благородной компании кем-то другим, а не ими самими. Более того, подобные чувства также были заявлены во всеуслышание в «*La Plume*» и других парижских изданиях, и Георге, без сомнения, чувствовал себя уверенно и удовлетворенно от того, что ветер, наконец, переменился. Но теперь, частично для того чтобы увеличить дистанцию между собой и Францией, он устанавливал свои паруса не в направлении к французской столице, а, скорее, в направлении к Бельгии и Голландии.

На самом деле Бельгия его уже когда-то привлекала. Один из его первых знакомых, Альберт Мокель, был бельгийцем. Летом 1892 года Георге впервые приехал в Бельгию, где остановился в городе Тильф, вероятно по предложению Поля Жерарди. Он встретился там со многими ведущими поэтами и художниками, включая Леона Пашаля, братьев Эдмонда и Армана Рассенфоссе, а также живописцев Джеймса Энзора, Фернана Кнопфа, и Огюста Донне. Более поздние поездки в Брюссель и Лютрих (Льеж) све-

ли его с поэтами Эмилем Верхарном и Шарлем ван Лербергом; возможно, что он встречался даже с Морисом Метерлинком. Связи с Бельгией могли оставаться сильными и в следующие несколько лет, когда Георге стремился расширить доступность «Листка» за границами Германии и сообщить ему подлинный международный масштаб. Ему даже удалось убедить Донне и Кнопфа сделать два рисунка для августовского выпуска 1894 года, который завершался заметкой об этом кажущемся отклонении от правил, где сообщалось: «Если первоначально мы хотели служить новым опытам в поэзии, то теперь решили открыть эти страницы и для аналогично мыслящих композиторов и художников-иллюстраторов. Возможно, пример наших бельгийских друзей, Фернана Кнопфа и Огюста Донне, которые предоставили свои избранные работы в наше распоряжение, заставит наших молодых немецких мастеров сотрудничать с нашим предприятием». Последняя оговорка показывала, каким на самом деле было главное намерение: не столько привлечь иностранную помощь для своих целей, сколько помочь отыскать родные таланты. Это была стратегия, которая скоро принесет свои плоды в фигуре берлинского художника и дизайнера Мельхиора Лехтера.

Но не только художественные связи притягивали его к Бельгии. Он был весьма близок к Эдмонду Рассенфоссе, который, будучи на шесть лет моложе Георге, обладал хрупкой, неустойчивой психикой и который в значительной мере опирался на Георге в поисках эмоциональной поддержки и уверенности. Он писал Георге длинные, болезненные и сентиментальные письма на французском языке, изливая свою туманную печаль в надоедливых просьбах о понимании и утешении. «Я хотел бы, вместо того чтобы писать вам, быть с вами рядом, держать вас за руки и прижиматься к вашему сердцу, — начиналось одно из таких плаксивых посланий. — Вы тогда увидели бы, что я люблю вас, и поняли бы, что не следует осуждать мое молчание». Умоляя Георге, чтобы он — «что бы ни произошло» — верил в него, Рассенфоссе откровенно признавался: «Боюсь стать слабым; у меня есть ужасный страх утратить себя в бессознательной толпе». «Боюсь, — уточнял он, — что никогда никем не стану и обману всех тех, кто любил мою душу... Мое невежество сокрушает меня, моя ничтожность душит меня. Знаю, что это — признание, которое не каждый сделает. Поэтому вы понимаете, насколько вы — мой друг! Ах, почему вы не здесь, почему я не могу прилечь к вашему плечу!» Письмо заканчивается — гораздо позже — жалобным криком: «Я одинок, отчаянно одинок!»

Георге знал, что беспокоило молодого человека, даже если сам Рассенфоссе делал вид, будто не осведомлен об источнике своего горя. В замечательном письме — замечательном по его длине, искренности и великодушию — Георге попытался предоставить ему тактичную помощь, вдавываясь

в осмотнительное многословие и предлагая в одно и то же время и анализ, и некоторую поддержку, и небольшой дружеский совет:

Если молодой человек вашего возраста говорит, что глубоко несчастен, то, значит, имеется *единственная* причина. У каждого из нас в своей юности был такой кризис. Невозможно унять боль, но следует думать о том, чтобы сохранить ее *чистой*, вы понимаете меня — это мой единственный совет. Великое молчаливое горе облагораживает характер, а страсть его разрушает, как в этом случае — любовь. Когда мне было почти двадцать лет, я тоже страдал от огромной любви — дело дошло даже до желания умереть. Сегодня эта боль прошлого напоминает мне о возвышенной жизни, о сверхчеловеческой жизни, годы научили меня, что есть и еще более сильное страдание, особенно такое: взирать на обширную равнину жизни — где все страдания, все радости, все чувства медленно засыпают и умирают... И это мое единственное утешение для вас — есть гораздо более сильная боль, чем ваша, и ваш друг страдает от нее. Да! гораздо более сильная, гораздо более острая, потому что не каждый от этого умирает. Вы понимаете, что я могу сказать только самые общие слова о драме души, в которой я слишком мало знаю актеров, и что никогда нельзя написать о том, что можно легко сказать. Есть возвышенные и холодные божества, которые называются долгом и дружбой. Часто им удается излечить раны страсти. Я был бы счастлив, если бы эти строки придали вам некоторую храбрость и волю избежать примирения, которое сокрушило бы жизнь, еще такую юную!

Это было гораздо больше того, насколько он когда-либо будет в состоянии — или будет желать — написать в письме, но для Георге и этого было много. Ни в каком другом сохранившемся письме Георге никогда не будет вновь так открыто говорить о любви или о своем собственном опыте ее утраты. И все же, если эти необычно прямые и сердечные слова и помогли хоть немного Рассенфоссе, то он этого не показывал. В другом типичном рефрене, в апреле 1896 года, он снова жаловался на жестокие, хотя как и всегда не уточненные, мучения. «Поверьте, по крайней мере, что все, что у меня есть, я отдаю вам полностью, нежно, благоговейно, — писал Рассенфоссе, и его несфокусированные чувства били неудержимым ключом. — Но не упрекайте, что я не был способен дать вам больше, ибо это мое горе. Это мое большое и сокровенное страдание, мое ежедневное, ежесекундное унижение! Имейте жалость ко мне и любовь, мой друг, и помогите мне, чтобы то, что трепещет во мне, не умерло». После обмена еще несколькими письмами общего содержания в следующие несколько лет и после случайной встречи в Брюсселе или Льеже, Георге наконец надоело поддерживать неуравновешенного бельгийца, и он перестал обращать внимание на навязчивые призывы о помощи.

Если бельгийская дружба была интенсивной, но относительно недолгой, то его связь с Голландией была менее насыщенной чувствами, но го-

раздо более продолжительной. В мае 1895 года голландский поэт Альберт Вервей издал обзор первых двух лет «Листка» в редактируемом им журнале, называвшемся «Tweemaandelijksch Tijdschrift», и сопроводил этот обзор весьма доброжелательным отзывом о «Пилигримах» и «Альгабале» Георге. Этот обзор заложил основу для того, что вскоре стало «самой сильной дружбой в жизни Георге», как полагал Роберт Берингер, то есть «дружбой со зрелым человеком и поэтом». Будучи на три года младше Георге, Вервей был независим, имел твердое положение в своей стране и излучал спокойную самоуверенность, которой, помимо полуистеричного Рассонфоссе, не хватало и многим другим знакомым Георге. Женатый, отец нескольких детей, Вервей выпадал из общего эталона Георге, предпочитавшего друзей иного рода. С неопрятными охотничьими усами, позже расширенными до такой же неряшливой бороды, с копной щетинистых волос на голове и непропорционально большим носом, Вервей, возможно, был наименее физически привлекательным из всех соратников Георге. Но их обоих объединяли искренние взаимоотношения, основанные на неподдельном уважении к совершенно различным концепциям поэзии, которые каждый из них имел. (Привязанность Георге не распространялась на жену Вервея, Китти, которая, как считал поэт, «слишком доминировала над своим мужем».) Следующее десятилетие они часто посещали друг друга в своих собственных домах — Георге иногда в течение многих недель оставался в Нордвик-ан-Зее и в свою очередь принимал Вервея на несколько более краткие периоды в Бингене. Как только Георге начал превращать себя в нечто большее или нечто иное, чем поэт, Вервей обнаружил, не без некоторого сожаления, что там, где ранее росла реальная симпатия, осталась только холодная, скорее, даже послушная чувству долга признательность.

Контакты с Бельгией и Голландией означали, что Георге не полностью зависел от Франции, от ее осведомленной и восприимчивой аудитории. Но дела, казалось, пошли в гору и дома, в Германии. В марте 1895 года молодой профессор философии по имени Макс Дессуар из университета Берлина написал Клейну, спрашивая, были ли прошлые номера «Листка» доступны. Дессуар готовил свои лекции по истории эстетики и теории искусства в течение летнего семестра и хотел обратиться к новым событиям в данной области, хотя откровенно сообщил Клейну, что то, о чем ему приходится рассказывать, не обязательно позитивно. Это также было беспрецедентно — никогда прежде представитель официальной культурной элиты в Германии, и тем более в Берлине, и тем более в университете, не проявлял ни малейшего интереса к их предприятию. Клейн ухватился за возможность, принимая заранее, что вскоре последует и критика, о которой объявил Дессуар. «Только в настоящий момент, — отвечал на письмо Клейн в своей обычной напыщенной манере, — художественное и аристократическое движение утверждается вопреки всему натуралистическому и

плебейскому и начинает подражать произведениям наших соратников. И мы сочли бы себя весьма обязанными вам, если бы вы пожелали сказать несколько честных и искренних слов о нашем движении». Такое также было впервые: позже обращаясь к Георге как к поэту, «который породил все движение в целом», Клейн идентифицировал «Листок за искусство» не просто как литературный журнал, но как воплощение и рупор всего движения, с Георге как его вдохновителем и руководителем. Это, конечно, всегда тайно подразумевалось, настолько, что почти не было необходимости это открыто выражать. Однажды сформулированная, эта идея могла приобрести свой собственный импульс, в конечном счете перерастая сам «Листок», чтобы принять еще большие и непредсказуемые размеры.

В настоящий момент, тем не менее, запрос профессора Дессуара был желанным знаком, что, несмотря на миниатюрный тираж публикации, несмотря на ауру запретной исключительности, которую журнал намеренно культивировал, и несмотря на молчание вместо отзывов, которым «Листок» встречали первые два года, благоприятный поворот в его судьбе забрезжил на горизонте. Но был и другой отклик из Берлина, решительно нежеланный. В том же 1895 году, в апреле, в столице был основан новый журнал со смелым и либеральным намерением принести международное авангардистское искусство и литературу «народу». Иными словами, он задумывался как своего рода демократическая разновидность «Листка за искусство». Журнал назвали «Пан», в соответствии с польским словом, обозначающим «джентльмен», но ассоциация с козлоподобным греческим богом лесов оказалась гораздо более сильной, ассоциация, вызванная эмблемой, появившейся на его титульном листе, — головой фавна, нарисованной Максом Клиндером. Большой, привлекательно созданный и совершенно лишенный эзотеризма — и не дорогой: первый выпуск стоил семьдесят марок — это был мгновенный успех. И одним из двух главных литературных редакторов «Пана» был не кто иной, как гневно осуждаемый Рихард Демель.

Изи Кобленц, теперь фрау Ида Ауэрбах, — она была выдана замуж, брак был устроен ее отцом в апреле того же года — жила в Берлине со своим новым мужем и, несчастная в браке не по любви, а по расчету, искала способы отвлечься от невзгод. В августе 1895 года, после прочтения статьи Демеля о современной немецкой литературе в недавно открытом журнале, который тот редактировал, она почувствовала потребность написать автору. «Почему вы также игнорируете, — писала она раздраженно Демелю, — вы, кто безоговорочно помнит обо всем хорошем, что нашли? Почему вы игнорируете всю эту группу молодых художников, которые собрались в „Листке за искусство“ вокруг своего лидера — господина Стефана Георге? Я не могу этого понять».

Вскоре после этого фрау Изи и Демель встретились лично, и вместе вступили в небольшой заговор. Уже сделав ошибку рекомендации Демеля

Георге, фрау Изи знала, что лучше не упоминать его по имени, когда рассказывала Георге о своей схеме. Выдумав, что недавно посетила одно мероприятие, где обсуждалось современное искусство, она заявила: «К моей радости один господин говорил с большим энтузиазмом о ваших произведениях, сожалея, что они доступны только такому незначительному кругу». Другие присутствовавшие никогда не слышали о Георге. «Они были живописцами и музыкантами», — торопливо предложила она оправдание, которое побудило ее предложить принести его книги к следующей встрече. «Господин, — сказала она почти в сторону, — принадлежал к редакции „Пана“». Она стремилась заверить его, что журнал не был, как опасался Георге, «коллективной площадкой натурализма», что пространство будет предоставлено и таким неоспоримым поэтам, как Верлен, Метерлинк и Россетти. После встречи с «одним из членов редакции» она теперь открыла, что сделала два дополнительных обещания этому неназванному господину: «Во-первых, попросить три ваши книги: „Гимны“, „Альгabal“ и „Пилигримов“, чтобы один из господ имел возможность подробно написать о Стефане Георге, а во-вторых, что определено более важно: статью, подписанную вашей рукой».

Георге явно видел этот маскарад насквозь, но любезно поблагодарил своего действующего из лучших побуждений покровителя («за вашу стойкую дружественную позицию и ваши усилия от моего имени»). Даже при том, что он ненавидел Демеля лично, Демель был не единственным членом редакционной коллегии «Пана», которая поэтому делает менее ощутимым его отравляющее воздействие. На более прагматичном уровне высокий профиль журнала мог гарантировать что-то вроде выхода на публику, что, как все больше и больше понимал Георге, было бы необходимо для достижения его собственных целей. Но он не собирался избирать легкий путь. Должно быть либо все либо ничего. «Я буду в состоянии появиться в „Пане“, только если главные сотрудники „Листка за искусство“, а именно Гофмансталь, Жерарди и Вольфскель, появятся там тоже. Безошибочно узнаваемое своеобразие этих поэтов имело одну общую черту — их произведения нельзя было увидеть рядом с другими немецкими поэтическими творениями в „Пане“». Как кукушка, которая откладывает свои яйца в гнезда других птиц, Георге был готов использовать «Пан» как своего рода запасной корабль, чтобы провезти контрабандой собственный выводок с намерением способствовать собственному журналу, который еще не был готов к самостоятельной жизни. Но здесь не было бы никакого смешения рас, никакого непристойного объединения того, что было, как он настаивал, двумя отдельными породами.

В конце концов, однако, после того как провалились несколько раундов переговоров, на которых Демель согласился на все требования Георге, все завершилось неудачей. Расхождения во мнениях и вкусах среди членов

редакционной коллегии «Пана» — и, как оказалось, скандальное злоупотребление расходными счетами — привело к тому, что Демель был в сентябре уволен. Впоследствии различные соглашения, которые заключил Демель, были расторгнуты, а журнал торопливо реорганизован. Георге, который тем временем сам вернулся в Берлин, написал одному своему другу в октябре, повторяя многие слова, которые Клейн использовал в своем письме Дессуару: «Здесь, в Берлине, наше юное движение достигает лишь незначительных успехов, что, вероятно, в значительной степени вызвано прессой, которая теперь уже начинает говорить о подражаниях и наростах, еще до того как она будет способна к обсуждению, что же является оригинальным и подлинным. Большая путаница в наших сочинениях была вызвана также тем, что несколько очень посредственных и безвкусовых умов («Пан») смешивали свои произведения с работами художников первого ранга и иностранных мастеров. Ошибка, которая возможна только в Германии». Все дело в целом, которое никогда не было благоприятно начинать, завершилось поэтому на отвратительной ноте. Но оно указывало на то, как остро Георге был заинтересован в завоевании широкой аудитории, и теперь, когда первые толчки общественного признания давали о себе знать, он был готов думать, что любые средства, даже самые негодные и низменные в его глазах, могли быть оправданы великой целью.





Глава пятнадцатая

УДОБНОЕ ПРОШЛОЕ

В начале сентября 1895 года, непосредственно перед тем, как Демель внезапно стал безработным, и все еще выглядело так, словно Георге впервые в своей жизни был близок к ослепительно яркому свету славы, он обрисовал в общих чертах свое видение будущего — точнее, видение своего будущего — фрау Изи Ауэрбах. «Я снова стою в поворотной точке, — сказал он ей, — и оглядываюсь назад на всю свою жизнь, которой, как я чувствую, придет на смену совершенно иная».

Может показаться немного абсурдным или просто манерным, когда слышишь, как двадцатисемилетний человек говорит о своем опыте как охватывающем «всю жизнь». Но это был привычный способ смотреть на себя самого, который Георге рано приобрел и от которого никогда не отказывался. Более реалистично и тем не менее не столь драматично он предположил также, что просто заканчивал одну стадию своей жизни и готовился начать другую. Переход мог быть озаглавлен, как и всегда в критических ситуациях, публикацией, где движение от одной фазы к следующей обретало физическое постоянство в форме книги или, как в данном случае, в форме нескольких книг. «Я хотел бы завершить его, — продолжал он, имея в виду тот период жизни, который, как он говорил, теперь оставался позади, — публикацией своих книг. Я хотел бы объединить „Гимны“, „Пилигримов“ и „Альгабал“ — в первой книге, „Книги пастушьих и хвалебных стихотворений“ — во второй, а „Annum animae“, или „Год души“ — в третьей. Таким образом, все, что я спел, нарисовал и высказал, будет находиться вместе».

Это действительно была в некоторых отношениях отправная точка. Во-первых, слово, которое Георге использовал для обозначения «публикации», было *Herausgabe*, совершенно нормальный термин в немецком языке, но и такой, который сохраняет также свое буквальное значение «передачи», или «уступки», или, еще сильнее, «отказа». Для Георге, отношение которого к публике было каким угодно, только не благоприятным, публикация, как оказалось, предполагала своего рода отказ, или утрату. Передача произведения для общего пользования могла показаться естественной ценой, которую нужно было заплатить, если цель заключалась в том, чтобы преобразовать вкусы публики, но это была жертва, на которую Георге шел все еще с огромным нежеланием. И хотя план выйти к публике с более широко доступным изданием его произведений не был осуществлен до конца десятилетия, примечательно, что он уже рассматривал такую возможность в самом начале своей карьеры. Но все же было ясно, что Георге не мыслил уже терминами единичных творений, а теперь имел в виду более широкие модели, более крупные формы, которые начинали приобретать опознаваемую идентичность. Не вполне очевидно, какая связь подразумевалась под различием между произведениями, где он «пел», «рисовал» и «высказывался». Но тот факт, что он начинал смотреть на свою деятельность как на образующее абстрактное или идеальное единство, составленное из несоизмеримых, но все же связанных между собой частей, указывал на будущие тенденции.

В декабре 1895 года Георге опубликовал средний том из задуманной трилогии с неуклюжим названием «Книги пастушьих и хвалебных стихотворений, легенд и песен и висячих садов» («Die Embleme der Hirten- und Preisgedichte der Sagen und Sänge und der Hängenden Gärten»). Другое новшество состояло в том, что тираж был указан в двести экземпляров вместо обычных ста, — такая уступка могла показаться незначительной, но прогресс достигается небольшими шагами. Во всяком случае, как многословно сообщает название — это было самое длинное и наименее благозвучное из всех его названий, — книга в целом была составлена из трех отдельных частей. Каждый из трех разделов «Книг» был фактически вдохновлен разным историческим периодом и в каждом случае разным культурным контекстом. Первый «рисовал» портрет Древней Греции, второй показывал средневековый мир зрелищ и героизма, а третий вызывал дух, как предполагало название, восточного великолепия Вавилона. Но эти три книги вызывали дух Греции Бёклина, дух Средневековья прерафаэлитов и дух Востока французских символистов, а не более непосредственное видение первоисточников. Они поэтому были вдвойне, даже втройне «ложными» образами, копиями с копий, по крайней мере имитациями уже весьма своеобразных интерпретаций прошлых времен и далеких мест. Эта аура интенсивной искусственности была качеством, которое Георге, конечно, очень

ценил, но она не была единственной, или даже самой важной, связью с его предшествующими работами. Предисловие к книге просто объявляет: «В этих трех работах не было никакого намерения нарисовать картину исторического или развивающегося сейчас периода — они содержат размышления души, которая на время убегает к различным временам и местностям и ищет там убежище». Внешний мир фигурировал только в той мере, в какой он представлял собой фон, самое большее — подходящий материал для внутреннего опыта поэта, его «настроений», его *etat d'ame*, которое стихотворение затем прославляет и идеально воспроизводит вновь в душе читателя.

Но это была только половина, и возможно меньшая, истории. На туманном, насыщенном намеками языке, которым приходилось делать типичные публичные заявления, предисловие продолжалось допущением, что поэт извлекает преимущества из «унаследованных понятий», а также из «реального окружения» при создании своих изображений. Опять-таки, это заявление также говорит меньше, чем видят глаза. Ибо, когда Георге уточнил, что же имел в виду под «реальным» окружением, то это были «с одной стороны, наши все еще неоскверненные долины и леса, а с другой стороны, наши средневековые реки и опьяняющий воздух наших любимых городов». Это двусмысленное «наши», к которому обращается Георге как некий — а на самом деле как определенный — немецкий поэт, не следовало, вероятно, понимать в широком смысле. Хотя во всех «Книгах» есть многое, что сильно напоминает Анри де Ренье, Метерлинка и Данте Габриэля Россетти, Георге нетерпеливо отвергал любую такую ассоциацию. Если была какая-либо внешняя помощь «реального», или «натурального», вида, то он, казалось, говорил, что именно немецкая природа, немецкое прошлое и немецкая культура эту помощь и обеспечивали.

Это желание приспособить прошлое и различные культуры для своего внутреннего — то есть немецкого — использования является еще одним способом, каким три «Книги» объявляют о новой фазе в понимании Георге себя самого и своей задачи. Однако, как и ранее и как показывает также предисловие, эта перемена, или сдвиг, скорее подразумевается, чем открыто утверждается. Большинство стихов, которые составляют вводный раздел, описывают сцены, которые, по первому впечатлению, не выходят за рамки пробуждения отдельного чувства и обычно даже приглушают, сглаживают это чувство. Здесь мы читаем, например, о двух женщинах — в окружении абстрактного «старинного» пейзажа, — которые регулярно встречаются в годовщину смерти их любовников, чтобы выразить друг другу сочувствие по поводу утраты; в другом стихотворении — о радости простого пастуха по поводу уходящей зимы, которая заставляет его разразиться ликующей поэзией (намек на мифическое происхождение самой по-

зии); а в еще в одном стихотворении — о стареющем сатире, который оплакивает свою подкрадывающуюся неспособность соблазнить смеющихся молодых девушек своей трубой.

Но все это разорванные образы, создающие задумчивое, немного печальное настроение, разумеется, без какой-либо сдерживающей обязательности. Только позже появится что-то вроде программы или объединяющей идеи. В одном стихотворении, где описывается отъезд юных воинов из своего дома за неясной судьбой — что для многих означает раннюю могилу, — мы читаем, что «они уходят счастливые, с уверенностью в прекрасной цели». В подобном же русле другое стихотворение описывает, как «мы» предприняли путешествие, игнорируя просьбы остаться от «белокурых» и «прекрасных» поклонников. «Ваше счастье нас не волнует, — поют они. — Мы услышали гулкий зов, влекущий нас к храму, к служению Прекрасному и Возвышенному».

«Красоту» можно назвать высшим благом, но как ясно дает понять следующее стихотворение, восхваляется красота особого рода. Везде прославляются физические формы человека, и чаще всего именно мужское тело удостоивается особого упоминания. «Рука его — удивление и восхищение — опирается / На правое бедро, — начинается стихотворение, названное «Борец». — Солнце играет / На его сильном теле и на лавре / у его бровей». В другом стихотворении прославляется «божественная нагота» мраморных статуй, а в еще одном, на ту же самую тему, — темнота. Описывается восточный дворец, построенный из массивных, отесанных камней, на которые падают тонкие лучи света, освещая нагие тела внутри, самых разных оттенков: «Тела белого мрамора с синеватыми жилками, тела желтого цвета ягод, начинающих созревать, — тела, ярко-красные, как цветы, и темно-красные, как кровь». Этот последний отрывок, обнаруживаемый, разумеется, в третьем разделе книги «О висячих садах», готовит почву для некоторых более поздних эротических стихов Георге. Серия из пятнадцати стихотворений, в этой последней, третьей, части, тематически связанных друг с другом, рассказывает историю о двух любовниках, сводящуюся к ряду событий, достигающих высшей точки в их физическом союзе. Продвижение к этому кульминационному моменту — страстная молитва, произносимая поэтическим голосом. «Если я не коснусь твоего тела сегодня, — узнаем мы в одном особенно запоминающемся отрывке, — волокно моей души порвется, как слишком туго натянутая струна». Наконец, долгожданный момент наступает, но все происходит словно во сне:

Когда за усыпанной цветами дверью
Мы ощутили дыхание друг друга,
Достигли счастья, о котором мечтали:
Я помню, что мы начали трепетать,

Словно тростинки,
Едва прикоснувшись друг к другу.
И мы долго оставались рядом.

Один из критиков Георге написал, довольно сдержанно: «Стихи о любви в „Висячих садах“ являются единственным художественным свидетельством удовлетворительных отношений с другим полом». Под «другим» в данном случае предполагается женский пол. Но есть причина сомневаться в обоснованности этого суждения. Верно, что цикл начинается со стихотворения о любовнике, который хочет устроить «случайную» встречу с объектом своей привязанности и задается вопросом, по какой тропе «она пройдет сегодня». Больше пол возлюбленного никогда не упоминается, на него нет даже намеков ни в местоимениях, ни в прилагательных, ни в определенных артиклях. Мы видели, что Георге использовал эту технику и ранее, и здесь его намерения могли быть теми же самыми. Стихотворение, которое сразу же следует за этим, только что процитированным, усиливает предположение, что по меньшей мере Георге хотел оставить решение открытым. После удовлетворения своей страсти эти два любовника — их пол, как и ранее, здесь также остается необъявленным — лежат в объятиях друг друга, но один из них противоестественно и необъяснимо страшится того, что его обнаружат, и это обнаружение, делаем мы вывод, может покараться смертью обоих.

Когда наши руки сплетают гнездо у наших висков,
Когда мы лежим в священном спокойствии
И в наших конечностях благоговейно стихает огонь:
Бесформенные тени, прыгающие вверх и вниз по стене, —
это стражи, способные нас разделить,
А белый песок за городом готов поглотить нашу кровь.

Угроза насилия, санкционированного государством убийства и дикой жестокости, знакомые по «Альгабалу», а здесь подчеркивающие наказание, ожидающее тех, кто предался запрещенной любви, фактически пронизывает всю книгу. Этого, возможно, и следовало ожидать в «восточном» разделе, который описывает, как неназванный «Завоеватель», блуждающий «по трупам» в «городе, который он только что сокрушил», приходит в храм побежденного народа и вызывающе поднимает свой «острый клинок» на изображение их бога. В другом месте рассказывается о другом правителе, имеющем не только мимолетное сходство с императором Альгабалом, который, столкнувшись с нависшей угрозой захвата его королевства вторгающимся врагом, предается уединенным воспоминаниям о «последних временах, когда он был героем» и мог дерзко смотреть на тех, «кто, лежа на земле, не признавал поражения и чья голова отлетала от мягкого и тонкого тела при любом его кивке».

Но преобладание подобной атмосферы войны и кровавого произвола, а также иных «героических деяний» в среднем, средневековом, разделе вызывает беспокойство. На этих центральных страницах изобилуют ссылки на «свист копий», «воинов, укрощающих коней», «сверкающие мечи», «легионы рыцарей и солдат», ведущих «добрую войну», которые представляют «доказательство истинной героической добродетели». Самое откровенное, и не случайно самое кровавое, стихотворение названо «Деяние». Поразительно, что оно прославляет не актуальное или реальное событие, а воображаемое «деяние», воспроизводя мечту юного мальчика. Прогуливаясь по полю цветов — они зловеще уподобляются «молчаливой армии», — юноша бросает камень в колодец и, глядя рассеяно на концентрические кольца, образующиеся в воде, фантазирует о своей будущей славе, «возможно, видя себя под покрывалом известности и крови». В сцене, украденной прямо из «Нибелунгов», мальчик мечтает, как «отправится на поиск смерти и ран», смело войдет в мрачный лес, где живет похожее на дракона животное, — и «прежде чем его рука вооружится вынутым из ножен мечом, чудовище падет, побежденное ядом и огнем». И победивший мальчик «последует своим путем, освещенный светом факела, — его прекрасный взор будет устремлен к горизонту».

Христианину, особенно католику, этот сценарий мог бы также напомнить историю Святого Георгия, который, согласно легенде, отважно предал смерти внушающего ужас дракона. Тот факт, что аббревиатура имени святого — Св. Георгий (St. George) — была также любимой аббревиатурой, используемой поэтом для обозначения самого себя, выдвигает на первый план только одну из самых легкомысленных автобиографических аллюзий стихотворения. Тревожнее то, что желание завоеваний у Георге, кажется, решительно приняло более темный оборот в этой книге и что победа над всем миром приравнена военному, по крайней мере физическому героизму, а не простому поэтическому освоению этого мира. По общему признанию, это последнее стихотворение рассказывало о простом юноше, увлеченном не более чем безопасной мечтательностью, к какой маленькие мальчики повсюду склонны. Но Георге уже не был мальчиком, и его собственные мечты о господстве не были лишь безвредным способом принимать желаемое за действительное. Кроме того, образы, раскрытые во всех трех разделах «Книг», — образы сильных и молчаливых юных «героев», свершающих великие «деяния», освещенных скудным мерцающим светом открытого пламени, — продолжают возвращаться в сочинения Георге до самого конца.

Еще раз важно подчеркнуть, в какой мере то многое неявное, что изображается здесь как фактически завершенное, в ретроспективном анализе проступает с резкой ясностью и в какой мере наше понимание окрашивается неизбежным знанием о том, что же в конечном счете случилось с

Георге и его наследием, взамен того каким он казался тем, кто знал его в конце 1895 года. Стихи, собранные в «Книгах пастушьих и хвалебных стихотворений, легенд и песен и висячих садов», не являются яростными призывами к оружию — отнюдь нет. Но они были выражением жестокого и неумолимого желания заставить все и всех подчиниться его правлению — по крайней мере, его слову. Эта фундаментальная черта, всегда активная, обнаруживает себя более тонкими способами и в этой книге также. Есть особый раздел, приложенный к первой, «греческой», части, у которого даже есть свое собственное название, «Хвалебные речи для некоторых юношей и женщин этого времени».

Каждое стихотворение в этом разделе адресовано особой персоне, но имена — либо греческие, либо звучащие по-гречески: Дамон, Мениппа, Каллимахус, Сидония, Фаон, Котитто, Антиной и Аполлония. Как оказывается, все они были масками тех людей, которых Георге знал, — отсюда ссылка на «юношей и женщин этого времени». Это поэтические портреты его друзей, включая Альберта Сент-Поля, Изи Ауэрбах, Вацлава Лидера, Людвига Клагеса, Фриду Зиммер-Зерни (певицу, которую он встретил в Мюнхене) и Эдмонда Рассенфоссе (не случайно именно ему Георге дал псевдоним Антиноя, злополучного возлюбленного римского императора Адриана). Георге переносил эту практику посвящения стихов своим друзьям в следующие книги и, воздавая им должное, часто уделял им значительное место в своих стихотворениях. В своей следующей работе, «Год души», их личности уже не прячутся за вымышленной личиной, но раскрываются только инициалы. Наконец, в «Седьмом кольце» (1907) они появляются под своими полными именами, а в его последней книге, «Новый Рейх» (1928), и имена и фамилии и инициалы друзей используются, на первый взгляд, наугад. Но во всех этих случаях есть навязчивое ощущение, что, включая их в свое частное святилище, Георге желал и прославить своих друзей, и поглотить их.

Попытка Георге присвоить выпуск «Пана» в качестве средства продвижения своего собственного дела, возможно, потерпела неудачу, но другие все больше и больше помогали ему в его усилиях, заботясь о его публичной известности. В марте 1896 года Гофмансталь написал длинный очерк для венской ежедневной газеты «Die Zeit» о трех «Книгах», названный просто «Стихи Стефана Георге». Это был первый значительный отклик, который получило его произведение, и самый проникательный из всех когда-либо появившихся. Отмечая особую двойственность, свойственную позиции Георге по отношению к публикации, Гофмансталь предположил, что стихи «не были предназначены для публики, но и не скрывались от нее». Они просто имели место, как какое-то природное явление, которое не требует нашего внимания, но которое трудно пропустить. По-

сколько же природные явления не были сильной стороной Георге, то можно сказать, что они источали немного чужеродное, почти парализующее физическое присутствие. «Хотя и переплетенная в богатом пространстве внутреннего и внешнего опыта, — пронизательно отмечал Гофмансталь, — жизнь настолько полно укрошена, настолько послушна в этих трех сборниках стихов, что наши чувства, приученные к запутанному шуму, окунаются в невероятное спокойствие и прохладу глубокого храма». Гофмансталь отметил также, без сомнения помня о воздействии Георге на него самого, что «то тут, то там, на фоне приглушенных размеров, тональность стихов становится сильной, почти угрожающей». Основным отношением, которое они передают, было желание «оставаться выше жизни», и Гофмансталь остроумно признавал, что особенно последний раздел, «О Висячих садах», «был наполнен представлениями о высшем личном господстве и смутными жестокими переживаниями». Очерк заканчивается виртуозным росчерком пера, цветистой фразой, которой Гофмансталь в полной мере охватил поэта с его стихами. «Врожденное царство души, владеющей самой собой, — вот предмет трех книг. Нет ничего более чуждого нашему времени, ничего более ценного для немногих. Наше время с удовлетворением обнаружит странную привлекательность в умеренных тиранических жестах, в словах, бережливо произносимых сжатыми губами, в этом легко ступающем человечестве с высоко поднятой головой, и в мире, увиденном в неясном свете ранних утренних часов. Немногие люди верят, однако, что теперь знают больше о ценности существования, чем прежде».

Это была тонкая игра, которая могла быть исполнена многими способами, и не все из них положительные. Далекий от того, чтобы чувствовать себя уязвленным или оскорбленным, Георге был рад. «Ваш анализ моих пасторальных хвалебных стихов настолько чувствителен и прекрасен, — с признательностью писал Георге, добавляя: — это была та рецензия, какую и хотелось поэту. Понимающее слово — теплый весенний дождь для сухой души. Оставайтесь верны мне». Это последнее предписание, которое требовалось при наилучших обстоятельствах, казалось еще более навязчивым в контексте их вечно неустойчивых отношений. В течение года, с марта 1895-го, Георге вновь пытался улучшить отношения с Гофмансталем, посылая ему иногда льстивые, иногда бранные, иногда угодливые письма. В большинстве из них Георге более или менее настойчиво возвращался к раздражающему вопросу об участии Гофмансталя в «Листке», неоднократно призывая его вернуться на путь истинный. Георге первоначально пытался соблазнить его перспективой нового начинания, говоря: «Наш „Листок“ должен претерпеть небольшие внешние перемены (возможно, я возьму все в свои руки!), и я надеюсь на вашу помощь». До сих пор, однако, Гофмансталь вежливо, но решительно, возражал. Он хотел ос-

таваться только «в некоторой близости к кругу», как сказал он в одном случае, или оставаться просто «в определенных отношениях с художественными опытами Георге», как он выразился в другой раз. Никогда не сдававшийся так легко, Георге попробовал избрать иную линию. «Вы едва ли можете написать строфу, которая не обогатит нас новыми острыми ощущениями, даже новым способом чувственности», — ворковал он в феврале 1896 года. Он даже наделил Гофманстала, не совсем открыто, заслугой возвращения в Германию, сказав: «Кто знает, буду ли я — если не найдется таких поэтов как вы или Жерарди — продолжать писать на своем родном языке!» Все напрасно. Неподдающийся постоянным заманиваниям и запугиваниям со стороны Георге, Гофмансталь упорствовал в сохранении безопасного расстояния.

Нежелание Гофманстала согласиться на то, что Георге называл «добрым делом», было, как мы знаем, основано не столько на принципиальном скептицизме относительно ценности самого предприятия, сколько на закономерном страхе, что Георге будет использовать его в качестве предлога, чтобы завлечь и поглотить. Георге к тому времени уже усовершенствовал то, что должно было стать одним из его излюбленных средств опутывания друзей и партнеров замысловатой сетью обязательств и скрытого подобострастия. Он мог поручать им выполнение небольших задач, незначительных поручений — таких как написание писем от его имени, действий в качестве его посредника, совершения визитов к неприятным для него третьим лицам или просто представления потенциальных новых авторов журнала для его одобрения, — которые создавали между ними тонкое, но осязаемое иерархическое разделение. Именно Георге отдавал приказы, которые другие исполняли. До тех пор пока кто-то был счастлив служить посыльным, писцом или «козлом отпущения», все было прекрасно. Но как только желание не исполнялось, а приказу не повиновались, Георге регистрировал свое разочарование, неудовольствие или что-нибудь похуже. Именно это и лежало за его призывом «верности» к Гофмансталу, и Гофмансталь знал об этом.

Если Гофмансталь, казалось, приносил ему только несчастья, то Георге мог находить утешение в преданности других. Он был уверен, например, в преданности Вольфскеля — в противоположность непослушному Гофмансталу крупный, подвижный и фанатично увлеченный гессенец никогда не предоставлял ему серьезной причины сомневаться в своей верности. И все же даже здесь Георге считал, что самая лучшая политика состояла в том, чтобы доверять, но проверять. Жадный аппетит Вольфскеля к человеческому общению, его страстная одаренность к свободно выстраиваемой беседе и его непосредственная, экспансивная натура на самом деле заставляли иногда задаваться вопросом, был ли он действительно заинтересован в своеобразном деле Георге. Ранее в том же 1896 году, в марте,

Георге в порядке эксперимента высказал оговорки о, возможно, слишком энергичном увлечении Вольфскеля лихорадочными удовольствиями — и потенциальными опасностями — Берлина. Георге надеялся, это не означало, что он стал непригодным для своего самого важного призвания. «Мой дорогой и почитаемый Учитель, — бурно заверял его Вольфскель, — как мог бы я позволить называть себя вашим учеником, если бы был способен на колебания. Но вы знаете меня и мой голод на людей и не будете превратно истолковывать мое стремление узнать жизнь во всей ее полноте. Я сделал выбор сегодня и навсегда. Вы должны оставаться в храме — но позвольте нам снаружи восторженно приносить новости с улиц и рынка. Это не тот случай, где мы обязаны преклоняться, в самом деле!» В любом случае, продолжал Вольфскель, в прусской столице он не был счастлив. «Берлин — только сконцентрированное выражение, экстракт нашего ужасного века». Вольфскель, казалось, искренне страдал в городе, чувствовал себя там неуместным и больным. Но, возможно, протест Вольфскеля был заявлен немного острее благодаря его знанию, что это соответствовало официальной доктрине. Словно с целью вознаградить его за эту демонстрацию преданности Георге ответил: «Сам факт, что ваше пребывание в этом городе языческих героев и шлюх становится невыносимым, — хороший знак, и вы видите, что все еще полностью принадлежите нам». «Вы принадлежите нам» — это была фраза, которую Георге унаследовал от Малларме, но Георге использовал ее с характерным изменением акцента. Принимая во внимание, что французский мэтр понимал ее больше как признак братского родства, и в этой фразе второе местоимение было действительно множественным числом, немецкий Учитель наделил ее более своеобразным значением. «Вы принадлежите нам» — это все больше и больше означало для Георге «вы принадлежите мне».

Но никакие уговоры, никакая лесть, никакие запугивания, казалось, не были способны переместить Гофмансталя в эту желанную категорию. В апреле Георге, некоторое время полагая, что ему удалось наконец побудить его приехать в Бинген, торжествуяще написал верному, но поддающемуся искушениям Вольфскелю, который теперь чувствовал себя брошенным в Берлине: «Может быть, вас обрадует приятная новость, что Гуго Гофмансталь намеревается приехать сюда в сентябре. Я тогда приглашу вас, а также Лидера и Жерарди на Конференцию первых немецких Поэтов». В конце концов, как мы знаем, Гофмансталь не посетил встречу. Но его отсутствие на конгрессе не препятствовало тому, чтобы Георге предпринял еще одну последнюю попытку завоевать сотрудничество австрийца. В середине сентября 1896 года Георге сообщил ему: «Недавно произошел *новый* поворот в нашей литературе, особенно в том, что касается вас лично». Напомнив о встрече в Бингене, которую тот пропустил, Георге сказал, что обсуждение сосредоточилось, главным образом, на их будущих

планах относительно журнала. «Я уже делал Вам намеки о расширении нашего „Листка за искусство“ и поддержанный многими обнадеживающими признаками полагаю, что вскоре приблизится время издавать ежемесячный немецкий журнал, какого, как вы знаете, еще не существует. Будьте уверены, тогда мы сможем обратиться к массам». Для Гофманстала, который наверняка почти ничего не знал о разгроме «Пана» и, таким образом, о вновь обретенной готовности Георге рискнуть испачкать кромку своего плаща, отважившись окунуться в грязь рынка, такая откровенность могла показаться громом среди ясного неба. Одинаково потрясающим могло быть и то, что следовало далее. «Художественное направление, вероятно, осталось бы тем же самым, но эстетический раздел мог значительно увеличиться благодаря добавлению некоторых действительно выдающихся молодых ученых. Таким образом, редакционная коллегия состояла бы из двух поэтов и одного ученого». Поясняя, Георге добавил: «Считаю важным предложить, чтобы вы стали одним из этих поэтов. Вы — первый человек, к которому я обращаюсь».

С самого начала Гофмансталь требовал включения большого количества аналитических и рассудительных очерков, и его требования последовательно игнорировались или отклонялись, часто сопровождаемые снисходительными объяснениями, что «Листок» не причастен к таким грубым популяризациям. Теперь же журнал не только включал «эстетический» раздел и приглашал «ученых» принять участие (Георге, кажется, имел в виду берлинского профессора Макса Дессуара), но также явно и намеренно стремился к обращению к «массам». Кроме того, Георге подразумевал, что обойдется без подписи Клейна как издателя, что позволит ему, стоящему близко к Гофмансталу, впервые выступить открыто. В проекте письма, вероятно написанного в том же самом октябре, но так и не отправленного, Георге фактически открыл то, о чем многие давно подозревали. Он признал: «В течение почти шести лет, — не будучи единственным, кто руководил делом и был исполнителем... я тем не менее был руководящим духом каждого элемента, даже самого незначительного и поверхностного вопроса, в нашем „Листке за искусство“ — и поэтому был полностью осведомленным». Тот факт, что новый план означал бы выбросить Клейна за борт корабля, казалось, не очень беспокоил Георге. Он уже в той или иной мере обходился без него. «Вы умерли или еще живы? Я хочу это узнать, — писал Клейн ему (что странно, на английском языке) в том же самом месяце. — Чисто деловые отношения между нами почти исчерпаны — и это хорошо, — но предполагает ли это и прекращение дружеских отношений?» Хотя позже Клейну и были предложены вновь какие-то секретарские обязанности и его имя как редактора до конца появлялось на обложке «Листка», но его активное участие и в журнале, и в жизни Георге было прекращено самое позднее осенью 1896 года.

Георге не мог так легко оставить Гофманстала. Имея достаточно опыта, чтобы быть в состоянии предвидеть вероятную реакцию Гофманстала на предложение о совместной издательской работе, Георге убеждал его тщательно подумать об этом, прежде чем дать ответ. «Так как у этого журнала может быть огромное значение для вашей и моей жизни, прошу, чтобы вы старательно все изучили, прежде чем пошлете возражение». Ожидание отказа превратилось в сбывающееся пророчество. Выждав месяц, прежде чем ответить, Гофмансталь оформил свой отказ в виде самообвинения, разумно порицая собственную слабость и неспособность принять приглашение Георге. «Я чувствую себя настолько неуверенным в своей работе, настолько далеким — не от зрелости, но даже от индивидуальной уверенности и жизнерадостности, — что мысль обнародовать свои письма перед людьми наполняет меня чем-то вроде страха». Учитывая этот явный недостаток уверенности в себе, эту почти болезненную уязвимость своего положения в мире, как он мог претендовать на то, чтобы учить других? «С какими идеями, с какими воззрениями на искусство, с какой философией, с какой поэзией я мог бы уверенно выступить, если мне, сомневающемуся в самом себе, колеблющемуся и страшющемуся, приходится каждый новый день дожидаться подтверждения, что я не полностью утратил способность даже вкладывать в свои уста слова, которые мы используем для обозначения всего, что имеет ценность, если каждый дурной день может отказать мне в этом подтверждении, если каждое доказательство внутреннего или внешнего несоответствия способно на многие месяцы лишить меня самообладания, даже отнять у меня дар речи?»

Хотя Гофмансталь и не напомнил об этом Георге, это были проблемы, с которыми он одно время искренне боролся, — растущее недоверие к эффективности языка в целом, к его способности что-либо уловить и передать. Подозрение, что язык был необратимо поврежденным инструментом, способным обращаться только к самому себе, что он был навсегда заключен внутри бесплодной солипсистской тюрьмы своего собственного созидания, достигло высшей точки в известном и парадоксально красноречивом «Письме Лорда Чандоса», которое в популярной форме описывало этот лингвистический кризис. Не случайно, что перед Георге также стояла подобная дилемма; и то, как они подходили к этой проблеме, многое говорит и об их характерах, и об их прямых отношениях друг с другом. Гофмансталь, более хрупкий из них двоих, с самого начала видел, что единственный способ избежать врожденной пустоты языка состоял в том, чтобы решительно встать на путь отказа от него и погрузиться в молчание. (Действительно, несколько позже он фактически полностью прекратил писать стихи и обратился к исключительно иным жанрам.) Георге, однако, встал на другой путь, также соответствовавший его собственной конституции. Если бы слова не делали то, что он от них ожидал, то

вскоре ему пришлось бы сделать вывод, что тогда дела должны прийти им на смену.

Гофмансталь — и он был не единственный — задавался вопросом, в чем заключалась природа этих предполагаемых дел. Завершая письмо, отклоняющее предложение Георге, он убеждал дать ему возможность иметь хотя бы общее представление о том, что планируется. «Ибо я не могу предположить, — продолжал он, — что моя неспособность делать самому то, что могло бы быть ценным для вас и чрезвычайно нравиться мне, должна будет разорвать все связи между вами и мной». Как и во всех его коммуникациях с Георге, тональность была цивилизованной, учтивой, даже умеренно почтительной. Другим он демонстрировал свои реальные чувства. В ноябре 1896 года Клеменс фон Франкенштейн невинно спросил своего друга Гофмансталя о новостях, касающихся журнала, и получил грубый ответ. Гофмансталь раздраженно сказал: «Больше не желаю слушать что-либо о дурацком „Листке“, который застал меня врасплох своей совершенно неожиданной, внезапной публикацией моих стихотворений. Я, между прочим, уже имел с ним скандал и считаю, что скоро он исчезнет, преобразуется в еженедельный обзор или превратится в какую-то иную загадочную вещь». И вновь их хрупкая, осторожная связь — с одной стороны, энергично подталкиваемая и наступающая, а с другой стороны, застенчиво отступающая — разбивалась на куски высказыванием Гофмансталя, который хотел только одного — чтобы его оставили в покое.

Георге никогда не отвечал на отказ. Упорное отрицание Гофмансталем его ухаживаний было, очевидно, горьким разочарованием, и не только на личном уровне. Отчасти, несомненно, из-за этого отказа «Листок» так и не был переделан тем способом, какой Георге в общих чертах обрисовал Гофмансталю. И только полтора десятилетия спустя, с появлением первого «Ежегодника духовного движения» («Jahrbuch für die geistige Bewegung») в 1910 году, критический журнал, который Георге предвидел, появился на свет.

Но той зимой Георге пришлось пережить еще одну потерю. Как обычно он провел часть сезона в Берлине. Там он начал часто посещать дом художников Сабины и Рейнгольда Лепсиус, которые услышали о нем во время поездки в Рим, когда кто-то описал им Георге как «некоронованного короля» и как «одного из величайших умов из числа живущих». Естественно, их интерес был пробужден, и когда сам Георге предстал перед ними в их просторной квартире и студии на Кантштрассе осенью 1896 года, Сабина Лепсиус сразу же решила, что перед ней «исключительная, сильная индивидуальность». «Его взгляд сдержанный и все же очаровательный. Его речь, не будучи громкой, обладает энергичной силой». Найдя его «южный немецкий диалект» приятным, она зарегистрировала единственную негармоничную ноту — цилиндр в его руке и монокль, прилипший к одно-

му глазу. Вскоре Георге стал частым посетителем в доме Лепсиусов, и супружеская пара оставалась в ряду его самых близких друзей в Берлине в течение долгого времени. Полезнее всего было то, что в следующие два года Сабина приняла меры, чтобы Георге провел несколько тщательно инсценированных чтений своих произведений, с целью собрать представителей берлинской интеллигенции в своем салоне, который она для этого случая украсила лавром и затемнила приглушенным светом, сообщая сцене торжественный, почти освященный вид.

Однажды в полдень в ноябре, вскоре после прибытия в город, Георге зашел в квартиру своей старой подруги, Изи Ауэрбах, страдающей в браке, которого никогда не желала, с человеком, которого никогда не любила. Она принимала Георге, откинувшись в шезлонге в своей комнате, убитая хронической подавленностью. После попытки посочувствовать ей или утешить ее, как мог, Георге поднялся, чтобы уйти. Однако, когда он собрался покинуть комнату, в нее вошел другой заинтересованный доброжелатель. С содроганием Георге увидел перед собой Рихарда Демеля. Они прошли мимо друг друга, опустив взоры. Георге, кажется, принял это как преднамеренную попытку их примирения со стороны Изи. Станным, церемонно натянутым жестом, словно бросая бедной женщине вызов, чтобы восстановить свою опороченную честь, Георге обратился к ней позже еще раз. На сей раз он приехал в компании темного, высокого Вольфскеля, который, как секундант на дуэли, молчаливо вручил ей запечатанный конверт. Она открыла его только после того, как они также молчаливо удалились прочь. «Дружбу не оскорбляют, — предупреждало доставленное письмо. — Случается, когда один в состоянии нести другому то, что является внутри него великим и благородным, — это растет и поэтому убывает, а затем исчезает полностью, когда то, что кажется великим и благородным одному, оказывается грубым и мерзким для другого». Она, казалось, поняла, что между ними открылось непоправимое отчуждение, и ответила подавленно: «Тон вашей открытки подтверждает, что мое чувство не было неверным. У меня нет ни вопросов, ни упреков. Я постепенно начинаю понимать, что люди нуждаются в друзьях для самих себя. Они не хотят быть друзьями для других. Я же все еще хочу этого. До свидания».

Даже в своем печальном, полном раскаяния прощании, фрау Изи — которая, как немного позже заявил Георге, когда-то была «его миром» — сумела сказать глубокую правду о ее теперь уже бывшем друге. Он нуждался в друзьях для самого себя, для своих собственных целей, и никак иначе. Принимая во внимание, что Гофмансталь, казалось, был охвачен бесконечным отступлением, Изи Ауэрбах с большим трудом попыталась примирить два несовместимых существа, рискованно игнорируя повторяемые самим Георге предупреждения, что Демель для него был полным ничтожеством. Их обоих заставили испытать наказание за то, что они игно-

рировали его желание. Но Гофмансталь, наделенный особым статусом за свои изысканные дарования, продолжал извлекать выгоду из повторных, хотя и непрошенных актов милосердия.

Иду Ауэрбах, урожденную Кобленц, он никогда больше не видел и никогда ей вновь не писал.





Глава шестнадцатая

«ГОД ДУШИ»

Одной из самых впечатляющих черт Георге в этот период — как, впрочем, и на протяжении всей его жизни — была исключительная работоспособность. Его поэтическая производительность была постоянной и потрясающей с самого начала десятилетия — поначалу каждый год у него выходила одна книга. Лишь после начала выхода «Листка за искусство» в 1892 году — который требовал больших вложений времени и энергии — темп замедляется до одной книги в два года. Пересечение континента в поиске родственных умов, что само по себе опять-таки было трудоемким занятием, не остудило его творческий огонь, но, наоборот, только усилило его. Кроме того, управление его все более и более разнообразными и расширяющимися дружескими отношениями, которые часто требовали поспешно организованных односторонних визитов, казалось, не создавало для него затруднительных положений и не оказывало негативного влияния на умение сосредоточиваться. Удивительно, как Георге, который, казалось, всегда был в движении — начинал неделю, сидя в кафе Луитпольда в Мюнхене, на следующий день был уже в Бингене, затем отправлялся по какой-то надобности в Бельгию или Голландию, и заканчивал неделю тем, что немного задерживался в Берлине, — мог когда-либо находить время, чтобы писать, тем более писать поэзию такого рода, какой никогда не слышали на немецком языке ранее.

Частично это можно объяснить тем, что большую часть жизни Георге следовал строгому ежедневному режиму. Один из его друзей рассказывал,

что, пока ему не исполнилось пятьдесят, он обычно допоздна не ложился спать, разговаривая с друзьями. Как правило, Георге работал в тихие часы от пяти до восьми утра, когда у него был легкий завтрак, а затем возвращался ко сну. В десять он отправлялся на длительную прогулку, обедал в двенадцать, спал до четырех, а затем принимал своих друзей. В более поздние годы Георге удалялся в девять вечера, но в любом случае сохранял такое разделение своего дня. Но на самом деле это не объясняло его плодотворности. Дополнительной загадкой был его обычай никогда никому не позволять видеть, как он работает, или смотреть на его стол кроме тех случаев, когда там ничего не было. Когда кто-то прокомментировал эту вызывающую недоумение привычку, он предложил в объяснение, что «никто не демонстрирует гостям приготовление пищи или объедки». Тактичный довод о чувствительности других играл лишь незначительную роль, если вообще играл, в чрезвычайно скрупулезных попытках Георге скрыть инструменты своего ремесла. Он прекрасно понимал: сам факт, что лишь немногие люди когда-либо заставляли его работающим, только усиливал чувство благоговения перед его производительностью. Такая скрытность относительно средств поэтического производства была поэтому еще одной гранью его расчетливой драматизации своей персоны. Но остается бесспорным, что, особенно ввиду нерегулярных обстоятельств его жизни, сохранявшаяся способность Георге к длительной и производительной работе не может не вызывать удивления.

Нигде выгоды такой способности не были более очевидными, чем в «Листке за искусство». Несмотря на кажущуюся бесконечной жестокою войну с Гофмансталем — его участие Георге пытался изобразить как непремненное условие существования журнал, — журнал положительно процветал. Всего пять выпусков были изданы в 1896 году — первый появился в январе и продолжал выходить с регулярностью раз в два месяца до октября. Так как Клейн временно был отодвинут в сторону, большинство тяжелой работы упало на плечи самого Георге, хотя часть ее он, должно быть, нагрузил на широкую спину Вольфскеля. Во всяком случае, журнал становился более сложным, более разносторонним, более амбициозным — и поэтому отнимающим больше времени, — чем когда-либо прежде. Под угрозой оказалось то, каким образом Георге мог преобразовать себя и движение, которое он теперь возглавлял, в нечто большее или действительно отличное от простой немецкой версии знакомой французской модели. Георге уже объявил о своей независимости от иностранного влияния; теперь он должен был установить границы своей собственной области. В течение 1896 года первые наброски того, чем в конечном счете мог стать Георге, начали понемногу давать о себе знать. Первоначально границы были еще расплывчатыми. Но постепенно контуры приняли более определенную форму, втиснутую в признанные очертания под давлением внутрен-

ней критики, дружеских подсказок и возрастающей потребности защитить уже завоеванную почву.

Вводные максимы «Листка», которые сопровождали каждый номер, уже выкристаллизовались в такой форме, где его цели, и в первую очередь цели самого Георге, нашли свое наиболее явное и концентрированное выражение. Но ясными они не были. В январе, например, на совершенно разумный вопрос «*какое искусство было представлено на этих страницах*», был предложен не очень продуктивный ответ: «Самое важное — это художественное преображение жизни; какой жизни, не имеет значения в настоящее время». Понимая, что вопросы на самом деле нельзя оставлять без ответа, Георге разрешил в конце введения дать немного больше характеристик его концепции искусства, по крайней мере некоторое расширение этой загадочной декларации. «Просто предположим, то, что мы искали, стало частичкой вечности — искусство, свободное от всякого служения, возвышающееся над жизнью, после того как оно постигло жизнь», другими словами, «искусство радостного созерцания экстатического порыва звука и солнца».

Это было точно так же бесполезно: просто вновь заявляли, не добавляя никаких уточнений, ничего свежего, тезис *l'art pour l'art*. Но рядом с очерком Вольфскеля, содержавшимся в том же самом выпуске, эти заявления кажутся образцом ясности. Названный «Жрец духа» («*Der Priester vom Geiste*»), короткий эскиз из двух страниц, на самом деле представлял собой скрытую, идеальную биографию самого Георге, прослеживающую в чрезвычайно абстрактных, косвенных терминах его интеллектуальный и художественный маршрут. Но только посвященный мог понять, какие дали он открывает. «Легкая победа! Все стало для вас зеркалом, и вы смеетесь». Так Вольфскель описывал предполагаемую реакцию самого Георге на его первую книгу поэзии, «Гимны»; неудовлетворенность, которая последовала, которая привела его ко второй книге, выражена таким образом: «Ничтожная цель! Ничтожная цель! Ваши уста пели, однако, ваша душа кровоточила. Вы облачили себя гордыней печали, которую не принимали во внимание». Это не язык того, чьей первой заботой было истолковывать или объяснять. И действительно, Вольфскель желал не анализировать, не оценивать, но заклинать. Это был не просто очерк о Георге, он был нацелен на него. Схватывание «жизни в царстве реального» — вот что защищал Вольфскель. По сути дела, он хотел убедить Георге оставить эфирную плоскость чистой поэзии и принять участие в активной жизни, отбросить мантию изолированного и одинокого поэта, чьи «победы» — победы, вполне буквально, только по названию, и взяться за великие цели в реальном мире. «Отбросьте пугливый эгоизм, эту робкую душу! Она всегда цепляется за эфемерное и отворачивается от любого становления. Новое жречество возникло, чтобы объявить о новом царстве [*Reich*] верующему.

Душа чувствует грозовой невыразимый экстаз созидания, истинного созидания». «Путь к жизни найден, священный путь, на котором каждый шаг — как триумфальная песня».

Но переход от эзотерического символиста к жреческому завоевателю более труден, чем кажется. Во-первых, чтобы установить «новое царство», следует ощутимо разметить периметры старого. В следующем номере «Листка», в марте, введение прямо столкнулось с этой проблемой. «Подходить к искусству с серьезностью и священным трепетом — это было неизвестно целому поколению поэтов, которые нам предшествовали». Очевидно, максима обращена в особенности к немецким поэтам, и несколькими строчками далее привлекается авторитет Гёте и Ницше — они также никогда не упускали возможность критиковать свой собственный народ и его культуру — с целью подтвердить заявления относительно отсталости немцев и порочности их культуры. «Тот факт, — гласила другая максима, — что в нашей стране не может быть никаких художественных или поэтических событий, доказывает, что мы находимся во второразрядном культурном состоянии». (Вновь иллюстрируется тесная близость идей, выраженных в этих афоризмах, собственным представлениям Георге, письму, которое он написал Гофмансталу в апреле, где упоминается о его желании опубликовать статью в «главной иностранной газете», «где художественные события рассматриваются как события вообще».) Даже традиционный немецкий «готический» шрифт, называемый *Fraktur*, используемый в большинстве книг, изданных в XIX веке, рассматривался одновременно и как симптоматичный, и как способствующий общему ужасному положению дел. «Немцы не обретут вкус, пока не разочаруются в этой безвкусице так называемого немецкого шрифта».

Мы знаем, что это неустанное унижение немецкой поэзии, немецкой культуры и всего немецкого государства имело у Георге весьма личные корни и было не только или даже не большей частью продуктом его художественных наклонностей. Но было странно наблюдать, как кто-то, почти полностью неизвестный широкой читательской публике в Германии, берет на себя смелость реформировать предположительно плачевный вкус своих сограждан не только в поэзии, но и во всех искусствах. И он, казалось, полагал, что самым быстрым способом пробудит подбадривающими разглагольствованиями вялых соотечественников от их варварской дремоты. Если немцев удастся убедить в том, насколько ужасными на самом деле они были, то казалось, верил он, что они не могут не попытаться исправиться. Это едва ли было похоже на выигрышную стратегию завоевания широких симпатий и сотрудничества с движением. Но, как показало время, было множество людей, желающих, чтобы им рассказали, какие они негодные, и насколько они способны поклоняться тому, кто, как они верили, был безупречно совершенен.

Одним человеком, который оказался несклонным принести такую жертву, был Людвиг Клагес. В декабре предыдущего, 1895, года Клагес — немец с Севера и протестант — написал Георге, что он думает об уходе «Листка» с той почвы, которая, как он считал, становилась «слишком лично ориентированной, слишком мягкой, символической, южной, гармоничной». Клагес вместо этого желал придерживаться так называемого «северного элемента». Хотя Георге послал тщательно сформулированное возражение ему лично, реальный ответ появился как одна из максим в журнале. «Нам был выдвинут упрек, — гласил мартовский выпуск 1896 года, — что все наше художественное движение в „Листке“ является слишком южным, недостаточно немецким. Но, возможно, самым выдающимся и самым естественным из всех особенностей немецкого племени является следующее: искать свершения на юге, на юге, которым овладели наши предки, к которому наши императоры спускались, чтобы получить благословение, к которому мы, поэты, совершаем паломничество, чтобы найти свет, сопровождающий в глубинах, — вечное правление немецкой нации в Священной Римской империи».

Повлиял ли на него этот аргумент, но Клагес в конечном счете решил не дистанцироваться от Георге в течение почти всего следующего десятилетия. Все же, каким бы ни было влияние этого отрывка на Клагеса, его значение имело далеко идущие последствия. Впервые Георге излагал то, что положительно идентифицировал с Германией, как противоположность тому, что неустанно отвергал. В сущности, Германия, которую он объявлял своей собственной, была не той новой страной, образованной в 1871 году, но вместо этого пространством, приблизительно описываемым границами Древнего Рима. Это также был типичный, хотя и замысловатый, жест: определяя Священную Римскую империю как ориентир при демаркации своей идеи Германии — то есть воспламеняя память о политическом единстве, которое возникло, когда Папа Римский короновал немецкого императора короля Отто I в 962 году и которое официально прекратило существование почти через тысячу лет в 1806 году, когда германская империя распалась, после того как Наполеон сокрушил Австрию, а годом ранее Пруссию, — Георге также, и не очень тонко, отвергал и немецкое государство, которое фактически существовало и в хронологических и географических границах. Конец Священной Римской империи неразрывно связывался в умах большинства людей с прусским унижением и позором, а обращение к ее долгой и легендарной истории неизбежно пробуждало воспоминания о Германии до прусского господства. Вдобавок с этим был связан еще один довод, конфессиональная структура, предполагаемая старой нацией, выступала как молчаливый протест против воинственного протестантского прусского государства. Как предполагало ее название, Священная Римская империя существовала тогда, когда не было никакого раскола

в церкви, никакой схизмы, вызванной северными мятежниками, эгоистичными диссидентами и лицемерными еретиками, но был единственный, всеобъемлющий, универсальный дом, трансцендентная власть, которую признавали даже средневековые императоры, отправляясь в Рим, чтобы получить благословение Папы Римского на свое правление.

Не менее важным, конечно же, было утверждение «Листка», что немцы достигли своего рода культурного свершения на юге, что они нашли животворящий «свет» в дополнение к своей созерцательной «глубине» только в средиземноморском климате. Здесь также возникало множество ассоциаций. Георге имел в виду — и знал, что его читатели поймут это — не просто итальянское путешествие Гёте и все, что оно за собой влекло, а именно достижение классического спокойствия, наряду с предоставлением своего рода духовного шаблона для последующих поколений немецких странников, включая его самого. Но Георге делал жест и в сторону другой давнишней немецкой озабоченности югом, на сей раз не римского, а греческого происхождения. Контраст между «светом» и «глубиной», блестящим сиянием освещенных солнцем поверхностей и темным, погружающим в раздумья, смутно угрожающим интерьером, предполагал противоположные, но взаимно обязательные категории аполлонийского и дионисийского, которые Ницше разрабатывал в «Рождении трагедии». Немецкое безумное увлечение Древней Грецией, начавшееся в предыдущем столетии пылким грекофилом Йоганом Йоахимом Винкельманом и поддержанное многими другими, все еще ярко горело в дни Георге. Следовательно, многие немцы полагали, что видели в Греции все, чего им не доставало и чего безнадежно желали. Греки представляли для них вершину физической доблести, непревзойденных художественных достижений, осуществления красоты во всех ее формах; иначе говоря, древние греки воплощали собой совершенство. В странной разновидности двоемыслия образованные немцы действительно думали, что могли достичь своей собственной подлинной культурной идентичности, сформировав себя по образу и подобию греков — или по тому идеализированному образу греков, который они произвели.

Во вводном параграфе к выпуску ноябрьского «Листка» следующего, 1897, года эта связь наконец сделалась явной. «Это луч Эллады упал на нас, — гласил «Листок», — это наша юность теперь начинает взирать на жизнь со страстью, но уже не неизменной, это она ищет прекрасные пропорции в физической и интеллектуальной сфере, это она освобождена и от энтузиазма по поводу мелочной общей культуры и от счастья доброго старого милитаристского варварства, это она избегает окостенелой порядочности и бесчестной обременительности того уродства, что живет вокруг них, и желает шагать по жизни с необремененной головой, это она наконец постигла свой национальный характер [*Volkstum*] в терминах величия, а не

в ограниченном смысле племени — здесь любой обнаружит полную перемену в немецком характере на рубеже веков». Иными словами, немецкая молодежь станет квинтэссенцией Германии, когда отбросит все, что делает ее молодежью Германии.

Но то, что вначале может показаться приятным космополитическим, даже непродубежденным чувством, при более внимательном изучении обнаруживает более тревожное напряжение. Поскольку, как мы должны себе напоминать, Георге и его друзья всегда понимали разные вещи под словами «Германия» и «немецкий». Когда они использовались в отрицательном смысле, то почти всегда ссылались, как мы знаем, на официальное государство и культуру Пруссии, вместе со всем тем, что это подразумевало. Реже, хотя и во все более частых случаях, когда эти слова упоминались утвердительно, они ссылались не на существующую единицу, а, скорее, на умозрительное построение, составленное из исторических фантазий, религиозного идеализма и древней и современной мифологии. «Германия», которую Георге поддерживал, жила целиком в его воображении, либо потому что давно перестала быть исторической действительностью — если кто-то допускал, что славное немецкое прошлое, которое он имел в виду, вообще когда-либо существовало, — либо потому что манила к себе как будущая, но отдаленная возможность, которая еще будет реализована. В итоге Георге просил читателей воспитать в себе преданность Германии — его Германии, которая была совершенно нереальным, несуществующим фантомом, собранным из несоизмеримых и часто просто иллюзорных элементов, — и отвергнуть тот политический и правовой орган, который фактически существовал.

Каковы вредные последствия, которые могла эта позиция породить, становится ясным из опыта, зарегистрированного при знакомстве, принятом Георге в начале 1897 года. Молодой композитор из Англии по имени Сирил Скотт приехал во Франкфурт в предыдущем году, чтобы завершить свои музыкальные штудии. Незадолго до этого он связался с Клеменсом фон Франкенштейном — с тем же самым другом Гуго фон Гофманстала, который был предлогом для последней размолвки с Георге. Высокий, тонкий, светловолосый и поразительно красивый, Скотт добился раннего успеха (он, вместе с австралийским композитором Перси Грайнджером и некоторыми другими, был позже включен во «Франкфуртскую группу» в Англии), но в конечном счете оказался неспособен оправдать свои первоначальные обещания. «Как композитор, — гласил некролог Скотта в 1970 году, — он имел все дарования, за исключением сильного характера, чтобы производить впечатление на свою аудиторию». Обладал ли он сильным характером, но был чрезвычайно привлекательным. Очаровательный, доверчивый и энергичный, он источал притягательную живость. Однажды днем на квартире Франкенштейна Скотт был представлен

Георге, который сразу же почувствовал расположение к юному английскому музыканту. Родившийся в 1871 году, Скотт был на одиннадцать лет младше Георге, и вскоре тот пригласил его приехать в Бинген, где с радостью принял. «Обладавший яркой внешностью, прирожденными манерами, — вспоминал Скотт позже, — Стефан Георге был самой поразительной и необычной личностью, с которыми я когда-либо сталкивался». По крайней мере, поскольку дело касалось внешности семнадцатилетнего англичанина, Скотт явно пробуждал подобное оживление у Георге. Он вспоминал, что, когда английский парень однажды посетил Бинген с какими-то из своих, местных рыбаков воскликнул в восхищении: «Бог мой, какие красивые мальчишки!»

С самим Скоттом Георге был необычно прямодушен. «Мы предприняли много совместных прогулок, — сообщал Скотт в своих мемуарах, — и я вспоминаю, что как раз во время одной из этих прогулок Стефан Георге признался, что его привязанность ко мне была необычной». Очевидно, Георге не питал больших надежд, что на его привязанность ответят таким же образом. Скотт сообщал: «Георге с самого начала предполагал, что я не из тех, кто мог бы ответить взаимностью на его чувства». Даже при том, что Скотт нашел «признание и его причину чрезвычайно смущающими» и почувствовал себя «встревоженным, думая, что у него могли быть наклонности, которые в те дни большинство людей расценивало с ненавистью и отвращением», он не прерывал отношений. «Если я и не восхищался и не любил Стефана Георге так сильно, — объяснял Скотт, — и не испытывал гордости, когда меня видели прогуливающимся по улице или сидящим в кафе с такой поразительной и магнетической личностью, то все же ухитрился позволить дружбе охладеть и на этом закончить то, что, должно быть, было для него болезненной связью». Когда это произошло, их «связь», хотя и прерывавшаяся несколькими длинными периодами, продолжалась уже четверть столетия. Но она всегда оставалась, как однажды Скотт осторожно выразился в письме к Георге, строго «платонической».

Примечательно, что Георге мог принять такую договоренность на личных основаниях, но более категорично не потому что подчинялся какому-либо внешнему суду или более высокому авторитету. «Помню другое замечание, — продолжал Скотт, — которое я сделал в адрес Георге одним прекрасным утром, когда мы сидели вместе и смотрели на Рейн. Я сказал, что отношусь неодобрительно к любой форме поведения, которая противоречит законодательству страны. Он насмешливо улыбнулся и заявил, что, если бы эти законы должным образом проводились в жизнь, то многие выдающиеся персонажи в различных странах могли бы пострадать. Поэтому полиция должна тщательно все продумать, прежде чем принимать какие-либо меры». Такое презрение к закону, возможно, не было особенно

удивительным для Георге, особенно если принять во внимание источник закона и его применение. Как он мог признавать закон, который отрицал и порочил самую важную сторону его существования, закон, сверх того и оскорбительный, так как он принимался и исполнялся надоедливymi, недалекими и одиозными прусскими бюрократами?

И все же презрение Георге к юридическим обычаям и принуждениям не ограничивалось такими глупыми запретами, налагаемыми на его личную жизнь, и Скотт был не единственным свидетелем выражения этого презрения. В июле следующего, 1898, года Георге получил неожиданное письмо от Леопольда фон Андриана. Узнав, что сонет, который он оправил Клейну в 1893 году, появился в ноябрьском выпуске «Листка», Андриан потребовал объяснений, почему не спросили его разрешения на эту публикацию, после того как прошло так много времени. Стихотворение, написанное более пяти лет назад, уже не отражало его чувства, чувства того человека, каким он стал. Все еще притворяясь, будто верит, что Клейн был настоящим издателем журнала, Андриан передал свое письмо как обращение к Георге («вам, кто, вероятно, ничего не знал о публикации»), чтобы тот вмешался от его имени и выразил ренегату Клейну свое серьезное неудовольствие и открытую угрозу. Указывая на принятый Австрией и немецкой империей в 1894 году закон об авторском праве, который определял, что право редактора издавать произведение, представленное для публикации, распространялось только на два года после получения, Андриан подчеркнул, «какое скандальное нарушение издателя, которое уже наказывается законом», представляет собой его частный случай. «Надеюсь, — напыщенно заканчивал Андриан, — вы рекомендуете проявлять немного больше осторожности и осмотрительности тому господину, который так плохо понимает свои обязанности. Прошу, передайте ему, что я подам на него в суд, если он издаст другое мое старое стихотворение».

Георге понимал, что в словах Андриана было скорее больше шума, чем реальных угроз. Но у него не было никакого желания впутываться в судебный процесс — и хотя шансы были невелики, что когда-то это произойдет, его ответ был предусмотрительно выверен, чтобы охладить ярость Андриана. Уверяя его, что стихотворение было опубликовано только с намерением «оказать вам честь», Георге сожалел, что публикация вызвала у него такое раздражение, и обещал не печатать в будущем его стихов без разрешения. Но в реакции на угрозу обращения в суд, тон Георге стал холодным: «Советую вам как давнему другу только в самых экстраординарных случаях обращаться к тому, что все называют „законом“. Сделав это, вы самое большее доставили бы удовольствие ответчику, а также множеству праздных зрителей и слушателей». Это замечание вызывало тревогу и оно не становилось менее тревожным от того, что слово «закон» было взято в кавычки. Георге не просто говорил Андриану, что будет безразли-

чен к любому судебному преследованию, нацеленному либо против Клейна, либо против него самого; он подчеркивал также, что не признавал само основание жалобы законным. Георге не нравилось «то, что каждый называет „законом“». Единственным законом, который он признавал, был закон, который представлял он сам.

Но, как рассказывал Сирил Скотт, презрение к юридическим строгостям перетекало в отношении Георге к государству вообще. «Будучи художником-аристократом наиболее ярко выраженного типа, он грубо делил человечество на две категории, — объяснял Скотт. — В одну рубрику попадали художники и интеллектуалы, в другую — *буржуа*, которые считались «ничтожествами». Последние нуждались в законах и религиях, чтобы можно было ими управлять и регулировать их поведение, художники же сами управляли собой, своими эстетическими чувствами, и поэтому были выше законов и правил». Как и многие другие, Скотт поглощал эту впечатляющую доктрину жадными глотками. Желая изо всех сил оказаться среди избранных и любой ценой избежать низведения до «ничтожеств», он вскоре приобрел счастливую привычку думать о себе как о стоящем выше закона как такового.

С позиции более старшего возраста Скотт ясно видел то влияние, которое это высокомерие на него производило. «Конечно, во времена моей молодости, — писал он позже с пафосом самообвинения, — оно усиливало мою надменность и подавляло все симпатии к демократии». Здесь, в нескольких словах, мы сталкиваемся с окончательным следствием, с крайней опасностью отказа Георге от Германии, которая существовала только ради его собственного созидания. Это порождало и поощряло надменное пренебрежение к верховенству закона, игнорирование законного правительства как нелегитимного или, самое большее, как подходящего лишь для того, чтобы управлять самыми глупыми или слишком ненадежными. Это подпитывало ощущение, что существовали определенные неизменные, иерархически установленные различия, разделяющие людей, и что грубый механизм такого искусственного, абстрактного и чисто произвольного изобретения, как «закон», оставался бессильным перед лицом более глубоких и более долговечных истин.

В том же 1894 году Сирил Скотт завел также знакомство с другим другом Георге — живописцем и дизайнером Мельхиором Лехтером. «У него было, — писал Скотт, — круглое ангельское лицо с цветом кожи, как у женщины, маленькие мерцающие глаза, длинные светлые волосы, пухлое тело. Он одевался с большой элегантностью, но весьма своеобразно, и говорил немного шепелявя». Родившийся в 1865 году, в столице Вестфалии Мюнстере — цитадели северного рейнского католицизма — Лехтер рос в чрезвычайно простых условиях и в четырнадцать лет был отдан на обу-

чение к производителю окон из цветного стекла. Четыре года спустя он уехал в Берлин, где стал членом Академии искусств. Здесь, чтобы поддерживать свои студии, Лехтер работал по утрам и ночам на стекольной фабрике. «Да, я не „спал на розах“, — рассказывал Лехтер о днях своей молодости. — Когда другие юные академики поднимались с постели и неспеша завтракали, я уже зарабатывал себе на хлеб!» Не имевший привилегии посещать «классическую» гимназию и поэтому никогда не принуждавшийся изучать латынь и греческий, Лехтер тем не менее обладал огромной, хотя и несколько беспорядочной, ученостью, часто встречающейся у самоучек. Он читал и запоминал великие произведения мировой литературы — насколько они были доступны в немецких переводах, — а от Данте, Шекспира и Гёте был просто без ума. Но Лехтер увлекался также и более свежими сочинениями, такими как романы Гюйсманса и все еще популярного Пеладана. Даже несколько десятилетий спустя, заметив, что младший друг ничего не знает о романе «Наоборот», Лехтер убедил его прочитать этот роман, напомнив, что сам получил от него «сильное впечатление в юности».

Лехтер впервые написал Клейну в марте 1894 года, чтобы спросить о возможности получить экземпляр «перевода Бодлера», о котором было объявлено в самом последнем выпуске «Листка». Лехтер рассказывал, что часто заходил на Унтер ден Линден, в единственный книжный магазин в Берлине, который продавал журнал, чтобы справиться о выходе нового выпуска. Владелец рассказал Георге о его постоянном поклоннике, и скоро Георге пожелал «встретиться с единственным человеком в Берлине, который читал „Листок“». Любопытно, что когда они наконец встретились, Георге представился как Карл Август Клейн — очевидно, маскарад не ограничивался сферой литературы. «Господин Клейн» выслушал, как Лехтер восхвалял стихи Георге, особенно «Альгабал». Только уходя, уже на лестнице, «господин Клейн», иногда улыбавшийся во время их беседы, открылся Лехтеру и сказал: «Между прочим, я и есть сам Стефан Георге».

С самого начала их совместное сотрудничество оказалось весьма теплым и плодотворным. Январский выпуск 1896 года в качестве дополнения включал в себя печатную репродукцию одного из окон из цветного стекла, изготовленного Лехтером. И в декабре того же самого года в фешенебельной галерее Гурлитт в Берлине была проведена первая крупная выставка Лехтера, демонстрирующая работы, изображавшие Тристана и Изольду — Лехтер был страстным и пожизненным поклонником Вагнера, — и иллюстрации к афоризмам Ницше. Георге, всегда изобретательный в том, что касалось расширения своей, как говорили, конюшни, ежедневно посещал выставку на несколько часов не только ради своей собственной выгоды, но также в надежде, что «люди, восприимчивые к такому искусству, окажутся близкими ему людьми». Голландскому коллеге Альберту Вервею Георге с

энтузиазмом комментировал выставку своего сотрудника Мельхиора Лехтера: «...для многих он был открытием и — странно сказать — имел громкий успех в самых широких кругах. Не было ни одной крупной газеты во всем Берлине, которая не пыталась бы освещать его произведения. Его значение заключается прежде всего в том, что он — первый, кто стремится заполнить всю свою жизнь, вплоть до самой мельчайшей детали (украшения, мебель, квартира), Искусством с большой буквы... Поэтому он образует для нас желанное дополнение и в литературе, и поэзии».

То, что имел в виду Георг, когда говорил о стремлении Лехтера насытить жизнь «Искусством», сделалось более конкретным в воспоминаниях Скотта. «Лехтер жил в большой квартире, которую, помимо своей студии, оборудовал почти как часовню. Мебель, его собственного дизайна, была похожа на церковную в каждой детали, и даже спальня была стилизована под средневековую картину. В обеих его комнатах были красивые окна из цветного стекла, невольно порождающие благочестивую атмосферу, в которой можно разговаривать только шепотом, а смеяться было бы кощунством». Скотту показалось, что он даже почувствовал аромат ладана в воздухе. Привычка Лехтера носить длинные бархатные одеяния в виде монашеского облачения и кольца, где было выгравировано священное слово Веды «Ом», добавляла ощущение, что ему было бы удобней в соборе, чем кафе. К облегчению, однако, Скотт обнаружил, что далекий от всякого ханжества Лехтер оказался не лишенным чувства юмора, любящим грубые шутки. «Он всегда весьма удивлялся, когда я совершал „промах“ в своем немецком». Вскоре их отношения стали просто прекрасными. «Его детские манеры, его такая же детская нетерпеливость, и его сходство с откормленным священником — хотя он и был строгим вегетарианцем — вызывали любовь к нему в сердцах всех друзей». Но относительно своего искусства Лехтер был бескомпромиссен. В Георге он видел единственного человека в Германии, который, как и он сам, рассматривал искусство как религию, а художника как священника.

У Георге также росли теплые чувства к Лехтеру, и они тесно сотрудничали в многочисленных проектах следующие пятнадцать лет. (Скотт сообщал своим читателям: «...хотя первоначально я пришел к заключению, что [Лехтер] был гомосексуалистом, как и его друг, позже узнал, что сильно ошибался».) Но что притягивало Георге к Лехтеру, так это не его окна из цветного стекла и не дизайны интерьера, а, скорее, тщательно разрабатываемое Лехтером художественное оформление книг. В начале 1896 года Лехтер начал посылать Георге типовые эскизы титульных листов, чтобы иллюстрировать ранее изданные книги поэта. Хотя эти рисунки так и не нашли своего применения, они уже содержали зародыш того, что станет характерным визуальным стилем Лехтера: декоративные границы, демонстрирующие готические мотивы, усики плюща, окружающие тонкие риф-

ленные колонны, трубы органа, встроенные в высокие резные арки, и огромные канделябры. Целое десятилетие и больше Лехтер использовал эти элементы, чтобы придать произведениям Георге их наиболее характерный физический вид, материальный словарь, который, как и сама поэзия, разговаривал на весьма своеобразном языке, мгновенно узнаваемом в качестве языка, принадлежавшего Георге. Но вклад Лехтера выходил далеко за рамки предоставленного дизайна и простого орнамента. «Я не украшаю книгу, — сказал он как-то с раздражением, — я создаю книгу!» Или, как он настаивал в другом случае, все его художественное кредо исчерпывалось предположением «содержание оживляется формой».

Искусство оформления книги влачило жалкое существование в Германии в течение большей части второй половины XIX века, поскольку более новые и более быстрые технологии печати привели к увеличенным тиражам и снизили качество. Сберегающие время и деньги инновации, такие как вращающаяся печатная машина, введение бумаги, сделанной из древесной массы, и изобретение фотогравюры, привели к бурному росту печати. Но этот прогресс также привел к производству плохо отпечатанных, торопливо составленных книг, которые разваливались на быстро желтеющие страницы всего лишь после одного-двух лет использования. Как жаловался историк книжного дела Отто Граутофф, этот раздел книжной истории представлял собой «жалкую и позорную картину», период, который «ввиду избытка уродства и удручающих примеров дурного вкуса» будет иметь право названным «самой печальной и самой порочной эрой в истории искусства». Это, несомненно, слишком сильное утверждение. Но такое принижение состояния публикаций в Германии в конце XIX столетия имело более чем мимолетное сходство с собственными представлениями Георге о немецкой культуре в целом.

Все начало меняться в 1890-е годы. Вдохновленные новаторским примером англичанина Уильяма Морриса, который основал Кельмскотт Пресс в 1891 году с намерением оживить дремлющие ремесленные традиции и ценности, люди по всей Европе также вновь начали смотреть на книги как на культурные экспонаты, а не просто как на обычные товары. Моррис участвовал в каждом шаге процесса: он рисовал и вырезал свой собственный шрифт, готовил эскизы заглавных букв, создавал декоративные кромки и орнаменты, делал свои собственные гравюры на дереве для иллюстраций, использовал самую прекрасную доступную бумагу — сырье для в какой-то степени грубой ручной работы — и лично руководил печатанием произведений. Его книги впечатляли гармоничностью и яркой индивидуальностью, их хвалили за совершенство и красоту отделки. Георге, прекрасно осведомленный о деятельности Морриса, в августе 1896 года написал Гофмансталю, что хотел опубликовать «в манере Кельмскотт Пресс не только более современных поэтов, но также и хороших старых в изыскан-

ном издании (более подходящем для человеческого существа, чем то, что было до сих пор)». И человеком, который помог ему осознать это желание, был склонный к мистике и монашеству Мельхиор Лехтер.

И все же решение Георге сотрудничать с Лехтером было мотивировано не только заботой о том, чтобы делать красивые или «изысканные» предметы. Позже Георге говорил, что восхищался хорошо сделанной книгой не столько из-за ее эстетической привлекательности, сколько из-за того технического мастерства, которое она демонстрировала. Когда кто-то указал, что большинство примеров отвечающего его требованиям книжного искусства принадлежало французам, он объяснил, что это так, потому что Франция была единственной страной, сохранившей традиции мастерства как искусство для самых широких слоев населения. Но есть надежда, добавил он, что движение, нацеленное на возрождение прикладного искусства, постепенно приведет к усовершенствованию этого ремесла и в Германии. Привлекая внимание к физическому качеству книги — что Георге всегда делал, хотя и менее явно, посредством своей неортодоксальной пунктуации и орфографии, — он хотел подчеркнуть, даже в конкретных условиях, отличие его и его произведений от того культурного контекста, где они были вынуждены обитать. Естественно, такие произведения ручной работы не могли быть созданы в большом количестве, и они не могли быть дешевыми. Поэтому даже материально количество экземпляров, которое можно было издать, было бы ограниченным, и, как следствие, их тайное обращение должно было увеличиться. Не было ничего случайного и в том, что визуальный стиль, который он и Лехтер хотели сообщить этой оппозиционной по отношению к их столетию позиции, был взят из периода, когда искусства в Германии переживали свой первый великий расцвет. Из XIII столетия, еще до того, как умер император Фридрих II Гогенштауфен, когда Священная Римская империя — которая, оглядываясь назад, была также известна как первый германский *Reich* — выступала как зенит культуры, как время, когда поэзия, музыка, архитектура и декоративные искусства достигли согласованного баланса целей и стиля, с тех пор непревзойденного.

Как это все чаще и чаще случалось с Георге, здесь также линия, разделяющая культурные и собственно политические темы, становилась расплывчатой до степени исчезновения. «Готический шрифт, вероятно, как никакой иной художественный стиль является прекрасным и чудесным выражением немецкой чувственности, — полагал историк книжного дела Граутофф; — нигде готический шрифт не вырастает настолько из самой души народа, нигде он так глубоко не переплетается с чувствами народа, как в Германии». Именно эта вера, что готический стиль был выражением архетипа Германии, что он обладал таинственной, живой, почти органической связью с немецкой душой, и сообщала ему особую силу и осо-

бый резонанс. Это, вместе с исторической давностью, религиозными или по меньшей мере духовными коннотациями, вместе с формальной чистотой, и сделало готический шрифт в чисто инструментальном отношении почти непреодолимо притягательным для Георге. Ибо теперь он мог расположиться внутри «подлинной Германии», с ее высочайшей культурой, не имея необходимости связывать себя с современным и решительно несовершенным государством, которое было известно под тем же именем.

В начале октября 1897 года Лехтер написал своей сестре: «Стефан Георге теперь опять в Берлине на какое-то время, чтобы опубликовать свою новую книгу „Год души“ — и добавил: это — драгоценные, богатые, полные глубины звуки!» Это была первая из книг, сделанная им вместе с Георге, давшая в итоге издание, которое в 1902 году сам Граутофф объявил «бесспорно, одной из самых прекрасных книг, которые появились в Германии в последнее время». Другие имели то же самое мнение. Сокурсник Георге из Дармштадта, Георг Фукс, написал зимой того же года дружественную статью, посвященную книге, для периодического издания «Немецкое искусство и художественное оформление», где утверждал: «Немецкие издатели давно не выпускали в свет ничего подобного, что можно было бы сравнить с этой книгой». Фукс подчеркнуто обращал внимание на заботу издателей о мельчайших деталях: «Так, в подборе бумаги учтено, „какова она на ощупь“ и каким будет отношение к обложке как для руки, так и для глаз». Фукс отмечал, что

переход от внешней стороны к внутренней, от японской обложки к бумаге самого текста был выбран для «Года души» с самым тонким вкусом. Одна лишь обложка была снабжена иллюстрированной декорацией. В тексте свинцово-красные заглавные буквы были выбраны для начала каждой строфы, а синие для начала каждого стиха, а затем они чередуются в патетически звучащих названиях. Все остальные буквы в каждой строке — черные. У страниц очень узкие поля: поэтому вся книга кажется компактной, гармонично однообразной, и каждая ее страница — художественное произведение благодаря простой, но изысканной обработке того, что было *необходимо*, без показной роскоши, без изображений: новая мастерская работа.

Все, что касалось физического вида книги, говорило о решимости вернуть воображаемые достоинства готического прошлого. Начать хотя бы с того, что уточненное мастерство и тщательно подобранные материалы воздействовали как осязаемый протест против массового производства. Но украшавшая титульный лист гравюра, изображавшая сидевшего перед органом крылатого ангела в длинном, свисающем одеянии, и синие и красные заглавные буквы в начале каждой строки стиха также наводили на мысль о средневековом манускрипте. Наконец, маленький тираж из всего

лишь 206 экземпляров завершал впечатление, что «Год души» дышал воздухом иного и лучшего столетия. (Первоначально Георге желал назвать книгу *Annum animae*, что еще больше было созвучно средневековой обстановке, но свидетельствовало о не очень хорошей латыни: *annus* — была правильная, хотя по общему признанию и менее привлекательная форма существительного.)

Не известно, что Георге думал о том, что все это значило, — он предпочитал держать это при себе. Несколько лет спустя, он утверждал, что «Малларме похвалил чередование красного и синего, увидев в нем более глубокое значение». Это могло быть единственное значение, которое французский поэт, не знающий немецкого языка, был в состоянии извлечь из всей книги. Благодаря Георге за книгу, Малларме фактически не упомянул о ее цветовой схеме, написав ему в январе 1898 года: «...для меня было честью считаться вашим верующим, даже при том, что мне была доступна только половина божественного чуда вашей книги». Он также похвалил ее «аристократичность» и «изобретательность мечты и возвышенной музыки образов». Малларме писал: «Вы говорите здесь о сезонах вашей души; превосходно, так как вся поэзия, даже интимного рода, разыгрывает спектакль какого-то идеального года». Несмотря на благие намерения, было очевидно, что Малларме не мог следовать за своим учеником. Это также был последний раз, когда они общались друг с другом: великий французский мастер, который за восемь лет до этого учил Георге, как быть поэтом, умер 9 сентября 1898 года в своем загородном доме в Вальвине. Но если Георге и заметил уход Малларме, то сохранил свои мысли на этот счет в тайне.

Находясь в Берлине, Георге не только контролировал публикацию своей новой книги. С начала ноября регулярно встречаясь с Сабиной Лепсиус, он составлял план того, что стало первым из многих наполовину публичных чтений, проводимых в их просторной квартире на Кантштрассе, 162. Список приглашенных составлялся с особой тщательностью и был завершен только после повторных консультаций с поэтом, когда фрау Лепсиус удостоверялась, что предоставила Георге возможность изучить каждое новое дополнение или замену. Большинство приглашенных казались избранными за их способность и готовность передать благоприятное сообщение о собрании настолько широкой аудитории, насколько это было возможно. Одни были профессорами в университете, другие писали для литературных страниц в газетах, третьи были просто известны, и поэтому их слушали. Когда молва о надвигающемся мероприятии распространилась, Сабина Лепсиус с удивлением обнаружила, что приглашение на чтения быстро становилось желанным предметом. Она писала Георге за четыре дня до того, как чтения состоялись: «Эрих Шмидт, если у вас нет решительной антипатии к нему, почти неизбежен. Мы столкнулись с ним дважды за это

время, и он всегда начинал говорить с нами о вас. Надеюсь, что вы не воспользуетесь здесь своим правом вето». Это был тот самый человек, который читал лекции по современной немецкой драме, посещавшиеся Георге осенью 1889 года, когда он впервые приехал в Берлин, — но маловероятно, что Шмидт когда-либо знал, что поэт, с которым он так стремился встретиться, был его бывшим студентом. Ричард М. Мейер, другой профессор литературы в университете, был также приглашен, вместе со своей женой Эстеллой, вероятно, вследствие любезной статьи о Георге и «Листке», которую Мейер опубликовал в апреле того же года в «Preussische Jahrbücher», статьи, благосклонно озаглавленной «Новый круг поэтов». Еще одним профессором среди присутствовавших был социолог и философ Георг Зиммель, который становился все более и более знаменитой персоной в интеллектуальных кругах Берлина и одним из самых популярных лекторов в университете (он привлекал так много студентов на свои курсы — на одном из его курсов их число составляло 269, — что ему приходилось использовать самую большую доступную аудиторию). Включена была также и Лу Андрес-Саломе, известная прежде всего своей связью с Ницше, сопровождаемая своим юным спутником, тогда еще не публиковавшимся Райнером Марией Рильке. Среди остальных слушателей были Карл Вольфскель, Гертруда Канторович, новый член братства «Листка» по имени Карл Густав Фольмеллер, композитор Конрад Ансорг и его жена Маргарет, а также некоторые другие. В целом, известная и достойная группа, которой можно представить поэта в том свете, в каком он теперь желал и ожидал предстать.

Последним дополнением была некая Мари фон Бунзен, художница, время от времени занимавшаяся журналистикой. «Я уже говорила с вами о фрау М. фон Бузнен, — рассказывала Георге фрау Лепсиус. — Она — плохая художница, точнее и не художница вовсе, но она восприимчива и в любом случае безвредна». Сабина Лепсиус, щедрая и добросовестная хозяйка, конфиденциально могла быть язвительной, описывая тех, в ком видела конкурентов; по той же самой причине она никогда не относилась с теплотой к Мельхиору Лехтеру — его отсутствие на вечерних празднествах бросалось в глаза. Но, вероятно, именно «плохой художнице» г-же Бунзен мы обязаны самым ярким рассказом о чтениях, который появился два месяца спустя в газете «Vossische Zeitung». «Был конец ноябрьского дня, — писала она, по памяти восстанавливая сцену, — неопределенные серые массивы зданий, темные силуэты спешащих куда-то людей, белый жар электрического освещения и желтоватое зеленое умирающее небо, один из тех мистически прекрасных моментов, какие метрополис предоставляет тем, у кого выдерживают нервы. Наш хозяин был самым изысканным, самым утонченным портретистом в Берлине». (Бунзен обращалась не к Сабине, а к ее мужу, Рейнгольду Лепсиусу, который действительно пользовался ува-

жением своих коллег, даже при том, что со временем был почти полностью забыт.) Бунзен продолжала:

Мы сидели в комнате, едва освещенной прикрытыми выцветшей парчой лампами, установленными на креслах во флорентийском стиле. Присутствовали известные лица. Они разговаривали только приглушенным голосом. Затем какой-то человек выскользнул из боковой двери и, поклонившись, сел рядом с желтым укутанным светильником; позади него находилось японское украшение из темного золота, недалеко от него — лавровые ветви с высохшими красно-оранжевыми цветами в превосходном медном сосуде. Никогда за всю свою жизнь я не сталкивалась с таким странным лицом — бледным, изможденным, суровым, с усталыми тяжелыми веками, с дрожащим ртом. Скулы были сильно выдвинуты вперед, с широкого, куполообразного лба свисали тяжелые, темные копны волос. Изнуренные мыслью и внутренним борением черты делали его намного старше его двадцати восьми лет. Его профиль имел занятное сходство с портретом Данте в Барджелло. Его голова, его тонкие возбужденные руки странным образом напоминали о молодом Листе. Он читал мягким, ровным голосом, с изящной, отчетливой интонацией. Время от времени его рейнский акцент был тревожным. Хотя я знала большинство стихотворений, было не легко следовать за уже непривычными ассоциациями образов и идей. Но постепенно мы стали загнипнотизированы, заморожены настроением. В конце он встал, рассказал еще одно стихотворение и впервые открыл глаза — унылые, со слегка покрасневшими веками, темные, неподвижные, с некрупными зрачками. Затем он поклонился и ушел.

Почти все стихотворения, которые Георге в тот день прочитал, были из его нового произведения — «Года души», который появился, украшенный щедрым творением Лехтера, в середине того же самого ноября. Однако сами стихи не были новыми, некоторые были написаны за три года до этого, и многие были изданы в различных номерах «Листка» в течение 1896 года. Но рядом с «Альгабалом» новая книга была наиболее плотно организованным и тематически единым произведением из тех, которые Георге выпустил в свет. Это была также, как можно предположить по названию, в высшей степени личная, самая лиричная, самая печальная работа из всех, которые он когда-либо написал. По сей день она остается его самым популярным поэтическим циклом, считающимся самым понятным, самым доступным для эмоционального отклика, потому что представляет собой открытое выражение собственных эмоций поэта, откровенное разоблачение его собственного «душевного» опыта. Здесь поэт не увлекается фантазиями о средневековом или византийском кровавом спорте, и здесь нет больше открытого свидетельства высокомерной убежденности в необходимости поработить и завоевать мир любыми необходимыми средствами. Вместо этого меланхолическая акварель распространяется на картину

мира поэта, сообщая ему немного блеклый, несколько элегический оттенок, скорбный, иногда даже угрюмый. Усиливается ощущение, что поэт говорит прямо из глубин собственной души, включая посвященных в интимную беседу с самим собой, — и это странным образом противоречит предисловию к книге, которое одновременно и подтверждает и отрицает ее автобиографическое значение. Сказав, что предисловие отвечает на вопрос о том, поможет ли идентификация некоторых людей или мест пониманию отдельных стихов, поэт подчеркивает, что «неразумно» искать «человеческий или естественный оригинал» в любой поэзии, включая и его собственную. «Все это пережило такое преобразование благодаря искусству, — объясняет он, — что для самого творца это стало совершенно незначительным, и любое знание об этом для других людей могло бы скорее запутать, чем просветить». Нам говорят, что там, где имена людей действительно появляются — на самом деле появляются только инициалы, — они означают только «дань» или «подарок» тем, кто удостоен таких почестей. Самое важное, заканчивает предисловие, в том, чтобы помнить: «редко я и ты столь единодушны, как в этой книге».

Утверждение, что поэтический голос и адресат — Я и Ты — фактически идентичны в «Годе души», следует принимать скептически, как и требование, что биографический источник стихов является ничего не значащим или просто уводящим в сторону. Это правда, что сходство с подробностями жизни Георге не является слишком важным для понимания стихотворений; история, которую эти стихи рассказывают, хотя и не полностью недвусмысленна, но понятна на самом общем уровне. Никогда до этого Георге не писал о себе так много и таким явным образом. Он, очевидно, больше не чувствовал потребности находить убежище за маской римских императоров или странствующих менестрелей, переносить свои чувства на мифические или исторические характеры далеких времен и дальних мест, использовать иносказательный, косвенный язык, на котором никто уже не разговаривал из страха быть непонятым. Впервые Георге помещает свою поэтическую персону в середине собственного мира — многие из стихов упоминают места возле реки, которая может быть только Рейном, а также пейзажи, напоминающие холмы и долины вокруг Бингена, — и он предстает хореографом сложного танца теней, с фигурами, в которых хотя и нечетко, проступают образы разных людей, которых он знал и любил.

Книга, как и ее предшественница, разделена на три главные части. Первый раздел во многих отношениях самый драматический и легче всего воспринимаемый — он рассказывает о неудавшихся отношениях, которым на смену приходят более успешные и удовлетворительные. Сама эта первая часть разбивается на три отдельных сегмента и, в приверженности руководящему во всем собрании мотиву времени — «год», который душа

проходит, отмечена последовательным прохождением сезонов — каждая группа стихов собрана в секции, соответствующие сезону: «После сбора плодов», «Странник в снегу» и «Победа Лета». В первой секции Георге эксплуатировал общие символические значения осени и зимы, чтобы передать чувство растущего эмоционального мрака и холода опустошенной жизни и приближения смерти. Но объект этой символической смерти — привязанность поэта к женщине, к Женщине вообще. Дело не в том, что разрывающаяся связь была особенно сильной вначале: поэт обещает своей спутнице в первой осенней серии, «выучить спокойные нежные слова», как будто ему не будет стоить больших усилий сделать это и как будто он берет на себя неприятную, но неизбежную обязанность. Описываются длительные прогулки по красочной листве, опадающей с буков и миндальных деревьев, вдоль водоемов, через парки и сады. Но беседуют они приглушенным, умеренным, почти затихающим голосом, и их разговор часто прерывается долгим молчанием. Когда они сидят на скамье, погруженные в свои «мечты», то «только смотрят и слушают, как созревшие фрукты падают на землю».

Это — конечно же, прекрасный образ, но это не тот образ, который передает большую страсть. Скорее, предполагается обратное: он напоминает стихающее пламя, угасающий свет, рассеивающийся жар. Наконец, поэт говорит, что высказал то, что он и его спутница уже знали, — он пишет ей письмо, а затем отходит, чтобы издалека посмотреть, как она его читает:

Я написал — бессмысленно скрывать,
С чем мысленно смирился я пожалуй, —
О чем молчу, а ты не хочешь знать:
Путь к счастью предстоит еще немалый.
Сухой цветок, всем тайнам вопреки,
Открыл, о чем вдали гадаю ныне.
Лист белый выпал из твоей руки,
Как вспышка на безжизненной равнине.

Трудно за этими строками не увидеть неуверенных ухаживаний Георге за Изи Кобленц-Ауэрбах и эпистолярного конца их отношений. Эту связь особенно трудно не заметить тому, кто знает, что первоначально Георге планировал посвятить ей всю книгу, но заменил ее имя именем своей сестры после неожиданного столкновения с Рихардом Демелем на квартире фрау Ауэрбах в Берлине предыдущей зимой. Но форма посвящения здесь уже гораздо шире и имеет отношение не к какому-то одному человеку или событию, а к полу вообще. Первая секция заканчивается, когда поэт, прощаясь со своей спутницей, говорит: «Но если разлучимся мы с тобой, то сниться мне не будешь никогда ты». В «Годе души» Георге не просто прощался с фрау Изи — он говорил, что женщина никогда не будет занимать значимое место в его мире.

Вторая секция, «Странник в снегу», главным образом подчеркивает этот разрыв, и в одном стихотворении снова используется образ цветка — часто символ сексуальности у Георге, — чтобы выразить окончательность разрыва. Поэт описывает растение в горшке на своем подоконнике, за которым он долго с любовью ухаживал, но который теперь начал вянуть и стал ненавистным его взору:

И чтобы не терзаться, созерцая,
Как он томится от своей недоли,
Я бережно его ножом срезаю —
Цветок мой бедный, — мучаясь от боли.

Прерывая эту, скорее, драматическую паузу и переходя к триумфальной «Победе лета», поэт сооружает «костер» — «для своих воспоминаний» и «для тебя» — и поджигает его. Убегая от огня, он прыгает в поджидающую его лодку и видит, что «с берега другого машет флагом брат, ликуя». И именно с этим «братом» поэт празднует пышное летнее солнцестояние.

В этом сегменте, «Победе лета», «счастье», которое ускользало от поэта в предшествующих двух сегментах, оказывается близким: «В порывах ветра шепот новой речи, на сером небе блеск предвосхищений». Здесь язык становится ярким, не обремененным, это почти язык рапсодий. В следующих стихотворениях поэт не отказывает себе в удовольствии описания своего спутника и их «приключений». Но «Победа» — это самое главное. Впервые в произведении Георге возлюбленный уже не скрыт за нейтральным местоимением «Ты», но обретает определенный пол. И не только это — Георге становится таким откровенным относительно природы отношений между этими двумя возлюбленными, каким никогда не был:

Ты помнишь чудный лик того, кто смело
Отправиться за дольней розой мог,
Кем страсть охоты с той поры владела,
Кто пил из зонтичных медовый сок?

Слово «зонтичные» является странным в немецком языке. Георге использовал необычный термин *Dolde*, который генетически указывает на класс цветущих растений, обособленные стебли которых растут из одной и той же точки или луковицы, таких как герань, молочай, репчатый лук или, что чаще другого приходит на ум, лук-порей. Кроме того, слово, которое он выбрал для обозначения «нектара» — *Seim*, — также является многозначным и имеет сильное сходство в немецком языке со словом, обозначающим «семя», а именно *Same*. Даже учитывая то, что известно о привычке Георге прибегать к символике цветов, коннотации этой последней строки, хотя все еще и закамуфлированные, знаменуют поразитель-

тельное отступление от его политики отказываться называть вещи своими именами.

Возможно, принимая во внимание собственный опыт Георге прошедшего года, вновь обретенная откровенность — если ее можно так назвать — не должна казаться удивительной. Его откровения Скотту указывали на новую готовность отбросить фасад косвенных разоблачений, а его письма бельгийскому другу Эдмонду Рассенфоссе аналогичным образом сигнализировали, что он был готов обсуждать свои сердечные проблемы — необычайно длительно и в беспрецедентных деталях — настолько открыто, насколько еще никогда не делал. На самом деле есть предположение, что стихи в этом разделе книги посвящены его связи с одним или двумя молодыми людьми. Но здесь также биографический прототип важен лишь постольку, поскольку уже подтверждает то, что стихи, хотя и абстрактно, выражают вполне ясно. Ибо это прямое послание — в том месте, где ранее находилась Женщина, для которой он долгое время чувствовал себя вынужденным произносить пустые слова нежности и притворной привязанности, теперь пребывает Брат, Мужчина и Мальчик.

Другая причина непривычной прямоты Георге была связана с предостережениями Вольфскеля в «Листке», что следует покинуть символистскую башню из слоновой кости, поселиться в материальном мире и обнять, как ранее выразился Вольфскель, «жизнь в царстве реального». Соответственно, в одном из стихотворений «Победы лета» поэт увещевает как самого себя, так и своего возлюбленного радоваться жизни здесь и сейчас: «Вкусим же сладость бытия земного — мы гости здесь, где радости столь редки!» Сходным образом в синтаксически сложной строфе, поэтический голос предвидит время, когда идеальное и действительное совпадут. Но пока этот день не наступил, говорит он, нельзя осуждать желание убежать в историческое прошлое и в мир воображения как способ испытывать, по крайней мере, предчувствовать любовь:

Не мните, что с ума сошел дарящий,
Что в мыслях пережить вы все успели
И поцелуи спутать не сумели —
Приснившийся во сне и настоящий.

И все же, как и должно быть, наконец лето заканчивается, и поэт вновь обнаруживает себя одиноким и лишенным той полноты чувств, которую только что воспевал. Помимо среднего раздела посвящений друзьям Георге — а большинство этих стихотворений написано раньше, чем эти две части, идущие до этого раздела и после него, — в остальной части книги господствует подавляюще мрачное и скорбное настроение, тематически выраженное общим заглавием заключительной части — «Печальные танцы». Одно-единственного стихотворения будет достаточно, чтобы дать

общее представление об угрюмой атмосфере, заполняющей последние несколько страниц «Года души». Используя образ холодного очага, наполненного лишь обугленными останками, стихотворение имеет почти погребальный резонанс:

У очага вы встали,
Где жар уже погас, —
Свой мертвый свет из дали
Луна струит сейчас.
Вы пальцы погрузили
В золу — авось, на дне
Искра таится или
Огонь есть в глубине...
Одной луне в зените
Угадывать дано —
От очага уйдите,
И поздно и темно.

Фридрих Гундольф, у которого были на то особые причины, утверждал, что это было «„в любом значении“ непостижимое стихотворение». Конечно, стихотворение не сводится к одному-единственному значению, но «радиус его смысла» может быть проведен. Изображение мертвых или умирающих тлеющих угольков, слабо озаренных бледным сумеречным светом, было на рубеже веков настолько распространенным, что рисковало стать банальным. Народы, целые культуры, даже весь мир казался погруженным в сумеречный свет, казался растратившим всю свою жизненную силу, застывшим от холода и испускающим едва слышимый предсмертный хрип. Именно так Георге видел немецкую империю: внешне, на первый взгляд, энергичную и здоровую, но внутри порочную, изъеденную червями и безнадежно умирающую. И все же стихотворение насыщено не ликованием, а покорностью, и нет никаких признаков, что исчезновение желанно; совершенно наоборот. Ибо — и это типично для склонности Георге рассматривать мир как свое собственное расширение — мечты поэта смешаны с пеплом, надежда разжечь пламя выражает его желание вновь пережить возвышенные летние дни, ставшие теперь не более чем мертвой серой пылью, струящейся сквозь пальцы, или черными чернилами, текущими через его перо. Таким образом, стихотворение, а на самом деле и весь «Год души», также воспевает — и отвергает — более ранние амбиции поэта бросить вызов всему миру, создать заменяющее его царство только внутри поэзии, сотворить, подобно алхимику, альтернативную вселенную — по меньшей мере, суррогатную Германию — из химерического безжизненного материала одного только языка. Поэзия продолжала играть важную роль в строительстве этого царства у Георге, но все более и более как средство для другой цели, а не как самоцель.



Глава семнадцатая

НАВСТРЕЧУ ИЗВЕСТНОСТИ

Период, сразу же последовавший за публикацией «Года души», дал начало одному из главных поворотных моментов в жизни Георге, возможно даже самому важному. Последствия перемен еще некоторое время не были видимыми, но общее их направление теперь уже оставалось неизменным. Проведя большую часть предыдущего десятилетия в избранной им самим безвестности, Георге начал претендовать на такое место в общественном сознании, которое ему придется занимать всю оставшуюся часть жизни. Возрастающие претензии на доминирование, которые он ставил перед собой, становились признаваемыми за пределами его небольшого круга друзей, что вынуждало рассматривать эти претензии не в качестве заблуждений страдающего манией величия человека, а как разумную констатацию факта. Казалось, что победа близка, и другие также начали ощущать это. В январе 1898 года Альберт Вервей дал рецензию на последний выпуск «Листка» в своем собственном «Tweemaandeliksche Tijdschrift», где утверждал: «Георге имеет основания быть довольным. Публичное распространение его произведений и журнала становится все значительнее. Теперь его очередь дать понять, что он достиг своей цели, собрав всех прекрасных писателей Германии. [...] И все же есть признаки, что деятельность Георге достигнет еще большего публичного признания». Вскоре было уже невозможно игнорировать Георге — как бы кто не оценивал его достижения, — более того, становилось все труднее оценивать его какими-то иными мерками, кроме тех, которые он сам и создал.

До какой степени такой ход событий отражал сознательную стратегию с его стороны — трудно судить. Одному критику Стефан Георге 1890-х годов «скорее напоминал генерала, который втайне собирает свои силы, выжидая время, чтобы атаковать с преимуществом». Военная аналогия, без сомнения, доставила бы удовольствие Георге, которому нравилось видеть себя «духовным родственником» Цезаря и Наполеона. Что верно, так это то, что в течение по крайней мере двух лет до «Года души» он рассматривал различные способы довести «Листок» и собственные книги до сведения более широкой публики, не ставя под угрозу принципы, на которых они основывались. Решение надеть узнаваемое немецкое пальто (или настоять на том, что то, которое он носил, с самого начала имело немецкий покрой), неудавшаяся попытка добиться успеха на страницах «Пана»; планы, также до сих пор бесплодные, увеличить программу публикаций и расширить область «Листка» так, чтобы он включал в себя философию, живопись и музыку; «публичные» чтения в доме Лепсиусов; наконец декоративные, чрезвычайно стилизованные качества его собственного нового произведения — все это совершенно точно не были действия человека, желающего избежать привлечения к себе внимания. Как известно, Георге долго придерживался почти антагонистической позиции по отношению к «публике», так или иначе он всегда сохранял дистанцию и был презрительно-осторожным. Теперь он казался прагматично готовым спуститься на землю, во всяком случае смягчить свои сомнения и сделать то, что было необходимо, чтобы достичь своих иных целей. Но приняв решение добиваться известности, Георге смог удостовериться, что существовал только один возможный исход. В середине октября 1897 года, непосредственно перед тем как Сабина Лепсиус начала составлять список приглашенных на чтения, он сказал Гофмансталу: «Не может произойти ничего случайного, что помешает успеху. Ибо, как вы знаете, величественно не искать успеха, искать же его и не обладать им — неприлично».

Ясно, что сами чтения имели громкий успех, но Георге имел в виду нечто большее. Недостаточно было одержать победу над небольшим количеством благосклонно настроенных поклонников. Георге должен был расширить область своего влияния за пределы узкого круга личных знакомых, которые до сих пор и формировали сферу его читателей. Он хотел выйти на более широкую орбиту. В определенном смысле «Год души» был выражением этого желания в литературной форме, знаменовавшим окончательный поворот от символистской озабоченности отрицанием мира через язык к связанному, но совершенно иному желанию господствовать и над миром, и над языком. Но Георге знал, что не может сделать это один. Он всегда признавал, что у него должны быть единомышленники и союзники, и его непрерывные, хотя и безуспешные, ухаживания за Гофмансталем

продолжались, по крайней мере частично, и с этой целью. До сих пор, тем не менее, не появилось никого, кто обладал хотя бы чем-то приближающимся к той остроте суждения, безошибочности вкуса или утонченности выражения, которые, казалось, так легко достались Гофмансталю. Разве что на какой-то короткий момент неким исключением оказался Георг Зиммель.

Родившийся в Берлине в 1858 году, то есть на целое десятилетие раньше Георге, Зиммель во многих отношениях был человеком совершенно иного типа. «Зиммеля считали уродливым», — резко выразилась фрау Лепсиус, которая с детства была подругой философа. И все же далеко не только внешний вид создавал ему такую репутацию. Напротив, Лепсиус писала: «Его голова имела прекрасную и весьма характерную форму, как и его лоб, большой, внушительный, с морщинами мыслителя, и его глаза, маленькие но очень выразительные. Нос вообще был еврейским, изящно сформированный рот и весьма пропорциональное тело». Что, возможно, заставляло считать Георга Зиммеля непривлекательным, так это почти демоническая энергичность, интеллектуальная страстность, производящая длинные, блестящие, но в конечном счете утомительные волны замысловатых, абстрактных размышлений обо всем, начиная с итальянского Ренессанса и до дверных ручек и до социального значения предложения кому-либо занять кресло. Никто не подвергал сомнению тот факт, что Зиммель обладал чрезвычайно живым и глубоким умом. Даже антисемитские клеветники, которые никогда не могли простить ему еврейское происхождение (он был окрещенным протестантом), были вынуждены признавать в нем разностороннего гения. Но его интеллектуальная неутомимость, порожденная своего рода навязчивым умственным возбуждением, проявлялась в остром, непрерывном беспокойстве, которое многие считали не располагающим. «Лицо Зиммеля, пребывающее в постоянном, живом движении, когда он говорил, я только однажды видел в состоянии полного спокойствия, — вспоминал его знакомый. — Это было, когда он слушал музыку Баха». Сабина Лепсиус также идентифицировала его нервное физическое беспокойство как источник более чем неприятного воздействия, которое он оказывал на некоторых наблюдателей. «Действительно непривлекательными были его тонкие, испещренные прожилками руки, которыми он слишком много жестикулировал».

В университете, где Зиммель выступал перед многочисленными и всегда растущими толпами студентов и любопытных зевак, оригинальность говорила в его пользу и на самом деле, вероятно, делала его еще более неотразимым перед слушателями. Полагаясь только на несколько набросанных на листке бумаги заметок к своим лекциям, Зиммель производил захватывающее впечатление активного размышления вслух, когда развивал свои идеи, по мере того как они приходили ему на ум, в своего рода иссту-

пленном трансе и сплетал обширные познания в области европейской философской и культурной истории в монологи о происхождении зла или о психологии Данте. Когда он делал вид, что упорно сражается со своим предметом, заталкивая его в границы, исследуя все его тончайшие сложности, то казалось, как описывал один из свидетелей этих замечательных представлений, «все его тело было увлечено творчеством, принимало в нем участие». Стиль чтения лекций у Зиммеля был настолько своеобразным, что слушатели, чтобы описать этот стиль, даже изобрели специальный глагол, назвав его телесное красноречие *simmeln*, или «зиммелением». Следующий анекдот весьма показателен: «Каждый, кто знал его, знал и удивительную манеру жестикулировать руками и раскачиваться верхней частью тела, сопровождающую его рассуждения, когда он пребывал в глубоком интеллектуальном возбуждении. Однажды, делая заключение к одной из своих лекций в нашем кругу, он двигался вперед-назад в таком возбуждении, что его сюртук оказался зажатым между подлокотником и подушкой кресла. Когда ему не удалось сразу освободиться, один из слушателей сказал с улыбкой: „Господин профессор, по-видимому вы призиммелили себя к сиденью“».

Георге, который с подозрением держался на расстоянии от всяких теоретических спекуляций, иногда также забавлялся игрой слов, обращаясь к имени профессора. Уже в 1901 году, например, он предостерег Вольфскеля об опасностях «зиммелефикации» (*Versimmehing*), имея в виду, кажется, интеллектуальное разложение любой вещи не более чем сумму абстрактных отношений. Даже при том, что они познакомились вскоре после первых чтений в доме Лепсиусов, которые беспокойный профессор посетил вместе со своей женой Гертрудой, и несмотря на то что Зиммель посвятил два проникновенных очерка его поэзии, Георге никогда не испытывал тепла от его пиротехники. Георге был поэтом, не философом и поэтому видел мало пользы в тех сложных анализах, которыми Зиммель раскачивал и свое тело и свой ум. Георге настаивал, что часто даже не понимал, о чем говорил Зиммель. Когда как-то зашла речь о сочинениях Зиммеля, Георге сказал: «Я не понимаю в них ни слова». В буквальном смысле это выражение было, конечно, неправдой, но на субъективном уровне хорошо передавало недоверие Георге к чисто абстрактным рассуждениям. Для Георге Зиммель олицетворял собой такую бескровную строгость в высшей степени. Один из более поздних друзей Георге изобрел даже особое мучение, ожидающее Зиммеля в аду — там, в преисподней, он будет испытывать ужасный голод ко всему вещественному и вечно пользоваться лишь образцовыми понятиями. Все же личные опасения по отношению к Зиммелю не препятствовали тому, чтобы Георге по достоинству оценивал такого последовательного, убедительного и вызывавшего широкое восхищение защитника, содействовавшего его собственному делу.

В феврале 1898 года Зиммель издал «Стефан Георге: художественно-философские рассуждения». Это была, бесспорно, самая здравомыслящая и далеко идущая оценка деятельности Георге до настоящего времени. Не случайно, очерк был также самой благоприятной трактовкой, какую до сих пор получала деятельность Георге, и содержал слова признательности, которые вскоре станут стандартной платой на счета поэта. Более остро, чем когда-либо ранее, Зиммель воспринимал не только отличительные черты его поэзии, но и то, что было в конечном счете глубокой угрозой для Георге. Начиная с общих размышлений о природе человеческого опыта, Зиммель утверждал, что именно «чувство», а не рассудок или понимание, представляло собой самое фундаментальное, самое подлинное, «наиболее реальное» ощущение нас самих как живых человеческих существ. И все же, продолжал он, есть две основные разновидности «чувства». Первая — это общие для всех, но ни в коем случае не лишённые значения ощущения любви и ненависти, гнева и смирения, восхищения и отчаяния, и так далее, формирующие основу, на которую опирается весь личный опыт. Но в противоположность этим «просто субъективным» чувствам, есть другая их разновидность, в которой исключительно личное, чисто индивидуальное ощущение уступает место почти трансперсональному, или «объективному», ощущению, словно наше собственное эго было простым проводником для более широкой реальности. Эта вторая разновидность «чувства», ощущение, что нами движет более могущественная сила, чем мы сами, когда наши чувства оказываются частью универсального континуума, согласно Зиммелю, и лежит в основе и творчества, и наслаждения любым истинным искусством.

Хотя Зиммель был всего лишь эклектиком, в этом нашем наброске его эстетической реакции вполне очевидны неокантианские симпатии. Но его аргументация служит явно не кантианской цели: следуя идее, что искусство заключается в обработке и универсализации «чувства» в определенном субъективном смысле, Зиммель в действительности утверждал, что искусство в конечном счете парадоксальным образом ведет к отрицанию своего истока. Другими словами, «естественные», «субъективные», чувства, которые составляют основание всего человеческого опыта, не имеют как таковые значения в искусстве, где они становятся, в своеобразной версии Зиммеля, «объективными». Иначе, рассуждал он, не было бы никакой потребности в искусстве вообще. Если бы живопись или поэзия могли быть сведены к своему чувственному содержанию или просто были с ним тождественны, то было бы проще и не требовало бы так много времени сообщать это содержание более прямыми средствами. Зиммель заявлял об этом с энергичной ясностью: «При создании поэтического произведения искусства его содержание не облачается в поэтическую форму, но, скорее, используется, как мрамор для статуи». Произведение искусства обретает соб-

ственную абсолютную ценность и становится мерой самого себя, не служа никакому внешнему повелителю. Или, как Зиммель написал в одной из талантливых, но уже становящихся немного утомительными вариаций на тему: «Здесь впервые поэзия основательно вступает в стадию *искусства для искусства*, оставив позади стадию *искусства для чувства*». И Зиммель не сомневался в важности такого рода изменения. «Хотя произведения, фактически, всех великих поэтов располагаются на тропе, ведущей от первичного, или натуралистического, чувства к объективному, которое избавлено от насилия примитивного импульса, — писал он, — мне кажется, что, после стихотворений Гёте, только в поэзии Стефана Георге эта опора на транссубъективное качество чувства, это сдерживание его неприкрытой агрессии стало недвусмысленным принципом искусства».

Зиммель редко допускал снисхождение и к своим читателям и к своим слушателям, и этот последний отрывок является типичным примером его плотной и замысловатой прозы. Но смысл очевиден: Георге был, на его взгляд, первым немецким поэтом, после Гёте, который понял истинную сущность искусства и сообщил этому пониманию конкретную форму в своих стихах. Главная отличительная черта деятельности Гёте и Георге заключалась, как полагал Зиммель, в преобразении ими того, что обычно считали целью поэзии — а именно выражение и возбуждение непосредственного, всеобъемлющего, но узко субъективного чувства, — в нечто противоположное. В стихах Георге «чувства» (*Gefühle*) стали, скорее, строительным материалом, формальным средством для другой, более высокой, цели — самого искусства. Зиммель использовал поразительный образ, чтобы точнее передать то, что имел в виду. Он сказал, что понял, что с точки зрения человеческой повседневности этот поворот от «первой теплоты чувства» может казаться странным и отчуждающим, пока не выяснится, что противоположность этой «теплоты» не холод, «но авторитарное управление художественным чувством». «Чувство, разумеется, оставило позади свою юность, для того чтобы стать не старым, но, скорее, безвременным». Оставляя обычную действительность позади, стихотворение и поэт поднимаются в сферу, управляемую своими собственными законами, свободную от обычных забот и даже от влияния времени.

Зиммель также тонко улавливал следствия, предполагаемые этим возвышением поэта над субстратом простого существования. «После этого поворота власть поэта над миром становится полной, — резюмировал Зиммель; — поэтому художник становится абсолютным правителем». Учитывая собственную решительно модернистскую позицию Зиммеля и его нескрываемую близость с символистской концепцией искусства, которое, как предполагалось, избегало любой цели за пределами себя, возможно, не стоит удивляться, что он распознал и приветствовал самодостаточную, почти герметическую вселенную стихотворений Георге. Но Зиммель дога-

дывался и о более глубоком желании Георге быть «правителем», вдохновлявшем его с самого начала. Он видел, что своей поэзией Георге хотел не только создать альтернативу реальному миру, но, более того, утвердить над этим миром свою власть. Он признавал, что Георге предназначено овладеть миром и подчинить его своему контролю. И Зиммель не оценивал это желание Георге отрицательно — он безоговорочно и с энтузиазмом восхищался его смелостью. Фактически, Зиммель безоговорочно считал, что Георге воплощает собой нечто большее, чем простой поэт: «Каким бы великим я не считал чисто поэтический гений Стефана Георге, следует тем не менее признать, что значение его как художника превосходит специфическое значение его как поэта». Благодаря силе своего настойчивого утверждения автономии поэзии, Георге, в глазах Зиммеля, в действительности осуществил возвращение искусства к самому себе и утвердил себя его высшим и образцовым властителем.

Появившись всего месяц спустя после публикации «Года души», очерк Зиммеля сразу же стал частично симптомом, частично стимулом быстро растущего успеха Георге, отражением и ускорением благоприятного поворота в его делах. Трудно теперь осознать всю весомость оценки Зиммеля, особенно в той ее части, что он ставил Георге рядом с Гёте. Среди многих образованных немцев в конце XIX столетия Гёте был объектом почитания, граничащего буквально с обожествлением, — считавшийся не только поэтом, Гёте расценивался как могущественный олимпийский мудрец, вселенский гений, культурный герой наравне с такими фигурами, как Гомер, Данте или Шекспир. Для Зиммеля уподобление Георге Гёте было поэтому равносильно размещению его в пантеоне, куда допускались немногие смертные. «Это должно было давать Георге восхитительное чувство иронического удовлетворения, что он, настолько посторонний для официальной Германии, что часто чувствовал себя в ней чужестранцем, теперь благосклонно сравнивался с одним из ее наиболее драгоценных идолов». «Но можно было бы ошибиться, вообразив, будто Георге был напуган или хотя бы заметно впечатлен таким сравнением. Почти два десятилетия спустя, когда он небрежно упомянул об очерке Зиммеля своему другу — Георге похвалил философа «за то, что тот увидел в его стихах больше искусства, чем в ранней поэзии», — то обвинил Зиммеля «в том, что он не признал всю более раннюю поэзию неистинной поэзией; ибо из двух возможно только одно: или прежняя поэзия была поэзией, и в таком случае его собственная ею не была, или его поэзия была поэзией, а прежняя не была». Георге жил в мире, созданном из сильных контрастов, строгих разделений и неизменных абсолютов. В более поздний период жизни идея, что возможны два или несколько видов «истинной» поэзии, была для него столь же немыслима, как представление, что когда-то могло быть больше одного «истинного» поэта. Зиммель мог думать, что сделал Георге ком-

плимент, уравнивая его с Гёте. Георге же казалось, что подобное сравнение делает честь только Гёте.

Конечно, не все были столь же, как Зиммель, увлечены поэзией Георге — не говоря уже о самом Георге. Одна из первых, и ни в коем случае не последняя, враждебных рецензий, полученных им, вышла из-под пера некоего Фрица Мотнера, который сохранил за собой незначительное место в истории мысли тем, что написал тяжелую, трехтомную философию языка, впоследствии попавшую на глаза Людвигу Витгенштейну. В ряде статей, которые Мотнер написал для литературного журнала, он сообщал в апреле 1899 года, что взял на себя «неблагодарную задачу» попытаться дать точную картину текущей ситуации в немецкой поэзии. Новости, как их преподносил Мотнер, не были благоприятными. Установив, что движущая сила новой поэзии в Германии исходит из Франции, Мотнер полагал, что молодые немецкие поэты, которые стремились подражать «эксцентричному Малларме» и всей «Парижской клике», делали это только себе во вред. К своей чести Мотнер исходил не столько из националистических оснований, сколько из менее воинственного наблюдения, что культурные традиции в Германии и Франции были совершенно разными. Для Мотнера Гёте также оставался краеугольным камнем, но здесь имя Гёте использовалось в качестве скорее дубины, чем похвалы. «В настоящее время признанным вождем» молодых немецких выскочек, объяснял Мотнер, был Стефан Георге, который действительно «поэт, реальный; у него есть дар говорить о том, что его тревожит, на секретном языке его школы; выдавать эти тайны на нашем родном немецком языке, с которым Гёте не обходился так ужасно, — это, к сожалению, не относится к его дарованиям».

В другом месте рецензии Мотнер не колеблясь сформулировал свои возражения в прямых и простых терминах, намеренно противопоставляя свой язык языку, которым пользовались объекты его критики. Доказывая, не без оснований, что эта новая «школа» сочиняла свои стихи только для себя самой, Мотнер заявил, что художественный лозунг *искусство для искусства* был «бесмыслицей», — искусство создается людьми и для людей, настаивал он и именно *искусство для художников* порицал как сектантскую, элитарную позицию, проводимую этими «модными поэтами»: «любой из них пишет не для людей, но только для своей конгрегации». Привычка игнорировать запятые и пробелы, которую Мотнер также осуждал как «скопированную с ужасного Малларме», не просто затрудняла понимание, а давала начало неудобному ощущению незваного и ненадлежащим образом одетого гостя на маскараде. С тяжелым сарказмом Мотнер удостоверял: «Стефан Георге оставался решительно лояльным ко всем этим принципам в первом издании своего „Года души“. Никаких запятых, которые позволили бы читателю отдышаться. Демократическая, плебейская рука, вроде моей, нашла даже, что прикосновение к ворсистой бумаге

обложки было неприятным, из чего, по-видимому, следует, что аристократическая рука получит невыразимое утонченное очарование от той же самой бумаги».

Однако «несмотря на все это», Мотнер признавал, что «что-то от поэта», бесспорно, было и у Георге. Но Мотнер находил, что повсюду в соотношении понятности и формального исполнения сохранялось решительное и убийственное преобладание последнего. После большого количества напряженных головоломок в некоторых стихах, сбивших его с толку, Мотнер саркастически признавался, что его «плебейскому уму» наконец удалось расшифровать «вероятное значение» нескольких стихотворений. Но оказалось, что это потребовало слишком большого труда ради слишком незначительного результата. Георге, заметил он язвительно, «предлагает несъедобные фрукты на серебряном блюде». Заимствуя выражение у создателя афоризмов XVIII столетия Георга Кристофа Лихтенберга, Мотнер завершал риторическим вопросом: «Когда головы поэта и читателя сталкиваются и звенит пустота, всегда ли в этом виноват читатель?»

Если Георге находил время, чтобы исправить и усилить щедрые похвалы кого-то вроде Зиммеля, то любого, кто демонстрировал менее учтивое отношение к нему, он просто игнорировал. Его английский друг Сирил Скотт вспоминал, что когда-то сказал ему: «Никакого истинного художника никогда нельзя смутить ни похвалой, ни осуждением со стороны масс. Что касается критиков, то они были еще более „глупыми“, чем публика, и бесплодность газетной критики могла быть доказана тем фактом, что весьма часто одна рецензия категорически противоречила другой». Теодор Лессинг услышал о сходном представлении от Георге, который сообщил ему: «Самое важное — это отучить людей болтать об искусстве что попало». Хорошие рецензии допускались, потому что были по крайней мере полезными, но плохие только еще раз доказывали, что искусство — занятие для художников, точнее, для одного лишь Георге.

Хотя Георге и не готов был принять от «народа» совет, а тем более критику, касающуюся искусства, но был более чем счастлив поведать свои собственные представления о предмете любому, кто желал слушать. Проблема состояла в том, что лишь немногие люди попадали в эту последнюю категорию. В апреле 1898 года Георге наконец привел в движение план, который разрабатывал с осени 1895-го с целью исправить все более и более беспокоящее его положение дел. Той весной, путешествуя по Италии, он встретил в Риме господина по имени Георг Бонди, который издаലെка интересовался его карьерой более года. Услышав лекцию Рихарда М. Мейера о «Новом круге поэтов», проводимую под эгидой Общества немецкой литературы в Берлине в начале 1897 года, Бонди был очарован стихами Стефана Георге. В частности, поскольку Бонди был также владельцем и ответственным редактором небольшой, но разборчивой издательской фир-

мы, то, как он сказал, загорелся „непреодолимым желанием их издать“. Он пытался узнать у кого-то, кто знал Георге, его адрес, но ему сказали, что «адрес Георге абсолютно неизвестен», и вместо этого дали адрес Клейна. Клейн также ответил, что «Георге недостижим по почте в настоящее время», но что он, Клейн, смотрит благоприятно на предложение Бонди и сообщит его поэту при ближайшей возможности.

Бонди ничего больше не услышал, пока случайно сам не столкнулся с Георге в доме немецкого художника, проживавшего в Риме под именем Людвиг фон Хофман. Георге подружился с Хофманом, частично, несомненно, потому, что тот рисовал почти исключительно «юные красивые фигуры в ритмичном движении, нагие или в идеальном костюме», следуя манере Бёклина, Пюви де Шаванна и Ганса фон Маррея. Во всяком случае Бонди согласился с предложением Георге встретиться позже в тот же день в популярном кафе Арагно, чтобы обсудить условия предложения Бонди. Впоследствии они встречались каждые два или три дня, пока детали контракта не были разработаны к их взаимному удовлетворению. Требования Георге были относительно просты: требуется издать три тома его собственной поэзии — «Гимны», «Паломничества» и «Альгабал» должны были появиться в первом томе, «Книги» и «Год души» формировали второй и третий тома — и выпустить в свет отдельную антологию избранной поэзии и прозы из предыдущих выпусков «Листка за искусство». Понятно, Бонди с радостью принял условия, а в июне разъяснил свои собственные обязательства относительно компенсации.

Бонди был уважаемым, честным бизнесменом с немного экзотическими вкусами в литературе, но с механическим чутьем к колесикам и винтикам своей торговли. По сегодняшним стандартам он был более чем порядочен. В письме к Клейну Бонди говорил, что при желании с удовольствием получил бы часть «чистой прибыли» от всех продаж книг: „Эта процедура, которая часто избирается в Англии, тем не менее непривычна в Германии. Все же, поскольку я считаю ее справедливой, то уже подписал ряд контрактов на ее основе и неоднократно получал благодарности от соответствующих авторов за такое предложение«. Но Бонди не считал книги поэзии Георге хорошо продаваемым материалом и боялся, что прибыль от их продаж никогда не будет очень большой. «Поэтому, — говорил он, — соглашение окажется гораздо более подходящим для меня, если каждое издание повлечет за собой определенный гонорар, например 20 процентов *розничной цены* всего издания, то есть приблизительно одну треть от цены продавца книг (торговая уступка обычно составляет 33.3 процента наличными и из каждых восьми книг один бесплатный экземпляр). Одна половина этого гонорара могла тогда быть выплачена при публикации, а другая половина после продажи одной половины издания». Такой способ, рассуждал Бонди, гарантировал, что Георге получит по крайней мере 50 про-

центов согласованной суммы, тогда как согласно первому методу платежей он не получит вообще ничего, если книги не будут продаваться. Деньги никогда не были центральным доводом для Георге; на самом деле сочинительство ради денег он рассматривал как неизбежное зло. Но здесь не было никаких причин не принимать то, что предлагалось свободно.

Был один камень преткновения. «Георге желал, — вспоминал Бонди, — чтобы название „Листок за искусство“ появилось вместе с именем издателя, рядом с фирмой Георг Бонди, так как хотел с самого начала отличать публикации своего круга от всех других литературных произведений». Бонди сказал, что у него были серьезные оговорки относительно этого требования, так как любое дополнение к официально зарегистрированному названию фирмы было запрещено законами Германии, регулирующими торговлю и коммерцию. Как известно, Георге думал о «законах», но Бонди не уступал. Он писал: «Я предложил, чтобы Георге попросил своего друга Мельхиора разработать виньетку издателя, которая содержала бы слова *Blätter für die Kunst*. Блестящее решение; Георге сразу же согласился, и Лехтер разработал красивую готическую виньетку, которая украсила и все еще украшает титульный лист всей поэзии Георге в моих изданиях».

Так были выкованы отношения, которые продолжатся до смерти Георге. С этого времени Георге издавал все свои произведения в фирме Георга Бонди в Берлине, и все они сразу же узнавались не только по готическому украшению Лехтера, но также и по их характерной форме, цвету и типографскому дизайну. Позже Бонди издавал также работы друзей и последователей Георге в специальной серии, которая находилась под личным наблюдением Георге. Это было партнерство, только в ограниченном смысле, ибо все, что хотел Георге, он получал и никогда не допускал компромиссов или полумер. Безусловно, когда известность Георге и его круга выросла, добавив чрезвычайный престиж дому Бонди и немалую прибыль его казне, у Бонди были все основания сделать своего самого высокооплачиваемого автора счастливым. Хотя Бонди не впадал в те крайности необузданной лесты, которым отличались некоторые поклонники Георге, добродушный издатель действительно испытывал искреннее почтение и до конца считал его своим другом. Когда родители Георге умерли, то он в конце концов был вынужден продать семейный дом в Бингене и никогда больше не имел постоянного места жительства. Так как Георге нуждался в официальном адресе по бюрократическим причинам (среди прочего, с целью иметь и обновлять свой паспорт), то указывал, с согласия Бонди, дом своего издателя в тенистом берлинском пригороде Грюнвальде как свое место жительства до конца жизни.



Глава восемнадцатая

«КОВЕР ЖИЗНИ»

С аккуратной символической точностью последний год уходящего XIX столетия завершал и первую главу жизни Георге. Никто не смог бы предсказать те необычайные события, которые вскоре должны были произойти. Однако за десятилетие до этого никто, возможно, не предвидел и события, превратившие Георге из фактически анонимного поэта, писавшего искусные и не особенно оригинальные стихи по образцу французских символистов, в автора, в котором некоторые начинали подозревать самого значительного немецкого поэта, какой появляется раз в сто лет. Вскоре его начнут считать не только поэтом, но и наставником, вождем, руководителем. И именно теперь, на пороге новой эры, словно под бой каких-то странных космических часов, с Георге начала происходить роковая метаморфоза.

На самом деле, отдавая должное ретроспективе, можно различить слабую тень, отбрасываемую более поздними событиями на их отправную точку. В отличие от большинства поэтов, которые обычно предпочитают работать в одиночестве, Георге с самого начала желал и неустанно искал общества аналогично мыслящих авторов и художников, товарищей по оружию, которые разделяли его убеждения и могли помочь в содействии его делу. Это, как и многое другое, возможно, было также частью солидного наследства Малларме, переданного его немецкому коллеге, который на Римской улице воочию убедился, какую могущественную роль играли участники «литературных вторников» в распространении поэтического слова.

И все же с самого начала одинаково верным было и то, что жажда товарищеских отношений в Георге не являлась результатом одних только литературных забот или просто пронизательного понимания культурной политики, хотя она и стимулировалась обоими из этих соображений. Эта жажда являлась, скорее, частью его более фундаментальной потребности утверждать свою волю над окружением, управлять им и формировать его по собственным замыслам. Поэзия Георге всегда была выражением этого побуждения, и даже его самые ранние деловые отношения с сотрудниками «Листка», которые в теории предполагались равными ему партнерами, никогда не были полностью лишены с его стороны предположения о превосходстве. Но то, что ранее было невысказанным постулатом, теперь начало кристаллизоваться в явно выраженную доктрину. И если, по крайней мере официально, до этого времени Георге был *primus inter pares* (первым среди равных), то теперь определял себя как единственного и бесспорного властителя, располагавшегося в самом центре мироздания.

Слово *Meister* в немецком языке, как и его английский эквивалент, имеет много значений. Изначальные рамки понимания этого слова у Георге и его спутников были тем не менее близки к средневековой традиции гильдии ремесленных мастеров, искусных умельцев, которые передавали свою квалификацию юным ученикам в своих мастерских. Иерархические отношения были в одинаковой мере и бесспорными и естественными, ибо считалось, что совокупность знаний и техническое мастерство приобретались только в течение многих лет обучения, самопожертвования и терпеливого, непомерного труда. В силу этой ассоциации в середине 1890-х Георге и его друзья начали использовать слово «мастер», или «учитель», как выражающий любовь и родственную близость термин братской признательности, как разделяемую всеми эмблему уважения к талантам других и художественного долга. Поэтому в письмах Георге и Мельхиор Лехтер часто обращались друг к другу *Meister*, причем Георге легко мог добавить слово *Meister* перед именем того поэта, которым особенно восхищался или которого любил. Но в конце XIX и начале XX века стала утверждаться новая оценка термина, выходящая за рамки свободной, неформальной практики. Поскольку члены «Листка» начали кодифицировать свои идеи, поведение и коллективную организацию более специфическими и тщательно продуманными способами, то представление, что могло быть или должно быть что-то большее, чем «учитель», оказалось источником раздражения. Поэтому, опять-таки в соответствии с моделью Малларме, последователи которого также называли его *Мэтром*, подчеркивая его уникальность, Георге стали называть «Учителем» — *Meister*, — словно для того чтобы отличать его от любых ложных претендентов. Через какое-то время это стало предпочтительным способом обращения к Георге и упоминания о нем при обращении к другим. Среди посвященных *Meister* означал

только одного человека, позже это слово просто сократилось до *М.* «Я хотел зайти к вам, — типичным образом писал в 1916 году один из учеников Георге Лехтеру, — чтобы спросить кое о чем по поручению *М.*».

Параллельно этому ходу событий, сообщая необходимые ему контекст и содержание, происходила постепенная систематизация так называемого круга, который Георге возглавлял как «Учитель». Сначала ограничивавшийся авторами, участвовавшими в «Листке за искусство», а фактически являвшийся его синонимом, «круг» медленно обретал более ясно выраженную и сложную структуру, в конечном счете обособляясь от журнала и вставая на путь собственного независимого существования. По мере того как Георге и возглавляемое им движение становились все более заметным в немецком культурном пейзаже, спекуляции о составе и природе «круга» со стороны тех, кто оставался за его пределами, также усиливались. Как можно было предсказать, выводы, делавшиеся некоторыми людьми о его природе, не всегда соответствовали тому образу круга и его участников, который вынашивали Георге или его соратники. Но определение, чем *был* на самом деле круг, никогда не давалось легко даже тем, кто исповедовал преданность Учителю, и вопрос иногда перерастал в вызывающую раздражение проблему. Фридрих Гундольф, один из самых блестящих, красноречивых и страстных ораторов и один из самых преданных сторонников Георге, так излагал этот вопрос в 1920 году:

Что касается «круга», то он, как и все остальное, что сегодня кажется странным, часто становится предметом злоупотреблений со стороны мошенников и глупцов. Верный признак, что кто-то не принадлежит к кругу, — если он хвастается о принадлежности к нему и осторожно или нескромно создает видимость обладания важными знаниями. Круг — это не тайное общество с уставами и регулярными собраниями, и не секта с фантастическими обрядами и догматами веры, и не писательский клуб (сама публикация в «Листке за искусство» еще не признак принадлежности). Скорее, это — небольшое число индивидов, объединившихся благодаря определенным отношениям и убеждениям, благодаря спонтанному и непреднамеренному почтению великого человеческого существа, пытающихся служить идее, которую он для них воплощает (но не навязывает) в их повседневной жизни или на службе простым, практическим и серьезным способом. Все слухи, циркулирующие вокруг, — это сплетни ненормальных, шутников, мошенников и клеветников.

Сарказм впечатляющий, но интенсивность оскорблений у Гундольфа явно находится в обратной пропорции к ясности описания. Неудивительно, что, получая такого рода сообщения о том, чем круг был или должен быть, многие чувствовали себя сбитыми с толку. Даже то, как стать подписчиком «Листка», по-видимому, всегда было покрыто тайной. В конце

ноябрьского выпуска 1897 года, например, появилось короткое уведомление под рубрикой «новости»: «Мы легко воздерживаемся от приема в наш круг сотрудников, так как опыт научил нас, что ни один серьезный и ценный участник еще не был отвергнут из-за попыток найти к нам дорогу». Трудно сказать, было это приглашением или отказом. Фактически, это было и то и другое. На следующий месяц, сразу же после чтений в доме Лепсиусов, Райнер Мария Рильке, который присутствовал как гость Лу Андрес-Саломе, обратился к поэту с особой просьбой. Осмотрительно обращаясь к нему «Мейстер Стефан Георге», Рильке, которому тогда было двадцать два, выразил желание «следить за всем, что связано с вашим искусством, с устойчивым интересом». Он указал, что уже овладел «Годом души» и по достоинству оценил его. «И все же я полагаю, что могу признать пути ваших учеников, только если мне будет позволено следовать за каждым вашим шагом и за художественными целями вашего круга. Принадлежать к внутреннему кругу читателей „Листка за искусство“, который отобран его участниками, — это награда, о которой я вас прошу». В ответ Георге (он обратился к Рильке «Дорогой поэт» — титул *Meister* уже намеренно сохранялся в резерве) объяснил, что поскольку «членство в круге» состояло в «участии, чтении и дальнейшем распространении „Листка“», то желание Рильке исполнено уже тем, что выражено. Это был загадочный не-отклик, который, вероятно, заставил Рильке почувствовать не только смущение. Хотя их пути пересеклись еще раз — они встретились случайно в Садах Боболи во Флоренции шесть месяцев спустя и разговаривали два часа, — Рильке не опубликовал никаких поэтических произведений в «Листке» и не стал членом круга, исключая тот неопределенный, уклончивый смысл членства, которое Георге оставил открытым для своего младшего коллеги.

Естественно, что именно страницы «Листка» предоставили место, где идея круга начала находить самую ясную формулировку. «Листок» был, в конце концов, не просто самым конкретным проявлением круга и очевидной причиной его существования. Он предлагал также что-то вроде наполовину публичного форума, предоставляя доступное пространство участникам для разговоров и с самими собой и с внешним миром о своих целях, планах и общей конституции. В ноябрьском выпуске 1897 года вводные максимы впервые открыто поставили вопрос о понятии круга. Откровенным образом идея круга была также соединена с вопросом об иерархии и соответствующем ей положении составляющих ее участников. «Мы прекрасно знаем, что самый прекрасный круг не может произвести на свет великие умы, — заявлялось „Листком“ с разоружающей искренностью, — но также и то, что многие из великих произведений возможны только внутри круга». Разъяснением этого несколько загадочного заявления было следующее утверждение: «Ошибочно [воображать], что только великие умы в

состоянии обеспечить начинание с великой идеей. На высших ценностях воспитываются более незначительные умы, что ведет их к тому, что они создают атмосферу, в которой может дышать великая идея». Представление, что «незначительные» умы важны, поскольку полезны для «великих», также было предметом последующих размышлений. «Существенное утешение для менее значительных умов: если ты понял более высокую жизнь своих вождей [*фюрера*], то ты необходим не только чтобы охранять новое и прекрасно вспаханное поле, но и чтобы собирать цветы и плоды, которые — если ты не в состоянии сделать это сам — великий человек позже сплетет в свой венок». Цветочные метафоры этого отрывка, кажется, подразумевают, что менее одаренные члены круга должны согласиться, что продукты их труда, какими бы непритязательными сами по себе они ни были, могут в конечном счете найти облагораживающее применение в произведениях их повелителя, чью «более высокую жизнь» они «поняли» и впитали в себя. Таким образом, смысл чьей-то жизни мог бы содержаться и исполняться в жизни и произведениях властителя, или — если использовать слово, упомянутое выше, — *фюрера*.

С самого начала в таком случае идея «круга» включала в себя нечто гораздо большее чем просто группа людей, объединенных общими интересами, на чем Гундольф не без лукавства будет настаивать два десятилетия спустя. Это было не просто нейтральное обозначение, не просто условное название. Вместо этого круг всегда предполагал центр, который давал стабильность, направление и цель всему целому. Каждый компонент круга был жизненно необходим для его целостности, но это не означало, что все они были равны. Круг не был демократическим институтом; скорее, каждый участник занимал предназначенное ему место и имел соответствующую ценность внутри структуры целого. Но в середине, сообщая кругу взаимосвязанность и форму, находилась окончательная, фактически, настоящая причина его существования. Ибо то, что удерживало его, было верой в возвышенный статус того, кто стоял в сердцевине.

Рука об руку с этим тотальным погружением менее значительного создания в более величественную судьбу учителя, по крайней мере подразумеваемым отказом от индивидуальности в пользу более широкого коммуналного целого, шла решительная атака на силу и ценность разума или рациональности. До известной степени это казалось самоочевидной эволюцией: критическая способность — это механизм изоляции, создающий сомнения, ставящий все под вопрос, отказывающийся признавать санкционированную власть. Вера же лучше всего воспитывается и поддерживается при отсутствии рационального исследования. В очерке, точно названном «О Темноте», который уже появился в последнем выпуске «Листка» в 1896 году, Карл Вольфскель расхваливал добродетели «священной тьмы священной ночи». Складывая мозаику из идей, отобранных из произведе-

ний двух своих великих героев, Ницше и Бахофена, Вольфскель рассматривал себя как разрабатывающего основные принципы неоязыческой, нерациональной, мистической теологии. Как мы видели ранее, он сторонился языка логических демонстраций и доказательств, предпочитая использовать метафоры, аллегории и скрытые намеки, чтобы передать нужный ему смысл. «Никогда связанный узами посвящения не вступит под яркое солнце». Утверждая, что простые понятия, самостоятельно, никогда не сводили две «души» вместе, Вольфскель воспевал противоположные чудеса «темноты, трепещущей тайнами». Ведь «как учат мудрецы из страны восходящего солнца, божественное раскрывается только перед любовью и поклонением: поэтому мы знаем, что богиня красоты привлекает в свой хоровод в сумерках». Играя на буквальном греческом значении слова «Пан», имеющего значение «все» (на немецком языке оно означает также «вселенная»), очерк заканчивается подношением греческому богу, царствующему над творением в экстатическом праздновании, стирающем все различия среди индивидуальных существ: «Знание самих себя делает нас более богатыми и более глубокими, молчаливая тайна весомых слов и отдаленных звуков — вот что срывает саван с чуждой и странной жизни. Только постигая себя, мы постигаем и вселенную. Пан, великий свет, гасит все обособленные огни».

Добрая доля всего этого бессмысленна или безнадежно запутанна, но основной пункт важен для понимания возникающей идеологии круга. Враждебность к рациональности будет играть огромную роль в более позднем контексте, особенно в попытках очертить и защитить концепцию специфически немецкой — то есть не французской и, следовательно, не связанной с Просвещением — культурной традиции, которая стала отличительным интеллектуальным признаком круга Георге и его последователей. Здесь Вольфскель, казалось, приводил более ограниченный аргумент — если не фразу — то, что рациональный ум в состоянии постичь, ограничивается в своем значении более глубокими, неосознаваемыми мотивами ликующей радости, которая может прийти только тогда, когда каждый будет освобожден от признаков индивидуального сознания и сольется с божественным, универсальным Присутствием, символизируемым фигурой Пана. На более прозаическом уровне это можно было бы также рассматривать как апологию утраты мелкого, изолированного существования ради присоединения к рядам счастливого меньшинства, возглавляемого тем, кто, возможно, и не был божеством, но по крайней мере являлся, как другой очерк Вольфскеля ранее это определил, «Жрецом Духа».

Вольфскель ни в коем случае не был одинок в своем недоверии к разуму и в своих усилиях раскопать скрытые пласты человеческой природы. Не только Ницше и Бахофен, но и все поколение романтиков, писателей, философов и поэтов, которые предшествовали им, аналогичным образом по-

дозревали, что рациональный ум на самом деле был только оборонительным и поэтому ложным бастионом против неизвестного и непостижимого, ограждающим от потенциально разрушительных сил и истин — за пределами нашего контроля или понимания. Более близкий и гораздо более знаменитый Зигмунд Фрейд также был на пороге своих собственных тревожных открытий, которые, казалось, сводили рациональный ум к тонкому слою, лежащему над глубоким и вздымающимся морем смешанных бессознательных побуждений. Но среди участников «Листка» вызов господству разума в объяснении и управлении человеческими делами начал становиться центральным пунктом веры. Таким, например, был главный тезис в коротком очерке Людвиг Клагеса под названием «О творце», который, по иронии, имел сравнительно ясную и тщательно структурированную описательную часть сочинения. Начиная с утверждения, что «одного только богатого понимания недостаточно для создания произведения», Клагес выдвинул предположение, что «энтузиазм», а не разум движет художником. «Творческие натуры, — полагает Клагес, — характеризуются глубокой любовью к жизни. Из этого вытекает энтузиазм как сила самопожертвования, растворения в объекте почитания. Вера и обожание пребывают в душе творца». Искусство создается не объективным знанием, но восторженным соединением иллюзий и мечтаний. Клагес продолжает перечислять иные необходимые качества художника, или «творца», такие как целеустремленность, самообладание и техническое мастерство. Но он заканчивает серией вопросов или «сомнений» относительно текущего столетия. «Возможно ли, — пишет Клагес, — что наше искусство — печальный свет вечерних сумерек того дня человечества, который уже заканчивается? Действительно ли понимание — враждебная сила, способная погасить огонь воли? Не исчезнут ли в конце концов все страсти в фанатизме знания, а оно само — в апатичном всеведении?»

Апокалиптический пафос, так же как и большая часть используемого словаря, поражает своим утонченным подражанием Ницше. Кроме того, раздумья о неизбежном конце цивилизации, темные предчувствия вселенской катастрофы и гибели образуют немалую часть общего интеллектуального багажа, обычного для интеллектуалов рубежа столетий. Все же Клагес, наряду с большинством других участников «Листка», чрезвычайно серьезно относился к своим видениям пагубного краха, возвещавшим о начале новой эпохи варварства и хаоса, которую они парадоксальным образом рассматривали как результат безраздельного господства рационального принципа. Столь же серьезно они относились и к победе над рациональностью любой ценой. Чтобы противостоять трезвому реализму, никакие средства не казались слишком чрезмерными. Ибо они, как и анархически настроенные символисты, которые их вдохновляли, приравнивали реализм к социальному и культурному господству тупой и прагматично мыслящей

буржуазии. Часто использовались сравнения с войной, чтобы напомнить о природе их борьбы против мертвого материализма, грубой, низкопробной безвкусоности и близорукого безразличия ко всему, что не было непосредственно связано с чувствами. В своем очерке «О творце» Клагес утверждал, что творческая энергия выражалась разнообразными способами. Но всегда был один и тот же фундаментальный импульс, или «побуждение», — «направлено оно на универсальное постижение, на великие подвиги на войне или на какой-то иной вид созидания и творчества».

Такое прославление войны не было отдельной случайностью. В другом отрывке прозы, названном «Завоеватель», изданном в единственном выпуске «Листка», появившемся в 1899 году, Клагес создал воображаемый портрет внушающего страх германского воина, ведущего свои войска к победе на войне. После тщательного описания сцены — Клагес пробуждает в памяти холодную, темную, незащищенную от ветра равнину, оживляемую только «металлическим» отражением звезд на водянистой поверхности мертвых болот, — он представляет нам своего героя: «В каменной неподвижности Завоеватель ждет на своей неизменной лошади. В чертах его лица отблеск обветренного доломита. В его взоре холодный жар северного сияния. На его голове обруч из синеватой стали. Безутешная печаль железной рукой сформировала лик этого человека». Сопровождаемый преданными ордами, Завоеватель тем не менее отделен от счастья глубокой пропастью одиночества. «Громы гремят над ним, и в белом огне молний он выковывает беспощадный меч своей ненависти. Он уже подчинил одну половину земного шара, поставит свою победоносную стопу и на другую». Внезапно приходит новость, что остатки побежденных армий, которые выступали против него, собрались теперь вместе и угрожают объединенной силой одержать верх над его войсками. Завоеватель, возвращенный к жизни этим новым вызовом, выстраивает свои ослабевающие армии — «Уверенность в кровожадной победе вспыхивает в его глазах, и поседевших воинов охватывает опьянение». Когда они выступают, военачальник не спускает неподвижных глаз с отдаленных дремлющих дворцов и куполов. «Тени будущих пожарищ вспыхивают перед ним, позади громяхают железом необозримые массы, переполненные силой, которую воля разрушителя предоставила их душам». Предполагалось, что это был завуалированный портрет Наполеона, но на ум быстрее приходит фигура Аттилы.

Так или иначе, это — страшная картина. Несмотря на то что «Завоеватель» очевидно является аллегорическим изображением Георге и его собственного крестового похода — и, опять-таки, несмотря на открытое заимствование из Ницше, особенно его печально известного образа «белокурой бестии», — пьеса вызывает не только минутное замешательство. Верно, что фигура одинокого рыцаря, путешествующего через мрачный и враждебный пейзаж, долгое время была стандартной фигурой в северной хри-

стианской иконографии, наиболее незабываемо проявившей себя в сочинениях Эразма и в известной гравюре «Рыцарь, Смерть и дьявол» Альбрехта Дюрера. Но очевидное пристрастие, с которым Клагес вызывал в памяти образ brutального воина, его восхищение жесткими метафорами смерти и разрушения (сталью, железом, камнем, огнем и пламенем) и его нетерпеливые объятия, открытые облагораживающему насилию, — все это заставляет трепетать. Возможно, Клагес предвидел чисто символическое пожарище. Скоро, однако, стало трудно отличать символическое от реального.

Напомним, что многие стихотворения в «Книгах пастушьих и хвалебных стихотворений» Георге также звучали как военный барабан, что и в других местах поэт не питал неприязни к изображениям массовых увечий, если это было нужно для воплощения замысла. Кроме того, Георге часто отождествлял себя с беспощадными деспотами из «Альгабала», являющимися лишь наиболее концентрированным выражением той же тенденции. Но только в 1899 году, вместе с публикацией шестой книги поэзии, «Ковра жизни», удастся использовать его деспотические наклонности, до сих пор находившие выход только внутри абстрактного царства поэтического слова, в структуре, которая могла быть перенесена и на саму реальность. Безусловно, преимущество концентрации сил на одной только поэзии состояло в том, что приносило ему удовлетворение и безграничную власть, безраздельное царствование над своим собственным творением. Но со временем амбиции Георге выросли. Он больше не довольствовался господством над иллюзорными фантомами. Он желал возложить руки на реальные создания, на тела из плоти и крови, чтобы слепить их, сформировать согласно собственному замыслу, так же как раньше выстраивал слова стихов, чтобы ответить на свои желания и стремления. Инструментом, который позволил бы ему совершить такой скачок, колесницей, переносящей его аппетит к созиданию из сферы фигуративного в сферу буквального, была идея и реальность самого круга.

Чтобы стать эффективной, идея должна быть высказана. Как мы видели, понятие «круг» подразумевалось какое-то время в той форме, в какой было вначале задумано и организовано в «Листке». Но одно дело было признать, что члены журнала составили единую замкнутую группу. До и после Георге существовали бесчисленные художественные «кружки» и «школы» всех видов, удерживаемые вместе общими убеждениями и практиками. И совсем другое — разработать кодекс поведения, то есть систему ценностей, которая отличалась бы от художественной программы, хотя и была с ней глубоко связана, и которая объединяла бы приверженцев этой программы. И менее очевидно, что должна быть еще одна контролирующая инстанция, единственная непоколебимая воля, которая осуществляла бы господство над целым. Именно это и предполагал Георге — с самим собой, конечно же, в главной роли, — и именно здесь его ожидания относи-

тельно поведения и обязанностей подчиненных возвращались к фантазиям о господстве его самой ранней юности. Теперь тем не менее эти мечты были близки к тому, чтобы стать действительностью.

«Ковер жизни» имеет много параллелей с «Годом души», который появился двумя годами ранее. Как и его непосредственный предшественник, «Ковер жизни» вновь был произведением, по крайней мере в его физическом облике, созданным в тесном сотрудничестве с Мельхиором Лехтером. Визуальный язык был также сходным — сверху на титульном листе, обрамленном с обеих сторон изображениями двух семисвечных канделябров, располагается имя поэта, под которым окруженный ореолом голубь, с раскрытыми крыльями, смотрит вниз, словно посредник между этим и названием книги. Здесь, еще раз, была тщательно подобрана тяжелая, немного грубая бумага, а шрифт, основанный на собственном почерке Георге, воспроизводил мельчайшие детали. Что являлось новым — так это размеры книги: почти в три раза больше прежних произведений Георге, она насчитывает полтора фута сверху донизу. Переплет, с весьма рельефным названием книги на обложке и буквами цвета темно-синих чернил, скреплялся двумя массивными деревянными дощечками спереди и сзади, каждая почти в полдюйма толщиной, и был покрыт грубым темно-зеленым полотном, которое выбирал сам Георге. Вес и размеры книги, их сакраментальная избыточность, мрачные, приглушенные цвета — все вместе давало понять, что эта книга, даже больше чем другие, предназначалась не для прочтения мимоходом, не для того чтобы оказаться под рукой или в кармане, не для того чтобы ее можно было взять в парк или в ресторан и рассеянно пролистать в промежутке между другими развлечениями. Ей было предназначено стать центром внимания, объектом поклонения, а читать ее следовало — и даже читать вслух — в рамках особого ритуала. Она вызывала ощущение книги молитв, даже предписаний, а на самом деле такова и была ее цель. «Как продвигается работа по сооружению храма?» — спрашивал Георге Лехтера в конце мая 1899 года, и это лишь наполовину было иронией. Другой друг сходным образом назвал книгу «подобной собору».

Поэтому вряд ли стоит удивляться, что во вступительном стихотворении «Ковра жизни» появляется ангел. Там, где возникает перевернутая сцена благовещения, поэт описывает, как его посетил небесный геральд, принесший ему новости о том, что должно произойти.

Я в муках и тоске искал опору,
Пил горьких строф печальное вино —
Катились вещи глухо и темно —
И у двери явился ангел взору.

Он дивные цветы навстречу нес,
И померещилось, что были сами

Его персты миндальными цветами,
А подбородок розовый — из роз.

Лоб никакой короной не венчался,
А голос был — как у меня почти.
«Прекрасной жизни вестник я, учти!» —
Так рек он. И пока он улыбался,

С него спадали лилии, мимозы...
И я склонился к ним почти без сил.
Встал на колени он. Я погрузил —
Счастливец! — лицо в живые розы.

Георге в своей поэзии был способен на величественные жесты, и этот один из самых впечатляющих. Это сложный момент — одновременно и концентрированный синтез его поэтического пути до настоящего времени с указаниями на будущий курс, и синоптическая дистилляция некоторых главных тем его стихов. С почти совершенной лаконичностью эти четыре строфы используют детерминированную свыше символическую значимость цветов. Объединяя чувственную радость с риторической избыточностью, указывая и на поэтическое и на сексуальное удовлетворение, они раскрывают знакомую нарциссистскую фиксацию поэта на своем Я (слово «я» не случайно первое в стихотворении, так же как и голос ангела неслучайно назван зеркальным отображением голоса самого поэта). Последние строки предписывают окончательное, открытое завоевание нагого мужского тела — ангел явно мужского рода — как объекта восхищения и вдохновения. Но именно образ самого ангела, возвещающего «прекрасную жизнь», и выступает как самая смелая претензия стихотворения. Перед нами также экстраординарное мастерство поэтического контроля, так как ровно десять лет назад, в самом первом стихотворении своей первой книги — в «Посвящении» в «Гимнах» — Георге ввел похожую, такую же таинственную «богиню», спустившуюся даровать благословение поэту. Там это знаменовало начало его поэтической карьеры; здесь ангел объявлял о еще одном новом начале. Две, очевидно, связанные друг с другом фигуры как будто используются для того, чтобы разместить этот отрезок поэтической жизни Георге на одной книжной полке. Не менее значительным из преобразований, имевших место в прошедшее десятилетие, было изменение пола его образа совершенства. Но наиболее важное различие между ними заключается в том, что в противоположность своему более раннему явлению ангел теперь не предлагает путь, по которому следует убежать из мира, а скорее, провозглашает способ, каким можно в этом мире жить. Он возвещает не прекрасное стихотворение, а прекрасную жизнь.

Есть и другое сходство между этой новой книгой и «Годом души». «Ковер жизни» — скудно структурированная работа, которая обретает

систематическую строгость в применении к беспрецедентно длинным отрезкам. Никакая другая работа Георге, кроме «Звезды согласия» (1914), не была как тщательно выстроена. Книга разделена на три главных раздела, у которых есть свои собственные заголовки — «Прелюдия», «Ковер жизни» и «Песни грез и смерти», — и каждый состоит из двадцати четырех стихотворений. У каждого стихотворения в свою очередь есть ровно четыре строфы, и каждая строфа с четырьмя строками имеет переменные рифмы и придерживается неустанного ямбического пентаметра. Результат — своего рода литургическая каденция, почти ритуальное ритмическое единообразие, которое, вместе с роскошной внешностью книги, усиливает видимость священного текста.

Но, разумеется, именно содержание, больше чем эти сравнительно поверхностные элементы, было в первую очередь ответственно за его священный характер. Весьма общая природа ангела соответствует одинаково общей ауре религиозности, заполняющей язык и изображения первого раздела книги. Во втором стихотворении — «Прелюдии», — например, поэт просит ангела даровать его дыханию «праздничность и высь» и запереть его в «святилище». Когда ангел спокойно сообщает, что его «достолавный дар» не может быть получен силой, поэт, напоминая библейские слова Иакова, боровшегося со своим собственным ангелом, протягивает руки к божественному посланнику и говорит: «Благослови, и я не отступлю».

В другом стихотворении ангел удерживает поэта от искушения оставить выбранное призвание, похожее на призвание Иисуса Христа — также называемого здесь, что интересно, «Учителем» — когда Господь (проверяя преданность своих апостолов на Галилейском море) «вопрошает с долгим грустным взором / Своих учеников на склоне дня / Близ озера: „вы любите меня?“»

В большей мере благодаря ассоциациям, чем посредством прямого сравнения, Георге в этих стихотворениях установил связь с языком и формами христианского, а точнее католического, обряда и веры. Но он не был обеспокоен созданием религиозной поэзии, по крайней мере не в обычном смысле этого слова. Здесь, как и в других случаях, Георге стремился вместо этого кооптировать внутреннюю силу католического ритуала и применить ее для собственных целей. Он желал проповедовать свое евангелие, которое казалось подтверждаемым древними формулами, частично служившими для него образцом и источником. Прежде всего именно фигура ангела — посредника между божественной и человеческой сферой, носителя учения о «прекрасной жизни», защитника и советника поэта — обеспечивает связь между обычным образным репертуаром христианских мотивов и своеобразными воззрениями Георге.

Самый важный урок, который ангел преподносит поэту, — это ценность и значение подчинения высшему существу. «Добрый дух меня урав-

новесил», — говорит поэт в другом стихотворении, сравнивая это состояние внутреннего равновесия с неуказанными «ужасными днями», которые он переживал в своей жизни прежде. «Я с ангелом сверяю каждый шаг», — уверяет поэт. В другом месте ангел утверждает: «Я твой друг, паромщик и вожатый», — но эта клятва идет с подразумеваемым условием, что все это будет длиться до тех пор, пока поэт безоговорочно повинуется его указаниям. Ангел также решительно наделяет его храбростью или дозволением занять сходное командное положение по отношению к своим собственным последователям и возносит поэта на вершину горы, где он может рассмотреть потенциальных соперников. Со своей высоты он видит:

Мало нас на тропах потаенных
В стороне от суеты и чада.
И горит как лозунг на знаменах:
«Вечная любовь — Эллада».

Хотя мы видели и более ранние декларации преданности греческой идее в «Листке», они еще не отлились у Георге в последовательную доктрину, как это произойдет позже. Но даже в приблизительных выражениях преданность Элладе выступала уже в качестве вдохновляющей идеи, позволяющей поэту идентифицировать тех, кто мог бы быть восприимчив к его посланию. Одно стихотворение, опять же в первом разделе, дает общее представление о том, в какой мере искушенный Георге умел делать свои предложения. Поэт, уже с выросшей самоуверенностью, пробужденной посланным ангелом, начал формулировать доводы, почему другие должны следовать за ним, оставив свою привычную жизнь:

В печальных областях, где все бесславно —
И сильный, и слабак, а кто в могиле
Покорствует бесстрастно внешней силе, —
Я к действиям тебя подвигнуть вправе.

От солнца моего ответ прольется
На твой вопрос: «Где ветер возвращенья,
Где всех начал и всех концов сращенья,
Где черпают из каждого колодца?»

А если ты страдаешь в этой шири
От робости отцов, и поражает
Чрезмерность их, то знай: уничтожает
Тебя вселенское число в эфире.

Тогда приди ко мне — соединишься!
Звенят в моей священной роше клики:
«Хоть формы всех вещей тысячевики,
Тебе Одна — Моя! — да возвестится!»

«Если ты чувствуешь, что уловил мир быстротечности и беспорядка, — говорит поэт неназванному потенциальному ученику, — если ты не знаешь, какой путь избрать, или если обнаружил, что полностью заблудился среди бесчисленных возможностей жизни, то я приглашаю тебя отправиться в мое царство, в „священную рощу“, где обещаю убежище смысла и уверенности, предоставляющее успокоение одной-единственной истине, а именно Моей». Единственное, что поэт требует взамен от человека, который будет наслаждаться такой привилегией, — абсолютная верность, полная преданность его слову и готовность его пропагандировать.

На самом деле, это было вовсе не единственное требование. Далее в «Прелюдии» следует стихотворение, в котором поэт рисует в воображении своих учеников теперь уже большую группу, произносящую единым голосом то, что один из последователей Георге уподоблял «походной песне». (Предположение, что Георге был своего рода духовным сержантом-инструктором по строевой подготовке, не столь уж неправдоподобно, как может показаться на первый взгляд. В момент искренности он когда-то сказал, даже подчеркнул Альберту Вервею: «Что нравится мне больше всего — так это строевая подготовка».)

Нас, как детей, пленяют гордый вид
И поступь властелина — дай нам знак:
И лишь трубач призывно протрубит,
Нас в чистом поле соберет твой флаг.

Веди герой, не знающий преград,
И дух бойца, ликуй и торжествуй —
Нас от твоей звезды не отвратят
Ни мать, ни друг, ни нежный поцелуй.

О взор, где радостно запечатлен
Путь, что казался просветленным сном,
Позор ли, честь ли обозначит он
Склоненным или поднятым перстом?

Он, как награду, именем своим
Отныне дал нам право мочь и сметь.
Он даст нам знак — и с гордостью за ним
За славой мы пойдем, и в ночь и в смерть.

Мало того, что ученики готовы отказаться от всех иных социальных связей — ни «друг», ни «невеста» не должны их удерживать, — но они также готовы принести окончательную жертву, полный отказ от своего Я, символизируемый (или, возможно лучше, иллюстрируемый) готовностью отдать жизнь в интересах увеличения славы учителя. В стихотворении из среднего раздела книги, названном «Апостол», отношение к Учителю —

здесь называемому *Господь*, что охватывает собой семантический диапазон английских слов «Бог», «сэр» и «джентльмен», а также и «учитель», — изображается не менее покорным и не менее абсолютным. В этом стихотворении апостол говорит о своих чувствах к *Господу* другим, которые его не понимают:

Не говорите о блаженстве.
Во мне живет одна любовь — Господь.
Услады — вам. Я за святое стражду —
Живу одним тобой, Господь.

Другие строки стихотворения говорят в той же самой повторяющейся, колдовской манере о том, насколько *Господь* апостола является «милосердным», «мудрым» и, естественно, «самым великим»: «Молюсь одной награды ждущий — / Да обратит свой взор ко мне Господь. / Богатство — прах. Господь мой всемогущий — / Свет, всемогущий мой Господь». Подчеркивая близость этой концепции человеческих отношений более традиционным формам религиозного поведения, другое стихотворение, «Монастырь», обрисовывает в общих чертах, на что могла бы быть похожей совместная жизнь учеников поэта. Он приказывает своей малочисленной группе бежать «тайком от шумных орд, покуда не истощил все силы холодный яд» — как и его исторический образец, этот виртуальный «монастырь» исключает «сестер» — и найти место «в долине для мирного посада». Там, занятые нравоучительной работой, они живут вместе целомудренно, «без иссушающих страстей». Вместо этого им следует сформировать «благочестивые пары», которые «кротки в тиши вечерних туй — беседа, плач, молитва, поцелуй», то есть избегают физического или словесного выражения эмоций, чтобы вести жизнь, где «Один порыв, один восторг в глазах, / Одно к небесной красоте стремленье, / Одно божественное отречение». Мнимый священный подтекст этой композиции, очевидный и преднамеренный, усиливается тональностью книги в целом. Как и монахи, которые приносят священный обет и навсегда отворачиваются от мира, ученики поэта также посвящают себя узам, которые разрываются лишь в момент смерти.

Насколько буквально понимал Георге готовность ученика умереть за учителя — это открытый вопрос. Конечно, Георге оценивал преданность как высшее благо и с горечью осуждал тех, кто ослаблял связь между учителем и учеником или, хуже того, осмеливался разорвать ее. Его мнение о Ницше, который дистанцировался от Рихарда Вагнера после раннего периода глубокого восхищения, весьма поучительно. «Ницше предал Вагнера, — сказал Георге однажды категорически одному из поклонников философа. — Вы хотите оправдать эту измену?» Смелый собеседник Георге по-

пытался ответить на этот вызов, утверждая, что, удалив себя из зоны мощного притяжения звезды Вагнера, Ницше оказался в состоянии «видеть насквозь» его оперы, и только потом Ницше стал к нему враждебен. Георге, который не любил Вагнера даже больше, чем не доверял Ницше, отклонил этот аргумент как не имеющий значения, сказав, что поведение Ницше затрагивало принципиальный вопрос. Атака на Ницше не означала, что он принял сторону Вагнера. «Вы действительно думаете, что я мог бы говорить от имени этого дурного актера и его мошеннической Вальхаллы?», — сказал Георге с негодованием. — И еще кое-что. Вагнер, отвратительно фальшивый и неискренний на сцене, честно вступил в борьбу против XIX века в своей юности, и Ницше был его соратником. А Вагнер был учителем Ницше! Никакого „Рождения Трагедии“, никакого Ницше не было бы, если бы его не пробудил Вагнер! Нет, нет — Ницше предал Вагнера! Если бы он действительно вырос без его влияния, то, возможно, ушел бы от него молчаливо. Но этот шум, это мнимое разоблачение! Сам Ницше отлично знал, что казус Вагнера был также и казусом Ницше». И хотя отступничество Ницше было дурным, но, возможно, прощательным делом, ничто не может извинить его предательство. Для Георге союз между учеником и учителем, даже если он становился слабым или напряженным на какое-то время, был сам по себе священным. Даже если оба движутся в своем внутреннем мире обособленно, ученик обязан поддерживать память о своем учителе в благодарном почтении. Однажды приняв узы, он поддерживал их всю жизнь.

На самом деле Георге говорил не о Ницше и не о Вагнере, но главным образом о себе и своих собственных прошлых и будущих последователях. Немногие из них могли бы дать ему повод вспомнить о «неверности» Ницше, и Георге всегда безжалостно реагировал на их «предательство» и «измену», расставаясь с ними без единого слова и никогда уже не встречаясь и не разговаривая вновь. Для Георге они были фактически уже мертвы. То, что у Георге вызывала удовлетворение сама идея предавать близких людей по меньшей мере метафорической смерти, нашло отражение в одном стихотворении из среднего раздела «Ковра жизни». Названием «Der Tater» (на английском языке нет эквивалента для немецкого существительного, означающего «совершивший деяние», — слово «преступник» подходит, возможно, больше всего) это стихотворение должно вызывать в памяти мощную образность стихотворения «Деяние» из «Книги пастушьих и хвалебных стихотворений». Здесь, вместо того чтобы представить нам юного мальчика, фантазирующего о славных деяниях, поэт говорит о том, кто планирует грязное преступление перед тем, как его совершить. Мы не узнаем ни того, кто будет жертвой намеченного деяния, ни того, каким будет само преступление, за которым последует наказание. Но есть небольшой довод сомневаться, что запланированное «деяние» будет убийством.

Странно, что «преступник» оправдывает свое будущее деяние следующим размышлением:

Кто не примеривался всадить нож своему брату —
Как проста его жизнь и как легки его мысли.
Кто от болиголова ни разу не захмелел,
Тот недостоен даже полной силы моего презрения!

Немногие люди, рассердившись или пострадав от кого-то, не вспыхивают желанием убить своего обидчика, кем бы они друг другу ни приходились. Что здесь тревожит. Ладно бы действия были результатом страсти или гнева — это было бы понятным, если не простительным, — но «преступник» в стихотворении явно не находится под властью неконтролируемых эмоций. Напротив, он холодно вычисляет, подготавливая порочное деяние так, словно планирует воскресный пикник. Он знает, что его действия будут встречены возмущением и осуждением бургеров, теперь спокойно спящих в своих кроватях, но выражает только презрение к тому, что расценивает как их лицемерие и самодовольство.

Такие соображения также ставят под свет разоблачений третью и последнюю часть «Ковра жизни», «Песни грез и смерти». Большая часть этого раздела содержит стихи, которые посвящены отдельным людям, включая Альберта и Китти Вервей, Рейнгольда и Сабину Лепсиус, Карла Августа Клейна, Леопольда фон Андриана, Клеменса фон Франкенштейна и других. Как известно, такая практика не была новой для Георге — в обеих из предыдущих книг он делал то же самое, с тем отличием, что в «Книгах пастушьих и хвалебных стихотворений» скрыл имена своих друзей за древнегреческими псевдонимами, а в «Годе души» указал только их инициалы. Здесь, однако, и впервые, он воспроизвел их полные имена. Но это не был невинный жест. Эрнст Морвиц, который близко знал Георге тридцать лет, объяснял: «Согласно воззрениям поэта на жизнь, это свидетельствует о том, что его отношения с объектами посвящений уже завершились. Если бы он считал, что дальнейшее развитие отношений с ними было возможно, то скрыл бы их имена или только намекнул бы на них». Морвиц продолжал: «Называя их полными именами, он собирает их вместе и знает, что они больше не будут сопровождать его на пути в будущем».

Дело не в том, что Георге открыто продемонстрировал свои намерения. Вместо того чтобы смотреть на себя как на изгоев, названные в этих посвящениях друзья Георге чувствовали себя, по всей вероятности, искренне почитаемыми. В октябре 1899 года, например, Леопольд фон Андриан узнал о намерении Георге опубликовать его имя в «Ковре жизни». Он написал поэту, чтобы выразить свои «удивление и радость», что лишь «нескольких часов, проведенных вместе» было достаточно, чтобы заслужить такой знак отличия, «несмотря на пятилетнюю разлуку». «Я немного горд

тем фактом, что наша связь даже побудила вас посвятить мне стихи, которые расскажут читателям о нас обоих». Андриан был бы, вероятно, немного менее взволнован, если бы знал, что для самого Георге это стихотворение означало не столько приношение живому, сколько эпитафию мертвому. Возможно, Георге хотел, чтобы стихи, завершающие «Ковер жизни», стали долговечными монументами его друзьям, но для него сделать это было равнозначно захоронению их живыми.

Георге рассматривал свою книгу как кенотаф, или гробницу, не просто в переносном смысле. В отличие от Андриана Сабина Лепсиус, казалось, ощущала, что что-то изменилось в ее отношениях с поэтом, и рассказала об этом в письме своему мужу в начале мая 1899 года. До тех пор, однако, все трое находились в весьма близких и регулярных отношениях, и Георге совершал почти ежедневные визиты на квартиру семейной пары во время своего теперь уже ежегодного осеннего пребывания в Берлине. Он также продолжил практику проведения чтений, и перед одним из таких чтений, 24 ноября 1898 года, молодой человек по имени Рихард Перлс умер в Мюнхене. За три года до этого, Георге встретил Перлса, тогда двадцатидвухлетнего и во всех отношениях чрезвычайно представительного мужчину. «Молодой человек необычайной красоты, — вот как Теодор Лессинг вспоминал о нем. — Его гибкое тело венчала радостная аполлонийская голова юного римлянина». Сабина Лепсиус, которая была обязана Перлсу своим знакомством с Георге, также не нашла лучшего способа описать его, чем обратиться к классическим образцам, утверждая, что его «изящная голова напоминала прекрасную греческую камею». Перлс был также наделен быстрым и деятельным умом, одинаково одарен как в науках и математике, так и в пластических искусствах и музыке. В семнадцать лет он посещал лекции по физике Германа Гельмгольца в университете Берлина, а затем продолжил в Мюнхене изучать психологию у Теодора Липпса. Именно там Перлс встретил Георге и именно там открыл для себя морфий.

Вначале Перлс использовал препарат в качестве средства усиления и углубления своего опыта, намеренно подражая дез Эссенту, потакающему своим желаниям герою все еще популярного романа Гюисманса «Наоборот». С течением времени, тем не менее, морфий стал не средством усиления его пылкого влечения к жизни, но неотвязчивой самоцелью. Все более и более поведение Перлса становилось неустойчивым и непредсказуемым. Несмотря на попытки семьи спасти Перлса от самого себя, отправляя его к разным докторам и в разные санатории, он всегда возвращался к желанным объятиям препарата. По мере того как эта ужасная склонность развивалась, друзья Перлса с беспомощным страхом наблюдали, как он систематически себя разрушал. Ближе к концу, после того как Перлс уже был прикован к постели, он демонстрировал признаки погружения в безумие,

его когда-то гибкое тело стало изможденным и хилым, и только слабость препятствовала тому, чтобы Перлс положил конец своим страданиям при помощи пистолета. Наконец, зритель смягчился к постоянным мольбам Перлса об освобождении и милосердно допустил последнюю, массивную передозировку.

Георге был глубоко потрясен новостью о смерти Перлса. Помимо того что он был участником «Листка» — среди других своих талантов Перлс также был и заслуживающим внимания поэтом, — он приобрел нежную привязанность к старшему по возрасту человеку. В апреле 1896 года, например, он написал Георге из Парижа: «Как вы отнесетесь к тому, если мы вместе построим дом в небольшом городке в центральной Италии или в Бельгии? Погруженные в одиночество и любовь, купающиеся в лучах искусства, душа которого испила всю меланхолию нашего умирающего мира, разве не так мы должны прожить дни, которые были бы образцовыми для всех, кто обязан страдать в этом лучшем из всех миров?» В начале мая, Георге отправился в Брюссель на неделю, чтобы побыть с ним, но то, что он увидел, заставило его опасаться самого худшего. Рассказывая Вольфскелю о визите, Георге писал: «Я встретил там нашего дорогого Ричарда Перлса в таком физическом и умственном состоянии, которое вызывает самую серьезную тревогу».

Поскольку Георге был неспособен что-либо сделать для Перлса, пока тот был жив, то решил восполнить это, предоставив, по меньшей мере, подходящий мемориал, знаменующий его уход из этого мира. Спустя пять дней после того, как Перлс умер, Георге в письме попросил Вольфскеля написать несколько слов в память о нем. «За этим мертвецом печально шествуют поэты, любившие его, и если вы также найдете несколько строчек, посвященных ему, несколько строчек в его честь, то они составят часть венка, который я хочу сплести для него и добавить к следующему тому „Листка“, а в *Воскресенье* (когда вы, к сожалению, будете отсутствовать и когда я буду снова читать перед большим кругом в доме наших друзей) я буду вспоминать о Нем». Вольфскель выполнил просьбу и, хотя он и не присутствовал, его слова, наряду с несколькими стихами самого Перлса, использовались для декламации.

Чтения проводились в полдень 4 декабря 1898 года. Как обычно, гостей провели из передней в доме Лепсиусов в слабо освещенную гостиную. Рядом располагалась, соединяемая широкими двойными дверями, музыкальная комната, теперь погруженная в темноту за исключением двух ламп на фортепьяно, которые проливали свой яркий белый свет на поэта, когда он читал. В середине прохода располагался пюпитр, на котором находилась большая громоздкая книга; в стороне находились вазы с цветами, а в музыкальной комнате можно было заметить медный сосуд с веточками лавра. Среди приглашенных был светский лев, неустанно ведущий днев-

ник граф Гарри Кесслер. Видевший ранее только фотографии поэта, Кесслер отметил, что лицо Георге было «более твердым и более скуластым», чем он ожидал; «челюсти и череп имели в себе, при своей широте и мощи, нечто брутальное». В то же самое время Кесслер обратил внимание, что «он читает голосом, чередующимся между скрежетанием и тоном гнусавого проповедника, но ритмично весьма привлекательным». Самым странным, отметил он, был способ, каким Георге декламировал. «Для начала, — объявил Георге, — мы прочтем работы брата, который скончался и ушел от нас в мир сновидений, работы Рихарда Перлса». Немного смущенный всем происходящим Кесслер написал, что «гнусавый тон точно подходил для начала проповеди».

Сознательно или нет, граф Кесслер указал не только на запланированное настроение чтений, но также и на самую суть самопонимания Георге на этом критическом перекрестке его жизни. Георге больше не довольствовался тем, что был просто поэтом — хотя быть поэтом для него всегда было непросто. Исполнение Реквиема в честь Рихарда Перлса перед собранием избранных было более подходящим для этого момента, так как утверждало священную функцию поэта в сфере уже не одной только литературы. Но панихиды — это унылое занятие, и Георге, при всех его симпатиях к скорби конца столетия, не видел себя возглавляющим массовые погребения — по крайней мере, пока не видел.

Он опубликует только еще три книги — «Седьмое кольцо» (1907), «Звезду согласия» (1914) и «Новый Рейх» (1928), — но они будут скорее в большей мере эзотерическими разработками его своеобразного видения жизни, чем поэтическими произведениями в любом традиционном смысле. Несмотря на все его оговорки о своей стране, своем народе и своем времени, Георге, наделенный теперь большей властью и авторитетом, чем когда-либо ранее, обретал новую надежду на то, что он назвал в «Ковре жизни» «божественной юностью». С этого момента он сосредоточивал свои лучшие созидательные способности на создании костяка пылких, преданных и способных юношей, которые воплотят его слово с еще большей истинностью, чем когда-либо могла бы сделать это его поэзия. Он, конечно же, не перестанет писать стихи, но до какой-то степени это снизится до вспомогательной роли. Теперь его главной заботой будет консолидация круга людей, для которых он будет Учителем.





ЧАСТЬ II

НАСТАВНИК

1900 ~ 1908

ЮНОСТЬ ~ ЭРОС ~ МИФ



Глава девятнадцатая

ПРИВЕРЖЕНЕЦ

В марте 1899 года, незадолго до того как Георге исполнился тридцать один год, Карл Вольфскель послал ему подарок ко дню рождения. «Я могу поделиться с тобой радостными переживаниями, а именно стихами, которые вкладываю в письмо. Их написал один юноша, восемнадцатилетний соотечественник, и ты полюбишь в них этот блеск, сверканье жизни, как, возможно, полюбишь и его, этого эфеба, как только увидишь». Вольфскель предполагал, что поскольку автор стихов был действительно так юн, «глубок, страстен и полон любви, что вполне можно было пригубить от его радости и возложить на него наши надежды».

Вольфскель имел обыкновение посылать юношей к Георге, с тем чтобы тот оценил их по достоинству. Так, полутора годами ранее Вольфскель писал ему: «Дражайший друг, позволь этому нежному юноше передать мое приветствие! Он встретился мне на пути, и я тут же ухватился за него, надеюсь, к твоему удовольствию. Нелепо, но тугой воротничок на шее и традиционный крой одежды удивительным образом сочетаются с красотой его лица, с его еще детскими губами и глазами, полными жизни», — хотя и оказалось, что он подразумевал скорее фотографическое изображение, чем реально существующего человека. В течение десятилетия с небольшим Вольфскель и многие другие заботливые друзья Георге постоянно поставляли юношей и молодых мужчин поэту, с тем чтобы тот лично изучил их и решил, подходят ли они ему. Изначально это преподносилось так, будто молодые люди отбирались только для «Листка». Но данную ситуацию взя-

ли за правило, к которому стали прибегать постоянно. На излете 1890-х годов число внештатных сотрудников журнала неуклонно росло, параллельно с тем как снижался их средний возраст. В единственном выпуске за 1897 год (в следующем году не вышло ни одного) дебютировали сразу три поэта — Эрнст Хардт, Карл Густав Фолльмеллер и Август Майер-Эйлер. Самым старшим из них был Хардт, родившийся в 1876 году. А самым молодым, шестнадцатилетним, — Майер-Эйлер, родившийся в 1881 году, то есть во время первой публикации в «Листке» он был почти вдвое моложе Георге. В силу различных причин все трое вскоре выпали из поля зрения читающей публики. Но явным образом в круге Георге уже складывался определенный прецедент.

Постепенно в круге Георге перестали делать вид, что ищут неоткрытые поэтические дарования. С ростом влияния Георге и его круга стало очевидно, что он не имел ни физических возможностей, ни душевных склонностей вести этот поиск самостоятельно. Таким образом услужливым друзьям Георге надлежало среди собственных знакомых, прохожих на улицах и многочисленной публики, собирающейся в театрах, ресторанах, кафе и пивных, внимательно выискивать лицо и стан, которые, как они знали, могли бы понравиться Учителю. Вполне естественно поэтому, что те, кто каким-либо образом имел отношение к университету, получали счастливую возможность влиться в этот постоянный поток привлекательных, талантливых и принадлежащих к общественной элите семнадцати- и восемнадцатилетних кандидатов смотра у Георге. Эдгар Салин, который преподавал в Гейдельбергском университете и познакомился с Георге незадолго до начала войны, связан с типичным инцидентом. Проведя в начале семестра неудачный отбор среди немалого числа новых студентов, Салин смог найти только одного кандидата, достойного быть представленным Георге, и уже готов был впасть в отчаяние, когда в учебную аудиторию вошел долговязый юнец. Он был одет в короткие брючки — спортивные и мальчишеские, которые демонстрировали его колени, но, казалось, только подчеркивали изящную высокую фигуру. Он был обладателем красивой и благородной головы, с которой волнами спускались светлые волосы, и пронзительного взгляда блестящих, отливающих сталью голубых глаз. На следующий день, сообщив радостную новость Георге — он в это время оправлялся от затяжной болезни и, по соображениям Салина, должен был испытать воодушевление от такого улова, — Салин, вместо дружеского приветствия, получил от Георге безжалостную отповедь. «Ты видел этого мальчишку в первый раз? И зачем тебе глаза в таком случае? Что же, это чудо объявилось в классе прежде, чем ты успел его заметить?»

Оказалось, что «это чудо» — адмиральский сын, вся жизнь которого прошла в Гейдельберге. Георге счел непростительным, что Салин не смог разглядеть его раньше, как очевидным образом разглядел Георге. На сбив-

чивые объяснения Салина, что семья мальчика живет на другом берегу Неккара и не входит в круг их обычных знакомств, Георге отвечал лишь язвительными насмешками. «Что же, по-твоему, это извиняет тебя? — распекал он Салина. — Сколько раз в неделю днем и вечером ты едешь туда к Готейнам?» (Эберхард Готейн, также профессор Гейдельбергского университета и общий друг Салина и Георге, жил в Нойенгейме, который расположен на другом берегу реки.) Георге считал непостижимым и непростительным, что этот мальчик никогда прежде не попадался Салину на глаза. «Ты что никогда не видел, как дети водят хоровод на поляне на Вердерштрассе? — с недоверием спрашивал Георге. — Никогда не любовался белокурый заводилой, который задает темп хороводу и направляет движение пар?» Буря вскоре утихла, но — хотя Георге подтрунивал над Салином всякий раз при появлении нового лица: «Этого ты тоже никогда не видел?» — это был урок, который не следовало забывать. Как и где отбирались новые юные создания, которыми Георге с жадностью окружал себя, имело почти такое значение, как и само приобретенное знакомство. Поскольку Учитель не только оценивал новичка, но также прикидывал в уме, как им можно распорядиться.

Но восемнадцатилетний эфеб, которого весной 1899 года Вольфскель предложил Георге, был совершенно иным. Прежде всего Вольфскель называл его «соотечественником», в узком смысле этого слова. Отец этого молодого человека, Зигмунд Гундельфингер, был уважаемым профессором математики в Дармштадте и активным членом городской иудейской общины, где познакомился с отцом самого Вольфскеля — банкиром и политиком Отто Вольфскелем. Юный Фридрих Гундельфингер привлек внимание молодого Вольфскеля осенью 1898 года, когда еще посещал Дармштадтскую гимназию — ту самую, которую поэт сам закончил десять лет назад; и тогда Вольфскель спросил у отца мальчика, разрешит ли тот представить своего сына Стефану Георге. Поскольку Гер Гундельфингер настоял на том, чтобы его сын, прежде чем соблазниться таким рискованным развлечением, завершил обучение в гимназии и начал университетскую карьеру, то знакомство откладывалось и состоялось следующей весной в Мюнхене, где Фридрих заканчивал весенний семестр. Наконец 15 апреля 1899 года Вольфскель послал юному Гундельфингеру срочное сообщение: «Учитель Георге находится здесь уже два дня. Приходи немедленно!!! Он пробудет здесь недолго».

Несмотря на то что эта встреча, как и ожидалось, оказала гораздо большее влияние на чувствительного юного студента, чем на тридцатилетнего поэта, она бесповоротно изменила обе их жизни. После этого первого визита даже имя молодого человека не осталось прежним. Хотя Фридрих уже преклонялся перед поэзией Георге и давно заслужил личную встречу с ним, когда настал великий момент, его так сковала робость, что он был не

в состоянии произнести ни слова. Георге, однако, чувствовал себя свободно и дал своему новому знакомому новое имя. Ему не понравилось, как звучит фамилия Гундельфингер — намекнув лишь, что считает ее «скверной», Георге стал произносить «Гундольф», и с тех пор всему миру известен Фридрих Гундольф. Георге часто использовал прозвища в приватном общении со своими друзьями: например, иногда он называл Рейнгольда Лепсиуса «аполлоническим началом», а его жену Сабину — «дионисическим началом», объединяя их совместным прозвищем «божественная пара». Женские имена вызывали особую антипатию у Георге — вместо их настоящих имен он предпочитал использовать общие обозначения. К Гертруде Канторович, подруге Георга Зиммеля и единственной женщине, опубликованной в «Листке за искусство» (хотя и под мужским псевдонимом Герт Паули), Георге никогда не обращался по имени, данному ей при рождении, — он называл ее итальянским словом *дотторесса* или *Гульдин*, что в древнегерманском языке означает прекраснодушие. Но никогда прежде имена, которые давал Георге своим друзьям, не становились официальными. Гундольф носил свое новое имя как почетный знак. С тех пор для своей семьи и друзей, в своих письмах, книгах и очерках он представлял в мантии, надетой на него Георге. Это в буквальном смысле было крещением и новым посвящением, очевидным образом свидетельствующим о том, что Фридрих Гундольф, урожденный Гундельфингер, переступил порог прежней жизни и вошел в новый ее этап.

По своему обыкновению Георге хранил молчание о том, каким образом данная встреча повлияла на него. Однако можно смело сделать несколько обоснованных предположений относительно его отношения к Гундольфу. Высокий, обладающий изящным стройным телом, а также прямым носом, полным выразительным ртом на овальном лице, чистым ровным лбом и огромными глазами, взгляд которых обращен внутрь себя, — Фридрих Гундольф поражал всех с первого взгляда не просто миловидностью, но ошеломительной красотой. «Его прекрасная внешность очаровала нас всех, — писала Сабина Лепсиус, которая познакомилась с ним через год после встречи Гундольфа с Георге. — Его классически вылепленная голова, обрамленная темными волосами, венчала высокое тонкое тело». Вскоре Георге отправился в Берлин, чтобы представить Гундольфа друзьям. Вместе они посетили Зиммелей, Мельхиора Лехтера и издателя Георга Бонди, который был впечатлен, что «все отметили необыкновенную красоту Гундольфа». На Бонди постоянно давили любопытные гости, требовавшие больше подробностей об этой связи, возможно, испытывающие приятное возбуждение от самой неуместности публичного появления поэта с будто привязанным юным компаньоном. (Даже Сабина Лепсиус нежно называла Гундольфа «пажом» Георге.) «Все вокруг, — жаловался Бонди, — желают узнать у меня

что-нибудь еще об этой необычной паре». Даже в зрелом возрасте Гундольф сохранял легендарную внешнюю привлекательность. Говорят, что туристы, приезжающие в Гейдельберг, где с 1911 года Гундольф жил и, собирая полные аудитории, преподавал немецкую литературу, иногда, видя его на улице, останавливались поглазеть и даже показывали на него пальцем.

Одним из условий такой привлекательности Гундольфа являлось то, что ажиотаж вокруг него, казалось, не производил на него ни малейшего впечатления. Поклонниц удивляла его необычная манера, получив от них букет, выронить его тут же за углом, говоря, что у него нет ни времени возиться с ним, ни вазы, в которую его можно было бы поставить. Причиной подобного поведения были удивительные интеллектуальные способности Гундольфа, его гибкий энциклопедический ум и впечатляющая, но почти прозрачная выразительность речи, которые вкупе с неподдельной искренностью и благородной простотой натуры только усиливали его притягательность. Гундольф мог рассуждать абсолютно обо всем и делал это превосходно. Позже, будучи уже профессором Гейдельбергского университета, он в беседах со своими друзьями и коллегами, среди которых были такие достойные люди, как Макс Вебер и Эберхард Готейн, настолько покорял их своей художественной и гибкой речью, что они, даже не соглашаясь с его взглядами, впадали в восхищенное молчание. Завершив дела с Зиммелем, Георге смог наконец придумать название для этого живого и виртуозного владения словом — «гунделинг», хотя никогда не был очарован игрой этой блестящей словесности, как другие. Несмотря на то что Гундольф стал одним из наиболее плодovitых и влиятельных литературоведов своего времени, казалось, будто Георге не слишком одобрял его работу. Даже когда кто-либо, читая книгу Гундольфа о Гёте, написанную в 1916 году, указывал на очередной превосходный отрывок из нее, Георге язвительно отвечал: «Да-да, совершенный гений». Подозревая Гундольфа в стремлении к абстрактным умственным играм и считая их чем-то вроде расточительства таланта и потакания своим слабостям, Георге часто сердился на Гундольфа, когда тот проявлял эрудированность. Даже блестящий ум не мог окончательно склонить Георге на его сторону — все достоинства Гундольфа тот считал не более чем пустой болтовней сноба-интеллектуала.

Но Гундольф занимался не только тем, что трудился не покладая рук. Все, кто его знал, отмечали его любовь к шуткам и забавным историям — не прилагая никаких усилий, Гундольф мог экспромтом набросать смешные стишки, пародийные рифмованные куплеты и юмористические пятистишия, а его письма пестрят каламбурами и шутливыми остроумными аллюзиями. Эта радость от шаловливой словесной игры и легкомысленной добродушной забавы никогда его не покидала, придавая прелесть его

мальчишескому обаянию. Даже далеко за тридцать Гундольф поражал окружающих своей фигурой, подобной Ариэлю, будто бы никогда не собиравшись взрослеть. «Как дитя», — скажет о нем позже один из членом круга Георге. Он был также превосходным имитатором. Известно, что Гундольф легко мог утихомирить беспокойных детей, укачивая их в колыбели и выделывая нежные птичьи трели. Однажды Георге рассказал, что, когда они вместе были в Швейцарии, Гундольф особенно убедительно исполнил одно из своих пародийных представлений, а именно блестяще симитировал детские вопли, — на его звук сбежались все добросовестные няньки, чтобы успокоить «расшумевшееся дитя».

Щедро одаренный и по-мальчишески юный красавец, Гундольф, казалось, должен был стать воплощением самых смелых надежд Георге. Но он лишь вскользь поделился своим впечатлением от первой встречи в письме Альберту Вервею. В начале 1899 года Карл Вольфскель переехал в Мюнхен и поселился в его тогда малонаселенном районе Швабинг, сняв там огромную квартиру. В октябре 1898 года Вольфскель перебрался из ненавистной прусской столицы в более близкую ему среду на юге Германии по причинам, не связанным только лишь с привлекательностью мюнхенской культуры. 28 декабря 1898 года он вступил в брак с Ханной де Хаан и нуждался теперь в более просторном жилье для своей растущей семьи. В самом деле уже через год, 23 декабря, родилась первая из двух его дочерей — Рената. В апреле следующего года, спустя шесть дней после встречи с Гундольфом, из своего нового дома в Мюнхене Георге написал письмо Вервею, в котором говорил, что поселился там, где «Карл Вольфскель разместил штаб, в котором наставники и их ученики занимаются поиском истины и красоты, предощущая возрождение эллинских дней и ночей». Оставалось неясным, поскольку молодой человек был находкой Вольфскеля, чьим учеником в этом смысле Георге считал Гундольфа, но примечательным является это предчувствие будто бы греческих впечатлений, что бы под ними ни понималось. Так или иначе все разговоры об Элладе и всем том, что с ней связано, нашло свое выражение в стихах и вступительных статьях, напечатанных в «Листке». Это стало первым рассуждением о подобных вещах как вполне возможных в реальной жизни.

Что касается Гундольфа, то по отношению к нему Георге принял сначала позу холодной сдержанности и даже безразличия. Возможно, памятуя об ошибках, совершенных в общении с Гофмансталем за восемь лет до этого, и желая предостеречь себя от той боли, которую он испытал от недавнего разрыва с Рихардом Перлсом, Георге предоставил Гундольфу сделать первые шаги. Именно юный Гундольф спустя пару месяцев после знакомства с Георге начал переписку с ним. Называя Георге в письме «достопочтенным Учителем», Гундольф отправил ему короткую записку, в

которой сообщал, что посылает ему несколько собственных стихов и своих переводов шести сонетов Шекспира и Россетти. Через несколько дней Георге благодарил его в письме за самобытные стихи: «Некоторые из них вы, вероятно, будете рады обнаружить в „Листке“». Переводы Георге также нашел добротными: «Возможно, однажды вашими стараниями будут восполнены пробелы в переводной литературе». Закончил письмо Георге небрежным, ни к чему его не обязывающим пожеланием услышать от Гундольфа при случае «еще что-нибудь хорошее».

Как видно, подобная похвала была настолько прохладной, что почти оскорбляла, во всяком случае совсем не воодушевляла. Однако Гундольф совершенно не чувствовал себя отвергнутым и восторженно писал: «Ваше письмо, это прекраснейшее исполнение моих желаний и надежд и обещание новых, так ободрило меня, что я решил послать вам еще несколько своих стихов». Восприняв оптимистично равнодушный отзыв Георге о его переводах, Гундольф высказывал сожаление о том, что не владеет ни английским, ни немецким языком настолько, чтобы продемонстрировать лучшие стороны оригиналов. Он добавил: «Если мне и удалось переводы некоторых сонетов, близких моим душевным склонностям, то я, убежден, должен благодарить за это только вас, достопочтенный Учитель». Письмо было подписано следующим образом: «С глубоким уважением и искренней благодарностью, преданный вам Фридрих Гундольф».

Как бы то ни было, Георге явно не ожидал проявления такого смиренного благоговения. Но он был удивлен еще сильнее, когда спустя шесть дней получил следующее письмо от Гундольфа: «Высокая задача, которую вы поставили передо мной, не давала мне покоя: за последние несколько дней я перевел столько сонетов, на сколько хватило сил, всего около шестидесяти, причем первые пятьдесят безотрывно, одно за другим». Таким образом, Гундольф переводил на немецкий в среднем десять шекспировских сонетов в день — он старался исключительно потому, что готовился представить эти переводы на суд Георге. В любом случае это был невероятный подвиг и одно из первых свидетельств способности Гундольфа к истине геркулесову труду. За десять последующих лет, хотя и прибегая к советам и активной помощи Георге, Гундольф перевел все пьесы Шекспира, по крайней мере внес поправки в знаменитые переводы Шлегеля и Тика, работая иногда по шестнадцать часов без отдыха. В 1910 году всего за два месяца он написал свою первую книгу «Шекспир и немецкий дух», собрав и переработав с головокружительной скоростью рукопись, состоящую из четырехсот девяноста страниц формата ин-фолио. Что касается работы над сонетами, то Гундольф, казалось, хотел завоевать расположение Георге если не высокими достоинствами переводов, то хотя бы их числом, свидетельствующим о его трудолюбии.

И опять Георге предпочитал хранить молчание. И вовсе не потому, что не догадывался о том, какое воздействие может иметь его слово на этого пылкого обожателя. Вскоре после того как Георге впервые написал Гундольфу, Вольфскель поведал Георге, что слова, собственноручно написанные Учителем, наполнили юного Гундольфа бесконечной отрадой: «Он сиял от счастья и гордости, когда зачитывал мне отрывки из письма». Георге в своих письмах никогда не проявлял исключительную обходительность, предпочитая по ряду причин не высказывать в них ничего такого, что можно было бы обсуждать в более близком общении. «Вы должны простить мою очевидную краткость, — приносил он свои извинения одному из друзей в 1897 году. — Вы принадлежите к тем людям, которым хорошо известно, что мои письма не содержат ничего, кроме изложения фактов». Это было не совсем верно, как мы знаем, но в общем точно характеризует манеру Георге писать письма. Как, собственно, это высказывание не соответствовало действительности и в случае с Вольфскелем, которому в марте, прямо перед встречей с Гундольфом, Георге сообщал: «Писать письма — это явно не мой способ общения». С Гундольфом же он был еще более сдержанным, чем обычно, как казалось, молча наблюдая и выжидая, намеренно отстранялся от него.

Не позволяя себе унывать, Гундольф решил опять пойти в атаку. Терпеливо ожидая полтора месяца, но так и не получив ответа от Георге, он собрал все свое мужество и прямо попросил у него, как он написал Вольфскелю, «аудиенции». Напоминая о смутном предчувствии того влияния, которое он ощутил во время их первой встречи, Гундольф писал Георге из своего дома в Дармштадте в среду в самом начале августа 1899 года: «Осмеливаюсь спросить, могу ли я посетить вас в Бингене». В тот же день ему отправили желанный ответ, сформулированный, однако, таким образом, что мог бы разохотить менее преданного поклонника. «Мне удобно, чтобы вы посетили меня сейчас, — исполненный величия Георге, отдающий точные распоряжения насчет времени и даты «аудиенции», назначил ее на ту же пятницу. — Мне надо обсудить некоторые вопросы, касающиеся ваших переводов и ваших новых стихов, прежде чем эти последние будут опубликованы в „Листке“».

Однако, случайно или намеренно, только Гундольф не смог насладиться пожалованной ему привилегией видеть своего Учителя один на один. Альберт Вервей, который прибыл несколькими днями ранее, на неделю остановился у своего старого друга и таким образом познакомился и с Рейнской областью, и с новым компаньоном Георге. После встречи с Гундольфом Вервей написал домой, своей жене Китти об этом событии, отмечая с безупречной сдержанностью: «Георге любит окружать себя молодыми людьми, и этот далеко не худший из них». В тот же день Гундольф поделился собственным впечатлением об этой встрече с Вольфскелем, с легким

сомнением расхваливая Вервея как «исключительно цельную натуру, уверенного и, как можно судить, умного человека». Но главной и единственной привлекательностью для Гундольфа обладал только Георге. «Учитель в высшей степени очарователен, добр и великодушен; между прочим, мне показалось, он выглядит много моложе, чем в прошлый раз». Самому Георге Гундольф написал следующее: «Благодарю еще раз от всего сердца за всю вашу доброту, которая делает вчерашний день одним из самых прекрасных и незабываемых». Спустя три дня Гундольф написал еще одно письмо, куда вложил свою фотографию, сделанную специально для этого случая, и свои новые переводы. В этом письме Гундольф вновь просил Георге оценить свои последние стихи: «Вам единственному я доверяю свои стихи и хотел бы знать ваше мнение о каждом из них: на верном ли я пути, ведь я так молод и невежествен. Если бы вы согласились руководить мной, быть моим фюрером, как уже направляют меня ваши слова и дела, то вы, достопочтенный Учитель, не нашли бы более благодарного последователя».

Возможно, именно этого Георге так терпеливо ждал — заверений в абсолютной преданности и безусловного признания за собой роли не только поэта, но также наставника и руководителя. Примечательно, что на мольбы Гундольфа он послал короткое стихотворение, а именно четверостишие, которое являлось одновременно порицанием и приглашением, — первое из впоследствии посвященных Гундольфу. Не менее важно и то, что в этом стихотворении Георге обращался к Гундольфу на «ты», что является более близким и интимным, чем формальное «вы», которое они продолжали использовать в письмах к друг другу еще полгода.

Зачем легенды изучать о дальних людях,
Коль можно самому сказать такое слово, какое все услышат.
Разве здесь и сейчас не являемся мы друг для друга
Светом и ответом превыше всех трудов?

Должно быть, Гундольф воспринял первую строку как упрек не столько в усердном рвении, сколько в том, что он недостаточно ценит настоящее с его подлинными удовольствиями, предпочитая удовольствие рыться в книгах. Однако, он или неверно истолковал, или предпочел игнорировать следующие далее весьма не двусмысленные намеки на щедроты, которые Георге предлагал в качестве компенсации за отказ от мертвого знания. «Ваши наставления будут полезны мне», — ответил Гундольф, внезапно став немногословным, и обещал вскоре написать еще одно письмо.

Если наставления Георге в поэзии и вызвали в душе Гундольфа замешательство и сомнение относительно пути, на который он ступил, то нена-

долго. Чуть более недели спустя с тех пор, как он получил стихотворение, Гундольф в письме вновь просился к Георге с визитом 21 августа. И Георге не только согласился, но даже предложил Гундольфу приехать днем ранее и отпраздновать вместе День святого Роха, почитаемого как покровителя и заступника Бингена. Вернувшись в Дармштадт, Гундольф сообщал Вольфскелю: «Я провел с Учителем два дня. Экскурсии по Рейну, золотые деньки на переливающихся серебром просторах в дружеских беседах среди ликующих лугов. В первый день мы шесть или семь часов прогуливались по набережным и теснинам Рейна, захаживая в самые уединенные места в его долине. В одиннадцать ночи мы с Учителем были одни в доме и пировали в гостиной наверху. „Немногие наслаждались такой близостью“, — так, кажется, он сказал. Это было воистину великолепно — и я пребывал в самом благоговейном и доброжелательном настроении. После ужина мы изумлялись возвышенному немецкому характеру Жана Поля, а Учитель превосходно читал вслух самые блестящие отрывки. Он показал мне свой архив, наброски и т. д.». Георге также дал ему свою фотографию — Гундольф счел ее «бесспорно лучшей фотографией Георге, типической и сильной» — и, казалось, его чувства к Гундольфу стали особыми. «Думаю, Учитель относится ко мне с большой теплотой и говорит, что немало ценит меня. И то, что я чту и люблю его, позволяет мне относиться к себе самому с большим уважением, чем прежде, и пока я ощущаю его — кого боготворю — поцелуи и рукопожатия, зыбкое настоящее не коснется меня своими липкими пальцами».

Метафоры, которые использует Гундольф в последнем предложении, могут несколько выбить из колеи, но основной эмоциональный настрой всего отрывка уверенно демонстрирует его ликование. Гундольф был польщен тем, что стал единственным избранником Георге, пользующимся его полным вниманием и явной привязанностью, и, очевидно, испытывал головокружительное счастье любви. Ошеломленный тем, что удостоился внимания этого необычного человека и одновременно окрыленный возбуждением от того, что весь мир изменился, он переживал тот древний глубокий восторг, который всегда кажется новым, уникальным и небывалым, поскольку на его фоне меркнет все остальное. Но с самого начала в любви Гундольфа к Георге присутствовало нечто выходящее за границы обычного почтения или уважения по отношению к предмету обожания. За день до того как послать Вольфскелю подробное и осмотрительное описание своего визита в Бинген, он излил в письме Георге просьбу принять «сердечную благодарность за все великолепие», которое увидел. Странно, но Гундольф просил также не отвергать его благодарность, как будто предполагал, что Георге мог так поступить. «Не отвергайте ее: знаю, что нахожусь перед вами в неоплатном долгу — я научился видеть впервые в жизни, а моя жизнь обрела смысл, направление и цель. Каждым

мгновением рядом с вами и воспоминанием о самых прекрасных моментах я обязан вам, уважаемый Учитель».

Не будет преувеличением сказать, что с тех пор Георге стал центром существования Гундольфа. Все, что он делал, говорил или писал в течение следующих тридцати лет, отмечено влиянием Георге. На долгие годы Гундольф стал человеком, в чьей компании Георге чаще всего отправлялся в путешествие, а также его личным секретарем, доверенным лицом и ближайшим сторонником. Однако при том, что Георге значил для Гундольфа буквально все на свете, трудно утверждать, что Гундольф для Георге имел то же значение. Одна из причин этого весьма банальна — это собственная необщительность Георге. В сентябре 1899 года, отвечая на, казалось бы, бесконечные излияния благодарности Гундольфа, Георге сделал в письме предупреждение, почти граничащее с вызовом. Благодаря Гундольфа за «слова и посылки», Георге бранил его за безудержное самоуничужение: «Кажется, вы приносите мне чрезмерную БЛАГОДАРНОСТЬ... Я так же уважаю вашу молодую жизнь, как вы — мою наполовину прошедшую. Я действительно могу на многое открыть вам глаза, но и вам по силам оказать мне великую помощь. И все же имею ли я право, а вы — силы на то, чтобы перевести наши отношения в другое русло. Время покажет. Обсуждайте со мной, прошу, свои планы и труды, как только почувствуете в том потребность. Но не рассчитывайте на многословный ответ и не удручайтесь этим. Я выражаю свои мысли главным образом в жестах и мимике». Несмотря на весь туман, которым старательно окружал себя Георге, послание звучало громко и ясно: давай, но не ожидай ничего взамен.

Гундольф подтвердил неколебимость своих намерений, по крайней мере готовность терпеть грубое обращение, — его не оттолкнули ни новые упреки, ни перспектива вечно оставаться менее обласканным партнером. Утверждая, что это письмо его «в высшей степени осчастливило», Гундольф решительно старался видеть только хорошую сторону. Обещая не обременять Георге чрезмерным расточением благодарности («и все же не является ли почтение прекраснейшим правом и вернейшим долгом юности!»), Гундольф заверил: «Поскольку вы наставляете меня выражать свою благодарность не словами, а делами, я намерен, насколько позволят мне мои способности, неотступно следовать вашим путем — путем чистого искусства, погружаясь в ваши труды с возрастающей любовью и благоговением». Даже если идея обуздания приступов обожания принадлежала самому Гундольфу, нетрудно понять желание Георге иметь хорошее понемногу.

За попытками Георге охладить, по крайней мере немного успокоить, пыл Гундольфа стоял известный прием, как склонить человека к занятиям, соответствующим его собственным намерениям. Георге знал или инстинктивно чувствовал, что для того чтобы подчинить человека своей воле, не-

обходимо вовлечь его в отношения зависимости от него, например посредством эмоциональной привязанности. Завязав отношения, он, по крайней мере на то время пока они поддерживались, пользовался безграничной властью над теми, кто зависел от его расположения и стремился сохранить его благосклонность любой ценой. Чтобы это осуществить, естественно, нужно быть Георге, выражающим свое одобрение или недовольство и имеющим непререкаемое влияние. Опять же люди, обладающие цельной натурой, сильным эго и нерушимой уверенностью, были в меньшей степени подвержены подобной манипуляции и, как правило, не входили в окружение Георге. Однако капризные и неуверенные люди, чувствующие себя изгоями в обществе и нуждающиеся в признании посторонних для повышения самооценки, среди которых, что неудивительно, находились в основном одаренные юноши, в особенности были склонны полагать, будто цель и смысл их существования заключается в Георге. Парадоксально, но так они оказывались в еще более шатком положении: ведь все, что легко приобретается, также легко потерять. Самым строгим наказанием, которое Георге, как мы видели, налагал ранее и которое он методично применял впоследствии, являлась полная отставка, окончательное и бесповоротное изгнание раздражающей особы из общества Учителя. Последствия этого остракизма были разрушительны для жертвы. Но даже в таких малых, почти гомеопатических дозах, как лаконичные письма, содержащие лишь изложение событий, отказ вовсе отвечать на письма или внезапное нежелание сообщать место своего пребывания, Георге, предлагая свое расположение и отказывая в нем, выступал как эффективный манипулятор. Само понятие круга подразумевает наличие иерархической структуры, на вершине которой находится учитель, пользующийся абсолютной покорностью своих последователей; в дальнейшем психологическая связь между членами круга только крепла, став чем-то наподобие мерила преданности кругу.

Очевидно, наряду с тонкими методами психологической манипуляции, Георге не гнушался и менее искусных практик воздействия на личность. Как в том случае, когда Гундольф стал досаждать Георге чем-то более серьезным, чем нежные письма. В ноябре по требованию Вольфскеля Гундольф опубликовал в журнале «Венское обозрение» («Wiener Rundschau») критическую статью о современной драме, в которой дал отрицательную оценку некоторым сценическим практикам, третируя в частности постановку пьесы В. фон Шольца. Узнав о существовании этой статьи, Георге впал в неопишуемую ярость. Несомненно, тут же в его памяти всплыл подобный неприятный случай, который произошел несколько лет назад, — как и в случае с венской газетенкой, Гуго Гофмансталь, не сообщив Георге и не получив у него разрешения, позволил Герману Бару опубликовать два его стихотворения. Не желая повторения этой истории, Георг-

ге также опасался, что его новый сторонник может пойти по кривой дорожке, как этот вечно колеблющийся австриец. Его реакция последовала незамедлительно и выражалась, в отличие от его уклончивых коммюнике, исключительно недвусмысленно. «Честно говоря, — поведал он Вольфскелю, — меня расстраивает именно то, что я видел *Фридриха Гундольфа*, только что вышедшего в „Листке“, который тут же очутился в мелком журнале „Венское обозрение“, где без разбору печатают что угодно. Я считал его более целомудренным». Георге никогда не нравилось, что поэты и писатели, сотрудничающие с «Листком», печатались где-либо еще, до того как их сочинения принимались к публикации в его журнале. Они должны были быть безукоризненными и незапятнанными — словом, девственными. И раз уж они начинали сотрудничать с журналом, Георге требовал от них абсолютной верности. Дело заключалось не только в том, что Гундольф был скандально неразборчив в связях, но и в том, что Георге опасался могущего последовать за этим незаконного вторжения на его территорию и считал, что Вольфскель должен предпринять более серьезные меры по сдерживанию мародеров. «Эти люди не заставят себя ждать, и, как только у нас появляется какое-то новое имя, они тут же тянут к нему свои грязные руки». Поскольку Вольфскель все еще являлся покровителем Гундольфа, Георге считал его персонально ответственным за это преступление: «Тебе, что, действительно нечего сказать обо всем этом?»

Вольфскель хорошо понимал, что его может спасти только признание, возможность представить все в наиболее выгодном свете и надежда на лучшее. «Высказывание Гундольфа в „ВО“ — целиком и полностью моя вина», — оправдывался Вольфскель, пытаясь объяснить, что всего лишь намеревался положить конец «отвратительным поползновениям» Гера фон Шольца, который, как сообщил Вольфскель, не так давно опубликовал куда менее лестную статью о самом Георге. «Кроме того, что этим летом он дошел до такой нелепости, что показывал зубы Стефану Георге, о чем вам хорошо известно, я не желал более скрывать, что не так давно этот разбойник позволил себе обвинения в неопишемом бесстыдстве в своем длинном очерке, который сам заслуживает порицания». Таким образом, казалось, возникла возможность отразить удар обидчика, к тому же, как уверял Вольфскель Георге, журнал, в котором Гундольф наносил ответный удар, вовсе не был, вопреки возражениям Учителя, «богом забытым местом!». Теперь, стараясь изменить тактику защиты, Вольфскель пытался представить необходимость доблестью. Он напомнил Георге об отложенном плане расширить границы «Листка», включив в них очерки на темы философии, культуры и даже политики, — плане, который обсуждался на конференции в Бингене в сентябре 1896 года, которую Гофмансталь пропустил, несмотря на то что идея о расширении тематических рамок журнала полностью принадлежала ему. Если ситуация не изменится, подытожил

Вольфскель, люди будут вынуждены сражаться под флагом противника. «Пока этот чрезвычайно необходимый журнал более широкого формата, перспективы которого сейчас нужно рассмотреть как можно более серьезно и для которого требуется круг одаренных сотрудников, — Вольфскель, от которого иногда ускользали собственные мысли, перевел дыхание и продолжил, — пока он так и остается замыслом, у нас просто не будет иного выбора, как сражаться на стороне противника, поскольку мы должны сражаться. И, кажется, Гундольф вполне может стать тем необходимым воином, сражающимся за правое дело, — он так чист, что брань не сможет очернить его, а его оружие превосходного качества и прекрасно заточено... Я бы сказал, он доказал свою преданность и ни в малейшей степени не нарушил верность „Листку“. А борьба с темными силами и их поползновениями — его долг как воина, находящегося на часах во всеоружии».

Не считая внушающей тревогу склонности Вольфскеля к быстрой и свободной игре военными метафорами в литературных дебатах (спустя три года он подобным образом встретил выход в свет одного из прозаических сборников Георге, восклицая: «Вам, Учитель, всегда сопутствует победа!»), его в равной степени беззастенчивый вкус к противоречию — по крайней мере, к нежеланию соглашаться в кем-либо — Георге считал выдающимся. Если бы Георге пожелал ответить на непокорность Вольфскеля, тому бы не поздоровилось. Как бы то ни было, реальным виновником был Гундольф, а не Вольфскель — закаленный в боях и повидавший виды солдат Георге. Но восемнадцатилетний неопит Гундольф не мог позволить навлекать на себя гнев Учителя и поэтому рисковал всем. Был ли он настолько проницателен и быстро сообразил, что покорность и безоговорочное подчинение являлись необходимыми условиями расположения Георге, или был склонен к ним по своей природе, он никогда не противоречил воле Георге — никогда, кроме одного случая, за который заплатил высокую цену.

«Любовь — все-таки лучший учитель», — постоянно повторял Георге. Бесспорно, в Гундольфе Георге вызывал такие же глубокие и сложные чувства, как и в других молодых людях впоследствии. С течением времени Георге доработал свое понимание «греческих дней и ночей», дополнив его новой интерпретацией наследия греческих авторов, главным образом Платона, под влиянием которых начала формироваться его образовательная и педагогическая программа. Но поскольку любовь, или эрос, является несомненно мощным стимулом, Георге для достижения своих целей прибегал к тонкому использованию благосклонности и подразумеваемой угрозы потерять ее. Фундаментальной целью его педагогических усилий, итогом этого «воспитания любовью» не являлось ни освобождение разума его протеже, ни подготовка к определенному месту в государстве (если только не в государстве самого Георге), ни передача надежных навыков по преодо-

лению трудностей и разочарований жизни. В действительности все эти попытки Георге отвергал, считая их «буржуазными» ценностями и целями. Его педагогическая миссия состояла именно в том, чтобы, как он впервые осознал в общении с Гундольфом, сохранить для себя самого группу последователей, привязанных к нему иррациональной силой беспрекословной покорности. Георге вовсе не стремился к освобождению своих последователей — он хотел подчинить их себе.





Глава двадцатая

СБОРНИКИ

Защищая Гундольфа от гнева Георге, Вольфскель не ушел невредимым. Внешне он казался почти неуязвимым. Шел седьмой год его тесного общения с Георге. В это время уроженец Гессена стал главным представителем «Листка» — он занимался тем, что отражал нападки дерзких критиков, подбирал новичков, обеспечивал непрерывный поток собственных стихотворных и прозаических произведений и даже время от времени делал своевременные денежные вложения в военный фонд журнала. В то время он постоянно находился в готовности вступить в отчаянную схватку, выпуская серии книг, пополнивших число лучших образчиков немецкой литературы, принадлежащих ее великим прародителям, к которой Георге причислял и свой «Листок». Но Георге и его сотрудники стремились не только выпустить сборники, но и закрепить за собой территорию, на которую, по их мнению, они имели исключительное право. Это был беззастенчивый акт культурной аннексии, сознательная попытка литературного захвата. И наиболее дерзкая идея этого замысла заключалась не в захвате чужого владения, а, скорее, в решении вступить в арьергардный бой за немецкое наследие.

Этот стратегический план разрабатывался на протяжении долгого времени. Мы помним, что в 1896 году Георге сообщил Гофмансталу и Вольфскелю о своих намерениях издавать молодых и уже признанных немецких поэтов, как с особым вкусом это уже делало издательство Уильяма Морриса «Келмскотт-пресс». Тем временем подобные публи-

кации становились необходимыми не только в силу чисто эстетических причин. И несмотря на противоречивое стремление Георге к тому, чтобы члены его круга заняли место ведущих представителей современной немецкой литературы, и одновременно к тому, чтобы не иметь ничего общего с Германской империей того времени, он хотел воплотить в жизнь замысел необходимого переосмысления и преобразования Германии, который уже начал формироваться у него. Изначально Георге полагал, что сможет осуществить задуманное только силами своей поэзии. В конце концов он всегда считал, что его стихи имеют прямое отношение к реальности и способны ее изменять. Черпая вдохновение в великом образе Рейна и для собственной жизни, и для исторических свершений, Георге решил здесь начать свое дело. Альберт Вервей вспоминал, как во время своего визита в Бинген летом 1899 года, когда он познакомился с Гундольфом, Георге признался ему в том, что у него возникла «грандиозная идея написать стихотворение, посвященное Рейну, от его истока до устьев, образ которого воплотил бы все его чувства и чаяния, связанные с Германией, — он надеялся, что это стихотворение станет его поэтическим и политическим наследием и руководством для молодежи». Внимание приковывает второе прилагательное, оно однозначно выявляет уже наметившиеся изменения в плане Георге, замыслы которого становились более серьезными и постепенно смещались в сторону политики. «Теперь в нем поселилось, — продолжал Вервей, — намерение обосновать, что он и его деятельность имеют историческое значение. Георге начал книгу о Жане Поле. Он чувствует острую необходимость укрепить собственную позицию в культуре».

Память немного подводит Вервей — серия сборников была открыта не «книгой о Жане Поле», а чем-то вроде выбранных Георге отрывков из произведений Жана Поля. Жан Поль — творческий псевдоним выдающегося писателя Фридриха Рихтера (1763—1825), который происходил из герцогства Франкония, что на юге Германии. Несмотря на то что его жизнь и творчество пришлось на период классицизма и романтизма, они не принадлежали ни к классицизму, ни к романтизму. Его крупные и даже гигантские выдержанные в юмористическом ключе романы никогда не были чрезмерно популярны, хотя Томас Карлейль мужественно переводил огромные отрывки его текстов в 1820-х годах, пока окончательно не утратил энтузиазм. Историки немецкой литературы XIX века, которые стремились раскладывать изучаемый материал по четким и строго определенным категориям, в действительности никогда не знали, к какой рубрике его отнести. К концу века Жану Полю ничего не оставалось, как исчезнуть из немецкого сознания. В глазах Георге это забвение не имело оправдания. И наоборот, то, что Жана Поля забыли, делало его еще более привлекательным для Георге, поскольку, по его мнению, это уберегло внушитель-

ный корпус его трудов от искажений и низких поползновений так называемых литераторов, привыкших рыться «грязными руками» в чужих текстах в поисках свежих идей и заимствований.

И уже несколько раз прежде в «Листке» Георге публично обозначал свой интерес к Жану Полю. В выпуске журнала за март 1896 года он разместил посвященный Жану Полю длинный панегирик, содержащий несколько выдержек из его произведений. Воздавая должное дару Жана Поля, Георге называл его «одним из величайших и незаслуженно забытых» поэтов. Он восхвалял его исключительное мастерство схватывать «самые тонкие нюансы» в значении слов и открывать «таинственный незримый шелест и восхитительное движение их смыслов». Георге утверждал, что Жан Поль является «прародителем всего современного импрессионистского искусства». (Любопытно, в этой статье Георге продолжал рассуждать о том, что открытая Жаном Полем «выдающаяся чувствительность, такая как бы женская чуткость и такая мощь переживаний» глубоко поразила его и заставила в почтении преклонить голову.) И действительно, несмотря на то что Жан Поль является главным образом романистом, его язык лиричен, многослоен и плотен — Георге видел в этом еще одну причину того, что работы Жана Поля оставались нетронутыми. Постепенно, однако, привлекательность этих достоинств отступила перед более значительным вопросом — перед тем, что Гундольф во время своего путешествия в Бинген в августе, когда Георге декламировал некоторые стихи поэта, назвал «возвышенным немецким характером Жана Поля». Таким образом, возвращение Германии Георге начал не с мощного образа Рейна, а с фигуры непонятого и позабытого романиста из Франконии.

По своему обыкновению для иллюстрирования готовящейся к изданию книги Георге привлек Мельхиора Лехтера. Как его заместитель Вольфскель был назначен ответственным за исключительно литературную сторону издания. Но вскоре начали возникать проблемы. Преданность Вольфскеля своему делу не вызывает сомнений — он справлялся с поставленными задачами и делал все вовремя, никогда не вызывая гнева Георге. Потрясающая энергичность Вольфскеля и энтузиазм, а также все более активная социальная жизнь в Мюнхене приводили к тому, что он, весьма очевидно, перегружал себя различными делами. В начале 1897 года Георге уже говорил о своем нежелании обременять Вольфскеля чрезмерными распоряжениями, «которые ваш дух охотно принимает, но тело уже не способно исполнять». В декабре 1899 года, когда появились первые оттиски книги о Жане Поле, Георге начал беспокоиться из-за того, сможет ли Вольфскель справиться с силами и выполнить скрупулезный труд — вычитку и правку текста — с надлежащими вниманием и скоростью. К счастью, за дело взялся новый, энергичный и явно трудолюбивый, единомышленник. «Дай знать поэту *Фридриху Гундольфу*, — наставлял Георге Вольф-

скеля, — что он заслужит доверие и благодарность, если возьмется за чтение корректуры книги о Жане Поле».

Существовала другая, более сложная проблема, препятствовавшая тому, чтобы Вольфскель, занимаясь вычиткой текста, продирался сквозь опечатки, пропуски или пробелы печати и так далее, — его низкое и продолжающееся ухудшаться зрение. С рождения он крайне плохо видел левым глазом, а правым — только чуть лучше. В 1895 году жестокая болезнь чуть не сделала его полностью слепым. Очки с толстыми выпуклыми линзами, которые носил Вольфскель, помогали, но не решали проблемы. Жертвами ужасного зрения Вольфскеля оказывались люди, с которыми он находился в переписке. Кроме Гундольфа, который, расшифровывая письма Вольфскеля, почти преуспел в искусстве палеографии, никто не мог разобрать его размашистый и неаккуратный почерк. В августе 1901 года Мельхиор Лехтер, эта добрейшая и терпеливая душа, так и не сумев прочесть сообщение от Вольфскеля, ответил ему, написав: «Мой дорогой друг, благодарю вас за открытку. К сожалению, я не смог расшифровать ее содержания!» Вскоре после этого Гундольф сообщал Вольфскелю: «Среди ваших друзей и почитателей существует тайная договоренность не отвечать на ваши письма, если они не написаны ясно и четко на больших листах бумаги». Возникла группа поддержки этих страдальцев — «Берлинское общество адресатов писем Вольфскеля». Таким образом Вольфскель узнал, что вопрос его почерка был совершенно не шуточным, да и Гундольф подтверждал: «Учитель говорит, что проблема вовсе не относится к разряду надуманных». Когда Георге утруждал себя личным письменным ответом Вольфскелю, то становился еще менее снисходительным. Однажды он вернул Вольфскелю его каракули, прямо на конверте письма написав карандашом: «Совершенно не разобрать. Стефан».

Неразборчивый почерк Вольфскеля представлял собой, конечно, досадное, но все-таки несерьезное явление в русле общей напряженной работы над изданием антологии. В апреле 1900 года Георге получил первый экземпляр корректуры, который проверяли будто бы и Гундольф, и Вольфскель. Георге был потрясен. В своем письме к Гундольфу он заявлял, что обнаружил «страшные пропуски» в самом первом отрывке. «Теперь, — писал он, — днями и ночами я работаю» над их исправлением, «поскольку текст кишит написанными с ошибками и пропущенными словами (только в первой его половине их несколько сотен)». Он по-отечески отчитывал Гундольфа за небрежное отношение: «Это дело является более трудным, чем вы оба думали». Определенно не было смысла открывать кампанию. Более того, Георге счел иронией судьбы то, что из всех людей именно ему пришлось напоминать — и кому?! — Гундольфу и Вольфскелю о необходимость уделять особое внимание самым мелким деталям: «И что же, я, самый необразованный из вас, дол-

жен наставлять в бдительности и добросовестности вас — немецких ученых?!»

Георге считал, что главным образом Вольфскель несет ответственность за эту неприятность. Заметив, что дело является «крайне серьезным», он заявил Вольфскелю: «Гундольф трудолюбив, но неопытен, он работал над корректурой в полную силу. Сам я провел много дней за работой над ней, но по-прежнему нахожу, что текст остается в неудовлетворительном состоянии. Наша размеренная выверка текста еще очень далека от завершения. Объем моей работы увеличился, поскольку она оказалась более сложной, чем ожидалось». Он взвалил на Вольфскеля весь груз ответственности за «второе чтение» корректуры, чтобы выразить «возвышенность и великолепие замысла». Георге сказал ему: «Поскольку вы вместе со мной руководите работой по выходу собрания сочинений, на вас ляжет все осуждение за поспешный и небрежный результат». Заканчивая выволочку, Георге прибавил в своем письме еще несколько слов, которыми хотел примириться с Вольфскелем: «Не ищите гнева в моих строгих словах — в них только желание напомнить без обиняков об обязанностях в связи этим великим делом, за которое вы принялись». Не уверен, было ли тут примирение, но уж напоминание о долге и впрямь присутствовало.

К недовольству Георге работой Вольфскеля и Гундольфа над книгой о Жане Поле добавилось еще и то, Мельхиор Лехтер по неизвестным причинам медлил с иллюстрациями. С начала года Георге постоянно поторапливал его, но, несмотря на то что он постоянно вымаливал у Лехтера хоть пару слов о работе над проектом, тот молчал долгие недели. «Все мои намерения вы пресекли словами о своем „следующем письме“, которого я ждал 8 дней», — писал Георге Лехтеру в феврале. Через месяц он повторил свою просьбу: «Когда же вы, о Учитель, окончите работу по Жану Полю?» Прошел еще месяц, но Лехтер по-прежнему молчал. Тогда в апреле Георге выдвинул ультиматум: «В седьмой и последний раз я обращаюсь к вам, поскольку публикация нашей книге о Жане Поле под угрозой». Наконец, в одиннадцать часов дня, к концу месяца Лехтер объявил: «Все рисунки выполнены!» Но все же он не отправил их Георге на утверждение. В это время, вместо того чтобы излить на него весь свой гнев, Георге решил пойти другим путем. Прибегнув к сарказму, он живописно обрисовал угнетающий сценарий: «Вообразите, что я, к своему глубокому несчастью, одновременно готовлю к публикации сразу десять книг (что соответствовало реальности) и в связи с этим нахожусь перед двумя в равной степени ужасными возможностями. Или я подготовлю и издам все книги в очень скромном виде, без вашей доработки, и тем самым навлеку на себя ваши порицание и осуждение на всю оставшуюся жизнь, или вы активно участвуете в издании, и тогда я получу из общего числа запланированных пять,

а возможно, даже шесть подготовленных к публикации книг, но уже на своем смертном одре».

Когда в конце июня Георге наконец получил весь комплект итоговой корректуры с иллюстрациями Лехтера, его раздражение тут же испарилось. Он был переполнен чувством «изумления и восторга». «Ваша работа, — говорил он, — великолепна и проста: нижний рисунок во введении, который повторяется в синем цвете на последней странице, безусловно, принадлежит к самым вдохновенным и великолепным иллюстрациям, которые вы когда-либо выполняли». Особой похвалой Георге отметил «урну с лепным узором», воскуренную дарохранильницу, которую на фоне тусклого исходящего от звезд света и в окружении цветочных гирлянд держат две изящные руки. Его похвала была неподдельной. Ему так понравилась это изображение, что позже он стал использовать его в качестве личной эмблемы на почтовой бумаге и во всех книгах серии «Листка за искусство», издаваемых Бонди, пока впоследствии оно не было заменено другим символом. В общем, Георге был настолько доволен исходом дела, что все прежние упреки и обвинения исчезли из его памяти. «Как удачно, что волею судьбы именно вам выпало это дело, — ласково почти напевал он Лехтеру, — впервые благодаря вашему мастерству наши немецкие поэты предстали в облачении, достойном их таланта».

Завершая письмо, Георге предупреждал Лехтера: «Теперь, однако, приготовьтесь защищаться от тех стрел, что полетят в вас, как и в меня, или омыться, будто в ядовитой крови линворма, в презрении!» Георге всегда помнил о том, что издание книги о Жана Поле не является только литературной акцией. Ей суждено было стать первым ударом в крупномасштабном наступлении, и теперь, когда война была развязана, Георге и его сторонникам следовало ожидать вооруженного сопротивления. Этого ответного удара не пришлось долго ждать. В августе того же года в первом номере литературного журнала «Остров» [«Die Insel»] один из его основателей и редакторов, двадцатидвухлетний Рудольф Александр Шрёдер, пошел в контратаку. Оспаривая уместность представленной точки зрения на творчество Жана Поля как на предвзятую подборку коротких отрывков из его произведений, Шрёдер объяснил эту своеобразную перекомпоновку наследия Жана Поля «непростительным отсутствием вкуса». Редакторы, писал Шрёдер, «явным образом стараются выдать Жана Поля за писателя классицизма в их собственном понимании, отбрасывая все, что не соответствует принципам, изложенным в „Листке“, или целям, к которым они стремятся». Шрёдер утверждал, что к «активному протесту» его побудили «насилие над текстом и извращение слова крупного автора». Он также прицельно бил по «бессодержательному введению», предварявшему сборник, в котором способ подборки отрывков объяснялся тем, что «бытие» Жана Поля находилось во «внутреннем разладе». Шрёдер с издевкой про-

должал: «Психология, оперирующая подобными клише и поверхностными понятиями, соответствует геологии, которая удовлетворяется основанной на наблюдении иллюзией о том, что Солнце вращается вокруг Земли». Что касается вклада Лехтера в эту публикацию, то у Шрёдера не нашлось ничего, кроме насмешек. Иллюстрации «еще более отвратительны, чем рисунки в „Ковре жизни“, которые, кажется, уже достаточно прославились своей, как чугун, готической и неопишимо экзальтированной банальностью». Вспоминая удачную работу Лехтера над «Годом души», Шрёдер сетовал: «Больше всего я скорблю о том, что сейчас он демонстрирует удивительное бессилие».

Шрёдер был молодым автором, страстно желавшим заявить о себе, но его выпад не мог остаться неотмщенным. Гундольф немедленно уселся за написание статьи, в которой намеревался выразить яростную отповедь. Георге, который еще в июле уехал в Голландию, чтобы восстановить свои силы после изматывающего труда над сборником, прочитал черновик статьи Гундольфа и, не утвердив, запретил публиковать. Иногда он действительно считал, что береженого бог бережет. Даже несмотря на то что Гундольфу и Вольфскелю отказали в возможности публично получить сатисфакцию, они оба взяли реванш частным порядком. Остроумно переставив первые буквы имени Рудольфа Александра Шрёдера, в личной переписке они называли его «Arsch» — эта своеобразная аббревиатура в немецком языке означает тыловую часть человеческого тела и по звучанию напоминает слово английского языка с тем же значением. А журнал «Остров» они с радостью переименовали в «Arsch-enal».

Разумеется, книга о Жане Поле ни в коем случае не задумывалась в качестве одиночного выстрела — она предполагала целую канонаду. Уже с 1898 года, когда началось сотрудничество с издательством Георга Бонди, Георге был занят тем, что готовил к единому изданию свои «популярные» произведения из ранее опубликованных и совершенно новые сочинения. По чисто прагматическим причинам при издании этих книг было решено отказаться от иллюстраций Лехтера, что позволило Бонди одновременно снизить затраты и увеличить число издаваемых экземпляров. В июле 1898 года Бонди дал согласие на печать от пятисот до восьмисот экземпляров каждой публикуемой книги, что, несмотря на сравнительно небольшой тираж, почти вчетверо превосходило обычные тиражи Георге. В ноябре того же года Георге завершал работу над вторым изданием «Года души», а также над «Гимнами», «Паломничествами» и «Альгабалом», которые были объединены в один сборник, и над собранием стихотворных и прозаических произведений из «Листка», причем каждое издание он сопровождал отдельным введением. В 1900 году, менее чем через год, вышла в свет сокращенная версия «Ковра жизни» в дополнение к книге о Жане Поле,

которая была первой книгой в искусной обработке Лехтера и выполнена на дорогом пергаменте (невероятным тиражом в 403 экземпляра). Следующий год был отмечен еще более бурной активностью: Георге занимался переводами Бодлера, а также подготовил и издал сборник своих юношеских стихов, который назвал «Букварь» («Die Fibel»), и второй том антологии, посвященный поэзии Гёте.

Мало этого, в 1901 году вышел пятый выпуск «Листка за искусство», который являлся самым значительным по объему и содержанию. Вместо того чтобы делить один выпуск на несколько номеров, что было обычным порядком издания журнала прежде, Георге решил объединить все материалы в однотомнике. Число печатающихся в этом номере поэтов также возросло до тринадцати — столько участников никогда еще не включались в один номер. Выпуск содержал, как обычно, стихотворения и поэтические циклы, а также несколько крупных драматических произведений — все это вместе, тем не менее, производило впечатление безусловной тематической согласованности и внутренней связности. Кроме вводной статьи редактора, в этом номере не было прозаических произведений — исключительно стихотворные, что только придавало журналу своего рода формальную стройность, отсутствовавшую в прежних номерах. Среди новых вещей Георге были отрывки из перевода «Божественной комедии» Данте, работе над которым Георге посвятил весь последний год и который ощутимо повлиял на его отношение к себе как к поэту. Даже с чисто внешней стороны «Листок» имел прекрасный и более последовательный вид. Вместо того чтобы совмещать различные начертания и размеры шрифтов на форзаце и внутри книги, как это было принято делать ранее, в этом выпуске от начала до конца все было напечатано одним и тем же шрифтом, как будто журнал, по крайней мере внешне, представлял собой некое гармоничное целое или плод одного ума и воли, а вовсе не был собранием отдельных разрозненных произведений, чем являлся в действительности.

Этот выпуск журнала действительно был весьма склáдным, но ни в коем случае не гармоничным или же идиллическим. Казалось, в нем предпринимались попытки выразить принципы четко и ясно, но без ущерба для их полемической остроты, и при случае авторы становились язвительными в своих высказываниях. Еще более важным является то, что в новом номере был широко представлен критический обзор. «Листку» всегда было свойственно предлагать вниманию читателей обзоры скорее в форме жесткой отповеди, чем в позитивном ключе. Но раньше они сосредоточивались главным образом на осуждении эстетического вкуса современной немецкой литературы с подробным перечислением ее недостатков. Теперь поле критики было расширено и в него включились, казалось бы, прямо не связанные с литературой мировоззренческие, социальные и политические

темы. Еще раз принимая приводящую в замешательство форму ответа на вопросы, а значит диалога, по отношению к которому мы как читатели оказываемся внешней и пассивной стороной, одна из максим гласила: «низким обманом» является утверждение о том, что «требование формальной чистоты в творчестве не соответствует немецкому духу и более свойственна искусству южной Европы». Приводя в качестве очевидного опровержения подобного утверждения высказывание Ганса Гольбейна, который так же последовательно придерживался принципа формальности в искусстве, как и современные ему итальянские художники, автор журнала настаивал на том, что эта черта немецкого характера существовала втуне, так как традиционно акцент делался на другую его особенность. Так, он утверждал: «Очевидно, что после всей политической и религиозной неразберихи XVI века у немцев начала формироваться склонность ко всему бессодержательному, надрывному и поверхностно умозрительному».

Здесь высказаны две мысли, которые следует отметить отдельно. Во-первых, дискуссия на тему живописи Гольбейна имела целью не только постичь искусство само по себе, но и переосмыслить более широкий культурно-исторический контекст. Идея заключалась в том, что, иначе выражаясь, практический принцип «искусства ради искусства» нарушался в связи с привлекательной перспективой использовать искусство для каких-либо иных целей, а именно в качестве полемического средства в спорах, выходящих за рамки собственно искусства. Во-вторых, впервые Георге высказывал не только свои поэтические взгляды, но личные размышления, которые преподносились в качестве догматов. Что касается беспорядков начала XVI века, то, хотя Георге и выражался расплывчато, в действительности имел в виду конкретное историческое событие, связанное с Реформацией и ее зачинщиком Мартином Лютером. Разобравшись с одним из своих злейших врагов, Георге принялся за другого. Следующая максима гласит: «когда мы рассуждаем о влиянии на прусский характер», всякий «разумный» человек должен понимать, что «Листок» не имеет ничего против отдельной личности или всего «племени», а выражает свое несогласие «с очень эффективной, по общему признанию, системой, враждебной всякому искусству и культуре в целом». Конечно, «Пруссия» в частном лексиконе Георге обозначала самый страшный жупел, но с этого времени ее резкое осуждение стало непреложной частью официальной позиции круга Георге. Следующую свою жертву — излюбленный предмет критики — Георге назвал «порочной путаницей буржуазии». Он высмеял тот факт, что буржуа «часто упрекают художников в своих собственных дурных наклонностях» — интересно, в данном положении он даже не пытается отрицать свой критический настрой, — «но мы останавливаемся в изумлении перед множеством тех великих и ничтожных вещей, которые любит буржуа». Не вдаваясь в детали, Георге далее заявляет, что «именно бюргер», а не художник,

демонстрирует явную «извращенность и порочность», окружая себя «целым нагромождением неподлинных вещей».

Протестантство, Пруссия, буржуазия — этот перечень хорошо известен в наши дни. Но стремление совместить социальные, культурные и политические темы с вопросами «чистого» искусства обозначило существенное отклонение от прежней позиции «Листка». Как известно, прежде журнал выполнял роль рупора в крупномасштабной кампании, которой Георге дирижировал на протяжении последних пяти лет, теперь же отклонение от начального курса просто бросалось в глаза. Это новое стремление сочетать поэзию с политикой нашло свое впечатляющее выражение в следующем изречении: «В конце концов немец обзаведется жестом, что для него гораздо важнее десяти завоеванных провинций». Совершенно неясно, что Георге имел в виду под «жестом», который следует предпочесть захвату территории, — он может означать «стиль», «соответствие», «отношение» или еще массу вещей, но в данном случае очевидно подчеркнутое значение его чрезвычайной важности. Но еще более примечательно то, что сравнение вообще имело место. Дело главным образом заключалось в том, что нечто настолько абстрактное, как «жест» — каким бы ни было значение этого понятия, — оценивалось гораздо выше, чем будущие реальные завоевания. Разуму Георге живо представлялось, что одно из них является необходимой предпосылкой, в действительности определяющей возникновение другого.

Не все высказывания введения посвящены подобным посторонним темам. Большинство из них все еще соответствует духу «Листка», но определенно звучит по-новому. В одном из них утверждается, что в Германии отмечено культурное движение, которое зародилось в «маленьком кружке» и продолжало до недавних пор развиваться «только в близлежащих странах», — речь велась о «сообществе интеллектуалов и художников, которых объединяли общие и частные предпочтения и взгляды на жизнь». На упрек в том, что писатели, связанные с журналом, «отрешились от жизни», Георге ответил: причина данного нелепого воззрения заключается в том, что «литература вчерашнего дня была такой же плебейской, как сегодняшняя аристократия». Противопоставляя себя и свой круг «литературному сброду», как он называл современных властителей дум от литературы, Георге заявлял, что в их глазах «всякая высшая форма жизни», под которой, естественно, имел в виду себя, «должна казаться искусственной и безжизненной». В заключительном афоризме под названием «Новые грезы» Георге схематично обрисовал свое видение будущего, сведя отдельные мысли в некую единую панорамную картину. «Молодежь, которую мы видим сейчас перед собой, позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем нас ждет более высокое понимание жизни, более благородное управление страной и более пылкое стремление к красоте. Какими бы великими ни

оказались революции и потрясения, мы знаем, что они будут совершенно иными, чем просто политические или экономические стычки, как уверены люди сегодня».

Постоянный акцент на «жизнь» в противоположность только «искусству», которым отмечены все максимы этого введения, является очевидным признаком того, что Георге, следовательно «Листок», решил двигаться в ином направлении. Симптоматично также то, что в новом проекте трех направлений развития, представленном в последнем изречении Георге, стремлению к красоте придавалось ошутимо меньшее значение. Наиболее бросается в глаза предощущение потрясений и радикальных преобразований в будущем, хотя автор не определяет конкретно их характер. Таким образом, все рассуждения якобы исключительно о литературе или культурных событиях были решительно отброшены — вместо них на передний план выдвигалась установка на широкомасштабную деятельность. Конечно, сущность этой деятельности не была еще точно выражена и даже сформулирована. Однако уже освобождалось место под будущую программу действий, которые должны были осуществляться не столько в сфере поэзии, сколько в самой «жизни». В этом вопросе принципы, высказанные Георге, задавали общую линию развития, по крайней мере подтверждали очевидный и непреклонный отказ открыто касаться ее деталей. «Новая культура возникает, — утверждает один из этих принципов, — когда одна или несколько форм мирового духа познают высшую закономерность своего существования, которая сначала принимается сообществом единомышленников, а потом — и всем социальным классом. Мировой дух осуществляет себя не в учении, а, скорее, в закономерности; следующие за ним единомышленники создают учение». И опять в случае со словом «закономерность» мы сталкиваемся с умышленной расплывчатостью понятия, хотя легко предположить, что здесь имеется в виду ритмичный язык поэзии. Но в том, кто являлся выразителем «мирового духа», не могло быть ни малейшего сомнения, и его «единомышленники», не теряя времени, принялись за исполнение негласных повелений.

Возможно, важнейшее событие, в связи с которым стали известны подробности объявленного «учения», произошло в 1901 году, но оно, вопреки уверениям, не было связано непосредственно с мировым духом. В конце этого года появилась книга, написанная Людвигом Клагесом и отпечатанная в издательстве Георга Бонди уже в 1902 году, которую Георге оценил очень высоко. Если судить только по числу и разнообразию участия Клагеса в различных литературных делах, он являлся самым ценным и наиболее плодовитым сотрудником среди авторов «Листка» за все время существования журнала. И несмотря на возникавшие время от времени разногласия с Георге, Клагес также был одним из самых надежных столпов этого журнала. Тем не менее он всегда сохранял независи-

мость мышления и никогда не проявлял склонность к слепому подчинению Георге, считая его равным себе. Он, например, никогда не называл его «Учителем», а к самой идее «круга» относился с небольшим опасением. В 1895 году, как известно, Клагес намеревался даже несколько отойти от журнала, считая его «слишком фиксированным на одной личности», но, обретя внутреннее спокойствие, вернулся в сообщество единомышленников. Он всегда отстаивал свою независимость и почти вызывающим образом занимался теми делами, которые выходили за пределы обычных интересов круга Георге. Одним из таких посторонних интересов Клагеса была графология, которой он начал профессионально заниматься с начала 1899 года и по которой позже он написал несколько подробных исследований.

Непростые отношения Клагеса с Георге, состоящие равно из уважения и сомнений, а также из взаимных сильных надежд и разочарований, оставили глубокий след в его книге — Клагес беспристрастно описал и самое близкое общение с поэтом, и начало своего отдаления от него. В некотором смысле удивительно уже то, что он вообще взялся за написание этой книги. Во введении, которое, как введение к «Листку», отражало двойственное желание Клагеса сделать публичное заявление и одновременно сохранить свою личную жизнь в тайне, он настаивал на том, что написал книгу вовсе не для того, чтобы просвещать тех, кто не связан лично со Стефаном Георге: «„Многим“ наши размышления покажутся такими же чуждыми, как и сами обсуждаемые вопросы». Добавлю также, что на всем протяжении этого введения Клагес и не подумал вносить в поэтическое творчество Георге «то, что в философских трудах называется „ясностью“», как не собирался обсуждать и «личные отношения» с поэтом. Таким образом, настойчивое нежелание Клагеса говорить о поэзии Георге превратилось в своего рода принципиальное высказывание: действительно, «даже важные аспекты содержания его произведений останутся нетронутыми, поскольку не способствуют нашему более глубокому постижению сверхличностной сферы». Клагес даже утверждал, что, испытывая неприятие к описанию только «фактов», определенно не гнушался использовать кое-какие «эзотерические формулировки». Его целью было что-то иное, более значительное, что можно назвать «метафизическим смыслом» поэзии Георге: «Сами мы предпочли бы иное название. Книга вполне может служить своего рода попыткой примирения непосредственного мистического опыта и сухих формул науки».

Это была трудная задача. Но кем был бы Клагес, если бы не был настолько предан своему убеждению, что этот подвиг осуществим. Верный обещаниям, данным во введении, Клагес в своей книге не столько интерпретировал поэзию Георге, сколько объявлял о наступлении новой эры. «Мы называем художественной стороной жизни ту, которая воплощена в наших произведениях, — категорически заявлял Клагес. — Среди всех не-

мецких поэтов Георге является единственным, кто пытается возродить веру, утраченную во времена романтизма». Далее следуют гневные нападки Клагеса на промежуточный период, затянувшийся почти на целое XIX столетие, и на то, что считалось достижениями культуры этого времени. Клагес полагал, что от их дурного влияния может спасти только Георге. Главными болезнями среди перечисленных Клагесом были «губительный для души принудительный труд под названием „прогресс“, а также поверхностное и разрушительное мировоззрение и его заступники, которых он называл «безрассудными глашатаями ложной истины, что жизнь произошла из соединения атомов», и усиливающий разногласия индивидуализм. Так, он утверждал: «Редко встретишь более дерзкую ересь, смущающую человеческий разум, чем богохульные взгляды индивидуалиста». Далее под видом обобщенной абстракции Клагес с жаром критиковал тот же самый жупел, что прежде выступал под такими именами, как, например, рационализм, материализм и прагматизм — словом, идеологию «буржуазии», негативному влиянию которой всегда противопоставляли себя Георге и его сторонники. С той лишь разницей, что Клагес пытался более подробно описать это уже известное негативное явление, добавив к его образу несколько позитивных моментов.

«Здесь, — уверенно заявил Клагес, указывая на поэзию Георге, — мы имеем дело с полным пересмотром прежних принципов». Но когда Клагес подводит нас в своей книге к подробному изложению того, как постепенно Георге отходил от прежнего выхолощенного мировосприятия, его язык становится неясным, иносказательным и непостижимым. «Мир, который считался реальным, исчезает и растворяется в сиянии великой реальности, — писал Клагес. — В свете истины с разума спадает покров иллюзий». Несмотря на то что он не выражался прямо — ибо как бы он мог иначе? — Клагес имел в виду, что поэзия Георге является частью этого огромного иррационального и непостижимого мира. Более того, она приводит человека в некое экстатическое состояние, освобождает сознание от оков рассудочной логики, лишает воли и собственной личности. «Опьянение растекается по крови, не достигая мозга, вместилища сознания». Сознание, которое отсутствует в состоянии опьянения, пишет Клагес, «говорит на мертвом языке, в котором слова иссохли и превратились в некие мумии понятий». Таким образом, Георге не просто дарит нам свою поэзию — он связывает нас с глубинными истинами, такая миссия поэзии может иметь только одно имя. «Его стихотворения представляют собой создающее язык выражение фундаментального религиозного состояния». Георге, как жрец, стоит между безжизненным материалистическим миром и колыбелью новой — истинной — жизни, а его поэзия служит мостиком, позволяющим пройти из одного мира в другой. «Подлинное искусство — это мост, связующий «нус» и «гиле», Гелиоса и Гею; душа посредника поэто-

му является андрогинной: она — та пуповина, что соединяет темную первобытную сердцевину с находящимся вдалеке светочем, Духом».

Или это всего лишь предположение, к которому Клагес старательно подводил. Упоминания о «андрогинности» художника, о узах Гелиоса и Геи, соединенных искусством, даже если они тщательно скрыты, являются очевидными аллюзиями, подтверждаемыми контекстом. Например, беглое замечание о «времени, когда история Вселенной излагалась в удивительных космогонических образах, когда высоко чтили числа и когда принимали судьбоносные решения, судя по полету птиц и по внутренностям животных», красноречиво намекало на интеллектуальные способности Клагеса. Но все же в 1901 году нашлось несколько человек, которые смогли увидеть не просто слабый проблеск смысла в том, что Клагес в действительности стремился сказать. Отчасти его высказывание понятно: его нападки на бездуховность и безвольность культуры XIX века набили оскомины, и он не мог сказать ничего такого, что не сказал бы Ницше, и сказал несравнимо лучше. И все же в основе этой критики Клагеса лежало иное, давнее и более неясное недовольство, которое сыграет в последующие годы значительную роль в жизни Георге.

Несмотря на путаную риторику, Клагесу удавалось раз от разу пролить свет на то, каким образом он понимал поэзию Георге. В одном месте своей книги, рассматривая деликатный вопрос о литературных и культурных предшественниках Георге, Клагес напоминает читателям о том, что «культурная связь рейнских народов с Античностью никогда полностью не прерывалась, в отличие от народов тех областей Германии, где установился протестантизм». Для Клагеса, который принадлежал к протестантской церкви, подобные заявления фактически означали, что он пошел на существенные уступки по отношению к Георге; возможно, он всего-навсего хотел доказать, что Георге так же, как и сам Клагес, концентрировался на «сверхличностном» аспекте и почти не принимал во внимание любые частные интересы, включая свои собственные. Как бы то ни было, Клагес таким образом позволил себе сделать следующее заявление: «На протяжении полутора тысяч лет римско-католическая духовная культура служила той почвой, на которой взрастают самые великие плоды поэзии Георге». Еще несколько раз Клагес пытался точнее определить периоды в истории и культуре, на которые в своем творчестве ориентировался Георге: «Он отправляется от того периода, когда угасает язычество и возникает христианство, и останавливается у рубежа, где зарождается машинный век». Иначе говоря, «вереница его художественных образов достигает XVIII века» и не идет дальше, как будто в знак молчаливого протеста против того, что ожидает культуру в дальнейшем. Клагес обозначил внешнюю границу мира Георге «концом той культуры, которая завершилась с введением гильотины». Начиная с античной классики и завершая периодом влияния Римской

католической церкви, даже вплоть до абсолютизма во Франции, культура Западной Европы на протяжении всей ее истории вплоть до Французской революции была той орбитой, по которой вращался Георг и которую, возможно, даже мог назвать собственной культурой. Это вовсе не значит, что Клагес забыл о немецком национальном характере Георга. Если он указывал на иные близкие образы, способные определить сущность такого феномена, как Георг, то они относились исключительно к немецкой культуре, хотя и были позаимствованы из официального перечня признанных предшественников «Листка». Клагес упомянул всех — Гёте, Жана Поля, Гольбейна, Ницше, Бёклина и Гёльдерлина. Но где на такой эталонной шкале разместить Георга, как сравнить его, например, с Гёте, являющимся в глазах почти всех немцев непревзойденным гением; Клагес нашел способ оценить Георга по достоинству — он поднял планку очень высоко. Теперь в контексте всей истории европейской цивилизации Георг предстал не только как поэт, но и как видный представитель этой культуры.

Узкий круг преданных Георгу сторонников встретил книгу Клагеса с шумной радостью. Гундольф сообщил Вольфскелю, что фрау Лепсиус, которая была тогда проездом в Мюнхене, возвращаясь домой в Берлин из своего путешествия по Италии, «провела несколько чудесных часов за чтением книги Клагеса и нашла ее великолепной». Гундольф также поведал: «Эта книга сильно всколыхнула лучшие умы, но прежде всего М. Лехтера и Р. Лепсиуса. Только очень немногие недовольно ворчат. Молодежь пребывает в экстазе!» Когда Вольфскелю удалось прочитать книгу, он пришел в не меньший восторг: «Как невероятно великолепна эта книга Клагеса!» Позволив слегка разгуляться своим метафорам, Вольфскель заявил, что в книге каждое «предложение — верх возвышенного творчества, на поприще которого рудокопам и прочим работникам критического труда придется пахать до конца жизни!» Альберт Вервей также осыпал книгу похвалой, поделившись в своем письме Георгу тем, как высоко он ее ценит. Сам же Георг пребывал более чем в восторге. «Я был счастлив узнать, — писал он Вервею в ответном письме, — что вам понравилась книга Клагеса. Множество людей говорят о ней сейчас. Как мало сегодня произведений, которые были бы способны открыть самые глубинные и самые таинственные силы! Как мало из них тех, что созданы с особым „вкусом“!» Это одобрение из уст самого Георга было подлинной похвалой. Хотя по зрелом размышлении, одобрение этой книги Георгу имело свои особенности. Все те, кто не знал, о чем Клагес написал свою книгу, с трудом могли понять, что, без ложного смущения выражая свое восхищение тем, как Клагес открыл «самые глубинные и самые таинственные силы», Георг под этими последними имел в виду себя.

Клагес более сдержанно относился ко всей шумихе вокруг его книги. «Благодарю за приятное и восторженное письмо, — писал он Гундольфу, пославшему свои поздравления автору. — Но вы ПЕРЕОЦЕНИВАЕТЕ

мои старания. В своей книге я был только ГОЛОСОМ, выразившим идею всего КРУГА, и все, что ВЫ можете прочесть на страницах книги, не принадлежит МНЕ одному, но произведено нашим общим духом, и если я достоин похвалы, то только за то, что ВЫРАЗИЛ его. Кроме того, однако, своей книгой я пытался воздвигнуть такой памятник ГЕОРГЕ, который был бы ДОСТОИН этого поэта». И, несмотря на то что Клагес был готов отстаивать написанное им, он все же не хотел, чтобы его отождествляли с тем, о чем он повествовал в своей книге. А это могло привести к отказу от одной из центральных идей книги, заключающейся в том, что «личность» — или сам автор, или Георге как предмет повествования — имела такое большое значение или чуть большее, чем значение неверного обобщения внутри вымышленной идеологии. Хотя Клагес прежде всего хотел несколько расширить восприятие личности поэта, обратив внимание читателя на исключительную значимость Георге как культурного феномена. И действительно Клагес заявил это во всеуслышание. В короткой заметке о выходе книги, написанной для журнала «Будущее» («Die Zukunft»), Клагес, говоря о себе в третьем лице, заявлял: «В своей книге он уделяет большее внимание высшим силам, что движут поэтом и действуют через него, чем просто личности поэта Георге». Иначе говоря, Клагес метил в более крупную — «космогоническую» — дичь и не хотел, чтобы Георге мешал ему на пути к этой цели.

Возможно, Клагес ощущал, что, прибегая к посредничеству Георге, он раскрывал тайны самой Вселенной, но другие почитатели Георге видели в нем лишь поэта и поэтому оставались связаны с Землей слишком крепкими узами. 31 декабря в «Берлинской ежедневной газете» («Berliner Tageblatt») появилась статья «Новогодний оракул», содержащая юмористический прогноз на грядущий 1901 год, в которой авторы в одном из своих предсказаний прошли и по Георге, который уже навлек на себя дурную славу. Анонимный шутник, сочинивший эту вещь, явно не принадлежал к кругу Георге, поскольку неверно написал имя поэта, но это сделало шутку еще забавнее. «Стефан Георге, — предрекала статья, — наконец примирится с правилами пунктуации, против которых восставал с благородной яростью до сего дня, и бесплатно возместит всем владельцам его книг все знаки препинания, которые упорно не ставил ранее. И если прежде он издавал книги стихотворений без запятых, то теперь намерен опубликовать книгу запятых без стихотворений, и публика сочтет это произведение одним из лучших его сочинений».





Глава двадцать первая

КОСМИЧЕСКИЙ КРУГ

В октябре 1900 года, покинув Мюнхен и проведя весенний семестр в университете Гейдельберга, Фридрих Гундольф переехал в Берлин. Официально он отправился туда для того, чтобы работать над своей диссертацией под руководством Эриха Шмидта, профессора немецкой литературы, который встречался с Георге несколько раз за последние годы. Однако неофициально Гундольф был направлен в столицу для того, чтобы вместо Вольфскеля стать личным порученцем Георге. Поскольку Вольфскель страдал от пребывания на, как он считал, холодном и безрадостном севере, где мрачнел день ото дня и даже становился менее отзывчивым к распоряжениям Георге, то поселился и благоденствовал в Швабинге, климат которого подходил ему больше. Но его берлинская служба — столь же тяжелая, сколь и необходимая — была слишком важной, чтобы оставаться неисполняемой. Девятнадцатилетний Гундольф, с первого взгляда покоренный развлечениями и суматохой города, тут же приобрел отвращение к имперскому колоссу, Берлину, чем вызвал гордость обоих своих наставников. «Ничто великое уже не задержится в Берлине, — сообщал Гундольф Вольфскелю в декабре. — Он никогда уже не сможет обрести собственную историю или собственную атмосферу, поскольку никто не испытывает ни малейшего уважения к чему-либо здесь, этот город — самое нереальное собрание безжизненных вещей». Вернуть уважение к нему, мечтательно рассуждал Гундольф, могли бы только его «пороки» — в этом деле Берлин бесспорно мог бы достичь всемирного значения. Говоря более серьезно,

Гундольф вспоминал свою недавнюю короткую поездку в Веймар — крохотный городок в Тюрингии, который был малой родиной таких исполнителей, как Гёте, Шиллер, Гердер, Жан Поль, Виланд и Лист. В мыслях Гундольф постоянно возвращался к сравнению своих впечатлений от этих двух городов: «Двух часов, проведенных в Веймаре, я не обменял бы и на год в Берлине».

Именно это ожидал услышать Вольфскель. С тех пор как в начале 1899 года он обосновался в Мюнхене, его огромная квартира на Леопольдштрассе, 78 стала ядром бурной социальной и интеллектуальной жизни Швабинга. Казалось, он всех знал или хотел познакомиться со всеми без разбору, и вскоре крупный бородатый полуслепой и необычайно говорливый Вольфскель стал той скрепой, которая объединила всю находившуюся тогда в Мюнхене элиту, критически относящуюся к официальной культуре, — он был подлинно «Зевсом Швабинга», как однажды кто-то назвал его. Однако Вольфскель не намеревался останавливаться на этом и стремился превратить Швабинг в нечто большее, чем просто место, где собираются художники и маргиналы, которым и являлся тогда этот район Мюнхена. Он хотел создать здесь новую контрстолицу, своеобразный анти-Берлин, культурный центр, готовый послужить в дальнейшем опорным пунктом и подготовительной площадкой для организации того сопротивления, которое задумали осуществить он и другие сотрудники «Листка». И поэтому в каком-то отношении Вольфскель был польщен той неприязнью к культурной жизни на севере Германии, которую проявлял Гундольф. «Дорогой Гундольф, прошу, приезжайте, как только сможете, назад к нам в Мюнхен! Я вполне ожидал, что в Берлине вам будет не по себе, — так и случилось. Если только те, кого мы так ценим, приедут вместе с вами, по крайней мере хотя бы на время покинут Берлин». Перечислив тех, кого «ценит», по именам — среди них главным образом Лепсиуса, Лехтера, Георге и Клагеса, — Вольфскель представлял себе, что с их помощью сформирует в Мюнхене сообщество, которое достигнет великих целей. «Такое собрание, — настаивал Вольфскель на приезде Гундольфа, — уверенное в своих целях и крепко сплоченное, может положительно повлиять на рабочий процесс, я в этом убежден. Благодать приходит из самых маленьких групп, а внутреннее кольцо — будь то пенное кольцо куретов или свастика, которые, между прочим, являются более подходящими, чем вы полагаете, — это основа жизни».

Ни один из всех верных рыцарей Георге не настаивал так требовательно и красноречиво, если не всегда с совершенной ясностью, как Вольфскель, на том, чтобы покинуть зыбкую почву поэзии и вступить на ратное поле жизни. Он считал, что Мюнхен, точнее Швабинг, является тем местом, где можно привести в исполнение развернутый план действий. Он нашел даже главного идеолога в лице Альфреда Шулера. В одном из своих

писем Вольфскелю Гундольф совершил ошибку, высказавшись о Шулере менее чем уважительно и назвав его идеи «бредовыми построениями». Вольфскель поспешил поправить Гундольфа, написав: «Ваше недавнее замечание о Шулере расстроило меня. Кроме того, вам известна моя и Людвига оценка этого уникального первопроходца, кто принес так много новых идей, не считая уже исследования основных знаний. Как же вы могли назвать бредовыми построениями то, что мы обожаем!» Именно Шулер своей теорией языческого «светильника крови» пытался возродить древнеримский мир в опыте иступленных, подобных трансовым состояниям, поскольку был убежден в возможности установить внутреннюю физическую связь со временем Нерона, а также считал иудео-христианскую традицию, которую предпочитал называть «молоховской», ответственной за то, что погас огонь язычества. В этой экзальтированной и неустойчивой личности Вольфскель видел краеугольный камень — именно на нем и на его «основных знаниях» должен быть основан новый мировой порядок.

Здесь мы вступаем в одну из самых странных глав жизни Георге, которая имеет важнейшее значение для понимания того, как будет развиваться его жизнь в дальнейшем. Трудно представить и еще сложнее поверить, что он и его ближайшие сторонники и друзья могли быть настолько серьезно вовлечены в те события, которые мы собираемся изложить. Однако для них это вовсе не было игрой или праздным увлечением — многие из круга Георге были убеждены в том, что данный вопрос является буквально делом жизни и смерти, а некоторым из них этот крайний выход казался явно и ужасающе реальным. Так как идейные брожения в Швабинге становились курьезными и даже, как казалось, невероятными, то было бы ошибкой приуменьшать то влияние, которое они оказывали как на самого Георге, так и на возглавляемую им группу. Поскольку эта идея была центральной для почти фантазмагорического экстаза и произведенного из самого себя наваждения, Георге смог успешно отстоять представляющийся ему новый миропорядок, а также принципы этого миропорядка. Что более важно, в этом неугасающем котле так называемого Космического круга — небольшого сообщества друзей из Швабинга — бурлило то, в чем новая религия Георге обрела собственного бога.

Как Вольфскель уже замечал, в центре Космического круга стоял Альфред Шулер, который разработал не только его понятийный аппарат, но и саму его модель. С тех пор как в 1893 году Георге познакомился с ним через Клагеса, Шулер постоянно трудился над усовершенствованием своих оригинальных теорий, касающихся древней культуры и истории, с жаром расточая свою мудрость всем, кто был готов его слушать. На том этапе общение Георге с Шулером, хотя и подпитывалось искренним интересом, случалось лишь время от времени, но после того как Вольфскель

обосновался в Мюнхене, Георге возобновил знакомство с ним и их встречи стали регулярными. Казалось, тем летом Георге пытался даже привлечь Шулера к сотрудничеству в «Листке». Шулер питал глубокую неприязнь ко всему, что могло относиться к традиционной науке, поскольку считал ее слишком рациональной, слишком аналитической и слишком «молоховской». В итоге он написал крайне мало, публиковал еще меньше, вместо этого предпочитая произносить восторженные монологи в полуформальной обстановке. Однако в июне 1899 года Вольфскелю, казалось бы, удалось убедить Шулера в необходимости изложить свои мысли на бумаге. Но и здесь была некая загвоздка. Вольфскель сообщал Георге: «Ни при каких условиях Шулер не хочет использовать для публикации свое „буржуазное имя“ — от такой перспективы он гневно рычит. После продолжительных колебаний он решил отказаться также и от псевдонима, отметив тайну своего багрянородства только знаком свастики». Для иллюстрации этого пожелания Шулера Вольфскель нарисовал фигуру с четырьмя загнутыми концами, добавив от себя, что не против такого изображения, поскольку «его в конце концов легко выполнить типографским способом». Однако спустя несколько дней Шулер сообщил в письме к Георге: «Вопреки первоначальным намерениям я решил вместо своего имени подписать статью знаком (здесь он вставил непрозрачный символ) и не имею также ничего против моего полного имени в заголовке». И все же он упорно настаивал на том, чтобы в заголовке наборщик текста использовал оригинальную римскую букву «V» вместо «U» из вульгарной латыни.

В итоге Шулер опубликовал в «Листке» только одно свое произведение — короткое стихотворение, посвященное Леопольду фон Андриану, которое появилось в выпуске журнала за 1904 год. Вместо того чтобы пойти общепринятым путем и направить другие свои сочинения издателю, он решил самостоятельно создать роскошный манускрипт. При помощи трех картонных табличек, окрашенных багровой тушью, цвет которой использовал в качестве фона манускрипта, Шулер тщательно вручную, букву за буквой, наносил золотой краской текст, для которого разработал особый шрифт. Иногда эти три таблички Шулер называл «троицей Одина» в честь древнескандинавского бога мудрости, войны, искусства и культуры, а также смерти, который почитался как верховное божество и создатель космоса и чье имя упоминается в первом разделе книги. Этот манускрипт Шулер украсил иллюстрациями символов, обладающих для него мистическим и как будто сакральным значением. Разделив текст на параграфы, наверху каждой страницы на белом фоне он поместил золотую эмблему свастики, которая, как Шулер и задумал, служила обозначением его имени. Именно это произведение он преподнес Георге в качестве рождественского подарка в 1899 году.

Для Шулера свастика являлась превосходным отображением его понимания «жизни» и центральным символом его теорий. Происхождение свастики точно не известно, известно лишь, что она традиционно использовалась в Древней Индии, а также обнаружена на множестве артефактов, найденных в 1870-х годах при раскопках Трои Генрихом Шлиманом. Шулера крайне мало занимали археологические находки — гораздо больше он интересовался тем, что считал внутренней жизненной силой этого символа. Поскольку свастика являлась центральной фигурой, наглядным образом его рассуждений о пансексуальности и еврейском вопросе, он резко противопоставлял ее христианскому кресту, который в качестве преднамеренной провокации обычно называл «кастрированной свастикой». Для Шулера свастика имела невыразимое значение священного символа, который, будучи связан с образами круговращения и огненного блеска, служил ядром его личной космографии.

Хотя обычно Шулер или пренебрегал, или с презрением относился к классической академической науке в целом, на одного ее представителя он взирал с чувством, близким к благоговению, испытываемому им также к древнему миру в целом. И действительно, за исключением того, что Шулер выбрал свастику в качестве собственной эмблемы, почти всеми идеями, развиваемыми им относительно значения этого символа, он обязан швейцарскому историку Иоганну Якобу Бахофену, сочинения которого однажды от избытка чувств он назвал «бессмертными». Возможно, они действительно были бессмертными, но уж точно не известными или заслужившими признание хотя бы в узком кругу. Бахофен, начавший свою научную карьеру в качестве многообещающего студента выдающегося правоведа Фридриха Карла фон Савиньи, написал несколько книг по истории права в 1840-х годах, которые создали ему репутацию добросовестного, если не блестящего, историка. После того как в 1851 году в Риме Бахофен пережил опыт некоего прозрения, его жизнь полностью изменилась — он оставил надежные, но безынтересные занятия правоведением и предложил в высшей степени примечательную интерпретацию античной культуры. Приняв мифы, легенды, символы и даже поэтические тексты в качестве обоснованных источников исторического познания, Бахофен понял, что обнаружил прежде скрытые истины, касающиеся самих основ цивилизации. Его теория впервые обрела свое выражение в опубликованном им в 1859 году «Опыте исследования похоронной символики древних». Один из ведущих классиков того времени отверг эту книгу как нелепое смешение идей, назвав ее не более чем «высокопарной чепухой». Профессиональная репутация Бахофена была разрушена, однако он не отступил, а продолжил свои исследования и через два года, в 1861 году, издал свой главный труд — «Матриархат». Если и оставались еще крупинцы доверия к Бахофену, то после выхода этой книги они бесследно исчезли. Это плохонькое из-

дание огромного тома, содержащего сумбурные, неудачно систематизированные и, казалось, расплывчатые идеи, насчитывало всего пятьдесят копий и было встречено холодным молчанием научного мира. Не было опубликовано ни одной рецензии. Когда в возрасте семидесяти двух лет Бахофен умер, его уход остался незамеченным общественностью.

Основная идея, составляющая ядро теории Бахофена, заключалась в том, что все культурные проявления ретроспективно связаны с отношениями, точнее с конфликтом, между полами. Все наше понимание морали и религии, социального и политического устройства восходит к этому изначальному противоречию. И действительно, согласно Бахофену, сама история определяется борьбой женского и мужского начал. Изначально, на заре человечества, верховная власть принадлежала женщинам, то есть имело место женовластие — в терминах Бахофена, «матриархат», или «гинекократия», — которое лишь позднее было свергнуто «патриархатом», или «фаллическим началом». Очевидно, что в понимании Бахофена они представляют собой противоположные начала, но в основном их существование подчинено определяющим гендерные роли стереотипам XIX века. Первичная матриархальная эра ознаменовала время материнской щедрости, связанной со специфически женской способностью физически производить жизнь, а также служить колыбелью добродетелей любви, умиротворения, справедливости и гармонии; если коротко, она породила само существо человечности. Спустя некоторое время набравший силу «фаллический господин» восстал, возобладал над «матриархальным» началом и занял господствующее положение. В отличие от крепко связанного с землей «женовластия» патриархальное начало имело интеллектуальный, абстрактный и рациональный характер. «Материнское право — это закон материальной природы, закон земли, которая даровала ему существование, — объясняет Бахофен. — И наоборот, Отцовское право является законом нашей нематериальной, невещественной жизни». Отцовское право окончательно устанавливает свое господство за счет сначала подчинения, а потом и уничтожения обладающего высшей суверенностью Материнского права.

Таким образом, Бахофен считал, что постоянное противоборство этих двух сил определяет направление развития цивилизации. Собрав подробные сведения о культуре Древней Греции, Древней Индии, Древнего Египта и даже культуре Майя и обращаясь со всеми известными фактами настолько свободно, насколько позволяло живое воображение, Бахофен утверждал, что эти фундаментальные структуры всегда сохраняются в ходе развития культуры: хтоническая или земная материнская основа в каждой отдельной культуре сменяется и в конце концов вытесняется мужским интеллектуальным, или духовным, началом — *рацио*. Можно предположить, что приписывая матриархальному порядку бескорыстный характер, Бахо-

фен сожалел о том, что историческое развитие является необратимым. Но с присущей в большей степени, чем можно было подумать, внутренней противоречивостью он рассуждал об амазонках: «Женщина, пока обладает властью, кровава и разрушительна, покорившись же мужчине, становится благословением для всего человечества». Бахофен постоянно указывал на присущую женскому полу «слабость», считая «космическую гармонию и интеллектуальное совершенство» высшими качествами мужского пола, который тем самым подтверждал свое превосходство. Если говорить о том, каким Бахофен видел идеальное государство — период относительного покоя и согласия между полами, а следовательно, и совершенная модель культуры, — то, несомненно, он связывал его с тем периодом в истории Древней Греции, когда в ее культуре преобладало поклонение Дионису. В понимании Бахофена, культ Диониса представлял собой положительный синтез двух противоположных начал. Одновременно оргиастический, чувственный и связанный с физической истиной тела Дионис, несмотря на силу и могущество своего божественного мужского начала, пытался сдерживать в себе опасную женскую склонность к хаосу, принуждая «женщину вернуться к своему материнскому предназначению и признать над собой неоспоримую власть мужского, фаллического, начала». Таким образом, если взвешивать личную симпатию Бахофена к тому или иному началу, то определенно преимущество он отдавал рациональному Отцовскому началу, а не Материнскому праву, и восстановление гинекокрации вовсе не входило в его планы.

Уязвленный холодным приемом, который был оказан его предыдущему сочинению, Бахофен вполне осознавал, что его грандиозное психолого-сексологическое и мифо-поэтическое истолкование истории также столкнется с недоверием или чем-то худшим. Не слишком убедительно он пытался справиться с возможными возражениями — просто отмахивался от них. «Подчинение духовного начала физическим законам, зависимость развития человечества от космических сил кажутся настолько странными, — допускал Бахофен, — что люди склонны относить их к области философских иллюзий или представлять их чем-то вроде „бредовых видений и высокопарной чепухи“». Очевидно, критика, которая обрушилась на его первую книгу, глубоко ранила Бахофена, но он продолжал настаивать на том, что его идеи являются «не просто теорией, а скорее, объективной истиной, содержащей одновременно и эмпирический материал, и умозрения, и философию, которая обнаруживается в историческом развитии древнего мира». Казалось, Бахофен не обращал внимания на то, что тому исследователю, который ставит на один уровень эмпирический метод и умозрительные рассуждения, следует как можно подробнее излагать свои положения.

Одним из тех, кого не требовалось убеждать, являлся Шулер. Но с таким другом, как Шулер, Бахофену уже не нужны были враги. Пытаясь спа-

сти книгу «Материнское право» от печальной, хотя, возможно, вполне заслуженной безвестности, Шулер старался оправдать ее, доказывая, что Бахофен, патетически изъясняющийся с позиций истины и науки, препятствовал пониманию ее содержания. Шулер не только стремился постичь глубинные слои человеческого опыта, но и хотел реанимировать их в действительности, буквально вернуть их к жизни. Он полагал, что подходящим способом для возрождения древнего мира будет воспроизведение его отдельных форм в современной культуре. В начале 1900-х годов несколько лет подряд Шулер устраивал и посещал роскошные костюмированные балы, участники которых наряжались Дионисом, Эвридикой, Орфеем, а также жрецами Вакха, фригийцами и фракийцами. Мужчины и женщины в тогах и венках из плюща или лавра держали и несли в руках скипетры и предметы в форме тирса — фаллического жезла Диониса, всю ночь они проводили в оргиях и экстатическом иступлении, пытаясь пережить тот опыт и восстановить тот дух, который Бахофен только намеревался постичь и описать.

Людвигу Куртиусу, который впоследствии стал уважаемым представителем классической археологии, в пору студенчества посчастливилось стать очевидцем одного из таких представлений Шулера. Во время карнавала в феврале 1903 года Куртиус с друзьями, включая Шулера, устроили празднество в греческом духе. Каждый из них увлеченно работал над своим костюмом, черпая вдохновение в наследии Древней Греции. Они выискивали портных, которые бы скроили и пошили одеяния, доставали где-то серебряные шлемы, самостоятельно изготавливали украшения и бусы из жемчуга, а также лиры из черепашьего панциря и рога. Они арендовали для торжественных событий придворный театр, в зале которого убрали ряды из партера, выложили пол паркетной доской, чтобы расширить сцену — она стала после этого огромной. Фон за сценой изображал аттический пейзаж с Акрополем, виднеющимся в вышине. Однако из всех участников празднества самое сильное рвение в подготовке торжества проявлял Шулер, который разрывался между рисованием пейзажа и шитьем костюмов и, неутомимый, предлагал свою помощь другим. «Он был единственным из нас всех, — вспоминал Куртиус, — кто появился на фестивале в парике с красно-коричневыми локонами и в гриме, отчего его лицо казалось еще более старым». Казалось, другие празднующие больше интересовались фуршетом и в изобилии предлагаемым шампанским. И только Шулер приходил во все большее волнение и настаивал на том, чтобы «мы исполнили на сцене греческий танец». Куртиус холодно заметил, что это, несомненно, было бы прелестно, но поскольку танец не был запланирован заранее, то исполнить его экспромтом будет затруднительно. «Но он и во второй раз подошел и повторил свою просьбу уже более настойчиво, — вспоминал Куртиус. — Отказав и на этот раз, я с ужасом наблюдал за тем,

как он вышел на середину сцены и начал танцевать, если, конечно, можно назвать танцем неуклюжее мотание головой и махи руками в воздухе, а также чечетку, прыжки и вращения вокруг своей оси, к которым его нескладное полное тело было совершенно не приспособлено. Другие присутствующие тут же закричали: „Да что этот шут себе позволяет?“ Мне пришлось прервать восторг Шулера и увести его со сцены. А он искренне считал, что исполняет сакральный танец». Ходило также множество рассказов, будто в конце XIX века Шулер планировал поехать в Веймар и излечить душевную болезнь Ницше, исполнив перед философом свой оргиастический танец.

Ограничь Шулер свою тягу к диким пляскам на сцене или на частных торжествах, ему было бы гораздо проще избавиться от репутации сумасшедшего, которую он, получалось, поддерживал. Отдаваясь вспышкам то буйной самоотдачи, то тяги к более богатому спектру символических истин — Шулер считал, что обрел их в лице Бахофена, — он в общих чертах разработал собственную концепцию того, чего физически стремился достичь посредством этих своих и других, более впечатляющих, нелепых выходов. Говорить об идеях Шулера в том смысле, что они в своей совокупности могли бы сформировать теорию, было бы очевидным преувеличением — подобные заявления слишком не соответствуют устоявшемуся значению слова «теория». Но его идеям действительно присуща логическая связность и стремление к обозначенной цели. В соответствии с утверждением Бахофена, что культура представляет собой непрерывную борьбу мужского и женского начала, Шулер искал возможность высвободить в этой вечной борьбе то, что можно было бы назвать всеобщим гермафродитизмом. Приводя в качестве дополнительной поддержки этой теории интерсексуальности высказывание, которое принадлежало Вильгельму Флиссу — коллеге Зигмунда Фрейда, уже успевшему доставить тому массу неприятностей, Шулер пришел к выводу, что «всякий человек представляет собой существо, в котором сочетаются мужская и женская природа». Очевидно, Шулер полагал, что эта находка должна иметь определенные последствия в практическом смысле. Так, он утверждал: «Вполне естественно, что каждый человек обладает одновременно активной и пассивной стороной того взаимодействия, в котором состоит сама жизнь и через которое она развивается. Существо, представляющее в чистом виде мужчину или женщину, обречено погибнуть». Шулер приходит к заключению, что «главным фактором эволюции» является мужчина, мужская «природа», или, по выражению самого Шулера, «сперматический Логос стоиков». Иначе говоря, мужчина — это «творческое, порождающее мир начало». Но, по мнению Шулера, именно в этом и заключалась проблема: мужское начало зиждется на внутренней воле к самоутверждению, разделению и индивидуации, а также к противоречию, в конце концов удушая и по-

давяя противоположную «женскую природу». Таким образом, по его утверждению, возникает необходимость в полном «преобразовании полов», которое впоследствии ознаменует новое «гармоничное слияние двух природ в одном существе». Его идеал представлял собой «ни мужчину, ни женщину», а скорее «новое человеческое существо», в котором, как утверждал Шулер, «объединены оба пола».

Как известно, подобные размышления касательно освобождающей силы гермафродитизма, или андрогинности, были широко распространены в Европе последнего десятилетия XIX века. «Альгабал» Георге проникнут тем же духом, поэтому неслучайно, что именно эту книгу Шулер ценил выше остальных произведений поэта. Известно также, что активная защита гермафродитизма — и это справедливо, разумеется, в случае Шулера — служила своего рода прикрытием для оправдания и продвижения гомосексуальных связей так же часто, как использовалась в качестве протеста против вынужденной узости традиционной ориентации. Тем самым, когда для обоснования собственных замыслов Шулер принимался рассуждать о своей любимой исторической эпохе — периоде Римской империи, то обращал внимание главным образом на «огромное количество мальчиков», которые, по его утверждению, проживали в Древнем Риме, и на то значение, которое они предположительно имели для культуры. Рассматривая римские ритуалы принятия пищи, он, в частности, обращался к серебряным солонкам, которые, по его мнению, играли центральную роль в церемониале «древнеримского пира». С точки зрения Шулера, соль символизировала «семя предков», а ее использование даровало ушедшим в мир иной новое символическое рождение, как будто отпуская их из мира мертвых. А юноши, которые прислуживали на этих празднествах, также олицетворяли собой символическую победу над смертью. «Осмысление преображения молодой крови сводится к постижению эротики мертвых», — пояснял Шулер. Подобным образом, рассматривая распространенное в Риме посещение общественных бань, он заметил: «В древнем мире хорошо знали, что теплая вода является символом спермы вообще». Кроме того, «господин, брызгая на раба теплой водой, совершал с ним мысленный половой акт». (Шулер также видел подобный «мысленный акт оплодотворения» в том случае, когда, танцуя вокруг младенца Зевса, корибанты ударяли мечами по своим щитам, поскольку, разумеется, «меч является не чем иным, как фаллическим символом».) Но именно мальчики, в особенности детского возраста, в высшей степени восторгали и привлекали Шулера. Именно в контексте этих рассуждений, пытаясь связать свое содействие развитию концепции интерсексуальности с собственным же интересом к нежным отрокам, Шулер сделал одно из самых поразительных своих утверждений: «В соответствии с человеческой природой ребенка следует считать не маленьким мальчиком, но глубинной сутью, важнейшим существом, вла-

деющим жизнью, если речь идет о мальчике-андрогине. В глубокой древности девочки были совершенно не в чести». Казалось, что для своего плана всекосмического слияния в интерсексуальной гармонии, к которой Шулер стремился, он располагал достаточным количеством находящихся в состоянии готовности мальчиков, но, совершенно очевидно, девочки не являлись частью этого плана.

Как можно было бы ожидать, ко многим идеям Шулера, явно переключившимся с взглядами на этот предмет самого Георге, последний относился вполне благосклонно. Сабина Лепсиус описала свои воспоминания о разговоре с поэтом, состоявшемся в октябре 1901 года во время его очередного пребывания в Берлине. Когда в разговоре они коснулись вопроса религии, Георге не преминул высказать свои давние упреки в адрес протестантизма и, особенно, в адрес Лютера, но с некоторой долей сожаления. «Раннее христианство, в силу еще содержащегося в нем отчасти язычества, было близко ему», — сказал ей Георге, произнося слова, которые вполне могли принадлежать Шулеру. В продолжение разговора Георге сказал, что «христианская церковь в Риме была основана на развалинах язычества, одним из символов которого является базилика „Санта-Мария-сопра-Минерва“, возведенная на руинах древнего храма». Немного позже он поднял еще одну проблему. Сабина Лепсиус в обтекаемых выражениях сообщала: «Мы говорим о сверхчувственной любви у Платона, Данте и Шекспира... любви, которая не зависит от половой принадлежности, поскольку направлена не на пол человека, а на саму личность его, на дух, душу и плоть любимого, и не имеет значения, является любимое существо мужчиной или женщиной. Мы пришли к согласию в том вопросе, что чем выше в духовном плане человек, тем более он способен к глубокой любви ради самой любви, а не ради определенной цели или собственной пользы». Несмотря на всю тактичность, с которой Фрау Лепсиус рассказывала об этом, в чистосердечных признаниях Георге с легкостью можно распознать те же склонности и предпочтения, что были свойственны Шулеру.

Понятие «сверхчувственной любви» сыграет в дальнейшем центральную роль в исследованиях Георге вопросов пола. Неслучайно поэтому они напоминают многие рассуждения Бахофена. «Мужской эрос, — писал Бахофен, — по своей природе тесно связан со стремлением к преодолению низшего уровня физической жизни». В соответствии со своим важнейшим утверждением о том, что «мужское начало» развивается в направлении все большего отрыва от непосредственного мышления и вещественного существования, Бахофен полагал, что «мужской эрос», освобождаясь от страстей, возвышается над топкой трясинной чувственности, а значит, и над приземленной женщиной. «Не в чувственной любви, — продолжал он, — а в том, чтобы возвыситься над ней и заменить грубый эрос более высоким влечением — созиданием нравственной сдержанности — заключается в

своей первозданной чистоте идея любви между мужчинами». Очевидно, что все эти мысли в той или иной форме давным-давно выразил Платон, но Бахофен никогда и не претендовал на оригинальность своих идей. Он был глубоко убежден в том, что Сократ полагал, будто его понятие эроса представляло собой «первый подъем в область духа, когда человечество осознало свое освобождение от власти материи и переход в своем развитии от уровня телесного существования к духовному, посредством которых любовь возвышается над половым влечением. Таким образом он заявил, что любовь является лучшим способом достичь совершенства». Но поскольку сам Бахофен предпочитал думать, что совершенство возникает все-таки из гармонии тела и души, материи и сознания, мужчины и женщины, то давал более чем веский повод для более противоречивых истолкований.

В силу того что поддерживаемые Шулером теории носили радикальный и даже подрывной характер, казалось почти невозможным, чтобы они не вызвали ни малейшего неодобрения, критики и даже открытого противостояния. Все из четырех главных членов Космического круга, а именно Шулер, Клагес, Вольфскель и Георге, были влиятельными личностями, каждый из них разработал и развивал систему взглядов, которые не всегда до конца разделялись другими представителями этого круга. Кроме того, в жаркой атмосфере Швабинга любое незначительное недопонимание с легкостью превращалось в крупную неприятность. И действительно то, что эти разногласия станут очевидными и в конце концов непреодолимыми, было лишь вопросом времени. Хотя дружба Георге с Шулером, как, собственно, и с Клагесом, длилась уже более десяти лет, справедливости ради надо сказать, признаки раскола обозначились слишком рано. Несмотря на то что Георге более чем с простым любопытством воспринял положение Шулера о возможности обретения спасения посредством идеальной интерсексуальной мужской любви и в целом принимал то, что Шулер отрицал современную культуру, считая ее выгребной ямой бездушного материализма и мертвой рациональности, но все же не разделял уверенности последнего в том, что ответ заключается в магическом возвращении на первобытный уровень бытия. По сути дела, Георге был человеком слишком прагматического склада, слишком преданным идее, что в будущем человечеству предстоят неожиданные возможности, для того чтобы вместе с Шулером полностью отказаться от настоящего, отправившись в плавание по прошлому. Георге пришел к выводу, что этот замысел Шулера был не просто неосуществим, но, безусловно, был близок к безумию.

Во втором «популярном» издании «Года души», которое вышло в свет в конце 1898 года, Георге уже выразил свой нарастающий скептицизм по этому поводу в стихотворении, посвященном «А. Ш.». Образы, которые Георге в нем использовал — кроваво-красный цвет для обозначения всего

сверхважного, посланный небом мальчик и ритуальные приспособления, — недвусмысленно указывают на хранилище древних «космических» псевдоистин Шулера.

Так этот круг существовал взаправду? Когда свет факелов
Озарял бледные лица, когда пар кубков пенных
Окутывал божественного мальчика и вместе с твоими словами
Возносил нас в сияющие красным обманчивые миры?

Вопросительные знаки, столь необычные для поэзии Георге, впрочем, как и остальные общепринятые знаки пунктуации, свидетельствуют так же красноречиво, как и сами слова, о все большем отдалении Георге от жизни Космического круга. Если Шулеру и требовалось подтверждение этого, то он получил бы его, прочитав это стихотворение и поняв, что не может больше рассчитывать на безусловную поддержку ни Георге, ни сообщества. Однако же, Шулер, в своем обычном репертуаре, решил, что все, что ему осталось в данных обстоятельствах, — это попытаться завоевать душу Георге.

Спустя несколько месяцев, 29 апреля 1899 года, Шулер пригласил Георге, Вольфскеля с женой Ханной и Клагеса к себе на событие, которое отрекомендовал римским пиром. На самом деле это был стратегический маневр. Все сидели за длинным накрытым разнообразными яствами столом, который освещали свечи и масляные светильники в римском стиле. Стол, усыпанный лавром и прочей зеленью, украшала статуя на подставке, а между тарелками лежали цветы и курились благовония. Когда с едой было покончено, Шулер принялся декламировать отрывки из своих произведений. Он являлся отменным, даже захватывающим чтецом. Вольфскель рассказывал Гундольфу: Однажды, когда Шулер читал вслух из «Фауста» Гёте, «он декламировал все таким образом, что нас переполняли чувства, мы были ошеломлены и охвачены редким восторгом». И на ужине Вольфскель сказал: «Это было изумительно!» Должно быть, тем вечером Шулер устроил такое же завораживающее представление. Клагес сообщал, что всех, казалось, захватила «волшебная сила, поглощающая и объединяющая подобное с подобным и изгоняющая все неподобное и чужеродное». Несмотря на то что остальные присутствующие, казалось, наслаждались исполнением Шулера, только Георге «впал в сильное беспокойство, которым в конце концов полностью овладел. Он стоял за своим стулом, блее белого, и, казалось, почти утратил самообладание». Тем временем Шулер достиг кульминации своей речи, «его голос грохотал, будто разбушевавшийся вулкан, выбрасывающий горящую лаву, и из его тлеющих угольков возникали пурпурные символы, опустошая сознание и приводя в иступление». Внезапно все было кончено. «Вдруг я обнаружил, что стою на тем-

ной улице рядом с Георге, — вспоминал Клагес, — потом, я почувствовал, как он сжал мою руку и произнес: „Это безумие!“ Георге негодовал: „Я не могу этого выносить! Как только удалось вам завлечь меня сюда! Это безумие! Уведите меня отсюда, проводите меня в какую-нибудь пивную для простых бургеров, где скромные обычные люди курят сигары и пьют пиво! Я этого не вынесу!“». Клагес выполнил требование Георге и отвел его в «обычный» паб, где люди сидели и попивали свое пиво, а все еще напряженный Георге, в растревоженной душе которого бушевали страсти, постепенно успокаивался.

В принципе, как подтверждает этот эпизод, Георге вовсе не отвергал предположения, что в мире существуют тайные силы, которые ускользают от обыденного понимания, — он был убежден, что рациональное сознание воспринимает в качестве реально существующего только то, что ему привычно. Действительно, этот иррационализм, по крайней мере скептическое и недоверчивое отношение к разуму, послужил тому, что в 1890-х годах начали оформляться принципы официальной идейной платформы и даже философии «Листка». Однако в ту пору это не представляло собой что-то из ряда вон выходящее: на рубеже веков по всей Европе были широко распространены спиритические сеансы и эзотерические ритуалы, на которых вызывали духов и привидения, и даже попытки фотографически зафиксировать этих призраков, которые считались самыми популярными видами высокоинтеллектуальных развлечений. Несмотря на то что происшествие в доме Шулера потрясло Георге, чуть позже, в ноябре того же года, он скрепя сердце принял участие в таком же сеансе. В 1909 году Георге с Карлом Вольфскем также участвовал в нескольких «спиритических сеансах», а в сентябре того же года он с Лехтером и некоторыми другими друзьями обсуждал вопрос «мистицизма и оккультизма». А когда в 1916 году Георге посетил крупную выставку привезенных из Америки магических предметов и ритуальных приспособлений, то находился в сильном воодушевлении и постоянно рассказывал о ней во всех подробностях. «Ах, — вздыхал он, — как я хочу пойти туда вновь. Я просто без ума от сверхъестественных явлений». Однако беседа, которая последовала за этим знаменательным открытием, выявила некоторые неожиданные аспекты замысла Георге. Он заявил, что твердо убежден в «существовании сверхъестественных сил, их невозможно отрицать, однако все практики вызывания духов — это пустяковое и одностороннее дело, в котором царят безнравственность и распад». Трудно в этом случае не сделать предположения, что, говоря это, Георге имел в виду Шулера.

Тем не менее Георге был склонен считать, что и безумие имеет свое место в общем порядке вещей. В том самом разговоре с Сабиной Лепсиус, в котором обсуждалась «сверхчувственная любовь», Георге сделал весьма смелое заявление: «Самые великие дела в мире творятся безумцами». Од-

нако, видя, что этим заявлением привел Фрау Лепсиус в замешательство, он попытался прояснить дело: «„Возлюби ближнего твоего“ — вовсе не безрассудство!» За всеми нападками Георге на позднехристианские идеалы смирения и милосердия — добродетели, которые вовсе не случайно являлись излюбленным предметом обличительной критики Ницше, — невидимой тенью стоял Шулер. Сверхчувственная любовь в высшей степени соответствовала всеобщей гармонии Вселенной, но едва ли это значит, что в ней было достаточно места для ненависти.

Окончательный разрыв между главными представителями Космического круга произошел по причине, вовсе не связанной с реальным или предполагаемым безумием Шулера. Скорее всего, причиной разобщения послужила усиливающаяся ненависть к евреям, которую Шулер разделял с Клагесом и которая также вбила клин между ними, с одной стороны, и Георге и Вольфскелем — с другой, и в конце концов расколола круг. Что действительно здесь удивляет, так это то, что раскол произошел не сразу. Ни Клагес, ни Шулер никогда даже не пытались скрывать свои антисемитские взгляды. Если чему-то они и придавали значение, так это изобретаемым ими путаным теориям относительно истории и культуры, которые так или иначе всегда были направлены против того, что они считали бесчестным вторжением евреев. Введение Шулером понятия «светильники крови» и его призывы к восстановлению ценностей и культуры прошлого представляли собой попытку возврата к предшествовавшему этому «вторжению» периоду истории, культура которого еще не испытала тлетворного «молоховского» влияния. Но хотя Клагес и Шулер были склонны причислять к евреям тех, кто ими очевидно не являлся, они также признавали, что некоторые люди, считавшиеся евреями, могли ими не быть. Сначала к этим последним они относили Вольфскеля, Гундольфа и множество других значимых для культуры достойных иудеев, проживающих в Швабинге, не являющихся евреями если не по крови, то хотя бы по убеждениям. Более того, те, кто получал этот своеобразный иммунитет, были не только рады своему особому положению, но и, казалось, действительно верили в то, что их, ревнителей Космической судьбы, и нельзя считать евреями в понимании Клагеса или Шулера. Кроме всего прочего, как они полагали, они полностью разделяли мировоззрение этих идеологов, поэтому крепко сплотились с ними против общего врага и отвергали «молоховскую» мысль так же рьяно, как остальные члены антисемитского сообщества. Некоторые из них даже отрекались от иудаизма и высказывали идеи, с трудом отличимые от тех, что выражали антисемиты. Например, в 1903 году Гундольф писал Ханне Вольфскель: «Сейчас, как никогда, я чувствую себя антисемитом, так что приветствую идею уничтожения еврейства. Самой благородной нацией не может быть ни одна из тех, что существуют от

века. Собственное призвание я вижу в том, чтобы служить Шекспиру, а не Яхве или Ваалу».

Разумеется, подобные взгляды, обусловленные целым комплексом тесно переплетающихся между собой причин, были в ту пору широко распространены среди ассимилированных евреев в Германии и других странах Европы. Сейчас эта позиция может казаться безнадежной и губительной в своей наивности. Но факт остается фактом: до 1933 года множество немецких евреев являлись более страстными — «от всего сердца» — немцами, чем другие их соотечественники нееврейского происхождения. И, как мы вскоре увидим, перед началом Первой мировой войны в 1914 году многие евреи, считающиеся самыми яркими патриотами, в действительности часто принадлежали к кровожадным националистам, поддерживающим дело Германии, что обнаружилось только после зверских расправ в Бельгии. Однако на то, чтобы Гундольф примкнул к антисиионизму, были особые причины.

С самого начала XX века Карл Вольфскель все больше интересовался зарождавшимся сионистским движением. Он познакомился с его харизматическим лидером Теодором Герцлем — это знакомство состоялось в 1896 году, вскоре после выхода эпохальной книги Герцля «Еврейское государство». Впечатленный его идеями, Вольфскель, желая помочь сионистскому движению, в следующем году стал сооснователем его регионального отделения в Мюнхене. Естественно, его деятельность в этой организации не осталась незамеченной другими членами Космического круга (сам Клагес заявил: «Вольфскель никогда не скрывал от нас, что является сионистом»), и вскоре они открыто выразили ему свое недовольство этой деятельностью. В середине 1901 года Вольфскель обратился к Гундольфу с просьбой определить градус отношения Шулера к нему. Вольфскель настоятельно просил осуществить эту «дипломатическую миссию» с должной осторожностью: «Пожалуйста, постарайтесь как можно более незаметно выведать у космического Альфреда, который отправился в Берлин, как он на самом деле ко мне относится». В Швабинге весной того же года имела место какая-то неприятность, которую Вольфскель не назвал, однако сообщил: «С тех пор мне кажется, будто он считает меня подлым притворщиком из племени Молоха, и мне хотелось бы узнать больше об этом».

Как бы то ни было, Вольфскелю удалось сгладить подозрения Шулера, но он с еще большим усердием стал участвовать в деятельности сионистского движения. Хорошо зная умонастроения самого Гундольфа, Вольфскель даже пытался — правда, безуспешно — привлечь и его к этому делу. В июне 1902 года он писал Гундольфу: «Я должен обсудить с вами вопрос сионизма во всех подробностях. В этих идеях слишком много шума, самодовольства и пустой болтовни, но также и залог глубины принципов. По крайней мере, так мне кажется. Уверен ли я в том, что именно мне сужде-

но озвучить их чистые истины? должен ли я? могу ли?» На протяжении всего 1903 года Вольфскель даже полушутливо забавлялся мыслью, не стать ли новым царем Дамаска. Пик его деятельности в сионистском движении пришелся на середину того года: 23—28 августа в качестве официального представителя Вольфскель участвовал в шестом Сионистском конгрессе в Базеле, на котором обсуждался так называемый «План Уганда».

В глазах Шулера и Клагеса сионистское движение само по себе казалось объявлением открытой войны, развязанной «молоховцами» против замыслов Космического круга. Хуже того, им представлялось, будто вражеский агент внедрился в саму сердцевину круга. Их параноидальные подозрения в еврейском заговоре неожиданно воплотились в конкретном человеке — это был не кто иной, как Карл Вольфскель. Гораздо позже, в 1940 году, Клагес описал это так: «С каждым днем появлялось все больше примет того, что Шулер и я попали в иудину ловушку». Неопровержимым доказательством предательства Клагес считал то, что «на сцене появились двусмысленно-недвусмысленные фигуры: нечистый Рабби, отвратительная жидовка из Галисии, „иудейский мистик“, очевидно, являющиеся представителями тайного общества. Управляемость „Листка“ из центра еврейского движения очевидна». Далее следовало свидетельство коварного плана, разворачивающегося прямо у них перед глазами: «Представители международной прессы, прежде занимавшей негативную позицию, выстроились в шеренгу, а адвокаты, которые теперь выступают публично тут и там, — евреи, все поголовно не кто иной, как евреи. Тайное управление этими событиями стало очевидно, а имя их лидера — Вольфскель».

Дело быстро достигло критической точки. Члены Космического круга считали свои убеждения священным делом. В романе Франциски фон Ревентлов, в котором под вымышленными именами скрываются реальные личности и который изобилует фактическим материалом о событиях в Швабинге, один из персонажей говорит: «Мы поклялись, буквально принесли клятву в том, что предательство и раскрытие космических тайн наказуется смертью». Шулеру и Клагесу казалось, что их «космические тайны» не просто предали, но открыли смертным врагам, причем в самой вопиющей форме. В Космическом круге существовал своеобразный обет молчания, и угроза наказания за разглашение внутренних сведений была в самом деле серьезной. Родерик Хух, друг Гундольфа, который и ввел его в Космический круг, повел себя крайне опрометчиво, развлекая непосвященных историями о внутреннем совете круга. Когда Хуха изгнали из сообщества за нарушения клятвы, он решил взять реванш. В неофициальной газете под названием «Швабингский наблюдатель», которая пользовалась большой популярностью в этом районе Мюнхена, Хух опубликовал статью, где представил на суд читателю обширный анализ сенсационной но-

вести, что Людвиг Клагес в действительности является евреем. Происходившего из древнееврейского раввинского рода Клагеса в действительности звали «Кагелес»; также Хух добавил, что «Гер Луис Кагелес» вскоре отбывает из Швабинга и возвращается на землю отцов, чтобы продолжить свою деятельность уже в Иерусалиме.

Вечером, после публикации этой неприятной, но в сущности безобидной шутки, Хух шел домой по темному, открытому полю, находящемуся на краю города, известному как «космический луг». Вдруг откуда ни возьмись на него кто-то напал и повалил на землю. Когда Хух высвободился и встал на ноги, то увидел, что нападавшим был Альберт Хенчель по прозвищу «Пантера», еще один член Космического круга, который время от времени выполнял кое-какую грязную работу по приказанию Клагеса. Подчинясь инстинкту, Хух пытался спастись бегством; не ведая, что уготовила судьба, он с полным основанием полагал: «Если бы они схватили меня, случилось бы что-то ужасное. К счастью, мне удалось сбежать; бросив на месте нападения свой костюм, пальто, жилет, воротничок, галстук и даже кальсоны, я освободился от железной хватки „Пантеры“ и у Швабингской пивоварни вскочил на трамвай». Растрепанному и смущенному Хуху удалось добраться до дома своей сестры, которая и приютила на ту ночь. На следующее утро он обнаружил свою одежду аккуратно сложенной на пороге дома одного из друзей — так Хуха предупреждали о том, что знают, где искать.

Естественно, Вольфскель тут же извлек выводы из этого инцидента и, опасаясь за свою безопасность, в середине декабря написал Георге письмо, в котором просил о помощи. За последние годы Георге побывал на нескольких званных вечерах в доме Вольфскелей, устраивающих празднества, в которых принимала участие элита Швабинга, включая Шулера, Клагеса и многих других их общих знакомых, и для которых все гости наряжались в костюмы любимых античных личностей. Однако в то же самое время росла подозрительность Георге не только в отношении психического здоровья Шулера, но, что более важно, касательно его намерений. Еще в 1901 году Георге оставил на письменном столе Вольфскеля загадочную записку, содержащую завуалированное предостережение:

Не подмени жреца факиром,
Пророка — гадателем,
А духов — призраками.

Георге был далек от того, чтобы отождествлять себя с «жрецом», «пророком» или «духом», но в этом зашифрованном послании содержался намек на то, что он озабочен вопросом преданности Вольфскеля. В связи с теми открытыми нападениями и осадами, которые выдержали «душа»

Георге и тело Родерика Хуха, становилось ясно, что их противники для защиты интересов готовы прибегнуть к абсолютно любым доступным средствам. Шулер представлял собой угрозу авторитету Георге в слишком многих аспектах, и, казалось, Георге все решительнее приближался к необходимости защищаться от этих участвовавших вторжений. Теперь, когда атаки противника перешли с духовного уровня на физический, он осознал, что пришло время действовать и действовать решительно.

Через несколько дней после получения письма от Вольфскеля Георге поспешил в Мюнхен, где в начале января 1904 года устроил встречу с Клагесом. Не известно, что в точности говорилось на этой встрече, равно как не известно, участвовал ли в этом противостоянии Вольфскель, хотя, скорее всего, на встрече он присутствовал. В любом случае, очевидно, что этот разговор был не из приятных, и иначе не могло быть. По утверждению Клагеса, он задал Георге провокационный вопрос: «Что связывает вас с этим иудой?», — вовсе не ожидая ответа. Очевидно, что, даже повторив свой вопрос, Клагес не получил бы на него удовлетворительного ответа. И, поскольку проблему устранить не удалось, сообщество распалось, разделившись на две группы. Вскоре после этого Клагес обратился к Георге с просьбой о встрече — на этот раз он хотел «увидеться с ним тет-а-тет». Георге отказал, послав Клагесу письмо, в котором объяснял свое решение. Он говорил, что подобная встреча не принесет желанного результата, поскольку «базовые установки» этих двух лагерей различны. Георге отмечал: «Уже на протяжении всего последнего года я определенно чувствовал растущее отчуждение между нами». Он рассчитывал стратегически одержать победу, представив это дело в ином, более общем, плане и игнорируя тем самым проблему, которую Шулер и Клагес считали для себя наиболее важной. Георге заявил следующее: «Я отвергаю все ваши оскорбительные и унижительные попытки приписать моим действиям и привязанностям мотивы, выходящие за пределы искренних человеческих отношений и сферы искусства, а также ваши стремления повлиять на отбор авторов, публикуемых в „Листке“». Возможно, Георге действительно верил в предложенную им версию развития событий, но обстоятельства никоим образом не позволяли ему продолжать диалог с Клагесом, закончившийся взаимными обвинениями. «Вы сочли стихи, которые я принял, жалкими и графоманскими и т. д., — негодовал Георге, — я возражу тем, что стихи, предложенные вами, являются гораздо более дилетантскими и неискренними. Вы называете людей, с которыми я связан, скверными, я же считаю ваших знакомцев отвратительными людьми!» Все еще надеясь, однако, что их отношения можно сохранить, Георге стремился избежать перебранки, в которой «каждый уверен в своей правоте и, хуже всего, произносит такие тирады, которые делают дальнейшие отношения невозможными».

Этот дипломатический ход был замечателен. Хотя Георге и не заявлял об этом прямо, но знал, что в действительности лежит в основе действий Клагеса и с чем тот столкнулся, совершив свой в высшей степени рискованный гамбит. Он не уступил Клагесу ни пяди и в конце концов преодолел его сопротивление. Искусным маневром Клагес был загнан в угол, теперь ему оставались лишь две в равной степени скверные альтернативы: или покориться воле Георге, или пойти своей дорогой. Как Георге и предполагал, Клагес выбрал последнее. Получив письмо от Георге, на следующий день он официально объявил, что «личные отношения» между ними «разорваны». Шулер, более горячий из этих двух представителей Космического круга, занял иную позицию. Чуть позже он послал солдата в полном военном обмундировании с пакетом, запечатанным черным клеймом, к адресату «Геру Доктору Вольфскелю». Содержимое пакета в настоящее время утрачено или уничтожено, однако в другом фрагменте Клагес приводил следующие слова Шулера, относящиеся примерно к тому же времени: «Время настало. Один за другим мне являются знаки. И предвещают большую беду».

Легко превратить в банальность эти страннейшие события, которые привели к тому, что Космический круг прекратил свое существование, приравнивая их к горячечным выходкам на грани безумия сокрушенного и бессильного антисемита, брызжущего слюной от ярости, а также к изобретательным вылазкам его легковерных сторонников, потакающих своему желанию развлечься и вышедших из-под контроля. Клод Давид, один из самых чутких читателей Георге, который меньше всего принимал участие в противостоянии двух лагерей, однажды будто между прочим заметил: «Все очень много говорили о крови, но никто не решился ее пролить». И действительно, как насмешливо выразился Давид, «в конце концов так ничего и не произошло». Но те, кто были вовлечены в эту конфронтацию, вовсе не разделяли оптимистический взгляд на ситуацию. Искренне встревоженный угрозой физической расправы Карл Вольфскель приобрел револьвер, который носил в заднем кармане брюк в течение двух лет, с того момента как Шулер послал к нему домой того солдата. Он держал его при себе постоянно заряженным и, забыв об осторожности, однажды по чистой случайности прострелил себе ногу, когда, поздно вечером возвращаясь домой, запнулся за что-то в собственном саду. Кость была не задета, но Вольфскель попал в больницу — для полного выздоровления ему потребовалось несколько недель. На следующий день после этого несчастного случая жена Вольфскеля Ханна написала Георге письмо, в котором поведала о своих душевных терзаниях. «Только представьте, — писала она, — прошлой ночью во сне мне привиделось, будто они пригласили нас на вечер в честь воссоединения Космического круга. Карл принял это приглашение, и мы отправились туда, чтобы возобновить общение. Мы взобрались на вы-

сокую башню и увидели, что все веселятся и хорошо проводят время. Внезапно меня охватил страх. Я подумала: все это лишь притворство — они собираются нас убить! Я попыталась прогнать эту мысль, но вдруг от соседей раздался крики: „Револьвер, револьвер!“».

Опять-таки было бы ошибкой позволить этому комическому исходу существования некогда процветавшего Космического круга затуманить наш взгляд и упустить из виду или его современное влияние, или будущие последствия. Клагес и Шулер, возможно, и отделились от Георге, но не ушли со сцены. Вплоть до своей смерти в апреле 1923 года Шулер продолжал читать лекции сочувствующей аудитории в Мюнхене, излагая теории о «молоховском» ресентименте, возрождении язычества и андрогинной утопии, и все это под знаменем своего излюбленного символа — свастики. Одним из тех мест, где он распространял свои идеи, был дом известного издателя Хуго Брукманна. Компания Брукманна специализировалась на издании литературы по популярной истории и на тему критики культуры с консервативных позиций. Одним из самых известных ее изданий был пропитанный ядом антисемитизма и при этом невероятно популярный трактат Хьюстона Стюарта Чемберлена «Основания XIX столетия». Супруга Брукманна Эльза, богатая румынская графиня, в их огромном доме на Каролиненплатц организовала салон, куда приглашала интеллектуалов, художников, политиков и других личностей, имевших тогда вес в обществе. Фрау Брукманн являлась одним из душеприказчиков Шулера — разумеется, эту возможность она получила в связи с делом ее мужа. Спустя полгода после смерти Шулера уже всю обсуждались планы по изданию лекций, записанных за ним, и избранных мест из его произведений.

И хотя следует избегать огульных обвинений, один гость в доме Брукманна все-таки заслуживает отдельного упоминания. В следующем году, точнее в декабре 1924 года, дом Брукманна впервые посетил Адольф Гитлер, который во время ужасной Первой мировой войны был ефрейтором немецкой армии и незадолго до своего визита к Брукманнам отбывал тюремное заключение по обвинению в организации антигосударственного восстания. И хотя Шулер умер, наследие его продолжало жить, и, скорее всего, этому новичку в доме Брукманна рассказывали об идеях Шулера, а возможно, даже показывали его рукописи, которые как раз в это время готовились к публикации. Брукманны нашли бы в новом госте преданного почитателя, готового живо откликнуться на ненавистнический посыл Шулера, преподносимый под видом восстановления исторической правды, готового усвоить эти его идеи и использовать их, как и его символ, придав им небывалое значение и силу. Конечно, если бы в доме Брукманна Гитлер действительно познал идеи Шулера, то они никоим образом не могли послужить единственным источником или хотя бы одним из важнейших оснований той запутанной и противоречивой сети предрассудков, ненависти

и жажды насилия, которая начала разрастаться и превратилась впоследствии в политическое движение. Но со всей осторожностью, которая требуется для того, чтобы проводить подобные исторические параллели, какими бы умозрительными они ни казались, следует отметить, что, по иронии судьбы, именно Эльза Брукманн, представительница высшей прослойки буржуазии, явилась первым звеном в той цепи, что соединила две крупные силы, которым суждено было в будущем изменить навсегда Германию и весь мир.





Глава двадцать вторая

МАЛЬЧИКИ: ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ И БОЖЕСТВЕННЫЙ

В самый разгар конфликта с Космическим кругом Гундольф старался поддержать Георге словами утешения: «То, что этот Космический мирок рано или поздно лопнет, как большой прекрасный и переливающийся всеми цветами мыльный пузырь, было очевидно даже непрозорливому уму». Гундольф жалел о разрыве с Клагесом, чувства же к Шулеру были двойственны — он уничижительно окрестил его «Нероном на лиловой арене» и теперь настаивал на том, что Карл Вольфскель «часто следовал за ним только из страха». Зная недовольство Георге снизившимся уровнем работы Вольфскеля, Гундольф после недолгих колебаний решил, что разрыв с кругом, возможно, только к лучшему. «Если бы только К. пожелал в конце концов выразить свои мудрые мысли в письменной форме и подарить миру — никто другой столько не знает — Саулов, Моисеев и Псалмов, которые он так часто обещал нам». И поскольку это касалось самого Георге, Гундольф счел этот разрыв отношений определенно положительным событием, которое, как он полагал, позволит Георге всецело вернуться к поэтическим занятиям. «До сих пор все откладывались занятия пресловутым чистым искусством, которое, считалось, должно было везти на себе надменную космическую Семирамиду, дыша, словно седая Золушка, грязным и пыльным воздухом, поднявшимся за ее повозкой».

Однако Гундольф не мог не испытывать радость и облегчение по поводу того как разрешилась эта ситуация, поскольку с самого начала относился более чем скептически к этой затее с Космическим кругом. «Иногда меня охватывают приступы смеха, — говорил он Георге, — когда я вспоминаю, какой выговор получил всего лишь год назад за то, что усомнился во всеведении Шулера!» Даже после того как в конце 1900 года Вольфскель отчитал Гундольфа, за то что тот позволил себе назвать идеи Шулера «бредовыми», он по-прежнему продолжал делиться с друзьями своей тревогой, которую внушал Космический круг. В середине 1902 года Гундольф попытался определить причину этого беспокойства. «Что действительно приводит меня в замешательство в том мире, который рисуют Шулер и Клагес, — поведал он Вольфскелю, — так это то обстоятельство, что они получают эти выдающиеся знания откуда-то вне себя, из некоего потустороннего мира, но пытаются возвестить их посредством этого мира и для него. Поместив духовный и земной мир между собой и своими знаниями, они, эти сокрушители индивидуализма, сами являются, по нраву им это или нет, личностями, поскольку объявляют войну тому самому миру, получая свое вооружение из него же, из мира, с которым сражаются». Этот здравый аргумент сложно опровергнуть, и все же Гундольф определенно не хотел обрушивать главный удар своей критики на Клагеса, адресуя самое сокрушительное обвинение одному лишь Шулеру. Гундольф говорил, что просто не мог следовать путем Шулера, особенно «потому, что самая поразительная мудрость Шулера, выраженная им в слове, является (или только кажется таковой — не важно) ужасным и притягательным безумием».

Тем не менее удовольствие, которым наслаждался Гундольф от того, что оказался прав, тускнело перед радостью, что его достопочтенному Учителю удалось избежать капкана Космического круга. Поскольку Гундольф был убежден в том, что Шулер и Клагес не только отвлекали Георге от истинного призвания, подталкивая к чему-то ужасному, но и, что более всего расстраивало, лишали его самого внимания Георге. Даже когда в октябре 1900 года Гундольф отправился в Берлин, то писал Георге почти каждый день, сообщая в письмах без исключения обо всем, что с ним происходило, включая прочитанные книги и приобретенные знакомства, а также просил возложить на него поручения, исполнение которых, он знал, может доставить Георге радость (например, достать любимый табак Георге или оказать иные услуги). При этом Гундольф постоянно и в подробностях напоминал Георге о том, как много значит для него он, его Учитель. Но на этот нескончаемый поток уверений в преданности и почтении Георге по большей части отвечал молчанием. «Пожалуйста, напишите мне хоть разок, — взмолился в конце концов Гундольф, — чтобы я знал, что вы получили все мои письма и посылки». Иногда Георге не отвечал неделями и

даже месяцами. Столкнувшись с очевидным безразличием Георге, Гундольф взял себя в руки, но при этом в конце своих писем стал обращаться к Георге с жалобными просьбами. Используя сокращение от еще одного нежного прозвища, которое дал ему Георге — «Дольф», — Гундольф принялся каждое письмо заканчивать словами: «Не забывайте верного вам Д.». Как-то однажды он просто попросил: «Не забывайте меня совсем!» И когда Георге наконец ответил — это, как обычно, было письмо в телеграфном стиле, который он предпочитал использовать в письменных сообщениях. «Спасибо, что сообщаете мне новости, — говорилось в одном из тех редких посланий, которыми удостоил Гундольфа Георге в феврале 1901 года. — Держитесь! Надеюсь, что в следующем году все мы встретимся в Мюнхене!» Определенно, Георге не выказывал исключительной привязанности, но это было все, на что мог рассчитывать Гундольф.

Скорее, Гундольф располагал иными знаками того, что Георге не было все-таки совершенно безразлично его существование, хотя ничто не могло дать ему полного утешения. В июле 1901 года Гундольф послал Георге на тридцатитрехлетие фрагмент из драматического произведения своего сочинения под названием «Король Кофетуа и нищенка». Оно основывалось на сюжете древней английской баллады, повествующей о нечувствительном к женским чарам короле, который чуть было не зачах в одиночестве и печали. Этот сюжет был в то время популярен, получив наибольшую известность в связи с одноименной картиной кисти художника-прерафаэлиты Эдварда Бёрн-Джонса. В оригинальной поэме, которая входила в сборник Томаса Перси «Памятники древней английской поэзии», положение короля описывается следующим образом: «Закон природный нарушая [...] / И женский род не замечая, / Платил презреньем девам всем». Однако однажды, выглядывая из окна своих покоев, король заметил «деву-нищенку в серой холстине» — и в одно мгновение был поражен стрелой Купидона, или Эрота. «Младенец слепой, что метко стреляет, / На землю с небес, где он обитает, / Лук натянувши, стрелу послал / Туда, где наш король лежал». Король послал за бродягой, воспламенившим его сердце, и к своему немалому удивлению обнаружил, что бродяга-нищий является женщиной. Он взял ее в жены и сделал своей королевой.

Кажется неправдоподобным, тем не менее Гундольф таким образом намекал Георге на то, что его безразличие к противоположному полу временно, исправимо. Если дело заключалось действительно в этом, то, возможно, Гундольф этим стихотворением предполагал объяснить, или оправдать, свои собственные «дурные» наклонности. Какими бы ни были намерения Гундольфа, реакция Георге последовала незамедлительно и не предполагала ни малейших возражений. На следующий день он отправил Гундольфу негодующий ответ: «„Король Кофетуа“ опечалил меня настолько, что мне сложно сформулировать отношение к этому стихотворе-

нию». Георге обещал пройтись по отдельным недостаткам «позже», а до того — определиться с мнением по поводу спорных вопросов этого сочинения. Хотя уже в этом письме он вынес ему суровый вердикт. В частности, Георге заметил: «Мне кажется, что внезапное изменение размера стиха напоминает спотыкание лошади, запряженной в прекрасную коляску», а в целом отрывок кажется «непричесанным». И все же самым красноречивым свидетельством глубокой досады Георге послужило то обстоятельство, что одновременно с этим он вернул Гундольфу и его фотографию, которую тот сделал с большим трудом летом за год до того, как передал ее Учителю. Не стараясь скрыть очевидную и жестокую ложь, Георге представил ситуацию так, будто одалживал фотографию на время и теперь, возвращая ее, благодарит Гундольфа за оказанную услугу. Он заявил: «Она дорога мне, вы знаете, но, по-моему, ее следует вернуть вам, кому, я уверен, было нелегко с ней расстаться».

Гундольф вынес и эту несправедливость с достоинством, сдержанно ответив лишь: «Моя фотография — ваша, как бы вы ею ни распорядились». И без того, однако, нечастые письма Георге стали теперь совершенно редкими и пренебрежительными — обычно они были переполнены упреками за какие-либо надуманные неудачи и ошибки. Жалуясь Вольфскелю, Гундольф писал: «Я получаю весточку от Учителя исключительно в тех случаях, когда совершаю очередную глупость». Спустя полгода, в январе 1902 года, он буквально умолял Георге: «Смилитесь хотя бы раз и напишите мне одно-два предложения, даже если нет никакого дела, которое вы могли бы мне поручить или за которое могли бы меня отругать». В сущности, Георге устроил Гундольфу нечто вроде проверки на выносливость, будто бы хотел измерить его способность переносить крайние страдания или испытать его силу духа. Несмотря на все это, преданнейший Гундольф продолжал писать Георге, отдавшись надежде или же только притворяясь, будто верит, что Учитель не отвечает ему потому, что занят или у него нет на это времени.

Наконец 20 июня 1902 года по случаю двадцатидвухлетия Гундольф был вознагражден Георге за терпение. Всего лишь за три дня до этого события Гундольф в очередной раз сокрушался по поводу продолжающегося «молчания» Георге и только по этой причине, когда в его дом в Дармштадте доставили большой пакет, подписанный безошибочно узнаваемым почерком, растерялся. Распечатав пакет, Гундольф был ошеломлен. «Мой один и единственный Учитель, — поддался он порыву чувств, — поскольку до сих пор я не мог благодарить вас иначе, чем полностью отдаваясь восторгу, который вы вызываете во мне, и вынужден был пребывать в смущенном молчании до тех пор, пока вновь вы, само Неоскудевающее Изумление, не даровали мне новую неопишуемую радость». Однако Гундольф был вовсе не из тех людей, кто мог сдерживать поток своей эмоциональ-

ной речи, — и будто на одном дыхании он выпалил: «Я не стану отныне размениваться по мелочам и постараюсь за ваши дары воздать вам всей своей жизнью, которая, уверен, должна принадлежать вам и полностью зависеть от вашего расположения».

Толчком к тому, чтобы Гундольф вновь разразился восторженными тирадами, послужили посланные ему Георге семь стихотворений, которые тот написал на плотной бумаге, начиная каждое из них с буквицы, изображенной в стиле Мельхиора Лехтера, и отделал темно-красным переплетом. Отражающие интерес Георге к идеям Космического круга стихотворения были обильно украшены символами свастики. И несмотря на то что Георге написал их два года назад и успел даже большую часть опубликовать в объединенном выпуске «Листка» за 1901 год, Гундольф, казалось, ранее не считал, будто они имеют отношение именно к нему. И тем более странно то, что эти стихотворения открывают идеальное развитие отношений между Гундольфом и Георге и к тому же относятся к чистейшей любовной поэзии, когда-либо выходявшей из-под пера Георге. Однако, как и большинство любовных романов Георге, этот также был исключительно несчастным. Своеобразная поэтическая хроника прослеживает развитие этих отношений, начиная с первой восторженной встречи и радости Георге, полагающего, что наконец и тем не менее паче чаяния обрел достойного любви возлюбленного, которые сменились растущими сомнениями в выборе и разочарованием, и заканчивая полным скорби прощанием, когда пламя страсти угасло. В стихотворении, которое открывает этот цикл, Георге, уже чувствуя себя изнуренным и слабым, сокрушен тем страхом, что его молодой возлюбленный, тяготящийся страстью поэта, отвергнет его:

Когда желания мои тебя неволят
И хворое дыхание теснит тебя
Томлением, стенаньем и мольбою,
Тогда мне видится, как на закате дня
Состарившийся плющ
Цепляется за дерево молодое...
Мои холодеющие пальцы
На твоих освещенных солнцем щеках...

Но, кажется, его опасения необоснованны, и стихотворение заканчивается следующей строкой: «Огонь, его снедавший, заставил замолчать мой рот своим цветущим ртом». Следующие несколько стихотворений этого цикла описывают восторг поэта (одна из строчек гласит: «Я вновь стремлюсь постигнуть радость») — они пробуждают ночные грезы блаженства: «Дарами полны ночи, коль на моих коленях лежит твоя глава». Другое стихотворение, в котором также присутствует ночная сцена, отмечено любовным преображением, с необычайным изяществом описываемым поэтом, кото-

рый теперь взирает на мир и на самого себя в этом мире совершенно иными глазами:

На комнату свою и город, и серебристую аллею
Взираю я из глубины мечтаний о тебе.
Себе чужой, тобой наполнен, по снегу синему
Я упиваюсь своим ночным скитаньем.

Если сначала молодой возлюбленный колебался, в конце концов сомнение было сломлено, и влюбленные слились в нежных объятиях:

Ты покорен, уже готов спуститься на колени,
Стонал ты от захлестнувшего тебя восторга,
И, ослеплен сияньем ореола, как столб стоял,
И цепенел от захватывающего дыханье поцелуя.

Тот час настал: мы здесь, сплетая телами, лежим
И страстных поцелуев расточаем жар.

Как только поэт выразил свою страсть, его начали одолевать новые сомнения. Страсть переросла в тревогу, и он чувствовал, что существует нечто, разделяющее и нарушающее благостное существование совершенного союза. «Как будто прочитал твои я мысли — среди счастья нашего гнездится отчужденье». Для Георге любовь всегда означала полное обладание и непритворную покорность возлюбленного, поэтому сама мысль о том, что возлюбленный мог не растворяться полностью в личности Георге, о том, что возлюбленный мог не отдаваться полностью на волю Георге или даже мог не желать этого, являлась невыносимой для него. Поэтому поэт спрашивает: «Не станешь ли ты упиваться собой и тем, чем тебя одарили?» Однако трещина отчуждения уже пролегла между влюбленными, и поэт, понимая, что ее невозможно преодолеть, не стал препятствовать их отдалению друг от друга. Путь, на который они вступили, подчиняясь внезапному озарению, теперь предстает как «ведущий к кладбищу». А его возлюбленный поглощен красотой природы, зрелищем весны в цвету и ликует, не замечая перемен в своем любимом. Но поэту вся реальность видится «опустевшим полем, покрытым булыжником», он слышит только «похоронный звон», раздающийся над холмами. У поэта возникает мысль о том, что его возлюбленный заблуждается насчет собственных страстей и влечений, поэтому он молча винит возлюбленного в самообмане, вводящем в заблуждение и самого поэта, и решает сохранить в памяти воспоминания о ликовании, которое они переживали прежде:

Уже ослабеваю, но, истекая кровью, я унесу в могилу,
Что ты обманывал себя — себе на пользу и мне на горе...

Тебя благодарю я за время то, за те минуты,
Когда твоя краса меня дарила вдохновеньем...
Итак, прощай!

Трудно представить, что эти стихи могли наполнить Гундольфа чувством величайшей радости, но по крайней мере они проливают свет на то, почему Георге так долго молчал. И несмотря на это, в их отношениях ничего не изменилось. В начале 1903 года Гундольф был вынужден вновь принять отважный вид и выразить свою догадку: «Вы продолжаете молчать из-за тех полных удовольствия дней в Мюнхене и из-за неутолимой жажды Карла видеть своего Учителя». Примечательно, что в отличие от всех тех друзей, которых Георге символически хоронил в своих стихах, после того как терял интерес к ним или они переставали удовлетворять его потребности, Гундольфа не постигла ужасная судьба изгнания и безоговорочной отставки. Возможно, Георге был восхищен его выносливостью, или решил, что совершил ошибку, списав его со счетов так быстро, или начал подозревать, что дни Космического круга уже сочтены и вскоре он может лишиться огромного числа своих сторонников. Какими бы ни были причины, в конце весны 1903 года Георге вдруг стал посылать Гундольфу более вдохновляющие знаки внимания. «Дорогой Гундольф, — так начинается одно из писем (прежде Георге обычно писал «Д. Г.» — так что возвращенное имя в начале письма само по себе уже обнадеживало), — ваши стихотворения в „Листке“, за исключением, пожалуй, нескольких незначительных случаев нарушения размера, превосходны. Читая их, я испытывал наслаждение, как от великих творений». Можно не обращать внимание на этот легкий шлепок по руке, от которого Георге не мог удержаться даже в случаях, когда кого-то хвалил, — эти его слова были самыми позитивными из тех, что слышал от него Гундольф за два года. Подобным образом в своем октябрьском письме Георге высказался о другом стихотворении Гундольфа. Говоря, что прочел его с «трепетным восторгом», Георге нашел данный опус «необычайно талантливым». Но, будто непроизвольно, он опять вставил уязвляющее замечание: «К сожалению, то тут, то там просматриваются следы „гунделингства“, делающего стихотворение сыроватым и неаккуратным».

Георге изменил тональность своего общения с Гундольфом не только из-за того, что в январе 1904 года готовился к последней схватке с Клагесом в Мюнхене. Извиняя свои прежние «раздражительные» послания, как он объяснял, «наводящими тоску событиями последних недель», Георге так или иначе просил у Гундольфа прощения. «Мое настроение теперь вовсе не такое неблагоприятное, каким было в последние несколько дней», — загадочно заметил Георге, — и хотя накал страстей, всюду бушевавших последние месяцы, спадает, я все еще не вижу выхода из сложив-

шейся ситуации». Но, продолжал Георге, даже в том случае, если Космический круг распадется, не это было главной заботой. Действительно важно, Георге призывал Гундольфа понять: «С этих пор вы останетесь моим Гундольфом, моим другом, моим любимым!» Внезапная сердечная привязанность Георге и тот факт, что его отношения с Шулером и Клагесом приближались к своей драматической развязке, вовсе не являлись чистым совпадением. Но для Гундольфа это не имело значения, поскольку наконец завершилась его ссылка в пустыню.

Таким образом, относительно восстановления отношений не должно быть никакого недопонимания, однако в том же самом письме Георге сообщал о новой знакомой — Мане Штайнберг, — с которой Гундольф не так давно познакомился. Георге, у которого Фрейлейн Штайнберг вызывала смешанные чувства, отметил, что вполне может смириться с этой ситуацией, если она, конечно, из обмена безобидными шутками не перерастет в нечто серьезное.

Маня Штайнберг была первой из нескольких подруг Гундольфа, с которыми он сошелся за все годы, но так или иначе Георге считал ее или недостойной, или опасной, или по каким-либо причинам неподходящей особой. «Самообман», в котором Георге обвинял своего молодого возлюбленного в посланных ему стихах, несомненно, связан с тем, что Гундольф не сразу смог определиться с собственной сексуальностью. Кроме всего прочего, Гундольфу было всего восемнадцать лет, когда он встретил такую притягательную личность, как Георге, и поэтому вполне естественно, что он мог испытывать двойственные влечения и сомневаться в своей ориентации. Но вскоре Гундольф осознал, что в любви предпочитает женщин мужчинам. После длительного периода негодования и неприязни Георге в конце концов решил, что способен принять эту склонность Гундольфа, при условии что ему принадлежит право «вето» относительно избранниц Гундольфа. И, конечно, Георге всю пользовался этой привилегией, возможно, движимый глубинным порывом лишить Гундольфа счастья, в котором отказали ему самому. И каждый раз, когда Георге говорил «нет», Гундольф беспрекословно повиновался его решению и отпускал женщину, которую любил. Только однажды, много лет спустя, он не подчинился воле Учителя в этом вопросе и заплатил высочайшую цену за свой отказ.

Пока тем не менее эта жертва казалась незначительной в сравнении с тем, что Гундольф получал взамен. Он так радовался возможности вернуть расположение Георге, что счел, что не может быть слишком большой цены за это. Только получив через два дня неуверенное одобрение Георге своего романа с Маней Штайнберг, Гундольф ответил ему и отказался от этой затеи: «Я и сам предвижу приближающиеся сложности и, еще не получив вашего письма, написал ей, что боюсь вновь приглашать ее в Мюнхен, поскольку эта встреча может разочаровать нас обоих». И на этом, разумеет-

ся, роман закончился, едва начавшись. Но зато Гундольф вернул себе своего Учителя.

И хотя Гундольф смог вновь обрести желаемое благорасположение, другие не так преуспели в этом. Весной 1902 года, после четырехлетнего отсутствия, внезапно вновь появился Гуго фон Гофмансталь. Внешним толчком послужило незначительное недоразумение, в связи с тем что Георге получил предложение перевести трагедию Габриэле д'Аннунцио «Франческа да Римини», которое согласился принять, только если оно исходит от самого автора. Желая достичь ясности в этом вопросе, Георге написал напрямую д'Аннунцио и посветил его в это дело. Тот оповестил обо всем своего немецкого издателя Сэмюэля Фишера и попросил у него совета о том, как уладить это дело. Со всей искренностью Фишер ответил д'Аннунцио, что не возражает против этого предположения, но имеет некоторые опасения. Фишер заявил, что не намерен в отличие от того, как обычно поступает Георге, ограничивать тираж перевода только тремя-четырьмя тысячами экземпляров. Но имелись и другие вопросы. «Я, однако, не вполне уверен в том, что Гер Георге с его жалкой лирикой, — предостерегал его Фишер, — будет подходящей фигурой для вашей изысканной и сильной поэзии». Д'Аннунцио, высоко ценивший переводы некоторых своих ранних произведений, выполненные Георге, настоял на том, чтобы издатель пересмотрел это решение, и Фишер, хотя и с некоторым нежеланием, обратился к Георге с соответствующим предложением. Однако дело усложнилось из-за переписки — д'Аннунцио так и не ответил на письмо Георге, в котором тот просил разъяснений, и Георге стал подозревать, что за его спиной происходят странные маневры. И чтобы спасти оказавшееся в тупике дело, за помощью обратились к Гофмансталу, который должен был стать посредником в этой непростой ситуации.

Обладая многолетним опытом скрытой дипломатической работы при Георге, Гофмансталь, которому вскоре исполнилось тридцать лет, полагал, что знает верный подход к Георге. В своем письме он пытался убедить Георге, что просьба о переводе работ д'Аннунцио исходила исключительно от самого их автора и что ничего неприятного в этом деле не обнаружено. Гофмансталь понимал, что, учитывая их общее прошлое, он попросту обязан выразить, хоть и небуквально, свою горячую поддержку Георге, по крайней мере его поэзии. Так, он написал: «Во мне возникает глубокое почтительное отношение к каждому вашему творению — даже если вашу книгу я читаю многие годы, и я стремлюсь донести другим впечатление об уникальности ваших произведений». На случай, если в душе Георге остались хоть какие-то сомнения относительно переживаний Гофмансталя, тот подчеркнул: «Можете быть совершенно уверены в том, что годы не отдалили меня от вас, но, напротив, сделали ближе». Гофмансталь признал, что время от времени проявлял слабость в вопросах вкуса относительно лите-

ратуры, «включая Гера Рихарда Демеля, относительно чьего возможного развития и совершенствования заблуждался». Он зашел так далеко, что пригласил Георге посетить свой дом в Родауне, что в предместье Вены. И дабы включить все возможные способы влияния, он также в конце письма пытался всячески внушить Георге: «Можете быть полностью уверены в моем внимании и почтении к вашей целостной натуре и вашему творческому бытию».

Гофмансталь и не снилось, как изменился Георге, с тех пор как они в последний раз обменивались письмами. Но ему было хорошо известно, что Георге узнает или тут же увидит — чего он и боялся — в письме завуалированную попытку умаслить его. Спустя некоторое время в том же месяце, точнее в мае 1902 года, Георге ответил на его письмо. С иронией поблагодарив Гофмансталя за «письмо, полное дружеских слов», Георге перешел прямо к делу: «Не могу ответить вам тем же после всех тех лет молчания, прерванного теперь лишь случайно или в связи с определенным делом». Словно бы не замечая точно выверенных тонких и изящных замечаний Гофмансталя, Георге не упомянул ни единым словом о собственном отношении к нему: «Даже пожелай я сегодня ответить со всей дружественной теплотой, которую я чувствую к вам, я все же оказался бы в недостаточной степени философом и не смог бы скрыть то, что я имею против вас». После этого упредительного залпа Георге подробно остановился на том, что он имеет против Гофмансталя: «Уже в то время как мы впервые сблизились, работая над „Листком за искусство“, я чувствовал, что вы действуете против меня — намеренно или непреднамеренно, — даже если это был не более чем вопрос борьбы за добро против того, что считается злом». Затем, что более существенно, Георге обвинил Гофмансталя в том, что он в частных беседах отрицал свою связь с «Листком» и упорно отказывался играть в открытую с ним, хотя он всегда настаивал на том, чтобы быть искренним, насколько это возможно. Также Георге осуждал печалившую его привычку Гофмансталя участвовать в литературной поденщине и впутывать свое имя в случайные предприятия в печати, приписывая Гофмансталю необъяснимые «скрытность и робость» в тех случаях, когда сам он пытался встретиться с ним и обсудить совместные планы: «Вы всегда были неуловимым». Все эти годы Гофмансталя постоянно срывал все попытки Георге настроить хотя бы нормальные человеческие отношения.

Но Гофмансталь был личным разочарованием Георге, поскольку не оправдал высоких надежд в великом деле, которое следовало бы, как утверждал Георге, осуществить в культурной сфере совместно. Здесь, обращаясь к Гофмансталю, Георге использует самый резкий язык и даже прибегает к фразе, которая демонстрирует его расстроенные замыслы и проливает свет на истинный характер его амбиций. «Я твердо убежден, — заявил Георге, — что мы — вы и я — за несколько лет смогли бы устано-

вить над литературой благую диктатуру. И в том, что этого не произошло, я виню исключительно вас одного». Казалось бы, это неожиданное заявление явилось искренним признанием Георге в собственном сильном желании иметь влияние, то есть доминировать в немецкой литературе. Однако, в понимании Георге, приравнять его действия к установлению диктаторского правления было бы очевидным и, более того, точным способом продемонстрировать, к чему стремился он сам и возглавляемый им «Листок». Но коль скоро речь зашла о Гофманстале, то он вполне осознавал, что действиями Георге двигало пламенное стремление к тотальному контролю, и имел все основания оставаться в стороне от этого замысла. Вне всяких сомнений, Гофмансталь хорошо понимал, что при диктаторском режиме может быть только один диктатор, и, скорее всего, им будет не Гофмансталь.

Однажды Георге попытался разрядить атмосферу, развеяв спертый воздух гнева, разочарования и грусти — чувств, вызванных утраченными возможностями, — он ощущал, что может позволить себе проявить большую человечность и великодушие. Вспоминая их первую, проходившую бурно, встречу с Гофмансталем в Вене десять лет назад и настаивая на том, что тогда была заложена «непреложная» основа их отношений, Георге заявлял: «То, что вы значили и продолжаете значить для меня, я доверился и открыл вам своими жестами и словами уже тогда, когда мы были вместе». Георге уверял также, что его высокое мнение о поэтическом даре Гофмансталя несколько не изменилось: «Пыл, с которым я впитываю каждую строку ваших стихов, что выходят в печати, подтверждает, насколько глубока моя заинтересованность вами и насколько сильно впечатление, производимое на меня вашей поэзией». Но все же, поскольку общение между ними долгое время было прервано и поскольку несколько раз прежде Гофмансталь уже отказывался от приглашения приехать в Бинген, Георге не мог просто приехать в Вену, как будто между ними все было нормально. Таким образом, Георге предложил заключить своеобразную сделку: «Если после продолжительной и живой переписки нам удастся вновь завязать крепкие отношения, то я приеду к вам».

В целом, Георге изложил свою точку зрения с теми жесткостью, снисходительностью и искренностью, которые граничили с грубостью. Должно быть, Гофмансталь оторопел от язвительного тона его письма и только спустя несколько недель взялся за перо и бумагу, чтобы написать ответ. Когда он наконец принялся за письмо, ему потребовалось нечто вроде постоянного внутреннего самоотчета, как будто бы он пытался объяснить Георге, почему в прошлом вел себя так, как вел. «В первые годы, — писал Гофмансталь, — скажем, до 1898-го, мне, кроме зрелости, самым серьезным образом недоставало общего видения и мнения о тех современных авторах, которые пишут свои труды на немецком и других языках». Эта неопытность, как он объяснял, привела к тому, что он обратился к тем авто-

рам, которые оказались неприемлемыми (он опять просил прощения за то, что заблуждался насчет «безвкусных и грубых сочинений» Демеля) или попросту не могли распознать его критических способностей. Тем не менее, даже допуская, что его выбор литературных сотрудников или художественных установок далеко не всегда можно оправдать (это означало, иначе говоря, что Георге их не одобрял), Гофмансталь вовсе не считает, что ошибался буквально во всем. Он утверждал, что существовало несколько обоснованных причин, по которым следовало держаться на безопасном расстоянии от круга Георге. «То, что печаталось в „Листке“, за исключением ваших и моих произведений, — признавался Гофмансталь, — наполняло меня неистовой яростью. Мне вовсе не легко постичь глубинные причины этой моей антипатии и объяснить их даже самому себе. Полагаю, мне присуще какое-то внутреннее сопротивление тому, чтобы выслушивать славословия высокому мастерству владения жизнью и благородству духа из уст того, кто не способен вызвать во мне подлинного уважения». Посредственный поэт, выражающийся скромно, просто и без изысков, обращался скорее к Гофмансталью, нежели к тем, кто без всяких на то оснований облачался в торжественные мантии, которые пристали упражняющимся в «новой» поэзии. Стихотворение, сочиненное подобным образом, «кажется величайшей ложью, поскольку подразумевает чувство полной погруженности, победу над целым или, если это не так, имитируют их». Что касается прочего, Гофмансталь прошелся по целому списку мнимых промахов, ошибок или бестактностей, которые Георге преподнес ему, — сотрудничество с популярными газетами, сношения с людьми, которые были ниже его по достоинству, и так далее — и в порядке собственной защиты пытался опровергнуть или сгладить их.

Гофмансталь никогда не высказывал ничего кроме подлинного уважения к произведениям Георге, но это был уже далеко не первый раз, когда он открыто выражал свои взгляды на «достоинства» других поэтов, сотрудничающих с «Листком», и вполне мог предугадать реакцию Георге. Объясняя свое нежелание торопиться с ответом на резкое письмо Гофманстала, Георге писал: «Едва ли найдется хоть один момент, когда бы мои чувства не были совершенно иными, чем ваши». Он мог смотреть сквозь пальцы на любые разглагольствования Гофманстала, но никоим образом не мог допустить пренебрежения в вопросах, имеющих прямое отношение к нему самому, что также распространялось на авторов, сотрудничающих с журналом. Начав с «художников и мыслителей, как например Вольфскель и Клагес», Георге упрекал Гофманстала в том, что тот не смог по достоинству оценить их способностей: «Темные страсти одного и резкий равнинный ветер природы другого настолько уникальны и оригинальны, что я не могу даже приблизительно сравнить с ними кого-либо из вашего круга (судя по тому, как себя проявляют те, с кем вы водите компанию)». И коль

скоро зашла речь о «звездочках», вращающихся вокруг Георге, поэт заметил: «Вы невероятно заблуждаетесь, если видите здесь бесчестный обман и ложную возвышенность, о которых вы упоминали, — напротив, все они являются людьми высоких духовных качеств, с которыми вы вполне могли бы найти общий язык, если бы только знали их». Среди этих «звездочек» Георге, в частности, выделил Гундольфа и упомянул его последнее произведение, опубликованное в «Листке». Но Георге не допускал никакой критики со стороны Гофманстала в отношении даже значительно «менее крупных» представителей своего круга. Он вполне допускал, что их сочинения избыточны «слишком вольными цветистыми фразами и чрезмерным поэтическим украшательством». Но Георге по этому поводу заявлял следующее: «Дело в том, что, несмотря на всю неосновательность сочинительства, никто не может обвинить самых незначительных авторов в большей некомпетентности, чем большинство тех, чьи произведения хвалят; мне представляется, что их сочинения здесь и сейчас имеют для нашей культуры и искусства большее значение, чем те тома поэтических и драматических произведений, на которые вы возлагаете свои надежды». Рассмотрев другие, менее серьезные, вопросы, Георге завершил письмо следующей фразой: «Я всегда поверял вам свои мнения и впечатления настолько точно, насколько это возможно, поэтому ничто не будет для вас неожиданным и не поразит вас в беседе». Искренне надеясь на то, что подобная беседа действительно может состояться, он полагал, что «дискуссия в живом диалоге» лучшим образом способствует сглаживанию оставшихся разногласий.

И все же Гофмансталь не мог не понимать, что этой перепиской восстанавливается прежняя система отношений, в которых Георге не гнушался оказывать давление, жестко критиковать, стараясь заманить, а потом, преследуя, заключить в свою ловушку, где Гофмансталь, не в силах освободиться от крепких объятий Георге, будет сокрушен тем чувством, что его принуждают к тому, чего он совершенно не хочет и чего полностью понять не может, и где ему не позволят неуместных суждений и резких контробвинений. Возможно, Гофмансталь и надеялся на то, что их отношения с Георге могут измениться к лучшему, но становилось все более и более очевидно, что Георге — тот же и даже более властный, чем прежде. То ли из-за удручающего претворения в жизнь своего замысла, то ли из-за более сильного чувства беспомощности и духовной опустошенности, что часто мучили его теперь, Гофмансталь ответил на суровые нотации Георге усталой покорностью. Он пребывал, по собственному признанию, «в одном из самых отвратительных и скверных состояний души, в котором, буквально агонизируя, утратил не только возвышенность своих помыслов, но даже ясность суждений». Тогда этого термина еще не существовало, но все признаки физического состояния Гофманстала указывают на клиническую

хроническую депрессию. Как это ни назови, но постигшее его умственное бессилие не позволило противостоять Георге. Кажется, вполне обоснованно Гофмансталь заключил: «Никому не пожелал бы оказаться в таком положении, в каком я сейчас нахожусь». Откровенно говоря, он добавил: если бы не такое множество непреодолимых препятствий, не позволяющих покинуть Вену, возможно, «я завтра же отправился бы к вам, на ту землю, куда еще не ступала моя нога, чтобы хотя немного воспрянуть духом от силы и ясности вашего мышления или — кто знает? — чтобы еще глубже погрузиться в собственное уныние».

Георге совершенно не был возмущен этим двусмысленным замечанием Гофмансталь о том, улучшит или ухудшит встреча с ним и без того пошатнувшееся психическое состояние молодого человека. Казалось, он искренне рад возможности быть полезным и без промедления, с не свойственной ему быстротой, ответил: «Я по себе знаю, что во время самого глубокого уныния нам требуется лишь легкий толчок — и над нами рассеиваются даже грозные облака». Кажется, будто он сделал благородный жест, милостиво предложив помощь тому, кто страдает. Хотя Георге не знал или делал вид, будто не осознает того, что главной причиной расстройства Гофмансталь являлся именно он, все же привязанность и уважение, которые он испытывал к этому молодому поэту, считая его своим другом, говорили о том, что предложение помощи было искренним. В то же самое время он не мог удержаться от того, чтобы в своей обычной манере не присовокупить к словам ободрения упреки. «Полагаю, — сказал доверительно Георге Гофмансталь, — вряд ли хоть одна из тех теней, что витают теперь над вами, пощадила меня. В молодости я был так силен, что вступал в борьбу даже с самыми неблагоприятными обстоятельствами без всякой помощи, позже я, без сомнения, потерпел бы поражение в этой борьбе, если бы не чувствовал поддержку членов «Кольца». Это — одно из самых ценных знаний, что я вынес из своего опыта, и моя тайна! Имя тому, от чего вы страдаете сильнее всего, — неприкаянность». В сущности, предлагая таким образом утешение, Георге в действительности совершал последнюю попытку привлечь Гофмансталь на свою сторону. «Неприкаянность», которую он выявил у Гофмансталь, тот мог восполнить, отказавшись от своего независимого изолированного существования и примкнув к братству «Кольца».

Но частично именно из-за отчаянных попыток избежать этого и избавиться от железной хватки Георге Гофмансталь поддался страху, подорвавшему его здоровье, и оказался в плачевном положении. Маловероятно, что он выбрал бы в качестве лекарства именно то, что сделало его больным. В неясных и уклончивых выражениях — в стиле, который Гофмансталь довел до совершенства за долгие годы переписки с Георге, — в августе того же года Гофмансталь ответил ему в письме: «Я предпочел бы вы-

ражать глубинные и таинственные явления, о которых повествуют ваши письма, в образах, а не, как в данный момент, словами. Слово „неприкаянность“ оставалось со мной в самые тяжелые часы; возможно, что время от времени я мог ощущать тайную силу „Кольца“, о которой Вы говорили».

В действительности, Гофмансталь был как никогда далек от мысли присоединиться к «звездочкам», вращающимся вокруг Георге, словно вокруг Солнца. Более того, в этот период начали происходить существенные перемены в их общении: в письмах друг к другу они перестали расточать искренние уверения взаимного уважения, встречавшиеся раньше в каждом письме, теперь они все более сосредоточивались на обсуждении внешних вопросов, относящихся исключительно к работе. Содержание писем этого периода немного напоминает переписку двух бывших любовников, огонь страсти между которыми уже угас, но ни один не желает или не имеет силы духа сказать об этом обстоятельстве первым. Оба неуверенно планировали встречи, которые всякий раз в последнюю минуту отменялись. Георге опять заявил во всеуслышание, что собирается приступить к идее, осуществление которой уже долгое время откладывалось, — изданию обширного ежегодника, но Гофмансталь не поддался и на эту уловку. И в течение почти всего 1903 года они находились в жаркой дискуссии по поводу поэтического сборника Гофмансталя, который должен был выйти в Берлине у издателя Георге Бонди, — книги, которую Гофмансталь, по собственному утверждению, изначально не хотел издавать, но в конце концов, хотя и без особого желания, согласился. В следующем году ситуация начала ухудшаться, события разворачивались драматически. Гофмансталь сделал в своем письме весьма не лестные и даже намеренно провокационные замечания об авторах «Листка», назвав, в частности, один из опусов Гундольфа «заурядным». Георге ответил в той же манере, набросившись на посвященную ему пьесу Гофмансталя «Спасенная Венеция». Георге заявил: «Эта пьеса — скверное подражание Шекспиру... два ваших главных героя меня не убеждают, а сюжет драмы просто невозможен», — и язвительно добавил, что вполне уверен в том, что талант Гофмансталя, «вне всякого сомнения, производит глубокое впечатление на тех людей, перед которыми исполняется».

Два последних письма из их переписки отчетливо дают понять, что они настолько отделились, что уже просто не в состоянии друг друга понять. В декабре 1905 года Гофмансталь нарушил затянувшееся молчание своим письмом, в котором предлагал Георге присоединиться к «сорока-пятидесяти абсолютно неизвестным в стране именам» и подписать открытое письмо, осуждающее саму возможность Англо-Германской войны, ужасающая перспектива которой развернулась неожиданно летом того года вследствие Марокканского кризиса. Активисты намеревались связаться с группой английских интеллектуалов, которые, как предполагалось, долж-

ны сделать то же самое, а затем данные воззвания будут напечатаны в газетах этих стран, «поскольку, — пояснял Гофмансталь, — газеты будут почище пороховых бочек». Ответ, который Георге так и не отправил, был бескомпромиссен, как всегда: «Если это письмо не исходит от человека, чью разумность я высоко ценю, то я предпочитаю считать его всего лишь шуткой». Подобные попытки повлиять на мир он считал бессмысленными, грубо осуществленными и напрасными. К тому же Георге вовсе не полагал, что война между двумя этими нациями обязательно будет дурным делом. «Война является всего лишь нежелательным последствием бездуховного стремительного процесса, который имеет место уже долгие годы между этими странами, — сообщил Георге Гофмансталью, — попытки нескольких людей уладить это дело, мне кажется, не возымеют ни малейшего эффекта. И взглянув на это отстраненно: как знать, не желают ли истинные друзья немцев возвращения к Закону о единой Европе, чтобы восстановить национальное достоинство, которое позволит создать новые духовные ценности». Но, прочитав письмо Гофмансталя, Георге пришел к выводу: «Кажется, теперь едва ли осталось хоть что-то, в чем мы друг другу не противоречим».

Конец их общения также связан с подобным недопониманием в другом вопросе. В начале 1906 года, прервав долгое молчание, Гофмансталь написал Георге письмо, в котором жаловался на их общего издателя, отказывающегося уступить права на его собственный поэтический сборник. Он потребовал, чтобы Георге вмешался в это дело и, отстаивая интересы Гофмансталя, донес до издателя мысль, что стихи являются «исключительно авторской собственностью». После этой неудачной попытки достичь желаемого Гофмансталь предупредил, что будет вынужден «потребовать возмещения ущерба» через суд. Он не мог не знать, чем грозит судебное разбирательство в подобном случае, поскольку помнил, как несколько лет назад его друг Леопольд фон Андриан предъявил судебный иск к Кляйну, и хорошо понимал, какой позор навлекает на Георге «обращением в суд». Таким образом, эта затея Гофмансталя с возможным судебным разбирательством казалась хорошо подготовленной акцией и издевательством. Однако в то время Георге не утруждал себя ведением подобных дел. Он привлек к этому делу законника, который действовал от имени Георге, имея соответствующую доверенность, и должен был предъявить в суд встречное исковое заявление. Сам Георге взял формальный, холодный и суровый тон: «В своем письме вы делаете такие заявления, которые исключают мое личное участие в дискуссии». Георге даже не удостоил Гофмансталя упоминанием предмета дискуссии: «Я подробно извещу вас через своего законного представителя относительно того, в чем состоят в данном случае ваши права, а на что вы не имеете абсолютно никаких прав». Смысл этого послания был таков: отныне они никогда не говорят

друг с другом и не переписываются. Наконец, спустя долгие четырнадцать лет, Гофмансталь обрел свободу.

Пока Гундольф сражался за то, чтобы вернуть себе расположение Георге, а Гофмансталь — за то, чтобы избавиться от него, в жизни Георге разворачивалась еще одна драма, которая вскоре превзошла первые две по размаху и накалу страстей. Бесспорно, Георге по-своему любил и Гундольфа, и Гофмансталь, и в каждом из этих случаев его любовь — главным образом из-за тех жестких условий, на которых он ее предлагал, — или не принимали, или отвергали, или не принимали и отвергали одновременно. В конце концов Георге свылся с незротической привязанностью Гундольфа, которая в качестве компенсации, несомненно, сулила массу вознаграждений, в то время как Гофмансталь продемонстрировал полную неспособность быть благодарным или полезным. Георге, дожив до тридцатипятилетия, начал осознавать, что у него никогда не было отношений с тем, кто полностью отвечал бы его чаяниям и желаниям, с тем, кто послушно повиновался бы его указаниям, обладая при этом силой ума и характера, которых Георге требовал от своих ближайших сторонников, с тем, кто был бы одновременно покладистым и темпераментным, с тем, кто в равной степени сочетал бы в себе красоту и внутреннюю силу, утонченность и достоинство. Иначе говоря, он отчаялся обрести человека, которого мог бы назвать своим.

Возможно, Георге не только начал склоняться к мысли, что может на всю жизнь остаться безмерно одиноким и что его романтические желания никогда уже не исполнятся, но и стал думать, что человека, которого он представлял в качестве своего идеала, не существует и, собственно, может не существовать в реальности. Никогда ранее Георге не сталкивался с такой жестокой реальностью, с ее препятствиями и ограниченностью, но и они в свою очередь оказались меньшей препоной, чем стремление их преодолеть. Если в этом мире невозможно найти то, чего он искал, то следует сделать это в другом мире, то есть создать. Если, говоря иначе, реальность не способна удовлетворить его ожиданий, тем хуже для реальности. К тому же, этим методом он пользовался и ранее, в начале своего пути. Но теперь, очевидно, ставки значительно возросли. Полагая, что одна поэзия не может помочь в борьбе с реальностью и победе над ней, Георге пришел к осознанию того, что придется погрузиться в эту реальность и взглянуть на нее открыто и прямо. Как и внушали ему постоянно Вольфскель и другие, теперь он понял, что, чтобы подчинить «жизнь» себе, необходимо столкнуться с нею лоб в лоб, а не пытаться покорно приспособиться к ней. И несмотря на то что Георге старался, казалось, как только мог, ему не удавалось достичь в этом прогресса, который позволил бы обрести то, чего он жаждал сильнее всего. Истинную любовь нельзя обрести ни милостями,

ни принуждением. Покорившись доводам разума, управлявшего всей его жизнью, Георге в итоге решил придерживаться того способа действия, который позволил бы ему достичь желанных результатов. В отсутствие подходящего кандидата, который пожелал бы стать единственным предметом его страсти, Георге сделал серьезнейший шаг и создал идеального спутника, тем самым породив в действительности того самого «своего» возлюбленного. Более того, совершенный возлюбленный становился не только покорным вместилищем самых страстных желаний, но также божеством, перед которым можно преклоняться, высшим существом, превосходство которого над собой Георге мог признать.

В некотором смысле не было ничего странного или слишком оригинального в том, что в поиске совершенной любви Георге этим отчасти отчаянным и отчасти выпреним дерзновением намеревался восполнить несовершенство мироздания. Беатриче Данте, Лауру Петрарки и, что более уместно, ту неизвестную, которой посвящены сонеты Шекспира, в этом смысле Георге взял за образец собственного замысла. И поэтому неслучайно, что в это самое время его увлечение Данте и Шекспиром достигло апогея, что выразилось в том, что в первое десятилетие XX века Георге исключительно плодотворно работал над переводом произведений, принадлежащих гению обоих этих поэтов. Но Георге внес уникальный вклад в известную практику тем, что возвел архетип смерти в безусловный поэтический образец. До сих пор, как сторонникам круга Георге, так и друзьям и последователям поэта, не входившим в его сообщество, Георге представлялся явлением, превосходящим просто человека, чем-то вроде поэта-пророка, волхва, стоящего у истока новой эры, заря которой уже забрезжила, или духовного посредника между измененной реальностью буржуазной культуры XIX века и высшим порядком неземного мира, который еще предстояло открыть. По сути, это описание приводит в своей книге о Георге Клагес, который стремился сосредоточить внимание не на личности поэта, а, скорее, на его стихах. Но другим, как например Вольфскелю, представлялось, что это дело носило персональный характер. В июле 1902 года Вольфскель в свойственном ему порыве чувств воскликнул: «Но вы, друг Учитель, — вождь Нового Человечества». Для многих людей, включая самого Георге, не было ни малейшего сомнения в сущности или подлинности его призвания. Что ему действительно было нужно и чего он до сих пор не мог найти, так это того, кто олицетворял бы собой, буквально воплотил бы образ «Нового Человека», которого, как полагалось, должен был повести за собой Георге. Удивительно это или нет, но этот Человек, в конце концов появившись, в действительности оказался совсем не зрелым мужчиной, но мальчиком, который был объявлен богом.

При первом приближении избранник вовсе не казался подходящим для того высокого служения претендентом. Рожденный 14 апреля 1888 го-

да Максимилиан Кронбергер был сыном богатого пивовара, который благодаря коммерческому успеху своего предприятия имел возможность отойти в 1900 году от активного участия в бизнесе и, обосновавшись в Мюнхене, вести свободную и комфортную жизнь. В марте 1902 года Георге, никогда не прекращавший поисков свежей крови, на краю Швабинга заметил Максимилиана, которому тогда не исполнилось и четырнадцати лет, и сразу же искренне заинтересовался этим юношей. Позже сам Георге сообщал, что несколько дней ходил за мальчиком «очарованный его прелестью, прежде чем осмелился заговорить с ним». (Между прочим, это был излюбленный прием Георге, которым он каждый раз пользовался, когда следил за тем, кого хотел привлечь. Десятилетие спустя, прямо перед войной, на улицах Берлина он заметил юношу и отправил своих помощников собрать информацию о нем. Помощники следили за ничего не подозревавшим пареньком неделями, иногда в течение нескольких часов кряду, пытаясь тайком вызнать его имя, какого он поведения и где жил, кем были его друзья и так далее. Иногда Георге сопровождал их в этой разведывательной миссии, и вместе они наблюдали за мальчиком издали. Однако по какой-то причине Георге не предпринимал дальнейших действий. «Никогда, — сообщал один из помощников Георге в то время, — он не заговаривал с ним или не приближался к нему».)

С Гером Кронбергером Георге не был настолько застенчив. Однажды, когда Максимилиан и его сестра Иоганна стояли у своего дома, к ним неожиданно подошел неизвестный человек и, не представившись, попросил разрешения сфотографировать мальчика, заявив, что находит его голову «крайне любопытной». Понятно, что Максимилиан был весьма смущен, но от растерянности согласился на предложение незнакомца. На следующий день они в сопровождении Иоганны направились к фотографу, который сделал снимок — один из экземпляров фотопортрета был обещан мальчику. По дороге домой провожающий тайно пытался выяснить, имеют ли Максимилиан «определенные склонности и стремления». Полагая, что взрослый спрашивал о его занятиях, юноша стыдливо скрыл, что пишет стихи, и вместо этого притворился, что интересуется естественной историей. И только когда Максимилиан осмелился спросить, как зовут их нового знакомого, то узнал, что его имя — Стефан Георге.

До конца года он больше не видел Георге и не получал никакой весточки от него. Заметив как-то имя поэта на обложке книги Клагеса в одной из мюнхенских книжных лавок, Максимилиан попросил своего отца купить его трактат, однако вынужден был сознаться, что, как и большинство прочитавших эту книгу, «не смог взять в толк ни единой страницы». Вскоре тем не менее Максимилиан почти позабыл об этом происшествии с Георге. Но вот Георге не забыл. Внешний облик Максимилиана Кронбергера удовлетворял большинству требований, которые Георге обычно

предъявлял к наружности своих потенциальных фаворитов. Его отец Альфред Кронбергер имел еврейское происхождение, но был обращен в католицизм, вступив в брак с Кристиной Бух. И, несмотря на то что остальные члены семьи были белокурыми и светлокожими, волосы Максимилиана были темно-коричневыми, почти черными, а его кожа — такого желто-коричневого цвета оливы, что даже румянец смущения, которым слишком часто покрываются щеки светлокожих юношей, оставался незаметным на его лице. С полными губами, миндалевидными глазами и волевой выступающей челюстью он, казалось, имел в своей внешности экзотические, слегка восточные черты. Для своего возраста он выглядел необыкновенно зрело, и даже голос у него стал ломаться раньше, чем у других его сверстников. Тогда Георге еще не знал, но, скорее всего, предполагал, что Максимилиан с ранних лет выказывал интерес к поэзии и литературе, открывая в своих письмах и дневниковых записях, что по собственной инициативе прочел величайшие произведения литературы Средневековья, написанные средневерхненемецким языком, Гёте и «Поэтику» Аристотеля. Его отличали не только эта не вполне типичная для четырнадцатилетнего подростка живость ума и любознательность, но и увлеченность темами, близкими всем тонко чувствующим юношам, как то: быстротечность жизни, ужас смерти и ее тайна, бытие Бога и так далее, а также искусное владение формальными стихотворными конструкциями в сочиненных им стихах.

В середине января 1903 года, когда Георге приехал в Мюнхен, чтобы провести там зиму, как-то после полудня прогуливаясь вместе с Вольфскелем по городским улочкам, они столкнулись с Максимилианом, который возвращался из школы домой. «Я был очень рад», — сообщал мальчик в своих записках. Они условились встретиться — на следующий день Георге привел его в дом к Вольфскелю и показал фотографию, сделанную прошлой весной. И вскоре Максимилиан начал регулярно навещать Георге. Вместе они часто совершали долгие прогулки, во время которых вели возвышенные разговоры, и однажды старший из приятелей выразил желание, чтобы мальчик написал несколько строк для графологического анализа. И хотя Максимилиан все еще скрывал свои упражнения в стихосложении, но представил на суд Георге одно из собственных стихотворений, не назвав имени его автора. При следующей встрече Георге сделал лукавое лицо и, с подозрением глядя на Макса, изрек: «То, что ты дал мне, написано тобой». Поскольку мальчик счел это замечание вопросом, то ответил: «Да». Георге сказал, что нашел стихотворение «весьма недурственным», и поинтересовался, есть ли у него еще стихотворения, и, если есть, можно ли на них взглянуть. Максимилиан принес небольшую подборку своих сочинений, которые никому никогда прежде не показывал в таком количестве, — Георге пришел в еще больший восторг, признав многие «очень хоро-

шими». Для них обоих это было важное событие. Как сказал Максимилиан: «С этих пор началась моя новая жизнь».

В начале февраля Георге отметил вступление в эту «новую жизнь» тем, что в качестве подарка преподнес Максимилиану «Век Гёте» — третий и последний том антологии немецкой поэзии, который он редактировал вместе с Вольфскем, пообещав мальчику подарить два других — на его первое причастие. Георге вручил ему также собственное стихотворение, которое через несколько лет в слегка измененном виде вошло в сборник, посвященный Максимилиану. Однако содержание этого стихотворения таково, что своими аллегориями пытается скорее внушить чувство покинутости, вызванное прежним другом сердца Георге, нежели поздравить нового знакомого.

Покинутый Учителем и день и ночь он пребывал в печали
На той горе, откуда вознесся в небеса его Господь.
«Молил о знаке я, но втуне — Ты молчишь,
И впредь услышу ль голос Твой, смогу ли
Я целовать Твои стопы и край Твоих одежд?
И преданного всей душой Тебе в отчаянье покинешь?»
Тут странник подошел и молвил: «О брат мой, говори!
Такая мука на челе твоём горит,
Что буду сам страдать, пока ее я не утешу».
«Все утешения напрасны, оставь меня — ничтожен ты!
Ищу Владыку своего, что обо мне забыл!»
Исчез тот странник. И на колени пав,
Вскричал покинутый небесным светом,
От века пребывающий таким, — постиг,
Что ослепленный болью, боясь спугнуть надежду,
Не смог узнать Учителя, что был здесь и ушел.

Только Гундольф мог знать, кого символизировал стенающий ученик. Но факт, что Георге решил передать это стихотворение молодому Кронбергеру, проливает свет на то, какой представлялась эта ситуация автору стихотворения. Кроме очевидных параллелей, которые можно провести между сюжетом с безымянным «Господом» и явлением воскресшего Христа своим апостолам по дороге в Эммаус, в стихотворении вина за страдание ученика возлагается целиком на него самого. Возможно, этим стихотворением в завуалированной форме Георге предостерегает своего нового ученика: прими своего «Владыку» — и постигнешь блаженство; не сможешь узнать Его — и станешь, подобно несчастному ученику из стихотворения, причиной собственных неизбежных страданий.

Максимилиан был умным мальчиком, но, возможно, он не извлек урока из этого стихотворения. Как бы то ни было, существовало множество иных вещей, которые отвлекали его внимание от темных сторон личности

Георге. В 1903 году, когда деятельность Космического круга находилась в своем расцвете, Макса пригласили на шумное празднование, которое в феврале Вольфскель устраивал в собственном доме. В Карнавале участвовало около семидесяти человек, мужчины и женщины были одеты в яркие костюмы различных греческих и римских героев: Георге — в костюме Цезаря, Вольфскель — Диониса, на карнавале присутствовали также Персефона и Ника, а другие участники нарядились в костюмы гермафродитов и гетер. Франциска цу Ревентлов, посетившая Карнавал, описала его в своем романе. Автор, от лица которого ведется повествование в этом произведении, сообщает: «Сложно описать этот пир, поскольку для меня он был неразличимым смешением людей, костюмов, музыки, шума, отдельных эпизодических событий и разговоров, происходивших на нем, и так далее». Возможно, самым поразительным событием было появление Шулера: облаченный в длинное темное одеяние, в парике, берете и самодельной маске, он изображал Великую Мать, которая покровительствует духам и повелевает всем. Вовсе не случайно, что ритуалы, связанные с культом Великой Матери в античности, пользовались особенной популярностью в Древнем Риме во II—III столетиях, или в период правления Гелиогабала. Задуманная как ритуал очищения и инициации церемония изначально подразумевала принесение в жертву бычка или барашка, прикрепленного к доске с отверстиями, накрывающей яму, в которой стоял неофит, таким образом омываемый льющей сверху кровью убитого животного. Во времена Гелиогабала культ Великой Матери также включал в себя проводимые в честь цезаря оргиастические действия и церемонии, ритуалы кастрации, магические обряды и даже, как говорят, детские жертвоприношения.

Разумеется, в доме Вольфскеля ни одного ребенка нож не касался, но посетивший его Максимилиан Кронбергер сказал, что был «поражен». На этом торжестве все участники были сфотографированы в своих праздничных одеяниях, и Георге подарил Максимилиану свой снимок в образе императора Древнего Рима, который мальчик вставил в рамку и повесил у себя в комнате. Вообще фотографии играли в жизни Георге важную роль — ему нравилось обмениваться ими со своими друзьями словно подарками или сувенирами. У него было несколько одиночных и групповых фотографий некоторых друзей, изображенных в типичных позах в камерной обстановке. Все фотографии, сделанные на празднике у Вольфскеля, были тщательно срежиссированы, но, что важно, ни одна из них не сохранила важнейшего элемента Космического круга — права изображать на карнавальном празднестве наготу.

Еще в конце XIX века начали распространяться слухи о том, что в 1899 году в доме Лепсиуса, когда Георге декламировал стихи из своего сборника «Ковер жизни», эту огромную книгу перед ним держали «два прекрасных обнаженных отрока». Сабина Лепсиус сдержанно смеялась

над подобными рассказами, и даже не раз, но другие предлагали убедительные подтверждения того, что эти слухи были не столь уж безосновательны. Незадолго до празднования 1903 года Вольфскель пригласил к себе Родерика Хух, который из-за своей «опрометчивости» вскоре впал в немилость Космического круга. Кто-то, как намекал Хух, или Клагес, или сам Вольфскель, наблюдал за ним, пока он плавал, и заметил его красивое, пропорциональное тело. Георге был незамедлительно извещен об этом — и Хуха срочно вызвали к Вольфскелю. Неожиданно дверь в комнату, где стоял Хух, распахнулась. Георге подошел к нему и, нарушив молчание, которым обычно сопровождалось его присутствие, приказал: «Снимите одежду!» Изумленный, но не сломленный, Хух ответил: «Нет». Не привыкший к открытому неподчинению, Георге развернулся на своих каблуках и исчез из комнаты, а Вольфскель, заикаясь, на гессенском диалекте проговорил: «Роди, как ты мог, как ты посмел только подумать, что Учитель!..» Хух стоял на своем и не собирался раздеваться. Через несколько дней его вновь вызвали к Вольфскелям. Он обнаружил там Учителя, который показал на стол и с большим достоинством сказал: «Здесь кое-что для вас!» Это было письмо от Гундольфа, которому Георге позволил поддерживать переписку со своим другом Хухом. Но Георге запретил Вольфскелю когда-либо приглашать этого человека к себе.

Максимилиан Кронбергер, казалось, был более податливым и удовлетворял ожиданиям Георге. Кроме фотографии, что была сделана, когда Георге впервые встретил Максимилиана, у него были и другие. На одной из этих фотографий, часть которой Георге использовал впоследствии в качестве фронтисписа для книги, посвященной Максимилиану, тот изображен в положении в три четверти и с лавровым венком на голове, его шея и плечи обнажены, а в левой руке — деревянный посох. На другой фотографии изображены Георге, Вольфскель и Гундольф, которые сидели или лежали после ужина вокруг стола в одеяниях наподобие тог и в лавровых венках. На фотографии над ними висит портрет Максимилиана (увеличенная версия его фотографии), сидящего в той же позе, вполоборота, и держащего посох в левой руке, — однако это изображение обрезано по бокам так, что модель демонстрирует свои обнаженные руки, спину и ягодицы.

Разумеется, фотографии обнаженных молодых людей обладали особенной притягательностью для Георге, но, учитывая атмосферу, царившую в Швабинге, в частности в Космическом круге, нагота и вызов, который она бросала буржуазным представлениям о пристойном, приобретали еще более важное значение. Если верить этим сообщениям, то на некоторых праздниках Георге и сам был обнаженным. Георг Фукс описывает, как однажды на празднике он увидел Георге «почти нагим» — тот стоял наверху лестницы, из одежды на нем был лишь «венок из плюща», и раскачивал

фаллическим тирсом, отдавшись буйству Диониса. В одном горячем споре Георге и Шулера, который отрицал эффективность поэзии в изменении мира, поэт спросил, что же тот может предложить взамен. Шулер парировал, сказав, что Георге должен выйти обнаженным на рыночную площадь, что, по убеждению Шулера, произвело бы эффект разорвавшейся бомбы, породило бы революционное движение и «стало бы началом глобальных изменений». Георге, должно быть, пожал плечами и ответил, что пребывание в психиатрической лечебнице не соответствует его призванию.

Франциска цу Ревентлов, о внебрачных связях которой шла дурная слава (у нее был незаконнорожденный ребенок, а также романы с Клагесом, Вольфскелем и многими другими), в автобиографическом романе затрагивала тему ритуального обнажения. В одном из пассажей этого произведения некто из его персонажей предлагает организовать «оргию, панэротическую оргию». Когда некто выразил удивление относительно этого предложения, данный персонаж возразил: «Но почему бы и нет? Разве нам не полагается устраивать оргии на наших празднествах, как это делали римляне и греки?» Революционное значение швабингской концепции наготы возросло, поскольку она предполагала также некую педагогическую функцию. В одной из своих неопубликованных рукописей графиня Ревентлов резко критиковала традиционное «так называемое хорошее воспитание путем внушения допотопных моральных принципов и взглядов». Она утверждала, что, пронизанная лицемерием и страхом, эта ханжеская мораль особенно омерзительна в связи с тем, что «скрывала и замалчивала все касающиеся сексуальности вопросы». Наиболее коварной, полагала Ревентлов, была попытка установления универсального «табу на обнажение». Она писала: «Мы, однако, считаем, что нагота в целом, и в жизни, и в искусстве, не только не является чем-то вроде „греха“, но, скорее, представляет собой позитивную образовательную основу, имеющую огромное воспитательное значение». Таким образом, Ревентлов утверждала, что, в отличие от ограниченного ханжеского, открытое эстетическое воспитание направлено на физическое совершенствование, что оно должно привести «к здоровому наслаждению прекрасным в природе или искусстве, вне зависимости от того, имеет ли место обнажение, и к здоровому отказу от всего того, что не является подлинно прекрасным». В итоге, новая педагогика, основанная на свободном отношении к человеческому телу, каким оно является без всяких прикрас, гласит, что «поведение ребенка должно определяться не „моральным“, а исключительно возникающим у него эстетическим чувством».

Возможно, Георге также отчасти считал, что его отношения с достигшим половой зрелости Максимилианом в некотором смысле вносят вклад в эту революционную педагогику. Но в силу своей и природной, и вынужденной замкнутости он предпочитал скрывать эти отношения и так тща-

тельно пытался представить общение с мальчиком в благообразном свете, что почти противоречил сам себе. Например, в 1919 году, спустя долгое время после того как описываемые события превратились в легенду, он сжег все «личные» письма, относящиеся к переписке с Космическим кругом и с Максимилианом. И, пока они общались, Георге постоянно тонко напоминал Максу об их долге перед его родителями, настаивая на том, чтобы тот хорошо учился в школе. Георге прилагал также усилия к тому, чтобы почаще вести долгие разговоры с его матерью и отцом, с которыми он познакомился вскоре после первой встречи с Максимилианом и которые несколько раз любезно приглашали Георге отобедать в их доме. Кроме того, Георге был вовсе не прочь настроить юношу определенным образом и, по своему обыкновению взяв с ним, как и с другими своими спутниками, покровительственный тон, принялся наставлять его относительно приемлемого в обществе поведения, правила которого, впрочем, не слишком отличаются от тех, что можно наблюдать в буржуазной среде. Так, когда в апреле 1903 года Максимилиана навестили родственники из Вены, он предложил им нанести визит знаменитому поэту, почтившему его своей дружбой, однако не потрудился предупредить об этом самого Георге. К великому удивлению мальчика, Георге выразил резкое недовольство этим неожиданным посещением и холодно заметил, что «все знают его как человека, который никогда не принимает у себя людей, не представленных ему, и что в будущем ему (Максу) не следует приводить кого-либо в его дом». Через неделю Георге опять дал волю своему раздражению — в этот раз из-за того, что Максимилиан пропустил назначенную встречу. Георге сказал, что специально ради Макса отменил встречу с другом и что «ни он сам, ни его друзья не привыкли к тому, что ими пренебрегают, пусть даже в мелочах». «Если о встрече условились, — снисходительно поучал его Георге, — то является дурным тоном отменять ее за два часа до назначенного времени». Очевидно, Георге полагал, что антибуржуазность вовсе не означает отсутствие хороших манер.

Несмотря на все попытки Георге четко придерживаться определенных социальных установлений и не допускать ни малейших сомнений относительно его мотивов, нетрудно представить, что родители Максимилиана с меньшей радостью взирали на эти отношения. Кроме всего прочего, уже сама разница в возрасте между Георге и Максимилианом у кого угодно могла вызвать вполне определенные подозрения. К середине 1903 года Георге было тридцать пять лет, а Максимилиану исполнилось только пятнадцать. В одном из писем своим двоюродным братьям и сестрам Максимилиан признался: «Мои родители предпочли бы, чтобы я не встречался так часто с Георге (а я бываю у него только по воскресеньям)». Он не уточнил причину, по которой его родителей так тревожили эти отношения, но догадаться о ней нетрудно. Несколькими месяцами ранее Георге с подчеркнутым

той серьезностью спросил: «Как ты полагаешь, Макс, существует ли дружба, более возвышенная, чем любовь?» Понимал он, что в действительности Георге имеет в виду, или нет, но ответил утвердительно. И если бы он сообщил об этом случае своим родителям, то, очевидно, дал бы им тем самым еще один повод для беспокойства.

В начале 1904 года произошел инцидент, который заставил Максимилиана задуматься над тем, были ли правы его родители на этот счет. На этот раз, пропустив воскресный визит и надлежащим образом не предупредив об этом Георге, Макс легкомысленно объяснил свое отсутствие тем, что в школе много задали на дом, но добавил: «Я в вашем полном распоряжении на этой неделе». 29 января, в пятницу, он отправился навестить Георге, но тот продержал его в ожидании необычайно долгое время, хотя находился в соседней комнате. Намереваясь преподать урок, каково это — когда тебя заставляют ждать, Георге наконец появился и, взяв руку мальчика, долго смотрел на него. Максимилиан спросил, как идут его дела, однако ответа не последовало. Когда же Георге в конце концов заговорил, то начал «со все большим неистовством» распекать мальчика, называя объяснение Макса, что тот не явился из-за отсутствия времени, «дурацким оправданием», и с особым жаром выругал фразу Макса, будто он в «полном распоряжении» Георге. Георге настаивал на том, что только *он сам* мог говорить подобное Максимилиану, но не наоборот. Мальчик считал, что все это лишь общие фразы, а Георге попросту не понял его. Максимилиан сообщил, что происходило далее: «Тогда он повернулся ко мне, у него было такое выражение лица, будто я совершил бог весть какое преступление и стал грозить мне пальцем». Затем Георге сел за письменный стол и стал изображать, будто пишет письмо, повторяя вслух то, что писал: «Если у меня нет времени, то есть нет желания приходить, когда у него есть время, значит у него нет ни времени, ни желания получить меня... Он закончил словами „Приходи, когда пожелаешь“». Такое странное поведение было «уже слишком» для Максимилиана, который совершенно не ожидал подобной отповеди. Сказав на прощанье «адью», Максимилиан протянул Георге руку, но тот ее не принял. Тогда Максимилиан резко отдернул руку, развернулся и ушел. «Я обо всем рассказал родителям, — сообщал он своему кузену Оскару, — и ни в коем случае не допущу того, чтобы повторно оказаться в такой ситуации, — скорее всего, никогда больше к нему не пойду».

Уже лишившись Клагеса и Шулера и всякой надежды восстановить отношения с Гофмансталем, Георге осознал, что не может позволить себе потерять еще и Максимилиана Кронбергера. Вскоре после размолвки Георге поспешил поправить положение тем, что нанес визит отцу мальчика и извинился за свое неподобающее поведение, намеками объяснив его «семейными неурядицами». Не менее примечательно и то, что когда Георге

вновь встретил Макса, то «прочитал целую тираду о своем несправедливом поведении» — и таким образом, они воссоединились друг с другом. 8 февраля Максимилиан сообщил: «Все более или менее вернулось на круги своя», — а от этой сцены остался лишь «неприятный осадок». В действительности, он и Георге стали теперь более близки. А через неделю состоялся очередной маскарад, на этот раз в доме Генри Гейзелера, который был русским подданным немецкого происхождения, жившим в это время в Мюнхене и искавшим встречи с главными представителями Космического круга. И хотя их не было на этом вечере, торжество в доме Гейзелера прошло значительно спокойнее, чем празднества прошлых лет. Георге нарядился Данте, Вольфскель соответственно — слепым поэтом Гомером, еще кто-то — Вергилием, а Максимилиан появился в costume благородного флорентийского юноши. Он был одет почти во все красное — его ноги в красных чулках по колено закрывала туника из красного шелка, на голове был венок из красных гвоздик, а в руке он держал красную свечу; и только опоясывающий его талию ремень был серебряным. В конце того месяца Максимилиан заявил, что отныне будет писать, как Георге, то есть «даже в стихотворениях» обойдется без заглавных букв и традиционных знаков препинания. В конце марта он стал называть Георге «мой Мейстер» и сочинял стихи, которые должны были заставить учащенно биться сердце его Учителя. В одном из стихотворений есть строки, гласящие: «Зачем не даешь мне руками обвить твою шею?»; другое имеет примечательное название «Смерть и возлюбленная». За исключением нескольких незначительных недочетов, Максимилиан стал очень славным.

Но затем случилось нечто невообразимое и ужасное. Навещая своих кузенов в Вене, Максимилиан внезапно заболел менингитом. 10 апреля 1904 года его в состоянии комы доставили домой в Мюнхен. В 3:30 утра 15 апреля, на следующий день после своего шестнадцатилетия, он тихо, не приходя в сознание, отошел. Гундольф получил известие о болезни Максимилиана за день до его смерти и, опасаясь худшего, поспешил в Бинген к Георге. Узнав о смерти мальчика, они неделю провели в уединении вне города. Но для Георге ничто в мире не могло остаться прежним.





Глава двадцать третья

МАКСИМИН

Только когда потрясение, вызванное скоропостижной смертью Максимилиана Кронбергера, сменилось немой скорбью, Георге смог подумать о том, что произошло. Трудно было понять, что случилось действительно нечто из ряда вон выходящее — во всяком случае, разбитое сердце уж точно не относилось к тому, чего Георге еще не изведал. Разумеется, боль, вызванная внезапной гибелью такого многообещающего молодого человека, чьи красоту и нежность Георге утратил навсегда, была безмерна. Однако со смертью и безвозвратной утратой он сталкивался и прежде. Парадоксально, но в некотором смысле они оставались неизменными константами жизни, большую часть которой Георге провел в безуспешном поиске друга сердца и возлюбленного, способного или жаждущего воплотить все его надежды. Казалось, внезапная смерть Макса, очевидно, ужасная сама по себе, была лишь еще одной горестью в бесконечной череде страданий, словно бы по кругу следующих за короткими моментами радости, обрываемой сокрушительной утратой.

Казалось, даже ближайшие друзья Георге не сразу поняли, что произошло нечто большее, чем только ужасное личное горе. Чуть позже некоторые из них стали замечать, что у Георге появилось много седых волос и его интерес к шумным празднествам, воплощавшим сам дух Швабинга, казалось, уже не тот, что был прежде. Но никто и не предполагал, насколько глубоким оказалось его потрясение от утраты друга. В конце апреля Гундольф, возможно, слишком жаждущий того, чтобы тоска Георге по Макс

притупилась и отошла на задний план, написал Георге в письме: «Уповаю на то, что вскоре вы придете в себя и в мае вернетесь к работе», — и добавил весьма наивную фразу надежды, что Георге «не слишком «одиноко в его отчаянии». Но, как в мае Георге сообщил Ханне, жене Вольфскеля, он был все еще далек от того, чтобы вернуться к нормальной жизни. «Все это время я был совершенно не способен ни работать, ни принимать какие бы то ни было решения, — поведал Георге. — Мои физические силы понемногу восстанавливаются — каждую неделю мой дух открывает новый круг страданий, отличаясь от прежнего только порождаемыми страданием образами». Через месяц Сабина Лепсиус пригласила Георге составить ей и ее мужу Рейнгольду компанию в поездке в Лондон, но Георге сказал, что не может быть сейчас для них хорошей компанией. «Общение со мной сейчас не принесет вам ни малейшей радости [...] Я скорблю о немислимой и преждевременной смерти, которая, кажется, чуть не ввергла меня в зияющую пропасть». Поскольку Георге умолчал о том, кого и каким образом потерял, выражаясь в своей обычной краткой манере (как написала Сабина Лепсиус в своих воспоминаниях, «в форме, свойственной только Георге»), то Лепсиусы не задумались о том серьезнейшем значении, которое придавал Георге этому событию. «Я перечитывала его письмо снова и снова, — признавалась Сабина, — но странным образом не могла понять всю скрытую за сдержанными выражениями муку, которая обрушилась на нашего друга». Оглядываясь в прошлое Фрау Лепсиус удивлялась тому, что тогда ей не удалось увидеть силу впечатления, произведенного этой смертью на Георге — он сказал ей слишком мало, чтобы она могла о чем-либо догадаться. Как Сабина потом вполне резонно заметила, в то время она не имела ни малейшего представления об «этой чудовищной кончине, ужасной не только для Георге, но и для всего мира».

Даже предположив, что смерть Максимилиана Кронбергера ошеломила самого Георге, все же трудно представить, что она значительным образом повлияла на весь мир. Тем не менее уже летом того же года, когда погиб мальчик, появились признаки того, что Георге думал или хотел думать, что Макс был не просто подростком, обладающим средним дарованием. Отказавшись от совместной поездки с Лепсиусами в Англию, в начале июня Георге отправился в Голландию, чтобы навестить старого друга Альберта Вервей. Поведав своему голландскому приятелю печальные новости, он стал декламировать некоторые стихи мальчика. Вервей знал, что Георге подарил Максимилиану свое стихотворение, вдохновленное библейским сюжетом явления Христа своим ученикам по дороге в Эммаус и предупреждающее Макса о бедствиях, которые влечет за собой предательство. «Я нашел, что это стихотворение уступает тем, что он писал прежде, — искренне отметил Вервей, — и боялся, что, стремясь придать обычным явлениям мистическое значение, он может принять за истину свои

собственные образы и фантазии. Кроме того, с моей точки зрения, он декламировал это стихотворение с большим чувством, чем требовалось». Несмотря на то что замечание Вервея не отличается совершенной ясностью, и его вполне достаточно. Он полагал, что Георге, как все истинные символисты, включая самого Вервея, пытался, в сущности, упразднить реальность, заменив ее собственными представлениями о ней. Вервей имел в виду, что сам никогда не забывал о том, что между создаваемым образом и внешним миром есть непреодолимая граница, и начинал подозревать, что Георге утратил способность различать то и другое. Это впечатление Вервея только усилилось, когда Георге поведал ему о тех неприятностях, которые в Мюнхене ему доставили Шулер и Клагес. «Что действительно задевало Георге, — вспоминал Вервей, — так это упреки в том, что собственную личность он ставил на самое главное место. Он был глубоко убежден, что через него действует высшая сила».

Георге действительно верил в то, что является орудием превосходящей его силы, и со временем это его убеждение только крепло. Как известно, он вполне разделял точку зрения, что существуют некие тайные или мистические силы, управляющие и видимым, и невидимым миром. Подобным же образом себя он считал уникальным существом, возвышающимся над остальным, по большей части весьма посредственным, человечеством. Однако до сих пор чувство собственной исключительности в общем смысле было связано только с его литературным призванием и произведениями, со сторонниками и друзьями, а также ограничивалось сферой окружающей культуры. Но смерть Максимилиана Кронбергера определила дальнейшую жизнь, в результате чего Георге вошел в новую ее фазу, а его самовосприятие изменилось так, что превосходило теперь его прежние относительно умеренные амбиции — умеренные относительно тех, по сути, высочайших притязаний, на которые вскоре Георге посягнул.

Вскоре после смерти Макса, в том же году, у Георге возник замысел издать книгу, которой можно почтить его память. К апрелю 1905 года он завершил рукопись, которую затем, как обычно, послал Лехтеру, чтобы тот сделал к ней иллюстрации. Эта книга должна была стать необычной еще и по другим причинам. «Все это время я блуждаю в тени этого Мертвеца, — поведал он Лехтеру. — С тех пор я не написал ничего серьезного. Возможно, когда книга будет закончена, мои дела пойдут лучше и я вновь смогу писать!» Итак, книга должна была стать памятником, эпитафией, восхваляющей «Мертвеца», но также ритуальным очищением, катарсисом, которые избавили бы Георге от сковывающего уныния, не отпускавшего его все это время. Но, как оказалось, книга стала своего рода выражением нового кредо Георге и воплощением его новой системы взглядов и смелых замыслов. Благодаря Лехтеру за сочувствие и понимание в трудный период своей жизни, последовавший за этой кончиной, Георге также намекал

на все то, что ему довелось пережить. «Мой дорогой друг, в это скорбное время именно вы смогли утешить меня своим пониманием и искренне прониклись моим горем — на то, что стало для меня чем-то сверхчувственным, толпа взирает в лучшем случае с подозрением».

Полное объяснение того, что Георге имел в виду, употребляя это сухое, звучащее почто академически слово «сверхчувственный», последовало вовсе не в связи с посвященной Максимилиану книгой, а во введении к его переводам сонетов Шекспира, которые он опубликовал только через пять лет, в 1909 году. Здесь Георге с презрением отвергал любые спекуляции относительно того, кому могли быть посвящены сонеты Шекспира, и осуждал неподобающее любопытство охотников докопаться до того, кто же был настоящим адресатом посвящений поэта, а именно «с преклонением перед красотой и пылким желанием бессмертия». Если некто все-таки настаивал на том, что знает биографию поэта и, соответственно, того, кто явился вдохновителем его стихов, Георге заявлял вызывающе и гневно, что «в наши дни» все «открыто» соглашается с тем, что «во всех отношениях, цикл сонетов пронизан чувством пылкой привязанности поэта к его другу». Вполне сознавая, что подобные заявления, граничащие с признанием гомозротических наклонностей Шекспира, определенный круг читателей найдет оскорбительными, Георге продолжал настаивать, что не требуется даже объяснять, подтверждать или одобрять этот факт — скорее, «следует принять его даже в том случае, если кто-то не понимает этого, равно как и оскверняет осуждением или попытками оправдать то, что один из Величайших Смертных считал благом». Усиливая в дальнейшем саркастические нападки на ценности и убеждения века, Георге не считал своих современников способными иметь какое-либо мнение по этому поводу. «Материалистическая и рационалистическая эра не имеет никакого права высказываться по этому предмету, поскольку не располагает ни малейшим представлением о творящей мир силе Сверхполовой Любви».

Какими бы определениями мы ни пользовались — «сверхъестественный», «сверхчувственный», «сверхполовой», — смысл заключается в том, считал Георге, что «любовь», которую Шекспир выражал в своих стихотворениях, а он сам испытывал по отношению к Максимилиану, не была и не могла быть чем-то заурядным. Мы уже имеем вполне приемлемое представление о том, что в понимании Георге означает любовь, поскольку располагаем сведениями о его отношениях с Гофмансталем и Гундольфом, как и о его связях со многими другими молодыми людьми. Но в своих отношениях с Максимилианом или, скорее, тем, что стало неким эфирным, запредельным воплощением мальчика, Георге достиг совершенно нового уровня. Поскольку «Максимин», как Георге его окрестил (даже после смерти никто не мог избежать самовольного притязания Георге на право вмешиваться в важнейшие устои личности), был первым объектом привя-

занности, с которым ему удалось соединиться полностью, первым человеком, чье бытие он полностью поглотил своим, тем первым «другим», который принадлежал ему без остатка. Вознесшись в идеальную сферу, не подвластную времени, Максимилиан оставался в памяти Георге вечно молодым, и, поскольку поэт не мог вернуть мальчика к жизни, тот навсегда стал единственным и абсолютным владением Георге. В одном из стихотворений, включенных в посвященную Максимино книгу, с красноречивым названием «Слияние» поэт открыто заявляет: «Я сына своего создаье». Любящий и любимый становятся единым целым в «самых потаенных узах» — как дальше гласит стихотворение, субъект и объект сливаются не в физическом союзе, но, что более соответствовало воззрениям Георге, в неких всеохватных духовных объятиях. То, чего Георге никак не мог прежде достичь в реальности, он наконец обрел в том мире, который предпочитал безусловно: «В грезах ты и я рождаем неразрывный образ». Слово «греза» в данном случае является абстракцией, обобщением, обозначающим нематериальный и непостижимый мир, который Георге всегда отождествлял с подлинной поэзией, именно здесь, в этом вечном и неизменном пределе, Георге мог вечно хранить верность Максимино.

Несмотря на то что стихотворение пропитано таинственностью, его содержание кажется вполне понятным. И поскольку мы видели и другие подобные примеры, даже страстное стремление Георге не просто слиться, но в действительности поглотить своего идеализированного возлюбленного и раствориться в нем не представляет собой ничего удивительного. Гораздо сложнее принять и даже понять явно слишком смелые заявления поэта о божественности Максимино. Георге долгое время считал самого себя кем-то вроде священнослужителя в миру. В таком случае ему не хватало только Бога. С появлением в его жизни Максимино все изменилось. В самом первом стихотворении посвященного Максимино поэтического цикла читаем:

Тому — дитя ты, а этому — друг.
И только я увидел в тебе Бога,
Пред Кем трепещу,
Пред Кем преклоняюсь.

Здесь, с напускной простотой Георге официально провозгласил основание его личной религии. Несомненно, он хотел, чтобы именно таким образом другие воспринимали это его заявление, и многие действительно так его и восприняли. Один из его последователей впоследствии сухо заметил: «Встреча с Максимином имела религиозное значение для Георге». Фридрих Вольтерс, который заведовал жизнеописанием Георге, также подтверждал это, отчасти прибавляя к словам самого Учителя свои собственные, но он пошел дальше в своих заявлениях. «С его приходом, — писал Воль-

терс, имея в виду Максимиана, — впервые начало оформляться и набирать силу новое понимание мира, которое вынашивал Георге и которое для людей облек в поэтическое слово». В свойственных ему высокопарных выражениях Вольтерс поставил Максимиана в один ряд с Иисусом Христом. «То, что он замкнул круг, явившись вновь спустя двадцать столетий во плоти земного сына и с облеченным в плоть учителем, которые исполнены божественной любви, самим любящим Богом в человеке, есть подлинное чудо, что несет на себе Его имя и благословляет все земное бытие». Утверждение столь же дерзкое, сколь и богохульное. Спустя две тысячи лет от рождества Христова, как хочет нас уверить Вольтерс, Бог решил вновь явиться людям в образе человека и воплотился в Максимилиане Кронбергере, иначе Максимине. Очевидно, Георге полагал, что если уж это произошло однажды, то может и повториться. Поскольку Георге представлял, что его бытие полностью слилось с бытием его Бога, а Максимиан был, как поэт сказал, «сына своего создание», то наиболее смелым шагом являлось обожествление Максимиана, предполагавшее также равное обожествление самого Георге.

Таким образом Вольтерс лишь с некоторым преувеличением в прозаической форме выразил то, о чем Георге прежде возвестил в своей поэзии. Язык, который использует Георге в прославляющих Максимиана стихотворениях, даже для самого поэта необычно перенасыщен религиозными образами и метафорами, пропитан христианскими мотивами богоявления, осознанного самопожертвования, воскресения и обещания вечной жизни. В одном из этих стихотворений читаем, что произошло «величайшее чудо»: явление нового бога подобно повторному сотворению мира, он освящает воздух, которым дышит, и благословляет землю, по которой ступает. С его пришествием вся Земля, прежде казавшаяся холодной и безжизненной, вновь наполняется биением «святого сердца». В другом стихотворении вновь появляется образ ангела, к которому Георге впервые обращался в сборнике «Ковер жизни». Ангел говорит поэту: «Ты избран к тому, чтоб узреть новую землю». Перед поэтом раскинулись новые дали, поля, покрытые травами и цветами — фиалками и любимыми Георге розами, — и в теплом воздухе колышутся огоньки и раздается радостная песнь ангела. И поэт, стоя в центре этого райского сада, получает с поцелуем ангела божественное благословение: «Его уста твои жгут поцелуем — ты на святой Земле — спускайся на колени и молись!»

Когда смерть отняла Максимиана, первым желанием Георге было отдать свою жизнь за него — в отчаянии он бросается наземь, в траву. Но ему был голос, который уговаривал: «Встань с земли и исцелись от скорби! О чуде этом людям возвести. И час свой ожидай среди живущих». Однако мир, оставленный Максимианом «внизу», казалось, оживленный его появлением, начинает с его уходом все больше тускнеть и постепенно ли-

шается жизни. Вместо ликующей ангельской песни «только скорбь раздастся из леса». Куда бы ни взглянул поэт, повсюду видит «затхлый воздух, дни унылы». Постепенно, по мере того как поэт избавляется от немоты своего горя, он приходит к принятию веления ангела возвестить о том «чуде», что явилось ему. Получив новые силы от этой миссии, он призывает своих сторонников: «О, поднимите головы свои, поскольку вы нашли спасенье — Господь явился и ступил в ваш дом». Поэт велит им «доле не скорбеть, поскольку Он избрал вас»: «Внемлите зову бога и от господних уст примите поцелуй». Благоговение перед Максиминим привело к тому, что Георге сделал исключение даже для своих современников, которых прежде резко критиковал: «Хвала вашему городу, породившему бога! Хвала вашему веку, когда жил господь!»

Далее следуют несколько стихотворений, объясняющих «жизнь и смерть Максимиана», за ними следуют три так называемые «Молитвы» и уже упомянутое «Слияние», в которых поэт празднует мистическое единство, в котором сливается со своим богом. Последнее стихотворение этого цикла называется «Отрешение» («Entrückung»). Это слово в английском языке сочетает значения перехода в иное состояние и мечтательности, причем подразумевается блаженное, почти запредельное состояние экстатической, полубессознательной отрешенности. Это воздушное произведение, равное по изобразительной силе прозрачным ноктюграмм молодого Шёнберга или Штрауса, остается в памяти надолго. Поэт, обуреваемый эмоциями, вызванными неожиданной встречей с Максиминим и последующим тяжелым ударом, нанесенным его утратой, входит в подобное трансовому состояние, позволяющее заглянуть за границу, разделяющую жизнь и смерть, в действительности не переступая через нее. Вглядываясь в неозаренную мглу, поэт созерцает образы тех людей и тех мест в прошлом, которые растворились во времени и пространстве. Но четче и яснее всего он ощущает то, что стало неким каналом высшей силы, которую воплощает его божество. Оценивая исключительно художественный эффект, который производит это стихотворение, можно утверждать, что оно, несомненно, является одним из самых мрачных и подавляющих произведений Георге:

Иного мира ветер дышит на меня.
Из мрака черного бледнеют лица,
Взирая на меня все с той же дружбой.

Деревья и тропинки, что любил я, исчезают —
Едва ли я узнаю их теперь. И лишь светла
Твоя, Любимый, тень — моей печали знак.

Она растает без остатка в огне горячем.
И, возносясь над пылом и бореньем,
Наполнит душу трепетом священным.

Я растворяюсь в звуках, которые кружатся в пляске,
Исполненный безмерной благодати и хвалы,
Я отдаюсь безвольно высшему дыханью.

.....
Чувствую, как воспарил я облаком высоко...

Плыву я в море, что сияет как хрусталь,
Я — только искра из священного огня,
И только гул я голоса святого.

Отныне, как гласит последняя строка, поэту суждено стать орудием силы, превосходящей его самого, и выразителем ее воли. И действительно, он был призван к высокому служению, стал сосудом, вмещающим святую силу, первым слугой бога.

К какому выводу должны мы прийти, основываясь на этом? Кажется, совершенно не имеет смысла задаваться вопросом о том, действительно ли Георге считал, что Максимилиан Кронбергер, точнее его поэтический двойник, являлся божеством. Безусловно Максимин занимал в душе Георге то место, которое пустовало слишком долгое время. В качестве порождающего начала и абсолютно творческой силы Максимин сочетает в себе важнейшие черты не только христианского бога, но, что более важно, также самого Георге как поэта в соответствии с его прежним пониманием поэзии. Точнее, безымянная муза в первом стихотворении из «Гимнов», как и обнаженный ангел в «Ковре жизни» явились предвестниками метафор и образов, которые Георге использовал в дальнейшем. Итак, учитывая два этих предшествующих образа, центральной темой и важнейшей проблемой являлась не столько вера в сверхъестественные силы сами по себе, сколько попытка соединить разделенные пропастью незримое царство духа и реальную действительность, что имеет место здесь и сейчас. Максимин, этот воображаемый двойник реального юноши из плоти и крови, впервые выразил то завоевание Георге, при котором тому удалось захватить значительную часть реального мира и овладеть ею в физическом смысле. Иначе говоря, смерть Максимилиана Кронбергера представляла собой необходимое жертвоприношение — таким образом мог жить Максимин. И, казалось, сам факт того, что Максимин продолжал «жить» в той форме, которую для него уготовил Георге, хоть и внутри и для самого Георге, доказывал, что Георге одолел наконец своего старого и непобедимого врага — саму жизнь. Если Максимин являлся богом, то только богом негативной религии, то есть не такой религии, что основана на вечной жизни, а той, что связана с ее устранением, по крайней мере с замещением жизни ее противоположностью.

Не напрямую, но Георге признавал это. В 1911 году, спустя четыре года после публикации «Седьмого кольца», в котором стихотворение, по-

священное Максиминоу, находилось в самой середине книги, Георге как-то обронил в разговоре: «„Альгабал“, по сути, представляет собой то же, что и „Седьмое кольцо“, только в меньшем выражении». Неслучайно поэтому, что именно в «Альгабале» Георге совершает самые дерзкие нападки на природную витальность; эту книгу, которая, кажется, источает почти осязаемый холод, не будь ее страницы так обильно забрызганы теплой кровью, Георге считал близкой по духу тому поэтическому храму, что он возвел для своего бога.

Не является совпадением и то, что в написанном прозой введении к первому изданию «Книги воспоминаний» («Gedenkenbuch») о Максиминоу Георге попытался объяснить всю важность ее выхода, предприняв одну из самых сокрушительных атак на современное общество. Начав введение со слов, которые, как и задумывалось, напоминают первые строки «Ада» Данте, Георге, которому все больше не нравилось использовать в тексте «я», предпочитая ему более величественное «мы», заявил: «Накануне встречи с Максиминоу мы прошли жизнь до середины и теперь все более жаждем узнать, что ждет нас в ближайшем будущем». Причина терзаний определяется расплывчато, но она глубока — в противостоянии «уродливому и слабому человечеству» Георге заявляет, что повсюду напрасно искал приметы «великих деяний» или «великой любви», которые могли бы оправдать существование этих жалких созданий, которыми являются его собратья. Напрасно, поскольку человечество в целом опошлело, стало урядным, банальным и грубым. «Массы создали закон и правила, — писал Георге, — роются грязными руками в куче безделушек, в которой едва ли найдется хоть немного подлинных драгоценностей». Поскольку Георге выражается слишком абстрактно и обще, чтобы можно было конкретно определить объекты критики, то, скорее всего, не будет ошибкой утверждать, что он осуждал почти все подряд. Однако, как он намекал, дело приняло ужасный поворот. Георге утверждал: «Меньшее высокомерие, за которым скрываются растерянное бессилие и нахальный смех, предвещали оскорбление Святыни», — поэтому единственное, что он мог предпринять в данных обстоятельствах, — это решимость. «Мы были достаточно зрелыми, для того чтобы больше не сопротивляться велению судьбы и необходимым жертвам». И все-таки непросто определить, что в точности Георге подразумевал под «необходимыми жертвами», но еще труднее понять, какое «велеие судьбы» он имел в виду. Но вполне точно можно утверждать: Георге пришел к убеждению, что единственным способом исправить явно развращенное человечество было уничтожение самой вредной его части. Тем не менее выяснилось, продолжал Георге, что ситуация в действительности была гораздо хуже, чем изначально представлялась: «Кажется, чумовое поветрие достигло такого размаха, что уже никакие лекарства не помогут, и эта эпидемия может закончиться только гибелью

всей расы». Все-таки устранение внушительной части человечества, каким бы порочным это человечество ни было, — скверное дело; еще хуже, однако, то, что Георге, казалось, приветствовал его.

Не нужно иметь богатое воображение, для того чтобы заметить связь между этой ненавистью Георге по отношению к порочным и бессильным «массам», соединенной с желанием отделить их от малого, но здорового ядра, и его прежним сочувствием анархизму. В этом смысле не только литературные, но также мировоззренческие и политические заявления, на основании которых в 1891 году сформировался «Альгабал», по-прежнему сохраняли для самого Георге свою актуальность. Различие в данном случае заключается в том, что раньше Георге не видел выхода из этого конфликта и впадал в отчаяние, которое чуть его не погубило. Теперь же он получил ответ на свои помыслы в виде молодого прекрасного юноши, который так кстати принес себя в жертву. Замечательно, однако, что описывая Максими́на, в самом начале предисловия Георге делает акцент на его боевых качествах — Максимин ступает «с непоколебимой твердостью молодого фехтовальщика, и вся его фигура выражает абсолютную власть военачальника». В другом произведении Георге превозносил «героическую душу» Максими́на и, сравнивая себя с ним, заявлял: «Мы были войнами-победителями в наступательной войне, он был избран, чтобы править». Подобным же образом в поиске каких-либо исторических параллелей с величием, воплощенным в молодом человеке, Георге приходит на ум в первую очередь Александр Великий, который впервые замыслил «крупнейший поход, изменивший карту нашего континента».

Он явился тем реальным воплощением красоты, молодости и физической силы, тем искушением, которому Георге охотно поддался. Без сомнения, по большей части эта фигура являлась плодом собственного воображения Георге, но то, что он полюбил собственный идеализированный образ, несколько не беспокоило его; напротив, именно по этой причине данный образ становился все более притягательным для него. Поскольку это означало, что Максимин являл собой все то, чем Георге сам всегда хотел стать, а Максимин был его собственным созданием, то в некотором смысле все эти желанные достоинства также имели отношение и к самому Георге и, облеченные в кровь и плоть Максими́на, зависели от него. Замечательно, что Георге, кажется, хорошо знал, что идентифицирует себя с предметом своей страсти и с радостью принимал подобные предположения. «Мы узнали в нем всемогущую юность, о которой грезили, — писал он, — со свойственными ей крепким здоровьем и чистотой, что и теперь еще двигает горы и раздвигает воды до самого дна, — юность, которая приняла бы наше наследие и завоевала бы новые царства». Последнее высказывание является ключевым. В сущности, Георге хотел продлить собственное существование, найти сторонников, которым мог бы передать свои

заветы, которые продолжили бы его работу, когда его самого уже не будет. Обычный, биологический, способ продолжения жизни не привлекал его по различным причинам, но это только обострило проблему преемственности. Стремление преодолеть бездетность, произвести потомство, а также невозможность сделать это исключительно собственными силами обнаруживались в различных формах и ранее. То, что он выдумал черный цветок Альгабала и заигрывал с темами андрогинности и гермафродитизма, а также его неудачные попытки обрести возлюбленного, который претворил бы его намерения в жизнь, так или иначе выражало то самое основное стремление. Теперь в лице Максимиана он, как казалось, нашел и выход, и способ осуществления своих замыслов.

Что действительно интересно в данном случае, так это перемена в его мировоззрении, которую, как утверждал Георге, произвела встреча с Максимином. Уже с тех пор как «этот подлинно Божественный вошел в наш круг», продолжал Георге в своем предисловии, «во всей его деятельности, в нашем мышлении и действиях произошел существенный сдвиг». «Гнетущее настоящее» утратило свою власть над ним, поскольку он вновь открыл для себя внутреннее «спокойствие» и осознал, насколько «ничтожны войны между странами», и увидел, «как все злободневные социальные вопросы растворяются и исчезают в обманчивой темноте, когда из самой вечности искупитель являет себя смертным». Разумеется, сначала смерть Максимиана ввергла его в «отчаяние», вызванное мыслью, что «ему никогда вновь не будет позволено прикоснуться к его рукам или целовать его губы». Но однажды он будто во сне услышал голос покойного, который поведал ему, что «чугунная судьба» предназначила «раннюю смерть высочайшей добродетели». Поэтому Георге решил, что необходимо утереть свои «эгоистичные слезы» и почтить память Максимиана, как подобает богу, кем он и являлся, но «не поклонением ледяному недосыгаемому величию смерти, а ликующим и сверкающим торжеством пиршества, в нарядной одежде и венках из цветов на головах, не в уединении и смиренном отказе от радостей жизни, а улыбками и сияющей красотой».

В начале января 1905 года, спустя почти год после смерти Максимиана Кронбергера, Георге впервые вернулся в Мюнхен. Почтив могилу мальчика, он зашел к его родителям, которые передали ему неопубликованные стихотворения Макса. Он тотчас же послал их Гундольфу вместе с письмом, которое должно было пояснить тому, что он недооценил значение такого феномена, как его Учитель. Гундольф признался, что понял и жест, и свою прежнюю ошибку. «Я опять плачу, — сообщал он Георге, получив от него пакет, — не только из-за вас, дорогой мой, не из-за того, что вы обрели и потеряли, но также из-за себя самого, кто слишком быстро утешился и только теперь осознал, с каким Божественным существом ему

довелось встретиться на своем пути. Мне, кто не заслуживал этого дара судьбы — а теперь уже слишком поздно! — остается только сокрушаться о своей слепоте». Теперь, когда Георге был уверен в том, что Гундольф должным образом оценил произошедшее, он дал Гундольфу указание переписать набело все стихи, которые Георге сочинил после смерти Макса. Кроме того, к ним добавились по нескольку стихотворений самого Максимилиана, стихов Вольфскеля, а также двух второстепенных поэтов — Лотара Трёйге и Оскара Дитриха и, конечно, самого Гундольфа. В апреле, когда Гундольф собрал все стихи вместе и убедился в том, что все в порядке, он исполнительно послал рукопись Лехтеру.

Когда Георге выпустил книгу, посвященную Максимилину, из своих рук и свои мысли, то смог наконец вернуться к другим своим занятиям. Но прежде всего он нуждался в том, чтобы восстановиться после эмоционального напряжения последних нескольких месяцев. В конце июня 1905 года он отправился в Швейцарию, где должен был оставаться до конца лета. Через несколько недель пребывания Георге в Шаффхаузене, где он остановился в доме свояченицы Карла Вольфскеля — Виези де Хаан, к нему присоединились его сестра Анна и чуть позже Сабина Лепсиус со своими двумя детьми. Георге нашел гостиницу, единственную в крохотной деревушке Гаденштет, расположенной в малонаселенном южном кантоне Граубюнден. В конце июля туда прибыл Гундольф со своим братом Эрнстом, которого теперь с юмором называли Гундольфом II, и все вместе они совершали долгие пешие прогулки по Альпам. Сабине Лепсиус, которая прежде опасалась оставаться с Георге в непринужденной обстановке, теперь все представлялось в ином свете. «Когда мы вдвоем с Георге прогуливались по лесной тропинке, я вдруг поняла, как тесно он связан с этой природой, которая вовсе не была безмятежной, — писала она. — Среди косматых пихт и голых скал, вблизи опасных ущелий и бурных рек он казался горным кобальдом — так на холодной, глухой и бесплодной природе, несмотря на все это, цветут синие горечавки».

Даже во время отпуска Георге — он годами нигде не останавливался дольше, чем на пару месяцев или даже недель, а обычно и того меньше — не мог усидеть на месте. «Вместо того чтобы оставаться в одном и том же месте еще 3—4 дня, — писал Георге своему отцу в одной из редко отправляемых открыток, — мы странствуем по округе». На пути в Цюрих он и его спутники пешком преодолели расстояние от Сертига (что неподалеку от Давосского курорта, знаменитый санаторий которого несколькими годами позднее вдохновил Томаса Манна на написание романа «Волшебная гора»), пройдя через Тусис и Валленское озеро. И даже если это Швейцарское путешествие не было тихим и спокойным, то по крайней мере послужило тем развлечением, которое, как оказалось, выполнило главную задачу отпуска. Параллельно с тем как Георге отдалялся от прошлогодней

беды временной дистанцией предпринятое пешее путешествие помогало ему отгородиться от нее еще и пространством. В сентябре, заехав ненадолго в свой дом в Бингене, Георге по обыкновению отбыл в Берлин.

Как известно, Георге никогда не считал прусскую столицу слишком привлекательной, но теперь, казалось, у него появилась причина ценить ее и того меньше. Прошло почти два года, с тех пор как распался Космический круг, но Людвиг Клагес по-прежнему отказывался сдавать позиции. В выпуске «Листка» за 1904 год, который был запланирован еще до их отдаления, Георге напечатал фотографию, представлявшую собой коллективный портрет сотрудничающих с журналом поэтов и его сторонников, включая самого Клагеса. К тому же, Гундольф использовал пару строк из стихотворения Клагеса в качестве эпиграфа к своему собственному. И в обоих случаях никто в журнале не потрудился заручиться разрешением Клагеса; никому просто не пришло в голову, что это нужно сделать. Намекаясь или ударить по карману Георге, или просто поставить его в неудобное положение, или то и другое вместе, Клагес подал иск за нарушение авторских прав. Это обвинение, выдвинутое в суде против Георге, было абсурдным, однако Клагес настаивал на нем с жестокостью и упорством. В апреле 1905 года Георге и Гундольфу из ведомства Генерального прокурора Берлинского суда сообщили о том, что иск против них принят к судебному производству. В ноябре началось судебное разбирательство по этому делу, где Клагес произнес «зажигательную речь», обвинив Георге и Гундольфа «в разглашении тайны Космического круга». Неизвестно, что думал судья о «тайне Космического круга» или об отношениях между участниками суда, однако Клагес выиграл дело о нарушении авторских прав — хотя рассмотрение дела о фотографии отложили, суд постановил, что и Георге, и Гундольф должны выплатить Клагесу по пятьдесят марок. Эти два правонарушителя не доставили удовольствия Клагесу своим появлением в суде, их интересы представлял поверенный Пауль Йонас, который сотрудничал с издателем Георге. Йонас исполнял свои обязанности безупречно и подал апелляцию на решение суда — но в июле 1906 года апелляция была отклонена, и на этом сей курьез завершился.

Как оказалось, слушания по делу, за которое с радостью ухватились берлинские журналисты, или не понимающие, или намеренно искажающие существо спора, принесли неожиданные плоды. Девятнадцатилетний почитатель Георге по имени Эрнст Морвиц, рожденный в Данциге и только что познакомившийся с произведениями поэта, из газетных статей о суде над ним узнал, что Георге живет в Бингене. Письмом — Морвиц написал Георге в августе 1905 года — он заложил основание их дружбы, которая продолжалась до самой смерти Георге, а значит, более четверти века. Морвиц был замкнутым, молчаливым и, в соответствии с собственным именем, серьезным до занудства человеком, Георге, дразня, прозвал

его «моллюском» за его замкнутость и скрытность. Но Георге знал, что может полностью положиться на него и действительно доверялся ему. Морвиц, который впоследствии стал успешным адвокатом в Берлине, являлся главным советником Георге по правовым вопросам на протяжении многих лет. В 1933 году Морвиц в силу своего еврейского происхождения вынужден был иммигрировать в Соединенные Штаты, где продолжил свое дело в качестве преданного защитника наследия Георге. Он посвятил остаток своей долгой жизни тому, чтобы дать подробную, если не громоздкую, интерпретацию каждому произведению Георге; он издал также англоязычные переводы его поэзии, которые были написаны высокопарным слогом, но исполнены благих намерений. В 1971 году, приближаясь к своему восьмидесятичетырехлетию, Эрнст Морвиц вернулся в швейцарский Минусио, где был похоронен его Учитель и где вскоре после своего приезда умер и он сам.

Возможно, ужасные потери прошлого года заставили Георге задуматься о необходимости пополнить ряды своих сторонников, или увеличение их числа было просто совпадением, однако 1905 год оказался лучшим временем для «новой крови». Кроме встречи с Морвицем, этот год принес Георге знакомство с двадцатидвухлетним швабом, говорящим на немецком языке, по имени Роберт Бёрингер, который в то время проживал в Базеле и являлся другом Ханса Оттингера, дальнего родственника Фридриха Гундольфа. В мае Гундольф сообщил Георге, что о Бёрингере говорят, будто он «смышленный и славный, немного рисуется, а большинство базельцев считают его сумасшедшим». Три последних года Бёрингер не занимал себя ничем, кроме чтения поэзии Стефана Георге, часто внутренне проговаривая их или декламируя на публике, так что окружающих стало, как выразился Гундольф, «раздражать» его страстное увлечение. Однажды вечером, когда Бёрингер вернулся домой с прогулки, его брат обронил: «Заходил Стефан Георге». Для самого Роберта это было так, будто ему сказали «к нам заглянул император» или «нас только что навестил господь». Бёрингер утверждал, что это невозможно, и его брат, должно быть, ошибся. Стефан Георге подошел к дому, дернул звонок и посетил какого-то незнакомого двадцатидвухлетнего студента! В действительности он никому не делает визитов! «Он стоял здесь, — спокойно уверял Роберта брат, — и держал в руке пару перчаток».

Несмотря на то, что его отношения с Георге не были такими близкими или безоблачными, как отношения с Морвицем, Бёрингер сыграл даже более значительную роль в деле сохранения памяти о Георге. Именно он стал законным наследником Учителя, получив полный контроль над недвижимостью Георге и его бумагами. Настойчивый, политически безупречный и неколебимо верный, Бёрингер после смерти Георге и особенно после Второй мировой войны считал своей миссией добыть любые сведения о Георге

ге и его друзьях, главным образом их неопубликованных рукописях, дело продвигалось довольно легко благодаря состоянию, которым Роберт владел. До конца своей жизни — а он дожил до глубокой старости, умерев в 1975 году в возрасте более девяноста лет, — Бёрингер безудачно трудился над тем, чтобы интерес публики к Георге не угасал, отредактировал и опубликовал переписку между Георге и некоторыми из самых важных людей в его жизни, включая Гофмансталя и Гундольфа. Кроме того, в 1951 году он издал биографическую книгу о Георге, которую сдержанно озаглавил «Мое видение Стефана Георге» и которая до сих пор остается самым подробным и богатым фактическим исследованием. Он заведовал проектом по созданию архива Георге, который сейчас находится в Штутгарте в государственной библиотеке Баден-Вюртемберга, содержащей самое крупное собрание материалов о жизни и творчестве поэта.

Однако этот труд был продиктован любовью Бёрингера, что еще более важно, поскольку он принял на себя пожизненные обязательства в 1905 году, в самом начале их дружбы, когда ему было только двадцать лет. В том же году, получив от поэта на Рождество томик грандиозного «Ковра жизни», Бёрингер написал Георге, чтобы поблагодарить за этот подарок. «То, что вы считаете меня достойным такого ценного дара, делает меня счастливым и поможет мне в трудную минуту, — писал он Георге, а затем торжественно пообещал: — Пусть это будет девизом следующих лет моей жизни: принадлежать вам, получая свою жизнь от вас, поскольку уж вы пожелали даровать ее мне». В сущности, в качестве ответного подарка Бёрингер преподнес Георге лучшее из того, что мог предложить, — самого себя. Бёрингер сделал также из ряда вон выходящее обещание: «Я готов пожертвовать друзьями и всем тем, что мне дорого, если только вы того потребуете. Я желаю только того, чтобы быть верным вам, как Гундольф». Возможно, удивляет не столько сама клятва, сколько то, что за семь десятилетий Бёрингер ни разу ее не нарушил.

В этот щедрый на знакомства 1905 год круг друзей Георге пополнился еще кое-кем. В начале XIX века плодовитый и эрудированный историк Курт Брейзиг, который преподавал в Берлинском университете, несколько раз по осени принимал у себя Георге, когда находился в столице, и представлял поэта некоторым из своих наиболее одаренных студентов. Один из них, Бертольд Валлентин, познакомился с Георге в доме Брейзига еще в 1902 году — Валлентину, рожденному в 1877 году, было тогда двадцать пять лет, — но они начали встречаться регулярно только после лета 1904 года. Подобно Морвицу и другим друзьям Георге, Валлентин также изучал право, а на протяжении нескольких лет служил судьей в суде провинциального города Шпремберга, вернувшись в родной Берлин только перед самым началом войны, и работал адвокатом. Превосходный латинист, испытывающий особое уважение к позднему периоду древнеримской

культуры, он часто из озорства писал свои судебные решения на правовом латинском языке того времени.

Однако подлинная жизнь Бертольда Валлентина происходила за пределами судебного кабинета. Помимо исполнения своих профессиональных обязанностей, Валлентин также нашел время для того, чтобы написать множество стихов и несколько значительных книг (в 1923 году вышло его огромное исследование о Наполеоне, а в 1931 году он издал монографию о немецком грекофиле Иоганне Иоахиме Винкельмане — обе эти книги были опубликованы с разрешения Георге у его издателя Георга Бонди), и все же ему удавалось при этом вести активную социальную жизнь. Валлентин был крупным мужчиной, слегка расположенным к полноте. Однако он обладал сверхъестественной энергетикой, демонстрируя живость и мощь, которые противоречили его внешности. В отличие от главного охранника круга он наслаждался каждым биением берлинской жизни, и редки были те открытия театрального сезона, художественные выставки и другие важные события культурной жизни, на которых нельзя было бы заметить слоняющуюся в толпе широкую фигуру Валлентина. Не пренебрегал он также и вдохновенным погружением в Берлинский полусвет — здесь он встретил свою будущую жену Диану Рабинович, которая в свою бытность актрисой выступала под сомнительного свойства сценическим именем Фанни Риттер. Будучи совершенным городским жителем по своим манерам и вкусам, Валлентин, как известно, мог внезапно отправиться в долгий поход по деревням, окружающим город. Здоровый, свободный от предрассудков и бодрый бонвиван, Валлентин оттачивал необычный вкус в одежде. Он имел пристрастие к длинным плащам с пелериной и широкополым шляпам, часто щеголял в монокле или в пенсе в черной оправе, которые вкупе с длинными и темными бачками производили впечатление, будто он является пришельцем из какой-то экзотической страны. Когда однажды он посетил одну из лекций Гундольфа, окружающие заметили, что он выглядел скорее как «шейх или султан», чем как прусский государственный служащий. Хотя Валлентина сложно было назвать терпеливым человеком, он тем не менее проявлял ту же преданность к Георге, что Морвиц или Бёрингер, он так же оставался верным сторонником Учителя вплоть до своей преждевременной смерти в марте 1933 года, когда ему было пятьдесят шесть лет.

Фридрих Вольтерс также был студентом Брейзига, близким другом Валлентина, старше того лишь на полгода. В декабре 1905 года Вольтерс написал свое первое письмо Георге, задолго до того как он стал частью узкого круга его друзей, к которому принадлежал впоследствии до конца своей жизни. Как и Валлентин, Фридрих Вольтерс имел плотную фигуру и так же, как его друг, обладал неиссякаемой энергией. И в возрасте пятидесяти лет он оставался заядлым спортсменом, часто играл в бейсбол и был

завязтым пловцом, а когда ему не приходилось идти в том же темпе, что его спутники, которые были старше или физически слабее его, он шагал так размашисто, что мог уйти далеко вперед. Однако Вольтерс в отличие от Валлентина, который легко отдавался земным соблазнам, в гораздо большей степени предназначил себя к служению Стефану Георге. В 1909 году в «Листке» он опубликовал поверхностный и ядовитый очерк «Господство и служение», в котором выразил, по сути, основной принцип всей своей жизни. В этом очерке, озаглавленном «Господство и служение», Вольтерс представил проект существования «Духовной империи», которую возглавляет абсолютный правитель — «Фюрер», который пользуется безусловным почитанием и повиновением своих подчиненных. В течение следующих двух десятилетий Вольтерс пытался воплотить то, что рисовал в своем воображении, объединяя все свои таланты, надежды и невероятную энергию, для того чтобы объяснить миру феномен Георге и упрочить его значение. Вольтерс, возможно, был самым воинственным из последователей Георге, самым радикальным в отношении национального долга и был больше других заинтересован в политическом насаждении их общей идеологии. Именно Вольтерс впервые употребил заимствованное у Платона слово «государство» в качестве обозначения группы людей, собравшихся вокруг Георге. И также именно благодаря усилиям Вольтерса с течением времени границы, отделявшие «Духовную империю» Георге от реального мира, казалось, становились все более и более проницаемыми. В 1930 году, незадолго до своей преждевременной смерти, вызванной сердечным приступом, Вольтерс завершил посвященный обширному исследованию биографии Георге труд, который считал вершиной своей деятельности и подзаголовок которого гласил, что автор труда представляет читателю «Историю немецкого духа с 1890 года». В том же самом году Национал-социалистическая партия впервые одержала значительную победу на выборах. Высказываясь об этом совпадении, Георге записал: «Семя, брошенное Вольтерсом, дало всходы». Несмотря на то что он относился к этому, скорее, с неприятием — Георге никогда не разделял ограниченного национализма Вольтерса, — это свидетельствует о том, что Георге знал или мог знать, что между деятельностью политической партии и его последователями есть определенная связь.

Смерть Максимиана Кронбергера, как собственно и противостояние с Космическим кругом, и осознание того, что Гофмансталь никогда уже не станет ни союзником, ни тем более близким другом, в котором так остро нуждался Георге или которого так сильно желал, — все это косвенным образом послужило толчком к тому, что он направил свои усилия в другое русло. После всех этих серьезных поражений Георге удалось собрать возле себя группу людей, составивших впоследствии ядро и оплот его круга. В будущем, разумеется, будут и новые последователи и их отречения, и

их изгнания или замены, и, конечно, кроме всех этих перетасовок, ужасные потери в связи с войной. Но с этих пор, невзирая на все попытки новых членов укрепить свои позиции рядом с Учителем или заслужить его непостоянное расположение, на арене Георге всегда оставались три главных игрока — Вольфскель, Гундольф и Вольтерс. И на протяжении последующих тридцати лет именно с этими фигурами публика связывала таинственное и все более разрастающееся сообщество, известное как круг Георге.





Глава двадцать четвертая

«СЕДЬМОЕ КОЛЬЦО»

На протяжении 1904 года казалось, что бедам и несчастьям не будет конца. В своих письмах Гундольф, возможно слишком драматизируя события, называл этот год «злосчастливым» («das Unheilsjahr»). Без преувеличения, иногда казалось, будто удача отвернулась от них. И, как будто они испытали мало горя, возникла целая вереница несчастий: летом того года сестра Вольфскеля Маргарет фон Пройшен серьезно заболела и умерла; дочери и жена Вольфскеля подхватили тяжелую лихорадку, которая, как они и опасались, оказалась тифом; Мельхиор Лехтер, проводя отпуск на побережье итальянского острова Эльба, слег с инфекционной формой артрита, который грозил ему полным параличом. В этой череде несчастий, болезней и смертей Вольфскель видел не просто случайные совпадения, а чье-то преднамеренное вмешательство. Он все больше укреплялся в подозрении, что эта цепь непрерывных бедствий является частью зловещего замысла, за которым стояли, в частности, Клагес и Шулер. Гундольф, который отличался уравновешенностью, пытался разубедить Вольфскеля и отговорить от этой «одержимости» по просьбе его жены. Гундольф считал безумием верить в то, что или Клагес, или Шулер обладают такой силой, как и верить во все бредовые идеи Космического круга, «будто эти пылкие идеологи когда-либо смогли совершить такие деяния, будто эти озлобленные противники обладали всемогуществом, назови его хоть Космосом, хоть Молохом, и могли обратить против нас послушную им волю судьбы». Но Вольфскеля было не так уж легко убедить. Только проведя весь август

под наблюдением и уходом доктора Оскара Конштамма, своего старого школьного приятеля, у которого была психиатрическая лечебница в Кёнигштайне, что за пределами округа Франкфурт, Вольфскель начал постепенно менять свое мнение. В конце августа Гундольф рассказал Георге о том, что видел «Карла» и счастлив сообщить, что их друг выздоравливает. «Надеюсь, это улучшение продолжится», — предположил Гундольф без всяких на то оснований, особенно в отношении «веры в магию».

Спустя год все, включая выздоровление Вольфскеля, казалось, пошло на лад. (Тем не менее, чтобы обезопасить себя, Вольфскель продолжал носить в кармане заряженный револьвер вплоть до инцидента в начале 1906 года.) Поэтому в сентябре 1905 года не только с искренним удовольствием, но и с немалым облегчением Гундольф мог сказать Вольфскелю о новых членах круга Георге. «Учитель, — Георге теперь редко писал письма собственноручно, а предпочитал диктовать их Гундольфу или какому-либо другому писцу, ставя своей рукой только подпись, — больше не желает скрывать от вас хорошие новости о том, что в последнее время ощущает некое движение и постоянно получает письма, посылки и так далее — с таким печатным материалом после затянувшегося простоя нам есть на что надеяться в грядущем году». Нет ни малейшего сомнения в том, что по указаниям Георге, предпочитающего в письмах высказываться в более общем смысле, обычно многословный Гундольф особо отметил только одного человека, не упомянув при этом его имени, а сказав, что Георге «радостно принял известие о том, что молодой Поэт, который приходится ему далеким родственником», не так давно появился на литературном поприще.

Речь шла о Саладине Шмитте, троюродном кузене Георге по материнской линии. Шмитт учился в Боннском университете, где писал диссертацию о немецком драматурге XIX века Фридрихе Хеббеле. Но глубоко неудовлетворенный академическим подходом к истории литературы и литературной критике, он обратился к Георге за тем, чего боннские профессора ему не давали или, возможно, не могли дать. В своем первом письме к Георге Шмитт привел несколько строк из стихотворения собственного сочинения и наивно спросил: «Учитель, это можно назвать поэзией?» — намереваясь узнать, соответствуют ли его литературные способности желанию стать профессиональным писателем. Георге в расплывчатых выражениях похвалил «высокий слог» стихотворения и попытался воодушевить Шмитта, послав ему собственные стихи и даже пригласив навестить его в Бингене. В это время Георге действительно опубликовал несколько стихотворений Шмитта в «Листке», и тот несколько лет наслаждался дружбой Учителя. В знак признательности Шмитт впоследствии оказал ему любезность, представив своему университетскому другу Эрнсту Бертраму.

Но Саладин Шмитт был только одним из многих среди таких одаренных и подающих надежды молодых людей, как Морвиц, Валлентин, Бёрингер и Вольтерс, число которых рядом с привлекающим их Георге постоянно росло. После тяжелого периода, связанного с событиями в Мюнхене, Георге с полным основанием мог наконец убедиться в том, что дела действительно стали налаживаться. Вполне понятно, что в смысле поэтического творчества это был непродуктивный период в его жизни. Но оказалось, что и в личной жизни он надолго замолчал, не объяснив причин этого. Некоторые из его старых друзей жаловались на то, что он стал еще менее откровенным, чем прежде, и ничего о себе не рассказывал. Так, Сабина Лепсиус, чувствуя холодок в отношениях между ними — предвестник скорого окончательного разрыва, — настойчиво просила Георге рассказать о жизни, о его занятиях и мыслях, сетуя, что он отворачивается от нее, чего она не заслуживает. В апреле 1905 года он ответил ей письмом, которое, как подразумевалось, должно было объяснить его холодность, — но он не выполнил ее просьбы, ничего о себе не сообщил и предупредил, что впредь ей следует ожидать и того меньше. Заносчиво заявив, что только что вернулся «к себе», то есть в Бинген, «после скитаний по неверным дорогам», Георге перешел к следующему вопросу. «Почему я должен докладывать всем своим друзьям о тех страшных безднах, что сопровождали мои странствия? — спрашивал он. — И особенно о самых ужасных из них, когда мои друзья ничего не могут поделать и только держатся беспомощно на почтительной дистанции... Существует ли хоть что-нибудь еще, что могло бы спасти от всего этого ужаса и отчаяния, кроме того чтобы скрыть их от всех? Я не могу продолжать жить, не обособившись полностью от внешнего мира. Никто и не ведает, за что я сражаюсь, о чем страдаю и скорблю. Но все, что я делаю, — только для моих друзей. Видеть меня так, как видят они, — величайшая боль в их жизни. Поэтому ради них я борюсь и страдаю молча. Я постоянно приближаюсь к последнему пределу, и отдаю все, на что я способен... даже если никто об этом не догадывается».

Несмотря на все возражения Георге, это его высказывание является, пожалуй, самым содержательным — оно дает нам представление о той явной и детальной проработке им собственного образа, которой у нас не было. Как известно, он всегда был более чем расположен к тому, чтобы принимать — или утверждать, — что занимает уникальное место среди всех смертных. Здесь, однако, в его выражениях о собственном своеобразии он демонстрирует небывалый размах, добавляя к своему портрету новые черты, изображая себя таким стойким, смиренно и мужественно жертвующим собой ради других. Допустим, причины, по которым он не хотел рассказывать о своем горе, кажутся более чем обоснованными (в сущности, и в своих печалях, и в своих радостях мы остаемся одиноки-

ми, и большее, что могут сделать окружающие, — быть сочувственными свидетелями наших переживаний, но никоим образом не «разделить» их, тем более утешить нас), но высший смысл этого пассажа заключается все-таки в чем-то ином. Поскольку это отношение вовсе не обязательно разделяют в художественной среде, Георге подразумевал, что его положение имеет отношение к тому, что превосходит поэзию как таковую. Скрытый смысл заключается в том, что не только его творчество, но и все его существование отдано тому бескорыстному деянию, которое он покорно совершает во благо своих друзей, состоящее, как он говорит, не столько в том, что он совершил, сколько в их неведении о том, каких усилий стоила ему эта жертва. Это ни в коей мере уже не тот язык, которым говорит поэт, обращаясь к своим собратьям-поэтам. То, что эти выражения отдаленно напоминают слова Иисуса Христа о его страдании во имя нашего спасения, вполне очевидно и, вне всяких сомнений, неслучайно. Но со стороны Георге это вовсе не было притворством. Он всегда был абсолютно убежден в том, что способен дать окружающим нечто бесценное, с той лишь разницей, что теперь источником этого бесценного дара выступала уже не его поэзия, но сама его личность.

В связи с тем как изменилось восприятие Георге самого себя и своей роли, кажется вполне естественным, что он сосредоточил свое внимание на том, чтобы приобрести новых «друзей» и возобновить прежние знакомства. Труднее понять, почему эти люди так легко соглашались с открытыми заявлениями Георге о его квазимессианстве. И тем не менее они поддерживали его в этом, и каждый из них пытался превзойти другого в определении того, в чем заключается уникальная судьба Георге.

Мы помним о том, что до начала 1904 года Гундольфу не удавалось вернуть благорасположение Георге, и вскоре он опять принялся уверять Учителя: «Каждый день я все яснее сознаю, что вы являетесь единственной скрепой моего мира — пока в нем все стремительно меняется, вас одного не колышет бурный поток жизни». Но Гундольф был далеко не единственным, кто уверял Георге в подобном. В ноябре 1904 года, после трехлетнего отсутствия, напомнил о себе английский композитор Сирил Скотт. Каким-то образом Скотт выяснил, куда дует ветер, и написал Георге подобострастное письмо, в котором просил: «Примите меня вновь в ваше царствие небесное, — подчеркивая, — вы — величайший человек из всех, кого мне довелось встречать». И, очевидно, посчитав, что этого недостаточно, Скотт добавил: «Вы — самый благородный, великий и замечательный не только Художник, но и Человек».

Тем не менее не желая, чтобы его неправильно поняли, Скотт осторожно задал Георге вопрос, который прежде послужил разрыву отношений между ними. Он надеялся на то, что Георге согласится с ним в том, что «платонический восторг и любовь являются самой прекрасной вещью, ко-

тору только может разделить одно существо с другим». Здесь следует вспомнить, что эти слова исходят от того, кто однажды причислил очевидную гомосексуальность Георге к «отклонениям друга». Но Скотт поспешил заверить Георге в том, что убежден в «мимолетности чувств, которые способны вызвать женщины», а тот род привязанности, о котором размышляет Скотт, «находится несравненно выше на шкале человеческих эмоций». «Я начинаю, — заявлял он, — все более и более склоняться к высказанной Малларме мысли о том, что „дружба одного великого мужчины стоит любви десяти женщин“».

Георге подкупило это письмо или им двигало любопытство, однако он согласился на встречу со Скоттом. Англичанин сохранил в памяти яркие воспоминания об этой встрече. «Стоял холодный зимний вечер, когда меня допустили в святая святых, кабинет Георге, где мне пришлось его ждать, и я начал заметно нервничать к тому времени, как мы встретились. И когда он наконец появился, вместо того чтобы выйти в центр комнаты, где я стоял, он, с перекошенным лицом, медленно опустился в кресло в отдаленном углу комнаты и стал загадочно смотреть на меня. Поскольку он подчеркнуто не протянул руки, лишив меня тем самым возможности поприветствовать его обычным образом, мне оставалось только выразить свою благодарность за то, что он так добр и согласился принять меня». Немного придя в себя после этого странного приема, Скотт попытался завести разговор о том, как прошедшие годы изменили их обоих. «Георге, — вспоминал Скотт, — показал на широкую седую прядь, которая появилась в его львиной гриве, и сказал, что обязан этим тяжелой утрате, которую пришлось испытать в Мюнхене». Учитель слегка смягчился только после того, как Скотт упомянул о привезенных с собой английских переводах его поэзии. Георге, найдя переводы недурственными — он не знал, что их выполнил сам Скотт, — спросил, кто является переводчиком. Когда Скотт сжался и стал, запинаясь, бормотать что-то о том, что прежде чем открыть имя автора, должен сначала получить его разрешение, Георге шаловливо хлопнул его по щеке и воскликнул: «Негодник, ты перевел их сам!» И когда лед между ними был сломан, их отношения возобновились с новой силой. И время от времени вплоть до начала войны продолжались их встречи.

Занимающийся поиском «друзей» и оправившийся от различных «тяжелых утрат» Георге вовсе не проводил свои дни в праздности. В начале 1904 года вышел седьмой выпуск «Листка за искусство» — тот самый, с несколькими строчками из стихотворения Клагеса и его фотографией, публикация которых привела к судебному разбирательству. И хотя работа над выпуском началась задолго до того, как произошел разрыв между членами Космического круга, она уже сопровождалась осложнением отно-

шений внутри сообщества. В отличие от предыдущего, шестого, выпуска журнала в седьмом — вернулись к обычному ранее предисловию, предваряющему поэтические произведения, которое содержало воинственные максимы. Одна из них, сформулированная, кажется, весьма прозрачным, то есть понятным для посвященных, образом, свидетельствует о разногласиях, имевших место в Швабинге. В плане содержания она практически повторяет ту записку с завуалированным предостережением, которую в 1901 году Георге оставил на рабочем столе Вольфскеля и в которой говорилось: Вольфскелю не следует путать нечто действительно ценное — самого Георге и то, что он собой представляет, — с дешевой подделкой. Озаглавленная «Выдумщики высшей первопричины» (в оригинале Георге использовал непере译имое немецкое слово «Urgunswärmer»), эта максима предупреждала читателей «не подменять жреца — факиром, Пророка — гадалеком, а духов — их призраками». Другая максима нацелена на явное желание представителей Космического круга использовать искусство для продвижения своего замысла по возрождению язычества. Иронично названная «Всего лишь искусство», она высмеивает склонность оценивать искусство по внешним критериям, а следовательно, отказывать искусству в той свободе, которая обычно признается за любой деятельностью человека, а именно «стать совершенным в самом себе». В еще одной максиме подчеркивается различие между искусством северной и южной Европы, которое объясняется различием «в душах» представителей этих типов искусства. «Северный творец имеет душу буржуа, которая окрепла в лоне протестантизма, а южный художник — аристократическую и героическую душу в лоне католицизма», — писал Георге. Клагес, который был одновременно и северянином, и протестантом, мог легко узнать себя в этом совершенно нелестном описании, поскольку именно он являлся целью этих язвительных, хотя и не вполне испепеляющих замечаний, как и в максиме, согласно которой «теоретизирующие эстеты всегда остаются варварами».

Однако, как демонстрирует последняя максима, те, кто подвергался нападкам Георге, следовали тем же образцам. В Германии и немецкой культуре образовалось центральное ядро, «масса» — в более высокой оценке «сентиментальная буржуазия». Максима же представляет собой попытку защитить круг и поддержать его сторонников, сплотившихся вокруг авторитетного учителя, от нападков извне. В одной из максим, которая описывает исключительно сложные отношения между «художником и его временем», утверждается, будто эти отношения, что неудивительно, складываются наилучшим образом, когда творец бескомпромиссно отрицает современную ему культуру и занимает позицию «интеллектуальной и талантливой личности», «совершенно отстраненной от широкой публики». Здесь также косвенно затрагивается вопрос позиции круга и утверждается

открыто, хотя и спорным образом, что «всякая решительная идея, всякий призыв к свободе всегда исходят от тайных кружков и объединений». Это уже далеко не первый раз, когда слово «тайный» употребляется в связи с группой единомышленников, сложившейся вокруг Георге, но в этом случае впервые данное прилагательное имеет положительную коннотацию. В ноябре 1903 года был сформирован — опубликованный, однако, уже в 1904 году — каталог, который содержал список всех напечатанных в «Листке за искусство» произведений. Этот каталог открывался вступительной статьей, где утверждалось: «Рабочая группа „Листка за искусство“, которая ошибочно воспринимается как тайное общество, является всего лишь свободным сообществом художников и людей искусства». Не утруждая себя точным описанием «сообщества „Листка за искусство“», его члены, считают их всех вместе некоей формальной ассоциацией или всего лишь свободной группой поэтов-единомышленников, решили, что «тайная» организация — это не всегда обязательно плохо.

Тем не менее члены «Листка за искусство» желали, чтобы о них действительно думали не только как о тайном сообществе, но и как об определенной группе, которая находится в оппозиции общепринятой культуре и представляет собой, совершенно очевидно, некий высший тип культуры. В одной из максимум во вступительной статье — «Героопочитание (Култ личности)» — круг с присущей ему иерархической структурой, единством и четко определенными целями противопоставляется аморфным и случайным сообществам разобщенных людей, которые члены круга Георге ассоциировали с современной им культурой. Обращаясь к древней, героической эре, когда возводили статуи не только правителям или военачальникам, но и победоносным спортсменам, это положение высокомерно гласит: «Как высоко возвышается та эра над нашим злобным и эгоистичным веком, который находит предосудительным то, что приверженцы в почтении склоняются перед своим учителем». Опять-таки в свете этой нехарактерной для стиля «Листка за искусство» риторики трудно утверждать однозначно, каковы были действительные цели этого пылкого заявления. Ясно одно: круг, состоящий из единственного «учителя» и почитающих его последователей, все более выступает не как братство творцов, но, скорее, как некая жизнеспособная и высшая форма социального порядка в отличие беспорядочного и суетливого современного порядка.

Это был решительный шаг: сформулировав и выразив идею круга как не более, но и не менее, чем группы поэтов, казалось, Георге и его сторонники готовились сделать прыжок в глубокие и бурные воды культурной и политической деятельности. Они частенько забавлялись мыслью решительного возврата в прошлое — эта мысль всегда содержалась в подтексте критики, которую «Листок» обрушивал на современную немецкую культу-

ру, равно как и участвовавшие любовные столкновения с реальностью становились явной целью собственной поэзии Георге. Однако смысл заключался в том, что прежде Георге и «Листок» предлагали чуть более чем негативную программу, даже когда разрабатывали вопросы, по большей части касающиеся поэзии и искусства. Теперь же они, казалось, впервые сформулировали конкретную, осуществимую программу, которая была связана не только с некоей узкой задачей создания нового способа творить в искусстве, но и, что более амбициозно, с задачей нового способа существования в мире.

Возможно, более точным выражением было бы — способа существования против мира. В последней максиме предисловия в «Листке», рассматривающей близкие роли — «Художник и война», — демонстрируется более зрелая форма того двойственного отношения к ненавистному миру, которое всегда было принципом деятельности «Листка» и неизменным свойством характера самого Георге. «Никогда прежде массы не заправляли так, как сегодня, — гласит данная максима, — и никогда прежде деяния личности не были столь напрасны. Несомненно, можно представить такие времена и обстоятельства, когда Художник считал своим долгом взяться за меч и вступить в бой, — но он стоит над схваткой, над волнениями мирского государства и общества как страж вечного огня». Выражая некоторые действительные намерения и, что гораздо менее полезно, рисуя некоторую стратегию действий, это утверждение, кроме того что является смутным, настолько внутренне противоречиво, что теряет всякий смысл. Поскольку миром, как кажется утверждается, управляют уже не сильные героические вожди, а безликая масса, берущая числом и грубыми инстинктивными действиями, любое «деяние», которое совершает действующая в одиночку личность, заведомо обречено, как и то, что некто, желая остановить дуновение ветра, вытягивает против него свою руку. Этот аргумент кажется завуалированным призывом к работе в коллективе, в «круге» союзников, которые вместе могут осуществить то, что не в состоянии выполнить один борец. Тогда-то и сможет личность, восхваляемый одинокий «Художник», могучий «Воин» поднять «меч войны» и сокрушить тьму и чернь, покусившиеся на великие ценности. Однако затем высказывается противоположное мнение — художнику не следует заниматься такими низкими делами, как например «мир» — он слишком занят поддержанием «вечного огня», что бы это ни значило.

Здесь мы имеем дело с той же самой старой проблемой: Георге знал, что без помощи и поддержки не сможет достигнуть своих целей, какими бы произвольными или бессознательными они ни были. Тем не менее он хотел сохранить абсолютную независимость и удержать неограниченный контроль над своими сторонниками и той областью, в которой все существовали. Не желая терять авторитет и, следовательно, передавать власть

подчиненным, Георге пытался убедить их в том, что для их же пользы будет, если он, и он один, возглавит сообщество. В то же самое время, нарушая это шаткое равновесие, борьба, в которую они были вовлечены, приняла в высшей степени парадоксальный оборот. Созданный как поэтический журнал для узкого круга посвященных «Листок за искусство», предназначенный к борьбе против натурализма и «дурного вкуса» в литературе, некоторым образом изменился, по крайней мере с точки зрения сотрудничающих в нем авторов, превратившись в полемическое орудие социальных преобразований. Каким образом «Листок» с его крошечным тиражом, ревностно распределяемым среди исключительно «узкого круга» приглашенных читателей, мог воплотить в жизнь такой колоссальный план — остается только догадываться. Дело осложнялось еще и тем, в чем конкретно должны были выражаться планируемые преобразования. В некотором смысле Георге как подлинного анархиста крайне мало тревожило, что будет после него. В 1909 году в одной из бесед он сказал, что в тот момент, когда нечто созданное получает свое распространение, его интерес к нему падает. Он видел свою задачу в том, чтобы работать над чем-либо только до этого предела, но не далее. После он начинал думать о создании чего-то нового. Единственное, в чем между Георге и его сторонниками не было разногласий, — глубокая ненависть ко всему тому, что связано с современностью. В этом вопросе компромисс, кажется, был невозможен — или «да», или «нет», но не «да и нет» вместе. Георге вовсе не был реформатором и не стремился ни к последовательному совершенствованию, ни к поступательным преобразованиям существующего порядка. Он был радикалом, который не соглашается ни с чем кроме полного ниспровержения порядка вещей или, если это было необходимо, их полного уничтожения. Все остальное относится уже к второстепенным вопросам. И пока мир мог позволить себе игнорировать Георге — он игнорировал его. А поскольку Георге не мог совершенно игнорировать мир, то сильнее всего на свете хотел, чтобы как можно большая часть это мира исчезла.

В начале ноября 1906 года, после многочисленных отсрочек в связи с продолжающейся болезнью Мельхиора Лехтера и, что еще хуже, в связи с чередой отлагательств, наконец были разосланы предложения оформить подписку на книгу Георге «Максимин», которая по плану должна была выйти из печати в декабре. Это было роскошное издание, как и приличествует посвященному возвеличиваемому божеству, каким был объявлен Максимин. На богато украшенной титульной странице были изображены два павлина, в клювах которых — цветочная гирлянда, венчающая корону. Здесь же, прямо под заголовком, в рамках помещались две обнаженные мужские фигуры. Первый — юный, — согнувшись, с печальным и отсутствующим видом играл то ли на гобое, то ли на флейте. Второй, пора-

зительно похожий на Георге, крылатый подобно ангелу, стоя на коленях, держал в руках лиру — казалось, он с глубоким почтением смотрит на имя «Максимин», начертанное крупными красными буквами наверху страницы. На следующей странице была помещена фотография без подписи, изображавшая Максимилиана Кронбергера в профиль с лавровым венком на голове и с обнаженными плечами и руками, держащего деревянный посох.

К 8 января, всего за несколько недель, весь тираж в две сотни экземпляров был раскуплен. В тот же день Георге сообщил Гундольфу о том, что к нему со всех сторон поступают отзывы о книге «Максимин». Поскольку первое издание было «частным», издателя, которым на этот раз был не Бонди, официально опубликовавший книгу, а печатник Хольтен, уже осаждала «толпа возбужденных книготорговцев». Но, как самодовольно выразился Георге, всех их ждет от ворот поворот «из-за распроданного тиража». Он был в высшей степени рад тому, как встретили эту книгу родители Максимилиана — они получили экземпляр книги, о чем позаботился автор, — и даже воспрянул духом. «Что доставило мне особое удовольствие, — сказал Георге Гундольфу, — так это слова благодарности, которые я получил из Мюнхена и которые развеяли мои опасения, — какова выдержка и достоинство сердца этих простых людей!» Возможно, конечно, это имело место потому, что они действительно были людьми простыми и не вполне понимали или имели представление о том, что сделал Георге для их сына; именно поэтому они спешили выразить свою, несомненно, искреннюю благодарность. Гораздо более красноречивым было первоначальное впечатление Георге об их отклике — он, как никто иной, знал, что в своем сердце был далек от невинности.

Однако главным событием года стал другой труд, который Георге включил, как и саму личность Максимилиана Кронбергера, в воздвигнутый им поэтический памятник Максимилину, придав этому мемориалу более величественный вид. Крупное, внушительное и даже громоздкое «Седьмое кольцо», опубликованное в конце 1907 года, является самой значительной и наиболее тщательно разработанной книгой Георге, его самым грандиозным опусом, несомненной вершиной, достигнутой им в поэтическом творчестве. С исключительно художественной точки зрения оно же явилось, возможно, его величайшим провалом. Последствия этого издания допускать и признавал даже Георге в свойственной ему манере. «Казалось, я приручил жизнь в „Ковре [жизни]“, — сказал он позже одному из своих друзей, — но в „Седьмом кольце“ хаос разверзся вновь и сотряс саму жизнь». Никогда прежде или впоследствии из-под пера Георге не выходило такое стройное композиционно и тематически произведение, в котором, как «Седьмом кольце», описывался бы полный спектр эмоциональ-

ных состояний и переживаний, колеблющихся от ничем не сдерживаемого сексуального влечения до ледяного презрения к человечеству. В этот цикл включены стихотворения, которые воспевают величие таких исторических личностей, как Данте, Ницше, Бёклин, Елизавета Австрийская, Папа Лев XIII, и других, происходящих из мифо-легендарного мира, населенного типичными королями, принцами, правителями — фюрерами — и рыцарями-тамплиерами. Книга в целом напоминает (такое сравнение польстило бы Георге) древнегреческие храмы, разбросанные по долинам Селинунта и Агригента: руины и груды величественных камней, которые дают представление и об ужасающих разрушительных силах, и о проступающем сквозь очертания беспорядочно размещенных обломков колонн и фронтонов внушительном архитектурном замысле и решении. Рудольф Борхардт, современный критик, не во всем расположенный к Георге, писал: «„Седьмое кольцо“ — во всех отношениях самая сильная книга Георге». И это несомненная правда. И в то же время наименее благодушная книга, черпающая силу из кипящего котла темных страстей, которые Георге, дав им опосредованное выражение, проявил открыто: холодная неприязнь, высокомерное отвращение к современному миру вкупе с желанием господствовать над ним, поскольку желать спасения казалось, возможно, слишком бесчестным, или вкупе с желанием полностью разрушить мир и воссоздать его из пепла и руин заново.

Но не все стихотворения «Седьмого кольца» беспощадны. Кроме стихотворений, посвященных Максимилиану, — они образуют центральное ядро книги, — Георге включил также в сборник стихи, которые в 1902 году послал Гундольфу на его двадцатидвухлетие. Обе части книги дают представление об обреченных любовных отношениях поэта, прослеживая их развитие до печального конца, связанного с горькой утратой или мучительным отказом. Но наряду с этим оба цикла содержат также стихотворения, пронизанные восторженной радостью и ликованием любви как высшими выражениями самого бытия. В действительности, в «Седьмом кольце» присутствует множество различных моментов, отражающих ту или иную сильную страсть, — здесь чаще, чем в любом другом сборнике, встречаются сцены откровения и того, что за ним обычно следует, равно как и служащих противовесом преобладающей теме уныния и буйства простых стихотворений, мелодичных, почти как народные песенки, воспевающих незамысловатым слогом смену времен года или щедрость природы. В этом сборнике имеется также целая галерея портретов друзей — настоящих и бывших, однако следует напомнить, что поэтические портреты Георге в лучшем случае были неоднозначны, а чаще всего просто убийственны. Книга заканчивается циклом стихотворений, который представляет собой некое овладение Германией. Большинство стихотворений этого

цикла носит названия немецких городов: Вормс, Бонн, Аахен, Хильдесхайм, Кведлинбург, Мюнхен, Бамберг, Дармштадт, Веймар, Йена; каждое из стихотворений с соответствующим названием Георге связывал с личной историей или некоей силой, заключенной в имени города и повлиявшей на него, — как будто Георге хотел присвоить эти города или получить в свое владение. Несколько стихотворений из этой книги посвящены Рейну — возможно, они явились запоздалым исполнением объявленных Альберту Вервею в 1899 году намерений. В целом книга «Седьмое кольцо» представляет собой подведение итогов, своего рода резюме поэтических заметок Георге, связавших множество мотивов и интересов в некое масштабное единое целое. По той же причине книга производит впечатление собранных вместе различных и не всегда связанных между собой стихотворений, выражающих противоречивые чувства и настроения, — словом, мешанины. Часто кажется, будто книга трещит по швам.

От того чтобы не развалиться на части, книга удерживается, хотя бы теоретически, некоей подведенной под нее псевдонумерологической основой. Самое сильное удивление вызывает название, но и оно проходит, если учесть, что «Седьмое кольцо» — седьмая книга Георге, опубликованная в 1907 году, то есть выбор числа «семь» вполне логичен. Иные, полагаясь на свое живое воображение, связывали название книги с седьмым кругом «Рая» Данте, с количеством букв в имени Максимиана (по-немецки *Maximin*) и даже с тем фактом, что книга состоит из семи отдельных тем. Неубедительно и совершенно не связано с чем-либо в книге предположение Эрнста Морвица о том, что название «имеет отношение к кольцам ствола дерева, которые можно обнаружить на поперечном срезе». Однако, казалось, никто так и не догадался (а если догадался, то предпочел скрыть), что отгадку тайны названия книги Георге, вероятнее всего, следует искать в другой книге — библии Космического круга, «Материнском праве» Бахофена. Бахофен, склонный наделять символическим, или даже метафизическим, значением исторические события, считал число «семь» не чем иным, как символом мужчины-победителя, отца, или того начала, которое превосходит материнское право, соответственно представленное, по его утверждению, числом «пять»: «Победу отцовского начала над материнским правом можно назвать также победой „семи“ над „пятью“». Обращаясь за доказательством к мифу об Аполлоне — богу музыки, пророчества и поэзии, — Бахофен указывал на то, что, согласно легенде, на седьмой день месяца поющие лебеди реки Пактол семь раз обогнули остров Делос и, прежде чем они начали восьмой круг, Лето разродилась своим сыном Аполлоном, подарив миру бога солнца. В память об этом событии мальчик Аполлон вставил семь струн в свою лиру. Основываясь на таком неопро-

вержимом свидетельстве, Бахофен проводил параллели между мужским превосходством и числом «семь» при любом удобном случае, напоминая, что в древней космографии семи планетам соответствуют семь небесных сфер, или что Господь, сам Святой Отец, сотворил мир за шесть дней, а на седьмой отдыхал, или что Рим, основание мужского закона и порядка, стоит на семи холмах. Вкратце, как писал Бахофен, мы узнаем «в числе „семь“ мужское начало, отцовское право и саму идею политической власти, основанной на власти отца, в отличие от материнского права земли и „пяти“ как символа Луны, и обнаруживаем самую тесную связь между такими принципами, как империя Солнца, космическая гармония и интеллектуальное превосходство». Учитывая все это, «Седьмое кольцо» возвеличивает господство самого Георге внутри его собственного «кольца», то есть круга, символизирующего мужское начало.

Можно легко представить, почему защитники Георге не спешили возвращать его в эту компанию, особенно после того как в 1907 году стало совершенно ясно, что Георге покинул Космический круг. И все-таки многие стихи, особенно наиболее сильные стихотворения в начале первой части книги, осуждающие современный мир, написаны до разрыва Георге с Космическим кругом и уже опубликованы ранее в трех различных выпусках «Листка» за 1900—1901, 1902—1903 и 1904 годы. Поэтому присутствие в «Седьмом кольце» образов и идей Космического круга невозможно отрицать. Одним из самых ярких примеров этого является неоязыческое стихотворение «Восход к солнцестоянию», которое является выраженным поэтически воспоминаем тех дней, что Георге провел в доме Вольфскеля в Швабинге. В нем описывается, как в ходе ночного торжества, когда дом освещали «дымящиеся чаши», он наполнился душным воздухом и невыносимым зноем, так что казалось, будто на полу и стенах выступает влага. Внезапно порыв ветра, сквозящего через окно, загасил факелы, и все решили отправиться в открытое поле, что рядом с домом. Как только участники праздника вышли в темное поле, то тут же «обнажились» и сплели меж собой «голые руки и ноги», отчего «намокли от грязи и смятой травы, покрылись цветочной пылью». Когда гуляющие разделились на маленькие группы, «охота» продолжилась в соседней роще:

Дрожащие руки растерянно локоны ищут —
Многие здесь уже иссушены
От погони и бег, чуть сбрызнуты
Соком раздавленных фруктов,
Пьют кровь и слюну с твердых губ,
А на дымных соломы снопах
Кто-то, один за другим, целует оба цветка
На груди Избранника нашего.

Нам уже знакома эта особенность поэзии Георге — он часто использует метафоры из мира растений, описывая телесность или сексуальность. Но здесь Георге как никогда стремится назвать вещи своими именами, кажется, в образах скользкой влаги открывает сцену секса (все-таки весьма специфично, что губы любовника не, скажем, «жаждущие» или «манящие», а «твердые», что в каком-то смысле навеивает мысли об опасности). Однако он не выдает ничего более смелого, чем кровь и слюна, а затем в решающий момент отступает, вновь прибегая к ботаническим эвфемизмам, когда говорит о выбросе семени или о лобзаниях обнаженных сосков любовника. Стиль Георге в стихотворении, несомненно, узнаваем, но тема неоязыческого празднования солнцестояния, наряду с пристальным вниманием к мужской сексуальности, отмеченным влиянием идей Шулера и стремлением символической археологии Бахофена ввести всеобъемлющую и детально проработанную систему, свидетельствуют о том, что Георге продолжал симпатизировать идеям Космического круга и они были ему близки.

Можно провести и другие параллели, найти другие связи. Первое стихотворение в «Седьмом кольце», которое сначала появилось в выпуске «Листка» за 1903 год, устанавливает общую тональность и для последующих стихотворений. Названием этого стихотворения, дающим имя целому поэтическому разделу, служит слово, которое Георге, вероятно, заимствовал из поэзии Гейне, — «Стихотворением о времени» («das Zeitgedicht»), в котором время в буквальном смысле означает эру или эпоху, Георге очевидным образом имел в виду ту эпоху, в какой жил сам. Но, разумеется, не только это — данное стихотворение представляет собой сжатую идеализированную автобиографию Георге, в которой описываются различные этапы его интеллектуального и художественного становления или, поскольку стихотворение отрицает саму возможность какой бы то ни было эволюции, непреклонного следования Георге своему призванию. Во фразе «Вы так же, как и я, узрели перемены» местоимение «вы» употребляется во множественном числе и обозначает современников поэта. Но от того, как именно «так же» поэт воспринимает действительность и своих современников, кровь стынет в жилах. Прямо обращаясь к ним, он осуждает их за то, что они его «оценивали» («меня критиковали — но как же ошибались»). В «шумной и низкой алчности» повседневной жизни обвинители судят его произведения согласно собственной невежественности, приближаясь к нему «нетвердым шагом», проводя по страницам его книг «грубым пальцем». Они считали его лишь «самодовольным князем-помазанником», бледным эстетом, который слагает свои странноватые стихи «высоко над землей». Ничто из этого, как утверждает поэт, не является правдой. Даже прежде, по его собственному утверждению, он был поглощен «опасными

кровавыми мечтаниями», в которых представлял себя «покрытым плащом мятежником, проникшим в дом врага в кинжалом и факелом». Никому не довелось испытать «пытки», мучающей его, никто не мог видеть, «как будто в слепоте, что таится под тоненькой вуалью». Это недопонимание, он утверждал, являлось частью замысла. Он признает, что лукаво соблазнял своих читателей «льстивыми сладкими звуками» и умиротворяющими пастушьими напевами — образы, знакомые по «Году души», — но все это было лишь намеренной хитрой уловкой. Теперь он решил сбросить с себя мантию самодовольного певца, поднять войска в бой, ударить в пронзительные фанфары, «взнуздав своими шпорами рыхлую плоть», и все «предать жаркому огню».

Стихотворение замечательно как событие самоанализа, особенно с учетом того развернутого представления о самомифологизации, которое дает Георге. Никогда, ни в один из периодов своей жизни, даже достигнув как декадентский эстет вершины своего творчества, Георге не был безмятежным сочинителем. И наоборот, он всегда считал свою поэзию неким продолжением волевого присутствия в мире и средством сокрушения внешних и внутренних врагов. Не в меньшем отношении она была также делом его поэтического воображения, которое с самого начала устремлялось к образам, рисуящим сцены чрезмерной жестокости вплоть до кровавой бойни, и которое помогало выразить стремление Георге побороть любого противника. Враги же, даже при беглом осмотре, были многочисленны и разнообразны: его собственные непокорные желания, женские прелести, Природа и даже само поэтическое творчество. С этих пор в его стихотворениях не будет явных отсылок на конкретных врагов, чьи черты проступают среди иных образов — образов тех врагов, которых он ненавидел сильнее прочих, и особенно того, кого он хотел бы видеть полностью уничтоженным, сокрушенным и низвергнутым на землю, — это невежественные «массы», напыщенные «буржуа», иными словами, все те, кого он считал недостойными жить в новом мире.

Данные представления отчасти являются наследием Космического круга. В 1903 году, когда впервые было опубликовано «Стихотворение о времени» Георге, Людвиг Клагес сказал Гундольфу, что относится к современникам так же, как описано в стихотворении. «Человечество день ото дня становится все более ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ, — изрек он. — Как кто-то может делать хоть что-нибудь, когда смердит этот сброд и его зловоние достигает небес! Скорее, он должен всячески стараться забыть, что люди вообще существуют, полагая, что этот слой плесени на поверхности нашей планеты наконец начинает исчезать. Но он сам сможет стряхнуть этот грибок с нашего мира и сокрушить старых кумиров, поскольку все насквозь прогнило. Поэтому всякий, кто выступает против этого пыльного мира,

должен нести с собой меч. А исследование — своего рода меч. Итак, ты совершенно прав относительно того, что время „встряски“ пришло, поскольку эпоха мертва». И в качестве финального аккорда к этой тираде Клагес упомянул, что любит читать книги о Марко Поло «из-за разительных различий между Западом и Востоком» и находит своеобразное утешение в этих путевых заметках, повествующих о том, что где-то в мире «еще существуют пустыни и ужасающие бесплодные пустоши, где ЛЮДИ умирают».

В то время Гундольф как раз заканчивал в Берлине работу над докторской диссертацией, и, возможно, поэтому Клагес сравнивал «исследование» с мечом, с которым идут войной против гнилой культуры, если предположить, конечно, что он все еще считал Гундольфа союзником, а не противником. В руках Георге поэзия также служила мечом — в «Седьмом кольце» он орудовал им с неумолимой жестокостью. Почти в каждом стихотворении рубрики «Стихотворений о времени» одинокой личности противостоит тупая и враждебная толпа, которую ожидает кара от гласа поэта. Например, в «Данте и Стихотворении о времени» великий флорентийский поэт, униженный и приговоренный к изгнанию, говорит, что нещадно отомстит своим обидчикам: «Из сердца своего я вынул пламенеющий янтарь и выдохнул — так был ад рожден». В следующем стихотворении — вдохновленном личностью, с которой Георге нравилось сравнивать себя, — поэт вспоминает торжество, организованное в 1899 году в честь 150-летия со дня рождения Гёте. Перенесшись во Франкфурт, прямо на рассвете он появляется перед домом, где родился Гёте, и презрительно смеется над яркими флагами и сценой, установленными к этому случаю, — к счастью, в этот ранний час на улицах «нет людей». Однако вскоре «священную комнату» в доме Гёте заполняют неуклюжие кретины, которым «нужно видеть, чтобы верить». Они совершенно ничего не знают о поэте, которого будто бы почитают, — ничего о его «агонии и тревоге» или «меланхолии, которую он скрывал за улыбкой». То, что они ценят в нем превыше всего, и то, что, по их мнению, составляет его сущность, которую они считают своей, в действительности является всего лишь низшим уровнем его бытия, крепче всего связанным с его «животной» природой, согласно тому что подобное познается подобным. И действительно, если бы Гёте каким-либо образом в тот самый день вдруг оказался среди них, то остался бы незамеченным («он шествовал б среди вас — неузнанный король»). Подобным же образом в стихотворении, посвященном Ницше, «толпа» почитателей, шумно приветствующих его, совершенно его не понимая, также описывается как нечто вроде «животных, порочащих его своей хвалой».

Возможно, в «Седьмом кольце» самым ясным поэтическим выражением гневного отношения Георге к своим современникам и той судьбы, кото-

рой, с его точки зрения, они заслуживали, явилось описательное стихотворение с названием «Мертвый город»:

Заполонил всю бухту новый порт,
Трубя земное счастье. Лунный мир
Блестящих и шершавых стен домов
На улицах несчетных с равным рвением
Торгуют днем, а вечером бушуют.
А материнский город на скале
Все переносит — жалость и глумленье,
Нищ и забыт в кольце из черных стен.
Немая крепость и сквозь грезы видит,
Как башня к солнцу вечному взмывает,
А тишь пасет священные пейзажи
И на заросших тропах поселенцев
Сквозь наст встает цветущая трава.
Здесь все живет и знает, день настал —
И снова в гору из дворцов роскошных
Процессия молельщиков ползет:
«Нас косит странная тоска, и мы
Без помощи погибнем — мы больны.
О дайте чистый воздух высоты!
Воды прозрачной! Отдых во дворе
В конюшнях под забором у ворот!
Мы богачи — не счислить драгоценных
Камней на сотнях кораблей, а серьги
Ценою в нашу целую страну».
Ответ суров: «Здесь неуместен торг.
То, что богатством вы зовете, — сор.
Лишь семерых из вас спасли улыбки
Младенцев наших. Все вы перемрете.
Уже само число вас — святотатство.
Прочь с роскошью своей — мальчишки наши
Ее презрели! И босые ноги
Толкают вас на рифы в море — вниз».

Здесь мы столкнулись с несколькими важнейшими темами зрелого мировоззрения и поэзии Георге: «мертвый город», разумеется, символизирует современный город с оживленным торговым портом, который населяет безлика чернь, погрязшая в алчности и сладострастии. Над этим порочным местом возвышается древняя темная крепость (хотя Георге и употребляет слово «veste», оно является архаичным), где, несмотря на бедность, люди живут чистой и яркой жизнью. Когда жители нижнего города, охваченные неизвестной смертельной болезнью, оставляют свои богатые дворцы и поднимаются в горы в поисках исцеления, то встречают холод-

ный отказ. Жители верхнего города не только с презрением отвергают предложение о плате за вход в их древнюю цитадель — ценностями, преподнесенными в качестве платы, они пренебрегают как негодными безделушками, — но равнодушно оставляют умирать и самих просителей, оправдав это тем, что уже само их число является недопустимым богохульством.

Данное стихотворение потрясает. Более внимательное его прочтение поражает еще сильнее. В стихотворении так и не раскрывается источник жизненной силы крепости — это святая святых, «священный образ», охраняемый безмолвием. Стихотворение так же мало говорит нам о крепости, как ее обитатели — взмолившимся паломникам. По сути, стихотворение сопротивляется любым нашим попыткам открыть этот секрет, и мы внешне осознаем, что чем сильнее мы проявляем любопытство в этом вопросе, тем большее сходство обнаруживаем с жалкими существами из нижнего города, вызывающими отвращение и осуждение.

Столь же непримиримо враждебное настроение царит и во втором разделе книги, который называется «Персонажи», или «Личности» («Gestalten»). Он открывается стихотворением «Война», которое повествует о том, что подразумевается в названии, так же как два следующих за ним стихотворения: первое — «Вождь» («Führer») — возвеличивает героя и впервые рисует его «обнаженным от короны и до пят», а второе — «Альгabal» («Algalal») — посвящено одноименному императору. Этот раздел заканчивается ужасающим стихотворением с названием «Наступление» («Einzug»), которое изображает апокалипсическую сцену массового уничтожения людей и бойни. Первая строчка гласит: «Время настало», и затем начинается кровавая жатва:

Жестокий приказ —
Пот предчувствия смерти,
Бессильный крик Одержимого,
Беспомощная агония,
Знак проклятия
Предсмертная мольба Забытого...

.....
Из бездны взрыв!
Волнение воздуха
От рева сверкающих армий!
Хриплые песни мщеника:
Жгите и грабьте,
Убивайте и сейте: вы — Спасители!

.....
Буря и пламя Героев!

Читая эти строки, осознаешь, что Георге хотел провести важнейшие параллели и между своей собственной книгой и литературным и культурным контекстом. «Седьмое кольцо» по своей сути является вольной переработкой Георге евангельского «Откровения» Иоанна Богослова с его ужасающими видениями бойни и разорения, ожидающими человечество в конце мира. Название этой книги Георге также получает разгадку в этом контексте. Как известно, в последней библейской книге число «семь» играет центральную роль, если вообще этот символ подлежит расшифровке. Число «семь» упоминается здесь постоянно, звучит почти как заклинание: семь церквей Азии, семь подсвечников, семь чаш и семь светильников, семь божьих Духов и зверь о семи головах, что выйдет из моря. Самым страшным и одновременно самым важным образом является книга с семью печатями, манускрипт, живописующий светопреставление: каждый раз, когда снимается печать, на землю насылаются страшные бедствия и страдания. Снятие четвертой печати означает, что четверть человечества будет страдать и погибать от голода; снятие пятой печати — страдание душ убиенных за веру; когда будет снята шестая печать, города уничтожит великое землетрясение, Солнце станет «мрачно как власяница, а Луна сделается как кровь», звезды упадут на Землю, небо «свернется словно свиток». С открытием седьмой печати появятся семь ангелов, что протрубят в семь труб, и с небес на Землю падет огонь и град с кровавым дождем, сжигающие травы и деревья. Но перед тем протрубит седьмая и последняя труба, Господь установит на Земле свое Царство, и Новый Иерусалим, святой город, возникнет взамен прежнего, теперь обращенного в пыль и прах.

Вот та единственная цель, которой служит «Седьмое кольцо», — Георге задумал эту книгу, чтобы возвестить о своей эсхатологии, объявить о конце старой эры и о заре новой. Сразу за двумя первыми разделами книги, или «кольцами», описывавшими вырождение и падение нравов человечества и разрушение мира и закончившимися истреблением нечестивцев в «Наступлении», следует раздел, содержащий стихи о любви, посвященные Гундольфу, за которым также следует центральный раздел всей книги, по сути, мистический цикл, в котором говорится об ожидании явления Бога Георге — Максимиана. По замыслу Георге, Максимиан должен возглавить возрождение человечества, после того как все зловерные его представители были уничтожены. «Новое царствие создано новой любовью», — гласит известная строка. Но эта любовь, которой суждено принести спасение в мир, особого свойства. Неслучайно, библейская книга «Откровения» содержит также сюжет истребления «великой Вавилонской блудницы», «матери всех прелюбодеев». Женский город, в противоположность мужскому городу Иерусалиму, символизирует порочную сексуальность: Вавилон в

виде распутницы, одетой в алые и пурпурные одежды, облаченной в золото, драгоценные камни и жемчуга, несет золотую чашу, полную «мерзости и скверны сладострастия». «Седьмое кольцо» знаменует абсолютную победу мужского начала в царстве Георге, однако эта победа достигается путем полного подавления женского начала. Если мы принимаем, что, как и «Откровение» Иона Богослова, «Седьмое кольцо» возвещает о втором пришествии Мессии, то кажется, будто Георге устроил всю эту бойню только для того, чтобы вернуть своего возлюбленного Максимиана. Неудивительно поэтому, что он хотел приблизить конец старого мира и ту необходимую искупительную чистку человечества, которые предшествуют новому воплощению божества. Большой проблемой в данном контексте является то, что было совершенно неясно, кто, кроме самого Георге и крохотной группы его последователей, переживет Армагеддон.

Но прагматический политический урок, которой можно было бы извлечь из этой книги, позже продемонстрировали способом, который досаждал Георге. Без его согласия и, в общем-то, против его воли баварские коммунисты, которые сразу после Первой мировой войны наслаждались в Мюнхене кратковременной победой своей партии на политической арене, выбрали «Наступление» в качестве походной песни. Несмотря на то что Георге совершенно не был счастлив этим неправомочным присвоением его текста и еще меньше был в восторге от тех, кто их использовал, этот раз был далеко не последним, когда его поэзия и убеждения служили разжиганию различных конфликтов в легко воспламеняемой немецкой послевоенной политике. Но опять-таки, как другое стихотворение, расположенное в конце книги, дает понять, Георге было хорошо известно, что действующие на политической арене силы далеко не всегда появляются отсюда, откуда их ждут, или происходят из благополучных регионов.

Человек! Деянье! Как ждут его народ и высшее собрание!
Но не надейтесь, что он придет и сядет за ваш стол!
Он — тот, кто долгими годами сидел среди ваших убийц,
Спал в ваших тюрьмах, — восстанет и совершит деянье.

Георге хотел усомниться только в обывательском убеждении, что величие автоматически равняется добродетели, но в конечном итоге показал, что политическое лидерство слишком часто идет по кривой и безнравственной дорожке.

Большую часть 1907 года Георге провел в работе над рукописью «Седьмого кольца», прежде чем передать ее художнику Лехтеру. По своему обыкновению, он проводил осенние месяцы в Берлине, зиму и начало весны — в Мюнхене, а в начале лета переезжал в Бинген. 12 мая 1907 года

скончался его отец Стефан Георге II, в возрасте шестидесяти пяти лет. Но его кончина, казалось, не слишком опечалила Георге. Единственным выражением печали явилась записка, в которой он формальным тоном сообщил Гундольфу: «Сегодня утром тихо отошел мой бедный отец». Важнее физического существования отца была книга, которую Георге как его предок собирался создать. Однако оказалось, что Лехтер еле волочил ноги, затаив свою часть работы над книгой на гораздо большее время, чем считал необходимым Георге. Когда в очередной раз в письме, написанном под диктовку Гундольфом, Георге подгонял Лехтера с иллюстрациями, спрашивая, когда же работа будет закончена, Лехтер раздраженно напоминал Георге, что не располагает ни одним «Гундольфом», который помогал бы ему: «Я всю работу выполняю сам!» И это было совершенно справедливое замечание, но Георге продолжал поторапливать и подталкивать своего загруженного работой друга, пока в ноябре тот не завершил наконец работу.

В том же 1907 году Альберт Вервей пригласил Георге провести первую половину лета с его семьей в Голландии. Поблагодарив Вервея за приглашение, Георге на некоторое время отложил свой визит, объяснив, что сперва хочет совершить то, что он называл своим «ежегодным отпуском в Швейцарию». В августе Георге наконец воспользовался приглашением своего голландского друга. Разумеется, Георге рассказал Вервею о своей новой книге, которая вскоре должна была выйти из печати, а также упомянул о невероятных усилиях, которых стоила ему работа над ней (он тактично промолчал о том, что работа над книгой замедлилась из-за неспешности иллюстратора). Про себя Вервей отметил, что Георге совершенно изменился, — перемены были настолько заметными, что он запомнил речь Георге почти дословно. «В последний раз, когда я был у вас, — вспоминал Вервей слова Георге, — вы сказали: нехорошо не замечать своего века. Это верно. Сейчас в жизни и мышлении Германии так много течений и направлений. Кто-то должен вписать их в единую картину. Кто-то должен показать им направление, в котором они смогут действовать наиболее продуктивно. Однако мой путь не самый популярный и не самый актуальный с точки зрения современной цивилизации. Я хочу другого — внутреннего единства, поэтому нахожусь в противостоянии с нашим миром. Я был убежден, что мир сокрушит меня. Но теперь не боюсь этого». Говоря конкретно о «Седьмом кольце», Георге сообщил, что все выразил в этой книге — «там ответ на любой вопрос, как бы глубоко он ни скрывался». Для Георге его новая книга была скорее программным трактатом, чем литературным текстом.

На тревожные изменения, произошедшие с другом, Вервей отреагировал, разумеется, чем-то вроде шутки, но внутренне несколько отстранился

от него. Тогда Георге попытался надавить на Вервея, с тем чтобы тот признал его новую позицию. Под напором Вервей вынужден был ответить, что на протяжении «последних семи лет», что они общаются, Георге преследовал лишь одну цель — «доказать свое превосходство». Расстроенный тем, что Вервей скрывает свое действительное отношение, Георге капризно спросил: «Как может кто-то быть настолько со мной и все же сторониться меня?» С точки зрения Георге, это был существенный вопрос — ему была противна сама мысль о том, что он может не полностью владеть тем, чего желает. Теперь, когда Георге решил покорить мир, он хотел присвоить его целиком; все то, что мешало ему в этом деле, он считал или несуществующим, или враждебным. Вервей проницательно заметил, что поскольку Георге «стремился отрицать все, что было ему чуждо, оно не могло его беспокоить». Вервей вспоминал: «Он раскритиковал меня и определил во враги». В конце концов Вервею удалось убедить Георге в том, что он по-прежнему является его союзником и другом. Но с тех пор они не виделись почти три года.

Другое старое знакомство также показало, что мировоззрение и личность Георге действительно претерпели изменения. Весной 1908 года Георге решил вернуться в Париж — город, в котором пробудился его поэтический талант. Кроме непродолжительного визита в этот город на рубеже веков, Георге в течение почти десяти лет не приезжал в Париж и не поддерживал отношения со своими старыми парижскими друзьями и учителями. В этот раз он взял с собой Эрнста Морвица, и вместе они посетили студию Огюста Родена; несмотря на то что в целом Георге не любил современную скульптуру, для Родена — «великого Учителя, единственного современного скульптора, у которого есть стиль», — он сделал исключение. Георге показал также Морвицу дом номер 87 на рю де Ром, где жил Малларме. Однажды вечером вместе со своим старым другом и сторонником Альбером Сен-Полем и Андре Жидом он был приглашен к Альберту Мокелю, теперь женатому и обосновавшемуся в уютном доме. Мокеля потрясла разительная перемена в его немецком госте — он сравнивал того застенчивого юношу, каким помнил Георге по их первой совместной поездке в Париж, с той внушительной фигурой, что теперь видел перед собой: «Как преобразилась вся его личность! Как изменилось его существо! И все-таки это по-прежнему был Георге, Гёте до „Вертера“, неловкий новичок с даром, испытывающий собственные способности и силу своей воли, теперь приобретший невозмутимый вид, уверенное и спокойное достоинство. Всем своим существованием он демонстрировал тот аристократизм, который хочется видеть в поэте, еще молодым, но уже состоявшемся, как Гёте, завершившем „Ифигению в Тавриде“. Он был уже

не тем, кто подает робкие надежды, но тем, кто решительно и гордо утверждает себя — гордо, но без вульгарности, поскольку вполне сознает свой триумф».

Для Георге путешествие во Францию оказалось концом эпохи. Это был последний раз, когда его нога ступала на французскую землю. Понемногу неподдельные восторг, привязанность и благодарность, которые он испытывал к нации, тепло встретившей его в тот момент, когда он не мог выносить собственную родину, стали уступать место чувствам недоверия и неприятия. Перемена в настроениях связана, в частности, с тем, что он стремился позиционировать себя как феномен, принадлежащий исключительно культуре Германии и не испытывающий влияния иных культур. Первая мировая война и ее исход, приведший к аннексии Эльзас-Лотарингии и опрометчивой оккупации Рура французами, завершили это отторжение. В 1919 году Георге упомянул о последней поездке в Париж десять лет назад: «Я решил никогда не приезжать туда». Объясняя принятое решение, он коротко заметил: «Я не мог больше видеть этих лиц». Через год, опечаленный условиями Версальского договора, Георге сказал одному из своих спутников: «Этих французов следовало бы уничтожить». Он долго молчал, а затем добавил: «Могли ли вы когда-нибудь представить, какие варварские или дьявольские силы становятся орудиями судьбы, что выносят исторические вердикты?» Неясно, было это неким едва различимым отречением от давней клятвы или еще более тонким предвкусением тех будущих возможностей, которые рисовало ему воображение.

Иными словами, судьба вынесла ужасный вердикт, однако его последствия оказались более жуткими, чем кто-либо мог предположить. Невероятным образом, спустя точно семь лет с публикации «Седьмого кольца» — зловещего заклинания судьбы и апокалипсического кошмара, — разразилась самая смертоносная война в истории, которая унесла более десяти миллионов молодых жизней и предала земле целую культуру. Однако большинство читателей Георге видели связь между этими событиями. Многие из них были убеждены, что Георге не только предсказал войну, но также каким-то неведомым образом вызвал ее, подготовил ее начало. В июне 1917 года, спустя почти три года после начала бесконечной бойни, Томас Манн высказал мысль касательно Георге, которая бродила во многих умах: «В некотором смысле это была *его* война». Кто-то настаивал на том, что сам факт войны дает основания в большей степени доверять Георге или в большей степени обвинять его, кто-то отрицал и то, и другое. Как бы то ни было, основой подобного спора явились идеи и настроения «Седьмого кольца», и Георге до конца его жизни уже не считался всего лишь поэтом, отстраненным от мира и эпохи. С тех самых пор и своим

очернителям, и своим последователям, да и самому себе он казался — и это убеждение все крепло — тем, кто не только воплощает собственную судьбу, но олицетворяет собой нечто вроде новой немецкой культуры. Однако какого рода Германию он представлял и что готовил для нее, не вполне очевидно — прошло еще мало времени, чтобы судить об этом.





ЧАСТЬ III

ПОЛИТИК

1909 ~ 1918



Глава двадцать пятая

ПРИЕМ В ОРДЕН

В сентябре 1908 года Георге прибыл в Берлин несколько раньше, чем обычно, чтобы скоротать осенние месяцы в столице. По своей привычке со времени рубежа столетий, он остановился на несколько недель в доме своего издателя, Георга Бонди. В 1901 году Бонди переехал в большую виллу в престижном лесистом анклав Грюнвальда, на юго-западных окраинах города. По утрам в воскресенье Бонди нравилось приглашать гостей поиграть в теннис на его частном корте. Георге не интересовался игрой, но иногда приезжал в сопровождении молодого друга Эрнста Морвица, который принимал энергичное участие в соревнованиях и часто оставался на обед с Бонди и его женой; при случае Георге тоже с ними обедал. Периодически к ним присоединялся еще один знакомый англичанин Георге, Алан Х. Гардинер, которого Бонди дружелюбно описывал как «превосходного египтолога и блестящего игрока в теннис».

Георге не желал быть главой частного спортивного клуба. Возможно, у него на уме были эти безобидные, но позволяющие развлечься поединки на выходных. Там он встретился с Бертольдом Валлентином в январе 1909 года, пока все еще оставался в Бингене на праздники. Валлентин отметил в своем дневнике: «Георге находился в странном состоянии недомогания, в каком я его никогда не видел». Жалуясь на «бессонницу» и другие физические недуги, Георге открылся Валлентину, что у него тревоги был и душевный источник — «нестабильность и недостаток усердия в круге». На первый взгляд, жалоба казалась странной, если не сказать оторванной от

реальности. В период немногим более двенадцати месяцев вышло в свет не менее одиннадцати книг либо Георге, либо его соратников. В конце 1908 года было опубликовано второе, «публичное», издание «Седьмого кольца». В том же самом году произведение под названием «Почести» («Huldigungen») слабого поэта Лотара Трёйге вышло с печатью «Листка за искусство», щедро раскрашенной Мельхиором Лехтером. В 1909 году Карл Вольфскель издал два драматических фрагмента — он назвал их «мистерии», — озаглавленные «Святилище и Орфей». Кроме того, третий и заключительный том «избранного» из «Листка» также появился в тот год, сопровождаемый переводами Георге сонетов Шекспира и отрывков из «Комедии» Данте. Вряд ли могло показаться, что был недостаток усердия.

Самым важным событием тем не менее была публикация в августе 1908 года первого тома того, что станет новым изданием сборника пьес Шекспира в немецком переводе. Годом ранее Георг Бонди обратился к Гундольфу с тем, чтобы тот взялся за эту задачу. Это был бы первый монумент многолетней любви Гундольфа к Шекспиру. Напомним, что самое начало его отношений с Георге вращалось вокруг юношеской привязанности к сонетам. Первая важная книга Гундольфа, изданная в 1911 году, спустя три года после того как начал появляться перевод, называется «Шекспир и немецкий дух». В 1928 году Гундольф представил миру двухтомное исследование «Шекспир: жизнь и творчество», увлекательно написанный и глубоко содержательный анализ всех пьес в хронологическом порядке. Могло показаться странным, что английский драматург эпохи Возрождения внушил такое благоговение тому, кого начали рассматривать как выдающегося историка и критика немецкой литературы в его время. Но начиная с середины XVIII столетия Шекспир считался в немецкой культурной традиции чем-то вроде спонтанной творческой силы, не столько «английской», сколько вообще «природной». И «природное» в этом случае означало противоположное французскому. В частности, использование Шекспиром нерифмованного белого стиха, его напыщенное презрение к единствам Аристотеля, страсть к сверхъестественному в виде ведьм, призраков и предсказателей, склонность к проявлениям могущества природы в виде раскатов грома и неистовых бурь — все это делало его похожим на антитезу того, чем представляли холодные, рациональные, сухие особенности французской классической драмы, — и культуры Просвещения в целом. Приверженность Гундольфа к Шекспиру в таком случае была в немалой степени основана на формирующейся идеологической программе круга в целом. Приверженность Шекспиру означала видение жизни, которое было иррациональным, безудержным, непредсказуемым и, весьма часто, опасным.

В 1909 году все, казалось, шло на руку Георге: круг полностью оправился от кровопролития, вызванного Космическими конфликтами; число и

способности новых пополнений достигали беспрецедентных высот; выходило в свет больше книг, чем когда-либо прежде, и они были лучше, чем ранее; произвольное сочетание идей, изложенных в принципах «Листка», отложилось в узнаваемую философию с реальными, все более осязаемыми следствиями; и личное положение Георге никогда не было столь высоким. Теперь для него было привычным получать экспансивные письма от читателей, которые так или иначе сталкивались с его поэзией и оказывались в смятении перед ее мощью. Письмо, отправленное летом 1907 года двадцатипятилетним поклонником по имени Альберт Рауш, которого Вольфскель знал и подталкивал обратиться с письмом к Георге, было типичным:

Дорогой и единственный учитель, могу ли я еще раз поблагодарить вас за все, чем вы были и являетесь для меня? На самом деле, и не знаю, как это сделать... Иногда я настолько взволнован теми знаками вечности, которые ваша рука начертала на наших жизнях, что мои глаза становятся влажными. И в один весенний вечер, когда я прогуливался со своим другом по полям и лугам возле моего городка и когда он вдруг тихим голосом сказал мне на ухо: «Улицы, уходящие вдаль, бледнеют», — я был настолько взволнован всей невыразимой красотой вашего произведения... вашего пребывания в этих тихих строчках, что испытал дрожь счастья оттого, что молод и воспламенен этим огнем.

Рауша никогда не допускали во внутренний круг, и, к сожалению, его стихи так и не смогли появиться в «Листке». Те, кто был ближе к Георге, как например Эрнст Морвиц, также неоднократно уверяли его: «Я живу вашей жизнью и думаю вашими мыслями!», «вы сопровождаете меня и знаете мои пути, и я навсегда с вами».

Между тем Георге, как заметил Валентин, был неудовлетворен. Возможным источником несчастий могли быть обстоятельства, сопровождавшие пьесу, которую Георге написал для «Листка» за несколько лет до этого. В выпуске 1901 года появилась короткая, драматическая сцена из пяти страниц, названная «Включение в Орден», с подзаголовком «Пьеса посвящения». Произведение не предпринимало попытки замаскировать себя под литературный образ исполнения ритуала инициации, не оставляя особых сомнений в отношении того, какой «орден» упоминался в названии. Драматический диалог показывает «Гроссмейстера», стоящего у алтаря в окружении монашеского хора и трех «братьев», опрашивающих «Юношу», который стремится получить доступ в орден. Когда хор возвещает, что их «гильдия самая достойная, а совет самый величественный — здание грез, ставших реальностью», Гроссмейстер сообщает претенденту правила ордена: «Здесь ты уже не принадлежишь себе, а работаешь в круге согласно своему положению — здесь запрещены эгоистичные желания». Не напуганный тем, что присоединиться к кругу означает принять предназна-

ное место и отказаться от своей индивидуальности, Юноша отзывается на его предложение. Впечатленный его искренностью и также, кажется, «живостью его тела» — при подаче прошения Юноша стоит «полностью голый» перед экзаменаторами, — Гроссмейстер велит ему найти среди уже посвященных того, кто выступит его поручителем («Ищи брата, который будет ручаться за тебя»). Единственное условие — если он не сможет найти покровителя после трех попыток, то будет отвергнут. Оставшаяся часть пьесы посвящена Юноше, обращающемуся, а затем отвергаемому первыми двумя возможными покровителями, чтобы, наконец, быть принятым третьим. Она завершается хором, возвещающим: «круг — цитадель, побуждение любого деяния».

Это не особенно изысканное произведение, но тогда изысканность не была тем, чем Георге стал после. В феврале 1903 года, прямо перед шумным празднованием Карнавала в квартире Вольфскеля в Швабинге, и в то время когда Максимилиан Кронбергер был еще жив, Георге и несколько его соратников уже репетировали «Включение в Орден» не реже двух раз в неделю. Обычно Георге читал роль Гроссмейстера, в то время как Юноша и другие роли доставались тем, кому случалось присутствовать, и вместе со всеми присоединившимися к хору собрание заканчивалось только после нескольких повторений всей пьесы. Но эти групповые чтения были для них чем-то большим — культовым повторением простых формул, которые скрепляли Георге и его группу. Главный акцент ставился скорее на *способе*, каким произносились строки, чем на значении самих слов. Значение слов, конечно, тоже было важно: поскольку Георге с самого начала предполагал не что иное как «возрождение драмы через стих», «Включение в Орден» могло послужить образцом, который озаглаживает такой драматический Ренессанс жанра.

Нацеленное в некоторой степени именно на это, «Введение в Орден» стало неотъемлемой частью регулярных встреч с друзьями в следующие несколько лет. Оно совпадало со все более и более формализуемым и ритуализируемым взаимодействием между Георге и его друзьями, которые сами становились не столько его партнерами, сколько помощниками. Чтение «Введения в Орден», в конечном счете идеально отражавшего организацию круга и запечатлевавшего его предписания, служило таким образом укреплению группы, границы которой создавало. Оно стало почти гимном, типичным для католической церемонии, объединяющим конгрегацию посредством произносимого слова и связывающим празднующих общей невидимой духовной связью. Манера чтения вслух у Георге усиливала ощущение чтения литургического текста, и Георге настаивал, чтобы и все остальные приняли эту манеру. Роберт Берингер, выделявшийся своей способностью декламировать поэзию тем способом, который встречал одобрение Учителя, и позже написавший эссе об этой технике, описывал

ее как чтение, «кажущееся монотонным... придерживающееся середины между разговором и пением; это было интонирование, в котором отличительным особенностям поэзии — ритму, паузе, тону и рифме — уделяется должное внимание». Берингер уподоблял манеру чтения Георге «торжественной литании». Другие также пересказывали, как Георге читал поэзию «гулким, сдержанным голосом, звучавшим подобно колоколу». Это было не столько литературное выступление, сколько «возвышенная декламация наполовину литургическим тоном, без какого-либо повышения или понижения произносимой мелодичной строки, так, что почти все стихотворение читалось на одной и той же ноте и оттенки мягкого и громкого оставались в пределах узкого ряда».

Зимой 1909 года Георге потратил много энергии, наставляя своих берлинских соратников в правильном, то есть в его собственном, стиле чтения вслух. «Мы практиковали чтение, — сообщает типичная запись в дневнике Валентина; — Учитель похвалил меня, [сказав,] как хорошо я теперь читаю». Георге часто приходил домой к Валентину вечером, иногда в сопровождении Вольтерса, где они вместе обедали. Но Георге был неустанным наставником. «Вы не думайте, — резко сказал он после одного из этих собраний, — что мы собираемся здесь, чтобы просто проводить вместе время, чтобы роскошно питаться; мы должны вернуться к реальной работе». Нередко эта «реальная работа» влекла за собой повторные чтения «Введения в Орден», сопровождаемые знакомством с какими-то иными стихами Георге; и только после этого и остальных призывали прочитать их произведения. И их учили читать в том же самом, немодулированном, колдовском стиле, если им требовалось получить одобрение Учителя.

Это ритуалистическое пение было социальным клеем, который помогал не только связывать его друзей, но и отмечать единой печатью все их поэтическое творчество, делая невозможным, даже при чтении своего собственного произведения, позабыть о всеобъемлющем, контролирующем присутствии Учителя, избежать его внимания. Благодаря приверженности своеобразному стилю чтения Георге, содержавшееся во «Введении в Орден» требование отбросить все остатки эгоизма — то есть всякий признак индивидуальности — выполнялось, таким образом, на практике. Точнее, каждый отбрасывал свою собственную индивидуальность, чтобы принять индивидуальность Георге посредством имитации его голоса. «Стефан Георге весьма критично настроен при прослушивании стихов, — прокомментировал кто-то, кто также встречал его в феврале 1909 года. — Он рассказывал, что только однажды нашел человека, который поразил его чтением стихов вслух. Тот делал это точно таким же способом, как и он сам». Это и было целью — стремиться читать тем способом, который соответствовал собственной практике Георге настолько близко, насколько это возможно, воспроизводя почти точную копию голоса Учителя.

Приблизительно в то же самое время Георге также начал убеждать своих друзей и соратников использовать шрифт, который он спроектировал, основываясь на своем собственном уникальном почерке, для публикации своих произведений. В 1904 году, перед окончательным разрывом с Гофмансталем, Георге послал ему некоторые образцы шрифта. «Моего собственного, — с гордостью сказал он Гофмансталю, — который я долго разрабатывал с целью сделать его лучше». Небрежно упомянув: «Вы увидите, что он напоминает мой почерк», — и уверенно предсказав, что нам он понравится, Георге утверждал, что в любом случае этот шрифт лучше чем все изобретенные «современными дизайнерами, добавлявшими какие-то искусственно созданные причудливые завитушки к уже существовавшим буквам». Гофмансталь вежливо отклонил предложение. Георге попытался также убедить Вервея, хотя и одинаково безуспешно, принять его шрифт. «Я (разумеется, его создатель) думаю, что он очень четкий, — сказал Георге Вервею, — и все же единственный [именно он] полностью небуржуазный». С течением времени Георге завоевал больше новообращенных — многие из его более поздних друзей не только использовали его шрифт, но также подражали его манерному почерку, его неортодоксальному правописанию и пунктуации, его неестественной фразеологии, что часто мешало установить, кто был фактическим автором неподписанной рукописи.

Это был не просто нарциссизм, выражавшийся в таком графическом и устном воспроизводстве самого себя. Призывая всех копировать свой голос, манеру речи и письма, Георге создавал из них, и это не преувеличение, продолжение своей воли, собственно самого себя. В сущности, это сводилось к той же самой операции, которую он предпринял с Максимином, только наоборот. Теперь Георге не включал в свое Я друзей, поглощая их в пределах своей личности, ассимилируя их индивидуальности в свою собственную, но делал нечто противоположное. Он трансплантировал свое Я, клонируя особенности собственной индивидуальности и прививая их другим существам. Это был еще один способ победить бесплодие, против которого он боролся в течение многих лет. Различие было в том, что прежде усилия были ограничены сферой одной только поэзии. Теперь, хотя поэзия и оставалась проводником влияния, экспансия Георге своего Я осуществлялась, фактически, посредством и в пределах реального мира.

Чтение вслух, кроме подразумеваемой творческой функции, также стало чем-то вроде критерия, по которому Георге измерял потенциал допущенных в круг. Во время первой встречи с новым молодым человеком Георге обычно спрашивал, знает ли кандидат, «какие стихи предполагается читать?» Эрнст Морвиц вспоминал, что когда в первый раз встретил Георге, то его тоже попросили выбрать и прочитать стихотворение. Очевидно, Георге не был полностью удовлетворен выступлением Морвица. «Чтобы

показать, как можно было сделать это лучше, чем я, он вслед за мной прочитал то же самое стихотворение, и тогда я впервые услышал, как он медленно выговаривал каждую строку отдельно, с ритмичным единообразием, глубоким негромким дрожащим голосом, никогда не возвышая и не понижая тон».

Помимо приобщения новичка к надлежащему стилю чтения вслух, предварительный опрос часто напоминал общий экзамен, и несоответствие ожиданиям Георге могло быть мучительным испытанием. Эдгар Салин, который наряду со своим университетским другом Вольфгангом Хайером был представлен Георге два года спустя, в 1911 году, живо пересказывал сцену их предварительного опроса. Однажды вечером, как принято, эти два молодых человека (Салину — двадцать один, Хайеру — двадцать) были сопровождены в почти пустую комнату — в ней находились только диван, стол и керосиновая лампа, дававшая слабый дымный свет. Гундольф, который назначил встречу, также присутствовал и стоял в стороне. После показавшегося бесконечным ожидания, дверь позади них мягко открылась и закрылась. Услышав звук дыхания, они медленно обернулись — перед ними стоял Стефан Георге.

Георге сразу же начал допрашивать их, желая узнать, где учились и с кем, сколько им лет, какого они происхождения и каковы их интересы, а затем перешел к более обширным вопросам об их познаниях в литературе и истории. Георге всегда искал какую-то связь с самим собой — если они упоминали о каком-нибудь городе, он спрашивал, знали ли они там его знакомых; название книги могло привести к обращению к одной из его собственных. Все это время, писал Салин, «громкое биение наших сердец было, казалось, единственным звуком» в тихой комнате, кроме настойчивого расследования Георге. Внезапно он перешел к основному пункту встречи — спросил, читают ли они стихи вслух и, если да, почему. Вдохновение момента побудило одного из них сказать, «потому что это — единственный способ войти в дух стихотворения». Георге счел это подходящим ответом: «Звучит хорошо. Почему бы нам не пройти вперед и не проверить это».

Для молодых людей, которые приехали на встречу уже переполненные страхом перед творчеством великого поэта, такое приглашение прозвучало как «смертный приговор». Салин рассказывал, что они «дрожали от страха» в предвкушении чтения стихов вслух перед Учителем. Пока Гундольф отыскивал, что же им прочесть, — он сделал несколько предложений, которые Георге отклонил, сказав: «Нет, это слишком трудно для начала. Посмотрите еще и найдите что-нибудь подходящее», — тревога и дурные предчувствия и Салина и Хайера постоянно возрастали. Наблюдая их нервозность, Георге попытался успокоить их или отвлечь, продолжив задавать вопросы: какие книги у них имелись, какие выпуски «Листка» они уже

прочитали или, возможно, приобрели. Наконец, страшный момент наступил.

По словам Салина, чтение было абсолютно неудачным. Оба они хорошо знали выбранный текст — это было одно из стихотворений из «Слез души», — но Георге вручил им версию, которая появилась в «Листке» и немного отличалась от той, что была им известна из изданной книги. В такой напряженной атмосфере, при негодующих взорах Георге, незнакомой типографии, используемой в журнале, и изменениях в тексте, немногие, вероятно, сохранили бы самообладание. Хайер, которому выпал незавидный жребий читать первым и которым обычно восхищались друзья за «глубокий, выразительный голос», потерпел унизительное фиаско. «Критика Георге была беспощадной», — писал Салин. В сравнении с их отчаянием разочарование Учителя казалось еще слишком умеренным перед лицом полной неудачи, покрывавшей обоих позором. Удивительно, что Георге, если учитывать его собственный способ чтения, обвинял Хайера главным образом в «монотонности» выступления. «Где вы хотели подчеркнуть выделенный слог, — наставлял его Георге, — там делали это слишком сильно и оказались неспособны к какому-либо усилению акцента на значении».

Внезапно Георге перевел стрелки: «Знаете, что было для меня самым неприятным, чей голос звучал во мне?» Этот вопрос был встречен недоумением. Оказалось, что Георге имел в виду другого молодого поэта, который попытался получить доступ к Учителю и его друзьям предыдущим летом. По какой-то нераскрытой причине Георге решил, что этот человек был «мошенником» в человеческих, интеллектуальных и поэтических отношениях, и быстро избавился от него. По стечению обстоятельств тем же самым летом Салин и Хайер объединились с этим «мошенником» и, хотя вскоре их пути разошлись, все трое вместе часто читали стихи. Теперь, к их несчастью и беде, Георге утверждал, что услышал голос этого изгнанника в декламации Хайера, подобно неприятному аромату духов бывшего любовника, повеявшему от нового знакомого.

Затем была очередь Салина. Уже деморализованный разгромом Хейера и нервируемый ревнивой пронизательностью Георге, шатаясь, он продолжил свой путь через другое стихотворение. Георге нашел, что Салин, по крайней мере, избежал ошибки «монотонности»; но окончательный приговор был менее утешительным. «В конце, — сказал Георге безжалостно, — вы также были ходячей катастрофой. Человек, который читает, знает, что для него лучше всего». Чувствуя себя несчастным, Салин подумал про себя: «Да, человек, который читает, предпочел бы наглотаться земли». Однако, откинувшись на спинку дивана, полулежа, Георге одарил их обоих советами, как практиковать чтение в следующие месяцы, пока он не пожелает, чтобы они приехали к нему вновь. «Приучайте себя к ритму, к пото-

ку! Наберитесь храбрости, — предупреждал он их, — читайте на открытом воздухе, не только в своей комнате». Он также сказал им: «Читайте чаще „Столетие Гёте“! — то есть антологию поэтов, которую он и Вольфскель составили. — Вы еще не знаете в достаточной мере разнообразия голосов и ритмов!» И после этого Георге обратил свое внимание на других присутствующих, игнорируя и Салина и Хайера. Их первая изнурительная аудиенция с Учителем закончилась.

Восьмой выпуск «Листка» — первый, появившийся за пять лет, — вышел лишь в феврале 1910 года, но обложка указывала, что он содержал работы 1908 и 1909 годов. Вопреки общепринятой практике, введение в прозе не состояло из обычных энергичных гномических заявлений. Вместо этого оно включало в себя три длинных, вполне вразумительных параграфа, которые касались жгучих вопросов, занимавших тогда Георге: «Художник и публика», «Декламация поэзии» и «Драмы». Все они содержали немного неожиданностей: художник, как заявлялось, был единственным человеком, который, имея независимые средства, не вынужден работать ради выживания и поэтому свободен от требований общества, единственный, у кого «все еще есть возможность жить в Царстве (Рейх), где Дух (*Geist*) дает высший закон». Чтение поэзии, подобное скандированию литургических псалмов, также расценивалось как обладающее образцовым статусом: «То, что мы слышали в сообщениях о поэтическом чтении, доказывает, что поэт никогда не читает и не может читать иначе, чем он читал». Возможно, самый интересный раздел — о драме, поскольку он кодифицирует замечания Георге об этой литературной форме вообще и подтверждает их новыми культурно-политическими аргументами. Георге утверждает, что если «истинная» драма органически вырастает из аутентичной потребности внутри общества — как это было во времена Шекспира, — то «современные пьесы» представляют собой абсолютно иной случай. Они, как утверждается, созданы просто для того, чтобы удовлетворить желание масс в визуальном зрелище, и поддерживаются больше привычкой, чем убеждением, «если не говорить об экономической необходимости». Современные драмы не созревают как плоды, не вдыхают особый воздух и не вырастают на особой почве, но «производятся» — «они представляют собой прикладную историю литературы». Более того, они цинично разрабатываются для удовлетворения «рыночного спроса». «Современные драмы существуют, только потому что существуют дорогие машины и потому что их работа иногда производит значительную прибыль».

В одной беседе начала 1909 года, когда эти вопросы беспокоили Георге, он обстоятельно говорил о театре и драме, сравнивая древнегреческую трагедию с произведениями Шекспира и противопоставляя те и другие ущербным современным творениям. Это была пустая трата времени и энергии, сказал он, бесполезное начинание для талантливых молодых лю-

дей — посвящать себя театру. Учитывая «разобщенность нашей культуры», настаивал он, подлинной современной потребности в драме и трагедии на самом деле не существует и не могло существовать. В 1910 году Георге просто сказал Вервею: «Драма в наше время невозможна». Ранее, в 1905 году, он также говорил Курту Брейзигу: «Драма предполагает общество, широкий круг». Брейзиг отметил в своем дневнике слова Георге, что у него еще не было такого широкого круга, что круг только должен был сформироваться, что ему трудно было удерживать вместе Мюнхенский и Берлинский кружки, что он нуждался в них для своего лирического искусства. Здесь, помимо всех иных культурных, исторических или даже экономических аргументов, вероятно, находится ключ к настоящей причине, в силу которой Георге отвергал театр. Он рассматривал его, как и все остальное, как нечто, над чем будет доминировать или что отвергнет. Когда стало очевидным, что «круг», который был необходим, чтобы соответствовать его поэзии и воплощать ее, не мог быть воссоздан, то он осудил его так же легко, как расправился с драмой. Если Георге не мог осуществлять полный и нестесненный контроль над чем-либо — или кем-либо, — то это утрачивало для него всякую ценность и значение; действительно, это прекращало существовать. И, кроме этого, как весело рассказывал Георге Ханне Вольфскель несколько лет спустя: «Пока у меня есть Карл, у меня есть весь театр, в котором я нуждаюсь».

Однако раздражение по поводу неспособности разместить театр возле своего большого пальца и затем длительный процесс его устранения из своего каталога приемлемых форм искусства все же не могли объяснять непристойный юмор Георге, который Валентин заметил в начале 1909 года. Теперь Георге желал более весомых противников, чем то, что представлял собой институт театра или «современной драмы». Он желал иметь перед собой саму современность, но становился нетерпелив относительно скорости хода событий. «Где тропа, там и семена», — сказал Георге кому-то еще той же самой зимой. Он хотел обнаружить, «что же имеет значение для нового, для будущего». Георге не интересовался прошлым, если у него не было определенного отношения к будущему. И, поскольку он был им заинтересован, то сам и являл собой это будущее.



Глава двадцать шестая

ФЮРЕР И ЕГО РЕЙХ

Если Георге плохо себя чувствовал в начале 1909 года, недовольный степенью ответственности, которую обнаружил внутри своего круга, и удрученный качеством и темпом его деятельности, то к концу 1910 года картина в целом изменилась. «Мы, друзья, вполне довольны страной и нашей жизнью», — бодро заявил Фридрих Вольтерс Лехтеру из Берлина в декабре 1910 года. В начале октября Лехтер отправился в мистическую поездку в Индию вместе со сходным образом настроенным Вольфскелем. «Георге все еще здесь, — продолжал Вольтерс, — он посылает сердечный отклик на ваши приветствия и был бы счастлив услышать подробности от двух далеких путешественников». Очевидно, некоторые новости о поездке Лехтера уже дошли до Георге, но Учитель желал услышать больше разного рода деталей. «То, что вы находите, что люди там красивые, особенно мужчины, его восхищает». Георге даже питал надежду, добавил Вольтерс, что Лехтер «научится любить» «прекрасного мужчину» — пока он за границей, а не дома — и в будущем найдет место для более привлекательных моделей мужественности в его «живой работе» в качестве противоядия от «пористых и дряблых тел наших отщепенцев от живописи».

Перспектива обнаружения крепких, красивых мужских тел, изображаемых с большей частотой и с большей убежденностью в произведениях Лехтера, должна была воодушевлять Георге. Еще более радостным был положительный сдвиг в общей атмосфере круга. Вольтерс продолжал сообщать Лехтеру: «Мы часто встречаемся и регулярно читаем, и сильное

чувство единства начинает наполнять всех, чего никогда прежде не было; то, чего мы жаждали в царстве (*Reich*), начинает осуществляться не только как до сих пор в произведениях, но также и в чувстве объединенной новой жизни, и вместе с новыми вызовами, пробуждающими общество, формируется и новое счастье, которое получает свою поддержку в самопожертвовании каждого человека ради Целого».

Сезон неудовлетворенности Георге, казалось, окончательно миновал. Вольтерс предполагал, что, помимо увеличившегося чувства гармонии и солидарности среди членов «сообщества», окружавшего Георге, долгое время предполагавшаяся цель Учителя переместить сферу деятельности из литературного в реальный мир наконец начала осуществляться и, более того, давать материальные результаты. Но для любого, кто не был посвящен в «общество Георге», остальная часть письма Вольтерса не будет, вероятно, иметь большого смысла. Дело не только в том, что его слова глубокомысленны до такой степени, что непонятны — это была, как известно, стилистическая прихоть, разделяемая многими из близкого окружения Георге, хотя Вольтерс культивировал ее с особой энергией. Дело и в том, что он использовал своего рода код, специализированный словарь, который основывался на общем наборе невысказанных предположений, предоставлявших ключ, требовавшийся для расшифровки. Понятия «царство», «вождь», «новая жизнь» и «самопожертвование» указывали на сочетание идей — в том числе и тех, что были собственного изготовления Вольтерса, — которые были ответственными за новые источники вдохновения круга, о которых он упоминал. В то же самое время эти новые само-описания круга обеспечивали его более богатой, более продуманной концептуальной основой, которая еще крепче объединяла его, делая его предпосылки более явными — если не всегда абсолютно ясными.

Ко второй половине 1910 года приблизительно тридцать человек считались друзьями Георге и еще многие находились в различной степени близости к нему. Главный костяк состоял из Гундольфа, Вольфскеля, Вольтерса, Лехтера, Валлентина и Морвица, которые уже начали или вскоре начнут проявлять себя собственным творчеством. Среди других членов Берлинской группы были наиболее заметны скульптор Людвиг Тормелен и врач Курт Гильдебрандт. Были также и другие, толпившиеся на втором плане, такие как Фридрих Андреас, Пауль Тирш или Эрих Бергер, которые все еще играли незначительную, хотя и заметную роль в жизни Георге. И поскольку его постоянные друзья заводили свои собственные знакомства, сеть становилась все шире. В это время Гундольф начал представлять некоторых из своих знакомых Георге, включая Герберта Штайнера и особенно Эрнста Роберта Куртиуса, продолжавшего сохранять свою известность как исследователь французской и средневековой литературы. Вольфскель привел с собой двадцатидвухлетнего Норберта фон Геллин-

грата, в значительной степени бывшего ответственным за спасение поэта Фридриха Гёльдерлина от столетнего забвения публикацией нового издания его произведений и, что особенно впечатляло, находками потерянных переводов Гёльдерлина из Пиндара. И было растущее число известных, ведущих интеллектуалов — главным образом ученых и профессоров университета, — кто проявлял живой интерес к Георге, даже если этот интерес и не всегда был лишен критики. Георг Зиммель, хотя ни в коей мере не был когда-либо «последователем» Георге, как известно, долгое время был им очарован. В 1909 году Зиммель опубликовал еще одну хвалебную статью, посвященную прежде всего «Седьмому кольцу», в которой восхищался «таинственным систематическим своеобразием», характеризующим, как он считал, все творчество Георге. Но в интеллектуальной элите Германии начали появляться и новые имена. Философ Вильгельм Дильтей выразил свое восхищение «Седьмым кольцом» и следил за карьерой Георге до 1911 года — года своей смерти. Историк искусств Генрих Вёльфлин также считал обязательным для себя задавать подробные вопросы о Георге всякий раз, когда встречал кого-то, у кого могли быть любые новые сведения о нем. А в 1910 году Георге встретил Макса Вебера. Вебер — тогда одно из наиболее уважаемых имен в немецких академических кругах — выступал против всего, что Георге поддерживал, но при этом признавался, что действительно впечатлен мощью поэзии Георге и силой его убеждений.

В конце первого десятилетия XX века Георге мог видеть перед собой многочисленную и постоянно расширяющуюся группу талантливых, активных и отчаянно предвзятых сторонников и испытывать удовлетворение от того, что вызывает интерес и уважение у значительной по количеству, умеющей разбираться в прочитанном публики. Он не только пережил и преодолел трудности нескольких прошедших лет, оставшись невредимым, но и оказался гораздо сильнее этих трудностей. Скрытые ранее и становящиеся все более и более откровенными утверждения Георге о прерогативах его как судьи и эмиссара своего народа — возможно, на целое столетие — находили утвердительный, осязаемый резонанс и внутри группы его сторонников, и вне ее. Даже те из его поклонников, кто оставался скептически настроенным к его требованиям единоличного лидерства и сохранял осторожную дистанцию от феномена самого круга, по крайней мере обладали существенным преимуществом принадлежности к самым блестящим и известным людям своих дней. С такими друзьями — даже осторожными — можно было позволить себе почти игнорировать врагов.

Почти, но не полностью. Противники склонны становиться более смелыми, когда с ними никто не спорит, и Георге, чувствуя себя более уверенно, чем когда-либо ранее, ощущал, что настало время для нападения. Действительно, несколько лет, прошедшие до внезапного начала войны в 1914 году, ознаменовали собой кульминацию круга Георге, время его ве-

личайшего оптимизма и энергии, и во многих отношениях его самый динамичный и единомысленный период. Все казалось возможным, и многое, как считалось, было необходимым. До этого идея круга формировалась медленно и почти случайно, она формулировалась лишь в кратких, афористических отрывках, которые представлял публике «Листок», и, как следствие, Круг испытывал нехватку в полноте и сложности жизнеспособной идеологии. Теперь он обрел свое истинное существование. Круг больше не был вспомогательной структурой, сформированной в силу необходимости обозначить группу поэтов, представленных в «Листке». Теперь он имел свой собственный смысл существования. И центральным в новой жизни круга, дававшим ему беспрецедентное единомыслие цели и направленности, было изменчивое восприятие его духовной опоры. Ранее Георге предстал перед своими сторонниками выдающимся поборником определенного способа создавать поэзию. Безусловно, среди тех, кто расценивал его как «Учителя», преобладало возвышение его личности, которое выходило за пределы простого профессионального восхищения талантами. Но фокус все еще оставался сконцентрированным на создании искусства в некотором общепризнанном смысле. Теперь, однако, в глазах последователей Георге — и в его собственном уме — его роль была подвергнута другому, еще более радикальному изменению.

Естественно, большинство строительных блоков, которые вошли в сооружение этой новой персоны, и задача ее проектирования были подготовлены заранее, в некоторых случаях за пятнадцать лет до этого. Эссе Вольфскеля, в частности, но также и различные исследования Гофманстала, Зиммеля и Клагеса способствовали общему проекту определения, кем же были Георге и поэты «Листка». Собственные произведения Георге, и особенно наглядно две его последние книги, «Ковер жизни» и «Седьмое кольцо», настойчиво озвучивали его желание втянуть весь мир в открытое соревнование. И все же это были несоизмеримые материалы, несвязанные друг с другом, за исключением того, что они фокусировали внимание на самом Георге. Теперь наступило время работы по сборке разнообразных компонентов во взаимосвязанное целое. Цель заключалась в том, чтобы предоставить грандиозное, хорошо укрепленное здание, способное защитить против публики, которая, как можно было ожидать, будет враждебной, и снабдить обширным жилищем тех, кто находится внутри. Поскольку эта цель выражалась со все более возрастающей ясностью, то доходила до того, чтобы воздвигнуть цитадель или крепость, неприступную твердыню, из которой будет вестись война — по общему признанию, вначале война (тем не менее война) на отдаленных ландшафтах. «Эта война, — объяснял Гундольф одному знакомому год спустя, в 1911-м, — есть отец блага, война против варваров, обывателей, и клерикалов — против жестокости, рабства и ограниченности». Потери были ожидаемыми, на самом

деле они были неизбежны, и не следовало, настаивал Гундольф, утаивать великую справедливость начинания: спасти «живое» наследие Предков — то есть греческое наследие, воплощенное прежде всего в Георге — от внутреннего разложения или агрессивных нападков. «Наша общая кампания скорее оборонительная, чем наступательная, — заявлял Гундольф, — ведется в различных направлениях против разрушения этого наследия и его неверного истолкования». Таким образом, маскируемая под охрану культурного наследства, эта кампания представляла благородным и необходимым делом, не столько агрессивным, сколько широко благотворительным. Но, как на более широком и более буквальном уровне показали последующие события, войны — даже те, которые предпринимались якобы из самых лучших побуждений, — это животные, которых трудно контролировать и которые часто оборачиваются как раз против тех, кто их вызывает.

Делом первостепенной важности было укрепить основания, на которые круг — и как идея, и как живой опыт — опирался. В восьмом номере «Листка» в начале 1910 года Гундольф опубликовал «Преданность и ученичество» («Gefolgschaft und Jüngertum»), короткое эссе, которое почти самостоятельно создавало образ как Георге, так и его последователей, остающихся с тех пор фактически неизменными. Эссе построено в виде апологии, защищающей идеалы, к которым оно призывало, на относительно абстрактном уровне. Гундольф нигде не упоминает Георге по имени — он обращается только к *фюреру*, — не идентифицирует также ни одного из соратников Георге или его «учеников», хотя не могло быть никакой ошибки, что эссе в целом было о чем-либо ином. Но у этого риторического приема была цель: отказываясь опускаться от общего к особенному, Гундольф сумел избежать осквернения своего Я посредством прямого контакта с грязным миром реальных частных — сферы, которую он, как ученик Георге, так или иначе ненавидел. Еще более важным, вообще говоря, было то, что Гундольф добился чтобы его слова выглядели более вескими, менее спорными, как будто он обстоятельно объяснял древние истины, а не выражал простое мнение. Гундольф бесспорно верил в то, что писал, но для него все не ограничивалось верой. Стиль «Преданности и ученичества» говорит столь же много о его убеждениях, как и содержание. Гундольф не пытался убедить себя или кого-то еще; он просто раскрывал то, что было явным для любого, имеющего глаза.

Трудность заключалась в том, что, согласно Гундольфу, большинство людей слишком ослеплено тщеславием, предрассудками и эгоизмом, слишком очаровано лестными обещаниями, раздаваемыми современными либеральными идеалами индивидуальности, независимости и самоопределения, чтобы почувствовать более древние истины, которые он раскрывал.

Менее удивительно, писал Гундольф, что «образ и понятие „ученика“ чуждо нашему времени и почти смехотворно». Чтобы быть истинным учеником, объяснял он, каждому необходимо нечто такое, чего недостает в сегодняшнем мире, — «любовь». Любовь вызывает сдвиг перспективы, она размещает вещи в абсолютно ином свете. Любовь не знает причин, не допускает аргументов, не нуждается ни в каком оправдании. «Тот, кто видит в *фюрере* только представителя движения, не понимает; тот, кто видит в нем только личность, не может ему служить». *Фюрер* должен быть чем-то гораздо большим для ученика, чем рупором доктрины; фактически, он должен быть чем-то большим, чем просто человеческое существо. Истинный ученик обязательно обнаружит своего вождя безупречным, неповторимым, возвышенным: иначе говоря, ученик должен любить его, как любят высшее существо. «Тот, кто находит своего учителя незаменимым, может назвать себя Учеником». Ученики становятся наделенными волей инструментами своего учителя, пустыми сосудами, заполненными субстанцией их учителя; они безоговорочно отдаются служению тому, кого любят. «Обязанность учеников не подражание, — настаивал Гундольф. — Их гордость в том, что их учитель уникален. Они должны не создавать его образ, а, скорее, *быть* его произведением, не выставлять напоказ его окаменелые черты и жесты, а, скорее, поглощать своим существом то, что было его кровью и его дыханием, его борьбой и его теплотой, его музыкой и его движением, и передавать это во все еще холодный или пустой мир». Ученики *фюрера*, продолжал Гундольф, должны быть «той печью, которую он раскалил, тем делом, которое он одушевил: реализация — воплощение — повторение его великого дыхания... не говоря уже о следах и лучах и семенах его власти». Очищаемые разделяющим желанием «предъявлять к самим себе» требования, такие ученики освобождались от «высокомерной изоляции Эго». Подлинные ученики не только оставляют желание быть самостоятельными деятелями, но также с готовностью жертвуют своим существом ради учителя: «Там, где они признают Необходимость, с радостью разрушают свое Эго и счастливы быть топливом для высшего пламени».

Теперь любой, кто знал внутреннюю историю отношений Гундольфа к Георге, мог обоснованно утверждать, что он превратил свою личную склонность к самоуничтожению в универсальный принцип поведения. Помимо самоуверенного красноречия можно обнаружить попытку Гундольфа облагородить свое собственное стремление понравиться тому, кто почти никогда не демонстрировал, а только принимал знаки привязанности как самую искреннюю форму любви, словно пытался узаконить свое собственное эмоциональное подобострашие, изображая его как универсальную норму. Но Гундольф на этом еще не останавливался. Он предпринял также наступление на противоположный прототип его определения ученика —

того, что он назвал «личностью». Здесь он осыпал насмешками понятие, что «случайной ограниченной индивидуальной форме — связке движущих сил желаний, идей и способностей, — данных маленькому человеческому существу, должно быть позволено жить полноценной жизнью, быть для себя целью и требовать уважения». Гундольф не мог решить, находит он идею, что все люди равны — или имеют право таковыми считаться, — смехотворной или отвратительной. Для него существовали естественные и абсолютные различия между людьми, иерархии, ратифицированные историей и подтвержденные наблюдением; и только современная тенденция сводить все различия к небольшому взаимозаменяемому набору равнодушных знаменателей приводила к извращенному выводу, что все обладают «личностью». «Каждый является личностью; личности существуют только там, где мировая субстанция отливается в новые кристаллы». Таким образом, только «учитель» или *фюрер* могут должным образом быть названы «личностью». При таких неизбежных обстоятельствах, рассуждал Гундольф, варианты, открытые для остальных из нас, являются относительно ограниченными: «Тот, кто знает о себе, что он не учитель, должен учиться быть слугой или учеником — это лучше, чем гиперактивное тщеславие».

Не следует питать иллюзий относительно радикальности концепции Гундольфа или относительно того, в какой степени она находится в прямой и намеренной оппозиции основным принципам политического, морального и даже психологического либерализма. Одаренный Гундольф поставил что-то похожее на скрытый самодиагноз своей собственной частной патологии, но его эссе предоставило нечто большее чем тайный автопортрет. В нем Гундольф сознательно устанавливал канон ценностей и поведения, якобы утвержденный древним, неписанным законом, учреждал кодекс, предназначенный для руководства действиями, а на самом деле жизнями других людей. «Реконструкция душ — это желание или намерение каждого власть имущего, кто говорит и действует», — аподиктически провозглашал Гундольф. Ученики такого рода рассматривались Гундольфом как люди, согласные с тем, что их «души» будут простой глиной в руках «деятеля», и даже с тем, что они будут совершенной случайной пищей для его замыслов: «Они должны знать, что являются только материалом и средством, и они должны вновь научиться приносить себя в жертву».

Противником Гундольфа здесь — вдобавок и самого Георге — была не столько современная Германия, сколько все европейское наследие Просвещения, с его акцентом на индивидуальной свободе, основном праве каждого человека на равенство перед законом и неприкосновенной ценностью любой человеческой жизни. Заявления Гундольфа читались как преднамеренный отказ от требования Канта рассматривать любого человека

как цель и никогда как средство для какого-то иного замысла — оплота моральной философии, которая поставила человеческое достоинство в центр своей концепции. Как известно, Георге думал о своем собрате и не собирался наделять существо, бывшее в его глазах столь презренным и отвратительным, каким-либо великодушным отличием. Другие люди имели ценность для Георге только в той мере, в какой могли служить полезными инструментами или подходящими сосудами; в ином случае они были совершенно бесполезными созданиями для одноразового использования. Фактически, как указывал Гундольф, даже от тех, кто был на какое-то время пригоден для *фюрера*, можно было отказаться, как только их полезность исчерпывалась. Под этой категорией Гундольф описывал различные формы «ложного ученичества», подразумевающего поиск *фюрера* просто потому, что его послание ново и предназначено для малочисленного меньшинства, и возможность принадлежать к клубу избранных. Имеются и другие, которые на самом деле преданы, но им не хватает глубины, чтобы полностью постичь, чем они обладают. Те и другие тем не менее полезны, потому что добавляют дров в огонь или, как говорил Гундольф, потому что влекут за собой других «на поле битвы, ускоряют производительную борьбу, готовят воздух к свисту снарядов»; они необходимы, чтобы «разжечь священную войну». Но как только они высекали искру, им позволяется быть поглощенными охватившим их пламенем.

У Георге, таким образом, было серьезное основание чувствовать себя на подъеме. В «Преданности и ученичестве» Гундольф создал манифест для настоящих и будущих последователей Георге, предоставив ясные, безошибочные рекомендации, как смотреть на самих себя и на своего Учителя. Этот манифест предусматривал, что его ученики должны быть самоотверженными, скромными, сдержанными и лояльными, но также и самоотверженными, бесстрашными и твердыми в исполнении пожеланий Учителя, более того — в воплощении его воли. И Гундольф наделял самого «Учителя», всесильного *фюрера*, чертами, которые удовлетворят самую тайную тоску любого страдающего манией величия человека. Стиль Гундольфа — мощная комбинация надменного красноречия и неприкрашенной полемики, облаченных в изысканное литературное одеяние, — также вносил свой вклад, делая весь ансамбль в целом еще более эффективным. Хотя Георге, фактически, никогда открыто не показывал, что же думает об эссе Гундольфа, но чувствовал себя весьма удовлетворенным, чтобы показывать его своим берлинским друзьям и читать его вслух. Валлентин отметил в своем дневнике, что Учитель однажды вечером формально представил им трактат Гундольфа вместе с благосклонными выводами. Все были взволнованы, писал Валлентин, воинственным тоном эссе, «которое положительно воздействовало на нас своей готовностью к бою».

Мы проделали длинный путь с первых шагов Георге как геральда тайной поэтической доктрины, как эстета в изысканной шляпе, который не любил своих пьющих пиво соотечественников, но все еще считал возможным научить их хоть немного хорошему вкусу. Теперь, окруженный компанией решительных лоялистов, вооруженных и готовых исполнять его распоряжения, он находился в центре квазирелигиозного культурного крестового похода, беззастенчиво призывающего к «священной войне». Это не было внезапное преображение, но оно, конечно, было поразительным. Как признавал и Зиммель, одним из самых ярких аспектов жизни и творчества Георге была странная прямота, непоколебимая целеустремленность, очевидная во всем, что он делал. Всегда был агрессивный элемент и в его личности и в поэзии, скрытая утверждающая сила, питавшая его потребность доминировать и управлять своим окружением. Георге был также склонен выражать свое понимание мира в воинственных терминах. Он всегда принципиально определял себя через своих врагов, настоящих или воображаемых. В течение долгого времени список его антагонистов постоянно возрастал и должен был продолжать расширяться, в конечном счете охватывая обширный диапазон предполагаемых злодеев и мошенников. Мы едва ли должны повторять этот список — он включал в себя пруссаков, протестантов, жадных буржуа и натуралистов с помойки, даже саму природу. Постепенно почти все непосредственно не идентифицируемое с самим Георге автоматически попадало в категорию проклятого.

Возможно, самая важная веха на пути Георге от поэта к властителю, как в публичном восприятии, так и в глазах его последователей, была установлена в 1910 году. В том же самом номере «Листка», в котором появилось «Преданность и ученичество» Гундольфа, Фридрих Вольтерс опубликовал отрывок из произведения, над которым трудился более трех лет, названного «Суверенитет и служение» («Herrschaft und Dienst»). Вольтерс закончил его в апреле предыдущего года, хотя отрывки из него циркулировали среди членов круга еще ранее. В феврале 1909 года, например, Георге писал Вольтерсу из Мюнхена (здесь Георге останавливался в своих постоянных комнатах у Вольфскеля): «Люди здесь читают ваши строки из „Суверенитета и служения“ с самыми высокими похвалами и интересом и нетерпеливо ожидают появления всего произведения». Когда оно действительно появилось, то было сразу же воспринято как сигнализирующее о поворотном моменте. Курт Гильдебрандт вспоминал, что он и его друзья в Берлине рассматривали эту работу как знаменующую категорический отказ от «эстетства» прошлого, как устанавливающую руководящие принципы для будущей деятельности. «Вместо „кружка“ читателей, — говорил Гильдебрандт, определяя перемену, — теперь круг учеников должен был найти свое воплощение в формировании духовного государства, которое могло бы постепенно проникать в самые отдаленные регионы, каких толь-

ко можно достичь. Только теперь мы начинаем полностью понимать значение имен Учитель и Ученик».

«Суверенитет и служение» Вольтерса, как признал Гильдебрандт, дополнял и усиливал собственные работы Гундольфа об отношении Ученика и Учителя, так как очерчивал окружность, внутри которой эти отношения располагаются. Вольтерс использовал несколько отличные термины — вместо «учителя» или *фюрера*, Вольтерс говорил о «Правителе» и избегал слово «ученик», предпочитая более активную категорию «слуга», — но вообще явления, которые они оба описывали, были, фактически, идентичны. Есть и другие сходства, также связывающие эти два эссе. Как и Гундольф, Вольтерс избрал торжественный, пророческий тон, но дикция Уолтерса, во всяком случае, была более темной и туманной. Стилистически язык Вольтерса, используемый в «Суверенитете и служении», кажется, располагался посредине между поэзией и прозой. Вольтерс высказывал более или менее связные аргументы, но делал это внутри весьма метафорической среды. Георге, который мало думал об академической, или «научной», прозе, полагал, что такой гибрид был идеальным и рассматривал произведение Вольтерса как образец такого рода. «Есть промежуточная форма между наукой и поэзией, — сказал Георге однажды. — „Суверенитет и служение“ также представляет собой [такое] соединение и оно прекрасно». С течением времени этот «соединенный» стиль стал отличительной чертой круга Георге, и именно Вольтерс был первым, кто его усовершенствовал.

Но при всех пунктах согласия между Гундольфом и Вольтерсом, каждый из них устанавливает свой собственный отличительный акцент. В то время как Гундольф в основном сконцентрировался на психологических и эмоциональных основаниях связи между Учителем и Учеником, Вольтерс пытался сформулировать более значительную воображаемую, если можно так выразиться, сверхструктуру, в которой это отношение, как предполагается, имеет смысл. Вольтерс начал с проведения параллели между тем, что называл «семьями по крови» и «семьями по духу» (*Geist*), где первые определяли физические взаимосвязи между людьми, а последние — связи, возникающие посредством чисто интеллектуального или духовного единства, свободного от ограничений пространства и времени. Таким образом, существует, объяснял Вольтерс, за пределами или позади материальной сферы «Духовная сфера», или «Империя» (*Reich*), невидимая для глаза и недоступная осязанию, но тем не менее вполне реальная. На самом деле, именно невидимые силы, зарождающиеся в этой Духовной империи, тайно управляют материальным миром, недооцениваемые глупыми массами, но всегда молчаливо действующие и очевидные для тех, кто в состоянии их воспринимать и учитывать их императивы. Вместе взятые, эти цели, тайно управляющие миром, и есть то, что Вольтерс называл «суверенитетом» (*Herrschaft*), сконцентрированным в фигуре «Правителя» (*Herrscher*). При-

роде этой духовной власти свойственно стремиться формировать физическую сферу в соответствии со своим собственным образом, подчинять ее замыслу своего собственного созидания. «Суверенитет не терпит никакой вещи, никакого существа в сферах Царства, которые несут на себе иные знаки отличия, нежели его собственные, — утверждал Вольтерс. — Поэтому Царство созидает себя в соответствии с образом Суверенитета: но он создается и поддерживается Правителем». И как раз через так называемое Духовное деяние, в котором абстрактное понятие преобразуется в конкретную форму, Правитель и осуществляет свое влияние на мир. «Духовное деяние является содержанием Суверенитета, через которое Правитель подчиняет сферы Империи своей созидательной воле посредством внутреннего принуждения, управляет он унаследованным состоянием или устанавливает такое, какого никогда не видели ранее, направляет он свой огонь на проверенные или непроверенные субстанции, будь это вера или глина, государство или камень, язык или число». Таким образом, «Духовное деяние» может принимать множество форм, и Правитель может также принимать множество обликов. Что остается постоянным, так это глубокое, изменяющее реальность влияние, которое Правитель и его Деяние оказывают на тот способ, каким мы видим самих себя и вселенную.

Именно здесь в концепции Вольтерса о созидательной власти Правителя, позволяющей сформировать мир, его самое большое расхождение с Гундольфом и становится очевидным. Гундольф был настолько переполнен отвращением к тому, что рассматривал как непоправимо деградировавшее человечество, что единственный возможный план действий, который он мог вообразить, заключался в том, чтобы отказаться от всякого контакта с теми, кто находится вне его области, или желать их дальнейшего уничтожения, или, поскольку оба сценария были вполне совместимы друг с другом, предпочитать и то и другое. Вольтерс также не питал большой нежности к своему брату, но больше интересовался имеющей решающее значение способностью Правителя формировать вещи по его собственному подобию, заставляя мир соответствовать его собственному характеру. Вольтерс настаивал, что ему было совершенно безразлично, как Правитель обладал своей властью, или что значит, что он использует ее, чтобы достичь своих целей. Правитель мог быть государственным деятелем или поэтом, пророком или физиком. Важно было то, что в каждом случае, хотя и действуя через различные субстанции, Правитель изменяет внешний мир, навязывая ему свой особый взгляд или особое понимание вещей — свою духовную печать, — этому миру, а поэтому и нам.

Гораздо более явно, чем Гундольф, Вольтерс изображал весьма особенного человека так, как будто тот представлял собой универсальный тип. И даже хотя Вольтерс, как и Гундольф, опускал все имена, чтобы усилить этот эффект, не могло быть сомнений, что он не имел никого в виду,

кроме Георге. (Возможно, признавая тщетность попыток скрывать то, что было легко увидеть, Гундольф даже предположил, после того как прочитал рукопись, что Вольтерс добавит подзаголовок «О творчестве С[тефана] Г[еорге]»). Однако Вольтерс более или менее открыто признавал, что его первоочередная задача заключалась не в том, чтобы рассмотреть каждую возможную перемену, в которой Правитель может себя обнаружить, а, скорее, в том, чтобы «созерцать Правителя, материалом которого является язык, творчеством которого является поэзия, в его высшей форме как единственного и уникального человека, и благодаря такому созерцанию научиться почитать его более глубоко». В частности, Вольтерс утверждал, что действительно видел определенное преимущество, предоставленное поэту над другими возможными типами Правителя, в том, что его инструмент — язык — допускает андрогинный сплав мужских и женских принципов в груди поэта, результат которого — стихотворение — превышает с точки зрения его неделимости плод физического синтеза, созданный союзом мужчины и женщины. Это так, доказывает Вольтерс, потому что «для поэзии материалом является двойственный элемент языка и внутреннего видения, где женские и мужские души достигают такого единства с созидательной мощью поэтического духа, что его триединство в произведении можно еще меньше разделить, чем кровь матери, кровь отца и созидательную любовь в ребенке». Таким образом, поэт, творчество которого объединяет мужское и женское, материю и дух, действительно занимает привилегированное положение в космографии Вольтерса и подтверждает то, что читатель и так знал все время: квинтэссенция Правителя — сам Георге, его поэзия — образец Духовного деяния, а все его ученики — образцовые обитатели Духовной империи.

Любому, кто внимательно следил за ходом карьеры Георге и читал его поэзию трезвым взором, совсем немного в трактате Вольтерса покажется неожиданным. Он просто разъяснил, с несколько большей очевидностью и последовательностью, многое из того, что все время было и в жизни и в поэзии Георге. Что *было* новым, однако, и могло иметь огромные последствия и для Георге и для его круга, как и для Германии в целом, так это внутреннее отождествление, даже слияние Георге и всего, что он собой представлял, с политической сферой. Используя категории, обычно сохраняемые для политического дискурса, чтобы описывать действия и цели поэта, Вольтерс эффективно соединил роли политического деятеля и поэта в одной-единственной функции. Хотя для непосвященного это было невероятным, но к концу «Суверенитета и служения» оказывалось совершенно разумным думать о Георге как о «Правителе», который тайно управлял миром. И именно так сам Георге, а также Вольтерс и остальная часть его последователей это и видели. Однажды, когда несколько лет спустя кто-то

необдуманно раскритиковал прозаическое описание поэзии Георге в книге Вольтерса, Георге энергично защищал ее, особенно подчеркивая то, что он назвал «главной идеей книги... которая не была признана до сих пор, — что сочинение поэзии есть форма правления».

Именно так действовал и так чувствовал Георге долгое время. Вольтерс просто сформулировал это в виде дискурса. С этого момента Георге имел совершенно ясное представление о своей деятельности, теперь простирающейся далеко за пределы относительно узкого компаса его собственных стихов, даже превосходящей несколько более широкую область «Листка», — представление о деятельности, созидающей своего рода тайное, подземное правительство. Безусловно, мир, которым управлял Георге, был все еще ограничен просто «Духовной империей», но, как полагали он и его приверженцы, она значительно превосходила ту, которой правит буржуазное стяжательство. И поскольку все они были убеждены, что так называемый реальный мир руководствовался невидимым диктатом, исходящим из духовной сферы, то владычество Георге, как считалось, было ближе к изначальным и подлинным истокам любой власти. Он был политическим деятелем духа, правителем духовной сферы, но в своих стремлениях и инстинктах был все же политиком.

В начале июня 1909 года Георге на короткое время остановился в аббатстве Нойбург в Зигельхаузене возле Гейдельберга, где Карлу Вольфскелю нравилось проводить часть летнего времени. Вскоре к ним присоединились другие друзья, включая Мельхиора Лехтера и Фридриха Гундольфа. Как всегда, это был рабочий отпуск — Георге и Гундольф были в середине своей работы над переводом Шекспира — и Георге спускался на завтрак каждое утро в семь тридцать. Пунктуально в восемь Гундольф появлялся со своим портфелем, заполненным работой на весь день, после чего Георге поднимался со словами: «Идем, Гундель, пора управлять». Это был легкий и шуточный комментарий, с тональностью и ароматом того приватного языка, который часто используется среди близких друзей или членов одной семьи. Но Георге не имел привычки посмеиваться над самим собой, и если высказывал что-то в шутовском тоне, то это именно так и было. Для него Духовный *Рейх*, в котором он председательствовал как бесспорный *Фюрер*, был столь же реален, как и любой другой. Нет, он был еще более реальным.



Глава двадцать седьмая

КРУГЛАЯ КОМНАТА

Чтобы понять, как Георге мог выдвигать такие требования к своему собственному авторитету и не быть отвергнутым как сумасшедший или шарлатан, нужно оценить то странное воздействие, которое он все более и более оказывал на людей, его знавших. Александр фон Бернус, который был представлен Георге, когда тот останавливался в аббатстве Нойбург летом 1909 года, утверждал, как и многие другие: «То, что убеждало и поражало в Стефане Георге, было не столько его поэзия... сколько обаяние великой личности, управлявшей своими страстями, но личности, которая была скорее личностью римского цезаря, чем личностью поэта». Бернус, который писал это в 1951 году, признавал, что было трудно, оглядываясь назад более чем на четыре десятилетия, представить ту «магическую привлекательность», какую Георге когда-то излучал. Но «в годы перед Первой мировой войной его окружал почти мифический нимб». Другие, такие как Эдгар Салин, который встретил Георге в то же самое время, были столь же очарованы. «Что-то таинственное нависало над Георге, — вспоминал Салин, — та тайна, которая излучается величием и благородством и образует расстояние, какое изредка преодолевает только почтительная любовь». Девятнадцатилетний друг Эрнста Морвица по имени Ганс Браш был представлен Георге осенью 1911 года. «Наши встречи, — написал Браш, — почти всегда происходили в строгих пустых комнатах, имевшихся у Морвица в западной части Берлина, в комнатах, насыщенных неопишуемой торжественностью, в тайном центре мира, как это мне представлялось».

Знакомые старшего возраста, которые знали Георге не как *фюрера*, но как просто друга, также заметили, что в нем что-то теперь изменилось. Альберт Вервей последний раз видел Георге в 1907 году, как раз перед публикацией «Седьмого кольца». Даже тогда Вервей наблюдал у своего немецкого коллеги тревожную склонность утверждать прерогативы, которые выходили далеко за пределы литературы или задач поэта, как Вервей их понимал. В июне 1910 года Вервей посетил Георге в Бингене. Как обычно, они совершали длительные прогулки, сопровождаемые оживленными беседами о литературных и других проблемах. Однажды Георге поднял свою любимую тему — объявил драму мертвой. Вервей понял: «Его аргументы имели отношение вовсе не к вопросу о драме. Они касались того, был ли он прав в его концепции времени, которая в тот момент привела его к пророческой поэзии, или же прав был я». На самом деле, это вообще не было спором. Георге был уже убежден, что прав, и ничто, возможно, не могло внушить ему мысль, что он не прав. Вервей чувствовал, что не было никакого способа его переубедить. «Георге жил в тот момент внутри магической и пророческой пропаганды, которую ставил гораздо выше своего творчества. Он много и страстно говорил о своей эффективности в этом отношении, о своем значении, своей власти, своем опыте. Так, он сказал Вервею: „С течением времени каждый видит во мне все больше от того, что Вольфскель называет сверхличным“». Вервей пытался утверждать, что поэт, который опирается на стихию сверхличного в своем творчестве и стремится сделать из нее объект почитания с намерением сформировать на основе этого движение, выходит за пределы своих поэтических обязанностей. Напрасно. У Георге была великая задача. «Что поражало меня во всех этих речах, — писал Вервей, — так это сила его веры. *Что* мир может измениться, было для него вполне вероятным. Да, сказал я, но *мы* обязаны быть только поэтами».

Все же, несмотря на скептицизм по отношению к величественному воззрению Георге на самого себя и на свои обязанности, Вервей ощущал, что в этом было что-то искреннее и подлинно могущественное. К своему удивлению Вервей обнаружил, что даже сам не смог не поддаться странному очарованию друга, теперь проявившемуся. Все происходило так, словно Вервей, вопреки собственным оценкам, оказался под воздействием того же самого аромата, который гипнотизировал остальных. «Были моменты, пока он говорил, — откровенничал Вервей, — когда пейзаж, холм с башнями Бингена, казался мне преображенным — словно на этих высотах я прогуливался не с человеком, а с ангелом. Когда мы были в его комнате, то также в отдаленном пристальном взгляде его узких, бледно-голубых глаз, в том, как опускались его большие, испещренные прожилками руки, было нечто такое, что заставляло меня думать о таком божественном создании». Это замечательное признание, исходящее от такого трезвого и

уравновешенного человека. В конечном счете, тем не менее, Вервей был впечатлен, но не убежден. После неудачной попытки заставить Георге признать, что роль поэта заключается не в том, чтобы принимать активное участие в делах мира, Вервей покорно и прозорливо взирал на потаенную опасность в напыщенных устремлениях своего друга. «Я мог живо вообразить, какое влияние, особенно на немецких юношей, мог иметь такой человек, как он. Германия, помимо всего прочего, — это страна личного обожествления *par excellence*. И для него особое искушение как раз в том и заключалось, чтобы иметь такое влияние».

Предчувствия Вервея и его проницательная оценка доминирующей тональности в среде немецкой молодежи тех дней много раз подтверждались в последующие годы. Правда, не все были одинаково восприимчивы к поразительным переменам в личности Георге. В 1909 году, когда «Суверенитет и служение» Вольтерса только что ушло в печать, Александр фон Бернус встретил Георге в аббатстве Нойбург, и поэт, отведя Бернуса в сторону, доверительно сказал: «Я открою вам тайну: все достигается только фанатизмом. Вы, бесспорно, недостаточно фанатичны». Бернус сухо заметил: «Я не принимал этот принцип как свой собственный». Были и другие, кто отказывался быть фанатиком. Позже в том же самом году, в сентябре, Гундольф, всегда бывший на виду у новичков, сообщил Георге, что Альберт Рауш навестил его в Дармштадте днем ранее. Рауш только что вернулся из поездки по северной Германии, где, по-видимому, увлеченно занимался распространением среди своих друзей идеи, которую Гундольф теперь уже привык называть «государством». Рауш был, говорил Гундольф Георге, «очаровательным, внимательным и энергичным, озабоченным успехами государства — он штурмовал Гамбург и Любек и оплодотворял бесчисленное множество молодых людей, графов и баронов, каноническими книгами». Удачно привлекая на сторону государства других, сам Рауш, однако, странным образом колебался посвятить себя служению «государства» целиком. Гундольф сообщал Георге, что упрекнул Рауша за упрямство, сказав, что тот «был просто индивидуалистом и абсолютно некосмическим человеком, фактически слишком далеким от любой всеобъемлющей деятельной страсти, чтобы почувствовать неизбежность грядущей войны».

Несомненно, это была именно та разновидность беседы о надвигающейся войне и о необходимости фанатической преданности не только государству, но и самому Георге, которая давала призывникам некоторую потенциальную паузу. Но там, где подобные Раушу и Бернусу резко останавливались, многие другие оказывались готовы ринуться с головой в пропасть. Двадцатилетний поклонник по имени Эрнст Шертель, который встретил Георге в Мюнхене благодаря Вольфскелю, представлял собой показательный пример. Хотя собственные стихи Шертеля не были сочтены подходящими для публикации в «Листке», Георге терпеливо вы-

носил его присутствие, пробуждая в молодом человеке надежды на более близкую связь. «После длительного периода колебаний и отчаяния, — писал Шертель Георге в начале марта 1910 года, — Я вновь поднимаю свой взор к вам, великому Судье, а также заботливому Пастырю. Примите меня снова, если не как поэта — которому, возможно, будет дозволено достичь зрелости позже, — то как человека, который пьет воду жизни благодаря вам. Позвольте мне вновь дышать одним воздухом с вами и обвить вас жалкими побегами своей любви. Если мне так и не будет позволено подняться наверх, то эти мгновения заполнят мои часы и заглушат муку существования». Шертель закончил, уверяя Георге: «Я в почтительном ученичестве ожидаю благосклонности вашего учительского Совершенства». В конце концов Георге действительно согласился принять Шертеля снова, но решил, что не может дать того, в чем тот нуждался. «Да, мой дорогой, — сказал ему Георге при их последней встрече, — у вас смятенная душа. Я не знаю, как я могу помочь вам. Я также не знаю, могу ли я произвести вас на свет».

Слово, которое Георге здесь использует — *zeugen*, «породить», «зачать» или «произвести на свет», — становится более частым в описаниях той разновидности воздействия, которое он хотел бы оказывать на находящихся под его опекой. Ровно через год, в апреле 1911 года, Георге получил письмо, мало чем отличавшееся от тех, что начинали появляться у него в большом количестве, от молодого человека из Вены по имени Герман Бодек. Австрийский поклонник с почтительностью спрашивал, можно ли ему получить экземпляр «Максимины», который он хочет включить в свою частную коллекцию; все остальное у него уже было. «Я посвятил свою жизнь вам, — торжественно признавался Бодек. — Правда, мне только семнадцать лет, но я уже знаю, что спасение лежит исключительно в служении Великому и в соединении душ для высшего проникновения. Поэтому каждый день я преклоняюсь перед вами и живу светом, исходящим от ваших книг». Очевидно, Бодек прочитал всю поэзию Георге и столь же ясно знал «Листок» и его кодекс. Поэтому он с уверенностью говорил Георге: «Я не эстет и не „книжный червь“. Я мал и незначителен перед вами и не могу вообразить, что когда-то смогу освободиться от вас. (...) Я доверился вам и ради вас мог бы даже оставить и родительский дом, и собственность, и жену». Если бы Георге пожелал иметь его при себе, говорил Бодек, то он был готов к этому.

Поскольку число просивших уделить им внимание выросло, Георге создал более продуманную систему оценки и посвящения, в которой и его роль подверглась соответствующим изменениям. Совместные чтения продолжались, но становились более структурированными и с более разработанной хореографией. Даже то, чем, казалось бы, были относительно неформальные встречи с друзьями, также начинало приобретать видимость

ритуала для тех, кому разрешалось в этих встречах участвовать, словно каждое действие, каждое слово имело более высокое, священное значение. Эмблемой возрастающей торжественности, скорее, содействием ее росту было учреждение так называемой Круглой комнаты в Мюнхене, где более десятилетия, вплоть до послевоенного времени, Георге будет принимать своих друзей и тщательно изучать переполненных надеждами кандидатов. Роберт Берингер, который мог считать себя одним из тех немногих, кто испытал все это, вспоминал в 1950 году: «Те, кто был в Круглой комнате, сохранили память о ней как о чем-то необычном — даже спустя сорок лет я думаю о ней как о пространстве редких и поэтичных дней».

В конце января 1909 года, Вольфскель и его увеличившаяся семья переехали из квартиры на Леопольдштрассе в еще более просторную квартиру на Ромерштрассе, 16, лишь несколькими улицами дальше. Новая квартира была выбрана не только для того чтобы разместить домашнее хозяйство Вольфскеля — весь верхний этаж был зарезервирован для Георге на время его зимних пребываний в Мюнхене. По обе стороны от верхнего зала было два ряда дверей, справа ведущих к незаконченным мансардам, а слева — к двум комнатам, оставленным для Георге. Первая и меньшая из этих двух комнат служила его спальней, а за ней следовало немного большее пространство, бывшее местом собраний Учителя и его друзей. Георге следил за их меблировкой, и их спартанское убранство отражало его желание построить убежище, защищенное от внешнего мира. Все напоминания об этом мире, фактически, были запрещены при входе в комнату. В прихожей стояла невысокая деревянная стойка с сандалиями, на которые посетители должны были обменять свою уличную обувь. Здесь был также большой сундук, содержащий похожие на тогу одеяния, в которые гостей просили облачиться. Георге, как правило, носил широкую, белую одежду с длинными рукавами, напоминающую свободный плащ, или *пеплос*, который носили женщины в Древней Греции, а остальных часто можно было заметить в желтых, светло-синих или темно-синих, коричневых или багряных одеяниях. Лавровый венец завершал костюм.

Внутри комнаты на полу лежала простая соломенная циновка, а стены были покрыты приблизительно до высоты плеч светло-желтой мешковиной. Остальные стены были белыми. По периметру комнаты, как раз на верхнем уровне ткани, покрывавшей стену, тянулась узкая полка из натурального необработанного дерева, предназначенная для хранения рукописей и корректур, вдобавок к паре подсвечников. «Не было никаких книг в Круглой комнате в Мюнхене, — говорил позже Георге своему другу; если случайный том когда-нибудь и появлялся перед глазами, то вскоре небрежно прятавался среди других бумаг. В середине комнаты стоял стол, сколоченный из того же самого белого, гладко обработанного дерева, с прямыми ножками, обычно покрытый простой белой скатертью. Стол ок-

ружали широкие скамьи, достаточно длинные, чтобы на них можно было лежать, обитые материей, с тонкими подушками, покрытыми холстом. И, что наиболее важно, в дополнение к свету, входившему в комнату из единственного окна, с потолка свисал молочный стеклянный шар, сделанный по особому заказу, распространявший яркий свет электрической лампы, которую он скрывал. Прибор и дал комнате название. «Эта простая, похожая на солнце лампа, которая висела в комнате, была тогда чем-то чрезвычайно необычным, — писал Ганс Браш, который был введен в комнату вскоре после того, как вспыхнула война. — Сегодня такая лампа стала стандартной формой освещения — вероятно, и не представить, кто же изобрел ее со столь простой функциональностью. Тогда же круглая лампа напоминала что-то похожее на солнце, космос, середину и круг, и была подобна отражению сущности космоса».

«Такой и была вся обстановка, — сообщает другой соратник Георге. На самом деле, была одна заметная точка в комнате, не упомянутая в большинстве описаний, но, очевидно, имеющая особое значение, в частности, потому что это была единственная неутилитарная, просто декоративная вещь в комнате. На стене напротив окна над полкой с рукописями висела фотография нагого юноши, которого можно было увидеть в три четверти его роста — ягодицы, спина, плечи. В поднятой левой руке он держал посох, правая рука отведена в сторону, на голове — лавровый венок. Любой, кто чувствовал необходимость сказать о существовании изображения, признавал, что это *Максимин* — одна из фотографий, сделанных как раз перед смертью Максимилиана Кронбергера.

Здесь, в Круглой комнате, под наблюдением его личного божества, Георге общался с теми, кого вызывал. Как Георге и задумывал, каждый представлял, словно вступает в иной мир. «Полуденное солнце падало в комнату», — вспоминал один из посетителей. «Через окно каждый видел только линию крыши, орнамент кромки лежащего напротив дома и открытое небо вверху. Когда косые лучи пылающего солнца затопляли комнату, любой мог поверить — вдалеке от звуков улицы, — что был на далекой земле». Один из его друзей сказал, что Круглая комната — «единственная истинная святыня этого города, в которой так много алтарей».

Посещение Круглой комнаты не было, очевидно, случайностью, и каждый момент имел определенную форму. По заранее условленному сигналу дверного звонка Георге сам открывал дверь и сопровождал гостя в свое царство. Иногда был только один-единственный посетитель (Ганс Браш говорил: «Я всегда был наедине с ним — его встречи с близкими людьми были встречами один на один, в которые третьему лицу не позволяли вмешиваться»). Гораздо чаще присутствовало несколько человек в одно и то же время, хотя никто и не знал заранее, кто еще мог там быть. Георге обращался к ним только по именам или по одному из прозвищ, которые ему

нравилось придумывать для своих друзей. Когда все переодевались и надевали на голову лавровый венок, то занимали свое место в Круглой комнате, сидя или лежа на длинных скамьях вокруг стола.

В зависимости от настроения или от собравшихся людей, Георге часто не разрешал нарушать заранее назначенные слушания — он просил, чтобы один из участников ритуала прочитал вслух либо что-то из его произведений, либо из каталога официальных поэтов, либо, изредка, из их собственных стихов. После этого первого раунда чтений мог состояться менее упорядоченный обмен мнениями, но опять-таки Георге препятствовал тому, чтобы разговор отклонялся в сторону, и настаивал на том, чтобы слова и мысли каждого участника были сосредоточены на настоящем случае, прежде всего на том, что было прочитано. За обсуждением мог следовать другой раунд чтений, принять участие в котором могли попросить любого. Когда вечер затягивался, они делали паузу для простого ужина. Оловянные тарелки, наполненные апельсинами, финиками и хлебом, ставились на стол, а вино разливалось в оловянные кубки. За отдыхом, который опять-таки в зависимости от обстоятельств мог быть шумным или располагающим к задумчивости, следовали новые чтения и либо дальнейшее обсуждение стихов, либо молчаливые размышления. Наконец, сам Учитель мог прочесть что-то из своих новых стихов, всегда в своей необычной манере. «Это было, — описывает один из участников этих собраний, — что-то похожее на скандирование, невыразительное, суровое, магическое пение, со слишком тяжелым подчеркиванием ритма, каждой строки в целом, каждого слова, связанного со строкой, разумеется, противоположное любой театральности, но лишь слегка искаженное, только меняющее тональность». Когда заканчивалось это немое созерцание чтения и приближалась полночь, Георге выпроваживал гостей на темные и тихие улицы.

Есть отзыв о стандартном введении в поэтический ритуал Круглой комнаты в мемуарах Герберта Штайнера, уроженца Вены. В начале 1908 года, Штайнер, тогда шестнадцатилетний, сначала написал Гундольфу, правильно решив, что приблизиться к Учителю лучше всего косвенно, через посредника. Штайнер рассказывает, что пришел к поэзии Георге и ко всему кругу «Листка» «через великую и достойную похвалы роль Гуго фон Гофмансталя в движении девяностых». Штайнер думал, должно быть, что одно упоминание имени известного соотечественника может положительно рекомендовать его в глазах Гундольфа и, следовательно, Георге. (В таком предположении Штайнер был недалеко от истины, но, вероятно, не в том отношении, какое воображал. Годом позже, в беседе с Бертольдом Валлентином, Георге сказал, что Гофмансталь, с которым он прекратил общение тремя годами ранее, все еще продолжал быть ему дорог, поскольку служил «воротами», через которые другие люди находили к нему путь.) Только для того чтобы себя обезопасить, Штайнер попытался также уси-

лить значение своих верительных грамот посредством анализа нескольких стихотворений из «Листка», включая и стихи Гундольфа, а к ним добавил несколько стихов, написанных им самим, посвященных, что не удивительно, «Фридриху Гундольфу». Последний ответил взвешенной оговоркой, сухо поблагодарив за выраженные Штайнером убеждения и за стихи — «дружественный знак неожиданного отдаленного влияния», как выразился Гундольф. Еще несколько писем были посланы туда и обратно, пока через несколько месяцев Штайнер наконец не признался в том, что нетерпеливо желал спросить с самого начала — «какие условия следует выполнить, чтобы стать членом „Листка за искусство“, или с кем необходимо сблизиться».

Ответ Гундольфа — все еще холодный, несколько покровительственный, не препятствующий, но и не поощряющий — придерживался официальной линии, что «Листок» был не «клубом» или «закрытым обществом», а «духовным кругом, участники которого нашли друг друга благодаря общей позиции и общим представлениям об искусстве». Но, предостерегал Гундольф, нельзя было просто «заявить о членстве» в кругу людей, связанных с «Листком», как нельзя объявить себя членом Школы Романтизма, скажем, или Века Гёте. Кроме того «Листок» — «орган этого круга» — следует считать не обыкновенным литературным журналом, но «сборником для поэтического и лингвистического выражения этих новых представлений и нового опыта». Настаивая, что их публикации были «доступны любому, кто показывает себя сочувствующим», Гундольф дал Штайнеру также адрес Отто фон Хольтена, берлинского издателя, который публиковал журнал с самого начала. Это было классическое приглашение в «Листок» — отчасти отказ, отчасти упрек, доля высокомерия и здоровая мера презрения, все это было обернуто в видимое предложение присоединиться к организации, в котором утверждалось, что у нее нет целей, отличных от тех, что декларировались.

Несмотря на этот мало обнадеживающий прием, возможно, в качестве награды за настойчивость, Штайнеру дали возможность встретиться с самим Учителем два месяца спустя, когда Георге некоторое время был в Вене. За день до того, как их встреча должна была произойти, Штайнер получил от Гундольфа название и адрес отеля, где остановился Георге. В назначенный час Штайнер направился в комнату поэта. Как обычно, Георге спросил молодого человека об успехах в школе и, признав, насколько несправедливы были экзамены, внушил Штайнеру, насколько тем не менее важно было их успешно сдать. Затем Георге обратился к своему любимому предмету. Он спросил, знает ли Штайнер, как читать стихи? («Он хотел меня научить».) Георге хотел также уяснить, знает ли Штайнер ту антологию поэзии, которую он и Вольфскель составили, и, получив отрицательный ответ, обещал послать ее ему, сказав: «Она даст вам образец». Они об-

менялись еще несколькими любезностями, и Георге выразил желание увидеть Штайнера снова. Но прежде чем вторая встреча могла бы произойти, Георге внезапно покинул город.

Штайнер произвел, должно быть, благоприятное впечатление. Впоследствии были предприняты попытки устроить другую встречу, но она состоялась только через год. В середине февраля 1910 года Штайнер взял недельный отпуск в школе и отправился поездом в Мюнхен, где Учитель проживал в своих комнатах в квартире Вольфскеля. Георге лично пришел на станцию, чтобы забрать его, и Штайнер вспоминал: «В слабо освещенном станционном зале меня приветствовала стоящая за турникетом фигура в черной шапочке и застегнутом черном пальто, покачивающемся как сутана. Я был поражен его смертельно бледным лицом». В Круглой комнате Штайнера попросили надеть одеяние из верблюжьей шерсти, в то время как Георге и Гундольф, который также присутствовал, были облачены в белое. Позже к ним присоединились Вольфскель и его жена Ханна, и после наслаждения легкой трапезой все читали вслух.

В следующие несколько дней Георге и Штайнер почти ежедневно совершали совместные утренние прогулки по снежным улицам Мюнхена. Словно ради внешнего признания своего приподнятого настроения Георге носил синий басконский берет, который приобрел за двадцать лет до этого, путешествуя по Испании. Когда Георге настойчиво требовал, его юный спутник также примерял этот берет. Вообще, Георге много рассказывал о той ранней эпохе своей жизни, развлекая Штайнера историями о Малларме, «в доме которого никто никогда не говорил о деньгах», о том, что даже талант актрисы Элеоноры Дузе «не в состоянии спасти современный театр». И он разбрасывался анекдотами о друзьях, оставленных в далеком прошлом, таких как Поль Жерарди, который был настолько неорганизован, говорил Георге, что забыл появиться даже на своей собственной свадьбе. Георге рассказал также Штайнеру о своей семье, о матери, сестре и дедушке из Лотарингии, Йоганне Баптисте, который следовал за войсками Наполеона в восточном направлении к Бюдесхайму.

Все это время Георге внимательно наблюдал за своим новым знакомым, отмечая признаки того, насколько он мог подойти для его руководства и его замыслов. Указывая на Гундольфа, Георге сказал Штайнеру: «Смотри, что я из него сделал!» словно намекая, что, если ему будет позволено, то он выполнит те же самые преобразования и со Штайнером. Георге более или менее откровенно сказал Штайнеру, что хочет сегодня иметь дело с молодежью, и «формировать ее, формировать по *своему* подобию» — желание, которое, как явно ощутил Штайнер, было направлено и на него. Быть потенциальным объектом такого демиургического устремления — это был поразительный и немного пугающий опыт. «Его напряженность и могучая воля редко расслаблялись», — писал Штайнер.

Размышляя над теми зимними днями в Мюнхене, он вспоминал, что «действия Георге были систематическими, нацеленными на долгое время действиями человека, который знает, как управлять, и заставляет любого думать, что сила и тайна находятся на его стороне». Молодому человеку Георге действительно казался «тайным правителем, неизвестным тем, кто имел власть над миром, преднамеренно неизвестным, стоявшим в стороне от всего видимого». Это было тревожное, хотя и странно волнующее ощущение — находиться в присутствии того, кто, казалось бы, жил на уровне, отличном от всех остальных. Во время одной из их бесед Георге небрежно использовал слово «махатма». Штайнер никогда не слышал этого слова прежде и спросил, что оно означало. «Я вижу его, — писал Штайнер, пробуждая образ в своем умственном взоре, — с сигаретой в одной руке, с моноклем в другой, я слышу спокойный ответ, окрашенный диалектом: „Махатмы — это те силы, которые стоят выше жизни. Если они нуждаются в человеке, который будет за них сражаться, они даруют ему жизнь. Меня послала махатма“». Ощущение, что Георге был каким-то инкогнито, что он похож на короля в изгнании, беглого суверена, собирающего войска оппозиционных сил из какого-то подземного убежища, усилилось во время одной из их прогулок по городу. Когда они завернули за угол, то увидели полк солдат, идущих им навстречу, сопровождаемый громкими звуками оркестра. К удивлению Штайнера Георге быстро нырнул в ближайший переулок, словно не желал быть обнаруженным.

В тот момент тем не менее Георге был обеспокоен не столько попаданием в руки врага, сколько завоеванием своей собственной добычи. На сессиях в Круглой комнате он открыл Штайнеру то, что называл «тайной кольца», «тайной избранного происхождения» — *Sohnschaft*, или буквально «сыновства», производившего то потомство, которое Георге, у которого не могло быть физических детей, мог произвести только духовно. «Он верил, — откровенно рассказывает Штайнер об их беседах, — в духовное оплодотворение, в восстановление и возрождение ученика через учителя, в имплантацию духа, как жрец первобытного племени». Однажды утром Георге читал вслух Штайнеру из «Федра» Платона — одной из немногих книг, разрешенных в Круглой комнате, в переводе Рудольфа Кесснера, — сосредоточившись на длинной речи Сократа о безумном неистовстве любви.

И все же, каким бы двусмысленным все это ни казалось, Георге, как всегда осторожный, тщательно избегал любого сближения. Когда пребывание Штайнера приблизилось к концу, Георге в последний раз принял его в Круглой комнате. Там он открыл экземпляр восьмого номера «Листка», подаренного им Штайнеру и содержавшего отрывок в прозе, описывавший открытие Максимиана. Георге указал на картину, висевшую на стене, и сказал: «Вот нечто, о чем я не сказал вам еще ни слова». В букваль-

ном смысле это было верно. Но в ином смысле он и не говорил ни о чем другом. Все было так, словно, утверждая, что Максимин никогда не появлялся в их беседах, Георге готовил Штайнера к любым будущим вопросам о том, что было сказано или сделано во время его визита, тайком репетируя, какими должны быть ответы Штайнера. Более того, Георге отослал молодого человека с предупреждением не тешить себя самонадеянной верой, будто он теперь знает все о нем или его друзьях. «Это, — сказал Георге, — была только первая инициация».

Случилось так, что она была и последней. То ли Георге чувствовал, что не сможет слишком сблизиться со Штайнером, то ли Штайнер ощущал, что зашел настолько далеко, насколько желал, но они никогда не встречались вновь. Уже во время его пребывания Георге сочинил стихотворение, посвященное «Г.», которое указывало, что он, в сущности, отверг Штайнера. Георге показал ему стихотворение еще до того, как тот уехал, но поскольку оно еще не имело законченной формы, то Георге не позволил взять его или сделать копию. Он сказал только, что не хотел, чтобы оно «стало всем известным». Стихотворение в конечном счете нашло свое место в следующей книге Георге, «Звезде согласия», но без каких-либо идентификационных признаков, которые указывали бы на его действительный предмет. Штайнер, конечно же, узнал себя в нем. Он считал, что стихотворение прекрасно засвидетельствовало «игривость и серьезность тех дней, шутивное сопротивление, неуловимое, скрываемое и подавлявшее испуг и тревогу, излучаемую Георге напряженность и его заботливость».

Именно это неустанное, целеустремленное стремление Георге к преданности молодого человека, именно этот мягкий отказ Штайнера от обещаний поклонника и увековечивает в памяти это стихотворение. Как это часто происходило с Георге, он использовал стихотворение как способ оставить неудавшееся начинание позади, закрыть в своей жизни главу, которая причинила ему боль и страдание. В окончательной версии поэт, обращаясь к абстрактному «вы», косвенным образом выражает туманное разочарование тем, что тот, кто первоначально казался таким многообещающим, должен был отвернуться от него. И все же очарование адресата настолько располагает к себе, что поэт не может оставаться сердитым. «Кто пожелает вам иного, — задумчиво спрашивает поэт, — когда вы с улыбкой опускаете свою голову?» Георге призвал на помощь даже свои любимые образы цветов, всегда насыщенные сексуальным значением, чтобы выразить неравенство между очевидной зрелостью уходящего спутника — и в поведении, и во внешности — и его фактическим возрастом, сравнивая его со «слишком пышным цветком на слишком нежном стебле». Тем не менее поэт говорит, что не может все время ждать какого-то внешнего события, чтобы изменить жизнь другого. «Не говорите слишком стро-

го о слабости того, кто себя отделил, — целью стихотворения и является ответ на этот нежный упрек: „Помните, как вы смотрели на меня, и я был для вас светлым чудом и ничем другим“»).

Эрнст Морвиц говорит, что фраза «светлое чудо» пришла от Фридриха Гундольфа, который изобрел ее применительно к популярной французской спортивной фигуре, известной в то время как «маленькое чудо» и носившей сценический псевдоним «Блондин». Несколько уничижительный оттенок эпитета, вместе со стихотворным изображением смиренного согласия с обвинением в отказе от отношений, и, наконец, утверждение, что он ничего не имел в виду, кроме короткого развлечения, — все это помогло Георге разместить эпизод в надлежащей перспективе. Штайнер сделал выбор, и сделал плохой выбор. Не все, кого допускали в святилище Круглой комнаты и, таким образом, давали возможность быть духовно оплодотворенными Учителем, уступали искушению. Те, кто сопротивлялся, были навсегда отправлены в бесплодие внешнего мира — судьба, которую Георге сравнивал со смертью при жизни.



Глава двадцать восьмая

ТАЙНАЯ ГЕРМАНИЯ

Столь же важные, как ритуал Круглой комнаты, опубликованные оды его абсолютному лидерству, и все более и более церемониальные, чрезвычайно систематизированные чтения и в мюнхенских и в берлинских кружках хотя и содействовали консолидации вокруг личности Георге и его авторитета, но были все еще в значительной степени частным делом, охватывавшим только небольшое число избранных участников, и в любом случае являлись упражнением в проповеди для вновь обращенных. Что было необходимым, так это средство охватить более многочисленную аудиторию, способ передать послание Учителя миру — по крайней мере, чему-то большему, чем приблизительно две дюжины человек, бывших активными приверженцами круга. Именно этого, как мы знаем, Георге желал годами, и именно это теперь стало чем-то вроде острой потребности, особенно учитывая те разновидности «сверхличностных» прерогатив, в последнее время востребованных им и на него возложенных. Драма, самая динамическая и наиболее эффективная из литературных форм, явно не подходила, а некоторые иные формы казались или более удобными, или способными к осуществлению необходимого воздействия.

Возможность представилась более или менее случайно в конце 1909 года. Один из берлинских друзей, Курт Гильдебрандт, отправил Георге эссе, в котором предпринял мощную атаку на выдающегося специалиста по классической филологии в университете Берлина, Ульриха фон Виламовиц-Меллендорфе. Это было смелое деяние: Виламовиц являлся

беспорным гигантом среди классических филологов не только Германии, но и всей Европы, уважаемым авторитетом в области знаний о Древней Греции, имевшим значительную власть в администрации университета. Гильдебрандт исполнил ритуальный поклон перед «эрудицией», «универсальностью знаний» Виламовица, но главная цель при написании эссе, смело писал он, заключалась в том, чтобы «убедить многих, кто восхищается этим филологическим умом, в его опасности». Георге, у которого было несколько собственных причин для оскорбления Виламовица, сказал, что «рад» полемическому обвинению в эссе санированных воззрений шестидесятидвухлетнего ученого на греческую античность. Он был настолько доволен этим, что пожелал, чтобы эссе появилось в виде отдельной брошюры в фирме Георга Бонди. Осмотрительный издатель, без сомнения, желавший избежать раздражения со стороны такой весьма уважаемой и влиятельной фигуры в берлинских интеллектуальных кругах, вежливо уклонился. Георге никогда не считал нужным просить, чтобы кто-нибудь еще напечатал сочинение и поэтому решил проблему с характерной самоуверенностью. 3 ноября 1909 года в доме Валлентина Георге собрал вместе Гундольфа, Вольфскеля, Лехтера, Пауля Тирша и Тормелена и объявил, что основал новый журнал «Ежегодник духовного движения» («Jahrbuch für die geistige Bewegung»), который будет издаваться непосредственно «Листком за искусство» и печататься надежным Отто фон Холтенем.

В сущности, «Ежегодник», хотя и родился из неотложных потребностей, был отсроченным осуществлением плана, который долго вынашивал Георге. Уже в 1895 году он поставил перед Гофмансталем вопрос о расширении «Листка», чтобы включать в него, в дополнение к поэзии, произведения более широкой, «описательной», природы. В следующем году Георге поставил вопрос снова, уточнив теперь, что это будет «ежемесячный немецкий обзор», в котором «несколько действительно значительных молодых ученых» будут приглашены участвовать. В силу, главным образом, неуверенности Гофмансталя в необходимости связываться с предприятием, которое, наверняка, еще ближе свяжет его с Георге, идея была им отложена. Но Георге еще не раз упоминал о замысле. Так, в 1903 году в двух письмах он склонял Гофмансталя к совместной работе уже не над ежемесячным журналом, а ежегодным изданием. «Я хотел еще поговорить о часто упоминаемом „Ежегоднике“, — сказал Георге Гофманстально в июне того года, а в сентябре доверительно объявил: мы наконец будем обсуждать наш „Ежегодник“, когда я приеду в Берлин». Но только четыре месяца спустя вся совокупность обстоятельств, при которых Георге первоначально вынашивал идею «Ежегодника», неожиданно и радикально изменилась. В январе 1904 года Космический круг раскололся, спустя три месяца после того как Максимилиан Кронбергер умер от менингита, и сам Гоф-

мансталь оказался в состоянии, равнозначном смерти. Месяцы, даже годы прошли, прежде чем Георге начал хотя бы думать о том, чтобы приступить к такому важному предприятию. И все же к тому времени, когда он вернул себе силы и самообладание, чтобы заняться этим, он подвергся преобразению, которое сделало его иным человеком, и с иными, чем ранее, планами.

«*Ежегодники*, — писал Эдгар Салин, — это порождения битвы» — *Kampf-schriften*. Для Георге публикация произведения, собственного или его соратника, никогда не была простым вопросом. Книги, которые он выпускал в свет, всегда предназначались для множества целей, и одной из главных было, как ни парадоксально, не столько пригласить читателей в незнакомую область, сколько укрепить и предохранить эту область от непрошенных злоумышленников. Но в последнее время Георге и его последователи становились нетерпимыми относительно простого оборонительного положения и все более осознанно рвались в атаку. В качестве новейшего дополнения к уже внушительному арсеналу, накопленному Георге для своей деятельности, *Ежегодники* должны были стать орудиями передовой линии войны в ожидаемом и подстрекаемом более десятилетия сражении. «Эссе — это оружие, — говорил Георге немного позже. — Именно таким воздействием и обладают *Ежегодники*. С той поры некоторые уже не осмеливаются быть такими дерзкими. Теперь они знают: нужно их опасаться».

Тормален, присутствовавший во время энергичной беседы тем ноябрьским вечером, когда Георге начал издавать «Ежегодник», говорит, какими должны были быть основные цели кампании. Все согласились, что «бездуховность времени» должна быть выставлена напоказ и осуждена, как и «пагубные последствия образовательной деятельности», провозглашаемой «в университетах и среди представителей общественного мнения» — то есть журналистов, — «прежде всего среди защитников так называемого прогресса, современных достижений, несущих людям счастье». «Ежегодник духовного движения», иными словами, мог бы выставить напоказ гниль, заражающую чиновничество, и пустоту политических и социальных структур современной немецкой либеральной культуры.

Но бюрократия неизбежна даже во время войны, и еще до того как мог быть произведен первый выстрел, необходимо решить многие практические детали. Например: кто мог бы отредактировать ежегодник? Кто-то или даже несколько человек должны были бы взять на себя утомительную задачу подталкивания других сотрудников к тому, чтобы те написали и отправили свои очерки, собирания рукописей, устранения неизбежных разногласий, ошибок и стилистических неудач, ведения переговоров с издателем, сверки корректур и т. д. и т. п. Георге, который теперь тем более не считал возможным опускаться до таких мелочей, сказал просто, что не будет редактором, потому что не хочет видеть свое имя на титульной странице. Но кто-то должен был принять эту роль. По очевидным причинам Гун-

дольф и Вольтерс оказались естественным выбором. Вольфскель, с его постыдной вялостью, сам слишком ненадежен, чтобы суметь вдохновить других начать или завершить работу в срок. Валлентина просили согласиться стать третьим редактором, занимающимся более широким и более однообразным фронтом работ. Сначала Валлентин отказался, опасаясь, что эта работа отрицательно скажется на его стремлении к судейской должности в Берлине, а когда передумал и сказал, что хотел бы в конечном счете участвовать, то прочел в продиктованной Георге почтовой открытке: «Вы должны быть довольны ситуацией, которую создали», — и процитировал «Прелюдию» к «Ковру жизни»: «Всяк ученик влюблен и всяк труслив». Валлентин, горько разочарованный, но сохранявший стойкость, нашел утешение в подбадривающей твердости Георге. «Как и всякий, кто порвал с домом», — это все, что он сказал в ответ.

Курту Гильдебрандту, очерк которого послужил катализатором для всего предприятия, впоследствии предложили должность, но он также колебался. В то время он был помощником главного врача психиатрической клиники, расположенной в Виттенау, в берлинском округе. Клиника была известна как Дальдорф, который, как и институт в Лондоне, служивший подобной цели, Бедлам, стал у немцев народным наименованием, используемым для «сумасшедшего дома». Гильдебрандт, обеспокоенный, что такая ассоциация, однажды возникшая, приведет к смущающим и вредным остротам, предложил, что если будет принят редактором, то примет псевдоним «Курт Флорентин» (последнее было фактически вторым именем Гильдебрандта, постоянным напоминанием о его рождении во Флоренции). Гундольф, писавший, разумеется, как агент Георге, по крайней мере с его согласия, выразил удовлетворение, что Гильдебрандт в принципе был готов сотрудничать («Люди в Берлине много разговаривают — теперь пора действовать»), но был в меньшей степени доволен идеей Гильдебрандта скрыть свое лицо за маской. «При таком сильном влиянии на публику, как ваше, я все же считаю, что использование полного имени является необходимостью». Было бы, конечно, благородно принять такое предложение, ведь анонимность — убежище труса, но Гильдебрандт, все еще не уверенный, возражал. Как и Валлентину, Гильдебрандту довелось узнать, что у него был только один шанс принять предложение — Георге никогда не просил его вновь.

Скорее по стечению обстоятельств, чем вследствие замысла «Ежегодник» официально стал редактироваться только Гундольфом и Вольтерсом, имена которых и появились на обложке. Но, как говорили Гильдебрандт и все остальные, кто знал внутреннюю сторону дела, «подлинный редактор — это сам Учитель». Георге наблюдал за каждым аспектом содержания «Ежегодника». Он тщательно вычитывал все статьи, обсуждал их подробно с авторами, предлагал некоторые изменения и сокращения и лично

проверял заключительные страницы корректуры. Даже титульный лист «Ежегодника» был полностью делом его рук. Отчасти Георге вдохновлялся сходным предприятием, которое Альберт Вервей начал осуществлять в 1904 году и которое он назвал просто «De Beweging», или «Движение». Вервей сообщил, что «Георге очень понравилось это название». Частично в честь голландского коллеги Георге решил включить слово «движение» в заголовок собственной публикации. И когда Вольтерс, наиболее враждебный из всех членов круга по отношению к рационализму во всех его обликах, возражал, что добавление слова «духовное» — *geistig* — к заглавию заставит воспринимать его как слишком интеллектуальное, слишком концептуальное, то есть чрезмерно рационалистичное, Георге нетерпеливо отверг все его возражения: «Каким вы хотите сегодня обладать влиянием, кроме духовного?» Очевидно, Вольтерс забыл, что самый первый выпуск «Листка» в 1892 году объявлял, что журнал поддерживает ДУХОВНОЕ ИСКУССТВО — *geistige Kunst*. Настойчивость Георге на включении слова *Geist* в название предполагала, что он продолжает преследовать те же самые цели, что и всегда, только в другой форме. «Ежегодник духовного движения» — таким оно должно было быть.

Когда первый выпуск «Ежегодника» появился в начале марта 1910 года, то содержал только шесть очерков: фронтальное нападение Гильдебрандта на Виламовица; короткое сочинение Валлентина, критикующее понятие и ценность прогресса; несколько неуместная работа друга Вольфскеля по имени Гуго Эйк «Наследие рококо»; очерк самого Вольфскеля об истории «Листка за искусство»; и две работы обоих редакторов — Гундольфа, посвященная «Образу Георге» и более туманные «Руководящие принципы» Вольтерса. Эти последние три статьи самых старших соратников Георге сформировали подлинное ядро «Ежегодника» и в той или иной мере были сфокусированы исключительно на раскрытии образа Учителя и его значения для мира. Как указывало краткое предисловие, подписанное редакторами, все шестеро исходило из общего намерения — «исследовать закономерность множественных, фрагментированных, перепутанных тенденций времени». Это была неотложная задача, продолжало предисловие, потому что «знание, которое было накоплено без разбора, нагромоздилось до такой степени, что больше не поддерживает дух и культуру, но, скорее, угрожает задушить их обоих». Поэтому именно с целью «провеивания», которое было полезным, но не обязательным в ряду «тенденций времени», редакторы и выдвигают свои воззрения, которые, как они открыто допускали, были намеренно и непростительно односторонними. Они говорили, что не хотят быть нейтральными и открытыми для всех точек зрения, а, скорее, хотят «подчинить себя, в сознательном пристрастии, всеобъемлющей воле — Идее». Фактически, было бы более верным сказать: не Идее, но самому Учителю.

Хотя они, возможно, и были едины в своей цели и в своей преданности одному-единственному делу, сотрудники первого «Ежегодника» не представили ничего приближающегося к единой программе. То, что связывало их, было не столько выражением положительной идеологии — хотя можно было сказать, что и она имплицитно присутствовала в общем для них безоговорочном прославлении поэта, — сколько полным отрицанием всего, против чего они все вместе выступали. И тем не менее была некоторая ирония, присущая предприятию в целом. Как заметил с усмешкой Клод Давид, «„Ежегодник“ нигде не излагал взаимосвязанную систему» и фактически шеголял своим презрением к систематическому знанию, хотя и «использовал логику с целью прославлять нелогичное». Кроме того, даже при том, что «Ежегоднику» предназначено было стать инструментом, при помощи которого Георге доберется до сознания более широкой публики, немногие читатели могли бы отвергнуть его, не думая, что разделяют участь того большинства, которое «Ежегодник» осуждал как неспособное воспринять его послания. Но частично в этом и заключалось все дело. «Ежегодник» не был предназначен для того, чтобы завоевывать новых сторонников или изменять умы. Для этого прошло время. «Ежегодник» был открытым маневром в конфликте, который мог завершиться только окончательной победой или поражением.

Как старший соратник Георге, Карл Вольфскель принял на себя ответственность за выдвижение изначального обвинения. Заняв передовицу «Ежегодника», его очерк выполнил обязанность выдвижения начальных принципов, объяснения и развития того, что он с точки зрения программы называл «нашим движением». Хотя картина, которую нарисовал Вольфскель, была всеобъемлющей, но, что было типично для Вольфскеля, краткой в отношении деталей. Были названы немногие имена, помимо нескольких заметных исключений, включая самого Георге, разумеется, и, особенно, Ницше, а также некоторых других избранных. Вообще, сообщение Вольфскеля было насыщено чем-то вроде темного мифографического красноречия, которое все время отличало его очерки в «Листке». Объясняя, что журнал и «движение», которое он спровоцировал, родились, потому что «один поэт зажег пламя в другом поэте» — по-видимому, ссылка на встречу Георге с Малларме, — Вольфскель настаивал, что в целом все, что развивается, следует «органическим» законам «самой жизни».

Потратив, казалось бы, чрезмерное количество времени на схематичное изображение предыстории «Листка», Вольфскель, наконец, перешел к Ницше и представил его как непосредственного предшественника Георге и как единственное положительное явление в том, что Вольфскель немного позже назвал «навек проклятым XIX веком». «В его творчестве, — заявлял Вольфскель, — все огромное богатство немецкого духа, бывшее скрытым для двух поколений, с тех пор как угас мир романтизма, стало,

наконец, очевидным. Вместе с этим началась великая битва, под знаком которой мы теперь и находимся». Ницше, слава и влияние которого продолжали свое ослепительное возвышение после его смерти в 1900 году, был достойным предшественником Георге по многим причинам. Но в этом случае его главная привлекательность заключалась в том, что он был немцем. Только сославшись на имя Малларме, но фактически не упомянув его, Вольфскель и далее старается изо всех сил высмеять представление, что какая-либо внешняя сила, в особенности французского происхождения, когда-то имела хоть малейшее воздействие на Георге. После цитирования длинного отрывка из книги Ницше «Человеческое, слишком человеческое», Вольфскель торжествуя приходит к выводу, что чувства, выраженные там и в «Листке», берут начало в одной и той же внутренней и явно немецкой потребности, и что «только глупцы или люди с дурными намерениями могли выйти из сочинений французских символистов, которые хотя и были современными, но едва ли имели то же самое звучание».

За этой позорной клеветой на прежних коллег и бывших учителей, а также за не менее проблематичным подхватыванием факела Ницше скрывалось не только желание Вольфскеля представить Георге как чисто немецкий характер. Это была также часть интенсивных усилий всех последователей Георге изображать его как совершенно уникального человека, не имевшего себе равных и неповторимого. Даже Ницше, подразумевалось, в конечном счете нельзя было сравнивать с Учителем. На самом деле, сам Георге всегда двойственно относился к такому сравнению — он часто смешивал признание значения Ницше со снисходительными оговорками относительно достижений Ницше в сравнении с его собственными. Несколько позже, в 1920 году, Георге говорил, например, что долгое время восхищался Ницше «как оратором, как борцом, который был полезен». Но он добавил также, что ему не интересен тот, кто все еще выступал против христианства. «Вы остановились на том, против чего боретесь. Ницше не был по ту сторону Добра и Зла, а Альгабал был». Чем на самом деле руководствовалась хроника Вольфскеля — якобы, историческое повествование, хотя идеализированное и практически полностью антагонистичное истории, — так это желанием продемонстрировать, что Георге и группа людей вокруг него представляли единственную жизнеспособную, спасительную альтернативу тому, что презрительно называли «нашей голой, холодной и отталивающей действительностью».

В рассказе Вольфскеля о происхождении и подъеме «Листка за искусство», Георге и его круг возникают потому, что их объединяет не общее понимание искусства, а общий взгляд на саму жизнь. В противоположность «чрезмерно пылкому культу индивидуальности нашего времени», который питался пустыми лозунгами «разум», «свобода», «человечество», сообщество Стефана Георге «представляло собой только единство людей,

произведений и побуждений, возникшее органически» в течение последних двух десятилетий. «Только здесь, — писал Вольфскель, имея в виду избранное сообщество круга, — личная зависть и негодование, все борющиеся друг с другом, все жаждущие украсть или обмануть друг друга» были исключены, только в этом избранном сообществе «выражение жизни сверхличной природы могло возникнуть, по крайней мере в зачаточной форме». Таким образом, Вольфскель мог утверждать, что «истинные движущие силы времени» следовало искать не в бесплодной пустыне, известной как современный мир, но где-то в ином месте: в созвездии, собравшемся вокруг Георге, которому Вольфскель здесь, впервые, дал имя: «Тайная Германия». «Ибо под пустынной поверхностью сегодня начинает пробуждаться ото сна *тайная Германия*, единственная живая в наше время, нашедшая свое выражение здесь, только здесь». Тот факт, что «тайная Германия» сумела в эти годы сохранить свою энергию и свою целостность, продолжал Вольфскель, «дает глубокую веру в будущее, которое, конечно же, будет суровым, трудным и мрачным, разумеется, наполненным грандиозными переворотами, но в котором глубины раскроют себя, возможно, в последний раз».

Трудно сказать, что именно Вольфскель подразумевал под «глубинами», которые будут раскрыты, или под «переворотами», которые могут опрокинуть существующий порядок вещей. Одно является бесспорным, однако: какой бы ни была природа грядущих потрясений, Вольфскель был уверен, что они оставят после себя опустошение и руины. И Вольфскелю было совершенно ясно, где спасение от неминуемого катаклизма могло быть найдено. «Из всех народов Европы, — говорил он, — мы, немцы, — единственные, кто еще не реализовал себя, кто все еще может надеяться». Именно относительная отсталость немцев, подразумеваемая Вольфскелем, и ограждала их от худших видов разложения, которое уже сделало остальных безвозвратно погибающими. «Мы, немцы, принадлежим вчерашнему дню, — мрачно предупреждал он, — и по этой причине нам принадлежит день завтрашний». Честью и тяжким обязательством было нести будущее всего мира на своих плечах, но подданными «секретной Германии» эта ноша принималась охотно. Было очевидно, завершал Вольфскель, «движение из глубин, если таковое все еще возможно в Европе, может прийти только из Германии, из тайной Германии, ради которой произносится каждое наше слово, из которой каждое наше стихотворение получает свою жизнь и свою рифму, тайной Германии, постоянное служение которой означает счастье, неизбежность и оправдание наших жизней».

В некоторых отношениях постулат Вольфскеля о «тайной Германии» обеспечивал удобное решение одного из самых запутанных затруднений, которые досаждали Георге с середины 1890 года. Именно тогда Георге впервые начал дистанцироваться от своих французских наставников и

представлять себя как целиком местный продукт. После этого он был исключительно немецким поэтом, осваивавшим немецкое литературное и культурное наследие как свое естественное и неотъемлемое, лишившим себя всех чужеземных привязанностей. Но проблема заключалась в том, что Германия, которую Георге требовал как свою собственную, имела мало общего с той, что действительно существовала, с той, которую он, кроме того, ненавидел с возрастающей силой. Учреждать «тайную Германию», которая в отличие от ее проявленных двойников была живой, сильной и чистой — прежде всего подходящей ему самому, — Георге мог двумя способами. Он мог категорически отвергнуть больное тело существующего немецкого государства, осуществляя неограниченный контроль над своей собственной его версией.

Верно, что идея невидимой, или «тайной», Германии имела историю, которая предшествовала Георге. В известной степени это был вымысел, подпитываемый особенностями развития реальной Германии, которую она, как предполагалось, заменяла. В период первых трех четвертей XIX века, когда немецкоязычные земли были среди других крупных европейских государств единственными, которые не были сформированы в единую нацию, не было никакой «Германии», за исключением абстракции или далекой исторической памяти. Для многих немецкоязычных писателей, чьи национальные устремления не были исполнены политической действительностью, единственный выбор заключался в том, чтобы вообразить это единство на каком-то ином уровне. От Гёльдерлина до Шиллера, Хеббеля и Гейне — которые все неслучайно были официально одобренными поэтами в каноне Георге — каждый встречается с повторяющимися воззваниями к «тайной», «анонимной», «духовной» Германии, которая однажды может возникнуть и занять свое законное место в мире. Но для Георге вопрос был иным. Его «тайной Германии», с ним самим у руля, было предназначено стать жизнеспособной заменой тому порочному воплощению, которое все могли видеть. Проблема состояла в том, как избавиться от этой конкурирующей структуры.

Следующая статья в «Ежегоднике», очерк Гундольфа об «Образе Георге», не столько предлагает проект достижения этой цели, сколько предоставляет аргументы в пользу ее необходимости. Основу статьи Гундольфа составляет длинная рецензия на книгу, сфокусированная большей частью на трех ранее изданных работах с целью извлечь из них тот «образ Георге», который каждая из них представляет. Относительно двух из них Гундольф был в полном восторге — он остановился с одобрением и на панегирике Клагеса 1902 года, и на еще более льстивом «Суверенитете и служении» Вольтерса. Вся тяжесть его неприятия обрушилась на третью работу — опубликованную версию речи о Гофманстале, произнесенной эссеистом, поэтом и переводчиком Рудольфом Борхардтом, который поддер-

живал дружеские отношения с некоторыми членами берлинского кружка в 1905 году, но быстро утратил расположение. В оригинальной лекции Борхардта тот упоминал Георге в благоприятных, но не гиперболических терминах и, более того, ставил Гофманстала на одной художественной ступени с Георге. Это указывало на недостаток должного почтения в глазах Гундольфа и давало волю потоку сарказма и высокомерия.

Но именно в том, что шло до и после этого непростой полевой полемический упражнения в подрыве репутации, и обнаруживала себя сущность собственного «образа Георге» у Гундольфа. Как и можно было предсказать, этот образ — сама безупречность. Где Борхардт терпит неудачу как сухой филолог, питающийся, подобно паразиту, жизненными соками литературы, там Гундольф уверяет: «Стефан Георге пускает корни в самые глубины почвы созидания, непреклонно связанный с одной потребностью, неспособный сформулировать даже одно-единственное слово, которое не было бы вызвано той же самой внутренней потребностью и освящено самой глубокой верой». «Никакой другой человек, — говорит Гундольф, — не поднялся и не повел битву против поверхностных тенденций времени и его преходящего характера так полно и экстенсивно, как Стефан Георге», и именно эта радикальная оппозиция Георге жалким условиям существования современного мира «делает его вождем (*Fuhrer*) во время духовной войны, которой больше нельзя избежать». Учитывая роль, которая была на него возложена, Гундольф полагал самоочевидным то, что «Стефан Георге — самый значительный человек в Германии сегодня».

Это — удивительное утверждение, удивительное как по смелости, так и по наивности. Но Гундольф был убийственно серьезен. Для него, и не только для него, Георге был самым значительным человеком, жившим в Германии, и Гундольф был убежден, что только вопрос времени, чтобы другие также поняли это. Все же значение жизни Георге выходило далеко за пределы его индивидуальной судьбы; он представлял собой определенный образ жизни, определенную систему ценностей, к которой, благодаря признанию его в качестве Учителя, мог принадлежать любой. «Исповедование веры в Георге — это не исповедование веры в какую-то личность, — продолжал Гундольф. — Он не обладает тщеславием и не ищет известности, успеха, однако, имеет силу формировать человека и землю согласно образу Бога. Он обладает этой властью, создавая лингвистическое тело грядущего духа и формируя души для грядущей веры». Георге, писал Гундольф, принуждает нас сделать абсолютный выбор. Здесь не может быть никаких полумер, никаких разделяемых привязанностей. «Никакие несущественные детали не должны затемнять тот факт, что должна быть война между тем, что субстанциально, и тем, что химерично, что каждое существо должно бороться с тем, что ему чуждо, пока в соревновании между этими двумя сферами одна из них не будет разрушена или преобразована».

Естественно, Гундольф был не просто уверен, он был абсолютно уверен, кто будет победителем в этом смертельном соревновании. Поскольку это был Георге, и только один Георге, который «знает, что возрождение может прийти только от того, что является самым далеким, что из яда самого времени можно извлечь только облегчение и отсрочку, но не преобразование». Гундольф даже намекнул, что немцы были своего рода новыми избранными людьми, сподобившимися обладать чудом потенциального спасения, свалившимся в среду их обитания. Однако спасение могло прийти лишь к немногим даже среди немцев — остальные погибнут неискупленными. «В лице Георге те немцы, которые все еще в состоянии сопереживать поэту вообще, начинают иметь предупреждение о новом дне и о возвышении древней муки». Для тех людей, которые неспособны к подлинному «сопереживанию» поэту, новый день будет скверным.

После агрессивного трактата Гундольфа следующие три очерка Валентина, Гильдебрандта и Эйка казались сравнительно вялыми. Самым слабым из всей коллекции было хаотичное обсуждение рококо у Эйка, которое, как признавал и друг Эрнст Роберт Куртиус, «гораздо ниже коллективного уровня других статей». Оно было настолько ужасно, что Куртиус недоумевал: «Как вы и Вольтерс могли дойти до того, чтобы его принять!» Но многообещающе звучащая «Критика прогресса» Валентина была ненамного лучше — взбив на скорую руку обильную пену, статья сообщала лишь то, что прогресс плох. Даже очерк Гильдебрандта, который и положил всему начало, вызвал у всех что-то вроде разочарования. Гильдебрандт никогда ранее не публиковал ни слова и, как врач, явно не разбирался в классической литературе. Его очерк поэтому большую часть своей пикантности получал из одной лишь дерзости, демонстрируемой каким-то неизвестным, публично нападавшим на высокий статус Виламовица.

Рассмотрены были и некоторые переводы самых великих произведений древней греческой литературы, сделанные Виламовицем. Центральное обвинение, выдвинутое Гильдебрандтом и неоднократно им подчеркнутое, заключалось в том, что Виламовиц слишком сильно изменил истинную суть оригинальных текстов — он отнял у них величие, утверждал Гильдебрандт, так как некоторые слова и фразы перевел с помощью намеренно анахронических конструкций или выправляя замысловатый синтаксис в попытке сделать его передачу более доступной для современных читателей. Виламовиц хотел «популяризировать» греков, сделав, в сущности, их звучание более привычным для образованных немцев рубежа столетий. «Это преступление против Эллады, — заявил Гильдебрандт, — и против любого образования, на какое можно надеяться, — сделать эти творения соответствующими буржуазному комфорту и пролетарскому вкусу, унижить в них все возвышенное, изогнуть все твердое, сгладить все грубое». Ибо, как более красочно выразился Гильдебрандт в дру-

гом месте, «герои — это не буржуа в костюмах». Древние греки должны цениться нами именно потому, что отличаются от современной буржуазии.

В сущности, Гильдебрандт рассматривал Виламовица как еще одного типичного представителя обывательской рациональности, которую высмеивал Ницше и осуждал Георге. Для Гильдебрандта — и любого, связанного с Георге, Виламовиц был воплощением «холодного света интеллектуализма, безвольности концептуального». Хуже всего было то, что Виламовиц, как специалист по античной Греции, стремился применять свое позитивистское мерило к артефактам, удостоившимся высшего почтения среди членов «Листка». Произведения Эсхила и Софокла не могут — не должны — быть прочитаны словно романы XIX века. И именно поэтому Гильдебрандт обвинял Виламовица, с его самодовольным стремлением сделать греков домашними, в попытке сделать это. «Мы отвергаем, — заявил Гильдебрандт, — любой комментарий, где есть желание заменить выразительность трагедии аналитической экспертизой жизни, психологическим интересом, моралистическими интерпретациями и другими интеллектуальными сложностями, вокруг которых так суетятся теперь люди».

Это была в той или иной мере официальная линия. В частном аспекте враждебность к Виламовицу питалась личной антипатией. Первая публикация самого Виламовица была постыдной и опрометчивой полемикой с юношеским шедевром Ницше «Рождение трагедии» (1872). Виламовиц, которому и самому было тогда двадцать четыре года, педантично указывал на многочисленные фактические ошибки, сделанные Ницше, упрекал его за то, что тот был не в состоянии придерживаться принципов «строгого филологического метода», и вообще возражал против весьма тенденциозной интерпретации происхождения греческой трагедии. Учитывая остроту пера Ницше и ревнивое отношение его поклонников, это было смелое, если не сказать — безрассудное, выступление. Целые поколения приверженцев Ницше знали Виламовица исключительно как самодовольного дурака, который посмел критиковать их идола. Хотя Ницше и воздерживался от любого публичного ответа на критику, но к Виламовицу в письмах начал обращаться как к «Wilam ohne Witz» — или «Виламу без Остроумия» — и как к «Виламопсу» (мопс — немецкое слово, обозначающее маленькую, крепкую китайскую собачку с морщинистой мордой и с хвостом крючком, но также использующееся в качестве оскорбительного эпитета для грузного человека, эквивалентного эпитету «жирный»).

Осквернение иконы, какой был Ницше, не остановила Виламовица. Он думал, что будет забавно написать пародию на характерный стиль поэзии Георге. В конце 1890-х годов Виламовиц придумал короткую и бездарную мистификацию Георге, а затем распространил ее среди друзей. На рубеже веков, во время собрания в доме Фридриха Дернбурга, выдающейся лич-

ности в социальной элите Берлина, кто-то прочитал вслух эту поделку Виламовица. Как и многие пародии, эта не была особенно умелым или даже забавным произведением («О, элегантная серая мышь под ковром, — начиналась она, — элегантная тупость самодельной бумаги, достойный сосуд, в который поэт выливает серую щедрость своей монотонности» и т. д.). Но пародия содержала фразу, которая вызвала негодование среди присутствовавших в доме Дернбурга. Пародия завершалась перечислением различных украшений, достойных знаменитых поэтов: алмазов для Шиллера, жемчуга для Данте и лавра для Гомера; однако Георге «подходит только тусклый оттенок — элегантная, серая импотенция».

Трудность с пародиями состоит в том, что, чтобы быть эффективными, они должны быть по крайней мере столь же хороши, как и то, что переразвивают. Даже на уровне тупого оскорбления строчки Виламовица были относительно робкими, тем не менее они вызвали что-то вроде возбуждения. Виламовиц приблизился, но напрямую не упомянул о запретной в благовоспитанном обществе теме гомосексуализма, хотя каждый понял, что на самом деле означала «импотенция». Георге скоро узнал о случившемся, после чего он никогда не упускал возможности сделать какое-нибудь уничтожающее замечание о великом ученом. В 1920 году, обсуждая различных академиков и мимолетность их славы и влияния в сравнении с влиянием действительно творческих натур (категория, к которой Георге, очевидно, относил себя), он сказал саркастически: «Что останется от всего Виламопса? Возможно, грязь, которой он забрызгал фалды сюртука Ницше». В тот же самый год, когда кто-то задался вопросом, как Виламовиц, который неоднократно доказывал мерзость и уродливость своей души, все еще был сравнительно привлекательным физически, Георге предложил новую теорию: «Возможно, все, что есть низменного и убогого в нем, все потроха он изрыгает в свои книги — и то, что остается, являет собой чистый тип. Книги как ведра в уборной!» В еще одном случае, когда речь шла о положительном впечатлении, которое Виламовиц произвел на английских коллег, выступая в Оксфордском университете, Георге отверг это, сказав: «Ну, они не знают немца. Если он говорил на латыни, то, несомненно, сокращал правильные фразы». Естественно, самые близкие партнеры Георге присоединялись к остротам. Во время первого года Гундольфа в университете Берлина, в 1901 году, он посетил несколько лекций Виламовица и получил весьма благоприятное впечатление. «Среди сегодняшних ученых, — передавал он свой энтузиазм Георге, — он, возможно, на самом деле единственный, в ком Древняя Греция воспламенила ослепительный огонь». Десять лет спустя Гундольф полностью изменил свою мелодию. «Платон для девиц» — вот как теперь он описывал выдающееся произведение Виламовица о философе. «Между прочим, — однажды с шуткой обратился Гундольф к Гильдебрандту, обыгрывая его профессию пси-

хиатра, — вы также не вышли за пределы узких границ вашей специализации с Виламовицем — он образец патографии *dementia praecox philologica*».

Все же в конце Виламовиц был скорее симптомом, чем причиной — весьма значительным симптомом, разумеется, — великой порочности, с распространением которой первому «Ежегоднику» суждено было вести борьбу. Настоящим врагом был не Виламовиц, но ученые и сама наука — *Wissenschaft*. С самого начала, когда Георге был еще студентом в Берлине двумя десятилетиями ранее, он следил за тем, что происходило в университетах со смешанным чувством подозрительности и презрения. Тот факт, что некоторые из его самых первых поклонников — как оказалось, многие из его более поздних друзей и последователей — преподавали или как-то иначе были связаны с университетом, мало изменил его отношение. Казалось, Георге думал, что университеты были не много лучше, чем неизбежное зло, что это внутренне порочные учреждения, переполненные бездушными, бесплодными красноречивыми, набивавшими умы студентов и свои собственные книги мертвым и бесполезным знанием. Все же, как бы то ни было, университет был и тем местом, где собиралась самая умная и самая талантливая молодежь Германии, и поэтому Георге вынужден был заключить договор с дьяволом. «Что-либо чисто познавательное чуждо мне по природе, — сказал он Эрнсту Роберту Куртиусу в 1911 году. — Я интересуюсь только тем, что относится к человеку и к жизни. Знание ценно и плодотворно только тогда, когда передано через нечто человеческое». Георге не уставал предупреждать юных соратников, мечтающих об университетской карьере, чтобы они избегали путь своих отрицающих стихию жизни наставников. Нельзя, говорил он, сформировать образ жизни Платона или его духовного роста посредством сухого анализа одних только его диалогов. «Этот путь приведет в лучшем случае к скелету, — утверждал Георге, — но не к живой плоти и крови». Дело не в том, что он советовал ученикам оставить свои штудии или избегать академического призвания, — отнюдь нет. Помимо того что это призвание обеспечивало им респектабельную жизнь, оно гарантировало доступ Георге к постоянно возобновляемому истоку человеческого капитала. Но разновидность деятельности, которой занимались ученики, должна была найти его одобрение. Когда один из молодых протеже читал вслух разделы его диссертации о Платоне, Георге резко прервал его: «Это меня не интересует». Огорченный таким отказом ученик попытался оправдаться, сказав, что тема требовала такого подхода. «Я ничего не сказал против вашей темы, — ответил Георге, — диссертация, вероятно, требует „научного подхода“». То, против чего он возражал, был способ, каким ученик обращался с темой. «Я с удовольствием послушаю что-либо, что вдохновляет, — сказал ему Георге, — но не хочу умереть от скучной пустой науки».

Не случайно, парфянская стрела «Ежегодника» — очерк Вольтерса под названием «Руководящие принципы» — прямо нацелена на институт и практику *Wissenschaftas* в целом. Этот очерк также был создан с явной санкции Георге. В письме Георге в декабре 1909 года Вольтерс уже обрисовал в общих чертах свои мысли для очерка, указав, что хотел показать: «Вся обширная сфера жизни остается полностью закрытой, непроницаемой, непостижимой, фактически непонятной для науки, даже для тайной науки». «Могло ли это соответствовать природе критического ежегодника?» — задавался Вольтерс вопросом. Георге, разговаривая через Гундольфа, который написал ответ, подтвердил: «Ваш план относительно „Руководящих принципов“ превосходен». Очерк Вольтерса, возможно, в большей мере, чем любой другой в сборнике, и впервые в столь категорических и официальных терминах кодифицировал некоторые из самых твердых верований Георге и ясно выразил часть его наиболее глубоких враждебных чувств.

Вольтерс начал свое обсуждение с основного различия между тем, что назвал «творческой силой» и «организационной силой». Первая «сила», сказал он, покоится на принципах самой жизни и является чувственной, непосредственной, конкретной, динамичной, неделимой. Вторая является производной, вторичной, статичной и слабой. «Организационная сила логична», — сообщает Вольтерс; она «не создает внутренних ценностей, но как способность ума выводить непосредственные и более отдаленные причины из сходств и подобий, скорее, просеивает через себя субстанции, устанавливает их функцию относительно друг друга и стремится разделить и объединить их согласно известным законам». Поскольку «жизнь берет начало не в порядке, но в творчестве», вредоносный эффект, происходящий от господства «организационной силы» в современном обществе — называют ее рациональностью, объективностью, прагматизмом, научным мышлением или как-то иначе, — должен быть, как полагал Вольтерс, самоочевидным. Все же, как он описывает ее, хотя «многие сегодня знают, как вредит эта сила нашему времени, насколько наша юность страдает от нее», еще более верно то, что «лишь немногие отваживаются на критику идеи порядка и говорят: вот здесь его границы!»

Даже при том, что сам Вольтерс, казалось бы, испытывал затруднения, держась за собственные неудержимые метафоры, его идея представляется разумной и ясной. Естественные и гуманитарные науки, которые полагаются на методологическую точность, последовательность, беспристрастность и объективность со стороны исследователя, оказываются в непримиримом конфликте с тем, что Вольтерс идентифицирует как «жизнесоздающие силы единства тела и ума, от самой высокой интуиции до самого низменного воспроизводства себе подобных». Наука изолирует, кодифицирует и классифицирует мертвые вещи тем же способом, каким энтомолог прикрепляет безжизненные тела бабочек к доске, тогда как творческая

сила воплощает и сохраняет первичное единство жизни. Предписание Вольтерса тогда состоит не в том, чтобы мыслить, а в том, чтобы чувствовать, не анализировать, но постигать интуитивно. Это призыв, который он распространяет в первую очередь на молодежь, на наименее развращенных научным кредо, на тех, кто наиболее способен к освобождению от рабства рациональности. Но они нуждаются в помощи. «В чем все они испытывают недостаток, так это как раз в интуиции (*Anschauung*) мирового единства; мировоззрение (*Weltanschauung*) не означает порядка в понятиях, результатах, программах, желаниях и целях, но означает прежде всего *интуитивное (schauen) постижение*, то есть *созидание, мир (Welt)*; концептуальная сила никогда не сможет заменить интуицию (*Schau*), так как представляет собой только логический порядок в системе». Что требуется вместо этого, так это «полный отказ от рационального тщеславия, самое преданное погружение в учения великих геральдов и воспитание духа вместе с самым глубоким воспитанием чувства крови».

Именно здесь, в заключительных словах «Ежегодника», мы подходим ближе всего к выражению того положительного, что он защищал, вместо простого повторения того, против чего долгое время выступали члены «Листка». «Время логической гимнастики кончилось, — скорее, оптимистично заключает Вольтерс, — и борьба с ангелом жизни начинается вновь». Оставить логику ради творчества означало отвергнуть науку ради поэзии, предпочесть жизнь смерти — и непосредственно принять Георге как Учителя и Правителя. «То, что Сила Порядка настолько преобладает в ценностях этого времени, ясно показывает, что ее корни больше не простираются в питательную почву; отвернуться от [этих ценностей] — принцип всех, кто любит молодость нашего народа; искать истоки Творческой Силы, действовать, созидать и постигать интуитивно необходимо для всех, кто хочет стать частью нового творения; и кто не может самостоятельно быть таким истоком, будет из него пить, будет служить творцам в самоотверженном смирении и в самом свободном самопожертвовании и, таким образом, становиться причастным тому, что живет».

Так это и было. «Ежегодник духовного движения» завершается чем-то напоминающим вызов, во всяком случае предупреждение. Сущность послания, которое он передает, не очень отличается от сущности поэзии Учителя или от максим и очерков «Листка». Но теперь все казалось более осязаемым и ясным. И окружение Георге обладало теперь не только особой идентичностью и доктриной, у него было также свое собственное имя.



Глава двадцать девятая

ПОСЛЕ «ЕЖЕГОДНИКА»

Почти сразу же после публикации «Ежегодника» реакция на него стала давать о себе знать. Ограниченный вначале должным образом публичный ответ — изданные пятьсот экземпляров распространялись только через типографию, — в своей тенденции был тем не менее удовлетворительным. «Я только что получил длинную жалобу в берлинском „Tageblatt“ на „Ежегодник“, сразу же после того, как он появился! — радостно сообщал Гундольф Георге в середине марта 1910 года. — Никогда я не слышал похвалы столь приятной, как это завывание: обиженный съел плачущего!» Для Гильдебрандта у Гундольфа также были хорошие новости. «Твоя Эллада продолжает удивлять духом науки», — говорил ему Гундольф в июне того же года. Было даже краткое сообщение о «Ежегоднике» в «Suddeutsche Monatshefte», добавил он, которое «удостоило особым упоминанием важное эссе Курта Гильдебрандта». Но даже среди тех, кто согласился с сутью аргументации Гильдебрандта, говорил Гундольф, были определенные колебания принять эссе как нечто искреннее, написанное кем-то, кто не был членом избранного братства университетских профессоров. «Вообще, эти люди недовольны тем, что им следует отнестись к этим нападкам столь серьезно, и многие раздражены тем, что *homo novus* способен напасть на важную шишку, — „*Contra professorem nemo nisi professor*“». Гильдебрандт нарушил неписаное правило, что единственный, кто может высказаться против профессора, является другим профессором. «Но воздействие на молодежь является сильным и неизбежным, так как

подлинное слово, когда-то выраженное, магически воздействует самим своим существованием».

Несмотря на некоторые опасения относительно уместности постороннего, публично пререкающегося с выдающимся коллегой, не все в академической гильдии не симпатизировали этой попытке в целом. Другая выдающаяся личность в университете Берлина, Вильгельм Дильтей — за эти годы он неоднократно высказывал свое расположение к Георге и «Листку», — написал Гундольфу теплое письмо с одобрениями после получения копии «Ежегодника», ему посланной. Еще одна статуя Берлинского пантеона, историк искусства Генрих Вёльфлин, дал знать, что также не был рассержен очерком Гильдебрандта и, как признался Гундольф Вольфскелю, казалось, был «весьма дружественно настроен к самому „Листку“». Даже французский философ Анри Бергсон, к тому времени наиболее широко читаемый мыслитель в Европе и профессор в престижном Коллеж де Франс, взял на себя заботу передать свои поздравления Гундольфу, сказав, что был особенно очарован идеей посвятить периодическое издание «духовному движению».

Но таким же приятным, как эти и другие знаки полуофициальной поддержки, было и то осязаемое влияние, которое «Ежегодник» оказывал на «неофициальную» культуру — «молодежь» и другие такие же неразвращенные души, — что наиболее живо интересовал Георге и его сторонников. Неудивительно, что среди тех, кто был близок к кругу или входил в него, публикацию провозгласили триумфальной. Хотя едва ли можно было обвинить Гундольфа в беспристрастности, он с неумеренным энтузиазмом воспевал их коллективное достижение. «„Ежегодник“, — писал он Виези де Хаан, — превзошел мои собственные самые смелые ожидания своим богатством, величием и глубиной — он полон гордого знания и ощущения поворотного пункта в истории». И если был человек — кроме Георге, разумеется, — который, с точки зрения Гундольфа, выделялся тем, что сыграл решающую роль в его успехе, то это — его собственный соредактор Фридрих Вольтерс. «Я совершенно очарован этим чудом в облике человека, — изливал он свои чувства все той же фрау де Хаан. — Все мы им безоговорочно восхищаемся, он знает, отваживается и делает все, чего духовный (*geistiger*) немец нашего времени может достичь на высшем уровне». Гундольф, который сам прошел через фазу увлечения Бергсоном, заявил, что эссе Вольтерса содержит «самые глубокие слова столетия (рядом с Бергсоном)». Это было что-то большее чем щедрое самоосуждение. Чтобы подчеркнуть эпохальную важность случая, Гундольф дошел даже до того, что провел потенциально еретическое сравнение между публикацией «Руководящих принципов» Вольтерса в «Ежегоднике» и появлением первой поэтической книги Георге «Гимны» за два десятилетия до этого. «Вы видите, я переполнен Вольтерсом — он открыл мне новые надежды и пер-

спективы, установил новые реальности; как 1890 год, 1910-й для нас — это перекресток, как всегда, когда новый творческий дух врывается в наш мир». И все же в своем энтузиазме Гундольф не забывал упоминать человека, который в первую очередь и сделал все это возможным. «Для Учителя такой феномен (то есть Вольтерс), который был бы без него немислим, является самым замечательным подтверждением его работы, а для нас, более молодых, — это новая мера того, что остается сделать и кем быть».

Другие «более молодые», такие как двадцатитрехлетний Эрнст Роберт Куртиус, который, несмотря на близкие связи с отдельными участниками, находился за пределами самого круга, выражали сходные чувства. Спустя лишь три часа после чтения своей «страстно желаемой» копии «Ежегодника» на единственном заседании — опыт, который Куртиус описывал как пребывание в состоянии «непрерывного спокойного удивления и тихой радости», — он взялся передать впечатления своему другу, Гундольфу. «С появлением „Ежегодника“, — заявил Куртиус, — начинается новая фаза в преображении немецкого духа, которую вдохновил Георг». Он признал, что основная цель «Ежегодника» состояла в том, чтобы переложить на прозаическую форму то, что «родилось в „Седьмом кольце“ как поэзия», так, чтобы оно могло с большей готовностью воздействовать на мысли и действия его читателей. «Сотни тех, — предсказывал Куртиус, — кто жил без вождя и без цели, теперь узнают, какие пути ведут к будущему, и получают направление, рассчитывать влияние которого еще даже нельзя начать». Примечательно, что именно возможность «Ежегодника» влиять на действительное поведение людей и изменять его Куртиус рассматривал как его основное достоинство. «Поэтому, — уверенно писал он, — появление „Ежегодника“ имеет самое широкое педагогическое и политическое значение».

Другие тем не менее, признавая педагогические и политические амбиции книги и расширение влияния Георга, были не столь сильно уверены в том, что все это — хорошее дело. Альберт Рауш, который в течение некоторого времени изошрялся в сохранении своих связей с членами «Листка», сопротивляясь искушению или повелению оказаться в расставленной ими ловушке, изложил свои возражения в искреннем и пронизательном письме Георге. Говоря, что «тенденциозные заявления» в «Листке» уже начинали оставлять его равнодушным, Рауш признавался, что «Ежегодник» только усилил растущее в нем чувство отчуждения. Экстраполируя, несомненно, свой собственный опыт, Рауш выступал против неоднократно выдвигаемого его покровителями требования отбросить собственную автономию и полностью погрузиться в служение великому существу. Допуская, что «Ежегодник» содержал «много прекрасного и важного», он также считал, что многое в нем является просто сомнительным.

Когда *единственный* великий поэт видит мир глазами учеников и когда воплощает такие стихи в своем творчестве, это великолепно. Но в этой книге видение учеников остается *риторическим* — таким образом, она испытывает недостаток в более глубокой реальности, которая дремлет во всем, что является великим. Позиция «Ежегодника» не может пробудить никакой веры в истинно духовное. Вера может быть пробуждена только творчеством, исток которого питает всю эту книгу. Вашим творчеством, дорогой Владелец. Ибо ваше творчество было великим искуплением, явившимся нам. Ваше творчество — это мир, но «Ежегодник» — это долгий, долгий путь от того, чтобы быть миром. Это — великая опасность, и я не желаю ни одному юноше, чтобы он сделал такое представление о мире своим собственным: пока он не зашел так далеко в своей собственной крови, в своем собственном опыте и знаниях, ни одно такое представление о мире никогда не сможет устранил *его* реальность, почву для его лучших духовных свершений. Само собой разумеется, что создание линии фронта против индивидуализма имеет огромную пользу: но «только тот пригоден для служения, кто чувствует себя господином». Не овладев собой, никто не сможет себя отдавать. И самое важное, что остается, — человек прежде всего должен пробудиться *сам*. Проповедь служения, которую эта книга (Гундольф и Вольтерс) предлагает, чтобы быть плодотворной, является в слишком большой степени экстазом дарения себя, — и в своем экстазе нереалистичной относительно идеологии.

Это удивительно проницательная оценка. Но, должно быть, Рауш знал, что она раскрывает позицию, несовместимую с идеологией круга. Он сделал все возможное, чтобы ограничить свой протест одним только «Ежегодником», между тем невозможно быть избирательно критичным, особенно когда критика связана с Георге. Георге требовалось либо все, либо ничего. Жертва своей собственной искренности, Альберт Рауш быстро исчез из поля зрения.

Но не от всякой критики, как от критики Рауша, можно было легко отмахнуться. «Ежегодник» обнажил глубокие трещины и среди давних друзей Георге, имевших для него более важное значение. Историк Курт Брейсиг, который многих своих молодых берлинских товарищей представил Георге, когда поэт выздоравливал от своих недугов в Мюнхене, оказался потерянным для «Ежегодника». Гордый и немного колючий человек, Брейсиг был убежден, что эссе его бывшего студента, Фридриха Вольтерса, не только вообще не соответствовало научному мышлению, но и в частности являлось личной атакой на него самого. Он адресовал свое недовольство самому автору. «Я все еще не добился мира от Брейсига, — жаловался Вольтерс Гундольфу в апреле 1910 года. — Брейсиг и лично и как защитник научного исследования глубоко ранен моим эссе, наши старые отношения закончены, и теперь, чтобы возобновить их, он ищет какой-то остаток общих интеллектуальных интересов». Но разрыв был слишком широким, чтобы его можно было преодолеть. Год спустя, все еще пытаюсь

найти способ урегулировать расхождения, Брейсиг сказал Вольтерсу, что, как он считал, в отношениях Вольтерса с ним недоставало одного — человеческой теплоты, доброты, словом — любви. Вольтерс полагал, что это было слишком. «Как будто нужно было любить врагов, — кипятился он, обращаясь к Гундольфу. — Черт возьми, мне кажется, что у нас есть достаточно причин, чтобы их ненавидеть! И мы хотим не мира, а, скорее, сражения!»

Помимо ощущения, что задето его профессиональное достоинство, Брейсиг чувствовал себя преданным своими бывшими протеже, в частности Вольтерсом, который, как он надеялся, пойдет по его стопам как историк. Фактически, их отношения уже разладились, а на самом деле никогда и не были особенно близки. Будучи старше Вольтерса чуть больше чем на десять лет, Брейсиг рассматривал молодого человека как полностью подчиненного, а себя расценивал не только как учителя, но и как *Вождя*. Когда Вольтерс однажды рискнул использовать слово «друг», чтобы охарактеризовать их отношения, Брейсиг принял холодный вид и твердо отклонил подразумевавшееся предложение. Как младший из них, Вольтерс переступил границы, устанавливаемые по умолчанию при выдвижении такого рода предложений, а Брейсиг, вероятно, посчитал этот шаг неподобающим и даже дерзким. Позже он сожалел о своем упрямстве («Возможно, я сделал ошибку, отклонив слово „друг“», — рассказывал Брейсиг своей жене), но к тому времени было слишком поздно. В разрыве отношений он обвинял не Вольтерса. «Ошибка, имевшая более серьезные последствия для моей жизни, — заключал он с сожалением, — состояла в том, что я вообще представил Вольтерса и Валлентина Георге — таким образом, я сам привел их к человеку, у которого их затем и потерял».

Это была самая горькая пилюля, которую пришлось проглотить. Отношения между Брейсигом и Георге когда-то были близкими — Георге оказывал ему все знаки подлинной привязанности. Однажды, в 1905 году, после особенно долгой и интенсивной перепалки — наступило уже пять утра — Брейсиг заметил, что когда Георге уезжал, то показал признаки «глубокого переживания». «Георге обнял меня, склонив голову мне на плечо, — записал Брейсиг в своем дневнике, — и нежно прижался ко мне». Было еще более поразительно, что теперь, пять лет спустя, Георге, казалось, настраивал бывших учеников Брейсига против него. В сентябре 1910 года, спустя приблизительно шесть месяцев после того как вышел «Ежегодник», Брейсиг столкнулся с Георге в ситуации, когда описывал свои прежние дискуссии с Вольтерсом и Валлентином: «Я сказал им, что до сих пор они шли моим путем и идут им еще и сейчас, но с головой, наполовину повернутой к нему — к Георге». Георге спокойно отверг, будто Вольтерс «говорил ему, что дружба была, к сожалению, не такой тесной, как ранее». В любом случае Георге заверил Брейсига, что «никогда не

предпринимал никаких шагов и никогда не имел желания сделать кого-то нелояльным Брейсигу». Подчеркнув несколько раз свою невиновность в каком-либо предательстве и настаивая, что отделиться от Брейсига было собственным выбором Вольтерса и Валлентина — «тридцатилетние люди должны сами решать, что им делать», — он затем изменил тактику. Георге утверждал, что, если бы это был он, то «не позволил бы больше оставаться среди друзей, которые хотели оставить его». Брейсиг был или слабым или отчаянным, если хотел держаться за людей, которые, очевидно, уже повернулись к нему спиной. Георге поступал иначе. Кто-то мог быть нелояльным в своих книгах не только на деле, но даже в мыслях — и наказание за оба нарушения было одинаково серьезным. Когда Брейсиг попытался напомнить Георге: «Были и такие, кто оставил вас», Георге пожал плечами: «Только второстепенные». Наконец, возможно желая хоть как-то сохранить свое лицо, Брейсиг неубедительно заявил Георге: «Мы никогда не были друзьями. Мы были союзниками и нравились друг другу». «Мы были дружелюбны», — ответил Георге. Это было и уточнение и вердикт.

Случились и еще большие потери. В августе 1910 года старая берлинская подруга и покровительница Георге, Сабина Лепсиус, написала Гундольфу, чтобы сказать: «Я очень опечалена „Ежегодником“». В судорожных, страстных, воинственных, иногда саркастических словах она излила основания своей тревоги. Ее главные обиды касались двух основных вопросов, которые «Ежегодник» затрагивал лишь мимоходом, но которые были наиболее злободневными: вопроса о месте и значении женщин в обществе и более провокационного вопроса о гомосексуализме, или педерастии, или, как она это назвала буквально, «любви к мальчикам» — *Junglingsliebe*.

Все что касается женского вопроса и любви к мальчикам является совершенно предосудительным.

Послушайте меня: желание вновь поработить женщин было бы синонимом желания повторного водворения в гетто. Свобода облагораживает человека, и насколько безумным я считаю освобождение людей, которыми следует руководить, потому что они зависимы, людей, из числа которых только тот, кто сам себя развил, может быть освобожден, настолько же явно я признаю ошибкой представления о женщинах, которых придерживаетесь вы.

Для вас женщины должны быть прежде всего «удобными». Но только служанки и шлюхи являются удобными. И те и другие делают то, что им говорят. Женщина, у которой есть достоинство (мне кажется, вы все любите человеческое достоинство), не повинуется, как собака, а общается с мужчиной так же, как друг делает это со своим другом. Мужчина нуждается в нравственном воспитании со стороны женщины, так же как женщине требуется интеллектуальное образование со стороны мужчины — мужчина и женщина несовершенны друг без друга.

Это, конечно, общие слова. Даже в школе они должны влиять друг на друга; было бы меньше петухов и коров и больше мужчин и женщин. Снова общие слова; каждый выдающийся индивид может требовать *любого* права. Такие индивиды несут свои законы в себе и когда они будут жить в соответствии с ними, то будут жить прекрасно. Горе человеку, который подражает им!!! Горе тем, кто превращает презрение к женщинам в программу. У вас не было бы тогда никакого потомства, которое поддерживало бы вас.

Гундольф, в последнем письме вы писали, что женщины необходимы, а иногда даже приятны! Я громко смеялась, когда прочла это! Мы необходимы, и поэтому вы позволяете нам существовать? Нет, мой дорогой, мы — половина творения и без того, что вы находите это «необходимым». Если вы — семья и весна, то мы — осень и плод. Наша работа отличается от вашей, но она такая же великая.

Культура немислима без женщин. Древние Афины и современный сафический Париж — это извращения.

Это был бодрящий сквозняк, даже тревожный — если принять во внимание его источник. Редко у Георге и его соратников возникали такие темы, о которых говорили так свободно, но никогда не говорили в столь обличительных выражениях. Следствие того, что «тайная Германия» становилась публичной, следствие, которое они, вероятно, предвидели и даже приветствовали, заключалось в том, что ранее покрытое тишиной теперь будет называться открыто и упоминаться по имени. Но одно дело подвергаться нападкам со стороны врагов, и совершенно другое — быть неприглядно понятыми со стороны друзей.

Первоначально Гундольф стремился не признавать того, о чем говорила Сабина Лепсиус. «Где, ради Бога, во всем „Ежегоднике“ затрагивается вопрос о правах женщин и расхваливается „любовь к мальчикам“?!? — отвечал он на ее письмо. — Возможно, переплетчик изготовил для вас какой-то другой „Ежегодник“, я искал, искал и не нашел ни одного предложения, которое можно было бы так истолковать». Указывая, что «четверо из сотрудников „Ежегодника“ — отцы семейств» и что «другие были или помолвлены с реальными женщинами, или влюблены в них со склонностью их боготворить», Гундольф не признавал оснований. «То, что вы воображаете под любовью к мальчикам и под нашим представлением об этом, моя драгоценная Сабина, — это отчасти всего лишь призрак, созданный маленькими старыми девами, способными только думать о сексе и боящимися конкуренции, а отчасти искаженный образ, рисуемый косматыми книжными червями, которые не могут представить, как им следует любить своих испачканных чернилами мужланов». Гундольф пошел еще далее, превратив свою защиту против ее обвинений в вердикт всему обществу, которое эти обвинения поддерживало. Он утверждал, что доводы Сабинины Лепсиус были симптомом времени, в которое «чувство и интуиция

человека в целом как физического выражения и символа божественного были утрачены, и в которое человек был раздроблен на свои потерявшие священное измерение элементы, мозг, нервы, кости, сексуальные органы. Везде, где тело, видимое человеческое существо, больше не выражает божественное, как в благословенной древности, везде все действительно становится проблематичным, психологическим, физиологическим, сексуальным, и отношения между людьми становятся, сознательно или подсознательно, ориентируемыми и рассматриваемыми с точки зрения материального аспекта, с точки зрения их цели, с точки зрения прибыли и убытков». Однако, даже при том, что Гундольф только что осудил культуру, которая подписалась под отрицательным взглядом Сабины Лепсиус на позицию «Ежегодника» по отношению как к женщинам, так и к «любви к мальчикам», и высокомерно отверг ее собственные возражения как необоснованные и глупые, он счел необходимым повторить еще раз — слово благодаря повторению голос звучал более убедительно, — что «ни об одном из этих предметов в „Ежегоднике“ ничего нет».

Самое милосердное слово, которое можно использовать, чтобы описать ответ Гундольфа Сабине Лепсиус, — лицемерие. Технически он был почти — но не совсем — прав, утверждая, что «Ежегодник» не содержал прямых ссылок на педерастию, или любовь к мальчикам, или на вопрос о правах женщин. Одно частичное исключение — эссе Гильдебрандта, в котором тот сделал мимолетное упоминание о критике Виламовицем древнегреческого отношения к женщинам. Виламовиц осудил его как несовершенно в сравнении с собственным временем, когда, как он выразился, «жена и мать нашли место, предназначенное им природой, как равные компаньоны мужчины». Виламовиц дал также отрицательную характеристику аристократической культуре в Греции до эпохи Эсхила — она потворствовала предосудительному «порабощению женщин». Гильдебрандт осмеял это как буржуазный пиетизм, но самодовольно отказался потратить впустую какое-либо время, чтобы показать, как «тенденциозный и все фальсифицирующий Виламовиц говорит здесь и повсюду о месте женщин», и оставил все как есть. Другое место в «Ежегоднике», которое Сабина Лепсиус, возможно, имела в виду, представляло собой характерный косвенный комментарий Вольфскеля относительно распада «мужского эротического сообщества», основанного на «различии и почитании тела и действия», и его превращения в противоположную форму — «рассеивания отзвуков его антимира женской сексуальности». Хотя было затруднительно утверждать, что именно имел в виду Вольфскель под «антимиром женской сексуальности», без особых опасений можно было бы сказать, что этому выражению не предназначалось быть лестным для женщин.

Если это единственные части «Ежегодника», в которых открыто проявлялись вопросы, тревожащие Сабину Лепсиус, то они были, конечно,

лишь небольшой частью истории в целом. Начиная с публикации «Седьмого кольца», с его сердцевины — стихов, посвященных Максимино, Георге постепенно все меньше и меньше стеснялся раскрывать направленность своих предпочтений и в частных беседах и в публичных заявлениях. Всего за несколько недель до того как «Ежегодник» вышел в свет, был, например, опубликован девятый номер «Листка за искусство». Его отличали обычные микроскопические вводные параграфы, включая параграф, названный «Греческое Чудо». Он объявлял, что греческая культура была «чем-то несравненным, уникальным и совершенным» и что не следует жалеть никаких усилий, чтобы ей подражать. Лучшим способом решения этой задачи, утверждалось в параграфе, было не создание ее поверхностной копии, а, скорее, ее воплощение посредством «проникновения и оплодотворения в Священном Браке». Только тогда «Греческая Идея» будет реализована, а именно реализовано то, что «Тело есть символ переходящего, Тело есть Бог». Это была вера в божественность тела — и это было, как подразумевалось, мужское тело, — которое введение в «Листок» объявляло «самым созидательным и самым невообразимым, самым величественным, самым сильным и самым достойным из всего человеческого, по отношению к которому, с точки зрения его величественности, любое другое, даже христианское, неизбежно должно было быть более низким».

У любого, кто даже приблизительно был знаком с собственным творчеством Георге, фраза «Греческая Идея» вызывала сложный и в то же время особый отзвук. Личное знакомство Вольфскеля с Фридрихом фон дер Лейеном, профессором литературы в университете Мюнхена, расцениваемым некоторыми в качестве далекого, но надежного союзника, не оставляло никаких иллюзий относительно того, что означал этот лозунг. В июле 1910 года Вольфскель сообщил, что подвергся испытанию трехчасовой беседой с фон дер Лейеном, в которой профессор сказал: «Религиозные аллюзии в девятом [выпуске «Листка»] и особенно Греческое Чудо были чрезвычайно опасным предприятием». Фон дер Лейен сказал Вольфскелю, что считает «обожествление тела, особенно тела красивого мальчика, опасным, потому что тайна сверхсексуальной любви, таким образом, смещается в область борьбы из области своего прежнего уединения, особенно после того как целый „Ежегодник“ основывается на этом религиозном принципе». Он видит самые грубые недоразумения со стороны посторонних, являющиеся следствием этого. На деле, даже до публикации «Ежегодника» и нового тома «Листка», такие «недоразумения» в форме сплетен и слухов уже начали появляться. Вольфскель сказал Георге, что фон дер Лейен предупредил его, особенно относительно Максимины, что «весь мир говорит об этих вопросах самым злонамеренным образом» и что в каждом городе, в который он приезжает, в самых разных интеллектуальных кру-

гах, в которые входит, он слышит самые фантастические вещи по этому поводу.

Отвечая Георге, Гундольф ответил и на тревоги Вольфскеля, что «Учитель считает дело с фон дер Лейеном не очень важным», этим и ограничившись. Но, несмотря на такую демонстрацию беспечности, существовала и подлинная причина для беспокойства. Не только печально известный Параграф 175, объявлявший сексуальные отношения между мужчинами (и, по умолчанию, с мальчиками) незаконными, но и весь вопрос о гомосексуализме в целом был недавно поднят на уровень усиленного национального внимания. В 1906 году Максимилиан Гарден, активный журналист, издававший берлинский еженедельник, называвшийся «Die Zukunft» («Будущее»), сообщил ошеломляющее известие. В серии статей Гарден утверждал, что члены близкого окружения немецкого Императора Вильгельма II виновны в увлечении действиями, которые запрещены Параграфом 175. Обвинения в сексуальной непристойности были выдвинуты против так называемого Круглого стола Либенберга — его учредители приглашались каждую осень в имперские охотничьи угодья в поместье в Либенберге. Среди регулярных гостей были некоторые из лидеров прусской аристократии, такие как Гельмут фон Мольтке, барон Эберхард Дона-Шлобиттен, Георг фон Хульзен, барон Эмиль фон Горц, а также некоторые придворные, числом не менее двадцати в каждом данном случае.

Председательствующим на празднествах, действующим как глава церемоний, был барон Филипп Ойленбург, близкий друг императора с 1886 года. Профессиональный дипломат, Ойленбург быстро поднялся до положения пользующегося наибольшим доверием и самого влиятельного советника Вильгельма после падения Бисмарка в 1890 году. Впоследствии Ойленбург стал одним из самых могущественных людей в новой немецкой империи. С тех пор Максимилиан Гарден, который основал «Die Zukunft» только через два года и который не выносил политики Ойленбурга, целестремленно трудился, чтобы вызвать его крушение. В 1906 году Гарден наконец нашел инструмент, чтобы это осуществить.

Внешне сама идея, что Ойленбург не был почтенным и «совершенно нормальным» членом немецкой знати, казалась нелепой. Он, как и большинство других членов круга Либенберга, был женат, имел детей и подавал все признаки того, что был любящим и добросовестным мужем и отцом. Но, как показала историк Изабелла Халл, многие из писем Ойленбурга, которыми он обменивался с отдельными друзьями, оставляли «мало сомнений относительно гомозротической природы связей между основными членами их группы».

Основываясь на информации, предоставленной одним из врагов Ойленбурга, Гарден признался в ноябре 1906 года в «Die Zukunft», что обладает неопровержимыми доказательствами, что характер отношений между

Ойленбургом и его друзьями, особенно Куно фон Мольтке, был далеко не невинным. Когда Император узнал о кампании, начатой Гарденом, то разгневался и потребовал, чтобы Ойленбург и Мольтке организовали контр-наступление. Этот ход оказался неудачным. Гражданский иск о клевете, с которым Мольтке выступил против Гардена, привел к оскорбительному открытому судебному процессу в октябре 1907 года, который завершился, к еще большему смущению, оправданием Гардена. После этого последовали апелляции, опровергнутые вердикты, пересмотры судебных дел и дальнейшие разоблачения — и каждая новая огласка несла с собой новые огорчения Императору и его партнерам. С течением времени — на что и рассчитывал Гарден — дело начало представлять собой серьезную угрозу всему правительству. В центре растущего скандала был сам Ойленбург. Согласно принесенному под присягой свидетельству рыбака и рабочего, которое откопал Гарден, Ойленбург предположительно имел сексуальные отношения с мужчинами в конце 1880-х годов. На основании этих новых «доказательств» Ойленбург, который всегда лишь слабо возражал, что «никогда не совершал ничего грязного», был помещен под арест. Его поместье обыскали и назначили дату начала судебных слушаний. Во время заседаний второго трибунала летом 1908 года Ойленбург пережил нервный срыв — его процесс был отложен до следующего года, после чего Ойленбург повторно изобразил слабоумие. В течение еще десяти лет Ойленбург каждые шесть месяцев обследовался судебными врачами, чтобы определить, улучшилось ли его состояние, чтобы позволить возобновление процесса, пока в 1919 году вопрос не был отложен на неопределенный срок. Но Гарден достиг своей цели. Репутация Ойленбурга была опорочена, его привилегии, прежде всего доступ к Императору, запрещены, и несчастный барон был эффективно устранен с политической арены.

От Гундольфа или Георге не могло ускользнуть в связи с этим, что любой таким же образом мотивированный человек потенциально способен сделать некомфортной жизнь и для Учителя и его друзей. Эта проблема была, конечно же, у них на уме. В 1907 году, когда скандал разворачивался, Георге обсуждал дело Ойленбурга с Бертольдом Валлентином, который отметил в своем дневнике только то, что они «беседовали о бароне Куно Мольтке, Максимилиане Гардене». (Много лет спустя Георге похвалил Георга Бонди, который ранее был в дружеских отношениях с Гарденом — «худшим из сплетников», как Георге тогда назвал его, — за то, что Бонди разорвал свои связи с Гарденом из чувства протеста против этого дела.) И когда Сабина Лепсиус написала Гундольфу письмо с жалобой на «Ежегодник», второй процесс Ойленбурга длился только один год. Поэтому не было ничего удивительного, что в своем длинном, детальном опровержении Гундольф повторно упомянул о деле, явно отрицая, что «Ежегодник» имел что-то общее с «сексуальными вопросами, эмансипацией, законами о

материнстве, Ойленбургом, Параграфом 175 и т. д.». Гундольф добавил что если фрау Лепсиус желает получить лучшее представление о намерениях Георге и его клана, то он советует ей читать Платона перед процессами Гардена. Как правило, Гундольф заканчивал воинственной нотой. «Что касается самого Георге, то ему безразлично, что говорят его враги, но он настойчиво просит своих друзей бороться только против того, что он действительно имеет в виду, и никогда не обрушиваться на него, даже мягко, с тем, что дает лишь новую пищу для низменных дел его врагов. Он десятки раз объяснял, что *в настоящее время* необходимы не женщины, не мальчишки, а мужчины для войны».

Судя исключительно по продолжительности и страстности опровержений Гундольфа, Сабина очевидно задела его за живое. Примечательно, что Гундольф сосредоточился главным образом на опровержении любого совпадения между идеалами Георге и чем-либо даже отдаленно связанным с делом Гардена—Ойленбурга. Что касается вопроса об оценке женщин у Георге, то прямое свидетельство было менее очевидным, и поэтому оказалось, что опровергать его не было острой необходимости. Возможно, по этой причине Гундольф почувствовал, что безопаснее было позволить документу высказаться самому за себя, и сосредоточил свое внимание на другом, более переменчивом пункте. Но относительно «женского вопроса» документ, как прекрасно знали Гундольф и фрау Лепсиус, открывал больше, чем встречал неосведомленный глаз.

С тех пор как в 1897 году Георге формально распрощался с Женщиной в «Годе души», то, кажется, остался в значительной мере в положении мягкого безразличия к женскому полу в целом. Он, разумеется, сохранял дружеские отношения с некоторыми женщинами, особенно с Сабиной Лепсиус, и, как упомянул Гундольф, у многих из его учеников были жены. Но женщины никогда не отвечали — и не будут отвечать — ни одной из самых глубоких нужд Георге, и поэтому они, в сущности, были ему безразличны. Правда, нередко их окружение было полезным — они, например, готовили, убирали, делая, таким образом, некоторые аспекты жизни более удобными. Тем из своих компаньонов мужского пола, которые имели к этому склонность, Георге разрешал развлекаться с женщинами, пока это не мешало более важным вопросам. «Я всегда говорю, — заявил Георге однажды, — что вы можете иметь столько случайных связей, сколько хотите, но только до определенной степени». С течением времени, однако, его отношение к женщинам становилось более жестким, изменяясь от мягкой терпимости к их присутствию, даже от случавшегося наслаждения их обществом, до решительного стремления исключить их из своей сферы, по крайней мере из внутреннего святилища. Роберт Берингер, который знал Георге не хуже других, открыто признавал, что тот «не желал женщин в своем государстве и чувствовал, что привязанность к семье является

препятствием». Георге мог бы сказать своим друзьям: «Если вы полагаете, что вам больше нечего делать в государстве, то можете жениться». Берингер говорит далее, что, согласно Георге, «брак изменяет интеллектуальный горизонт друга и поэтому неизбежно ослабляет дружбу». В сущности, брак и, следовательно, женщина имеют только одну цель: произвести детей, и предпочтительно мальчиков. По убеждению Георге, «брак необходим для женщин, но для мужчин оправдан только с целью создания правильного потомства». Столкнувшись однажды с противостоянием своей позиции по данному вопросу — со стороны женщины, можно добавить, — Георге дал неоднозначный, если не сказать обманчивый, ответ. «Когда я был против брака? — спросил он. — Я великолепно уживаюсь и с женатыми мужчинами, и с их женами, но они также должны быть для этого подходящими». Быть подходящим для брака, однако, на самом деле означало быть подходящим для его собственной концепции брака, а это был совершенно иной вопрос. Апостол Павел сказал бы, что лучше жениться, чем сгорать от страсти, но Георге не был в этом уверен.

Те немногие женщины, которых Георге допускал в свое окружение, должны были поэтому соблюдать основные правила, им установленные, и мириться со знанием, что их всегда будут рассматривать как низшие существа, приветствовать их в роли домохозяйки, служанки и женщины, вынашивающей ребенка, но запрещать им когда-либо играть любую независимую роль в сфере духа. «Женщины, — продолжал сообщать Беренгер, — выполняют трудную задачу быть гостеприимной и располагаться на заднем плане». Иногда Георге безжалостно напоминал своим знакомым женского пола об их подчиненном статусе. Однажды, когда Ханна Вольфскель, скромная, лояльная и трудолюбивая жена Карла, села рядом с мужчинами в своем доме, Георге поднял ее на смех: «Теперь она опять хочет быть ленивой и пить чай вместо шитья». В целом, следовательно, женщины располагались настолько низко на шкале ценностей Георге, что он не задумывался об их конституции, пока они были приятны и податливы. «Женщины, — сказал он в другом случае, — могут приобрести любые черты характера. Любой может преуспеть в том, чтобы сформировать женщину, — любой мужчина, который действительно нуждается в весьма сильной воле. Чтобы быть прекрасным, мужчина должен иметь характер, а женщина может быть очаровательной, красивой, приятной и без характера».

Под этой поверхностью умышленного пренебрежения и бесстрастного презрения лежало тем не менее глубокое недоверие к женщинам и их власти, основанное на страхе, что женщина, оставленная без присмотра, может попытаться вырвать контроль у мужчин и поработить их своим прихотям. Презрение Георге к женщине, по крайней мере частично, питалось весьма реальным ощущением, что она представляет собой постоянную угрозу. Георге нравилось рассказывать самым молодым членам свиты то, что

он называл «символической историей». «Когда женщина, рассматривая картины в доме своего друга, увидела среди них одну, которая была особенно выразительной, то заявила: „Если вы любите меня, уничтожьте ее“». Георге видел глубоко значение в этой истории. «Юное создание, которое преподносит себя как исключительное обладание, — предостерегал он, — желает быть и исключительным правителем». Она думает, объяснял Георге, что не должно быть ничего, о чем она ничего не знает и что ее не увлекает. Сходным образом, одним из главных возражений, которые Георге выдвигал относительно присутствия женщин среди мужчин, была их очевидная любовь к сплетням. Как говорил один из его друзей, «не было, вероятно, ни одной женщины, о которой бы он не думал, что она сплетница». Не болтливость как таковая тревожила Георге, но цели, для которых, как он подозревал, женщины ею пользуются. «Поэт знал, что сплетничество, словоохотливость в женщинах — не просто слабость, но, скорее, оружие, которое всегда использовалось с проницательностью и хитростью, чтобы управлять мужчинами. Женщина быстро разобьет, уничтожит любое единство, любую гармонию среди мужчин, а уничтожив ее, приобретет власть над одним и будет легко доминировать над остальными». Распущенный язык, иными словами, мог утопить корабль государства.

Подозрения Георге относительно умысла женщин узурпировать место и власть мужчин, казалось, подтверждались возникающим феминистским движением, которое устойчиво набирало силу в Германии начиная с рубежа XIX—XX веков. «Он не был дружественно настроен к эмансипации женщин», — сухо отметил один из его знакомых. И для этого было серьезное основание — в политических и идеологических рамках феминизм представлял собой антитезу всему тому, что отстаивал Георге и его круг. «Феминистки, — писал об этом периоде историк Ричард Эванс, — обычно разделяют идеалы буржуазного, основанного на протестантизме либерального индивидуализма». Не было ни одной статьи в феминистской программе, которую Георге не уравнивал бы с великими несчастьями, воздействующими на общество в целом. И вся концепция круга и его собственной роли внутри него была фундаментально несовместимой с центральной идеей, на которой основывался феминизм, — достижение личной свободы посредством установления равенства между полами. Но по крайней мере в одном отношении Георге применял к мужчинам и женщинам единый стандарт. Ни тем ни другим, полагал он, нельзя позволить достичь полной автономии. Когда однажды Сабина Лепсиус упрекнула Георге в критике эмансипации женщин, он сказал: «Но я также и против эмансипации мужчин, как я могу быть за эмансипацию женщин?»

Прежде всего из-за этого тлеющего вопроса, который «Ежегодник» наконец-то разжег, пятнадцатилетняя дружба с Сабиной Лепсиус и подошла к резкому и вредоносному концу. В октябре 1910 года она сообщила сво-

ему мужу, Рейнхольду, что однажды вечером в течение двух часов («до половины одиннадцатого») была увлечена «страстными дискуссиями о женщинах». Отвращенный ее необычно прямыми упреками, Георге начал жаловаться другим своим берлинским знакомым, таким как Георг Зиммель, что фрау Лепсиус демонстрировала прискорбные признаки «развития к недуховному». Аналогичным образом, он упоминал Гертруде Канторович, что требования, которые дети Лепсиус выдвигали своей матери, и раздор, который они вызвали, произвели неблагоприятное воздействие. «Я люблю Сабину, — говорил ей Георге, — и буду всегда ее любить, но наша дружба стала невозможной из-за детей, которые в нее вмешиваются». Во время одной из их все более и более напряженных бесед Георге сказал Сабине, что самым сильным ее качеством была «добросовестность». Сабина оставила это без комментариев. Она знала, что это далеко не комплимент и что Георге слишком ясно хотел указать — ей недоставало многих атрибутов выдающейся натуры. Как настоящий живописец, который расценивает себя как преданного своему делу и опытного художника, Сабина поняла, что его замечание было эквивалентно отказу от ее верительных грамот. Следующим утром, покидая дом, после того как провел там ночь, Георге произнес взвешенным голосом то, что могло быть воспринято только как окончательное прощание: «Сабина, вы знаете, что, если когда-либо я действительно буду вам нужен, то всегда к вашим услугам». Он повернулся и вышел за дверь.

Это было в конце 1910 года. Три года спустя, в октябре 1913 года, когда Георге нанес свой следующий визит в имение Лепсиус, Сабина нашла его «полностью изменившимся». Едва взглянув на нее, Георге «в беседе обращался исключительно и демонстративно к Рейнхольду». Когда Георге готовился уезжать, то наконец обратился к ней, подчеркнуто сдержанно просив: «Ну, не собираетесь ли вы подарить мне поцелуй? Я не могу просто сказать Рейнхольду: не выйдет ли он наружу на мгновение». Потрясенная Сабина, сказав: «Конечно», — быстро вышла и едва сдерживалась, чтобы не плакать, когда он уехал.

Они виделись друг с другом еще один раз, осенью 1917 года. Георге пришлось предложить свои соболезнования Рейнхольду и Сабине, чей единственный сын был убит на войне. Имя молодого человека в честь поэта, оказавшего когда-то большое влияние на их жизнь, было Стефан.



Глава тридцатая

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Как только волны негодования, поднятые «Ежегодником», начали вновь спадать, Фридрих Гундольф принял решение, которое, на первый взгляд, казалось противоречащим всему содержанию журнала, в частности тому, что он, как один из подписывавших его редакторов, поддерживал. «Благодаря стечению обстоятельств, — писал он по случаю в сентябре 1910 года Эрнсту Бертраму из Гейдельберга, — я позволил убедить себя остаться здесь на эту зиму». Для столь важного заявления это был необычно пренебрежительный способ выражения. Немецкие университеты предъявляют высокие требования к тем, кто стремится влиться в факультетские ряды. Они требуют не только завершения докторской диссертации, но и дальнейшего доказательства академической квалификации в виде еще одной объемной монографии — «хабилитации», — которая необходима, чтобы получить *venia legendi*, или официальное разрешение преподавать. Гундольф, иными словами, желал стать профессором.

«Гундольф — лектор? — недоверчиво спросил один друг Бертрама, когда ему рассказали эту новость. — Я никогда не поверил бы этому». Ситуация действительно казалась невероятной. Только что заявивший о не менее чем эпохальном значении язвительного отказа Вольтерса от всякой рациональности и науки, самый преданный и лояльный последователь Георге — который, насколько это возможно, не доверял научному духу даже еще больше и когда-то незабываемо заявил: «Никакая дорога не приведет меня к науке», — Гундольф теперь внезапно пожелал стать членом учреж-

дения, в котором наука — *Wissenschaft* — была определяющим кредо. В 1902 году знаменитый историк немецких университетов Фридрих Паульсен обрисовал в общих чертах характер положения профессора и его задачи, состоящие из двух различных, но неизбежно взаимосвязанных компонентов. Немецкий профессор, писал Паульсен, был одновременно «ученым, или исследователем, и преподавателем научных дисциплин». Так или иначе наука — которую Гундольф, казалось, категорически отвергал всего лишь несколькими месяцами ранее — была важнейшим и необходимым разделом должностных обязанностей профессора.

Однако если уж становится профессором, то в Гейдельберге. Это был тогда, как и сегодня, один из самых красивых университетских городов Германии, живописно расположенный в долине реки Неккар, окруженный крутыми зелеными холмами с возвышающимися величественными руинами замка времен Ренессанса. Построенный из массивных красноватых блоков песчаника замок был разрушен в конце XVII столетия армией Людовика XIV, что сделало его только более романтичным. Сам Гейдельберг, маленький и неотразимо очаровательный, был разрушен во время Тридцатилетней войны, в начале XVII столетия, — фактически, ни одно из средневековых деревянно-кирпичных зданий не сохранилось. Узкие улицы ведут мимо изысканно украшенных причудливых строений, сообщающих городу привлекательную атмосферу величия и интимности. Экономический подъем, испытанный всей немецкой империей в 1890-х годах, оставил заметную печать и на Гейдельберге. Большие изящные виллы возникли вдоль северного берега реки, который благодаря открытости южному солнцу получил шутовское прозвище «Ривьера Гейдельберга». Избалованные благоприятной обстановкой, в которой природа и человеческие начинания, казалось, достигли счастливого баланса, жители города имели репутацию открытых, добродушных людей с склонностью к юмору, обладающих легкими, непринужденными манерами. Этот в целом беззаботный характер граждан Гейдельберга, который Георге мог бы связать с их католическим наследием и южной чувствительностью, — то есть с полным отсутствием какого-либо прусского влияния, — должно быть, был не последним элементом его привлекательности и для Гундольфа.

Но именно университет и сообщал Гейдельбергу все его своеобразие. Основанный в 1386 году, это — третий из самых старых немецких университетов, уступающий только университетам Вены и Праги. В ходе столетий он, естественно, был подвержен многочисленным изменениям в том, что касается качества и жизнеспособности предлагаемых им услуг. Все же начиная с середины XIX века престиж университета постоянно рос, и к тому времени, когда Гундольф пожелал в нем обосновываться, это был один из ведущих университетов Германии, всемирно уважаемый и привлекающий все большее и большее число студентов в свои лекционные залы и

комнаты семинара. Одна только статистика иллюстрирует экстраординарный рост славы и привлекательности Гейдельберга: в течение учебного 1899/1900 года было зарегистрировано 1250 студентов; четырнадцать лет спустя, когда разразилась война, это число более чем удвоилось, достигнув 2668. Среди преподавателей были люди, известность которых распространялась далеко за пределы границ Германии: философы Куно Фишер и Вильгельм Виндельбанд, специалист по классической филологии и друг Ницше Эрвин Роде, такие историки, как Бернхард Эрдманнсдорффер и Эрих Маркс, и особенно экономисты Макс Вебер, его брат Альфред, а также Эберхард Готейн, который стал ректором университета в 1919 году. Репутация Гейдельберга была такова, что к 1920-м годам он обладал в немецкой академической иерархии положением, эквивалентным Оксфорду в Англии.

Учитывая размер города и университета — в 1914 году там было только 49 профессоров наряду с 120 другими преподавателями — интеллектуальное и социальное взаимодействие преподавателей и студентов не только было неизбежным, но также представляло собой значительную сторону привлекательности Гейдельберга. Один студент того времени утверждал: «Едва ли был еще один немецкий университетский город, в котором, как здесь, преподаватели и студенты встречались в лесу, в садах или в студенческих апартаментах по случаю торжеств или простой шумихи и праздновали весь вечер, и даже сутки напролет». Действительно, интенсивность и блеск общественной жизни в Гейдельберге были легендарными. Немецкие профессора на рубеже веков расценивали себя и рассматривались другими как принадлежащие к своего рода образованной аристократии, и они как по своим доходам, так и по статусу занимали место среди самых высокопоставленных членов общества. В Гейдельберге, в частности, жизнь профессора была не просто комфортной, она граничила с роскошью. В сравнении с преподавателем в каком-то ином месте Германии, средний профессор Гейдельберга был привилегированным существом: в Пруссии средняя зарплата составляла 4000 марок ежегодно (в Берлине зарабатывали 4800), тогда как средний доход в Гейдельберге был почти вдвое больше, около 7400 марок, и мог подниматься даже до 10 000. Большие здания с домашними слугами были такой же привычной стороной профессорского существования в Гейдельберге, они считались само собой разумеющимися. В путешествии, которое Макс Вебер и его жена, Марианна, предприняли в Соединенные Штаты в 1904 году, фрау Вебер, например, была потрясена, обнаружив различие между американскими и немецкими академическими домохозяйствами. Она была удивлена, увидев, что «высокообразованная жена» профессора, которого они посетили в Нью-Йорке, «готовит, занимается уборкой, стиркой, шитьем» и что даже муж принимает участие в выполнении домашних задач. Такое было невероятно в Гейдельберге. Экстравагантные

обеда для дюжины и более гостей были весьма распространены — они предполагали множество блюд, вина по выбору и часто завершались частным музыкальным концертом или художественным чтением. Все это происходило в просторных, со вкусом украшенных комнатах профессорского дома и было доступным постоянному составу преподавателей.

Не удивительно, что социальное возвышение вместе с остро развитым сознанием интеллектуального превосходства иногда приводило к избытку самомнения у некоторых членов немецкого профессорского сословия. Куно Фишер, который в дополнение к своей известности как философа был одним из самых богатых мужчин в университете (о его доме говорили как о «дворце „миллионера“»), демонстрировал талант к заявлениям, показывавшим, как он воспринимал себя относительно своих собратьев. «Не называйте меня всегда Превосходительством, — наставлял он, как сообщают, студентов, — говорите это только время от времени». Точно так же, после того как его сына публично назвали «посредственностью», профессор Фишер сделал замечание, не столько ради самообороны, сколько с целью разъяснения: «Принято считать, что сыновья знаменитых людей мало что значат».

В то время как некоторое высокомерие в той или иной мере ожидаемо в подобных обстоятельствах — на самом деле, скромность и простота вообще считались неподходящими, «непрофессорскими», и активно осуждались — большая часть преподавателей Гейдельберга основывала самооценку на своих академических достижениях. С точки зрения и качества и количества выполняемой работы их самооценка часто была совершенно оправданной. «Если я не буду работать каждый день до часа ночи, то не смогу быть профессором», — сказал однажды Макс Вебер относительно самого себя, выражая трудовую этику, широко разделяемую его коллегами. Многие, как Вебер, были признанными лидерами в своей области — их книги и статьи формировали воззрения на предметы, которых они касались, а их мнения имели вес во всем ученом мире. И все же фокус их индустрии склонялся на одну сторону. «Поскольку профессор университета расценивает себя прежде всего как ученого, а не как учителя, — сообщает нам Фридрих Паульзен, — то научная работа легко представляется для него более важной и более достойной, чем преподавание». Акцент на оригинальном исследовании и «научном» поиске вынуждал многих пренебрегать и даже возмущаться своими преподавательскими обязанностями, которые они расценивали как досадные перерывы в настоящей работе. Следовательно, для преподавателей было весьма обычным делом заполнять время, отведенное для лекций, простым чтением того, что случалось им писать в настоящее время, независимо от темы или педагогической ценности этого. Нет необходимости говорить, что не часто это вдохновляло к обучению.

Студент, посетивший Гейдельберг на рубеже веков, вспоминал о своей первой встрече с Вильгельмом Брауне, одним из самых известных профессоров немецкой литературы. Это был удручающий опыт. С головой погруженный с свои рукописи, лишь периодически поднимавший глаза, чтобы смутным взором окинуть аудиторию, Брауне «казался отсутствующим». Его лекция касалась замысловатой истории рукописных источников для «*Nibelungenlied*», средневекового немецкого национального эпоса, предмета, над которым студент прежде никогда долго не размышлял. Послушав, как Брауне своим «высоким, выразительным и сжатым голосом» бубнил в течение часа о различных рукописных традициях — эти традиции определялись исключительно буквами алфавита, так что Брауне обсуждал «*A, B, C... и их сходства*», — исполненный надеждами студент чувствовал «ужасное разочарование и уныние», в одном лишь отныне будучи уверен: «Если это и есть тропа науки, я никогда на нее не встану».

Конечно, не каждый немецкий профессор был таким скучным — достаточно вспомнить только о способности Георге Зиммеля к философской импровизации, — и у Гундольфа не было никакого намерения подражать его будущим коллегам во всех отношениях. Но академическая жизнь, как тогда, так и теперь, могла быть обманчивой, и кажущаяся спокойной тишина библиотек, и умозрительные научные занятия часто скрывали за собой опасные водовороты профессиональной зависти, преступных намерений и злости. Чтобы получить разрешение преподавать в Гейдельберге, помимо необходимости выполнить формальные требования Гундольф должен был завоевать благосклонность других германистов, включая самого Вильгельма Брауне, и заручиться поддержкой людей в администрации, которые будут содействовать ему в его стремлении к преподавательской должности.

С дипломатическим искусством, которому сильно помогали его восхижительные манеры, острый ум и разоружающая располагающая внешность, Гундольфу очень скоро удалось заручиться необходимой поддержкой. В августе 1910 года он мог уже сказать Эрнсту Роберту Куртиусу: «Была, мне кажется, скорее, внешняя оппозиция моей кандидатуре». Брауне выразил мне сегодня свои добрые пожелания», — добавил Гундольф, утверждая, что Вальдберг — другой профессор истории литературы и глава департамента — «был даже очень рад». К ноябрю, даже при том, что Гундольф все еще не был официально связан с университетом, неофициально он уже расценивался как один из его сотрудников. Поначалу Гундольфу все казалось немного нереальным. «Это был странный опыт, — доверительно сообщал он Куртиусу, — обращаться к Вальдбергу как к Господину Коллеге (и не с иронией или значительно, как Вы могли бы подумать, но, скорее, совершенно по-дружески и мимоходом). Я положительно чувствовал, словно у меня растет борода». Поскольку для Гундольфа завер-

шалась попытка вступления в изысканное царство преподавательских рангов, ему все труднее удавалось справляться со своими нервами. «Ночью мне уже снятся семинары, на которых меня ставят в неудобное положение, — признавался он Куртиусу, — и Вальдберг, изливающий на меня свою ненависть! Надеюсь, эти сны означают нечто противоположное... Если он останется таким же расположенным и дружелюбным ко мне, каким был до настоящего времени, то все пойдет подобающим образом».

Но прежде чем получить возможность чувствовать себя в неудобном положении перед студентами, Гундольф должен был преодолеть одно завершающее препятствие, установленное его будущими коллегами, — саму диссертацию для хабилитации. Для большинства людей это трудное, болезненное и продолжительное предприятие, тянувшееся иногда несколько лет. Гундольф завершил его через восемь недель. 10 августа 1910 года он начал работать над рукописью. Всего лишь через месяц он писал Эрнсту Бертраму: «Она забирает всю мою энергию и концентрацию и уже раздулась в толстую книгу на моем столе». 12 октября работа была закончена — ее объем составлял 491 страницу. Сам Гундольф был охвачен благоговейным страхом перед своим свершением, переполнен почти безличным восхищением собственным подвигом, как будто это была работа кого-то другого. На самом деле, он верил, что частично так это и было. В день, когда книга была завершена, Гундольф говорил Георге: «Теперь, когда она лежит передо мной, я понимаю, что писал ее как единственный владелец, а она — продукт более высокой потребности и воли, которая выходит далеко за пределы моих собственных презренных знаний и способностей. Это был, — продолжал Гундольф, — непосредственный плод деятельности всей группы людей, связанных с „Листком“ и с представленным „Ежегодником“, компендиум духовного движения, библией которого служат ваши книги». Но прежде всего Гундольф имел в виду, что книга, которую он написал в таком помешательстве, является выражением действовавшей через него порождающей силы самого Георге, еще одно свидетельство созидательных потенций Учителя. «Я сам, — кротко говорил Гундольф, — остаюсь вашей немой частицей, но факт, что я смог написать эту книгу, — это для меня новое доказательство, что существуют священные браки, от которых появляются дети божественного происхождения у вовсе не обладающих чем-то божественным родителей. Знаю, что за эти два месяца я приобрел новый смысл и исполнил одно из самых великих служений «государству», которое могло быть для него совершено. У меня есть вы, чтобы поблагодарить за это, как и за все остальное, и вы должны услышать о моем счастье без оговорок о ложной скромности — именно ваше дитя я восхваляю, а не вас одного, но его лучшие силы исходят от вас».

Гундольф привык не получать ответ от Георге на свои излияния и поэтому реагировал обычным способом — просто продолжал изливать свои

чувства. Позже в тот же месяц он поделился надеждой, что Бонди издаст книгу «как имеющую важнейшее значение для „государства“, для „Листка“», понимая, насколько она «была близка „Суверенитету и служению“ Вольтерса своим провозглашением теоретической „Имперской“ природы». Гундольф, конечно, знал, что Георге не позволит ни одной книге быть выпущенной в свет «его» издателем без его специального одобрения и поэтому в ноябре в письме к Георге обещал, что, как только закончит пересматривать рукопись — он диктовал весь текст, исправляя его по мере продвижения, — то сразу пошлет ее Георге или Бонди («как вы решите»). «Диктуя, — писал Гундольф, — я замечаю, что не переоценивал эту работу в своей первоначальной радости и волнении при ее создании. Теперь я вновь спокоен и вижу — она действительно хороша».

Наконец, 7 ноября, Георге прервал свое молчание, послав два стихотворения — собственное и Эрнста Морвица — и краткое примечание, адресованное «моему драгоценному Гунделю». Как обычно, письмо было лаконичным, основанным на фактах и ограничивалось, главным образом, сообщением о датах и местах путешествий, но все же вызвало у Гундольфа новые приступы преданности. Возможно, Гундольф думал, что неотзывчивость Георге имела отношение к неодобрению всего его научного предприятия как такового, поэтому воспользовался возможностью не просто вновь подтвердить свою лояльность Георге, но также и доказать полезность своей работы для общего дела. «Мне бы лет десять жизни во здравии, — клялся он, — и я стал бы тем, кто сделает все ваши главные мысли и переживания общим достоянием немецкой культуры в целом в самом лучшем ее смысле, то есть достоянием немецкой молодежи. По всем признакам, это — мое право и призвание, самая лучшая и самая оригинальная из всех задач. Посему, дорогой и любимый Учитель, не презирайте меня за „интеллектуализм“ (теперь у него есть намерение и цель), даже если он и не создает ничего первостепенно важного: ибо нет никакого лучшего средства для организации и распространения его в Будущей империи». Возможно, Гундольф не был оригинальным поэтом, но он полагал, что может быть представителем такого поэта: «Вдохновленный возросшей любовью к тому, кем вы были, и к вашей работе, я чувствую, каким оружием может быть слово в моих устах и в моих руках. Обнимаю вас, дорогой, с благодарностью, почтением и преданностью».

Сама «диссертация для хабилитации» — спусковой механизм, приведший в действие этот поток новых признаний в привязанности и полезности Гундольфа, — была озаглавлена «Шекспир и немецкий дух». Это был плод глубокого и длительного увлечения Шекспиром — в октябре 1910 года Бонди издал уже пятый том шекспировских пьес в переводе Гундольфа. Но по размаху, намерениям и амбициям «Шекспир и немецкий дух» беспрецедентен для предшествующего опыта Гундольфа как писате-

ля. В общих чертах эта книга прослеживает распространение влияния Шекспира на немецкоязычных землях, распространение, которое Гундольф в значительной степени идентифицировал с формированием современной немецкой культуры вообще. Работы английского драматурга, утверждал Гундольф, были инструментом, способствовавшим зарождению и росту специфически немецкого духа, или *Geist*, в XVIII столетии. Они были таким инструментом, обеспечивая противоядие и альтернативу удушливому рационализму, якобы вызванному адаптацией и рабским подражанием классической ментальности французов XVII столетия. Этот иностранный интеллектуализм, однако, был чужд немецкой чувственности, утверждал Гундольф, чувственности, которая достигла своего подлинного выражения в переживании, эмоции и посредством понимания полноты жизни во всей ее целостности. И именно Шекспир сделал возможным такое самоосвобождение, позволив немецкому духу осознать себя.

Но никакое краткое резюме не могло оценить по достоинству сложность аргументации книги, передать адекватное ощущение ослепительной яркости ее языка. Ушли оправдывающие сами себя темноты и мистические трюки, которые иногда прокрадывались в более короткие отрывки прозы Гундольфа в «Листке». В «Шекспире и немецком духе» его проза ясна, уравновешенна, мерцает умозрительной прозрачностью и оживляется драматическими поворотами фразы, столь точно обработанной, что звучит почти как афоризм. Соглашаемся мы с его анализом или нет — а имеются бесчисленные причины не соглашаться, — она остается увлекательным чтением, предлагающим редкое удовольствие наблюдения за интеллектуальным художником, работающим в пике своей формы.

Когда книга была издана — она появилась, как и надеялся Гундольф, у Бонди в апреле 1911 года, — реакция была почти единодушно восторженной. Его друг Эрнст Роберт Куртиус поторопился выразить свое «горячее восхищение блестящей работой». Он сказал, что испытал «удивление и интеллектуальную радость», читая книгу, которая будет, предсказывал он, «знаменовать собой эпоху в истории немецкого духа, о котором она и рассказывает». Куртиус поражался «невероятной достоверности каждого шага, каждого положения, каждого взгляда» и делал вывод: «Это исходит из чрезвычайной широты и ясности метафизического знания. Вся книга — по сути, прикладная метафизика».

Дальнейших одобрений не пришлось долго ждать. Вскоре после того как Гундольф прибыл в Гейдельберг, он был представлен семье одного из университетских светил — экономисту и историку культуры Эберхарду Готейну и его жене, Марии Луизе. В своих мемуарах она написала об их первой встрече: «Я сразу же была очарована красивым молодым человеком». Когда книга Гундольфа появилась, ее муж был так же поражен этим произведением. «Вот уж действительно примечательно! — профессор Го-

тейн передал свой восторг и жене, — я едва ли читал литературный исторический трактат, который является не только произведением искусства, но прежде всего выражением сильной личности и основательной, а не увлекающейся внешними эффектами учености». Он мог с трудом поверить в твердость руки Гундольфа или в глубину его психологической проницательности. «Эта замечательная способность к сочувствующему пониманию людей и явлений, — продолжал Готейн, — вместе с ярким и живым языком — самым привлекательным, что есть в книге, — тесно связаны друг с другом. Я хотел бы еще раз повторить: эта книга может скрасить жизнь, как и человек, который ее написал».

Каждый, кто читал ее, приходил в восторг — то есть почти каждый. Уже в середине апреля, когда Георге получил свою обязательную копию «Шекспира и немецкого духа», Гундольф был убежден, что истинный отец книги наконец признал существование своего потомства. Из Бингена Георге написал и отправил нехарактерно многословное письмо автору, но Гундольф знал, что говорливость Георге могла быть вызвана смешанными чувствами. После нескольких кратких слов, которые можно было бы принять за похвалу, — Георге признавал, что книга «построена с весьма экстраординарной достоверностью + содержит скрытые достоинства, несмотря на часто невероятные утверждения», — тон Георге очень скоро принял более критический оборот. Георге размышлял, какое воздействие книга могла бы иметь на будущих коллег Гундольфа, которые «должно быть, часто думали: „Что дает этому молодому «ученому» право говорить таким образом?“» И Георге сам давал ответ: «Причина — они не обладают внутренним, „сердцевиной“». Иными словами, в несколько иной форме и с иными целями Георге вновь заявлял о том, о чем неоднократно говорил и сам Гундольф, — «сердцевиной», точкой ориентации, которой обладал Гундольф и которой недоставало другим, как раз и был сам Георге. Именно в силу привязанности к своему Учителю, многозначительно напоминая ему Георге, Гундольфу и было дозволено писать с такой доверительностью и определенностью. Очевидно, Георге чувствовал, что Гундольф позабыл о том, что было источником его вдохновения, и упрекал Гундольфа за то, что тот, пусть неявно, занял место на первом плане. «В некоторых местах, даже в разделе о Гёте, можно было бы пожелать хотя бы немного больше СКРОМНОСТИ в выражениях. Вы НЕ смогли также избежать заблуждений литературных критиков, которых столь резко упрекаете просто посредством „СИСТЕМЫ духа“ (я имею в виду ее образец в лучшем смысле), но в своих убеждениях вы это сделали». Иными словами, Гундольфу удалось избежать подводных камней профессорских и научных притязаний, но только потому, что он был укоренен в своих верованиях. Георге не чувствовал, что должен был обстоятельно объяснить, каково происхождение и опора этих верований, но, очевидно, считал необходимым вновь на-

помнить Гундольфу, что тот был только глашатаем, а не подлинным источником этих убеждений. «В ином случае, — заключал Георге, — я полон похвал + восхищения. Вы понимаете?»

С другими Георге был более прям и менее снисходителен в своих комментариях относительно Гундольфа и его новой книги. «Профессора превратили его в руину», — уже категорично заявил он Бертольдзу Валентину несколькими месяцами ранее, в январе 1911-го. Курт Гильдебрандт, который подслушал этот комментарий и был потрясен в достаточной мере, чтобы его записать, сказал, что «не поверил своим ушам». Помимо всего, это был Гундольф, которого Георге признавал «всеобщим любимцем и, вероятно, самым талантливым». Прежде Георге, казалось, потворствовал Гундольфу в его неудержимом «интеллектуализме». Всего лишь полтора годами ранее, когда план «Ежегодника» обсуждался впервые, Людвиг Тор-мелен засвидетельствовал сцену, которая произвела на него глубокое впечатление. Гундольф сделался весьма оживленным во время беседы, и в середине своей речи Георге встал за спинкой его стула, в то время как все остальные продолжали говорить. Когда Гундольф внимательно слушал следующего оратора, Георге сказал ему что-то ободряющее, погладил его волосы и, быстро склонившись, слегка прикоснулся к ним губами. Затем он вернулся на свое место и обратил свое внимание к остальным.

И все же постепенно наступали иные времена, когда Гундольф считал, что у него были причины сомневаться, так ли много значило его существование для Учителя. В 1915 году, при еще одном длительном обмене мнениями с Гундольфом относительно *Geist*, Георге даже не предпринимал усилий скрывать, что этот предмет в целом не очень его интересовал. В конце концов Георге стал раздражен. «Все вы, — сказал он нетерпеливо, — все вы люди *Geist* совершаете глупости каждый день». Что хорошего было во всем этом «Духе», если он не мог улучшить даже обыкновенный здравый смысл? В доказательство его несовершенства Георге указал на Вольфскеля. Гундольф решительно защищал *Geist*, утверждая, что не мог бы презирать то, чем жил. Это был путь, которым он шел, — печально было бы закончить все это теперь раскаянием, словно его преданность *Geist* была бессмысленной. Ответ Георге совсем не был утешительным: «Я вовсе не хотел бы, чтобы вас не было. Я полностью удовлетворен тем фактом, что вы существуете».

Быть удовлетворенным существованием Гундольфа не значило, однако, быть удовлетворенным тем, что он делал. Георге казалось, что Гундольф становился слишком очарованным Духом ради самого Духа. «*Geist* — это оружие», — говорил Георге также в 1915-м, подразумевая, что тот не был самоцелью. Таковы были его взгляды при основании «Ежегодника», и он все еще придерживался их и тогда. И при этом Георге не видел конфликта между этой оценкой Духа и его поэтической или художе-

ственной программой. Ибо, как он афористично заметил, «оружие — это нечто прекрасное». Но Георге все больше и больше казалось, что скорее Гундольф служил *Geist*, чем *Geist* Гундольфу. Пристрастие Гундольфа к чтению — он часто проводил целые дни в библиотеке, читая и делая пометки, и исследовал книжные магазины Гейдельберга в поисках самых последних публикаций — предполагало явную книжность, которая также не помогала снизить скептицизм Георге. «Пятьдесят книг достаточно для почтенного человека, — однажды решил Георге. — Все остальное — „образование“». В 1914 году, когда Гундольф нетерпеливо сообщил относительно нового открытия, какое он сделал в книжном магазине спустя один день после начала занятий, Георге прервал его: «Почему вы опять тратите впустую свое и мое время? Карл, по крайней мере, смог бы открыть новый начальный звук!» В конечном счете Гундольф начал беспокоиться, чтобы его не поймали за чтением чего-то такого, что могло бы считаться фривольным, — что включало в себя почти все существующее. Ситуация иногда принимала абсурдные измерения. Всякий раз, когда Гундольфу случалось, сидя например в ожидании стрижки, взять в руки иллюстрированный журнал, чтобы провести время, он быстро откладывал его в сторону, если дверь на улицу открывалась, из-за страха, что это мог быть Учитель.

Гундольф, таким образом, оказался подвешенным между двумя противоположными принципами, по крайней мере между двумя сферами, которые рассматривались как противоположности, — между наукой и поэзией, сферами, воплощенными соответственно университетом и Стефаном Георге. Гундольф в отчаянии стремился мыслить их не как являющиеся обязательно взаимоисключающими, а как потенциально дополняющие друг друга. Но Георге, как сам Гундольф знал лучше, чем кто бы то ни было, признавал только абсолютное. Георге считал невозможным избежать заключения компромиссов в том или другом направлении и наделял особым презрением представление, будто правомерно или даже возможно создать «мост», ведущий от поэзии к науке. Когда Гундольф услышал об этом, то возразил, сказав, что его собственная книга о Шекспире не была, конечно, никаким компромиссом. «Нет, — ответил Георге, — но идите и спросите своих коллег, считают ли они, что это — наука». Как бы ни изворачивался Гундольф, он не мог победить. Вместо того чтобы разрешить ему посредничество между этими двумя мирами, Георге выставил его проигравшим с обеих сторон.

Несмотря на его повторяющиеся оговорки относительно университета и всего того, что тот собой представлял, Георге не был, однако, совершенно безразличен ко всем достопримечательностям Гейдельберга. «Что касается Гейдельберга, — писал он Гундольфу в сентябре 1910 года, — помните, когда на прошлой неделе мы с Эрнстом шли через мост, я обратил ваше

внимание на белокурого мальчика, имевшего сходные черты с архаическим рельефом настолько, что хотелось написать его портрет». Георге сказал, что вновь столкнулся с тем «белокурым мальчиком» несколько дней спустя и, выяснив его имя, обнаружил, что это не кто иной, как сын Эберхарда и Марии Луизы Готейн. Георге знал, что Гундольф познакомился с семьей, и обратился с просьбой сфотографировать их сына — знакомство делало эту просьбу менее неловой. Для таких целей Георге предпочитал нанимать в Бингене некую особу по имени Якоб Хильсдорф, о котором сохранил примечательное суждение: «Когда наш дворовый фотограф из Бингена приедет вновь, тогда и сделаешь фотографию — ведь на работе обычного фотографа видны только грубые черты».

Мальчиком, который пробудил интерес Георге, был Перси Готейн, тогда четырнадцати лет и уже поразительно солидный. Он стриг свои волосы «под пажа», и эта стрижка искусно обрамляла сильные, правильные черты его лица. У Перси был широкий высокий лоб, большие выразительные глаза, длинный, тонкий нос прекрасной формы и полные мясистые губы. Его подбородок и челюсть были так же хорошо сформированы, как и его немного выдающиеся скулы. Своим физическим типом он почти полностью соответствовал идеалу Георге — то есть его идеализированной версии самого себя. Гундольф любезно последовал инструкциям Георге и обратился к семье относительно возможности сделать снимок сына. В конце сентября он получил в ответ хорошие новости: «Я был там, и все прошло хорошо». Фрау Готейн, писал Гундольф, вовсе не находит просьбу странной или неподобающей. «Она была явно тронута и рада, поскольку Перси — любимец в семье. В студии есть его бюст, и она показала мне несколько скульптур, которые изображают его. Отец также ободряюще улыбнулся». Единственное беспокойство, которое высказали его родители, добавил Гундольф, заключалось в опасении, что если они расскажут их юному сыну о своем плане, то могут остаться ни с чем. Относительно самого Перси, Гундольф согласился, что тот был «явно красив, весьма внушительен и трогательно застенчив и робок, почти ничего не говорил (ничего не сказал он и о вашей встрече, и в настоящее время его родители также ничего не говорят)».

В автобиографическом эскизе, написанном впоследствии, Перси Готейн обнародовал причину, почему не рассказал о встрече с поэтом своим родителям. Однажды, когда он шел домой с уроков вместе с группой одноклассников, то заметил какого-то человека, пристально смотрящего на него. Он почувствовал себя «загипнотизированным строгим и внушительным поведением этого странного человека». На следующий день он с удивлением обнаружил этого человека — тот стоял на том же самом месте и в то же самое время, и они вновь бессловесно обменялись взглядами. На третий день Перси ожидал, что этот человек снова будет там, но напрасно.

Когда же он пошел, размышляя над этим необычным стечением событий, то внезапно услышал шаги и, обернувшись, узнал странного человека, шедшего за ним следом. Встревоженный, он продолжал идти, а услышав, что шаги ускорились, также увеличил свой шаг. Как раз перед тем как он добрался до ворот своего дома, преследователь догнал его. На мгновение мальчик подумал, что этот человек мог просто промчаться мимо, но он остановился. Перси помнил, как совсем недавно родители внушали ему, чтобы он был чрезвычайно осторожен с незнакомцами, которые хотели дать ему конфеты или деньги. «Я подозрительно изучил своего преследователя с головы до ног, и когда тот спросил, как меня зовут, какую школу я посещаю, кто мои родители и где они живут, в моей голове пронеслась мысль, совсем необычная для мальчика, что я сделал что-то не так». Перси даже задавался вопросом, не будет ли более благоразумно обмануть преследователя, «как это делают индейцы», и дать ложные или вводящие в заблуждение ответы на его вопросы. Но было слишком поздно — он правдиво предоставил требуемую информацию. Человек сказал только: «Это прекрасно», — и Перси пошел домой, больше чем слегка смущенный тем, что же все это могло означать.

Одно тем не менее было бесспорным. Перси сказал себе, что не будет добавлять другую грубую ошибку к той, что уже совершил с незнакомцем, и поэтому решил сохранять молчание перед родителями о всем случившемся. «Было бы неблагоразумно, — рассудительно заметил он, — обрушить удар судьбы на мою голову еще до того, как инцидент получит неприятные последствия». К счастью, дело приняло более благополучный оборот. Несколько дней спустя его мать и отец беспечно сообщили, что пришло письмо, в котором содержалась просьба его сфотографировать, «пока для этого было время». Ибо, предполагал автор письма, через два года Перси, вероятно, станет «настолько противным, что будет выглядеть как большинство остальных». Это был неуклюжий комплимент, но даже при всей своей двусмысленности все же комплимент. Родители Перси объяснили, что поэту — которого они еще не встретили — дозволено так говорить, потому что о таких вещах он знает больше, чем кто-либо другой.

В назначенный день Перси нарядился в свой лучший бархатный жакет, мать заставила его еще раз тщательно вымыть руки, расчесала его волосы, и они с тревогой стали ожидать их почетного гостя. Наконец прозвонил звонок, и странный человек вошел внутрь, словно к себе домой, взял руку хозяйки в обе свои руки и радушно ее встряхнул. Затем, вставив монокль себе в глаз, он проинструктировал мальчика, где стоять, и через несколько минут дело было сделано. При отъезде Георге пригласил Перси посетить его в Бингене в следующий *Whitsuntide*.

За время осенних и зимних месяцев, которые Георге как обычно провёл в Берлине и Мюнхене, он не виделся с юным Готейном, но не забывал

его. Иногда Гундольф соблазнял Георге, посылая ему пикантные подробности о мальчике. «Я видел Перси, более красивого и сильного, чем когда-либо, — писал Гундольф в начале февраля 1911 года. — Он очень молчалив и демонстрирует какую-то взвешенную силу, священную неповоротливость в своих движениях, которой трудно сопротивляться». Хотя оценка Гундольфа не казалась безусловно положительной, Георге был очарован. Он настолько увлекся, что позволил себе провести примечательную параллель. «То, что вы пишете о *Перси*, восхищает меня, — рассказывал он Гундольфу, — и на данной стадии легко вызывает сравнение с *Максимином*». Георге, должно быть, осознал неуместность подобного сопоставления — Богу нельзя быть равным — и сразу же уточнил его. «Он (то есть Максимином) все же стоял на божественном уровне, исполненный сияния, с божественным знанием о подобии Адонису в своем совершенстве. Но Перси целиком располагается на человечески героическом уровне — наполненный дикими потребностями и желаниями, с той противоречивостью на лице, которая указывает, что ему предназначено быть и пассивным и активным». Перси, возможно, и не был Максимином, но определенно был тем, за кем следовало наблюдать. «Всякий раз, когда вы увидите его, — говорил Георге Гундольфу, — пишите мне только о нем!»

У Гундольфа были все основания почувствовать себя уязвленным этим последним приказом — он только что написал книгу о Шекспире и готовился прочесть вступительную лекцию в университете. Но на оба этих достижения Георге смотрел с равнодушием, или еще хуже, — и Гундольф не выразил чувств, которые испытывал, а покорно выполнил инструкции Георге. «Я надеюсь увидеть *Перси* в начале следующей недели», — писал он пять дней спустя. Но его собственные описания Перси, и раньше не бывшие весьма экспансивными, стали еще более сдержанными и заметно менее лестными, чем в тех сравнениях, которые проводил сам Георге. В апреле Гундольф сообщил, что недавно путешествовал в Мангейм вместе с Перси: «Он обладает чем-то непреодолимо живым и имеет сходство с молодым благородным животным, вместе со всеми почти забавными чертами такого существа, еще не дисциплинированного и не оформившегося». Какое бы животное ни имел в виду Гундольф, по крайней мере он считал его благородным. Но это все же сильно отличалось от уподобления мальчика богу.

Через несколько недель Георге получил наконец свой шанс изучить Перси более точно. В начале мая 1911 года мальчик принял приглашение посетить его в Бингене. Наряженный в новый костюм, который его мать купила для этой цели, Перси, взволнованный тем, что ему предстоит первая поездка без сопровождения и далеко от дома, сел на поезд от Гейдельберга до соседнего Бингена, легко нашел указанный дом и был встречен поэтом в воротах его сада. В тот день Георге показал ему все свои люби-

мые места, они предприняли прогулку по крутым тропинкам склонов, выходящих к Рейну, окруженному виноградниками и цветущими весенними садами. «Этот пейзаж, — сказал ему Георге, указывая на долину реки внизу, — у нас на Родине больше всего напоминает Грецию». Георге никогда не был в Греции — это было в лучшем случае приблизительное сравнение. Все же ссылка имела отношение не столько к физической действительности перед ними, сколько к метафизической идее, которую обозначала «Греция» и которую сам Георге рассматривал как ее воплощение. (Когда однажды его спросили, не хочет ли он увидеть Грецию своими глазами, Георге ответил, что везде, где он был, *была* и Греция.)

Сообщать юному Перси о греческом идеале означало принять роль платоновского наставника. Этому суждено было иметь многообещающее значение. «Живость» и «неповоротливость», которые и Гундольф и Георге часто отмечали, выражались в рано развившейся самоуверенности, даже в определенной дерзости. Далекий от того, чтобы выказывать Георге знаки подбострастного почтения, к которому тот привык от других, четырнадцатилетний подросток вел себя иногда на грани нахальства. Когда они лучше познакомились друг с другом в течение этого первого дня, то, например, оба признались, что заметили друг друга еще до того, как Георге заговорил с Перси, и что они были «друзьями с первого взгляда». Позволяя своему приподнятому настроению и своему ребяческому тщеславию взять на собой верх, Перси заявил: «Но вы никогда не увидели бы меня, если бы не мои длинные волосы, которые и привлекли ваше внимание». Георге, удивленный такой демонстрацией неприкрытой дерзости, остановился на тропинке и рассмеялся: «Дитя мое, это первое смелое замечание, которое вы сделали».

Полдень принес и другие события. На холме над городом располагалась башня для наблюдений, к которой Перси устремился, делая два шага вместо одного с целью достичь вершины первым. Когда он отдышался, то в ожидании Георге прислонился к столбу, поддерживавшему флюгер. По стечению обстоятельств этот столб недавно покрыли толстым слоем жира, чтобы защитить от стихии, и когда Георге приблизился, то увидел, что новые серые штаны Перси испачкались сзади. Испугавшись, Георге посетовал на то, как мог надеяться возратить мальчика его родителям «совершенно невредимым» через два дня, если такое произошло уже в самом начале его пребывания. Затем поэт рассказал историю о «катастрофических последствиях, которые способен спровоцировать вид колесной мази», при условии, что рассказ навсегда останется скрытым завесой тайны.

Были и другие интимности по мере того, как тянулся день. Когда опустилась темнота, они возвратились к большому дому, который купил отец Георге и в котором все еще жили его сестра и семидесятилетняя мать. Но там не было никаких прямых следов их присутствия. «Дом, казалось,

таинственным образом был населен невидимыми духами, — вспоминал Перси, — ибо вновь и вновь раздавался отчетливо слышимый стук в дверь, но никто не входил, только Поэт говорил громко: „Да!“ — и затем ничего не было слышно. Мы встали, и в зале никого не было, но в соседней комнате был накрыт прекрасный стол». Перси учился не задавать вопросов, которые могли быть восприняты как дерзкие, и, опасаясь, что может получить удар по носу, если проявит любопытство, сопротивлялся потребности удовлетворить свое любопытство относительно того, кто подготовил этот изумительный пир. После еды они вспомнили об испачканных штанах, и Георге принес пару своих собственных бархатных бриджей, которые должен был носить Перси, «пока невидимые духи не удалят пятно с его собственных». Перси трепетал от мысли, что одет в штаны пожилого человека, не чувствуя символического значения действия. Для Георге это был еще один случай тех изобретательных технологий, которые он разработал, чтобы заставлять друзей принимать выражения его индивидуальности как свои собственные — принимать шрифт, разработанный по его почерку, читать поэзию вслух в его манере, и т. д. — как средство воспроизведения себя самого в других. Для Перси это была всего лишь чудесная игра. «Я думал о себе как о мальчишке из „Тысячи и одной ночи“, которому решили гулять целый день в одеждах калифа и на это время быть господином всех правоверных». Когда он сидел в одежде Георге, разговор переключился на зло машин, прогресса и модернизма — сомнительно, насколько мальчик на самом деле все это понимал, — пока не стало совсем поздно и они наконец пошли отдыхать. Лежа в своей кровати, Перси услышал, как Георге прошел мимо его дверей к своей собственной комнате, декларируя себе самому несколько стихотворных строк: «Кто не воспользовался богатством, которого не достоин, / Должен плакать: не потому что беден, [но] потому что потерял». Послание, довольное ясное, заключалось в том, что Перси было оказано необычное благодеяние. Теперь ему предстояло доказать, что он заслуживает дара, которым его великодушно наградили, с подразумеваемой угрозой, что если он этого не сделает, то дар будет отобран так же быстро, как был предоставлен.

Последний подарок Перси Готейну Георге сделал, когда они прощались, — синий басконский берет, похожий на тот, что он сам носил, когда путешествовал, как память о своей давней испанской поездке — ему нравилось дарить такие своим молодым друзьям. Когда в Гейдельберге Перси шел по мосту к своему дому, в новом головном уборе, натянутом до бровей, и столкнулся со своей матерью, она немного удивилась новому наряду сына. Распрашивая, как все прошло в Бингене, она, возможно, не меньше удивилась, когда узнала, что на стене, как описывал Перси дом и его содержимое, висело «то же неизбежное изображение». Он имел в виду фотографию обнаженного Максимиана, которая украшала и Круглую комнату в

Мюнхене. Фрау Готейн, явно хорошо осведомленная о положении дел Героге, сделала выговор сыну за то, что тот так пренебрежительно об этом говорил. «Ты не должен говорить „это неизбежное изображение“, — мягко ругала она его, — ибо знаешь, что когда кто-то заботится о другом человеке, то развешивает его изображение повсюду, чтобы оно чаще напоминало ему о нем, особенно если этого человека уже нет в живых. И если такой маленький мальчик, как ты, так неосмотрительно говорит об этом, то неумышленно причиняет боль человеку, который любит это изображение». Однако, несмотря на очевидную либеральность своих чувств, мать Перси решила, что лучше всего отобрать у него синий берет и запереть его на ключ. Перси не видел его целых семь лет, пока ему не исполнился двадцать один год.



Глава тридцать первая

«ЗВЕЗДА СОГЛАСИЯ»

8 мая 1911 года, через день после того как он вернул Перси Готейна его родителям, Георге восхищенно писал о визите мальчика Гундольфу: «Мы провели два дня в совместных прогулках, и в результате я еще больше им очарован. Прежде всего я поражен, что заставил его разговаривать, чего едва ли можно было ожидать от того молодого медведя, который был передо мной в Гейдельберге. Он даже спорил со мной в течение часа об алкоголе, умело и красноречиво защищаясь. Он дерзок, но его самонадеянность всегда остается очаровательной. Когда мы обедали в отеле и хозяин, раскланиваясь, задавал обычные вежливые вопросы, Перси заявил, что я глубоко разочаровал ЕГО, потому что дружественно общался с „буржуа“». Георге столь взволновался, что стал весьма разговорчив, вникая во все детали, что было ему несвойственно. Это объяснялось его убеждением, что Перси был совершенно необычным. «Теперь главный вопрос, о чем, конечно же, мне было известно: мальчик БЛАГОРОДЕН. Из него можно что-то сделать, и любое иное качество в сравнении с этим вторично. Он, должно быть, весьма неоднозначен (я думаю здесь о *Максимине*), и уже имеет несколько различных обликов, и довольно естественно ими владеет, так как сын двух интеллектуальных родителей уже очень сознателен (критичен). Когда вы увидите его родителей, скажите, что скоро я приеду в *Гейдельберг* и поговорю с ними обстоятельно — особенно важно сказать об этом его матери».

Никто не мог догадаться по излияниям Георге, что человеку, с которым он взаимодействовал как с посредником между ним самим и его воз-

любленным меньше чем за две недели до этого, предоставили формальное разрешение преподавать в университете Гейдельберга. 26 апреля Гундольф прочитал вступительную лекцию, требуемую от тех, кто желает получить такое право, — его речь была посвящена стихотворению Фридриха Гёльдерлина — после проведенного без особых усилий ранее, в том же году, требуемого экзаменационного коллоквиума. Хотя Георге и присутствовал на лекции, но не придавал ей большого значения — очевидно у него на уме было другое. Но сам Гундольф ликовал уже от того, что там находился. «Гейдельберг в мае, — писал он Эрнсту Роберту Куртиусу сразу после своей лекции, — все еще наполнен своим почти ужасающим невероятным волшебством. Чувствую, что однажды утром, протрезвев, я пробужусь от этого обнадеживающего богатства существования». Той же зимой Гундольф уже уютно именовал его «мой Гейдельберг». И именно в Гейдельберге — не считая сорвавшейся попытки сосватать его в Берлин в 1920-м — он и останется в течение еще двух десятилетий, вплоть до своей смерти в 1931 году.

Притяжение было абсолютно взаимным. В относительно короткий срок Гундольф стал одной из наиболее известных фигур в университете, постоянно привлекавшей большее число студентов на свои лекции и постоянно получавшей приглашения выступать в других учреждениях по всей Германии и в остальной части Европы. В 1914 году Гундольф обнаружил к своему удивлению, что в его аудитории находилось уже шестьдесят-семьдесят человек, тогда как он «рассчитывал самое большее на двадцать». И когда толпы слушателей его университетских лекций стали слишком большими — после войны они составляли в среднем приблизительно двести студентов, при всем студенческом населении в три тысячи, — Гундольф был вынужден переместить их во «Внутренний двор», самую большую аудиторию университета. Он стал настолько популярен, что в отличие от многих мог требовать — и получать — плату за свои внешние лекции. В течение 1920-х годов Гундольф регулярно зарабатывал пятьсот марок за выступление, когда, скажем, такой известный автор, как Стефан Цвейг, должен был соглашаться на сравнительно скромные триста.

Мнения относительно того, насколько хорошим лектором был на самом деле Гундольф, были разными. Эдгар Салин прямо заявлял, что Гундольф «не был хорошим оратором и никогда им не станет». Зная, что был во многих отношениях посторонним академическому сообществу, Гундольф старался сохранить формальные моменты выбранной профессии. «В своих лекциях я дошел теперь до Гуттена, — рассказывал он Куртиусу в 1914 году, имея в виду гуманиста времен немецкого Возрождения, — и я всегда должен держать себя в руках, чтобы оставаться „научным“». Что в этом случае означало слово «научный», так это строгую приверженность к стилю лекций типичного немецкого преподавателя. Как описывал Салин,

«Гундольф читал дословно со страниц, которые принес с собой, лишь изредка отрывая глаза от листков и позволяя себе коротко пробежаться взглядом по аудитории или взглянуть через окно на Людвигплац». Но даже при том, что поведение Гундольфа на кафедре нравилось не всем, многие из его слушателей находили, что сущность того, о чем он рассказывал, с лихвой восполняла нехватку риторического блеска. И по этой причине Гундольф приковывал к себе внимание. «Его богатые идеями сентенции, — характеризовал стиль Гундольфа Салин, — следовали одна за другой, без пауз, где глубокие наблюдения призывали бы студентов поразмышлять над собственным опытом — но это возможно было бы, если бы связь сентенций не терялась в быстром темпе чтения». (Гундольф, по крайней мере, знал, что читал слишком быстро и что его лекции слишком сжаты, но, кажется, мало был склонен что-либо менять. «По крайней мере, — предоставил он по ходу дела объяснения Куртиусу, — никто не обвиняет меня в том, что я даю слишком мало, только в том, что слишком много».)

Но для других, особенно по мере того как известность Гундольфа росла и аура вокруг него расширялась, его лекции были одним из самых ярких моментов пребывания в университете, который вовсе не страдал нехваткой блестящих умов. «Гундольф был звездой», — писал Фридрих Зибург, изучавший социологию в Гейдельберге перед войной. Зибург утверждал, что в общем своем воздействии «лекции Гундольфа обладали не сравнимой ни с чем интенсивностью», действительно настолько сильной, что они долгое время влияли на восприятие Зибургом поэзии. «Я никогда не забуду это сочетание раннего лета в его лекционном зале с замечательной атмосферой интеллектуального любопытства и почтительности».

Одна из основных причин не только знаменитости Гундольфа, но также и обстановки почтительности во время его лекций связана не столько с ним самим, сколько с осознанием его близости к человеку, которого случилось даже замечать сидящим среди слушателей. Эдгар Салин, который наряду с некоторыми из его друзей стал студентом Гундольфа в 1913 году, записал такой эпизод.

В то время как это произошло, вся наша группа пришла вместе, как мы это часто делали, на лекцию Гундольфа. Вопреки обычаю мы не услышали гула голосов из аудитории; вместо этого там царил абсолютная тишина. Когда мы вошли, то увидели, в чем причина: на одной из скамей сзади сидел Учитель. Несомненно, лишь немногие узнали его, некоторые, возможно, узнали от них его имя, но все застыли в магическом очаровании перед этим одиноким человеком с выразительным лицом, твердыми как сталь глазами, и в изумлении держали язык за зубами. На сей раз, как и в остальные редкие часы, когда Георге приезжал на лекции своего ученика, напряжение вибрировало в аудитории и охватывало даже самых беспристрастных слушателей. Гундольф подошел, как всегда, быстрыми шагами к подиуму и начал читать

лекцию по своим бумагам. Но это не было похоже ни на какую другую лекцию, которую слушатель едва наделяет вниманием, — в его голосе было почтительное, наполненное благоговением волнение, испытываемое юным учеником перед мудрым учителем, и казалось, что все самые важные высказывания были адресованы поэту, чтобы получить его одобрение.

Одобрения от Георге в отношении своих «научных» начинаний Гундольф как раз никогда не получал. Но, само присутствие Гундольфа в Гейдельберге сделало для Георге доступным нечто гораздо более ценное, чем *Wissenschaft* или что-то подобное. В довоенные годы и в течение короткого времени после того, как война закончилась, Георге часто можно было заметить в Гейдельберге сидящим у подножия замка и разговаривавшим с одним из своих друзей, прогуливающимся по улицам перед назначенной встречей, или просто стоящим на одном из своих любимых мест — у окна квартиры Гундольфа, которое выходило на дорогу, ведущую к замку над городом. Георге нравилось стоять там утром и вечером, наблюдать за молодежью Гейдельберга, степенно прогуливающейся вверх и вниз, в надежде увидеть, не подражает ли кто-нибудь его походке, или манерам, или внешнему виду — качества, которые Георге ценил. Если кто-то попадался на глаза и удостаивался внимания, то Георге иногда выражал свой интерес поклоном или словесным приветствием, а в редких случаях даже подзывал избранника к себе, обходясь без обычной церемонии обращения к посреднику, чтобы назначить встречу с ним в особый день и час.

Когда величие самого Георге начало возрастать в умах немецкой молодежи, бывшей восприимчивой к его посланиям, и когда молва о его частых появлениях в Гейдельберге распространилась, больше людей начало выказывать намерение там обучаться — часто у Гундольфа, — и по крайней мере отчасти из-за ассоциации с поэтом. (Вальтер Беньямин, который, как и многие другие одаренные юноши Германии, прошел через период глубокого увлечения поэзией Георге, был одним из тех, кто совершил паломничество в Гейдельберг только для того, чтобы мельком увидеть Учителя. Позже Беньямин сделал запись об этом, хотя никогда не встречал Георге лично: «Я, конечно же, видел его, даже слышал. Мне привычно было проводить в ожидании многие часы на скамье за чтением в парке замка в Гейдельберге и дожидаться момента, когда он, как предполагалось, отправится на прогулку».) Гейдельбергу, таким образом, был обеспечен богатый и постоянно пополняемый поток возможных новобранцев, а положение Гундольфа в университете давало Георге легитимный повод возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы собирать все более и более обильный урожай. При таких очевидных преимуществах было неудивительно, что в годы, предшествующие 1914-му, Гейдельберг стал тем, чему Эдгар Салин дал незабываемое определение «секретной столицы тайной Германии».

И все же ирония всего происходящего изумляет. Человек, который вскоре станет одной из самых неотразимых и влиятельных сил в одном из главных университетов Германии, сам вообще не был связан с университетом и фактически даже отвергал само учреждение и все, что оно собой означало. Но, на первый взгляд, бескомпромиссный почти во всем Георге был адептом примирения определенных противоречий, когда это служило его целям. Мы обнаруживаем и другой пример того, что можно было бы назвать стратегической гибкостью, в невероятных, хотя и недолговечных, отношениях, которые Георге разыгрывал с другим центром притяжения в Гейдельберге — Максом Вебером.

Наряду с Фердинандом Теннисом и Георгом Зиммелем Вебер был одним из главных основателей современной социологии. Его работы о религии, экономике и политике — особенно магистерская диссертация, «Протестантская этика и дух капитализма», впервые изданная в виде ряда статей в 1904 и 1905 годах — все еще находит своих читателей и вызывает восхищение. Но не только оригинальности и богатству идей Вебер был обязан тем, что стал выдающимся ученым в глазах своих современников. Родившийся в 1864 году, Макс Вебер был на четыре года старше Георге и считался сильной и яркой индивидуальностью. Красноречивый, серьезный, уверенный в себе, Вебер убеждал всех, кто его встречал, что был экстраординарным человеком. «Я провел час с Максом Вебером, — писал Эберхард Готейн своей жене в 1908 году; — полный духа и жизни, он оставляет в тени всех других в Гейдельберге». Когда в 1910 году Гундольф был представлен Веберу, то также был сильно впечатлен. «Из всех профессоров, — рассказывал он Георге в ноябре того же года, — два Вебера (Гундольф имел в виду Макса и его брата, Альфреда), кажется, сильнее всего чувствуют трепет глубинной жизни, не в качестве знания, как Зиммель, а, скорее, как волю». Год спустя Гундольф все еще говорил почти то же самое. «Недавно у меня была долгая беседа с Максом Вебером о вопросах „Ежегодника“ (а не о самом «Ежегоднике»), — писал он вновь Георге, — и я был снова поражен изобилием, серьезностью и силой этого человека».

И все же Вебера отличало то, что связывало его с Георге, — хотя он и занимал видное место в умах своих коллег и друзей в Гейдельберге, но официально был мало связан с университетом. Приняв здесь в 1897 году кафедру, уже три года спустя он был вынужден отказаться от нее из-за своего хрупкого и нестабильного здоровья. С тех пор Вебер оставался почти невидимой, но все же влиятельной фигурой в интеллектуальной жизни Гейдельберга. И оказалось, что чем дольше он работал за пределами университета, тем более значимой — благодаря его сочинениям и регулярным неофициальным собраниям в его доме — становилась его невидимая сила и известность. «Для студентов Вебер стал мифом», — сказал однажды Готейн своей жене. Это было замечание, которое било по его положе-

нию двояко. Макс Вебер был одновременно и знаменитым и недоступным, и почитаемым и практически неизвестным, а «миф» о Максе Вебере во многих отношениях напоминал «миф» о другой неофициальной твердыне Гейдельберга, о Стефане Георге.

Но различия между ними были весьма велики. Вебер был с головы до ног человеком науки: рациональным, осмотрительным, независимо мыслящим и от рождения скептическим. Частично, это было следствием его строгого протестантского воспитания — другой фактор, разделяющий его с Георге. Именно протестантское воспитание дало ему устойчивую степенность характера, наделив своего рода принципиальной серьезностью, которая отражалась не только в его интеллектуальных исследованиях, но и в каждом аспекте его жизни. В политических убеждениях Вебер казался самым антитезисом Георге. Убежденные либералы с сильными социал-демократическими наклонностями, Вебер и его жена Марианна увлекались многими прогрессивными вопросами, к которым Георге и его последователи были равнодушны, — такими как эмансипация женщин, установление социальной справедливости (и убеждением, что она имеет смысл), достижение личной и экономической свободы и т. д. Но, без сомнения, именно открытость к способам мышления и бытия, находившимся в противоречии с собственным, по крайней мере готовность предоставить им право на существование, и позволила Веберу считать отношения с Георге вполне возможными, и даже желательными.

Вебер знал о Георге с конца 1890-х годов — друг и коллега, философ Генрих Риккерт, попытался заинтересовать его самыми ранними поэтическими книгами Георге, особенно трилогией, сформированной «Гимнами», «Паломничествами» и «Альгabalом». Но Вебер, который тогда был озабочен тем, чтобы составить себе имя экономиста и историка аграрных практик в Древнем Риме и сельской Пруссии, имел мало времени для таких фривольностей. Тем не менее после своей болезни, приблизительно в 1910 году, он увлекся проблемами и событиями, которые ранее игнорировал. Реальное восхищение Вебера поэзией Георге не переходило, однако, в одобрение внелитературных устремлений поэта, в частности когда они проявлялись в его более свежих произведениях. Отмечая, что Вебер «чрезвычайно впечатлен» «огромным мастерством Георге», его жена, Марианна, подчеркивала также, насколько противоположен Вебер «*религиозным пророчествам*, которые ученики приписывают Учителю» и которые, говорила она, ее муж отвергал, как и «любой вид культа, посвященного современнику, и вообще любое возвеличение человека до положения власти над *всем* существованием, как и „обожествление живущего существа“». У Вебера вызывал также отторжение радикальный отказ от современной культуры, выраженный в «Седьмом кольце», и он полагал, что «ведущее к самоизоляции презрение Георге к массам» было, как несколько странно

выразилась Марианна, «небратским». Но именно требование «личного суверенитета и личного служения» Вебер считал самым нежелательным. «Конечно, — говорил он, — можно согласиться со служением и безоговорочной преданностью делу, идеалу, но не земному, конечному человеку и его ограниченным целям, независимо от того, насколько исключительным и замечательным он может быть». Это, для Вебера, просто выходило за рамки допустимого.

Сам Вебер ясно сформулировал свою сложную позицию по отношению к Георге в длинном письме, которое написал в июне 1910 года Доре Еллинек, дочери великого юридического и политического философа в Гейдельберге Георга Еллинека. Подчеркивая и свое подлинное восхищение поэзией Георге, и свои одновременные предчувствия о его претензиях вне поэтической сферы, Вебер сказал, что у Георге есть чувство, что он объединил «черты истинного величия с другими чертами, которые находятся почти на грани гротеска». С одной стороны, Вебер думал, что необходимо было пойти еще дальше, чем Гёльдерлин, чтобы найти поэта сопоставимого калибра, — он даже уподоблял Георге Данте в его способности «высказывать вещи, которые никогда не высказывались». С другой стороны, Вебер полагал, что «культ Максимиана полностью абсурден». Желая наделить Георге презумпцией невиновности, Вебер, все в том же письме к фрейлейн Еллинек, сказал, что расценивает растущую в его поэзии тенденцию к социальному и культурному критическому анализу как «инородное тело», недружественное его истинному таланту художника. Эта тенденция представляла собой, полагал он, «крушение» истинного пути Георге, отклонение в направлении, которое, помимо всего, не было даже оригинальным. Называя Георге «отшельником», Вебер остро чувствовал что тот, по образцу многих иных отшельников, теперь хотел «возродиться и управлять „миром“, из которого сначала сбежал». Это было, конечно, верно. Чего Вебер был не в состоянии понять, так это того, что такой и была цель Георге все время.

Наконец, в сентябре 1910 года, благодаря приготовлениям, предпринятым Гундольфом, Вебер удосужился повстречаться с человеком, который заинтересовал его издали. К своему явному удивлению Вебер обнаружил что, как только они оказались друг перед другом, «все запреты, созданные культом ученика, сразу же исчезли — Учитель был совершенно лишен притворства и держался с простотой, достоинством и сердечностью». Вебер был очарован феноменом Георге как личности, даже когда осторожно уклонился от широких заявлений поэта о власти. Со своей стороны, Георге было явно любопытно, что Вебер не отверг — хотя и не поддержал — его сомнения относительно науки, и он даже предпринял необычный шаг, попытавшись нанести визит домой к Веберу, вместо того чтобы пригласить его, как это обычно происходило, в свое собственное жилище, где мог по-королевски принять гостя.

В течение следующих двух лет, вплоть до лета 1912 года, Вебер и Георге периодически видели друг друга. Даже в отсутствие Георге его идеи и его личность были предметом частых разгоряченных обсуждений между Вебером и Гундольфом, который регулярно гостил в семье Вебера. Очевидно, многие из бесед вращались не вокруг поэзии, а вокруг политических проблем и социальных вопросов. Марианна сообщила, что во время обмена мнениями, вызванного «Ежегодником духовного движения», Вебер посетовал, что его собственная работа о протестантской этике неправомерно использовалась, чтобы поддержать широкую атаку на «всю современную культуру: рационализм, протестантизм, капитализм» и т. д. Марианна, которая принимала активное участие в кружках Гейдельберга, проводивших кампанию за женские права, также заметила, что во время их бесед Гундольф утверждал, что именно «современная „просвещенная“ женщина, которая не признает ни власти, ни Бога, принимает на себя всю тяжесть „изначального кощунства“, препятствуя рождению героев». Марианну раздражала мысль, что у женщин была только вторичная роль в замыслах Георге, роль, которая непосредственно отражала отношения между учеником и учителем. «Круг Георге, — корректно напоминает она, — отвергает этическую автономию как образовательный идеал и отказывается признать ценность индивидуальной души. Подчинение власти — для героя, а для женщины — зависимость от мужчины: в этом их вера».

Когда Георге бывал в Гейдельберге, то иногда также участвовал в этих дебатах. Но дебаты часто переходили в вежливую, хотя и упорную артикуляцию противоположных точек зрения. Однажды в декабре 1911 года, когда Георге приехал с визитом, там последовал типичный обмен мнениями. (В своих мемуарах, которые были изданы пятнадцать лет спустя, Марианна сделала подробную запись этой встречи, начиная с предположения, что Георге хотел видеть их обоих с Вебером, и с того, что она была достаточно отважна, чтобы присутствовать во время беседы. Георге, читавший ее книгу, когда она вышла, едко заметил: «Предположение было ложным».) Обсуждение переключилось на обыкновенные предметы и постепенно подошло к вопросу о «женщинах вообще». Георге попытался заручиться поддержкой Макса Вебера «против современной женщины». Очевидно, что семья Веберов возражала. Повернув к хозяйке дома свою львиную голову, Георге очень низко склонил к ней покрытое глубокими морщинами лицо. «Его глубоко посаженные глаза смотрели прямо вперед, и он спросил: „Вы полагаете, что все люди могут быть судьей самим себе?“» Марианна храбро ответила: «Дело не в том, что они *могут*, но в том, что окончательная цель — сделать их достаточно взрослыми для этого». «А Вы хотите быть судьей самой себе?» — спросил он тогда. Не совсем точно понимая вопрос или предпочитая сместить акцент с себя самой на дело, которое она защищала, Марианна ответила: «Да, это — то, чего мы хотим». Это было все,

что ему необходимо было узнать. Самая идея предполагать, что женщина или любое другое низшее существо достигнут самоопределения, была чем-то таким, что Георге не мог постичь, и еще меньше мог вынести.

Но женщины и их надлежащая или ненадлежащая роль не были исключительным предметом разногласий между ними, даже при том, что этот предмет, очевидно, был особенно интересен для фрау Вебер. Во время другого визита Георге разоткровенничался несколько больше, чем обычно, распространившись, например, на «благословенность войны для героического человечества и подлость сражений в мирные времена, на нашу расслабленность благодаря возрастающему умиротворению планеты, которое лишает нас возможности даже зарезать цыпленка». Снова, или неправильно поняв явное прославление Георге войны и битвы, или желая поднять все это на более высокий уровень, Марианна рискнула на примирительное истолкование слов Георге. Она задалась вопросом, «могли ли, учитывая значение постоянно возрастающих интеллектуальных сражений современного человека, эти сражения произвести *духовный* героизм вместо физического разнообразия». Это подразумевалось, но фактически Георге не это имел в виду. Надменным упреком он передал свое неодобрение ее явно преднамеренного искажения его слов. «Злодейка, злодейка! — ругал он фрау Вебер. — Вы всегда хотите превратить все в дух и попутно разрушаете тело». (Когда позже Георге прочел мемуары Марианны, то также прокомментировал этот эпизод. Объясняя свой выбор слов, Георге сказал: «В конце концов, я не мог сказать ей в присутствии ее мужа: „Глупая гусыня, глупая гусыня!“ „Злодейка“ была более вежливой формой».)

То, до какой степени Георге желал, чтобы его похвала войне, физическому героизму и насильственной борьбе была принята буквально — как и насколько серьезно он допускал неизбежные потери человеческой жизни, — иллюстрируется комментарием, который он сделал много лет спустя, в 1929 году. К тому времени Макс Вебер был мертв уже почти десятилетие. Но он все еще время от времени появлялся в беседе, как в следующем замечании, которое Георге сделал, обсуждая отношение между перенаселенностью и производством пищевых продуктов. Этот предмет, очевидно, напоминал ему о самой ранней научной работе Вебера об экономике и аграрной политике. «Вся Англия имела во времена Наполеона пятнадцать миллионов жителей, — указал Георге своему слушателю. — Вообразите: в 1830-х годах в Берлине было 200 000 жителей — совсем не то, что сегодня! Качество жизни должно уменьшиться при нынешних больших количествах». Чтобы пояснить свою мысль, Георге сослался на примитивную культуру: «Когда становилось слишком много людей, тогда „тех, кого слишком много“, сажали в лодку и отправляли в поисках земли. Если они не находили землю, то тонули. Только так „тем, кого слишком

много“, дозволялось существовать. Но приходит господин Макс Вебер и говорит: „Ерунда, земля может накормить еще многих“».

Для Георге позиция, которая не в состоянии учитывать предполагаемую ограниченность природы, иллюстрировала несовершенство современного мира. Сам факт перенаселенности на планете был весьма прискорбным, более того, неестественным. «Если бы Богу было угодно, чтобы нас было тридцать миллионов вместо семидесяти, — говорил Георге тому же самому человеку, ограничивая на этот раз свои комментарии населением Германии — то все наши трудности были бы решены». Не совсем ясно, какие трудности, по его мнению, будут решены сокращением населения более чем наполовину. Но Георге был совершенно нетерпим к тем, кто, как Вебер, видел решение всех проблем в науке. Наука, поскольку она сфокусирована на том, что было технически возможно, а не на том, что имело внутреннюю ценность, представляла собой для Георге извращение природы. «Природа всюду распространяет больше семян, чем доводит до оплодотворения», — сказал однажды Георге и, кажется, извлек более широкий принцип из этого наблюдения. Либеральный демократический гуманист Вебер рассматривал человеческую жизнь как наивысшее благо, достойное сохранения независимо от того, чего она стоит. Георге думал иначе. «То, что люди называют гуманизмом, меня не интересует, — говорил он своим ученикам. — Я ожидаю от вас большего. Ваш путь — чувствовать себя достаточно сильными, чтобы быть достойными греков». Жизнь была соревнованием между сильными и слабыми, меньшинством и большинством, достойными и недостойными, и для Георге был возможен только один результат в борьбе. Каждый находился или среди победителей, или среди проигравших, и смерть была естественной, действительно надлежащей ценой поражения.

В конце концов пролив, разделявший Вебера и Георге, не мог долгое время преодолеваться мостом личной симпатии или одной лишь благовоспитанностью. То, что Георге начал в последние времена принимать за свою «программу», вызвало разногласия между ними, которые разрушили искренние чувства их первоначального взаимного уважения. Все чаще и чаще, во время визитов Георге к Веберам, как замечала Марианна, «наступал момент, когда Георге желал обсудить „программу“» — это и была как раз та «программа», которую и она и Макс полагали невозможным принять. «Обожествление смертных людей, — объясняла Марианна, — и создание религии, основанной на Георге, — а таково, как проговорился Гундольф, уже и было намерение круга — представлялось нам самообманом людей, оторванных от современной жизни». Что касается Георге, то его в конечном счете отталкивал не экстраординарный характер позиции Вебера, но то, что Вебер не был достаточно радикальным. В заключении на

опубликованный Марианной портрет ее мужа Георге пришел к выводу, что благодаря ее воззрениям «каждый видит, кем был [Вебер]: демагогом с политическими наклонностями, но не политическим деятелем».

Это была полная противоположность тому, кем Георге видел теперь себя самого, — политическим деятелем с «программой», которую следует продвигать. «Я буду добиваться осуществления каждого отдельного пункта своей программы, — доверительно рассказывал Эрнсту Роберту Куртиусу в 1911 году, — но никогда не добьюсь того, чтобы они были осуществлены все вместе». Дело было, конечно же, не в желании попытаться. То, что Гундольф стал лектором в Гейдельберге, не повлекло за собой сокращения его деятельности в различных проектах, в которые он был непосредственно вовлечен или за которыми наблюдал. Самым важным из них был «Ежегодник». Приготовления к следующему выпуску начались в конце 1910 года. Гундольф писал Куртиусу в ноябре, что Вольтерс и Валлентин посетили его в Гейдельберге, и вместе они «набросали новые военные планы». В апреле 1911 года, в тот же самый месяц, когда Гундольф прочитал свою вступительную лекцию, был опубликован второй том «Ежегодника духовного движения», а за ним в ноябре последовало то, что стало третьим и последним номером журнала.

Из этих двух апрельский выпуск был, безусловно, самым слабым. На самом деле, краткое введение к книге, состоявшее лишь из короткого абзаца, было одной из самых интересных частей всей работы. Там редакторы нарочно заявляли, что отказываются комментировать «внешнее воздействие», вызванное первым выпуском, провозглашая, что могли проигнорировать «любые злоупотребления» и ограничиться простым наблюдением, что единственным, что их могло бы взволновать, было отсутствие всякого отклика. Тем не менее они отмечали, что, если какое-то эссе появилось бы отдельно, то, вероятно, вызвало бы гораздо меньший протест. В этом и был урок: «Поэтому как раз *совместные действия, общая позиция, общая вера* и пробуждали страсти. Таким образом, все внешние признаки говорят, что мы на верном пути». Сам факт, что люди были оскорблены, означал, что совместное начинание себя оправдало.

Второй «Ежегодник», возможно, был дочерним предприятием, но мало интересным. Он включал в себя несколько непримечательных очерков: Бертольд Валлентин предложил унылый и предсказуемый «Критический анализ» журналистской прессы и театра; Роберт Берингер изложил утомительный исторический обзор, посвященный искусству декламации поэзии; Курт Гильдебрандт вновь выступил с многословной и запутанной статьей о понятиях «романтический и дионисийский»; а Пол Тирш — архитектор, главное право на включение которого в сборник состояло в том, что его жена, Фанни, была сестрой Гильдебрандта, а его дочь, Джемма, позже стала женой Фридриха Вольтерса — написал краткое размышление

о «Форме и Культе». Даже статьи двух редакторов, Гундольфа и Вольтерса, были несоразмерны обычным стандартам их авторов. И возможно, наиболее показательным для общего низкого уровня книги был ведущий очерк, обрисовывающий в общих чертах «„Weltanschauung“ Ежегодника» и подписанный именем Карла Вольфскеля — но на самом деле не принадлежавший его руке. Вольфскель, который обещал написать статью о музыке, оказался неспособен преодолеть свою естественную инертность и закончить работу в установленный для второго выпуска срок. Вместо этой статьи, возможно как наказание за это нарушение, была напечатана бессвязная, неупорядоченная компиляция из цитат, взятых, по-видимому наугад, из работ Бодлера, Александра Герцена, Якоба Буркхардта и Ницше, а Вольфскель был идентифицирован как ее автор. Если намерением было оскорбить Вольфскеля, то это сработало. Несколько десятилетий спустя он все еще выражал негодование по поводу случившегося, хотя никогда и не узнал, кто был злоумышленником.

Третий — и, как оказалось, последний — том «Ежегодника», появившийся в 1912 году, был совершенно иным. Принимая во внимание, что издатели заранее заняли позицию презрительной отчужденности к публичной шумихе, поднятой первым выпуском, здесь они почувствовали себя обязанными опровергнуть, по крайней мере, некоторые из возражений, выдвинутых против их идей. В результате издатели «Ежегодника» обстоятельно, с большей, чем когда-либо, ясностью и искренностью объяснили, каковы были основные принципы их «общей веры». Они объединили все пункты противоречий в единый список — приписываемый кругу «пессимизм», явная неспособность его членов «достичь согласия с современным миром», их «презрение к науке», их отказ должным образом оценивать и «человечество» и «массы», «презрение к женщинам», их «культ дружбы» и «католические наклонности» — и воодушевились для энергичной контратаки. Это не *они* пессимисты, доказывали они; настоящие пессимисты — те, кто верит в культуру прогресса, с его обещаниями всегда еще большего богатства, счастья и праздности, ибо эта культура содержит внутри себя семена своего собственного неизбежного разрушения. Проблема не в том, что они не могут найти согласия с миром. Наоборот, именно мир вызывает тревогу, отчаянно пытаюсь опьянить себя иллюзиями материальной выгоды, с целью укрыться от правды о своей внутренней бедности, отказаться признать, что «несмотря на все внешние усовершенствования, улучшения и развлечения... все это не может и далее идти своим чередом».

Хотя большинство обвинений в адрес мира со стороны издателей было привычным, имелось и нечто удивительное. В дополнение к обычному каталогу зол — включая рационализм, протестантство, либерализм, феминизм, материализм, индустриализм и т. д. — они представили и нового злодея в галерее негодяев: Соединенные Штаты. Возможно, было бы луч-

ше сказать, что Америка позволила им создать общую картину мирового упадка. Разумеется, ничего особенно оригинального в сущности обвинений, выдвинутых издателями в адрес Америки и американцев, не было. В 1911 году это были знакомые многим европейцам заклинания, что американцы невоспитанные, плоские, неразвитые, эгоцентричные и любят только одно — деньги. Но если антиамериканизм последователей Георге и испытывал недостаток в новизне, то восполнялся своей интенсивностью. Во введении к третьему «Ежегоднику» издатели даже утверждали, что Соединенные Штаты — по-видимому, из-за их пуританского наследия — были в конечном счете ответственными за нападки против их «культу дружбы», в которых инсинуации слагались из сексуальных отклонений в отношениях среди членов круга. «Это, — писали они, — отвращение американского индивида, лишившегося способности к страсти, к любой форме героической любви». В подобной манере издатели утверждали, что их собственное «отвержение протестантизма» было оправданным, потому что «повсюду устанавливается протестантская форма христианства, она капитализирует, индустриализирует, модернизирует людей». Иными словами, протестантизм превращает своих ничего не подозревающих новообращенных в американцев.

Не удивительно, что все эти пагубные, опасные для жизни черты, персонифицированные *en gros* американцами, находили концентрированное выражение в «современной женщине». Она неоднократно демонстрировала себя, заявляя «Ежегодник», как «самого лояльного приверженца всех прогрессивных, бессмысленно гуманитарных, поверхностно-рационалистических и поверхностно-религиозных идей». Дело не только в том, что, более конкретно, «некоторые из худших [идей], такие как теософия и движение за мир, пришли от женщин». Скорее всего, врожденные пацифистские наклонности и сделали женщин более всего подозрительными — и более всего похожими на американцев. Никто, предупреждали издатели, не должен недооценивать «опасность феминизации всех народов», которая потенциально могла привести к «угасанию всех энергичных сильных инстинктов перед лицом невоинственных, феминистских, коррозионных побуждений».

Если все это не будет контролироваться, предсказывали издатели, то через пятьдесят лет не останется ничего от «последних останков древних субстанций», а на их месте раз и навсегда утвердится «дьявольски перевернутый, американский мир, мир муравейника». Это страшная ситуация, которая требует страшных мер. Выкатывая на передовую свои самые тяжелые риторические орудия, издатели заявляли, что реальное сражение теперь будет вестись не между полами, классами или даже странами. Скорее, «должна быть провозглашена совершенно иная битва, битва Ормузда против Аримана» — в зороастризме, предисламской религии Древней Персии,

Ариман — лукавый противник Ормузда (или Ормазда), главного божества, источника света, воплощения добра и основателя мира, созданного им как поле битвы, на котором можно победить Аримана, — битвы, продолжали издатели, которая будет битвой «Бога против Сатаны, Мира против Мира».

Не в первый и не в последний раз Соединенные Штаты сравнивались с Сатаной, и то крайнее решение, которое предлагалось с целью устранения зла, олицетворяемого, как считалось, Соединенными Штатами, — их полное уничтожение — будет находить и других решительных приверженцев в будущем. Но слова, произнесенные с почти религиозной пылкостью и торжественностью, поражали тем не менее своей резкостью. И они, конечно, отражали, как и все остальное в «Ежегоднике», собственное мнение Георге. Несколько лет спустя, например, Георге упоминал, что ранее, в «Листке», только Пруссия и ее компоненты — то есть «Имперская Германия, лейтенант, студент в обществе дуэлянтов» — выступала как «враг всей культуры». Но, говорил Георге, начиная с рубежа веков он признал нечто иное «еще более серьезным врагом, который разрушает саму жизнь: юридический характер американского образа мыслей, во всем усматривающий только антитезы, всегда переворачивающий все вверх дном». Соединенные Штаты представляли собой одну великую антитезу всей шкале ценностей Георге. Он говорил с насмешкой обо «всем англо-американском обмане относительно свободы и справедливости» и никогда не уставал выказывать пренебрежение «бездушной американской цивилизацией». Американцы означали собой машины, массы, посредственность и — всегда и вновь — деньги. Во время войны, в 1916 году, Георге предложил следующий «пример американизма» и определяющей его идеи одержимости деньгами. Он увидел фотографию, рекламирующую американскую школу-интернат, и под изображениями каждого из ее выпускников — надписи, расхваливающие их успехи, которые произвели такое впечатление, что Георге воспроизвел их на английском языке. «Г. С.: он зарабатывает 30 000 долларов в год», — вспоминал Георге, пересказывая рекламу по памяти; «К. И.: он зарабатывает 50 000 долларов в год, и т. д.» Георге с сарказмом прокомментировал, что такая, по общему признанию, весьма сомнительная практика еще раз доказывала, что «англо-американская раса требует совершенно иных критериев оценки». Слово «американский» стало даже удобным универсальным эпитетом, указывающим на самое омерзительное качество в человеке, которого он хотел унижить. Когда Карл Густав Фолльмеллер — когда-то бывший спонсором «Листка», но позже пониженный до статуса бывшего друга — издал драму под названием «Mirakel», которую Георге нашел никуда не годной, Учитель отверг и этого человека, и его произведение, сказав: «Ach, er est ein Amerikaner!».

Обвинять американцев или пруссаков за недостаток вкуса, этикета и культуры — это одно. Приравнивать целый народ к силам зла, фактически

не проводя различий между отдельными людьми, и рекомендовать, чтобы они были любой ценой порабощены, — это, конечно же, другое. Но это совершенно открыто делали «Ежегодники». Они с самого начала задумывались как *Kampfschriften*, как выпуски боевых приказов. Это были не просто полемические упражнения, но порождения битвы, дающие указания и инструкции тем, кто откликнулся на призыв. И здесь не должно быть никаких иллюзий относительно фактических намерений «Ежегодников». Георге и его последователи не говорили больше об исключительно поэтических, или литературных, или даже вообще культурных вопросах. Они говорили о мире, реальном мире, как о едином целом. «Каждый порядочный человек должен быть переполнен отвращением только от прочтения тех чисел, которые ожидаются, — писали издатели третьего «Ежегодника» о возрастающем населении всего мира. — Но самое худшее — это не грозящие материальные трудности, а, скорее, ухудшение человеческого рода, которое устойчиво возрастает вместе с увеличением масс». Ни у одного человека, добавляют они, нет храбрости в настоящее время, чтобы сказать, что есть определенные «нарушения» — такие, допустим, как перенаселенность, — которые должны быть «искуплены», и что есть доступное средство обрести это искупление, а именно «яд и огонь». Словом, война.

Гундольф всегда был одним из наиболее воинственных приверженцев Георге и в очерке для второго «Ежегодника» уже нашел возможность разъяснить добродетели войны, привести фактические доводы в пользу ее необходимости. «Общий мир, который терпит все, что угодно, — это идеал старика, — полагал Гундольф. — Там, где необходимы молодость, перемены, созидание, необходима и война: это — главная форма человеческого существования, такая же, как надежда, любовь, молитва и поэзия: она не может стать ненужной ни в какой цивилизации». Гундольф думал, что война, будучи таким фундаментальным способом бытия, никогда не сможет быть полностью исключенной из существования, так же как не может быть устранен, например, пол: «Когда прогресс сделает размножение ненужным, тогда и ведение войн будет необязательным». Одновременно и печальный и ироничный показатель «прогресса», которого достигло человечества со времен Гундольфа, заключается в том, что, хотя физический процесс размножения, вопреки ожиданиям Гундольфа, и стал необязательным, это не привело к исчезновению войн.

В третьем «Ежегоднике» Фридрих Вольтерс также присоединился к хору прославляющих войну. Его очерк, названный «Человек и род», посвящен широкому осуждению человека, который находит «свое счастье и счастье человечества в удовлетворенности и безопасности мирного спокойствия, в вечном мире». Вместо этого Вольтерс прославляет «опасного человека», который «не понимает такое счастье, презирает его и желает провозгласить свой собственный архетип, воспроизводить его в делах и

воплощать его: этому он служит всей силой своего тела и ума, от самого мощного мускула до самой молчаливой хитрости. Мир ради самого мира ненавистен ему, и только мир как награда за битву для него приемлем». Сторонники более спокойного существования желают убедить нас, предупреждает Вольтерс, что «защита бедных, больных и слабых — единственная высшая задача», которая перед нами стоит, и поэтому, как подразумевается, такие мягкосердечные либералы и изображают, что «бедные, больные и слабые — это большинство человечества». Мы не должны, говорит он, быть обмануты ложным состраданием. Мы должны вместо этого почитать «великого человека», следовать за ним туда, куда он нас ведет, независимо от того, какую жертву он от нас может потребовать. «Тем не менее то, что многим великим людям приходится разрушать на своем пути», есть достаточный признак, что все, что «великие люди» разрушили, «достойно разрушения», «необходимая жертва». Затем Вольтерс делает драматический политический вывод, основанный на этих фундаментальных постулатах. «В государстве, — пишет он, — должны поэтому быть правители, не только чиновники и люди, которые пользуются равными правами; на земле должны быть правящие народы, не только защитники равновесия сил. Государства и народы, которые больше не производят правителей, созидателей, — это погибающие строения, и более сильный сосед вправе уничтожить то, что выродилось, и поработить его остатки».

Все это шло от Ницше, выхолощенного и огрубленного, но было бы ошибкой приуменьшать серьезность послания или предполагать, что Вольтерс понимал все это только в переносном смысле. В качестве примера реальных следствий, которые он вывел из своего возвеличения «сильного человека» и своего убеждения о необходимости подчинения, а на самом деле порабощения слабого, он представил следующие размышления о женщинах. Веления «современного человечества», говорит Вольтерс, могут привести к извращенному требованию, чтобы мужчины отказались от своего «превосходства в силе», от своего «мужского правления», и посвятили бы себя служению женщинам, таким образом используя — или, скорее, не используя — всю свою силу «для служения женщине, для удовольствия женщины, для поддержки женщины». Добившись дозволения оставить единственную роль, в рамках которой они были способны быть производительными — то есть Вольтерс имеет в виду роль матери, — женщины становятся ненасытными паразитами, постоянно требующими заботы и кормления. «Их бытие — одно лишь удовольствие, чистое потребление, и огромные расходы всей технической культуры только ради женщины». Вольтерсу было ясно, что женщины и различные культуры, которые позволили им получить власть, всеми силами стремились уничтожить мужчин и отнять у них их естественное превосходство. Это была борьба за выжива-

ние, и Вольтерс чувствовал, что отказ справиться с этой проблемой неизбежно приведет к подчинению мужчин, к тирании женского каприза. «Мы боремся не против женщины, а против ее непомерно разрастающегося влияния, против „современной женщины“, но для самих женщин все еще справедливы слова Перикла: *вы* достигнете великой чести, когда не будете отрицать природу, соответствующую вашему полу, и когда мужчины о вас будут думать как можно меньше, как с похвалой, так и с осуждением». Для Вольтерса — и для Георге — важно было уменьшить роль женщин до такой степени, чтобы о них вообще никогда не вспоминать.

Немногих счастливых — пока они были мужчинами — ожидала совершенно иная судьба. «Поэтому к вам, мальчикам и юношам, обращен наш призыв». Вольтерс убеждал их «искать мужчину, который предоставит смысл и образец для воли». В частности, они должны «искать истину в герое, в правителе, искать в героически возвышенных мужчинах истинных друзей и вождей юности». Прежде всего следует предохранять себя от всякого загрязнения любого физического или духовного рода. «Здоровый человек отворачивает взор от страдания и сохраняет себя в готовности к сражению со своим врагом». «Только то, что живет, заслуживает вашей жертвы, — говорил Вольтерс своим читателям, — посредством жертвы другу, *фюреру*, правителю ваша лучшая воля разделяет гордость особого отдельного существа, вынуждая внутри вас взойти внутреннему долгу рядом с внутренним правом, а рядом с физическим благородством — закону духовного деяния». Если это было похоже на присягу солдата, перед тем как броситься в бой, то сходство не было случайным.

Хотя «Ежегодники» обеспечивали собой важную разработку «программы» Георге и доносили ее до более широкой аудитории в более управляемом виде, они не представляли собой тот способ, каким он предпочитал общаться. (Курт Гильдебрандт сообщал, что Георге увлекла идея самому написать статью для третьего выпуска «Ежегодника», но он с иронией высказался, что должен будет сначала проконсультироваться с тремя адвокатами, чтобы удостовериться, что его не обвинят в «подстрекательстве к классовой ненависти».) Поэзия была все еще единственным механизмом, помимо речи, которому Георге доверял выражение своих собственных воззрений, политических и любых иных, и именно к стихотворению он теперь и обратился, чтобы сообщить этим воззрениям конкретную форму. В ноябре 1913 года, сначала в чрезвычайно ограниченном приватном издании только десяти копий, распространенных среди самых близких друзей, а затем, в начале следующего года, вышедших в свет «публично», Георге опубликовал свою первую за семь лет книгу после «Седьмого кольца». Первоначально ее предполагалось назвать «Песни к Священной орде» («*Lieder an die heilige Schar*»), но в конечном счете Георге остановился на «Звезде согласия» («*Der Stern des Bundes*»). В целом она была наиболее

близка к полному выражению тех целей и намерений Георге, которые он когда-либо перед собой выдвигал.

Это также была первая книга, которую Георге выпустил в свет без сотрудничества с Мельхиором Лехтером, начавшегося в 1896 году. Почти два десятилетия Лехтер оформлял каждый томик поэзии, который Георге публиковал. Лехтер разработал эмблему, колофон, шрифт и орнаменты, которые использовались только для того, чтобы иллюстрировать работы Георге и членов его круга. Действительно, характерный стиль Лехтера, собиравший графическую форму отречению Георге от современного механизированного мира, стал настолько тесно отождествляться с Георге и его «движением», что они на практике рассматривались как синонимы. Но это была лишь одна сторона проблемы. Лехтер был одним из самых старых сотрудников Георге, тем, к кому Георге обращался даже как к «Учителю» в те дни, когда «Учитель» еще был не один-единственный. За эти годы они, конечно, оба изменились и двигались в различных направлениях. Все же дело было не только в том, что Лехтер стал реликвией тех времен и тех чувств, которые Георге к тому моменту преодолел и оставил позади. Кроме того Георге больше не был заинтересован в том, чтобы у него были равные партнеры. Теперь он не признавал равных себе и не желал, чтобы кто-то разделял с ним высокое положение. В силу самой своей природы дизайн Лехтера вызывал к себе слишком большое внимание, уменьшая ощущение, что здесь действовала лишь одна воля, одна-единственная сила, находившая свой отклик в поэтическом голосе Георге. Отныне книги Георге должны были показывать, что созданы только им и не отражать поэтому ничего, что было посторонним. Все — рельефные обложки, титульная страница, каждая строка текста — печаталось шрифтом, основанным на почерке Георге, без всяких украшений, способных испортить эффект полной однородности — с одним-единственным исключением. Единственная уступка, которую Георге сделал в память своей долгой истории отношений с Лехтером, заключалась в размещении на титульной странице созданного им изображения готического сосуда для даров, окруженного словами *Blätter für die Kunst*. Но это также можно было рассматривать не столько как жест, адресованный Лехтеру, сколько как способ Георге поддерживать связь между его собственным прошлым и настоящим, сохраняя память о его поэтических истоках и в то же время демонстрируя, насколько далеко он ушел от этих давних начал.

Решение Георге обойтись без визуальных пособий Лехтера было вызвано и другими соображениями. Лехтер, который всегда демонстрировал склонность к мистическим переживаниям, за эти годы все более и более углублялся в восточные религии, что достигло своей кульминации в поездке в Индию, предпринятой им в 1910 году вместе с Карлом Вольфскем и завершившейся многословной книгой, основанной на путевом журнале Лех-

тера. У Георге энтузиазм Лехтера по поводу таких вещей вызывал ощущение едва выносимого романтизма. В сентябре 1909 года, например, Георге посетил Лехтера в его берлинской квартире, позже к ним присоединились Вольтерс и Валлентин, — Лехтер с тревогой отметил в своем дневнике, что они «поспорили о мистике и оккультизме». Осенью 1912-го Эрнст Морвиц также сообщил Георге, что только что посетил Лехтера — тот собирался издавать свой «Дневник индийского путешествия». Морвиц объявил все это «ужасной смесью мистики и банальности». На следующий день Георге поделился новостью с Гундольфом, сказав: «Я только что получил известие от Эрнста об ужасных литературных новшествах», случившийся на Kantstrasse — по адресу Лехтера. В тот же самый год Георге сказал Эрнсту Роберту Куртиусу, что «нависшая над миром опасность — это индуизм». Как свидетельство этой опасности он процитировал книгу Лехтера об Индии. С тех пор Георге никогда не упускал возможности излить гнев на «индуизм», особенно в версии Лехтера. В 1920 году Георге заявил, что «мистика и буддизм» были, как и все доктрины квиетизма, «отвратительны». Он добавил: «Когда я услышал о некоторых видах самоистязания у отшельников, мне сделалось плохо. Если бы у меня был выбор между Нероном, который пел Илиаду, когда горел Рим, и индусом, позволяющим вшам себя пожирать, то я выбрал бы Нерона». Но любой вид мистицизма, индийского или какого-то иного, который не встречал у Георге одобрения, находил сходное осуждение. В конце жизни, рассказывая юному другу истории из своей собственной юности, Георге вспоминал, как когда-то, сопровождая Лехтера и Вольфскеля, посетил простую крестьянку, которая, как считалось, была мистиком». Она сразу же нашла общий язык с Лехтером, хотя они происходили из разных уголков страны. Двое остальных из нас не поняли ни единого слога».

В конце концов то, что заставило Георге прекратить общение с Лехтером, возможно, имело отношение не столько к сверхъестественному, сколько к весьма земным заботам. Произведения Лехтера были, как им и предназначалось, уникальными объектами, артефактами ручной работы, которые по праву расценивались как произведения искусства. Наряду с тем фактом, что они были чрезвычайно дорогостоящими, это означало, что можно было произвести или продать только немного копий. Ранее у Георге не было никакого иного выхода. Он когда-то отпустил шутку по поводу Лехтера: «Я напечатаю двенадцать копий своей следующей книги — одиннадцать для моих друзей, одну для более широкой публики». Забавно то, что это была шутка лишь наполовину. Теперь, однако, все изменилось. Георге больше не был удовлетворен приобретением лишь небольшого числа сходным образом мыслящих читателей — он желал вместо этого формировать умы, мотивировать действия, отдавать приказы, издавать законы. Такая цель могла быть достигнута только обращением к более широкому кругу публики — и производством большого числа более дешевых книг.

Даже в 1907 году, когда заключительные приготовления к «Седьмому кольцу» были в стадии реализации, Георге не был полностью доволен решением Лехтера сделать книгу более дорогостоящей, чем первоначально планировалось. По настоянию Лехтера Георге в конце концов уступил, но весьма неохотно. «Поскольку ваше сердце остановилось на еще более изящном роскошном издании, — говорил ему Георге в августе 1907 года, — то, хотя эта идея и не совсем мне нравится, я позволю вам [сделать] издание на японской бумаге с шелковым переплетом». Два года спустя Георге не был готов потворствовать склонности Лехтера к дальнейшей расточительности. В 1909 году, когда Лехтер удивил его роскошным изданием «Суверенитета и служения» Вольтерса, Георге вышел из себя. Он говорил Гертруде Канторович: «Такая книга, предполагается, привлечет внимание молодежи к моей поэзии и приведет их к ней; а затем они пойдут и сделают из нее дорогой экспонат!»

Страхи Георге были подтверждены позже, в 1917 году, когда молодой человек по имени Ганс Гессе обратился к нему с письмом, в котором признался, что «Ежегодники» значили для него очень многое. Он сказал: «Они наполнили меня верой, что именно вы можете дать то, в чем я испытываю недостаток и чего ищущ». Гессе также прочитал «Суверенитет и служение» Вольтерса с той же самой реакцией, но это была заимствованная копия — у него не было средств, чтобы ее приобрести. «Разве не было возможности, — спрашивал он, — издать более дешевый выпуск — например, как книги Стефана Георге за четыре с половиной марки?» Гессе сказал, что было «горько» найти то, в чем нуждался, но быть не в состоянии получить это, только потому что испытываешь недостаток «в несчастных деньгах». «И я предполагаю, что вы хотите иметь влияние не на эстетов и людей с деньгами, которые больше интересуются покупкой рисунка Мельхиора Лехтера, а, скорее, на тех, кто серьезно относится к формированию человека». Позволить деньгам помешать юношам, искренне ищущим Учителя, было не только глупо или контрпродуктивно, Георге, должно быть, считал, что это опасно граничит с американизмом.

Когда его следующая книга была готова, Георге не желал больше испытывать судьбу и предпочел вообще не привлекать Лехтера. После того их отношения, когда-то весьма близкие, постепенно охладели и в конечном счете прекратились. Зимой 1920/21 года, когда Георге вспомнил о Лехтере, он, в частности, сравнил их связь с браком — «браком, который был очень хорош». Хотел он охарактеризовать разрыв их партнерства как развод или просто как разъединение, раскол был необратим. Георге думал, что существовал своего рода естественный цикл, который испытывает любая дружба. «Когда отношения исчерпаны, — объяснял он Роберту Берингеру, явно имея ввиду Лехтера, — тогда активная персона обращается к новой. Мне помогает в этом моя натура». Эпизод, который про-

изошел в конце 1923 года, указывает на глубину более позднего отчуждения Георге от своего бывшего друга. Георге останавливался в доме каких-то своих швейцарских знакомых в Базеле, когда дошел слух, что Лехтер, возвращавшийся из поездки в Италию и не знавший, что Георге был в городе, может также там остановиться. Георге, которому нравилось держать свои передвижения в тайне, не желал видеть Лехтера ни при каких обстоятельствах, опасаясь, помимо прочего, что Лехтер раскроет его местонахождение другим, как только вернется в Берлин. Георге поэтому решил переехать в другой квартал, до тех пор пока Лехтер не уедет. Но однажды, что было почти неизбежно, Лехтер, к своему удивлению, заметил, как Георге переходил одну из улиц Базеля. Лехтер схватил за руку свою хозяйку, сопровождавшую его на прогулке, и закричал: «Это — Стефан!» Бедная женщина, разрывавшаяся между неприятной альтернативой солгать Лехтеру или столкнуться с еще более неприятными последствиями, если она этого не сделает, выбрала меньшее из двух зол. Но это было нелегко. Хотя она повторно попыталась заверить Лехтера, что тот, должно быть, ошибся, он отказывался уступать, настойчиво и неоднократно спрашивая, действительно ли она не знала, что «Стефан» был в городе, таким образом вынуждая ее говорить вновь и вновь, что она знает, что это неправда. Когда позже Георге сообщили об инциденте, то не оценил должным образом значительность жертвы, которую женщина ему принесла. Вместо этого он выругал ее, подразумевая, что, вопреки их соглашению, она намеренно выбрала такой маршрут, чтобы Лехтер его увидел.

Таким образом «Звезда согласия» появилась в конце января 1914 года, лишенная всяких украшений, с одним только текстом, напечатанным на кремовой бумаге средней плотности, и в переплете с белой канвой, где фигурировали лишь название и имя поэта, тисненными золотом на обложке, доступная любому, кто мог расстаться с теми несколькими марками, которых она стоила. Доступная, но не обязательно понятная. Некоторые стихотворения датировались даже 1907 годом, а многие были изданы в девятом выпуске «Листка» в 1910 году. Когда Георге сочинял свои другие стихи, то часто читал их вслух во время церемониальных собраний в Круглой комнате в Мюнхене, во время поездок в Берлин, новичкам в Гейдельберге, а также друзьям, которых приглашал в Бинген. Но всегда оставалась аура тайны вокруг стихотворений, и когда наконец они представляли в своей окончательной форме в виде книги — Георге, как было принято, никому не разрешал записывать никакие стихотворения, пока они не были изданы, — то казалось, что завеса сорвана и взору открывается неприкрашенный памятник, о существовании которого подозревали, но которого никогда не замечали в полном величии.

Изо всех книг Георге — это была его восьмая — «Звезда согласия» приносила плоды особенно неохотно. Более чем любое другое предыду-

щее произведение, эта книга намеренно адресована узкому кругу, а ее значение на самом деле доступно только тем, кто уже находился в пределах орбиты, которую она описывает. Но книга была настолько герметична, что никто, кроме поэта, не мог понять каждую строку или слово, каждую скрытую ссылку или каждую аллюзию. «Звезда согласия», таким образом, олицетворяла собой боязливую позицию Георге по отношению к самой публикации. Хотя и напечатанная большим тиражом, чем любая предыдущая книга, которую он выпустил в свет, она была также наименее восприимчива к посторонним и, похоже, вызывала только путаницу и разочарование у читателей, неподготовленных принять ее послание. Людвиг Тормелен, один из получателей оригинальных десяти экземпляров, заметил: «Теперь мы держим эту книгу в своих руках. Безусловно, мы неоднократно слышали часть стихотворений и, слушая их, понимали всю их силу, непримиримость и смелость, их дыхание, их размах, их магию, все то чрезвычайно новое и необходимое, что она предвещала и называла, о чем судила и умоляла». Как только книга появилась полностью, Тормелен и другие ему подобные поняли, что только начали понимать стихотворения, которые, как они считали, уже были им известны. «Но даже теперь, — писал Тормелен, — когда мы держали книгу в своих руках, целые ее части оставались для нас скрытыми в своем значении, пока после повторного чтения и прослушивания глубина поэтического пространства, разнообразие и широта структуры идей постепенно, спустя годы, полностью себя не раскрывали». Можно только догадываться, что из нее делали те читатели, у которых не было того привилегированного доступа к поэту и его миру, какой имел Тормелен. «Звезда согласия», возможно, по праву имела тот же подзаголовок, что и «Заратустра» Ницше, книга, которая была отдаленным родственником произведения Георге в том, что касалось тональности и намерений. Обе были «для всех и для никого».

Значительная часть трудностей новой книги происходила от почти полного устранения описательного языка в стихотворениях. Там едва ли имелись какие-либо обращения к миру, известному большинству из нас, и многие из слов, фраз и объектов, упоминавшихся в книге, обозначали что-то совсем иное, нежели то, что обычно под ними подразумевалось. А в тех случаях когда затрагивались знакомые темы, они часто облачались в неуловимые эвфемизмы, замаскированные уклончивостью, скрытые за словами, которые стояли в отдаленной и незначительной связи с вещами, обычно ими обозначаемыми. В стилистических границах это было узаконивание, возможно исполнение, давнего желания Георге быть одновременно видимым и нераскрытым, обособленным и все же причастным, и не к этому миру, а к скрытому направлению его движения. В предисловии, добавленном к более поздним изданиям, Георге признал, что первоначально был намерен сделать «Звезду согласия» «тайной книгой» (*ein Geheimbuch*).

Это было подходящее описание, по крайней мере, относительно того, что она значила для его круга. Ибо «Звезда согласия», тайная книга или книга тайн, в буквальном смысле и была заветом тайной Германии.

Другое ее определение, сделанное Эдгаром Салином, заключалось в том, что «Звезда согласия» была «книгой законов круга». Сочетая роли поэта, священника и политика, Георге выступал здесь в качестве законодателя, воздвигающего основания, на которых могло бы быть установлено его царство, или империя. В таком своем качестве поэт оглядывается на прошлое, предвидит будущее и иногда делает паузу, чтобы рассмотреть — и осудить — настоящее. И в центре усилий, образуя фокус всех его желаний и надежд, стоит бог — неназванный, но тождественный Максимилиану, — который когда-то явился ему и теперь изображается как источник и гарант законов, предписываемых поэтом.

Как это и свойственно книге заповедей и правил, «Звезда согласия» имеет строгое строение, более всего напоминающее «Ковер жизни» своей непреклонной упорядоченностью. В книге — ровно сто стихотворений, она открывается вводным отделом, разумно названным «Вступлением», которое содержит девять стихотворений, каждое из которых состоит из четырнадцати — или из удвоенных семи — длинных строк. За ним следуют три «Книги», каждая из тридцати стихов. Том заканчивается «Заключительным хором», единственным имеющим характер заклинания стихотворением в двенадцать строк, в котором каждая строка состоит ровно из пяти слов и начинается с одного и того же слова «Бог». Эффект этой строгой регулярности и повторяемости, подчеркнутый почти исключительным использованием ямбического пентаметра, — это своего рода непреклонная, марширующая поступь, воплощающая в самой своей форме авторитарную безотлагательность и власть внутреннего послания книги.

Хотя основное в этом послании и не было совершенно чуждо посвященным, требовалось все же во многом покопаться, чтобы полностью его прояснить. Книга в целом преследовала три главные цели: описать и отпраздновать явление бога через его поэтическое обнаружение, продемонстрировать бедность и низость существующего мира, который должен быть уничтожен еще до того, как царствование бога может начаться, и предоставить руководящие принципы для тех немногих избранных, которые переживут катастрофу и установят новый строй вместо старого. С точки зрения своего содержания «Звезда согласия» поэтому не представляла собой ничего поразительного и нового для любого уже погруженного во вселенную Георге. Вместо этого, настойчивость ее требований, уверенность в своей собственной истине и безжалостность ее враждебности к миру в целом как раз и были в итоге поразительны.

Еще более удивительной, возможно, была та степень, до которой Георге отождествлял себя с богом, которого провозглашал. Книга начинается

с заклинания бога, который, как известно, охватывает всю протяженность времени и пространства: «Ты всегда и начало для нас, и конец, и середина». Сразу же тем не менее становится ясно, что поэт не только глашатай своего бога, но и каким-то неопишуемым способом его часть. Георге опять обладает поэтическим голосом, выражающим недоумение по поводу того, что называет «властью загадки», а именно: «Как он [может быть] моим дитя, если я дитя моего дитя». Его бог, его собственное создание, является также и прародителем, тем, кто дал ему новую жизнь через тайну того, что в одном из стихотворений, ранее посвященных Максимилиану в «Седьмом кольце», было названо «самым тайным браком». Здесь бог восхваляется по той же самой причине, поэт объясняет: «Ты освободил нас от муки раздвоения / Ты принес нам слияние, ставшее плотью» (точно так же в более позднем стихотворении читаем: «С появлением бога моя мечта стала плотью»). В другом месте, однако, отождествление происходит иным способом, как если бы поэт был реальной точкой отсчета. «Ты отросток нашего ствола, — гласит одно стихотворение, — Прекрасен как ни один образ и осязаем как никакая мечта, Явился нам в нагом сиянии бога». Другое стихотворение спрашивает: «Кто Ваш Бог?» — и дает ответ: «Желание всех моих снов — самое близкое к моему прекрасному и славному истоку». Но Георге также предполагает, что в опыте духовного порождения он, поэт, принимает на себя роль обоих полов, становясь матерью и отцом самому себе и своему божественному потомству одновременно. Кульминационный момент этого духовного объединения происходит в необычном стихотворении, в котором не только поэт и его бог ассимилируются в одной и той же фигуре, но также и победа над биологической потребностью празднуется в поэтическом осуществлении того гермафродитического идеала, к которому долго стремился Георге:

Я — Один и я — Оба,
Я — Отец и я — Мать,
Я — кинжал и я — ножны,
Я — жертва и я — доверие,
Я — видение и я — провидец,
Я — поклон и я — молния,
Я — алтарь и я — молитва,
Я — огонь и я — дерево,
Я богат и я беден,
Я — знак и я — чувство,
Я — тень и я — истина,
Я конец и я начало.

После того как нас подготовили резкой апелляцией к образам боя и разрушения посреди этого празднества транссексуального единства — уже в третьей строке стихотворения появляется объединение секса и насилия,

эта всегда эффективная смесь; немецкий термин для обозначения «ножен» или «футляра» (*Scheide*) является также стандартным словом, используемым для обозначения «влагалища», — поэт затем обращается к «концу», который предшествует «началу». Бог, теперь почти не отличимый от поэта, после обозрения мира и его обитателей, объявляет их всех непригодными для жизни и отводит свой взор от вредного зрелища их угасания в настоящем. «Из фиолетового пламени гласит гнев небес: / Мой взор отвращен от этого народа». Только те, кто «сбежал в область священного», избавлены от его ярости, а «все остальное — ночь и небытие». Ясная судьба, которая ожидает этих существ, уже погруженных в презренную темноту, — то есть лучшую часть человечества, — открывается в шокирующем, ужасающем стихотворении. Привлекая библейскую историю о Вавилонской башне, чтобы напомнить о гордыне и безумии современности, Георге позволяет своей поэтической персоне провозгласить следующее горестное суждение:

Вы, преступники, строите без меры и границ:
Высокое может быть еще выше!
Но никакой фундамент, никакая опора уже не выдерживает...
Здание шатается.
И на закате мудрости вы кричите в небеса:
Что можем мы сделать,
Прежде чем задохнемся в своих собственных развалинах?
Прежде чем наши собственные фантомы не сожрут наши мозги?
Он смеется: слишком поздно для бездействия или врачевания!
Десять тысяч должны быть поражены святым безумием,
Десять тысяч должны быть охвачены священным мором,
Десять тысяч — священной войной.

Нет никакого разумного объяснения этих строк, которое могло бы обойти тот факт, что Георге, настолько однозначно и прямо, насколько это возможно, призывает здесь к необходимости для десятков тысяч людей того, что называют «священной войной». Непристойность стихотворения — явная и неопровержимая. Смысл настолько явный, что его более поздние переводчики и апологеты знали, бесполезно отрицать то, что Георге столь очевидно имел в виду. Вместо этого они утверждали, что он это только «пророчил», но не приветствовал и не защищал, и он в гораздо меньшей мере должен считаться ответственным за более поздние события. Независимо от того, что кто-то думает о пророческих способностях Георге, мы, однако, знаем, что здесь на самом деле более сложная история. В течение многих лет, фактически в течение десятилетий, Георге удовлетворял аппетит сильнодействующими образами военного конфликта в своей поэзии, и сцены насильственной, кровавой смерти не были чужды его стиху. Позже Георге был склонен формулировать оппозицию

своей собственной стране, своей собственной культуре и своей собственной эпохе в скудных апокалиптических терминах, которые наиболее мрачно представлены в «Седьмом кольце». Он, казалось, не только считал само собой разумеющимся, но и хотел ускорить разрушение и смерть в самых широких масштабах, которые, как он верил, должны произойти еще до появления всякой надежды на обновление. И, подобно многим очеркам и в «Листке», и в «Ежегодниках», далее подтвержденным в многочисленных беседах и письмах, младшие члены его круга также искренне поддерживали политику Георге — политику уничтожения во имя культурного возрождения. В этом стихотворении Георге предоставил всю мощь и достоверность своего поэтического голоса тому, к чему Гундольф, Вольтерс, Вольфскель и другие публично и конфиденциально долгое время стремились, над чем работали, чего с нетерпением ожидали: всеобъемлющей, разрушительной «священной войны», которая уничтожила бы их врагов — их список был длинным, — чтобы создать место для новой Духовной империи, возглавляемой Учителем и признанной его Богом.

Словно для того чтобы предоставить дальнейшее оправдание потребности в устранении убогости существующего мира, остальная часть первой книги «Звезды согласия» повторяет непоправимый характер этой убогости. «Не говорите со мной о Высшем Благе, — приказывает поэт своим современникам в одном стихотворении. — Прежде, чем вы будете наказаны, Вы доберетесь до основы того, как мыслите и существуете». Просто повторяя имя «Высшего Блага» своими устами, говорит поэт, люди тем самым загрязняют его. Другое дело — те несчастные, кто не согласен, что предсказываемое поэтом пожарище сожрет и то, что он ценит, и то, что презирает. Его ответ пугающий:

Лучше уничтожить их, если они останутся.
Ваш жгучий яд и ваша коллективная могила,
Как дом из щебня и материнская бездна.
Может однажды случиться, что даже от более скудного останется
Сохранившееся в руинах — от взорванной стены.
Обветренный камень разъедает руду.
Пожелтевший текст будет сожжен!..
То, что вы храните, — только гниль.

В грядущей «священной войне» будут не только человеческие, но и культурные жертвы. Георге, кажется, признавал, что драгоценности, произведения искусства, книги, даже целые города обратятся в пыль и исчезнут (другое стихотворение содержит строку «Он знал: ни один обтесанный камень не сможет стоять»). Он даже подразумевает, что сам акт сохранения экспонатов просто ради обладания ими является только иным выраже-

нием того же самого материалистического, стяжательского импульса, который был синонимом зла современности. (Таким же образом Георге осуждал библиофильские наклонности своих друзей и однажды сказал, что у книг, как и у брикетов угля, имеется только «калорийность», соответствующая количеству тепла, которое они дают, когда сжигаются. В ином случае, сказал он, книги — просто «ловушки для пыли».) Значение для Георге имел не сам физический объект, но экзистенциальная потребность, которую он удовлетворял. Сам факт, что музеи и библиотеки так легко разрушить, содержал в себе, полагал Георге, практический урок. «Узнайте что-нибудь об этом факте сегодня! — говорил он некоторым друзьям. — Скопируйте то, что важно для вас, и выучите это наизусть!» Образцом, который, очевидно, имел в виду Георге, была горстка византийских гуманистов и анонимные монахи, сохранившие то, что мы знали о старине, и проложившие путь к ее последующему повторному открытию и возрождению. Все же было различие между тем, чтобы восхищаться коллективным трудом безымянных индивидов, которые восстановили фрагментированные записи исчезнувшей цивилизации и спасли их от забвения, и тем, чтобы приводить доводы в пользу неизбежности, даже желательности самих сил разрушения, которое сделало это спасение в первую очередь необходимым.

После ядовитого безумия первого раздела вторая книга «Звезды согласия» начинается на ноте положительного блаженства. Заключительная часть уже указала то новое направление, которое примет вторая книга, провозгласив: «Деяние — „деяние“ грядущего Максимиана — устремилось вверх в земном ликование. Образ (опять же образ Максимиана) выходит на свет свободный и нагой». (Максимин — бог — всегда изображается как нагой. Ранее в книге, к нему обращаются так: «Ты явился разоблаченным, / Как сердце круга, как рождение, как образ. / Ты священный дух юности нашего народа!») Клод Дэвид, с характерной для него пронизательностью, предположил, что в целом «вторая книга — книга инициации». Это, несомненно, верно; но она может быть описана также частично, как хроника соблазнения или, скорее, многократных побед. Они не содержат идентифицируемых деталей, которые раскрыли бы личность, о которой идет речь, — никаких имен, никаких отличительных физических признаков, — но мы знаем, что первые десять стихотворений второй книги рассказывают историю, хотя и весьма издавна, отношений Георге с Эрнстом Морвицем. Однако, как и все, что связано с Георге, дело обстоит не так просто. Как реанимация мира может произойти только тогда, когда он будет очищен от всей порчи, так и связь между поэтом и его возлюбленным будет завершена только тогда, когда вызывающие рознь узы индивидуальности будут разорваны. Мимоходом Георге доказывает еще раз, что, он может быть не только пророком катастрофы, но и трубадуром любви:

Позволь мне возложить уста
На твою грудь, где твое сердце,
Чтоб высосать трепещущие язвы старых лихорадок,
Словно лечебным камнем яд из раны.

«Яд» здесь — токсин обособленности, который поэт хочет излечить бальзамом единства. Как мы видели, такое единство, или любовь, для Георге означает объединение, поглощение, принятие другого в себя или, альтернативно, перенос себя — своего голоса, своего почерка, своего духа — в другого или на другого. В другом стихотворении, посвященном Морвицу, поэт говорит об осуществлении «дикой мечты» о союзе, «в котором я сам угасаю в тебе», и что именно судьбе определять, «как я завершу себя в тебе».

Но как только завершение произошло, начинаются перемены. Очевидно, когда Георге рассматривал более тонкие предпосылки полного отождествления себя самого со своим возлюбленным, то был слегка встревожен тем, что все это предвещало. В одном стихотворении поэт, кажется, предполагает, что отступает от изначального глубокого увлечения, потому что, после признания, что он и его возлюбленный теперь столь подобны друг другу, действительно духовно связаны, их продолжающаяся интимная связь составила бы что-то вроде кровосмешения:

Когда мои губы касаются твоих
и я весь живу внутри твоего дыхания,
Вдруг я ослабляю объятия,
Краснею
И отступаю с опущенной головой,
Интуитивно постигая свою плоть —
На ужасном расстоянии, которое никогда не измерит разум,
Мы выросли в одном и том же королевском доме.

В последующие годы Георге предложил множество различных объяснений — можно даже сказать рационализаций — своей ставшей теперь ритуальным обычаем практике собирания вокруг себя, а затем весьма быстрого отвержения, или по крайней мере, отдаления юношей и мальчиков, которые когда-либо вызвали его интерес. Причины прекращения с ними отношений внезапно менялись и редко излагались, если вообще излагались, более чем в немногих словах. Но относительно легко представить типичный сценарий. Если Георге был в достаточной мере увлечен физической внешностью молодого человека, то назначал приватную встречу или в снимаемых им квартирах в Гейдельберге, Мюнхене, Берлине, или в своем собственном доме в Бингене; гораздо реже он позволял пригласить себя к другим. Затем Георге задавал вопросы о вкусах молодого человека, его

предпочтениях и неприязни в литературе, в вещах и людях. Обычно они читали вместе поэтические произведения. Иногда, если случалось продемонстрировать изображение Максимиана — когда они находились в Круглой комнате, скажем, или дома в Бингене, — это также могло служить бессловесным, но недвусмысленным указанием на намерения Георге. Все время он смотрел и слушал, отыскивая признаки расположения, которые соответствовали его требованиям. Для многих это первое интервью было и последним; для других необходимо было дальнейшее исследование, прежде чем они также оказывались в каком-то отношении неподходящими. Даже те, кому, как например Морвицу, дозволялось остаться в контакте с Учителем, даже они обнаруживали, что, после того как пылкая фаза их отношений проходила, перемещались Георге во вторую категорию. Внезапно, без предупреждения, они понимали, что уже не пользуются привилегией быть единственным или центральным объектом внимания, Георге обращал его на новое завоевание. Поскольку важнейшей особенностью ухаживаний Георге было ломать барьеры индивидуальности возлюбленного и наделять его полностью зависимыми от Георге смыслом и целями жизни, то такое понижение в статусе или изгнание могли — в некоторых случаях это так и происходило — привести к глубокому кризису. Для тех кто мужественно занимал назначенное ему место и повиновался Учителю, когда это требовалось, наградой был продолжающийся, если он прерывался, доступ к нему, а в некоторых исключительных случаях даже возвращение во внутреннее святилище.

Избежать кровосмешения тем не менее было для Георге новым предлогом отдалиться от возлюбленного. Все же в контексте его развивающихся понятий о «сверхсексуальной любви», «избранном родстве» и «духовном оплодотворении» имела ясная логика. Поскольку Георге был и творцом, и творением Максимиана, то понимал себя и как вступающего в «духовный брак» с каждым из его недавно приобретенных друзей. Он внедрял себя в них, формировал их по своему подобию, так, чтобы «возрождение», которое они испытывали, неизбежно изменяло их отношение к нему, превращая их, можно сказать, из возлюбленных в сыновей. В одном стихотворении Георге сам делает этот вывод, утверждая, что такое преобразование воздействует не только на их родство с ним, но и на все их привязанности вообще:

Это — царство Духа: отражение
моего царства мызы и роши.
Каждый здесь формируется вновь
И рождается заново: в колыбели и дома,
Как в сказке.
В миссии и в благословении
Ты меняешь клан, имя и состояние.

Нет больше ни отцов, ни матерей...
Ни родства, у того, кто избран,
Я выбираю своих учителей в мире.

После стихов, посвященных кульминации и развязке чрезвычайной близости Морвица к Георге, заключительные две трети второй книги «Звезды согласия» предлагают краткие образы различных других друзей, которые входили в жизнь Георге и подвергались сопоставимой эволюции. Некоторые стихотворения посвящены людям, которых мы знаем, включая Герберта Штайнера и Перси Готейна, а некоторые восхваляют друзей, личность которых остается окутанной тайной, но все они рассказывают сходную легенду. «Уничтожьте меня! — заставляет одно стихотворение вскрикнуть некоего анонимного возлюбленного, — позвольте вашему огню меня поглотить! / Я, сам свободный, свободно отдал себя...» Другой говорит: «Что же случилось, что я едва себя узнаю, / Разве я не другой, уже не тот, каким был?» Еще один спрашивает: «Что еще я могу сделать, если дарую вам это? / Стать мягким в ваших руках, словно глина, / Настроить свои мысли в такт биения вашего сердца?» Все эти стихи описывают сцены радикальной переделки своего Я, но всегда по образу другого.

Повсюду, паря над этими сценами внутренней метаморфозы, пребывает дух бога Георге. Возможно, этот бог был задуман в любви и ради любви, но он не был безжизненным обожествлением. В одном стихотворении его бог выигрышно сравнивается с греческой фигурой Эроса, который описывается, скорее насмешливо, как имеющий «розовые мягкие девичьи конечности» и «огромные банты в своих волосах». Максимиин, в отличие от него, «строен и крепок», он «без драгоценностей», и «его поцелуй краток и горяч» (не говоря уже о том, что он «нагой, свободный от всех облачений»). В противоположность сходству с женоподобным херувимом из мифа он больше похож на спартанского юношу, закаленного строгим режимом, чтобы выстоять в суровом бою. Как и прежде, сексуальность и насилие здесь также открыто связаны. Глаза Максимиина, что называется, «мерцают храбростью и жадной сражения», и поэт говорит, что бог передает то же самое желание тем, кого «оплодотворяет»: «Как только он изверг семя из священных чресел, то вселил тревогу и опасность». Вторая книга завершается, когда поэт видит себя уходящим рука об руку с другом, ведомый своим богом, чтобы участвовать в конфликте, который достигает высшей точки в смерти и того и другого. «Благодарю Господа, предназначившего мне в будущем быть принесенным в жертву во славу звезд! / Ты — брат мой в битве!» Накануне этой битвы поэтический голос, упиваясь «спокойствием ночи в твоих руках», с нетерпением ждет «кровавого крещения» следующим утром. Оно свершается: «С Богом и тобой к победе! С тобой к смерти!»

В третьей и заключительной книге Георге формулирует несколько правил, которые будут управлять теми, кто удачлив, чтобы пережить огненные бури, чтобы прибыть и воспользоваться счастьем «согласия». Здесь Георге предлагает судебные запреты, диктует нормы поведения и веры. Это не исчерпывающий список, но он служит представительным набором принципов, лежащих в основе круга и регулирующих управление им. Усиливая чувство, что мы читаем книгу уставов, большинство стихов адресовано уже не единственному «Ты», но множественному — на немецком языке неправильная форма второго лица *Ihr* или *Euch*, — и многие содержат глаголы в повелительном наклонении. «Вы должны выплюнуть гниль из ваших ртов», — приказывает один; «вы должны нести кинжал в лавровом венке», — наставляет другой. Поэт говорит своим последователям, как они будут узнавать друг друга — «Вы узнаете их по рождению — от истинной страсти их глаз» — и что новый пакт, в который они вступили, — согласие, которое они скрепили печатью, — связывает: «Кто бы ни шел вокруг огня, он останется спутником пламени!» Еще одно стихотворение описывает эту связь как «узы руды».

Эти узы связывали, но они могли быть разрушены. В дополнение к регулированию поведения «Звезда согласия» содержит также уголовный кодекс наказаний за отказ повиноваться его директивам. За незначительные нарушения виновникам предписывается «пойти и молчаливо искупить делом — затем вернуться». Георге ненавидел извинения, полагая, что они были признаком слабости, ему одинаково не нравились и оправдания («Просить прощения, — объявляет стихотворение, — и прощать отвратительно») — и он предпочитал тех, кто разочаровал его и вновь стремится завоевать расположение в актах раскаяния или искупления. Для более серьезных нарушений было только одно приемлемое средство: «Учитесь у героев умирать на своем собственном мече!» Любое нарушение, достаточно крупное, чтобы пробудить ярость Георге, обычно приводило к изгнанию преступника — или, что для Георге было то же самое, к его смерти. Совершить самоубийство просто означало уберечь Учителя от приведения приговора в исполнение.

Симптоматично, что некоторые условия, обрисованные в общих чертах в этом последнем разделе книги, касались роли и функции женщин в царстве Георге. «Вы не должны осквернять тела с женщинами чуждого ордена, — требовало одно стихотворение от его последователей. — Ждите! Оставьте павлина обезьяне!» Члены нового ордена Георге — то есть спроектированного в его книге — не должны брать в жены женщин, которые не знают или не понимают их общих целей. Женщины, которые могли бы быть «достойными вынашивать ваше семя», еще не существуют и должны специально обучаться, чтобы узнать «самую характерную тайну женщины». «Тайна» — задача, которую Георге рассматривал как истинное при-

звание женщины, — это вынашивание и выращивание детей. В более позднем стихотворении он излагает это так: «Женщина вынашивает животное, мужчина создает и мужчину и женщину». Женщины, таким образом, сведены исключительно к материальной, внутренней сфере; они выполняют чисто биологический долг, и им дозволяется не нести ответственность за пределами дома. Все принадлежащее сфере образования, культуры и политики является делом одних только мужчин.

«Финальный хор», завершающий том, собирает вместе все темы, изложенные в предшествовавших девяноста девяти стихах, и плотно концентрирует их в одном-единственном стихотворении огромной силы. Непроницаемая убежденность ужасного видения, соединенная с простой, надменной дикцией, — все это делает его одним из самых потрясающих произведений Георге:

Путь бога нам указали,
Землю Бога нам предназначили,
Войну Бога для нас разожгли,
Корону Бога нам даровали.
Спокойствие Бога в наших сердцах,
Сила Бога в нашей груди,
Гнев Бога в наших бровях,
Жар Бога в наших устах,
Узы Бога сковали нас,
Огонь Бога нас воспламенил,
Благо Бога заполнило нас,
Радость Бога сделала нас зрелыми.

Сплавленные здесь в совершенном союзе Георге и его бог одним и тем же приглушенным голосом говорят в этих строках, наполненных ужасной, неизбежной достоверностью. На мгновение, читая эти строки, каждый почти физически ощущает, что сам Бог совершил последний суд на земле, суд, проведенный его пламенными приверженцами. Словно в странном подтверждении излюбленного числа Георге и в капризном согласии с его самыми мрачными предчувствиями и самыми пылкими надеждами, спустя семь месяцев после того, как «Звезда согласия» была издана, Европа разразилась войной.



Глава тридцать вторая

ЛЕГЕНДЫ ЛЕТА

С самого начала лето 1914 года обещало быть незабываемым. Погода была почти совершенной. Многие дни и недели небеса над всей центральной Европой сохраняли цвет голубизны дорогого шелка, воздух был мягким и сухим, и выпало ровно столько дождей, сколько было нужно, чтобы заполнить сады, леса и луга ароматными цветами и зеленью. Хотя первые несколько месяцев и не были настолько жаркими, чтобы произвести на свет тот вид винограда, который сделал 1911 год экстраординарным, виноделы тем не менее были оптимистичны относительно своих перспектив. «Давно у нас не было такого лета», — вспоминал Стефан Цвейг одного виноторговца, который ему рассказывал: «Если так пойдет, то тогда у нас будет такое вино, какого никогда не было. Люди запомнят это лето!»

В конце мая Георге находился в Гейдельберге после месячной поездки в Италию. Он также ценил преимущества, которые принесла дружелюбная погода. Перси Готейн, которому было теперь восемнадцать лет, сдал свои экзамены и был готов поступить в университет. «Перси выглядит просто прекрасно», — рассказывал Гундольф Георге тем летом. Георге не требовалось в этом убеждать. Каждую весну начиная с назначения Гундольфа в 1911-м — в этот год он и встретил Перси — Георге возвращался в Гейдельберг как раз в то самое время, когда весенний сезон достигал своего опьяняющего зенита. Но его глаза были обращены не только на естественные красоты местности. «Каждое утро того жаркого лета, — писал Перси в своих мемуарах, имея в виду первый год своего знакомства с Георге, когда

ему было четырнадцать лет, — мы, мальчики, возвращались домой из школы к двенадцати и в течение часа перед полдником могли, голые, плескаться в воде и слепящем солнце. Еще лучше было после освежающего купания в реке растянуться на деревянных досках купальни и загорать под горячим солнцем». Однажды, когда Перси вышел из Неккара весь в капельках влаги — его голое загорелое тело блестело на свету, — то увидел, к своему огромному удивлению, прямо передо собой в открытой передвижной кабине, лежащим наполовину на солнце, наполовину в тени, Поэта. Не чувствуя ни смущения, ни стыдливости, Перси подошел к Георге, вежливо его поприветствовал и плюхнулся на доски рядом с ним. «Поэт уже какое-то время там находился, — рассказывал Перси, — и теперь полулежал в ленивой отрешенности».

Георге уже искупался и его тело к тому времени обсохло, а с влажных волос Перси все еще стекали капельки влаги, когда он кивал головой в ответ на вопросы Георге. Разговаривая, Георге блаженно предавался оздоравливающему действию солнца. Беседа тогда повернулась к «древним грекам», которых, по замечанию Георге, принято было представлять «еще более обнаженными». Перси рассказывал: «Георге направил мое внимание на спартанцев, которых чрезвычайно расхваливал, расписывая мне, что они знали, как обуздать молодежь строгой дисциплиной, и что они не уклонились от суровых телесных наказаний». При этом одобрении физических наказаний Перси буквально подпрыгнул — он был еще в том возрасте, когда этот вопрос имел не только теоретическое значение — и принялся красноречиво доказывать преимущества «гуманитарного века» и возражать против устарелой практики порки. Георге, неподвижный и бесстрастный, просто сказал: «Вы молоды, но иногда мне кажется, что это было бы благотворно, если на самом деле не необходимо». К счастью, не было никаких выходов, которые требовали бы таких столь решительных мер, и не было ничего, что могло бы нарушить их мирную беседу, которая вскоре перешла к менее тревожным темам. Через некоторое время Перси поднялся на ноги и долго в молчании смотрел на воду. Позже Георге рассказал ему, что в тот момент он — с его гладким, гибким, нагим телом — «был похож на мальчика из Древней Греции», стоящего прямо на берегу реки, задумавшегося и воплощающего бессознательную грациозность.

Возможно, в надежде на смакование подобных радостей Георге надеялся разделить начало лета 1914 года между Гейдельбергом и Мюнхеном, а на время оставшихся более жарких месяцев отправиться в альпийскую прохладу Швейцарии. Но Перси не был единственным объектом его внимания тем летом. В апреле предыдущего года, в то время как он был в Мюнхене, Георге случайно столкнулся с Эрнстом Глокнером, который тогда жил с его другом, Эрнстом Бертрамом. Отношения между Глокнером и Бертрамом были глубокими, близкими и длительными: встретившись

3 мая 1906 года, они считали этот день своей годовщиной, празднуя его каждый год в течение почти трех десятилетий. Их совместная жизнь рассматривалась даже как образцовая другими молодыми людьми, которым самим не удалось найти родственную душу. Один такой знакомый писал им: «Я иногда счастлив думать о вашей *vie de garçon* в одноместном номере, где есть цветы, книги и картины, где Платон и Бах примиряют вас, где один из вас встает из-за фортепьяно, а другой наблюдает, как с небольшой нервозностью и даже неловкостью он кладет свою сигарету на подоконник, любуясь им и этой его нервозностью». Когда они расставались, что случалось нередко, то писали друг другу по крайней мере через день, а иногда чаще (Бертрам преподавал немецкую литературу в Бонне, тогда как Глокнер жил в восьмидесяти километрах в Вайльбурге, небольшом городке Гессена к северу от Франкфурта, и им разрешалось проводить вместе только перерывы между семестрами и лето). После неудавшейся попытки занять должность историка искусств в Мюнхене, Глокнер отошел от всякой профессиональной деятельности и при финансовой поддержке Бертрама посвятил себя собственной обширной корреспонденции и своей реальной страсти, каллиграфии. Таким образом Бертрам и Глокнер жили, привычно курсируя между Бонном и Вайльбургом вплоть до ранней смерти Глокнера в 1934 году. Когда в 1957 году умер и Бертрам, то, по его последнему пожеланию, он был похоронен на кладбище в Вайльбурге рядом со своим пожизненным спутником.

На самом деле именно Бертрама Георге и надеялся найти, когда пришел на их мюнхенскую квартиру после полудня весной 1913 года. В 1908-м Бертрам написал благодарное, если не сказать лестное, эссе о Георге, которое Учитель часто вспоминал с такой же экстравагантной похвалой. Георге был столь впечатлен Бертрамом, что даже издал одно из его стихотворений — хотя и умолчав имя автора — в девятом выпуске «Листка» в 1910 году. Но Бертрам стойко сопротивлялся попыткам Георге кооптировать его в круг и осторожно держался на расстоянии. «Я не гожусь в ученики, — заявил он категорично Георге в самом начале их общения. Бертрам всегда чувствовал себя неловко возле Георге, и первая их встреча надолго оставила навязчивое впечатление у Бертрама. Когда он сидел, ожидая в мюнхенском кафе прибытия Георге, характерная огромная голова поэта внезапно показалась из-за тяжелого занавеса, закрывающего дверной проем. Первая рефлексивная мысль Бертрама была: «Оборотень!» И только для того чтобы у Георге не оставалось никаких иллюзий, Бертрам опубликовал следующее стихотворение с названием «Портрет Учителя»:

Узкие глаза, расширенные властно,
Словно подсвеченные изнутри.
Боль от старой жестокости,
Запечатленная на щеках.

Рельеф его лица — словно королевские террасы, —
От темных волос до подбородка,
Скрывает силу,
Смертельную в ненависти.

Вокруг неподвижных губ — след
Побежденного искушения.
Брови, как драгоценный камень,
Несут благородную муку.

Георге понял послание. Он принял ответные меры, осуждая внешность Бертрама, — в одном случае он описал Бертрама вполне безобидно, как «простодушное создание», но в другой раз пожаловался, что физиономия Бертрама «невероятно неудачна», и раскритиковал сверхактивный интеллектуализм Бертрама. «Слишком много *Geist*», — характеризовал он позже Бертрама Глокнеру, с многозначительным акцентом.

Эрнст Глокнер, однако, представлял собой нечто совершенно иное. Физически он соответствовал тому типу, который Георге одержимо разыскивал, — вытянутое и правильно сформированное лицо, большие, чуть печальные глаза, которые нерешительно выглядывали из-под тяжелых бровей. Он выглядел изящным, благородным, и все же в какой-то мере уязвимым, даже деликатным. Действительно, Глокнер обладал и неустойчивой психикой, и слабой конституцией — одной из причин его преждевременной смерти была хроническая болезнь почек, — предрасположенность к широким эмоциональным и физическим колебаниям, казалось, была запечатлена на его лице, выражавшем одновременно и подозрительность, и потребность в утешении. Вероятно, основываясь именно на слишком обостренном самомнении, Глокнер и избегал встречаться с Георге. Однажды вечером, возвращаясь домой, в квартиру в Мюнхене, которую делил с Бертрамом — Бертрам был в Риме в то время, — Глокнер заметил Георге, шедшего впереди в том же самом направлении, а затем скрывшегося в том же самом доме, где они жили. Позже Глокнер рассказывал Бертраму, что «преодолев бессмысленный страх», также вошел внутрь, «дрожащий и взволнованный», и добрался до квартиры именно тогда, когда Георге получил известие от прислуги, что Бертрам уехал в Рим. Но для Глокнера было слишком поздно. Узнав, кем он является, Георге пригласил его в его же собственную квартиру. «И теперь у меня только одно желание, — писал Глокнер, — никогда не встречать эту персону».

Отчет Глокнера о встрече с Георге замечателен не только потому что документирует случившееся поминутно и в подробностях, но также и потому что свидетельствует о глубоко двойственном, даже остро мучительном отношении Глокнера ко всему пережитому. «То, что я совершил в тот вечер, — признавался он Бертраму, — было вне моего самообладания, я

действовал как во сне, подчиненный его воле, безвольный, послушный, слишком послушный, как ребенок. Это был ужасный, неописуемый, блаженный, омерзительный и экзальтированный опыт, с чудесным трепетом счастья, с заглядыванием в бездонную пропасть». Как только ему удалось вернуть свое самообладание, после того как встреча произошла, Глокнер смог посмотреть на случившееся — как на свое поведение, так и на поведение Георге — более объективно. Но при всепоглощающем присутствии Учителя он чувствовал себя неспособным к проявлению собственной воли. «Я не мог действовать иначе, — писал Глокнер с уничижительной честностью. — Он сильнее, чем я. Возможно, он поступил неправильно, так как видел мою слабость; возможно, он должен был оставить меня в покое, увидев, что я слаб; во мне не было сопротивления — я только наблюдал и проклинал себя».

Понимая, что его речь слегка бессвязна, Глокнер взял себя в руки и последовательно рассказал о событиях, так его встревоживших. В тот первый вечер, после того как они представились друг другу перед дверью квартиры, Глокнер почувствовал, что у него нет другого выбора, кроме как предложить Георге войти. Возможно, это был самый мучительный опыт в жизни Глокнера. Сидя в кресле Глокнера, Георге начал расспрашивать о Бертраме, что с ним происходило, что он писал, каковы его планы. Повсюду сквозил тонкий намек, что, хотя Георге искренне уважал бесспорные таланты Бертрама, но относился неодобрительно к той цели, ради которой тот их использовал. Он произнес с легким упреком, что Бертрам опубликовал несколько стихотворений не в издательстве «Листок за искусство». «Ужасно, ужасно, когда такое происходит!» — говорил Георге, все время качая головой, подмигивая Глокнеру и облизывая губы. (Глокнер сделал потрясающее открытие, подтвержденное и другими, будто у Георге был «раздвоенный язык», — на самом деле углубление на кончике языка — «как у змеи».)

Затем Георге обратил фокус своего расследования на самого Глокнера. Прежде всего он хотел знать, почему Глокнер не разыскал его. «Георге был сердит, — заметил Глокнер с тревогой, — его глаза горели из-за того, что я отказался от возможности встретиться с ним». Никто так не относится к Учителю — «он сказал, что мой долг был прийти к нему». Когда Глокнер промямлил что-то о своей «застенчивости», Георге отверг это как неосновательное оправдание. «Нужно это преодолеть, — сказал он Глокнеру, — если вам дозволяется узнать меня. Но у вас нет своей собственной воли, вы чрезмерно чувствительны и хрупки, как все мальчики. Здесь есть еще одно человеческое существо, — Георге обращался к самому себе, — и у вас нет необходимости тревожиться, чтобы к нему подойти». Это было больше чем негодование; Георге чувствовал себя оскорбленным, что Глокнер был не в состоянии воспользоваться уникальной возможностью.

«Предполагается, что я это должен сделать? — спросил он презрительно. — Я слишком стар теперь. Прийти должны вы». Глокнер попытался умиротворить его, сжимая его руку, но Георге не мог успокоиться. «Нет, — сказал он, — я не могу простить вам это так быстро».

Затем произошел ритуал, который был заведен для всех первых встреч с Георге. Он спросил Глокнера, чем тот занят и, услышав, что Глокнер немного пишет, воскликнул: «Стихи?» Утвердительный ответ предопределил судьбу Глокнера. «Далее, — писал он, — последовал один из самых ужасных моментов моей жизни. Я должен был читать вслух. Мое сопротивление было бесполезным». Отвергая все усилия Глокнера уклониться от исполнения, Георге продолжал: «Вы должны быть способным к этому». Почти охваченный паникой, Глокнер нервно возился в столе, разыскивая свои рукописи. Заметив явное беспокойство Глокнера, Георге оставался непреклонным. «Молодой поэт, — сказал он насмешливо, — который не знает, где держит свои стихи». Он как будто даже наслаждался унижением Глокнера, когда тот безуспешно искал свои стихи, все более и более смущаясь с каждой секундой. «Только не торопитесь», — советовал ему Георге, используя задержку, чтобы рассмотреть все, что было на столе Глокнера. Его глаза оживились на фотографии Томаса Манна. «Ужасно, ужасно», — был его единственный комментарий. И Глокнер и Бертрам знали Томаса Манна лично и восхищались его работами, особенно одним его произведением. «Вам знакома „Смерть в Венеции“?» — спросил с надеждой Глокнер, без сомнения думая, что Георге будет восприимчив к откровенному исследованию гомозротичного пробуждения главного героя. Глокнер ошибался. «Есть слово, — выдавил ответ Георге, — которое называют молчанием», — и он сделал высокомерный жест, словно отвергая все, что было связано с Томасом Манном.

Тем временем Глокнер наконец нашел свои рукописи и попытался вручить их Георге. «Нет, вы читайте, — сказали ему. — Я также хочу знать, как вы читаете вслух». Не имея никого, к кому можно было бы обратиться за помощью, Глокнер повиновался. Георге погрузился в соседнее кресло и закрыл глаза, иногда испуская какие-то звуки, которые Глокнеру казались похожими на рычание. Прочитав три или четыре стихотворения, чувствуя себя все более и более оскорбленным и истощенным, Глокнер просто остановился, сказав: «Этого достаточно».

Возможно, почувствовав, что оттолкнул Глокнера слишком далеко, Георге теперь изменил тактику. Он встал, пристально посмотрел на Глокнера и начал говорить. «Его голос был тверд, — рассказывал Глокнер, — и наполнен металлом». Георге вернулся к попыткам Глокнера уклониться от встреч с ним. «Знаете, почему вы не приходили ко мне? — спросил Георге, а затем сам за него ответил: Я знаю почему. Вы боялись пропасти, разделяющей нас». Георге вновь сделал сильное движение руками, как

будто разъединял воображаемую границу между ними. «И все же вы ощущаете, что частично принадлежите мне». Глокнер чувствовал себя полностью незащищенным. «Лицо Георге стало лицом дьявола, — подумал он и в густеющей темноте комнаты сказал себе: даже если этот человек совершает насилие надо мной, остается только уступить или рисковать чем-то худшим». Георге схватил Глокнера за руку, и то небольшое, что оставалось от решимости Глокнера, было окончательно сломлено. Он поцеловал руку Георге и упавшим голосом прошептал: «Учитель, что мне делать?» Реакция Георге была немедленной и сразу же вызвавшей замешательство. «Он приподнял меня до своей груди, прижал к себе и поцеловал в лоб. Он крепко обнимал меня, а я его. Все время он мягко говорил: „Мальчик, дорогой мальчик. Дорогой“. Как я смог вынести все это, уже и не знаю. У меня было чувство блаженства и сладости, и все же в тот момент я презирал себя так, как никогда не презирал себя раньше. Я был благодарен ему и ненавидел его в один и тот же миг. Это было ужасно».

Глокнер был свидетелем рождения нового Георге, поэта «Звезды согласия», отца и сына своего собственного бога, сеятеля нового строя, того, кто уже рассматривал свой опыт не в простых личных терминах, но как выражение исторической необходимости. Событие их встречи явно имело для Георге более высокое значение, то, которое можно было назвать исключительно религиозным. Отпустив Глокнера, он сказал: «Верите, что все еще существуют чудеса? Вы пережили одно. Вам разрешили его пережить! Знаете, что это означает?» Глокнер был настолько приведен в замешательство, что был неуверен, чудо действительно произошло или нет. «Итак, — продолжал Георге, — теперь погуляйте со мной какое-то время. — И порекомендовал: Позвольте тому, что вы испытали, воздействовать на вас», — как будто Глокнер принял микстуру, которой требовалось время, чтобы произвести эффект. Когда они прогуливались по темноватым улицам по направлению к квартире Вольфскеля, где Георге остановился в Круглой комнате, он неоднократно говорил о чуде, которое произошло, о том, насколько изумительным оно было, и о том, что хотя лишь немногие его допускают, чудеса все еще происходят, как и в прошлые времена, когда создавались мифы. Возле своей двери Георге пригласил Глокнера войти и, поднимаясь по лестнице, снова отчитал за то, что тот не искал его ранее. «Даже если вам пришлось путешествовать четырнадцать дней, — сказал Георге, — вы должны были затем сделать это. Есть немного людей, у которых есть такая возможность, как у вас. То, что вы узнали меня так скоро и легко, беспрецедентно. Этого никогда и ни с кем не происходило. Они все пытались добиться этого. Я имею в виду всех! Многие приходят, но у большинства из них, я знаю, есть какой-то личный интерес». Глокнер снова попытался оправдать свои действия, и вновь Георге отверг его аргументы. «Нет никакого оправдания. Вы должны были прийти. Понимаете, что

пропустили бы, если бы судьба, если бы случай вам не улыбнулся». Глокнер еще достаточно владел собой, чтобы подумать: «Что за предположение!», — но нашел, что, как ни пытался, был неспособен полагать, что Георге «смешон».

Остаток вечера был менее богатым событиями, но не менее тревожным. Георге сопровождал его в спартански обставленную Круглую комнату; он сказал Глокнеру: «Хотя комната пуста, все беседы, которые здесь проходили, сохраняются в ней. Они делают ее теплой». Георге велел Глокнеру сесть на одну из скамей — «вы будете прекрасно выглядеть напротив стены» — и продолжил свое изучение. Он хотел знать, сколько Глокнеру лет. «Двадцать восемь», — был получен ответ. Это было серьезно. «Ужасно, ужасно», — Глокнер теперь услышал, что Георге произнес это уже в третий раз за вечер. Глокнер уже миновал тот возраст, который Георге особенно нравился в новых избранниках. Одна из вещей, которые он неоднократно говорил Глокнеру, заключалась в том, что Бертрам «уже слишком определен» и уже встал на свой путь — иными словами, слишком стар, чтобы быть полностью восприимчивым к созидательному влиянию Георге. Радовало то, что число «двадцать восемь» делилось на семь, возможно указывая Георге, что не все потеряно. Кроме того, Георге, должно быть, ощутил, что Глокнер, хотя и относительно взрослый, был необычайно покорным. Когда они расставались, Георге выразил уверенность, что их союз будет плодотворен. «Вы увидите, — спокойно предсказывал Георге, — и в один день признаете, что для вас есть только один путь, и вы тогда пойдете по нему, оставаясь слепым ко всему остальному. Вы будете поражены, что все настолько легко». Георге, казалось, излучал теперь радость, в противоположность той грубой пылкости, которую демонстрировал ранее. «Теперь я знаю вас, — сказал он. — Пусть все идет своим чередом. Приезжайте снова в субботу в 6:30. Мне необходимо сказать вам очень многое».

Это был классический для Георге пример соблазнения: избранный — или жертва, — подавленный таким нападением, оказывался ошеломленным, встревоженным и все же странным образом польщенным непрошеным вниманием властной индивидуальности. Он не имел никакой возможности утверждать свои собственные прерогативы и должен был принять условия, которые Георге установил, — или обратиться в бегство. Симптоматично, что во время этой первой встречи в Круглой комнате, когда Георге на короткое время исчез, Глокнер рассматривал этот последний план своих действий. «Мне пришлось ждать, — вспоминал Глокнер, — в то же самое время я испытывал сильное желание убежать из страха и трусости». В конце концов, Глокнер все же остался.

После первой встречи в начале апреля 1913 года, Глокнер и Георге видели друг друга почти каждый день всю середину мая. Постепенно Глокнер победил свои изначальные предчувствия, но в течение долгого време-

ни его письма Бертраму звучали так, словно он пытался убедить себя, что его решение не держаться в стороне от Георге на самом деле было правильным. «Я доверяю, очень доверяю ему, — сказал он Бертраму, но нерешительно добавил: и все же...» Неделю спустя Глокнер сообщил Бертраму, что будет не в состоянии присоединиться к нему в Риме, как первоначально планировал, в силу своих новых обязательств: «Я обещал Георге, что приеду к нему; и я должен сдерживать это обещание». Однако выглядел Глокнер несколько неуверенным. «Я не хочу спастись бегством, — писал он, — это будет патетичное бегство от чего-то такого, от чего в любом случае нельзя убежать: нет». В конце концов Глокнер сказал, чтобы оправдаться перед Бертрамом и перед самим собой: «У Георге добрые намерения... у него, конечно же, добрые намерения». К началу мая, однако, Глокнер полностью оставил свои сомнения и сказал Бертраму: «Я верю в Георге, верю в его значимость». Он испытал полное преображение: «Я никогда не чувствовал столь безопасным столкновение с миром, никогда не чувствовал так сильно, что ничего плохого никогда не случится со мной вновь, если я буду рядом с ним. Он — гений и также обладает магической силой хорошего врача. Но дело не только в этом, — торжественно сказал Глокнер своему другу, — он все знает; я не преувеличиваю, он — пророк».

Так начались отношения, которые продлятся еще одно десятилетие, до 1924 года. В течение этого промежутка Глокнер часто доказывал, что он преданный и неутомимый друг, посылая еду и табак, чтобы возместить трудности военного дефицита, предоставляя постоянные советы относительно докторов и лекарств, когда Георге заболел, и вообще делая себя доступным по любому требованию, желанию и для любой услуги, в предоставлении которой Георге, возможно, нуждался.

Эту последнюю категорию функций, выполняемых Глокнером, следует представлять широко. Поскольку Глокнер был единственным человеком среди множества спутников Георге, который оставил сохранившиеся записи о физической близости с поэтом. Георге всегда делал все возможное, чтобы научить своих корреспондентов не передавать ничего слишком личного на бумаге, и его собственный краткий эпистолярный стиль был частично выражением чрезвычайной осторожности, с какой он относился к деталям своих частных дел. В более поздний период своей жизни Георге сказал Бертольду Валлентину с явным удовлетворением: «Вообще есть немного писем (имея в виду написанные им самим), в которых содержится нечто важное, что следовало бы прочесть». Таким образом, только небольшое число относительно тривиальных писем и открыток от Георге к Глокнеру сохранилось.

Этого, однако, нельзя сказать о почти бесконечных письмах Глокнера к Георге. Глокнер каждый день проводил часы, сочиняя письма, и во время десятилетнего периода их отношений Георге был, наряду с Бертрамом,

один из основных бенефициариев его эпистолярных упражнений — а само их число было чрезмерным даже для самого бдительного хранителя наследия Георге. С течением времени и сам Георге начал обращать пристальное внимание на то, что оставалось в его личном архиве. К 1929 году он уже разместил все письма, которые получал, в хронологическом порядке и намеревался проверить благонадежность самых чувственных из них. Георге рассказывал другу: «Моя корреспонденция, вещи, которые мне присылали, в значительной степени упорядочены не по отправителям, а по годам. Но есть также много приватного в этом, и я должен все это просеять». Эдгар Салин также сообщал: «Вольфскель говорил и Эрнсту Морвицу и мне, что Георге сжег все личные письма», — предполагая, что эта же судьба ожидала, помимо многого прочего, и «чрезвычайно большое число писем, которые касались Космического круга и Максимиана». Все, что содержало в себе намеки на этот аспект его опыта и что Георге желал сохранить скрытым от взгляда посторонних, вероятно, встретило ту же самую судьбу.

Одно письмо от Глокнера, кажется, все же избежало печки. Написав его в августе 1917 года, в разгар их отношений, Глокнер, похоже, был не в состоянии больше удерживать свои чувства к Георге под контролем и выложил замечательное признание. «Кто стонал под тяжестью вашего тела, — писал Глокнер с искренностью, которая является потрясающей только потому, что редко встречается в таком контексте, — только тот испытал преображение, потому что видел все ваши последние достоинства, только тот даст вам тайное имя, которое выше всех имен и которое не разрешено произносить в вашем присутствии». Фраза «последние достоинства» является цитатой из стихотворения в «Звезде согласия» и может означать, как здесь, несколько разных вещей, но одна из них — нагота, и «имя», упомянутое Глокнером, принадлежит той же самой сфере. Поскольку он, несомненно, имел в виду «Максимиана», и тот факт, что он буквально называет Георге тем же самым именем, — все это указывает, что Глокнер понимал, что в уме Георге и, по-видимому, в его собственном уме тоже больше не было различий между Учителем и богом. Однако обращаясь к тому, что могло быть только физическим опытом между ними, Глокнер знал, что переступил границу, которую немногим позволялось пересечь, и поспешил заверить Георге, что этого больше никогда не произойдет. «Учитель, теперь вы знаете, как я отношусь к вам. Недавнее переживание сорвало это слово с моих молчаливых губ. С этого времени я никогда не буду говорить об этом вновь». Или Глокнер сдержал свое обещание, или любая запись о том, что он его нарушил, исчезла.

Не все время Георге было занято такими делами, столь же приятными. Предстояло сделать еще одну серьезную большую работу: новый том «Листка» был в работе, были планы относительно публикации четвертого

«Ежегодника», перевод Шекспира еще не был закончен и, возможно, наиболее близкий сердцу Георге в тот момент Фридрих Вольтерс готовил крупномасштабную книгу, посвященную истории движения, которое основал Георге. Идея написать историю «Листка» — Георге все еще нравилось использовать это слово, чтобы обозначать феномен в целом, — увлекала его уже несколько лет. В январе 1909 года он упомянул в беседе с Бертольдом Валлентином — возможно с намерением выведать у него, насколько тот готов взяться за решение задачи, — что хотел, чтобы кто-нибудь «написал историю „Листка за искусство“, основанную на документах». По какой-то причине Валлентин не клюнул на приманку. Фридрих Вольтерс, «Суверенитет и служение» которого вышли позже в том же году, Вольтерс, чья звезда взошла еще выше в качестве одного из редакторов «Ежегодника», оказался более подходящим выбором, и поэтому задание пало на его плечи. С благословения Георге — и в результате не очень тонкого подталкивания — Вольтерс, таким образом, стал официальным историком Георге и биографом.

Осенью 1913 года, ожидая выхода в свет «Звезды согласия», Георге жил с Эрнстом Морвицем в Берлине в почти пустой квартире, спал на обычной раскладушке и работал днями за столом, специально поставленным с этой целью. Кроме нескольких простых стульев, комната была именно такой, какая поэту нравилась: пустая, без напоминаний о внешнем мире. По вечерам здесь собирались его берлинские друзья, чтобы читать вслух различные произведения, включая антологию Гёте, переводы Данте, сделанные Георге, сонеты Шекспира, стихи Суинберна и Россетти, и особенно переводы Пиндара, сделанные Гёльдерлином, которые были недавно обнаружены и изданы Норбертом фон Геллингратом. Естественно, собственные стихи Георге были главным номером в репертуаре. Присутствовали на этих сессиях, которые длились обычно приблизительно два часа, сам Морвиц, Тормелен, брат Фридриха Гундольфа Эрнст, вдобавок к Валлентину и Роберту Берингеру. Вольтерс также часто посещал эти коммунальные чтения, но главный фокус его интересов был сосредоточен на беседах, которые он почти ежедневно вел с Георге с конца сентября до конца октября. Во взвешенных дозах Георге излагал ему ту версию своей жизни, которую хотел, чтобы Вольтерс сохранил для потомства. Зная, что можно доверить Вольтерсу изложить все в надлежащем свете, он открывал себя для такого рода вопросов, которые никогда не стерпел бы ни от кого другого. Георге даже сказал, что «легенды», которые уже сформировались о нем, — увлечения «фиолетовыми плащами, фестивалями, замками, любовью к мальчикам, и т. д.» — его вообще не беспокоят. На самом деле он считал, что легенды часто «более правдиво передают фактическую сторону дела, чем было бы в состоянии сделать простое повествование». «Ибо, — лукаво рассуждал он, — даже самые простые легенды содержат в

своих образах ядро истины». (Георге действительно наслаждался некоторыми из историй, или «легенд», которые о нем циркулировали, и иногда их обыгрывал. Когда он услышал, что кто-то описывал празднование в квартире Вольфскеля как сатанинскую мессу, проводимую под фиолетовыми огнями и серыми лампами, то язвительно добавил: «Не забудьте еще сказать о миске остывающей крови, которая передо мной стояла».)

В следующие несколько месяцев Вольтерс сопровождал Учителя во всех передвижениях, точно записывая его слова для подготовительной работы к порученной ему книге. В начале весны Вольтерс отправился в Мюнхен ради длительных встреч с Георге в Круглой комнате, а летом того же года сопровождал его в деревню Саненмозер в Швейцарии, где надеялся закончить стадию сбора материалов проекта. С таким свободным доступом к огромной информации из первых рук Вольтерс добился большого прогресса. В феврале 1914 года он уже смог сказать Гундольфу: «План истории „Листка“ теперь ясен — я хочу посвятить ему всю доступную мне энергию этим летом». Он был настолько уверен в своем успехе, что в июне фирма Георга Бонди издала брошюру из четырех страниц, объявлявшую, что несколько обещанных книг, включая «историю» «Листка за искусство» Вольтерса, будут доступны в следующем году. Месяц спустя, однако, в дело вмешалась история другого рода, которая задержит публикацию книги Вольтерса на целых полтора десятилетия.



Глава тридцать третья

ВОЙНА И ТАЙНАЯ ГЕРМАНИЯ

28 июня 1389 года турки нанесли сокрушительное поражение сербам в сражении на Косовом Поле. Эта дата, со всеми ее оскорбительными и позорными ассоциациями, оставалась с тех пор пылающей раной в сербской коллективной памяти. В 1914 году, через пятьсот двадцать пять лет после этого дня, боснийский сербский националист по имени Гаврило Принцип отметил годовщину этой травмы, убив и наследника австрийского трона, эрцгерцога Франца Фердинанда, и его жену во время государственного визита в Сараево.

Реакция Вены была незамедлительной: спустя всего два часа после того как новость была услышана, большинство людей вернулось к своему обычному времяпрепровождению, музыка вновь заиграла в уличных кафе и барах, а беззаботный смех прерывал деловые беседы, продолжавшиеся допоздна в ароматах летнего вечера. Многие ощутили даже особое чувство облегчения от того, что честолюбивый и недалекий Франц Фердинанд был без особых затруднений удален со сцены, освободив дорогу для гораздо более популярного эрцгерцога Карла. Стефан Цвейг вспоминал, что несколько раз видел Франца Фердинанда в театре. Прямой наследник сидел почти неподвижно, надменно наблюдая за представлением, отказываясь одарить аудиторию дружественным взглядом или поощрить исполнителей оживленными аплодисментами. Он никогда не был замечен улыбающимся, не проявлял интереса к музыке и — самый серьезный недостаток в глазах приветливого жителя Вены — у него совершенно отсутствовало чувст-

во юмора. Когда любимый наследный принц Рудольф, единственный сын императора Франца Йозефа, совершил самоубийство в 1889 году, и когда его мать, императрица Элизабет, была заколота анархистом в 1898-м, публичное проявление скорби в их честь было подлинным и длительным. Но смерть Франца Фердинанда вызвала немного слез, и все предполагали, что главный вопрос в том, как скоро эрцгерцог будет похоронен.

Чего никто не ожидал, так это того, что его убийство приведет Европу к войне. Правда, уже многие годы велись безответственные разговоры о войне, в то время когда самые крупные страны соперничали друг с другом в своих притязаниях на военное и экономическое превосходство, захватывали любые остающиеся незанятыми области земного шара, которые они могли бы добавить к своей коллекции колоний, и вообще участвовали во все более и более опасных демонстрациях мускулов. Германия начала гонку поздно, что потребовало удвоенных усилий, чтобы устранить отставание, — в результате за ней с растущим недоверием следили ее соседи на востоке и западе. У Франции, все еще не смирившейся с потерей Эльзаса и Лотарингии в результате Франко-Прусской войны, не было никаких причин полагать, что интересы усиливающейся немецкой империи остались в прошлом. Россия, еще позже вышедшая на международную арену, была не меньше осведомлена о немецком желании выполнить сходную операцию в ее западных областях и о намерении хирургическим путем отделить оставшиеся польские и балтийские земли от российского контроля и воссоединить их с Фатерландом. И Великобритания, наблюдая за ростом промышленного могущества Германии и, с еще большей тревогой, за тем, что ее военно-морскому превосходству был брошен серьезный вызов впервые за все столетие, также неодобрительно взирала на усилия этой выскочки завоевать, как однажды превосходно выразился кайзер, свое собственное «место под солнцем». И все же за прошедшее десятилетие Европа выдержала несколько других более серьезных кризисов, таких как два столкновения Франции и Германии по поводу Марокко в 1905 и 1911 годах, а также столкновение Австрии и России в 1908 году, когда австрийцы захватили Боснию и Герцеговину. Большинство людей весьма разумно полагало, что последний инцидент, затронувший дом Габсбурга, — трагедия, разумеется, но вовсе не причина для чрезвычайной международной ситуации — обойдется, как и остальные, без особых последствий.

Наслаждаясь нерушимым миром и процветанием на континенте с 1871 года и извлекая выгоду из беспрецедентных достижений в науке, технологии, транспорте и коммуникациях, Европа, безусловно, стала более космополитичной за прошедшие четыре десятилетия. Международный Арбитражный суд в Гааге, учрежденный в 1899 году, был создан, чтобы улаживать споры между странами мирными, цивилизованными средства-

ми и отвергать призывы к оружию. Торговые соглашения сделали большую часть границ излишними, и у людей появилась возможность проехать через большинство стран без паспорта или официальных бумаг. Многие художественные и политические движения — символизм и социализм, если назвать только два, — имели явный международный размах и обращались не столько к узко шовинистическим чувствам, сколько к более широким человеческим проблемам. Связи между европейскими государствами стали настолько многообразными и тесно переплетенными, что широкая война означала бы братоубийство. Она казалась просто невообразимой.

И все же были силы в немецком правительстве и вооруженных силах, которые почувствовали искушение воспользоваться убийством в Сараево. Подстрекаемая множеством побуждений — расистскими теориями, идеологическим оппортунизмом, мужской самонадеянностью и плоским иррациональным страхом — группа советников Вильгельма II решила, что наступил момент привести в движение рычаги уже давно создававшейся схемы. Глава Генерального штаба Хельмут фон Мольтке, один из самых влиятельных членов кабинета кайзера, писал в личном письме, в феврале 1913 года: «Теперь, как и ранее, я придерживаюсь мнения, что через долгий или короткий промежуток времени европейская война должна разразиться, и в основном это будет война между германцами и славянами». Это было параноидальное убеждение многих в среде немецкой правящей элиты: Германии, считали они, угрожали с востока дикие орды русских варваров, а с запада завистливые, недобросовестные конкуренты, желавшие обрезать разворачивающиеся крылья имперского орла. Чтобы не стать жертвой на любом фронте нападения, которое стратеги немецкой политики все больше и больше рассматривали как неизбежное и неотвратимое, требовался упреждающий удар. В июле 1914 года они почувствовали, что момент действовать наступил.

Кошмарная цепь событий хорошо известна: с циничным расчетом несколько ключевых членов немецкого правительства подтолкнули Австрию ко вторжению в Сербию с намерением спровоцировать Россию к большому столкновению с Габсбургской империей. К своей чести немецкий кайзер до последней минуты стремился предотвратить более широкий конфликт, но его дипломатические навыки, не бывшие особо значительными даже во времена относительного спокойствия, оказались пагубно непригодными, когда кризис ускорился. 23 июля австрийский ультиматум отправили в Белград; пять дней спустя, через месяц после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, австрийское оружие начало стрелять по сербской столице. Как и предполагалось, Россия объявила полную мобилизацию против Австрии 30 июля. Полагая, что российские войска были связаны на востоке австрийской армией, немцы сразу же перешли к действиям,

с целью пустить в ход главную часть своей стратегии. Зная, что Франция могла прийти на помощь своему восточному союзнику, Германия приняла так называемый план Шлиффена, названный в честь прусского генерала, который разработал его еще за десять лет до этого. Альфред фон Шлиффен понимал, что единственный способ одержать быструю решающую победу над Францией состоял в том, чтобы обойти ее тяжело укрепленные границы на западе и вторгнуться на севере, быстро спустившись через Голландию и Бельгию. Как только Франция будет побеждена — таким образом развивался сценарий Шлиффена, — Германия сможет обратить свое внимание на Россию. План был обольстительно прост, даже изящен по своему замыслу: Шлиффен был уверен, что вся французская кампания будет закончена в течение шести недель. 3 августа, когда Австрия и Россия уже маршировали друг против друга, Германия объявила войну против Франции.

Переменной величиной в плане была Великобритания. Германия полагала, что Великобритания предпочтет позволить своим континентальным противникам самим улаживать свои ссоры и будет избегать рисков крупномасштабного военного конфликта. Это оказалось ужасным просчетом. Роковой недостаток плана Шлиффена заключался в том, что он вызвал нарушение бельгийского нейтралитета. Продвижение немецких войск через Бельгию к Парижу было намеренным и скандальным нарушением международного права. У Великобритании, которая выдвинула несколько требований, чтобы нейтралитет Бельгии соблюдался любой ценой, не было никакого выбора, кроме как выставить свой собственный ультиматум 4 августа: вторжение в Бельгию, прямо заявило британское Министерство иностранных дел, не будет допущено. Игнорируя предупреждение, немецкие войска вошли на бельгийскую территорию в 16:00. Еще до полуночи все главные державы Европы были в состоянии войны.

В середине июля, в то время как немецкое верховное командование готовилось к конфликту, которым самодовольно намеревалось управлять, Георге отправился в свой летний отпуск в Швейцарию. Он присоединился к Юлиусу и Эдит Ландман, которые арендовали шале в Зааненмозере, деревне недалеко от известного курорта Гштада. Юлиус Ландман, профессор экономики в Базеле, и его жена, независимая исследовательница, автор ряда достойных похвалы работ по эпистемологии и эстетике, были друзьями семьи Роберта Берингера, тогда также жившего в Базеле. Благодаря Берингеру Ландманы впервые встретились с Георге в Берлине в 1908 году, но из этой встречи в течение многих лет ничего особенного не последовало. (Эдит Ландман считала, что их отношения с Рудольфом Борхардтом, которые продлились до 1911 года, были главным препятствием, предотвращавшим любое более тесное общение с Георге.) Летом 1912 года, кото-

рый Георге также провел в Швейцарии, он разыскал Ландманов, которые отдыхали поблизости. Проявив благожелательность друг к другу, они запланировали встретиться в Альпах в следующем году. Но Эдит заболела и не смогла путешествовать, заставив и Георге отметить приготовления в последнюю минуту. Казалось, что в 1914 году судьба наконец улыбнулась им, и они с нетерпением ждали спокойного лета, чтобы провести его вместе в горах близ Берна.

Группа в конечном счете включала в себя Ландманов, двоих их детей, а также Вольтерса и нового знакомого по имени Балдуин Вальдхаузен. Эдит Ландман, с которой Георге оставался дружен до своей смерти, записала все, что могла помнить из своих бесед с поэтом, посвящавшим им несколько моментов каждого вечера, прежде чем она удалялась записывать его слова. Она вспоминала, однако, что в течение тех июльских недель «политические вопросы почти не упоминались — никакие газеты в дом не приходили». Единственное указание на исторические события, происходившие в мире, дошло до них таким способом, который значительно уменьшил их воздействие. «Однажды на страницах газеты, которой был обернут кусок масла, мы заметили напечатанное жирными буквами слово „Ультиматум“». На следующий день, когда все они сидели за столом, внезапно ворвался сосед. Поскольку не было принято, чтобы кто-то незванный и без доклада просто зашел в комнату, в которой председательствовал Учитель, все возмутились. «Это война в конце концов!» — закричал злоумышленник.

Возможно, предвидя грядущее столпотворение, Георге решил остаться в Швейцарии на какое-то время, хотя все остальные стремились незамедлительно уехать. Но не только отдыхающие торопливо строили планы возвращения в свои собственные дома, чтобы там ожидать дальнейшего развития событий, — та же самая сцена повторялась в каждой европейской столице. Огромные толпы собирались в центральных квадратах Лондона, Парижа, Берлина и Вены, когда объявляли новости. Но вместо выражения тревоги или страха, толпы повсюду взрывались ликованием, приветствуя услышанное в новостях. Граждане каждой страны были уверены не только в том, что война будет кратковременной, но и в том, что они окажутся победителями. В своего рода коллективном радостном экстазе люди заполняли улицы, как только появлялось что-то новое о войне, «незнакомцы пожимали друг другу руки, смеялись и кричали, и каждый чувствовал, что „связан со своим товарищем общей любовью и ненавистью“». Все не просто были уверены в победе, но предсказывали, что армии вернутся, как опрометчиво сказал немецкий кайзер первым отправлявшимся на фронт войскам в Берлине, «еще до того, как листья упадут с деревьев». Даже в небольших провинциальных центрах по всей Германии публичные демонстрации собирали огромное число людей.

Охваченные общим волнением, многие из соратников Георге чувствовали себя благодарными за то, что живут в такое время, которое позволило им принять участие в такой великой драме. 2 августа Гундольф признавался, что чувствовал опьянение от всего этого. В письме Эдгару Салину он сказал: «Просто жить в эти часы — уже достаточно, будь что будет! Мы живем в состоянии всеобщего воодушевления, что само по себе является вечной ценностью». Гундольф сразу же провел связь между реальной разворачивающейся войной и той, которую он и другие члены «движения» так нетерпеливо желали увидеть. Еще до того, как военные действия разразились, Гундольф сказал Георге, что думал об «огромном значении войны для нашего Государства». То, что войну почти целиком вела прусская военщина, было иронией, не ускользавшей от Гундольфа, но такие тонкости были теперь не важны. «Я чувствую, — писал он Георге за несколько дней до этого, — что (хотя многие до сих пор держались от пруссаков подальше) теперь это — дело нашей Германии... и я счастлив, что великое решение станет очевидным для всех нас, как и тайная Германия, так же». Фридрих Вольтерс, на пути назад в Берлин поездом, также нашел, что их старая Немезида была так или иначе преобразована гальванизирующим опытом мобилизации. Упомянув, что требуется «сорок восемь—шестьдесят часов», чтобы доехать от Мюнхена до Берлина, Вольтерс, рассказывал, что видел «сотни поездов с солдатами, проследовавших по маршруту» и что его «благоустройство на время ночи свелось к трем часам сна на чемодане». Даже в порыве, перемещающем огромное число священников, лошадей и мужчин на западный фронт, первоначальное возбуждение еще не иссякло. «Вокзалы звенят песнями, — писал Вольтерс, — здесь баки и бочки, полные чая, кофе и какао, горы хлеба — и все берут и пьют из одних и тех же чашек. Пруссаки неузнаваемы — все услужливы, дружелюбны, и у всех есть время. Только у военных поездов его нет».

Переполненные поезда были не единственным препятствием для путешествия. Буквально за одну ночь свобода передвижения по континенту, которой европейцы наслаждались от поколения к поколению, была строго ограничена, а формальности паспортов и виз внезапно стали необходимы. Циркулировали дикие слухи о шпионах, агентах и саботажниках, что делало путешествие по незнакомой территории рискованным и потенциально опасным. Интересно, что Георге мог отправиться в Швейцарию, не взяв соответствующих документов, и Гундольф написал ему 4 августа из своего дома в Дармштадте: «Никого не пропускают без паспорта или сразу же арестовывают. Здесь, в частности, они смотрят (с некоторыми оправданиями) на любого, кто чем-то выделяется и не имеет никаких удостоверений личности, как на шпиона (именно это и произошло, когда я прибыл, и к счастью у меня были с собой мои бумаги)».

Причина, по которой Гундольф передавал эту информацию, была не только в том, чтобы спасти Георге от неловкой или более серьезной ситуации, но и в том, чтобы убедить его приехать туда, где, как думал Гундольф, он должен быть. Эйфория, охватившая всю Германию, не демонстрировала признаков рассеивания. Действительно, первые небольшие успехи в Бельгии, казалось, только подогревали и энтузиазм, и уверенность. Никто не сомневался, что войска возвратятся домой с победой к Рождеству. Единственное сожаление, которое было у Гундольфа, — что Георге все это пропускал. «Я обеспокоен, что в эти дни вам приходится быть за границей, а не с нами, — писал Гундольф в середине августа. — Вы должны жить в эти дни ЗДЕСЬ!» Гундольф не понимал, как мог Георге оставаться за пределами своей родной страны в один из ее самых великих исторических моментов. «Теперь я не хотел бы быть для мира не немцем, а кем-то другим», — восхищенно сообщал он Георге. Для Гундольфа война представляла собой возможность достигнуть тех целей, над которыми он и остальные трудились более десятилетия. В письме к коллеге в Гейдельберг в конце августа он объяснял: «Преображение миллионов людей в *единственный* немецкий *Volk*, который заслуживает этого священного имени, разворот к активным действиям дряблого сгустка тех сил, вырождение которых уже нас пугало, даст миру, если уже не дало, новый героизм, по крайней мере, сделает его возможным». Более того, судьба всего мира, полагал Гундольф, теперь возложена на немецкие плечи. «Нет, вероятно, больше никакого другого *Volk*, от которого можно было бы ожидать, что новый мир возникнет, если немцы его не достигнут». В сентябре Гундольф все еще говорил, на этот раз Вольфскелю: «Жить в эти дни, когда немцы восполняют всю свою тоску по славе персидских войн и имперских побед, — это действительность великого *Volk*, и *нашего Volk*».

Гундольф всегда был одним из наиболее воинственных членов окружения Георге, но никогда не был слишком уж откровенным патриотом. Именно поэтому было немного удивительно видеть его воскуряющим ладан добродетелям немецкого *Volk* и так тесно отождествляющим себя с ним. Это было совершенно непохоже на Фридриха Вольтерса, который на самом деле рассматривал конфликт в терминах «сражение немецкого духа» и «сражение за немецкий дух». Как только он прибыл в Берлин после своей тяжелой поездки по Швейцарии, Вольтерс рассказал Георге, что путешествие через всю страну позволило ему оценить народные настроения. Его находки были более чем воодушевляющими: «Немцы казались преобразенными. Это не прусское государство ведет войну, а, скорее, немецкий *Volk* единодушно восстал, возможно впервые в своей истории, и осознает свое могущество и свою ценность». Во время всей своей поездки, рассказывал Вольтерс, он не слышал ни единого слова «сомнения, а уж тем более отчаяния», а видел только «искренний оптимизм и уверенность

в победе». В словах, которые сильно напоминают один из его очерков — «Личность и род» в третьем «Ежегоднике», — Вольтерс заявил, что победа была гарантирована внутренним превосходством Германии над противниками, которые, как один, были ослаблены и коррумпированы. «Все чувствуют, что нравственные ценности [находятся] на стороне Германии, — писал он Георге 17 августа, — а средства, которыми враг ведет войну, фактически с самого начала показывают инстинкты более слабого и даже низменного существа: это сражение против немецкого характера, против того, что народы в состоянии упадка ощущают как нечто более сильное и более могущественное, сражение увядающего и лицемерного человечества — если не говорить о несчастных русских — против расцветающего героического элемента в нашем *Volk*, сражение нового рода против вырождающегося, когда-то блиставшего мира».

По мере того как эти и другие письма пробивались к Георге и каждое в той или иной мере выражало одну и ту же восторженную точку зрения — что война была драгоценным даром и что она возвестила собой самый прекрасный час Германии, — Учитель оставался, на первый взгляд, равнодушным и безучастным к шуму ликования, раздававшемуся вокруг. В ответ на просьбы Гундольфа вернуться в Германию он просто сказал 14 августа: «Я теперь не вижу причин поспешно уезжать из Швейцарии», — и спокойно заверил Гундольфа, что немецкое консульство в Берне проверило его удостоверение личности, которого «вполне достаточно, чтобы пересечь границу». Все было так, словно Георге с удовлетворением взгромоздился над Европой в своем альпийском орлином гнезде и разглядывал пейзаж под ним с беспристрастным любопытством. В конце месяца, за день до отъезда в Мюнхен и в ответ на дальнейшие просьбы Гундольфа скорее возвратиться, он отправил еще более строгое возражение. «Пребывание в Швейцарии имеет и свои хорошие стороны», — писал Георге, уточняя, что оно позволило ему сохранить «объективность!» Словно именно политический нейтралитет Швейцарии позволял ему сохранять голову ясной, не путать то, что было эфемерным, с тем, что было важным, и кое-что он пропустил в излияниях своих корреспондентов. «Я говорю всем вам, — писал он Гундольфу, используя прописные буквы, — закончится это все хорошо или плохо — самое трудное произойдет ЛИШЬ ПОЗЖЕ!!» Несколько недель спустя Георге снова стремился охладить неугасимый огонь Гундольфа. «После войны все, что делало вас настолько восторженным, возможно, исчезнет, — мрачно предсказывал он. — Вы говорите языком энтузиазма; это язык юности, он всегда прекрасен, и всякий, кто говорит на языке разума, кажется холодным и трезвым восторженному человеку. Но на одном энтузиазме далеко не уйдешь».

На первый взгляд может показаться удивительным — в свете всего что мы знаем о явных и повторяющихся призывах к «священной войне», чье

наступление Георге так безошибочно приветствовал, — что он открыто не принимал эту войну как свою собственную. Его последователи, конечно, понимали ее как его и, следовательно, как свою войну. Эдгар Салин рассказывает, что даже на второй год войны — в марте 1916 года — «Георге прекрасно понимал что почти все без исключения, не только самые юные из нас, но также и Гундольф и Вольтерс и даже Вольфскель полагали, что Первая мировая война была пророческой священной войной в свои первые месяцы (а некоторые были убеждены в этом и позже)». Но Георге был непреклонен в этом отношении. Год спустя, в мае 1917 года, он говорил с Валлентином о «неправильном восприятии войны с самого начала: о том, как Вольтерс и Эрика Вольтерс упоминали о ней тогда, как о „самом великом немецком событии“». Георге сказал, что «тогда промолчал — как это часто ему приходилось делать», но что «предвидел все, что произойдет. Сегодня все это видят. Гундольф тоже».

Хотя Георге никогда полностью не разъяснял, почему эта война не была, по крайней мере с его собственной точки зрения, той войной, которую он предсказывал и желал, легко предположить причины, почему он не принимал ее. О чем на какое-то время позабыли его друзья, так это о том, что две Германии, в которых они жили, не были одинаковыми, что у их «тайной» Германии было свое собственное правительство, свой вождь, свои законы и мандаты, которые отличались и даже противоречили законам другого государства, носящего то же самое имя. Германию, которой управляли протестанты и пруссаки, какой бы метаморфозе она ни подвергалась, не следовало путать с новым строем, который Георге стремился создать. «Чего же стоит вся ваша позиция, — спросил Георге однажды с нетерпением группу своих друзей, — если вы все можете верить, что несколько возвышенных мгновений судьбы способны преобразить развращенный народ». Ничего настолько глубокого не могло произойти так скоро. «Действительно ли буржуа отличаются сегодня от того, чем они были до 1914 года?» — риторически спрашивал он. Эта война, привычная для человечества, которое он презирал, не была его войной, способной разразиться только тогда, когда он радикально реформирует народ согласно *своему* плану и сделает его готовым к катаклизмам, которые *он* развяжет.

Могло быть и так, что Георге боялся — оправданно, как скоро окажется, — что эта война вызовет ужасные потери не только среди буржуазии, которую он ненавидел, но также и среди той группы юношей и мальчиков, которую он так любовно растил в течение десятилетия со дня смерти Максимилиана Кронбергера. Даже если бы у них был выбор, то ни один из его друзей не отказался бы от возможности участвовать в великой аванюре. Фактически все, кто не был призван, записались как добровольцы. Действительно, был такой излишек войск со всей Германии, что многих с самого начала отправили домой. Салин, Тормален, Вольтерс, Морвиц, Хильде-

брандт, Хайер, Геллинграт и братья Берингеры, Роберт и Эрих — все они сразу же записались добровольцами, стремясь к сражениям на войне, которая, как они считали, была их войной. Несмотря на свою тревогу, Георге не пытался никого из них убедить не присоединяться к войскам. «Что касается самых молодых, — сказал он Гундольфу, — то я не буду удерживать ни одного из них, независимо от того, насколько я люблю его, от участия в войне, даже если бы я мог». (Только Вольфскель с его очень плохим зрением был вынужден остаться как нестроевой. Он жаловался Гундольфу: «Если бы вы знали, как это оскорбляет меня и какие отчаянные шаги я предпринимал, чтобы стать в строй! Все напрасно: — Ни один медицинский работник не принял меня, мои глаза абсолютно негодны».)

В сентябре Георге наконец решил уехать из Швейцарии. Он последовал в Берлин после остановки на несколько дней в Мюнхене. Следуя своему обычаю проводить осень в столице Германии, он предполагал, что может хоть в какой-то степени вернуть вещам нормальный ход. Но не было ничего нормального. Некоторые из его друзей все еще задерживались в Берлине, но многие уже были на фронте или собирались туда отправиться. К середине месяца уже были жертвы, и всякий, возможно, предвидел, что их будет еще больше. В Берлине эта неизбежность постоянно занимала ум Георге. «Все здесь хорошо, — писал он Гундольфу. — Все всё делают правильно, даже если приходится быть готовым к потерям. Его единственный брат — Георге имел в виду Эрика Берингера — лежит раненый в Кройцнахе». Более всего Георге беспокоился о Перси Готейне, который вступил в *Landsturm*, или территориальный резерв. «Что случилось с Перси? — настойчиво спрашивал он Гундольфа. — Где он теперь?» Гундольф заверил Георге, что с Перси все в порядке — он стал «впечатляющим солдатом», — но Георге никогда не прекращал тревожиться о нем и всегда хотел находиться рядом с ним. Георге нуждался в каждом и не мог ни без кого обойтись. Он сказал Гундольфу: «Кто сделает и скажет, что необходимо, когда всех вас здесь нет?»

В то время как Георге трезво размышлял о войне в первые ее несколько недель, недоверчиво относясь к ее законности и опасаясь ее затрат, его самые близкие спутники быстро пришли к убеждению, что это и было то омолаживающее очищение, которое они, и особенно он, их Учитель, предвидели. Возможность выразить это представление публично пришла в начале сентября в ответе на открытое письмо, изданное французским писателем Роменом Ролланом. 25 августа немецкие войска, направляющиеся в Париж, вошли в бельгийский университетский город Левен (Louvain), известный как «Оксфорд Бельгии», в частности из-за старины и красоты его зданий. В тот вечер, когда вторгшиеся немецкие солдаты прогуливались по улицам, застроенным прекрасными готическими и ренессансными фасадами, внезапно прозвучали выстрелы, вероятно совершенные какими-то

пьяными членами завоевательной армии. То, что произошло далее, было преступным мятежом. Очевидно, поверив, что в них стреляли снайперы, или просто используя это как предлог, немцы устроили разрушительное буйство, поджигая здания, в которых якобы находились нападавшие и казнь любого подозреваемого как *франтирера*, партизана. За три дня необузданного вандализма и террора были убиты 209 гражданских лиц, 1100 построек древнего города были превращены в груды щебня, а великолепная университетская библиотека из 230 000 книг и незаменимых рукописей была предана огню.

Через день после того как насилие закончилось, 29 августа, Роллан опубликовал письмо в «Женевском журнале», предъявив обвинение в этих действиях. Адресованное драматургу Герхардту Гауптману, оно было обращением к образованной касте Германии в целом. В частности, Роллан выражал отвращение к тому, что произошло. «Новость о разрушении Левена сделала меня больным, — написал он в своем дневнике. — Какое безумие ведет этих немцев к моральному крушению? Каждый шаг, который они делают, открывает пропасть ненависти». В своем публичном ответе, однако, он попытался сохранить позицию рациональной осмотрительности. Роллан заявил о своем давнем восхищении и уважении к культурным достижениям Германии, особо упомянув «нашего Гёте», который, как утверждал Роллан, был далеко не только строго немецким достоянием и «принадлежал всему человечеству». По этой причине он и призывал Гауптмана и всех немецких интеллектуалов осудить действия, предпринимаемые в Бельгии. Как полагал Роллан, Гауптман и его немецкие коллеги находились на перепутье, и их ответ на варварство в Левене мог указать то направление, в котором пойдут они и их страна. «Действительно ли вы — потомки Гёте, — задавал он провокационный вопрос, — или потомки Аттилы?»

Немецкий перевод письма Роллана появился во «Frankfurter Zeitung» 12 сентября, сопровождаемый ответом Гауптмана — покровительственным, недружелюбным повторением той официальной позиции, что немецкие солдаты действовали из необходимости самообороны, в ответ на хорошо организованную «партизанскую войну», — в дополнение к двум другим письмам в ответ, одно из которых было письмом Карла Вольфскеля. Утверждая, что война не была ни «желанной», ни развязанной Германией, но все же неизбежной и необходимой, Вольфскель поместил весь феномен в такой контекст, который, вероятно, озадачил Роллана и многих других читателей. «Я хочу сказать, — писал Вольфскель, — что *есть иная Германия* за этой внешней, где литературные гиганты Европы встречаются с великими мирами политики и финансов. Эта Германия говорит вам в трудный час Европы: эта нежелательная война, которая была навязана нам, тем не менее жизненно необходима, она должна была разразиться ради Герма-

нии и мира европейского человечества, ради этого мира. Мы не хотели ее, но она пришла от *Бога*. Наш поэт знал об этом. Он видел и предвещал эту войну, ее необходимость и ее добродетели задолго до того, как многие другие стали предупреждать в этом году, — до того, как начала шелестеть бумага. „Звезда согласия“ — это книга пророчеств, книга необходимости и завоеваний».

Это — замечательный документ. Вольфскель, кажется, и отвергает, и санкционирует войну одновременно, точно так же, как приравнивает ее к новой книге Георге и в то же время делает различие между страной во главе с Вильгельмом II и «иной Германией», следующей за другим вождем. И именно в готовности бороться за эту иную, тайную, Германию Вольфскель и видел справедливость войны. «Да, Ромен Роллан, — писал Вольфскель язвительно, — попытайтесь как француз присмотреться к тайне этого времени. Спросите себя с удивлением, почему мы, *духовные немцы* — *geistigen Deutschen*, — единодушно, и душой и телом принимаем участие в этой войне, этой ужасной войне». И все же, при всем своем гневe, Вольфскель не обратился к центральному вопросу, поднятому Ролланом, — к варварству действий в Левене. Его молчание по этому вопросу кажется неприкрытым пренебрежением вызову Роллана. Фактически Вольфскель завершил словами, которые не только уравнивают, хотя и туманно, значение войны с видением Георге, но также подразумевают, что события такого рода, о которых сожалел Роллан, были неизбежным, даже желательным последствием осуществления этого видения. «Поэтому мы стоим посреди смертей и руин под звездой, — писал Вольфскель, — одно *согласие* и одно *единство*. Я должен был сказать, готовы ли вы, готова ли Европа услышать, что теперь вместо нас будут говорить наши *дела*».

Месяц спустя и Гундольф присоединился к дебатам. В статье, опубликованной в той же самой газете, в которой появилось письмо Вольфскеля, очевидно вдохновленный примером Вольфскеля и в ответ на тот же самый вызов он доказывал в своем «Слове и Деле времен войны», что война была «благословением» для тех, кто способен ее вынести. Подчеркнув свою позицию, что истинное значение войны будет явным только после того, как она полностью завершится, Гундольф обратился к вопросу, который Вольфскель проигнорировал и, не упоминая ни Роллана, ни Левен, предложил такой захватывающий дух высокомерный ответ на возражения и просьбы француза:

Таким образом, нытье и истерика об уничтоженных художественных сокровищах — это усталый (если он честный) романтизм, который исходит из поверхностной, ложной концепции культуры, будто она сводится к коллекционированию и к почтительности наблюдателей. Культура — это не обладание, не наслаждение, это действие, становление, это созидание, разрушение, изменение. И Аттила больше сделал для культуры, чем все эти Шоу, Метер-

линки, д'Аннунцио и т. д. вместе взятые. Произведения искусства не возникают для того, чтобы на них глазели, чтобы их почитали, коллекционировали, чтобы за них платили, они возникают как выражение творческих сил. Они — устаревающие (и, если потребуется, преходящие) останки бессмертной деятельности, и именно эта деятельность имеет значение, а не останки. Тому, кто достаточно силен, чтобы созидать, разрешается и разрушать, и если бы наше будущее не было способно созидать, то не было бы и права обладать прошлым.

Самое отвратительное — это не высокомерное пренебрежение протестами Роллана как немощными жалобами беспомощного эстета, а, скорее, готовность Гундольфа принять и даже саркастично одобрить полное уничтожение незаменимых произведений искусства и, шире, целых городов, даже целых культур. Возможно, нам следует не удивляться, а смотреть на это как на логическое следствие тех идей, которые были сформулированы и повторялись в пределах круга все эти годы. Поскольку дело не в том, что позиция Гундольфа беспрецедентна. Напротив, она провозглашалась много раз, различными способами, и чаще всего самим Георге. Фактически, Гундольф уже изложил то же самое в своем очерке для третьего «Ежегодника», названном «Образцы» (*Vorbilder*), который написал за три года до этого, летом 1911 года. Там Гундольф заявил: «Лучше уничтожить все художественные сокровища, чем когда-либо понизить искусство до [статуса] простой декорации и простого удовольствия!» В бесчисленных беседах и в своей собственной поэзии Георге повторял различные версии того же самого чувства. Уже в «Звезде согласия» он, в частности, проклинал сохранение художественных произведений просто ради обладания ими и советовал их уничтожать, если они теряли свою жизненность. И нечего ожидать сочувствия по поводу сгоревшей библиотеки Левена от того, кто утверждал, что у книг только «калорийная» ценность.

Но одно дело — такие пренебрежительные комментарии и даже формальные высказывания, содержащиеся в разъяснительном очерке или стихотворении, и совершенно другое — та же самая позиция по отношению к самим происходящим событиям. Ранее любой, кто сомневался — или не хотел верить, — насколько серьезно Георге, Гундольф или любой другой член круга относились к тому, о чем говорили, возможно, преуменьшал такого рода замечания, считая их не более чем риторическими приукрашиваниями, преувеличенными для большего эффекта. Теперь уже ни у кого не могло быть сомнений относительно того, за что они ратовали. Если раньше это были только «слова», то теперь эти слова были подкреплены и подтверждены реальными «делами».

И при этом не могло быть никаких сомнений, что письмо Гундольфа отражало собственную позицию Георге. Хотя Гундольф написал и опубликовал статью и без предварительного ознакомления или согласия со сторо-

ны Георге, но сделал это, полагая, что высказал только то, что чувствовал Георге. Гундольф признавался Вольфскелю: «Я слегка нервничаю по поводу очерка, так как впервые говорю публично от имени Учителя, не спрашивая его». Но Гундольф полагал, что риск был минимален, так как он действовал «во благо тайной Германии». В тот день когда очерк появился, Георге отправил Гундольфу письмо, сглаживавшее любые остающиеся опасения, которые тот, возможно, имел. Георге сказал Гундольфу, что рад, насколько все это совпадает с его мнением: «Так молот падает на наковальню и так открывает себя Дух — именно это ценно и непреходяще в такой статье». Однако Георге выразил и некоторое раздражение тем, что Гундольф не обратился к нему, прежде чем послать очерк в газету, и резко приказал, чтобы впредь Гундольф «не повторял ничего подобного с этой франкфуртской газетой!». Несмотря на этот выговор, в главной реакции Георге явно успокоила Гундольфа. «Я был очень доволен вашей санкцией на мой очерк, — написал он и добавил: — я получил восторженное одобрение из САМЫХ РАЗНЫХ кварталов и добился полного расположения буржуазии». Перестав раздражаться неповиновением Гундольфа, Георге заметил, что чем больше размышляет об очерке, тем более теплым становится его отношение. «Мне нравится очерк все больше и больше, — написал он два дня спустя. — Он похож на очерк *Фихте*, только более воинственный (милитаризм «Листка!»)». Георге полагал, что этот очерк предоставил возможность формализовать «милитаризм» и сообщить ему концентрированную форму. Он сказал, что мечтает собрать в «Листке» замечания о войне, которые уже существуют. «Вольфскель, Гундольф, Валлентин, Гильдебрандт, Вольтерс могли бы опубликовать небольшой военный ежегодник, который Бонди желает издать: что вы думаете?»

В конце концов такой «военный ежегодник» так и не появился — Гундольф отговорил от этого, по крайней мере рекомендовал быть осторожными, пока исход войны не станет более понятным, — и в какой-то степени новый «Ежегодник» был и не нужен. Резонанс этих двух газетных статей был огромен. Спустя несколько дней, после того как его статья вышла, Гундольф сказал Георге: «Я получаю самые необычные письма от незнакомцев из-за моего очерка, в частности от душевнобольных, протестантов, теософов и т. п.». От более уважаемых адресатов отклик был также весьма положительным. Эрнст Глокнер, в письме к Бертраму об очерке Гундольфа, обоснованно подозревал, что для его друга нежелателен был «пассаж об уничтожении художественных произведений». «Но, — примирительно объяснял Глокнер, — когда все поставлено на карту, тогда в тысячу раз лучше, чтобы самое великое произведение искусства было повреждено, чем если бы весь *Volk* стал больным и бесплодным». Общий друг Глокнера и Бертрама, Томас Манн, также одобрительно прокомментировал

вал обсуждаемый вопрос, сказав: «Всем было очевидно, что есть важные вещи, которые следовало сказать об этой войне кому-то из вашей сферы, вашего круга, и поскольку пророку теперь разрешают оставаться молчаливым, то люди смотрят с большей надеждой на умных, компетентных учеников. Гундольф, во Франкфуртской газете, был очень хорош; несколько сентенций Вольфскеля также». Со своей стороны, Вольфскель опубликовал письмо в журнале Альберта Вервея «De Beweging», в котором решительно заявил, что эти две статьи во Франкфуртской газете воплотили их официальную коллективную политику. Указывая тем, кто не знал этого, что он принадлежал к кругу Стефана Георге, Вольфскель напомнил своим голландским читателям, что круг вел обособленное существование «более двадцати лет за спиной немецкого внешнего мира» и целомудренно оставался «вдалеке как от политики, так и от всех иных публичных действий». Тем не менее, «теперь все это в прошлом — это настолько ушло в прошлое, что мы даже начали исповедоваться в публичных газетах».

И все же для тех, кто хотел услышать голос самого Учителя, вместо того чтобы довольствоваться тем, как он был отфильтрован его последователями, всегда была возможность обратиться к стихам, а теперь и к самой важной «Звезде согласия». Не только для посвященных внутри круга Георге, но и для многих других читателей также, война подтвердила внутреннюю правду этой книги и сообщила ей даже еще большую силу. Мать Перси Готейна, которая потеряла на войне двух сыновей, писала, что за весь период войны «Звезда согласия», а также другие стихи Георге были «произведениями, которые могли дать самое великое утешение и истолковать смысл ужасных событий». Эдгар Салин взял с собой в траншеи только две книги (для чего ему сшили специальные карманы на униформе): «Гиперион» Гёльдерлина и «Звезду согласия» Георге. Действительно, книга Георге стала «военным конспектом», который молодые солдаты носили с собой в сражениях, конспектом, сообщавшим смысл тому водовороту, в который они попали, и предоставлявшим цель тем жертвам, которые они могли принести.

Георге знал, что она стала своего рода культовой книгой для сражающейся молодежи, и реагировал на это с типичной двойственностью. В предисловии, добавленном к более поздним изданиям «Звезды согласия», он чувствовал себя обязанным исправить то, что назвал «недоразумением», которое «окутывало это произведение». Дело было не в том, писал он, что поэт «хотел создать конспект почти популярного разряда... особенно для молодежи на полях сражений». Причина, объяснял он, по которой он оставил обычную практику публикации своих работ в ограниченном тираже для избранной аудитории, была чисто прагматической. Она вытекала, сказал он, из «довода, что хранение сокрытого, которое уже было выражено, было сегодня уже едва ли возможным».

И только потом, после того как книга появилась и разразилась война, события «сделали умы даже более широких слоев общества восприимчивыми к книге, которая в течение многих лет могла оставаться тайной книгой». Таким образом, «недоразумение», которое Георге выражал желание развеять, не было на самом деле широко распространенным мнением, что существовала глубокая связь между его книгой и войной; фактически, он почти достиг подтверждения этому. Вместо этого Георге, кажется, только хотел удостовериться, что никто не думал, что он написал книгу как прямой ответ на актуальные события. Это было бы невыносимым представлением для Георге, так как можно было предположить, что это он пассивно реагировал на мир, а не наоборот. И в изложении этого вопроса самим Георге, война — была это «его» война или не была — была просто запоздалым эхом или подтверждением убеждений, которых он держался все время.

Затем, в конце 1913 года, случилось нечто интересное. В канун нового 1914 года «*Neue Zürcher Zeitung*» опубликовала длинный обзорный очерк, посвященный последней книге Георге, озаглавленный «Германия и „Звезда согласия“». Автор обзора, литературовед по имени Йоханнес Ноль, назвал публикацию книги, что поразительно, «национальным немецким событием». Как и другие, Ноль проводил явную параллель между книгой и войной, которая, как предполагалось, закончится к тому времени, и говорил: «Ни одна из враждующих стран не испытывала, как Германия, такой великой духовной прелюдии к огромной драме, которая теперь заставляет мир трепетать. „Звезда согласия“ Стефана Георге — эта великая прелюдия, мистерия, разыгрываемая перед темной, торжественной ночью этих времен». Хотя, как мы видели, и не было ничего необычного в том, чтобы устанавливать такую связь между книгой и войной, примечательной, даже беспрецедентной была та степень, до которой Ноль отождествлял Георге с судьбой своей страны. «Единство между поэтом и людьми, — писал Ноль, — отсутствие которого справедливо признано основным злом настоящего времени, это высшее единство, оставляющее свою печать на единстве всех областей жизни, достигнуто и изображено в „Звезде согласия“ до такой степени, о какой ранее и не мечтали». Ноль понял, это было нечто гораздо большее, чем обычная поэтическая книга. Она была, писал он, «первым великим монументом нового культурного единства и таким образом гарантией победы немецкого духа, независимо от того, каким окажется финал большинства сражений». «Звезда согласия», иными словами, представляла собой не меньше чем «фундамент нового немецкого строя, провозглашенного поэтом».

Никто, даже самые смелые последователи Георге, никогда не выдвигали такое требование ранее, по крайней мере, столь открыто. Исходящее от совершенно постороннего, оно оказывало еще большее влияние. Ноль

представил Георге как духовный оплот Германии, даже более того: как оплот нового способа существования, не только для маленького кружка, но и для всех соотечественников, принимающих его как свой собственный. Все было так, словно одним взмахом руки самые грандиозные замыслы Георге относительно власти и лидерства были одобрены и даже, насколько возможно, преувеличены. И действительно, после этого для все более и более возрастающего числа читателей уникальная версия тайной Германии Георге, под руководством всесильного *фюрера*, суррогатное государство, которое первоначально формировалось на основе отказа от всего, что все считали немецким, станет для них единственным и аутентичным. Хотя эта идея и подразумевалась во многих очерках «Листка» и «Ежегодника», статья Ноля впервые озаменовала тот факт, что кто-то за пределами круга подтвердил то, во что внутри его верили, но не осмеливались сказать: эта «тайная Германия Георге» — вместе со всем, что она подразумевала, — и была реальной, единственной истинной Германией. Все больше и больше Георге рассматривался не как человек, занимающийся частным делом, но как воплощение культурных идеалов и политической модели, которыми вся Германия должна была — и могла быть — охвачена.

Хотя и немного озадаченный ее источником, самой статьей Георге был доволен. В январе 1915 года он послал ее копию Вольтерсу, указывая, что считал «необычным», что «постороннему» удалось написать такое. Вольтерс согласился: «Это, конечно, странно для постороннего», — но именно по этой причине чувствовал в этом обнадеживающий знак. Георге дал прочесть статью также и Глокнеру, сказав, что находит ее «хорошей». Георге также рассказал ему, как впервые на нее натолкнулся. «Он получил ее в Мюнхене, — писал Глокнер в своем дневнике. — Утром, когда он собирался одеваться и стоял в комнате голый, под дверь пропихнули газету. Он сказал, что был настолько увлечен ее содержанием, что в таком состоянии, голый, ее и прочитал. „Если бы только автор об этом узнал!“ — сказал он».

Это вызывает пикантный образ, отчасти смущающий, но все же любопытный: человек, который, как предполагал Ноль, был неофициальным властителем его народа, пропагандистом «греческого чуда», который стремился воскресить ценность добродетелей дисциплинированного и неприкрашенного мужского тела, стоял в том, что Глокнер эвфемистически назвал его «последним достоинством», столь поглощенный газетной статьей, открыто подтверждающей его программу, а косвенным образом и его самого, что даже перестал одеваться. Не трудно вообразить, какое удовлетворение, даже волнение этот момент должен был принести Георге. Но предстояло пройти еще длинный путь — и уладить вопрос с войной, — прежде чем эта программа могла быть полностью осуществлена.

Глава тридцать четвертая

ВЫЖИВАНИЕ

К началу 1915 года западный фронт растянул по всей Европе свою зубчатую линию, которая останется, фактически, постоянной в течение следующих двух лет. Простираясь почти на пятьсот миль от Северного моря до Швейцарии, смертельная зона была ограничена длинной, но узкой линией, насчитывавшей не более десяти тысяч ярдов в ширину, в соответствии с диапазоном досягаемости для самой тяжелой артиллерии. С обеих сторон города и сельская местность выглядела так же, как и в мирное время, и только неизменное крещендо разрывающихся снарядов, по мере того как приближался фронт, указывало, что привычный ход вещей будет нарушен.

Сам фронт, однако, представлял собой адский лунный ландшафт: незащищенная земля была миллионы раз перевернута раковинами от взрывов, мили траншей прорвали глубокие раны на земле, на испещренной кратерами поверхности остались только почерневшие пни от деревьев, без ветвей и листьев. Многие города, к несчастью оказавшиеся на линии фронта, были просто стерты с лица земли — от них нередко оставалось лишь несколько обломков кирпича или камня как напоминание о том, что когда-то эти города существовали. В феврале 1915 года Фридрих Вольтерс, служивший в эльзасской крепости города Мец, описывал Георге сцену опустошения, которая могла повторяться и выше, и ниже по всей линии фронта. «Война гораздо более смертоносна, чем там, дома, думают люди, — писал Вольтерс, теперь гораздо более умеренным тоном. — Я ничего не буду го-

ворить о неизбежных смертях людей, но то, как выглядит земля вокруг, — это ужасно. Деревни и малые города превращены в руины, нет ни одного дома, который все еще стоял бы, ни единого живого существа в них, поля необработаны». Это была ужасная картина, но Вольтерс добавил: «Товарищи говорят, что в Бельгии все еще хуже». В письме к Гундольфу, позже в том же году, Вольтерс рассказывал: «Я думал, что обширная, сложная система траншей, вырытых иногда более чем на тридцать футов в землю, станет постоянным элементом пейзажа, омерзительным завещанием веку, который сделал их необходимыми».

Но именно ужасающее уничтожение человеческих жизней в масштабах, никогда не замечаемых прежде, и оставило после себя отпечаток, который не смогло стереть даже время. К концу 1914 года число убитых только среди главных воюющих сторон было ошеломляющим: французы потеряли 306 000 за первые пять месяцев сражений, Германия — 241 000. Общее число убитых, включая британские и бельгийские потери, приблизилось к трем четвертям миллиона к декабрю. В неудавшемся немецком наступлении на Ипре, проходившем в середине октября, 50 000 немецких солдат погибли уже через две недели, и половина из них были добровольцами из университетских студентов моложе двадцати двух лет.

Когда стала доходить страшная правда о войне, энтузиазм, который все испытывали в ее начале, постепенно уступил место мрачному фатализму. Эрнст Роберт Куртиус, который был отправлен в Страсбург, писал Гундольфу в конце ноября, что благодарен за то, что тот прислал ему свою газетную статью «Слово и дело во время войны». Куртиус уверял Гундольфа: «Вы взяли слова прямо из моих уст. Но теперь, когда я увидел все это на самом деле, я больше не могу смотреть на войну как на благословение, как смотрел на нее перед отъездом. Что ужасно в современной войне — так это то, что человеческие существа сражаются не против человеческих существ, но против отвратительных анонимных машин. Мины, автоматы, огонь артиллерии — это анонимный ужас, от которого должно рухнуть любое идеалистическое восприятие войны».

Это было совсем не то, что Гундольф хотел услышать. Находившийся в Гейдельберге, не тронутый механическим кулаком современной войны, он все еще цеплялся за представление, что война была облагораживающей, героической, по крайней мере целительной. «То, что вы говорите о безличности войны и против машин, — отвечал Гундольф, — представляется мне основанным на смешении романтического с идеалистическим (духовным). Значение этой космической войны заключается в ее роковом характере, точнее даже в ее невероятной свирепости, беспощадно уничтожающей всю романтическую ложь цивилизации, человечества и даже традиции». Гундольфу не приходило в голову, что само прославление войны было одной из романтических традиций, которые также не выйдут невредимыми из

происходившей бессмысленной резни. «В силу той же самой причины, что война настолько ужасна в вашем представлении, — продолжал он, — я приветствую ее как *спасение*, не потому что рисую прекрасные поля сражений в своем воображении — я знаю, что она невероятно монотонна и безлична, а то, что я ее не видел, вовсе не заставляет меня ее приукрашивать, — хорошо то, что война уничтожает все, что было атмосферным, романтическим и прекраснодушным». Слепое высокомерие Гундольфа, его преднамеренное непонимание отвратительных страданий и бессмысленных потерь, о которых Куртиус свидетельствовал на собственном опыте, — все это выходило за рамки допустимого. Они не общались весь следующий год.

Гундольф был, конечно, не одинок в своем прославлении войны. Но как Куртиус и многие другие уже узнали, «прекраснодушные» будет самой малой из ее возрастающих жертв. Несколько других друзей Георге, которые в отличие от Гундольфа испытали, что такое война, на своем опыте, были гораздо менее оптимистичны относительно ее воздействия или ее исхода. «Чем дольше продлится война, — писал Роберт Берингер Георге в октябре, — тем больше будет доказательств, что Гундольф неправ». Скоро, однако, даже Гундольф начал колебаться. Первый главный удар пришел со смертью двадцатилетнего Генриха Фридемана, который был приближен к Георге через чтение «Ежегодников», а затем представлен Учителю самим Гундольфом. После получения докторской степени в 1911 году у Пауля Наторпа в Марбурге Фридеман обратился к долговременной работе над книгой о Платоне, вдохновленной его новыми наставниками, и намеренно написал ее в их стиле. Когда Георге получил рукопись, то пришел в восторг. Он сказал Глокнеру, что «был полностью увлечен ее первым чтением — он прочитал книгу за две ночи». Гильдебрандту Георге рассказывал, что «прочитал ее с большим волнением, чем роман о Шерлоке Холмсе». Когда кто-то неосторожно предположил, что язык Фридемана слишком схож с языком Вольтера — сравнение, которое ни для кого не было лестным, — Георге прореагировал жестко: «Если я получаю рукопись вечером и затем читаю до четырех утра без перерыва, то это действительно чего-то стоит». Георге всегда говорил о книге Фридемана с чрезвычайными похвалами, даже сравнивал ее с «Рождением трагедии» Ницше, и до конца оставался стойко убежденным, несмотря на все доказательства обратного, что «все новые исследования о Платоне были написаны под влиянием этой книги». 20 февраля 1915 года, спустя всего две недели после того как Фридеман получил экземпляр своей недавно опубликованной книги прямо на поле битвы — это было единственное прозаическое произведение, когда-либо изданное отдельно Георгом Бонди с печатью курительницы «Листка за искусство», — и за три месяца до его двадцатисемилетия, Генрих Фридеман был убит в сражении против рос-

сийских сил на восточном фронте во время второй битвы у Мазурских озер. Его книга «Образ Платона» имела посвящение «Фридриху Гундольфу: *Фюреру и Другу*».

Это был серьезный удар. Затем последовали другие дурные известия. Готейн потерял одного сына, затем второго; в июне Перси также получил серьезное ранение в голову, от которого медленно выздоравливал, лишь постепенно возвращая свою речь и память. К осени 1915 года страсть Гундольфа к войне резко охладела перед зрелищем беспощадного кровопролития. Но он еще не был готов признать поражение. «Здесь, как, вероятно, и во всей Германии, — писал он Георге в октябре, — есть какое-то мрачное предчувствие, последовавшее за неделями триумфа в августе и начала сентября, — но никакого уныния или даже страха перед нападением французов». Гундольф, будучи нехарактерно бессвязным, имел в виду яростное наступление союзников, предпринятое той осенью в провинциях Артуа и Шампани. В обоих случаях это была резня огромных масштабов. «Те подробности, что доходят до слуха, превышают все ужасы более ранних сражений», — признавал он. Этого было достаточно, чтобы любого сделать мрачным. Но тогда Гундольф сделал поразительное открытие — поразительное не столько тем, что он сообщал Георге, сколько, скорее, своей реакцией на сообщение. «Мой самый первый настоящий друг с шести до десяти лет, — писал Гундольф, — барон фон Гранси, который был тогда — с тех пор я не видел его и ничего не слышал о нем — красивый, нежный прекрасный мальчик, убит в бою. Только что я прочитал уведомление о его смерти, — оно оставило меня с невыразимым чувством скорби». Только тот, кто упивался славой войны, мог счесть естественную реакцию горя перед лицом смерти непостижимой.

Когда списки мертвых и раненых стали более длинными, сам Георге отступил на позиции немой осторожности. За некоторыми важными исключениями, такими как Гундольф и Вольфскель, почти все, кого он знал, все, кого ценил, были на полях сражений, постоянно подвергая себя риску обезображивания или смерти. Ритуалы, которые стали центральными компонентами его жизни — общие собрания и чтения, поиск и преследование новых спутников и непрерывные путешествия по всей Германии, чтобы уделить внимание старым, — все они оказались фактически невозможными. Более того, все амбициозные планы публикаций круга — новый номер «Ежегодника», продолжение «Листка за искусство», перевод Шекспира и другие замыслы — нужно было приостановить без уверенности, что когда-то к ним можно будет вернуться вновь. Но самые дорогие порождения трудов Георге, его духовные сыновья и возлюбленные, страшной вереницей уходили навсегда.

Война, которая, как все были уверены, будет завершена в течение месяцев, длилась уже год и не демонстрировала признаков завершения в бли-

жайшее время. Даже Георге первоначально думал, что все будет закончено до лета 1915 года. Когда стало очевидно, что он неправ, что война становится лишь еще более смертоносной, Георге погрузился в еще более глубокое молчание. Однако можно представить, через что он должен был пройти. «Я не услышал от Георге ни одного слова», — писал Глокнер Бертраму в мае 1915 года, полагая, что знал причину. «Должно быть, ужасно для него, — размышлял он, — видеть, как его наиболее важная работа — воспитание молодого поколения — ставится войной под сомнение». Это поколение не просто подвергалось сомнению — оно систематически стиралось с лица земли.

Последствия, которые война, как оказалось, имела для Георге, не ограничивались только психологическим воздействием. В конце июля 1915 года Георге настолько тяжело заболел, что его почти на месяц пришлось положить в клинику Гейдельберга. Это была первая из нескольких изнурительных болезней, которые нанесут удар Георге в следующие несколько лет. Хотя записей о специфическом характере болезни не существуют, она, кажется, была вызвана инфекцией мочевых путей или мочевого пузыря. Эрнст Глокнер не знал о болезни Георге, но когда узнал, то не на шутку встревожился как по поводу личного благополучия Георге, так и по поводу того, что могла бы означать его утрата, если таковой суждено случиться. «Георге серьезно болен? — с тревогой спрашивал он Бертрама. — Лишь бы не случилось ничего такого, что забрало бы его от нас. Это было бы непоправимо. Если теперь мы и нуждаемся в ком-то для нашего будущего, так это в нем. Я полагаю, что единственная возможность для более глубокого объединения лучших людей заключается в нем. Он — центр Германии». Глокнер чувствовал, что вся страна нуждалась в Георге в течение, по крайней мере, еще десяти лет. «Он — единственный, кто может дать опору. Если нам этого будет недоставать — все кончено; судьба нашей Германии зависит от него».

В конце концов Георге постепенно выздоровел. В декабре он все еще чувствовал себя нездоровым, жаловался на неспособность что-либо делать; вялотекущая болезнь надолго оставила его поддающимся подобным жалобам. Хотя никакая точная медицинская информация о состоянии Георге не сохранилась, повторные симптомы, вместе со всем тем, что мы знаем или можем предположить о его привычках, решительно указывают на хроническую гонорею.

Независимо от точной причины несчастий сам Георге, казалось, все более и более убеждался, что его личная судьба, даже его физическое существование были каким-то непостижимым образом связаны с благосостоянием его страны. «Я — барометр для Германии, — сказал он в сентябре 1916 года. «Через мою болезнь и страдание я узнаю то, что происходит с телом Германии». Усиливало эту веру растущее число людей как внутри,

так и снаружи его круга, которые думали то же самое. В феврале 1916 года, когда Георге все еще чувствовал недомогание после болезни, Глокнер заметил однажды вечером: «Он выглядит нездоровым, усталым, сокрушенным. Лишь бы только он остался с нами! Он — самый значительный человек для послевоенного периода». В то же самое время Георге рассказывал Глокнеру, что получил письмо от солдата с поля битвы, который писал: «Теперь мы боремся за Германию, но после войны — за вас». Письмо произвело на Георге глубокое впечатление и дало ему, как сообщал Глокнер, «великую надежду на будущее». Однако подобные выражения веры в его трансцендентное значение иногда, казалось, ошеломяли даже самого Георге. В одной из их бесед в тот период Глокнер зарегистрировал «момент, в который [Георге] был поражен своим собственным существованием как чем-то величественным и чуждым ему самому». Это было, делал вывод Глокнер, «наивное изумление гения перед самим собой». «Да, это существует, Эрнст», — был комментарий Георге. Словно Георге говорил, что именно потому, что даже он время от времени поражается своему собственному превосходству, это не значит, что он в нем сомневался.

Не сомневались и многие другие. В мае 1916 года, в разгар жуткой битвы под Верденом, Йозеф Лигле, который станет военнопленным через несколько месяцев, спросил Георге, рассчитывая, что тот знает ответ: «Не наступит ли вскоре какой-нибудь мир? Мы здесь все меньше и меньше видим, что же может закончить войну». Позже в том же году, во время даже еще более смертоносной кампании на Сомме, Ганс Браш отправил жалобное обращение: «Когда же будет мир, о Учитель?» Георге, конечно, не знал, когда вернется мир или при каких условиях. На тот случай, если все обернется неблагоприятно для Германии, он все же начал дистанцироваться от идеи, что немецкая победа была неизбежна или даже желательна, что гораздо более великие задачи ждут его и его последователей после ее завершения. В письме Вольтерсу, которое Гундольф написал по распоряжению Георге в апреле, сообщалось: «Относительно войны [Георге] теперь часто имеет возможность обращаться к своему первоначальному мнению, что в целом в ней не может быть ничего „блестящего“, и поэтому „блестящий“ мир или „блестящая“ победа не рассматриваются». Война, продолжал Гундольф, все еще воспроизводя слова Георге, «является, скорее, прелюдией к более поздним и более важным происшествиям. Самое замечательное заключается в том, что события уже вырвались из-под узды всех возниц и теперь несутся с роковым грохотом своим собственным путем». В июле, проводя лето опять с Ландманами в Швейцарии, Георге сходным образом заявлял, что «независимо от победы или поражения Германии, в обоих случаях, неуничтожимый дух может победить или проиграть». Он также повторил свой отказ от воззрений Вольтерса, который «рассматри-

вает победу Духовной империи в зависимости от победы Германии как таковой». Даже после того, как он многие годы настаивал на этом различии, Георге все еще имел необходимость напомнить своим последователям, что эти две сферы не были тождественны и что упадок одной не обязательно предвещает неуспех другой. На самом деле Георге был убежден, что как раз обратное является истиной.

Это не означало, что он был полностью безразличен к судьбе официальной Германии или что видел какую-то иную нацию в большей мере заслуживающую триумфа, военного или какого-либо иного. Напротив, у него были весьма определенные представления о соответствующих достоинствах различных культур и рас в мире. Георге придерживался взглядов, которые сегодня большинство расценит как расистские, но его категории были широкими и, как обычно, уникальными. Вообще говоря, Георге расценивал народы, которые были сформированы христианством и которые впитали в себя традиции Греции и Рима, как принадлежащие единой, хотя и очень разнообразной культурной семье, — он иногда называл ее «белой расой» (*die weisse Art*). Все другие — исламские, индийские и дальневосточные — культуры были настолько чуждыми, что Георге считал их непознанными, непостижимыми и, что особенно важно, не способными ассимилироваться в ту культуру, которую он признавал своей собственной. Они были не обязательно низшими, просто несовместимыми. Существовало, полагал он, абсолютное, непреодолимое различие между Европой и всем остальным миром. Когда в 1927 году японский поклонник посетил Георге, тот принял его, но дал понять, что их отношения не могут развиваться далее. «Мы не зашли еще так далеко, как католическая церковь, — сказал Георге саркастически Эдит Ландман, — та распространяет свое благословение на желтые и черные народы, а недавно рукоположила в сан китайского епископа». Такое нарушение границ было для него невообразимо. Китайцы не имели ничего общего с церковью и с любым другим европейским институтом, поскольку, как загадочно сказал Георге по иному поводу, «они мыслят как желтые». Независимо от того, что под этим имелось в виду, было очевидно, что Азию в целом он представлял не только как непостижимое Иное, но и как потенциальную угрозу. Соответственно, в 1916 году Георге предсказывал «ужасные битвы, которые будут вестись между белой и желтой расой в следующие пятьдесят лет». Лишь частично было шуткой то, как Георге видел свои действия, если эти сражения произойдут еще при его жизни. «Если желтые обезьяны придут, — поклялся он, — то я сам возьмусь за винтовку».

И все же «желтая опасность» была сравнительно абстрактной угрозой. Более непосредственный и, как показала недавняя смерть Генриха Фридемана на восточном фронте, весьма реальный источник опасности лежал ближе к дому — Россия. Для Георге русские были истинным и действи-

тельно опасным для жизни противником, и он ненавидел их с такой страстью, какой не выражал ни к какому другому народу. (Хотя то, что он был готов бросить всех неевропейцев в один и тот же горшок, очевидно из его фразы: «Азия начинается с Александер-плац в Берлине».) Цитируя, в частности, злодеяния, совершенные Иваном Грозным, который, по его мнению, установил непревзойденный стандарт «абсолютной дикости», Георге осуждал то, что называл «жестокостью русских». «Это было нечто беспрецедентное, не похожее на любую жестокость европейца, эта жестокость не имела эквивалентов и была неприемлемой для человечества». Много раз Георге заявлял, что русские лишены любых заслуживающих искупления качеств, настаивая, что «их разновидность жестокости является преступлением против самой жизни». «Это был центральный пункт его доктрины», — сделала запись его высказывания Эдит Ландман, — который следует понимать как главное отличие русского характера от европейского». Ничто из того, что касается русских, не избежало его обвинений. Если Георге не осуждал их варварство и жестокость, то обвинял в том, что они слабые и ни на что не способные. «Как бесплодны взгляды русских — говорил он, — так бесплодны и их дела». Несколько лет спустя, в 1922 году, Георге более ясно высказался о том, что подразумевал под бесплодием русских, когда вместе с Бертольдом Валлентином погрузился в размышления о них: «Русские — по своей природе пассивный, воспринимающий народ. Он не может произвести самостоятельно новую форму человечества. Он испытывает недостаток „фаллического элемента“». Для Георге эти черты были, фактически, двумя сторонами одной и той же медали: явная пассивность русских, их желание изобилия просто было аналогом их предполагаемого побуждения лишить жизни все, что находится вне их самих. Георге чувствовал те же самые качества и в русской литературе, с ее акцентом на эмоциональном смятении и с ее интроспекцией, которую он отвергал как не приводящую ни к чему, кроме «поклонения гнили», назвав в другом случае это поклонение «культом самоуничтожения». «У меня нет к этому никакого сочувствия, — заявлял он. — Это лишь заставляет меня чувствовать себя больным».

По мере того как война продвигалась вперед — или, скорее, отказывалась продвигаться вперед, — не только русская литература заставляла Георге чувствовать себя больным. Несмотря на ужасающие потери, понесенные с обеих сторон, — в общей сложности примерно 700 000 французских и немецких солдат были убиты во время десятимесячного сражения под Верденом, которое закончилось в декабре 1916 года, и почти такое же число немецких и английских войск погибло за половину этого времени на Сомме в том же самом году, — фронт почти остановился. Жизни очень многих людей были проданы всего за несколько миль ничего не стоящего ландшафта, а часто и без всякой выгоды вовсе. Все были ошеломлены по-

бою. Но Германия столкнулась с реальной перспективой исчезновения пригодных для военной службы молодых людей призывного возраста и была вынуждена начать облегчать свои критерии призыва. Пожилые люди, пропустившие первые два года войны, вновь переучивались. В конце октября Фридрих Гундольф, теперь тридцати шести лет, был повторно классифицирован как пригодный для службы, призван и отправлен для начальной подготовки на запад.

Георге, обычно сдержанный в своих чувствах, впал в почти паническое отчаяние. «Дитя мое, — писал он, — я не могу позволить вам быть фактически подверженным самой крайней опасности — что я буду делать без ВАС?» Пытаясь преуменьшить свои страхи легкомыслием, Георге назвал «возможно, хорошим предзнаменованием» то, что Гундольф в конце концов будет призван: «Я должен был бы сильно ошибиться, если бы все было не так, как я всегда предсказывал: как только вы окажетесь на войне, все сразу же должно будет закончиться — по сверхъестественным причинам». Ясно одно — на самом деле, все было очень серьезно.

Георге столкнулся с мучительным затруднением. Он не мог вынести мысль, что Гундольф будет перемолот, как и многие другие, в бессмысленной мясорубке бесцельной войны. Слишком многие были уже принесены в жертву, но Гундольф был Гундольфом. Он был просто слишком бесценным, слишком незаменимым; если кого-то и следовало сохранить, так это его. И все же Георге сознательно воздерживался от того, чтобы кому-либо препятствовать отправляться на войну, и теперь ему было бы неловко вмешиваться. Георге не был непоследовательным — он не продемонстрировал склонности отклониться от курса, которым всегда следовал. К счастью для Гундольфа были и другие, включая Альфреда Вебера и Эберхарда Готейна, кто также заботился о его благополучии и пытался помешать ему отправиться на настоящее сражение. Гундольф даже сам обращался в военное Министерство за переводом, который позволил бы ему, как он выразился в письме Куртиусу, «более выгодно использовать интеллектуальные способности». До сих пор, однако, все усилия отозвать его из действительной военной службы не привели ни к каким положительным результатам.

Сначала, без сомнения, помнящий о его более ранних панегириках войне Гундольф казался жизнерадостным, даже веселым относительно своего нового положения, многословно уверяя Георге, что «нет никаких причин для какого-либо беспокойства». Сообщая в письме о своей должности инструктора в Сент-Авольде в Лотарингии, Гундольф даже стремился изобразить свой опыт как положительный в области образования, познакомивший его с тем сегментом общества, с которым он, в своем замкнутом существовании в Гейдельберге, никогда не сталкивался столь тесно.

«Жизнь вместе с моими товарищами — реальное обогащение моего восприятия *Volk*, — рассказывал он Георге, явно не слыша снисходительности в собственных словах. — Почти все они — безыскусные и простые крестьяне и чернорабочие с естественным чувством внутренней благопристойности и приличия. Нет сомнений, что от настоящего крестьянина можно научиться большему, чем от дюжины профессоров».

Через несколько недель Гундольф узнал явно достаточно. «К моим наблюдениям относительно *Volk* я должен добавить, что часто они не очень храбры в нравственном отношении и озабочены едой больше, чем такие люди, как мы, могут себе вообразить. [...] Метаболизм вообще играет огромную роль в жизни и воображении обычного солдата». Это был тактичный способ изложить ситуацию, но смысл ясен. Гундольф, должно быть, знал старую пословицу, что армия марширует своим желудком. На что он явно не рассчитывал, так это на то, чтобы увидеть до конца работу этого «желудка».

Принимая во внимание, что «товарищи» Гундольфа были грубыми и дурно пахнущими, война представляла подлинную угрозу самому его длительному благополучию. В середине декабря 1916 года его перевели прямо на фронт сапером, обязанным наблюдать за рытьем траншей. Гундольф описывал путешествие «под холодным утренним зимним солнцем» к линии фронта, проходящей через «разрушенные деревни, бесконечные равнины», а когда он достиг цели, то услышал «непрерывный гром Вердена». Гундольфу внушали страх «постоянные обстрелы близости, которые заставляли землю дрожать», и он сравнивал зрелище в целом со «сновидением, которое еще не постигли ум и воображение». Но это было не сновидение. Это был кошмар. Норберт фон Хеллинграт, исследователь Гёльдерлина, был призван добровольцем в качестве артиллерийского наблюдателя и также служил на линии фронта в Вердене. В тот же день, когда Гундольф туда прибыл, 14 декабря, Хеллинграт и его отделение были поражены прямым попаданием вражеского снаряда. От тела Хеллинграта осталось так немного, что окончательное подтверждение его смерти было отсрочено почти на два месяца. То, что могло быть идентифицировано в качестве его останков, захоронили в братской могиле около форта Дюмон. В стихотворении, позже написанном в его память, Георге сравнил смерть Хеллинграта со смертью последнего византийского императора: согласно легенде, все, что можно было найти от Константина XII после его последнего сражения против турок, — это пряжки от его туфель.

В конце декабря, проведя неполные две недели в замерзших, грязных траншеях, Гундольф решил, что, наконец, может сообщить хорошие новости. «Я получаю намеки из Берлина, что могу, вероятно, быть освобожден, — рассказывал он Георге. — Заинтересованные люди есть и в Ми-

нистерстве культуры и в Министерстве иностранных дел». Несмотря на эти ободряющие сигналы, никакого действительного движения, чтобы убрать его с фронта, все еще не было. В начале нового года Гундольф получил удручающую телеграмму, что его просьба о переводе отклонена. Его положение становилось ужасным. «Я теперь застрял в массовом загоне, лишенный пространства и времени, без сна и света, без хотя бы наполовину осмысленной работы и без всякой реальной отсрочки, — прискоробно жаловался он Куртиусу. — Каждый день состоял из отвратительного ерзанья и шума, иногда прерываемого оцепенелой дремотой и каторжными работами в абсолютно неопишуемой грязи. Я не буду комментировать отсутствие всякого стимула помимо дружеского участия в пререканиях и грязных шуток». Тоскующий, истощенный и постоянно грязный, Гундольф приходил в бешенство от невозможности выйти из ситуации, которую считал все более и более невыносимой и, хотя он этого не говорил, ужасающей. Все было настолько плохо, что он попросил, чтобы Куртиус поговорил от его имени с неким Паулем Клеменом, преподавателем истории искусств в Бонне, у которого были связи, доходившие до кайзера. «Просить о покровителях мучительно для меня, — признавался Гундольф, — но мое страдание больше, чем любые усилия, которые они могут приложить». Теперь, очевидно, ушла ветренная бравада самодовольного воина, сидевшего за письменным столом, который говорил, что приветствует смерть и разрушение как необходимое очищение. Вместо нее появился вполне обычный и вполне понятный страх. «Мое страдание не помогает Родине даже в самом малом, наоборот, — разъяснял он Куртиусу, — но мне приносит огромный вред». Гундольф прекрасно знал, что просит об особом обращении, что его поведение может показаться лицемерным, постыдным, даже трусливым. Но он был в отчаянии.

Как раз в то самое время, когда надежды Гундольфа на спасение начали исчезать, в феврале 1917 года внезапно пришел успех. Его просьбы наконец достигли сочувствующего уха. Он был быстро переведен в бюро генерала Ганса фон Хефтена, который наблюдал за военным отделом Министерства иностранных дел в Берлине. Там обязанности Гундольфа были приятно легкими — на него была возложена обязанность следить за зарубежной прессой и периодически суммировать свои находки для начальников.

Когда Георге узнал о таком развитии событий, то, вместо того чтобы выразить облегчение, отправил Гундольфу ледяную ноту. «*Карл* говорил что-то о том, что вы изменили свою должность. Почему-то я ничего не слышал об этом. Все это, в конце концов, касается и меня». Неожиданно быстрое перемещение Гундольфа произошло, как оказалось, не благодаря вмешательству Вебера, Готейна или даже Куртиуса, но благодаря совершенно иному кругу лиц. Сабина Лепсиус, которая, несмотря на отчужде-

ние от Георге, все еще поддерживала контакты с Гундольфом, также находилась на дружеской ноге с Вальтером Ратенау. Влиятельный промышленник с политическими устремлениями, Ратенау занимал важный пост в правительстве как глава департамента военного сырья в военном Министерстве с августа 1914 до весны 1915 года. И именно Ратенау с его длительными тесными связями с правящими властями и удалось обеспечить освобождение Гундольфа.

Для Георге, который презирал Ратенау, это было невыносимым нарушением протокола, нарушением его собственной сферы неправомочным агентом. Он был рассержен, что нечто столь важное для него, как судьба Гундольфа, решалось без его ведома и не под его надзором. Если Гундольф настолько стремился убежать с фронта, что обращался к любым средствам, чтобы добиться этого, то должен был сказать об этом заранее своему Учителю. «Безусловно, — писал Георге, — я целиком за то, чтобы все задействовать в таком случае». Но были границы. «Вероятно, это сработало бы через университет (я сам говорил с Готейном по этому поводу), и это было бы лучше. Считаю, тот факт, что с Л. и Рат. все получилось, — это простое совпадение». Очевидно, Георге не мог даже заставить себя написать полностью имена Лепсиус и Ратенау. Гундольф должен был ждать помощи со стороны одобренного адресата. Позволив Ратенау действовать в качестве своего спасителя, Гундольф сделал себя, а в связи с этим и Георге обязанными перед тем, кто принадлежал миру, который они всегда расценивали как враждебный. Георге попытался изложить это так ясно, как только мог:

Короче, вот что я хочу сказать: думаю, что нужно быть готовым к тому, что в эти времена будут трудные ситуации, в которых достойнее было бы оставаться, чем принимать ЛЮБУЮ предлагаемую помощь — и все это дело с Рат. граничит с этим, — или могут возникнуть обстоятельства в эти времена, при которых КАЖДЫЙ из НАС должен спросить себя, является ли наша частная жизнь все еще достойной + приемлемой в ситуации, в которой нам ничто не поможет, кроме нашего собственного решения положить этому конец. Верно, что мы никогда не были проповедниками стоических принципов, но в ваших словах я прочел нечто похожее на желание быть тем, кто плывет по волнам и пытается все попробовать, — что было бы явным противоречием той жизни, какую мы до сих пор вели + и которая была истинной.

Как и всегда, Георге боялся передавать слишком многое написанному на бумаге и быть более откровенным, чем это было абсолютно необходимо. Но он сказал Гундольфу настолько ясно, насколько было возможно, что сохранение собственной жизни не было — или не должно было быть — высшим приоритетом, если это означало поставить под угрозу

идеалы, которым ранее эта жизнь следовала. На самом деле, Георге, казалось, имел в виду, что если альтернатива заключалась между смертью и предательством этих идеалов, то было ясно, что следовало выбрать. Дело не в том, что Гундольф, должно быть, был удивлен таким заключением. В конце концов, в «Звезде согласия», которая была официальным кодексом поведения круга, Георге советовал своим ученикам, что, когда в той или иной ситуации нет никакого выхода, они должны «научиться у героев падать на свой собственный меч». Но тот факт, что он говорил о Гундольфе, своем самом преданном и самоотверженном апостоле, своем самом дорогим и самым талантливым последователем, сообщал обвинениям Георге еще большую силу. Он как будто говорил, что был готов, в случае необходимости, принести Гундольфа в жертву, которую сам Гундольф отказался исполнить.

Если Гундольф и был расстроен очевидной готовностью Георге скорее отказаться от него, чем принять покровительство от кого-то, считавшегося недостойным, то не показывал этого. Немного позже он предоставил Георге еще более драматический повод быть разгневанным. С тех пор как он восстановил расположение Георге в 1904 году, Гундольф свободно пользовался относительно толерантной политикой Георге в связи с «отношением любимого ученика к противоположному полу». При обаянии Гундольфа, его приятной внешности и ребяческом энтузиазме ему никогда не приходилось жаловаться на нехватку женского общества. Как дипломатично выразилась Сабина Лепсиус, у Гундольфа «едва ли проходит хоть один день без поиска одобрения со стороны умных и очаровательных женщин». Хотя Георге и не был доволен договоренностью, но прагматично распространял ту же самую снисходительность и на других членов своего круга. В 1911 году, например, Гильдебрандт засвидетельствовал беседу между Георге и Вольтерсом относительно «нежного отношения последнего к женщинам». Учитель был обеспокоен, что на той стадии развития круга — это было во время публикации «Ежегодников» — увлечение Вольтерса женщинами могло вызвать «беспорядки в деятельности государства». И все же Георге понял, что должен был продемонстрировать некоторую мягкость, поскольку, как он признавал, «если будешь настаивать на своих правилах, то останешься один».

Но по мере того как шло время, Георге, казалось, становился менее склонным идти даже на такие скромные компромиссы. В феврале 1916 года, во время встречи с Эрнстом Глокнером он «много говорил о женщинах и о своем „государстве“ — в этом вопросе Георге становился все более и более жестким; и не зря: Глокнер проникся, согласившись, что семейные вопросы не должны смешиваться с делами государства, между тем именно к этому приводит присутствие женщин». Несколько дней спустя Георге написал Гундольфу то же самое, очевидно, все еще зани-

мавшее его ум: «Я должен поговорить с вами в следующий раз весьма обстоятельно о женском вопросе», — сказал он, скорее, мрачно. Не раскрывая точной причины волнения, Георге не делал тайны из своих чувств. «У этой духовной бесцельности и безответственных любовных связей с этим полом, — писал он, — будут более пагубные последствия, нежели чувственное разнообразие». Георге не желал, чтобы женщины, духовно или физически, принимали участие в его «государстве». «Женщины — ЧАСТНОЕ ДЕЛО, — предупреждал он Гундольфа, добавляя зловеще: горе обеим сторонам, если они попытаются сделать что-то больше из этого».

Год спустя Гундольф понял, насколько серьезно Георге воспринимал эту угрозу. В начале февраля 1917 года, сразу после того как Гундольф был переведен в Берлин и, таким образом, уведен с гибельного пути, он договорился встретиться со старой подругой, Агатой Малаховой, которую не видел два года. Три месяца спустя он узнал, что она беременна. Желая избежать скандала и помешать ее увольнению — она преподавала музыку в средней школе, — они согласились пожениться, условившись, что этот союз будет только взаимовыгодной договоренностью и не будет влиять на их жизнь. Где-то в первой половине мая Гундольф сообщил о своих намерениях Георге. Его ответ был похож на разверзшуюся преисподнюю.

Дорогой Гундольф! Способ, каким вы объявляете о браке без всякого предупреждения, словно это приятная экскурсия, кажется невероятным и чрезвычайно беспокоит меня. То, что вы рассказали мне о своих отношениях, я могу назвать только актом безумия — вы же предполагаете, что он будет мною одобрен. То, как вы пишете, особенно о более позднем развитии событий, оставляет впечатление, что вы понятия не имеете о последствиях того, что намерены сделать. Если действительно будет ребенок (существование которого еще может быть подвергнуто сомнению), то брака по общему признанию будет трудно избежать, но только в этом случае. И даже тогда брак для вас — во всех отношениях худшая возможность урегулирования. Если трудности возникают для обеих сторон, то обе стороны достаточно зрелы, чтобы подумать об их разрешении заранее... Но каждый разумный человек знает, что никто не вступает в брак с такой поспешностью, не предприняв самых педантичных расследований во всех отношениях... Даже самый далекий родственник делает это и считает необходимым даже для самого тривиального юноши! Как много я мог бы сделать для ВАС! Было бы непорядочно с вашей стороны предпринимать что-то столь серьезное, не спрашивая меня, и непорядочно с моей стороны, если бы я просто улыбнулся и сказал «да», в то время как вся ваша судьба под угрозой. Мнение, которое вы выражаете в своем письме, — это мнение абсолютно наивного человека. Я полностью воздержусь от упоминания других серьезных сомнений — удержусь от серьезных, но оправданных упреков, чтобы не обострять ситуацию. Но если вы сделаете

этот шаг, не обсудив все вопросы, которые возникнут, то — хотя я и не могу изгнать вас из ГОСУДАРСТВА, пока вы занимаете там неосновательное положение — в наших ЛИЧНЫХ отношениях все изменится настолько, что вы не можете вообразить. Ст. Г.

Чего бы не ожидал Гундольф, но только не этого. Угроза была настолько же недвусмысленной, насколько и безжалостной — если бы Гундольф женился на Агате Малаховой, то был бы отрезан от Георге навсегда. Столкнувшись с таким ультиматумом, Гундольф действовал тем единственным способом, каким, вероятно, только и мог действовать, но его поведение было тем не менее постыдным. Повинуясь судебному запрету Георге, он оставил Агату Малахову и их ребенка на произвол судьбы. Хуже всего то, что Гундольф, казалось, не был чрезмерно обеспокоен своим решением. Какими бы ни были его чувства к матери, возможность стать отцом, кажется, не произвела на него большого впечатления. Хотя Георге не был, разумеется, беспристрастным наблюдателем, он передал Эдит Ландман, что у Гундольфа был «ребенок от девушки, которую он больше не любит». Гундольф, казалось, смотрел на все это как на простую неприятность. «Я стал отцом, — сообщил Гундольф небрежно Вольфскелю в декабре, словно с опозданием, добавив просто: — Это часть трудностей войны». В конце года, после того как она родила их дочь, фрейлейн Малахова предъявила иск Гундольфу, петицию относительно финансовой поддержки. В январе 1918 года он написал Георге: «Относительно А[гаты], я решил сделать одноразовую выплату. Валентин будет представлять меня в суде». Месяц спустя Гундольф сказал Учителю, что теперь, когда все это наконец позади, он увидел свою ошибку. «Какое благословение, что я не совершил тогда непоправимую глупость вследствие умственного расстройтва, — я всегда буду обязан Валентину за это первое кровопускание».

Но все это не осталось позади для Агаты Малаховой. Вынужденная уйти со своей учительской должности в Берлине и, несомненно, желая избежать позора воспитывать внебрачного ребенка как одинокая незамужняя женщина, она покинула страну и обосновалась в Риме, где прожила оставшуюся часть своей жизни. Она перебивалась как могла. Случайных финансовых пожертвований от друзей в Берлине было недостаточно. А в последний год войны в четыре раза в сравнении с 1914 годом поднялась инфляция. И однажды среди друзей Георге наконец возник разговор о том, что необходимо оказывать ей помощь. Но Георге не проявил милосердия. Когда кто-то в беседе поднял вопрос о тяжелом положении матери и дочери и предложил способ, каким можно было бы облегчить их затруднения, он резко оборвал обсуждение вопроса, сказав: «Бог не любит детей шлюх».

Даже без необходимости сносить грубость Георге, почти все считали трудным просто сводить концы с концами, поскольку война продолжалась. Через несколько месяцев после того, как она началась, цены резко выросли, а некоторые товары стало труднее найти. К лету 1915 года все было настолько неопределенным, что Георге написал Юлиусу Ландману перед запланированной поездкой в Швейцарию, чтобы удостовериться, достаточно ли будет еды, когда он туда доберется. «Воздействие войны в этой стране относительно питания, — заверял его Ландман в мае, — очевидно, не считая повышения цен приблизительно на пятнадцать-двадцать процентов, заметно только на двух позициях. Во-первых, за многие месяцы у нас не было хорошего хлеба, а именно хлеба из цельного зерна, а во-вторых, говядина бывает недоступна. Иногда нет бычков, режут только коров, и нужно уметь обходиться телятиной, бараниной и козлятиной». Начиная с 1916 года, когда блокада союзниками Германии усилилась, ситуация стала постепенно ухудшаться. Когда в том же году не уродился картофель, люди выживали на любых заменителях, которые могли найти, и дело дошло до так называемой «зимы турнепса» (*Rüben-winter*). В 1917 году ежедневная гражданская порция была уменьшена от 1350 калорий, уже половины нормальной диеты, до простой 1000. Эрнст Глокнер в письме к Георге в январе 1917 года рассказывал, что «какао и чай, так же как и кофе, больше нельзя найти». Все, не только еда, было в дефиците: одежда, обувь, топливо, даже мыло. Поскольку положение ухудшалось, голод, когда-то невообразимый в преуспевающей довоенной империи, начал сокрушать городские центры. Когда военные действия наконец прекратились, выяснилось, что приблизительно три четверти миллиона человек умерли от одного только голода.

Вместе с войной, приближающейся уже к концу своего третьего года, с миллионами убитых, искалеченных или без вести пропавших, с экономикой в руинах и с дефицитом, а то и отсутствием предметов первой необходимости, легкомысленный оптимизм, который чувствовался вначале, давно уже дошел до мрачного осознания, что немецкая победа во все не была неизбежной. Уже в ноябре 1916 года, во время пребывания в Берлине у Георге состоялась одна из последних встреч с Куртом Брейзигом. Они долго говорили о войне, и Георге откровенно признался, что допускает и «возможность поражения, поражения Германии». Когда Брейзиг патриотично возразил, Георге сказал, что только что провел три месяца в Швейцарии и при возвращении «счел настроение в Германии гораздо более подавленным, чем прежде». Он также сказал Брейзигу, что «люди в очень влиятельных кругах [...] просили у него высказать свое мнение; но он отказался от этого, поскольку если он откроет свое истинное (то есть столь пессимистичное) мнение, то оно будет звучать слишком дерзко».

По какой-то причине — в своих действиях он не часто избегал видимости предположений — Георге также не обнаружил, кем были те «очень влиятельные» люди, которые хотели услышать его наблюдения относительно состояния нации. Но судьба Германии и его собственная итоговая роль сильно занимали мысли Георге в то время. В более ранней беседе с Брейзигом, в октябре, он разглагольствовал о своей вере в «способность поэтов к политике». Брейзиг возражал против этого, утверждая, что область поэта — красота, а не государство. Георге ругал его за узкое видение в нем «только поэта». «Вам еще хуже пришлось бы с Данте, — сказал Георге. — Он был еще в большей мере политиком и много кем еще. К сожалению, сам я поздно начал интересоваться политикой, приблизительно десять лет назад». Независимо от того, что ему, возможно, недоставало времени, посвященного политике, Георге восполнял этот недостаток решительностью. Он был вполне способен, сказал он Брейзигу, «обратиться к политике и использовать газеты. Если бы во время войны все пошло плохо и не нашлось бы никого для руководства (то есть для должности *Reichskanzler*), то он бы этим занялся». Брейзиг не верил своим ушам. Он знал, насколько Георге презирает все, что имеет отношение к официальной Германии, насколько терпеть не может весь буржуазный прусский правительственный аппарат, который удерживает Империю на плаву. И теперь здесь Георге со всей серьезностью изображал себя имперским канцлером, занимающим то место, которое когда-то принадлежало Бисмарку. Это казалось нелепым. Брейзиг попытался в общих чертах описать то, с чем ему пришлось бы столкнуться, если бы при определенном повороте событий его на самом деле назначили на эту должность. «Если бы вам когда-нибудь, к несчастью, случилось заняться практической политикой, — сказал Брейзиг Георге, — то вы узнали бы, какой сокрушительной машиной подлости и рабства она является. В течение восьми дней люди начали бы бросать в вас не только камни, но и куски грязи, ножки стола и все остальное. Их лозунг был бы: „долой этого парня“». Выслушав его, Георге сказал только одно: «Возможно, вы правы».

О чем Брейзиг забыл — или в полной мере не знал, — так это о том, в какой степени все существование Георге было сконцентрировано на обретении и осуществлении власти. Георге действительно не был заинтересован в том, чтобы стать канцлером Германии или получить какой-то иной традиционный политический пост. Он был заинтересован только в управлении Германией — точнее, Германией, скроенной из его собственной ткани. Политика, как и поэзия, была средством для великой цели Георге, и именно это Брейзиг — как и многие другие — был не в состоянии адекватно оценить. Позже Брейзиг даже признал: «Была одна существенная черта поведения Георге, которая всегда казалась мне чуждой: это я и хотел бы

назвать политическим аспектом его поведения». Брейзиг считал, что этот элемент существования Георге «в значительной мере находился в конфликте с природой художника, более свободной и более раскованной». Помимо выдвигения романтически наивной концепции художника, комментарии Брейзига показывают, как мало он понимал своего бывшего друга. Несколько лет спустя Георге упомянул о Брейзиге в беседе с Эдит Ландман, пытаясь объяснить то, что считал принципиальным различием между ученым и им самим. «Если бы у Брейзига не было науки, — сказал он, — то не было бы вообще ничего. Если бы я не писал стихи, то у меня оставалось бы еще кое-что, и стихи — это средство для этого кое-что. Если бы они были только стихами, то не многого бы стоили». И все больше и больше это «кое-что», которое раздражало Брейзига и других, сам Георге расценивал как самое ключевое.

Однако поэзия все еще оставалась инструментом, которым Георге владел с величайшим мастерством и величайшей эффективностью. Если он хотел разговаривать прямо с народом, воздействовать на него и вести его под своей властью, то все еще думал, что поэзия будет лучшим способом достигнуть этой цели. До сих пор Георге ничего не говорил о войне в печати и даже не полностью раскрыл свою позицию многим из самых близких спутников. В середине 1917 года Георге почувствовал, что наконец настало время высказаться. В июле того года Бонди издал брошюру на шесть страниц, содержащую оценку вклада Георге в военные достижения. Названная просто «Война» («Der Krieg»), она представляла собой одно из самых потрясающих стихотворений, написанных на немецком языке за время четырехлетнего конфликта. Но, как мог бы сказать Георге, произведению суждено было стать не просто стихотворением. «Война» была продолжением его собственной политики иными средствами.

Стихотворение длинное — оно состояло из двенадцати стансов по двенадцать строк каждый, — но плотно сфокусированное. И в большей части стихотворения, помимо последних двух стансов, эта концентрация энергии выражена в потоке почти невыносимой ярости и презрения. Оно открывается сравнением энтузиазма в начале войны и чувства общей цели, разделяемого фактически всеми в тот момент, когда война разразилась, с рефлексивным инстинктом стада диких животных, которые под угрозой природной катастрофы, такой как пожар или землетрясение, откладывают на время свою естественную вражду и объединяются. Поэтический голос презирает это фальшивое чувство единства, в котором все позабыли о предшествовавших «трусливых годах хаоса и тривиальности» и теперь «видят себя великими в своей бедности». Здесь мы запоздало начинаем понимать, что это не антивоенное стихотворение в каком-либо

привычном смысле. Георге осуждал не войну, он осуждал людей, ее ведущих.

В этом пункте поэт выводит себя самого на сцену. Именуясь «Отшельником с горы» — любой увидит в нем Георге, ожидающего внезапного начала войны в высотах швейцарских Альп, — он описывает, как народ приближается к нему и, преодолев собственное волнение, настойчиво спрашивает: «Вы все еще храните молчание перед этим грандиозным событием?» Его ответ, как и все стихотворение, беспощаден и тверд:

Что сотрясает вас, давно знакомо мне.
Давно знаком мне страха красный пот.
Когда народ играл с огнем... кричал я,
Слезы лил заранее... сегодня уже поздно.
Случилось многое, чего никто не видел...
Как и никто не видит, что самое ужасное еще придет.
.....
К волнующей вас ссоре я безучастен.

Как и его давнее убеждение, что он был глашатаем высшей мудрости, вера Георге в собственные пророческие полномочия в последние годы выросла. Предыдущим летом, проведенным с Ландманами в швейцарской деревне Клостерс, он говорил: «То, что написано в стихотворении, становится правдой, так же как война должна была прийти, ибо о ней написано: „Я видел издалека шум сражений“». В этих последних словах Георге цитировал сам себя, приводя строки одного из своих стихотворений в «Седьмом кольце»: «Вдали кипенье битвы видел я, / Но скоро вздрогнет и моя земля. / Я видел знамя... кучку вокруг него... / Другие не видали ничего». Услышав это, Эдит Ландман указала, что в силу того же довода можно было сказать, что война предоставляет доказательство, что все остальное в его поэзии также осуществится. Георге реагировал так, словно ее вывод был совершенно очевидным: «О, это не проблема. Нет сомнений, что это так. То, что пребывает в духе, должно быть живым. Действительность — это форма, в которой дух движется к своей цели. Именно поэтому поэзия — самая опасная вещь в мире. Она может бездействовать какое-то время, оставаться погрязшей в земном, но не исчезает». Признавались или нет способности Георге к предсказаниям, не было никаких сомнений, что его поэзия опасна, как это в достаточной мере продемонстрируют более поздние события. Но опасность заключалась не столько в том, что она предсказывала, сколько в том, что она санкционировала.

В третьем стансе «Войны» Георге начал более точно формулировать «реальность», которую он предвидел и теперь расценивал как неизбежную. Изменяя немного перспективу и обращаясь теперь к поэту в третьем

лице, он подчеркивает его пророческие способности и неблагодарность и глухоту тех, кто может быть научен, а возможно, даже и спасен его посланием: «Провидца никогда не благодарят... он встречает презрение / И камни, если он предсказывает бедствие, — гнев и камни, / Когда оно случается». Затем, вновь внезапно переключив перспективу, поэт-как-пророк задает свой собственный вопрос недостойным слушателем: «Что ЕМУ убийство сотен тысяч / В сравнении с убийством самой Жизни?»

Трудно понять, что же Георге подразумевал под «самой Жизнью». Конечно, это была фраза, весьма распространенная в то время, когда «философия жизни» (*Lebens-philosophie*) достигла зенита популярности и отождествлялась с такими фигурами, как Ницше, Бергсон и Дильтей. Для Георге тем не менее она имеет, по-видимому, более узкое значение системы ценностей, которую он и его круг разрабатывали эти годы, которую он рассматривал, насколько известно, как предоставляющую единственное законное основание для существования. Георге не только был готов пожертвовать жизнями сотен тысяч людей, которые не в состоянии соответствовать этим ценностям или соблюдать их, но также и смотрел на их смерть как на ничего не значащий пустяк, что должно было вызывать глубокое отвращение. Но мы видели, что он выражал это мнение слишком много раз и слишком разными способами, чтобы считать его действительно удивительным, каким бы чудовищным и отталкивающим оно само по себе ни было. Таким же образом Георге давал понять, что истинный враг — это не француз и не англичанин, и даже не обязательно иностранец. Настоящие враги, те, кто несет полную ответственность за резню на полях сражений, скорее всего, могут быть найдены в любом городе и в любой стране:

Ноющая женщина, самодовольный бюргер
С седой бородой — больше виновны, чем выстрелы врага,
За стеклянные глаза и искромсанные тела
Наших сыновей и внуков.

Иными словами, буржуазия и женщины долгое время и создавали условия, сделавшие войну неизбежной. Не случайно поэт считает весь общественный строй современной Европы, а не какой-то особый политический или военный курс, ответственным за бойню ее собственной молодежи.

Каталог обвинений Георге на этом еще не заканчивается. Поэт пишет, что, даже зная, какая судьба ожидала его друзей в сражениях, он «отправлял самого юных из них со своим благословением». Не потому что он не боялся того, что могло бы произойти с ними на поле битвы, но пото-

му что «был охвачен более глубоким ужасом». Прямо обращаясь к сражающейся молодежи, он обстоятельно объясняет основания этого более сильного страха:

Вы, размахивающие палашием над горами трупов,
Желающие уберечь нас от слишком легкого конца,
От самого худшего, от позора крови.
Народы, пережившие его, будут без разбора истреблены.

Вполне возможно, что это низшая точка всей поэтической карьеры Георге в нравственном, если не в художественном отношении. Слово, которым он имел обыкновение характеризовать самое худшее, что могло случиться с его соотечественниками, — то есть еще хуже, чем смерть миллионов невинных, — это «смешение рас» (*Blut-schmach*), или, буквально, «позор крови». Не ограничиваясь простым порицанием смешения рас, поэт открыто и явно призывает к оптовому истреблению тех, кто практикует или разрешает межрасовые союзы. Это — отталкивающая, отвратительная декларация, и трудно не думать, что в таком выражении не были брошены в землю семена более поздних преступлений. Георге, в конце концов, открыто наделял пророческим значением свою собственную поэзию и не менее откровенно признавал, что поэзия может и на самом деле причинять настоящий вред. Прочитанные дурными людьми в дурное время, такие слова могут быть приняты не просто как предсказание, но и как призыв, полностью подтвержденный авторитетом Учителя и, на первый взгляд, предопределенный его очевидным предвидением. Без особых усилий его заявления могли быть поняты как предоставление лицензии на убийство — более того, как попустительство массовой ликвидации целых народов.

Даже его самые близкие последователи были обеспокоены тем, что Георге здесь говорил, и старались изо всех сил попытаться разъяснить его намерения. Их главное беспокойство, кажется, сводилось к тому же, о чем думали и более поздние читатели, особенно после нацистской эры, — что обвинение Георге в межрасовом смешении выходит за рамки прямого расизма и включает в себя антисемитский компонент. Курт Гильдебрандт, например, уверяет, словно это могло быть оправданием, что в понимании Георге «белая раса охватывает арийские и семитские племена». Эрнст Морвиц, который написал краткий комментарий о поэзии Георге как раз перед смертью Учителя, аналогичным образом размышлял, что слово «вероятно, должно быть понято как [обращающееся к] физическому и духовному смешению белых и цветных народов в борьбе против белых. Оно неизбежно приведет — таково пророчество поэта — к уничтожению всего

народа, к уничтожению белой расы желтой и черной». Морвиц говорит, что Георге, который жил достаточно долго, чтобы пересмотреть доводы книги, написал на полях рядом с этим отрывком: «Возможно». Указывает это на согласие или на неуверенность со стороны поэта, бесспорно то, продолжает Морвиц, что Георге был оскорблен присутствием африканских и индийских солдат во французской и в английской армии. Он чувствовал, что они были введены в действие отчасти как расчетливое оскорбление, в рамках тактики, разработанной, чтобы оскорбить немцев, заставить их сражаться против «низших» и недостойных противников. Позже, когда французские африканские солдаты размещались на оккупированных территориях земель Рейна после войны, Георге был глубоко оскорблен по той же самой причине, рассматривая их присутствие на немецкой земле как преднамеренный жест провокации и насмешки. В июне 1920 года, используя те же самые, что и в стихотворении, резкие формулировки и, по-видимому, по тем же самым причинам, Георге прямо сказал: «Эти французы должны быть истреблены». И мы знаем, что он думал об азиатах, — не говоря уже о русских.

Окончательное значение, которое Георге приписывал войне, заключалось в том, что ее следовало бы вести против расового смешения, угрожающего осквернить кровь «белой расы», как бы ее ни определять. И поскольку ее враги уже опорочили себя, Германия оставалась последней надеждой на сохранение и неизменность Европы в целом. В стихотворении Георге был однозначен в этом отношении:

Родина!

Слишком прекрасная, чтобы топтали тебя чужаки:

.....

Где сияющая Мать впервые открыла свой истинный лик

Опороченной и павшей белой расе... Земля,

Которая еще столько обещает — и поэтому не умрет.

«Мать» напоминает здесь о греческой культуре, которую, к своей гордости, немцы открыли вновь, но которая не была еще полностью реанимирована. Поэтому самую верную гарантию, что Германия не умрет, Георге видит в том, что она одна способна завершить все еще незаконченную задачу возвращения к жизни греческой мечты. Не было совпадением, что это была та же самая задача, которую, как чувствовал Георге, он и обитатели его тайной Германии лучше всего подготовлены выполнить.

Прежде чем это могло произойти, многим, как полагал Георге, еще предстояло погибнуть, включая и многих немцев. Как гласит другая строфа: «Не время праздновать — не будет победы, / Только недостойные поражения...» Опять же, единственный искупительный аспект войны —

то, что она ускоряет процесс, который уже шел полным ходом. «Больные миры лихорадочно мчатся к концу. / Только непорочная, разбрызганная кровь священна — целый поток».

Когда в июне Георге завершил стихотворение, то написал Глокнеру: «„Война“ закончена... Значит ли это, что она закончена на самом деле?» Глокнер, который был, возможно, несколько менее убежден в пророческих способностях Георге, чем он сам, привел слова Учителя в заметке, адресованной Бертраму, добавив скептически: «Будем надеяться, что *на этот раз* он прав». Но прошло еще полтора года, пока убийства наконец прекратились.

Отклики на стихотворение Георге были различными, но одинаково сильными. «„Война“ — смог сообщить ему Гундольф уже в августе, — хорошо расходится». Сам Гундольф написал рецензию на стихотворение для «Frankfurter Zeitung», сводящуюся к явно льстивым похвалам. «Никогда в немецкой поэзии не раздавались более сильные тональности, чем в этих двенадцати стансах, — утверждал Гундольф. — Здесь говорит мудрец, глубокий, благочестивый и смелый — посвященный в законы человеческого роста и падения как никто после Гёте, как никто после Ницше, преданный добродетели и величию». Более сдержанная, но не менее благоприятная реакция последовала от одного солдата с поля битвы, одного из бесчисленных его приверженцев, которые все больше и больше обращались к нему издалека как к своему духовному руководителю. Спустя одиннадцать лет после того, как стихотворение появилось, по случаю шестидесятого дня рождения Георге, Бруно Вернер опубликовал газетную статью, ярко описывающую обстоятельства, при которых ему и его товарищам впервые пришлось прочесть стихотворение кровавым летом 1917 года.

Это случилось, когда мы лежали в грязи перед Варнетоном в усеянном кратерами разрывов пейзаже, где канадцы уничтожили одну треть нашего маленького батальона зажигательными гранатами за одно утро, а еще раньше ночью двоим раскололи черепа гусеницы танков, обитые гвоздями. Почта принесла нам письмо, в котором была желтая брошюра «Война» поэта Георге.

И мы присели в той крошечной землянке, где ароматы двадцати мужчин смешивались с запахами застоявшихся грунтовых вод, присели, освещенные лучами карбидной лампы, небольшое пламя которой тухло от каждого взрыва, и ее нужно было зажигать вновь. Внезапно мы услышали — и это было первый и последний раз за время войны — звук фанфар такой невероятной энергии и силы, что показалось, будто кто-то разорвал занавес сверху вниз, ровно на две части. Словно то, что каждый из нас смутно, бессловесно чувствовал, было выражено, и в тот момент — нет никакой необходимости избе-

гать этого слова — мы ощутили священное и ужасное волнение. Здесь был кто-то говорящий, кто, как оказалось, был не только, как мы, солдатом, но кто был в то же самое время и вождем (Фюрером) в новый мир.

В течение войны Георге удавалось сохранять свой привычный режим. В соответствии со своей многолетней привычкой он проводил осень и раннюю зиму в Берлине, где курсировал по разным местам проживания, оставаясь поочередно в комнате, сохраняемой для него в большом и удобном доме его издателя, Георга Бонди, и на более скромных квартирах, предлагаемых и Морвицем и Тормеленом; затем перемещался на юг, в Мюнхен и в Круглую комнату, на остаток зимы и весну; и наконец в Швейцарию в конце лета. Эти основные остановки прерывались более короткими экскурсиями в Дармштадт, Гейдельберг или туда, где он был необходим. Некоторые из перемещений были продиктованы или, по крайней мере, сопровождались практическими соображениями. Питание оставалось постоянной тревогой, и даже сохранение тепла стало главной заботой. Отчасти Георге переезжал туда, где условия обещали некоторое облегчение от все усиливающейся терапии, поскольку шел уже четвертый год конфликта.

Холод пришлось переносить почти всем в течение последней, жестокой военной зимы. После того как Соединенные Штаты вступили в конфликт ранее летом и отправили свои первые войска на континент, истощение немецких ресурсов еще больше усилилось, когда эмбарго союзников задушило почти все внешние поставки еды и энергии в Империю. Сильно недоедающий, плохо одетый и живущий в неотапливаемых квартирах и домах народ Германии начинал заболевать в огромных количествах. В январе 1918 года Гундольф упал с воспалением легких, которое удерживало его в постели два полных месяца. В конце февраля его состояние улучшилось, но только незначительно. «Я нашел, что Гундольф все еще был довольно слаб, — сообщил Берингер, который тогда посетил его в Берлине, Георге. — На самом деле у него был умеренный случай пневмонии. Теперь он с этим справился. У него больше нет лихорадки, но он бледен и чувствует себя несчастным. Жалуетя на постоянные головные боли. Он действительно боится, что его нервы не выдержат этого. Короче говоря, он подавлен и, по моему мнению, ему требуются недели отдыха и хорошего ухода».

К счастью, Гундольф уже пользовался весьма заботливым уходом от еще одного поклонника женского пола по имени Элизабет Саломон, или Элли, которая была его студенткой в Гейдельберге. Она была умной, очаровательной и чрезвычайно привлекательной, даже красивой молодой женщиной, которой нравилась компания таких же одаренных мужчин.

Элли умудрялась говорить и делать только правильные вещи, и сначала даже Георге терпел ее присутствие. Всякий раз, когда он бывал в Берлине во время войны, она приносила маленький контейнер с молоком для его послеобеденного чая. Такого поступка было самого по себе достаточно, чтобы вызвать восхищение, ибо, как заметил Тормелен, «Бог знает, где она находила этот напиток, который был дефицитом в Берлине в те дни». Во время долгого выздоровления Гундольфа Элли распространяла ту же самую изобретательность и на него. «В настоящее время он кормится грудью Элли, которая и спит там, — продолжал Берингер в своем письме Георге. — Все пытаются собирать еду со всех углов. Здесь недостает мяса и фруктов».

Стремление к миру, любой ценой, и к возвращению к нормальной жизни начинало перевешивать все другие соображения. В конце января более чем 400 000 рабочих объявили забастовку в Берлине, протестуя против возрастающих лишений и требуя немедленного мира. В течение двух дней забастовки распространились на шесть других городов. Поскольку русская революция произошла менее трех месяцев назад, немецкие власти реагировали с понятной расторопностью, объявив военное положение и удалив бастующих рабочих со сцены путем насильственного зачисления их в армию. Но главные проблемы оставались. Люди буквально умирали от голода, вынужденные питаться всем, что могли найти, включая домашних животных, — кошек язвительно называли «кроликами с крыши», добавок к эвфемистически именуемому «хлебу», состоящему из картофельных очистков и опилок.

Даже массивное контрнаступление Германии, начатое на западном фронте весной 1918 года, вдохновляло гораздо меньше, чем надежда, что оно ускорит конец. Единственным, что вызывало что-то подобное оптимизму, хотя бы у немногих, было приближение пятидесятого дня рождения Георге — 12 июля. Но даже здесь воодушевляло немногое. Война плохо обращалась со всеми и оставила свою физическую печать и на Георге тоже. Его волосы, все еще длинные и плотные, стали абсолютно белыми, его кожа, у которой всегда был темноватый тон, приобрела нездоровую бледность, и борозды на его бровях стали глубже и длиннее. Болезнь, в сочетании с годами плохого питания и психологического напряжения от того, что пришлось пережить много смертей его возлюбленных, делала его выглядящим гораздо старше своих лет. Когда врач исследовал Георге позже тем же летом и узнал у одного из его друзей, что ему только что исполнилось пятьдесят, то сказал: «Не может быть, по состоянию тела он старый человек».

Публичное признание дня рождения Георге отражало расширяющийся масштаб его репутации. Почти каждая ежедневная газета в Германии,

так же как и издаваемые в Швейцарии и Австрии, по меньшей мере содержала уведомление об этом событии, а многие опубликовали более длинные статьи. «Karlsruher Tageblatt» назвал его «возможно, самым великим художником в современной литературе». «Berliner Tageblatt» приветствовал его не только как поэта, но также и как «моралиста, педагога, который хочет научить нас, где счастье, где отыскать смысл жизни». Во «Frankischer Kurier» Оскар Вальзель, видный швейцарский литературовед, опубликовал длинную и сочувственную статью, оценивающую влияние Георге на его собственную академическую дисциплину в немецкоязычных университетах. Однако в то время как присутствие Георге, даже его возрастающее доминирование в немецком культурном пейзаже, было бесспорным, его личность оставалась такой же таинственной, как и всегда, для любого за пределами узкого круга его друзей. Как выразился автор еще одной газетной статьи, даже при том, что произведения Георге были теперь широко доступны и внимательно читались солидной читательской публикой, «никто ничего не знает о его жизни, кроме некоторых фактических деталей».

Приватные подношения от его друзей были, очевидно, еще более экстравагантными. Вероятно, самое замечательное приветствие тем не менее пришло от анонимного автора письма, который отправил длинный трактат, названный «Моя декларация веры по случаю пятидесятого дня рождения Стефана Георге». Обвинив нескольких критиков в непонимании или намеренном искажении поэзии Георге и особенно внутренне присущей ей потребности иметь «прямое воздействие на жизнь» (*Lebenswirkung*), неопознанный автор утверждал, что это «воздействие» было извращено, потому что понято слишком узко:

Кто еще производит такое глубокое впечатление, как Георге, дающий волю выражениям, которые тут и там ожидают у *других* своего освобождения от своих пут. Эти «выражения» не должны быть только стихами или оформленной поэзией. Это может также быть живой поэзией. Безусловно, поенщики, которые пишут такие статьи, и не подозревают, какую жизнь *поэт* в состоянии воспламенить в восприимчивых душах. И едва ли знают, что многие стихотворения, которые *уносят далеко прочь от мира*, содержат в себе семена, способные *переместить мир*. Когда я смотрю на двух своих мальчиков с белокурой головой, то надеюсь и желаю и им и себе тех дней, когда можно будет вместе наслаждаться таким *чистым* искусством, какое Стефан Георге нам даровал, и когда мы будем взаимно укреплены *в вере в такого* хранителя священного огня в *холодные* времена. Возможно, эти мальчики в свои двадцать лет будут среди тех самых восторженных, кто отдаст дань великому человеку в его семидесятый день рождения. И разве это нельзя считать «воздействием на жизнь»?

Хотя он и не дожил, чтобы увидеть это, но семидесятый день рождения Георге будет в 1938-м, когда его «воздействию на жизнь» уже не могли бросить вызов ни литературные критики, ни кто-либо еще. Но мы не можем знать, не пришлось ли этой неназванной женщине, два сына которой как раз достигли бы призывного возраста накануне следующей и значительно более разрушительной войны, когда-либо пожалеть, что она воспитала их в духе «хранителя священного огня».

Все же у влияния Георге на жизнь были свои пределы. Позже в тот же месяц, 28 июля, два молодых офицера, Адальберт Корс и Бернард фон Укскуль, отправились к голландской границе и, осуществляя договор, который заключили друг с другом, совершили самоубийство одновременными выстрелами из револьвера. Георге знал их обоих несколько лет, они были представлены ему Морвицем. Укскуль, которому исполнилось бы девятнадцать в сентябре, был чувствительным, несколько застенчивым мальчиком, не особенно красивым — его руки были слишком большими, уши торчали, а глаза были слишком широко поставленными, — но он был не по годам образован. В шестнадцать, он, как говорили, знал историю Византии так же, как любой ученый, его знания основывались на оригинальных греческих и латинских источниках. Корс, который на два года старше, чем его друг, был прямой противоположностью: уверенный в себе, спортивный, энергичный и практичный. Казалось, он родился солдатом, самоуверенным деятельным человеком. Но к тому лету он уже был на фронте в течение двух лет в качестве артиллерийского наблюдателя и видел слишком много молодых жизней, преданных смерти в массовой скотобойне. Даже при том что Корс служил безупречно и покорно исполнял свои обязанности, в глубине души он ненавидел и проклинал войну. Со своими друзьями он говорил одобрительно о товарищах, которые, когда их назначали командовать отделением, убивали себя, чтобы не быть вынужденными посылать других на неизбежную и ненужную смерть. Летом, насладившись длинным и спокойным отпуском, Корс получил приказ вернуться на фронт в качестве командира. Убежденный, что так или иначе встретит верную смерть, и не желающий участвовать больше в бессмысленном кровопролитии, Корс решил покончить с собой. Когда он открыл свой план Бернарду фон Укскулю, его друг отказался позволить ему умереть одному.

Георге был опустошен. Словно, сказал он, «обе ноги у меня оторвало взрывом». Эдит Ландман видела его вскоре после того, как он получил новость об их смерти, и вспоминала: «Он выглядел настолько несчастным, что я была напугана». Несколько недель спустя, в августе, Георге вновь заболел, настолько серьезно, что его нужно было повторно поместить в клинику в Гейдельберге. В течение следующего месяца его состояние ухудшалось далее, и его пришлось перевести в Берлин для специ-

ального лечения у доктора Каспара, знаменитого уролога, который нашел камни в мочевом пузыре и обширное нарушение в работе его почек. Только в первую неделю октября Георге снова почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы покинуть санаторий. Месяц спустя, 9 ноября, Вильгельм II отрекся от своего престола и оказался в изгнании в Голландии. Спустя два дня после этого война наконец закончилась.





ЧАСТЬ IV

ПРОРОК

1919 ~ 1933



Глава тридцать пятая

РЕВОЛЮЦИЯ I

Последняя главная фаза жизни Георге, охватывающая пятнадцать лет от окончания войны и до его смерти в декабре 1933 года, была, возможно, самой замечательной в его и так уже необычайной карьере. Она была также и самой поразительной. Менее чем за три десятилетия из малоизвестного поэта, писавшего в стиле французского символизма, брезгливо избегавшего внимания презираемой им публики, он превратился в лидера широкого и постоянно набиравшего силу движения в своей родной Германии, движения, которое признавалось оказывавшим все более и более растущее политическое влияние на страну в целом. Или же, скорее, поскольку Георге никогда не отклонялся от преследования своей фундаментальной цели — накапливать и осуществлять максимальную власть над людьми и вещами, — он не столько изменялся, сколько постепенно расширял фокус своих усилий. Вначале удовлетворенный тем, что осуществляет господство над миром одного лишь поэтического слова, Георге быстро стал равнодушным по отношению к той абстрактной власти, которую ему давала поэзия. Вскоре он обратил свое созидательное внимание на собратьев — они, оказалось, были гораздо более благодарным материалом, чем мертвые буквы словесности, — а в конечном счете на более широкую сферу самой жизни. Попутно Георге и его партнеры разработали и усовершенствовали свой кодекс ценностей и поведения; они создали собственные ритуалы и символы, и даже открыли новое божество. То, что начиналось как чисто поэтическое предприятие, стало катализатором для моделирования

нового способа существования. Стремясь убежать от мира, который был для них невыносим, Георге и его сторонники изобрели альтернативную вселенную, управляемую своими собственными высшими принципами и законами, сотворили новое царство, за которым Георге надзирал как первосвященник, верховный правитель и просветленный пророк.

Но что больше всего привлекает внимание в этом процессе — так это тот факт, что в период последней фазы жизни та обособленная область, которую Георге и члены его кружка для себя выстроили, начала апеллировать как раз к тому самому широкому сегменту немецкого населения, который они большую часть своей жизни презирали, — к народу, который теперь искал руководства и уверенности, не имея ни того, ни другого. Травмирующее поражение в войне, сопровождаемое бесконечной серией неудач и разочарований, настолько серьезно разрушило доверие к традиционным политическим, религиозным и культурным институтам, что многие немцы чувствовали себя дезориентированными и были вынуждены искать им замену. Многим людям, в период бурных 1920-х годов ощущавшим, что они брошены на произвол судьбы и отданы во власть непонятному и враждебному окружению, Духовная империя Георге, его тайная Германия, предоставила последнее, самое лучшее убежище для уверенности в будущем, один из немногих надежных источников осмысленности жизни. И для многих людей она стала единственной организацией, которая во времена смуты сохраняла свою внутреннюю целостность и решительную целеустремленность. Георге с его строгими убеждениями все больше и больше рассматривался как человек, предлагавший жизнеспособную альтернативу внутренней и социальной бесцельности, от которой страдало неисчислимое множество немцев, и все большее и большее их число обращалось к нему за утешением, наставлением и надеждой.

«Позор, поражение и вообще унижение моего народа давно перестали меня волновать», — гласит одна показательная петиция, отправленная Георге в конце 1918 года одним молодым человеком, вернувшимся домой после военного плена в России. «Я освобожден, — продолжал молодой человек, — от любой привязанности к его внешней судьбе. В Германии меня привлекают лишь ваши заявления и ничего больше. Борьба сил, имеющая теперь место, мне неинтересна. Нигде нет ни искорки духа, веры, цели. И старое, и новое — это пустая оболочка. Но все должно служить вашей работе, и даже все эти ужасные события, которые вы давно предвидели, только расширят территорию вашего царства».

И так думали многие. В критические годы Веймарской республики было невыразимое количество других ярких, молодых, идеалистически настроенных и прекрасно образованных немцев — главным образом молодых, но не только молодых, — которые представляли, что духовный *Рейх* Георге был более чистым, более реальным, более материальным. Тот, кто

страстно принял эту идею, посвятил себя ее реализации, усваивая ценности этого Рейха и отвергая действительность вокруг них. Даже в самые лучшие времена было опасной иллюзией верить, что неосязаемое царство идей является более предпочтительной ареной политической деятельности, потому что оно не запятнано. В периоды ужасной социальной нестабильности, когда здравомыслящие взгляды и решительные действия особенно необходимы, такая мечтательность может стать опасной для жизни, как для своей, так и для жизни других. Когда в Германии возникла политическая партия, которая намеренно облачала свои действия идеями и образами, имевшими смутное, но ожидаемое сходство с Духовной империей Георге, многие приняли ее появление за окончательное воплощение его взглядов в конкретной реальности. Для тех, кто только впоследствии осознал свою ошибку — каковой было такое восприятие, — как и для тех, кто никогда этого не осознавал, исправить что-либо будет невозможно.

В последние недели войны историк Фридрих Мейнеке, политически умеренный и уравновешенный патриот, использовал письмо своему другу, для того чтобы исследовать национальную ситуацию и рискнуть сделать свой собственный мрачный прогноз на будущее.

Ужасное и мрачное существование ожидает нас при самых лучших обстоятельствах! И моя ненависть к врагу, напоминающему хищного зверя, не так сильна, как мой гнев и негодование к тем немецким политикам, которые своей самонадеянностью и глупостью столкнули нас в эту пропасть. Неоднократно в ходе войны мы имели возможность заключить мирное соглашение, но безграничные требования пангерманского объединения милитаристов и консерваторов сделали его невозможным. Ужасно и трагично, что это объединение могло быть разрушено только благодаря поражению всего государства.

Это была суровая оценка, но не одинокая. Хотя почти все жаждали окончания войны и были готовы принять почти любое разумное условие для достижения мира, немногие предвидели и еще более немногие желали крушения всей империи. Когда принц Макс фон Баден, последний немецкий канцлер, назначенный при Вильгельме II, предложил утром 9 ноября Фридриху Эберту, лидеру Социал-демократической партии, чтобы тот принял должность канцлера, произошла не просто передача власти. Целый мир начал рушиться.

Георге ликовал. Одним движением политический аппарат, удерживавший немецкое государство, которое он ненавидел всю свою жизнь, был сметен, и возникла беспрецедентная возможность установить такой, которым он мог бы управлять. Это был момент, к которому Георге долго готовился. Уже в феврале того же самого года Фридрих Вольтерс, который все

еще с трудом различал судьбы официальной и тайной Германии, выразил Георге свое беспокойство, что вероятная победа союзников над Германией, вместе с деморализацией, которую неизбежно повлечет за собой немецкое поражение, могут привести к общему антагонизму и в их собственном «государстве». Если не сам Георге, то его последователи в конце концов сделали очевидным, что война была «их» войной и что ожидаемая победа также будет их победой. В случае поражения, однако, их отождествление с войной могло оказаться помехой, могло повернуть народ против них и их дела. Георге быстро исправил Вольтерса: «Неверно, что после такой победы и такого поражения для Духовной империи весь мир стал бы врагом. Для Духовной империи весь мир был и является врагом и в случае победы и без нее». Теперь не только после окончания войны, но и после уничтожения прусской монархии и упразднения ее контроля над Германией было даже меньше причин чувствовать себя побежденным. Напротив, Георге переживал это как триумф.

Действительно, во время заключительных месяцев войны Георге, казалось, ощущал, что надвигалось что-то важное, и часто говорил о возможности, даже о желательности серьезных политических переворотов, которые принес бы с собой конец войны. Летом — он провел его вместе с Ландманами на курорте Бад-Наухайма в Гессене — он уже начал представлять, каким мог быть или должен быть послевоенный мировой порядок. «Вы, вероятно, думаете, — говорил он Юлиусу Ландману, — что солдаты, рисквавшие своими жизнями, возвратятся, чтобы быть вассалами тех, у кого было время, чтобы делать деньги». В то время когда многие считали, что все вернется к старому порядку, Георге думал, что будет бедствием и ужасной потерей, если возвращающиеся солдаты позволят себе быть вновь поглощенными теми же самыми структурами, которые в первую очередь и заставили их сражаться. «Если они действительно просто вернуться, если не произойдет Революция, не придет большевизм, это будет хуже всего — они будут поработаны, лишены жизни. В России — по крайней мере хаос». Георге столь сильно желал увидеть перемены, любые перемены, что даже Россию, которую обычно считал смехотворной, готов был принять за образец. Он не рассматривал большевизм как самый лучший курс. Но то, что он собой представлял, по крайней мере было бесспорным разрывом со старым укладом.

Прежде всего Георге просто хотел, чтобы что-то произошло. «Есть весьма особое нетерпение, — говорил он все тем же Ландманам, — когда каждый предвидит все с первого момента, а затем события словно догоняют предвидения». Одно из достоинств революций в том, что они имели тенденцию происходить как раз с удовлетворительной скоростью — «благодаря им быстрее идут необходимые изменения, не продлевая страдания народов». Конечно, признавал Георге, революции могут как облегчать

страдания, так и их причинять. Не забывал Георге и о цене, которую нужно заплатить за революцию. Перед Германией, полагал он, лежало два пути: «продолжение прозябания или Революция. В первом случае все медленно ухудшается, во втором — это происходит быстро. «Я предпочитаю второй, — хладнокровно заявлял Георге. — Народ в этом случае погибает. Это не всегда плохо». Действительно, он расценивал насилие и жертву как интеграл политического процесса как такового. «Народ, который желает достичь политической зрелости, — говорил он в конце июля 1918 года, — должен вначале казнить своего короля». Что бы ни говорил Георге, он, конечно, знал, что казни на этом редко останавливаются.

Настойчивое подчеркивание потребности в революции любого рода — и любой ценой — стало чем-то вроде рефрена в рассуждениях Георге летом и осенью перед концом войны. «Анархии должно быть больше, — говорил он молодому другу в августе, — иначе ничто новое не будет принято». Георге был убежден, добавлял тот, что «революция или продолжительная смута были необходимы и неизбежны». И все же, когда Революция действительно произошла в начале ноября, Георге, как и всегда, искренне колебался принять то самое событие, которого так сильно ждал. Безусловно, пока он выздоравливал в Берлине от своей продолжительной болезни, то внимательно следил за событиями, разворачивающимися там и в Мюнхене. Баварские социалисты опередили своих северных товарищей в свержении правящего монарха — последнего короля Виттельсбахов, Людвига III, — и провозгласили республику 7 ноября, на четыре дня ранее ее провозглашения в Берлине. Лидером баварского движения был Курт Айснер, который оттачивал свои риторические и политические навыки как редактор агитационного «Vorwärts» в Берлине. Не будучи уроженцем Мюнхена — фактически, большую часть своей карьеры Айснер провел в столице, — он тем не менее был подлинный «Schlawiner» и чувствовал себя как дома в радикальной богемной атмосфере Швабии, где проживал. И он также разделял то давнее недоверие, даже враждебность к Пруссии, как многие католики немцы с юга, которые и сегодня его испытывают. Таким образом, не только политической целесообразностью, но и выражением собственных принципов Айснера был тот факт, что программа новой «Баварской Народной партии» включала в себя следующее заявление: «Бавария для баварцев! Существующая чрезмерная экономическая и финансовая зависимость Баварии от господства севера должна быть остановлена любой ценой. Во всех этих областях мы выступаем против одностороннего, безжалостного прусского правления, потому что оно привело нас к разрухе в прошлом».

Георге на самом деле все это весьма вдохновляло. Здесь, наконец, нашлись политические деятели, провозглашавшие и претворявшие в жизнь те идеи, которые он и его кружок выдвигали многие годы, даже десятиле-

тия. Георге и его последователи не были, разумеется, одиноки, отстаивая эти идеи, но было время, когда над ними смеялись или их игнорировали, отодвигали их идеи как бесполезные на задворки культурной и политической жизни. Теперь, после того как Пруссия была дискредитирована, а Империя погрузилась в хаос, ценности, которые Георге отстаивал, неожиданно обрели пространство, необходимое для достижения той легитимности и той распространенности, каких они ранее никогда не имели. И несмотря на туманность и неопределенность будущего, Георге считал, что текущий беспорядок был в тысячу раз предпочтительнее старого болота. Как он говорил группе друзей, навестивших его в Берлине в тот ноябрь, ему теперь «многие вещи в Германии нравились больше, чем перед войной». Или, как утверждает другой знакомый, вспоминая о том же самом времени, Георге открыто приветствовал «поражение немецкой империи, освободившее мэтра от того гнета, который он едва ли мог далее выносить». Еще один знакомый вспоминал, что Георге «расценивал поражение не как позор, но как заслуженное наказание, к которому пустой, напыщенный режим второй империи неизбежно приводил».

В общих чертах, чем более хаотической становилась ситуация в Германии, тем больше, кажется, нравилась Георге. В январе 1919 года открытая уличная борьба вспыхнула в Берлине между несколькими конкурирующими политическими фракциями. Вольтерс, который был в столице в то время, сообщал: «Путешествие через город более опасно, чем служба в карауле, где вы, по крайней мере, знаете, что враг только ПЕРЕД вами». Положение во всей Германии ухудшилось до такой степени, что Вольтерс серьезно подумывал о том, чтобы принять предложение перебраться в Швейцарию, где Юлиус Ландман организовал для него должность чиновника по делам прессы в немецкой дипломатической миссии в Берне. Поскольку это был бы серьезный шаг, Вольтерс вначале попросил у Георге «совета учителя». Ответ Георге был сдержанным, но однозначным. «Относитесь осторожно к любой такой эмиграции!» — советовал он, обходительно настаивая, чтобы Вольтерс оставался в Берлине, где был более полезен. Относительно себя Георге говорил, что ничто не может его заставить покинуть страну в таких многообещающих обстоятельствах: «Даже на золотой карете я теперь не уеду». Далекий от ощущений угрозы или опасности, Георге был в своей стихии. Как бы он на это ни смотрел, для него поражение в войне и политические последствия, которые оно принесло, представляли собой самое лучшее, что произошло в Германии за всю его жизнь.

Тем не менее, когда Карл Вольфскель, раздраженный своей праздностью в роли стороннего наблюдателя за событиями, разворачивающимися в Мюнхене, высказал Георге предположение, что настало удобное время, чтобы действовать и обеспечить влияние и власть, пока ее еще можно

было взять, Георге заколебался. «Я думаю, что еще не наступил час для такой деятельности», — сказал он Вольфскелю в День Перемирия. Сходным образом, когда Мельхиор Лехтер неделю спустя спрашивал, следует ли ему принять участие в одном из политических советов, сформированных для управления, и присоединиться к публичному обращению, Георге отговорил его от такого шага. «Все это слова, — передал он Лехтеру через Гундольфа, — тех людей, которые никогда не имели ясного плана действий ранее и поэтому не могут его иметь теперь». Уже следующим летом — Георге как обычно провел его в Швейцарии с Ландманами — Эдит Ландман пыталась склонить его к какой-то политической деятельности. Кажется странным, говорила она, что «когда весь мир жить не может без лидеров и не знает, в каком направлении идти, единственный, кто знает это, стоит в стороне и наблюдает». Георге оставался непроницаемым. «Если мы выступим сегодня с политической программой, — отвечал он, — то никого не удовлетворим. Новая Империя должна начинать хотя бы с нескольких тысяч приверженцев».

Иными словами, неуверенность Георге была мотивирована главным образом прагматическими расчетами. Хотя условия для его дела в Германии были более благоприятными, чем когда-либо прежде, он считал, что подходящий момент не наступил. Его движение было все еще слишком малочисленным, последователей было слишком мало, а остальная Германия не готова была принять его руководство. Георге, как всегда, видел свою роль в обучении своей аудитории, в изменении ее способа мышления и действия, в подготовке ее для будущего, которое, ему казалось, он предвидел. Только тогда, когда подготовительная работа будет закончена, его идеи обретут возможность быть полностью воплощенными в политическую реальность. «Если кто-то захватит однажды власть, — уточнял Георге, обращаясь к фрау Ландман, — если Император придет после Революции, то тогда, вероятно, можно будет последовать за ним. Сегодня ничего нельзя сделать». Что нельзя сделать сегодня, можно совершить завтра, и Георге видел свою обязанность в подготовке к тому, чтобы Император, или *Фюрер*, пришел.

Воздерживаться от прямого политического вмешательства не значит тем не менее не участвовать ни в какой деятельности вообще. Но все же и это должно происходить в той форме, которую Георге признавал и мог одобрить. Почти сразу же после того как война закончилась, он начал готовиться к новому выпуску «Листка за искусство». Последний вышедший в свет номер был издан осенью 1914 года, и с тех пор большое число препятствий делало формирование и напечатание другого номера затруднительным и даже невозможным. Но теперь, вместе с общим ощущением, что корабль отплывает в новые не отмеченные на карте воды, оказалось уместным отметить повод для возвращения к своему собственному от-

правному пункту. В 1917 году «Листок» спокойно отпраздновал двадцать пятый год своего существования, и Георге даже рассматривал тогда возможность выхода в свет юбилейного выпуска, от планов которого отказался лишь по неясным редакционным причинам. Тем не менее ничто не стояло на его пути в конце 1918 года, и он быстро запустил сходный механизм в действие. Хотя этот выпуск и не выходил в свет до декабря следующего года, в основном книга была завершена к июню. Желание Георге, чтобы этот выпуск «Листка» имел далеко идущие последствия, не в последнюю очередь демонстрировалось числом напечатанных копий. У своих истоков в 1892 году «Листок» имел тираж только сто экземпляров; двадцать шесть лет спустя, в его запоздалую годовщину было напечатано и распространено две тысячи экземпляров.

Это должен был быть последний выпуск журнала, завершавший предприятие, которое сопровождало Георге почти всю его поэтическую карьеру и которое на самом деле было центральным, определяющим фокусом всех устремлений большую часть его взрослой жизни. Но ни Георге, ни «Листок» не демонстрировали никаких признаков меланхолии или усталости — они были, как всегда, задиристыми. Георге удостоверился, что его мотивы при публикации журнала были вполне ясными. Возможно, он избегал открытой защиты особой политической позиции, но все еще расценивал свои усилия как обладающие отчетливой целью и как стремящиеся к воздействию на наличную реальность. Год спустя, зимой 1920 года, он оказался в мастерской Лехтера и обнаружил новый «Листок», лежавший на столе. Георге взял его в руки и торжественно подняв вверх воскликнул: «Это — победа Германии над Францией!»

Последний выпуск «Листка за искусство» не только имел самый высокий тираж, но был также самым толстым из серии и насчитывал более трехсот страниц (он объединял два выпуска — одиннадцатый и двенадцатый — в одном). Он имел также самый однообразный внешний вид и дизайн, самое чистое выражение того коллективного духа, который «Листок» и его участники неоднократно выражали как свой идеал и цель. Ни одного из авторов этих нескольких сотен стихотворений, которые он в себя включал, нельзя установить; фактически, никакие имена нигде не обнаруживаются, за исключением титульного листа, где Георге указан как основатель журнала, а Карл Август Кляйн — как редактор, несмотря на тот факт что на самом деле он уже давно сошел со сцены. Иными словами, это старый «Листок». Том открывается воинственным неподписанным введением, которое располагает настоящее предприятие внутри широкого исторического контекста. Но анонимный автор не столько прямо ссылается на события дня, сколько надменно направляет читателя к «более ранним выпускам, которые предоставляют все что необходимо относительно отношений между поэзией и искусством, между жизнью и искусством». Кроме того, он

заявляет, что будет ограничиваться тем наблюдением, что «за рамками отдельного успешного стихотворения ценность взаимосвязанных поэтических высказываний признается все больше и больше». Иными словами, люди начали понимать, что поэзия или литература в целом не просто предоставляют развлечение или приятное времяпровождение, но содержат более глубокие истины о самой жизни. Возможно все же, радость доставлял тот факт, что все более и более растущее число людей начинало понимать действительное могущество поэзии, о котором сотрудники «Листка» всегда знали и всегда говорили. «Даже если, — продолжало введение, — многие общественные деятели уже признают, что о „знамениях времени“ и о том, „что действительно происходит в мире“, им становится известно из поэтических книг, а не из газет, это не имеет большого значения! Лишь немногие могут знать, что в поэзии народа раскрывается его окончательная судьба». То, что некоторые только начинали понимать, было древней истиной. И поэзия не просто говорила правду — она предсказывала будущее.

То, какая судьба ожидает его народ, по убеждению Георге, наиболее откровенно проявляется в одном из его собственных стихотворений, которые он включил в «Листок». Названное «Сожжение храма», оно представляет собой короткое, драматическое стихотворение на восемь страниц, похожее по форме и концепции на «Посвящение в Орден», которое появилось в пятом выпуске «Листка» в 1901 году. Как и в этом более раннем сочинении, Георге изображает здесь типичный религиозный орден — все пятеро разговаривающих персонажей являются «священниками» и индивидуально идентифицируются как «Старший», «Первый», «Второй» и так далее, — и это братство, очевидно, вызывает ассоциации с тем самым «орденом», который Георге возглавлял. Но, как подразумевает название «Сожжение Храма», стихотворение документирует, скорее описывает, некое военное и культурное бедствие. Храм стоит в центре города, который захвачен неназванной расой гигантских воинов во главе с завоевателем с варварски звучащим именем «Или». Или воплощает собой беспощадную разрушительную силу. Вводные строки стихотворения описывают его как человека, опустошившего за один поход цивилизацию, созданную многими поколениями. «То, что строилось годами, — говорит Старший священник, — он сравнял с землей за *один* день». И все же завоеватель разрушает не из ненависти и не все подряд; как говорит другой священник, он «слишком холоден, чтобы ненавидеть». Скорее, он организовал почти методическое наступление с целью уничтожить культуру, которую бесстрастно рассматривает как бесплодную и устаревшую. Когда городские торговцы обращаются к нему, жалуясь на высокие налоги, которые он установил и которые их разоряют, он пугает ответом: «Кто не может жить при мне, должен умереть». Когда матери умоляют его дать еду их голодающим младенцам, он высокомерно сравнивает их всех с животными, говоря: «Было

бы лучше удавить женщин, которые рожают детей на улице». Но завоеватель кажется исполненным решимости не только при устранении элементов, которые считает нежелательными или бесполезными, но и при искоренении всего общества. Он рассеянно слушает просьбы священников о том, чтобы сохранить их святилище и затем отвечает на них словами, которые не случайно имеют близкое сходство с некоторыми из тех самых комментариев, которые сам Георге делал в начале войны. «Вы не можете сохранить гниль своей земли», — говорит завоеватель священникам. «Где же боги, которые больше вам не помогают? / Где книги, образы, которые больше вас не возвышают? / Благодарите того, кто избавляет вас от хаоса». С последней надеждой идет к нему молодая принцесса, отчаянно упрямившая проявить милосердие к ее народу. Обратив к ней «целомудренный ясный взор варвара», он спокойно объявляет свое окончательное решение:

Я посланец факела и стали —
И, я сделаю вас тверже, а не вы сделаете меня мягче.
Вы не знаете, что вас ждет, — я обязан ограбить вас.
Такие вырожденцы, как вы, сами должны сдаться,
Отказавшись от своей воли. Так требует закон.

Осознав, что ничто не смягчит завоевателя, принцесса совершает самоубийство. Стихотворение заканчивается, когда Старший священник объявляет своим братьям, что языки пламени уже лижут все четыре угла их убежища: «Храм горит. Пройдет половина тысячелетия, пока он будет воздвигнут вновь».

Хотя и неясно, что именно должен представлять собой этот храм, Георге, возможно, предполагал, что его разрушение означает распад социальных и политических структур, существовавших в послевоенной Европе. Принимая во внимание близкую параллель между вердиктами завоевателя и воззрениями самого Георге, много раз приветствовавшего уничтожение как неизбежную предпосылку возможного обновления — наряду с не критическим, почти восхищенным портретом безжалостного «варвара», — можно сделать вывод, что Георге расценивал упразднение старого строя, олицетворяемого храмом, как желательное, по меньшей мере неизбежное. Но в течение года, пролетевшего от первых недель революционных волнений и до публикации нового «Листка» в декабре 1919 года, легкомысленный оптимизм, который вначале ощущал Георге, улетучился, уступив место горькому разочарованию и даже мрачной депрессии.

Главной внешней причиной этого драматического сдвига в настроении, кажется, был пагубный дипломатический провал Версальского договора. Столкнувшись с утратой территории Эльзаса и Лотарингии, с фран-

пузской оккупацией плодородных и богатых полезными ископаемыми рейнских земель, с разделением Восточной Пруссии Данцигским Коридором, с унижением, вызванным обязательством сократить армию до символических 100 000 добровольцев, и обремененные компенсациями, которые официально составляли 33 миллиарда долларов, многие немцы думали, что обречены на жестокое и несправедливое наказание. Они убедились в несправедливости мер, когда немецкие делегаты сделали ужасный просчет, согласившись со статьей 231, согласно которой одна только Германия была ответственна за развязывание войны. После того как договор был подписан 28 июня 1919 года, Георге, как почти любой другой немец, гневно осудил его, сказав: «Европа продана этим миром». Десять лет спустя он все еще говорил о чувстве глубокого «позора и бесчестия», которое он испытывал от убийственных условий, навязанных договором.

В дополнение к самому мирному договору, который был унижительным, особое раздражение вызывало то, что американцы, под руководством президента Вудро Вильсона, вышли из конфликта как новая мировая держава. Еще до того как война закончилась, было очевидно, что Соединенные Штаты будут играть главную роль в управлении миром. Фридрих Вольтерс приходил в ужас от этой мысли. Будучи счастлив от того, что видел прусское государство демонтированным, он трепетал от перспективы подчинения американским директивам. «Было позором, — писал Вольтерс Гундольфу в октябре 1918 года, — что самый отвратительный сброд из-за океана должен был говорить нам, что делать, и ужасно думать, что месть безбожных народов должна опустошить и осквернить наши священные земли». Немцы чувствовали, что их считали второразрядными гражданами, вынужденными принимать условия, специально разработанные, чтобы унижить и искалечить их страну. Не удивительно, что гнев и разочарование, которые вызывал этот договор, многие немцы направляли на самого Вильсона, которого считали лично ответственным за то, что он разрешил французам и англичанам разрезать Германию на удобные для переваривания куски. Но признаком глубокого разочарования и из-за проигранной войны, и из-за потерянного мира был факт, что именно тот человек, который опрометчиво пообещал спасти Европу от самой себя, стал считаться ее разрушителем.

Независимо от того, кто в конечном счете считался ответственным за окончательную форму соглашения (и список «козлов отпущения» постоянно расширялся за эти годы), немцы любых политических убеждений реагировали на его грубые условия с возмущением, негодованием — и страхом. Многие осуждали договор как форму возможного порабощения и видели в нем формализованное выражение ненависти ко всей их культуре. Главным образом его рассматривали как тонко завуалированную попытку отомстить за все реальные или воображаемые нарушения, совершенные Гер-

маний в прошлом. На самом деле, многие немцы считали соглашение коварным продолжением войны дипломатическими средствами и зловеще предсказывали, что рано или поздно оно приведет к яростной обратной реакции.

Внутри кружка Георге общим убеждением было то, что Версальское соглашение являлось поражением, которое приведет только к еще большему бедствию. В мае 1919 года, непосредственно перед тем, как соглашение было завершено, Эрнст Глокнер отметил в своем дневнике: «Этот предварительный мир означает, что через десятилетие наступит война, большевизм, голод, убийства и беззаконие, массовая смертность, нищета для нескольких поколений». Говоря, что чтение положений договора составило, «возможно, самые мрачные часы жизни», Глокнер с печалью высказал пророческое предчувствие. «Впоследствии с этого дня, — писал он, — люди начнут отсчитывать время, которое будет принадлежать самому ужасному, что испытывал мир». Вместо того чтобы гарантировать прочный мир и стабильность, договор, как считал Глокнер, «опустошит все мироздание».

Собственная формальная реакция Георге на Версальский договор была облачена в короткое стихотворение «К Мертвецу», которое он включил в последний «Листок». Стихотворение впервые появилось тогда, когда конференция по соглашению подходила к концу. В начале июня, Георге призвал своих друзей собраться для трехдневной встречи в Гейдельберге, чтобы прочесть им вслух свои новые произведения. Среди присутствовавших были Бертольд Валентин, Эрнст Морвиц, Глокнер, Тормелен, Вольдемар Уксукуль, Перси Готейн и Эрих Берингер. Брат Эриха, Роберт, не смог приехать, потому что Майнц, где он жил, лежал в пределах французской оккупированной территории. Фридрих Вольтерс отсутствовал вследствие длительной болезни, подхваченной им в завершающие месяцы войны и все еще препятствовавшей его путешествиям. Те, кому удалось прибыть, остановились в комнатах, занятых Гундольфом на первом этаже виллы Лобштейна, обширного, изящного, относящегося к эпохе Ренессанса строения на вершине лестницы на холме, ведущей к Гейдельбергскому замку. Хотя они были счастливы видеть друг друга вновь — некоторые после значительного перерыва, — события последних нескольких месяцев неизбежно создавали мрачную атмосферу, заметную и на некоторых фотографиях.

Стихотворение Георге «К Мертвецу» едва ли могло скрасить настроение его друзей. В нем поэт предстает в облики оракула, и пророчества, которые он совершает, или призывы, которые издает, предвещают не одну, а две грядущие войны. В будущих пожарищах, обещает он, немецкий народ восстанет вновь и отомстив за позор, на который его обрекли поработители, присоединится к убитым солдатам, теперь провозглашенным героями, павшим на первой войне:

Если однажды это поколение очистится от позора,
Убежит от рабских оков,
Ощутит хотя бы жажду чести,
То кровавый пожар озарит поле битвы,
Заполненное бесчисленными могилами...
И грозные армии двинутся —
Разразится самая ужасная буря —
Возвращение мертвых!

Если этот народ пробудится от трусливой дремы
И вспомнит свой выбор и свою судьбу,
То раскроется божественное объяснение неопишемого ужаса.
Тогда поднимутся руки
И рты наполнятся хвалой,
Тогда царское знамя со знаком истины
Будет трепетать на ветру:
Слава героям!

Если не наделять Георге действительными способностями к предсказаниям, то поразительно, насколько это предвидение, даже в своих частностях, в конечном счете сбылось! Не только негодование по поводу Версальского договора, способствовавшее продвижению к власти режима, который обещал полностью изменить его последствия, в каком-то отношении неизбежные, но также и внешние атрибуты этого режима и формы поведения, которые он инспирировал — «вскинутые вверх руки» и «наполненные хвалой рты», — все неожиданно оказывается предсказанным в стихотворении. Еще более поразительно, что «знак истины», украшающий знамя, оказывается определяющим символом этого будущего режима, где он станет, возможно, самой легко узнаваемой и печально известной эмблемой всех времен — эмблемой, которую Георге и его компаньоны приняли как свою собственную и провозгласили знаком своего движения.

Несмотря на общее чувство пессимизма и уныния, которое большую часть 1919 года разделяли все, сам Георге тем не менее не впал в апатию. Во всяком случае, само опустошение, поразившее Германию, казалось, возбуждало его, и он активно искал способы использовать в своих интересах вакуум, рожденный крушением старого строя. Когда Эдит Ландман спросила его в то лето, не намерен ли он провести зиму в Базеле, чтобы избежать беспорядков, которые, как многие ожидали, разразятся по всей Германии, Георге отклонил приглашение, сказав: «Ах, там еще очень незначительные волнения». Необходимо было, полагал он, не предотвращение конфликта, а небольшое стратегическое подталкивание к дальнейшей неизбежной конфронтации. Но следовало быть осторожным. «До сих пор мы все еще остаемся невредимыми, — доверительно сообщал Георге фрау Ландман, обращаясь к группе своих последователей, — но

если мы выступим с политической программой, сражение разразится немедленно. Тогда буржуа увидят, насколько мы их презираем». Очевидно, к концу года, сразу же после того, как появился «Листок», Георге думал, что еще не настало время отбросить любые оставшиеся ограничения и продолжать наступление.

В начале января 1920 года, во время своего ежегодного пребывания в Берлине, Георге, сопровождаемый Вольтерсом, посетил Валлентина. Не желая потерять импульс, произведенный новым «Листком», Георге решил восстановить также и «Ежегодник духовного движения». Хотя первоначально он и задумывался как ежегодный журнал, его последний номер появился в свет в конце 1911 года. За это время все изменилось, и Георге был намерен сделать так, чтобы «Ежегодник» отражал эти перемены. Раскрывая свои планы Валлентину, он указал, что введение должно иметь прямое отношение к «политическому». Новый «Ежегодник», уточнил Георге, будет иметь смысл только в том случае, если в качестве своего отправного пункта займет особую новую духовную позицию. «На сей раз это позиция, которая принадлежит политическому. На сей раз не было никакого способа избежать политики». Валлентин возразил, говоря, что они всегда тщательно ограждали себя от любого политического загрязнения духовной сферы политическими вопросами. Георге, напротив, настаивал: «Если ранее политика оставляла духовную сферу нетронутой, то теперь она оказывает такое давление на наши жизни, что мы не можем не занять определенную позицию по отношению к ней». Кроме того, продолжал он, обстоятельства никогда не были столь благожелательны, как в настоящее время. «Верно, что ранее политическое могущество власть имущих также было столь велико, что никто не был способен сделать что-то вопреки им. Сегодня этого уже нет. Может случиться так, что наших возможностей будет достаточно, чтобы обратиться к каким-либо действиям, и в настоящий момент это становится необходимым и весьма многообещающим». Этим же летом Георге неоднократно говорил о своем желании, что новый «Ежегодник» должен «заняться главными политическими движениями настоящего времени».

Георге, должно быть, чувствовал, что омоложением разрабатываемого «Ежегодника» и новыми распространяемыми выпусками «Листка» — даже при весьма тусклых окончательных перспективах — по крайней мере, ускоряет неизбежное. Но в его арсенале было также и новое оружие, то, которое будет становиться все более и более важным в следующие несколько лет и, фактически, затмит все остальные по силе и глубине своего воздействия. Введение в «Листок» содержало косвенную ссылку на этот другой механизм пропаганды идеологии кружка, указывая: «Вторая стадия нашего влияния также стала со временем очевидной — через вызывающие широкое восхищение книги и обзоры». В частности, две такие книги недавно появились и действительно были встречены с большим успехом и уваже-

нием у критиков. В 1916 году Гундольф издал монументальную книгу о Гёте. Несмотря на объем более восьмисот страниц и на бедствия войны, она сразу же была распродана. Только год спустя, в декабре 1917 года, Гундольф сказал Георге, что Бонди готовит уже четвертое издание — «почти все экземпляры третьего издания были заказаны еще до того, как оно появилось». «Гёте» стал бестселлером, и не только по академическим стандартам: к 1931 году было напечатано пятьдесят тысяч экземпляров. Даже коллеги Гундольфа реагировали со сходным, если не единообразным энтузиазмом. В 1921 году сотрудники «Эфориона», академического периодического издания о современной немецкой литературе, подготовили специальный выпуск, посвященный исключительно работе Гундольфа, включая статьи и обзоры некоторых ведущих исследователей немецкой литературы тех дней. Не все статьи были положительными, а некоторые были критическими, но сам факт, что весь выпуск сконцентрирован на книге Гундольфа, был залогом осознания ее значимости.

Что позволило «Гёте» Гундольфа найти понимание у столь широкой публики, завоевать внимание, если не всегда уважение, академических пэров и жгучую любознательность среднего образованного читателя — так это прежде всего его по-настоящему оригинальный взгляд на поэта. Он был основан не столько на тщательном анализе отдельных работ или биографических деталей, сколько на постулате, что Гёте представляет собой меру и модель нашего существования, и что каждое его высказывание, действие, его опыт выражают его существо. Не только его стихи, пьесы и романы, доказывал Гундольф, но вся жизнь Гёте формировала материал для его творческой энергии. Вместо того чтобы рассматривать жизнь и произведения как раздельные сферы, Гундольф расценивал их как части большого неделимого единства. Это был новый и радикальный подход, противоположный тому способу, каким биографии писались прежде, — Гундольфу удалось сформировать концептуальную или методологическую основу, на которую будет опираться современная литературная биография. Это была попытка понять Гёте с такой всесторонней точки зрения, которая фокусируется и основывается на движущих силах каждого аспекта его жизни — жизни как единого самодостаточного целого, само себе дающего законы, — что было особенно привлекательно для поколения, ощущавшего, что утратило почти все иные политические и культурные достоверности.

Кроме того, что столь же важно, Гундольф был блестящим, завораживающим писателем, способным то, что в менее умелых руках стало бы сухим и абстрактным педантизмом, заставить сверкать живостью, пониманием и остроумием. Даже его хулители признавали, что Гундольф — чрезвычайно одаренный писатель, а многие утверждали даже, что его книга не столько ученый труд, сколько произведение искусства (хотя некоторые

считали описательность скрытым отказом от его академических способностей). Томас Манн признал это достоинство и нашел для него название, уподобив книгу Гундольфа «интеллектуальному роману». Это подходящая характеристика — книга часто читается как интеллектуальный приключенческий рассказ, с героем-протагонистом,двигающимся по жизни, обладающей всей целеустремленностью и прямоотой литературного творения.

Но окончательная и, возможно, самая важная причина огромного успеха книги вообще не имела общего ни с Гёте, ни с Гундольфом. Некоторые из рецензентов отмечали, что Гундольф «не просто хочет описать жизнь Гёте», но вдохновляется более широкими «педагогическими потребностями» и «радикальной наклонностью к героическому вероисповеданию». Большинство проницательных читателей признавало, что Гундольфу были интересны, в соответствии с названием его эссе для последнего «Ежегодника», «модели», образцовые фигуры, воплощающие в себе то, что было великим, бесконечным и прочным. В таких людях Гундольф видел самое высокое выражение человеческого. Они исцеляли раскол между телом и духом, мыслью и действием, инстинктом и знанием. Как полагал сам Гундольф, «в некоторых героях восстанавливается единство культуры». Гёте в изображении Гундольфа был одним из таких героев. Но даже он, великий олимпиец, мудрец из Веймара, возродивший немецкую культуру, не достиг вершины, которую покорил более поздний идеальный образец и лидер. Исследование Гундольфа о Гёте, в дополнение к его внутренним целям, было также своего рода предварительным исследованием более важного предмета, предварительным очерком, излагающим исторические и методологические основания, на которые будет опираться его понимание другого, еще более исключительного, человека. В реальности, эзотерическим предметом «Гёте» Гундольфа был не кто иной, как сам Стефан Георге.

Гундольф, таким образом, создал новый, фактически не имевший прецедентов жанр письменности. Он не был ни обычной биографией, ни литературной критикой, ни историческим исследованием — помимо своего блестящего стиля книга отличалась тем, что не содержала сносок, указателей, библиографии, никаких иных обычных атрибутов научного исследования. Это было бескорыстное объективное выражение ученой эрудиции. Скорее, Гундольф сознательно использовал фигуру Гёте как инструмент, чтобы выдвинуть определенную идеологическую повестку дня, связанную с Георге и его кружком. Немного преувеличивая, можно сказать, что это была возвышенная версия агитации и пропаганды. Сам Георге остро осознавал — и энергично одобрял — активистский характер книги и, очевидно, оправдывал ее цель. Он даже выдумал название для этой новой формы письменности, название, указывавшее на связь с Духовной империей, которой, как предполагалось, эта новая форма должна содействовать.

Георге называл работы, написанные его последователями в этом русле, «книгами духа» — *Geistbücher*. И чтобы удостовериться, что все понимали, какова их реальная цель, он регулярно говорил своим слушателям: «*Geistbücher* — это политика».

В дальнейшем, как очевидный признак, что все книги принадлежат одному классу, что их объединяет общий дух и они посвящены одному делу, Георге поручил Мельхиору Лехтеру разработать эмблему, которая будет украшать каждую книгу серии. Начиная с 1916 года, с публикации «Гёте» Гундольфа, и до 1934-го в общей сложности восемнадцать книг вышли в свет с эмблемой Лехтера, тесненной золотым рельефом на обложке и напечатанной на титульной странице. Это была окружность со словами *Blätter für die Kunst*, расположенными вокруг границы. В центре, окруженная внутренним кольцом стилизованных лучей света, находилась безошибочно узнаваемая свастика.

Свастика, как мы помним, долгое время была частью иконографического репертуара внутри кружка Георге. Первое ее появление приходится на середину 1890-х, когда Альфред Шулер, который видел в ней символическую квинтэссенцию своих космических теорий, рассматривал даже вариант замены ее названия на неудобно произносимое выражение «кривой крест». Георге изредка использовал свастику как декоративный мотив для своих собственных произведений, например для украшения стихов, которые издал для Гундольфа в 1902-м в день, когда тому исполнилось 22 года. Шесть лет спустя первый том переводов Шекспира был выпущен в разработанном Лехтером роскошном издании с бросающейся в глаза как чертой орнамента свастикой. Каждый из трех «Ежегодников» также демонстрировал этот символ на задней обложке. Для оформления книги о Гёте, открывающей собой запланированную новую серию, Лехтер предложил Гундольфу свастику как символ, который не только имел двадцатилетнюю историю внутри самого кружка, но также напоминал его широкое использование в Индии, намекая на собственные мистические наклонности Лехтера. Он писал Гундольфу в январе 1916 года: «Мне казалось, что как сигнатура для научных публикаций „Листка“ неоднозначная, таинственная свастика, катящееся колесо, была вполне подходящим символом». Таким образом, это был преднамеренно загадочный знак, привлекательный как раз потому, что не имел никакого устойчивого, стабильного значения и позволял использовать его в том смысле, какой Георге и его соратники ему приписывали. Прежде всего он не был опошлен или осквернен популярным использованием.

В 1928 году, когда сходство между маркой «Листка за искусство» и символом нацистской партии уже нельзя было игнорировать, Георге попросил Бонди издать брошюру с формальным заявлением. Указывая, что символ «может быть найден уже в 1910 году в публикациях „Листка за ис-

кусство“», брошюра стремилась подтвердить приоритет кружка в обладании свастикой, ясно давая понять, что у него нет никакого намерения утратить виньетку, которая по праву ему принадлежит. «Когда в октябре 1918 года этот древний (индийский) символ был назван *Hakmkreuz*, — провозглашала брошюра, — и принял свое настоящее значение, кружок „Листка за искусство“ уже не мог избавиться от сигнатуры, которую ввел за многие годы до этого». Это казалось вполне справедливым. Свастика стала своего рода ярлыком или эмблемой «Листка», и Георге, гораздо более чуткий к подобного рода вещам, чем принято считать в силу его надменной позиции, не желал отдавать такую влиятельную торговую марку. Но брошюра завершалась классическим тогда для «Листка» лукавством. «Любой, кто даже поверхностно знаком с книгами, изданными под этим символом, — гласила она, — должен знать, что они не имеют никакого отношения к политике».

Хотя впоследствии это замечание было принято как одно из «доказательств», что Георге отрицал любую связь между своим царством и национал-социализмом, грубая уклончивость заявления должна оставить в недоумении любого, кто хотел бы всерьез ему поверить. Ибо сам Георге бесчисленное множество раз и по самому разному поводу говорил, что не только книги, напечатанные им под знаком свастики, но и вся его деятельность в целом за предшествующие два десятилетия была в высшей степени и даже намеренно и целеустремленно политической. Тем не менее, как и всегда, это должна была быть политика, какой он ее понимал, и политика исключительно под его руководством. Что на самом деле имел в виду Георге в брошюре Бонди — то, что книги, которые вышли под его эгидой, не имели никакого отношения к чьей-либо еще политике, но не к его собственной. Все же к 1928 году немногие люди умудрялись сохранять в уме такие тонкие различия, тем более что области совпадений были достаточно велики, чтобы вызвать волнения по поводу некоторых несоответствий, казавшихся чрезмерно изощренными.

Помимо политики то, до какой степени Георге был не только тайным предметом *Geistbucher*, но также глубоко причастным к их написанию и публикации, раскрывается в трудном рождении следующей книги серии. В 1918 году Эрнст Бертрам издал свою книгу «Ницше: Опыт мифологии», украшенную новой эмблемой свастики, предусмотренной для «научных» работ кружка. Друг Бертрама, Томас Манн, который читал или слушал отдельные главы книги, пока она писалась, пришел в восторг, обнаружив как запрограммированное родство с более ранней работой Гундольфа, так и ее собственные важнейшие независимые достоинства. «Если кто-то возьмет вашего «Ницше» вместе с «Гёте» Гундольфа, — писал Манн Бертраму в сентябре 1918 года, — то не сможет избежать мысли о том, какого высоко-

го уровня культуры, интуиции, умозрения и духовности достигла наша история литературы». Как и книга Гундольфа о Гёте, так и «Ницше» Бертрама стали феноменальным успехом. В начале 1919 года, спустя всего лишь шесть месяцев после ее публикации, она становится первой книгой, которая получила недавно учрежденную Премию Ницше. В 1929 году, когда вышло седьмое издание, тираж «Ницше» составил двадцать одну тысячу экземпляров. Влияние книги Бертрама на восприятие Ницше в период двух критических десятилетий стало столь большим, что когда Вальтер Кауфман писал о реабилитации философа в 1950 году, то делал это явно противопоставляя свою работу Бертраму. Кауфман объяснил, что «никакая другая книга о Ницше не оставила такой глубокой печати на литературе» и что ему было предназначено стереть то пятно, которое, как он полагал, эта печать образовала. Но, как Кауфман также полагал, Бертрам — и Ницше — только одна сторона истории. Реальный исток и фокус книги располагались в другом месте.

Любопытно, что книга появилась не по прямому настоянию Георге, а при постоянной поддержке соратника Бертрама, Эрнста Глокнера, который с надеждой взирал на нее как на средство преодолеть пропасть, разделяющую двух самых важных в его жизни людей. Принимая во внимание, что Бертрам всегда сохранял выверенную дистанцию между собой и Георге, Глокнер полностью посвятил себя служению Учителю. Их отношения, в то время не лишённые напряженности, были весьма близкими и, по крайней мере, насколько Глокнер был в этом заинтересован, предполагали определенную страсть. Как и ожидалось, Бертрам испытывал периодические приступы ревности или простой раздражительности по поводу привязанностей своего друга, чему Глокнер противостоял, пытаясь увлечь Бертрама общей борьбой. Уже на Рождество 1914 года, спустя полтора года после встречи Глокнера и Георге, Глокнер попытался убедить Бертрама поставить свои таланты на службу государству Георге. «Мы должны стать храбрыми и самоотверженными, если хотим жить, — говорил ему Глокнер. — Мы должны приносить жертвы только великому делу, великому Богу, который явился в нашей среде». Бертрам отказался признать реальность этого бога, упрямо придерживаясь своих представлений об индивидуальности. Глокнер попытался наставить его на верный путь: «Эрнст, мы *должны* выбраться из нашей маленькой жизни и судьбы: день принадлежит уже не нам, а, скорее, великой цели. Если вы не можете увидеть это один, то узрите через меня. Принесите здесь жертву, Эрнст!»

Что повлекла бы за собой такая жертва, Глокнер объяснял Бертраму в другом письме несколько дней спустя. «Потребность влияния на молодежь и возможность его осуществлять, желание, что ты можешь и будешь делать это *хорошо*, — это мысли, которые занимали меня долгое время». Иными словами, Глокнер мотивировал Бертрама написать книгу — такую,

которая произведет впечатление на немецкую молодежь и даст ей наставления. «Ваши способности лежат в этом направлении. Вы многое знаете, в вашем распоряжении имеется форма, способная очаровать молодых людей и привлечь их к себе». Единственный вопрос: о чем должен был написать Бертрам? Здесь у Глокнера также было немало полезных предложений. Он знал, что Бертрам равнодушен к Ницше, но сам предпочитал Новалиса и особенно Гёльдерлина, которым «остро интересовался», полагая, что величие того «невероятно возрастает, даже рядом с величием Ницше». Поскольку именно Бертрам и смог бы на самом деле написать книгу, Глокнер считал благоразумным предложить компромисс. «Исследование Гёльдерлина и Ницше было бы подходящим занятием, — признавал он, — и, конечно, доставило бы вам немало удовольствия». Однако Глокнер был хорошо осведомлен, что существовало еще более высокое испытание, нежели то, которое следовало пройти вначале. «Поговорите с Гундольфом, — убеждал он Бертрама, — чтобы узнать, допустима ли такая тема». Без указания Гундольфа, которое тот мог дать только получив благословение Георге, все это начинание было бы потраченным впустую усилием.

Собственное отношение Георге к Ницше было сложным и претерпевало постоянные неуловимые изменения. Имя Ницше впервые появляется в связи с Георге уже в 1893 году, когда Карл Август Кляйн упоминал о нем положительно в эссе второго выпуска «Листка». В то время Георге отвернулся от своих французских наставников и обратился к тому немецкому наследию, которое мог охватить и использовать как свое собственное, — и Ницше казался подходящим предшественником. Но хотя Ницше всеми рассматривался как достойный товарищ по оружию, Георге никогда не оценивал его без критических оговорок — в частности никогда не признавал его влияние (в 1916 году, когда Бертрам углубился в работу над своей книгой, Георге сказал Глокнеру, что познакомился с сочинениями Ницше только тогда, «когда все самое важное с ним уже произошло; Гёльдерлин был гораздо раньше»). Даже в стихотворении, посвященном Ницше в «Седьмом кольце», восхищение Георге могущественным «Громовержцем», как Ницше там назван, уравновешено обвинением, что тому недоставало собственного вкуса к поэзии. «Эта новая душа, — завершается стихотворение ссылкой на собственные слова Ницше в „Заратустре“, — должна была петь не нуждаясь в словах!» Или, как Георге выразился несколько определеннее в беседе с Эдит Ландман, Ницше «не обладал истинным чувством поэтического». То, что пробуждало у Георге самые глубокие опасения относительно Ницше, так это «предательство» им своего «учителя», Рихарда Вагнера. Именно это Георге никогда не мог простить, ни своим ученикам, ни чьим-либо еще.

Сама реакция на очевидную нелояльность Ницше, так же как и на его предполагаемый отказ понимать поэзию, опять-таки подчеркивает, что Ге-

орге понимал иных людей, включая и Ницше, только сквозь призму своей собственной жизни и своего опыта, оценивая их по тому, насколько они близки — или чаще далеки — от того образа, который он имел о самом себе. В тех случаях, когда поведение или мнения Ницше соответствовали его собственным, Георге считал их приемлемыми. «Все негативное, что Ницше сказал о Германии в „Ессе Номо“, — однажды, например, одобрительно отметил Георге, — сохраняет свое значение и сегодня». Сходным образом, комментируя собственный странствующий образ жизни, свои непрерывные путешествия от города к городу, Георге сказал, что «никогда нигде не жил — то же самое было и с Ницше». Но те аспекты жизни Ницше, которые отличались от его собственной, Георге подвергал резкому осуждению. На вершине списка претензий находилось то, что Георге рассматривал как неспособность Ницше произвести на свет учеников. Обмениваясь мнениями с фрау Ландман летом 1919 года и вспоминая о Космическом круге, Георге раскритиковал его основных участников — Клагеса, Шулера и Вольфскеля — за то, что те не позаботились оставить после себя жизнеспособное наследие: «Все они не знали, как оставить после себя потомство. У них не было ни одного ученика, как и у Ницше». Георге даже предположил, что если бы Ницше умудрился привлечь к себе своих собственных последователей, то, возможно, имел бы большее воздействие на него. Георге сказал, что если когда-либо «услышит что-то впечатляющее о его жизни, что у него были ученики, то он станет ближе к нему». На самом деле Ницше умер, лишенный хотя бы одного ученика, который мог бы продолжить его дух, и работа его жизни оказалась растроченной попусту. С течением времени Георге стал еще более непреклонным в своей критике Ницше, и в конце 1920-х у него были почти исключительно отрицательные комментарии относительно него. «У него нет ни индивидуальности, ни доктрины, ни направления», — неразборчиво, скорее, даже загадочно заявил однажды Георге. В начале 1926 года, когда кто-то упомянул об отношении Ницше к визуальным искусствам, Георге прервал беседу, заявив: «Об этом ничего нельзя сказать, потому что у Ницше такого отношения не было».

Несомненно, увлеченность Георге Ницше, потребность сравнивать себя с ним, чтобы только продемонстрировать собственное превосходство, означает более амбивалентное отношение к нему, чем Георге готов был признать. В мыслях Ницше было многое, что внутренне привлекало Георге, оба имели один и тот же идеологический темперамент, но для Георге было невыносимо представление, что он мог зависеть от предшественника или что какая-то из его идей не была его собственной. Самое большее, что Ницше могло быть дозволено, — стать заслуживающим похвалы, даже принесшим пользу первопроходцем, но в конечном счете павшим в силу порочного характера.

Известие о планах Бертрама написать книгу о философе, должно быть, пробудило в Георге необычную смесь эмоций. Весной 1917 года Курт Гилдебрандт навестил Георге в Гейдельберге, и Учитель раскрыл тайну, что «некто» — это была врожденная привычка Георге никогда не выдавать больше информации, чем было нужно, — работает над новой книгой о Ницше. Георге сказал, что одобряет это начинание, добавив, что было бы выгодно «определить, что Ницше все еще сохраняет свою ценность». Эта «чья-то» книга могла быть ценной, если критически оценит, просеет через Ницше то, от чего можно было благополучно отказаться, и то, что все еще стоило сохранить. И, по мнению Георге, то, что у Ницше могло послужить продвижению его собственной программы, имело более чем достаточное основание, чтобы выжить.

Поэтому книге Бертрама «Ницше» было предназначено выполнить сразу несколько функций, причем потенциально противоречивых: с точки зрения Георге, ее критическая сторона должна была очистить мысль Ницше от всего непродуктивного — то есть от того, что наиболее противоречило мышлению самого Георге, — и показать, как Ницше подготовил путь к появлению еще более великого духа. Для Глокнера она была бы идеальным средством для общения и, если возможно, сближения его Учителя и его друга. Но для Бертрама у книги была только одна-единственная цель, абсолютно не связанная с Георге, его кружком и даже вообще с внешним миром. В январе 1918 года, когда Бертрам закончил основную часть рукописи и послал ее своему другу Глокнеру, тот искренне похвалил Бертрама. «Вы действительно достигли чего-то весьма необычайного, — написал ему Глокнер. — И я поздравляю вас, дорогой Эрнст, с вашей первой работой, которая откроет для вас более широкую публику, которая сделает вам самое лучшее имя». На Бертрама, страдавшего от периодически повторяющихся неприятностей, вызванных тем, что Глокнера мог переманить к себе Георге, эти слова подействовали как бальзам от страхов, вызвали прилив благодарности и даже облегчения. «Спасибо, мой дорогой и верный друг, за то, что вы дали мне возможность окончить эту работу и сделать *вас* довольным ею, — писал Бертрам. — Вы должны знать, что вся работа, хорошая она или нет, — это ваш подарок. И все, что может появиться в будущем, будет сделано только благодаря вашей любви».

Этот труд любви, каким он буквально мог быть для Бертрама, должен был еще пройти проверку у Георге, прежде чем мог быть опубликован Бонди. (И Бертрам был заинтересован, чтобы он вышел в свет именно у Бонди, а не у кого-то еще: когда некоторые его друзья попытались убедить его пойти к другому издателю — а именно к Курту Вольфу в Мюнхене, — Бертрам сказал Глокнеру: «Я предпочел бы Бонди из-за атмосферы в целом».) Работая над книгой, Бертрам, таким образом, ясно представлял своих главных читателей — и ценителей — и старался удовлетворить тем

критериям, которые, как он знал, будут к ней применены. Когда Глокнер прочитал рукопись, то также признал стратегию своего друга и особенно похвалил одну главу, названную «Пророчество»: «„Пророчество“ произвело на меня большое впечатление — образцовая глава, которая окажет сильное воздействие на Георге. Она, изменив имена, говорит о его жизни, объясняет в главных чертах его характер; и бытие пророка никогда, вероятно, ранее не было столь ясно раскрыто, как в этом случае». Поразительно, что Бертрам ответил на энтузиазм Глокнера по поводу тесной параллели, проведенной им между Ницше и Георге, с явной прохладцей, даже неловкостью. Сам факт, что эта параллель могла быть положительно воспринята Георге, сухо писал Бертрам, должен быть расценен «в данном случае как упрек». Вообще говоря, Бертрам беспокоился, что «слишком многое от Георге попало в его книгу». Когда Глокнер прочитал это, он прореагировал со всей пылкостью и убежденностью истинного верующего. «И если в книге — многое от Георге, то что в этом плохого? — риторически спрашивал он Бертрама. — Разве возможна книга без него? Я всегда думаю, однажды все будет ориентироваться на этого уникального человека; хочет этого мир или не хочет, уже не имеет значения. Если и останется что-то от нашего времени — включая гул и грохот войны, — то это он и его творения. Тот, кто достиг такой пронизательности раньше, чем остальные, должен считать себя счастливым! Поэтому не надо больше об этом беспокоиться».

Но страдания Бертрама еще только начинались. В то время как Георге был в Мюнхене в конце зимы и в начале весны 1918 года, Бертрам прочитал ему большую часть книги вслух, обычно под несдержанные аплодисменты. «Он неоднократно объявлял мою книгу лучшей возможностью и способом сохранить образ Ницше сегодня», — сообщил Бертрам Глокнеру после одной такой сессии в марте. В другом случае Бертрам сказал, что Георге «все время одобрительно бурчал, а после этого сказал: „Очень хорошо, очень хорошо, это очень хорошо!“» Явно убежденный, что книгу можно расценивать как официальную публикацию для «Листка», Георге рекомендовал Бертраму послать ее Гундольфу, чтобы узнать его мнение, — и если он встретит ее с одобрением, отправить ее Бонди с рекомендацией для издания. Гундольф был настроен главным образом положительно, но его комплименты часто звучали двусмысленно — книга, писал он, например, Бертраму была «нова и нигде, несмотря на такую опасность, не была скучной», — и Гундольф предлагал различные редакционные переработки, фактические исправления и стилистические усовершенствования.

В конце концов, после того как Бертрам сделал большинство предложенных исправлений, книга появилась в августе 1918 года. Она имела посвящение «Моему другу Эрнсту Глокнеру» и была украшена свастикой, указывавшей на членство в кружке, ассоциируемом с Георге. Даже при

том, что Бертрам был далеко не полностью удовлетворен утомительным процессом и, несмотря на то что даже после длительной проверки, книга все еще не соответствовала официальной ортодоксии кружка во всех деталях, конечный результат тем не менее нес на себе безошибочные следы атмосферы, в которой и для которой эта книга была написана. Сам Глокнер прекрасно подвел итог в письме Бертраму:

То, чего Гундольф добился иным способом своим «Гёте», вы по своему добились своим «Ницше». Обе книги, однако, достигли *единственной* цели — они подняли эти фигуры из глубин, и теперь они стоят здесь подобно сияющим идолам. Одна общая черта сообщила им нечто такое, чего ранее недоставало всем предшествующим изображениям и что также отличает их от более ранних попыток, — почтительный поклон перед служением великого человека, который позволяет вновь увидеть в их фигурах божественное и вновь им поклониться. На самом деле это чувство столь сильно в обеих книгах, что вынуждает смотреть на них как на единое целое и через их разные облачения видеть их внутреннее родство.

В следующие полтора десятилетия еще шестнадцать книг — все посвященные обожествлению «великих» людей — были изданы с тем же самым намерением, посредством примерно той же самой процедуры и в том же самом «облачении». Некоторые вызвали больший резонанс, чем другие, некоторые существенно изменили способ, каким воспринимались предметы их описания, а некоторые были не в состоянии вызвать вообще никакого отклика. Но взятые вместе, с их общей целью, они оказали влияние, которое вышло далеко за пределы оценки отдельных фигур, ими рассматриваемых, и глубоко повлияли на тот способ, каким история культуры в Германии описывалась и рассматривалась. И это влияние было признано почти сразу же. Уже в 1921 году выдающийся ученый и богослов Эрнст Трёльч написал статью, озаглавленную «Революция науки» («Die Revolution der Wissenschaft»), сфокусированную на той центральной роли, которую Георге играл в раздувании того, что Трёльч назвал «этой духовной Революцией». Трёльч также отметил, что во всем этом движении было что-то парадоксальное, даже противоречивое. «Потому что, — писал он, — „революция науки“ на самом деле является началом великой мировой реакции против демократического и социалистического просвещения, против рационального самодовольства понимания, без каких-либо ограничений управляющего существованием, и против предполагаемой догмы о равенстве и разумности человеческих существ». Эта революция, таким образом, отличалась от имевшей место политической — они преследовали противоположные цели. Другими словами, делал вывод Трёльч, заимствуя комментарий, сделанный Новалисом относительно Эдмунда Бёрка, «все эти книги были „революционными книгами против революции“».

Как бы ее ни определяли, это, вероятно, была не та революция, к которой Георге первоначально стремился после войны. Но это было тем не менее начало. И, как сам Трельч напомнил своим читателям, «духовная» революция не должна недооцениваться только потому, что произошла в сфере, не видимой для глаз. Обращаясь к тем, кто видел в описываемых интеллектуальных конвульсиях безопасный романтизм, Трельч понимал, что люди, которые принимали всерьез только «влиятельные промышленные комплексы и организации рабочих, а также перестройку мировой политической ситуации, увидят, конечно, бессилие такого романтизма. Но тот, кто признает одновременно и значение доктрин и значение идеалов, никогда не будет расценивать духовные преобразования как нечто, не имеющее значения последствий».

Для того, кто всегда полагал, что духовная сфера была первичным двигателем физической, это едва ли было новостью. Но Георге мог, по крайней мере, принять это за знамение — мировое испытание может привести к пониманию, что судьба мира, возможно, не находится в руках тех, кто занимает обычные должности во власти. Действительность, думал Георге, была только конечной формой того, что значительно раньше сформировалось в духе. «Всему, что находится в священных книгах, — говорил он Эрнсту Роберту Куртиусу в апреле 1919 года, используя термин, который ему нравилось теперь использовать, чтобы сослаться на свои собственные работы, — всегда было истинным и всегда будет истинным. Это и есть путь священных книг. Вначале мы должны пройти период полного распада. Но затем все исправится. Только такое утешение я и могу всем дать. Сомнительно, конечно, что мы увидим это при жизни. Но духовные решения уже все были найдены». Для Георге вопрос состоял не в том, что произойдет, а в том, когда это произойдет.





Глава тридцать шестая

ИЗМЕНА

В условиях возобновившейся и даже усилившейся деятельности вокруг Георге мог позволить себе думать, что перенес войну и остался в той или иной мере невредимым. Правда, война принесла с собой некоторые значительные, даже незаменимые потери. Хотя никто из его самых старых и самых ценных соратников не пал на полях сражений — Гундольфу, Вольтерсу, Морвицу, Гильдебрандту, Валлентину, Тормелену и Вольфскелю удалось так или иначе выжить, — было немало других, кому не столь повезло. Некоторые, как мы видели, умерли в бою — например, Генрих Фридеман, Норберт фон Геллинграт и его университетский друг Вольфганг Хайер, — в то время как другие были неспособны вынести зрелища бесконечных убийств и в отчаянии сами покончили с жизнью. Менее чем за месяц до того, как война закончилась, Вальтер Венхофер, тихий и скромный человек сорока лет, издавший несколько стихотворений в «Листке», но постепенно замкнувшийся в себе, совершил самоубийство, бросившись в реку родного Магдебурга. Летом после смерти Венхофера Георге упоминает о нем лишь мимоходом, сказав только, что он «был когда-то во внутреннем круге, только упустил возможность расти». Очевидно, Георге полагал, что Венхофер просто сделал очевидный вывод из своих личных недостатков. И все же самоубийство Венхофера, как и другие смертельные случаи, хотя и прискорбные, не разрушили прочное ядро кружка. Как и в большинстве случаев, где Георге предвидел, что должно произойти, здесь у него было меньше, чем когда-либо, ос-

нований сомневаться, что он и его «программа» в конечном счете возобладают.

Но последствия войны не исчезли сразу. Последним, хотя и косвенным, инцидентом было происшедшее с Альбертом Вервеем. В годы, предшествующие 1914-му, Вервей, который к тому времени знал Георге почти двадцати лет, все более и более тревожили изменения, происходившие с его немецким другом. Вервей никогда не принимал взгляд Георге на себя как на пророка новой религии или как на основателя и лидера Духовной империи. Еще менее Вервей был склонен рассматривать войну как что-то отличное от преступного посягательства на материальную прибыль, осуществляемого циничными политическими брокерами. Когда война разразилась, Вервей надеялся, что Георге и его друзья присоединятся к нему в ее осуждении, и был опечален попытками последователей Георге приветствовать ее как «священную войну», предсказанную, как они думали, в «Звезде единства». Вервей оставался непреклонным в своей принципиальной оппозиции конфликту. «Война — фактически, безумие», — когда-то категорически заявил он и вскоре стал придерживаться убеждения, что все собратья поэты и художники имеют больше общего друг с другом, чем со своими национальными государствами. В первые два года войны Вервей и некоторые члены кружка Георге, главным образом Вольфскель и Гундольф, продолжали обмениваться письмами, стихами и эссе. Но поскольку война затянулась, коммуникации стали более напряженными и менее частыми, а после 1916 года, фактически, прекратились вообще.

Когда война закончилась, Вервей попытался восстановить контакт, полагая, что они, по меньшей мере, все еще связаны узами дружбы, даже не во всем друг с другом соглашаясь. Однажды он был потрясен, обнаружив в последнем выпуске «Листка», изданном в конце 1919 года, стихотворение с названием «Прощание», подписанное «А. V.». Ни одно из произведений в этом выпуске «Листка» не было подписано его автором, как в частности «Прощание», написанное Вольфскелем, но явно отражающее собственные воззрения Георге. Это стихотворение рассказывает историю человека, который когда-то принадлежал к избранным, был посвящен в святая святых — братство поэтов и единомышленников, но в решающий момент пошел против своих бывших соратников. Вместо того чтобы поставить свою неподготовленную веру на службу высшей мудрости и истине общего дела, он подвергает сомнению то, чего не понимает и, таким образом, становится предателем. Он — то есть «А. V.» — должен был только сказать: «Я не знаю, что происходит, но кто бы здесь ни трудился, и что бы он ни делал, все это верно». Будучи не в состоянии пройти испытание абсолютного доверия, он должен понести максимальное наказание. Как в стихотворении, так и в жизни Георге и Вервей никогда не увидели друг друга вновь.

Судилище над Вервеем было очевидно болезненным для Георге, и в следующие месяцы он часто упоминал своего бывшего голландского коллегу в беседах. Георге пришлось сделать даже нечто такое, что он делал редко, — говорил о Вервее с людьми, которые никогда его не встречали. «Это было необычно для Георге, — объяснял Эдгар Салин, бывший одним из привилегированных слушателей этих откровений, — говорить с нами, учениками, о друзьях, которых мы не знали». Перед Салином и другими Георге изображал разрыв с Вервеем как неизбежный из-за неспособности того постичь его поэзию. Как сообщает Салин, Георге был глубоко встревожен, что «у такого поэта, как Вервей, не было слуха к Новой Поэзии, что друг, человеческая, теплая открытость которого даже при их последней встрече растрогала его, все же не смог и не пожелал идти дальше вместе с ним». В сущности, причина разрыва лежала не в поэзии, но в принципе: Георге не мог вынести никого в пределах своей сферы, кто полностью за ним не следовал. Можно быть или полностью за него, или полностью против; не могло быть никакого пространства для тонкости и нюансов.

Все же несчастье Георге, испытываемое по поводу изгнания Вервея, вскоре сократилось до незначительных размеров в сравнении с той травмой, которую ему предстояло перенести. После неудачной попытки Гундольфа жениться на Агате Малаховой в середине 1917 года, которую Георге предотвратил только открыто угрожая Гундольфу ужасными последствиями, если тот доведет эту идею конца, их отношения немного омрачились. На поверхности, казалось, ничто не изменилось. Гундольф продолжал писать свои регулярные письма Учителю о новостях, и Георге часто оставался в комнатах роскошной квартиры Гундольфа, арендованной в Гейдельберге. Но внутри, как казалось Гундольфу, что-то рухнуло или исчезло. Первоначально Гундольф истолковывал это внутреннее беспокойство как следствие своего профессорского полагания на абстрактный *Дух* вместо непосредственного, нерефлексивного взаимодействия с «жизнью», которую, как он думал, художник, и конечно же в частности Георге, олицетворяет. В январе 1919 года Гундольф сказал Георге: «Я работаю медленно и без какого-либо особого удовлетворения от своих лекций, напрасно тоскую об обновлении способности к поэзии, я уже на манер Фауста размышляю о смысле жизни». Напоминая о герое великой драмы Гёте, универсальном ученом, который, исследовав весь познаваемый мир, жаждет чего-то более жизненного и конкретного, Гундольф предполагал, что его собственная проблема связана с фаустовской жадью. «Самостоятельное наслаждение знанием, — продолжал он, — которым обладало великое поколение ученых, и вера в поддающуюся обнаружению правду в духовном и нравственном мире больше не разделяется современной духовной личностью (*Geistmensch*)». Причина, объяснял Гундольф, состояла в том,

что «Дух присвоил себе слишком многое в противоположность жизни, законы которой не понимал и не создавал, и теперь стоит беспомощно перед грудой развалин, прекрасно понимая, что ему необходимо лишь ОДНО и что его ресурсов и возможностей уже недостаточно, чтобы это ОДНО получить».

Это было действительно серьезно. То, что Гундольф понимал, очевидно, как самокритику, можно было принять и за выражение глубинного сомнения относительно их общего предприятия в целом — и следовательно, распространялось также на Георге, — и это была пугающая перспектива. Георге, в конце концов, всегда представлял собой воплощение определенного вида *Духа* — разумеется, такое, которое объединяло противостоящие крайности ума и тела, прошлого и настоящего, добра и зла внутри более широкой целостности, — но это был тем не менее *Дух*, который определял все движение, сформированное Георге, движение, которому Гундольф искренне служил в течение двух десятилетий. Дело усложнилось еще и тем, что Гундольф в отличие от Георге не видел в поражении Германии и разрушении Империи ничего хорошего. Но в конце концов именно он наиболее близко принял представление Георге о войне, и если бы Германия вышла из войны победителем, то Гундольф, бесспорно, рассматривал бы это как подтверждение их программы. Катастрофическое поражение неизбежно подтверждало невыносимый противоположный вывод. Даже при том что Гундольф излечился от самых ядовитых симптомов своего энтузиазма, проведя несколько недель в Вердене, он едва ли расценивал военные и политические бедствия, которые с тех пор произошли с Германией, как вопросы, совершенно не имеющие значения для будущей жизнедеятельности кружка, по крайней мере для его места в нем. Однако Гундольф еще не был готов поверить или принять, что его особое затруднение — недавно открытая недоверчивость к *Духу* — было чем-то большим, чем личным недостатком или неуравновешенностью, которая, если будет исправлена, восстановит и его доверие и его энергию. Как бы то ни было — хотя он, казалось, и не думал, что причина лежит где-то вне его самого, — Гундольф чувствовал себя бессильным и потеряннным. Даже его легендарная продуктивность будто исчезла. «То, что я *могу* сделать, — стонал он, — не удовлетворяет меня, поэтому моя старательность падает. Не хочу лгать, то, что признаю необходимым, я неспособен сделать. О чем вы говорили мне многие годы — что однажды мои нервы не выдержат, — кажется мне вполне вероятным». Он чувствовал себя словно на краю краха. «В общем, — мрачно завершал он, — это не очень приятное состояние».

Георге понял серьезность ситуации и ответил с необычной скоростью и беспокойством. Обращаясь к нему, чего он не делал уже долгое время, с нежным прозвищем «Гундель» (обычно он ограничивался кратким сокращением «G.» в своих приветствиях), Георге выразил ему сочувствие и за-

метил: «Ваше письмо, конечно, не очень светлое.., но что хорошего можно услышать в эти дни». Он попытался убедить Гундольфа, что его взгляд — слишком узкий и прежде всего слишком негативный. «Мне кажется, — возражал Георге, — у вас нет никаких оснований так плохо думать о „духе“. Поскольку Вы не только были „духом“.., но и несмотря на весь ваш дух, „верили, потому что я так сказал“». Это отсылка на «Рай» Данте и так называемое правило веры Тертуллиана — «верую, ибо абсурдно» — или на подобную идею, выраженную Св. Августином в «Исповеди». Для Георге было важно, чтобы Гундольф не оставил веру в *Дух* — это означало бы оставить веру в него самого. Вместо этого Гундольф должен научиться делать различия (естественно, не все в *Духе* было хорошо, особенно когда тот поворачивался в сторону чрезмерного рационализма и безжизненной абстракции), но не отказываться защищать сам *Дух*. «Это было достойное дело + и продолжает им быть! — заверял его Георге. — Я боюсь, скорее, вы ощущаете крах той стороны Духа — она также была в вас, — которая была тем не менее либеральной и характерной для XIX столетия. С этой стороной, конечно же, покончено, и сотни наших более ранних предметов для разногласий, включая Лютера + Бисмарка, также примут теперь для вас иной оттенок». Этот последний комментарий был преднамеренной, даже грубой резкостью — Гундольф всегда восхищался и тем и другим, отказываясь уступить возражениям Георге, который столь же энергично ненавидел обоих. Заодно с уже поверженным Гундольфом и с его сильно колеблющейся верой Георге не желал упустить возможность свести некоторые старые счеты. В целом, однако, оценка Георге была оптимистичной. Он советовал Гундольфу, вместо того чтобы впасть в отчаяние по поводу бесспорных изъянов Духа, исполниться оптимизмом относительно того, что они все еще могут и должны достичь. «Все, — призывал его Георге, — начиная с Античности и Христианства и до наших дней должно быть вновь охвачено ДУХОМ, так, чтобы он вновь стал прав.. все должно быть сделано + сказано вновь — поэтому никогда для духа не было более блестящего и более богатого времени, чем настоящее!»

Это, очевидно, была энергичная беседа, но Георге также верил в то, что говорил. Несмотря на все основания чувствовать себя отчаявшимся из-за общего состояния дел в Германии, он все еще думал, что живет, в соответствии с тем, как говорит, в период огромного изобилия — и, само собой разумеется, отвечает за него. «Если более поздние поколения, — говорил он Эдит Ландман в конце 1923 года, — смогут только узнать о том, что делали мы, а не другие, тогда они скажут: Боже, какой расцвет был в это время! И мы напуганы этим временем. Но то же самое было и во времена Гёте. Он также много жаловался на свое время, и все же это был самый большой расцвет, который знала Германия начиная с Гогенштауфена». Период немецкого классицизма, в который царствовал Гёте, был, как

утверждал Георге, истинным «немецким Ренессансом». На этот раз возрождение могло прийти и через дух самого Георге.

Но было еще нечто беспокоящее, о чем Гундольф не упоминал, и что имело отношение не столько к духу, сколько к плоти. В тот же день в январе 1919 года, когда он написал свое отчаянное письмо Георге, он послал стихотворение Элизабет Саломон, его бывшей студентке и женщине, которая ухаживала за ним в Берлине во время его болезни в начале предыдущего года. За это время Гундольф явно привязался к Элли — казалось, что их отношения зашли далеко за рамки случайного времяпровождения, которое Гундольф часто разделял и с другими женщинами. Как прекрасно был осведомлен Гундольф, чисто физические и ни к чему не обязывающие отношения с женщинами далеки от идеала, описываемого в книгах Георге. Но Учитель подчинялся им как неизбежности, тщательно проверяемой и, вероятно, безопасной. Только если они угрожали превратиться в нечто большее, он вмешивался. Брак также допускался — пока обе стороны понимали, что цель брака состоит в сохранении рода, и предпочтительно после того, как мужчина достигал сорокалетнего возраста и вносил свой вклад в достояние «государства». Все, что затрагивало сферу духа — серьезная дружба, интеллектуальный обмен, подлинная эмоциональная общность, — оставлялось только отношениям между мужчинами. Если бы Георге видел, какое стихотворение Гундольф написал Элли, то рассматривал бы все его беспокойство о *Духе* как простой пустяк — или притворство.

Когда я отчаиваюсь
И моя прежняя жизнь стелется полоской пепла,
Хрупкие бессловесные образы
Разбивают мое пустое сердце...

Когда я не смею открыть свою душу
Суду учителей,
Я все еще чувствую зов вашей женственности —
И ваш поцелуй прогоняет отчаяние.

Вы — плод моего семени.
И только желая вас,
Я вновь воздаю себе должное...
Излечиваюсь от своей немощи.

Вы с улыбкой принимаете мою слабость,
Ваши руки даруют мне силу...
Мои песни звучат в ваших устах,
В моих стопах оживает ваш танец.

Это были чувства, которые за десять лет до этого Гундольф адресовал одному только Георге. Теперь изменился не только объект его нежности,

но и его пол. Несмотря на свои выдающиеся дарования, Гундольф всегда страдал от недостатка уверенности в себе и полагался на Георге, представлявшего ему твердость, комфорт и руководство, предлагая взамен свою безоговорочную любовь. В лице Элли Гундольф, казалось, нашел кого-то, кто мог предоставить ему то, что давал Георге, — и даже больше. При всей своей любви, которую Гундольф отдавал Георге, он часто был — и в последнее время все более и более — неуверен, оплачивалась ли она взаимностью. С Элли эти тревоги рассеивались.

На смену им, однако, пришло еще большее беспокойство. Гундольф знал, что в душе переступил границы, установленные Георге для такого рода связей. Даже при том, что ему было тогда тридцать девять лет — таким образом, приближался возраст, когда брак мог бы быть разрешен, — он знал, что уже далеко вышел за приемлемые пределы в своих отношениях с Элли. Гундольф не хотел только спать с ней, но желал видеть в ней родственную душу. И это для Георге было не чем иным, как изменой.

То, что Гундольф, кажется, понимал весомость разворачивающегося на его глазах и серьезность падения, которое ему предстояло перенести, подтверждается кратким драматическим диалогом, подготовленным им несколькими месяцами позже для публикации в заключительном выпуске «Листка». В июне 1919 года Гундольф отправил своей подруге Марианне Касснер рукопись диалога, заметив: «Возможно, это лучшее, чего я достиг за двадцать лет, и в нем сконцентрирована суть моих долгих размышлений о Цезаре». Цезарь давно притягивал к себе Гундольфа. Его диссертация 1904 года была посвящена изучению образа Цезаря в немецкой литературе, и с тех пор Гундольф увлеченно собирал все, связанное с Цезарем: книжные портреты, монеты, бюсты и различные предметы, свидетельствовавшие о величии и могуществе императора. Естественно, интерес Гундольфа к римскому диктатору в значительной мере питался его верой, что в нем имелось глубокое сходство с человеком, которого он рассматривал как правомочного наследника Цезаря, — убеждение, подтвержденное в уме Гундольфа тем необычным совпадением, что Цезарь и Георге родились в один и тот же день: 12 июля. Поэтому более важно было то, что Гундольф не избрал темой диалога один из моментов триумфа в жизни Цезаря. Скорее, как зловеще гласил заголовок, «Цезарь и Брут» сосредоточивался на предательстве, совершенном одним из его самых любимых и преданных подданных.

Диалог не обращается к проблеме, непосредственно тревожащей Гундольфа. Вместо этого Гундольф обрамляет вопрос обширным многословием. Пьеса открывается сценой, в которой Цезарь приветствует странным образом Брута как «любимого врага» и отделяет его от опасной кампании. «Я боялся за тебя больше, — говорит Цезарь ему в какой-то мере осторожно, — чем за себя самого». Брут, принимая осторожное объятие Цезаря,

отвечает со своей стороны одинаково двусмысленной благодарностью за такой прием. «У меня нет ненависти к тебе, — говорит Брут. — И все же я скорблю, что, возможно, не люблю тебя так, как хотел бы: из справедливости». Ни Брут, ни Цезарь не разъясняют, что это за «справедливость», которая мешает Бруту любить Цезаря так, как он предпочел бы. Но остальная часть диалога сосредоточивается на их конфликтующих и, как оказывается, несовместимых концепциях того, что является правильным и законным. Цезарь признает, как он говорит, только то, «что касается меня и чего касаюсь я сам», — то есть он признает только те законы, которые сам создает и которые действуют через него. Брут, однако, утверждает, что есть другие силы, даже более великие, чем те, что воплощены в Цезаре, силы, которые привели его, как и всех людей, к бытию и которые Цезарь слепо желает узурпировать или их отрицает. Понимая, что они зашли в непреодолимый тупик, Цезарь говорит, что не может действовать иначе, даже если это означает принести в жертву своего друга. «Ваш закон чужд мне, — говорит он Бруту. — Почему я должен лгать? Я должен следовать себе самому без пререканий. / Ты и есть та цена, которая меня соблазняет». Брут делает неизбежный вывод: они должны пойти разными дорогами. «Ты произносишь мой приговор, — говорит Брут, — более уверенно, чем это сделал бы Закон, который ты отвергаешь». Диалог заканчивается тем, что Брут еще раз уверяет Цезаря: «У меня нет ненависти. Я не бросаю тебе вызов... Я страдаю. Дай мне свою руку». В ответ Цезарь говорит только: «Будь тем, кем ты обязан быть, и верь в это!»

Фактически, последнее слово, которое Цезарь произносит, таким образом, и заключительное слово всей пьесы, происходит от немецкого глагола *trauen*, который означает не только «доверять» или «верить», но также и «жениться». Может показаться, что это была намеренная попытка заставить Георге, словами его вымышленного *alter ego*, не только позволить Гундольфу выйти в мир, но также и дать согласие на союз с Элли. Если это так, то это был самый худший просчет Гундольфа, когда-либо сделанный.

Почти сразу же ситуация ухудшилась. Все же Гундольф, несмотря на то что сам выступил в роли Брута, с самого начала, похоже, не оценил последствия того, что намеревался сделать. Возможно, первоначально даже Георге не мог полностью поверить, что самый дорогой его ученик, самый преданный последователь, действительно когда-то его самый любимый друг мог на самом деле растратить все ради частного увлечения. Однако поскольку Георге понял, что привязанность к Элли не была мимолетной прихотью, то почувствовал, что необходимо сделать что-то решительное, и начал склонять других, чтобы те отговорили Гундольфа от совершения рокового шага. В мае 1919 года Георге вызвал бывшего ученика и друга Гундольфа Эдгара Салина к себе. Назначенный час приходился на предполуденное время. Салин был поражен, что «черты лица поэта казались уста-

лыми еще в начале дня», и встревожился, когда понял, что «не физическое истощение, а, скорее, глубокое психологическое уныние вызвало такие изменения в выражении его лица». После длительного разговора о второстепенных вопросах, которые, как было ясно Салину, вовсе не беспокоили Учителя, он наконец поднял вопрос о причине, по которой обратился к Салину. «Словами любви, горя и беспокойства о своем первом сыне, наш Учитель, *Фюрер* и друг» Георге описывал свою привязанность к Гундольфу и свою неспособность заставить того понять, что если свершится роковой шаг — это будет непоправимая утрата. Георге надеялся, что если он сам не может обратиться к Гундольфу, то Салин добьется большего успеха — «слова предупреждения от молодого человека будут лучше услышаны». Салин чувствовал, что такая ответственность ему не по плечу. Каким образом, удивлялся он вслух, мог он принять роль советника или, хуже, судьи над своим почитаемым наставником и старшим двенадцатью годами другом? Непреклонный Георге подчеркнул, насколько рассчитывает на Салина. «Вы знаете теперь свою самую важную задачу, — сказал ему Георге. — Возможно, вам будет легче, если вы примете во внимание, что помогаете мне». Когда Салин попытался защитить Гундольфа и напомнил Георге, что у Элли много поклонников в кругу их друзей, Учитель вышел из себя. «Оставьте это, — приказал он Салину. — Для меня есть лишь один вопрос: что произошло с Гундольфом, что существо женского пола оказалось в состоянии завоевать такое влияние на него? Вы должны только понять, что Гундольф стоит на перекрестке своей жизни. Он сохранял внешний вид и форму юноши дольше, чем это обычно возможно для людей. Теперь вопрос в том, обретет ли он форму мужчины». Если бы Гундольф присутствовал при этой сцене, то, возможно, сказал бы, что только что попытался сделать это.

Всю остальную часть года, даже когда Георге отправлял своих агентов с целью разрушить планы Гундольфа, между ними сохранялись частые, хотя и напряженные контакты. Георге остался в Гейдельберге, и они писали друг другу как обычно — Гундольф чаще, а Георге реже, — но во время своего общения они, несомненно, оставались начеку, ограничиваясь осторожным обменом дежурными фразами. Лишь постепенно и почти незаметно постоянно растущее отчуждение начинало себя обнаруживать. В октябре Гундольф узнал, что «Листок» уже был готов к публикации, и задал короткий вопрос: «Получу ли я корректуру для исправлений?» Этим он занимался два десятилетия, и это было одной из бесчисленных обязанностей, которые он обычно и с готовностью исполнял как часть своего служения государству. Георге намеренно заставил Людвиг Тормелена принять на себя эту работу. Когда «Листок», который включал в себя «Цезаря и Брута», появился в декабре, Гундольф получил свой отпечатанный экземпляр по почте.

Очевидно, к началу 1920 года ухищрения Георге и его терпение подошли к концу. Он даже прекратил отвечать на письма Гундольфа. Печальный, но недогнущий в своем решении, Гундольф обратился к другим за сочувствием и пониманием. Прекрасная фон Калер, жена его друга, Эриха, и человек, которому он посвятил своего «Гёте», попыталась успокоить его как умела. «Вы поступаете плохо, очень плохо, насколько я могу судить по вашему письму, — написала она в январе. — Но, мой дорогой, вы должны знать, что невозможно, абсолютно невозможно, чтобы Учитель на самом деле от вас отвернулся». Она попыталась убедить Гундольфа, что это была просто иная педагогическая тактика со стороны Георге. «Я совершенно уверена, что он беспокоится о вас больше, чем когда-либо прежде, и что для него все это, возможно, еще печальнее, чем для вас. Но он, вероятно, полагает, что эта полная тишина — единственный верный способ сказать вам все, что необходимо, и, вероятно, он прав, как бы это ни было тяжело. Однако я убеждена, что это — испытание, это МОЖЕТ БЫТЬ только переходным состоянием, я чувствую, что это так. И как только вы обретете себя вновь, то обретете и его».

На других Гундольф изливал непрекращающийся поток страданий и самобичевания, но все же отказывался сделать одну вещь, которая могла бы вернуть ему покровительство Георге. Позже, в тот же самый месяц, он послал бессвязное, чрезмерно горячее письмо Эрнсту Морвицу, который также сблизился с ним по повелению Учителя. «Я не сделал ничего, о чем должен сожалеть, — вызывающее писал Гундольф, — я такой, каким мне не следовало бы быть». Это, в сущности, и было то, что он предвещал в драматическом диалоге в «Листке»: Брут и Цезарь разошлись по поводу тех противоречивых «Законов», каким каждый из них должен был повиноваться. Выражаясь более прямо, Гундольф также говорил, что его чувства к Элли основаны на его собственной конституции, которая так же неизменна и неопровержима, как естественный закон. «Моя привязанность к Элли, — продолжал он, — является только симптомом всего этого, и не ОНА является ценой моего мира». Гундольф надеялся, кажется, что, даже если Георге не признает или не одобрит его предрасположенность, то хотя бы терпеливо к ней отнесется и примет его как преданного слугу, каким он всегда был.

Гундольф должен был не только оправдываться, но также защищать Элли от нападков на ее характер, от подозрений о ее побуждениях, от растущей враждебности, направленной на нее, казалось, со всех сторон. В своих мемуарах Людвиг Тормелен открыто изображал Элли как сексуальную хищницу, которая использовала свое женское очарование, чтобы продвинуться и сделать себе карьеру. «Она вообще не была моноэротична», — утверждал Тормелен, обозначая необычным словом ее чрезвычайную неразборчивость. «С очаровательной непринужденностью, — писал

он саркастически, — она строит глазки любому, кто нравится ей в данный момент. Она также старается попадаться на глаза известным людям и притягивать к себе их внимание с чисто деловыми целями». Тормелен даже сомневался, «была ли Элли способна к настоящей любви». Георге также заострял внимание на «деловом» аспекте ее отношений с другими людьми и — правда, в гораздо более поздней беседе — прямо сравнивал ее с общедоступной проституткой. «Элли стоит на всех центральных вокзалах Европы, — сказал он Эдит Ландман. — В Риме, когда приезжают немцы, она уже на вокзале. Нет, я не могу даже описать это вам. Вы не читали так много плохих французских романов о нравах. Вы не поверите в это. Душа таких женщин — это нечто, вы никогда не сможете узнать ее полностью». В письмах Георге от его других друзей было принято ссылаться на Элли просто как на «шлюху» или, еще более грубо, как на «кусочек дерьма». Словно все объединенные чувства недоверия и отвращения к женщинам вообще, которые годами вынашивались внутри кружка, теперь направлялись на индивидуальность Элизабет Саломон.

Столкнувшись с таким массивным и организованным сопротивлением, Гундольф изо всех сил пытался доказать, что не пойман в ловушку какого-то коварного кружка, но свободно избрал кого-то достойного его уважения. «Вы достаточно хорошо знакомы со мной, чтобы понимать, — продолжал Гундольф в письме к Морвицу, — что я больше не чахну как томящийся от любви к симпатичному личику деревенский парень; может, меня и „легко разжечь“, но я не достаточно глуп и юн, чтобы быть обманутым умной или хитрой кокеткой. С Элли вообще все обстояло иначе. Кому, как мне, довелось знать ее долгие годы, тот, при всей ее переменчивости и легкомыслии, хорошо знаком с ее добрым, чистым сердцем, с ее преданностью, энергичностью, с ее жертвенностью и необычной, глубокой печалью, которая покоится в глубинах ее веселости». Гундольф просил Морвица поверить, что она не руководствуется расчетом и не хочет его связать. Учитывая убеждение Гундольфа, что Элли добра и бесхитростна, можно понять, каково ему было видеть, как ее чернят и порочат. «Для меня невыносима мысль, что люди презирают и осуждают ее и что я должен смотреть на нее так, словно она развращена. Я чувствую, что должен бороться против судьбы, а осуждение Учителя — это судьба, я люблю ее и не могу ничего изменить». К этому нечего добавить, был убежден Гундольф. «Можете вообразить, как я отношусь к мысли, как предполагается, не только оставить ее, но также и знать, что ее презирают, и самому ее презирать, согласно осуждению, исходящему из самых священных и самых справедливых уст». Гундольф хорошо знал и был испуган последствиями, которые повлечет за собой его решение, но чувствовал, что у него не было никакого выбора. Над всем этим, признавался он Морвицу, «нависает страх, душераздирающий ужас от того, что я не буду заодно с моим богом. Это ка-

жется пустым и глупым, но я никогда не испытывал этого прежде в моей жизни». Он был несчастен. «Я едва могу работать, и мое колотящееся сердце мешает мне спать».

Для самой Элли отчуждение Георге было не менее невыносимым, тем более что она, очевидно, считала себя его причиной, — исчезновение являлось единственным способом восстановить спокойствие. Она, должно быть, выражала свои мучения перед разными людьми, которые имели возможность советоваться ей, что делать, и в начале марта 1920 года брат Гундольфа, Эрнст, снизошел до нее с письмом, которое имело все признаки официального коммюнике. Но то, что он должен был сказать, не имело большого значения для ее страданий. «Я попробую еще раз, — писал Эрнст, — дать вам ясную картину с другой стороны, чтобы ваши решения не были, по крайней мере, предопределены ложными концепциями». Очевидно, ему было свойственно воспринимать ее как угрозу самому кружку, и он полагал, что ее разрыв с Гундольфом гарантирует его целостность. Это было недоразумение, холодно сказал ей Эрнст, основанное на преувеличенной оценке ее собственной значимости и влияния. «Я не знаю, например, о чем вы думаете, предполагая, будто вашего исчезновения могут желать другие. Но тогда кто эти другие? Насколько я знаю, здесь нет враждебной по отношению к вам партии. Вместе с тем есть несколько друзей, которые считают, как я сам, что ваше временное отсутствие желательно только потому, что теперь оно, возможно, является наиболее подходящим для ВАС». Словно Эрнст говорил, что Элли настолько незначительна, что то, что она делала или не делала, было совершенно безразлично с точки зрения «государства». Она не была врагом, то есть ее не считали достойной для попадания в эту категорию. Вместо этого она должна была думать только о том, как ее решения повлияют на нее саму. Если угроза и была недостаточной, то Эрнст сделал ее более явной. «Вы, без сомнения, поймете, что не создаете опасности для государства, скорее, именно государство всегда представляет угрозу для вас — в любом мыслимом конфликте вы с самого начала являетесь страдающей стороной». Выбор — будто в этот момент у нее был выбор — принадлежал ей: она могла добровольно удалиться со сцены или рискнуть получить гораздо более сильные раны, оставшись. Так или иначе государство — под ним следует понимать Георге — было недостижимым для ее действий.

Ранее Георге редко использовал такую тяжелую артиллерию при ведении сражений, но тогда и ставки редко бывали столь высоки. Если бы Элли понимала, какие силы выстраиваются против нее и какие принимаются решения относительно средств, необходимых для преобладания в состязании, то хотя бы продемонстрировала храбрость при встрече с противниками. Элли снова стремилась изобразить коллективное сопротивление своей связи с Гундольфом в терминах личных отношений, под-

разумевая, что желание избавиться от нее — она упорно придерживалась убеждения, что это и было их истинной целью — вызвано неодобрением ее как человека. Если так, очевидно, думала она, то еще есть шанс, что она пройдет испытание, чтобы добиться искупления. Эрнст Гундольф еще раз постарался наставить ее на верный путь. «Ошибочно полагать, — писал он позднее в марте, — что ваше удаление из Гейдельберга (или Берлина) может быть педагогической мерой, осуществляемой государством через меня, не говоря уже о том, что это наказание. Никто не желал вашего удаления, потому что никто не испытывает к вам враждебности. Все дело в поиске наиболее подходящих средств для поддержания человеческих отношений — прежде всего с Гундольфом — и их защиты от существующих конфликтов». Трудно представить, что было хуже для Элли: рассматривать себя не более чем препятствие на пути к «человеческим отношениям» или понять, что ее не расценивают как принадлежащую к такому уровню.

Тем временем разворачивался и другой ход событий, который мог подвергнуть лояльность Гундольфа дальнейшим испытаниям. 8 марта 1920 года Гундольф получил письмо от министра, отвечавшего за проблемы культуры и образования в Берлине, доктора Карла Генриха Беккера, сообщавшего ему о назначении на кафедру немецкой литературы преемником своего собственного консультанта, Эриха Шмидта. Гундольф, которому дали две недели на рассмотрение предложения, прилежно передал эту новость Георге, сказав при этом, сдерживая эмоции: «Это решение вызывает у меня некоторое беспокойство». Гундольф, как и Георге, ненавидел Берлин и содрогался от мысли о возможности провести остаток своей карьеры во «всей агрессивной мерзости Берлина, который смердит до небес, ежедневно разрастаясь». Ничто в Берлине не привлекало его; кроме того, по его убеждению, у него был плохой темперамент, чтобы выжить и уж тем более процветать в прусской столице. «Давка и суматоха, атмосфера злобы, неприветливости, недружелюбия, недостаток живой природы — все это для меня более тяжкие, чем для кого-либо еще из нас, негативы, терпимые во время краткого пребывания, но, конечно же, истощающие во время постоянного нахождения». Он боялся, что в Берлине настолько будет поглощен ежедневной борьбой и попытками предотвратить последствия ядовитой окружающей среды в университете, что ему будет не хватать энергии для основной работы. Гейдельберг, хотя и не лишенный своих недостатков, был гораздо более предпочтителен, поскольку там у Гундольфа было все необходимое — «мир, чтобы работать, ПРИРОДА и дармштадтские праздники». Его мать все еще жила в доме, где он рос в Дармштадте, и он проводил там каждые выходные, чтобы расслабиться под покровом ее безумно заботливого внимания, но это было бы невозможно делать из далекого Берлина.

Был также и другой довод, говорящий против переезда в Берлин. В тот самый момент, когда предложение было доведено до Гундольфа, в Берлине разразился путч Каппа. 12—13 марта 1920 года консервативный правый заговор сумел низвергнуть неустойчивое Социальное Демократическое правительство посредством контрреволюционного государственного переворота. Хотя мятеж был и недолгим — Вольфганг Капп и его друзья удерживали власть всего лишь три дня, — его последствия зашли далеко. После этого социал-демократы никогда уже не могли вновь завоевать большинство среди рабочих, и молодой республике был нанесен удар, от которого она никогда полностью не оправилась. За короткое время беспорядки в Берлине превратили город в поле битвы конкурирующих политических фракций, и некоторые из них были счастливы использовать любой доступный ресурс, чтобы достичь своих целей. Антисемитизм, долгое время бывший эффективным инструментом, направлявшим в нужное русло ни на чем не сфокусированную энергию, уже в первый год республики начал свое ядовитое восхождение. Многие организации в Берлине и некоторых других местах, включая и силы, которым Капп неосторожно помог выйти на первый план, безжалостно овладели антисемитским негодованием как тупым, но быстрым орудием, приводящим в действие своих сторонников. Как еврей Гундольф был подвержен чему-то вроде антисемитского преследования, которое вспыхивало с возрастающей частотой и не оставляло никого незатронутым, даже самых выдающихся профессоров. Поэтому он напомнил Георге о «гуле погромов, который теперь заполняет лекционные залы евреев-преподавателей, даже всемирно известного физика Эйнштейна». Опасность пребывания Гундольфа в Берлине была не только абстрактной или психологической, но и вполне реальной.

Наряду со всеми этими возражениями Гундольф признавал, что была тем не менее еще одна причина принять должность. Берлин являлся, в конце концов, политическим и культурным центром страны; он был самым большим городом в Германии и, таким образом, имел самую большую и наиболее открытую арену для пропаганды Духовной империи, предоставляя беспрецедентную возможность привлечь новых приверженцев. «Поэтому, — говорил Гундольф, — ВЛИЯНИЕ будет единственной вещью, которая может привести меня туда». И все же он испытывал сомнения, действительно ли будет полезно «государству» его присутствие в Берлине, в силу «обычного безумства, пустоты и грубости тамошней студенческой толпы». Если, однако, после оценки всех этих факторов, Георге все еще будет полагать, что должен поехать в Берлин, то он сделает это. Но Гундольф умолял его тщательно взвесить все альтернативы: «Учитель, если вы советуете мне сказать „да“, я последую вашему совету, но сделать это мне будет нелегко». Поскольку не было никакой неуверенности по поводу того, где он остановится, Гундольф завершает заключительной просьбой:

«Мое собственное сердце и ум говорят, что не Гейдельберг тянет меня назад, но что Берлин меня пугает». Он поедет туда, если придется, но только если Учитель скажет, что он должен.

Пять дней спустя Георге послал бескомпромиссный ответ. Вернувшись к краткому «G» в своем приветствии, Георге набросился на Гундольфа, высмеивая его доводы и желание исправить положение. «Что особенно встревожило меня в вашем письме, — писал Георге, — так это желание си-некуры, которого до сих пор я за вами не замечал... желание мира и спокойствия в вашем возрасте!» Как всегда, Георге воздержался от прямого предложения какого-либо особого плана действий, одновременно указав, каковы на самом деле были его предпочтения. «Я вовсе не желал бы склонять вас к чему-то такому, что было бы настолько ужасно, как вы изображаете это в письме, — и все же я настойчиво убеждаю вас принять во внимание, что такое настроение может также БЫТЬ ЧЕМ-ТО ПРЕХОДЯЩИМ и что позже вы можете пожалеть. Эта идиллия Гейдельберга, которую вы раскрашиваете такими богатыми красками, скоро потеряет свое очарование (идиллии везде заканчиваются!). Есть признаки, что атмосфера внешней пылкой любви (в человеческой сфере) становится там уже не слишком теплой». Этот последний комментарий туманен, но имеет несколько угрожающий оттенок, и ссылка на тающие человеческие симпатии, кажется, указывает на тлеющий раздор по поводу Элли. Если, по-видимому говорил Георге, Гундольф считал, что пребывание в Гейдельберге среди старых друзей, придерживайся он своих намерений относительно нее, могло оградить его от самого страшного исхода, то он ошибается и в этом. Георге уверял, что Гундольф будет столь же изолирован там, как и в Берлине. И в этом отношении, Георге также преуменьшал озабоченность Гундольфа. «Вы преувеличиваете внешние трудности Берлина, — писал он, — в любом случае еще пять лет продолжающегося при таких условиях Гейдельберга также приведут вас к пропасти... Абсолютно неизбежно, что в Берлине вы установили бы внешнее существование, которое будет гораздо более рациональным и соответствующим внешнему ходу вещей!» Независимо от того, что Георге под этим имел в виду, он сделал свою позицию ясной. Теперь Гундольфу оставалось только принять решение.

То, что Гундольф был еще раз вынужден выбирать между его собственными побуждениями и пожеланиями Учителя, не было его проигрышем. И при этом он не был слеп относительно того обстоятельства, что Георге, казалось, был готов пожертвовать личным счастьем Гундольфа и даже его физическим благосостоянием ради более весомых императивов. Но Георге был готов отказаться не только от комфорта Гундольфа. Несколько старших друзей Гундольфа, которые восприняли его опасения относительно проживания в Берлине более серьезно, чем Георге, решили обратиться к Георге в надежде на смягчение его позиции. В начале апреля

они уговорили Эдгара Салина, который теперь функционировал как полуофициальный посредник между Гундольфом и Георге, доставить их ходатайство Учителю. Зная, что Георге «внутренне надеялся на принятие предложения», Салин обратился к нему с призывом, чтобы тот «побудил Гундольфа отказаться из-за не подходящего для берлинской должности здоровья». Георге гневно отверг просьбу, с насмешками и злобой, обращенной на Салина. «Его матери дозволено волноваться о его здоровье, — она это и делает, — фыркнул Георге. — Но вы, вы должны были знать, что есть нечто более высокое, чем просто здоровье, и что воздух в Берлине лучше для более мужественного поведения, чем здесь в оранжерее». Выговаривание этих слов и тяжелая, почти высокомерная манера, в которой они произносились, ошеломили Салина. Он был столь озадачен, что даже не заметил, что Георге продолжал говорить. Когда Салин вернул самообладание, то к своему ужасу понял, что в ярости Георге только что разорвал отношения и с ним. Если Салину удалось бы убедить Гундольфа пересудумать, говорил Георге, то можно было бы пересмотреть вопрос о восстановлении их обоих, но до этих пор «я не хочу вас видеть». Георге тогда формально протянул свою руку Салину и сказал: «Прощайте и не падайте духом. Это можно искупить». Несмотря на множественные, иногда отчаянные усилия искупить свои грехи в последующие месяцы и годы, Салин так никогда и не завоевал свое место во внутреннем круге вновь.

Для самого Гундольфа на какое-то время дела, казалось, обернулись к лучшему. Как ни странно, то, что он приветствовал как улыбку фортуны, кем-то другим могло быть принято за серьезную неудачу. В середине марта 1920 года Фридриху Вольтерсу, который был тогда в Берлине, пришлось разговаривать с министром, контролировавшим назначение Гундольфа, и тот сообщил Вольтерсу, что процесс натолкнулся на препятствие. Хотя Гундольф был одобрен министерством, университетский факультет заартачился и отказался дать свое согласие на его назначение. Как передавал Вольтерс, основания для отказа базировались на идеологической оппозиции тому виду *Wissenschaft*, который Гундольф — и таким образом весь кружок Георге — собой представлял. «Они выдвинули, — докладывал Вольтерс Гундольфу, — в дополнение к известным доводам о ваших видимых недостатках в нехватке опыта в проведении семинаров и экспертиз, основной (и дерзкий!) аргумент, что ваши работы имеют более художественную, чем научную природу. При условии, что Гундольф все еще заинтересован, Министерство культуры было готово, — продолжал Вольтерс, — принять сражение против факультета и дать вам профессорскую должность в Берлине, которая сделала бы вас абсолютно независимым, освободила бы от семинаров и экспертиз и обязала бы вас только лекциями, которые будут для вас приемлемыми». Вольтерс, более задиристый, чем Гундольф, и более толстокожий — и также помнивший о той

уникальной возможности, которую предоставлял Берлин, для того чтобы содействовать их общим культурно-политическим целям, — убеждал Гундольфа ввязаться в борьбу. «О чем вы думаете? — хотел знать Вольтерс. — Многое можно сказать и за и против: я за то, чтобы принять это предложение даже на несколько лет, показав партийным боссам, что они должны уважать новую власть и не могут больше делать что хотят».

Для Гундольфа отказ факультета от него был неожиданным подарком, потребовавшим срочно сообщить Георге о «новых фактах», которые он узнал от Вольтерса: «Факультет единодушно против моего назначения: теперь есть весомый ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ аргумент против того, чтобы принять предложение (кроме личных придинок, которые могут в отношении меня закончиться)». Не подавая и вида, что разочарован, и еще меньше — что оскорблен, Гундольф всего лишь скрывал свое восхищение таким поворотом событий. Теперь могло показаться, что он отклоняет предложение по принципиальным основаниям, а не потому, что просто не хочет ехать в Берлин. Если бы он принял предложение, утверждал он, то таким образом признал бы легитимность университета и его основную аксиому: «автономия факультета прежде требований государственной власти». Принимая предложение, Гундольф неизбежно отдавал бы себя во власть учреждения, которое подвергало фундаментальным сомнениям его квалификацию и способности. Едва ли это было бы твердым основанием, на котором можно выстроить успешное дело как для себя самого, так и для «государства». Кроме того, Гундольф указал Георге, то, что Вольтерс мог считать привлекательным, вовсе не обязательно было таковым для того, кто находился в таком же положении. «Вольтерс умеет сражаться и делает это с радостью, — говорил он Георге, — и сопротивление интригам стариков дает ему немало острых ощущений, но не мне, ибо я — Гундель, и я храбр по отношению к идеям, но уязвим для злобных людей, которые испортят мое удовольствие от работы неприятностями любого вида». Еще после нескольких недель обдумывания, в конце апреля 1920 года Гундольф в конце концов написал министру культуры в Берлин, что отклоняет приглашение.

Георге не тешил себя никакими иллюзиями о смысле этого решения. Все вновь и вновь Гундольф сознательно и открыто бросал вызов его пожеланиям, на этот раз даже прикрываясь прозрачной рационализацией, которая была просто удобным предлогом отказать от повиновения ему. Если Георге нуждался в новых доказательствах, что Гундольф желал продолжать свои отношения с Элли, то берлинское фиаско стерло любые оставшиеся сомнения.

Ничто не могло скрыть тот факт, что теперь кризис разразился в полной мере, и Георге ответил на него способом, который становился типичным. Два месяца спустя, в июне, он тяжело заболел своим старым недугом

и был помещен в Гейдельбергскую клинику под наблюдение специалиста, профессора Рудольфа Креля. Салин — Георге предоставил ему временную отсрочку, чтобы он мог навещать его, когда будет необходимо, — был «потрясен страданием и горем», проступившим «в его благородном облике». После курса лечения в Гейдельберге Георге был отправлен на курорт в Бад-Вильдунген для выздоровления. В начале июля Салин также приехал туда, и когда они отправились на короткую прогулку, Георге, опиравшийся на руку Салина, не мог не заметить выражение озабоченности и беспокойства на лице Салина. «Вы думаете о моем приближающемся дне рождения и вычисляете, что мне будет пятьдесят два года, — сказал он Салину. — Но ваши вычисления неверны. Ибо каждый мой год считается за два». Хотя и ослабленный болезнью, Георге был все еще достаточно силен, чтобы смотреть на Салина с неиссякаемой злобой и горечью. «Вам, вероятно, хочется, чтобы я остался в клинике надолго, — сказал ему Георге, — чтобы вы могли продолжать навещать меня или забирать каждый день».

Но его свирепость не была нацелена на одного только Салина. Они не сделали и ста шагов, как Георге разразился новыми обвинениями в адрес «этого мира» и «этих людей», которые, предсказывал он, устремлялись с увеличивающейся скоростью к пропасти. «Какова польза от предостережений? — с горечью спрашивал он. — В конце концов даже вы все едва ли слушаете меня». Салин, не зная что сделать или что сказать, осторожно предположил, что пророки во все века встречали такое же непонимание, и напомнил Георге, что в его стихотворении «Война» он сам писал: «Провидца никогда не благодарят». Георге, благодарный по крайней мере за такое подтверждение, что сохраняет некоторую власть над умом Салина, ответил: «Конечно, вы правы. Но есть ли у вас хоть какое-то представление о том, чего это стоит?» Когда они продолжили прогулку, Георге остановился, чтобы показать на рабочего в очках синего цвета, который сидел на груде камней и, весело насвистывая, раскалывал молотком камни на мелкие куски. «Сегодня, — строго прокомментировал Георге, — лучше и достойнее быть хорошим каменщиком, чем поэтом».

Это было нечто новое, что указывало больше на драматический разрыв в жизни Георге, чем на сам конфликт с Гундольфом. За эти годы Георге прошел через многие мучительные повороты и потерпел много тяжелых поражений, но он никогда не колебался в своей вере в окончательную силу и значимость поэзии. Это была единственная константа, Полярная Звезда, которая указывала ему путь самыми темными ночами. Теперь казалось, что даже вера в поэзию, почва, на которой он стоял всю свою жизнь, начала уходить из-под ног. Возможно, это была лишь естественная реакция. Если его вера в Гундольфа, во всех людей, могла быть так предательски подорвана, то, возможно, не было ничего, в чем можно быть уверенным.

Этот вывод оказался подтвержденным два дня спустя, когда Гундольф пришел с Салином, чтобы сопровождать Георге на его обязательной прогулке. Хотя Учитель, казалось, был не так сильно расстроен, как ранее, в воздухе все еще витала напряженность, которая усиливалась очевидной решимостью Георге говорить почти исключительно с Салином и фактически игнорировать Гундольфа. Но было ясно, что все, что Георге говорил Салину, на самом деле относилось к Гундольфу. «Георге резко высказывался о бесполезности академической деятельности в университетах, — сделал запись Салин, добавляя: — Георге упоминал, что не будет поэтому никого подталкивать писать диссертацию». Явно понимавший, кто был реальным объектом этих нападок, Салин попытался вмешаться, спросив Георге: «Не придерживаетесь ли вы все еще мнения, что лучшая часть немецкой молодежи идет в университеты и что каждый из нас поэтому должен там исполнять свой долг ее отсеивания и ее приближения к нему?» — «Да! — ответил Георге. — Любому понятно, что такой путь верен. Но разве вы не оставите свое место, когда перестанете чувствовать этот путь? Разве Вы совсем не будете знать, что изменились? И если вы знаете это, то разве не будете предполагать, что изменились?» Но это только одна опасность, сказал Георге. Другая заключалась в «компромиссах» и в мысли, что можно создать мост между поэзией и наукой. Наука была в лучшем случае необходимым злом, и она обычно больше разрушала, чем сохраняла. «Сколько самого лучшего из наследия Гёте, — взорвался Георге, — именно наука растратила впустую и уничтожила!» Гундольф, слыша все это, возможно, не мог не приложить все эти обвинения к себе. Словно Георге отвергал все, что Гундольф сделал за последние двадцать лет.

Непримиримость возрастала с обеих сторон, а надежда, что кто-то из них сдвинется с места, таяла. Позже в тот же месяц Георге перенес еще один приступ болезни, еще более тяжелый, чем прежде. 22 июля, после того как доктор обнаружил «существование большого камня в мочевом пузыре» и рекомендовал немедленную операцию, Георге оказался в операционной под общим наркозом. В августе и в начале сентября, когда Георге вновь медленно выздоравливал в Бад-Вильдунгене, Гундольф проводил свой отпуск с Элли в Меерсбурге на Констанцском озере и в Мюнхене.

Удивительно, однако, что пока Гундольф боролся с Георге за свое профессиональное и личное будущее, то восстановил достаточно стойкости и хладнокровия, чтобы начать работать над новой книгой. Столь же удивительно, что она была посвящена самому Георге. Как Гундольф выразился в последнем письме Георге о том, почему он не смог поехать в Берлин: «Это — осуществление вашей ИДЕИ [в контексте] времени». В середине марта Гундольф уже закончил первую из запланированных трех частей книги, и к концу июня собрал, как он сообщал Эдит Ландман,

«толстую рукопись приблизительно в четыреста страниц», — ему оставалось написать всего тридцать. В октябре 1920 года книга была издана у Бонди как часть «научной» серии, связанной с «Листком» и украшенной эмблемой свастики.

Любой ожидавший, что книга, названная просто «Георге», будет критиковать свой объект или даже высказываться о нем двусмысленно, был бы разочарован. Это было, скорее, беззастенчивое упражнение в героическом вероисповедании, возвеличивающее Георге как возвышенную фигуру, почти как стихийную силу, которая создала свою собственную отдельную империю и вылепила новый тип человеческого существа. Георге изображен как завоеватель, правитель и пророк, выводящий свой народ из болота низостей XIX века в сияние новой Эллады под знаменем нового бога. Рисуя его портрет, Гундольф использовал одновременно язык рапсодий и язык битв, и только немногие люди, знавшие о приватной войне, которую он вел против человека, воспламеняемого на страницах книги, могли обнаружить еле заметную напряженность автора, старающегося убедить прежде всего себя самого.

Очевидно, книга встретила всеобщее одобрение среди верующих, которые увидели в ней еще один удар, нанесенный во имя общего дела. Вольтерс, все еще не осведомленный о разладе между Гундольфом и Учителем, экстравагантно воскликнул, что «в ней вновь появилась созидательная диалектика, впервые начиная с Платона». За пределами кружка отклики, однако, были несколько более смешанными. Мориц Гольдштейн, издатель берлинской ежедневной газеты «Vossische Zeitung», опубликовал в феврале 1921 года рецензию на книгу, предлагавшую вдумчивую и пронизательную оценку. Гольдштейн начал с утверждения Гундольфа, что Георге представлял собой мировую историческую фигуру, сопоставимую в величии и влиянии с такими людьми, как Данте, Шекспир или Гёте (Гольдштейн проигнорировал параллели, которые Гундольф проводил с другими, нелитературными предшественниками, такими как Цезарь и Наполеон). Тот факт, что такие фигуры существовали ранее, как признавал Гольдштейн, означает, что они могут появиться вновь, и возможно, Георге действительно когда-нибудь присоединится к ним в этом пантеоне. «Но как это могут решать его современники? — спрашивал Гольдштейн. — Такое величие должно выдержать испытание столетий. И поскольку это так, то предпосылка работы Гундольфа повисает в воздухе. Значение и ранг Георге не могут быть доказаны; едва ли можно даже спорить об этом. Гундольф деспотично устанавливает это значение и этот ранг. Он волен идти вперед и сделать это, если ему удастся! Только время покажет, сделает ли он это».

По более существенным вопросам Гольдштейн также был резок. Он, например, обнаружил отсутствие какого-либо упоминания о такого рода фактах относительно Георге, которые обычно ожидаются от биографии,

отсутствие той мирской суеты, которую высокопарная риторика Гундольфа, казалось бы, устранила. «Таким образом мы не узнаем почти ничего биографического, — отмечал Гольдштейн, — ни даты, ни места его рождения», и т. д. Но именно на этот счет Гольдштейн и высказал свою самую резкую критику. Сам язык, который использовал Гундольф, писал он, и агиографические цели, которым он был поставлен на службу, исключили книгу из сферы литературного или биографического анализа и поместили ее вместо этого внутри совершенно иной традиции. «Отсюда, — завершал Гольдштейн, — только один шаг до чистой мистики; к этой категории принадлежит наряду с другими примерами тот факт, что о стихах Величайшего говорится как о священных текстах, а о Величайшем — как о боге, не метафорически и в силу неконтролируемых видений поэта, а, скорее, о боге, понимаемом буквально, тем способом, каким его понимает и Гундольф». Кроме своих сомнений относительно справедливости восприятия Величайшего — а Гольдштейн более чем скептически относился к заявлениям о божественности Величайшего — он также пронизательно оценил политические риски одобрения таких воззрений в то время, которое едва ли могло позволить себе путаницу там, где могло бы находиться спасение. «Теперь опасно иметь дело с мистицизмом, — уточнял Гольдштейн. — Он может указывать на очень высокий или на очень низкий уровень духа и души. Даже признавая, что для Гундольфа справедливо первое, следует помнить, что многие из его читателей — люди религиозные, и именно поэтому на первый план выходит второе, то есть именно они спасаются бегством в мистицизм под давлением господствующих интеллектуальных и моральных трудностей жизни. Уже по всей стране есть тайные религиозные собрания в честь Георге, и даже если то, что Гундольф говорит, отвергая глупые и назойливые сплетни, и правомерно для „кружка“ и для самого Учителя, туманы и пары, поднимающиеся из этих второстепенных кружков, делают то тяжелое и суровое сражение, которое нашему поколению приходится вести, еще более тяжелым, и поощрять тех, кто готовит все эти колдовские варева, не подобает человеку с таким влиянием, как у Гундольфа».

Последнее замечание возвратило Гольдштейна к его исходному пункту. При всей неудовлетворенности тональностью и вероятным воздействием книги, Гольдштейн сохранял искреннее восхищение талантами Гундольфа. Действительно, именно те качества Гундольфа, которые вызвали сожаление Гольдштейна — и опасения, — он расценивал как следствие их неправильного использования. «Сегодня у нас нет избытка людей с таким влиянием и силой, как у Фридриха Гундольфа, — соглашался он. — Ни вообще в гуманитарных науках, ни в частности в исследованиях литературы. Можно было бы поэтому скорее согласиться с ним, чем ему противоречить. Но я прочитал этого «Георге» без удовольствия — и я не могу вооб-

разить, что лишь я один испытываю такие чувства. Что-то во мне сопротивляется этой самоуверенной мудрости, которая с высот священнослужителя судит мир и время, откровенно их обвиняя. Я желал бы, чтобы он оставил напыщенные обязанности судьи и снова стал тем, в чем он не может быть похож ни на кого другого — преданным и бесстрашным хранителем нашего литературного наследия».

Если бы Гольдштейн знал о внутреннем разладе, сформировавшем тональность книги Гундольфа, то продемонстрировал бы, возможно, больше сострадания к его автору, даже если бы его заключения остались неизменными. Поскольку могло быть так, что та самая пылкость, с которой Гундольф утверждал превосходство Георге, не подвергая сомнению настойчивость Гундольфа, что Георге воплощает собой абсолютную меру универсального значения, на самом деле выдавала бессознательную попытку убедить себя, что жертва, которую он собирался принести, ляжет, по крайней мере, на достойный алтарь.

В ноябре 1920 года, сразу после того, как книга «Георге» вышла в свет, Гундольф посетил своего друга Артура Шальза в Баден-Бадене. Во время одной из их бесед Гундольф говорил откровенно и, кажется, пренебрежительно об отношении Георге к Элли. Так или иначе его слова дошли до Георге, который, возможно, даже подослал Шальза с миссией прозондировать Гундольфа. Через месяц Эдит Ландман видела Георге в Берлине: «Я слышала от него якобы произнесенные Гундольфом факты и слова, — землетрясение, возможно, не напугало бы меня больше, — которые сделали разрыв неизбежным». Независимо от того, сказал ли это Гундольф, — если это когда-либо и было записано, любые следы потеряны, — Георге никогда не простил ему этого. Четыре года спустя, в 1925 году, он все еще вспоминал о случившемся в терминах невыносимой вражды. Фрау Ландман Георге сказал о Гундольфе: «Он делал все воображимое, совершал любые мыслимые глупости на моих глазах, и ему было разрешено делать это, потому что он знал, где должен остановиться. В какой-то момент он вышел за эти границы — как только определенное слово было высказано, с этим было покончено». Если Георге занимал определенную позицию, то редко ее изменял, и никогда не делал этого под давлением других. Еще позже, когда Эдит Ландман вновь начала обсуждение темы и, с обнадеживающим жестом примирения, задала вопрос, нельзя ли было простить за одно высказанное слово, Георге оставался непреклонен. «Нет. Есть слова, которые могут быть исправлены, и дела, которые могут быть исправлены, но есть и другие дела и слова, которые нельзя простить. Где я тогда был? Мое слово должно иметь силу. Оно должно быть твердым. Это просто мой ритм. Иначе я давно лежал бы в могиле».

Вскоре после того как это было произнесено, Георге довелось напомнить в письме Гундольфу о неизвестном «слове», как он выразился, подра-

зумеая, что оно могло появиться только у того, кто психически неустойчив. Называя это сообщение «горьким новогодним приветствием» Георге, Гундольф отважно стремился защититься, утверждая, что независимо от того, что он сказал Артуру Шальзу и что так оскорбило Георге, это не было намеренным, и что Шальз, возможно, неправильно его понял или, что еще хуже, намеренно построил для него западню. «Я не могу вспомнить и убедить себя, — говорил, таким образом, Гундольф Георге, — что Артур прав, но начиная и заканчивая беседу, в которой он участвовал, вероятно, с подспудной целью, он мог понять меня, такой цели не имеющего, так, как ему хотелось». В любом случае Гундольф отказался допустить, чтобы его чувства к Элли изображались как эманации запутавшегося ума, которые могли быть исправлены путем реабилитации. Пожалуй, теперь он был больше, чем когда-либо, уверен, что сделал правильный выбор. «Если это условие — болезнь, — продолжал Гундольф, — то теперь я знаю наверняка, что это не заблуждение, а истина, не безумное увлечение, но любовь, и я не считаю, что это когда-либо будет излечимо путем просветления или „разочарования“».

Не будучи разубежденным, Георге продолжал подчеркивать вопрос о «слове», которому Гундольф позволил выскользнуть, а Гундольф так же неустанно заявлял о своей невинности в любом преднамеренном оскорблении. «В беседах, которые я провожу с какой-то целью или по плану, установленному ЗАРАНЕЕ, — настаивал он, — моя память меня не подводит: то, что было в Баден-Бадене, было беседой иного рода и обернулось своей иной стороной после свершившегося. Это была непредумышленная беседа и случайный вопрос, цели которого я не знал, — и тот факт, что я точно не помню каждую неофициальную беседу, не говорит о дефектах ума». Гундольф униженно умолял учесть, что не все были такими же целеустремленными и преднамеренными в своих действиях, каким был сам Георге. «Вы, вероятно, никогда не сказали бы слова без определенной цели и без связи с действием и последствиями, — допускал Гундольф, — но вы никогда не применяли ко мне такие стандарты, и никто, кроме вас, этим не обладает. То, что многие случайные слова оборачиваются впоследствии важным делом, может отучить меня говорить неосмотрительно, но неосмотрительность не безумие». На этом Гундольф исчерпывал все, что мог сказать. Все, что он мог сделать, сводилось к тому, чтобы довериться милосердию Георге: «Не забывайте, что та степень ясности, проницательности и памяти, которой вы обладаете, не является такой же естественной для более слабых людей, и не всегда самые фривольные и неофициальные вещи называются худшими именами».

Теперь Георге понял, что возможности для достижения удовлетворительного решения почти исчезли, и прекратил общаться с Гундольфом вообще, замкнувшись в полном молчании. Гундольф предпринял еще не-

сколько попыток связаться с ним, но напрасно. Он писал словно в пустоту. «Одиночество для меня тяжелее, чем раньше, вследствие угнетающего давления тоски, горя и печали, — патетично писал он Георге в феврале 1921 года, — и при этом я не могу найти себя, даже при самом кропотливом исследовании, таким же виновным в грехе и заблуждении, каким, боюсь, вы меня находите». Но, при опасениях, что такие предположения окажутся подтвержденными, для Гундольфа вряд ли что-либо могло быть лучше, чем та неопределенность, в которой оставляло его молчание Георге. «Если бы я только знал, до какой степени вы на меня разгневаны или, что еще хуже, считаете меня чужим. — Как всегда, он закончил свое письмо словами нерушимой преданности: — В любом случае, дорогой Учитель, я сохраняю твердую преданность, почтительность и любовь. Ваш Гундольф».

Следующие два года, словно в упрек за поведение Гундольфа, здоровье Георге оставалось ненадежным. Летом 1922 года он вернулся в Бад-Вильдунген, и в сентябре ему сделали еще одну операцию. Тем временем Гундольф написал еще одну книгу, на этот раз о странном прусском авторе Генрихе фон Клейсте. Как и остальные, она также была издана у Георга Бонди и вышла в свет в ноябре с обычной эмблемой. Но она содержала в себе кое-что еще, нечто такое, из-за чего Георге, узнай он об этом заранее, конечно заставил бы задержать ее публикацию. На первой странице книги, между официальным знаком кружка и введением, располагалась полоса с надписью, напечатанной прописными буквами: «ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭЛИЗАБЕТ САЛОМОН».

Это была последняя капля. Это выглядело не только актом скандального неповиновения, но и расчетливым ухищрением. Георге, который говорил Эрнсту Глокнеру, что посвящение вставлено «за его спиной», был в ярости. Он отдал указание Бертольду Валлентину написать Гундольфу и напомнить ему об «ответственности», которую «судьба» возложила на него, с подразумеваемой угрозой о том, что его ожидает, если он этим пренебрежет. Это был, по сути, ультиматум — Гундольф должен выбрать «эту личность» или Учителя, и если он выберет первое, то друзьям Георге не останется ничего иного, кроме как повернуться к нему спиной. Гундольф догадался, что Валлентин действовал от имени Георге и спросил своего брата, Эрнста, так ли это. «Я не знаю, была ли такая миссия у Валлентина, — ответил Эрнст. — Но как бы то ни было, он вряд ли действовал самостоятельно». По поводу же запрета на дружественные отношения с членами кружка Эрнст высказал сомнение, что «Учитель уже выдвигает возражения против случайных встреч», но все поняли, что благоразумнее самим воздержаться от таких встреч». «Чего он ни в коем случае не желает, так это контакта с обеих сторон, — сказал ему Эрнст. — Выбор стороны, конечно же, остается за каждым в отдельности — но фактического за-

прета, разумеется, не существует, только предупреждение, которое в большинстве случаев вызовет тот же самый результат». Так как он и Гундольф были братьями, и было почти неизбежно, что они при случае столкнутся друг с другом, Георге сделал исключение в своей политике и дал Эрнсту специальное позволение. Все остальные должны были выбирать, на какой они стороне.

В последней попытке объяснить, насколько серьезной была ситуация, и, возможно, со слабой надеждой, что Гундольф отречется, Фридрих Вольтерс — многие годы его друг, сотрудник по «Ежегодникам», а теперь самый высокопоставленный член иерархии кружка после самого Георге — отправил длинное письмо Гундольфу в начале февраля 1923 года, клинически анализируя неверное поведение своего друга. Дело было не в том, что Гундольф разделил свой жребий с кем-то еще, писал Вольтерс, а в том, что способ, каким он это сделал, был «реальной причиной гнева Учителя». «Вы рассматриваете посвящение Э. как частный вопрос либо оправдываете его своим неповиновением, или принуждением абсолютной необходимости, или верой, что оно не имеет таких серьезных последствий, тогда как Учитель может видеть только сознательное утаивание деяния от интересов государства, намеренный обман *Фюрера* и открытую нелояльность к другу». У Гундольфа все еще было ошибочное впечатление, что, посвящая книгу Элли, он не сделал ничего ужасного и непоправимого, просто добавил в конечном счете безобидное личное примечание к монографии. Но опубликовав книгу с официальной печатью кружка, Гундольф, как сообщил ему Вольтерс, на самом деле соединил две области, которые были несоединимы. «Это не частный вопрос — книга подписана совместно, посредством эмблемы „Листка“, и весь мир видит, что это не тривиальный вопрос, так как он вызывает путаницу у младших друзей. И там, где он должен был только хвалить, ему приходится предостерегать. Это не безопасный вопрос — вы заставили его отречься от вас перед бизнесменами, такими как Бонди, и рассказать им о трениях, о которых должны были знать только самые близкие друзья». Гундольф забыл, что живет во вселенной не его собственного творения, и что не свободен действовать так, как ему нравится. «Георге не может терпеть, — говорил ему Вольтерс, — что вы решаете — как в вопросе с посвящением, — что делать с тем, что не принадлежит вам, а является его делом и его творением». О чем не упоминал Вольтерс, так это о том, насколько Георге был заинтересован, чтобы сам Гундольф также был его собственным творением и у Гундольфа, таким образом, больше не было такой свободы распоряжаться собой, какую имела любая другая часть его царства.

21 июня 1926 года, через три года после последней неудачной попытки Вольтерса удержать его от падения в пропасть, Гундольф в последний раз написал Георге.

Я, как приказывает мне мое сердце и мой ум, решил жениться на Элизабет Саломон в этом году, убежденный, что таким образом нарушаю ваше желание, но не ваш закон, так как это создание заслуживает вашего милосердия больше, чем я. Хотя я был неспособен убедить вас, но предпочитаю идти в ад с нею, чем к небесам без нее. Я знаю о последствиях — о муках из-за вас и ради вас — и готов к ним. Я не покидаю вас, даже если вы отвергаете меня.

Ваш Гундольф.

Георге никогда больше не видел его и никогда с ним не разговаривал.





Глава тридцать седьмая

ПЕРЕГРУППИРОВКА

Большую часть 1921 года, когда конфронтация с Гундольфом достигла своего кульминационного момента, Георге действительно замкнулся в себе. Даже о его местонахождении в течение большей части года никто не знал, а несколько месяцев о нем вообще не было никакой информации. Он словно исчез с лица земли.

Отчасти, продолжающаяся физическая немощь Георге заставляла его жить незаметно. В одном из немногих писем от него в этом году — написанном, кстати, не его собственной рукой, а рукой Эриха Берингера, которому он его продиктовал, — Георге, описывая урологу последний приступ его болезни в начале мая. Была, говорил он, «острая боль, гной, выделение слизи, чего ранее никогда не было». Георге, который был в Берлине в то время, добавил, что «тогда консультировался с профессором Позенером, который диагностировал неприятное воспаление и предписал ежедневную обработку — только промывание бором». Отчаявшись избавиться от хронических заболеваний почек и мочевого пузыря, которые мучили его годами, Георге согласился на применение экспериментальной терапии, которая предполагала промывку его мочевой системы радием и обогащенной бором минеральной водой. Георге сообщал: «На какое-то время это, казалось, помогло, но боль и весьма некомфортная задержка жидкости продолжалась. Мускулы казались настолько ослабленными, что вечерами часто приходилось вставлять катетер. Если бы я был неспособен делать это, то вернулся бы назад в клинику».

Но какими бы болезненными эти несчастья не были, он страдал еще сильнее от того, что считал вероломством тех самых людей, которым больше всего доверял. Гундольф, хотя и самый яркий отступник, был не единственным. Последней статистической величиной был Йозеф Лигле, скромный уроженец Швабии. Лигле, который изучал классику и был известен своей способностью прекрасно декламировать поэзию, особенно греческую, был представлен Георге своим товарищем, швабом Робертом Бохрингером перед войной. Георге когда-то был о нем высокого мнения. Когда Лигле, сражавшегося на войне, захватили британцы и поместили в лагерь военнопленных, Георге был встревожен и говорил Гундольфу: «Мы не можем терять таких людей, которые стоят десятков тысяч простых смертных!» Позже тем не менее Лигле резко упал в оценках Георге. По причинам, которые он никогда не объяснял, Георге грубо прогнал его в начале 1922 года. (Согласно Гансу Брашу, Лигле был застенчивым, сдержанным человеком, чья «молчаливость часто приводила к таким длинным паузам в беседе, что каждый ощущал тишину как почти физически угнетающую муку». Роберт Бохрингер подозревал, что «именно длинные паузы в беседе были бременем для Георге» и в конечном счете привели к разрыву.)

В необычно длинной речи перед Эдит Ландман, которая со своей стороны думала, что Лигле впал в немилость «незаслуженно», Георге оправдывал свой поступок как необходимый акт политической чистки. Он утверждал:

Подданные государства умирают, но государство живет. Пока я жизнеспособен, время от времени должна проходить большая чистка. Кто-то может сказать: почему она происходила до 19 марта, а после этого, 21 марта, она больше не происходит? В какой-то момент все заканчивается. Раньше было так, но однажды наступает возможность избавиться от этого. Ранее были сдержанные отношения. Теперь я не могу взвешивать все так тщательно и должен оставаться лишь с теми, к кому привязан. Я не могу оставаться даже с теми, кого люблю в полной мере, — мне затруднительно это делать физически. Я предупреждал его. Мне не нравится предупреждать. Я ставлю под угрозу свое достоинство, когда предупреждаю. Другие знают, что ранее я его предупреждал, но он все пропускал все мимо ушей. Он многого не слушает. Я каждому человеку говорю правду только однажды, если это необходимо. Если это бесполезно, то и сто раз повторять бесполезно. В кругу не принято подавать сигналы заборными столбами. Есть слишком много других людей, которым это необходимо. Возможно, когда-то все исправится, но теперь я не желаю. Я объясняю это вам подробно, потому что вам важно знать, что я чувствую и как к этому отношусь.

Когда фрау Ландман поинтересовалась, как Лигле переносит свое изгнание, Георге пожал плечами. «Он может исправиться. Он может удивить

меня, мне нравится удивляться. Возможно, он исправится именно тем способом, какой сам и избрал». Но, судя по опыту прошлого, перспективы Лигле не были благоприятными. Словно подчеркивая, насколько маловероятным является возвращение его благосклонности, Георге сравнил Лигле с другим человеком, который так разочаровывал его в этот момент. «Иногда я не вижу кого-то три года, но это не сбавывает. Другие, если я также не вижу их долгое время, остаются для меня позади, полностью устаревшими, и я больше не понимаю их; они должны жить со мной; даже Гундольф уже понимает это».

Тем, кто приближался к критическому трехлетнему сроку разрыва, был Эрнст Глокнер. В ноябре 1919 года он говорил Бертраму: «Я все это время хотел написать Георге; но я не могу думать о правильном поступке и поэтому продолжаю откладывать письмо все дальше и дальше, даже при том, что именно это и доставляет чрезвычайные мучения». В марте следующего года Глокнер понял, что не виделся с Георге почти два года.

По крайней мере частично причина, в силу которой они начали расходиться, была косвенно связана с Георге. В тот же самый период Глокнер пытался урегулировать возрастающую напряженность, возникавшую между Бертармом и им самим по поводу преданности Учителю. Если вначале Глокнер думал, что книга Бертрама о Ницше в конечном счете сломала враждебность его друга к Георге, то вскоре он обнаружил, что его надежды неуместны. Более настойчиво, чем когда-либо прежде, Бертрам убеждал Глокнера уладить вопрос относительно своей позиции, но Глокнер не хотел принимать неуступчивое либо-либо Бертрама. «Вы правы, и Георге прав, — холодно сказал он Бертраму в конце ноября 1919 года, — это ужасное суждение, которое касается больше всего меня. Поскольку я, как поклонник, стою между вами двумя, и это больше, чем когда-либо я допускал, склоняет меня к любому из вас». Глокнер теперь видел, что ничто никогда не сможет примирить Георге и Бертрама, но все еще надеялся сохранить свои связи с обеими сторонами неповрежденными. «Поскольку вы полные противоположности, то, в сущности, объединение невозможно — должно случиться чудо, чтобы Эрос столкнул вас друг с другом». Глокнер пытался убедить, что взгляд Бертрама на Георге был односторонним и частичным, и что Георге вовсе не испытывал тех же самых чувств к самому Бертарму. «Я знаю из тысячи комментариев, что он уважает вас, и вы знаете это сами». И поскольку действительно Георге дал понять, что Бертраму не рады в кружке, Глокнер объяснил, что его исключение основано на твердых принципах — Георге «собирает вокруг себя только тех, кого любит и от кого не придется ожидать измены». Глокнер открыто признавал, что Георге больше не искал поэтических талантов, но, скорее, искал тех, кто воплотит его дух и не сможет поэтому однажды дезертировать. «Он

хочет, чтобы след, который он оставит в мире, состоял только из его сторонников и не был стерт кем-то, кто не может верить. И он знает, что вы не способны верить».

Глокнер, недовольный тем, что оказался в ловушке этого нестабильного треугольника, и все еще надеющийся сохранить свои отношения с обоими, дал Бертраму понять, что, если дело дойдет до выбора, то останется с ним. Но Глокнер предупредил, что такое решение будет мучительным и поэтому должно стать только последним средством. Он умолял Бертрама: «Никогда не обвиняйте меня в пристрастности и не мучайте мелкими злобными замечаниями, которые всегда слетают с вашего языка в таких случаях». Бертраму следовало довериться тому, что он имеет, и не требовать большего. «И если вы говорите, что я должен в большей мере быть на вашей стороне, то теперь вы знаете, что это невозможно и что это было бы возможно, только если бы я разрушил то, чему поклоняюсь. Но я не могу сделать это — все во мне запрещает такую измену совести. Разве я не нахожусь на вашей стороне?» Это было неустойчивое равновесие, и Глокнер делал все что мог, чтобы сохранить его.

В октябре 1920 года Глокнер наконец опять набрался храбрости и послал несдержанное письмо Георге, попросив того с ним встретиться. Они вообще не виделись в течение полутора лет. «Все во мне жаждет вас, — говорил Глокнер. — С этой более чем физической потребностью я приеду к вам сегодня, Учитель, чтобы сказать, что чувствую: Я люблю вас, я люблю вас, как никто не может любить что-либо земное, столь сверкающее и горящее в пламени любви, что оно может поглотить меня, если его неистовство не остановит исполнение моего желания, или ваше слово. Простите, что умоляю лишь о ничтожном слове; я не делал бы этого... если бы мои силы не закончились».

Георге, немного к тому времени выздоровевший от последней операции, которую перенес тем летом, согласился с просьбой. В конце месяца Глокнер отправился в Гейдельберг, где нашел Георге «более веселым, чем ожидал», даже при том, что Георге находился под «постоянным медицинским наблюдением». Признавал он или нет побуждения, заставившие Глокнера искать его, у него была своя собственная повестка дня и свои планы. Как позже Глокнер описывал встречу Бертраму, основными предметами их беседы были Томас Манн и Бертрам. Томас Манн был яблоком раздора между Георге и Глокнером с самого начала. «Дрянное письмо самого низкого сорта», — таково было типичное описание, которое Георге давал творчеству Манна. За эти годы Георге неоднократно стремился заставить Глокнера отвернуться от Манна, осуждая его характер, искусство и поклонников. Во время этого интервью Георге сказал, что «крайне разъярен» недавней публикацией Манна, которая, как считал Георге, была «невероятно плохой». О Бертраме Георге также упомянул, что недавнее стихотворе-

ние, которое тот написал, было «нехорошим и бессмысленным». Глокнер добавил, что Георге настойчиво советовал Бертраму не уходить с уровня, установленного «Ницше»: «Вы навредили бы себе непомерно». Разумеется, Бертрам был раздражен такой непрошенной критикой и советами, так же как был раздражен и возобновленными нападками на его друга Томаса Манна. Он потребовал у Глокнера более подробно пересказать то, что говорил Георге, но Глокнер беспомощно отвечал: «Георге сказал только то, что я вам написал». Глокнер добавил, что Георге неоднократно удивлялся, как Бертрам мог оставаться дружелюбным по отношению к человеку, который настолько очевидно был недостоин такой чести: «Он находил и находит непостижимым, что вы все еще проявляете такое уважение к человеку, которого превосходите; таковы его слова». Бертрам знал Георге достаточно хорошо, чтобы понимать, что тот пытался вбить клин не только между Бертрамом и Манном, но, возможно, и между Бертрамом и Глокнером. Еще раз Георге попытался развести их в разные стороны, на этот раз в отношении к их общему другу.

Что касается Глокнера, то Бертрам чувствовал, что пытается рассуждать с человеком, которому промыли мозги. Он даже предположил, что Георге каким-то образом наложил на Глокнера проклятие или его околдовал. Но Бертрам был неспособен поколебать убеждение Глокнера, что тот действовал по предписанию более высокой, безличной силы. Их спор продолжался все лето. Глокнер вновь уверял Бертрама, что его преданность Учителю не подразумевала, что он был менее преданным своему другу. «Вопрос был, — писал Глокнер в августе, — не в Георге или в вас, — так как он решен много лет назад. Георге знает об этом решении. Но вы не можете просить, чтобы я утратил близость с этим человеком ради Т. М., ибо в первую очередь я сам себя и буду презирать. Такая жертва в моей жизни не обогатит, а, скорее, разрушит ее». В том, что затронуты его отношения с Бертрамом, в уме Глокнера не существовало никакой неопределенности. Он только хотел, чтобы ему дозволили ту самую свободу, наслаждаться которой, как утверждал Бертрам, ему препятствовал Георге. «Вы знаете, — напомнил он Бертраму, — что *ничто* не может забрать меня от вас, пока вы храните смысл и тайну нашей любви. Моя жизнь — ваша жизнь; признайте это».

Пока Бертрам и Глокнер были заняты своей ссорой, Георге, здоровье которого так и не удалось стабилизировать, погрузился в почти полное молчание. Глокнер, который также страдал от постоянного почечного недомогания, рекомендовал Георге «чудо-доктора» по имени Зейлис, у которого была частная практика в городе Галльспах в Верхней Австрии. Но кроме отдельных вопросов о медицинских проблемах, Георге с ним почти не общался. Естественно, Глокнер принял это за признак давнишнего неодобрения Георге. В декабре 1921 года Глокнер говорил Бертраму: «От Ге-

орге, конечно же, ничего не пришло — это разрыв, я это ясно чувствую! Чем можно от этого излечиться, пока не знаю; но знаю, что я не виноват». Без дальнейших слов от Георге Глокнер тем не менее мог только размышлять о положении дел.

Окончательный разрыв был вызван не каким-то старым разногласием, а новым раздражителем. В январе следующего года Глокнер узнал, что некий профессор Георг Каро, который был евреем, посетил Георге. Глокнер встревожился: «К. с Георге! Удивительно, неужели вновь и вновь это всегда должны быть евреи?» Глокнер и Бертрам долгое время были убежденными антисемитами, и этот вопрос с самого начала был главным раздражителем в их отношениях с Георге. Так, сразу же после того как Глокнер встретил Георге, он испытал мимолетную тревогу, «не является ли тот евреем». Естественно, Глокнер испытал облегчение, когда Бертрам сумел развеять его тревоги. «Ваше сообщение, что он не еврей, — говорил ему с благодарностью Глокнер, — действительно меня успокоило».

Однако и Глокнера и Бертрама этот вопрос продолжал мучить, и растущая популярность их воззрений во многих частях Германии только способствовала укреплению их верований. Глокнер неоднократно сокрушался по поводу большого количества евреев среди знакомых Георге. «Эти евреи и эта зависимость Георге от них, — ворчал он в 1922 году, — *насколько* болезненной она была для меня всегда — в этом отношении я действительно вижу больше и глубже, чем Георге». Глокнер чувствовал, что в кружке Георге слишком много евреев — некоторые из самых видных его участников, включая Гундольфа, Вольфскеля и Морвица, были евреями, а теперь еще Каро! Глокнер утверждал: «Как группа евреи создают „бесконечную опасность“, не только в „государстве“ Георге, но также и для немцев в целом. Все евреи носят одно и то же проклятие — они сосут нашу кровь и только так могут жить. То, что Георге не видит этого или не хочет видеть, то, что он терпит и культивирует этот дух в самой тесной близости от себя — это для меня тайна». Всю остальную часть 1922 года Бертрам и Глокнер обменивались многочисленными ни к чему не обязывающими наблюдениями. В октябре Глокнер сообщил: «То, что я слышу о Георге, становится все более и более печальным — он окружен только евреями». Месяц спустя, когда книга Гундольфа о Клейсте с посвящением Элли вышла в свет, Глокнер не мог оставить это без комментария: «Еврей — неподходящая персона, чтобы рассматривать такие фигуры; он не имеет внутреннего права это делать». Ранее, Гундольф избегал осуждений такого рода, огражденный от них исключительным статусом внутри иерархии Георге. В 1918 году, например, во время трудного процесса публикации «Ницше», Бертрам пустил в ход идею, что, возможно, зависть со стороны Гундольфа не дает книге ход. Глокнер так не считал, ссылаясь на утверждение Георге

и собственное ощущение, что «все еврейское в негативном смысле больше к нему не липнет». Теперь, четыре года спустя, даже Гундольф не мог не быть измазанным широкой кистью антисемитизма.

К январю 1923 года, главным образом из-за ощущаемого им господства еврейского влияния внутри кружка Георге, Глокнер уже начал говорить о своей привязанности к Георге как о чем-то, принадлежащем прошлому. Вначале Глокнер избавил самого Георге от любой критики за пределами сообщества. Он сокрушался по поводу «этого полного погружения в еврейский интеллектуализм», который ему «в высшей степени противен». Глокнер говорил, что сожалеет, — теперь, из-за того, что это произошло, он и Георге должны будут разойтись. «Если *это* — его подарок, то он был более чем странным для меня человеком, и я сохраню только его образ, перед которым с благодарностью преклонялся». Позже тем не менее даже Учитель не был освобожден от ответственности за их разрыв. Когда в 1926 году Бертрам сообщил Глокнеру об остракизме Гундольфа как следствии его решения жениться, Глокнер признался, что эта новость произвела на него глубокое впечатление — «странно, что в конце концов никто не может вынести этого тирана».

В последующие годы, когда он недоумевал, силясь понять ту всепоглощающую роль, какую Георге когда-то играл в его жизни, Глокнер часто возвращался к ярлыку тирана, чтобы описать своего бывшего Учителя. «Высшее, чего желает любовь, — это не тирания и эгоизм, — говорил он Бертраму в 1928 году. — Георге служит нам предупреждением, несмотря на необъятность его талантов». Георге неправильно понял, что такое любовь, утверждал Глокнер, и именно из-за этого изъяна и потерпел крах весь его проект. «Таким образом, — писал Глокнер в своем дневнике, — Георге был надломлен собственным эгоизмом и как тиран уничтожал своих друзей, разрушая их природу, вместо того чтобы позволить их существовать развиваться в прекрасной свободе, полностью захваченной и удерживаемой им, единственным мудрецом. Любовь, которая разрушает и стремится только к своему превосходству и заботится только о себе, — это не любовь. Любовь друзей может быть создана только там, где она так же соблюдает закон друга, как и свой собственный».

В каком-то отношении именно это Глокнер и говорил Бертраму все время, за исключением того, что до сих пор термины были совершенно обратными. Таким образом, Глокнер был убежден, или убедил себя сам, что его собственная свобода лежит в полном подчинении воле Георге. Такое представление действительно соответствовало идеологии кружка, это верно, но оно, самое малое, требовало особого определения свободы. Как только Глокнер отстранился и начал смотреть на Георге со стороны, то начал понимать, что так называемая свобода, которой он так долго хвалился, была практически неотличима от рабства.

К тому времени, когда Глокнер окончательно вырвался из объятий Учителя, тот давно уже направил свое внимание на других. В начале 1920-х годов, Георге встретил двух новых юношей, которые вскоре написали произведения, конкурировавшие даже с Гундольфом своим блеском, новизной, а в одном случае и коммерческим успехом. По совпадению, хотя они и имели между собой мало общего и, возможно, даже не встречались, оба были обязаны Гейдельбергу тем, что их допустили в мир Георге.

Многие из солдат, возвращавшихся с войны, желали возобновить свои прерванные исследования — к счастью, война закончилась как раз во время приема в летний семестр 1919 года. Той весной университеты наполнились и новичками, и закаленными в боях студентами, многие из которых все еще были одеты в серую полевую форму. Они стремились позабыть о том, что произошло, и найти ответы на новые вопросы, которые к тому времени появились. Одним из самых зрелых студентов в Гейдельберге был Эрнст Канторович, который получит здесь через два года докторскую степень по истории. Родившийся в 1895 году в зажиточной немецко-еврейской семье в восточно-прусском городе Фозене (Познань), он отправился на западный фронт в сентябре 1914-го. Будучи ранен в 1916-м, Канторович вернулся на поле сражений и каким-то образом выжил следующие два года, получив несколько благодарностей за свои умение и доблесть. Один из его командиров сказал о нем: «Абсолютно экстраординарная личность, выдающийся солдат и действительно хороший товарищ. Его поведение на войне и его храбрость хорошо известны». Когда Канторович был принят в университет Гейдельберга осенью 1919 года, в возраст двадцати четырех лет, у него все еще была осанка воина, но манеры джентльмена. Георге, который встретил его вскоре после этого, сказал: «Он был тем, кого французы называют кавалером, и он был кавалером такого рода, каких больше не видели. Гибкий, хотя и с твердой мускулатурой, изысканный, элегантный в одежде, в жестах и в речи, Канторович имел что-то общее с фехтовальщиком».

Хотя неизвестно, как Канторович был вначале представлен Георге — он был племянником Гертруды Канторович, единственной женщины, публиковавшейся в «Листке за искусство», но едва ли это было что-то больше, чем рекомендация, — легко представить, что он сразу же встретил восторженный прием. Физически Канторович казался смоделированным по образцу многих фаворитов Георге: большие, вдумчивые глаза и выразительный рот на овальном, с пропорциональными чертами лице. На фотографиях видна его веселая натура, излучающая почти ироническое наслаждение собственной судьбой. Даже несколько лет спустя, когда он был вынужден эмигрировать в Англию, Сесил Боура заметил, что у него все еще было «превосходное чувство юмора». (Боура также думал, что эта черта была самой необычной в нем, и заметил, что Канторович не был по-

хож ни на одного немца, которого он встречал, — совершенно не напыщенный и без диктаторских замашек»). Все эти качества, наряду с доверчивостью и энергичностью военной выправки, сообщали Канторовичу очаровательную видимость скромного самообладания. Привлекательными для Георге тем не менее должны были показаться покладистость Канторовича, его пронизательный ум и изящное владение словом. Все, кто встречал Канторовича, поражались тому, что Луиза Готейн назвала его «цветистым умом», добавляя, что беседа с ним всегда была «интеллектуально возбуждающей и часто парадоксально шутиливой». Хотя Канторович, как известно, не писал поэзии, Георге, терявший так или иначе веру в поэзию и начавший ставить больше на «научные» сочинения своих последователей, признал, что за Канторовичем богатое будущее, и с энтузиазмом принял его в свой круг.

Летом 1920 года Эрнст Канторович уже был среди небольшой группы друзей Георге, которым разрешалось навещать его, когда он поправлялся в Бад-Вильдунгене. В начале 1923 года их отношения улучшились до такой степени, что Георге предпочел остановиться у Канторовича, когда был в Гейдельберге. Георге писал Фридриху Вольтерсу в марте того года: «Я обычно не в Шлоссберге — что было адресом Фридриха Гундольфа, — а на Вольфсбрунненвег, 12» (адрес Канторовича). Как предполагает такое сжатое сообщение — в нем не упомянуто никакое имя, — Георге рассматривал существование своего нового друга как тщательно охраняемую тайну следующие несколько лет. Людвиг Тормелен говорит в 1920-е годы: «Поэт не позволял Эрнсту Канторовичу присоединиться к кругу своих юных друзей в Берлине. Я сам никогда не встречал его в те годы в Берлине или на поэтических чтениях». Как объяснял Тормелен, такое поведение было весьма обычно для Георге — ему нравилось сохранять «группы друзей», участники которых уже не были знакомы друг с другом, «принципиально старательно разделяемые». Этот микроорганизаторский подход к различным подразделениям внутри его сферы был очевиден уже перед войной. Однажды, когда Курт Гильдебрандт и Вольтерс неожиданно оказались в доме Гундольфа в Дармштадте, не зная, что Георге случалось тоже здесь иногда бывать, Учитель принял их «несколько более прохладно, чем обычно». Гильдебрандт заметил: «Он был раздражен, по-видимому, нашим необъявленным визитом». Они оба узнали (Вольтерс писал Георге по другому поводу), что Георге «не нравились такие неожиданности», и заботились о том, чтобы избежать их в будущем.

Во время длительного и мучительного процесса разрыва с Гундольфом Георге стал еще более подозрительным к другим, чем обычно, и бдительно наблюдал за ними. Любой подозреваемый в причастности к незаконной деятельности — пытающийся обнаружить его адрес, прибывающий на его порог без предупреждения и особенно разыскивающий других

членов кружка без его явно выраженного одобрения — чувствовал, словно удар плети, его недовольство и рисковал вскоре быть изгнанным. Осенью 1922 года Эдит Ландман испытала, на что это было похоже — оказаться под подозрением у Георге. По окончании визита в Берлин она планировала остановиться в Гейдельберге, чтобы увидеть Георге на своем пути назад в Базель. Поскольку в то время проходила художественная выставка в соседнем Дармштадте, которая заинтересовала ее, Эдит на короткое время прервала свое путешествие. Полагая, что поступает благоразумно, она отправила послание Георге о своем грядущем прибытии в Гейдельберг из Дармштадта. Когда Эдит добралась до Гейдельберга, он ждал ее, но приветствовал «резко и холодно». Когда он сердится на кого-то, объясняла она, то любой испытает «чисто физическое ощущение ледяного воздуха, от него исходящего». Эдит не знала, чем было вызвано такое обращение, но видела, что Георге был настолько раздражен ею, что, думала она, «все кончено и надо готовиться к самому худшему». Только на следующий день Эдит Ландман поняла из его вопросов, что Георге считал, будто она поехала в Дармштадт «без разрешения», чтобы обратиться к Эрнсту Гундольфу, которого лично еще не знала. Георге, как правило, строго запрещал своим людям, как она выразилась, «разыскивать друг друга на основе их общего отношения к нему — он хотел оставить за собой право сводить их вместе тогда, когда этого желал». Несмотря на заявления Эдит о невинности, Георге все еще не полностью верил, что она просто хотела отправиться на выставку. Только после того как он получил независимое подтверждение от самого Эрнста Гундольфа, он убедился, что она говорила правду.

С обаятельным и привлекательным Канторовичем Георге принимал еще больше мер предосторожности, чем обычно, чтобы предотвратить любые «неожиданности». Сделавшись осторожным из-за всех предательств последнего времени, он берег Канторовича почти исключительно для одного себя. Так, когда несколько лет спустя первая книга Канторовича была издана — разумеется у Георга Бонди, — Георге действовал, фактически, как агент Канторовича. Он контролировал всю переписку с самим Бонди, договаривался о различных финансовых мероприятиях и даже подписывал контракт. Бонди даже не знал имени автора, пока книга не поступила в печать.

Был еще один новичок, окрыленный ожиданиями. В летний семестр 1920 года, спустя год после того как Канторович прибыл в Гейдельберг, восемнадцатилетний студент по имени Макс Коммерелль поступил там в докторантуру по немецкой литературе. Во всем, кроме его интеллектуальных талантов — они были поразительны, — Коммерелль был точной противоположностью Канторовичу: невысокий и коренастый, Коммерелль

имел такое лицо, которое только из великодушия можно назвать обыкновенным. Его узкие глаза, слабо развитый подбородок и опущенные уголки рта, постоянно сжатого в дерзкой гримасе, — все свидетельствовало о ярко выраженной амбициозности, которая, возможно по закону компенсации, снабжала горючим его миниатюрное и непривлекательное тело. Роберт Берингер, который сказал, что Коммерелль «некрасив», добавил, что Коммерелль отказался принять даже физические пределы, установленные для него природой. Таким образом, в компании других, которые были неизменно выше, Коммереллю «приходилось стоять на пальцах ног и вытягиваться». Эдгар Салин, который не любил его и не доверял ему, злобно называл его «карликом».

Но то, что Коммерелль имел изъяны в физической привлекательности, с избытком восполнялось в нем блеском ума. Возможно, он был самым блестящим, самым глубоким и самым интересным мыслителем из числа тех, кто когда-либо был связан с Георге. Даже сегодня все еще неизвестный в англоязычном мире, он был, вероятно, самым оригинальным философским литературным критиком, который писал на немецком языке в течение XX века, — уступая разве что только Вальтеру Беньямину, который находился на другой стороне политического спектра. Хотя Коммерелль умер молодым — он скончался от рака в 1944 году, в возрасте сорока двух лет, — но оставил после себя собрание произведений, которые по своему масштабу и глубине являются удивительно богатыми и все еще интеллектуально влиятельными, а многие из его книг и эссе остаются непревзойденными вершинами той литературной культуры, которую воплощают.

Как студент Коммерелль начал посещать лекции Гундольфа сразу же после поступления в Гейдельберг. «Гундольф — изумительный феномен вдохновляющей чистоты, — писал Коммерелль своему другу в мае 1920 года. — Я покорен живостью и яркой пластичностью его лекций, даже в деталях, достоверной оценкой того, что является великим и важным, его верховным контролем и надзором. Близость к такой действенной силе — самая освежающая для меня вещь, какую только можно вообразить». Перечень личного чтения Коммерелля кажется составленным с целью скорейшего погружения в ту вселенную, которую изображал Гундольф. Коммерелль читал, как он говорил, «Гёльдерлина, Новалиса, Шиллера («Письма об эстетическом воспитании»), Гундольфа, Георге, „Ежегодники Листка за искусство“, сонеты Шекспира и много Ницше». Это походило на программу курса о Георге и его кружке. Год спустя Коммерелль еще не встретился с Гундольфом лично, не говоря уже об Учителе, но оба они были в самом центре его внимания. Как он говорил еще одному своему другу в феврале 1921 года, «теперь можно часто увидеть Георге на улице и в университете», а в августе Коммерелль сообщал, что «он и его товарищи видят, как Учитель идет через парк почти каждый день».

Шанс наконец встретиться с двумя героями Коммерелль получил не в Гейдельберге, а в другом университетском городке. Тем летом он перешел в университет Марбурга. Город в северном Гессене примерно в пятидесяти милях выше Франкфурта — и, случайно, недалеко от Бад-Вильдунгена — Марбург является местом расположения самого старого протестантского университета Германии, основанного в 1527 году. В конце XIX века Марбургский университет стал известен своим философским факультетом, в частности, возвращением к жизни интереса к философии Иммануила Канта, развиваемой там Германом Когеном и Паулем Наторпом. После войны, однако, неокантианская традиция «марбургской школы» в значительной степени пошла на спад, и ей на смену пришло молодое поколение мыслителей, в большей мере склонных к антирациональным сочинениям Ницше и Анри Бергсона. В 1923 году Мартин Хайдеггер был назначен профессором в Марбурге и быстро стал самым популярным преподавателем в университете, написав свое самое известное произведение «Бытие и Время», которое появилось в 1927 году. Хайдеггер привлек также других одаренных молодых ученых, таких как Карл Лёвит и Ганс-Георг Гадамер, которые заняли преподавательские должности десятилетием позже и помогли сделать Марбург центром немецкой интеллектуальной жизни.

И все же Коммерелль отправился в Марбург не изучать философию. Скорее, он хотел быть рядом с другим недавним дополнением к факультету — Фридрихом Вольтерсом, занявшим там в 1920 году должность профессора истории. Оказалось, что помощником Вольтерса был некий Вальтер Эльзе, который в свою очередь был близким другом молодого человека по имени Эвальд Вольнард. Последний приехал изучать историю в Гейдельберге, где он также оказал поддержку Коммереллю. Через этот окольный канал в июне 1921 года Коммерелль был представлен Вольтерсу, познакомившему его впоследствии с людьми, которыми он восхищался издавна уже более года.

Очевидно, Георге был столь впечатлен Коммереллем, что мог не обращать внимание на все его физические недостатки. Скоро, и на самом деле несколько неуместно, Георге с гордостью показывал Коммерелля как «нового Гундольфа». Как и все близкие друзья Георге, Коммерелль вскоре получил второе имя, знаменующее его духовное возрождение, — «Максим». Явно напоминавшее божество Георге, новое имя указывало на особенно привилегированное место Коммерелля, и вскоре он с гордостью начал подписывать им свои письма. Более часто — и более прозаически — Георге использовал другое имя Коммерелля, которое шутливо указывало на его совершенно не впечатляющее телосложение — «Малыш (Коротыш)» (*das Kleinste*), — а также, благодаря его полу, имплицитно идентифицировало его как самое юное «дитя» Георге (*Kind*, слово среднего рода на не-

мецком). Эдит Ландман, девичья фамилия которой — Калишер, рассказывает историю о Георге, заметившем монограмму на обеденном ноже с инициалами ее отца, как и Коммерелля, М. К. «Ах, — сказал восхищенно Георге, когда поднял нож, — какие знакомые буквы я здесь вижу: *Mein Kleinstes!*» Это и был тот *das Kleinste*, под которым Коммерелль впредь будет известен.





Глава тридцать восьмая

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Новыми пополнениями своего окружения Георге удалось возместить большую часть потерь, вызванных предательствами и изгнаниями, которые случились в бурный послевоенный период. Канторович и Коммерелль были, бесспорно, самыми большими приобретениями, но даже Вальтер Эльзе и Эвальд Вольхард были достойными новичками, хотя, по общему признанию, и не без недостатков. Ни один из них не соответствовал тому физическому профилю, который предпочитал Георге, но Вольхард выделялся — в буквальном смысле — наиболее заметно. Он, прежде всего, был выше других друзей Георге на целую голову или даже больше. Если Коммерелль был карликом, то Вольхард — гигантом. Вальтерс, звавший, какой могла быть реакция Учителя, когда он впервые увидит Вольхарда, попытался заранее смягчить впечатление перед их встречей. «При огромной длине тела, — писал Вальтерс о Вольхарде, — у него были вполне пропорциональные конечности и достаточно энергии, чтобы легко приводить их в движение». На летней фотографии 1922 года Вольхард позирует вместе с Георге и четырьмя другими друзьями в саду позади дома Вальтерса в Марбурге. Другие стоят в один ряд, положив руки на плечи друг другу — все более или менее одного роста, кроме Вольхарда, который маячит позади всех остальных, выглядя явно не в своей тарелке и немного не в духе. Георге, всегда прямолинейный в выражениях, называл его просто «Длинный» (*der Grosse*).

Столь же важным, как и состав этих пополнений, было новое место встреч, представленное самим Марбургом. Хотя Георге продолжал возвра-

щаться в Гейдельберг всю остальную часть десятилетия — если не было другой причины, то чтобы провериться там в клинике, — бывшая секретная столица тайной Германии, очевидно, потеряла большую часть своей притягательности. Как только выяснилось, что Гундольф не изменит свой курс, Гейдельберг стал *terra non grata*. Когда Вольтерс обосновался в Марбурге и привлек своих собственных студентов, это место предложило свое гостеприимство и стало необходимой заменой.

Один из прямых активов, которые Марбург предложил Георге, был в виде невероятно красивого Йогана Антона, учившегося там в университете. Родившийся в Австрии в 1900 году и, как большинство молодых людей его поколения, рекрутированный на военную службу, Йоган видел как его брат-близнец Карл умер рядом с ним во Франции. С тех пор над Йоганом, или Гансом, казалось, нависала вполне объяснимая пелена меланхолии, которая делала еще значительней его ошеломляющую внешность. Когда Георге заметил его, то был очарован. «Греки увидели бы в нем Аполлона», — сказал он в избытке чувств. Другие должны были быть слепыми, чтобы не заметить Ганса. Известно, что жители Марбурга называли его «принцем» — так было изобретено его прозвище. Когда Георге взял с собой Ганса на встречу с Эдит Ландман, она увидела, что Георге «явно восхищался его красотой» и с нетерпением хотел узнать от нее, кого же, как она думала, Ганс напоминал. Очевидно, Георге никогда не говорил ей, какую личность имел в виду, и по некоторым причинам она предполагала, что он подразумевал единственного сына императора Наполеона Бонапарта. «Я не знала картину герцога Рейхштадта, — объясняла она, — и поэтому он не мог мне ее напоминать, но с тех пор я называла его принцем Гансом». Фрау Ландман высказала обоснованное предположение — Георге в это время был поглощен жизнью и судьбой Наполеона, — но он не думал о герцоге Рейхштадте вообще, когда спросил ее, на кого похож Ганс. С Людвигом Тормеленом он был более откровенен. «Разве Ганс не похож на меня, — спросил его Георге, — разве он не подобен мне?» Ответ, основывающийся только на строгих вещественных доказательствах, естественно, был отрицательным. Тормелен дипломатично допустил, что Йогана Антона часто принимали за сына Георге, когда они вместе шли по улице. Но такова была у Георге сила отождествления себя со всеми и всем в его сфере, что он действительно верил: каждый отдельный компонент имел безошибочный отпечаток его самого, всем очевидный.

Когда Макс Коммерелль приехал в Марбург, то также попал под чары Ганса Антона — и почти сразу же они стали неразделимы. Коммерелль никогда не делал большой тайны из своего предпочтения мужской дружбы, и при этом, казалось, не был особенно обеспокоен оправданием того факта, что он это делал. В письме 1919 года, когда ему было семнадцать лет, Коммерелль с легкостью открылся однокласснику: «До сих пор сам я в дейст-

вительности никогда не любил девочек, скорее — только мальчиков». Он говорил, что лично не участвовал в «сексуальных отношениях с людьми того же пола», но не считал, что в этих отношениях было что-то неправильное. Напротив, говорил Коммерелль: *«Лучше [иметь] эти отношения, чем, подавляя сексуальность, подавлять эрос между женщиной и мужчиной, мальчиком и мальчиком. Вообще я полностью согласен, что нет никакой этической позиции в сексуальных вопросах, что физическая структура — это закон и судьба»*. Когда два года спустя он встретил Ганса, это было, писал он, «как сладкое возрождение вещей, которые, как я полагал, были потеряны». Летом 1922 года они проводили большую часть своего свободного времени вместе. В январе следующего года они приехали в один и тот же дом в Марбурге и жили в комнатах, которые соединялись через прихожую.

Письмо, которое Коммерелль отправил Георге в августе 1922 года, дает некоторое понимание природы их отношений.

Я не знаю, как отплатить за его доброту ко мне — даже в том, что касается внешнего комфорта. Я должен представить Учителю описание одного эпизода. В воскресенье мы лежали в шезлонгах на холме, где Ганселю нравится бывать и где каких только нет декоративных кустарников за городом и видны все горы на пути к Гарцу. Перед закатом я поднялся, чтобы собрать еще один букет. Г. оставался лежать там же — поиск цветов вел меня то вверх, то вниз, и мы иногда махали друг другу рукой через старый кустарник или орешник [дерево]. Внезапно Ганс подпрыгнул, чтобы взять карандаш, и затем я увидел, что он пристально всматривается во что-то прямо перед собой, поглощенный какой-то мыслью. Покрасневший от размышлений и от последнего луча солнца — иногда он нежно и страстно махал мне рукой. Наконец я прервал его, и положил свои цветы ему на колени — и так как я точно догадался, что он делал, то ушел, а на скамье неподалеку в то же время написал следующее:

Коммерелль скопировал стихотворение, которое записал во время этой романтической интерлюдии и также послал его Георге.

Во многих отношениях Марбург тогда представлялся Георге идиллическим местом, позволяющим преследовать свои цели. Со своими двадцатью тысячами жителей город был небольшим, но не тесным, и университет, обучавший почти три тысячи студентов, гарантировал постоянное пополнение новичков. Хотя и не такой живописный, как Гейдельберг, Марбург, с его деревянными и кирпичными зданиями и церковью св. Елизаветы XIII столетия — самым старым из готических строений Германии, — имел приятно несовременный, даже средневековый характер.

И все же не все здесь доставляло удовольствие. В отличие от относительно либерального Гейдельберга, политическая и социальная атмосфера

в Марбурге была совсем иная. Печально известный в определенных кругах как «цитадель реакции», Марбург культивировал свою собственную вызывающую политическую линию, отличающуюся, главным образом, согласием в отношении того, что должно быть подвергнуто отрицанию. И граждане Марбурга отрицали почти все, чем сами не являлись. Любого, кто не был протестантом, твердым представителем среднего класса, тружеником или фермером, заставляли почувствовать, что ему не рады, если еще не хуже. В частности, в Марбурге была давняя традиция ядовитого и организованного антисемитизма. В конце XIX века Отто Бокель, бывший студент марбургского университета, основал политическое движение, базировавшееся на антисемитских предрассудках, которое получило широкую поддержку по всему северному Гессену. Антисемитские чувства пустили глубокие корни и в городе, и в университете. Хотя только 2—3 процента студенческого населения состояло из евреев, Марбург был широко известен как «университет антисемитизма». Репутация Марбурга распространилась далеко за границы Гессена и была общеизвестным фактом во всей остальной Германии. В апреле 1922 года жена Георга Бонди, Дора, отправила Георге из Берлина посылку с мацой для празднования Пасхи, объясняя: «Мы с мужем предположили, что вложенные испеченные изделия еще сложнее достать в антисемитском Марбурге, чем здесь, — и мы надеемся, что они такие же вкусные в этом году, как и в прошлом!»

Ни у одного из знакомых Георге, живших в Марбурге, не было никаких оснований опасаться проявлений антисемитизма от его жителей, а некоторые, как известно, были даже сочувствующими движению. Но когда Георге и его друзья стали постоянно проживать в городе — и стало трудно не замечать привычный для них способ одеваться, их привычку к прогулкам под руку, не говоря уже о внешнем виде самого Учителя с его длинными седыми волосами, покрытыми его любимым синим беретом, сдвинутым на одну сторону, — местные жители начали покачивать головами, а то и высовывать языки. Как только Вольтерс прибыл в Марбург в 1920 году, то стал прилагать все усилия, чтобы агитировать за общее дело кружка. Он устраивал большие публичные лекции, посвященные поэзии Георге, и даже читал вслух стихи. На одном особенно успешном мероприятии Вольтерс сказал Георге: «Эти четыреста-пятьсот мальчиков слушали спокойно и внимательно более часа». Несколько загадочно Вольтерс признался: «Я немного боялся эксперимента, — и добавил: — но теперь, когда я сделал это, то уверен в волшебном воздействии поэтического слова на любое число людей, если только они — немцы и дети духа». И в университете, и конфиденциально Вольтерс был неустанным поборником Георге и Духовной империи и не упускал случая расширить ее ряды. Вальтер Эльзе вспоминает: «Для Вольтерса Духовная империя была не миражом или фантазией, но живой реальностью, так же как и Георге был для него

живым воплощением Учителя или правящей фигуры. Духовная империя была идеей, существовавшей вне его, вокруг него, внутри него; это была действительность. Описывать, восхвалять эту реальность, требовать ее во всех человеческих взаимодействиях, сообщать тому, что он испытывает, голос и силу в окружающем его мире и вопреки этому миру, — это было его желанием, его поведением и самим существованием». И именно в Марбурге Вольтерс получил возможность развернуть свой проповеднический пыл в полной мере.

Не все приветствовали его усилия. Полтора года спустя, в апреле 1922 года, Вольтерс жаловался Георге о «развращенном населении преподавателей и студентов» в Марбурге, которые повернулись против него. «Они чувствуют, — объяснял Вольтерс, — что их „святая святых“ под угрозой». Иными словами, члены консервативного университетского сообщества, уже остро воспринимавшие различия, выделяющие кого-то из общей массы, начали усматривать в вербовочной деятельности Вольтерса разлагающее влияние на своих юных подопечных. В частности, рассказывал Вольтерс Георге, они относились неодобрительно к «молодым людям, которые ведут себя „как спаривающиеся вальдшнепы“, прогуливаясь по улицам в обнимку, словно молодожены», — и они намекают даже на еще более отвратительные непристойности. Без сомнения, намеренно упоминая о судьбе Сократа, Вольтерс несколько высокопарно сказал, что кто-то сообщил ему: «Я стал „опасностью для молодежи“, и факультет начинает отказывать мне в доброжелательности, хотя, конечно (насколько же они трусливы!), никаких вопросов к моей личности — но „опасность для молодежи“ и т. д.! Учитель знает этот тон».

Действительно, несколько месяцев спустя сам Георге был высмеян в местном сатирическом журнале, называвшемся «Марбургский городской обозреватель». К тому времени Георге был регулярно в поле зрения города и, поскольку все его с готовностью узнавали, становился легкой мишенью. «Учитель повис на руках двух учеников, — сообщала статья. — Его коричневые бархатные штаны издают ритмичные звуки. Он позирует для фотографий. Два ученика прогуливаются впереди, два бредут сзади. Это — вечный парад к Эммаусу. Так он и гуляет, столь открыто враждебный к публичности. Потерянный для мира таким мирским способом. Снег лежит на волосах Тамплиера. Волосы развеваются, подобно спелым колосьям пшеницы, на головах его учеников. Так он и проходит через зерновые поля во всей своей материальности. С улыбкой гамельнского крысолова». Четыре года спустя, когда Эдит Ландман напомнила ему об этом эпизоде, он в дурном настроении от него отмахнулся. «Да, да, — сказал он, — впоследствии они еще говорили: Учитель „вышел на охоту“. Обычное дело: те, кого они видели с незнакомыми людьми, воспринимались именно так».

Вольтерс тем не менее был вынужден уехать из Марбурга не из-за какой-то политической травли или морального негодования, но — по иронии судьбы, испытывая презрение к деньгам, проповедуемое среди членов кружка, — по чисто экономическим причинам. Как только война закончилась, Германию начали мучить вернувшиеся экономические трудности, являвшиеся результатом того способа, каким война велась, а затем была проиграна. Убежденная в победе настолько, что поражение даже не планировалось, немецкая империя оплачивала войну, заимствуя будущие награды, которыми неизбежный триумф мог бы забросать нацию. В результате в 1919 году Германия столкнулась с государственным долгом в 144 миллиарда марок. Чтобы понять, что означала такая цифра, напомним, что весь национальный доход до начала войны составлял 40 миллиардов марок. Но дело обстояло еще хуже, так как инфляция уже подвергла эрозии стоимость немецкой валюты. В начале 1920 года на один доллар можно было купить 100 марок; в 1914 году валютный курс был 4,2. В 1921 году Германия выплатила свои первые крупные репарации, вызвав панику среди населения в целом и заставив зарубежных инвесторов думать, что такие большие оттоки наличности только ухудшат ситуацию. Не имея иного выбора, немецкое правительство прервало свои платежи. В январе 1925 года французы, испытывавшие нетерпение по поводу медленного темпа поступления репараций, вторглись в богатый промышленный район Рура, увеличив еще более экономическую и политическую неопределенность и отправив немецкую валюту в свободное падение. В том месяце обменный курс резко упал до 49 000 марок за доллар; в августе марка котировалась в 5 миллионов за доллар. 15 ноября марка продавалась за триллион от ее стоимости в 1914 году. Личные сбережения, депонированные в банках, испарились, и целые состояния, накапливаемые поколениями, исчезли в течение недели; экономика подошла к мертвой точке, и правительство, уже нетвердо стоявшее на ногах, закачалось под ошеломляющим весом ничего не стоящих денег, которые оно в неистовом темпе печатало.

В Германии, как теперь, так и тогда, профессора университета — государственные служащие (*Beamte*), и поэтому им платит государство. Из-за множества вернувшихся солдат, которые поступили на государственную службу и столкнулись с зарплатами, доходившими до триллионов, правительство больше не могло оплачивать свои счета и сделало единственную вещь, которую могло сделать. 27 октября 1923 года оно издало «Декрет о сокращении личных расходов Империи (Декрет о сокращении штатов)», вступающий в силу немедленно. Для Вольтерса, у которого не было регулярной должности в Марбурге, декрет означал почти неизбежную утрату работы. К счастью, тем не менее представилась вакансия в университете в Киле, который предложил Вольтерсу постоянную должность преподавателя истории. Он, возможно, догадывался, что Георге не желал переезда —

портовый город средних размеров на Балтийском побережье Киль лежал в сорока милях к югу от датской границы и был влажным и серым большую часть года, — и поэтому попросил «совета Учителя», прежде чем принять свое решение. После напрасного ожидания ответа и когда время вышло, Вольтерс решился и принял предложение в начале ноября. «В дополнение к другим соображениям, — объяснил он после Георге, — я был вынужден принять назначение прежде всего из-за нового закона, ограничивающего государственных служащих. Поскольку мое нерегулярное положение здесь было бы, возможно, затронуто сокращениями». Киль в таком случае был неизбежен.

Предчувствия Вольтерса относительно вероятной реакции Георге на переезд оказались обоснованными. Георге никогда не согрел своим прибытием Киль — он часто называл его Рейкьявиком, столицей Исландии, чтобы передать его близость к северу. Георге выражал неприязнь не только к городу и его местоположению, но и к жителям Киля тоже. «У них рыбы глаза», — заявил он когда-то, как будто это было достаточным объяснением. В течение долгого времени он категорически отказывался туда приезжать. В мае 1924 года Бертольд Валлентин попытался убедить Георге посетить Киль хотя бы один раз и, заманивая, расхваливал красоту окружающего пейзажа. Георге возражал, говоря, что «согласился приехать в Марбург, который признавал еще как свою территорию — в конце концов, он почти похож на Дармштадт, — но Киль — это уже север». Более того, Георге даже не верил в заявления Валлентина о красотах морского побережья. Когда Валлентин обратил внимание, что Георге должен найти что-то стоящее в этой части мира — бывал же он когда-то в Копенгагене, — Учитель невозмутимо ответил, что эти города нельзя сравнивать: Копенгаген — «северная столица, у которой есть свое собственное значение». И поскольку потеря Марбурга была достаточной неприятностью, то нельзя было даже сравнивать Гейдельберг с Килем. «Гейдельберг — роскошное поместье с прекрасными пейзажами, — сказал Георге. — Киль же — просто дружелюбный ресторан на границе». По большому счету — особенно в отношении человеческого материала, который мог предложить Киль «государству», — Георге был не просто пессимистичен; у него вообще не было никаких ожиданий. В Марбурге, признавал Георге, Вольтерсу удалось собрать вокруг себя небольшую группу последователей. Но в Киле, предсказывал Георге Валлентину, «у него абсолютно ничего не будет, в Киле — только белые булочки».

Как только Вольтерс обосновался в Киле, то попытался выставить все в наилучшем свете. «Было очевидно, — писал он Георге в ноябре 1925 года, — что я едва ли смог бы продолжить существовать в Марбурге, даже независимо от того, что обеспокоенность по поводу увольнения или сокращения университета там, кажется, подтверждается все больше и

больше». Но именно общее положение дел в Германии в целом и вызывало его беспокойство: «Полное обнищание теперь постепенно становится очевидным во всей своей жестокости, и корабль немецкого государства все более и более теряет управление. Это вызывает у меня небольшое беспокойство за себя лично, но очень большое — за свободное движение наших друзей друг к другу и друг за друга».

Это всегда был один из наиболее интересных парадоксов в кредо кружка, который осуждал механистический характер современного мира почти так же сильно, как осуждал деньги, — но удобство и скорость поездов были важны для его сохранения. Многие из особенностей «государства» Георге — нежелание выражать в письменной форме то, что он предпочитал говорить только лично, вместе с настойчивостью, чтобы иным образом не связанные друзья обо всем сообщали прямо ему и никогда друг другу, если это не было разрешено; отказ оставаться на одном месте в течение нескольких недель или самое большее нескольких месяцев; и культивирование различных подгрупп в отдельных городах — все это было возможно только потому, что современная и эффективная немецкая железнодорожная система доставляла его туда, куда ему было нужно добраться, и привозила других людей туда, где ему приходилось быть. Правда, как сообщает Эдгар Салин, «Георге действительно учил своих учеников использовать технические средства своего времени в случае необходимости как оружие». Поезда также могли поэтому расцениваться как «оружие», которое обращено против системы, его и создавшей. Подобным образом Георге, у которого было не много книг и который неодобрительно относился к их слишком большому количеству, делал исключение для публиковавшегося расписания поездов, копию которого он всегда хранил под рукой. (В типично остроумном замечании Гундольф однажды сослался на первоочередную важность поездов для существования кружка, когда по аналогии с заглавием «Ежегодника духовного движения» он назвал расписание «Путеводителем физического движения».) Вместе с катастрофической девальвацией марки, однако, и вытекающей из этого нищетой, до которой были доведены многие люди, эта жизненная связь, объединявшая Георге с его друзьями, попала под опасность оказаться вне финансовой досягаемости. Это было не просто неудобство; это угрожало самой инфраструктуре кружка.

Для самого Георге ситуация была несколько менее страшной, так как его фонды все еще подобающим образом отвечали его скромным требованиям. У него было немного потребностей за исключением медицинского обслуживания и транспортировки; он редко останавливался в отелях, полагаясь вместо этого на гостеприимство и, конечно же, питание, с удовольствием предоставляемое принимающей стороной. Для многих других инфляция была тем не менее абсолютным бедствием. Гундольф, например,

чь книги приносили доход с продаж, сравнимый с его заработной платой, имел шанс многое потерять. Уже в феврале, по предложению Георга Бонди, он стал все чаще снимать деньги со своего счета у издателя, прежде чем они окончательно потеряют свою стоимость. В мае Бонди отправил телеграфом 2 миллиона марок Гундольфу, а в июле еще 6 миллионов. 23 сентября Бонди сообщил ему: «Я послал два миллиарда, которые будут перечислены в кредит на ваш банковский счет в качестве аванса гонорара. Прошу подтвердить получение этого платежа, так же как и 190 миллионов, посланных на прошлой неделе». Месяц спустя Гундольф подтвердил три платежа общей суммой в 29 миллиардов, а в начале декабря благодарил Бонди за то, что тот отправил ему «сто триллионов». Это было невообразимое число. Но в то время этими деньгами можно было лишь заплатить за квартиру.

Как бы плохо это ни было, Гундольф все еще имел доходы. Других инфляция привела к полному краху. Карл Вольфскель, которому никогда не приходилось работать благодаря своему значительному наследству, мог только наблюдать, как его семейный трест и его жизнь, которую этот трест сделал возможной, были уничтожены. Уже в конце 1921 года состояние Вольфскеля почти полностью смыло инфляцией. «Мои экономические обстоятельства, — писал он Альберту Вервею в том же декабре, — стали очень плохими. Ужасно, что страшный переворот, девальвация всех активов вынуждают меня задуматься о средствах к существованию, по крайней мере для меня самого». Впервые в своей жизни, Вольфскелю пришлось зарабатывать деньги. Его жена, Ханна, и их младшая дочь переехали в сельский дом в деревне, чтобы сводить концы с концами, а его старшая дочь, Рената, имела надежную работу детской медсестры и могла позаботиться о себе. И все же Вольфскель переживал экономические бедствия не просто как финансовые затруднения, какими они были для всех остальных, но и как личный кризис, который усилил внутреннюю тревогу, испытываемую им с тех пор, как закончилась война. «В течение двух лет, — сообщал он по секрету Вервею, — я был настроен воспользоваться любой возможностью, чтобы уйти, чтобы найти какое-нибудь отдаленное место для выздоровления, отдыха. Мое желание оказаться вдалеке долгое время было чрезвычайно сильным». Он столь отчаянно нуждался и в работе, и в спасении, что обратился к Вервею за помощью. «Не найдется ли для меня место в ваших колониях, будь это преподаватель в частной школе, наставник или секретарь, или в системе государственных школ?» Он сказал, что готов занять любое. «Я мог бы служить в любой отдаленной школе для местных жителей Суматры с удовольствием».

Бедствия Вольфскеля, помимо того что они все перевернули в его семье, оказали также самым прямым и материальным образом воздействие и на Георге. Будучи больше не в состоянии позволить себе большую кварти-

ру на Ромерштрассе в Швабинге, Вольфскель был вынужден съехать из дома, который занимал с 1909 года и который увенчивался Круглой комнатой. Вольфскель спросил Георге, не желает ли он сохранить комнату на свое имя, но Георге не был заинтересован связывать свое имя с какой-либо недвижимостью и отклонил предложение. Это была, однако, горькая утрата. Место столь многих собраний, совместных чтений, общих обедов и интимных встреч стало теперь частью истории. Внешне Георге действовал так, словно ему все равно. «Мебель могла бы стать превосходной пищей для огня, — сказал он фрау Ландман. — Что я на самом деле желал бы сделать, так сжечь весь этаж. Это было бы правильно. Но владелец не вынес бы этого». Все же это должно было немало расстраивать, уже потому что Круглая комната неизбежно напоминала ему о более светлом времени, теперь уже прошлом. А с прагматической точки зрения Круглую комнату следовало оставить потому, что с потерей Гейдельберга и Марбурга у Георге не оставалось мест, где можно остановиться.

Без квартиры в Швабинге немного удерживало Вольфскеля в Мюнхене. В конце 1922 года, в возрасте пятидесяти двух лет, в поисках работы и с целью отвлечься от хлопот он уехал из Германии и не возвращался три года. Он не доехал до Суматры, а обосновался во Флоренции, где занял должность наставника детей баронессы Мюнхаузен. Мы не знаем то, что думал Георге о бегстве Вольфскеля — по крайней мере, в отличие от Вольтерса, Вольфскель отправился на юг, — кажется, Георге вообще удерживал в тайне от Вольфскеля свое мнение о нем. В 1923 году Вольфскель несколько раз просил у Георге благословения своих действий, но остался без ответа. «Учитель, — писал он вновь в октябре, — я не получил ответа на свой вопрос. Вы ничего не ответили и на мое летнее письмо». Вольфскель заверял Георге: «Только слово, которым вы одобрите мои действия, сделало бы меня счастливым. За эти недели я прошел через многое, когда не слышал от вас ни слова, и я все время ждал». Отчаявшись получить знак если не одобрения, то хотя бы утешения или понимания, Вольфскель умолял Георге: «Учитель, дайте знать, что услышали меня. [...] Не оставляйте меня теперь — тридцать лет службы во имя вашего дела взывают к вам, я остаюсь предан вам и всегда готов вам служить. Я зову, зову».

Вольфскель, который нуждался в поощрении со стороны умных, аналогично мыслящих людей, чтобы чувствовать себя счастливым, находил жизнь в столице Тосканы одинокой и тоскливой. «Флоренция — вообще провинциальный город, и здесь не так много жизни», — говорил он Вервею летом 1924 года, после того как пробыл там уже почти два года. Но это не означало, что он тосковал по Германии. «Я не могу и не хочу жить сейчас в Германии, — заверял Вольфскель Вервея, — жизнь в городах, особенно в тех, о которых я думаю, прежде всего в Мюнхене и Берлине, была бы невыносима». Даже несмотря на то что работа наставником к

тому времени закончилась и Вольфскель был вынужден давать частные уроки за почасовую оплату и перебиваться случайными заработками сочинителя, у него не было никакого желания возвращаться в ближайшее время. «В Германии, — писал он Вервею по другому поводу, — бедность, несчастье, уныние и угрюмость, кажется, свирепствуют, обращаются внутрь и отравляют людей и человеческие отношения. Нет ни одного письма *от кого бы то ни было*, в котором говорилось бы, что мне повезло, что я „за пределами“, и чтобы я там и оставался». На самом деле, говорил Вольфскель, он получил только один положительный сигнал со своей родины. «Лучшая новость, которую я слышал из Германии в эти дни, — это новость о полном выздоровлении Георге, о том, что он свеж и решителен, как и вначале».

Это было правдой. В драматическом повороте событий в середине 1924 года Георге был полностью и неожиданно избавлен от своих болезней. Четыре года он почти постоянно был в болезненном состоянии, измученный камнем в мочевом пузыре, инфекциями мочевых путей, а затем и заболеванием простаты. В то время он перенес несколько операций, прошел радиационную терапию и исследовался у многих специалистов, но ничто, казалось, не улучшало его состояние надолго. Была еще одна операция в Бад-Вильдунгене в сентябре 1923 года, которая на некоторое время как будто облегчила некоторые симптомы. В декабре Георге чувствовал себя уже значительно лучше. Он поехал в Базель, чтобы поправляться под заботливым наблюдением Эдит Ландман, которая заметила: «К середине месяца дела пошли в гору, боль стала более умеренной — восхитительно видеть, как он вновь становится самим собой».

Но в начале нового года Георге перенес еще один приступ, и 4 февраля его поместили в клинику Базеля на попечение доктора Шутера. Шутер был настолько встревожен тем, что обнаружил, что немедленно рекомендовал другую операцию — «предпочтительно сегодня, а не завтра». Шутер предупредил, однако, что процедура не лишена риска. Получив диагноз, Георге сказал, что желает подумать, возвратился в дом Ландман и лег в кровать, высказывая мрачные размышления о собственной смертности и о судьбе его империи. «Она должна продолжать существовать и без меня», — сказал он фрау Ландман, но это звучало неуверенно. Неделю спустя, после другого посещения клиники, Георге признался, что решил не оперироваться в Базеле. Никто, даже близкие друзья, не знали, где он был, и он не хотел оказаться без них, вдали от своего «государства», если процедура обернется неудачей. «Если это будет сделано здесь и пройдет не так, как надо, то он исчезнет для Германии». Георге сказал, что может представить, что произойдет. «Они будут думать: он находится в Испании, и он вернется. Если вы скажете, что здесь произошло, — сказал он Ландманам, — то никто не поверит. Исчезнувший как Ромул». Нет, Георге не

хотел операции в Базеле, даже при том, что доктор Шутер не выказывал «никакого беспокойства вообще» по поводу положительного результата и считал нецелесообразной задержку. Не уступающий ни логике, ни необходимости, Георге рвался в Германию.

Следующие два месяца, которые Георге провел, главным образом, в Берлине, и его посещали самые разные друзья, он обращался даже к еще большему числу специалистов. Наконец, его рекомендовали одному из ведущих урологов в Германии, доктору Генриху Ринглебу, у которого была процветающая практика в столице. В середине мая 1924 года доктор Ринглеб прооперировал Георге. Чудесным образом операция превзошла все надежды. К июлю, как раз ко времени своего пятьдесят шестого дня рождения, Георге вернул почти все свои силы. Когда Эдит Ландман увидела его год спустя в Базеле, то подумала, что он «помолодел», и поразилась, «какая новая стремительность появилась в нем». Георге было дано еще девять лет почти непрерывной жизнедеятельности, и еще очень многое предстояло сделать.





Глава тридцать девятая

ВРЕМЯ ПАЛАТОК

В 1916 году, в то время как он выздоравливал от первой вспышки болезни, которую доктор Ринглеб в конце концов оказался в состоянии поставить под контроль спустя восемь лет, Георге однажды предположил, что между его физическим состоянием и состоянием Германии в целом существовала таинственная связь. «Благодаря моей болезни и моим страданиям, — сказал он тогда, — я знаю, что происходит с плотью Германии».

Словно в какое-то странное подтверждение этой веры, после того как Георге избавился от своего физического недуга, страна также восстановилась из почти бесконечного хаоса, страданий и политической смуты, досаждавшей ее гражданам после окончания войны. 15 января 1924 года, комиссия экономических экспертов из Соединенных Штатов, Англии, Франции и Германии начала встречу в Париже, чтобы обсудить немецкие компенсации. Два американца играли ведущую роль в обсуждении — Чарльз Г. Дауэс и Оуэн Д. Янг. Они понимали, что Германия будет иметь возможность вновь поставить на ноги свою экономику и, таким образом, выполнить обязательства, предусмотренные Версальским договором, только если у нее будет устойчивая валюта. Шагом в этом направлении было введение в ноябре предыдущего года так называемой *Rentenmark*, которая была разработана, чтобы сдерживать убыточность немецкой марки, заменяя золотом обеспечение ипотеки на всей земле, используемой в сельском хозяйстве и промышленности. Новые деньги, укрепленные таким изобретательным новшеством бухгалтерского учета, вскоре стабилизировались, а

затем сохранили свою твердость. Не желая опрокидывать этот недавно завоеванный, но хрупкий баланс, парижская делегация выдвинула предложение, которое стало известным как план Дауэса, по имени американского представителя, назначенного для того чтобы препятствовать соскальзыванию Германии в другой экономический штопор. План Дауэса предусматривал изначальное сокращение выплат репараций, являвшихся долгом Германии, до более реалистического уровня, с постепенным увеличением по мере того, как экономика в достаточной мере восстановится, чтобы нести добавочное финансовое бремя. Он предусматривал также значительные американские займы при пониженных показателях. Для немцев одним из самых привлекательных аспектов плана был вывод французских войск из промышленной Рурской области, которая была, очевидно, необходима, чтобы перейти к экономическому оживлению. Хотя некоторые националистические противники в Германии порицали план как «второй Версаль», план Дауэса был быстро ратифицирован четырьмя подписавшими его странами в июле и августе и вступил в силу 1 сентября 1924 года.

Хотя и не за одну ночь, но условия существования действительно быстро улучшились. В течение еще пяти лет, до краха фондовой биржи на Уолл-стрит в октябре 1929 года, Германия испытывала относительное спокойствие и процветание, которого не видела более десятилетия. Были построены новые фабрики, старые были «модернизированы» — то есть сделаны соответствующими новым, более эффективным американским способам производства, — безработица в целом уменьшилась, а заработная плата повысилась. Преступность так же снизилась, как и насильственные политические столкновения в крупных городских центрах. Один из последних таких эпизодов, с участием Адольфа Гитлера, произошел в Мюнхене в конце 1923 года, когда инфляция достигла своего пика. Грубое и неорганизованное выступление его политической фракции началось с переполненного пивного зала вечером 8 ноября и закончилось через несколько часов арестом Гитлера. 1 апреля 1924 года он был приговорен к пяти годам тюремного заключения в крепости Ландсберг к западу от Мюнхена. Оказавшись там, Гитлер уселся писать мемуары, и вскоре был забыт.

Были, конечно, и гораздо более интересные вещи, стоящие того, чтобы о них поразмышлять. Возрастающее число людей могло получать удобства современной жизни. Постепенно становились широко доступными радио, телефон и автомобиль. Для тех кто жил в более крупных городах — главным образом в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте и Кёльне — универмаги превращали потребление из удовлетворения самых необходимых нужд в форму развлечения. Спортивные мероприятия, фильмы и залы для танцев соревновались за внимание среднего немца, в то время как смелое экспериментирование в живописи, драме, музыке и архитектуре занимало умы культурной элиты. Это были «золотые» годы Веймар-

ской республики — недолгий, хотя и впечатляющий период культурного процветания, который все еще живет в произведениях его самых великих представителей. Ретроспективно он представляется просто кратким за­тишьем перед штормом.

Для Георге и его кружка это также было чрезвычайно созидательное время. В 1922 году Бонди издал две новые «Книги Духа» с официальной сигнатурой кружка. Одна была книгой Вильгельма Штайна, швейцарского историка искусства, который встретил Георге в 1918 году и рассказал ему, что планирует работу о Рафаэле. Штайн, которому было тогда чуть больше тридцати, с головой погрузился в «Листок» и «Ежегодники» и увлекся их темной риторикой, пытаясь подражать ей и в собственном письме. Георге, который начал называть Штайна «нео-космическим», не был полностью доволен результатом его трудов — позже он говорил Штайну, что находил его письмо «скорее рапсодическим», — но тем не менее признавал, что у Штайна были свои приемы. «Книги не совсем правильные, — говорил Георге Эдит Ландман в 1920 году, обсуждая замысел Штайна, — они должны быть написаны быстро, а мы нуждаемся теперь скорее в духовных книгах, чем в тех, которые являются правильными». Когда Фридрих Гундольф получил свою копию законченной книги Штайна в декабре 1922 года, то написал автору, чтобы поблагодарить его за подарок. Наблюдая, как тщательно Штайн пытался смоделировать жизнь Рафаэля по предписаниям, подобранным из его чтений — Штайн признавался Гундольфу, что пока писал «Рафаэля», то постоянно «держал в уме эссе Гундольфа 1910 года «Преданность и ученичество», — Гундольф тактично признал параллель, но фактически ее не подтвердил. «„Рафаэль“, — сказал он Штайну, — и в хорошем и в сомнительном смысле книга, наполненная тайнами, часть прикладной „тайной доктрины“, легенда о магии Святой Юности под видом оценки искусства и интерпретации жизни».

Более весомые последствия для Георге имела другая книга, которая появилась в конце 1922 года. В течение, по меньшей мере, десятилетия, а вероятно, и больше, Бертольд Валлентин был одержим Наполеоном. В 1911 году он написал эссе для третьего «Ежегодника», названное «Наполеон и духовное движение», которое стремилось прочертить линию между французским императором и *Рейхом* Георге. В 1917 году Валлентин начал расширять это эссе в полноценное исследование, и в 1919-м Георге нетерпеливо говорил окружающим о «большой книге о Наполеоне», которая скоро появится. Георге также начал оказывать некоторое давление на Бонди, и в июне этого года заставил Гундольфа попросить издателя о сотрудничестве. Заявляя: «Мы очень заинтересованы, чтобы она была издана вашей фирмой», — Гундольф гарантировал Бонди, что книга по своей направленности и значению присоединится к разряду «Гёте» и «Ницше» и вместе с ними сформирует трио портретов «фигур». Помня о деловых ин-

стинктах Бонди — и об угрюмом книжном рынке после войны, — Гундольф уверил, что книга будет успешной: «Я полагаю, что не обещаю слишком многого, когда утверждаю, что в литературе о Наполеоне она займет то же самое место, что и два ее „премированных“ собрата в литературе о Гёте и Ницше. Прекрасно, если ее удастся скоро напечатать несмотря на плохие времена или, скорее, именно поэтому — чтобы люди увидели, что по крайней мере мы не бастуем».

Очевидно, аргументы Гундольфа убедили Бонди — или благоразумный издатель не хотел рисковать, отталкивая некоторых из его самых ценных авторов, — и он сделал ставку на огромную книгу Валлентина, которая, будучи изданной в конце 1922 года, вышла объемом в более чем пятьсот плотно написанных и густо напечатанных страниц. Георге был рад результату. В ноябре того же года он сказал Валлентину, что считает ее революционной, «намного более революционной, чем другие книги кружка, чем „Гёте“ и „Ницше“», и сказал почему. «Даже о „Гёте“ Гундольфа, — объяснил Георге, — можно было все еще сказать, что эта книга была немецким делом. „Наполеон“ не немец, не француз и не итальянец, а скорее, что-то, что касается всего мира». «Наполеону» Валлентина, иными словами, удалось впервые применить идеологию кружка к феномену, который не ограничен местными интересами. Подразумевалось, что создан прецедент, показывающий, что идеи и ценности, связанные с Георге, не были специфическими для какой-либо страны или культурной группы, и тем более для отдельного человека, но были вместо этого универсальными и вневременными. Конечно, поскольку тайным замыслом книги Валлентина, как и книг Гундольфа и Бертрама, было установить и закрепить родословную, которая достигала высшей точки в самом Георге, то его восхищение достижениями Валлентина было не в малой степени восхищением самим собой. Как и Наполеон, Георге увлекал за собой не только своих соотечественников. Весь мир мог бы почувствовать последствия его существования.

Несомненно, высокая похвала Георге книги Валлентина за счет книг Гундольфа и Бертрама не лишена связи с меняющимся характером их отношений к нему. Но чем бы ни мотивировалось мнение Георге о «Наполеоне», оно не разделялось читающей публикой. И эта книга, и «Рафаэль» Вильгельма Стайна почти не оставили следа. Несмотря на собственные усилия Штайна сделать свою книгу более доступной — такие как сохранение написания существительных с прописной буквы, что является стандартом в немецком языке и что не нравилось Георге, — книга, как застенчиво выразился он сам, «осталась эзотерической и в отношении ее воздействия, и в том, что касается ее продаж». Появилась только одна рецензия на «Рафаэля» — и она была длинной, обстоятельной и бранной. А «Наполеон» Валлентина вообще был полностью проигнорирован. Ни одна книга не по-

шла дальше первого выпуска, и ни одна даже близко не подошла к полной распродаже.

Сколь бы разочаровывающим ни было отсутствие откликов и какими бы действительными достоинствами эти книги ни обладали, они, по общему признанию, стали жертвой чрезвычайно неудачного выбора времени. Выпущенные в конце 1922 года, но с указанием следующего года в качестве года издания, они вышли на рынок как раз в тот момент, когда немецкая марка начала свое падение в пропасть. Мало кто был в состоянии и еще меньше в настроении покупать книги в Германии большую часть 1923 года. (Симптоматично, что единственный критический анализ «Рафаэля» Штайна появился в австрийском издательстве.) Когда валюта была стабилизирована в 1924 году, было уже слишком поздно. Новые книги сразу же валом начали печататься в издательствах, временно замолчавших из-за инфляции, и даже в еще большем количестве, чем прежде, и читателям поэтому было чем занять свое время, не возвращаясь к продукции того года, о котором просто хотелось забыть.

Обнадеживающая сторона улучшающейся экономической ситуации означала новые возможности для каждого, кто готов был их использовать в своих интересах. Дальновидный Бонди вспомнил, как Вольтерс заявил десять лет назад, что заканчивает историю «Листка за искусство», но с тех пор ничего не слышал об этом замысле. Тем временем интерес к Георге, конечно, не угас. В любом случае война и последовавшая за ней смута, казалось, только подтвердили воззрения Георге и усилили уже широко распространенное чувство его значимости для судеб Германии в целом. Такая книга, вероятно считал Бонди, могла бы действительно найти широкий резонанс. Не тратя впустую времени, Бонди написал Вольтерсу в начале января 1924 года, можно ли издать книгу в пределах обозримого будущего: «Так как экономические условия теперь в некотором роде таковы, что каждый может на какое-то время быть более уверенным в себе, то я придаю большое значение тому, чтобы приступить к изданию как можно скорее».

Вольтерс, который был тогда в процессе завершения своего переезда в Киль, совсем не был настроен заняться таким огромным и всеобъемлющим предприятием. Он не продвинулся в работе над книгой, с тех пор как разразилась война, и в любом случае должен был вновь обдумать и переписать те части, которые уже закончил. Для этого ему требовались время и внутреннее спокойствие, но ни того ни другого в настоящий момент ему не доставало. Кроме того, он был уже вовлечен в несколько маленьких проектов, которые занимали все его свободное время. Всегда более патриотично, чтобы не сказать националистично настроенный, чем большинство других компаньонов Георге, Вольтерс был оскорблен французским захватом Рура. Он отправился в личный крестовый поход против Франции, используя каждый возможный случай, чтобы протестовать против французов

и выставлять напоказ их порочность в публичных речах, в своих лекциях и в случайных публикациях, одновременно пытаясь разжечь на скорую руку национальные чувства среди своей аудитории. Вместе с Вальтером Эльзе Вольтерс собрал антологию патриотических текстов и в 1923 году издал ее в Бреслау, в фирме Хирта. Название «Голоса Рейна: Чтение для немцев» вполне прилично передавало общую направленность. В то же самое время он начал еще более широкое предприятие, названное «Немец: Чтение», которое в конечном счете должно было составить пять томов. Но Вольтерс также начал участвовать в различных политических демонстрациях, таких как церемония в конце весны 1924 года, проводимая в память об Альберте Лео Шлягетере. Во время захвата Рура французы обвинили Шлягетера в призывах к саботажу и без промедления казнили его. В следующем году Вольтерс прочитал речь на мероприятии в честь Шлягетера и сказал Валлентину: «Шлягетер думал, что замечает объединенную позицию немцев среди молодежи. С этой точки зрения он является весьма сочувствующим некторым резким комментариям и выступлениям этой молодежи».

Георге был недоволен, услышав в конце мая от Валлентина это сообщение — оно напомнило ему о почти фанатическом патриотизме, который Вольтерс демонстрировал, когда разразилась война; и все знали, куда она приведет. Георге сказал Валлентину: «Вольтерс вновь обманывает себя. Вообще, есть опасность, что он окажется связан с вещами второстепенного уровня, вместо того чтобы делать то, что важно». Вначале Георге намекнул, что использовал такое замечание лишь в самом общем смысле, сказав: «Прискорбно, что Вольтерс не создал еще одно отличное произведение, которое было бы его достойно, — большую книгу, для написания которой он обладает всеми способностями и которую никто больше не смог бы сделать так, как может он — в манере „Гёте“ Гундольфа». Учитывая очевидные способности Вольтерса, Георге добавил: «Удивительнее всего, что Вольтерс ничего не сделал». Но затем Георге более определенно указал, что «действительно важно» для Вольтерса сделать — закончить книгу об их движении, которую он начал. Он, скорее, с горечью сказал, что Вольтерс работал многие и многие годы над историей «Листка» и все еще ее не закончил. Когда Валлентин язвительно предположил, что Вольтерс, вероятно, нуждался лишь в «энергичном замечании», чтобы сосредоточиться, Георге раздраженно высказал свой скептицизм. «Не было недостатка в таких замечаниях, — ответил он, — но Вольтерс всегда позволяет себе уклоняться в сторону, он делает рейнские книги и чтения и по этой причине не доходит до истории их движения». Все это просто расстраивало. Возможно, никогда не было лучшего времени, чтобы представить «истинную» историю Георге миру, готовому именно теперь услышать слово Учителя, а Вольтерс, как думал Георге, растрчивал свою энергию на фривольные предприятия.

В свою собственную защиту Вольтерс попытался объяснить Георге, что то, что Учитель называл его «разложением», должно быть объяснимо, если не простительно, в свете событий прошедших лет. Неопределенность его профессионального существования, вместе со слабым здоровьем — во время войны Вольтерс заболел тяжелым ревматизмом суставов, который постоянно наносил вред его сердцу и ослаблял его, — соединились и сделали почти невозможным взвалить на себя такую грандиозную задачу. Однако Вольтерс поклялся, что в конце концов вернется к книге, и никогда «даже на мгновение не терял желаний и намерения сделать это». В то же самое время Вольтерс не мог удержаться от похвальных слов и в адрес своих проектов. Говоря, что его «изумление богатством и величием немецкого духа» росло ежедневно, Вольтерс настаивал, что его издательские усилия не были напрасными, даже если смотреть на них с точки зрения Учителя. «Если, вдобавок, все еще возможно распространять лучшие образцы прозы среди широких слоев молодежи, то я полагаю, что работаю в соответствии с намерениями Учителя».

Пока история «Листка» не была завершена в конце 1929 года, Георге неоднократно запугивал, упрашивал и подталкивал Вольтерса. Когда Вольтерс посетил Валлентина в конце 1924 года, Георге был там и снова осуждал Вольтерса за то, что тот тратит свое время на коллекции прозы, указывая, что «лучше бы ему заняться другими вещами». Вольтерс мягко протестовал, утверждая, что не мог просто отбросить свои остальные проекты в журналистике, потому что для него важно заканчивать то, что начал. Это было, из-за непредусмотрительности, далеко не самое разумное, что мог сказать Вольтерс. Зная, что он, конечно же, имел в виду свои антологии, а не историю «Листка», Георге саркастически ответил, что не сомневался относительно решимости Вольтерса довести то, что когда-то было начато, до своего завершения. «Но, — сказал он, — я хотел бы еще живым увидеть это — я уже не настолько молод, чтобы ждать долго». В 1927 году Вольтерс все еще был занят неодобренной деятельностью, включая публикацию книги, содержащей четыре лекции, которые прочитал между 1923 и 1926 годами. «Четыре Речи об отечестве» содержали такие возвышенные обороты, как «Рейн наша судьба», «О смысле принесения в жертву жизни для отечества» и «Гёте как воспитатель патриотических воззрений». Даже остальные друзья Вольтерса считали, что он неправильно использует свои таланты, а некоторые, как например Эдгар Салин, открыто возражали против его возрастающего шовинизма. Салин, который сказал, что у него «серьезные возражения» по поводу раздела о Рейне, был шокирован очерком о Гёте, который изображал Гёте, самого большого европейца из немцев, как неистового националиста. Это Салин находил не просто неправильным, но «тревожным и оскорбительным» и сказал Вольтерсу об этом. Георге, однако, не принимал патриотический пыл Вольтерса или его раз-

глагольствования за нечто слишком серьезное — он расценивал их не более чем «шутки» — и больше был обеспокоен тем, что Вольтерс не приступал к более важной работе. Вместо того чтобы сделать это, он, как ворчал Георге перед Эдит Ландман, «сочинял патриотические речи о моем времени!»

Принимая во внимание, что Георге готов был почти на все — разве что не привязывать Вольтерса к стулу, чтобы заставить его написать книгу, которую тот действительно хотел написать, — его, должно быть, даже более раздражало, что Фридрих Гундольф продолжал производить в большом количестве книгу за книгой с легкой, на первый взгляд, непринужденностью. В середине 1924 года Гундольфу удалось закончить еще одну объемистую рукопись, и тем же летом он сообщил Вольтерсу, бывшему теперь главным посредником в кружке, что завершил изучение своего великого героя, Юлия Цезаря. Вольтерс передал новость Георге, указав, что Гундольф «надеялся получить благодарность Учителя за это». Другими словами, Гундольф хотел, чтобы Бонди издал его новую книгу с сигнатурой кружка, что могло произойти только с разрешения Георге. Поскольку Георге не желал прямых контактов с Гундольфом, общение между всеми заинтересованными сторонами оказалось весьма хитроумным. Гундольф написал Бонди в начале июля, чтобы предупредить о грядущем получении рукописи, предоставляя издателю возможность сделать необходимые приготовления. (Немногие знали, где в какой-либо данный момент находится Георге, и поиски адреса, где его можно было застать, часто отнимали немало времени.) Сам Бонди был в восторге, что Гундольф, один из его авторов, чьи книги продавались наилучшим образом, сумел написать полномасштабную монографию о другом великом герое и, таким образом, реализовал стремление дать полное формальное выражение своей длительной сосредоточенности на римском диктаторе. «Поздравляю, — сердечно сказал ему Бонди через день после того, как он получил новость, — что ваше старое желание публикации книги о Цезаре (кроме вашей диссертации) теперь исполняется. Вряд ли нужно говорить, с каким чрезвычайным нетерпением я жду эту книгу, возможно, даже с большим, чем когда-либо ранее». Бонди был столь взволнован, что рассказал Гундольфу, как тот был недавно предметом сплетен в его учреждении. Женский штат издательства, очевидно, нашел Гундольфа настолько же неотразимо привлекательным, как находили его все остальные. «Я слышал, — сказал ему доверительно Бонди, — что Зигфрид в фильме „Нибелунги“, который пользуется здесь успехом, но который я еще не видел, имеет, как предполагается, большое сходство с вами. Секретарь, который видел фильм вчера вечером, сказал: особенно это касается глаз».

На более строгой ноте, однако, звучал вопрос об эмблеме. Бонди хорошо знал об отчуждении между Георге и Гундольфом. Если он хотел избе-

жать такого же шума как тот, что сопровождал книгу о Клейсте, то должен был получить официальное разрешение от Георге, прежде чем продолжать действовать. Хотя рукопись немедленно отправили Георге, ни о каком решении к концу августа еще не было объявлено. Наконец в середине сентября Бонди смог сообщить Гундольфу, со значительным облегчением: «Как только что сообщили по телефону из моего учреждения, Морвиц был здесь, чтобы передать сообщение, что Св. Г. одобрил печать виньетки».

Но Морвиц скрыл, что на самом деле думал Георге о новой рукописи. Как Георге сказал Валлентину, «поскольку книга не содержит ничего вредного, то не было никаких причин отказывать ей в символе „Листка“». Но сам факт, что Георге считал книгу безопасной, был уже непомерно тяжким обвинением. Книги, согласно Георге, были оружием или должны им быть, а последняя работа Гундольфа, сказал он, не содержала «ничего интересного». Когда Валлентин выдвинул предположение, что Гундольф, по крайней мере, удовлетворил свою идефикс Цезаря, Георге отверг даже такую попытку найти что-то достойное в книге. В конце концов, сказал он Валлентину, «у всех есть своя особая идефикс, и это было до некоторой степени предпосылкой, но должно быть еще и насыщение чем-то более высоким, а Гундольфу и его книге этого недостает».

Несомненно, даже если бы Георге считал книгу Гундольфа слабой, то не мог не признать, что не помешает опубликовать еще одну работу того, кто — насколько знала читающая публика — оставался ближайшим его учеником. Однако Георге хотел предотвратить повторение случая с книгой о Клейсте. Поэтому он спешил увидеть пробный экземпляр книги, прежде чем она выйдет в свет, чтобы убедиться, что другое жульническое посвящение какой-либо нежелательной персоне не закралось в нее в последнюю минуту.

Хотя сам Георге и испытывал скепсис по отношению к новой книге Гундольфа, «Цезарь: История славы» демонстрировал все качества, которые сделали его автора одним из наиболее широко читаемых и влиятельных писателей того времени. Прослеживавшая рост и траекторию репутации Цезаря от его смерти до конца XIX века, книга была не столько о римском императоре по своей сути, сколько о развитии мифической фигуры, пленявшей европейское воображение в течение двух тысячелетий. Цезарь всегда был синонимом неограниченной власти; само слово, обозначавшее в немецком языке императора — *kaiser*, — было получено от его имени. Гундольф показал, что пример Цезаря никогда не был далек от умов более поздних правителей, которые хотели измерять себя не только меркой их современных противников, но и меркой гигантов истории также. Но никто не мог сравниться в славе и грозности, которые делали образ Цезаря завораживающим столь длительное время. Написанная в самом лучшем для Гундольфа наэлектризованном стиле, книга передает этот магнетизм Цеза-

ря даже в своем повествовании, и от него трудно избавиться. Бонди, принадлежавший еще к поколению издателей, питавших, фактически, лишь коммерческий интерес к книгам, которые они продавали, наполнился энтузиазмом, после того как ее прочитал. Объясняя, что был болен и поэтому не мог сконцентрироваться на чем-либо «серьезном», Бонди писал в конце сентября: «Теперь поглощен чтением. Думаю, ваш „Цезарь“ принадлежит к самым глубоким вещам, которые когда-либо сказаны о природе исторического развития. Он любого приближает к своеобразию столетий и восхищает тем „монументальным смыслом“, который вы хвалите у Боссюэ».

И все же Гундольф в конечном счете не столько обращался к прошлому, сколько был озабочен настоящим — и, даже больше, будущим — знанием и возможностями великого, вдохновляющего лидерства. Во вступительном параграфе Гундольф сделал этот фокус явным. Действительно, едва ли оказывается случайным, что самые первые слова «Цезаря» указывают на настоящее.

Сегодня, когда потребность в сильном человеке стала ощутимой, когда мы, утомленные от других, которые просто брзжат и лепечут, обходимся сержантами вместо лидеров, когда особенно в Германии любой человек с заметным военным, экономическим, бюрократическим или литературным талантом считается способным к управлению людьми, а общественные пасторы, необщительные генералы, коммерческие и индустриальные гиганты, взбесившиеся мелкие буржуа теперь рассматриваются как государственные деятели, мы хотели бы напомнить всем тем, кто нетерпелив и безрассуден, о великом человеке, которому высшая власть столетиями была обязана своим именем и идеей, — о Цезаре.

В такое время — то есть «сегодня» — особенно необходимо, говорит Гундольф своим читателям, пересмотреть прототип и стандарт, меркой которого всегда оценивались все верховные правители. И поскольку верно, что история не повторяется, и знание прошлого само по себе не создает нового, Гундольф действительно думал, что у историка все еще была жизненно важная функция, осуществляемая в настоящем и для настоящего. Допустим, признавал Гундольф, «каждый узнает, на что будущий властитель или спаситель будет похож, когда возобладает». Но мы *можем* знать, на что он *не* похож, и здесь и лежит обязанность историка. Историк не может взять бразды правления в свои руки, но «может помочь создать атмосферу, в которой подобающие деяния процветают, и подготовить умы к грядущим героям. В этом смысле он пробуждает силы истории и ее средства, [а именно] народы и вождей».

Здесь было более ясно, чем когда-либо, сформулировано то, почему, как часто говорил Георге, «духовные книги — это политика». Они могли помочь сформировать или даже создать серьезную интеллектуальную ат-

мосферу среди их читателей, поддерживать психологический климат, благоприятный для их общих ценностей и верований. Они могли формировать мнение, моделировать мысли и, таким образом, сделать свою аудиторию более восприимчивой к своему посланию и, самое важное, более готовой принять, действительно приветствовать и даже работать над воплощением их видения в реальности. Книга Гундольфа о Цезаре тогда была специально предназначена для того, чтобы подготовить путь к появлению нового лидера в будущем и позволить народу, которым он будет руководить, признать в нем свое истинное и единственное спасение.

Эта откровенная попытка направить общественное чувство на служение частной идеологической программе была прекрасно понята читателями книги. В рецензии, опубликованной в марте 1925 года в «*Neue Zürcher Zeitung*», критик по имени Эдуард Корроди прямо заявлял: «Сочинения Гундольфа за прошедшие несколько лет оставили художественные вопросы далеко позади. Они имеют немецкий политический акцент, они являются историей немецкого духа». Корроди ясно видел, что Гундольф, так же как и другие члены кружка Георге, были заняты чем-то сильно отличающимся от бесстрастного познания и исторического исследования, проводимого ради своих собственных целей. «История направляется этим кружком в настоящее, — уточнял Корроди, — она становится политической волей. В первый период кружок занимался чувственностью и эстетикой, сейчас он узурпирует духовную и политическую власть в Германии». И если некоторые, подобно Корроди, казалось, приветствовали, по крайней мере принимали, политические цели кружка, а также его выбор «героев» и образцов для подражания, то другие испытывали сомнения.

Человеком, который не только предусмотрительно воздерживался от безоговорочного восхищения людьми, подобными Цезарю, но даже содрогался от мысли, что его дух может появиться вновь, был Морис Гольдштейн. Он был тем самым издателем «*Vossische Zeitung*», который за четыре года до этого с известной пронизательностью и ясностью рецензировал «Георге» Гундольфа, и теперь эти атрибуты критики в полной мере проявили себя в его обсуждении «Цезаря». Чтобы начать свою оценку на положительной ноте, Гольдштейн выразил неподдельное уважение, даже страх перед огромными познаниями Гундольфа и его неоспоримыми достижениями. Гольдштейн признавал: «Как наблюдатель я остановился в полном безмолвии перед феноменом, которым Гундольфу удалось охватить всю Европу, Средневековье и ее настоящее, на немецком языке, на латыни, на греческом, французском, английском, итальянском и испанском. Это уже не человек. Я хотел бы знать, и совершенно без иронии, как чувствует себя тот, кто не только разглагольствует обо всем этом, но в то же самое время выносит свое суждение обо всем и вся, о Цезаре, Данте, Петрарке, Лютере и о самом Наполеоне». Это был хороший вопрос, и даже

если он был сформулирован, как настаивал Гольдштейн, совершенно без иронии, то отдавал должное бесспорному авторитету Гундольфа. Реальная проблема была тем не менее не в том, верны или нет факты, изложенные Гундольфом; реальный вопрос состоял в том, достиг ли Гундольф верных суждений в оценке этих фактов.

«На этот счет, — писал Гольдштейн, — мы на самом деле должны ограничиться лишь незначительной критикой. Что же означает новый культ Цезаря? Очевидно, он укрепляет героическое вероисповедание, жажду героев». Воспринимая Ницше как подстрекателя, во всяком случае как мыслителя, одобряющего современную страсть к сверхчеловеческому герою, Гольдштейн и сам в какой-то мере играл роль историка. «Ницше мечтал о нем в слишком банальном мире, наши слишком дикие сегодняшние надежды он доведет до господства и искупления. Разве не опрометчивы эти надежды и желания?» Гольдштейн предоставил свой собственный ответ.

Александр, Цезарь, Наполеон и некоторые другие стоят, сияя, над историей человечества. Мы не можем отказать им в восхищении их характерами. Но кто измерит ценность человека? Успех говорит в их пользу и частично их защищает. Акты безжалостного насилия, разоренные земли, кровь и слезы не принимаются во внимание их эрудированными поклонниками в тиши библиотек, или же они со своими авторучками льстят себе ролью имперской строгости, ролью, которая вряд ли могла стать их жизнью. Мы можем вообразить фигуру, которая чувствует себя равной мировому господству, но которая отказывается получить его, дабы не увеличивать страдания. Кто знает, под какими именами пришли бы Александр, Цезарь или Наполеон, если бы они появились вновь и если бы мы [...], включая Гундольфа, не считали бы себя вынужденными скорее отдать свои жизни, чем даровать им победу.

Вдумчивые, пророческие замечания Гольдштейна в значительной степени остались без внимания тех, кто настолько беспокоится о решительном руководстве и национальном обновлении, что готов допустить любые жертвы, которые могли потребоваться. Книга Гундольфа, в отличие от книг Валлентина и Штайна, знаменовала собой еще один значительный успех автора. Второе издание в тринадцать тысяч экземпляров было предпринято год спустя, а в 1928 году книга была даже переведена на английский язык с более коротким названием «Мантия Цезаря». Рецензии, почти все положительные, некоторые даже льстивые, лились дождем со всех сторон, вместе с одобрительным подчеркиванием ее откровенного политического послания. Один критик сказал, что, по его убеждению, это «самая прекрасная книга Гундольфа», указывая, что она была также и «актуальной книгой». Тот же самый рецензент одобрительно отметил ее соответствие доктрине кружка — «прежде всего из этой книги исходит, в неподдельной манере Георге, „призыв к действию“, — и вновь критик подчеркивал ее со-

ответствие современности. «Не случайно, что образы *великих деятелей* (это выражение повторяется вновь и вновь) вызываются сейчас к жизни». В любом случае ее читатели считали, что книга Гундольфа появилась своевременно.

«Цезарь» был так хорошо и широко принят, что рецензии на него появлялись даже на первых полосах многих газет, вместе со статьями о других примечательных политических событиях дня. В одной из них журналист по имени Конрад Вандрей предлагал свои продуманные соображения о последнем произведении Гундольфа в заметке, опубликованной на первой полосе дневного выпуска «Munchener Neueste Nachrichten» от 20 декабря 1924 года. Заголовки над очерком Вандрея были посвящены другому событию, которое имело место в тот же день, в 12 часов 15 минут. Отбыв в тюрьме лишь немногим более восьми месяцев своего пятилетнего приговора, Адольф Гитлер и его соучастник в путче Герман Крибель были условно-досрочно освобождены из тюрьмы Ландсберга. «Гитлер и Крибель освобождены, — гласил заголовок, — начинается испытательный срок».

История полна случайных совпадений, счастливых случайностей, настолько невероятных, что они были бы нелепы, если бы не произошли на самом деле. В один декабрьский вечер 1924 года, когда читатели погружались в интеллектуальные и сочувственные размышления Конрада Вандрея над книгой, возвещавшей нового Цезаря, восхвалявшей желанный приход всемогущего *Фюрера*, появление безжалостного *Деятеля*, который привел бы свой народ к возвращенному величию, тот самый человек, который скоро потребует себе мантию Цезаря, в тот же самый день вышел из тюрьмы на свободу.

Хотя Георге, разумеется, не сотрудничал с самим Гундольфом в создании «Цезаря», но все еще наблюдал за заключительными стадиями выхода книги, одобрив рукопись и прочитав контрольный экземпляр, и в этом отношении процесс не отличался от подхода, который применял Георге ко всем другим публикациям кружка. И в то время как он утверждал, что не обнаружил какого-либо значения в книге, сам факт, что он позволил ей появиться со знаком свастики «Листка», мог указывать, что он не видел фундаментального противоречия между более далекими целями книги и его собственными. Если бы на самом деле существовало основополагающее разногласие между воззрениями Георге и портретом Гундольфа, книге не было бы позволено выйти в свет. Книга же Гундольфа вышла потому, что Духовные Книги были слишком важны для Георге, слишком тесно связаны с его собственным образом. На самом деле Георге рассматривал их в качестве своих интеллектуальных или «духовных» внуков, как распространение его собственного бытия, порождаемого в других и через

них обретающего конкретное выражение. Он когда-то сказал Михаэлю Ландману, сыну Эдит и Юлиуса, что его ученики «проникают его глазами, которые он им предоставил, в такие регионы, в которых он иным образом видеть не мог — по этой причине их работы, фактически, принадлежат ему. Он живет во многих телах». Георге имел в виду, что «духовный брак», в который он вступал с каждым из своих учеников, потенциально ведет к «духовному рождению», воплощенному в работе этого последователя. В начале 1925 года Георге откровенно использовал эту метафору в беседе с Эдит Ландман. Он внезапно заявил, что «после 1927 года [...] ни одна из Духовных Книг не сможет появиться». Когда Эдит спросила, почему он принял такое удивительное решение, он ответил: «Брачный союз, который порождает одно дитя, плодотворен; брак с двумя, тремя детьми плодотворен; брак с семью детьми тоже весьма плодотворен; брак с десятью детьми — это уже крайний предел; а с тринадцатью, пятнадцатью, двадцатью детьми — такой брак просто отталкивает. Так дело обстоит и со стихами, если кто-то создает их слишком много».

Это последнее замечание, высказанное, на первый взгляд, наспех, подтверждало, что монументальный сдвиг произошел внутри Георге. После выздоровления от болезни летом 1924 года и до смерти Георге, фактически, не писал стихов, направляя главную часть своей энергии на работы самых близких последователей и сохранение своей дружбы с ними. Частично, он прекратил писать стихи, потому что больше не верил в их эффективность. В начале февраля 1923 года он сказал Эрнсту Глокнеру: «Я ничего не буду издавать в настоящее время. Все было сказано, что следовало сказать; теперь все будет только хуже». Три года спустя Георге то же самое говорил Эдит Ландман. «Теперь уже нет такой необходимости писать стихи, — заметил он. — Так много было сказано, что не все это еще понято. Тогда в этом больше нет необходимости». Времена также изменились. Георге полагал, что теперь живет в более прозаическом мире, в том, где поэзия, и вообще литература, не занимают того места, какое они занимали, когда он был моложе. Как он говорил относительно другого случая, на сей раз Михаэлю Ландману: «Было время, когда ни для кого в „государстве“ было невозможно не писать стихи. Сегодня это возможно, но все они впечатлительны к поэзии. Возможно, однажды придут те, кто не прочитал ни строчки — мне трудно поверить, но это все еще возможно». Кроме того, Георге теперь приближался к старости и чувствовал, что его творческие силы ослабли и что он исчерпал тот источник, который питал его художественное воображение. Эрнсту Морвицу он «просто объявил, что не хочет, чтобы тень старости падала на его творения, что исследовал весь круг своих возможностей и не хочет повторяться». Еще более прямо он заявил кому-то: «После шестидесяти никто *не пишет* больше стихов!»

Это все же казалось невероятным. Георге для столь многих — и не в последнюю очередь для себя — поэт *par excellence*, кому поэтическое слово однажды даровало всю воображимую власть и престиж, оставлял поэзию вообще. Все же это было правдой: Георге больше не чувствовал, что должен писать стихи. Его стихи, даже его лучшие стихи, всегда были средством для других целей, и теперь он был убежден, что мог достичь эти цели другими, возможно лучшими, путями. Решающую роль играли не стихи, но поэт. «Если убрать работу преподавателя, — сказал Георге однажды, — то вообще ничего не останется. Если отобрать мою работу от меня, Стефан Георге останется невредим». Конечно, можно было возразить, что первоначально именно из-за своей поэзии он способен был дойти до положения, где больше не думал, что она ему требовалась. Но Георге теперь рассматривал Духовные Книги — по крайней мере в настоящий момент — как самые лучшие инструменты для достижения своих целей. В той же самой беседе с Глокнером, в которой он заявил о своем собственном отказе от сочинительства, Георге подчеркнул еще большее значение, которым наделялись *Geistbücher* — теперь только они одни «имели задачу либо вести за собой, либо действовать как динамит». В идеале, они могли делать и то и другое.

В оставшееся десятилетие Георге занимался главным образом работой советника, редактора, наблюдателя и критика, даже финансового спонсора для тех предприятий, которые Бонди рассматривал как слишком рискованные, чтобы взять на себя ответственность. Это было в какой-то степени возвращение к его собственным истокам, поскольку Георге начинал свою карьеру как редактор и предприниматель в области литературы. Теперь тем не менее он предпочитал работать почти целиком за сценой, позволяя другим говорить от своего имени.

Единственное, что не менялось, так это неутомимость Георге. В середине 1920-х годов он сохранял свой регулярный маршрут, постоянно перемещаясь между Базелем, Мюнхеном, Гейдельбергом, Кёнигштайном (там жила его сестра), Берлином и, хотя и неохотно, Килем. Особенно после болезни и множества операций, которые оставили его ослабленным и восприимчивым к воздействиям среды, Георге все больше и больше избегал холода и темноты севера, предпочитая более теплые южные области. В феврале 1926 года он впервые поехал в Локарно на озере Маггиоре, прямо над итальянской границей, где Альпы опускаются и ничто больше не стоит на пути солнца. Но даже там он остался только на несколько недель и вновь отправился в свои непрерывные поездки. Каждое место, где он останавливался, оценивалось им по-разному. Ландманы в Базеле, с их нормальной семейной жизнью и послушными детьми, позволяли ему расслабляться в комфортабельном окружении людей, которые его уважали, не выдвигая никаких требований. В любой момент он мог резко

объявить о своем отъезде, сказав: «Теперь цыганская жизнь начинается снова».

Путешествия — «цыганская жизнь» — действительно были его образом жизни в течение почти четырех десятилетий, с тех пор как он впервые поехал в Лондон в 1888 году, и он никогда не терял свою склонность к ним. Когда однажды в 1920 году Вольтерс возвратился из долгой поездки и сказал, что устал от путешествий, Георге поднял на смех подобную идею. «Ничего подобного, — сказал он, — никто никогда не устает от путешествий. Я больше устаю, когда не путешествую». Но не только нужда во внешних стимулах и переменах влекла за собой бесконечную одиссею Георге. Ведя кочевое существование, отказываясь стать слишком привязанным к какому-либо месту, быть отождествленным с отдельным городом или областью или даже страной, Георге мог лучше сохранять чувство, что его реальным домом была невидимая сфера, которую он создал, Духовная империя, у которой не было, пока еще, никакого физического эквивалента. Другой повод был более приземленным: учитывая природу его «государства», с его гражданами, рассеянными по разным городам, путешествия от одного к другому были неизбежной потребностью. Позже, когда он стал старше, и его энергия начала уменьшаться, Георге понял, что его непрерывные перемещения с места на место обременительны. Но поскольку они были неизбежны, он все более и более ограничивал свои путешествия официальными визитами, обходясь без простых туристических поездок. «Теперь, — говорил он в 1929 году, — никто никуда не едет ради вдохновения сельскими видами. Каждый совершает поездки в интересах государства». Так или иначе, идеалом жилища для Георге был не дом или комната с их неподвижными стенами и твердой крышей, а, скорее, как он часто сам говорил, что-то больше похожее на палатку. «Палатку, — сказал он когда-то Перси Готейну, — можно снять, когда вам угодно, и перенести в другое место». Палатки, считал Георге, были лучшей формой убежища в эпоху перехода и непостоянства. «Более поздние времена смогут вновь жить во дворцах, — допускал Георге, — но наше — время основания, время палаток. Нет никакого смысла строить сегодня дворцы, так как не существует людей, которым было бы удобно в них жить». Только после того как правильные условия будут установлены, устойчивый фундамент заложен, можно будет вновь думать о строительстве более постоянных сооружений. До этих пор, как он говорил Эдит Ландман в 1927 году, сохранится «время палаток».

И все же Георге чувствовал потребность в какой-то постоянной основе деятельности, в одном месте, которое могло служить его штабом или центральным районом сосредоточения войск. Многие из его любимых стоянок в прошлом стали ненадежными по той или иной причине, и он сталкивался теперь с проблемой поиска новой главной базы. В конце 1925 года, когда

он прибыл в Базель, чтобы провести Рождество с Ландманами, Георге остановился на платформе вокзала и сделал глубокий вдох. «Ах, этот воздух кантонов! — сказал он фрау Ландман и разразился плачем о том, что называл «тремя враждебными уголками сказочной земли». (Обращение, как это теперь он часто делал, к Германии (*Deutschland*) как к «сказочной земле» (*Märchenland*) было для Георге способом как аннулировать все, что там имело место, так и предположить, что реальная Германия находилась в другом месте.) Тремя неприветливыми анклавами были, сказал Георге, «уголок Духа в Гейдельберге, космический уголок на Байришер плац в Берлине и северный уголок в Киле». Гундольф сделал Гейдельберг горьким, необузданная мистика Лехтера испортила единственную часть Берлина, которую он когда-либо любил, и Киль был, одним словом, Килем. После возвращения из Локарно в марте 1926 года Георге вновь начал обсуждение темы относительно поиска какого-то постоянного местожительства, даже допуская перспективу перемещения за пределы Германии вообще. Он говорил с Юлиусом Ландманом о возможности обосноваться в Швейцарии: с Бингеном покончено, в Мюнхене ничего нельзя было найти, Гейдельберг проклят, Кёнигштайн можно бросить в любой момент; возможно, лучшим вариантом был Базель». Георге рассматривал также другие варианты, которые расположат его ближе к друзьям на севере, но выбор там был, очевидно, более ограниченным. В беседе с Валлентином он вновь поднял вопрос о проблеме «перемещения „государства“», но сразу же отверг несколько мест без каких-либо доводов: Берлин не подходил, Киль никогда серьезно не рассматривался, и этот и без того короткий список быстро исчерпал альтернативы. «В любом случае, — твердо сказал он Валлентину, — нельзя переместить его в Копенгаген; там слишком сыро». Но проблема поиска чего-то такого, куда он *мог бы* переехать, оставалась.

Работа «государства» не могла ждать, однако, пока вопрос о постоянном месте жительства Учителя будет решен. Поэтому Георге использовал любое пространство, которое могли предоставить друзья, чтобы продвигать его проекты, но он настаивал на определенных требованиях. Некоторые из них имели практический характер: из-за перенесенных хирургических операций он не мог подниматься по лестнице, требуя квартир, которые были на уровне земли. Это означало, что в Берлине аттическая студия Тормелена, которая служила Георге убежищем и рабочим пространством больше десятилетия, теперь была недоступна. Швейцарский друг Тормелена, скульптор по имени Александр Шокке арендовал просторный партер для мастерской в центре города. Как только Эрнст Морвиц установил, что и комната и ее житель были приемлемы — Тормелен также дал Шокке точные инструкции о том, какая температура должна поддерживаться в комнате, какая форма обращения будет использоваться и какую «тональность беседы» следует соблюдать, — появился и сам Учитель. Все было

так, как ему нравилось: стены, лишённые излишних «буржуазных» декораций, и мебель чисто утилитарного вида. Было некоторое подобие Круглой комнате в её расстановке: вдоль стен тянулись длинные, низкие скамьи, сделанные из ели, которые выдерживали до двенадцати-четырнадцати человек, а в середине стоял простой стол для работы и питания. Печь удваивала напоминание о том, что необходимо согреться и приготовить пищу, а помимо всего этого в комнате имелись лишь материалы для ваiania и различная посуда.

Регулярные собрания, которые Георге проводил в студии Шокке в 20-е годы, были также в значительной степени деловыми по своему характеру и сосредоточивались на определенном проекте или задаче. Шокке вспоминал: «Месяцы, которые Георге проводил в Берлине, мы обычно много работали». Участвовали, как ожидалось, все — «Георге не нравились зрители, которые не участвовали». Сидя за столом, все читали и правили рукописи, проверяли корректуры, иногда декламировали стихи, и «после часа или двух все заканчивалось». Шокке отмечал: «Мы почти никогда не говорили о стихах, поскольку общие речи или беседы о литературных или художественных вопросах всегда были в этом контексте неуместны. Речь шла о фактах, о корректурах, о работе и труде, но все было окружено весельем, иногда сопровождалось едким юмором и оглушительным, безжалостным смехом». Как пример такого рода комментариев, которыми обменивались во время этих сессий, Георге рассказывал Эдит Ландман, как кто-то недавно сказал что-то «чрезвычайно противное о Вольтерсе». Ссылаясь на слабость Вольтерса к патриотическим темам, один из младших друзей Георге злонамеренно сделал предложение — в отсутствие Вольтерса, — что тот «должен когда-нибудь написать книгу о немецкой кухне». Георге, собственный скептицизм которого о внепрограммной деятельности Вольтерса был известен, притворился, что отнесся неодобрительно к комментарию, заметив только: «Невероятно противно».

Эти общие собрания, вновь организуемые, амбициозные публикации, как те, что готовились к печати, так и те, что уже вышли в свет, — все это создавало видимость, что последствия войны и все, что она за собой повлекла, так или иначе преодолено. Это было похоже на магическое возвращение к короткому, но оживленному периоду как раз перед августом 1914 года, когда все были вдохновлены верой, что все возможно, что необходимо только время, чтобы истинное значение Георге стало ясным всему человечеству, и он принял бы ту роль, которую ему было суждено исполнить. Было и несколько новичков в кружке, что обеспечило ему такую славу, которая затмила даже самые яркие его звезды. В 1923 году, еще в Марбурге, Георге представили восемнадцатилетнего студента права по имени Бертольд фон Штауффенберг и его брата-близнеца Александра. Возможно, в то же самое время, или немного после этого Георге также

встретил их брата Клауса, на два года их младше. Они принадлежали одной из самых старых и самых знаменитых знатных семей в Германии — их отец, Альфред Шенк, герцог фон Штауффенберг, был первым гофмейстером и сенешалем короля Вильгельма II из Вюртемберга, а их мать, герцогиня Укскуль, была придворной дамой и подругой его королевы Шарлотты. Их предки впервые появились в истории в XIII столетии.

Все трое братьев Штауффенберг, как и многие другие молодые люди их возраста, читали стихи Георге с раннего подросткового возраста и находились полностью под воздействием их обаяния. Встреча с поэтом только усилила их почтительность перед человеком, которого они теперь расценили как их личного Учителя. Спустя несколько недель, после того как Александр был представлен Георге, он сказал: «Я видел и пережил такое, что сделало [меня] чрезвычайно богатым и что на самом деле является для всей моей жизни настолько решающим, что, надеюсь, у меня однажды будет огромная внутренняя защита». Позже, в сентябре 1923 года, Александр упомянул о том, что знакомство с Учителем было «величайшим опытом» его жизни. Его брат-близнец Бертольд также писал стихи Георге, расхваливая его в самых необычных выражениях. Он восклицал: «Вас послали как спасителя этого мира». Для всех троих знакомство с Георге знаменовало поворотный момент в жизни, и до конца они искренне и прямо ему служили.

Со своей стороны, Георге был очень рад принять их. Братья Штауффенберги были сильными, красивыми, атлетически энергичными, доверительными и словоохотливыми в манерах, еще не неиспорченными цинизмом или высокомерием, которые иногда могут быть следствием привилегированного воспитания. Не менее обаятельным было и то, что все трое обладали внимательным и живым интеллектом. Кроме того, они были подлинными аристократами; в них не было и следа буржуазной мелочности. Георге нравилось рассказывать историю о том, как во время двухнедельного пребывания в Мюнхене летом 1924 года его посетил Бертольд Штауффенберг. Внезапно хозяйка, вместо обычно использовавшегося фарфорового сервиза для послеобеденного чая, поставила свои лучшие позолоченные чашки. Оказалось, она подумала, что Бертольд был похож на покойного сына наследного принца Баварии, и заподозрила, что у ее гостя были «высокие связи». Когда Эдит Ландман заметила Георге, что в его окружении выросло число людей знатного происхождения — помимо Штауффенбергов был также их кузен Вольдемар фон Укскуль и их общий друг Альбрехт фон Блюменталь, — Георге гордо признал, что «начиная с Революции каждый встречает их чаще». Но не простой снобизм делал этих юных дворян настолько привлекательными для Георге. Скорее, он верил, что их благородство было просто внешним проявлением, возможно, сохраненных от рождения качеств, которые он больше всего желал развить в своих уче-

никах. Согласно оценке Георге, как он объяснил ее фрау Ландман, аристократия, по существу, заключалась в том, «что исключало злобу и зависть, потому что у них уже была достаточная уверенность в себе, чтобы не желать чего-то еще». Более того, Георге считал, что «почтительность и воспитанность опираются на уверенность в себе», и рассматривал «неспособность к почитанию, желание иметь все наравне как нехватку благородства и силы: как рахит души». Иными словами, по мнению Георге, тот, кто был большим аристократом, мог легче повиноваться. Чувство самооценки благородного человека привязано не к его индивидуальности, а к его месту в пределах иерархии, что делает признание более высокого авторитета не столько сознательным решением, сколько естественным выражением той системы ценностей, в которой он живет. Аристократ, по убеждению Георге, представляет собой идеального ученика.

Все это означало, что Георге открыто не рассматривал Штауффенбергов как отличающихся от остальных. Они также получили свои неизбежные прозвища: Бертольда назвали «Аджиб», или «Удивительный», по имени принца из «Тысячи и одной ночи»; Александр был известен как «Оффа», в честь сына короля в древней легенде. Только Клаус сохранил собственное имя. В объяснение этой аномалии Людвиг Тормелен предложил теорию, что Клаус сам был настолько уникален, что никакого другого обозначения нельзя было сделать.

Помимо еще нескольких добавлений — и нескольких исключений — Георге собрал теперь вокруг себя группу, которая будет сопровождать его до конца жизни. Они следовали за ним везде, куда он отправлялся, и всякий раз, когда он хотел, они являлись, готовые исполнить его приказ и благодарные только за то, что находятся с ним рядом. Для них он был буквально всем. Руководитель, отец, правитель, священник, мудрец, пророк, король и творец. Он был их бог; он был их Учитель.





Глава сороковая

STUPOR MUNDI

Радость Георге относительно братьев Штауффенберг не ограничивалась оценкой их личных качеств, какими бы существенными они ни были. Георге видел в них живую связь с одним из самых великолепных правителей, которых Европа когда-либо видела, того, которым, вероятно, восхищались больше всего: Фридриха II Гогенштауфена. Немецкого происхождения, но родившийся в Италии в 1194 году, Фридрих был избран королем Германии в трехлетнем возрасте, стал королем Сицилии год спустя, затем короновал себя королем Иерусалима и наконец стал императором Священной римской империи в 1220 году. На вершине своей власти Фридрих II царствовал над всей средней Европой, его обширная империя простиралась от Балтии до Сицилийского пролива в Средиземном море. Для своих врагов он был жестоким деспотом, апокалиптическим чудовищем, Антихристом; для сторонников — вторым Давидом, Мессией, доброжелательным Спасителем мира. Один из его современников, английский монах Матвей Парижский из Сент-Олбанса, зарегистрировал смерть Фридриха в 1250 году, назвав его «величайшим из принцев земли, мировым чудом» (*Stupor Mundi*). Расценивали его как друга или как противника, Фридрих не укладывался в рамки, предусмотренные для обычных людей.

Его смерть была более чем потрясением. Многим он едва ли казался смертным. Вскоре, после того как он умер, о нем сформировались легенды, и многие люди во всей Европе отказывались признавать, что он ушел навсегда, и ожидали, что он вернется вновь, более могущественный и ве-

ликолепный, чем ранее. В землях северной Германии даже утвердилась вера, что «он все еще жив и останется живым до конца мира; не было и не будет никакого истинного императора, кроме него». Многие столетия появлялись ложные Фридрихи, поощряемые народным мифом, что однажды он вернется, чтобы освободить свой народ. Но Фридрих не возвращался, и с его смертью сама династия Гогенштауфенов оборвалась. Она привела к краху всего немецкого *Рейха*, оставив его расколотым на мешанину из конкурирующих королевств, княжеств и автономных феодальных владений. В течение еще шести столетий, после того как другие европейские государства стали сильными и объединенными странами, так и не появилась другая немецкая империя, которая объединяла земли, когда-то покрывавшиеся скипетром Фридриха. Теперь, в начале 1920-х годов, вторая империя — выкованная Бисмарком и утраченная Вильгельмом II — также развалилась, оставив после себя почти такой же огромный беспорядок и хаос, как и разрушение первой. Надежды на еще один, третий, *Рейх*, тот, который просуществует дольше, чем два предыдущих и даже превзойдет их в великолепии и могуществе, начали вновь теплиться среди некоторых немцев, когда они попытались вернуть свое устойчивое положение после войны. Для Георге имя Штауффенберг, с его древними ассоциациями — сама семья верила, по праву или нет, что они принадлежали линии Гогенштауфенов, — звенело глубокими, чистыми звуками, которые смешивались с его собственными мечтами о завоевании и триумфе.

Георге долгое время смотрел на Фридриха II как на воплощение идеи монарха. В 1902 году он взял с собой Гундольфа, чтобы осмотреть недавно вскрытый имперский склеп в Шпейерском соборе. В нем были похоронены восемь немецких королей и императоров, а также некоторые из их жен, включая Беатрикс, вторую жену дедушки Фридриха, Фридриха Барбароссы. Посещение стало источником вдохновения для стихотворения, включенного Георге в «Седьмое кольцо», — «Могилы в Шпейере», которое заканчивается изображением поэта, стоящего перед погребальным склепом Беатрикс. В сознании поэта она вызвала дух своего внука, Фридриха II, останки которого лежат в Палермо и который является перед нею в сопровождении своего собственного сына, Энцо (или Энцио). Даже в присутствии таких высоких пэров тень Фридриха остается великолепной:

Но прежде всех остальных, вызванных с юга
Наследственной матерью Штауффера,
Рядом с прекрасным Энцио
Сияет Величайший Фридрих — тоска истинного народа, —
Стремившийся воплотить замыслы Карла и Отто,
Чудесные мечты Востока,
Мудрость Каббалы и достоинство Рима,
Празднества Агридженто и Селинунта.

Поэт называет его «Величайшим Фридрихом», потому что он стремился ассимилировать всю Европу в свое царство, в противоположность просто «великому» Фридриху Гогенцоллерну XVIII столетия, который был вдвойне сомнителен в силу того, что предпочитал французскую культуру немецкой и, что еще хуже, в силу того, что был пруссаком. Помимо собирания всех разговаривающих на немецком языке народов под единой крышей — стихотворение намекает, что Каролинги и Оттоны до него пытались и не смогли это сделать, — великий Фридрих покорил и север и юг, присоединив Италию к Германии, а также объединил культуры Востока и Запада. Как король Иерусалима он объединял в своей личности иудаизм и христианство и даже сочетал эллинистическую цивилизацию — символизируемую греческими храмами на Сицилии в Агридженто и Селинунте — с римской формой правления, унаследованной им вместе с титулом императора. Фридрих, согласно оценке Георге, был для всех народов вершиной человечества, сущностью величия, высшим и всемогущим правителем.

В эти годы Георге часто упоминал Фридриха, иногда в стихах, но еще чаще в беседах, и всегда в весьма почтительных выражениях. В 1920 году, например, он попытался убедить Бертольда Валлентина в преимуществах Фридриха, прочитав у Вольтерса некоторые из его сохранившихся писем вслух. Валлентин, равнодушный, естественно, к Наполеону, чувствовал, что средневековый суверен был слишком далек, находился на слишком большом расстоянии в истории, чтобы допустить что-то вроде непосредственного эмоционального отклика, который, как он считал, французский император все еще вызывает. Георге, наоборот, утверждал, что «немецкие императоры Средневековья не были бледными, неясными или неосязаемыми фигурами», как предполагал Валлентин, после чего Валлентин слабо возразил, что «Фридрих II был всего лишь исключением». Очевидно, Георге признавал, что Валлентин прав относительно самого средневекового периода, но не готов был сдаться. Трудность, считал он, заключалась не в том, что Фридрих безвозвратно далек, но в том, что никто еще не сумел его приблизить. Четыре года спустя Георге все еще беспокоился о проблеме, как сделать образ Фридриха более ярким для настоящего. Все было бы по-другому, говорил он Эдит Ландман, если бы весь период в целом стал предметом большего количества литературных работ. «Немецкая история подобающим образом не рассматривалась и не разрабатывалась в литературе», — говорил он в начале 1924 года, но затруднялся объяснить, почему. Одно было бесспорным: «Нет недостатка в величественности. У других нет таких блестящих фигур, как Штауфер, нет таких, которые предстают в трехмерной, видимой, форме. Но их не поэтизировали». Позже, в тот же самый год, еще раз обмениваясь мнениями с Валлентином, Георге вновь поднял проблему «немецкой имперской истории», сказав, что «когда-то ей следует дать видимое выражение». Как и в разговоре с фрау

Ландман, Георге сходным образом подчеркнул уникальный характер немецкого прошлого и особенно того, что касалось Штауферов. «Какое великолепное зрелище — Штауфер! — сказал он Валлентину. — Никакой иной народ не имеет такой истории. Во всей немецкой истории определенный идеальный фактор всегда является движущей силой и решающим элементом; в Англии и Франции это совершенно не так». Очевидно, к середине десятилетия задача возвращения к жизни Фридриха стала безотлагательной потребностью в глазах Георге. Все, в чем он нуждался, сводилось к тому, чтобы кто-то совершил воскрешение.

Случайно или нет, в то же самое время почти все близкие друзья Георге и соратники направлялись на юг в Италию. Весной и в начале лета 1924 года Бертольд и Александр Штауффенберги, вместе с несколькими друзьями из университета, путешествовали через Милан, Верону, Падую, Венецию и Равенну в Рим, чтобы затем отправиться в Неаполь, Пестум, Капри и, наконец, судном в Палермо. Валлентин и его жена Диана предприняли собственное путешествие в Италию, так же как Фридрих и Эрика Вольтерсы и Эрнст Канторович. Предыдущей осенью Макс Коммерелль и Йоган Антон также совершили путешествие вдвоем, и, конечно же, Вольфскель все еще находился во Флоренции. Даже Фридрих Гундольф приехал в Италию в начале 1924-го, где закончил большую часть своей книги о Цезаре. Разумеется, итальянское путешествие считалось необходимым опытом в жизни каждого образованного немца со времен Гёте, и Георге часто посылал своих самых молодых последователей в Италию, чтобы придать им окончательную изысканность. Но Георге не был романтиком. Он всегда был критически настроен по отношению к тому, что воспринимал как отсталость и беспорядок Италии, и ему нравилось рассказывать, как передает Вольфскель, что «как только он пересекал границу в Але, видел там грязь и получал первые фальшивки, обменивая деньги, то чувствовал: „Теперь я свободен“». Аналогично, когда условия жизни в Германии достигли своей низшей точки в начале 20-х годов, Георге, думая о поездке в Италию, рассуждал, что с какой-то точки зрения такая поездка стала излишней. «Германия становится настолько разоренной, — говорил он, — что одна из главных достопримечательностей Италии здесь уже достигнута». Все же, более серьезно, он знал, что опыт Италии стал жизненно важной частью немецкой культуры, и ничто не могло заменить поездку туда. «И какими бы ни были пороки итальянцев, — говорил он, — нельзя отрицать, что они всем нравятся. Они — хранители древних сокровищ. Они сидят в нашей Италии».

«Наша Италия» — это была весома́я фраза, особенно теперь, когда Георге так интенсивно размышлял о последнем правителе, общем для этих двух стран. Многие из его самых близких соратников, отправившихся в Италию одновременно, кажется, были посланы туда со своего рода мис-

сией, словно наносили официальный «государственный» визит. Еще больше наводило на размышления то, что все друзья Георге не просто останавливались в Риме или Неаполе, как это делало большинство туристов. Скорее, все они совершали более трудную поездку на Сицилию, имея специальную цель посетить множество мест на острове, связанных с Фридрихом II. Бертольд Штауфенберг, Альбрехт фон Блюменталь и их компаньонка Мария Фехлиг приехали в апреле в Палаццо Рояль в Палермо, где Фридрих провел свое детство, и отдали дань почтения саркофагу в соборе, где тот погребен. Фридрих был также на уме и у Эрики Вольтерс, которая написала Георге в середине того же самого месяца из Агридженто. «Я искала одну вещь и кое-что нашла, — сказала она, уточнив: — я искала Фридриха II и нашла Учителя. [...] Я не знаю, был ли Учитель когда-либо здесь, но прекрасно могу предположить, что Он прогуливался по раскаленным белым тропам к храмам и сидел там в вышине». Еще одним посетителем Сицилии, который переживал пейзаж глазами Учителя и разыскивал следы средневекового императора, был Эрнст Канторович. В письме из Неаполя на пути назад домой в Гейдельберг, он рассказал Георге, что заметил, как изменились его путешествия теперь, когда он знает Георге, — благодаря ему он видит вещи в новом свете. «Поэтому я всегда чувствую некоторый стыд относительно своей более ранней слепоты, смешанный с ощущением счастья быть причастным ко всему прекрасному и быть в состоянии его поглотить». Как и остальные, Канторович сосредоточился в своем пути на различных остановках, у которых была некоторая связь со средневековым императором. Действительно, Канторович, кажется, уже решил посвятить себя какому-то рода работе о Фридрихе и потратил большую часть своего времени на проведение исследований для проекта. С этой целью, сказал он Георге, он останется немного дольше в Неаполе, чем первоначально планировал:

То, что я узнал многое для своих целей, то есть для своей работы, само собой разумеется, и это также причина, почему я остаюсь здесь до начала мая. Ведь 3 мая 700-я годовщина университета Неаполя, который основал Фридрих II, и все газеты уже наполнены гимнами великому императору, который — как Муссолини (!) — хотел установить *Italia imperiale*. Короче говоря, Фридрих II превращается в инициатора фашистской мечты.

Итальянские фашисты не были единственными, кто считал Фридриха своим законным предком. Как сообщил Канторович, во время юбилейных празднеств, проведенных в Неаполе в том же месяце, кто-то — никто не знает наверняка, кто — возложил венок к саркофагу Фридриха в Палермо, с надписью: **ЕЕ ИМПЕРАТОРАМ И ГЕРОЯМ ОТ ТАЙНОЙ ГЕРМАНИИ.**

В лице Канторовича Георге тогда окончательно нашел человека, который мог бы вернуть Фридриха к жизни. После возвращения в Гейдельберг

Канторович настойчиво работал над замыслом в течение следующих двух лет. Георге, для которого тема была исключительно дорога, оставался с Канторовичем всякий раз, когда тот бывал в Гейдельберге, и активно участвовал в создании книги, пока она писалась. Он принял глубокое участие и в ее публикации. 12 июля 1926 года — не случайно в свой день рождения — Георге отправил Бонди письмо с тем, что назвал «предложением»: «Близкий мне человек закончил рукопись об истории Фридриха II. Я прочитал ее и счел важным сразу же сберечь ее для себя (так, чтобы она не попала в руки других слишком ловких издателей)». Георге не предполагал, что Бонди ухватится за предложение — издатель уже отклонил несколько предложений, и книга о Средних веках, на первый взгляд, не обещала стать бестселлером — и поэтому предоставил ему альтернативу. Было тем не менее одно безоговорочное условие: книга должна быть издана со свастикой. «Работа может появиться только под эмблемой „государства“, — сказал Георге. — Я издал бы ее в „Листке“, если вы не сочтете ее неподходящей для ваших нужд. Если же вы готовы издать ее, то я немедленно отправлю вам первые четыре главы в машинописных экземплярах».

Десять дней спустя Бонди уже получил и прочитал эти главы. Он был очарован: «Работа совершенно пленила меня той магией, которая свойственна великому императору Гогенштауфену, но также своей образностью. Я готов издать ее с удовольствием». Но вначале, как и всегда, следовало разработать несколько практических деталей. Возможно потому что Георге так много вложил в тему книги, он решил, что подпишет контракт вместо автора. Бонди беспокоился об этой неортодоксальной процедуре как о чем-то «беспрецедентном». Но Георге отказывался отступить, и Бонди был вынужден вести всю переписку, имеющую отношение к книге, только с Георге. Кроме того, Георге выразил уверенность, что книга вызовет энтузиазм того же рода, какой встречали лучшие публикации серии. Бонди, уязвленный такими недавними провалами, как «Наполеон» и «Рафаэль», встретил это заявление с осторожностью, сказав: «Я, естественно, надеюсь на успех, но, увы, не могу разделить ваш оптимизм, что неудачи в этой серии и с этой эмблемой невозможны. Времена, к сожалению, изменились, и книжные продажи настолько бедны, что нельзя поверить, будто это возможно».

В течение следующих месяцев они обменивались многочисленными письмами относительно проекта, иногда вспылчивыми, обсуждая все аспекты издания книги, начиная с вопросов о шрифте, качестве бумаги, названии и т. д. и все это сопровождалось постоянными жалобами со стороны Георге о медленном темпе работы. Один из самых крупных споров касался художественного оформления титульного листа. Георге уполномочил Эрнста Гундольфа сделать рисунок карандашом, основанный на романских архитектурных элементах, для титульного листа и обложки кни-

ги. Посмотрев на него, Бонди объявил рисунок «дилетантским» и настоял, что если Георге действительно желает добавить иллюстрацию, то она должна быть выполнена профессионалом. Главное, Бонди считал, что вся идея иллюстрации была «скорее, шутливой» и неуместной в научном исследовании. Очевидно, Георге рассердился от такой критики и отослал назад непреклонный ответ. Неуступчивый Бонди повторил свои соображения об уместности такого рисунка на обложке научной книги. Бонди считал замысел, как он писал, «чрезвычайно опасным»: «Он мог пробудить впечатление, что это была одна из так называемых научно-популярных работ. Едва ли я должен рассказывать вам, какое ужасное баракло выросло подобно сорнякам в этой области за несколько прошлых десятилетий. Если бы, скажем, имя Гундольфа было на титульном листе, то такой способ указания на издателя был бы менее опасным, так как научные заслуги Гундольфа общепризнанны. С совершенно неизвестным автором этот метод должен рассматриваться как вводящий в заблуждение». Реакция Георге на соображения Бонди была откровенной (будучи в раздражении, Георге уже не писал письма к Бонди сам, но диктовал их третьему лицу): «Ст. Г. настаивает, что внешний акцент на ее научном характере был бы вреден для ее успеха: она предназначена привлечь совершенно иные — более широкие — круги». И поскольку речь зашла о Гундольфе, Георге утверждал, что аргументы Бонди не произвели впечатления: «В отношении книг Гундольфа Ст. Георге придерживается противоположного мнения, чем вы: их успех не был вызван „наукой“ — [публика] приветствовала их только тогда, когда не могла поступить иначе». Георге не только был оптимистичен, что книга Канторовича дойдет до широкой читательской публики, но делал все, что было в его власти, чтобы гарантировать, что это произойдет.

Как оказалось, страхи Бонди были необоснованны. Первый выпуск «Кайзера Фридриха», который появился в марте 1927-го, был распродан до конца года. К тому времени, когда в 1936-м был напечатан четвертый выпуск, десять тысяч экземпляров были уже куплены. После «Гёте» Гундольфа и «Ницше» Бертрама это была самая успешная Духовная Книга из всех, когда-либо появившихся. Как и другие две, она также преодолела разрыв между «наукой» и более популярным сочинением, обращаясь как к читателям, специально не подготовленным, так и к академическим ученым, многих из которых настораживала как раз популярность книги, но которые затем все равно были впечатлены ученостью автора. Хотя Канторович, несомненно по подсказке Георге, утаил обширный технический аппарат, который использовал при написании книги — он консультировался со всеми доступными источниками на латинском, греческом, иврите, английском, французском, итальянском и испанском языке, но книга не имела ни одной сноски или библиографической ссылки, — любому, знакомому с историческими документами, было очевидно, что Канторович владел ими

полностью. Не только это: он вдохнул в историю, которую рассказывали источники, такую живость и блеск, что они, казалось, заново воскресли. Даже сегодня, спустя более чем шестьдесят лет, после того как «Фридрих II» появился, он немного потерял от своего изначального очарования. В 1991 году историк Средневековья Норманн Кантор утверждал, что Канторович «написал самую захватывающую биографию средневекового монарха, созданную в этом столетии». И, высказав определенную критику в отношении общей тенденции книги, Кантор также подтвердил, что эрудиция автора оставалась безупречной. Если бы нужно было переиздать книгу, сохраняющую оригинальные утверждения Канторовича и его цели, утверждал Кантор, «следовало бы сделать очень немного, чтобы выпустить в свет исправленное издание, — возможно изменить приблизительно семьдесят пять из семисот страниц».

Это как раз и был тот вид влияния, который по замыслу Георге должна была оказывать книга. С самого начала он хотел, чтобы кто-то рассказал о жизни человека, которого он расценивал как самого великого вождя, известного когда-либо в Германии, — и возможно, самого великого во всей Европе, — таким способом, сделал бы его актуальным. И Георге, и Канторович знали — чтобы книга была воспринята серьезно и выдержала испытующие взгляды, которые неизбежно к себе привлечет, она должна опираться на непоколебимый академический фундамент. Но слишком многие историки, считал Георге, перепутали этот фундамент с самим зданием, которое, в отличие от первого, часто казалось сооруженным небрежно или с безразличием, словно машинально. Большинство читателей интересуется только самим текстом, и лишь немногие пользуются плотной инфраструктурой ссылок и примечаний, на которые он опирается. Стремившийся удовлетворить обе аудитории сразу, «Фридрих II» Канторовича представляет собой подлинный гибрид — это работа педантичного ученого, которая не выставляет напоказ свои достоинства и написана с очаровательным блеском и воодушевлением. Как выразился один рецензент, в дополнение ко всем своим иным достоинствам, книга «в целом необычно хорошо написана; отдельные части показывают действительно высочайшее мастерство описания».

Но труда там затрачено даже больше, чем видно на первый взгляд. Ибо эффект, производимый книгой, не ограничивался академическими или даже эстетическими целями, но, скорее, преобразовывал их в актуальную политическую энергию. На самом деле это и было окончательной целью книги: она должна была и подтвердить воззрения Георге на абсолютную власть как воплощенную в единственной героической фигуре, и привить читателям действенный энтузиазм по поводу ее форм и видов. Хотя Георге, возможно, и не нравилось об этом слушать, но книга «Фридрих II» стала родственной книгам Гундольфа, и в особенности «Цезарю». Как отме-

чал тот же самый рецензент, Канторович, изображая Фридриха в качестве «модели мирового правителя» и размещая «великого человека в среде исторического действия в качестве фактора его мотивации», не просто предоставил средневекового правителя нашему особому восхищению. Канторович позволил, чтобы «потребность, которую он ощущает внутри себя и которая вызвана современной ситуацией, стала решающим элементом в изображении истории». Другими словами, Канторович, так же как и Гундольф, намеренно поставил свои идеологические убеждения, мотивируемые скорее современными проблемами, чем условиями жизни XIII столетия, на службу оценке жизни Фридриха и ее значения. Интерпретация Канторовича была не просто субъективно окрашена — она была открыто и преднамеренно политической.

Другие критики, особенно не столь хорошо расположенные к автору, также признавали эту черту и были глубоко ею обеспокоены. Альберт Бракманн, один из самых выдающихся в то время специалистов по Средневековью, в 1929 году опубликовал пространное обсуждение книги, которое было основано на лекции, прочитанной им в прусской Академии в Берлине. Бракманн, который был преподавателем истории в Берлине, посвятил также несколько сессий своего университетского семинара критическому обсуждению «Фридриха II». Факт, что одна из самых авторитетных фигур в рамках данной области уделила столько внимания книге ранее малоизвестного новичка, сам по себе был знаком признания и возможного влияния работы Канторовича. В рецензии Бракманна, после обязательного подтверждения «огромного успеха книги» и признания, что «никакая другая работа на тему средневековой истории в последнее время не произвела более сильного впечатления», автор прямо заявлял о своем убеждении, что «основная концепция личности императора в книге получена методологически порочными средствами». Бракманн еще не уточнял, что имел в виду, но следующее предложение имело силу предположения о виновности: «Канторович происходит из круга Георге». Мало того, что Бракманн явно считал простое отождествление Канторовича с Георге достаточным указанием на тональность книги, он выдвинул еще это предположение на первый план. Поскольку оно доказывает, что к 1929 году понятие «круг Георге» стало настолько общепринятым, а его принципы и состав настолько известными, что следовало просто обратиться к этому понятию, чтобы напомнить о специфическом и хорошо знакомом мировоззрении. И это было мировоззрение, которое, как считал Бракманн, не имело никакого отношения к академическим исследованиям прошлого.

Как и большинство его коллег, Бракманн считал историю строго научным занятием и себя, соответственно, строгим ученым, тем, кто подходит к хронологической записи почти таким же способом, каким химик смотрит на смесь веществ или биолог на клетку. История была для него не инстру-

ментом или оружием, но просто объектом, который должен быть исследован и понят; продуктом исследования должно быть не социальное изменение, но истина. Любая попытка использовать прошлое в иных целях, чем ради получения бóльших и лучших знаний о нем, и самое большое о нас самих, была, считал Бракманн, извращением обязанностей историка и угрозой дисциплине в целом. Бракманн, таким образом, рассматривал «Фридриха II» не как единственную, но как одну из наиболее опасных недавних атак на целостность истории как научной практики и предупреждал: «Это — очень серьезная ситуация, в которой оказывается наша наука». Именно потому что книга Канторовича не была работой любителя или глупца, она была, говорил Бракманн, «очевидным признаком опасностей, которым мы подвержены». Он чувствовал, что «Фридрих II» представлял собой не что иное, как «опирающееся на серьезное исследование стремление основывать нашу науку на догмах, а не на рабочих гипотезах». Интерпретация прошлого сквозь призму определенной доктрины искажает наше видение, а не обостряет его, считал Бракманн. В частности, он завершил свое эссе призывом, близким к чему-то вроде предвзятой жалобы, которой он увещевал других, настаивая: «Нельзя писать историю ни в качестве ученика Георге, ни в качестве католика или протестанта или марксиста — можно только в качестве человека, ищущего истину». Чего Бракманн, кажется, совершенно не понял, так это того, что Канторович действительно подтверждал значимость поиска истины. Но та сторона истины, поисками которой он занимался, была исторической.

Канторович формально ответил на критические замечания Бракманна в следующем выпуске того журнала, в котором они вначале и появились. Но его самое полное возражение выразилось в лекции, которую он прочитал в следующем году. Спустя три года после ее публикации, книга Канторовича все еще вызывала оживленные дебаты, поэтому Канторовича пригласили произнести речь на семнадцатой ежегодной немецкой конференции историков в апреле 1930 года. Несмотря на юность Канторовича и неопытность, его речь ожидали с нетерпением — один посетитель конференции сообщил, что она стояла «в самом центре интересов», — и она привлекла так много слушателей, что организаторам в последнюю минуту пришлось найти аудиторию более крупных размеров. Если Канторович и находил собравшуюся ассамблею профессиональных историков пугающей — почти все сидящие перед ним были по крайней мере на два десятка лет старше его, а многие считались главными авторитетами в своей области, — то ничем не обнаружил своего трепета. Детальнее, чем это было возможно во «Фридрихе II», который являлся скорее образцом примененного им метода, чем его описанием, он изложил в своем выступлении принципы историографии, как он — и, подразумевалось, Георге — их видел. Он отрез отверг аргумент, что история является наукой и что она должна или

может быть идеологически нейтральной. Более того, Канторович чувствовал, что история должна быть и действительно неизбежно всегда является выражением национального самосознания: «В своей сущности и в качестве искусства историография абсолютно принадлежит [категории] национальной литературы; она мыслится и понимается с точки зрения существования немца, независимо от того, касается сам предмет истории Родины или нет». Как таковая, история таким образом «обращена к неизменно небольшому числу действительно образованных и интеллектуальных лидеров той страны, на чьей почве она возникла и на чьи импульсы по-своему отвечает — и она, следовательно, воздействует на учителей и педагогов через множество ответвлений университетов и школьной системы».

Историография для Канторовича вообще имела, таким образом, явно выраженную педагогическую функцию, а педагогика в Германии была национальным делом, вопросом государства — понятия, которое для Канторовича имело и официальный и тайный смысл. И именно к этому самому важному источнику законности истории Канторович обращался в своих заключительных утверждениях. Теперь, более чем когда-либо, доказывал он, после того как Германия проиграла войну и перенесла бедствия революции, гражданского раздора, экономической разрухи и социальной смуты, «в безнадежности после краха, когда возобладали сомнения и вера во внутреннюю правоту страны повсюду пошатнулась», история нуждалась в том, что Канторович назвал «новой целью». Цитируя Фридриха Шиллера в качестве опоры поисков того, где эта цель должна быть найдена, он настаивал: «В то время как политическая империя гибнет, духовная — приобретает все более и более прочную и совершенную форму». Вместо восхваления источника своего вдохновения в исторических сочинениях, Канторович, мягко высмеивая академические претензии его более уравновешенных слушателей, заявил о своей преданности Георге как о принципе веры.

Таким образом, господа, я могу наконец дать ответ на поставленный передо мной вопрос о научной ценности исторических работ школы Георге. Их ценность заключается в том простом факте, что они *служат* этой вере в день торжества немцев, в дух нации. Этой верой, завещанной, разумеется, не наукой, а поэзией, является догма, которая доминирует и определяет все работы этой школы и которая почти никогда не признавалась наукой и никогда не была предметом ее анализа. Поскольку здесь царствует, в отличие от того, во что многим хотелось бы верить, не эстетическая, феноменологическая или любая другая подобная догма, а, скорее, эти произведения вдохновляет простая догма о достойном будущем страны и о ее чести. [...] И самое главное: только благодаря этой вере в подлинную Германию эти произведения и становятся искусством.

Едва ли это можно было сказать более ясно. Книга Канторовича, как и все *Geistbücher*, предназначалась, чтобы вновь вернуть прошлое ради будущего. И не просто ради любого будущего, но особенно ради будущего Германии. «Фридрих II» был предписанием в облике исторического сочинения, инструкцией, составленной на языке, в характере и стиле — словом, в духе — героического, мессианского лидерства. Это был духовный путеводитель для немцев, нацеленный не на то, чтобы ориентировать их в прошлом, но чтобы привести их к грядущему. Это был, иными словами, образцовый учебник для «школы Георге» — фраза, которая должна быть понята двояко. С одной стороны, он выражал коллективную позицию и разделял принципы тех, кто принадлежал в кружку Георге. С другой стороны, он описывал актуальный опыт чтения книг, которые этот кружок создал: они стремились обучать, тренировать, инструктировать, т. е. «приучать» своих читателей к тому способу мышления и бытия, который они изображали — стремление, для исполнения которого их завораживающая риторика часто имела большое значение. Прочитать книгу одного из последователей Георге было, таким образом, сродни прохождению обряда инициации. Как и во всех институтах, однако, разрешение на вход влекло за собой и привилегии, и обязательства. «Фридрих II» открывал своим читателям секретную правду о судьбе Германии, но взамен этого знания на них возлагалась обязанность приветствовать перевоплощение правителя, если — или, скорее, когда — он вновь появится.

В то же самое время, когда в 1927 году появилась книга Канторовича, Макс Коммерелль как раз завершал свой собственный вклад в «библиотеку» школы Георге. С тех пор как в середине апреля 1922 года он встретил Георге, Коммерелль был одним из самых преданных его соратников, путешествовавших по всей Германии, чтобы помогать Учителю, когда тот был болен, когда необходимо было обустроить для него жилые помещения в Берлине, Мюнхене, Базеле и в родном для Коммерелля Канштатте, возле Штутгарта. Он служил также у Георге секретарем и писал письма, с совершенством имитируя руку Учителя. Хотя Коммерелля часто сопровождал его друг, Ганс Антон, Коммерелль знал, что был любимцем, и упивался своим положением. Георге, очевидно, наслаждался присутствием Коммерелля как из-за его внимательности, так и из-за чистого удовольствия беседовать с ним. Коммерелль во всех отношениях был очаровательным собеседником. Людвиг Тормелен, которому даже не очень нравился Коммерелль, признавал: «Все слушали его в волнении, и беседа никогда не затихала, когда он присутствовал. Любой факт, будь он историческим или личным, он поднимал в живой форме до уровня яркого красноречия. Вызывало удивление, как он связывал идеи и исследовал глубину этих связей. Этим он напоминал Фридриха Гундольфа, когда тот был моложе». Красно-

речие, без сомнения, составляло немалую часть привлекательности Коммерелля — он заполнил теперь тот пробел, где столь долгое время находился Гундольф. (Хотя и не во всех отношениях: было гораздо лучше слушать Коммерелля, чем смотреть на него.) Георге даже разговаривал с ним сходным образом. Когда Коммерелль заходил слишком далеко, разглагольствуя о каком-то понятии или о чем-то другом, Георге говорил ему, как часто говорил и Гундольфу: «Довольно, вы говорите чепуху!» Но Георге любил эти демонстрации словесной акробатики и стремился только направлять их в полезную сторону.

В середине октября 1928 года Коммерелль, в возрасте двадцати шести лет, издал свою первую книгу, «Поэт как Вождь в немецком классицизме» («Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik»). Как и работа Канторовича, она появилось у Бонди. Она также щеголяла карандашным рисунком с изображением архитектурного орнамента — в этом случае ионических колонн, — который украшал рельефом и обложку и титульный лист и сопровождался эмблемой «Листка». (Физическое сходство между книгами Коммерелля и Канторовича распространялось на каждый аспект дизайна и строго соответствовало пожеланиям Георге. В конце июля Георге в письме проинструктировал Бонди, что хотел, чтобы макет «новой книги» был точно таким, как макет «Фридриха II»: «Не только законченная книга: каждая страница новой книги должна обладать точно таким же воздействием, как и страница „Фридриха II“»). В пяти своих основных разделах книга Коммерелля прослеживает возникновение немецкой чувственности в работах и жизни тех, кого Коммерелль принимает за главных представителей немецкой классической литературы: Клопштока, Гёте, Шиллера, Жан Поля и Гёльдерлина. Не случайно, что все они, исключая возможно Шиллера, были каноническими поэтами в пантеоне Георге. Действительно, вся книга есть ода в прозе к представлениям Георге о поэтическом состоянии, о задачах и роли поэта как духовного вождя — *фюрера* — своего народа и как истинного, но скрытого властителя, который видит и ясно формулирует коллективную судьбу *Volk*. Таким образом, книга Коммерелля сама являлась канонической работой, выражавшей официальную доктрину кружка и преследовавшей ту же самую великую цель внушения своим читателям его ценностей.

И все же книга не только придерживается стандартной парадигмы кружка, она также соответствует своим предшественникам в глубине психологических осуждений, в тонкости философских интерпретаций и в ошеломляющей стилистической бравурности. Иногда страница, кажется, почти пульсирует духовной энергией, словно ей физически передается динамическая сила мысли Коммерелля. Это делает ее чтение волнующим, но не легким занятием: язык Коммерелля — рапсодический, лиричный даже в своей интонации, метафоричный и насыщенный аллюзиями; и Комме-

релль изобретает новые слова или восстанавливает древние и таинственные со смелостью, граничащей со смелостью самого Георге. Все же слова никогда не заменяют мысль. Скорее, они украшают ее, сообщая ей большую плотность и вес, но сияние самой мысли все равно ослепляет.

Чтение книги «Поэт как Вождь» — несомненно, интенсивный, увлекательный интеллектуальный опыт, и по этой самой причине глубоко тревожный. Каждый еще сильнее, чем в произведениях Канторовича или Гундольфа, чувствует притягательное напряжение в направленности к частной и политически мотивированной цели. Как и в предыдущих книгах, окончательный фокус в работе Коммерелля сосредоточивается не на прошлом, а на настоящем и будущем. Но более явно, чем это делали Канторович или Гундольф, Коммерелль располагает судьбы Германии в центре своего анализа, вынуждая все в нем отражать героическую борьбу за возвращение ее прежней славы. И язык, который Коммерелль использовал, пропитан словарем военного конфликта, постоянно напоминающим о «крови», «громе», «оружии», «огне» и «смерти». Последняя глава, о Гёльдерлине, заканчивается виртуозным финалом, посвященным повороту поэта к патриотическим темам, перед тем как он впал в безумие (которое Коммерелль типичным способом изображает как «жертву», принесенную Гёльдерлином ради своих соотечественников). В заключительном разделе, озаглавленном «Das Volk», Коммерелль интерпретирует сто двадцать пять лет, прошедшие с наступления безумия Гёльдерлина — знаменующего конец классического периода в начале XIX века, — как темную эру упадка Германии, которая только теперь возрождалась благодаря появлению еще более великого поэта. В заключительных фразах книги Коммерелль написал:

Однажды наступит день, когда этот поэт, как и его классические предшественники, пробудит свой народ к их призыву, тогда то, что было когда-то разделено в борьбе, станет единым и будет действовать в едином духе, и *Volk*, который столь робок перед невероятными масштабами своего наследия, столкнувшись с весомостью своей дальнейшей судьбы, примет помощь от дарующих имена поэтов и постигнет преимущества второго Золотого века, дара совершенного правления, неистощимой временем мечты, которая продолжает претворяться в жизнь и в худшее из времен, во времена недоверия к желанию народа жить и понимать пылкое и суровое Завтра, где юность чувствует рождение новой Родины в звоне оружия, ранее бывшего слишком глубоко похороненным.

Каким бы темным ни был этот отрывок, любой, кто читал стихи Георге и сочинения с вниманием и наблюдательностью, узнает, о чем здесь говорил Коммерелль. Один из наиболее проницательных критиков Коммерелля прекрасно его понял. Более двух десятилетий Вальтер Беньямин наблюдал со стороны, как Георге превращался из заунывного поэта «Года

души» в безжалостного судью «Звезды Союза». Беньямин никогда не терял своего восхищения экстраординарными поэтическими способностями Георге, но не мог принять его, даже со стороны, как личного Учителя или как подлинного вождя Германии. Поскольку собственные политические убеждения Беньямина укреплялись — к тому времени он открыл для себя марксизм — и поскольку начали накапливаться признаки, что решения, предлагаемые Георге и его кружком, начинали завоевывать более широкое и вызывающее беспокойство влияние, Беньямин чувствовал, что опасность, которую эти решения создавали, выходит за рамки личного обаяния. В 1929 году он написал расширенную рецензию, в которой изложил причины, почему считал необходимым сопротивляться той песне сирены, которую Коммерелль и, через него, Георге сочинили.

Беньямин начал с признания необычной ситуации, в которой оказался как критик «с другой стороны» политического спектра, при обсуждении произведения, чьи многие исключительные качества он и признавал и подтверждал. Даже заглавие его рецензии отражало этот парадокс: «Против шедевра». Это — подходящая формулировка: Беньямин прекрасно знал, что книга Коммерелля была настолько же собственной книгой автора, насколько и книгой его Учителя, что книга Коммерелля в значительной мере принадлежала тому, что Беньямин также идентифицировал как «школа Георге». Беньямин прямо заявил, что никто не мог подвергнуть сомнению «качество работы, ее стилистическую форму, авторитет автора». Он великодушно похвалил «экстраординарную точность и смелость его воззрений», добавив, что «богатство антропологических озарений было просто удивительным». «Редко, — утверждал Беньямин, — можно встретить историю литературы, написанную таким образом». Но с точки зрения того, что он назвал «ее секретным намерением», Беньямин видел, что бесспорные достоинства книги не возместили — и не могли возместить — опасности, которым она послужила прибежищем; на самом деле благодаря тем же самым атрибутам эти опасности только возросли. Еще раз подчеркивая двойственную природу успеха Коммерелля, Беньямин, в духе иронической провокации, заявил: «Если бы немецкий консерватизм гордился самим собой, то эту книгу следовало бы рассматривать как его Великую хартию». Но поскольку, согласно Беньямину, на самом деле не было никакого заслуживающего доверия консервативного движения в Германии — «не было в течение восьмидесяти лет», заявлял он полемически, — то именно ему, занимавшему противоположную политическую позицию, необходимо было дать работе Коммерелля ту оценку, которой она заслуживала.

При этом Беньямин обошел стороной поверхностное обсуждение отдельных поэтов, представленных в книге, и обратился прямо к ее действительной внутренней цели: «С решительностью, которой ни одна из ее предшественниц в кружке не достигала, книга приводит доводы в пользу

тайной истории немецкой литературы». Даже и сама литература не была также реальной целью. Вместо этого книга предлагала «истинную историю спасения (*Heilsgeschichte*) немцев». Она содержала, писал Беньямин, «доктрину истинной Германии», которая прослеживала чудесное возвышение всей Германии к предначертанной ей судьбе. Трудность заключалась в том, что эта судьба предсказывала. В частности, Беньямин был потрясен изобилием образов насилия в книге. Цитируя характерную фразу, Беньямин показывал, что Коммерелль желал, чтобы его читатели подчинились «самому твердому молоту и самому горячему горну нашей будущей судьбы». Вся книга Коммерелля, полагал Беньямин, стремилась устроить «германские сумерки богов», грязную и кровавую битву, освещаемую сверкающим «солнцем Лехтера», — вращающимся символом свастики, — которым на время, как прохладно выразился Беньямин, «она сама себя вооружила».

Было ли это все не более чем «цветистым метафорическим языком», риторически спрашивал Беньямин, напыщенными излияниями перевозбужденной, но безопасной литературы? Беньямин был вынужден ответить на свой собственный вопрос: «Увы, нет». Он знал, что Коммерелль и все последователи Георге буквально понимали все то, о чем говорили. Разговоры Коммерелля о жертвоприношении и смерти, его вера в острые лезвия и сверкающие копья, и его прославление непреклонного немецкого завоевателя были не простыми фигурами речи, а, скорее, торжественными заклинаниями общей и живой веры. Беньямин закончил свою рецензию отречением от того портрета Гёльдерлина, который Коммерелль вывел в заключении к своей собственной работе. «Гёльдерлин был не из тех, кто воскресает из мертвых, — настаивал Беньямин, — и земля, чьи пророки имеют видения, восходящие над трупами, — это не его земля». Гёльдерлин был не тайным королем-воином, а поэтом, и земля, над которой, как пророчил Коммерелль, будет править дух Гёльдерлина, имело мало сходств с Германией, которую Беньямин признавал своей собственной. Но в 1929 году Германия Беньямина — либеральная, гуманистическая, цивилизованная Германия — находилась уже на пути к исчезновению, и было неясно, что же возникнет на ее месте. «Одно бесспорно, — говорил Беньямин, — эта земля не сможет стать Германией снова, пока не очистится, и не очистится во имя Германии. Но ни в коем случае не во имя той тайной Германии, которая является в конце концов только арсеналом официальной, в который волшебная шапка, делающая ее владельца невидимым, висит рядом со стальным шлемом».

Вальтер Беньямин написал свою рецензию на книгу Коммерелля «Поэт как вождь», проживая в тосканском городке Сан-Джиминьяно, куда приехал летом 1929 года, чтобы убежать от той сгущающейся атмосферы, на которую он ссылался в своем эссе. Рецензия появилась, с некоторым

опозданием, 15 августа 1930 года. Месяц спустя, 14 сентября, национал-социалистическая партия, ранее игнорируемая как шумная, но периферийная группировка, завоевала ошеломляющую победу на выборах. Совершенно неожиданно она подскочила от несерьезных двенадцати мест в парламенте до вызывающих изумление 107, или 18.3 процентов, став за одну ночь второй по величине партией в Рейхстаге. Скоро у Германии появится *фюрер*, в котором, как ее со всех сторон убеждали, она нуждалась.





Глава сорок первая

НОВЫЙ РЕЙХ

В течение четырех лет, с середины 1924-го до осени 1928-го, Георге в значительной степени был поглощен административными частностями подготовки произведений других членов кружка к выходу в свет. В самой большой степени он был увлечен книгами Коммерелля и Канторовича, и именно с ними связывал самые большие свои надежды. Георге не разочаровался в Вольтерсе тем не менее — он продолжал пытаться подтолкнуть его к завершению истории «Листка». Когда в феврале 1927 года Георге получил страницы корректуры «Фридриха II», то сказал Эдит Ландман, что «хотел послать их как можно скорее Вольтерсу». Книга Канторовича могла служить ему в качестве образца, сказал Георге, так как «Вольтерс также должен научиться, как вести спокойное повествование, не оглядываясь назад и не забегая вперед в поисках более широких связей».

Но были и другие проекты, которые также в различной степени занимали внимание Георге. Бертольд Валлентин, явно не обескураженный плачевной неудачей своего «Наполеона», создал в 1927 году новое произведение — «Героические маски», которое содержало, помимо прочего, вымышленные «беседы» Наполеона с различными современниками. Хотя Бонди издал эту книгу, на сей раз Георге отказал в эмблеме «Листка». Когда Георге получил свой экземпляр, то утверждал, что многого в ней не понял и что вообще выдуманные беседы слишком похожи на слова самого Валлентина, чтобы быть убедительными. «Наполеон, — заметил Георг-

ге, — говорит слишком умно, он слишком много думает и чувствует». В том же самом году неутомимый Гундольф закончил еще одну книгу, которую также опубликовал у Бонди, но также без эмблемы. Это было сравнительно короткое, для Гундольфа, исследование немецко-швейцарского алхимика и врача эпохи Ренессанса по имени Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известного как Парацельс. Хотя Парацельс (1493—1541) был выдающимся химиком и сделал важные медицинские открытия (оказался, например, пионером в изучении сифилиса и его возможного лечения), а книгу о нем Гундольф посвятил Вальтеру Кемпнеру, который был у Георге последним врачом, Георге не был ею впечатлен. Он сказал Валентину, что посчитал книгу «весьма поверхностной и задался вопросом, что произойдет с Гундольфом при таких публикациях — он теперь счастливо застынет на стадии подражания, как Гофмансталь».

Георге едва ли мог сделать более испепеляющее сравнение — оно выдвигало на первый план ту бездну, которая простиралась теперь между ним и его бывшим фаворитом. (Ранее в том же году, в приватной беседе о разрыве с Гундольфом, Георге доверительно сообщил Эдит Ландман, что «был теперь выше этого».) Но не вся энергия Георге была альтруистично сконцентрирована на работах других — если вообще можно говорить об альтруизме, когда все эти работы так или иначе являлись формами расширения его самого. Действительно, Георге мало беспокоило, что сохранение его сочинений зависело теперь от его собственного выбора, который в 1926 году он начал делать, занимаясь подготовкой собрания сочинения своих изданных работ. Так как он прекратил писать стихи за несколько лет до этого, то мог теперь благополучно объявить его «полным». И наблюдая за изданием лично, он мог также удостовериться, что в будущем никогда не будет путаницы относительно вариантов чтения или конкурирующих версий отдельных произведений. Это издание должно было быть последним и окончательным.

Естественно, Бонди опубликовал бы полное издание, но вначале следовало решить множество щекотливых вопросов. У Георге могло быть многочисленное духовное потомство, но он должен был назначить законного наследника. Некоторые из его друзей волновались, что после смерти Георге права на его работы останутся в руках Бонди и его собственных наследников, что могло, очевидно, привести к нежелательной ситуации. Поэтому было выдвинуто предложение, чтобы был сформирован «фонд», который будет управлять всеми юридическими и другими вопросами, имеющими отношение к состоянию поэта. Георге, которому все это казалось слишком буржуазным, колебался. Как его главный юридический консультант Эрнст Морвиц убеждал его признать полезность такого фонда. «Фонд необходим, — писал он Георге в ноябре 1926 года, — чтобы отделить авторские права от вашей личности, чтобы они стали независимыми от

смерти и не перешли наследникам». Но были и другие преимущества, которые такое учреждение принесет даже до этого немислимого события. Фонд мог действовать как своего рода агент от имени Георге, но Георге все еще будет сохранять всю власть принятия решений в своих собственных руках — ему, таким образом, будут предоставлены все выгоды положения третьей стороны и ни одного из его недостатков. Кроме того, что еще более важно, передавая доверенность фонду, Георге мог быть уверен, что целостность его состояния будет гарантирована навсегда. Морвиц согласился с Юлиусом Ландманом, который также служил неофициальным юридическим консультантом Георге при необходимости и который, в частности, приводил доводы в пользу долговременной ценности фонда. «Ландман правильно подчеркнул, что через организацию фонда вы также получите ту внешнюю безопасность длительного существования вашего наследия после вашей смерти, которую было бы возможно получить через наследника или исполнителя, по той простой причине, что фонд может до бесконечности существовать независимо от отдельных людей».

Однако Георге не был уверен, что хочет отказаться от контроля над своим творчеством, продолжая сохранять право управлять им во всем, кроме имени. Это, казалось, вступало в противоречие со всем, что он делал и во что верил всю свою жизнь — и он по понятным причинам отказывался подчиниться замыслу. В конце концов главным вопросом была сама работа, и чтобы подтолкнуть его к тому положению, которого он желал, это был решающий довод. Вопрос о фонде мог быть поставлен позже. Деньги, конечно, не особенно его интересовали, и то, что фонд мог повлечь за собой более благоприятные условия в этом отношении, не имело для Георге большого значения. Здесь также, однако, его советники попытались его уговорить. В августе 1927 года Юлиус Ландман послал ему машинописное письмо на трех страницах, напечатанное через один интервал, умоляя не позволять Бонди отбирать у него материальные преимущества. Зная отвращение Георге к таким вопросам и испытывая нетерпение разобраться в них, Ландман однажды даже резко сказал ему: «Занимать позицию идеалиста не от мира сего в коммерческих делах недостойно Учителя. В своем доме я научился: позволять себе быть обманутым столь же плохо, как и самому обманывать других». Ландман убеждал Георге потребовать увеличения процента платежей, которые тот получал, от обычных и стандартных пятнадцати процентов до двадцати и обеспечить себе гарантированный годовой доход в шесть тысяч марок. Принимать или предлагать что-либо меньшее, заявлял Ландман, «противоречило бы благовоспитанности».

Георге тем не менее расценивал всю эту тему как весьма утомительную. Дело не в том, что речь шла о несущественных суммах. Что касается собственности и подоходного налога в 1928 году, то его налоговые активы

насчитывали весьма значительную сумму в 29 500 рейхсмарок. Но он был настолько безразличен к деньгам, что не держал даже банковский счет, предпочитая позволять Георгу Бонди управлять доходами, которые шли от продаж его книг. Всякий раз, когда Георге нуждался в деньгах, он просто писал Бонди, который тогда организовывал перевод средств. В своих мемуарах Бонди рассказывал, что банковский счет у Георге был только в период инфляции. По совету Бонди, который чувствовал себя неловко, наблюдая как деньги исчезают из-под его присмотра, Георге открыл один счет в Дармштадтском отделении Дойче Банка. Но у него было «непреодолимое отвращение» к подписанию платежных поручений, поэтому он уполномочил Гундольфа расписываться на них вместо себя. Георге утверждал, что Гундольф мог подражать его почерку настолько убедительно, что сам Георге не мог отличить его роспись от своей собственной. Добросовестные служащие Дойче Банка, наученные обнаруживать подделку, смогли, однако, это сделать. Однажды Георге получил конверт по почте, содержащий один из поддельных платежных бланков, которые Гундольф представлял от его имени, с приложением лаконичного примечания: «Мы просим вашу личную подпись». Раздраженный Георге закрыл счет и никогда вновь не открывал другого.

Не придя к решению относительно фонда, Георге заключил в ноябре сделку с Бонди об издании полного собрания своих произведений. Морвиц и особенно Ландман, должно быть, были разочарованы условиями. Как сообщил Бонди Фридриху Гундольфу, который также просил о возможности увеличения платежей, затраты на издание книг более чем удвоились с 1914 года, но если книги поднять в цене в той же мере, то их невозможно будет продавать. Таким образом, чтобы сделать выход книг в свет вообще возможным, многие издатели, говорил Бонди, устанавливали цену приблизительно на двадцать пять процентов ниже, чем было необходимо, чтобы покрыть расходы. «Эта искусственно заниженная розничная цена, разумеется, была возможна только в том случае, если автор соглашался на выплаты самое большее в пятнадцать процентов, — говорил Бонди Гундольфу, а затем выложил свой главный козырь: — Я могу также упомянуть, между прочим, что мне пришлось иметь дело с тем же самым вопросом в заключительном договоре с Георге о полном издании. Некоторые друзья Георге предлагали платеж в двадцать процентов. Но ввиду обстоятельств Георге также принял платеж в пятнадцать процентов». Кажущаяся случайной ссылка на Георге была сильным доводом: Бонди знал, что Гундольф никогда не осмелится предположить, что достоин лучших условий, чем Учитель. Это были пятнадцать процентов.

В конце месяца первый том того, что было бы полным изданием произведений Георге, «Первый» («Die Fibel»), уже вышел в свет. Он включал в себя все юношеские произведения, которые Георге хотел сохранить и

представить публике. Как все последующие тома, бывшие в наборе, этот имел темно-синюю обложку, на которой рельефные золотые буквы, набранные особым шрифтом, мерцали как звезды в ночном небе. Это не произвольная ассоциация: синий и золотой были любимыми цветами Георге, насыщенными космическим значением. Согласно Бахофену, Аполлон, солнечный бог поэзии и пророчеств, коронованное божество отцовского принципа, родился из материнского мрака ночи, который только его собственное сияние затем и освещало. Но, как сказал Георге несколькими годами позже Эдит Ландман, космическое не следует принимать слишком серьезно, но также нельзя принимать его и слишком несерьезно: «оно необходимо так же, как необходимы темные мистерии для Аполлона, Бога света». Единственное украшение — печать, разработанная Лехтером, с набранными готическим шрифтом словами *Blätter für die Kunst*. Помимо этого книги имеют строгий и суровый вид: каждое стихотворение напечатано на большом листе тяжелой кремовой бумаги, что намеренно создает впечатление монументальности при всей простоте и единообразии, а каждая страница больше похожа на выгравированную каменную таблицу, чем на отпечатанный лист книги.

Чем бы Георге ни жертвовал, уступая в проценте выплат, которые зарабатывал, все это более чем восполнялось в чистых цифрах опубликованного и проданного. Шесть тысяч экземпляров «Первого» были напечатаны для собрания сочинений. Тогда это, как и сейчас, было огромное число для поэтической книги, даже слишком огромное для не самой изысканной и не самой представительной работы поэта. Для следующего тома в серии, многолетнего фаворита среди всех работ Георге, книги «Год души», которая была издана в феврале 1928 года, число экземпляров будет еще выше. К тому времени, когда пять лет спустя Георге умер, в печати была ошеломляющая тридцать одна тысяча экземпляров «Года души». В июне 1928 года вышел в свет третий том, который включал в себя его первые три книги: «Гимны», «Паломничества» и «Альгабал». Но больше всего Георге был обеспокоен другим томом, который выйдет позже, в том же году в октябре. Это был единственный том в собрании сочинений, который не был ранее издан. Дело в том, что в течение четырнадцати лет, со времен «Звезды союза» в 1914 году, Георге не создал новой поэтической книги. Теперь, как раз через два семилетия — увлеченность числом семь была другим давнишним наследием его «космического» прошлого, — Георге готовил к выходу в свет свою последнюю работу, свой поэтический завет, заключительное завещание своей эпохе и ее людям: «Новый Рейх».

Если не считать немногие исключения, то большинство стихов в новой книге было написано во время войны и сразу после нее. Первое стихотворение в книге, «Последняя ночь Гёте в Италии», относилось еще к 1908 году. Две простые «Песни», открывавшие третий и заключительный

раздел тома, были самыми последними работами, составленными незадолго до того, как том поступил в печать в 1928 году. Таким образом, с точки зрения содержания и главным образом тональности книга вызывала ощущение ретроспективы, подводившей итог достижениям Георге за два предыдущих десятилетия. Учитывая разнородные истоки ее частей, не следует удивляться, что «Новому Рейху» также недостает твердой структуры большинства плотных, герметично организованных книг Георге и не хватает свойственного им тематического единства. Взаимосвязь, бывшая здесь следствием общих мотивов насилия, переворота, разрушения и потери, скрашивалась тусклой перспективой возможного обновления, преобладавшей в работах, написанных Георге во время этого периода. К этой категории принадлежат главные стихотворения, которые сначала появились в «Листке», включая «Сожжение Храма», «Мертвецу», а также многочисленные отдельные панегирики друзьям, убитым на полях сражений, в дополнение к свирепому обвинению Георге — стихотворению «Война». Как и во всех его книгах, однако, здесь не преобладает одно-единственное настроение, и среди более строгих стихов попадаются слова благоговения перед божеством Георге и стихи, прославляющие красоту и молодость. Но в центре «Нового Рейха», как физически, так и концептуально, находятся два стихотворения, которые, хотя и были написаны в начале 20-х годов, до тех пор оставались неизвестными даже среди его близких: «Замок Фалькенштейна» и «Тайная Германия». Оба представляют поэта в полном облачении пророка, проектирующего будущее — и возможно, в конце концов, не слишком отдаленное, — в котором страна будет освобождена от ее недуга.

Но весь том получил свое имя от стихотворения, которое уже выходило в свет в 1921 году, — «Поэт во времена смуты», — Георге посвятил его памяти Бернхарда Уксулля, совершившего самоубийство в последние месяцы войны вместе со своим другом Адальбертом Корсом. Его главная тема — классическая для Георге. Стихотворение утверждает, что в более мирные времена, когда люди думают, будто функция поэта состоит лишь в том, чтобы «воспеть прекрасные мечты и нести красоту в обыденный мир», работу поэта терпят только потому, что неправильно понимают. В период же волнений и борьбы, в годы «сокрушительных ударов судьбы» поэт возвышает голос, чтобы предупредить об опасности, но его не слышат, на него не обращают внимания:

Его голос похож на скрежет металла...

Он один только видит, когда все поражены слепотой.

Но напрасно он срывает покров с грядущей опасности.

Оставаясь глухим к тревоге поэта, народ безудержно погружается в бездну. Здесь Георге вспоминал примеры с более ранними пророками, ро-

ковым образом проигнорированными: Кассандру, которая тщетно предостерегала троянцев, чтобы те не затаскивали деревянного коня в свой город; и Иеремию, которому не поверили, когда он предсказал разрушение Иерусалима Навуходоносором, царем, угнавшим израильтян в Вавилон в рабство. Подобно им, поэт может только наблюдать, как то, что он предсказывал, непреклонно и безжалостно сбывается: «Он вздыхает и остается молчаливым». Позже, когда народ наконец понимает свою ошибку и идет к нему за утешением и мудростью, поэт отвергает их запоздалые просьбы с презрением: «Что толку здесь в голосе небес, если никто не внимает даже здравому смыслу?» Исполненный отвращения к их постоянным исканиям материальной выгоды и чувственного удовлетворения, поэт предупреждает, что худшее еще не случилось: «Еще острее плуг разрежет почву, / еще темнее тучи заполнят небо». Поэт удаляется в «печальные края», где ему предстоит удостовериться: «Зерно не гниет, росток не задохнулся. / Он раздувает священные угольки, взлетающие вверх и вселяющиеся в тела». Там, в своем убежище, изолированном от порочного и неразумного мира, поэт, сопровождаемый теми, «кто избран для самой высокой цели», готовит и обучает новое молодое поколение, «прекрасное и серьезное, радующееся своей необычности». Вместе они действуют для исполнения единственной цели — помочь появиться их спасителю, тому, кто даст им всем искупление, «Человеку»,

Который разорвет цепи,
Очистит поля от камней, приведет домой заблудившихся
В вечное царство правды,
Где все великое вновь обретает величие,
Где учитель вновь учитель, где он водружает знак истины на знамя народа,
Где через бури и знамения кровавой зари
Он ведет свою верную паству к работе грядущего дня
В мастерские Нового Рейха.

Не трудно различить — потому что это так тонко замаскировано — автобиографический фон псевдомифических событий, описанных в стихотворении. К чему не так легко приспособиться, так это к его беззастенчивому пророческому выводу. Вернувшийся, чтобы освободить свой народ, великий герой создаст у себя дома порядок посредством дисциплины и принуждения, изгоняя всех, кто его не приветствует, и поведет свои легионы к сражениям, где и будет найдена их новая империя. Это — история, которую Георге и его последователи уже много раз ранее рассказывали, в том числе и совсем недавно, в виде обработанной Канторовичем легенды о Фридрихе II. Но то, что изображалось как реликт далекого прошлого и как отдаленная возможность в будущем, насильственно вносится в стихотворении в «здесь и теперь». Чтобы подчеркнуть эту внезапную актуальность,

время глагола в середине отрывка сдвигается от будущего к настоящему, создавая видимость, что видение вызванной заклинанием силы происходит тогда, когда мы об этом читаем. И действием, выдергивающим нас в настоящий момент, является водружение знака «истины» на знамя, которое поведет войска в сражения и которое будет развеваться над новым царством.

В своем информативном комментарии к стихотворению Эрнст Морвиц становится непривычно невнимательным к тому, каким, как предполагается, является «символ истины». «Каков этот символ, — написал он кратко, — не установлено». Все же Морвиц признавал, что в другом стихотворении в «Новом Рейхе» свастика играет ключевую роль. Любопытно, что ссылка на этот символ является гораздо более глубокомысленной, чем в «Поэте во времена смуты», даже если значение, связываемое со свастикой, не в меньшей мере приводит в замешательство. Стихотворение, названное «Повешенный», воспроизводит мысли преступника перед моментом его казни. Он исполнен презрения к лицемерным массам, которые, когда его ведут к виселице, обращаются с ним так, словно они превосходят его. Он говорит, что смеется и над их «отвращением», и над их «жалостью»: они не допускают мысли, что нуждаются в нем, чтобы казаться добродетельными. Как раз тогда, когда петля уже надета ему на шею, осужденный предсказывает свой возможный триумф:

Как победитель я однажды проникну в ваш мозг,
Похороненный в неглубокой могиле... И в вашем семени
Я продолжу жить как герой, которому слагают песни
Как Богу... И прежде чем вы поймете, что происходит,
Я согну эту твердую рею в колесо.

Последняя строка Георге на самом деле является скрытым намеком. Морвиц сообщает, что епископ Вульфилла (341—383), который первый перевел Священное Писание на германский язык, использовал *galga*, чтобы передать слово «крест». Теперь оказывается, что слово на немецком, обозначающее «виселицу», — *Galgen*, а слово, обозначающее свастику, — *Hakenkreuz*, или «сломанный крест», который замыкает лингвистическую цепь полным кругом. Морвиц настаивал: «не существует сомнений», что Георге хотел соединить ассоциации, связанные с виселицей и свастикой, в единый мощный образ. Ранее в коротком стихотворении в «Седьмом кольце», Георге утверждал, что человек, который однажды поднимется и возьмет бразды правления в свои руки, будет, возможно, не обычным «героем» в смысле романтиков, а, скорее, преступником, сидевшим в тюрьме среди убийц. Там Георге стремился также высмеять самодовольные претензии людей, которые льстят себе, что только потому, что они не откровенно плохи, они являются хорошими, и, наоборот, что те, которые являются

злыми, не могут преобладать в мире. И здесь вновь предполагается подобный сценарий, только теперь высокомерный, стоящий вне закона герой побеждает, используя свастику не как абстрактный символ, но как инструмент смерти.

Два центральных стихотворения книги — «Замок Фалькенштейна» и «Тайная Германия» — являются одинаково пророческими по своему замыслу. Первое, сообщает нам Морвиц, посвящено ему самому, вдохновленному прогулкой, которую он предпринял с Учителем летом 1922 года от Кёнигштайна в лесу Таунуса до разрушенной крепости Фалькенштейна, которая возвышается на горном хребте поблизости. С этой удобной точки поэт и его компаньон рассматривают простирающуюся вниз сельскую местность — издали виден Рейн, — и они оба начинают размышлять над положением дел у них в отчизне. Молодой человек пессимистичен и видит в будущем только страдание и отчаяние, но старший более оптимистичен и говорит: «Я уже обнаруживаю доступный слуху звук в сонном воздухе». Он признает, что «ухо еще не привыкло» слышать этот звук, но «золотой тон» безошибочен. Этот «звук» есть почти недоступный восприятию гул старой немецкой империи, какой ее знал Фридрих, — обширной территории средней Европы, простирающейся ниже Альп, к востоку до кедров Ливана, а вниз до неаполитанского залива, — воссоздаваемой вновь под единой эгидой и разговаривающей на одном языке:

Могучий ветер звенит чистым металлом,
Взлетает над скалами к кедровой роще,
К сверкающему в райском безмолвии заливу...
И назад, на север возвращаются
Легенды крови, огня и величия:
Наши императоры и рев наших воинов.

«Звук», который слышит поэт, — это, иными словами, «гул» шагающей армии, по-видимому, той же самой, которая поднимет стандарт с «символом истины» над новой империей.

В «Тайной Германии» Георге является не столь определенным относительно того, какая уготована судьба, но фокус все еще сосредоточен на том, что лежит впереди. Это одно из самых плотных и компактных стихотворений Георге, где почти каждое слово опирается на архитектуру семантических взаимосвязей, почти невидимых для любого, кто не погружен целиком в его вселенную. (И даже тогда могут возникнуть затруднения: стихотворение содержит слово «юрта» — передвижная палатка, сделанная из шкур животных и используемая киргизами или другими монгольскими кочевниками Средней Азии. Только один из друзей Георге, вспоминал Морвиц, сталкивался с этим словом когда-либо ранее и знал, что оно означало.) Как предполагает название, стихотворение в целом посвящено откры-

тию поэтом той единственной Германии, духовного царства, которое он когда-то основал и теперь рассматривал как свой собственный дом. Оно начинается с оценки мира, с которым сталкивался поэт до того, как узнал о других возможностях. Это было место, охваченное «ненасытной жаждой», то, в котором все, от северного полюса до экватора, было подвержено холодному свету рационального исследования, осуществляемого «бесстыдно», не оставляющего ни одной тайны — или загадки — нераскрытой. Поэт изображает себя лежащим на «южном море глубоко измученным» этим миром, лишенном чуда и очарования, когда неожиданно для него проявляется похожая на Пана фигура, посланная богами, чтобы дать ему указание вернуться на свою «священную родину» и найти там такое, чего никто больше не мог видеть. Однажды там, «глазом, обостренным тайным знанием», дарованным ему на юге, он поймет чудо «солнечного сна». Морвиц раскрывает, что эта последняя фраза также содержит останки космического. «Под „солнечным сном“ — объяснял Морвиц, — Георге предполагал то духовное родство (*geistige Sohnschaft*), которое восходило к аполлоновой, патриархальной функции, противоположной матриархальному физическому рождению».

Вернувшись домой, в Мюнхен — если быть точным, он упомянут только как «Город», — поэт встречает своего бога — также неназванного, но мы знаем, что это Максимилиан, — и воплощает на практике доверенное ему тайное знание о духовном порождении. Другие ранние соратники также показываются, хотя всегда на таком удалении, что остаются почти неузнаваемыми: Карл Вольфскель назван просто «бросающим мяч» и «неуловимым ловцом», к Эрнсту Глокнеру обращаются как к «юноше с бледно-золотыми локонами», и т. д. Стихотворение заканчивается тем, что поэт напоминает своим «братьям» — теперь уже значительной когорте: сегодня все еще истинно, как и в начале его путешествия, что внешний мир — не что иное, как «гнилые листья на осеннем ветру царства конца и смерти». То, что действительно живет, нельзя заметить, к нему нельзя прикоснуться, и оно находится под поверхностью, не осознается массами и ожидает момента, чтобы явиться на свет:

То, что покоится под охраной сна,
Где никто его не тревожит,
В самой глубокой пещере
Священной земли, —
Чудо, сегодня непостижимое, —
Станет завтра судьбой.

Однако судьба, которая может в конце концов обрести форму, — это судьба, к которой, как все чаще думал Георге, он уже не будет причастен. Он чувствовал, что его работа сделана — он превратил «солнечный сон» в

реальность, дал жизнь духовным сыновьям, которые уже продолжали то, что он начал. В одном из трех стихотворений, названных «молитвами», обращенными к Максимилиану, поэт искренно заявляет, что растратил силы: «Моя песня не соответствует больше истинному ходу вещей». Но он не опечален.

Теперь я вижу сотни доблестных лиц,
На которых тайно мерцает свет,
Прославляющий твое существо, —
Покорный рабочий, сделавший свое дело,
Я не хочу сокрушаться в стихах:
И величие Твое я обязан признать.

Заключительное стихотворение книги и, таким образом, последнее стихотворение Георге, когда-либо опубликованное (даже при том, что оно было написано десятилетием ранее и сначала появилось в «Листке» в 1919 году), также было обязано вдохновением Бернхарду фон Укскуллю. Как это случается, оно также представляет собой одну из самых трогательных элегий Георге, сумевшую передать нежность и горе одновременно и сочетавшую скорбные рыдания над физической утратой Укскулля с живительным знанием, что теперь ничто никогда не сможет его отобрать. Скучная, повторяющаяся простота лишь усиливает эмоциональное воздействие стихотворения.

Ты гибкий и чистый, как пламя,
Ты — как спокойное легкое утро,
Ты — лучезарный росток,
Ты — словно чистая тайна весны.

Ты всегда идешь у меня за спиной,
Заставляешь меня дрожать в вечернем тумане,
Освещаешь во мраке мой путь,
Охлаждаешь ветер горячим дыханьем.

Ты — желанье мое и моя мысль.
Я вдыхаю тебя в каждом вдохе,
Я пью тебя в каждом глотке,
Я целую каждый твой след.

Ты — лучезарный росток,
Ты — словно чистая тайна весны,
Ты гибкий и чистый, как пламя,
Ты — как спокойное легкое утро.

Чтобы отпраздновать публикацию новой работы, Георге пригласил друзей в Берлине в ноябре 1928 года для церемониального чтения в студии Тормелена. Собрались пятнадцать или шестнадцать участников, включая

Коммерелля, Йохана Антона (и его брата Вальтера), трех братьев Штауффенбергов, Эрнста Морвица, скульптора Александра Шукке, Альбрехта фон Блюменталя и нескольких новых знакомых, в том числе самого молодого девятнадцатилетнего Франка Менерта, друга Штауффенбергов. Морвиц начал с чтения первых нескольких стихотворений книги, за ним Эрих Берингер продекламировал «Поэта во времена смуты», а затем сам Георге прочитал «Замок Фалькенштейна» и, наконец, «Тайную Германию». После того как он закончил, и не позволяя начать какие-либо иные разговоры, Учитель неспешно попрощался с каждым в том же порядке, в каком они пришли, поодиночке или группой.

Воздействие на присутствующих чтения, особенно двух последних и ранее не известных стихотворений, должно было быть значительным. Они только что слушали — и знали, что были первыми, кому выпала такая привилегия, — страшные предзнаменования от человека, которого, без сомнений, расценивали как пророка и мудреца. Правда, не все его видения были мрачными, и новый *Рейх*, который он предвидел, следовало понимать как славный конец. Но достижение нового Рейха потребовало бы великих жертв и досталось бы огромной ценой. Насколько огромной — об этом намекало второе стихотворение, которое Эрих Берингер прочитал вслух в тот день. Стихотворение, прославлявшее тех, кого забрала война, было посвящено, как гласит его название, «Юному *Фюреру* в Первой мировой войне». Георге написал его вскоре после того как было подписано перемирие, когда солдаты начинали возвращаться домой с полей сражений, о которых вообще упоминалось как о Великой войне, или, более обнадеживающе, войне, заканчивающей все войны. Немногие думали тогда, прежде чем начались переговоры о Версальском соглашении, что война, которая только что осталась позади, будет просто «Первой». Очевидно, Георге думал иначе.





Глава сорок вторая.

СЛАВА

«Новый Рейх», который Георге опубликовал в конце 1928 года, приветствовали в гораздо большей мере, чем простое литературное событие. Его рассматривали самое малое как дело национальной важности. За время, которое протекло с появления «Звезды союза», — почти полтора десятилетия, — Георге вырос для бесчисленного множества немцев во что-то гораздо большее чем поэт. Он представлял собой для многих из своих соотечественников квинтэссенцию новой немецкой культуры; он считался человеком, предлагавшим образец действия и бытия, человеком, представлявшим ответ на вопрос о ценности и природе существования и надеждам новым содержанием старые надежды и верования. Более чем сомнительно, что все, кто думал о нем таким образом, на самом деле читали и уж тем более понимали все его работы или работы его последователей. Но в определенной степени это было и неважно. К концу 1920-х годов само имя Стефана Георге приобрело ауру тайны и почти магической силы, и даже многие из тех, кто не знаком с его поэзией, неизбежно что-то знали о ней и были очарованы ее феноменом. Георге стал известен не только в Германии, но повсюду в Европе и в значительной части остального мира, и его первое публичное выступление со времени окончания войны имело эффект официального и весьма ожидаемого заявления.

Таким же необычным, как и все эти обстоятельства в целом, был сам факт, что выступление Георге вообще случилось. Все, конечно же, могло повернуться и иначе. Ведь речь шла о человеке, который когда-то собирал-

ся буквально навсегда повернуться спиной к своей стране и эмигрировать в Мексику, о человеке, религиозная чувственность которого, его культурные и лингвистические наклонности, даже его сексуальная ориентация сделали его посторонним для своего собственного общества; и тот, кто еще и теперь говорил о необходимости, даже неизбежности разрушения главных частей этого самого общества, теперь провозглашался образцом для подражания. Некоторые указывали на эти противоречия, но большинство предпочитало сосредоточиться исключительно на провозглашаемых им идеях лидерства, героического величия, национального обновления и духовной, а также расовой чистоты. Это были качества, которые любой мог признать, а массы с нетерпением одобряли. Многие, кто игнорировал или не знал о более темных элементах мира Георге, недооценивали опасность тех элементов, которые они осознанно принимали. В значительной степени, как мы свидетельствовали, этот ответ был не просто случайным, но являлся также и результатом длительной и расчетливой кампании. В своих собственных работах и через работы своих учеников Георге намеренно стремился внушить и закрепить у читателей восприимчивость к тем идеалам, которые они коллективно проповедовали. Безусловно, Георге и его круг были не единственными сторонниками таких принципов в Германии. Но к концу десятилетия Георге достиг уровня очевидной значимости, непревзойденной никаким другим сопоставимым индивидом или группой. Как мы знаем, не все рассматривали его или его движение как полезное. Но независимо от того, одобрялась ли его престижность, Георге и все, что он поддерживал, стало силой, с которой считались на тех уровнях общества, где формировались мнения, принимались решения и определялось положение дел в стране.

Хотя Георге стал широко известен только в 1920-х годах, немногие проницательные люди всегда были высокого мнения о его поэтических способностях. Уже в 1905 году, например, один журналист, давая оценку нескольким его переводам, написал: «Среди лингвистических художников Германии Stephan Георге является, вероятно, самым крупным в настоящее время». Комментарий был настолько благосклонным, что почти можно было закрыть глаза на неправильное написание его имени. Конечно, были и критики. В следующем году Георг Зиммель отправил Георге отрывок из газеты, где какой-то шутник писал о «литературных мнениях домохозяйки». Этот любитель в литературной критике говорил: «Стихотворения Стефана Георге похожи на устрицы: многие страстно их любят, другие становятся от них больными». Но преобладали все же положительные замечания, и поэтому к 1912 году слегка уклончивый тон более ранних рецензий исчез, и многие уверенно утверждали, как например один из авторов «Breslauer Zeitung»: «Стефан Георге, несомненно, величайший художник слова среди живущих немецких поэтов». Но через небольшое время эта за-

ключительная квалификация также исчезла, и в умах многих людей Георге занял законное место рядом с другими бессмертными, став равным Гёте, Шекспиру, Данте и Вергилию.

Вскоре, он стал даже более великим. Как только его ученики начали издавать собственные работы, провозглашая его взгляд на мир и способствуя его дальнейшему распространению, функция его как поэта постепенно отступала на второй план. Словно то признанное преимущество, которого он достиг как поэт, было перенесено в другие сферы и, если это было возможно, еще больше увеличено. И постепенно все в той или иной мере связанное с Георге стало рассматриваться как нечто, превосходящее по значению его или чьи бы то ни было личные дела. В статье начала 1924 года, посвященной определению, в соответствии с ее заглавием, «Пророческого содержания творчества Георге», автор заявлял: «Между Ницше и Георге простирается равнина пятидесятилетней империи, духовная напряженность, незримо установленная в воздухе между „[Несвоевременными] Размышлениями“, с одной стороны, и „Звездой [Союза]“ с другой, которая ослабла со времен войны и которая будет определять грядущие поколения в Германии». Позже в том же самом году историк литературы Фриц Стрич прочитал публичную лекцию о поэте. Хотя Стрич и сделал серьезные оговорки относительно способностей Георге и его влияния, но понимал, что на самом деле не было никакого его отрицания. «Георге! — восклицал Стрич. — Сегодня молодежь Германии, прежде всего студенты, клянутся этим именем, не именем поэта, а, скорее, именем пророка. Действительно ли он — воплощение божества, или только воплощение логоса? Это серьезный вопрос, обсуждаемый словно в Сенате». Стрич повторял «доктрину», связанную с Георге, подчеркивая, насколько жизненно важные механизмы, распространявшие ее, содействовали ее успеху. «Этой доктрине обеспечивают самое широкое распространение ученики Георге, — объяснял Стрич, — которые сегодня занимают важные должности в немецких университетах. Благодаря этим истолкователям и экзегетам [...] гуманитарные науки, особенно история, сегодня отмечены печатью Георге. Гёте, Шекспир, Ницше, Лейбниц, Наполеон, Фридрих II истолковывались и переистолковывались в духе Георге». Сам Стрич сожалел о такой эволюции как о выражении «огромной самонадеянности» и примере «безграничного высокомерия», но не мог отрицать, что Георге уже оказал немалое влияние на интеллектуальную жизнь своего времени.

Другие, включая более благоприятно к нему предрасположенных, говорили почти то же самое. Комментируя в начале 1928 года выход в свет собрания сочинений Георге, но еще до того как появился «Новый Рейх», критик по имени Петер Хамечер обратился к предшествовавшей длительной карьере Георге и поразился метаморфозе, которая к тому времени произошла. «Как много прошло времени с тех пор, — размышлял Хамечер, —

когда переводчик в антологии французской поэзии оказался в состоянии рассказать о новейшем немецком волшебном лирике Стефане Георге!» Теперь он представлял собой нечто гораздо более величественное. «Сегодня произведения Георге столь же прекрасны, сколь и закончены, и поэт своим творчеством обеспечил своей фигуре такое символическое величие, что она уже является не достоянием кружка, но делом всей нации. Он — судья и арбитр нашего времени, человек, который когда-то начинал в одиночестве и издалека, в условиях преднамеренного и крайне резкого отрицания эпохи, сегодня стал вождем и властителем дум молодежи, которой принадлежит самое лучшее».

Сами последователи Георге также начали соглашаться с тем соображением, на которое большинство ученых и писателей могут только тайно надеяться. Другой критик, по имени Фриц Кронхайм, приветствовал публикацию одного из патриотических сборников Вольтерса в 1926 году словами самой высокой похвалы. «Наступила новая эпоха развития, — объявил Кронхайм, — в образовательной работе духовного движения, среди лидеров которого числится и Фридрих Вольтерс и которое до недавнего времени обращалось к закрытому кругу, к более ограниченному сообществу, [и эта новая эпоха является эпохой] публичного действия, и поэтому плоды необходимой внутренней работы над обликом немцев и над немецким образованием должны стать пригодными для использования через деятельность национального педагогического характера». Предложение длинное и с ненужными подробностями, но в главном простое: работа Вольтерса как часть большего «духовного движения» была важна не только сама по себе, но и в том, что она значила для страны в целом. И, как доказывали продажи книг Канторовича, Бертрама и Гундольфа, с этим соглашались многие. В ноябре того же года кто-то упомянул о Гундольфе как «гордости и вершине немецкой науки о литературе в настоящий момент». Даже фирма Георга Бонди зарабатывала свою долю подношений. В конце 1926 года, в статье, обсуждающей немецкие издательства, автор избрал Бонди как представляющего «одно из самых больших культурных сокровищ, которые мы имеем сегодня в издательском деле». Напоминая тем немногим читателям, которые не знали, что «Бонди — издатель Стефана Георге и его круга», автор рекомендовал Бонди посвятить себя имеющей решающее значение задаче сделать произведения Георге доступными в то время, когда другие, хотя и могут, не рискуют это сделать. «Нужно напомнить, насколько Георге был одинок. Сегодня самые важные стороны немецкого характера наполнены его субстанцией. Он не только заново создал поэтический язык, но также, по сути дела, помог даровать новую жизнь духу».

Что является самым любопытным в этом скачке Георге к знаменитости, так это все же то, что он произошел помимо него и почти при полном его личном неведении. Никто, за исключением относительно немногих

людей, которых он называл своими друзьями, ничего не знал о его частной жизни, но даже и друзья знали только, что он хотел им показать. Все, чем обладали остальные, содержалось в его поэзии и в мифогенетических работах кружка. Было общеизвестно, что Георге вырос в Бингене, что он экстенсивно путешествовал и что у него не было никакого постоянного адреса. Иначе говоря, Стефан Георге был чуть ли не призраком, замечаемым иногда на улицах городов, которые он часто посещал, и на немногих фотографиях, публиковавшихся на фронтисписах к его книгам. В статье 1927 года Людвиг Маркузе заметил относительно этого специфического несоответствия между выдающимся публичным положением Георге и его неуловимостью в частной жизни: «Сегодня нет никакого другого случая анонимности, сосуществующей с мировой известностью». Всегда были слухи, конечно же, но они служили лишь пищей для мистического образа Георге, ибо не было никого, кто мог бы достоверно подтвердить или опровергнуть те истории, что когда-либо удостаивались публичного обсуждения.

Одно предсказуемое следствие этого дефицита информации о Георге заключалось в том, что все, что имело какую-либо связь с ним, стало очень дорогим. Первые выпуски ранних книг Георге — редкие, так как напечатаны небольшим тиражом, — стали чрезвычайно ценными для коллекционеров. Вальтер Беньямин, страстный библиофил и постоянный поклонник Георге, испытывавший к нему двойственные чувства, рассказывал другу, что попытался купить первый выпуск «Седьмого кольца» на аукционе в 1918 году и потерпел неудачу. Беньямин сказал, что, даже при том что другой его друг купил ее экземпляр за несколько лет до этого за сорок пять марок, а сам он готов был заплатить на аукционе семьдесят пять, некий претендент получил книгу по цене более четырехсот марок. Написанные от руки тексты или письма ценились еще выше. В 1922 году газетная статья, которая обратилась к вопросу: «Какие письма немецких писателей стоят дороже всего?», — обнаружила, что «наиболее высоко ценятся автографы Герхарта Гауптмана — за письма, написанные его рукой, платят от пятидесяти до ста марок». Однако «другой, еще живой поэт, а именно Стефан Георге, ценится гораздо выше, так как в обращении находятся очень немногие из его писем. Его письмо в одну страницу недавно ушло за семьсот марок, и спрос весьма значителен».

В значительной степени этот недостаток рукописей для продажи явился результатом внимательного управления со стороны Георге своей перепиской. Кроме того факта, что он вообще писал немного писем и еще меньше таких, которые считались бы интересными, получателям часто приказывалось вернуть письма или их уничтожить. Георге не мог все и вся держать под своим контролем, и иногда письма становились достоянием публики несмотря на его максимальные усилия. Везде, где возможно,

Георге стремился вернуть себе владение ими, когда они появлялись на рынке. В 1925 году, например, Карл Вольфскель сообщил, что обнаружил «груды автографов» в Мюнхенском магазине, включая «маленькую связку бумаг Ст. Г., где сверху находилось стихотворение в четыре строки, посвященные Б. («К Б.»), написанное собственноручно; затем несколько конвертов, также открытку Ст. Г. из Греции и длинное стихотворение Ст. Г.». Вольфскель попросил указаний. Он сказал: «Продавец готов уступить связку, но знает о ее большой стоимости. Что бы ни случилось, следует забрать у него стихотворение». Вольфскель старался также во что бы то ни стало узнать, где продавец все это взял, но напрасно («Даже при моих настойчивых вопросах он сохранял молчание о происхождении вещей»). И даже если Георге удавалось вернуть случайное письмо или стихотворение, другие неизбежно ускользали, что в конечном счете делало их еще более ценными. Замечательно, что, несмотря на очевидное раздражение по поводу его книг и бумаг, становившихся чем-то вроде предметов роскоши, Георге не без юмора смотрел на весь этот бизнес. В том же году он рассказывал Эдит Ландман, что узнал о продавце антикварных книг, который имел первые издания «Ковра жизни» и других работ, но отказывался продать их, потому что слышал, что Георге очень болел. Георге находил такую рекламу весьма забавной. «Он думает, — сказал Георге о букинисте, — что как только это парень умрет, то цены за его книги подскочат выше крыши. Стоит жить, ради того чтобы его одурочить».

По мере того как известность Георге росла, росло и неудержимое желание завладеть не только чем-то, к чему прикасалась его рука, но также и его именем, и таким образом его авторитетом, каким-то образом связанным с ним самим или его организацией. В 1924 году в некоторых кругах велись разговоры о номинировании его на Нобелевскую премию. Сам Георге реагировал с обычным скептицизмом. На следующий год он небрежно напомнил Эдит Ландман, что «австрийцы» — не известно, кто именно — выдвинули его на Нобелевскую премию, но он посчитал это просто циничным, корыстным жестом. «Они думают, — сказал Георге, имея в виду неназванных австрийцев, — если он не получит это — имея в виду себя, — то, значит, еще не наша очередь».

Случилось так, что, хотя его имя в следующие несколько лет регулярно появлялось как имя возможного кандидата, Георге так и не получил Нобелевскую премию. Но несколько лет спустя он был удостоен награды, которая для многих немцев была гораздо более почетной. В 1926 году муниципальный совет Франкфурта-на-Майне, места рождения другого великого поэта Германии, Йохана Вольфганга фон Гёте, решил установить премию в честь своего знаменитого уроженца, присуждаемую ежегодно немцу за необыкновенное достижение в любой области. 28 июля 1927 года

совет попечителей, обязанный избрать победителя, назначил Георге в качестве лица, которому следовало получить первую Премию Гёте.

Ровно через месяц, 28 августа, в день рождения Гёте, детально разработанная церемония имела место в наследственном доме поэта во Франкфурте. При всех собравшихся городских сановниках торжественная декларация, обосновывающая выбор Георге, была зачитана вслух и осмотрительно разослана по всем газетам, с тем чтобы ее там напечатали. Документ, объявлявший о премии, был, учитывая то, что могло быть сказано, относительно хорошо составленным и объективно величавым при всей своей сдержанности. Он расценивал Георге как поэта, который «сохранил для нас лингвистический дух Гёте, Новалиса и Гёльдерлина во времена смуты», и рекомендовал его за то, что тот «продемонстрировал вечное значение поэзии в новых, индивидуальных, формах». Георге, гласил документ, выдвинул «веру в духовное призвание слова», признав существование «красоты за рамками простого описания». Комитет также подчеркнул роль Георге как «учителя и руководителя целого поколения поэтов и ученых», который требовал «личной дисциплины и строгости в поэтическом творчестве», и «который по-новому обучал поколение, привыкшее мыслить материалистически, смотреть на символическое слово как на цель великой поэзии». Наконец, как личность, «которая сформировалась исключительно через дух», Георге «возвысил себя до своего индивидуального облика посредством персональной дисциплины и особого рода свободы и тем не менее, как священник, сохранял смирение перед тем, что является священным и великим». Именно этого человека отцы города, в своей коллективной мудрости, посчитали достойным быть самым первым получателем премии, названной в честь того, кого считали величайшим из всех когда-либо живших немцев.

Церемония награждения, кажется, прошла без помех. Как и ожидалось, она привлекла огромное внимание в прессе — фактически, каждая крупная немецкая газета сообщила в новостях о событии, часто на первой странице. (Один репортер не смог, однако, обойтись без замечания о том, насколько нелепо было, что «самый демократический город в Германии водрузил венок на голову самого аристократического поэта страны».) Известие получило также широкое освещение в зарубежной прессе — была даже короткая, хотя и спорная, заметка в «Нью-Йорк Таймс», где объявлялось, что премия дана берлинскому поэту «СТЕППАНУ ГЕОРГЕ».

В целом церемония имела успех за исключением одной детали — сам лауреат не появился, чтобы принять премию, и не сделал никакого публичного подтверждения о том, что ее принимает. Официально Георге оправдывал свое отсутствие тем, что чувствовал себя больным и поэтому не смог прибыть. Конфиденциально, однако, он проявлял небольшой интерес к самой премии, и любой, кто знал Георге — или его поэзию, — знал так-

же, что маловероятно, что он будет участвовать в таком событии. Георге в конце концов включил в «Седьмое кольцо» стихотворение под названием «День Гёте», которое высмеивало именно такие попытки «почтить память» поэта, бывшие на самом деле только попытками эксплуатировать имя Гёте в низменных целях. Написать это стихотворение Георге вдохновили празднества, организованные во Франкфурте в 1899 году, в ознаменование 150-й годовщины рождения Гёте. «Вы называете его вашим, и благодарны, и радуетесь, — писал Георге тогда, — вы полны его влечениями, но только на самых низких, животных, регистрах». Сомнительно, чтобы Георге существенно изменил свое мнение относительно правомерности Франкфуртского муниципального совета чествовать кого-либо, не говоря уже о нем самом.

Однако, как рассказывал Георге Валлентину через несколько недель после того как формальности были закончены, поскольку уж они дали ему премию — хотя, как настаивал Георге, и «против его желания», — то он не стал отклонять ее, «чтобы не вызвать новых сплетен». Одна из главных оговорок Георге относительно согласия с этой премией касалась его беспокойства по поводу того, кто будет ее получателем в следующем году. Если это будет какой-нибудь «литератор», какой-то второразрядный литературный деятель — категория, которая, как был убежден Георге, охватывала почти каждого автора из числа живущих в Германии, — то ему, конечно, придется вернуть премию уже после ее присуждения. Юлиус Ландман, рассматривая эту проблему, предложил оригинальное решение. «На самом деле перед Учителем не стоял никакой иной выбор, — сказал Ландман, — кроме как получить премию еще раз в следующем году». Все же было и другое соображение. Премия сопровождалась денежным вознаграждением в тысячу марок, суммой, от которой трудно было отказаться. Разумеется, Георге не нуждался в деньгах — он считал, что нельзя быть безответственным, и решил, как рассказывал Валлентин, что «согласится получить деньги, а на следующий год, если ему не понравится, как городские власти Франкфурта распределят премию, сам назначит премию, которую кому-то вручит». К счастью, следующий победитель не был ни поэтом, ни бесспорным немцем — это был эльзасский музыкант, философ и врач Альберт Швейцер. Георге сказал Эдит Ландман в сентябре следующего года, после того как было объявлено о премии: «То, что этот агнец принял премию Гёте, сохранило мне много денег. Теперь мне нет надобности отказываться от своей».

Основываясь на собственном опыте волнений, сопровождавших премию Гёте, Георге мог легко предсказать шумиху, которая, более чем вероятно, будет окружать его шестидесятый день рождения в следующем году. В середине июня 1928 года он поэтому отправился в Швейцарию и остановился в крошечной деревушке Шпиц на Озере Тун у подножья Альп возле

Берна. Там, в роскошном уединении, Георге провел следующие два месяца с Вильгельмом Штейном, которого, вероятно, сопровождал его друг по имени Роберт фон Штайгер. Почти никто не знал, где находился Георге, а те немногие, кто знал, поклялись хранить тайну. Так как Георге должен был проверить и исправить корректуру «Нового Рейха», то дал свой адрес Бонди, убедив своего издателя никому его не сообщать. 21 июня Бонди покорно заверил Георге: «Я никому не буду давать ваш тайный адрес и буду считать его строго конфиденциальным; я сам напишу адрес на корректуре, которую вам отправлю». Такие предосторожности могут показаться чрезмерными, но поскольку слава Георге выросла, то выросло и число людей, которые могли попытаться оказаться рядом с ним. Георге знал, что день его рождения только увеличит толпы непрошенных любопытных гостей и нежелательных доброжелателей.

Как и ожидалось, запросы начали приходить в офис Бонди за неделю до дня рождения, но измотанный издатель деликатно их все отвергал. В одном случае тем не менее он не был уверен, как действовать подобающим образом, и 30 июня написал Георге о следующей новости: «Президент Германии заставил сегодня кого-то мне позвонить, чтобы узнать ваш адрес, так как он намеревается поздравить вас 12 июля. Я ответил, что вы за границей и не оставили адреса, но что письма, адресованные мне, иногда отправляются вам». И, действительно, телеграммой, датированной 11 июля, президент Пауль фон Гинденбург отправил свои пожелания поэту:

Дорогой господин Stephan Георге!

По случаю вашего завтрашнего шестидесятого дня рождения я выражаю свои самые сердечные поздравления. Желаю вам многих лет поэтического творчества и личного здоровья.

С наилучшими пожеланиями,
фон Гинденбург.

Георге, кажется, действительно был польщен этим посланием, даже если и не имел иллюзий, что бывший генерал, ставший политиком против своей воли, в восемьдесят один год стал тайным поклонником его поэзии. Одни только орфографические ошибки в написании его имени могли бы изгнать такого рода фантазии. Но знаком признания Георге был уже тот факт, что по крайней мере кто-то в правительстве думал, что было бы политически целесообразным, чтобы президент передал свои частные мысли поэту. Со своей стороны, Георге искренне восхищался Гинденбургом и приписывал ему, что тот единолично предотвратил еще худший исход войны. Действительно, в своем стихотворении «Война» Георге открыто обращался к Гинденбургу в одной строфе, где заявлял, что тот «спас» империю. В августе Георге рассказывал Валлентину, что поэтому решил напи-

сать Гинденбургу и «лично ответить на его поздравительное письмо в нескольких предложениях». «Я должен был сделать это для старика, — объяснил Георге, — так как Гинденбург — в конце концов единственная современная фигура, которая появилась в моих стихах». Георге соответственно сказал Гинденбургу, что благодарен получить возможность «обратиться с несколькими личными словами вдобавок к поэтическим к человеку, который в грандиозной мировой смуте нашего времени выделяется как единственная символическая фигура».

Это была, как и всегда у Георге, двусмысленная похвала. Любой, кто знал поэта, мог обоснованно думать, что он расхваливал Гинденбурга как за его исторические достижения, так и за то, что тот был единственным человеком за пределами кружка, который был включен в качестве «символической фигуры» в его поэзию. В ответ на поздравления Гинденбурга Георге, иными словами, просто вернул комплимент.

Все же Георге не могло не надоеть отвечать на лавину писем, телеграмм и газетных сообщений, которые потоком лились со всей Германии и Европы в следующие несколько дней и недель. Воздали ему должное и некоторые другие правительственные учреждения Германии и чиновники. «С глубоким почтением, — гласило типичное официальное письмо, — прусская Академия искусств, секция поэзии, преподносит Стефану Георге в день его шестидесятилетия благодарность и наилучшие пожелания в его великой работе и жизни». Другое письмо, от министра культуры, доктора Карла Генриха Беккера, который по крайней мере знал, как правильно зовут великого человека, посылало экспансивные «приветствия, поздравления и благодарности творцу и создателю языка, поэту, Учителю и *Фюреру* духовно расцветающей молодежи, который напоминает новому человечеству о строгости и дисциплине». Все это не производило большого впечатления на Георге, который снова подозревал, что в этих чествованиях был, вероятно, какой-то скрытый мотив. Он рассказывал Валлентину, что не ответил на телеграмму от министра культуры лично и вместо этого просто поблагодарил его через Бонди — «Несомненно, он хочет что-то еще от нас». Георге видел только одно положительное во всех почестях, льющих на него дождем, — они демонстрировали, что и он и его движение стали теперь несокрушимы. Он сказал, опять-таки Валлентину: «За исключением нескольких писулук, которые были невозможны даже в том, что касается их уровня, весь мир привык к нам до такой степени, что больше не осмеливается придирается к чему-либо для нас существенному». Георге заявил, что было «очень важно, что это признание стало настолько универсальным». Как и все остальное, день рождения Георге также служил ему в качестве инструмента власти и действовал как индикатор, который успешно измерял — и распространял — его недавно приобретенную неуязвимость.

Явившись своего рода кульминацией этой насыщенной атмосферы праздничного волнения и общественного признания, три месяца спустя вышла в свет заключительная поэтическая книга Георге. Она была, как он и предвидел, сенсацией. Все понимали, что «Новый Рейх» знаменовал пик его творческой жизни. «Когда в прошлом году праздновался шестидесятый день рождения Стефана Георге, — писал один рецензент, — каждый смог испытать, насколько вся духовная Германия, более того, вся духовная Европа, признает с редким и подобающим единодушием эту исключительную фигуру как великого вождя немецкого духовного мира». «Новый Рейх», продолжал рецензент, подтверждал это восприятие и вынуждал подразумеваемое требование переводить в реальные, конкретные результаты. «Педагогическое воздействие и власть духовного лидерства, которая должна излучаться из этой книги, как и из всех книг кружка, нельзя переоценить, и по этой причине хотелось бы знать, что эта работа находится в руках молодежи, теперь вступающей в зрелый возраст. Ведь работа Георге помимо всего прочего является самым очевидным проявлением той нерушимой духовной воли, благодаря существованию которой мы получаем гарантию существования чистого, нерушимого духовного мира в самом центре вдовороты этого безбожного и мертвого настоящего».

Другие рецензенты, например Питер Хамечер, также признавали, что «новая книга Георге — в высшей степени политическая книга». Правда, Хамечер уточнил свое суждение, сказав, что под словом «политическая» имел в виду «не что-то повседневное, а некую власть вечности». Но, фактически, все значение «Нового Рейха» в этом и заключалось, ибо впервые вечное и преходящее, универсальное и частное — секретная и актуальная Германия — предполагались слитыми в единую сущность. Другой критик подчеркивал пропасть между «Рейхом» Георге и политической действительностью как таковой, но не для того чтобы утверждать, что они и должны остаться разделенными, но, скорее, чтобы оплакивать, что они еще не достигли единства. «То, что поэт желает выйти за рамки своей созидательной работы и достичь построенного *Рейха*, — писал рецензент, — то, что он объявляет свое видение „пророческим“, то, что он восстает против своего времени, осуждая и отвергая его, то, что он надеется воздвигнуть великое будущее, — [все это] внутри духовного царства свидетельствует о долге и величии. Но [...], когда он столь конкретно и не в переносном смысле говорит о новом *Рейхе*, больно осознавать, что в настоящее время он нигде не существует и, к сожалению, вероятнее всего, никогда не наступит или никогда не будет таким».

Повсюду в Германии в конце 1920-х годов уже было большое и постоянно растущее число интеллектуалов, академических ученых, публичных фигур и политических деятелей, и гораздо больше обычных читателей, умных и образованных граждан, которые, как и этот рецензент, хотели, что-

бы новый *Рейх* появился, и которые полагали, что видение Георге дает им надежду на лучшее будущее, которое могло бы их ожидать. Только обращение к прошлому могло доказать, насколько ошибочным было такое желание. Но слава Георге, которая была и продуктом, и подтверждением этого широко распространенного согласия с его видением, сделала желание превратить это видение в реальность почти непреодолимым.





Глава сорок третья

АПОФЕОЗ

После казавшихся бесконечными перерывов и отклонений, Фридрих Вольтерс уселся наконец летом 1926 года за написание истории «Листка». Это была огромная и сложная работа, становившаяся еще более пугающей благодаря знанию, что ее главная тема, ее главный субъект не только нетерпеливо ожидает завершения этой работы, но также и подвергнет готовый продукт кропотливому изучению прежде, чем позволит ему выйти в свет. Несмотря на свои иные обязанности как преподавателя истории в Киле, Вольтерс настойчиво трудился над проектом следующие три года, постепенно накопив рукопись объемом более чем в 1200 машинописных страниц. По ходу дела возникали обычные замедления и незначительные препятствия, с которыми сталкивается любой автор. В начале января 1927 года Вольтерс сообщал Георге: «Я работаю над книгой о „Листке“, наполненной благим духом, — и только одно нехорошо: Я страдаю от „Ахмеда“ и иногда падаю до уровня „Эль-Рея“!» Вольтерс был страстным курильщиком папирос и не мог без курения работать. Две упомянутые им марки табака были, очевидно, низшего сорта, и он просил, чтобы Учитель, который тоже был курильщиком, помог ему с более высокой маркой. Георге, несомненно, считавший, что это были бы благоразумные инвестиции, отправил маленькую посылку, предупреждая Вольтерса, что его запасы «Зары» — их любимая марка — заканчиваются и что поэтому важно поторопиться. Когда посылка прибыла, Вольтерс был вдвойне вдохновлен прибавить в работе. «Я счастлив, — писал он Георге, — когда прекрасный

аромат доносится через комнаты, потому что он возвращает мне физическую память и убеждает меня на мгновение, что и сам Учитель опять здесь».

Подкрепившись этими вызванными никотином воспоминаниями, Вольтерс значительно ускорил продвижение в работе и к марту 1928 года был уже на полпути к ее завершению. Не удивительно, что некоторые части он счел более многообещающими, чем другие. «Главы о Космическом, — говорил он Георге, — которые были в два раза длиннее, чем остальные, — вызывают у меня большое беспокойство». Когда следующим летом работа наконец была закончена, Вольтерс пережил другие эмоции, знакомые всем авторам. Пока он перечитывал всю свою рукопись полностью, в нем росло чувство отвращения. «Просматривая работу в целом, — мрачно признавался он Георге в июне 1929 года — я получаю не очень радостное настроение. Я считаю первую книгу негодной и слишком детальной относительно отдельных вопросов». Ему хотелось все это переписать. Однако если бы он стал это делать, то задержал бы весь процесс на несколько месяцев или больше, а они оба хотели, чтобы книга появилась как можно скорее. «Что же мне следует делать?» — жаловался Вольтерс.

Все это время Георге пристально наблюдал, как рукопись обретала форму, и активно содействовал ее продвижению любым способом, каким только мог это делать, — например, встречаясь с Вольтерсом в Киле и Берлине, чтобы помочь ему решить проблемы с особенно трудными разделами или обратиться к фактическим вопросам, которые возникали в ходе письма. Георге также часто говорил о постепенном созревании долгожданной книги иным своим друзьям. Первостепенное значение имело для Георге то, что книга извлекала выгоду из благоприятных обстоятельств, созданных его собственной недавно завоеванной знаменитостью. В феврале 1928 года он сказал Валлентину: «Эта книга — очень важна и полезна теперь: она позволяет установить, „как все было на самом деле“ (*was gewesen sei*) и какие последствия вызвало движение». Хотя здесь и содержалась скрытая аллюзия на известное изречение Леопольда фон Ранке, что задача историка состоит в том, чтобы рассказать, «как все было на самом деле» (*wie es eigentlich gewesen*), история «Листка» Вольтерса находилась в огромном противоречии с историей в общепринятом смысле, в каком ее обычно и писали.

Одна из причин, почему у Вольтерса были такие затруднения в написании его книги, заключалась, должно быть, в том, что он пытался преследовать две разные и даже строго противоположные цели сразу. С одной стороны, он хотел рассказать историю жизни Георге и его творчества, историю его триумфов и поражений, историю его друзей и его врагов — иными словами, рассказать, как все было на самом деле. С другой стороны, Вольтерс был занят откровенно агиографическим упражнением, оку-

тывающим образ Учителя выражениями веры и преданности. С самого начала Георге появляется в книге Вольтерса как безупречный герой, как величайший Поэт, как мудрый Учитель, всемогущий Правитель, Пророк нового Бога, как фигура, всегда обреченная занимать преимущественное положение, которое его соотечественники в конце концов начинали признавать. Вольтерс некритически описывал Георге, как если бы тот на самом деле был поэтическим персонажем собственных стихов Георге, каким его и изображали произведения его последователей. В этом отношении Вольтерс писал не историю, а миф, облаченный в исторические одежды.

Конечно, можно было утверждать, что то же самое верно и для всех считающихся «историческими» работ, созданных кружком. Но Вольтерсу приходилось сталкиваться с чем-то таким, от чего его коллеги были, вообще говоря, избавлены. Хотя Георге энергично участвовал в публикации и даже в написании книг Гундольфа, Бертрама, Валлентина, Канторовича и Коммерелля, его вклад обычно ограничивался пересмотром тональности или стиля, и только изредка он вмешивался в их суть. В книге Вольтерса Георге и *являлся* сутью, и поэтому обладал соответствующей властью. «Вольтерс едва ли способен разобраться, что должно остаться тайным в государстве», — сказал Георге Эдит Ландман в сентябре 1928 года. Было многое, что он хотел оставить невысказанным или, самое большее, скрытым за туманными намеками, и это желание часто находилось в противоречии с историческими инстинктами Вольтерса, пусть они и были слабыми. Поэтому Вольтерс был вынужден в одно и то же время и раскрывать и скрывать, никогда не забывая об остром критическом взоре Учителя, стоящего у него за спиной. Этого было достаточно, чтобы любого вывести из равновесия.

Как только Георге получил законченную рукопись, то сразу же приступил к многочисленным ревизиям, исправлениям и объемным сокращениям. Георге устранял целый народ — страница, посвященная Бото Грэфу, брату Сабины Лепсиус, была, например, вычеркнута с замечанием карандашом: «Все Бото могут исчезнуть!» Георге удалял информацию и о других, кого считал лишним. Относительно одной сравнительно мелкой фигуры, дату и место рождения которой Вольтерс добросовестно записал, Георге заметил: «Не так уж и важно, что он где-то родился». Аналогичным образом Георге удалил много иных деталей о различных людях в своей жизни, указывая на полях: «Для вас: частный вопрос». Таким образом, Георге сообщал Вольтерсу информацию определенного вида, чтобы помочь ему придать книге ее форму, но сами детали должны были остаться скрытыми от непрошеного взгляда. Что касалось его самого, то Георге особенно беспокоился об изменении любого отрывка, который мог бы дать повод усомниться в его немецком происхождении. Он возражал, например, против описания Вольтерсом семейства Георге как такого, в котором и немец-

кий и французский языки произвольно смешивались. Вольтерс первоначально написал: «Билингвизм, который сохранили члены семьи, указывал на Францию». Георге изменил это предложение, чтобы читалось только: «Множество различных воспоминаний указывали на Францию». Новая формулировка не была сама по себе неверной, но ее преднамеренная темнота равноценна тем не менее ошибочному искажению.

В беседе с Валлентином в августе 1929 года Георге описал свои редакционные действия как вызванные простыми прагматическими побуждениями. Иначе говоря, Георге считал, что рукопись была просто слишком длинной. Без сокращения, говорил он Валлентину, не удалось бы «втиснуть книгу в один том». Кроме того, продолжал он, сокращение «сделает работу еще лучше». В конце концов, объяснил он, «когда стена в часовне предоставлялась в распоряжение художника эпохи Ренессанса, то чтобы написать на ней картину, он не мог сказать: стена слишком маленькая для меня, мне необходимы еще десять метров, иначе я не могу исполнить свой замысел». Были и другие причины, которые делали работу в двух томах менее желательной. «Если есть два тома, — говорил Георге, — то читатели осмелятся впоследствии сказать: первый том лучше, чем второй, второй разочаровывает. Кроме того, два тома были бы препятствием для продажи». Но было ясно, что помимо таких внешних доводов многие из изменений предназначены перекроить исторические записи так, чтобы они соответствовали тому образу Георге, который он сам желал передать.

Окончательный результат, больше чем в каком-либо ином предшествующем случае, нес на себе прямую печать активного участия Георге. Он изображал жизнь Георге именно тем способом, каким тот хотел ее изобразить. Книга Вольтерса, возможно, предложила апофеоз Георге, но это был в равной мере и акт самовосхваления со стороны Георге. Этот идеальный портрет ни в каком отношении не соответствовал реальности, однако создавал неизбежные линии напряжения внутри книги, несоответствия между требованиями фактов и создаваемых легенд, которые были замечены и раскритикованы даже друзьями Георге. Людвиг Тормелен, который был в группе людей, прочитавших рукопись прежде, чем она поступила в печать, — и, казалось, не осознававших, до какой степени Георге участвовал в создании самой книги, — упоминал, что несколько человек рекомендовали делать тот или иной отрывок «более точным» и что Вольтерс формулирует некоторые вещи, как тактично выразился Тормелен, «с меньшим риторическим воодушевлением». Георге и слышать об этом не хотел, говоря: «Момент, в который появилась такая работа, важнее, чем то, что ее писали для вечности. Такие работы, — продолжал Георге, — как и другие „полемические сочинения“ кружка — в особенности „Ежегодники“, — прежде всего предназначаются для временного воздействия, их задача связана с данным моментом. Синтез такого рода, описывающий Георге и его круг

с более широкой исторической точки зрения, в конце концов мог бы в каком-то отношении прийти к тому же пункту. Поэтому он, поэт, предпочитал оставаться способным оказывать влияние на то, что было предотвратимо и иметь возможность удостовериться, что акценты и ударения расставлены правильно. Точность в каждой детали, законченность и даже изысканность стиля не столь важны. Если бы кто-то обращал на все это внимание, то такое начинание никогда бы не закончилось». Главный вопрос для Георге заключался в том, чтобы выпустить книгу туда, где она могла оказывать влияние.

До последних дней Георге поэтому оставался убежденным полемистом, агитатором в сфере культуры, изобретательным политическим деятелем духа, готовым использовать любые доступные и необходимые средства для продвижения к своим более широким целям. Если историческая правда вставала на пути к этим целям, он был готов принести ее в жертву. На самом деле понятие истины, правды было весьма пластичным в уме Георге. В начале 1929 года, когда Вольтерс добавлял последние штрихи к своей рукописи, Георге говорил Эдит Ландман: «Всякая истина должна быть двусмысленной. Если понимать ее только одним способом, то она быстро становится ненужной. Если же допускать различные ее интерпретации, то она имеет более длительное воздействие». Такой принцип мог бы еще иметь смысл, когда речь идет о поэзии, но с историей все обстояло иначе. Георге не только уравнивал тщательное исследование документов и источников, верность известным фактам и достоверность выводов, которые представляют собой основные инструменты ремесла историка, с пустым и убивающим душу *Wissenschaft*, но вообще не останавливался ни перед чем, в любом случае будучи уверенным, как годом ранее он говорил Валлентину, что «невывыказанное является гораздо более истинным, чем высказанное». По крайней мере, насколько речь шла об истории Вольтерса, то истина никогда не высказывалась.

Учитывая все надежды Георге на проект, который создавался пятнадцать лет и в который он лично так много вложил, можно понять его горькое разочарование тем, что выход книги в ноябре 1929 года вызвал почти всеобщее неудовольствие. Некоторые упрямые лоялисты, такие как Валлентин, выражали свое неразделенное восхищение работой. Но почти все остальные, хотя и признавали отдельные ее бесспорные достоинства, находили в целом, что она не смогла соответствовать связывавшимся с ней ожиданиям. Эдгар Салин, который был столь разочарован книгой Вольтерса, что нарушил субординацию и издал критическую рецензию на нее, заявил в своих воспоминаниях, что еще до публикации истории «Листка» «часто открыто обсуждался вопрос», есть ли у самого Вольтерса способности историка. Салин сообщал, что Юлиус Ландман, который знал Вольтерса с 1914 года и как историк экономики был знаком с его предыдущей

работой, «всегда сомневался» в способности Вольтерса раскрыть тему должным образом. Ландман прямо предсказывал, что Вольтерс «или утонет в материале, или точность предмета принесет в жертву воодушевленной тенденциозности». Когда книга вышла в свет, то подтвердила их худшие опасения. Как выразился Салин, «мы увидели раздраженные искажения фактов, что едва ли соответствовало потребности в чистой правдивости, которая должна обеспечивать успех всей подлинной историографии».

Многие иные читатели реагировали сходным образом. Хотя Эрнст Глокнер и дистанцировался от Георге за несколько лет до этого, но все еще с интересом следил за его карьерой и с некоторым предвкушением ожидал, когда появится первая авторитетная биография человека, которого он прежде расценивал как своего Учителя. В январе 1930 года, прочитав большую ее часть, Глокнер сказал Бертраму: «Это странная книга, поскольку все, что в ней замечено и выражено, верно — за исключением того, что она опирается на ложные предположения настолько, что если кого-то повести от страницы к странице, то он отчаянно и неоднократно пожалеет, что все действительно было так, как и изображается, что существовали поэты, о которых так много говорится, и что был бог, которому поклоняются. Я никогда не видел такого волнующего и печального заветания».

Хотя когда-то Глокнер занимал значительное место в жизни Георге, его имя никогда не появляется в книге Вольтерса — Глокнер, вероятно, никогда и не ожидал, что его туда включат. Но были и другие, чья связь с Георге отличалась большой глубиной и продолжительностью, кому уделили не больше внимания. Если не по простительной, то по понятной причине Фридрих Гундольф был понижен до статуса незначительного характера. Его друг Эдгар Салин писал: «Мы были оскорблены, что история Вольтерса полностью проигнорировала высокое значение Гундольфа как первого ученика». Сам Гундольф, который, несомненно, ожидал некоторого понижения в официальной хронике, ограничил свои возражения принципиальной защитой исторического метода. В письме к Вольфскелю он говорил, что даже при том, что уважает объем работы, который проделал Вольтерс, собрав и обработав огромный материал, не может признать, что этот объем уравнивает дефекты книги. «Иезуитское смещение акцентов между истиной и искренностью веры, — писал Гундольф, — и пропагандистские измышления слишком резко противоречат моему характеру и духу моих требований как историка или мыслителя, чтобы я мог довольствоваться тем высоким мастерством, с каким они выполняет свою задачу». Что касается описания его самого, то Гундольф, у которого были темно-русые волосы, поразился, когда обнаружил, что Вольтерс изменил их цвет. «Что это за ход? Моя голова, окруженная „копной иссиня-черных волос“!!

Не знать правды или сфальсифицировать ее после нескольких десятилетий дружбы. Это, конечно же, банальность, и я не возражал бы против темных волос, но почти каждый отдельный отрывок, который я прочитал, точно такой же: недостоверный, мифологизируемый, стилизованный, приукрашенный или ретушированный». Гундольф признал, что, как и Георге, не считает, что история — точная наука. Но Гундольф все еще полагал, что между тем, что было истиной, поддающейся проверке, и доказанной ложью все еще существовало различие. «Я знаю, — говорил он Вольфскелю, — что девятнадцать из двадцати историй мира не более достоверны, чем эта, даже если большинство из них — это ложь, рассказанная с меньшим талантом, и многие из них задумывались с более спокойной совестью и меньшей чистотой сердца. Но недоверие и ужас, которые я чувствую ко всем агиографиям и церковным историям, значительно усилены этой важной книгой».

Если Гундольф подозревал, что есть какая-то скрытая стратегия за изменением цвета волос, которым Вольтерс его наделил, то был почти наверняка прав. В своем письме Вольфскелю Гундольф также, скорее, уклончиво жаловался, не уточняя, что же вызвало его протест: «Я с раздражением вижу, как самая высокая культура загрязняется эфемерной политической и расовой глупостью». Что Гундольф подразумевал под «расовой глупостью», стало более явным в отклике самого Вольфскеля на книгу. В то время как Вольтерс — или, скорее, через него Георге — оказал Вольфскелю больше доверия как самому старому другу Георге и соратнику, Вольфскель также выступил со своей доброй долей критики. В одном отрывке, после рекомендации похвальных черт выдающейся индивидуальности Вольфскеля, Вольтерс скорректировал свою оценку, написав: «Вольфскель, как все представители поработенных или длительно угнетаемых рас, имел побуждение разрушать все прочное и твердое, ниспровергать все могущественное, обременять все юное и здоровое, что не может переносить древние яды, — он выражал это побуждение в тем более опасной форме, чем более опытным и хитрым был его сообразительный ум, чем более активной и настойчивой была его всегда живая воля».

Это была не просто личная несправедливость, а очевидная антисемитская клевета. Вольфскель, семья которого жила в Германии в течение многих столетий, переполнился негодованием и болью, когда прочитал этот отрывок о себе. 21 ноября он заявил Вольтерсу об оскорблении, сказав: «Я несколько дней этим шокирован: как вы могли назвать Карла Вольфскеля „представителем поработенной и долго угнетаемой расы“?» Вольфскель желал, требовал, чтобы его оценивали не в соответствии со случайными обстоятельствами рождения. Был он евреем или не был, это не должно иметь значение. «Я не знаю, как евреи жили, — писал Вольфскель, —

но здесь это к делу не относится». Даже если бы нужно было упомянуть его родословную, картина не стала бы похожей на ту, что нарисовал Вольтерс. Но Вольфскель продолжал: «Я не думаю о том факте, что во мне течет кровь самых оседлых, самых выдающихся еврейских семей, как со стороны моего отца, так и со стороны моей матери и предков по материнской линии. *Это не имеет значения!* Я рожден свободным, потому что рожден свободным! Это определило мой путь и сделало прочной мою позицию, все мои действия были на этом основаны. Это привело меня к Учителю. Никто из тех, кто поработан или угнетен, никто из тех, в ком есть даже намек на признаки прежнего поработания или угнетения, не подходил и близко к Учителю. Вольтерс, где же были ваши глаза? Я рожден свободным».

Пытаясь смягчить худшие последствия собственных слов, Вольтерс в самом главном оставался непримиримым в своем ответе. Заверяя Вольфскеля, что действительно видит его таким, каков тот есть, и что разговаривает как «свободный человек со свободным человеком», Вольтерс объяснил, что в своей характеристике стремился раскрыть «важные качества тысячелетнего наследия, существование которого никто из нас не может отрицать, не впадая в абсурд». Но Вольтерс также настаивал: «Если бы я почувствовал даже малейший след страха, что это выражение вас беспокоит, я не использовал бы его». Самым откровенным образом Вольтерс также заявил Вольфскелю, что тот был не единственным человеком, который прочитал и одобрил этот отрывок. «Я сверял каждое слово в книге с Учителем на предмет того, что могло бы обидеть друга. По-видимому, трактовка этой фразы, которая вас возмутила, просто не пришла нам в голову». Трудно решить, что же было хуже: что Вольтерс и Георге намеренно порочили его антисемитской клеветой — а, несмотря на протесты Вольтерса, не было никакого другого способа охарактеризовать эту фразу — или что никто из них даже не заметил, что описание было оскорбительным и обидным для их давнего друга.

Демонстрируя благородство духа, которое Вольтерс косвенным образом желал в нем отвергнуть или по меньшей мере обесценить, Вольфскель принял его объяснения, заменяющее извинения, и, лояльный до конца, говорил после этого о книге только в выражениях самого высокого восхищения. «Это, помимо всего прочего, блестящий успех, — писал Вольфскель Гундольфу, — настолько блестящий, что можно простить какие-то недостатки. Безусловно, — продолжал Вольфскель, — К. В. рассматривается и оценивается на странице 243 полностью отрицательно, но, несмотря на брошенную ссылку на расу, с таким достоинством, теплотой и внутренней любовью, что я с радостью покорюсь такому взгляду».

Как мы видели, другие не были настолько готовы согласиться с предвзятым описанием самих себя у Вольтерса. Но когда некоторые, будучи

обеспокоены, обратились к Георге — не зная, возможно, в какой степени книга воспроизводила его собственную точку зрения, даже дословно, — они не встретили особого понимания. В январе 1930 года Эдит Ландман усомнилась в справедливости того, как был изображен Гундольф, но Георге объяснил такой портрет более общими соображениями. «Такова политическая книга; Гофмансталь, чье значение очень велико, тоже не получился так, как нужно». Когда Фрау Ландман указала, что Гофмансталь, в отличие от Гундольфа, «раскрыл» свой истинный характер в то же время, Георге согласился. «Да, Гундольф еще не сделал этого, но все еще может случиться. Нужно быть готовым к этому». Сходным образом, когда она, также еврейка, напомнила о некоторых жалобах, сделанных по поводу антисемитизма книги, Георге был более чем снисходителен. «Нет, но вы не можете отрицать: нельзя же все восхвалять в вашем народе. Других также бранят, и Виламовиц, конечно же, не еврей. Наоборот, он даже не достаточно еврей! Да, нам трудно понравиться!» Хорошо зная, что Георге думал о Виламовице, Эдит Ландман, возможно, не нашла большого утешения в таком сравнении. Георге явно говорил, что евреи не должны чувствовать себя так плохо из-за того, что в этой книге с ними обошлись так грубо, поскольку никто, включая и Виламовица, там легко не отделался.

Отклики за пределами кружка на книгу Вольтерса едва ли были менее обескураживающими. Одна статья сожалела о «канонизации», которую Вольтерс попытался осуществить, а также о «полном отсутствии юмора и благопристойности». Другая статья просто назвала книгу «вызывающей недоумение». Замечательно, однако, что почти все, даже наиболее пренебрежительно относившиеся к Вольтерсу, исключали самого Георге из любой критики. Рецензент из «Deutsche Allgemeine Zeitung» дал книге низкую оценку, но утверждал, что «воздействие, которое идет от личности и творчества Георге, уже сегодня огромно и пока еще не может быть оценено для будущего». И Питер Хамечер, который написал такую благосклонную заметку о «Новом Рейхе» за два года до этого, оценил усилия Вольтерса как в значительной степени избыточные. Ибо, спрашивал Хамечер, каково было намерение Вольтерса? «Исправить глупые мнения, искаженные заявления, глупые сплетни. Как будто все это еще важно сегодня!» Согласно Хамечеру, Вольтерс просто повторял очевидные вещи и, кажется, верил, что публика все еще нуждается, чтобы ей «объяснили» Георге. «Неправда, — писал Хамечер, — Георге давно перестал принадлежать исключительно внутреннему кругу; скорее, он принадлежит всей Германии, и если мы размышляем о его непостижимой мифической внешности, нам для этого не нужен взгляд посвященного. Все же мы хотим забыть глупую биографию Вольтерса с ее исправлениями и упреками, которые только искажают образ Учителя, и с почтительным поклоном созерцать миф о Георге! Он живой!»

Когда в марте 1930 года закончился зимний семестр, Вольтерс и его жена отправились на юг с целью остановиться в Енгадине в Швейцарии, где надеялись оправиться от естественных стрессов университетского семестра и от добавочного напряжения, которое накопилось за прошлые несколько лет, когда завершалась история «Листка». Почти единодушное негативное восприятие работы, которая была самым амбициозным предприятием в жизни Вольтерса, поглотившим все его силы, должно было причинить ему немалые мучения и сделать путешествие еще более необходимым. Однако когда в начале марта они прибыли в Мюнхен, Вольтерс внезапно тяжело заболел, настолько, что его положили в госпиталь. Ему поставили диагноз коронаротромбоз; тромб образовался возле его уже больного сердца, ослабленного вспышкой ревматизма, который беспокоил его с начала войны. Карл Вольфскель помчался к госпиталю, где лечили Вольтерса, и сообщил Георге о его состоянии. «Главное в том, чтобы сердце выдержало, — передавал Вольфскель. — Легкий рецидив его ревматической болезни причиняет боль, не являясь объективным осложнением. Доктора предписывают абсолютный покой, но прогноз благоприятен». Через несколько дней опасность, казалось, прошла. Успокоенный благоприятным поворотом, Вольфскель отправил эти новости и Георге, рассказывая: «Насколько я счастлив! Этого просто не могло быть! В своей замечательной книге В. посвятил себя жизни, а свою жизнь ей! Я перечитываю ее снова и снова! Впервые воздвигнут огромный монумент, который мир не может игнорировать, завет не только роста, но также и законных требований, единства — впервые после „Ежегодника“!»

Месяц спустя, в ночь с 14 на 15 апреля, Фридрих Вольтерс умер в Мюнхене в возрасте пятидесяти трех лет.

В тот же год история «Листка» Вольтерса могла бы потребовать еще одной жертвы. Макс Коммерелль, собственную работу которого «Поэт как Вождь», Вольтерс рекомендовал Вольфскелю как, «вероятно, самую блестящую книгу последних нескольких лет», не удостоил книгу, написанную его бывшим учителем, таким же высоким вниманием. На публике Коммерелль, соблюдая приличия, сочинил трогательную элегию Вольтерсу, в которой расхваливал его личную теплоту, великодушие и прямоту. Но приватно Коммерелль не делал тайны из своего отвращения к последней работе Вольтерса. «Это была, — говорил он в июне 1930 года, — просто ужасная книга». Его друг Ганс Антон, однако, не хотел участвовать в том, что рассматривал как нелояльность по отношению к их бывшему наставнику, и сказал Коммереллю об этом, обвинив того в оскорблении мертвеца. Твердо выступая против обвинений Антона в непочтительности, Коммерелль отстаивал свое неприятие книги. «Вы выступаете против меня, — говорил он Антону, — напоминая, что моя обязанность уважать Ф. В.! Вы

говорите об осквернении трупа, и т. д., сравниваете меня с евреями, и т. д. Мое дорогое дитя! Когда Ф. В. был жив, я его уважал и любил, но никогда не ставил себя ниже, и если вы говорите, что я должен принять его превосходство, то я не имею к этому никакого отношения». Коммерелль просто хотел высказывать свои критические суждения, не более, и даже не публично, а только среди людей, к которым был особенно близок. Он согласился, что Вольтерс умер благородно, в служении общему делу, что само по себе заслуживало признания. «И это была бы достаточная причина, чтобы умолчать о слабостях его работы, так как он умер совсем недавно. И я сохраняю молчание — публично». Коммерелль писал, однако, что не может притвориться, будто у книги нет серьезных дефектов. Как и Гундольф, он чувствовал, что ее самой вопиющей ошибкой был ханжеский тон, агиографическая проповедь, которая не терпела никакого инакомыслия. Коммерелль не мог принять, что «Вольтерс в своей книге представил организацию Георге в качестве церкви, рассмотрел важнейшие антагонизмы как мелкие деяния секты, исказил почитание великого человека (в последних главах) до своего рода привязанности, которая должна пробуждать дрожь стыда в более тонких умах и которую, как и любую иную форму насилия, Учитель должен был отвергнуть!»

Именно этот последний аргумент — что «Учитель» должен был предотвратить или по крайней мере ограничить пыл раболепного героического вероисповедания, ориентированного на него самого, — фактически и лежал в основе возражений Коммерелля, и Коммерелль знал об этом. «В основном, — признавался он Антону, — мой самый глубокий упрек касается правительства, которое это одобряет. И это не имеет никакого отношения к факту, что у всех книг, и моих также, имеются недостатки: нет, это вопрос методов! — да, действительно, Ганс, методов! — с которыми я не могу себя отождествлять, так как мое имя слишком важно для меня». Несмотря на дипломатичность высказываний, было очевидно, «методы» какого «правительства» Коммерелль имел в виду. Когда он доверил свои опасения самому Георге, сказав, что длинные отрывки из книги Вольтерса просто не соответствовали истине, Георге прохладно ответил: «Здесь речь не об истине, а о государстве». И это была жертва, которую Коммерелль уже не мог принести.

Конфликт между Коммереллем и Георге назревал на самом деле долгое время, и, по мнению некоторых, Георге даже предвидел его. Почти с самого начала их знакомства Коммерелль был разрушительным элементом кружка. Уже в 1924 году он начал действовать агрессивно по отношению к другим друзьям Георге всякий раз, когда они собирались. Курт Гильдебрандт и Тормелен объясняли эту враждебность ревностью или завистью Коммерелля по отношению к определенным привилегиям, которыми обладали другие — неизменно лучше выглядывшие — члены окружения Геор-

ге. Так, Эрнст Морвиц, друг Георге, юридический консультант и доверенное лицо в течение двух с половиной десятилетий, часто служил мишенью для большинства оскорбительных нападок Коммерелля. Даже при том, что Морвиц не был тупицей, он не шел ни в какое сравнение с Коммереллем, имевшим острый, сообразительный ум и способность виртуозно обращаться со словом. Коммерелль постоянно пытался сбить с толку Морвица каким-нибудь противоречием, вынудить его показать свое невежество в отношении какого-нибудь таинственного факта или выставить на всеобщее обозрение какое-либо верование Морвица как ребяческое или наивное. Когда Георге был свидетелем этих столкновений, то, кажется, не вмешивался и, возможно, даже находил их интересными. В 1926 году Георге говорил о продолжающихся стычках Эдит Ландман: «Критика стала обычаем в государстве. Каждый в чем-то обвиняется, и как только это выносится в открытое пространство, обвиняемая личность навеки связывается со своим определением. Но это не портит отношения, а добавляет некоторой остроты». В другом случае Георге отбросил любое предположение, что такие препирательства обязательно были чем-то дурным. «Везде, где есть люди, — сказал он, — есть и конфликты». Однако Георге был полностью осведомлен о склочных, даже злонамеренных наклонностях Коммерелля и однажды откровенно сказал фрау Ландман: «Остерегайтесь его». Самому Коммереллю, поцеловав его в голову, Георге сказал, наполовину неодобрительно, наполовину с восхищением: «Вы — злой гений».

Другие друзья Георге затруднялись объяснить, почему Учитель, который был исключительно строг со всеми остальными, демонстрировал такую мягкость к кому-то, кто был не только низкорослым и уродливым, но также и невоспитанным. Более чем невежливое поведение Коммерелля часто граничило со странностью. Тормелен отмечал, что Коммерелль поддерживает силы главным образом большим мешком свежих орехов, который держит рядом со своей кроватью, вдобавок к другому источнику питания, каким, очевидно, было молоко. «Менее агрессивные друзья поэта, так же как и сам поэт, — заботливо указывал Тормелен, — обычно предпочитали вино». Когда Коммерелль отваживался оказаться на иной кулинарной арене, результаты могли быть различными. Однажды Коммерелль остался с Тормеленом в квартире-студии, которую тот имел в Берлине, и пользовался пищей, приготовленной женщиной-кухаркой, работавшей у Тормелена. Закончилось тем, что Тормелен получил выговор от управляющего многоквартирным домом, где была расположена его студия. Жалобы были сделаны прохожими, которые сообщили, что кости и другие объедки летом на них из окон комнат Тормелена. Когда он спросил Коммерелля, не он ли был правонарушителем, Коммерелль рассмеялся и, сказав «да», добавил, что получил удовольствие от этой веселой игры. Тормелен, который не был безразличен к аттракционам бросания мусора на буржуазию,

попросил, однако, чтобы Коммерелль воздерживался от исполнения подобных трюков в будущем.

И все же Георге смотрел на Коммерелля со снисходительностью, которая имела привкус потворства. Тот же Тормелен, имевший много возможностей наблюдать их взаимодействие, подозревал, что Георге сознательно защищал Коммерелля, чтобы тот мог сосредоточиться на осуществлении своей мечты стать ведущим ученым в области литературных исследований. Тормелен чувствовал, что Георге таким образом ограждал Коммерелля, воинственность которого, как был убежден Тормелен, возникала от фундаментальной нехватки чувства уверенности и чувства собственного достоинства, от чего-то такого — включая порицание его поведения, — что могло бы отвлечь Коммерелля от достижения его цели. И именно люди, которых Коммерелль больше всего ранил, также больше всего были потрясены тем, что едва Коммерелль получил то, чего так страстно желал, то повернулся спиной к человеку, который, как они считали, был инструментом, помогшим ему этого добиться. После получения своей докторской степени в 1925 году Коммерелль продолжал добиваться *venia legendi*, желанного права преподавать в университете, и завершал подготовку во Франкфурте весной 1930-го. Несколько месяцев спустя он категорически отказался от своей преданности Георге и его «государству». Для Эрнста Морвица эти два события были внутренне связаны. Тридцать лет спустя, когда Георге и Коммерелль уже давно умерли, Морвиц все еще был переполнен горькими чувствами к своему старому мучителю, который, как Морвиц написал в 1960 году, «нашел своевременным порвать с поэтом после того, как достиг с помощью его духа цели своих амбиций (*venia legendi*)».

Фактический разрыв произошел из-за того, что Ганс Антон первоначально рассматривал как триумф. Пока не было продолжено издание полного собрания сочинений Георге, вопрос об учреждении фонда в честь его имени временно откладывался. 17 июня 1930 года Коммерелль получил письмо от Антона, сообщавшее, что «отложенный вопрос» недавно вновь был поставлен: «Фонд для продолжения работы Стефана Георге будет учрежден летом. В правление фонда войдут Роберт [Берингер], вы и — я. Таким образом, у нас двоих есть абсолютное большинство». Дело не только в том, что он и Коммерелль на самом деле управляют фондом, но также и в том, указывал Антон, что «предыдущий универсальный наследник и исполнитель Эрнст [Морвиц] теперь отстранен». Неизвестно, что заставило Георге отстранить Морвица с должности, но легко предположить, что это было открывшееся нешуточное мошенничество. В любом случае Антон писал, что Учитель интересуется, когда Коммерелль будет теперь во Франкфурте: «Он хочет обсудить все вопросы с вами».

Вместо того чтобы почувствовать удовлетворение от столь решительного отстранения Морвица, Коммерелль понял, что пришло время при-

знаться в том, что терзало его в течение шести месяцев. В декабре предыдущего 1929 года, в то время как Коммерелль был в Берлине, кажется, вспыхнуло еще одно столкновение между ним и другими членами круга. Ни Коммерелль, ни кто-либо еще никогда не раскрывали причину спора, а спор вырос уже до открытой стычки. «В ход шли все более и более горячие слова, — отмечает Коммерелль в своем дневнике, — пока я не услышал один неожиданный комментарий, отвергнуть который было моим долгом». Что это был за «комментарий» или кто его сделал, Коммерелль оставил в тайне, подчеркнув лишь его серьезность: «Я понял, что мои отношения со Ст. Г. из-за этого изменились». Внезапно Коммерелль все начал воспринимать в ином свете. «Весь способ сосуществования формировался на основе полного отказа от личного самосознания, что, могу полагать, является подходящим и допустимым самое большее для мальчика, но не для мужчины». С этого момента Макс Коммерелль, которому тогда было почти двадцать восемь, хотел быть уже не «учеником Учителя», не подчиненным чужой воле членом иерархической организации, но независимым и свободным человеком.

Поэтому, когда следующим летом пришло письмо от Антона, содержащее новость о его неизбежном назначении в правление фонда, Коммерелль почувствовал себя обязанным сказать Георге об изменении своей точки зрения. Объясняя, почему не сделал это раньше, он говорил о надежде на возможность жить как прежде — ее давали некоторые сообщества с «крупными внутренними конфликтами», которым удавалось оставаться невредимыми, если только эти конфликты «не были выражены», — но надежда разрушилась. «По этой причине, — говорил Коммерелль Георге, — «я не писал полгода, начиная с моего отъезда из Берлина, и теперь считаю долгом чести написать». Сводя вопрос к самому простому, Коммерелль сказал: «Я уже не тот человек. — И, не боясь последствий, добавил: — Не хочу говорить о том, что я плачу за все это и буду платить в будущем. Я склонен позволить моему Я расти в том направлении, в каком оно растет». Это было столь же просто.

Или должно было быть. Коммерелль и раньше изливал душу Гансу Антону, который оказался теперь в безвыходной ловушке между Учителем и другом. Не надеясь на успех, Антон попытался уговорить Коммерелля. Коммерелль написал в своем дневнике: «Ганс не скрывал, что расценивает меня как человека, ум которого болен и у которого был выбор только между полным уничтожением и крахом». Всю остальную часть года Антон изо всех сил пытался убедить Коммерелля, что еще не слишком поздно вернуться на путь истинный, что иначе его ожидает падение. Антон предсказывал, что после пары лет за пределами «государства» Коммерелль неизбежно превратится в «безвредного ученого». Антон говорил: «Могу вообразить сцену, где однажды в будущем мы будем проезжать мимо вас, — а вы

только спросите себя: „разве я не знал их когда-то? Почему я не с ними?“» «Без влияния и наблюдения Учителя, — предупреждал Антон, — вы станете литератором — чего я не желаю ни для одно из самых дорогих и близких мне людей». Все время Антон пытался заверить Коммерелля, что его собственные чувства к нему не изменились. «Вы знаете, — говорил он Коммереллю, — как я привязан к вам. Однако не заставляйте меня стыдиться этого».

Наконец, напряженность попыток примирить противостоящие лагеря стала непосильной для Антона, и он вовсе прекратил общаться с Коммереллем. В воскресенье, 22 февраля, после ожиданий и долгого болезненного молчания, Коммерелль сам попробовал восстановить контакт. «С большой печалью я понял, что вы не ответили на мое последнее письмо. Среда — мой двадцать девятый день рождения. Неужели и тогда я останусь без единого слова от вас?» Коммерелль сказал Антону, что «ежедневно» думает о нем, и задал печальный вопрос: «Вы отказываетесь от меня?»

Ганс Антон отметил день рождения Коммерелля, но совсем не тем способом, который может доставить радость. В тот день, 25 февраля 1931 года, Антон один поехал во Фрайбург, в юго-западной Германии. Оттуда он написал Коммереллю: «Больше месяца я чувствовал себя под угрозой чего-то вроде безумия. Я замечал, что иногда действую, говорю неправильно. Если можно так выразиться, я потерял власть над собой». Но состояние мое все ухудшалось — наконец я вообще перестал понимать внешний мир. Я не знал, что делать, куда обратиться. Ничто не казалось больше правильным, и ужасно было видеть, что вы исчезаете все дальше и дальше». Не видя никакого другого выхода в мире, который рушится, Антон покончил с собой во Фрайбурге именно в тот день, когда Коммереллю исполнилось двадцать девять лет.

Принимая во внимание, что Георге реагировал на измену Коммерелля с внешним спокойствием — Тормелен сказал: «Мне показалось, будто поэт ожидал этого долгое время», — самоубийство Ганса Антона оказало на него глубокое воздействие. Кто-то, кто был рядом с Георге, когда тот получил новость, вспоминал: «Это было ужасающее зрелище, как он — да, я должен это сказать — отчаянно метался по почти пустой комнате. И в этом движении назад и вперед от скамьи мимо изголовья длинного стола к окну, а затем снова назад, без паузы разговаривая с самим собой, больше для себя самого, чем для меня, поворачивая свою голову назад и вперед, он много раз задавал один и тот же вопрос: „Как могло это произойти, как этому позволили случиться?“» Однако это случилось, и Георге знал, кого обвинить. Впредь Коммерелль, которого часто называли Шайбой в соответствии с его мошеннической шаловливостью, упоминался исключительно как «жаба» (*die Krote*).

В тот же самый год Коммерелль узаконил свое отступничество, женившись на Еве Отто, которую встретил совсем незадолго до этого. (Когда

Георге услышал о помолвке Коммерелля, то, говорят, «смеялся как дюжина дикарей»). Коммерелль, возможно, освободил себя от Георге, но Георге не позволил ему уйти легко. Тринадцать лет спустя, в начале лета 1943-го и за год до собственной смерти от рака в возрасте сорока двух лет, Коммерелль рассказал своему другу о дурном сне, который недавно видел. Коммерелль преподавал в том семестре курс о Рильке и Георге и говорил, что полученный им опыт имел отрицательное воздействие на его бессознательную жизнь. «В большинстве моих сновидений, — писал Коммерелль, — мне казалось, что я все еще не освободился, что я позволил себе быть очарованным и плененным снова и т. д.». Но одно сновидение особенно его напугало. В нем «Вольтерс прислуживал Георге в бассейне (все мы стояли вокруг него голого) и восхвалял его за то, что тот изобрел новый Эрос и избавил от старого. В то же самое время, однако, то же самое происходило и на краю бассейна в виде своего рода культовой церемонии: Георге убил человека-дракона, который только что спал с его женой-драконом, отрезал его гениталии и выбросил их в бассейн».

Это тревожный, хотя и удивительно богатый образ. Мало того, что он передает принуждение, испытываемое даже спустя многие годы любим, кто осмеливался противоречить мандатам Учителя, он также указывает на путь к спасению. Коммерелль мог помнить из греческой мифологии, что, согласно одной легенде, Афродита (от *aphros*, или «пена») родилась из моря, после того как Кронос кастрировал ее отца, Урана, первого верховного бога, и бросил его отделенный орган в волны — тогда она и появилась. Из насилия вытекала любовь, по крайней мере одна ее версия. Ибо Уран также давал свое имя той любви, которую Георге рано обнаружил как свою собственную и которую на самом деле отверг Коммерелль, когда женился. Рождение Афродиты означало тогда для Коммерелля, что одна эра в его жизни закончилась и что могла наконец начаться новая.





Глава сорок четвертая

РЕВОЛЮЦИЯ II

Георге пережил смерть Вольтерса и дезертирство Коммерелля с поразительным хладнокровием, учитывая степень их близости в его жизни. Казалось, он думал, будто их исчезновение было в той или иной мере естественным, и их следовало так же мало оплакивать, как заход солнца или смену времен года. Они сделали свою работу для «государства», выполнили свой долг и просто пошли дальше. Не показывая печали или сожаления об их исчезновении, Георге, казалось, воспринял эти новые утраты как дополнительные признаки того, что его собственная работа исполнена, что его собственная жизнь дошла до своего естественного предела, что его цель достигнута. Все что оставалось теперь ему делать, так это дожидаться начала следующей неизбежной стадии.

Такая невозмутимость, почти бесстрастность является, возможно, особенно поразительной по поводу другой смерти, которая имела место в 1931 году. Женившись на Элизабет Саломон 4 ноября 1926 года, Фридрих Гундольф постоянно страдал от множества физических недугов. В марте следующего года он рассказывал своему брату, Эрнсту: «Бесчисленные незначительные болезни поражают мои ноги, кожу, кишечник и живот. Я принимаю теперь целый ассортимент таблеток согласно ежедневному графику». Тем летом, во время отдыха в Св. Морице, состояние Гундольфа резко ухудшалось. Доктор, у которого он проконсультировался, счел, что у него «язва». Семь дней спустя стало очевидно, что у Гундольфа что-то более серьезное. («У меня все время рвота, — говорил он брату, — и вчера я

упал посреди комнаты»). Жена Элли убедила его отыскать местного специалиста по желудку, и после проведения нескольких рентгенов доктор обнаружил «опухоль» — она блокировала выход из желудка и «не позволяла проходить никакой пище». Доктор советовал немедленную операцию. «Иначе, — писал Гундольф Эрнсту, — я буду голодать до смерти».

Почти целый месяц, пока поправлялся, Гундольф был неспособен общаться со своим братом. Наконец 2 октября Гундольф сказал Эрнсту: «Сегодня я впервые предпринял прогулку в больничном саду с помощью Элли и медсестры». Только после случившегося врач сообщил ему, насколько опасной была операция. «Два килограмма моего желудка были вырезаны, — сказал Гундольф, добавив: — доктор оценивает, что девяносто процентов умирают от такой процедуры». Он был удачлив, но чувствовал, что не только удача ему помогла. «День и ночь думаю об Учителе, — открылся он Эрнсту, — и заметь, что я знаю большинство его стихов наизусть».

Гундольф никогда не отвергал Георге — даже в самый мучительный период, когда вынужден был выбирать между Учителем и женой, он не колебался в своей публичной позиции. Но борьба, в которой он вступил воединок с Георге, оказала огромное давление на чувства непреклонной преданности, формирующей центр эмоциональной и интеллектуальной жизни Гундольфа в течение почти трех десятилетий. Столкновение со смертью, однако, возобновило надежду на возможность, что Георге передумает и примет его снова. Из больницы в Швейцарии Гундольф написал стихотворение, названное «Моему Учителю», умоляющее Георге так и поступить. Заключительные две строфы гласили:

Примите меня на катафалке
С опущенным взором прощения.
Я — ваше дитя... им я был
Даже в ночном крике разлада.
Пусть ваш первый поцелуй еще раз
Обожжет того, кто бледен,
Кто живет, потому что обязан жить
Ради вас и в вашем знамени.

Все было напрасно. Его брат, пытаясь быть спокойным, насколько это возможно, предостерег Гундольфа не питать нереалистичных ожиданий. «Я, конечно, полагаю, что Учитель услышал об опасности, в какой вы оказались, не без сочувствия, но не могу надеяться, что теперь как-то изменится его поведение». Георге получил стихотворение, но остался безмолвен.

Именно книга Вольтерса побудила, наконец, Гундольфа сделать шаг, который он, вероятно, никогда не представлял для себя возможным. В 1930 году Гундольф издал томик стихов, посвященных просто «Моей

жене», который заканчивался коротким стихотворением, сигнализовавшим о сейсмических переменах в его взглядах на себя и на мир.

Моей юностью правила Глупость,
Затем воля Учителя,
Пока Сильнейший не отпустил меня:
Я шагаю, как сирота,
Без посоха или веревки,
Зная только Бога и Любовь,
По усыпанной камнями долине.
По тропе, ведущей к смерти.

Когда Юлиус Ландман прочитал эти строки, то едва ли понял, что Гундольф на самом деле имел в виду и о чем они столь явно заявляют. В письме к Гундольфу в ноябре того года Ландман признавался: «Мне трудно понять, что вы теперь формально и публично объявляете о своем разрыве отношений с Георге». Ландману казалось непостижимым, «как сила, которая решающим образом предопределила развитие человека и сформировалась внутри его, могла когда-либо ощущаться как принадлежащая прошлому». Хотя то, что он говорил, касалось только брата Гундольфа, Эрнста, Ландман тем не менее заявил: «У меня было отчетливое впечатление, что многие из друзей не будут в состоянии примирить этот отказ с тем образом, который вы создали у нас за все эти годы».

В ответ Гундольф спокойно заверил Ландмана: «Стихотворение не означает отказа от творчества Георге и от его личности. Однако после того, как возмутительная и ужасная книга Вольтерса, которая от начала и до конца лжива, была издана в качестве официальной или официозной доктрины круга и его истории под эмблемой Георге — поэтому с его одобрения и поэтому, к сожалению, как предполагаемый „источник“ его духовной истории, — я должен был продемонстрировать в самой спокойной и сжатой, насколько это возможно, форме, что у меня больше нет ничего общего с ортодоксальностью Георге или с клерикализмом и лестью Вольтерса». Гундольф также объяснил, что многие студенты и другие люди подходили к нему с резонным предположением, что с книгой Вольтерса он согласен. Как публичный деятель Гундольф доказывал: «Я не могу, даже ради правдивости, поощрять или терпеть иллюзию, будто разделяю этот догматизм». Еще более прямо: «Я не имею к этому отношения, и должен это сказать».

Свобода, с трудом завоеванная Гундольфом, продлилась менее года. Хотя операция в 1927 году предоставила облегчение, Гундольф никогда полностью не вернул свои силы. 7 июля 1931 года он вновь заболел. Пять дней спустя Фридрих Гундольф умер в Гейдельберге в возрасте пятидесяти одного года. Как раз в день рождения Георге. Был это последний без-

молвный упрек, финальный патетический жест верности или просто причудливое совпадение, Гундольф умер в конце концов под знаком человека, который управлял им большую часть его сознательной жизни. Сам Георге обошел это событие молчанием.

Этот мрачный урожай еще не был закончен. Позже, в том же самом году, Юлиус Ландман наконец перестал бороться против изнурительной депрессии и свел счеты со своей жизнью. Хотя Юлиус Ландман написал не много писем Георге и не оставил записей своих бесед или встреч с Учителем, но считался, наряду со своей женой Эдит, одним из самых преданных и пользующихся наибольшим доверием друзей Георге, с тех пор как они встретились перед войной. Их с Георге связывала дружба, но оба они считали Георге чем-то большим, чем просто друг. Один из их сыновей, Михаэль, позже объяснял: «Для моих родителей Георге не был выдающимся представителем современной литературы. Он принадлежал, в его собственном понимании, к совершенно иному измерению. Его книги были „священными книгами“». У Ландманов был специальный кабинет, построенный для хранения коллекции первых изданий произведений Георге, наряду со всеми выпусками «Листков за искусство» и поэтических работ его друзей. Там также находилась работа младшего брата Михаэля, Георга Петера, который записал стихотворение «Война» Георге горизонтально на одном длинном листе и развернул его на двух деревянных прутах словно древний свиток папируса или Тору. Это была естественная для Ландманов ассоциация, ибо, как писал Михаэль, «в кругу своих учеников Георге пользовался почитанием, подобным почитанию восточного мудреца, Брахмана или раввина хасидов». Поэтому они считали, что единственно правильным было разместить где-то его работы, как святыню.

Люди, которые не знали Юлиуса Ландмана лично, задавались вопросом, о чем же он и Георге должны были разговаривать друг с другом. Правда, Ландман был преподавателем экономики (и весьма выдающимся: когда великий экономический и социальный теоретик Вернер Зомбарт ушел в отставку со своей кафедры в университете Берлина в 1931 году, Ландмана приняли туда как замену). Но, как после его смерти сказал Георге, объясняя долгую и близкую привязанность к человеку, который настолько отличался от его остальных друзей, Ландман был просто «феноменом». Первоначально Ландман приехал из Галиции, и родным его языком был польский; немецкий он изучил благодаря ненасытному чтению, привычку к которому сохранял в течение всей своей жизни (его разговорный немецкий всегда имел легкий акцент, хотя, по замечанию сына, «его все время считали поляком»). Одаренный прочной памятью, Юлиус Ландман читал и, казалось, знал все. Во время докторского экзамена по допол-

нительному предмету — немецкой литературе — экзаменатор спросил, может ли он назвать гимн времен Лютера. В ответ Ландман прочитал лекцию о развитии немецкого гимна в XVI столетии, продекламировав вводные стихи многих гимнов. Это выступление было предзнаменованием более поздних наклонностей Ландмана. Часто случалось, что, когда кто-то задавал ему вопрос, он умолкал, иногда минут на десять, полчаса и даже более. Непосвященному могло показаться, что он или не хочет, или не может ответить. В действительности он в это время в уме составлял ответ, который затем обретал форму подробной, убедительной и длинной лекции. Когда немецкий посетитель в Базеле сделал случайное замечание, критикуя план строительства нового энергетического завода около города, Ландман проинформировал его об экономической необходимости этого завода в часовой речи, включающей в себя комплекс статистической информации.

Георге явно наслаждался этими демонстрациями интеллектуального резонанса. «Какие у человека глубокие и точные знания», — однажды восхищенно воскликнул он. И все же Ландман не был сухим технократом — он всю жизнь оставался страстным читателем литературы и поэзии, был увлеченным, опытным садовником, а также одинаково хорошо осведомленным энофилом. Его подвал был громадным и богатым хранилищем вин — он как-то пошутил, что может потратить весь свой отпуск на поиски «самого лучшего бургундского» в своем подвале, и радовался возможности предложить своим гостям редкое, но предназначенное именно для этого блюда вино. И, вследствие его исключительного дара культивирования дружбы, в доме Ландмана, казалось, всегда были гости. «Мы управляем небольшим, процветающим отелем!» — остроумно заметил он однажды. И даже своим характером (маскировавшим лежащее в его основе отчаяние), мрачным, но не унылым, неизменно учтивым, Ландман представлял собой превосходную компанию, — а Георге давал часто хорошие советы. В редких случаях Ландман демонстрировал более глубоко запрятанную саркастическую раздражительность; об одном философе он сказал, например, что, хотя этот человек и умен, но редко показывает свой интеллект. Но такие кремниевые вспышки, должно быть, делали его даже более привлекательным для Георге, который хорошее оскорбление любил почти так же, как хорошее вино.

Было грустно, что Юлиус Ландман, которому в августе 1931 года миновало только пятьдесят четыре, оставил поле сражения против своей меланхолии в ноябре того же года. Георге, который последний раз виделся с ним в мае в Берлине, назвал Ландмана «самым дорогим другом — последним из старой гвардии». В сочувственном письме, адресованном Эдит, Георге также написал: «Так мы потеряли и его — того, кто, как никто иной, понимал, что такое быть другом».

Но и на этом ряд потерь не прервался. Весной 1932 года Бертольд Валлентин, который знал Георге еще дольше, чем Юлиус Ландман, — хотя оба родились в одном и том же 1877 году, — перенес обширный инсульт. Инсульт оставил его почти полностью парализованным и время от времени впадающим в бред. Валлентин прозябал в полубессознательном состоянии больше года, пока 13 февраля 1933 года второй удар не положил конец его страданиям. Две недели спустя его обезумевшая жена Диана последовала за своим мужем, после двух неудачных попыток совершив самоубийство. Георге прокомментировал эти события, сказав, что «жизнь больше не была для Эдит Ландман возможна», добавив, что он «счастлив, что она нашла в себе мужество уйти из жизни». Поскольку Диана была еврейкой (ее девичья фамилия Рабинович), то в 1933 году у нее было несколько причин отчаяться из-за невыносимой жизни. Только на несколько лет их единственный сын Стефан — названный в честь поэта, их почтенного Учителя, — пережил своих родителей. В 1939 году на берегу озера Маггиоре в Италии он также добровольно покончил со своей жизнью.

Возможно, было объяснимо, что в свои последние годы Георге предпочитал компанию новых и самых молодых друзей. Кроме очевидной привлекательности, которую предоставляла им юность, они не несли за собой тяжелого багажа, не вызывали болезненных воспоминаний и, что более всего обнадеживало, было непохоже, что они вскоре умрут. Не было, разумеется, недостатка в кандидатах, стремившихся соперничать за честь быть его компаньоном. Георге постоянно разыскивали молодые люди, которые по многим причинам желали быть с ним рядом.

Очевидно, первое столкновение с ним не всегда приводило к результатам, которые удовлетворили бы обе стороны. Друг Эрнста Канторовича по имени Герхарт Ладнер вспоминал о своей возможности встретиться с Учителем как именно о такой неудаче. После того, как Эка — прозвище Канторовича — неблагоразумно разоткровенничался, что хорошо знал Георге, Ладнер настоятельно потребовал о встрече. Ладнер, зарабатывавший на жизнь любым возможным способом, имел тайное стремление стать поэтом. Канторович сообщил Ладнеру, что прежде чем его просьба может быть рассмотрена, он должен представить образец своего произведения и письмо к Учителю. 10 декабря 1930 года Ладнер, к собственному счастью, был вызван для встречи с Георге в Берлин.

В пять часов после полудня Канторович привел Ладнера в студию Тормелена, где остановился Георге. Представив его: «Это — Ладнер», — Канторович покинул комнату, и Ладнер остался наедине с Учителем. «Что привело вас ко мне?» — это первое, что Георге хотел знать. Ладнер начал долгие жалобы на то, как поглощает его работа, которая не оставляет никакого времени и никакой энергии для того, чтобы писать, и что он даже не

уверен, был ли на самом деле поэтом и следует ли ему им быть. Георге слушал некоторое время, затем прервал его. «В том, что вы мне говорите, нет ничего особенного, — сказал он резко. — Все это ничего не стоит; сегодня все образованные молодые люди с этим сталкиваются. Вы еще даже не видите реальных вопросов. Все это не имеет к ним отношения. Все должны в конце концов что-то делать. Даже те, кто со мной, кто имеет установленное рядом со мной место, и думают теперь, что могут остаться на некоторое время там, где находятся, — даже им я говорю, что они должны что-то делать. Если бы ваш друг Эка проводил больше времени, думая о том, что должен сделать, то никогда не написал бы своей книги». Это подбадривало, но Георге еще не закончил. Он поднял вопрос, были ли у Ладнера задатки поэта. Приговор был сокрушителен. «Вы послали мне стихи», — сказал Георге. — Они не совсем плохи. Но вы, конечно, заметили, что на них нельзя построить жизнь. Или вы думаете, что напишете одну книгу или одно стихотворение, которое появится в „Листке“? Уверен, вы не этого хотите».

Остановившись перед такой преградой, но чувствуя, что не получил ответ, который искал, Ладнер опрометчиво вернулся к своим изначальным вопросам. Внезапно Георге рассвирепел: «Так вы все еще надоедаете мне и сидите здесь, чтобы поболтать со мной о том о сем? Чего же вы от меня ждете? Вам и так представился исключительный случай. Мое время полностью вышло. О чем вы вообще думали? Хотели посмотреть, на что похоже легендарное существо? Вы ожидали чего-то совершенно иного, а теперь разочарованы. Но я не могу помочь вам. Я, в конце концов, не монарх, который всем может сказать пару дружеских слов».

В течение приблизительно пятнадцати минут Георге продолжал в таком же духе, пока наконец Ладнер не воспротивился и не посмотрел вызывающее прямо в лицо Георге, чего Учитель не привык видеть. Быстро завершив сессию, Георге насмешливо сказал: «Все это хорошо — прямо прийти к высшему авторитету, но во всем этом есть также и небольшая профанация. Когда вы поймете это, то уже сделаете большой шаг вперед». Показывая Ладнеру на дверь, Георге дал ему последний небольшой совет. «Смотрите, — сказал он, — вокруг меня много людей. Некоторые стоят ближе, другие дальше. Все должны подчиняться своей судьбе. И если еще что-то возникает — это должно быть нечто важное, — то они пишут мне небольшое письмо». С этими словами Георге проводил опустошенного Ладнера до двери и закрыл ее за ним. Разумеется, они никогда больше не встречались.

Для более удачливых — тех, кто приглашен стоять ближе, — опыт встречи с Георге был менее травмирующим, но одинаково потрясающим. В том же декабре 1930 года, когда Георге встретил Герхарта Ладнера, другой друг Георге, швейцарец Роберт фон Штайгер, принес Учителю не-

сколько стихотворений своего кузена Михаэля Штеттлера, который жил в Берне и которому было тогда семнадцать лет. Георге был очарован стихами. «Наконец-то еще один поэтический талант, — сказал он и выразил желание вскоре встретиться с автором. Однако встреча состоялась лишь в следующем году, когда Георге остановился в южной Швейцарии около Локарно — там Штеттлер и получил шанс выполнить свое желание. Однажды в середине ноября 1931 года, когда Штеттлер обсуждал возможность нанести визит Георге, друг Штеттлера и его наставник Вильгельм Штейн, автор злополучного «Рафаэля» и человек, который познакомил Штеттлера с поэзией Георге, сказал своему младшему другу: «Тогда просто поезжайте!» Этот импульс Штеттлер реализовал. Не говоря никому, включая родителей, о своих планах, теперь уже восемнадцатилетний Штеттлер следующим утром отправился в Локарно. Найдя адрес, он вошел через ворота сада и остановился под окном дома, где жил Георге, ожидая, что его заметят. Когда девочка из любопытства выглянула из окна кухни, он сказал: «Я могу зайти?» Несколько мгновений спустя появился соратник Георге, Франк Менерт, который встал перед ним. На простое заявление Штеттлера: «Я — Михаэль, — Менерт ответил, словно дожидался его: «Ах, вы прибыли из Берна!»

Как только стало ясно, что Штеттлер хочет видеть Учителя, Менерт сказал ему, что тот отдыхает и что Штеттлер должен вернуться через час на чай. Когда он вернулся, его повели в комнату, где ожидал Георге. Сразу же Георге взял его за руку и — задавая вопросы, выслушивая ответы, кивая и поворачивая свою голову к гостю — стал рассказывать с ним вперед и назад по комнате. После чая они предприняли прогулку, все еще держась под руку. Когда на них неожиданно помчался автомобиль, Штеттлер прижал руку Георге к себе ближе и заметил «благодарное встречное давление его руки как немой ответ». Поскольку опустился вечер, они вернулись домой; Менерт закрыл ставни, зажег свечи, и беседа продолжалась под красное вино и любимые сигареты Георге.

На следующее утро Штеттлер, который провел ночь в соседнем отеле, вернулся, чтобы подвергнуться ритуалу, через который проходили все предполагаемые ученики. Георге хотел, чтобы он читал вслух. Как всегда, испытуемому позволили выбрать свое оружие. Штеттлер выбрал стихотворение из «Года души». «Результат, — признавался Штеттлер, — был плохим, и поэт не скрывал этого». Позже, днем, Георге заставил Менерта показать Штеттлеру, как это следует делать. Менерт также прочитал из «Года души», со случайными поправками в акценте или интонацией самого Учителя. «Чтение имело глубокое и длительное воздействие на меня», — писал Штеттлер, но не столь глубокое, как слова, которые Георге сказал ему, прощаясь в тот вечер. «Ну, храбрец, — сказал Георге, проводя его до двери, — Вы теперь мой!»

В следующие два волшебных дня все трое совершили еще несколько прогулок через город — Георге посредине, а Менерт и Штеттлер держали его под руки с двух сторон, пока Георге рассказывал им истории о своей жизни и друзьях. Во время этих экскурсий Георге был одет в черный плащ и свой фирменный синий берет. Менерт носил такой же — Георге нравилось, чтобы друзья носили береты, — и после того как Штеттлер попросил его об этом, Менерт разрешил и ему носить берет в остальные дни пребывания. В последний день Менерт сделал фотографии их всех, и Георге дал Штеттлеру понять, что хотел бы получить от него время от времени письма. «Не то чтобы в них должно быть слишком многое, — сказал Георге, — плохо, если вам вообще нечего сказать».

Вернувшись домой в Берн, Штеттлер, который чувствовал себя так, словно только что совершил какое-то волшебное путешествие на другую планету, обнаружил, что в его отсутствие было организовано настоящее расследование с целью его найти. Взволнованные по поводу внезапного и необъяснимого исчезновения сына, его родители обратились за помощью в полицию в Берне и в Цюрихе, которая начала наводить справки, вскоре приведшие их к наставнику Штеттлера, Вильгельму Штейну. Подозрения в чем-то ужасном продолжались, возникли сомнения в характере отношений между сорокапятилетним Штейном и мальчиком младше того более чем вдвое. Михаэль Штеттлер добрался до дома как раз вовремя, чтобы воспрепятствовать полиции обратиться с вопросами к самому Учителю.

Даже в старости Георге оставался могущественным соблазнителем, который был в состоянии завоевывать преданность пылких молодых людей — и вызывать негодование и слезы у буржуа, которых он всю жизнь не мог терпеть. Но ему всегда требовался фаворит, один человек, который был основным фокусом его внимания и заботы. После Гундольфа была целая последовательность таких привилегированных соратников, но все они умерли, состарились или просто стали неподходящими. К счастью, кое-кто как раз вовремя заполнил пустоту, созданную бегством Коммерелля — до окончания жизни Георге в декабре 1933 года его постоянным спутником, его сторожем и поваром, его секретарем и защитником был Франк Менерт, человек, который встретил Штеттера у двери. Как всегда, Георге придумал прозвище для Менерта, называя его, по-видимому из уважения к тому, что был им побежден, «Виктором» Франком.

Друг братьев Штауффенбергов, Менерт впервые попал в поле внимания Георге в 1924 году, когда ему было пятнадцать лет. Георге случилось увидеть его однажды, когда Менерт сопровождал Штауффенбергов к вокзалу в Штутгарте. Хотя они и не разговаривали друг с другом, Георге объявил его «редкой птицей» и заставил одного из братьев дать Менерту апельсин как подарок от Учителя. В следующем году они встретились, и в ближайшие несколько лет Менерт часто присутствовал в Берлине на чте-

ниях, а иногда ездил в Кёнигштейн или Базель, чтобы побыть вместе с Георге. Но только после того как Коммерелль начал отступать в 1929 году, Менерт принял мантию первого ученика.

Менерт отвечал всем критериям, которые Георге применял к самым близким фаворитам. Михаэль Штеттлер, который написал краткий биографический эскиз Менерта в 1960-х годах, рассказывал: «Мне представляется, вне всякого сомнения, что юношеская фигура Менерта воплощает для Георге тип, наиболее близкий к Максимилину, и олицетворяет собой юность, о которой он мечтал». Среднего телосложения, с тонкой, но крепкой конституцией, Менерт обладал лицом, соответствовавшим знакомому образцу: правильный овал, полные губы и миндалевидные глаза под мягкими арками бровей, упрямый подбородок чашевидной формы. Его родители, хотя и были немцами, жили в Москве, где он и родился в 1909 году. Это сообщало Менерту немного экзотический вид — многие люди, которые встречали его, обнаруживали в нем что-то смутно аристократическое. Его манеры усиливали это ощущение — он был обычно скрытым, сдержанным в своем поведении и гордым, почти высокомерным. Всякий раз, когда он был возле Коммерелля — тот и на Менерте опробовал все свои обычные уловки, исследуя его интеллектуальные слабости и поддразнивая колкостями и хитрыми вопросами, — Менерт отказывался позволить себе стать раздраженным. Эта хладнокровная невозмутимость приводила Коммерелля только в еще более сильное бешенство, но без последствий. Менерт просто смотрел и спокойно слушал, как будто дожидался своего времени, которое должно было наступить, когда Коммерелль исчезнет.

Поэтому было естественно, что именно Менерт сопровождал Георге, когда в октябре 1931 года тот поехал в южную Швейцарию, куда уже многие годы путешествовал ежегодно. На сей раз Георге остановился в таком месте, в котором не был прежде, но которое, возможно, открыл для себя в 1926 году, когда один совершил короткую поездку в Локарно. Там, на берегу озера Маггиоре, окруженного Лепонтинами, он нашел дом в аренду в деревне под названием Минузио, рядом с Локарно. У двухэтажного строения, преобразованного из старого завода, была терраса, выходящая на дикий заросший сад, заполненный виноградными лозами, плодовыми деревьями и кипарисами, а с этой террасы открывался вид на озеро до противоположного берега. Поскольку итальянская граница находилась в шести милях, то можно было ожидать умеренную погоду даже зимой. Это казалось во всех отношениях совершенным; Минузио обеспечивал красивое, удобное и хорошо скрытое отступление.

С Менертом, проявлявшим внимание к его нуждам и составлявшим ему компанию, Георге нашел что-то близкое к удовлетворенности. Он не уезжал из Минузио до следующего апреля, в целом семь месяцев — самый длинный период, который он где-либо проводил за время всей своей

взрослой жизни. После возвращения в мае того же года в Берлин, где он оставался большую часть следующих шести месяцев, Георге вернулся в Минузио, с Менертом на буксире, в ноябре 1932 года на всю вторую зиму, а затем опять в октябре следующего года. Как будто после жизни в, фактически, непрерывном движении Георге наконец нашел место, где чувствовал, что может обрести отдых и успокоение, а возможно, даже какую-то долю счастья.

Тем временем внешний мир готовился к катаклизму. После того как нацистская партия одержала свою ошеломляющую победу на сентябрьских выборах 1930 года, дела в Германии пошли все хуже и хуже. Ранее в том же году, в марте, президент Гинденбург ответил на крах последнего социал-демократического правительства назначением молодого, сорокапятилетнего, католического политика по имени Генрих Брюнинг на должность канцлера. Не лишенный таланта и интеллекта Брюнинг, испытывавший недостаток в поддержке парламентского большинства, не имел ни опыта, ни политических средств для управления страной, которая быстро становилась неуправляемой. Стремление к власти радикальных, шовинистически настроенных нацистов раздражало иностранных кредиторов, заставляло многих вспомнить о ссудах, которые сделали возможным восстановление немецкой экономики после 1924 года. В начале лета 1931-го, спустя более года, после того как Брюнинг вступил в должность, банки начали нести денежные убытки. Только с 8 по 12 июня потери иностранной валюты «Рейхсбанка» составляли более чем пятьсот миллионов марок, которым суждено было вырасти до двух миллиардов к середине июля. Не имея никакой иной альтернативы, правительство начало урезать зарплаты государственных служащих и сокращать второстепенные рабочие места. Экономика, уже тяжело пораженная международной депрессией после нью-йоркского краха фондовой биржи в 1929 году, почти полностью застопорилась. К концу 1932 года промышленное производство упало на сорок два процента по сравнению с положением тремя годами ранее, а безработица достигла уровня более восьми миллионов, затронув почти половину всей рабочей силы. Повсюду люди начали вновь голодать, многие не могли обеспечить себя одеждой или топливом, а некоторые даже потеряли свои дома. Многим казалось, что вернулись самые темные времена Германии.

В этой атмосфере нищеты и отчаяния нацисты смогли извлечь выгоду из общего ощущения немецких граждан, что они еще раз преданы, на этот раз демократическим правительством Веймарской республики. Но нацисты не пришли к власти благодаря народному голосованию. Вместо этого они завоевали свое положение посредством интриг, политического закулисного маневрирования и откровенного запугивания. За спиной Брюнин-

га нацисты организовали теневой кабинет, которому, как только Брюнинг будет отстранен, предназначалось занять его место. В то же самое время нацисты умудрились убедить восьмидесятипятилетнего Гинденбурга, что будут в большей степени способны вывести страну из кризиса, если только развязать им руки. В мае 1932 года Гинденбург выдвинул перед Брюнингом требования, которые подготовили стареющему президенту противники канцлера. Как они планировали, Брюнинг и его кабинет уходят в отставку, оставляя нацистов в соблазнительной близости к их цели. Все еще притворяясь, что они заботятся о парламентской процедуре, нацисты провели тем летом энергичную избирательную кампанию и добились-таки своего самого большого успеха, завоевав 37.2 процента голосов на июльских выборах. Даже при том, что партия испытала неудачу в ноябре, когда получила только 33.1 процента, нацистские деятели продолжали осуществлять свои закулисные махинации. Наконец в январе следующего года, была подготовлена почва для их последнего удара. После нескольких интенсивных частных встреч с президентом Адольф Гитлер и члены его предполагаемого кабинета убедили Гинденбурга, что нацистская партия под руководством Гитлера как канцлера Германии вернет стране ее здорье. 30 января 1933 года, с глупой верой, что он действует ради спасения Германии, Гинденбург передал страну в руки человека, который почти полностью ее уничтожит.

Есть два мифа, постоянно возникающих вокруг Георге в связи с событиями, имевшими место в последний год его жизни. Один — что он резко отверг нацистов, предположительно испытывая отвращение к грубым брутальным бандитам, пополнявшим ряды партии. Другой — что он уехал в Швейцарию в изгнание, чтобы выразить свое неприятие национал-социалистов и всего, что они поддерживали. Ни та ни другая легенда не верны. Это легенды, созданные апологетами Георге, которые понятным образом стремились оградить Учителя от позора более поздних нацистских преступлений. Тем не менее это — фальсификации. Как обычно, правда более неприятна и менее поучительна.

Георге внимательно следил за политическими событиями в конце своей жизни, и в беседах часто комментировал складывающуюся политическую ситуацию в распадающейся Веймарской республике. Как и многие другие немцы, Георге долгое время надеялся, а на самом деле даже предсказывал, что появится сильная фигура, которая возьмет в свои руки бразды власти. Как и все большее и большее число его соотечественников, Георге надеялся, что ценности, которые он и его движение выдвигали, будут руководить деятельностью этого будущего лидера. Уже в феврале 1928 года Георге говорил Валлентину о страхе перед тем, что «ужасный немецкий рок» может еще раз свершиться, что, в частности, «идеи его движения не

найдут практического применения на родине, а будут взяты на вооружение и осуществлены за границей, как это уже случалось ранее». Чтобы этого не случилось, убеждал Георге, необходима одна вещь. «Всегда все зависит от великого деятеля (*Taterperson*), который возьмет эти идеи и переведет их в политическую действительность». В качестве примера той разновидности человека, которую он имел в виду, Георге упоминал Муссолини.

Как мы видели, еще перед войной Георге погрузился в политику, активно исследуя множественные пути превращения своих идей в реальность. Каждая публикация, каждый связанный с ним замысел, начиная с «Ежегодников», имел неявную, но со временем все более и более откровенную политическую цель. И Георге был в высшей степени чувствителен к тому влиянию, которое оказывал или стремился оказывать на свое окружение. Но он также понимал, что его Духовная империя была небольшой и элитарной и что кто-то другой должен будет превратить эту духовную реальность в конкретные политические реалии. В той же самой беседе с Валлентином в начале 1928 года Георге говорил, что его собственное воздействие было подспудным. «Однако то его воздействие на широкую публику, которое может проявиться позже, не представляло для него интереса. Он мог иметь влияние только на отдельных юношей и именно им должен будет предоставить решать, как все будет происходить далее». Но Георге на самом деле предполагал, что это влияние в конечном счете будет распространено на всю страну. Подразумевалось, что если на первой стадии влияние будет касаться тех, кто ему наиболее близок, то на второй стадии — распространится на тысячу человек, на третьей — до десяти тысяч и в конце концов его дух доберется до всех. Но, подчеркивал он вновь, «влияние на внешнем мире может оказываться только политической личностью, „деятелем“ (*Tater*), который однажды объединит идеи движения и будет использовать их, чтобы пробудить нацию».

Главной тревогой Георге было то, что сами немцы не в состоянии произвести на свет такую личность или признать ее, если она когда-либо появится. Муссолини был характерным примером. Это был человек, воплотивший, казалось бы, многие из идей, которые Георге и его круг выражали все эти годы, но те идеи превратным — или, возможно, слишком типичным — образом нашли свое воплощение не в немце, а в итальянце. «Иностранцы, — делал Георге пессимистичный вывод, обращаясь опять-таки к Валлентину, — были, возможно, в лучшем положении, чем немцы, чтобы увидеть тот новый тип человека, который мы создаем». В сентябре 1930 года, после первого триумфа нацистов на выборах, Георге также напомнил Валлентину о текущей внутренней политической ситуации, которая виделась ему очень мрачной, сказав: «То, что казалось до сих пор верным, было ложью, и реальный истинный облик нашего положения вскоре себя обнаружит». Как показывает последняя половина этого комментария,

Георге, как и большинство немцев, приписывал главную часть бедствий страны самому демократическому правительству. Ранее в том же году, в беседе с Эдит Ландман, Георге также говорил о «невозможных политических обстоятельствах», добавляя, «насколько стало просто смешным для каждого поддерживать эту демократию». Все же вопрос о том, чем ее заменить и кто возглавит страну, когда это случится, ни в коей мере не прояснился. В апреле 1931 года Георге и Валлентин еще раз разговаривали о нескончаемом «текущем политическом кризисе». Валлентин выразил сожаление, что Брюнинг был не в состоянии достичь многого, и сказал: «Ни на какой стороне не было человека, который мог бы принять меры и что-то сделать». Георге согласился, заключив: «Весьма сомнительно, что сегодня есть личность, способная справиться с запутанной ситуацией».

За два года до того, как нацисты захватили власть, никто — включая Георге — не мог предсказать, что вскоре они приобретут полный контроль над страной. И при этом Адольф Гитлер еще не являлся тем общеизвестным или наиболее желательным человеком, который исполнил бы роль, как представлял Георге и многие другие, спасителя страны. Когда нацисты на самом деле обрели власть, Георге сохранял свое обычное молчание и публично не высказывался ни в их пользу, ни против них. Такой публичный нейтралитет, оказывающийся, был чем-то вроде официальной политики, поскольку тот же самый совет — то есть не говорить ни «за», ни «против» партии — Георге давал и Курту Гильдебрандту, даже при том, что Гильдебрандт пошел дальше и вступил в нацистскую партию в апреле 1933 года. Роберт Берингер также сообщал, что «не слышал от поэта ни одного слова, которое позволило бы преследователям или преследуемым принять его за своего».

И все же Георге делал частные заявления, которые более чем подразумевают, что он занял определенную позицию по отношению к новому режиму. В мемуарах, опубликованных в 1980 году, Михаэль Ландман — ему было двадцать в 1933-м — писал: «При всем уважении к Георге, даже спустя почти пятьдесят лет я не могу говорить о нем, не обсуждая проблему его отношения к нацизму, проблему, которая преследует меня и по сей день». Ландман подчеркивал, что Георге принимал близко к сердцу политические неудачи своей страны — «он чувствовал, что судьба Германии была его собственной судьбой». И у Ландмана не было сомнений, что «хотя Георге и осуждал эксцессы, хотя и отвергал плебейский, массовый характер движения, но все еще приветствовал перемены как таковые». Матери Ландмана Эдит, явно разочарованной, Георге говорил в сентябре того же года, что «впервые те взгляды, которые он отстаивает, нашли отражение во внешнем мире». Даже Гитлера Георге не оценивал явно отрицательно; совсем наоборот. Когда кто-то предположил, что история теперь

делается не людьми, а, скорее, безличными, анонимными силами, Георге ответил: «Гитлер покажет всем вам, что может сделать один-единственный человек». Даже зверское отношение к евреям не заставило Георге осудить нацистов или их лидера. После того как Эдит Ландман возразила Георге против очевидного одобрения им партии, с сожалением указав на «жестокость ее форм», он покровительственно сказал ей: «В царстве политики все обстоит совершенно иначе». Евреи, полагал Георге, не заслужили какого-либо особого освобождения от этого фундаментального закона. «Я хочу сказать вам кое-что, — произнес он Эдит Ландман последние слова, которые она от него услышала. — По сравнению с тем, с чем столкнется Германия в ближайшие пятьдесят лет, весь этот еврейский вопрос в целом для меня не столь и важен». С Гильдебрандтом Георге был еще более резок. Возможно, ощущая досаду в отношении своих еврейских друзей, докучавших ему по поводу отказа осудить нацистов, Георге с раздражением сказал Хильдебрандту: «Евреи не должны удивляться, что я в большей мере примыкаю к нацистам».

Что касается самого немецкого народа, то многим из тех, кто знал поэзию Георге и кого она волновала, казалось самоочевидным, что Третий Рейх был осуществлением возвещенного Нового Рейха, что Гитлер был тем *Фюрером*, о котором Георге и его ученики постоянно писали и вспоминали. Журналисты по всей Германии поспешили создать такую связь, утверждая, что даже при том, что поэзия Георге все еще остается достоянием малочисленной элиты, ее влияние является огромным. «Есть, вероятно, немногие поэты, — гласила одна статья, опубликованная в день рождения Георге в 1933 году, — которые оказывали такое большое влияние на свое время, хотя их творчество в действительности было неизвестно широким слоям населения. Однако это народное невежество относительно творчества Георге не имеет значения, если известно, что сегодня почти в каждом немецком университете есть преподаватель, который сознательно или бессознательно передает какое-то подобие духа Стефана Георге молодежи, если имеется мнение, что немецкий язык, с которым мы сталкиваемся не только в литературе, но даже на политических съездах, немыслим без Георге». В сентябре «*Dresdner Nachrichten*» опубликовал очерк, названный «Стефан Георге как пророк нового Рейха», в котором вопросу о том, чтобы сделать поэзию Георге более доступной, придавалось большое политическое значение. «Пусть его творчество войдет в сознание нашего народа (*Volk*), станет более ясным и открытым, не ради самого поэта — он не нуждается ни в каких похвалах, — но так, чтобы к той же самой проблеме подойти с другой стороны, с той, с какой Адольф Гитлер ведет сегодня свою борьбу: *превращение немцев в народ, Volk*». Более прямой, всегда более благонадежный Питер Хамешер заявил в октябре: «Мир Георге можно назвать миром национал-социалистических идей. Понятие *фюрера* играет в

нем существенную роль. *Фюрер* — тот, кто устанавливает тональность, меру, форму».

Многие из таких панегириков, возможно, явились результатом циничного оппортунизма со стороны журналистов, которые хотели получить благосклонность от новых правителей. Более того, во время так называемой *Gleichschaltung*, или «синхронизации», все то, что нацисты не пожелали устранить как коррумпированное, декадентское или негодное для сохранения, приобрело такой вид, будто оно ожидалось самими нацистами или отражало их дух. Но все же подавляющее число людей думало, что Георге и «мир его идей» находились в весьма тесной близости к миру нацистов, и что они не видели особого риска в таких утверждениях. Действительно, некоторые высшие чиновники нацистской партии стремились завербовать самого известного немецкого поэта современности на службу своему делу и украсить себя его именем. Самая драматическая попытка завоевать его сотрудничество случилась уже через три месяца после того как они пришли к власти.

5 мая 1933 года Эрнст Морвиц написал Георге о том, что назвал «безотлагательным вопросом». Выяснилось, что новый министр науки, искусства и образования Бернхард Раст поставил перед помощником по имени Курт Цирольд задачу установить контакт с неуловимым, как всем было известно, поэтом. Цирольд в конце концов вступил в контакт с Морвицем и, после предварительных разговоров по телефону, однажды появился в квартире Морвица. «Правительство желало знать, — писал Морвиц Георге в своем отчете о посещении Цирольда, — будете ли вы каким-либо образом участвовать в Академии писателей, которая должна быть реорганизована или синхронизирована». «Синхронизация» в тот момент сводилось к тому, что на всех членов академии, которые были идеологически, в расовом отношении или как-то иначе нежелательны, оказывалось давление, чтобы заставить их уйти в отставку, либо они высылались за пределы страны, и поэтому им необходимо было найти замену. Пока среди изгоев были прежний президент академии Генрих Манн, так же как и его брат Томас, Альфред Дёблин, Георг Кайзер, Якоб Вассерман, Франц Верфель и многие другие. Привести Стефана Георге в повторно избранную академию было бы гениальным ходом. «Министр, — продолжал Морвиц, — хочет представить вас прессе как предшественника сегодняшнего правительства, они могли бы предоставить вам членство в академии или почетную должность без каких-либо обязательств с вашей стороны, президент Рейха или лично канцлер вышлет вам приглашение, они также могли бы предложить вам почетную стипендию». Министр культуры явно знал, насколько осторожный Георге желал избежать публичных затруднений, связанных с исключением. Морвиц передавал: «Цирольд дал понять, что прежде чем что-либо произойдет, у них должно быть ваше согласие, так как они ни в коем

случае не желают получить отказ — это вопрос безотлагательный, так как перестройка академии должна произойти в следующие несколько дней».

Прежде Морвиц часто представлял Георге в юридических вопросах и на различного рода переговорах с Бонди. Поэтому у него были полномочия дать Цирольду предварительный ответ от имени поэта, хотя Морвиц и уверял Георге, что не мог сказать ничего категорического «без ваших указаний». Морвиц сказал, однако, Цирольду, что Георге никогда не будет сидеть за одним столом с «литераторами» в новой академии (он, в частности, назвал Готтфрида Бенна и Гвидо Кольбенеяера), но что он может рассмотреть вопрос о простом почетном членстве. Деньги также не привлекали Георге. «Как нечто более позитивное, — сказал Морвиц Георге, — я предложил Цирольду, что нужно упоминать о вас более возвышенным образом, если вообще необходимо говорить о вас публично. Министр может сказать прессе, — сделал услужливое предположение Морвиц, — что правительство рассматривает вас как предшественника — вы не смогли бы предотвратить это, так как любой может истолковывать ваше творчество по своему желанию. Министр мог бы пойти еще дальше и сказать, что он колеблется включать вас против вашей воли, так как вы имеете право дать потомству такой образ вашей жизни, который до сих пор избегал публичности, и дать его тем способом, какой вы видите целесообразным. Кажется, — заметил Морвиц, — это произвело впечатление на джентльмена, тем более, что я вложил это в его уста, как будто его собственные мысли». Кажется, Цирольда слегка озадачило, что Георге может отказаться от такой высокой чести, и он упомянул случай с премией Гёте, которую Георге явным образом принял. Морвиц здесь также имел готовый ответ и «напомнил об удивительных нападках, которые имели тогда место». Явно удовлетворенный, Цирольд предпочел удалиться и ожидать ответ поэта.

Столь же замечательный, как и письмо Морвица — раскрывающее, насколько высоко ценилась манипуляция информацией и какие усилия прилагались к тому, что сегодня мы назвали бы созданием «публичного имиджа» Георге, — собственный ответ Георге был еще более экстраординарным. Хорошо зная, что министр, как говорил Морвиц, намерен передать слова Георге прессе, и что у его письма поэтому был статус официального публичного заявления, которое будет рассматриваться буквально как пресс-релиз, Георге написал Морвицу записку, указав: «Для меня, дорогой Эрнст, важно, чтобы это было передано дословно по соответствующему адресу».

Вкратце: Я не могу принять должность, даже почетную, в так называемой академии, как не могу принять и стипендию. То, что эта академия располагается теперь под национальным знаменем, следует только приветствовать — возможно, позже это приведет к благоприятным результатам. Почти

полстолетия я управлял немецкой литературой и немецким духом без академии, и это, вероятно, на самом деле вызывало возражения.

Теперь о положительном: Я совершенно не отрицаю, что являюсь предшественником нового национального движения, и также не отвергаю свое духовное сотрудничество. Что я мог сделать для него, то сделал — молодежь, которая собирается вокруг меня, сегодня имеет то же самое мнение, что и я... Вымыслы о моей односторонней позиции сопровождали меня всю жизнь — только неопытный взор видит ее такой. Законы духовной и политической сферы, конечно же, различаются — где они встречаются и где дух спускается, чтобы стать общеизвестным знанием, там перед нами чрезвычайно сложный процесс. Я не могу сказать джентльменам из правительства, что они должны думать о моем творчестве и как оценивать его значение для себя.

Для тех, чей главный интерес — реабилитировать поэта от любой причастности к национал-социализму, это письмо — точнее, избранная его часть, поскольку полностью оно было воспроизведено только однажды — указывает на фундаментальный отказ Георге от нацизма. Поскольку он отклонил предложение присоединиться к академии, то логично предположить, что отвергал и стоящее за ним правительство. Но даже самое невзыскательное прочтение этого письма не будет служить полной поддержкой такому заключению. Даже в первом, «отрицательном», параграфе Георге явно приветствовал «перестройку» академии под «национальной» эгидой, иными словами, подписывался, разве что только неявно, под изгнанием евреев, коммунистов и всех других неприкасаемых из ее органов. И во втором, «положительном», разделе Георге категорично признавал близость своих собственных взглядов и идеологии нового режима; дело не только в том, что он утверждал, что был его прародителем. Георге указывал также, как он указывал и Эдит Ландман, что переход от духовного к политическому не был легким и не обязательно будет приятным. Но этого и следовало ожидать. Георге, который никогда не отрицал свои анархистские корни, всегда расценивал политику как насилие; на самом деле он считал насилие решающим для политического действия. Все же, как он неоднократно говорил Валлентину, то, что другие делали с его идеями, не было его заботой. Его задачей было предвидеть тайную Германию; работой других было сделать ее реальной.

Но еще более важным, чем подтверждение Георге, что он был «прародителем нового национального движения» — совершенно независимо от того, так ли это на самом деле, — является тот факт, что он вообще сделал заявление. Кроме письма Гинденбургу в 1928 году с благодарностью президенту за пожелания на день рождения, которые тот отправил, Георге сам не общался ни с кем из тех, кто представлял какое-либо немецкое правительство. Напротив, он изо всех сил старался избегать любых контактов с чиновниками или бюрократами любого рода. Первой почестью, которую

он позволил себе оказать, была премия Гёте, но и ее он не принял лично и даже не передал каким-либо образом подтверждение о награде городским чиновникам, которые ему ее предоставили. Конечно, Георге отказался стать членом академии; было бы чистым бредом предположить, что Георге будет даже обдумывать свое вступление в нее. Любой, кто знал его, понимал, что немыслимо, чтобы Георге принадлежал к какой-либо организации, которую не сам создал и которая не находится полностью под его юрисдикцией. Но он предоставил правительству нечто гораздо более ценное — и беспрецедентное во всей его жизни, — чем согласие заседать в академии: он впервые признал какую-то Германию помимо своей собственной и открыто дал этой Германии свое благословение.

Письмо Георге датировано 10 мая. В тот вечер в нескольких крупных городах по всей Германии — в Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Дрездене, Бреслау и других — организованные группы студентов, принадлежавших к национал-социалистической партии, сжигали большие груды книг «ненемецких» писателей, включая произведения авторов, которые были изгнаны из академии. Семью днями ранее, 3 мая, Эрнст Бертрам начал свой курс лекций по истории немецкой литературы в университете Кёльна с речи, названной «Немецкое пробуждение». Бертрам приветствовал последние политические события и призвал своих студентов принять активное участие в вершащихся преобразованиях. «В грандиозном политическом и духовном сражении, посреди которого мы теперь пребываем, — говорил Бертрам студентам, — нашему народу (*Volk*) требуются все духовные силы и знания, особенно знания. В частности, — говорил Бертрам, — ни одно духовное движение в Германии не будет оставаться долгое время сильным, если не сможет завоевать немецкий университет сверху донизу». Убеждая своих слушателей присоединиться к борьбе, Бертрам напомнил им, что ставки были высоки. «Крах *этого* сражения, — предупреждал он, — будет означать конец Белого Мира, хаос или планету термитов». Необходимо поэтому «всегда напоминать, что мы находимся посреди войны (возможно, в сражении за жизнь и смерть наших самых высших германско-немецких ценностей)». Бертрам предсказывал, что в будущих исторических книгах «эта война освобождения немецкого народа за его внутреннее и внешнее право будет расцениваться как нечто ни с чем несравнимое — как революция». Он также установил то, что эта «революция» стремилась преодолеть: она была «против лживого Просвещения, против всего высокомерия западной цивилизации и цивилизованного догматизма». Это были качества, утверждал Бертрам, которые не имели никакого отношения к истинному немецкому духу, к внутреннему характеру немецкого народа. «И, — добавлял он, — то, что народ на самом деле переживал и признавал в качестве своего непримиримого врага, нужно позволить уничтожить». Это был урок, завершал Бертрам, преподанный поэтом

«Звезды союза» и «Нового Рейха», «пророком народа, который избрал старый германский и древнегерманский священный символ вращающегося солнечного креста в качестве символа своих надежд». Бертрам, таким образом, стремился выдать кредит доверия Георге для продолжавшейся «революции». Ведь Георге, подчеркивал Бертрам, «призвал к движению вперед и объединил настоящее и будущее, поэтому он принадлежит к отцам сегодняшнего и завтрашнего дня». И Бертрам побуждал своих студентов идти и разрушать все, что сопротивлялось революции в честь его имени. Неизвестно, участвовал ли кто-то из студентов, слушавших эту речь, в книжных поджогах недель спустя, но если участвовал, то делал это, веруя отчасти, что таким образом помогает воплотить в реальность видение Георге.

У Георге была одна причина претендовать на духовное отцовство в движении, но не та, на которую указывал Бертрам. Когда Георге узнал о его речи, то оказался в затруднительном положении и не знал, что делать. Когда Михаэль Ландман сообщил об этой речи, Георге якобы сказал: «Если я сохраняю молчание относительно того, что Бертрам говорил в пользу нацистов, это будет истолковано как согласие. Если же я публично выражу свое неодобрение, то таким образом подвергну своих друзей опасности». Опять же, это заявление часто рассматривается как доказательство, что Георге относился к нацизму неодобрительно, но боялся открыто говорить об этом по причинам, которые упоминал. Но гораздо более вероятное истолкование его слов, учитывающее все, что мы знаем о многих других замечаниях Георге, о его длительных и всегда неприязненных отношениях с Бертрамом, о всей жизни Георге в целом, выставило бы все вопросы в ином свете. Георге не разрешал говорить от своего имени, если заранее не одобрил самого человека и его слова. Он не желал, чтобы Бертрам, которого он не видел более десятилетия, использовал его имя без разрешения. Но публичное осуждение или упреки могли бы, как понимал Георге, вызвать нежелательные последствия. Георге не уточнил, какие «друзья» будут подвержены «опасности», если он выскажется против Бертрама, и некоторые пришли к заключению, что он, должно быть, имеет в виду своих еврейских друзей. Однако он мог иметь в виду и многих иных друзей, которые присоединились к нацистской партии и кого бы он поставил в неловкое положение, если бы на самом деле сказал нечто такое, что по ошибке могло быть принято за критику нового правительства.

В конечном счете Георге не сказал ничего такого, что позволило бы интерпретировать его позицию и доставить его друзьям — нацистам или евреям — какие-либо неприятности, поскольку, вдобавок к самому Эрнсту Бертраму, многие прежние партнеры Георге, а также и те, с кем он продолжал поддерживать отношения, подходили под первое описание: Вальтер Эльце, Курт Гильдебрандт, Вольдемар фон Укскулль и Альбрехт фон Блю-

менталь участвовали в нацистском движении. Франк Менерт и Макс Коммерелль также заигрывали с идеей присоединения. «Я, — писал Коммерелль в то время, — несмотря ни на что, доволен нацистами». А Людвиг Тормелен энергично убеждал тех, кто еще колебался, завербоваться. Не все, конечно же, делали такой выбор, и именно еврейские друзья Георге наиболее остро переживали боль от его молчания. Эрнст Канторович был единственным выжившим евреем среди близких друзей Георге, которые преподавали в университете, — Канторович стал профессором во Франкфурте в 1930 году, — и он с возрастающим отвращением наблюдал, как новое правительство стремится очистить университет от таких людей, как он сам. 7 апреля был принят так называемый Закон о восстановлении профессиональной государственной службы. Он предусматривал, что все государственные служащие — а все преподаватели попадали под эту категорию, — «чья предыдущая политическая деятельность не предоставляла доказательств, что они всегда безоговорочно стояли на защите национального государства [...], должны быть отстранены от должности». При этом те, чьи политические симпатии явно не соответствовали национал-социалистическим, должны быть уволены. Аналогичным образом, закон предусматривал, что «государственные служащие, которые не имеют арийского происхождения, должны быть отправлены в отставку». Единственное исключение делалось для тех, «кто сражался на фронте во время мировой войны за немецкую империю или за ее союзников или чьи отцы или сыновья пали в мировой войне».

Канторович, который отличился как солдат во время войны, хотя и был евреем, таким образом, избежал непосредственного увольнения. Но он, однако, испытывал отвращение к закону и ко всему, что этот закон подразумевал. Две недели спустя, 20 апреля 1933 года — дата, которую Канторович, конечно же, знал как день рождения Гитлера, — он послал министру науки, искусства и образования следующее письмо. Письмо длинное, но его следует процитировать полностью как пример того, как можно было не хранить молчание, не прятать слова за изгородью уклончивого многословия, не флиртовать с бандитами.

Хотя как доброволец во время войны с августа 1914 года, как солдат на фронте в продолжение всей войны, как сражавшийся после войны против Польши, спартаковцев и советской республики в Позене, Берлине и Мюнхене я не должен столкнуться с увольнением с должности из-за моего еврейского происхождения; хотя на основании моих публикаций об императоре Фридрихе II Штауфере я не нуждаюсь в свидетельстве своих убеждений позавчера, вчера или сегодня в Германии, которая вновь обрела национальное руководство; хотя моя позиция, имеющая основание за пределами любых преобладающих тенденций и событий дня и являющаяся, в сущности, положительной по отношению к национальной Империи, не могла быть поколеблена

самыми последними происшествиями, и хотя я наверняка не ожидаю нарушения своих преподавательских обязанностей со стороны студентов, поскольку любые потенциальные соображения, которые могли бы быть сделаны относительно безмятежной академической деятельности всего университета, ко мне неприменимы, я тем не менее рассматриваю себя как еврея, вынужденного сделать свои выводы из того, что произошло, и приостановить свою преподавательскую деятельность в ближайший летний семестр. Поскольку каждый немецкий еврей может рассматриваться — как это и происходит в текущий момент революции — почти как «предатель» просто из-за своего происхождения; поскольку каждого еврея считают низшим по расовому признаку; поскольку даже факт наличия еврейской крови в венах указывает на порочные убеждения; поскольку каждый немецкий еврей видит себя подверженным ежедневным посягательствам на его честь без возможности получения личного или юридического удовлетворения; поскольку в академических гражданских правах отказывают еврейским студентам, а использование немецкого языка разрешается им только в качестве «иностранный язык», как того требуют объявления, печатаемые в университетском здании Немецким студенческим союзом; поскольку от евреев, являющихся руководителями семинаров, официально ожидается, что они примут активное участие в действиях, враждебных по отношению к евреям, и поскольку каждый еврей, именно потому что он полностью поддерживает национальную Германию, неизбежно попадает под подозрение в том, что он действует из страха или просто стремясь к личной выгоде, когда заявляет о своих убеждениях; поскольку каждый немецкий и действительно национально мыслящий еврей, чтобы избежать такого подозрения, должен скрывать свои национальные убеждения, скорее из-за стыда, чем из-за невозможности высказывать их без запрета: то все это кажется несомненным с должностью профессора университета, которая основывается исключительно на внутренней истине, и было бы стыдно перед студентами продолжать преподавать в молчании, словно ничего не произошло.

Это был благородный, храбрый — и потенциально опасный — жест политического неповиновения и моральной честности. Симптоматично, что Канторович, казалось бы, мало был заинтересован в любых последствиях, которые его поступок мог вызвать, и волновался больше по поводу того, как он мог повлиять на Георге. В июне Канторович доложил Георге: «Надежные источники сообщили мне, что внутри Министерства мое заявление вызвало чрезвычайное неудовольствие, потому что люди боялись, что „моя приостановка преподавания помешает Учителю присоединиться к писательской академии!“» Канторович, который счастлив был причинить некоторое неудобство нацистам, все же не хотел сделать жизнь своего Учителя более затруднительной. Со своей стороны, Георге, казалось, действительно сожалел, что Канторович был вынужден — больше из-за своих собственных убеждений, чем из-за какого-то внешнего принуждения — покинуть академический пост. Известно, что Георге написал Кан-

торовичу, узнав о его решении: «Вы, конечно, не должны полагать, что я чувствую себя хорошо, когда мои лучшие друзья чувствуют себя так плохо». Это было слабое утешение.

Канторовичу не нужно было беспокоиться о возможных последствиях, которые его действия могли оказать на положение Георге. В то время когда Георге написал письмо Морвицу, содержащее текст, который следовало передать министру, возникло новое препятствие. Очевидно, после получения послания Георге министр попросил дальнейших разъяснений и поинтересовался, нельзя ли представить публике только часть письма Георге. 15 мая, спустя пять дней после начала переписки, Георге отправил другое письмо Морвицу, чтобы тот действовал тем же самым образом. «Вы можете представить себе, — писал Георге, — что мне нечего добавить и что я не могу посчитать приемлемым, чтобы отдельные предложения были опубликованы. Если я делаю свои суждения известными этим господам, то это может иметь для них значение, но я не вижу, какое право может иметь так называемая публика на беглое знакомство с тем, о чем в целом она ничего не знает». Морвиц понял сообщение и десять дней спустя отчитался, что, после того как он предоставил окончательную версию заявления Георге, ему удалось получить обещание, что оно не будет опубликовано, так как все признали, что «публикация не была желательна для всех заинтересованных лиц». Тем не менее Морвиц подтвердил: «Они весьма положительно настроены и не желают по этой причине, чтобы связи были разорваны. Была слегка затронута возможность об обращении к вам за советом, если такой случай представится, и они попросили, чтобы я сохранял абсолютную осторожность по отношению ко *всем третьим лицам*. С моей стороны, я сохранил для вас открытыми все возможности для положительного решения. Когда вы сами приедете в Берлин, возможно, они обратятся к вам с новыми планами».

Таким образом, даже после того как Георге отклонил приглашение присоединиться к академии и затем запретил публикацию своего заявления, если оно не будет приведено полностью, Министерство все еще желало сохранять теплые отношения с поэтом. Судя по словам Морвица, Георге также был заинтересован оставлять двери открытыми. Возможно, именно в предвидении обсуждения «новых планов» Морвиц туманно сослался на то, что Георге приедет в Берлин 8 июля, чтобы провести свой день рождения в столице. Это также находилось в глубоком контрасте с его привычкой нескольких последних лет поселиться в каком-то отдаленном убежище, чтобы избежать предсказуемых надоедливых визитов. Вместо этого он прибыл в такое место, где почти гарантированно будет осажден доброжелателями из нового правительства — и такая вероятность была особенно высока, так как Георге исполнялось шестьдесят пять, что сообщало его дню рождения немалое символическое значение. Были даже слухи об офи-

циальной церемонии, запланированной в его честь, чего Георге обычно избегал как чумы. И тем не менее он совершил поездку в Берлин. Тормелен отметил, что «у поэта были противоречивые мнения о том, чего следовало ожидать». Но, опять-таки, для Георге сделать себя доступным для такого события было беспрецедентным.

По какой-то причине церемония не состоялась, но Георге получил много писем, подарков, поздравлений и иных знаков внимания. Одно письмо было от министра пропаганды Рейха, доктора Йозефа Геббельса, который отправил «свои самые искренние поздравления и самые теплые пожелания поэту и пророку, мастеру слова, доброму немцу в его шестьдесят пятый день рождения». Геббельс долгое время был поклонником Георге и его первого ученика Гундольфа. В начале 1920-х годов после прочтения книг Гундольфа и посещения его лекций в Гейдельберге Геббельс, даже при том, что уже был убежденным антисемитом, хотел учиться у известного ученого. Но Гундольф был освобожден от обязательства руководить докторантами вследствие соглашения, которого достиг с университетом после получения предложения из Берлина, поэтому отослал Геббельса к своему коллеге, профессору Вальдбергу. Гундольф, вероятно, бросил только один взгляд на неуклюжего, изможденного молодого человека, чтобы убедиться, что Геббельс не был его — или Георге — типом. Геббельс был не единственным высокопоставленным лицом в пределах партийной иерархии, который с почтением относился к творчеству Георге и даже некоторых из его еврейских последователей. Гитлер имел в своей личной библиотеке перевод Шекспира, выполненный Гундольфом, и он был — как и Герман Геринг, и Генрих Гиммлер — приверженцем «Фридриха II» Канторовича. Когда Гитлер с удивлением увидел, как один из его генералов читает книгу во время войны, тот испугался, что Гитлер будет возражать. Вместо этого *Фюрер* сказал, что прочитал эту книгу дважды.

Сам Канторович отметил день рождения Георге, отправив ему письмо, которое демонстрировало решительную лояльность и Георге, и общим для них убеждениям. Канторович допускал вероятность того, что ему больше не разрешат сопровождать Учителя в его будущих путешествиях. Но преданность его Георге была такова, что если Германия, у которой больше не было нужды в подобных Канторовичу, стала действительно той, которую предвидел Георге, то тогда Канторович был готов принять и ее и судьбу, которую она ему уготовила. Поэтому в последний день рождения Георге, Канторович сделал такое экстраординарное пожелание:

«Пусть Германия станет такой, о какой мечтал Учитель!» И если текущие события не просто гримаса этого желанного идеала, но действительно являются истинной тропой к его исполнению, то я желаю, чтобы все повернулось к лучшему. И потом не имеет никакого значения, будет человек —

скорее, сможет ли — идти вперед или отступит в сторону вместо одобрения. «Imperium transendat homine», — сказал Фридрих II, и я буду последним человеком, кто будет ему возражать. Если судьба преграждает вход в «Рейх» и мне как «еврею или цветному» — так устанавливает новое лингвистическое сочетание — необходимо быть исключенным из государства, основанного на одной только расе, то нужно будет воззвать к *amor fati* и принять соответствующее решение.

На следующий день Канторович сообщил декану своего факультета, что его имя не будет включено в перечень лекционных курсов университета в течение осеннего семестра. Хотя Канторович и оставался в Германии до 1938 года, когда он наконец эмигрировал в Англию, но никогда больше не преподавал в немецком университете.

25 июля, после того как публичные и приватные похвалы поутихли, Георге отправился в Вассербург на озере Констанц, где к нему присоединились Франк Менерт, Бертольд Штауффенберг и через какое-то время его брат Клаус, а также некоторые другие молодые друзья Георге. Один из его новых знакомых, Вилли Детте, также был там и вспоминал, что «Учитель был в хорошем настроении». Последовало четыре недели купаний, длительных прогулок и бесед или просто сидений у озера, наблюдений за скольжением парусных кораблей по серебристой воде. Все, включая Георге, казались счастливыми и отдохнувшими. В конце августа, когда погода изменилась и стало слишком влажно, Георге переправился через озеро Констанц в Швейцарию и остановился в Хайдене, возле Санкт-Галлена. До конца сентября Георге путешествовал еще дальше на юг, на сей раз один, и к концу месяца вернулся в Минусио, несколько раньше, чем в прежние два года.

Второй миф относительно поведения Георге в это время, столь же устойчивый и необоснованный, как и первый, состоит в том, что он прибыл в Швейцарию в изгнание, таким образом физически отвергнув новый режим на своей родине. Сам Георге, конечно, не объяснял свои действия выгодой для других — он никогда этого не делал, — но это умалчивание только облегчило другим возможность наполнить его молчание любой подходящей для их целей версией. Одним из самых ранних и самых влиятельных носителей такого рода вымыслов был Эрнст Морвиц. После бегства в Соединенные Штаты в 1930-х годах Морвиц приступил к переводу сборника стихов Георге на английский язык, который издал в 1943 году. В предисловии он представил поэта англоязычному миру. Когда Морвиц писал о заключительном годе жизни Георге, то категорически утверждал: «В качестве однозначного протеста против тоталитарного принуждения и против возрастающего несоответствия и искажения его идей и слов, он покинул свою страну и провел остальную часть жизни в добровольном изгнании в

Швейцарии». С тех пор, отдавая должное не только авторитету Морвица как одному из самых близких друзей Георге, но и желанию по какой-либо причине поверить, что это было правдой, — или просто из-за неведения, — это заявление бесконечно повторялось словно непоколебимый факт.

И все же нет ничего, подтверждающего представление, что Георге прибыл в Швейцарию, чтобы покинуть Германию как изгнанник; на самом деле все, что известно, противоречит этому предположению. Для начала сама Германия, как в ее национально-социалистическом воплощении, так и в любом другом политическом облики, которые она носила во времена жизни Георге, никогда не была местом, с которым он стремился себя отождествить, и еще меньше, где желал бы жить. Странствующая жизнь была только одним из выражений его постоянного отвращения к большинству народа, населявшего страну под названием Германия. Не было поэтому ничего особенно необычного в его отъезде из Германии в сентябре 1933 года. И что, в частности, касается Швейцарии, то поездка туда была частью естественной и укоренившейся привычки к перемене мест. Георге ездил туда, фактически, каждый год с самого начала столетия. Мы помним, что именно в Швейцарии Георге узнал о внезапном начале Первой мировой войны. И в 1926 году, задолго до того когда кто-либо мог подумать о нацистах как о серьезном политическом движении, он размышлял о том, чтобы постоянно обосноваться в Базеле. Более того, Георге даже не считал, что Швейцария является, в сущности, зарубежной страной. Франк Менерт — гораздо более близкий к Георге в его последние годы, чем Морвиц, хотя и не полностью беспристрастный относительно наследия Георге, — писал в 1937 году: «Учитель всегда чувствовал, что до определенной степени Швейцария принадлежала к великой немецкой культурной сфере. Георге считал, — продолжал Менерт, — что Швейцария, даже если она и вела отдельное существование в соответствии с конституционным правом, полностью никогда не прекращала быть частью *Рейха* в духовных параметрах». Георге часто говорил, что не расценивает свое пребывание в Швейцарии в строгом смысле как нахождение «за границей». И мы также знаем, что эта зима должно была стать его третьей зимой подряд в Минусио, в городе, который ему дорог не потому что находится за пределами Германии, но прежде всего из-за его уединенности и относительной теплоты. (Предыдущая зима была тем не менее неприятно холодной, выпало даже немного снега. Георге простудился и жаловался на коварную погоду, от которой, говорил он, «придется в следующий раз убежать на яхте, вероятно даже в Египет».)

Главное, однако, в том, что Георге не чувствовал и не имел необходимости искать политического убежища в Швейцарии или где-либо еще. Обнадеживающее представление, что Георге спасался бегством, основывается на допущении, будто он решительно протестовал против нацистской

диктатуры, но, как мы видели, это допущение просто не соответствует действительности. Не то, чтобы он думал, будто все в новой Германии прекрасно, у него вообще никогда не было особенно радостного представления о будущем. На самом деле, все признаки, напротив, указывали на то, что, по мысли Георге, у него было меньше оснований убежать из современной Германии, чем из любого государства, находившегося на этой земле в прошлом. Но он всегда жил согласно своим собственным правилам и соответствуя своим собственным пожеланиям, и столь несущественное обстоятельство, как смена правительства, не могло изменить то, что он делал или куда ездил.

Почти сразу же после своего прибытия в Минусию в конце сентября 1933 года, Георге столкнулся с внезапным и сильным рецидивом своей старой болезни. Роберт Берингер, который навестил его 3 октября, обнаружил Георге в постели, усталого и слабого. Георге метался в лихорадке, потерял аппетит и испытывал даже не сильные боли, а изнурительное ощущение жжения и зуда. Поднятый по тревоге Берингером, Франк Менерт прибыл из Берлина несколько дней спустя, чтобы заботиться об Учителе. Карл Вольфскель — который пребывал в изгнании в соседнем Локарно — обнаружил местонахождение Георге и также хотел видеть его. Вольфскель уже несколько раз писал просьбы о разрешении визита, но до сих пор не получил ответа на свои письма. 20 октября, взволнованный, что дело могло принять серьезный оборот, Вольфскель умолял Георге дать ему аудиенцию: «Учитель, мое сердце трепещет, я пребываю в большой тревоге, почему мне не позволяют ничего услышать, почему я не могу видеть вас? Я в ужасном состоянии, я мечусь из угла в угол, но, Учитель, я поддерживаю вас, я вздымаю вверх руки и я прошу вас [...] Внешне все не очень хорошо, и я почти ослеп. Учитель, я умоляю вас». Георге наконец ответил на этот мучительный вопль, продиктовав ответ Менерту.

Дорогой Карл, судьба действует так, что никто из нас не может ничего сделать. Мы несколько недель жили близко друг от друга, и все послания прибывали должным образом. Но едва я приехал сюда, как мне пришлось лечь в постель с неприятной инфекцией мочевого пузыря. Каждый день я надеялся, что мое состояние улучшится настолько, чтобы позвать вас. Но по сей день не было и следа какого-либо заметного улучшения. Должен поэтому попросить, чтобы вы еще немного потерпели [...] Я еще не могу вести беседу. Поэтому прошу вас дожидаться новостей.

Вольфскель, который вскоре должен был совсем уехать из Европы, чтобы обосноваться в далекой Новой Зеландии, никогда больше не видел Георге живым.

Под наблюдением Менерта, кому помогала женщина по имени Клотильда Шлейер, занимавшаяся в основном приготовлением пищи и убор-

кой, Георге медленно возвращался к сноскому состоянию здоровья в следующие недели. К началу ноября он снова мог принимать пищу, пить немного вина за едой и даже баловать себя случайной сигаретой. Его настроение также прояснилось, и он снова проявлял активный интерес к некоторым из новых публикаций, которые выходили в свет. Коммерель — «Жаба» — только что закончил книгу о Жан Поле, которую Георге вслух читал Менерт. Георге сказал, что «хочет хотя бы приблизительно установить, что психическое состояние Жабы в порядке, чтобы знать, что еще можно от него ожидать». Книга Эрнста Морвица о поэзии Георге также должна была выйти, и Георге внимательно читал корректуру, комментируя отрывки, которые ему особенно понравились. Клотильда Шлейер, которая родилась в Барселоне, регулярно покупала испанские иллюстрированные журналы, и, по мере того как Георге поправлялся, он с восхищением пролистывал изображения испанских городов и деревень, а иногда даже ломал голову над какой-нибудь статьей.

Когда миновал ноябрь, Георге демонстрировал устойчивое улучшение, и Роберт Берингер проконсультировался с урологом в Базеле, доктором Шутером, который обследовал Георге в начале 1924 года. Когда его попросили высказать свое мнение, Шутер указал, что сможет предоставить надежный диагноз состояния пациента, только если Георге приедет в клинику лично. Берингер попытался убедить Георге поехать в Базель, но безуспешно.

26 ноября, в воскресенье, после тяжелого блюда из жареной утки, пюре и немного большего, чем обычно, количества вина — хотя и разлитого в Сан-Пеллирино — Георге заканчивал обед десертом из рисового пудинга, а Менерт начал убирать со стола. Менерт взглянул на него и увидел то, что первоначально принял за нечто привычное. Георге резко откинулся назад, все еще оставаясь в своем кресле, а его голова медленно наклонялась вперед серией судорожных толчков. Вначале Менерт не был чрезмерно озабочен, так как Георге «часто делал подобные движения, когда уставал, — движения, обычные для того, кто засыпает сидя». Но в следующее мгновение Менерт испугался, поскольку увидел, что недоеденный рисовый пудинг вываливается из полуоткрытого рта Георге. Полагая, что Георге сейчас вырвет, Менерт позвал фрау Шлейер, чтобы та принесла горшок. Менерт с тревогой спросил Георге о самочувствии, если еда не пошла ему впрок, в то время как фрау Шлейер, увидевшая, что Георге потерял сознание, сказала только: «Теперь никаких вопросов».

После того как Менерт отнес его на кровать и начал раздевать — во время обморока он вспотел и обмочился, — Георге внезапно пришел в себя. В ответ на вопрос, не чувствует ли он тошноты, Георге сказал, что ничуть, — он чувствовал себя прекрасно. Менерт оставил его, чтобы тот попытался заснуть, и спустился, чтобы закончить уборку. Когда Менерт

заглянул к нему позже, Георге все еще бодрствовал, теперь жалуясь на боли в боку. Тем временем фрау Шлейер вызвала врача из местной клиники, который приехал и предписал болеутоляющее и черный кофе. Оставшаяся часть дня и начало вечера прошли без событий — чай как обычно в четыре часа, а на обед у Георге было немного овсянки и яблочный соус. В половине десятого вечером Менерт услышал рвотные позывы, а затем рвоту в глиняный горшок у кровати. После того как Георге вновь успокоился, он, казалось, заснул. Около одиннадцати вечера из комнаты Георге раздался другой звук, как будто он двигался. Когда Менерт вошел, то увидел, что Георге вновь был без сознания и сильно дрожал. Приступ продлился немногим более получаса, Менерт и фрау Шлейер не могли оказать никакой помощи. Они вновь вызвали врача, который не слишком встревожился и просто предписал успокоительное средство. Георге после этого спал до двух часов утра, проснулся, его вырвало во второй раз и с ним случился еще один приступ лихорадки. Напуганный Менерт встал на колени у кровати и сделал единственное что мог — он обнял Георге, чтобы попытаться согреть его своим собственным телом.

Позже тем же утром, в понедельник, они привезли Георге в клинику Святой Агнессы в соседнем Локарно. Дыхание Георге стало тяжелым, он постоянно терял сознание. Опасаясь самого худшего, Менерт начал рассылать телеграммы другим друзьям Георге. В среду 29 ноября Роберт Берингер, который был в командировке в Париже, получил в своем отеле сообщение: «Здоровье ухудшалось с воскресенья, состояние дает повод для беспокойства. Присутствие желательно». Когда Берингер прибыл на следующий день, то был столь встревожен, что сразу же стал договариваться с Менертом, кого еще следует предупредить. В следующие три или четыре дня, когда Георге еще подавал какую-то надежду, что, возможно, не все еще потеряно, в деревню на берегу озера прибыли многие его друзья. Георге все еще мог разговаривать и, казалось, отдавал отчет, что вокруг него происходило, но с трудом засыпал и казался изможденным. 1 декабря сердце Георге начало отказывать, и на следующий день его пульс постепенно становился все слабее, а дыхание превратилось в мучительное глотание воздуха. 3 декабря друзья собрались в комнате Георге и друг за другом молчаливо подходили к нему. Георге, казалось, узнавал каждого, но ничего не говорил, воскликнув только однажды: «Вы дети» и «Ни слова больше». Затем, пробормотав: «Довольно, довольно», — он вытянул руки вперед, словно хотел увеличить пространство возле себя. Все отступили к стене затемненной комнаты. Утром в 1:15, 4 декабря, Георге перестал дышать.

В тот же самый день многие немецкие газеты объявили об ужасном событии в размещенных на первой полосе заголовках. Почти все они вос-

пользовались возможностью протянуть связь между Георге и текущей политической ситуацией. «Вся Германия, — сообщала одна вечерняя газета, — с глубоким потрясением узнала новость о смерти Стефана Георге, исполнившего высшую миссию поэта быть *духовным Вождем*. Он не только даровал немцам поэзию самого высокого образца, но был также пророком такого воззрения о мире и человечестве, которое воплощается в эти последние месяцы. В любом случае нет никакого совпадения, что его последнее крупное поэтическое произведение, появившееся в 1928 году, было озаглавлено „Новый Рейх“». «Berliner Tageblatt» торжественно объявил: «Смерть Стефана Георге может быть только сокрушительным ударом для каждого, кого она трогает, а это — [весь] немецкий народ». Другие газеты были еще более выразительны. Орган нацистской партии «Der Angriff» жирным шрифтом напечатал лозунг: «Георге Пророк — Гитлер *Вождь*».

Когда новость о его смерти распространилась по всему миру — каждая крупная центральная газета в Европе и многие местные газеты напечатали статью о Георге, часто сопровождавшуюся фотографией поэта, — немецкие правительственные чиновники постарались использовать в своих интересах это всемирное внимание, присоединившись к публичным траурным мероприятиям. В телеграмме, которая также была сделана достоянием прессы, единственному живому родственнику Георге, его сестре Анне, сам Геббельс написал 5 декабря: «Выражаю мое самое искреннее сочувствие ужасной потере, которую вы испытали в связи со смертью вашего брата, великого поэта Стефана Георге. Вместе с вами глубоко скорбит вся Германия». Два дня спустя Геббельс сделал другое заявление. «По случаю внезапной кончины немецкого поэта Стефана Георге, — гласило оно, — министр народного образования и пропаганды решил, что запланированная премия в двенадцать тысяч рейхсмарок, вручаемая ежегодно имперским Министерством народного образования и пропаганды за лучшую книгу прошедшего года, должна называться „Премией Стефана Георге“». Не случайно, что сумма премии была больше, чем вознаграждение, прилагаемое к премии Гёте. И теперь, когда Георге уже не мог возражать против публикации выдержек из письма, которое написал в ответ на предложение присоединиться к Академии писателей, министр науки, искусства и образования Бернхард Руст воспользовался случаем, чтобы отправить сестре Георге телеграмму, которую одновременно также сделал доступной для газет. Выражая Анне соболезнования, Руст писал: «В лице Стефана Георге ушел не только один из самых великих поэтов нашего народа, но также и духовный первооткрыватель и пророк новой Германии. В своем недавнем письме он ясно дал понять, что является духовным прародителем нового национального движения, и для нас он будет всегда оставаться живым».

Память о Георге могла быть живой, но вопрос о том, что делать с его бренными останками, требовал безотлагательного решения. Франк Менерт обнаружил, что «не существует никаких указаний поэта о месте, где он хотел быть похороненным». В конце 1931-го, за два года до того как умер Георге, Роберт Берингер мягко затронул этот предмет в беседе с Георге в присутствии Менерта. Георге отказался говорить об этом, сказав только: «Я не делаю указаний об этом. Вы все узнаете, что делать, когда придет время». Во время своей болезни в октябре 1933 года Георге мрачно сказал Берингеру: «Это хорошо не кончится». Но и тогда Георге не дал указаний, что должно произойти в случае его смерти. Его явное выздоровление в ноябре также делало неделикатным обсуждение и решение этого вопроса. Менерт писал: «Никто из нас, кто видел Учителя за несколько недель до его последней тяжелой болезни [...], не мог и думать о неизбежной смерти». С началом ускоренного ухудшения, никто не осмеливался думать о немыслимом, даже когда оно приняло угрожающие размеры.

Когда Георге умер, решение тем не менее необходимо было принять. Как два самых близких к Георге человека Берингер и Менерт согласились, что выбор сводится к Бингену или к Минусио. Менерт утверждал: «В принципе мы согласны, что немецкий поэт должен покоиться в немецкой земле». Берингер, однако, заметил: «Георге иногда говорил, что человек должен быть похоронен там, где умер». И все же оба они понимали, что транспортировка тела будет «неприятной» и, кроме того, «непристойной». Берингер и Менерт заключили, что принять решение должна сестра Георге, которую они тогда уведомили относительно дилеммы, указав, что «именно она наделена правом определить окончательное место успокоения Учителя». Это решение, однако, оказалось неокончательным. Анна ответила, что хочет предоставить решение друзьям своего брата. После большого числа консультаций Берингер и Менерт наконец пришли к приемлемому соглашению. Некоторые доводы — ни один из них не был политическим — помогли им выбрать Минусио как если и не лучшее, то по крайней мере подходящее место для захоронения Учителя. Они спрашивали: «Не было ли это просто место для отдыха посреди южного радостного ландшафта, и точно ли оно соответствует течению всей его жизни? Должны ли мы исправить судьбу, которая распорядилась так, что он закрыл глаза здесь? Разве многие великие немцы не покоятся к югу от Альп? Есть ли в Германии какое-то место, о котором можно сказать, что именно ему суждено быть местом успокоения поэта?» Минусио в таком случае может им быть.

Друзья, собравшиеся в Минусио, соблюдали местный похоронный обычай и стояли, сменяя друг друга, парами рядом с телом покойного. Теми, кто участвовал в поминовении, были Михаэль Штеттлер, Роберт Штайгер, Франк Менерт, братья Штауффенберг — Клаус, Бертольд и

Александр, — Вальтер Антон, Эрнст Канторович, Вильгельм Штейн, Альбрехт Блюменталь, Эрнст Морвиц, Роберт Берингер и Людвиг Тормелен. Утром 6 декабря, вместе с присоединившимися Карлом Вольфскем и его женой, Ханной, а также домоправительницей Георге, Клотильдой Шлейер, они собрались возле гроба, установленного в небольшой часовне на кладбище. После того как были прочитаны некоторые стихи из «Седьмого кольца», все вышли друг за другом вслед за теми шестью из них, кто нес гроб, и двумя другими, несшими венок и ветки лавра. У могилы опять были прочитаны стихи, на этот раз из «Звезды союза», и возложены венок и цветы. Затем все отбыли. В тот же день, в сопровождении Роберта Берингера, немецкий посланник Эрнст фон Вайцзакер возложил венок на могилу. Венок, украшенный лентой, на которой была изображена свастика, оставался там, пока не завял и не высох.

Ранее в том же 1933 году, в июне, Вальтер Беньямин написал своему другу Гершому Шолему с испанского острова Ибица — Беньямин нашел там убежище от народа, приветствовавшего Георге как своего духовного предка. По иронии судьбы, Беньямина попросили написать рецензию на книгу о Георге, которая только что появилась. Он сделал бы это, сообщил он Шолему, но будет нелегко говорить о Георге «теперь и перед немецкой аудиторией». Однако Беньямин чувствовал, что это даст ему возможность сказать нечто такое, что, как он теперь думал, было особенно важно. Он сказал Шолему: «Я полагаю, что понял самое главное: если Бог хочет наказать пророка, то исполняет его пророчество, — как раз это и произошло с Георге». Только время могло показать, насколько Беньямин прав.





Глава сорок пятая

ЭПИЛОГ

После того как Георге умер, его имя все реже появлялось в газетах и академических публикациях. Отчасти это был нормальный ход вещей. Нацистов волновали гораздо более срочные вопросы, чтобы проявлять внимание к отполированному тогда образу мертвого поэта, хотя уважением он, возможно, пользовался. Нацисты интересовались делами, а не словами, и в любом случае те, кто с беспокойством заглядывал в будущее, предполагали, что проявляют высочайшее уважение к поэту, сосредоточившись на претворении его идей в действия.

Но были и другие причины опускавшейся тишины. Неизбежно, что многие из пылких нацистов, принимавших Георге за своего, не читая его произведений и не слишком хорошо его зная, могли бы, выполняя позже свое домашнее задание, открыть некоторые тревожные факты. Ранние, декадентские, вдохновленные французами работы создавали некоторый дискомфорт на их кафедрах, как и немилосердные замечания Георге, сделанные в тот же самый период о своих соотечественниках. Но больше всего спокойствие сторонника партии нарушал исключительно мужской фокус эротического влечения Георге и, что было еще более тревожным, большое число евреев в его оружии. Никто не мог не придавать значения этим неудобным деталям, и поскольку прошло время, они превратились во что-то большее, чем просто затруднение. О «Премии Стефана Георге», столь величественно представленной Геббельсом, спокойно забыли, и к 1938 году появилось немало статей и книг, которые осуждали сомнитель-

ные аспекты «секретной» Германии Георге, а не расхваливали его как «пророка» Третьего Рейха.

Очевидно, что дистанция, которую нацисты со временем установили между собой и Георге, была превращена в еще одно очевидное доказательство, что они представляли собой два совершенно разных феномена, не имеющих, в сущности, ничего, что связывало бы их. В конечном счете, однако, не так уж и важно, подтвердили ли нацисты близость между своим мировоззрением и мировоззрением Георге. Как сказал Георге в своем первом письме Морвицу, все, что он мог сделать для «нового национального движения», он давно уже сделал. Важно другое — создавали ли, в течение всей его жизни, поступки Георге, его слова и идеи тот интеллектуальный и психологический контекст, который способствовал нацистам в их последующем приходе к власти, помогли ли ценности и отношения, которые всегда поддерживал Георге, тому, чтобы нацисты были с большей готовностью приняты многими из тех же самых немцев, которые его почитали, и помог ли он, своими работами и работами своих последователей, подготовить соотечественников к вере, что их спасение лежит в том, чтобы передать волю и руководство всемогущему *фюреру*, к вере, что национальное обновление неизбежно влечет за собой ужасное насилие и страдание, что самый глубокий смысл грядущей немецкой войны в том, чтобы сохранить и защитить «белую расу», и что те, кто считался недостойным выживания, должны быть решительно преданы смерти. И ответом на все эти вопросы может быть только ответ — да.

Ни один человек в отдельности, даже Гитлер, не может считаться индивидуально ответственным за все, что произошло в Германии между 1933 и 1945 годом. Это было коллективное устремление, работа миллионов отдельных людей, оказавшихся в плену у сложной расстановки сил, полностью никем не контролируемой. Но в той же мере верно — если не банально, — что некоторые силы и некоторые люди играли более весомую, чем другие, роль в создании Гитлера и его возможного режима. Нет такой вещи, как моральный расчет, и когда дело доходит до преступлений, совершенных в нацистской Германии, то такая шкала была бы в любом случае бесполезной. Однако, в конечном счете, вклад Стефана Георге и его круга в прокладывании того пути в умах и сердцах соотечественников, по которому нацисты пришли к власти, является настолько же значительным, насколько он недооценивался, игнорировался или отрицался.

Ранняя попытка искупить эти преступления была предпринята, в частности, и одним из собственных учеников Георге. Клаус фон Штауффенберг участвовал во Второй мировой войне начиная с самых первых кампаний, принимал участие во вторжении в Польшу в сентябре 1939 года и в

западном наступлении во Франции в следующем году. Как командир танка он заработал репутацию эффективного лидера и прославился своими организационными навыками, дисциплиной и храбростью.

В 1942 году, однако, во время убийственного вторжения в Россию, Штауффенберг с возрастающей тревогой наблюдал, как немецкое верховное командование, действующее в соответствии с прямыми инструкциями от Гитлера, допустило ужасную смерть в лагерях миллионов русских военнопленных. К февралю того года два миллиона военнопленных Красной армии уже погибли от голода, холода, физического насилия или болезней. Штауффенберг был потрясен этим безразличием к человеческой жизни — и ошеломлен, что изначальная симпатия русских людей к немцам, которых русские часто приветствовали как освободителей от сталинского террора, так бессмысленно истрачена. Но летом Штауффенберг услышал нечто еще более ужасное. Близкий друг, Фриц-Дитлоф фон дер Шуленбург, рассказал его жене уже в ноябре 1941 года о лагере под названием Освенцим, где они жгли евреев в печах. В мае 1942 года чиновник, работавший в офисе Шуленбурга, лейтенант Герварт фон Биттенфельд — известный тем, что называл Гитлера «воплощением дьявола» и желал лишить его власти, — дал Штауффенбергу подробный отчет о массовых убийствах евреев. К концу лета Штауффенбергу уже не нужно было слышать что-то еще, чтобы все чаще и чаще говорить: «Гитлер — дурак и преступник». В августе 1942 года, во время поездки верхом с аналогично мыслящим майором по имени Оскар-Альфред Бергер, Штауффенберг внезапно сказал: «Они массами расстреливают евреев. Этим преступлениям нельзя позволить продолжаться».

Штауффенберг и другие вскоре сформировали группу заговорщиков, которые решили отстранить Гитлера от власти. После двух тягостных лет тщательных приготовлений, сомнений, перерывов — война все еще продолжалась — и изменений планов шанс остановить человека, который отдавал приказы об убийствах, наконец, представился 20 июля 1944 года, спустя неделю после дня рождения Георге. Во время штабного собрания в ставке Гитлера в Восточной Пруссии, Штауффенберг поставил портфель, наполненный взрывчатыми веществами, под большим деревянным столом с картой. Штауффенберг затем покинул конференц-зал. Хотя он закинул портфель насколько возможно ближе к тому месту, где стоял Гитлер, когда портфель взорвался через несколько мгновений, одна из толстых деревянных балок, поддерживавших стол, заслонила Гитлера от полной силы взрыва. Веря, что Гитлер мертв, Штауффенберг немедленно полетел в Берлин, где надеялся начать реорганизацию руководства страны. Однако Гитлер вышел из разрушенного здания оцепенелый, но невредимый и начал кровожадную операцию с целью выследить и уничтожить заговорщиков. В тот же самый вечер Штауффенберг был арестован в Берлине и казнен

расстрельной командой. Его последними словами были «Да здравствует священная Германия!»

Смерть Клауса фон Штауффенберга, так же как и смерть многих других членов сопротивления, впоследствии схваченных и убитых, была благородной и честной в бесчестное время. Штауффенберг, бесспорно, заслуживает того уважения, которое теперь ему воздается. Он все же сделал это не во имя демократии. Он и несколько его товарищей-заговорщиков составили документ, в котором объявили о своих общих идеалах, принципах, на которых, как они представляли, Германия должна основываться, как только тиран будет свергнут. Эта «присяга» подтверждала, что они верили в «будущее немцев» — народа, провозглашала она, который представлял собой «сплав греческих и христианских истоков в его германском существе». Немцы, которым будет дозволено раскрыть свою собственную сущность, обретут призвание «привести сообщество западных народов к более прекрасной жизни». Этот замышляемый «Новый Порядок» объединил бы всех немцев и гарантировал «права и справедливость». В то же самое время документ заявлял, что заговорщики «презирают ложь равенства и преклоняются перед иерархией, установленной природой». Он завершался следующим: «Мы обязуемся объединиться в нерушимое сообщество, которое своей позицией и своими действиями служит Новому Порядку и формирует борцов за будущего вождя — *Фюрера*, — в котором они будут нуждаться».

Штауффенберг до конца оставался верным тем идеалам, которые усвоил от Стефана Георге. Понимал ли Штауффенберг, что сами эти идеалы и человек, который их проповедовал, помогли создать то, что он пытался разрушить.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Авгутин, 606
Айснер, Курт, 581
Акса, Зо д', 67
Альгабал. См. Элагабал
Андреас, Фридрих, 414
Андрес-Саломе, Лу, 239, 260
Андреан, Леопольд фон: и Гофман-сталь, 158, 159, 162; и «Листок за искусство», 192—194; и Шулер, 313; отношения с Георге, 186, 231, 347; посвященные ему стихи, 273, 274
Аннуцио, Габриэль д', 125, 173, 340, 542
Анри, Эмиль, 51
Ансогг, Конрад, 239
Ансогг, Маргарет, 239
Антон, Вальтер 701, 761
Антон, Йоган (Ганс), 642, 643, 676, 684, 701, 723, 724, 726—728
Антон, Карл, 642
Аристотель, 351, 404
Арто, Антонен, 141
Ауэрбах, Ида. См. Кобленц, Ида «Изи»
Баден, Макс фон, 579
Бакунин, Михаил Александрович, 52
Бар, Герман, 123—125, 162—164, 168, 290
Бахофен, Иоганн Якоб, 182, 262, 314—318, 320, 321, 388—390, 694
Беккер, Карл Генрих, 614, 711
Бенн, Готтфрид, 746
Беньямин, Вальтер, 489, 638, 686—688, 706, 761
Бергер, Оскар-Альфред, 764
Бергер, Эрих, 414
Бергсон, Анри, 455, 566, 639
Берингер, Роберт: и болезнь Георге, 756—758; и Вервей, 204; и Гундольф, 570, 571; и декламация поэзии, 406, 407, 528; и «Ежегодник духовного движения», 496; и Кобленц, 157; и Коммерелль, 638; и Круглая комната, 430; и Лехтер, 505; и Ландманы, 533; и материалы о Георге, 11; и отношение Георге к женщинам, 465, 466; и Первая мировая война, 539, 549, 588; и политические взгляды Георге, 743; и фонд Георге, 726; и смерть Георге, 760, 761; отношения с Георге, 372—374, 379
Берингер, Эрих, 539, 588, 628, 701
Берман, Рассел, 12
Бернар, Сара, 75

- Бернус, Александр фон, 426, 428
Бертрам, Эрнст: и Глокнер, 519—523, 525, 526, 543, 551, 569, 630—634, 719; и Гундольф, 469, 474, 656; и нацистская Германия, 748, 749; и Томас Манн, 523; и Шмитт, 378; о Ницше, 594—596, 598—600; отношения с Георге, 520—523, 716; продажа его книг, 679, 705
Бетхер, Георге, 47
Бёклин, Арнольд, 156, 176, 255, 308, 387
Бёрк, Эдмунд, 600
Бёрн-Джонс, Эдвард, 54, 334
Бисмарк, Отто фон, 31—35, 40, 81, 82, 153, 183, 463, 563, 606, 674
Биттенфельд, Герварт фон, 764
Блюменталь, Альбрехт фон, 671, 677, 701, 749, 750, 761
Бодлер, Шарль: в переводах Георге, 68, 113—115, 301; и буржуазия, 71; и Готье, 141; и Гофмансталь, 125; и «Ежегодник духовного движения», 497; и «Листок за искусство», 201, 223; и символизм, 100; сходство Георге с ним, 75, 114, 137, 147, 156, 175—177
Бодек, Герман, 429
Бокель, Отто, 644
Бонди, Дора, 644
Бонди, Георг: его издательская деятельность, 300, 304, 529, 543, 549, 564, 655, 678, 679, 685, 690—692, 705; и Бертрам, 598, 599; и Валлентин, 374, 655, 656; и Вольтерс, 657; и Гарден, 464; и Гофмансталь, 346; и Гундольф, 282, 404, 475, 476, 621, 625, 626, 649, 660—662; и Канторович, 637; и «Листок за искусство», 299; и «Максимин», и Морвиц, 746; 386; и свастика, 593, 594; отношения с Георге, 254—256, 403, 439, 570, 591, 667, 693, 710, 711
Борхардт, Рудольф, 387, 446, 447, 533
Боура, Сесил, 635
Бофрон, Луи де, 39
Бракманн, Альберт, 681, 682
Брауне, Вильгельм, 473
Браш, Ганс, 426, 431, 552, 629
Брейзиг, Курт, 373, 374, 412, 457—459, 562—564
Брукманн, Хуго, 330, 331
Брукманн, Эльза, 330, 331
Брюнинг, Генрих, 740, 741, 743
Бульвер-Литтон, Эдвард, 56
Бунзен, Мари фон, 239, 240
Буркхардт, Якоб, 497
Вагнер, Рихард, 44, 100, 176, 201, 233, 271, 272, 596
Вайгель, Герман, 40, 47
Вайцзакер, Эрнст фон, 761
Валлентин, Бертольд: его книга о Наполеоне, 655, 656, 690; его смерть, 735; и Брейзиг, 458, 459; и «военный ежегодник», 543; и Вольтерс, 658, 659, 715; и «Героические маски», 690, 691; и Гинденбург, 710; и Гофмансталь, 432; и Гундольф, 420, 478, 496, 561, 625, 661, 664; и «Ежегодник духовного движения», 439—442, 448, 496, 590; и книга Вольтерса, 715, 717, 718; и круг Георге, 379, 414, 528, 588, 716; и Лехтер, 504; и «Листок за искусство», 528; и Первая мировая война, 538, 602; и политические взгляды Георге, 741—743; и премия Гёте, 709; и путешествия Георге, 647, 669, 676; и расизм Георге, 554; и слава Георге, 711; и «Тайная Германия», 747; и Фридрих II, 675, 676; как источник сведений о Георге, 11, 403, 405, 407, 412, 464, 526; отношения с Георге, 373—375
Валлентин (Рабинович), Диана, 374, 676, 735
Валлентин, Стефан, 735
Валлот, Вилгельм, 46, 90, 144
Валь, Филипп, 40
Вальдхаузен, Балдуин, 534
Вальзель, Оскар, 572
Вальян, Огюст, 51

- Вандрей, Конрад, 665
 Вассерман, Якоб, 745
 Вебер, Альфред, 471, 490, 555, 557
 Вебер, Макс, 283, 415, 471, 472, 490—496
 Вебер, Марианна, 471, 491, 493—496
 Ведекинд, Франк, 196
 Венхофер, Вальтер, 602
 Вервей, Альберт: и взгляды Георге на назначение поэзии, 361, 427, 428; и Вольфскель, 544, 649—651; и Гундольф, 284, 286, 287, 295; и драма, 412; и «Ежегодник духовного движения», 442; и Клагес, 308; и Лехтер, 233; и «Листок за искусство», 204, 246; и «Ковер жизни», 270, 273; и Первая мировая война, 603; и «Седьмое кольцо», 388; и семья Георге, 19; и шрифт Георге, 408; отношения с Георге, 204, 295, 360, 361, 397, 398, 603, 604
 Вервей, Китти, 204, 273, 286
 Вергилий, 358, 704
 Верлен, Поль: Георге читает его стихи, 83; его влияние на Георге, 73, 112, 114, 156, 177, 176; его облик, 74; и Гофмансталь, 125; и католицизм, 74; и «Мудрость», 67, 74; и «Пан», 206; и Сен-Поль, 66; отношения с Георге, 146; сравнение Георге с ним, 175
 Вернер, Бруно, 569
 Верфель, Франц, 745
 Верхарн, Эмиль, 67, 69, 202
 Вёльфлин, Генрих, 415, 455
 Виламовиц-Меллендорф, Ульрих фон, 438, 439, 448—451, 461, 722
 Вильгельм I, 31, 55
 Вильгельм II, 12, 463, 532, 541, 574, 579, 674
 Вилье де Лиль-Адан, Огюст, 66, 71, 147
 Вильсон, Вудро, 5, 587
 Виндельбанд, Вильгельм, 471
 Винкельман, Иоганн Иоахим, 228, 374
 Витгенштейн, Людвиг, 253
 Вольтерс, Фридрих: в Марбурге, 642, 644—647; его книга о Георге, 161, 528, 529, 657, 659, 660, 690, 714—724, 731; его смерть, 723, 730; и «Альгабал», 137; и Брейзиг, 457—459; и Валлентин, 374, 375, 407; и Версальский договор, 587; и «военный ежегодник», 543; и Вольфскель, 650; и Вольхард, 641; и «Голоса Рейна», 658, 659; и Гундольф, 455, 456, 469, 617, 618, 621, 626, 731; и «Ежегодник духовного движения», 441, 442, 452, 455, 496, 497; и женщины, 559; и «Звезда соглашения», 511; и круг Георге, 374—376, 379, 414, 534; и Коммерелль, 639, 723, 724, 729; и Лехтер, 413, 504; и Максимиан, 363, 364; и Ноль, 546; и патриотизм, 658—660, 670, 705; и Первая мировая война, 535—538, 547, 548, 552, 602; и политические взгляды Георге, 579, 580; и путешествия Георге, 588, 590, 668, 676; и Рауш, 457; и «Руководящие принципы», 442, 452, 453; и «Суверенитет и служение», 421—425, 428, 446, 475, 496, 505; и Фридеман, 549; и Фридрих II, 675; и «Человек и род», 500—502; и Эйк, 448; и эмиграция, 582; отношения с Георге, 636
 Вольтерс, Эрика, 538, 676, 677, 723
 Вольф, Курт, 598
 Вольфскель, Карл: его внешность, 170; его идеи, 261, 262, 311, 312, 348; его семья, 171, 284, 430, 649, 721; и болезнь Георге, 756; и Вервей, 603; и Георге о поэзии, 225, 244; и Глокнер, 524; и Гофмансталь, 134, 343; и Гундольф, 279, 281, 286, 288, 290—292, 294, 296—298, 300, 310—312, 333, 335, 455, 536, 561; и Дух, 478; и «Ежегодник духовного движения», 439, 441—445, 461, 497; и «Звезда соглашения», 511; и Зиммель, 249; и инфляция, 649—651; и Клагес, 308; и книга Вольтерса, 719—721, 723; и книга о Жане Поле, 296—298, 300; и Кобленц,

- 221; и Космический круг, 312, 313, 321—329, 332, 333, 377, 378, 597; и круг Георге, 239, 353, 358, 376, 378, 406, 414, 416, 421, 425, 427; и Лехтер, 413, 503, 504; и «Листок за искусство», 224; и Максимин, 351—354, 370; и «мистерии», 404; и мифы о Георге, 529; и «Пан», 206; и Первая мировая война, 536, 538—541, 543, 544, 550, 602; и Перлс, 275; и письма Георге, 527, 707; и политическая позиция круга Георге, 544, 582, 583; и похороны Георге, 761; и путешествия Георге, 676; и Рауш, 405; и Роллан, 540, 541; и «Седьмое кольцо», 389; и сионизм, 324—326, 328; и «Столетие Гёте», 411; и «Тайная Германия», 699, и фон дер Лейен, 462, 463; и Франциска цу Ревентлов, 355; и Хух, 354; и Шертель, 428; и Штайнер, 433; как еврей, 185, 324, 324—326, 328, 329, 633, 720, 721; о женщинах, 461; о немцах, 536, 541; отношения с Георге, 169—172, 216, 217, 291, 292, 294, 310, 332, 349, 382, 412, 434
- Вольфскель, Отто, 171, 281
 Вольфскель, Рената, 284, 649
 Вольфскель (Хаан), Ханна, 284, 322, 324, 329, 360, 377, 412, 466, 761
 Вольхард, Эвальд, 641
 Вьеле-Гриффен, Франсис, 66, 67, 69, 73, 83
- Гадамер, Ганс-Георг, 639
 Гарден, Максимилиан, 463—465
 Гардинер, Алан Х., 403
 Гауптман, Герхарт, 540, 706
 Геббельс, Йозеф, 753, 759, 762
 Гегель, Георг Вильгельм Фридрих, 82
 Гейзелер, Генри, 358
 Гейне, Генрих, 38, 42, 144, 390, 446
 Гелиогабал. См. Элагабал
 Геллинграт, Норберт фон, 528, 539, 556, 602
 Гельмгольц, Герман, 274
- Георге, Анна Мария Оттилия, 19
 Георге, Антон, 22, 23
 Георге (Шмитт), Ева, 18, 19
 Георге, Иоганн Баптист, 21—23, 434
 Георге, Стефан I (Этьен), 22, 23
 Георге, Стефан II, 17, 18, 23, 397
 Георге, Фридрих Иоганн Баптист, 20, 53, 115, 155, 156
 Георге, Якоб, 22
 Геринг, Герман, 753
 Геродиан, 138, 139, 177
 Гертнер, Йоганнес, 40
 Герцен, Александр Иванович, 52, 497
 Герцль, Теодор, 325
 Гессе, Ганс, 505
 Гёльдерлин, Фридрих, 156, 308, 415, 446, 487, 492, 528, 544, 556, 596, 638, 685, 686, 688, 708
 Гёте, Иоганн Вольфганг фон: Вольтерс о нем, 659; Гундольф о нем, 477, 591—595, 604, 656; его произведения на вечерах Георге, 528; и Италия, 676; и Лехтер, 233; и «Листок за искусство», 433; и наука, 620; и «немецкий Ренессанс», 606; и Роллан, 540; Коммерелль о нем, 685; о немецкой культуре, 226, 228; премия его имени, 707—709, 746, 748, 759; сравнение с ним Георге, 251—253, 569, 621, 704
 Гиббон, Эдвард, 139
 Гиль, Рене, 67
 Гильдебрандт, Курт: и Бертрам, 598; и Виламовиц, 438, 439, 442, 448, 449, 451, 461; и Гундольф, 478; и «Ежегодник духовного движения», 441, 442, 448, 454, 455, 496, 502; и женщины, 461, 559; и Коммерелль, 724; и круг Георге, 414, 421, 422; и национал-социалисты, 743, 749; и расизм Георге, 567, 744; и Первая мировая война, 539, 540, 543; и Фридеман, 549; отношения с Георге, 636
 Гиммлер, Генрих, 753
 Гинденбург, Пауль фон, 5, 710, 711, 740, 741, 747

- Гитлер, Адольф, 13, 330, 654, 665, 741, 743, 744, 750, 753, 759, 763, 764
- Глокнер, Эрнст: и Бертрам, 519—521, 595, 596, 598—600; и болезнь Георге, 551, 552; и Версальский договор, 588; и Первая мировая война, 543, 551, 569; отношения с Георге, 521—527, 546, 549, 559, 562, 625, 626, 630—635, 666, 667, 699, 719
- Гоген, Поль, 69
- Гоголь, Николай Васильевич, 38
- Гольбейн, Ганс, 302, 308
- Гольдштейн, Мориц, 621—623, 663, 664
- Гомер, 252, 358, 450
- Горц, Эмиль фон, 463
- Готейн, Мария Луиза, 476, 477, 480, 485, 490, 544, 636
- Готейн, Перси, 480—486, 515, 518, 519, 539, 544, 550, 588, 668
- Готейн, Эберхард, 281, 283, 471, 476, 477, 480, 490, 550, 555, 557, 558
- Готье, Теофиль, 140, 141
- Гофмансталь, Гуго фон: и Бар, 123, 124; и «Год души», 247, 248; и Гундольф, 284, 691; и «Ежегодник духовного движения», 439; и Клейн, 180; и книга Вольтерса, 722; и «Листок за искусство», 160—166, 168, 169, 171, 173, 206, 291; и Франкенштейн, 229; и «Франческа да Римини», 340; о поэзии Георге, 214, 215; отношения с Георге, 125—136, 153—155, 175, 215—222, 224, 226, 235, 290, 294, 341—348, 357, 362, 373, 375, 407, 416, 432; сравнение его с Георге, 446, 447; и Андриан, 158, 186, 192, 193
- Грав, Жан, 67, 68, 71
- Грайнджер, Перси, 229
- Граутофф, Отто, 235—237
- Гримм, Якоб, 82
- Гундельфингер, Фридрих. См. Гундольф, Фридрих
- Гундельфингер, Зигмунд, 281
- Гундольф, Фридрих: его болезнь, 730, 731; его внешность, 282—284; его виновность, 500, 511, 535—538, 541—543, 548, 549, 552; его книга о Георге, 620—623; его смерть, 732, 733; и «Альгабал», 137, 149; и Берингер, 372, 373; и Бертрам, 594—596, 599, 600; и Бонди, 649, 655, 656, 660, 679, 693; и Валлентин, 374, 656; и Вебер, 490, 492, 493; и Вервей, 295; и Вилламовиц, 450; и вилла Лобштейна, 588; и Вольтерс, 587, 658; и Вольфскель, 296—298, 322, 324, 325, 377, 378; и Геббельс, 753; и Гейдельбергский университет, 469, 470, 473, 474, 487—490, 642, 669; и Гольдштейн, 621—623, 663, 664; и гомосексуальность, 459—461, 463; и Готейны, 479—483, 518; и Гофмансталь, 346; и *Дух*, 478, 479, 604—607; и «Ежегодник духовного движения», 439—442, 446—448, 452, 454—458, 496, 497, 648; и Канторович, 635, 679, 680; и Клагес, 308, 371, 391, 392; и книга Вольтерса, 719—722, 724; и Коммерелль, 638, 639, 685, 686; и круг Георге, 259, 261, 281, 282, 300, 310—312, 354, 409, 414, 416, 417, 603; и Лехтер, 504, 583; и «Листок за искусство», 529; и Максимин, 358, 386; и «обожествление» Георге, 495; и Первая мировая война, 535—539, 541—543, 548—550, 552, 555—558, 602; и политические взгляды Георге, 542—544; и проблема ученичества, 417—424; и Рауш, 428; и Роллан, 539—542; и Сабина Лепсиус, 459—461, 464, 465, 557—559; и «Седьмое кольцо», 387, 395; и Томас Манн, 592, 594; и Хух, 326, 354; и Шекспир, 285, 404, 425, 475—478; и Штайн, 655; и Штайнер, 432—434, 437; и Элизабет Саломон, 570, 571, 607—614, 616, 618, 620, 625—627, 731, 732; как гордость немецкой науки, 705; как еврей, 615,

- 633, 634; о Гёте, 591—593; о Парацельсе, 691; о поэзии Георге, 245, 569; о Цезаре, 608—610, 660—665, 676; отношения с Георге, 7, 8, 284—294, 332—340, 344, 348, 352, 359, 362, 369, 370, 380, 397, 474, 475, 478, 479, 486, 558—561, 604—613, 616—630, 636, 660, 661, 665, 674, 691, 693, 716, 731, 732, 738
- Гундольф, Эрнст, 370, 528, 625, 626, 637, 678, 730—732
- Гуттен, Ульрих фон, 487
- Гюисманс, Жорис-Карл, 141, 145, 147, 233, 274
- Давид, Клод, 329, 443, 512
- Данте: в переводах Георге, 114, 301, 404, 528; внешнее сходство Георге с ним, 37, 240; внешнее сходство Гофманстала с ним, 124; Георге в его облике, 358; его влияние на Георге, 20; и Вилламовиц, 450; и Гёте, 252; и Гундольф, 663; и Зиммель, 249; и использование «мы» у Георге, 367; и Лехтер, 233; и Лютер, 82; и проблема веры, 606; и проблема любви, 320, 349; и связь поэзии и политики, 563; и «Седьмое кольцо», 387, 388, 392; сравнение с ним Георге, 492, 621, 704
- Даус, Чарльз Г., 653, 654
- Демель, Рихард, 18, 205—208, 221, 242, 341, 343
- Дернбург, Фридрих, 449, 450
- Дессуар, Макс, 204, 205, 207, 218
- Детте, Вилли, 754
- Дешан, Леон, 67
- Дёблин, Альфред, 745
- Джеймс, Генри, 30, 31, 44
- Дильтей, Вильгельм, 415, 455, 566
- Дион, Кассий, 138, 144
- Дитрих, Оскар, 370
- Дона-Шлобиттен, Эберхард, 463
- Донне, Огюст, 201, 202
- Дройзен, Иоганн, 31
- Дуглас, Альфред, 69
- Дузе, Элеонора, 434
- Дэфо, Даниэль 38
- Дюжарден, Эдуард, 66
- Дюма, Александр, 20
- Дюрер, Альбрехт, 265
- Дюринг, Евгений, 185
- Елизавета Австрийская, 51, 387, 531
- Еллинек, Георг, 492
- Еллинек, Дора, 492
- Жан Поль, 38, 288, 295—300, 308, 685, 757
- Жерарди, Поль, 166, 194, 201, 206, 216, 217, 434
- Жид, Андре, 398
- Заменгоф, Людвик Лазарь, 39
- Зеебахер, Венделин, 39
- Зибург, Фридрих, 488
- Зиммель, Георг: его внешность, 248; и Вебер, 490; и Гертруда Канторович, 282; и Гундольф, 282; как лектор, 248, 249, 473; на публичных чтениях Георге, 239; о Георге, 250—254, 415, 416, 421; отношения с Георге, 249, 283, 468, 703
- Зиммель, Гертруда, 249
- Зиммер-Зерни, Фрида, 214
- Золя, Эмиль, 71
- Зомбарт, Вернер, 733
- Ибсен, Генрик, 44, 45, 47, 49, 83
- Иван Грозный, 554
- Йонас, Пауль, 371
- Кайзер, Георг, 745
- Казалис, Анри, 72, 111

- Калер, Фина фон, 611
 Кан, Гюстав, 66
 Кандинский, Василий Васильевич, 196
 Кант, Иммануил, 99, 419, 639
 Кантор, Норманн, 680
 Канторович, Гертруда, 239, 282, 468, 505, 635
 Канторович, Эрнст: в Италии с Георге, 673; и Коммерелль, 637, 641, 684—686; и круг Георге, 635—637, 705, 716; и Ладнер, 735; и национал-социализм, 750—754; и Первая мировая война, 635; на похоронах Георге, 761; о назначении истории, 682—684; о Фридрихе II, 677—682, 690, 696
 Капп, Вольфганг, 615
 Карл (эрцгерцог Австрии), 547
 Карлейль, Томас, 295
 Каро, Георг, 633
 Касснер, Марианна, 608
 Кауфман, Вальтер, 595
 Кейн, Хелен, 64
 Кемпнер, Вальтер, 691
 Кесслер, Гарри, 276
 Клагес, Людвиг: Георге о нем, 214, 343, 381; и антисемитизм, 181, 183, 185, 186, 324—326; и Гундольф, 332, 333, 391, 392, 446; и иррационализм, 263, 333; и Космический круг, 311, 312, 321—327, 330, 597; и круг Георге, 416; и «Листок за искусство», 194, 197, 227, 263—265; и магия, 377; и новая религия, 187; и Франческа цу Ревентлов, 355; и Хух, 354; и Швабинг, 196; имя Георге на его книге, 349; о Георге, 181, 349; отношения с Георге, 304—310, 328, 329, 338, 339, 357, 361, 371, 381
 Клее, Пауль, 196
 Клейст, Генрих фон, 625, 633, 661
 Клемен, Пауль, 557
 Клиндер, Макс, 156, 176, 205
 Клопшток, Фридрих Готлиб, 685
 Кляйн, Карл Август: Георге выдает себя за него, 233; и Андриан, 231, 347; и Бонди, 255; и Гофмансталь, 163, 165, 168, 180; и Дессуар, 204, 207; и «Ковер жизни», 273; и «Листок за искусство», 168, 171, 172, 175, 176, 192—194, 204, 205, 218, 224, 584; о Ницше, 596; о поэзии Георге, 167; отношения с Георге, 83—85, 87, 88, 90, 120, 159—162, 165
 Кнопф, Фернан, 201, 202
 Кобленц, Ида «Изи»: и Демель, 205, 206; отношения с Георге, 155—159, 169, 221, 222, 242
 Коген, Герман, 639
 Кольбенейер, Гвидо, 746
 Коммерелль (Отто), Ева, 728
 Коммерелль, Макс: его книга о немецкой поэзии, 685, 686; его сходство с Гундольфом, 684; и Антон, 642, 643, 676, 726—728; и Беньямин, 686—688; и Вольтерс, 723, 724; и гомосексуальность, 642, 643; и Менерт, 738, 739; и национал-социализм, 750; и круг Георге, 637—641, 690, 701, 716; отношения с Георге, 724—730, 738
 Конрад, М. Г., 90
 Констан, Альфонс-Луи, 100
 Конштамм, Оскар, 378
 Корроди, Эдуард, 663
 Корс, Адальберт, 573, 695
 Крель, Рудольф, 619
 Крибель, Герман, 665
 Кронбергер, Альфред, 351
 Кронбергер, Иоганна, 350
 Кронбергер, Максимилиан: его «обожествление», 364—366, 368—370, 395, 396; его смерть и ее влияние на Георге, 358—361, 375, 439, 538; его фотография в Круглой комнате, 431; и Космический круг, 353; и «Прием в Орден», 406; и «Седьмое кольцо», 386—388, 395, 396; как «новый человек», 349; отношения с Георге, 350—358; посвященная ему книга, 361—

- 363, 367, 370, 385, 386; посвященные ему стихи, 364—367
- Кронхайм, Фриц, 705
- Кропоткин, Петр Алексеевич, 68
- Кубин, Альфред, 196
- Куртиус, Людвиг, 317
- Куртиус, Эрнст Роберт: и Гундольф, 473, 474, 476, 487, 488, 555, 557; и «Ежегодник духовного движения», 456; и Лехтер, 504; и Первая мировая война, 548, 549; и политические взгляды Георге, 496; и путешествия Георге, 50; и Эйк, 448; отношения с Георге, 414, 451, 601
- Ладнер, Герхард, 735, 736
- Ланген, Альберт, 197
- Ландман, Георг Петер, 733
- Ландман, Михаэль, 666, 733, 743, 749
- Ландман, Эдит: в Швейцарии с Георге, 533, 534, 552, 565, 583; и Антон, 642; и болезнь Георге, 651, 652; и Гундольф, 620, 722; и политические взгляды Георге, 583, 743, 744, 747; и расизм Георге, 553, 554; как источник сведений о Георге, 11; как собеседник Георге, 561, 564, 573, 589, 596, 597, 606, 612, 623, 629, 640, 645, 650, 655, 660, 666, 670—672, 675, 676, 690, 691, 694, 707, 709, 716, 718, 725, 735; о поэзии Георге, 565; отношения с Георге, 637, 667—669
- Ландман, Юлиус: в Швейцарии с Георге, 533, 534, 552, 562, 565, 583; и Валентин, 735; и Вольтерс, 582, 718, 719; и Гундольф, 732; и премия Гёте, 709; и собрание сочинений Георге, 693; и фонд Георге, 692; как собеседник Георге, 580, 669; отношения с Георге, 733, 734
- Лев XIII, 387
- Лейен, Фридрих фон дер, 462, 463
- Ленин, Владимир Ильич, 5, 196
- Ленц, Густав, 37, 64—66
- Лепсиус, Рейнгольд, 220, 239, 273, 282, 308, 311, 468
- Лепсиус, Сабина: и безумие, 323, 324; и Бунзен, 239; и гомосексуальность, 320, 353, 459—461; и Грэф, 716; и Гундольф, 282, 459—461, 464, 465, 557—559; и Зиммель, 248, 249; и Клагес, 308; и Кобленц, 157; и «Ковер жизни», 273; и Лехтер, 239; и «Листок за искусство», 247; и Рильке, 260; отношения с Георге, 80, 81, 199, 200, 220, 221, 238, 274, 275, 282, 320, 360, 370, 379, 465, 467, 468, 557, 558
- Лерберг, Шарль ван, 202
- Лессинг, Готхольд Эфраим, 44
- Лессинг, Теодор, 197—199, 254, 274
- Лехтер, Мельхиор: Георге использует его шрифт, 336; его юность, 232, 233; его болезнь, 377, 385; и Вольфскель, 297, 311; и «Год души», 240; и Гундольф, 282; и «Ежегодник духовного движения», 439; и Клагес, 308; и книга о Жане Поле, 296, 298—301; и «Ковер жизни», 266; и круг Георге, 414, 425; и «Максимин», 361, 370; и мистицизм, 323, 413, 503, 504, 593, 669; и «Листок за искусство», 202, 233, 256, 584; и политическая жизнь Германии, 583; и Сабина Лепсиус, 239; и свастика, 593, 688, 694; и «Седьмое кольцо», 396, 397, 404; как художник круга Георге, 503; отношения с Георге, 233—237, 258, 259, 503—506, 669
- Лёвит, Карл, 639
- Лёффлер, Фридрих Бертольд, 154, 155
- Лигле, Йозеф, 552, 629, 630
- Лидер, Вацлав, 194, 214, 217
- Липпс, Теодор, 274
- Лихтенберг, Георг Кристоф, 254
- Ломбар, Жан, 144—146
- Луис, Пьер, 70
- Лукени, Луиджи, 51
- Людвиг III, 581

- Лютер, Мартин, 82, 183, 302, 320, 606, 663, 734
- Майер-Эйлер, Август, 280
- Максимин. См. Кронбергер, Максимилиан
- Малахова, Агата, 560, 561, 604
- Малларме, Стефан: Вольфскель о нем, 443, 444; Георге о нем, 434; его влияние на Георге, 108, 109, 111, 112, 114, 116, 156, 175, 177, 190, 217, 257, 258; и буржуазия, 71, 72; и Верлен, 74; и Гофмансталь, 125, 128; и «мардисты», 68—73; и Мюре, 83; и немецкие эпигоны, 253; и Сен-Поль, 66—68, 81; о Бодлере, 100; о дружбе мужчин, 381; о «Листке за искусство», 201; о натурализме, 100, 101; о символизме, 99, 101, 102; об искусстве, 71, 72, 102; отношения с Георге, 69—73, 81, 92, 95—98, 167, 238
- Мане, Эдуард, 69
- Манн, Генрих, 745
- Манн, Томас, 196, 370, 399, 523, 543, 592, 594, 631, 632, 745
- Марей, Ганс фон, 255
- Маркс, Эрих, 471
- Маркузе, Людвиг, 706
- Марр, Вильгельм, 185
- Мейер, Ричард М., 143, 144, 239, 254
- Мейер, Эстелла, 239
- Мейнеке, Фридрих, 579
- Менерт, «Виктор» Франк: и болезнь Георге, 756—758; и национал-социализм, 750; и похороны Георге, 760; и Швейцария, 755; и Штеттлер, 737, 738; отношения с Георге, 701, 738—740, 754
- Мерриль, Стюарт, 66, 67, 69, 83, 176, 177
- Месс, Каролина, 58, 59
- Метерлинк, Морис, 69, 173, 202, 206, 210, 541, 542
- Мокель, Альберт, 65, 68—70, 73, 113, 114, 201, 398
- Моклер, Камиль, 70
- Мольер, 60
- Мольтке, Гельмут фон, 463, 532
- Мольтке, Куно фон, 464
- Морвиц, Эрнст: и Браш, 426; и Валлентин, 373, 374; и Гундольф, 437, 475, 611, 612, 660; и Лехтер, 504; и Коммерелль, 725; и Корс, 573; и круг Георге, 414, 588; и «Новый Рейх», 697—699, 701; и отношение Георге к национал-социализму, 754, 755, 763; и Первая мировая война, 538, 602; и похороны Георге, 761; и расизм Георге, 567, 568; и Салин, 527; и старость Георге, 666; и собрание сочинений Георге, 693; и фонд Георге, 691, 692; и Цирольд, 745, 746, 752; и Шмитт, 379; как еврей, 633; о поэзии Георге, 149, 273, 388, 697—699, 757; отношения с Георге, 371, 372, 398, 403, 405, 408, 514, 528, 570, 669, 726; стихи Георге о нем, 512, 513, 515
- Мореас, Жан, 65, 67, 73, 98
- Моризо, Берта, 69
- Моррис, Уильям, 235, 294
- Мотнер, Фриц, 253, 254
- Мур, Джордж, 56
- Муссолини, Бенито, 677, 742
- Мюзам, Эрих, 196
- Мюре, Морис, 83—85, 87, 88, 112
- Наполеон I, 5, 21—23, 102, 227, 247, 264, 374, 434, 494, 621, 642, 655, 656, 663, 664, 675, 690, 704
- Наторп, Пауль, 549, 639
- Ницше, Фридрих: Бертрам о нем, 594—596, 598—600, 630, 656; Вольфскель о нем, 443, 444; Георге о нем, 271, 272, 596—598; Гольдштейн о нем, 664; его влияние на Вольтерса, 501; его влияние на Вольфскеля, 262; его влияние на Георге, 20, 50, 324; его

- влияние на Клагеса, 263, 264, 307; его влияние на Коммерелля, 638, 639; его влияние на Шулера, 182, 318; его понимание через Георге, 704; его популярность в Европе, 45; и Виламовиц, 449, 450; и «Ежегодник духовного движения», 497; и «Звезда согласия», 507; и иррационализм, 262, 449, 639; и Лехтер, 233; и Лу Андреас-Саломе, 239; и Роде, 471; и «Рождение трагедии», 228, 449, 450, 549; и «философия жизни», 566; о Германии, 50, 226; сравнение Георге с ним, 176, 308, 444, 569, 599, 704; сравнение Фридемана с ним, 549; стихи Георге о нем, 387, 392
- Новалис (Фридрих фон Харденберг), 596, 600, 638, 708
- Ноль, Йоханнес, 545, 546
- Нордау, Макс, 145, 168
- Оберг, Эрих, 143
- Ойленбург, Филипп, 463—465
- Ольман, Ют, 12
- Парацельс, 691
- Патер, Уолтер, 54
- Паульсен, Фридрих, 470, 472
- Пашаль, Леон, 201
- Пеладан, Жозефен, 100, 145, 146, 233
- Пеньяфиель, Антонио, 76, 77, 83
- Пеньяфиель, Порфирио, 76, 77, 83, 87, 88, 111
- Пеньяфиель, Хулио, 76, 77, 83, 87, 88, 111
- Перикл, 502
- Перси, Томас, 334
- Перлс, Рихард, 274—276, 284
- Петрарка, 38, 349, 663
- Платен, Август фон, 120, 144
- Платон, 20, 37, 99, 292, 320, 321, 375, 435, 450, 451, 465, 520, 549, 621
- Принцип, Гаврило, 530
- Пройшен, Маргарет фон, 377
- Рааб, Филип, 36, 39
- Ранке, Леопольд фон, 715
- Рассенфосс, Арман, 201
- Рассенфосс, Эдмонд, 201—203, 214, 244
- Ратенау, Вальтер, 558
- Рауш, Альберт, 405, 428, 456, 457
- Ревентлов, Франциска цу, 326, 353, 355
- Редон, Одилон, 69
- Рейхштадт (герцог), 642
- Рембо, Артур, 74
- Ремер, Роберт, 35
- Ренуар, Огюст, 69
- Ренье, Анри де, 65, 67, 210
- Риккерт, Генрих, 491
- Рильке, Райнер Мария, 196, 239, 260, 729
- Ринглеб, Генрих, 652, 653
- Рихтер, Фридрих. См. Жан Поль
- Роде, Эрвин, 471
- Роден, Огюст, 398
- Рожниецки, Станислаус, 91, 106, 112
- Роллан, Ромен, 539—542
- Россетти, Данте Габриэль, 54, 125, 206, 210, 285, 528
- Рудольф (кронпринц), 531
- Руж, Карл: и «Листок за искусство», 59, 166; и путешествия Георге, 53, 55; и юношеская поэзия Георге, 46, 47, 57, 58, 93—95, 159; о красоте греха в античности, 142; отношения с Георге, 40, 56, 61, 94—96
- Руссо, Жан-Жак, 199
- Руст, Бернхард, 745, 759
- Савиньи, Фридрих Карл фон, 314
- Сад, маркиз де, 140
- Саймонс, Артур, 69
- Салин, Эдгар: и Гундольф, 487, 488, 535, 609, 610; и Коммерелль, 638; и национализм, 659; и Первая мировая война, 535, 538, 544; и письма Георге, 10, 527; о Вервее, 604; о Георге, 8, 426, 648; о «Ежегоднике духовного движения», 440; о «Звезде

- согласия», 508, 544; о книге Вольтерса, 718, 719; о «Тайной Германии», 489; отношения с Георге, 280, 281, 409—411, 619, 620
- Саломон, Элизабет, 570, 571, 607—614, 616, 618, 620, 625—627, 731, 732
- Салтен, Феликс, 128
- Сведенборг, Эммануил, 100
- Сен-Поль, Альбер, 65—68, 73, 75, 77, 79—81, 83, 96—98, 112—114, 174, 175, 178, 194, 398
- Симон, Юлиус, 27
- Скотт, Вальтер, 38
- Скотт, Сирил, 229—232, 234, 244, 254, 380, 381
- Сократ, 321, 435, 645
- Софокл, 449
- Стрич, Фриц, 704
- Сунберн, Алджернон Чарльз, 54, 125, 528
- Тассо, Торквато, 38
- Теккерей, Уильям Мейкпис, 56
- Теннис, Фердинанд, 490
- Тертуллиан, 606
- Тик, Людвиг, 285
- Тириш, Пауль, 414, 439, 496
- Толстой, Лев Николаевич, 199
- Томпсон, Вэнс, 74
- Тормелен, Людвиг: его студия, 570, 669, 700, 735; и Антон, 642; и братья Штауффенберги, 672; и Гундольф, 478, 610; и «Ежегодник духовного движения», 439, 440; и «Звезда согласия», 507; и книга Вольтерса, 717; и Коммерелль, 684, 724—726, 728; и круг Георге, 414, 528, 588, 636; и национал-социалисты, 750; и отношение Георге к национал-социалистам, 753; и Первая мировая война, 538, 570, 602; и похороны Георге, 761; и Элизабет Саломон, 571, 611, 612
- Трейчке, Генрих фон, 185
- Трёйге, Лотар, 370, 404
- Трёльч, Эрнст, 600, 601
- Тургенев, Иван Сергеевич, 38
- Уайльд, Оскар, 54, 56, 69, 155
- Уистлер, Джеймс, 69
- Укскуль, Бернард фон, 573, 695, 700
- Укскуль, Вольдемар фон, 588, 671, 749
- Ульрихс, Карл Генрих, 142—144, 154
- Уэллстед, Том, 58, 59, 111
- Фехлиг, Мария, 677
- Фиренс-Геварт, Ипполит, 68, 71
- Фишер, Куно, 471, 472
- Фишер, Сэмюэль, 340
- Флисс, Вильгельм, 318
- Фолльмеллер, Карл Густав, 239, 280, 499
- Франкенштейн, Клеманс фон, 220, 229, 273
- Франц Иосиф, 531
- Франц Фердинанд, 530—532
- Фрейд, Зигмунд, 263, 318
- Фридеман, Генрих, 549, 550, 553, 602
- Фридрих Барбаросса, 674
- Фридрих II Гогенштауфен, 673—678, 681
- Фукс, Георг, 40, 41, 46, 237, 354
- Хаан, Виези де, 370, 455
- Хайдеггер, Мартин, 639
- Хайер, Вольфганг, 409—411, 539, 602
- Халл, Изабелла, 463
- Хамешер, Питер, 744
- Хардт, Эрнст, 280
- Хеббель, Фридрих, 378, 446
- Хенчель, Альберт, 327
- Хефтен, Ганс фон, 557
- Хильсдорф, Якоб, 480
- Хиршфельд, Магнус, 143, 144
- Хольтен, Отто фон, 386, 433, 439
- Хофман, Людвиг фон, 255
- Хульзен, Георг фон, 463
- Хух, Родерик, 326—328, 354

- Цвейг, Стефан, 122, 518, 530
 Цезарь, Юлий, 5, 247, 353, 608—611, 621, 660—665, 676
 Цирольд, Курт, 745, 746
- Чемберлен, Хьюстон Стюарт, 330**
- Шаванн, Пюви де, 255**
 Шальз, Артур, 623, 624
 Швейцер, Альберт, 709
 Шекспир, Уильям: в переводах Георге, 114, 285, 404, 425, 528, 593; в переводах Гундольфа, 285, 404, 425, 550, 753; его влияние на Гундольфа, 325; его влияние на Коммерелля, 638; его влияние на Лехтера, 233; его понимание через Георге, 704; и гомосексуальность, 362; и Гофмансталь, 346; и театр, 44, 81; и природа драмы, 411; книга Гундольфа о нем, 475—477, 479, 482; о любви, 320, 349, 362; сравнение с ним Георге, 621, 704; сравнение с ним Гёте, 252
- Шелли, Перси Биши, 125
 Шерер, Вильгельм, 81, 82, 86
 Шертель, Эрнст, 428, 429
 Шёнберг, Арнольд, 365
 Шиллер, Фридрих, 38, 44, 48, 311, 446, 450, 638, 683, 685
 Шлегель, Август Вильгельм фон, 285
 Шлейер, Иоганн Мартин, 39
 Шлейер, Клотильда, 756, 757, 761
 Шлиман, Генрих, 314
 Шлиффен, Альфред фон, 533
 Шлягетер, Альберт Лео, 658
 Шмидт, Эрих, 81, 238, 239, 310, 614
 Шмитт, Саладин, 378, 379
 Шницлер, Артур, 125
 Шокке, Александр, 669, 670, 701
 Шолем, Гершом, 761
 Шопенгауэр, Артур, 100
 Шрёдер, Рудольф Александр, 299, 300
 Шпор, Макс, 143, 144
- Штайн, Вильгельм, 655—657, 664, 710, 737, 738, 761
 Штайнберг, Маня, 339
 Штайгер, Роберт фон, 710, 736, 760
 Штайнер, Герберт, 414, 432—437, 515
 Шталь, Артур: его переписка с Георге, 85—87, 110; и «Розы и чертополохи», 47, 159; и путешествия Георге, 55, 57, 59, 60; и юношеская поэзия Георге, 57—59; отношения с Георге, 40, 61, 62, 93, 96
 Штауффенберг, Александр фон, 670—673, 676, 701, 738, 761
 Штауффенберг, Бертольд фон, 670—673, 676, 677, 701, 738, 754, 760
 Штауффенберг, Клаус фон, 671—673, 701, 738, 754, 760, 763—765
 Штауффенберг, Франц Шенк фон, 35, 671
 Штеттлер, Михаэль, 737—739, 760
 Штраус, Рихард, 134, 365
 Шуленбург, Фриц-Дитлов фон дер, 764
 Шулер, Альфред: в образе Великой Матери, 353; его влияние на Георге, 390; его внешность, 181, 182; его идеи, 182—185, 320, 321; его переписка с Георге, 144; и «Альгабал», 193, 319; и антисемитизм, 183, 185, 186, 324—326, 328; и Бахофен, 182, 314, 316—318; и Вольфскель, 311, 312, 324—330; и Гитлер, 330; и гомосексуальность, 193, 184, 319, 320; и Гундольф, 332, 333, 339; и Космический круг, 312, 313, 321—324, 326—330, 597; и Куртиус, 317, 318; и магия, 377; и политические взгляды Георге, 355; и свастика, 313, 314, 593; и Швабинг, 196; о Георге, 187; отношения с Георге, 357, 361; стихи Георге о нем, 322
- Эберт, Фридрих, 579
 Эванс, Ричард, 467

Эдуард, Георг, 170

Эйк, Гуго, 442, 448

Эйнштейн, Альберт, 615

Элагабал, 129, 132, 137—144, 146—

152, 212, 353, 369, 444

Эльзе, Вальтер, 639, 641, 644, 658, 749

Энгельс, Фридрих, 185

Энзор, Джеймс, 201

Эрманнсдорффер, Бернхард, 471

Эсхил, 449

Юрэ, Жюль, 99

Янг, Оуэн Д., 653

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
-----------------------	---

Часть I. ПОЭТ 1868—1899

<i>Глава первая. Истоки</i>	17
<i>Глава вторая. Школа</i>	30
<i>Глава третья. Первые путешествия</i>	50
<i>Глава четвертая. Париж</i>	63
<i>Глава пятая. Берлин</i>	79
<i>Глава шестая. «Гимны»</i>	91
<i>Глава седьмая. «Паломничества»</i>	110
<i>Глава восьмая. «Дитя в лазурных одеждах»</i>	122
<i>Глава девятая. Декадентский «Альгабал»</i>	136
<i>Глава десятая. «Листок за искусство»</i>	153
<i>Глава одиннадцатая. Создание союзов</i>	166
<i>Глава двенадцатая. Становясь немцем</i>	173
<i>Глава тринадцатая. Группа сформирована</i>	179
<i>Глава четырнадцатая. Швабинг</i>	195
<i>Глава пятнадцатая. Удобное прошлое</i>	208
<i>Глава шестнадцатая. «Год души»</i>	223

<i>Глава семнадцатая. Навстречу известности</i>	246
<i>Глава восемнадцатая. «Ковер жизни»</i>	257

Часть II. НАСТАВНИК
1900—1908

<i>Глава девятнадцатая. Приверженец</i>	279
<i>Глава двадцатая. Сборники</i>	294
<i>Глава двадцать первая. Космический круг</i>	310
<i>Глава двадцать вторая. Мальчики: хороший, плохой и божественный</i>	332
<i>Глава двадцать третья. Максими́н</i>	359
<i>Глава двадцать четвертая. «Седьмое кольцо»</i>	377

Часть III. ПОЛИТИК
1909—1918

<i>Глава двадцать пятая. Прием в Орден</i>	403
<i>Глава двадцать шестая. Фюрер и его Рейх</i>	413
<i>Глава двадцать седьмая. Круглая комната</i>	426
<i>Глава двадцать восьмая. Тайная Германия</i>	438
<i>Глава двадцать девятая. После «Ежегодника»</i>	454
<i>Глава тридцатая. Гейдельберг</i>	469
<i>Глава тридцать первая. «Звезда согласия»</i>	486
<i>Глава тридцать вторая. Легенды лета</i>	518
<i>Глава тридцать третья. Война и тайная Германия</i>	530
<i>Глава тридцать четвертая. Выживание</i>	547

Часть IV. ПРОРОК
1919—1933

<i>Глава тридцать пятая. Революция I</i>	577
<i>Глава тридцать шестая. Измена</i>	602
<i>Глава тридцать седьмая. Перегруппировка</i>	628
<i>Глава тридцать восьмая. Возрождение</i>	641
<i>Глава тридцать девятая. Время палаток</i>	653
<i>Глава сороковая. Stipor Mundi</i>	673
<i>Глава сорок первая. Новый Рейх</i>	690

<i>Глава сорок вторая. Слава</i>	702
<i>Глава сорок третья. Апофеоз</i>	714
<i>Глава сорок четвертая. Революция II</i>	730
<i>Глава сорок пятая. Эпилог</i>	762
Указатель имен	766

Научное издание

Роберт Е. Нортон

**ТАЙНАЯ ГЕРМАНИЯ
СТЕФАН ГЕОРГЕ И ЕГО КРУГ**

Редактор издательства *Т. В. Глушенкова*
Художник *П. Палей*
Технический редактор *И. М. Кашеварова*
Компьютерная верстка *Л. Н. Напольской*

Подписано к печати 1.06.2016. Формат 70 × 90 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 57.3.
Уч.-изд. л. 52.7. Тираж 700 экз. Тип. зак. № 3999

Издатель: Санкт-Петербургский филиал ФГУП «Издательство «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
Адрес для корреспонденции:
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
main@nauka.nw.ru
www.naukaspb.com

ISBN 978-5-02-038429-3



9 785020 384293



Роберт Е. Нортон — профессор кафедры немецкого и русского языков и литературы Университета Нотр-Дам, автор книг «Эстетика Гердера и европейское Просвещение» и «Прекрасная душа: Эстетика и мораль XVIII века».

Публикуемая книга посвящена одной из самых неординарных и загадочных фигур Германии первой половины XX века — Стефану Георге, духовному лидеру, создателю и вдохновителю влиятельного общества «Тайная Германия», члены которого считали своего вождя воплощением божественного Платона. В своем учении Георге развивал мистико-политические проекты подлинной аристократии, которую он противопоставлял как беззубой «элите» Веймарской республики, так и нарождающемуся плебейскому духу гитлеровского национал-социализма. Жизнь Георге, равно как и его мысль, пока мало известна русскому читателю.

В изложении Нортонa Стефан Георге предстает не только как поэт, но как человек, учитель и политик, повлиявший на культурную жизнь Германии XX века. Книга построена на анализе ранее не публиковавшихся письменных источников и представляет собой первую полную биографию Стефана Георге и историю его Круга.



Издательство
«НАУКА»